ОЛДИ Г.Л.
ВАЛЕНТИНОВ А.
ДЯЧЕНКО М. и С.



«Новый Миргород»
от
великолепной
пятерки

УКРАИНСКИЙ
ЦИКЛ

Эксмо

ОЛДИ Г.Л.
ВАЛЕНТИНОВ А.
ДЯЧЕНКО М. и С.

ШЕДЕВРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФАНТАСТИКИ

УКРАИНСКИЙ ЦИКЛ



Олдак С. Л.
Лаленков Л.
Дрозюк М. и С.

УКРАИНСКИЙ ЦИКЛ





ШЕДЕВРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФАНТАСТИКИ

Генри Лайон ОЛДИ
Андрей ВАЛЕНТИНОВ
Марина и Сергей ДЯЧЕНКО

УКРАИНСКИЙ ЦИКЛ

РУБЕЖ
ПЕНТАКЛЬ

Эксмо, Москва
2006

УДК 82-312 9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
О-53

Оформление серии *Е Савченко*

Серия основана в 2003 году

Олди Г.Л., Валентинов А., Дяченко М.Ю., Дяченко С.С.
О-53 Украинский цикл Фантастические романы / Г Л Олди, А Валентинов, М Ю Дяченко, С С Дяченко — М Эксмо, 2006 — 1088 с — (Шедевры отечественной фантастики)

ISBN 5-699-15898-7

Они встретились заклятый герои-двоедушец и чернокнижник Мацапура-Коложанский, отважная панна сотникова и мститель-убийца Иегуда бен Иосиф, Блудный Ангел и волшебница Сале Кеваль Они встретились на своем последнем рубеже, и содрогнулись величественные Малахи, чья плоть — свет, а души у них нет

Они встретились ведьма-парикмахерша и черт, сидящий в компьютере, упырь — председатель колхоза и ведьмак-орденоносец Здесь по ночам на старом кладбище некий Велиар устраивает для местных обитателей бои без правил На таинственном базаре вещи продают и покупают людей За ново расцветает панская орхидея, окутывая душным ароматом молоденькую учительницу биологии

Они встретились «философский боевик» Г Л Олди, тонкая лирика М и С Дяченко, криптоистория А Валентинова — звездный состав авторов Раз в пять лет они встречаются все вместе, чтобы создавать шедевры «Рубеж» и «Пентакль»

В дорогу, читатель!

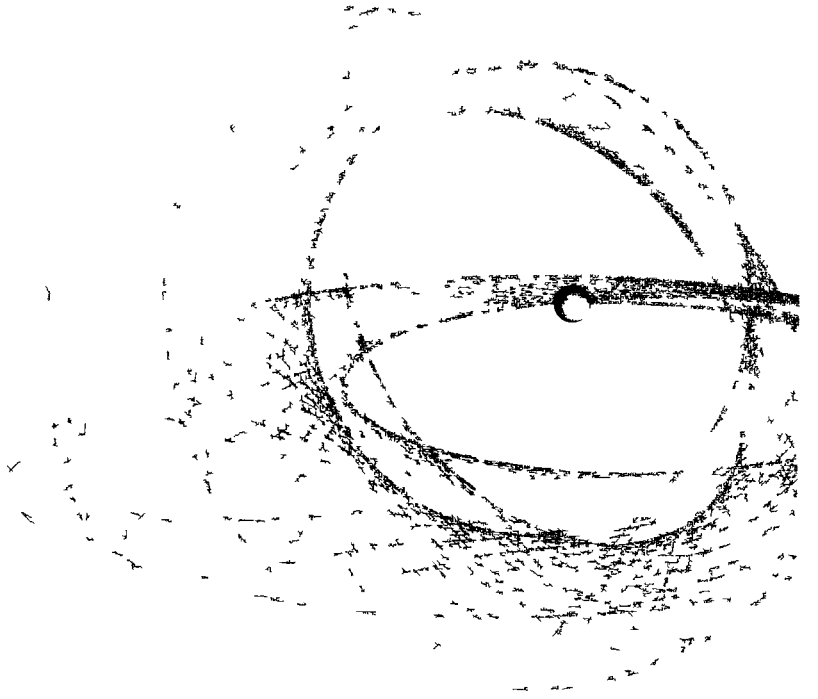
УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-15898-7

© Олди Г.Л., Валентинов А., Дяченко М.Ю., Дяченко С.С., 2006
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2006

РУБЕЖ

РОМАН



Мне хорошо, я — сирота!
Шолом-Алейхем

Книга написана на собственныя фантазіи авторовъ.
Не содержитъ богохульствій.
Одобрена цензурой.

Книга первая
ЗИМОЮ СИРОТЫ В ЦЕНЕ

На том, последнем рубеже,
Где мы еще, а не — уже...
Ниру Бобовай

ПРОЛОГ НА НЕБЕСАХ

Небеса проповедуют славу Б-жию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

I

В начале сотворил Святой, благословен Он, небо и землю.

II

И был день, когда пришли сыны Б-жии предстать пред Г-да: Микаэль, князь Десницы — вода и град, Габриэль, князь Шуйцы — огонь; и Рахаб, и Самаэль, и Аза, и Азель, и прочие многие; между ними пришел и Противоречащий.

И вот, сказал Святой, благословен Он, ангелам: «Я установлю на земле наместника». Сказали Ему: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и святим Тебя?» Сказал им: «Поистине, Я знаю о человеке то, чего вы не знаете! Человек, которого Я собираюсь сотворить, более мудр, чем вы. Восстанут из него праведники». И показал Святой, благословен Он, путь праведников ангелам. Но не открыл им того, что восстанут из человека нечестивцы. Ведь если бы открыл им то, что восстанут из него нечестивцы, не позволили бы ангелы сотворить человека.

И создал Святой, благословен Он, человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.

III

Святой, благословен Он, образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

И провел перед ангелами всех животных, зверей и птиц, и сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы».

Сказали Ему: «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил».

Провел же перед человеком. Сказал: «О человек, сообщи имена их!»

И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым; и для человека не нашлось помощника, подобного ему.

IV

Потом сказал Святой, благословен Он, ангелам: «Поклонитесь человеку!» — и поклонились они, кроме Противоречащего; он не был из поклонившихся.

Сказал ему: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» Ответил: «Я лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины».

Сказал ему: «Низвергнись отсюда; не годится тебе превозноситься там! Выходи же: ты — среди оказавшихся ничтожными!»

V

Когда Г-дь сотворил человека в саду Эден, Он дал ему семь заповедей. Согрешил тот и был изгнан из сада Эден. И два ангела, имена которых Аза и Азель, сказали Святому, благословен Он: «Если бы мы были на земле, то не согрешили бы». Сказал им: «А разве вы справитесь с дурным побуждением?» Сказали Ему: «Справимся». Тогда сбросил их Б-г на землю. Когда сошли они на землю, вошло в них недоброе побуждение.

VI

Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Б-жии, именуемые Аза и Азель, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.

В тот час, когда спускались они вниз, одевались они в одеж-

ды этого мира, ибо иначе не могли существовать они в этом мире, и мир не вынес бы их присутствия.

В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Б-жии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.

VII

Взирая на них из сияния Эйн-Соф, говорили при этом иные ангелы: «Вот, потомки Азы и Азеля силой правят сыновьями человеческими. Разве таков был замысел Г-да?!» И в гордыне своей сочли они, что постигли Его замысел, решив исправить ошибку. Оставшись светом, пали ангелы в мир телесный и разделили его на части Рубежами, дабы по мере сил оградить свободных сынов человеческих от владычества исполинов. А самих Азу с Азелем в их плотских одеяниях приковали ангелы железной цепью (ибо считали, что вправе вершить суд именем Его) к скале Каф, дабы более не плодили они потомства; и по сей день стоят там мятежные ангелы, прикованные, и сведущие люди, взыскуя тайных знаний, приходят к ним учиться запретному.

VIII

Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Святой, благословен Он; поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий. Наклонил Он небеса и сошел — и мрак под ногами Его.

IX

Б-г стал в сонме ангелов; среди ангелов произнес суд: «Я сказал: вы ангелы и сыны Всевышнего — все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей!»

X

И вывел Святой, благословен Он, десять устроений и назвал их десять Сфирот, чтобы руководить при помощи их мирами сокрытыми, которые не открываются, и чтобы ведать, как управляются вышние и нижние. И укрылся от ангелов и от сынов человеческих, повелев Самаэлю стеречь Рубежи, дабы не прошел чрез них никто без Его ведома.

XI

И воззвали высшие — обитатели рая к низшим — обитателям огня: «Мы нашли то, что обещал нам наш Г-дь, истиной, нашли ли вы истиной то, что обещал вам Г-дь?» И возгласил глашатай среди них: «Проклятие Г-да на неправедных, которые отвращают от пути Г-да и стремятся обратить его в кривизну!»

XII

И между ними — завеса. А на прегради — люди.

XIII

И в час, когда Моше записывал Тору, записывал он дела каждого дня творения. Дойдя до высказывания: «Сказал Святой, благословен Он: «Сделаем человека в образе Нашем, по подобию Нашему» — произнес Моше: «Владыка Мира! Удивляюсь я, зачем Ты даешь повод для измышлений еретиков?» Сказал ему: «Записывай. А тот, кто хочет ошибиться, пусть ошибается...»

И сказано обо всем этом словами этими в Книгах Священного Писания: Берейшит, иначе Бытие, Тегилим, иначе Псалтырь, в Книге Иова, в книге Коран, в толкованиях мудрецов Мишны и в великой книге Зогар, что значит «Сияние», а для сведущих — «Опасное Сияние». И разумеющие их воссияют, как сияние небосвода, а приводящие к праведности многих — как звезды в вечности века...

Часть первая

ГЕРОЙ И ЧУМАК

ПРОЛОГ НА ЗЕМЛЕ

Магнолии горели неохотно.

Дом, в полотнищах черного дыма, не желал сдаваться. Все эти старинные гобелены, посуда из серебра и фарфора, все эти ткани и резное дерево, дубовые балки и расписная известь потолков — все это сопротивлялось огню, как умело, и розовый мрамор садовых статуй давно уже сделался черным от копоти.

Сотни витых свечей — белых на будни и ароматических праздничных — горели одновременно, и в гостиной, и в столовой, и в спальнях, и в кладовой, горели как ни в чем не бывало, как будто не рушились потолки и не падали люстры, как будто

не погибали в огне кипарисы, как будто кому-то хотелось света, много света — и сразу...

На коробку с коллекцией шлифованных линз наступили сапогом.

Собаку убили. Кошки разбежались. Улетела ручная сова, а белые мыши так и остались в доме.

Горит трава. В огне корчится неведомый и невидимый мир, тысячами умирают жуки и личинки, рушатся подземные дворцы.

Розовый мрамор. Жирная копоть. На крыльце — беспорядочно сваленные книги, ветер листает их, ветер торопливо просматривает, прежде чем передать огню.

Поперек усыпанной гравием дорожки лежит грузное тело тети. А там — дальше — бабушка, а няню куда-то волокут, выкручивая тонкие, в медных браслетах, руки...

И за сотни верст вокруг нет ни одного мужчины.

Ни одного; только потные гиены в стальных рубахах, несколько женщин, уже мертвых или все еще обреченных, горящие магнолии — и *он*, задумавший обороняться шелковым сачком для ловли бабочек.

Он не боится ни боли, ни позора. За двенадцать прожитых лет он так и не узнал ни того, ни другого. Всей его боли было — пчелиное жало в ладони, всего позора — мокрая простыня в раннем детстве.

Но тетя лежит поперек дорожки, и бабушка не замечает искр, падающих на обнаженное предплечье, и няня уже не кричит. И догорают магнолии — неохотно, но догорают...

О нем вспомнили. Сразу несколько рыл обернулось в его сторону, в редких бородах блеснули белые зубы. Кто-то, временно оставив награбленное, двинулся к нему — как бы небрежно, как бы привычно, как бы мимоходом, потому что всего и дела-то, что сгрести за шиворот обомлевшего от страха мальчишку, щенка, не сумевшего спасти даже свою белую мышку.

А тетя лежит поперек дорожки и уже ничего не видит. И бабушке все равно. А няня...

Белый платан за его спиной устал бороться и вспыхнул снизу доверху, будто облитый маслом. Вместе с дуплом, вместе с гнездом болотницы, вместе с муравейником.

Он знал, что не может отменить случившееся — и знал, что оставить все как есть тоже не сумеет. Зачем он здесь, кто он такой, если не сумел защитить свой дом, свою бабушку, няню, тетю?

Он отступил на шаг. Еще на шаг. Шелковый сачок в руках дрожал. Гиены ухмылялись, но он боялся не их.

Он ненавидел себя. Он стыдился себя, слабого; он *пожелал*, сам до конца не осознавая своего желания. Изо всех сил пожелал...

И шагнул в костер.

Обнял пылающий платан, и оттуда, из оранжевого ада, обернулся.

Лица гиен менялись и плыли, полустертые горячим воздухом, но ему было все равно, потому что как раз в этот момент на голове его сухо вспыхнули волосы.

В доме обвалилась крыша — со взрывом, с облаком искр, взметнувшимся под низкие облака.

«Не в добрый час твое желание услышано, мальчик. Не в добрый час».

РИО, СТРАНСТВУЮЩИЙ ГЕРОЙ

Если совсем уж честно, мы немножечко забыли, что прямая дорога — не всегда самая короткая. И потому поперлись через Пустошь — хотя могли бы, в общем-то, и объехать.

И нам еще повезло, потому что по пути через лес случились всего две засады. Да и то — первая оказалась совсем глупой и неопасной.

Нападали лесные карликовые крунги — а они отвратительно стреляют из луков и на редкость бестолковы в ближнем бою. Огромное число нападающих уравновешивается их врожденной трусостью; остается лишь удивляться, почему в каждом поселении карликовых крунгов торчат на почетном месте колья со свежеотрубленными головами путников — десяток, а то и два.

Крунги навалились внезапно и со всех сторон. Пущенные ими стрелы обильно вонзались в древесные стволы — это было эффектно, но не эффективно. Как при такой меткости они не перестреляли друг друга — ума не приложу...

— От меча! — рявкнул я, обнажая свое оружие, и Хостик с к'Рамолем послушно соскользнули с седел, залегли, давая мне возможность проявить себя.

Рутина.

Я молотил по летящим стрелам, и, перерубленные пополам, они усеивали дорогу трогательными черными перышками. Поток стрел скоро иссяк, зато в подлеске со всех сторон замелькали маленькие, мне по грудь, тощие согбенные тени. Лесные крунги традиционно наводят страх на купцов и путешественников — глаза у них горят, как зеленые свечи... Жуткие исчадия, если порассуждать, но на рассуждения у меня не было времени.

«Жизнь наемного героя сделала его бесстрастным, как черствый хлеб, и решительным, как занесенный топор...» Тьфу ты, пошлость.

Вместо благородных мечей — какое уж у крунгов благородство! — в руках у нападавших вертелись шипастые шары на веревках. Железных ежей в лесу видимо-невидимо, а выпотрошив такого ежа и натянув его шкуру на камень, небрезгливый крунг по-

лучает страшное оружие с иголками в палец длиной. Говорят, со всего размаха иглы железного ежа протыкают любую кольчугу.

Не больно-то охота проверять.

Сперва сразу четыре шипастых ежа воткнулись иглами в дорогу, туда, где распрямлялись примятые мною травинки. Потом пятый еж вяло мазнул по кольчужному боку — что неприятно, — зато две иглы на железном шарике с хрустом обломились. Потом засвистел меч, истошно вякнул крунг — и сразу стало тихо, только пофыркивали испуганные лошади да негромко ругался к'Рамоль.

Я перевел дух.

На поле боя остались два или три шипастых шара и бездыханное тело неудачливого агрессора. Вот она, главная опасность в любой переделке. Нормальный человек от такого удара не помер бы — а кто ее знает, физиологию карликовых крунгов?!

Ага, вот почему у них так сверкают глаза. На внешней стороне век наклеено по пластинке блестящей слюды...

— Ребята, за дело.

Хостик поднялся первым. Подошел, склонился над телом. Хмыкнул, обернулся к к'Рамолю; тот поморщился:

— Стоит ли? Руки пачкать... Перевязку расходовать...

Так, вечная история. Я взял лошадь под уздцы и, не оборачиваясь, двинулся вперед. В ближайшей округе наверняка не осталось ни одного крунга. А слушать разборки подельщиков нет никакой силы. Уж лучше еще пару нападений отбить...

Зря я так подумал.

Драки на дорогах и лесные засады — неизбежное зло. Когда мы на службе, я вношу их в транспортные расходы и дерусь тогда с некоторым удовлетворением, зная, что эти усилия мне все равно оплатят. А когда мы ищем заказа — вот как теперь, — приходится биться не за деньги, а всего лишь за собственную жизнь. Удовлетворения никакого, удовольствия — тем более. С третьей стороны, кто же нам мешал объехать стороной эту дурацкую Пустошь?!

«Лицо его, благородное, как стальной герб, и суровое, будто мешковина, не выражало сейчас ничего, кроме усталости и раздражения...»

Состарюсь — сяду за мемуары.

Если я, конечно, состарюсь.

В пути прошел день; вторая засада была куда паскуднее первой. На этот раз нападали хронги — хитрое, злобное и злопамятное племя, обожающее обстреливать путников отравленными иголками.

Свое оружие совершеннолетний хронг постоянно носит во рту. Отравленные иглы хранятся за щекой в специальных че-

хольчиках, и главным искусством воина является умение с виртуозной точностью извлекать колючки из миниатюрных ножен — языком, да так ловко, чтобы не пострадать от яда, покрывающего их острия. Взрослый хронг способен выплюнуть колючку на расстояние, сравнимое с полетом арбалетной стрелы; при выстреле же в упор опять-таки не спасает никакая кольчуга. Однако хронги, как правило, никогда не подходят близко и метят в лицо и глаза.

В сумке у меня была маска, припасенная как раз на этот случай. Но надеть ее заранее я поленился, а хронги не предупредили о своих намерениях, просто плюнули залпом — и все.

О лошади, наши лошади!..

Впрочем, Хостик — гений интуиции. За мгновение до залпа он пришпорил коня, к'Рамоль, не раздумывая, рванул следом, и туча игл, предназначенная моим подельщикам, осела на дороге вместе с пылью.

Кобыла подо мной вскрикнула. На лошадей яд хронгов действует не так фатально, как на людей, но полдесятка колючек в бок она получила, и ощущение это, наверное, не из приятных!

Мы упали вместе — я и лошадь. Ногу из стремени я выдернул и под тяжелый бок постарался не попасть — но во всем остальном вел себя, как свежий труп.

Хронги — осторожный народ, однако всякая осторожность имеет границы; обстреляв мое неподвижное тело — всякий раз я внутренне вздрагивал, мне казалось, что острие уже прошило мою броню насквозь, — хронги наконец решились выбраться из-под защиты леса.

Я для них прямо-таки великан. Хронги еще мельче крунгов — мне по пояс...

Ну? Контрольный выстрел — в упор? Или попытаются отнять от моего лица кольчужные рукавицы и стрельнуть в глаз?..

Сколько времени требуется хронгу, чтобы выудить из-за щеки ядовитую колючку, набрать в грудь воздуха и плюнуть? Уж наверное, не больше, чем требуется отягощенному броней воину, чтобы внезапно вскочить.

Кто угодно на моем месте давно был бы обречен — ну да я не кто угодно. Если бы хронги знали, каков я — да разве засели бы в засаду?!

Я ухватил ближайшего врага за шишковатое колено, дернул и опрокинул на себя — в качестве щита. Маленького ненадежного щита; хронг завопил яростно и нечленораздельно — сперва я удивился его странному произношению и только потом вспомнил, что от неустанных упражнений с защечными иголками языки хронгов становятся раздвоенными, как у змей, и это сильно портит им дикцию.

Две или три ядовитые иголки мазнули по кольчуге — не пря-

мым ударом, а соскальзывая. Вот оно как, друзья-недоростки, как сызмальства язык ни натруживай, как ни совершенствуйся в смертоносном плевании — а когда удача в бою отворачивается, демонстрируя обширный свой зад, то и с двух шагов непременно промажешь...

Мой сегодня день. По-прежнему мой, как вчера, как позавчера, как будет завтра...

Прочие выпущенные колючки угодили в живой щит — в невезучего хронга, который тут же перестал голосить. И пока товарищи погибшего подергивали челюстями, перезаряжая свое оружие, мой меч успел сделать три сверкающих оборота.

Оставшиеся на ногах хронги — их, конечно, было больше, чем поверженных, но все же гораздо меньше, чем перед боем, — нырнули в чащу. Тишина, далекая терпеливая кукушечка и целая куча неподвижных тел, причем одно — мой бедный щит — мертвое, а прочие явно собираются отправиться вслед за ним к суровым хронговским богам, а это значит, что на ровном месте по глупости и бесплатно я угодил на грань смертельной неприятности, куда более скверной, чем даже хронговская колючка...

Где мои подельщики, где эти трусливые негодяи?!

— Хоста! Рамоль! Хоста! Рам!

Если в лесу еще остались непотревоженные племена — наверняка явятся, чтобы посмотреть, кто это так кричит.

Моя лошадь с трудом поднялась. Посмотрела на меня затуманенным взором; извини, дорогая. Может быть, ты еще и оклемаешься, весу в тебе порядочно, да еще, говорят, лошади находят себе травку-противоядие.

А вот сумку, седло и прочую сбрую я сниму, уж прости. Тебе все равно без надобности...

Хронги еще дышали.

— Хостик! Рам!!

Ответом был далекий, но резво приближающийся стук копыт.

До сих пор мои подельщики всегда поспевали вовремя, авось не опоздают и теперь.

— ...А на такие случаи, говорят, хорошо кота завести. Ловчего кота. Чтобы предупреждал, если что на дороге, чтобы и маску успеть надеть, и все такое...

К'Рамоль с авторитетным видом запаковал свой докторский сундучок. Приторочил к седлу; я бесцеремонно взял его лошадь под уздцы. Пусть едут вдвоем с Хостиком — мне нужна персональная лошадь, я сам по себе достаточно тяжел, а еще доспехи...

— Ну как, Рио, купим себе кота?

Я хмыкнул. Я тоже однажды купился на обещания зазывалы, приобрел ловчего кота, призванного предупреждать об опасно-

сти. Говорят, что такие коты верны своим хозяевам до смерти — это гнусная ложь. Во всяком случае, данный конкретный кот оказался не только неверным, но и совершенно паскудным животным — едва освободившись от поводка, он скрылся в чаще и появился лишь к полудню, когда очередной бой уже закончился и подошло время обеда.

А продавец-то как распинался! «Ловчие коты не уступают в верности даже ручным летучим мышам! Преданность у них в крови, вам не придется растить кота с младенчества либо выхаживать его в болезни... Полчаса за пазухой — и вот он ваш друг и защитник!»

Задушив верное создание и продав на базаре его шкуру, можно было бы частично покрыть убытки — но, увы, только моральные. Вероятно, кот прочувствовал эту мою мысль и в тот же вечер смылся, сбежал безвозвратно. Не удивлюсь, если он снова вернулся к хозяину, чтобы тот опять его продал.

К'Рамоль и Хостик с трудом взгромоздились на одного коня. Я поехал вперед на лошади Рама; на закате мы выехали из Пустоши, а еще через час на пути оказалась деревня.

Навстречу нам вышел сам деревенский староста, и по тому, как вежливо он приветствовал «господ героев», я безошибочно догадался, что нас ожидает если не Большой заказ, то, по крайней мере, достаточно выгодная сделка.

* * *

...Староста снова потер потные ладони:

— И... Слушать его тоже нельзя. Я тем парням, что клетку охраняют, уши воском заткнул. И каждому по свистульке в рот, чтоб свистением наговор прогоняли.

Мы с к'Рамолем переглянулись. Теперь, по крайней мере, ясно, что за душераздирающие звуки доносятся с заднего двора; Хостик держался в стороне — внешне безразлично. Впрочем, за таким безразличием может прятаться что угодно.

К'Рамоль поморщился. С сомнением пожал плечами:

— Хорош узник — не взгляни, не послушай... А поймали-то его как? Или он сам в клетку влез, пока темно было?

Староста прерывисто вздохнул. Усы его подобрались и обвисли снова:

— Так. Вы люди приезжие... У нас тут глиняный карьер неподалеку. Ну и... вы не знаете, что тут случилось-то, а мы в деревне уж не думали живыми остаться! Смерчи ходили, молнии били... руку видели черную, что с неба тянулась, — рука, как сосна трехсотлетняя! Не иначе демон демона гвоздил. Уже потом, когда стихло все — нашли в карьере *этого*, вроде как оглушен-

ного, не в себе. Мы и повязали его... с перепугу. Так сами же теперь не рады!

Староста внезапно впал в раздражение. Сдернул с макушки «тень венца» — деревянную копию княжеской короны; отдельно от старостиной головы деревянный венец казался граблями, по странной прихоти свернутыми в обруч. Любой властоносец, даже самый мелкий, есть прежде всего тень властителя-князя; староста ожесточенно скреб растительность, уцелевшую по обочинам потной загорелой лысины. Мы молчали.

Почесывание помогло старосте овладеть собой. Слегка успокоившись, он с достоинством водрузил деревянную корону на прежнее место:

— Так... А теперь в клетке сидит. Железным листом обшили. Кузнецов согнали со всей округи... Неделю сидит, и я всю неделю — чтоб мне лопнуть — глаз не сомкнул! Потому что убить его нельзя, иначе как с колокольни сбросив, а где в селе такая колокольня?! Пока мы тут колокольню построим, он железо-то прогрызет...

— Сто монет, — раздумчиво сообщил к'Рамоль.

Староста болезненно дернулся.

— Сто монет, — повторил Рам. Опасаясь, вероятно, что собеседник глуховат.

Староста втянул голову в плечи. Привычная скупость и вечная стесненность в средствах не позволяли ему согласиться со столь чудовищной для маленькой деревни суммой; с другой стороны, ясно было, что измученный страхом мужичок готов сам продаться в рабство, лишь бы избавиться от пленника вместе с его клеткой, смерчами и молниями, могуществом и более чем вероятной местью.

— Но мы же не конвоиры! — справедливо напомнил к'Рамоль.

Хостик за моей спиной повернулся и вышел. Вышел тихо, но не бесшумно, а это означало, что он как бы приглашает меня за собой, хочет поговорить без свидетелей.

Любопытные, облепившие крыльцо, разом отхлынули; девицы, как по команде, покраснели и потупились, детишки разинули рты, а взрослые зеваки, коих тоже было изрядно, поспешно придали лицам отстраненно-рассеянное выражение: шли, дескать, мимо, да вот не решили еще, куда свернуть.

На Хостика смотрели скорее с ужасом. На меня — как обычно. Как смотрят на «господ героев».

На заднем дворе сипели свистульки. Клетка, превращенная в железный ящик, окружена была неглубокой белой канавкой. Две или три кошки с соловыми глазами лениво лакали светлую жидкость, и я с удивлением понял, что от магического наговора

здесь спасаются, как при дедах и прадедах, разбавленным молоком черной коровы.

Парни-охранники с залепленными воском ушами меланхолично дули в свистульки. Время от времени один из них, с подбитым глазом, кидал в кошек щепками — но все время промахивался; при нашем появлении свистульки смолкли, и стражи уставились на нас вопросительно. Хостик кивнул им — продолжайте, мол, исполнять обязанности; внимательнее всмотревшись в его лицо, парни потупились, подобно девицам у крыльца, и засвистели с удвоенной силой.

Глухой железный ящик не позволял заключенному в нем человеку (человеку ли?!) подниматься во весь рост и разводить руки в стороны. В подобном шкафу, помнится, государственный казначей держит многочисленные княжьи денежки... Узника не разглядеть было, но за железными листами угадывалось движение, мерное и неторопливое раскачивание, и клетка еле заметно подрагивала.

— Оно нам надо? — сумрачно спросил Хостик.

Я поджал губы.

Нам необходимы были услуги кузнеца, шорника, сапожника, портного. Если мы всерьез хотим получить Большой заказ — мы должны добраться в столицу в срок и вид иметь соответствующий, поскольку бедные и оборванные ни у кого не вызывают доверия. А если к'Рамоль выторгует хотя бы девяносто монет...

— Оно нам надо, Рио?

Хостик по привычке говорил полушепотом. Хотя мог бы и не осторожничать — на фоне этих ужасных свистулек его голос не так резанет по ушам.

— Конвоировать недостойно, Хоста?

— Я не про то... — Он механически переступил через упавшую от обжорства кошку. И коротко вздохнул; я привык различать его вздохи. Имелось в виду что-то вроде: «Если этот, который в клетке, действительно тот, за кого они его принимают, то я бы не брался, Рио...»

Крестьяне принимали своего пленника за Глиняного Шакала.

Возможно, они ошибались. Возможно, то был случайный бродяга, не в добрый час остановившийся справить нужду в глиняном карьере, а все случившиеся перед тем громы и молнии не имели к нему никакого отношения... Впрочем, бродяга вряд ли выжил бы неделю в клетке без еды и питья. Не говоря уже о том, что, будучи пойман и посажен в клетку, любой бродяга вопит и лается, стонет и объясняет тюремщикам, что схвачен по ошибке. А тут — ничего. Тишина. Мерное движение, будто человек, стоя на четвереньках, ритмично и сильно раскачивается. Взад-вперед. Взад-вперед.

В больших городах не верят в Глиняных Шакалов. Впрочем,

жизненный опыт отучил меня думать, что именно там, в больших городах, обитает истинная мудрость...

— Что же, работа не про нас?

Наверное, вопрос получился достаточно желчным, потому что Хостик закатил глаза. Имелось в виду, что с большой долей вероятности мы управимся, конечно, но, как было сказано, «оно нам надо»?

Существа, умеющие кидаться молниями, действительно время от времени сходятся один на один. Или один на много; если принять точку зрения крестьян — Глиняный Шакал пал жертвой кого-то более могущественного, и только «родные стены» — глиняный карьер — позволили ему остаться в живых. Подвернись рядом высокая колокольня — и проблемы не было бы, крестьяне радостно довершили бы дело, начатое неведомым кидателем молний; колокольни, однако, не случилось — со времени поединка прошла неделя, Шакал наверняка потихоньку восстанавливает силы...

— Давай так, — сказал я после некоторого колебания. — Если Рамоль договорится больше чем за девяносто — беремся. Нет — нет. Идет?

Хостик улыбнулся. Он, оказывается, был уверен, что староста собьет цену.

Мой подельщик умел быть красноречивым и в молчании. А молчать ему приходилось большую часть жизни, и виной тому был его голос, вернее, тембр; всякий, кто слышал Хостин голос, предпочел бы непрерывный скрежет железа по стеклу. Сам он утверждает, что в детстве был вполне голосистым мальчиком и даже пел в хоре, а потом только простудился и охрип. Он врет и знает, что ему не верят. Либо его мать во время беременности нарвалась на заговор, либо сам он в младенчестве прогневил какую-нибудь ведьму, но только в хоре нашему Хостику больше не петь...

К'Рамоль и староста стояли на пороге. Деревянная «тень венца» съехала венценосцу на ухо, а наш друг был нескрываемо доволен, настолько доволен, что и спрашивать было не о чем — и так все понятно.

— Девяносто две! За девяносто две сторговались!

Хостик вздохнул. Короткий вздох-ругательство.

* * *

Деревянные колеса ранили дорогу. Слишком тяжелой оказалась клетка; за нами тянулись, как за плугом, две глубокие рытвины-колеи, телега заходилась скрипом на каждой колдобине, а лошади давно уже прокляли все и со всем смирились.

Мы двигались со скоростью пьяного пешехода. Не вдребезги

пьяного, но здорово отяжелевшего, краснолицего, все свои усилия прилагающего к тому, чтобы не сбиться с прямой и не прилечь на обочине. Вот так и мы. Хостик правил упряжкой, мы с к'Рамолем ехали по сторонам от клетки и молчали.

Солнце двигалось по небу еще медленнее и тем не менее играючи обогнало нас. До цели — районного центра с судебной управой и «высокой колокольней» — оставалась еще добрая половина пути, в то время как солнце свой путь уже завершало, уже висело над верхушками далекого леса, и не надо было быть пророком, чтобы предугадать ночевку средь чиста поля, бок о бок с предполагаемым Глиняным Шакалом...

Над дорогой пролетела, не шевеля крыльями, вечерняя тварь недосыть. Отряд корнезубые, семейство живоглоты.

Я тряхнул головой.

Сумерки — время, когда сгущаются чужие воспоминания. Как бы чужие. Доспехи делаются тяжелыми и вминаются в меня, как вминается печать в расплавленный сургуч. А какого рожна я средь чиста поля еду в полном доспехе?!

Косо смотрело солнце. Искоса. Наши длинные тени глотали дорожную пыль; я глубоко вздохнул. Пластины на панцире чуть разошлись и сомкнулись вновь.

— Боюсь я, — негромко сказал к'Рамоль. — Боюсь за эту переднюю ось. Как думаешь, Рио?

На дорогу выпрыгнул кузнечик. Сдуру, разумеется. Скакнул снова, на этот раз спасаясь, — и опять не туда; не хотел бы я, будучи кузнечиком, оказаться на пути скрипучего деревянного колеса...

...На розовом мраморе. Почему-то все тогда было мраморным, но не холодным, потому что за день солнце нагревало камни так сильно, что они не остывали до самого рассвета... И вот он сидел на розовом мраморе, серо-зеленый голенастый кузнечик, а я подползал к нему на четвереньках, и в правом кулаке у меня был сачок, а в левом — толстая шлифованная линза...

— Рио!

К'Рамоль, оказывается, уже пару минут ехал рядом, и выражение его лица было профессионально врачебным — обеспокоенным и решительным одновременно.

— О чем беспокоиться, Рам? — пробормотал я в сторону. — Сломается ось — тогда будем думать...

— Рио, — он помялся. — А ты уверен, что тебе никто никаких видений не наводит, а?

Хостик мельком глянул на нас с высоких козел. Расслышал. Слух у Хосты — не в пример голосу, рысий слух.

Я усмехнулся:

— Уверен, Рам. Совершенно уверен.

Видения — излюбленный прием Шакалов. Но вот только кузнечик на розовом мраморе — моя личная забота, то, что приходит независимо от времени дня, независимо от сиюминутных занятий и, уж конечно, независимо от железной клетки.

— Ну, смотри, Рио...

Я кивнул:

— Хорошо. Буду смотреть.

Крестьяне снабдили нас баклажкой молока от черной коровы — защищаться от Шакала. Еще утром, как только выехали, к'Рамоль пропихнул в глиняное горлышко какую-то свою приправу — и теперь мы с удовольствием выпили каждый по кружке игристого молочного кваса. Спасибо крестьянам — угостили не без пользы...

Глиняного Шакала невозможно убить мечом. Защищаться от него не имеет смысла; не будь я тем, кто я есть — ни за что не принял бы заказ. А вот тем бедолагам, которым придется поднимать клетку на верхушку колокольни, там расклепывать и Шакала вынимать, — не позавидуешь.

Проще сбросить его как есть. В клетке.

Только почему это должно меня волновать?

Оба моих спутника устроились на ночлег под открытым небом. Даже если пойдет дождь, никто из них не переберется под телегу. Спать под задницей у Глиняного Шакала — удовольствие маленькое. А если еще и доски просядут...

К'Рамоль с головой забрался под теплый плащ. Хостик остался дежурить, сидел, нахохлившись, изредка подкармливая костерок сыроватым древесным мусором. Хостик может неделями не спать — когда я брал его на контракт, это достоинство приглянулось мне прежде всего.

В темноте бродили невидимые, но отлично слышимые лошади.

Я постелил себе в стороне от телеги. Лег на рогожу и по уши укутался одеялом; прямо перед носом благоухали в темноте «девушкины глазки». Отряд придорожные, семейство крестоцветные...

Ненужные мысли — как крысы — при необходимости пролезут и сквозь бутылочное горлышко. Я закрыл глаза.

Две недели назад двенадцать белых вестников в одночасье поднялись над княжеской голубятней. В двенадцать областных центров, мимо когтистых ястребов и охотничьих стрел... Хотя кто не знает, что сбить стрелой вестника означает навлечь проклятие на три колена потомков! Затем каждый из несших весть вошел в свою клетку — кто три дня спустя, а кто и целую неделю. А возможно, кто-то не добрался вовсе. Хоть это маловероятно — хороший вестник и мертвым способен продолжать путь.

Специальные храмовые служители избавили посланцев от

груза бечевы и бумаги. И на двенадцати площадях, при большом стечении народа, зачитали один и тот же текст — в то время как доставившая его птичка, целиком зажаренная на вертеле, была подана на стол областного наместника. И двенадцать наместников, покровительственно улыбаясь, кивнули каждый своему сыну — по традиции, кости уставшего вестника должен обглодать наследник того, кому предназначено послание...

Мне в свое время тоже случалось грызть жесткое птичье мясо. Отвратительно; во-первых, зубы можно сломать, во-вторых, неудобно перед честной птицей. Почему-то среди властителей особым шиком считается злом платить за добро. Вертелом — за преданность...

Последней вестью из Столицы был не указ, не закон и не распоряжение. Венценосный князь призывал возможных претендентов на Большой заказ, причем претендентам-разбойникам обещалось помилование, государственным служащим — отпуск, а странствующим героям — поощрительные подарки.

Я перевернулся на другой бок. Благоухание «девушкиных глазок» переместилось за спину.

...Сколько на этом лугу цикад. Едва научившись ходить, я однажды три вечера убил на то, чтобы увидеть хоть одну... Увидел. Испугался.

Это уже потом у меня был муравейник в огромной круглой банке, и три цикады жили в специально отведенной комнате и пели в моем присутствии, не стесняясь...

Мерно стучал дождь. Одеяло намокало медленно, но неотвратимо; цикады замолчали, муравьи ушли в норы, скоро одеяло придавит меня, как сырая земля...

Я дернулся и сел.

Какой дождь, когда небо оклеено звездами, как храмовый купол золотыми бляхами? Цикады...

Орут цикады. Неистово орут.

Я огляделся.

Ни костра, ни спутников, ни телеги. Звезды, еле ощутимый ветер, запах «девичьих глазок».

Рука сама кинулась искать меч. Напрасно — оружия не было, не было и пояса, одежды тоже не было, я стоял среди темноты нагой, и кожа под рукой покрылась мурашками, стала как терка.

Спокойно.

В подобной ситуации главное — не впасть в панику. Бывали, видели, знаем...

Что знаем-то?!

Тишина, беспорядочно прострочeнная цикадами. Вдох-выдох. Взгляд на небо.

Меня могли усыпить, обезоружить, утащить и раздеть. Это

возможно — хотя и крайне маловероятно; а вот поменять созвездия местами не под силу, наверное, даже Глиняному Шакалу!

Интуитивно, безо всякой мысли, я пробормотал под нос коротенькую молитву-оглядку. Губы плохо слушались — но я выговорил текст до конца, и... ничего не произошло.

Вдох-выдох.

Значит, я сплю.

Я под заклятием «многих пробуждений». Когда сны сидят друг в друге, отражаются, как зеркало в зеркале, и, просыпаясь, человек оказывается в тенетах нового сна и вновь не может проснуться.

Я лег обратно на рогожу. Она была холодная и сырая. Я ощущал ее совершенно реально, не как во сне, а...

Вдох-выдох.

Спасение есть. Спасение есть всегда; другое дело, что добрую битву я предпочитаю прочим видам сопротивления судьбе. Но теперь придется принимать чужие правила.

Я закрыл глаза.

Нет, считать до многих тысяч не годится. До утра досчитаю — а не засну.

Есть одна детская колыбельная, которой тем не менее ни в коем случае нельзя успокаивать детей. Про то, как глупый барсучонок не желает спать, отвергает одну няньку за другой, а потом в няньки приходит подземный Ых и, едва усыпив маленького дурака, начинает его жрать.

Гм. Это какой же надо было быть идиоткой барсучихе-матери. И любой няньке, поющей ребенку на ночь «Барсучка», следовало бы зашить рот...

Розовый мрамор. Розовый.

Усилие воли.

Спать. Спать...

Тот, кто испугается, попав под многосон, кто начнет будить себя, щипать, кричать, совать руки в огонь, — обречен. Всякий раз он будет просыпаться все глубже в наваждении и никогда не вернется назад.

Тот, кто сумеет сдержать себя, кто уговорит себя заснуть снова, — имеет шанс проснуться.

Спать...

Муравьи, бегущие вверх по стволу.

Бабочка среди темно-серых мраморных прожилок...

Спать!!!

Я перевернулся с боку на бок.

Никогда не уснуть. Острый камень впивается в бедро, роса выпадает прямо на обнаженную кожу, и не понять, роса это или холодный пот...

За морями, за лесами, за широкими долами жил-был маль-

чик в светлой твердыне. И были у него тетя, и бабушка, и добрая няня, а мамы и папы — не было.

И решил он построить на ручье меленку. Не потому, что у него не было хлеба, а затем, чтобы посмотреть, как вода станет вращать лопасти.

Первая лопасть — с червоточинкой. Вторая — с горелой каймой. Третья — чистая, как мрамор, четвертая — с капелькой крови, пятая — с выпавшим сучком, шестая...

Шум воды оборвался. Я поднял голову.

Мигал в стороне костерок. И все так же сидел над ним мрачный Хостик, только сваленная рядышком гора топлива уменьшилась вдвое.

Некоторое время я еще лежал, боясь пошевелиться. Потом разлепил губы и выговорил молитву-оглядку.

Горячая волна, зародившись где-то в гортани, скатилась по всему телу до самых пяток. В голове прояснилось; оглядка сработала, значит, я был жив и бодрствовал.

Обшитая железом клетка загораживала собой утреннюю звезду, в этот час поднимающуюся над горизонтом. В недрах ее не угадывалось ни движения.

А ведь девять из десяти, заснувших на этой рогожке, не проснулись бы. То, что я сейчас хлопаю в темноте глазами, для Шакала новость и удивление...

Или нет? Или он просто легонечко попробовал, на что я способен?

Говорят, далеко на востоке есть селения, полностью порабощенные Шакалами. Говорят, что люди, однажды угодившие к Шакалу в яму, возвращаются потом сонными и задумчивыми, много едят, не приносят потомства, а после смерти превращаются в растрескавшуюся глину.

Говорят, Шакалы запускают к людям собственных выродков, ничем не отличимых от живых, кроме разве что исключительной тяги к власти. Говорят, за несколько лет шакалий подкидыш способен выбиться как минимум в деревенские старосты, и как только он наденет свою «тень венца» — на селение падут моры и неурожаи, сумасшествие, пьянство и прочие погибели; мне, честно говоря, думается, что последняя легенда возникает всякий раз, когда приходит время смещать очередного бездарного старосту...

А вот про то, что Шакалы легко погружают людей в многосон, — про это я ничего прежде не слышал.

Хостик бодрствовал, я видел, как поблескивают обращенные к огню глаза. К'Рамоль... худо, если он заснул и не может выбраться.

Я бесшумно встал. Хотел окликнуть нашего стража — но почему-то раздумал, побрел к костру по росистой траве...

Очень интересно.

Тропинка под моими ногами выгнулась как живая. Как будто я шел по извивающемуся червю; не свернув, не оступившись, я оказался вдруг идущим прямиком к клетке, причем ощущение не было пугающим — скорее забавным.

Хостик не оглянулся. Кажется, он вообще меня не видел.

Я с усилием остановил собственные шагающие ноги. До клетки было рукой подать — тем не менее за железными стенками не ощущалось не то что движения — взгляда.

Разбудить Рамоля. Больно толкнуть Хостика в бок, привести в чувство. Отползти подальше и с первыми лучами солнца — в путь...

Да что я, крестьянский мальчик, чтобы со свистулькой ходить и заговоренным молоком спасаться?!

Я сжал зубы. Мое справедливое возмущение, ярость, побуждение немедленно, наперекор всему, подойти к клетке — были они действительно моими? Или ловко подсажены мне в мозги?

Я повернулся. Уставился в спину неподвижно сидящему Хостику, сделал шаг, другой... Костер послушно приблизился, я позволил себе благодушно усмехнуться — и тут же обнаружил, что стою почти перед самой клеткой, что телега просела под ее тяжестью и вот-вот треснет, что костер остался у меня за спиной, а на железных листах лежит бледный отблеск огня и моя собственная темная тень...

Уцепились, называется, за случайную подработку. Взяли «халтурку на дом»!

— Рио...

Я ухитрился не вздрогнуть.

Голос шел ниоткуда.

* * *

На площади казнили врагов серебряного венца — то есть мятежников областного масштаба; приезжий рыцарь желал понаблюдать за зрелищем, и потому лопоухий юноша-оруженосец, не испытывавший к подобным событиям никакого интереса, волей-неволей наблюдал тоже.

Мятежников было двое, и они действительно замышляли против наместника — во всяком случае, перечень их провинностей занял полчаса и заставил собравшуюся толпу зароптать от скуки. Наконец формальности были исполнены. Осужденные, оба желтые и сухие, оба надменно-неживые, оба аристократы до мозга костей, опустились на колени, и два палача, одновременно взмахнув мечами, заставили юношу-оруженосца болезненно вздрогнуть и отвести глаза.

— Интересно, — пробормотал себе под нос приезжий рыцарь, но за ревом довольной толпы его почти никто не услышал.

Спустя некоторое время — площадь уже наполовину опустела, отбыл в свой дворец удовлетворенный наместник, рабочие неторопливо разбирали складной эшафот — рыцарь с оруженосцем оказались у входа в некий подвальчик, дубовая дверь которого вечно была заперта на огромный замок. Однако именно сегодня — случайно ли? — между дверью и проемом обнаружился зазор, и несмазанные петли чуть поскрипывали в такт сквозняку — скрип-скрип... скрип-скрип...

Рыцарь постучал, предъявил свой перстень, сказал нужное слово, извлек нужное количество монеток; молодой плечистый парень, открывший скрипучую дверь, пропустил рыцаря и его спутника вниз по узкой каменной лестнице.

В сырой комнатушке обнаружились скамейка вдоль стены, пара факелов и еще один парень — копия первого, его брат-близнец, бледный, взъерошенный, с угрюмыми болезненными глазами. В тряпках, небрежно брошенных на скамью, лопоухий оруженосец с ужасом узнал заляпанные кровью балахоны палачей.

Рыцарь кивнул и выдал близнецам еще по монетке. Первый принял с благодарностью, второй так и остался сидеть, бездумно разглядывая тусклый кругляшок на ладони.

Зажжен был новый факел.

В дальнем углу, под низкими сводами, на одном столе под рогожей покоились два тела, казавшиеся неимоверно длинными из-за отдельно лежащих голов. Оруженосец обмер.

Рыцарь повелительно кивнул обоим палачам на дверь; первый повиновался через силу, второй равнодушно. Оруженосец охотно ушел бы следом — но взгляд господина не пустил его.

Рыцарь подошел к столу и коротким деловитым движением откинул рогожу, обнажая обе отрубленных головы; юноша и хотел бы отвернуться, а все-таки смотрел как завороженный.

Первый из казненных был оскален и страшен.

Второй...

Оруженосец замер, не имея возможности вздохнуть. Все внутренности свело одной долгой судорогой.

Второй из взошедших сегодня на эшафот дернул веками, причем между обрубком шеи и обрубком головы по-прежнему оставалось с ладонь окровавленной древесины.

— Вот как, — глухо сказал рыцарь. По-видимому, у него тоже перехватило горло. — Вот где...

Глаза казненного открылись. Во взгляде были боль... и насмешка.

— Пойдешь ко мне на перстень? — хрипло спросил рыцарь.

Веки того, что лежал на столе, снова дрогнули. Опустились.

Рыцарь поднял руку; рука с большим перстнем на указательном

пальце ощутимо дрожала — хоть рыцарь и пытался удержать ее неподвижно.

Юноша-оруженосец облился холодным потом.

Красный камень, не имеющий названия, тускло вспыхнул в золотой оправе. Мертвая голова на столе уронила челюсть и сделалась окончательно мертвой, темнолицей, почти черной.

Камень вспыхнул еще раз — и затаился.

* * *

Обшитая железом клетка казалась бронированным чудовищем. На боку у нее по-прежнему лежал отблеск костра — но моя тень сместилась, будто костер был солнцем и перемещался по кругу.

— Зачем? — спросил я вслух.

Будто невидимая холодная лапка пощекотала мне горло. Я закашлялся. Забормотал молитву-крепь — с перепугу самую сильную, какую только знал.

Перед глазами у меня все еще стояли красный камень, мертвая голова и бледное лицо чернокнижника-рыцаря.

Зачем? Так легко забрать власть надо мной — и показать сказку, не имеющую к делу никакого отношения?!

— Рио...

В еле различимом голосе не было угрозы. Была печальная констатация.

— Рио... Я не Шакал... я...

Воздух задрожал у меня перед глазами.

Водовороты и всплески. Ощущение полета, ощущение падения; полосы огня, текущие по медленному руслу, спрессованное время в виде редкой блеклой сетки. Нечто невообразимо могущественное, эту сеть прорывающее, пространство, стекающее тяжелыми оплавленными каплями. Сила, встающая навстречу, столкновение, схватка, схлест...

Дрожь по телу. Тишина. Ожидание.

Да что же он делает со мной? Зачем?!

Волна раздражения — чужого. Мною недовольны. Наверное, я недостаточно понятлив.

Звездное небо померкло.

...Одно из существ походило на пригоршню искр, мерцающих угольков, светящееся облачко; другое казалось клубом дыма, постоянно меняющим форму. Существа сцепились не на жизнь, а на смерть, и полем для их схватки был светлый прямоугольник, ограниченный почему-то натянутыми канатами. Время от времени

светящееся существо теряло одну из своих искорок — тогда его бесформенный противник на время отвлекался от боя и спешил затоптать огонек, погасить его ударом тяжелого щупальца, мгновенно возникавшего и тут же исчезавшего, потому что клубящееся существо ни мгновения не жило без метаморфозы...

Потом тот, что переливался искорками, ошибся и проиграл. Исход схватки был теперь делом времени; тяжелый темный противник наступал, прижимал искрящегося к канатам, добивал. Рванувшись последним усилием, искрящийся выбросил один из своих угольков далеко-далеко в сторону, за канаты, в пустоту... Там огонек и остался — одинокий, тусклый, потерянный.

Клубящийся противник обернулся — во всяком случае, впечатление было такое, что меняющее форму тело резко обернулось назад, туда, куда улетела искорка. Но вместо того чтобы по обыкновению топтать ее, он с двойным остервенением накинулся на погибающего противника. В какой-то момент я прямо-таки ощутил всесокрушающий удар...

Звезды. Снова звездное небо.

— Ты кто? — спросил я, чувствуя, как противно ворочается во рту мой собственный сухой язык.

— Я проиграл, — печально констатировали из клетки.

— Это не мое дело, — сказал я хрипло и отступил на шаг.

Клетка рывком приблизилась.

Да будь ты проклят, чудовище!

Шибанул в нос запах дыма.

Не так пахнет костер. Не так пахнет очаг. Так пахнет пожарище, розовый мрамор закопчен до черноты, и...

* * *

Бригадир Золотая Узда с удовольствием стянул сапог и размотал портянку. Пошевелил пальцами, рассеянно прислушался — во дворе истошно вопила женщина. Деловито распоряжался подбригадок Гудзь — под окнами разгорались колючие кусты, дымился хворост, но спешить покуда было некуда.

Потянувшись невообразимо длинной рукой, бригадир выбрал из кучи душистого барахла шелковый платок с белыми листьями и красными тонконогими птицами. Подбросил — невесомый шелк надолго завис в воздухе, от него исходил непривычный запах, исходил и тут же тонул в благоухании портянки.

И в запахе дыма, потому что дом уже горел.

Бригадир рывком разделил платок надвое. Удовлетворенно ворча, обмотал новоприобретенной портянкой жесткую, будто каменную ступню. Неторопливо стянул второй сапог...

Вытащить из дома все, стоящее внимания лавочников, не представлялось возможным. Пусть ребята возьмут кто что успеет; бригадиру не надо ничего. Приказ он уже исполнил — имение вывернуто наизнанку, будто завшивевшая шапка. И все выше поднимается пламя.

Поперек тропинки валялась мертвая баба. Бригадир Золотая Узда перешагнул через падаль, хрустнул каблуком на груде фарфоровых осколков, когда-то бывших посудиной, огляделся, отыскивая подбригадка...

На неестественно зеленой траве, на гладком газончике стоял тот самый пацан. В руках у него по-прежнему была игрушечная палка с колпаком, а короткие бархатные штанишки странным образом оставались сухими. Круглые глаза не отрывались от подбригадка Гудзя, который шагал через газон по направлению к щенку, и нет смысла его одергивать — основное дело сделано, а время еще есть.

За спиной у мальчишки разгоралось большое дерево. Теперь, чтобы не поджариться, он шагнет прямо в объятия подбригадку...

Полоумный щенок дернулся, выпустил свою палку и прыгнул в огонь. Бригадир разинул рот — такого балагана видать еще не доводилось!

В доме обрушилась крыша. С грохотом, от которого вздрогнул даже тугой на ухо подбригадок.

Бригадир прищурился.

Дрожащий воздух пожарища сыграл с ним скверную шутку. Ему показалось, что мальчишка стоит в огне, обнимая древесный ствол, и волосы у него на голове полыхают, а мальчишка, вместо того чтобы корчиться, требовательно выкрикивает одно и то же слово, повторяет, будто приказ...

Больше бригадир почти ничего и не видел. За всю оставшуюся жизнь.

Потому что искры горящего дома еще неслись в небо — а из костра, в который превратилось дерево с кустами и муравейником, уже шагнула навстречу бригадиру его собственная злая судьба.

* * *

...Я был мокрый с головы до пят. И уже ничего не хотелось.

Ни сопротивляться, ни разгадывать загадки. Ни бороться за Большой заказ. Ни жить не хотелось — сесть бы, привалиться к чему-нибудь и закрыть глаза.

Он действительно не Шакал. Он — существо посерьезнее!

Никогда у меня не было видений такой силы и яркости. И не лютая смерть бригадира меня поразила — бабушкин платок, разорванный на портянки...

Железный бок клетки был у самого моего лица. Руку протяни — наткнешься.

— Чего ты хочешь от меня, ты...

— Рио... Р-рио... послушай... меня.

Он отлично знал, кто я такой. На мгновение я увидел себя его глазами — каменная статуя на могиле. Идол, сминающий своим весом и могильный холм, и хрупкие кости усопшего.

— Слушай, Рио... Именно в тот день... знаешь — или нет? Именно в тот день ты переродился, ты был заклят и проклят. Вечно скитаться по дорогам... жить мечом... промышлять сталью. Спускать смерть, но с чужих рук, как собаку, — а своих не пачкать... до поры. Та, что сидит у тебя на клинке, — запрещенная смерть, если выпустишь ее, если хоть единое существо погибнет от твоей руки... мир перевернется — так сказали тебе. Мир перевернется, и сам ты умрешь. Не убивать самому... но вечно скитаться. Биться, воевать... И горе, если ослушаешься проклятия и вздумаешь... остановиться... бросить...

Я в изнеможении закрыл глаза.

Как же, пробовали. После особо удачного заказа купили домик в маленьком городе, к'Рамоль завел себе врачебный участок, Хостик нанялся к мяснику, а я...

Расплата была скорой и страшной. Покрытый язвами, смердящий, почти умирающий, я взгромоздился на лошадь, взял меч...

И на другой же день все прошло. Зажило без шрамов, и к'Рамоль клялся, что болезней таких не существует в природе.

«Заклят и проклят». Без Шакалов знаем.

— Ну и что?

Над клеткой зеленоватым заревом встала усталость. Повисела в воздухе и легла мне на плечи — ноги подогнулись, я сел.

— Ри-о... Я умираю...

Я молчал. Чего-то подобного, впрочем, следовало ожидать. Уж больно нахрапист был тот его темный противник, меняющий форму.

— Помоги мне, Рио... Помоги мне!

А вот это новость. Что *я* могу помочь *ему*!

Я снова увидел себя его глазами — стальная оболочка, заключившая в себе маленького полуживого узника.

— Давно... в огне... ты воззвал к Неведомому... Пожелал силы. Сила дана тебе... взамен... за другой дар. Дар, которым ты владел по праву рождения... вспомни!

Я стиснул зубы.

Я отлично помню, что мир был другим. Была возможность думать легко и много, и думать исключительно о приятных, интересных вещах. Мысли приходили извне — и изнутри; второе было самым захватывающим, подобным полету на парусиновых

крыльях, и мир тогда казался упорядоченным, красивым и сложным, как узор на бабочкином крыле, как конструкция летательного аппарата, собранного собственными руками и испробованного только однажды, над озером...

Мир был цветным. Это сейчас, говоря о цвете, я имею в виду только разные оттенки серого — а тогда слово «розовый» еще не было пустым звуком. Это сейчас мои мысли текут по ровной протоптанной дорожке, по узкой норе, руки сами знают, как держать меч, каждая мышца знает свое дело, а мысли катятся, будто пустая телега, я не пытаюсь и вспомнить, каким был мир, потому что «узор на крыле» — всего лишь бессмысленные слова.

Тот, кем я был, никогда не вернется. Хотя и Шакалу ясно, как хотелось бы мне оглядеться его глазами — хоть на мгновение, хоть на минуту...

— Так чего ты хочешь от меня?!

— Оглянись.

Я оглянулся.

Он стоял в нескольких шагах от меня. За спиной его мерцал костер, и у костра мирно спал Хостик — недремлющий страж.

Высокий, с меня ростом. Лица не видно; руки скрещены на груди, на правой четыре пальца, на левой — шесть. Человекоподобный. Видимо, тот его искрящийся образ был всего лишь картинкой, аллегорией.

— Помоги мне, Рио. А я помогу тебе. Сниму... заклятие.

— Врешь, — пробормотал я, покрываясь холодным потом. — Не верю.

Он протянул четырехпалую руку в сторону, ладонью вверх; на ладони возник огонек, маленький и желтый, как пламя свечи, и этот, который не был Шакалом, поднес огонек к лицу, я увидел крючковатый нос и длинные, узкие глаза — от переносицы до самых висков.

— Помоги мне, Рио. Подари...

Он замолчал.

— Что? — спросил я механически.

— Подари мне... одну вещь. Я хорошо отплачу... сниму заклятие. Поверь, я могу... это сделать.

Вдалеке заухал филин. Я против своей воли вообразил — вот меня касается волшебная палочка, и я превращаюсь из железного чудища в маленького мальчика в коротких штанишках, с сачком для ловли бабочек...

Хотя нет. Я давно уже должен быть взрослым.

НЕ ВЕРЮ!

Верю... Верю! Хочу верить.

Непостижимое, могущественное существо. Да еще умирающее... Ведь он действительно умирал — теперь даже я чуял обреченность, колпаком висящую над его головой.

— Помоги мне, Рио. Подари... эту вещь. Я тебя не обману.

— У меня нет ничего, что могло бы...

— У тебя есть.

Он послал мне новое видение, и поначалу мне показалось, что он хочет, чтобы я его убил.

Секундой спустя, когда ноги сами несли меня по направлению к костру, а неслышно возникший меч примеривался к шее неподвижно сидящего Хостика, — тогда я понял, чего он хочет. И разозлился, и с силой всадил меч обратно в ножны — так, что одурманенный Хоста очнулся и обернулся на звук. Против света его глаза казались абсолютно черными:

— Рио? Ты...

Тот, кого крестьяне приняли за Шакала, действительно хотел, чтобы я убил. Но не его.

Чтобы я просто убил.

Он желал получить смерть, сидящую на моем клинке. На моем клинке, в моей руке... Вот что подразумевалось под «этой вещью»!

Зачем? Что он будет с ней делать?!

Тем временем Хостик не думал сопротивляться. Вероятно, наведенный дурман еще не рассеялся; лохматая голова моего подельщика склонилась, приглашающе подставляя шею.

Примолкли цикады. Над клеткой поднялась наконец утренняя звезда — верный знак того, что небо вот-вот побледнеет.

— Сволочь, — выдавил я, непонятно кого имея в виду. Не то Шакала, не то себя.

«Преодолей запрет, — неслышно велел тот, что стоял сейчас у меня за спиной. — Преодолей сейчас, я помогу тебе! Преступи черту, запрещающую тебе убивать, — ничего не случится, потому что я сниму с тебя заклятие. То, что высвободится после твоего удара, принадлежит мне, я заберу его и уйду, оставив тебя с твоей настоящей сущностью, цветным миром и восстановившейся памятью».

— Сволочь... — повторил я, глядя на покорно подставленную Хостикину шею.

В моей руке снова был меч. Безымянный. Бесхарактерный. У меча не может быть воли — это не сталь ищет крови, это моя рука еле сдерживается, чтобы не отделить Хостикину голову от туловища. Это не Шакал подталкивает меня под локоть, это мое собственное неудержимое желание. Освободиться...

А Хостик, если вдуматься, вполне заслуживает смерти. Сколько жизней он загубил, еще будучи городским палачом, и потом, у меня на службе — не сосчитать!

Меч взлетел.

Прославленные мастера поединков говаривали, качая головами, что в бою я двигаюсь «между секундами». Только что меч

был здесь — и вот он уже там, и размазанная в воздухе стальная дорожка — единственное, за чем уследить глазу...

Меч упал.

ЧУМАК ГРИНЬ, СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Первым человеком, которого встретил Гринь у родной околицы, оказалась Лышка, хромоногая мельничиха. Ленивица попрежнему не ходила к колодцу, предпочитая таскать воду из-под самого моста — потому языкастые соседки давно решили, что у Лышки в борще квакают жабенята. В ответ на приветствие мельничиха буркнула что-то угрюмо-настороженное — и лишь мгновение спустя разинула удивленный рот:

— Гринь! Батюшки-светы, Гринь! А я, дура, не признала! Какой-такой, думаю, парень прется, и торба на плечах, чистый ворюга... А что, Гринь, много заработал? Гостинцы несешь?

Лышкины глаза были как два ужа — черные и верткие. Подол линялой плахты окунулся в стоящее у ног ведро — мельничиха и не заметила; сейчас она жадно рассмотрит пришельца со всех сторон, чтобы тут же, забыв о ведре, кинуться со всех ног в село, понести новость.

— День добрый, теточка Лышка. Мать моя здорова? — Гринь поудобнее устроил торбу на натруженных плечах.

На дне Лышкиных глаз что-то мелькнуло. Будто бы взмахнул крылом нетопырь:

— А как же... Здорова, Ярина-то. Бог дал...

Лышка вдруг осеклась, будто с языка ее сорвалось нечто непристойное. Суетливо схватилась за коромысло:

— Недосуг мне! Прощай, Гринь.

— Прощайте, — отозвался Гринь удивленно.

Он не топтал эту улицу вот уже без малого год.

Знакомые плетни. Перелазы, вытертые теперь уже чужими штанами, перекресток, колодец, у которого обыкновенно судачат две или три молодки.

На этот раз молодок было шестеро. Целая толпа; все они, как по команде, уставились на Гриня, но едва он пытался поймать чей-нибудь взгляд — глаза ускользали, будто ненароком.

Подойдя поближе, Гринь скинул шапку:

— Будьте здоровы, теточки... А я вот, вернулся.

Шепоток. Переглядка.

— И ты будь здоров, Гринь, — как бы нехотя проговорила дьячиха, широкая, как поле, краснолицая, в объемистом желтом кожухе. — С возвращеньицем...

Гринь поклонился, как велит вежливость. Снова взвалил на себя торбу, пошел прочь, причем чужие взгляды тянулись за

ним, как поводки. Так и хотелось передернуть плечами, обернуться — но оборачиваться было нельзя.

Нехорошее предчувствие, возникшее еще там, у моста, росло и росло, постепенно пересиливая радость возвращения. И одновременно крепло чувство, что он, Гринь, никуда и не уезжал — ничего не изменилось, знакомый камень все так же лежал справа от ворот, и Бровко залаял совершенно привычно — все тот же Бровко, уцелел, не сдох, красавец, за год!

Ворота не были заперты.

— Мама!

Окошко светилось. На снегу, синем в наступающих сумерках, лежало желтое, теплое пятно. Из трубы валил дым — ох и топит мать, на славу топит, как будто ждет...

— Мама!!!

Палец сам лег на знакомую защелку. Как будто и не было года.

Дверь поддалась. В сенях пахло детством — Гринь даже зажмурился. Осторожно прикрыл за собой внешнюю дверь, легонько толкнул внутреннюю.

У входа лежал новый, новехонький, яркий половичок. Гринь остановился, не решаясь ступить на него мокрым сапогом; взгляд его побежал по пестрой дорожке, заметался по знакомой комнате, чисто прибранной, украшенной, будто перед праздником...

Мать стояла в дальнем углу, у окна. В руке ее было зеркальце на длинной ручке; мать стояла, белая тонкая сорочка падала до щиколоток, черные волосы, без единого седого волоска, были ненамного короче. Дверь привычно скрипнула — мать обернулась; в первую секунду Гриню показалось, что она действительно его ждала. Что, как в сказках, она издали ощутила его приближение и сейчас улыбнется и скажет без удивления: а вот и ты!

Мать улыбнулась.

В следующую секунду улыбка ее застыла. Как будто вместо родного сына перед ней оказался чужой, незнакомый, без стука ворвавшийся мужик.

«Неужели я так изменился?!» — в панике подумал Гринь.

Мать проглотила слюну. Улыбнулась снова, бледно и как-то испуганно:

— Сынок...

Не заботясь более о чистоте половичка, Гринь в два шага преодолел разделяющее их расстояние, бухнулся на колени. И уткнулся матери в ладони.

* * *

Падал снег.

Гринь шагал сквозь снегопад, и ноги его, вдоль и поперек исходившие большую степь, теперь немели, ступали, как в вату.

Он много раз воображал, как это будет. Мысленно стучал в ворота, дожидался приглашения, входил, кланялся Оксаниным родителям. Доставал подарки... В селе не видывали еще таких подарков. Шкатулка, расписанная золотом, а в ней шелковый платок с серебряной нитью и тяжелые дорогие ожерелья.

Зашлись лаем собаки — сперва во дворе, а потом уже по всей округе. Казалось, все село разразилось лаем, спеша сообщить Оксане, что вернулся жених.

— Кто там?

Разве еще не донесли? Новость, поди, еще вчера расползлась по селу, разве что глухой не услышит!

— Это я, теточка Явдоха. Гринь.

Молчание. Тревога, впервые возникшая еще вчера, у моста, тревога, померкшая было перед радостью, теперь вынырнула снова, потому что не молчать должна Оксанина мать — распахивать ворота, двери, пристрастно расспрашивать о заработке, выслушивать, кивать, звать Оксану...

— Ты один?

Гринь переступил с ноги на ногу — негромко скрипнул снег. Что, надо было приходить сразу же со сватами?

— Один, теточка Явдоха.

Ворота приотворились, пропуская Гриня в узкую щелку. И сразу же закрылись за его спиной.

Теточка Явдоха, Оксанина мать, стояла под снегом простоволосая, куталась в наброшенный на плечи платок, смотрела исподлобья и так странно, что ладони Гриня, сжимавшие шкатулку, сразу же взмокли.

— С матерью виделся?

Гринь захлопал заиндевевшими ресницами. Явдоха вздохнула, мельком взглянула на шкатулку в руках гостя, насупилась:

— Ты, Гринь, зла не держи... Не пущу тебя в хату. Оксану позову. Ты тут постой.

Повернулась и ушла в дом, тяжело хлопнув дверью; собаки хрипло ворчали на цепи, из-за изморози на окнах дом казался бельмастым, на Гриня глядел единственный черный зрачок, смотровое окошко в том месте, где на стекло долго дышали.

Он много раз воображал себе, как это будет. Совсем не так. Совсем не так. Неправильно...

Скрипнула дверь. Лязгнула защелка. Гринь проглотил слюну.

Оксана изменилась. И в то же время Оксана единственная была *правильная* — из той его мечты, когда, меряя степь шагами, слушая гудение слепней да скрип колес, Гринь представлял эту их встречу.

Оксана больше не была подростком. Меховая безрукавка едва сходилась на раздавшейся груди, лицо потеряло детскую ок-

руглость, но все такими же удивленными были глаза и такими же мягкими — губы...

И щеки, вспыхнув на морозе, сразу же сделались как красная смородина. И брови лежали, будто две угольные ленты.

Хорошо, что у Гриня был подарок. А то он точно не знал бы, куда смотреть, что делать...

— Вот! — Он протянул шкатулку.

Оксана, помедлив, взяла.

— Ты посмотри, какая шкатулка! Жары-птицы нарисованы... и посмотри, что под крышкой.

— Долго ты ходил, — сказала Оксана, не глядя на подарок.

Гринь шевельнул ноздрями:

— Долго? Другого нашла?

Слова вырвались сами по себе. Дало о себе знать растущее напряжение.

Оксана подняла глаза. Гринь обомлел под этим взглядом.

— Тебя ждала.

Маленькое оконце в изморози было третьим собеседником. Гринь постоянно чувствовал на себе пристальный взгляд.

— Тебя, говорю, ждала.

Молчание. Оксана прижимала шкатулку к груди, смотрела в снег.

— Так засылать сватов? — спросил Гринь, сам понимая, какой он сейчас глупый.

Оксана мотнула головой. Сбился на ухо платок; Гринь ощутил, как немеют щеки.

— Что, не пойдешь за меня?

Оксана подняла голову. Глаза ее были, как уголья, злые — и мокрые:

— Мать твоя... с нечистым спуталась! С тем, кто в скале сидит. С исчезником. Отец сказал — не отдаст меня за чортова пасынка. Я и сама не пойду... зачем мне в свекрухи — ведьма?!

Снег пошел гуще. Ложился Гриню на плечи, таял на Оксаниных ресницах. А на собачьей шерсти уже и не таял — пес лежал, прикрыв нос лохматым хвостом, превращаясь понемногу в сугроб.

«Неправда», — хотел сказать Гринь.

За черным смотровым оконцем, прогретым людским дыханием, прятался чей-то пристальный глаз.

— Я много денег заработал, — сказал Гринь непонятно зачем.

Оксана молчала.

— Я... сто ярмарок обходил. Всю степь... из конца в конец...

Тишина.

— Я же люблю тебя, — пробормотал Гринь, и ему показалось, что весь снег этой долгой зимы навалился ему на плечи.

Оксана посмотрела на шкатулку. Хотела, кажется, вернуть — но не решилась, слишком яркая жар-птица танцевала на крышке. Золотой и серебряный шлейф, черные глаза, красные перья...

Оксана опустила плечи и, прижимая шкатулку к груди, вернулась в дом.

Снег валил и валил.

* * *

— Мама!

По дороге домой Гринь не стал заходить в шинок. Он и прежде не любил шума и чада, а теперь ведь были еще и взгляды, и любопытство односельчан. А соседи, наверное, только того и ждали — сын Ярины явится в шинок, чтобы утопить в чарке свое нежданное горе...

— Мама!! — Гринь грохнул дверью. Вошел в дом, оставляя на полосатой дорожке хлопья мокрого снега. — Мама!!!

— Чего кричишь?

Мать, одетая на этот раз по-будничному, опустила ухват, которым только что вытащила из печки горшок с кашей. Посмотрела на Гриня устало и чуть раздраженно.

— Чего кричишь?

Гринь стоял посреди комнаты, снег таял у него на плечах, на волосах, на сапогах, мокрыми комьями падал на пол, растекался лужей.

Мать отвернулась. Наклонилась, подцепила ухватом другой горшок, вытащила — по комнате разошелся вкусный, пряный запах мяса.

Гринь прошел к лавке. Сел, не снимая кожуха, стал стягивать сапоги.

Мать молчала. Чего-то ждала; передник перехватывал ее талию, и Гринь с ужасом увидел вдруг, что стройная материна фигура испорчена явно округлившимся животом. Что только слепой, только круглый дурачок мог не разглядеть этого сразу же...

Слова так и остались у него в глотке. Гринь сидел, по-детски разинув рот, вытянув ноги — одну разутую, другую в мокром сапоге.

— Что смотришь, сынок?

Гринь сглотнул.

— Ты не смотри так, Гринюша, не смотри. Не тебе мать судить. Ты и не суди...

Гриню вспомнились Оксанины глаза. Злые и мокрые.

— Уж помру я — тогда судить меня станут, — мать поставила миску на стол. — Обедать будешь?

Гринь отвел глаза.

Рядом, на крышке сундука, стояли красные сапожки — дорогой подарок, привезенный Гринем из чужих земель. Мягонькая кожа, высокое голенище, подбитый железом каблучок...

Сам не зная зачем, Гринь взял сапожки в руки. Нога у матери всегда была на диво маленькая — даже сапожник удивлялся, принимая заказ.

Ему захотелось швырнуть сапожки матери в лицо. Сбросить на пол горячие горшки, долго и с удовольствием топтаться по черепкам, по дымящейся каше.

Вместо этого он снова поставил подарок на крышку сундука. Повернулся, пошел к двери; вспомнил что-то, вернулся, подобрал свой сапог, в сенях натянул...

А снег все шел и шел.

* * *

Шинкарь улыбался. Гринь знал, что, выпив еще чарку-другую, он непременно полезет бить шинкаря. И успеет ударить раз или два, пока не оттащат. Шинкарю хватит. Зальется кровью, начнет голосить противным бабьим голосом.

Он сидел в углу, за пустым столом. В шинке было людно и душно, соседи теснили друг друга на широких лавках — и только рядом с Гринем никто не садился, один шинкарь подбегал иногда, угодливо спрашивая, не подать ли чего.

Его не то чтобы не замечали. Кое-кто с ним здоровался и даже спрашивал о делах — Гринь отвечал односложно. На него смотрели все или почти все; надо было встать и уйти, но идти было некуда, а потому Гринь сидел и пил, благо денег было в достатке.

Двигались челюсти, и крошки застревали в чьих-то усах. Гринь пил, гадливо вытирая губы; напротив сидела компания друзей его детства — Матня, Колган и Василек. Друзья в открытую переглядывались, толкались под столом ногами; друзья сильно заматерели за то время, пока Гринь их не видел. Матня неимоверно раздался в плечах, Колган пощипывал густой жесткий ус, Василек сделался похож на своего отца, плотника, про которого говорили: «рожа, как рогожа».

Гринь пил и не пьянел. Друзья пьянели, наливались краской, голоса их становились все громче:

— ...А и спросил бы!

— Батюшкой он его зовет или как?

— Так спроси, спроси...

Матня, пошатываясь, встал. Выбрался из-за стола; Гринь уже знал, куда он идет и зачем.

— А-а-а, — сказал Матня, останавливаясь перед бывшим приятелем. — Много денег заработал, чумак?

— Хватит, — отозвался Гринь и поставил на стол пустую чарку.

— А-а-а... за неделю пропьешь? А за две?

— Хоть бы и пропью — тебя не угощу.

— А что так? — Матня улыбнулся совсем по-приятельски. — Чего ж друга — да и не угостить?

Гринь долго смотрел на него. Потом, не говоря ни слова, плеснул из бутылки в пустую чарку, плеснул и расплескал. Пододвинул чарку Матне:

— А хоть бы и пей!

Матня скривил губы:

— Мне после тебя гадостно пить. Может, ты с новым отчимом своим целовался уже?

Гринь прижал ладони к столу. Плотно-плотно, будто налили под них крепкий столярный клей.

— Чадно, — сказал наконец сквозь зубы. — Выйдем?

Матня свирепо усмехнулся, как будто только того и ждал.

— Выйдем.

Колган и Василек поднялись тоже. И весь шинок смотрел, как они выходили — впереди Гринь, бледный и с перекошенным ртом, следом, ухмыляясь, дружная троица...

Снег улегся. Посреди неба висела желтая половинка луны. Гринь остановился посреди безлюдной улицы; собаки, немного побрехав, угомонились.

Гринь посмотрел в лицо Матне, выбирая слова. И не выбрал; Матня заговорил первым, Колган и Василек стояли у него за спиной.

— Что, чортов пасынок? Что вылупился, как сыч на святую паску?

Гринь молчал. С Матней они вместе крали у попа яблоки — за что оба бывали биты одними вожжами.

— Ублюдка ведьмачьего нянчить будешь? — это Колган.

— Не возвращаться бы тебе, чумак, — это Василек. — Лучше бы тебя телега переехала...

Василька Гринь однажды отбил от двух мальчишек из соседнего села. Те подловили чужака на своей меже и собирались посчитать ему зубы.

— Что сопишь? Мать твоя...

Он сказал, и тогда Гринь без размаха вколотил это слово обратно Матне в пасть. Жилистый возничий Круть, у которого Гринь долгое время был за подручного, научил его бить без размаха. Как гадюка кусает.

Матня, казалось, поперхнулся собственным языком. Глаза его сделались белыми — видно даже при свете луны.

Василька Гринь отбросил, но Колган успел ударить бывшего приятеля по уху так, что ночь зазвенела. Проснулись собаки; Гринь отбил второй удар Колгана и тут же ударил сам. Собаки

заходились; дверь шинка оставалась плотно закрытой, как будто все, что творилось на улице, никому не было интересно. Василек и окровавленный Матня кинулись одновременно и повалили Гриня в снег. Подскочил Колган и принялся бить под ребра носком сапога, Гринь взвыл и вскочил на ноги, но Василек подсек его сзади, Матня толкнул, а Колган ударил сапогом теперь уже по лицу...

И все сразу кончилось. Хрустел снег под ногами троих убегающих парней, Гринь сел и сквозь кровь, заливающую глаза, успел увидеть, как несутся вдоль улицы двое, помогая бежать третьему.

«Это Матня, — подумал Гринь. — Я ему чуть башку не снес...»

Белый снег был спрыснут черным. Ни о чем не думая, Гринь поднес к лицу холодный до боли комок, приложил ко лбу...

И понял, что собаки мертво молчат. Хотя за минуту до того заходились лаем.

Он оглянулся.

В трех шагах, у чьего-то плетня, стоял, подпирая луну плечом, высокий темный силуэт. Гринь сидел и все всматривался, все вглядывался, а снег подмигивал под луной, заливая ночь, будто маревом.

— Вставай.

Царапнул по коже озноб. Гринь зачем-то обернулся вслед убежавшим парням, но улица была пуста, и собаки по-прежнему молчали.

Поблескивал снег. Гринь поднялся сперва на четвереньки, а потом и на ноги; в висках застучало горячо и часто.

— Хорошо тебе? В родном доме? — спросили из темноты.

— Плохо, — сказал Гринь, перекосившись от боли в боку.

— Вот и уходи... раз плохо. Здоровый мужик, нечего у матери на шее висеть.

Гринь проглотил слюну пополам с кровью.

Среди чумаков он слыл едва ли не скрягой. Другие заработчане половину всякого заработка оставляли в мошне шинкаря либо под матрасом веселой вдовы — а Гринь, стиснув зубы, ужимался и копил. Для того, чтобы стать достойным Оксаны. Для того, чтобы мать в старости не знала нужды.

Он не висел на материной шее с того самого дня, когда ему впервые пошили штаны и отправили пасти свиней. Оскорбление было сильнее боли и сильнее страха: Гринь шагнул вперед и встал перед темной тенью лицом к лицу.

— Не уйду. Сам уходи! Попа позову, пусть кадит... Выживу тебя, чертяра!

Тот, что стоял перед ним, растянул черные, как у собаки, губы.

При свете луны и при свете снега Гринь увидел, что глаза у

него узкие и длинные, от переносицы до самых ушей, а руки скрещены на груди, и на одной руке четыре пальца, а на другой — много, шесть...

Гринь замолчал, обомлев. Уж не мерещится ли?

— Уходи, — сказал стоящий перед ним исчезник. — Тебе же лучше будет, когда уйдешь... Уходи из села. Чтобы духу твоего здесь не было.

Повернулся, шагнул в тень, исчез.

Распахнулась дверь шинка, и прямо в снег вывалился, бормоча, довольный пьяница.

* * *

— Батюшки-светы! Кто ж тебе ребра так посчитал-то?!

Он долго стоял бы под дверью, не решаясь переступить порог отчего дома, — но мать услыхала, выскочила, взяла под руки, привела и усадила на лавку, с трудом стянула сапоги:

— Ох, Гриня, ох, сынку неразумный! Все бы кулаки чесать... Эх... Есть будешь?

Он через силу мотнул головой. Вероятно, от него разило перегаром, как в свое время от отца, когда тот, вернувшись с удачной ярмарки, становился на пороге и обводил комнату хмельными глазами навыкате.

— Ну, так ложись, Гринечка... Спи, сынку, утром посмотрим, что будет... утром поговорим.

Она прятала глаза, хотя в комнате было сейчас куда темнее, чем на улице, под ночным небом.

Уложила Гриня на лавке. Заботливо укрыла кожухом, сама, повозившись, залезла на печь, долго ворочалась, вздыхала, мостилась...

Закричали за окном дурные петухи. Один, другой, третий... Завопил в сарае пестрый горлач, тот самый, которого собирались пустить в суп еще год назад, провожая Гриня на заработки. Выжил горлач.

— Он же страшный, как смертный грех, — сказал Гринь разбитыми губами. — Как же вы... мама...

В доме стояла тишина. Такой тишины никогда не бывает, когда люди действительно спят. Теплился огонек перед образами — выходит, и образа *тому* не помеха и не указ!

— Мама... — проговорил Гринь неожиданно тонко и жалобно. И замолчал.

Тяжелый кожух давил на грудь, а дышать и без того было больно.

— Мама... я ведь хотел... хочу... жену в дом, помощницу вам... Оксану. Деньги есть теперь... жили бы... к батьке на могилу...

Горлач закричал снова — победно. Будто не старым ободран-

ным петухом был, не сегодня-завтра предназначенным топору и колоде, — будто был ловчей птицей на плече государя.

Скоро рассвет.

РИО, СТРАНСТВУЮЩИЙ ГЕРОЙ

Все города этого мира, все областные и районные центры — всего лишь тени великой Столицы. Тот, кто Столицы не видел, — не в состоянии понять всю правоту этого утверждения.

Входя в город, новоприбывшие мыли сапоги в специальном бассейне, лошадей же и телеги прогоняли через широкую канаву с чистым песком на дне. И это было не самодурством стражи, а насущной необходимостью.

Мостовые в Столице лежали мозаикой — плиточка к плиточке. На окраинах мозаичные картины изобиловали сценами прилежного труда — кузнецов, землепашцев, гончаров, портных, кожемяк, переписчиков; ближе к центру начинались подробности жизни купечества, а центральная площадь была, по сути, развернутой летописью властительско-княжеского рода. Приезжие не смотрели по сторонам — все как один пялились себе под ноги и при ходьбе налетали на прохожих; на наших глазах какой-то близорукий всадник чуть не выпал из седла — так хотелось ему разглядеть сцену купания дородной глянцевой купчихи, сложенную из полированных осколков мрамора, черного гранита и слюды. Тем временем архитектура Столицы достойна была внимания никак не меньше мозаичных мостовых — по сторонам смотреть было даже интереснее.

Я смотрел, и привычное спокойствие, за много лет сделавшееся основной частью моей натуры, теперь меня раздражало.

К'Рамоль ехал, чуть откинувшись в седле, задрав подбородок, более всего боясь быть похожим на провинциального лекаря. Хостик играл равнодушие — но глаза его, время от времени постреливавшие по сторонам, делали эту игру не вполне правдоподобной. На к'Рамоля косились с интересом, на Хостика — с ужасом, на меня — как обычно.

Наш подконвойный умер. Когда в районном центре два крепостных кузнеца расклепали наконец клетку, на железном полу ее обнаружился остывший труп; районный наместник в бронзовой короне принялся костерить тупых крестьян, уморивших, в угоду идиотским суевериям, обыкновенного урода с неравным числом пальцев на руках и ногах. Районный наместник был человеком просвещенным и без предрассудков — но едва лишь тело мнимого Шакала сгрузили на землю, как земля расступилась, подобно трясине. Секунду еще торчали над ее поверхностью скрюченные руки — а потом и рук не стало. Подневольные куз-

нецы, полжизни проведшие в рабстве и всякого навидавшиеся, одновременно лишились чувств, а наместник сделался белый, как мука, долго шевелил губами и наконец выдавил из себя, что, мол, нас здесь не было и мы ничего не видели.

Мы согласились, даже не переглядываясь.

Когда меч мой упал, напополам разрубив толстенную корягу, на которой сидел, подставив шею, Хостик...

Говорят, всякий уважающий себя герой время от времени меняет подельщиков. Как перчатки. При помощи хорошего удара мечом.

Коряга переполовинилась, Хостик пришел в себя. Вздрогнул и поднял голову. Мы встретились глазами...

Чувство упущенного шанса, единственного в жизни, золотого шанса — не лучшее ощущение. Не самое приятное.

Шакал так и не получил того, что сидело у меня на клинке. Шакал разочаровался и умер — в злобе и отчаянии.

А за мгновение до смерти он успел доказать мне, что все мои надежды когда-нибудь снять заклятие — не более чем дым. Смрадный дым от горящей ветоши. А значит, жить мне до конца жизни бронированной машиной с запретом на убийство. И таскать за собой двух дураков — одного лекаря, другого палача.

Я перевел дыхание.

Шакалу все равно хуже, чем мне. Наверное, теперь я никогда не узнаю, кем или чем он был. Получив желаемое, он сохранил бы свою жизнь? Или «эта вещь» нужна была для другого — для мести, например?

— Площадь, — с благоговением в голосе сказал к'Рамоль. — Рио, поворачивай!

Копыта наших лошадей прошлись по батальной сцене, выложенной из базальта с вкраплением хрусталя. Князя, его войско и врагов можно было легко различить по одежде и штандартам; искусники, сто лет назад мостившие площадь, строго придерживались основного правила: лица властительных особ на мостовую не класть. Нечего топтаться по лицам; другое дело — многолюдная батальная сцена. Или бал во дворце, или охота, или погоня, или рождение наследника — общим планом, со множеством персонажей, среди которых не сразу отыщешь роженицу...

В десяти шагах от нас деловитый патруль дворцовой стражи поймал крестьянина, явившегося на священную площадь в недостаточно чистых башмаках. Тут уж вопи — не вопи, оправдывайся — не оправдывайся, чистота ног — для городских жителей прямо-таки болезненная проблема!

Хостик поморщился. С тех пор как я неудачно пытался отрубить ему голову, и без того замкнутый характер моего подельщика обогатился еще и нервозностью — он вздрагивал от громких звуков и терпеть не мог открытого насилия, вот как сейчас, когда два стражника, стянув с крестьянина обувку, волокут его голыми пятками по мостовой, и ясно куда волокут — на расправу.

Дорога на Столицу подарила нам еще одно вооруженное столкновение, на этот раз с обыкновенными разбойниками. Прежде чем нападавшие догадались дать деру, мой меч отметил троих; двоих к'Рамоль безропотно перевязал, обильно умастив бальзамом, а третьего пришлось добить, и лицо Хостика по обыкновению не выражало ничего, но мне показалось, что рука со стилетом дрогнула...

Я тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли.

Мы были уже прямо перед дворцом. Мостовая здесь как бы загибалась кверху, плавно переходя в мозаичную стену; в нескольких шагах от стены имелось заграждение — бархатные канаты, провисшие между медными столбиками. К стене подходить воспрещалось, потому что тут-то неведомые мастера перешли от общих сцен к портретам — все князья, когда-либо занимавшие престол, областные наместники в серебряных коронах, районные наместники в бронзовых венцах и венцах из белой кости, управители, распорядители и деревенские старосты в коронах из красного дерева, липы и можжевельника — все они толпились здесь плечом к плечу и, казалось, даже будучи выложенными из крохотных осколков аметиста и яшмы, продолжают невидимо толкаться, оттирать тех, кто пониже званием, на задний план.

Ибо места на стене было не так уж много, а на правом фланге оставлено было свободное пространство — для властителей грядущих.

— Проходи, проходи... Не задерживайся, всем посмотреть охота!

Я обернулся к стражнику — и тот прикусил язык. Тем более что рядом спешился Хостик, а это тебе не хухры-мухры, не крестьян обучать, как башмаки чистить.

Однако долго задерживаться все равно не следует. Сзади напирает толпа, а дело не ждет — мы и так явились в город с опозданием.

Я пробежал взглядом по лицам властителей второй и третьей руки. Я разыскивал отца; я узнал бы его, если бы изображение было подлинным, — но отец никогда не позировал рисовальщикам, а значит, фигура, условно изображающая наместника Рио, носит здесь совершенно случайное, чужое лицо.

Я посмотрел на властителей в золотых коронах, занимавших первый план гигантской мозаичной картины. Посмотрел — и

еще раз поразился мастерству старых художников... впрочем, не таких-то и старых. Нынешнего князя кто-то совсем недавно подновил — добавил лицу солидности, пришедшей с годами; всматриваясь в это лицо, я осознал вдруг, что прежде видел его, и не так уж давно. Вероятно, мне на глаза попалось какое-то изображение властителя, подлинное, не искаженное в угоду глупому суеверию — рисовать портреты не похоже, чтобы труднее было сглазить.

Я перевел взгляд на портрет старого князя, приходившегося нынешнему властителю отцом. Пригляделся и вздрогнул: это лицо — или очень похожее — я тоже где-то видел, хотя старый князь совсем не походил на нынешнего. В меру одутловатый — мастерство художника позволяло приукрашивать без ущерба для сходства, — в меру невысокий мужчина в золотой короне, с правой рукой, лежащей на плече отрока-наследника, нынешнего князя в детстве... Большая часть мозаичных властителей держала руки на плечах сыновей, и только те, что умерли, передав престол братьям и племянникам, держались за рукояти мечей. Рука нынешнего властителя как бы повисла в воздухе — предполагалось, что скоро рядышком появится изображение мальчика, но поскольку нынешнему наследнику от роду три года, помещать его портрет в мозаичную летопись пока рановато.

Нужно было уходить, но я почему-то не мог оторвать взгляда от таких знакомых каменных лиц. Отчего-то эти лица внушали мне тревогу, но я заранее знал, что причин ее сейчас не пойму, и только старался запомнить картину получше, врезать в память, чтобы потом, на досуге, легко было припомнить.

Прежнему-мне, тому, что никогда теперь не выйдет на свободу, достаточно было однажды взглянуть на любое изображение, чтобы запомнить его точно и навсегда. Учителя перегладывались со значением; однажды прочитав книгу, я никогда уже не забывал ни слова с ее страниц...

— Идем, Рио, — сказал к'Рамоль.

И мы пошли.

* * *

— Погодите-ка... Рио, Рио...

— Так звали серебряного наместника Троеречья. Был такой район, прежде чем каждая из рек получила самостоятельность.

Князь чуть нахмурился:

— А-а-а...

И больше ничего не сказал. Как будто только этот негромкий возглас мог вместить в себя все эмоции, связанные с делом Троеречья.

Князь походил на свое изображение. Не в точности, но все-

таки здорово походил; глядя, как он улыбается и кивает очередному претенденту на Большой заказ, я ощущал легкий холодок между ребер.

Потому что еще секунда, казалось, и я вспомню, где я видел это лицо... Не на портрете, нет. Вживую.

— Погодите-ка!.. Да, семейство достойного наместника Рио удалилось от привычного общества... жило где-то на острове, если мне не изменяет память... да. Хм!

Между рыжеватыми бровями князя пролегли две неглубокие складочки. Вероятно, он вспомнил, чем закончилось пребывание семейства Рио в добровольном изгнании.

— Хм... Говорили одно время, что сын достойного наместника Рио...

Он запнулся, как бы позволяя мне прервать его и без того не законченную фразу.

— Ложные слухи о моей смерти впервые возникли в день моего рождения, — я натянуто улыбнулся. — К сожалению, этот день стал последним для моей матери.

Князь сочувствующе покивал и перешел к следующему претенденту — а мы, соискатели, стояли неровной шеренгой, как бы непринужденно — и одновременно в некоем подобии строя. Успели к сроку и документально доказали свою состоятельность двенадцать человек; каждого сопровождала небольшая свита, и мои к'Рамоль с Хостиком благополучно терялись на общем пестром фоне. Что ж, начало вполне удачное.

— ...Вынужден предупредить, что нынешний, с позволения сказать, заказ имеет свою специфику. Возможно, задание потребует от господ героев несколько необычных, гм, свойств и навыков...

— Магия, — негромко сказал своему спутнику белобрысый крепыш, стоявший справа от меня. — Предложит игру с магическими штучками.

Я почему-то был уверен, что князь расслышал эти слова. Хотя крепыш говорил тихо и от властителя его отделяло пространство в половину бального зала.

— ...возможно, придется иметь дело и с магией... но только косвенно, господа, только косвенно. Разумеется, выполнение заказа точно и в срок будет вознаграждено, и не только деньгами. Дюжина претендентов — добрый знак. Господа, каюсь, я собирал о вас сведения. Возможно, мне повезло, как никому из смертных, потому что я нахожусь в одном зале с целым сонмом исключительных людей. Из двенадцати семеро носят звание Непобедимого...

По толпе собравшихся прошел шепоток. Герои начали оборачиваться, разглядывая лица друг друга; все прекрасно понимали, что означает метка «Непобедимый». Кому-то продались

герои, чем-то пожертвовали, чем-то заплатили за свою непобедимость; надолго ли, вот вопрос, ведь первое же поражение становится для Непобедимого последним, и происходит это тем скорее, чем больше требует витязь от судьбы.

— ...Двое из присутствующих здесь господ — Убийцы драконов...

Ропот стал сильнее. Я сам напряженно оглянулся — кто?! Вот скверное знание, любой из стоящих рядом может оказаться... Меня передернуло от отвращения.

— ...И еще трое из собравшихся господ, поймите меня правильно... заговоренные. Я знаю, об этом не принято говорить вслух — я воспользовался своим правом властителя, чтобы подчеркнуть, какие отборные люди здесь присутствуют.

Мне сделалось неуютно; в этом тесном мире совершенно невозможно сохранить тайну. Если герой не сидит в норе, а малопомалу действует, то и свидетельств о его подвигах собирается достаточно, чтобы поставить окончательный диагноз: Заклятие!

— ...Однако за работу примется только один, и только ему, избраннику, я сообщу суть дела. А пока вам предложено будет испытание — того из вас, кто справится с ним, на мой взгляд, лучше прочих, ждет продолжение беседы. Покуда отдыхайте, господа. Лучшие комнаты лучшей гостиницы готовы для вас.

Это была чистая правда. Мы с подельщиками остановились было в скромном трактире у моста — но стоило мне зарегистрироваться в качестве претендента на Большой заказ, как приказчик из лучшей гостиницы города прибежал с поклоном и приглашением поселиться в самых удобных комнатах, причем за счет казны. Раздумывать мы не стали — уже спустя полчаса очаровательная служанка, опасливо косясь на Хостика, подавала нам ужин прямо в номере.

А соседями нашими оказались конкуренты-соискатели. Гостиничная прислуга с ног сбивалась, чтобы ублажить ораву героев и их спутников; оказалось, что с полдесятка хитрых претендентов сидят тут уже целую неделю, и городская казна исправно оплачивает им и кров, и стол, и даже некоторые капризы.

К'Рамоль подловил служанку под лестницей и завел с ней доверительный разговор о медицине. Оказалось, что у милой девушки полным-полно болячек, явных и тайных; лишь только стемнело и беготня в гостинице стихла, Рам деловито взял под мышку свой лекарский сундучок и отправился во флигель, где обитала прислуга.

— Вот что значит настоящий врач, — сказал я, когда за лекарем закрылась дверь. — В любое время дня и ночи, по первому зову ближнего спешит исполнить свой долг, каким бы тягостным он ни был!

Хостик даже не улыбнулся.

За последнее время он сильно сдал; борода его, и без того клочковатая, приобрела неопрятный вид, крючковатый нос еще больше выдался вперед, а глаза, наоборот, запали. Хостик болезненно переживал предательство — мое предательство; сам он — и я это знал — ни при каких обстоятельствах, ни под какими чарами не поднял бы меч ни на меня, ни на Рама. То, что произошло с нами близ окованной железом клетки, у костра, положило непреодолимую пропасть между прежними нашими отношениями — и нынешними.

Я не стал объяснять Хостику, *чего* стоило для меня удержать руку и не свалить с плеч его лохматую голову. Слишком мелкими казались оправдания; что с того, что в результате я не поддался Шакалу?

Я не убил Хостика не потому, что он мой друг. Сиди на той коряге распоследний карликовый крунг — я и то, наверное, не решился бы. Побоялся бы нарушить запрет на убийство! Или не побоялся бы? Вот в чем беда — я и сам не знал до конца, Хосту я пожалел в ту ночь или себя? Или просто подчинился правилам, навязанным извне.

Так или иначе, но оставаться наедине с Хостиком мне с некоторых пор было тягостно; сославшись на усталость, я ушел к себе в комнату и лег.

Перед глазами сразу же замелькали лица с парадной мозаики. Отроки-наследники золотой короны смотрели печальными глазами ручных обезьянок; я искал лицо отца — но видел лишь место, где оно только что было. Я звал...

А потом проснулся в холодном поту.

Я вспомнил, где я видел лицо нынешнего князя.

В видении, наведенном Шакалом. На столе в мертвецкой; голова князя лежала отдельно от тела, но глаза жили.

«Пойдешь ко мне на перстень?»

Сгинь, наваждение!

Сгинь!

Далеко за полночь в дверь застучали. Я не спал — лежал в постели, закинув руки за голову, и смотрел в темный потолок. На столе еле теплился огонек лампы.

Робкий стук сменился настойчивым.

— Кто там? — крикнул я хрипло. Сейчас мне менее обычного хотелось чьего-либо общества.

— Господин, откройте, пожалуйста...

Где-то хлопнула дверь. Рявкнул раздраженный голос; мне показалось, что я узнаю белобрысого крепыша, того, который не сомневался, что задание князя связано с магией.

Я поднялся. Считая пятками холодные половицы, подошел к двери и отодвинул засов.

В полутемном коридоре было людно. Некрасивая молодая женщина с круглыми, как черные блюдца, испуганными глазами прижимала к груди ребенка, а за юбку ее цеплялись еще как минимум двое:

— Господин... Нам... хоть бы под стеночкой... переночевать... дождь... перепеленать...

— Где управляющий? — рявкнули из комнаты справа. — Где хозяин гостиницы? Где эти дармоеды?! Они узнают, что почем, я буду жаловаться лично князю!

Кто-то из Непобедимых?

— Гоните ее, — добродушно посоветовали из комнаты слева. В дверях ее стоял один из соискателей, высокий и плечистый мужчина с длинными, до лопаток, волосами. — Гоните бродяжку. Кто знает, как она сюда пробралась — а вся гостиница уже гудит, что твой улей.

Я посмотрел ему в лицо. Заговоренный? Или Убийца дракона?

Откуда-то снизу, из-под лестницы, выскочил встрепанный управляющий. Его сопровождали трое исключительно раздраженных героев, двое просто бранились, а третий молча пихал провинившегося под ребра, отчего управляющий икал и дергался:

— Господа! Сейчас, господа, сию минуту непорядок будет устранен!

— Закрыть этот клоповник, — зловеще проговорили в конце коридора. — Закрыть и сжечь вместе с барахлом... чтобы среди ночи в комнаты к благородным господам ломилась назойливая баба?!

Глаза возмутительницы спокойствия — а ведь это она стояла сейчас передо мной — округлились еще больше. Она прижала к себе младенца так, что он пискнул, а двое — или все-таки трое? — оборвышей, цеплявшихся за юбку, заревели в голос, кто-то из разбуженных героев желчно засмеялся, кто-то грохнул дверью, кто-то выругался достаточно грязно — я только под горячую руку, в поединке, умею так ругаться.

Управляющий, подгоняемый толчками и пинками разъяренных постояльцев, наконец-то добрался до нас. Лицо его в полумраке коридора казалось темно-серым.

— Ах ты, сучка! Ах ты...

Я перехватил его занесенную руку. Не хватало еще, чтобы в моем присутствии били женщину.

Дети завопили громче, хотя это, казалось, было уже невозможно.

— Го... сподин...

Управляющий задохнулся; вероятно, я слишком сильно сдавил его руку. Не повезло бедняге — еще поймает, чего доброго, сердечный приступ!

— А вы...

Трое раздраженных героев — нет, уже шестеро — смотрели теперь не на бродяжку, а на меня.

— Спокойствие, — я обезоруживающе улыбнулся и выпустил руку управляющего. Бедняга на четвереньках отполз в сторону.

— Пошла вон, — холодно сказал бродяжке седьмой соискатель, тот самый плечистый и длинноволосый, мой сосед. Женщина затравленно оглянулась, бочком-бочком, увлекая за собой оборвышей, отступила к лестнице...

— Погоди, — весело сказали из толпы постояльцев. — Дождь на улице, куда ты с малыми пойдешь?

Стало тихо. Даже сопение геройских приспешников, малопомалу повыползавших из нижних, не столь привилегированных комнат, на короткое время прервалось. Даже орущие дети притихли, и стало слышно, как барабанят по крыше и по стеклу крупные дождевые капли...

Я хмыкнул. «Господи-ин... под стеночкой...»

— Ладно, заходи, — я ногой распахнул дверь комнаты за своей спиной.

Бродяжка хлопнула черными круглыми глазами. Герои, чей сон был нарушен наглым и невозможным образом, заропотали.

— Мой номер, кого хочу, того зову, — сообщил я возмущенным конкурентам.

Никто не стал комментировать мои слова. Кто-то в задних рядах пробормотал что-то насчет вшей, кто-то велел слуге немедленно паковать вещи, кто-то пригрозил управляющему, что съедет завтра... И все. В коридоре остались я, бродяжка со своими оборвышами, скулящий в углу управляющий да еще один мой конкурент, лысоватый, несмотря на молодость, скуластый парень. Тот самый, что крикнул «Погоди...». Мы обменялись взглядами. Не так, чтобы очень дружескими, но понимающими, по крайней мере.

Оборвышей у юбки оказалось-таки не два, а три. Они мирно просопели до рассвета — а когда на рассвете я уснул наконец, бесшумно убрались вместе с мамашей, не сказав ни «здрасьте», ни «до свидания», ни, разумеется, «спасибо».

Утром горничная, морщась, собрала грязные простыни в углу. А еще через полчаса я напрочь забыл о ночном происшествии — и не вспомнил бы о нем, если бы не желчные, со следами недосыпа лица конкурентов-соискателей.

После завтрака посыльный принес мне личное приглашение от князя. Мне велено было явиться для испытания — но не во дворец, а по адресу, который прилагался. Причем подельщиков предписано было с собою не брать.

Я прогнал воспоминание об отрубленной голове на окровавленных досках. Велел подельщикам ждать неотлучно — и пошел туда, куда меня звали.

* * *

Дом стоял на окраине, и был он городским приютом. Во всяком случае, так сообщала вывеска на воротах.

— Сюда, пожалуйста.

От персонала исходил запах нового сукна. Вероятно, события здесь ждали и готовились: покрасили, побелили, вымыли, приоделись...

Сам князь встретил меня в комнатушке управляющего. Склоняясь в приветствии, я пытался не смотреть на его лицо, однако есть приличия, а есть элементарная вежливость; я не выдержал и взглянул властителю в глаза.

И сразу захотелось сматываться отсюда подальше, забыв о Большом заказе и о предстоящем испытании. Ну его совсем, это ведь именно те, тогда мутноватые, а теперь ясные и чуть насмешливые глаза, это его голову снимут мечом и положат под рогожу!..

Это *будет*?

Возможно, Шакал просто морочил меня? Почему я верю Шакалу? Кто поймет, в чем был истинный смысл видения?

Все мы рискуем головой. На плахе ли, на большой ли дороге ради Большого заказа...

— А это ваш соперник.

Я обернулся.

Тот самый лысоватый герой, что сказал вчера ночью: «Погоди... Дождь на улице, куда ты с малыми пойдешь?»

До меня только теперь дошло, что прочих десятерых соискателей нет. Я даже оглянулся недоуменно, будто ожидая, что они прячутся за портьерами и сейчас выглянут, чтобы насладиться моим удивлением.

— К сожалению, прочие претенденты не прошли первого тура испытаний. Да, господа, я же предупреждал, что задание специфическое, и отбирать исполнителя придется не в поединках, не в соревнованиях... Что ж, у каждого из вас равные шансы получить Большой заказ, все зависит от вас, господа.

Лысый подмигнул мне. Во как, говорило его простоватое лукавое лицо. И не знаешь, где найдешь, а где споткнешься!

Я вымученно улыбнулся в ответ.

Князь что-то говорил — я не слышал слов. Князь куда-то указывал рукой; на пальце у него...

Этот перстень я не спутаю ни с чем. Видение, дарованное Шакалом, было таким ярким...

Перстень с тусклым красным камнем. Тусклым, будто затаившимся и вместе с тем таким красным, что даже я, со своим черно-белым зрением, осознаю его воспаленную красноту.

Но *перстень* был у человека, который пришел в мертвецкую!

А *голова* лежала на столе. Как получилось, что и голова, и перстень принадлежат теперь одному человеку?!

— Что с вами, благородный Рио? — Князь улыбался.

— Бессонная ночь, — я кротко улыбнулся. На самом деле, чтобы сломить меня, бессонных ночей должно быть как минимум три.

— Надеюсь, не помешает... испытание... решить...

Я кивнул, не дослушав.

Я уже знал, что проиграю испытание. Не пройду по конкурсу; вон, пусть лысоватый получает Большой заказ и все сопутствующие беды и награды. Не в добрый час мы с подельщиками взялись конвоировать клетку с Глиняным Шакалом — все, что произошло между мной и Хостиком, все, что произошло внутри меня .. встреча, в конце концов, с отрубленной головой на чужих плечах и перстнем на чужом пальце...

Мой соперник что-то сказал. Я тупо огляделся.

Это был, наверное, самый большой зал в печальном заведении под названием приют. Сейчас здесь не было мебели, только скамейки вдоль стен, пол надраен так, что отражаются люстры, и — никого, только мы с лысоватым соперником.

Бесшумно открылись двери, и вошло штук тридцать ребятишек лет примерно от трех до десяти. Видно было, что идти им боязно, и не идти тоже нельзя — велели.

Дверь закрылась. Как будто зайчат впустили в клетку к двум питонам.

Несколько долгих минут малыши стояли плотной кучкой, потом мой соперник обратился к ним с какой-то ничего не значащей фразой. Голос был мягкий и доверительный; малыши запереглядывались. Лысоватый присел на корточки, извлек из ножен меч, заставил камушки на рукояти заиграть бликами, приглашая желающих подойти и посмотреть; детишки робели и мялись, однако искушение было велико, и сперва самые смелые, а потом и прочие подтянулись поближе, остановились в двух шагах, жадно разглядывая красивого господина и его удивительное оружие...

На секунду у меня возникла дикая мысль, что лысоватый приманивает малышей мечом, чтобы зарубить их. Что в этом и состоит суть испытания; уже через мгновение мысль лопнула, как пузырь, и я утер со лба неуместный холодный пот.

В чем состояла суть ночного испытания, приблизительно ясно. Что осталось двое из двенадцати претендентов — естественно. Непонятно, кем надо быть, чтобы не впасть в раздражение, будучи разбуженным посреди ночи назойливой бродяжкой с гроздью оборванцев у юбки. Я бы тоже был раздражен, если бы меня таким образом разбудили. Но я, по счастью, не спал.

Что же за Большой заказ готовит князь? Нечто, связанное с

детишками? Тогда и второй тур испытаний представляется естественным — приютские дети недоверчивы и одновременно привязчивы, обоих нас видят впервые, кто первый завоюет их любовь — тот и победил.

Я отошел в сторону и присел на скамейку.

Никогда в жизни у меня не получалось ладить с детьми. То есть никогда в моей теперешней жизни. Там, где жил прежний я, кажется, не было никаких детей. Я и сам тогда был ребенком

Я-нынешний, теперь уже навсегда измененный я, не видел в детях ничего, кроме обузы. Временной, разумеется, и чужой, потому что своих у меня никогда не было и скорее всего не будет.

В компании обступивших лысого ребятишек обнаружились два лидера, соперничавших между собой за право подержать рукоятку меча. Лысый милостиво предложил сделать это по очереди — но один лидер все же оттер второго, и тот, не желая так просто смириться с поражением, бочком приблизился ко мне.

Стрельнул глазами. Вытаращился, разглядывая мои сапоги, перевязь и ножны; с отчаянной храбростью подобрался ближе...

Я посмотрел на него. Только посмотрел — а он уже слился с толпой сотоварищей, спрятался за их спины, и те из них, кто случайно напоролся на этот мой взгляд, тоже попятились.

Я встал. Оставил победоносного соперника ворковать в кругу сопляков, вышел из зала, побрел прочь. Затея с Большим заказом вовсе не была безнадежной — но она стала таковой после встречи с Глиняным Шакалом.

На свежевыкрашенном пороге стоял князь. И улыбался так, что я остановился тоже.

— Досточтимый Рио, я готов сделать заказ. Именно вам. Большой заказ.

Я понял не сразу. А когда понял, не особенно обрадовался.

ЧУМАК ГРИНЬ, СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Девушки так и брызнули от колодца в разные стороны — даже рябая Хивря, так и не успевшая набрать воды и удиравшая с пустыми ведрами. Девушки разбежались — Оксана осталась, и пухлая нижняя губа ее чуть подалась вперед, выдавая решимость:

— Мать сказала... что отдаст меня за тебя.

Гринь стоял, не веря ушам.

— Да, — Оксана тряхнула головой, как бы понукая сама себя. — Сказала, что отдаст... если ты ведьму свою из дома выгонишь! Если сам будешь в хате хозяином, а не ведьма и не вражье отродье. Слышал?

Гринь молчал. Из-за боли в ребрах было трудно дышать.

— Тебя хлопцы побили? — спросила Оксана еле слышно.

Гринь молчал. Оксана водила пальцем по старому коромыслу. Чего-то ждала.

— Чего молчишь? Слышал, что я сказала?

Из-за туч проглянуло солнце. Отразилось на неспокойной воде в деревянных ведрах, легло на Оксанины румяные щеки, блеснуло на белых зубах, в черных, как сливы, глазах.

— Ты думай, — сказала Оксана нервно. — А то... мать говорит, что этой зимой точно будут меня отдавать. Вон Касьян собирался сватов присылать...

— Пойдешь за Касьяна? — спросил Гринь, с трудом разлепив больные губы.

— И пойду! — Оксана вскинула подбородок. — Лучше за нелюбом пропасть — чем с ведьмой... в одной хате!

— Моя мать не ведьма!

— Коли с чортом спуталась...

— Молчи!

Оксана замолчала. Глаза, черные, как сливы, мгновенно увлажнились. Маленький нос покраснел.

— Не ходи за Касьяна, — сказал Гринь хрипло. — Я свою хату построю. Отдельно жить станем.

Оксана безнадежно покачала головой:

— Нет. Меня зимой отдадут уже. Не станут ждать. И потом.. все равно ты ведьмин сын.

Всхлипнула. Подцепила на коромысло ведра, побрела прочь, роняя капли на снег.

На Гриня смотрели. Из-за всех калиток, из-за всех плетней.

Ой, гоп, чики-чики, каблуки за раз стопчу...

Той осенью у Гриня как-то сразу пробились усы.

Он две недели ишачил на попа; света белого не видел — зато теперь явился на вечерницы, ведя за собой музыкантов.

Пусть народ шепчется, что, мол, чудит парень. Отца похоронили, в хате шаром покати, а сирота на заработанные денежки музыку заказывает. Пусть болтают — зато молодежь рада, девушки переглядываются, а парням завидно!

Музыканты жарят плясовую — а Гринь идет через всю площадь к девушкам. И без того румяные девичьи щечки вспыхивают ярче, но Гринь идет и не останавливается, и, только оказавшись перед Оксаной, протягивает руку:

— А пошли танцевать...

И она, смутившись, идет.

Ой, гоп, чики-чики...

Мир красный. Мир желтый, синий, пестрый, летит, кружится, неподвижным остается только Оксанино лицо — черные влюбленные глаза.

Рвется ожерелье из красной рябины.

Звенят цимбалы, хрипит лира, игриво повизгивает дудка. Гринь так бьет каблуками о землю, что со старого сапога срывается подкова — да так и остается лежать в пыли, среди растоптанных рябиновых ягод.

* * *

Вода в проруби чернела, как смола. С берега тянулась одинокая тропка — видно, ходила по воду мельничиха Лышка.

Гринь стоял и смотрел в стылую полынью.

Он был еще мальчонкой, когда зимой утопилась соседская Килина. Говорят, водилась с заезжим красавцем — кулачным бойцом, вот и прижила ребеночка, да не стерпела позора и прыг — в прорубь...

Этого бойца Гринь потом видел на чьей-то свадьбе. Танцевал он, как бес, мел улицу красными штанами, и бабы шептались, а мужики хоть и поглядывали хмуро — но ничего, не гнали.

А Килина лежала на возу, вся покрытая льдом. Ее выловили где-то внизу по реке, прикрыли рогожей и так везли — а мороз был трескучий, и когда Гринь, верткий и любопытный, пробрался сквозь толпу на площади перед церковью, а Килинин отец приподнял рогожу... Гринь успел увидеть и запомнил навсегда. Девушка как живая, с очень длинными обледенелыми волосами, и вся во льду, вся во льду, и лед в открытых глазах.

Черная вода в проруби подернулась рябью. Гринь плакал.

Вошел как хозяин. Скинул сапоги, уселся на лавке, уперся руками в колени.

Мать стояла у сундука. Крышка была откинута, на крышке отдельно лежали праздничные плахта, и рубашка, и пояс, и цветной платок; отдельно развешаны были детские сорочечки — тонкого полотна, еще Гриневы.

— На кладбище был, — сказал Гринь тихо.

Мать посмотрела почти испуганно. Ничего не сказала.

— На кладбище был. У отца на могиле.

Мать тяжело наклонилась. Вытащила из сундука сверток, встряхнула: полотно для пеленок. Желтоватое, тонкое, много раз стиранное.

Гринь стиснул зубы.

Налететь. Ударить. Схватить за волосы, волоком протащить через всю комнату, выбросить в сугроб...

Мать перевела дыхание; живот ее явственно выпирал, и Гринь вдруг с ужасом понял, что он заметно вырос — всего за два дня!

— Когда братишку мне подарите? — спросил Гринь чужим каким-то, заскорузлым голосом.

Мать отвернулась.

— На будущей неделе жди.

— На будущей неделе?!

Мать бережно разбирала старые вещи. Развешивала на крышке сундука.

— Ох, вражье отродье, — тихо-тихо застонал Гринь. — Быстро же вы его выносили... Ровно крысенка!

Мать на секунду приостановилась — и снова взялась за дело, и руки ее двигались ловко, быстро, такие знакомые руки...

— Вражье отродье! — крикнул Гринь, поднимаясь. — В прорубь за ноги выкину! Коли хотите, чтобы жил ваш ублюдок, — ступайте из батьковой хаты, чтобы духу здесь...

Занавеска над печью откинулась. Выглянули раскосые, с желтым блеском глаза; против ожидания, Гринь не испугался. Наоборот — при виде исчезника, греющего бока на отцовской печи, подступающие слезы разом высохли:

— Вот как, значит. Значит, так. .

Он шагнул к двери, пинком распахнул, впуская в хату кисловатый запах сеней:

— Вон. Из батькового дома... Пошли вон!

Мать застыла у своего сундука. Скомкала Гриневу детскую рубашечку, уткнулась в нее лицом.

Исчезник свесил ноги с печи. Он был бос, на правой ноге четыре пальца, на левой — шесть.

Спрыгнул на пол. Сейчас, при свете, он не казался таким страшным — длинные глаза близоруко щурились, черные собачьи губы были странно поджаты: не то свистнуть собирался исчезник, не то плюнуть.

— Не боюсь! — сказал Гринь, чувствуя, как дерет по шкуре противный мороз. — В скалу свою забирай ее... В скалу, где сидишь! Там пусть нянчит пащенка своего!

Рука исчезника протянулась, казалось, через всю комнату. Четыре длинных пальца ухватили пасынка за горло, и свет для Гриня померк.

Темнота.

РИО, СТРАНСТВУЮЩИЙ ГЕРОЙ

Ливень едва прекратился — а тучи сгущались опять, и ясно было, что нового дождя не миновать.

По улицам бродили подметальщики с метлами из мочала. Аккуратно очищали мозаику от принесенного водой песка, от жидкой грязи. Толку в их труде было немного — когда дождь польет снова, очищенные мозаики вновь затянутся грязью; тем

не менее подметальщики с упорством, заслуживающим лучшего применения, бродили и бродили, мели и мели...

Несколько часов я потратил на блуждание по городу. Относительное безлюдье позволяло разглядеть мозаику без помех; я шел, смотрел попеременно под ноги и по сторонам, добрался до предместий, миновал несколько кварталов, повернул опять к центру... Мозаика интересовала меня все меньше и меньше.

Если на улице вам попадется дом, когда-то богатый, а теперь обедневший, если вы встретите заброшенную кузню или пострадавшую от пожара лавку — ничего особенного не придет вам в голову, в большом городе нередки и взлеты, и несчастья. Но вот если разорившиеся дома, заброшенные мастерские и унылые лица попадаются на каждом шагу — тут невольно впадешь в меланхолию.

Детали. Я привык обращать внимание на детали: как странно посмотрела на меня женщина, прогоняющая с улицы играющих детей. Как вздрогнул мастеровой, у которого я хотел спросить дорогу.

Над городом висела тяжелая темная туча, и чем больше я гулял, тем тягостнее становилось на душе. Как будто туча принесла с собой не только дождь, но и безнадежность и страх.

Возможно, всему виной мое дурное настроение? Или мне мерещится?

Снова пошел дождь. Приближалось время, назначенное князем для аудиенции.

Зевак на центральной площади было меньше обычного. Я остановился перед мозаичной стеной; бархатные канаты ограждения намокли, обвисли и сочились водой. Косые капли падали на лица, сложенные из агата, яшмы и аметиста, — мне вовсе не казалось, что мозаичные властители плачут. Скорее потеют, обильно потеют, будто там, по ту сторону стены, сегодня невыносимо жарко.

Я стоял и смотрел на князя. На его чуть отреставрированное благородное лицо — большая часть зевак и не догадывается о реставрации, и я бы не догадался, если бы не привычка обращать внимание на самые незначительные, казалось бы, мелочи.

(Кстати, тот прежний-я, к которому нет возврата, никогда не останавливался на мелочах. Он видел вещи целиком, не вдаваясь в детали, и он не заметил бы, что раствор, крепящий крохотные осколки камня, на лице князя чуть более темен. Зато он, потерянный прежний-я, сразу осознал бы некое несоответствие, неправильность мозаики и, возможно, даже догадался бы, в чем оно кроется.)

Я перевел взгляд на изображение старого князя. Благополучно почившего шесть лет назад, похороненного в родовом склепе...

Вот оно.

Тот рыцарь из видения, тот самый, что посетил мертвецкую сразу же после казни. Вот на кого он был похож! На покойного властителя — прямо как отец на сына.

Рука покойного князя лежала на плече отрока. Мальчика-подростка.

Я быстро перевел взгляд на изображение нынешнего князя.

Ничего похожего. Следы реставрации, совершенно другое лицо. Вспоминается голова на окровавленных досках.

На указательном пальце, сложенном из осколков незнакомого мне камня, темной точкой сидел крупный перстень.

* * *

— Героя, подобного вам, Рио, трудно сбить с толку. И тем не менее вы удивлены?

Я поклонился, не желая говорить ни «да» ни «нет».

Князь усмехнулся уголком рта:

— Дело, которое вам предстоит... требует исключительных качеств. Исключительных даже для героя.

Я приподнял одну бровь.

— Речь идет, как вы уже догадались... или не догадались?.. речь идет о ребенке. О младенце, волею судеб рожденном не там, где следовало, и не так, как он того заслуживал. Вам предстоит отправиться в путь, не медля ни минуты, и привезти мне этого... малыша.

Мне показалось — или голос князя действительно дрогнул?

— Простите, Рио, что не посвящаю вас полностью во все перипетии... во все интриги, предшествовавшие рождению этого ребенка. Это... интимное дело. Семейное, можно сказать. И это не моя тайна, Рио; попробуйте догадайтесь, кем этот ребенок мне приходится? — Князь печально улыбнулся.

Мое лицо оставалось непроницаемым. Раздумывать будем после; и без того слишком много догадок, намеков и необъяснимых фактов. Моя стихия — действие, я боец, а не следователь.

Князь прошелся по кабинету. Мягкие сапоги ступали неслышно, золотая корона — тонкий изящный венец со множеством зубцов — лежала на темноволосой голове удобно и непринужденно, как привычная шляпа.

— В таком деле, — сказал я осторожно, — уместен скорее лекарский обоз. Удобная дорожная колыбель, преданная кормилица-нянька — но никак не странствующий герой, чьи руки привыкли к...

Князь кивнул, прерывая меня:

— Возможно. Если бы младенец находился в одном из областных замков, или в хижине козопаса, или в другом хоть и отдаленном, но привычном месте... — он крутнулся на каблуках. —

Младенец за Рубежом, Рио. Вам случалось странствовать за Рубеж?

— Нет, — сказал я после паузы.

Князь кивнул, как будто мой ответ вполне устроил его:

— Вот и объяснение... почему я посылаю не доверенную няньку, а героя. Верно?

Я поклонился снова. Если бы мой собеседник не был князем — возможно, я не удержался бы и буркнул раздраженно: «С этого следовало начинать!»

С этого действительно следовало начинать. Что путь предстоит за Рубеж, а за несчастным ли младенцем, или за беглым преступником, или за мешком золота — уже не так важно.

У меня не было опыта общения с венценосными. Те, чья «тень венца» сделана из дерева или меди, в расчет не идут; на всякий случай я сдержался.

— Я помогу вам, Рио. Я дам вам визу для проезда через Рубеж, проводника и магическую поддержку. Любые разговоры о конфиденциальности считаю излишними. Это... очень закрытое дело. И в то же время очень срочное, потому что речь идет о жизни ребенка. Ребенку угрожает смертельная опасность, Рио. Вы должны успеть. Заклинаю... памятью вашего отца.

Князь взглянул мне прямо в глаза и долго не отводил взгляда, так что в конце концов мне пришлось потупиться.

Когда мой отец взошел на эшафот, мне было три года. И доверенный человек, находившийся рядом все время, пока длилась казнь, передал потом моей бабушке, что отец думал только обо мне — чтобы меня не нашли, чтобы до меня не дотянулись, чтобы я вырос и, возможно, отомстил...

Нынешний князь никогда не был знаком с моим отцом. Но он хотел произвести на меня впечатление — и произвел его.

— Я успею, — сказал я медленно.

Я отомстил-таки. Два десятка прямоходящих гиен во главе с бригадиром Золотая Узда — и ни один не умер от моей руки. В тот раз роль палача выполнила стая хищных птиц.

А до заказчиков я так и не добрался. Они перерезали друг друга прежде, чем я успел дотянуться до их шей; так или иначе — долг выполнен, цена заплачена, и я не умер... Вернее, умер, но только наполовину.

Властитель подошел к окну. Снаружи сеял и сеял дождь, в комнате потемнело совсем уж по-зимнему, время зажигать светильники.

— Рио, — голос князя снова изменился, сделавшись сухим и

отстраненным. — Вы приехали в город издалека... Вы ничего не заметили?

— Заметил, — сказал я после паузы.

— Тучи, — князь смотрел на небо, но было совершенно ясно, что речь идет не о погоде. — Тучи... все труднее дышать.

Я ждал, что он продолжит, — но он молчал, стоя ко мне спиной, поблескивая венцом на темном затылке; не дождавшись объяснения, я заговорил сам:

— Властителю известна причина?

Он резко обернулся. Подошел ко мне, положил мне руку на плечо; я невольно вздрогнул — рука была неожиданно тяжелая.

— Рио... Привезите мне ребенка.

Он снял руку с моего плеча. Громко позвал, обращаясь в пустоту:

— Сале!

Открылась боковая дверь.

Та самая бродяжка, что не так давно переполошила лучшую в городе гостиницу ревом многочисленных оборвышей, стояла передо мной в дорожном костюме. Волосы были аккуратно уложены под шляпу, никаких младенцев не было и в помине.

— Это магическая поддержка, которую я обещал вам, Рио. Она же проводник и консультант.

Женщина изобразила поклон:

— Меня называют Сале... Не шарьте взглядом, у меня нет никаких детей и никогда не было. Уловка, маскарад.

Она поймала из воздуха сверток с кряхтящим младенцем, покачала на руках, небрежно выпустила — сверток растаял в воздухе. Женщина устало усмехнулась:

— Вот так...

Я молчал минут десять. Потом обернулся к терпеливо ожидавшему князю:

— Но... я и мои подельщики давно сплотились, и присутствие чужого...

— Такова специфика заказа, — холодно, совсем по-деловому перебил властитель. — Большой корабль не выйдет из бухты, если маленькая лодочка не укажет дорогу среди рифов. Возвращайтесь скорее, Рио. Я верю в вас.

Старичок в суконных нарукавниках долго рассматривал мою левую ладонь. Пожевал губами, достал из ящичка иглу, зловещую, как орудие пытки, но при этом, видимо, золотую. Примерившись, всадил мне в основание большого пальца; боли не было, но показалась кровь.

— Желаю успешного перехода через Рубеж. У вас есть для этого все необходимое.

За моей спиной молчали, ожидая своей очереди, к'Рамоль и хмурый Хостик.

Повезло.

Обычному человеку, чтобы добраться до старичка с золотой иглой и получить визу для прохода через Рубеж, требуется полгода времени и немалые траты, и то нет никаких гарантий...

А нам, по прямому княжьему приказанию, проставили визу бесплатно и сразу.

Глядя на свою чуть припухшую ладонь, я подумал, что теперь-то стану ходить через Рубеж едва ли не каждую пятницу. Посмотрю на миры...

— Удачи, — сказал старичок.

ЧУМАК ГРИНЬ, СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Той ночью на лагерь чумаков навалились разбойники — но врасплох не застали. Сильно поранили седоусого Брыля, огрели по голове Гриневого однолетка Лушню и отступили, догадавшись, что легкой поживы не будет. Утро поднялось над черным кострищем, над составленными в круг возами, над привычными ко всему, хмурыми, черными от солнца людьми. Брыль стонал на возу, Лушня часто сглатывал и держался за разбитый лоб. Один разбойник лежал в туче мух, и с него уже стянули сапоги; другой, туго связанный вожжами, безумно зыркал по сторонам и, в отличие от Гриня, знал уже, что с ним будет.

Дядька Пацюк, чьи плечи были шире воза, а руки свешивались почти до колен, слил остатки воды из кожаного мешка в казан из-под каши, и все чумаки по очереди — и Гринь! — в зловещем молчании сыпанули туда каждый по горсти серой соли. Пацюк помешивал палкой, разводя соль в теплой воде; потом взял жестяную воронку и вместе с тремя самыми крепкими мужиками пошел к связанному.

Лушня едва держался на ногах, но все равно пошел посмотреть. Гринь отвернулся — разбойнику вливали в глотку густой соляной раствор. Потом крепко связали по рукам и ногам и, разрезав штаны, пеньковой веревкой перетянули соленой воде выход.

Медленно зашагали волы. Заскрипели колеса, закачалась кадушка с дегтем; Гринь шагал, потрясенный, вылупив глаза, разинув рот, не слыша черных чумацких шуток.

Вставало солнце. Обещало связанному разбойнику долгую, долгую смерть.

Потом сломалась ось. Остановились волы, запререкались по-

гонщик с дядькой Пацюком, кашевар Петро невозмутимо взялся готовить кулеш — пока разгружали потерпевший воз, да пока снимали колеса, да пока меняли ось, да бранили недобросовестного кузнеца...

Гринь все оглядывался. Ему даже казалось, что он слышит первые крики умирающего разбойника.

А стоянка затягивалась. Поставив ось, сели завтракать; на куске полотна рядом с хлебом, десятком луковиц и куском сала лежал длинный резницкий нож

Ветер поменял направление — и Гринь явственно услышал вопль. На этот раз не померещилось, нет!

Когда кашевар обнаружил пропажу ножа — Гринь уже бежал, пригибаясь, хоронясь за стеной травы, возвращался к месту ночевки, добежал, остановился, чувствуя, как бухает сердце — и отдается в голове, в груди, в руках...

Разбойник перевел на него мутный, безумный взгляд Над ним вились мухи; Гринь замер с разинутым ртом, судорожно стиснул рукоятку ножа — зачем только вернулся?!

Разбойник застонал и вытянул шею. Как ягненок перед резником, ягненок с подбритой шеей, покорно подставляющий себя под нож.

Темная лужа на вытоптанной траве. И мало воздуха, мало, хотя кругом целая степь.

Гринь бегом вернулся к своим. Усмирил дыхание, явился как ни в чем не бывало, будто по нужде отлучался; оказалось, впрочем, что не только дядька Пацюк — все прекрасно все видели и давно все поняли.

На тот раз ему удалось легко отделаться — ну, приспустили вожжами шкуру, ну, поучили законы уважать... А больше всех ярился кашевар Петро — за нож, который Гринь так и бросил в степи.

— Сыночек... Гринюшка... ох горе горькое...

Он открыл глаза; материно пузо нависало над ним, ничего больше не было видно: ни лица заплаканного, ни натруженных рук, только пузо, где скрывалось чадушко, которое не по дням, а по часам растет.

— Пустите!

Вывернулся из-под ласк. Сел, поднялся, босиком побрел на двор — по нужде.

Снег таял под жесткими, потерявшими чувствительность ступнями. Утро? Вечер? Синеет небо, белеют столбы дыма над дымарями, чернеет одинокая ворона на плетне...

Выкинул ли его исчезник из дома? Или он исчезника выкинул? Или попугал только, покричал, а чортово племя его за горло — хвать!

Вернулся в дом. Ни слова не говоря, не глядя на мать, нашел торбу, ту самую, с которой пришел с заработков. Полез в тайник за печкой, вытащил мешочек с деньгами... Задумался. Отсыпал половину, кинул на стол — матери. Прочее затянул бечевой, положил за пазуху. Обулся. Взял шапку, кожух.

— Гринюшка, — сказала мать тонко, как девочка. — Не держи зла на меня! На том свете отплатится мне, ох, отплатится... А ты не держи.

Гринь молчал, затягивая пояс.

— Ты парень видный, работящий... красивый. Будет счастье тебе!

Гринь не выдержал — ухмыльнулся криво.

— Будет, будет счастье! На могилу батькину придешь — скажи отцу, чтобы не гневался...

Все так же молча он притворил за собой дверь.

Перед порогом лежал, глубоко врытый в землю, старый осколок жернова. Лет сто вот так лежит: и перед старой хатой лежал, а когда новую справляли — и камень перетащили. Гринь, едва на ноги поднявшись, на камень становился. И отец его становился, когда без штанов бегал, и дед...

Забрать бы камень с собой — так сил нет. Как нет сил, чтобы из дому вышвырнуть змею эту, родительницу свою.

Село поглядывало из-за плетней, из-за инея на окошках; столбы дыма подпирали небо, как колонны в том белом храме, который Гринь видел один раз в жизни — в неимоверно далеких странах. Хотел рассказать матери, думал Оксане похвалиться...

Перед Оксаниными воротами остановился, но стучать не стал. Ждал, пока охрипнут собаки; наконец скрипнула дверь, вышел Оксанин отец — нестарый еще, высокий мужик, почти с исчезника ростом.

— Не отдавайте Оксану за Касьяна, — сказал Гринь, как железом прижег. — Я дом справлю богатый за рекой, в Копинцах. Одну зиму подождите. Землю куплю.. работать буду, спину крюком согну... будет куда жену привести! Не отдавайте за Касьяна!

— Обещалка — трещалка, на хлеб не намажешь, — медленно сказал Оксанин отец. — У меня четыре дочки, Оксана старшая. За второй уже женихи вьются, а отдать не могу, пока Оксана не пристроена. Да и слыхано ли — свекровь ведьма!

Гриню нечего было сказать. Облизнул губы, поправил торбу на плечах; Оксанин отец подождал-подождал, да и ушел за ворота, походя велев псу заткнуться.

На заиндевевшем стекле темнело круглое смотровое окошко. Черный заплаканный зрачок.

* * *

Гринь третий день сидел в Копинцах, в шинке, когда явилась, запыхавшись, шинкариха. И, почему-то оглядываясь, сообщила, что за рекой, говорят, одна баба чертененка рожает — так вопит, говорят, что все село посбегалось!

Гринь был тяжел от выпитого и съеденного — а новость и вовсе прибила его к столу, как сапог муху.

И снова на него поглядывали — не в силах скрыть любопытства; все, все давно знали — и что за баба, и что за чертененок, и теперь неторопливо обсуждали, пыхкая трубками, поглаживая усы:

— Чертененка, вестимо, трудно выродить... рогами, поди, цепляется!

— Нету рог у него! Мельничиха, говорят, видела батьку его, исчезника. Так ни рог, ни хвоста. Нос, как у цапли, и очи, как у сыча, а так больше ничего, только здоровый сильно.

— Тихо... Тихо, говорю! Разболтались... накличете. Вот помянете мои слова, накличете чего...

— И точно! Молчите. Неча поминать...

Гринь бездумно проверил, на месте ли деньги. На месте — уже и рубаха, поди, продырявилась в том месте, где о мешочек трется.

Взял со скамьи торбу. Поставил снова; обвел шинок мутными глазами, ждал, что кто-то будет зубы скалить, над ним, Гринем, над матерью его потешаться. Ждал и желал этого — кулаки чесались, а душа зудела. Так хотелось душе, чтобы кулаки поработали всласть, чтобы чужие зубы трещали, а носы сворачивались набок!

Но и все, кто сидел в тот день в шинке, понимали, что творится на душе у Гриня. И все глаза потупились, все улыбки спрятались, никто и не глядел в его сторону — будто его и не было. Тихо стало в шинке, тихо и благостно, только челюсти жевали, только кошка умывалась на пороге — чисто-начисто, розовым шершавым языком.

А пинать кошку Гринь с младенчества не приучен был. Забросил торбу на плечо и вышел — только дверь хлопнула.

Под мостом, у проруби, возилась мельничиха Лышка. Увидела Гриня, разинула было рот, чтобы выдать новость, — но поймала его взгляд, втянула голову в плечи и быстро-быстро захрустела по снегу прочь, даром что ведра тяжелые.

Гринь шел по знакомой улице.

Бежал.

Бежал, торба больно хлопала по спине, разлетался снег из-под сапог, шапка съехала на лоб, Гринь сбросил ее и швырнул в сугроб.

Перед домом редкой толпой стояли соседи. Кузнечиха, бон-

дарь с женой, Чуб, у которого шестнадцать сыновей, Глечик, у которого самое большое на селе поле...

Увидев Гриня, испуганно расступились.

Он прошел между их взглядов, как челнок в ткацком станке проходит между натянутыми нитями. Навстречу ему сама собой открылась дверь. Баба Руткая, вечная повитуха, она не только Гриня принимала, но и, кажется, отца его.

Баба Руткая умела «завязывать пуп» не просто так, а «на судьбу». Матне, например, завязала на обухе — чтобы был мастеровитый. А Гриню, по просьбе матери, — на книжке, чтобы грамотный был. Только у Матни руки как крюки стоят, а Гриня хоть и лупили в школе розгами — читать выучили плохо.

Гринь стоял перед Руткой и думал, на чем завязан пуп у исчезникового сына. На коровьем копыте?..

— Померла, — буднично сказала баба Руткая. — Стара уже рожать-то... Освободилась, бедняга. Отмучилась.

За спиной у Гриня зашептались, заговорили.

Гринь стоял как оглоблю. И стоял так, не слыша ничего и не видя, пока в хате, в осквернённом отцовском доме, не замяукал младенец.

* * *

После похорон Гринь угостил людей всем, что нашел. Выпили, вытерли усы, молча помянули, разошлись; людей было мало, только ближайшие соседи да еще пьяницы, которым только чарку пообещай — и в пекло припрутся.

Поп не спешил уходить. Допил вторую чарку, странно, из-под брови посмотрел на Гриня, крякнул:

— Поговорить бы, чумак...

Гринь вышел с ним в сени, а потом и во двор. Закат был яркий, и в тон ему цвел снег, багряный, и желтый, и розовый.

Гринь был до слез благодарен попу. За то, что не побрезговал, пришел и справил все как надо. За то, что разрешил на кладбище хоронить — правда, в самом дальнем углу, у пустоши, но все-таки в ограде.

Поп остановился. Поморщился, посмотрел Гриню в глаза; Гринь ждал этого разговора — и все равно втянул голову в плечи.

— Дите... как?

Дите, Гринев новорожденный брат, сладко проспал все поминки. За печкой, в приготовленной матерью корзине. В сухих пеленках. Многие из поминавших в тот вечер несчастную Гриневу мать и знать не знали, что он выжил — как-то само собой считалось, что и дите закопали тоже.

Гринь, преодолев отвращение, рассмотрел братишку. Ни рогов, ни копыт, ни хвоста у младенца не было. Хороший младе-

нец, только на правой руке четыре пальца, а на левой — шесть. То же и с ногами.

— Нечистое это дите, чумак. Непорядок, что Ярина померла, а этот остался... Не к добру.

— В хате кадили, — сказал Гринь запекшимися губами. — Побрызгали, освятили... Ничего ему не сделалось.

— Кабы так просто, — поп поморщился снова. — В хате образа, а *этот*... не называть бы... под образами... повадился...

— Что делать-то, батюшка? — спросил Гринь. — В монастырь бы отдал его... так до монастыря дорога двое суток, по лесу, замерзнет...

— Кормишь его? — отрывисто спросил поп.

Гринь сглотнул:

— Молоком. Еще куклу ему свернул из хлеба жеваного.

— Кормишь, — повторил поп с непонятным выражением. — Ну, корми...

Вернулся в дом и спустя пять минут ушел — благословив соседей, а в сторону Гриня и не обернувшись.

А еще спустя короткое время Гринь остался в хате один — только огонек под образами, да младенец в корзине, да стол с остатками трапезы.

Стиснув в кулаке свечку, Гринь долго стоял над колыбелью. Личико младенца, вчера еще красное и сморщенное, сделалось теперь гладким и розовым, на лбу лежал черный завиток, подрагивали губки, сосущие несуществующую материну грудь; то ли от света, то ли от Гринева взгляда, то ли просто время пришло — но длинные глаза младенца раскрылись И не мутно-голубые, как вчера, — темно-карие, как у самого Гриня.

«Ну, корми», — сказал поп.

Младенец запищал. Не бессмысленно, как вчера, — жалобно. Гринь вытащил из кринки «куклу», чистую тряпочку, завязанную узлом, а в узле — молочная каша пополам с жеваным хлебом.

— Жри!

Младенец зачмокал. Гринь смотрел на него, и чем больше смотрел — тем плотнее становилась темень, тем тяжелее была решимость.

Вот вроде и на мать похож. И на самого Гриня похож, а раскроет глазки — чорт глядит с махонького личика, исчезник проклятый, мать погубивший, Гриня погубивший, людской род ненавидящий!

— Соси-соси... слюни-то не пускай! Жри, братишка, жри, отродье, дома, поди, не стесняйся...

Бормоча под нос, Гринь приладил к корзине две ременные ручки. Укутал сверху материным теплым платком — да так и взвалил на спину, привычно, словно торбу с пожитками.

Младенец чмокал под платком, будто все равно ему. Гринь оставил хату отпертой — все равно никто не придет.

Ночь стояла темная. Небо затянуло тучами, ни звездочки, ни огонька; собаки перебрехивались лениво — мало ли, пьяница засиделся в шинке и идет домой за полночь... А мороз такой, что и заснуть в сугробе ничего не стоит, а уж поутру станут будить — не добудятся...

Чем дальше Гринь шел, тем легче становилось шагать. И на душе легче, и ноша казалась почти невесомой, и снег — неглубоким, утоптанным.

Когда вышел на берег, темнота показалась совсем непроглядной. Только старая, еще детская, память помогла найти мост и ту тропинку, что ведет от моста вниз, ту самую, по которой ходит мельничиха Лышка.

Только однажды Гринь оступился и упал, но снег был мягкий, а младенец в корзине только захныкал недовольно — и сразу же замолчал. Ступив на лед, Гринь пошел осторожнее — недалеко и в полынью ухнуть.

Полынья была как черное окно. Гринь услышал, как тихонько хлюпает подо льдом вода — дожидается лета.

Снял корзину с плеча. Отер лоб, хотя пота не было и в помине, наоборот, брови заиндевели. Посмотрел на небо — черно, только в редких просветах еле-еле проглядывает лунный свет.

Младенец завозился в корзине — будто почувствовал неладное. Или мороз этой ночи проник наконец под теплый платок — единственное, что осталось ублюдку от матери. Будто мать укрыла собой корзинку, не давая чаду замерзнуть...

Гринь вспомнил, что ни камня не взял с собой, ни веревки. И тут же подумал, что в полынье и камня не надо — кинуть под лед, вниз по течению — и вся недолга.

А завтра, купив новый кожух, пояс и шапку, прийти к Оксане. Швырнуть на стол мешочек с золотом, швырнуть новехонькую шапку к ногам родителей: отдайте! И пусть попробуют не отдать!

Гринь скинул платок с корзины. Запустил руки во влажное тряпье, крепко взял братца поперек тела, вытащил из люльки, понес к полынье.

Младенец не пищал. А Гринь боялся его писка — начнет верещать, как человеческое дитя, растревожит, собьет с толку...

Младенец молчал. Не чмокал, не кряхтел, не хныкал, и в темноте Гринь не видел ни лица его, ни глаз бесовских, ни ручек, четырехпалой и шестипалой...

Налетел ветер.

* * *

— Ну уймись! Уймись... уймись...

Мать, оказывается, заранее заготовила любистка, и ромашки, и мяты, и всех трав, в которых купала когда-то Гриня.

— Уймись...

Гринь вытер орущего ребенка, спеленал в чистое. Уложил поперек сундука — младенец затих сразу, как будто его задушили, Гринь даже подошел посмотреть, не случилось ли чего — но нет, младенец просто спал и посапывал во сне.

Гринь сел на лавку, за неприбранный поминальный стол, и уронил голову на руки. Закричали петухи, завопил в сарае старый горлач. Замычала недоеная корова; только тогда Гринь встал, бездумно, как сонный, пошел в хлев, выдоил Лыску, долго и непонимающе смотрел на подойник с парным молоком...

Скрипнула за спиной дверь. Гринь обернулся — никого. Виляет хвостом Бровко, а уж он не молчал бы, окажись во дворе чужой.

— Забрал бы сына, — сказал Гринь хрипло.

Молчание.

— Забрал бы сына... Придушу ведь... соберусь с духом — и придушу!

Порыв ветра напомнил ему ночь, плеск воды в проруби и собственный дикий страх. Потому что ребенок, которому кричать бы во все горло, смотрел и молчал.

Едва не сделал. Едва не исполнил, вот ужас-то, а исполнил бы — следом бы в прорубь кинулся. Так и стали бы перед Богом — убийца и убиенный, оба во льду.

Ведь и тогда, в степи, когда возвращался с ножом к связанному разбойнику — выпустить хотел, путы порезать, о другом не думал. Это только когда разбойник шею вытянул, показал, что делать надо, — тогда Гринь и решился, овец-то видел, как режут... И сам помогал.

Одна жизнь загубленная на его счету есть. Но то ведь разбойник, которого Гринь от мук избавил, а здесь...

Мать любистка приготовила. А Гринь ее сына — в ледяную купель хотел, чтобы потерчонком стал, у водяного в приемышах, чтобы сторожил братца на берегу лунными ночами...

И ведь подстерег бы.

— Забери малого, слышишь? Чертяра...

Высокая тень колыхнулась, как отражение в воде.

Гринь разинул рот. Привидение! Призрак. Свят, свят...

Младенец лежал на столе, среди пустых бутылок. Распеленутый, перевернулся уже на живот, пытался ползти; на шее болталась цепочка, Гринь, обмерев, подошел, присмотрелся...

Медальон был круглый и тяжелый, Гринь в жизни таких не видел. Внутри лежала на крохотной подушечке... оса; тончайшей работы, из чистого золота.

РИО, СТРАНСТВУЮЩИЙ ГЕРОЙ

Я ехал впереди. Хостик отставал на полкорпуса; за нашими спинами к'Рамоль пытался разговорить нежданную спутницу, но Сале отвечала односложно, не так чтобы угрюмо, но и не очень приветливо. Очень скоро я перестал прислушиваться к их беседе — мне было о чем подумать.

Итак, неизвестный младенец, который дорог князю, как родной сын. Почему дорог? Мне так показалось. Всякий раз, когда князь заговаривал о предмете наших поисков, голос его менялся; логично предположить, что этот ребенок небезразличен князю, по крайней мере небезразличен.

Родич? Племянник? Внук, в конце концов? Ведь если позволить фантазии быть совсем уж смелой — почему у князя не может быть незаконнорожденного сына-бастарда? Почему этот сын, загуляв за Рубеж, не мог бросить семя в подходящую почву — семя княжеского рода, слишком ценное для того, чтобы им вот так разбрасываться.

Крепким, однако, и очень уж смелым получается предполагаемый бастард. Через Рубеж сопляку пройти, что крестьянскую межу переступить — а между тем и многим великим Рубеж оказывался не по зубам!

Князь, надо сказать, действовал решительно и умело. За короткое время ему удалось заполучить двенадцать лучших героев края; а я уверен, шушеры помельче набежало сотни две. Теперь, задним числом, я понимал, что первоначально князь отбирал претендентов по единственному признаку. Как ни разнились между собой двенадцать героев — их объединяла одна немаловажная черта. Каждый из нас имел достаточный опыт, чтобы перебраться через Рубеж без лишней озабоченности.

Жаль, что герои не воюют артелью. Герои эффективны только в одиночку, а потому князю снова пришлось выбирать; кстати, признаки, по которым производился этот окончательный отбор, мне не совсем понятны. Можно было бы предположить, что зачерствевшим в боях воителям князь предпочтет добренького «друга детей»... Но тогда заказ следовало передавать моему лысоватому сопернику. Он заработал это сомнительное звание, не я.

Хостик и к'Рамоль приняли поход за Рубеж скорее с энтузиазмом, нежели со страхом. Оба, оказывается, всю жизнь мечтали побывать *там*.

А кто, спрашивается, не мечтал?!

Я снял перчатку, снова тщательно рассмотрел свежую отметину у основания большого пальца. Тужить пока не о чем. Все идет, как предполагалось; выполнив Большой заказ, мы одновременно угодим князю и разбогатеем настолько, чтобы путешествовать только хорошими дорогами и только в удобной карете. А князь со своими странностями мне не сват и не брат, и Шакал со своими видениями... что Шакал? Ушел в землю — и камень ему подушкой.

Я глубоко вздохнул, выпрямил спину и оглянулся.

— ...Не саламандры, а саламандрики, — голос у Сале был рассудительный, низкий и хрипловатый. — Их не надо даже потрошить, у них и потрохов нет, только шкура жесткая, шкуру следует сдирать сразу же, пока не остыла. Голод утоляет на сутки, сил прибавляет, ну и мужское естество взбадривает, конечно...

Вот как. К'Рамоль и Сале нашли-таки тему для разговора.

* * *

Вечером, на привале, я воочию убедился в преимуществах охоты на саламандриков.

Под руководством Сале Хостик развел большой костер — в неглубокой земляной выемке, между двух толстенных поваленных стволов. Женщина очень придирчиво отнеслась и к подбору топлива, и к порядку, в котором его следует подбрасывать; потом подобрала юбку, засучила рукава, как заправская рыбачка, и взялась за дело.

Крючок у нее был страховидный, тройной, с зазубринами, темного металла. Крючок крепился на тонкой черной цепочке, остававшейся холодной даже тогда, когда опущенный в огонь край ее делался темно-красным от жара.

Пламя плескалось, будто кипящая вода в корыте. Сале бормотала заклинание; то есть мне поначалу показалось, что это заклинание, но очень скоро я разобрал, что это просто песенка, вроде тех, что бормочут под нос суеверные рыбаки: «Бери крепче, бери лучше, сладкий крючок, верный поплавок...»

Наживкой послужила старая половина подковы. Я смотрел, забыв о прочих делах, даже нелюбопытный Хостик пришел поглядеть, а к'Рамоль — тот не замолкал ни на минуту, то и дело лез с советами...

Прошла минута, другая; миновало полчаса, мы давно уже разбрелись каждый по своему делу, и только Сале сидела у недогорающего костра, бормотала неразборчиво и подбрасывала топливо.

К'Рамоль улыбался, поглядывая на ее прямую спину — и ниже. Хорошо, что Сале не видела этой улыбки. Хостик меланхо-

лично развел второй костерок — поменьше, хозяйственный, и скоро мы, не дожидаясь спутницы, принялись за ужин.

— Не вижу радости на твоем лице, Рио, — как бы невзначай проронил к'Рамоль. — Вроде бы мы Большой заказ выиграли? В люди выбились, за Рубеж едем...

Хостик вздохнул.

Я растянулся на траве. Поглядел в звездное небо, перевел взгляд на к'Рамоля. Мельком взглянул на Хостика.

— Ребята... Кто из вас знает... такая тварь, которая и на предмете может жить, на перстне, например... и в человеке может жить. Бывает такое?

— Не понял, — сказал к'Рамоль.

Хостик шевельнул губами; все бывает, прочитал я. Ответ вполне в Хостином духе.

— Казнили одного аристократа, — сказал я, невольно понижая голос, чтобы Сале не слышала. — Голова некоторое время жила отдельно от тела. Потом пришел человек с красным камнем на пальце. Спросил: «Пойдешь ко мне на перстень?» — и отрубленная голова согласилась.

— Это байка? — после паузы спросил к'Рамоль.

— Нет.

— Что же. он так и ходил с отрубленной головой на пальце? — к'Рамоль радостно оскалил зубы. — На ниточке?

— Нет, — сказал я терпеливо. — Голова после этого сразу умерла. Зато перстень ожил.

— Байка, — вздохнул к'Рамоль и зевнул, воспитанно прикрывая пасть ладошкой.

— Нет, — сказал Хостик, и мы оба на него посмотрели.

— Нет, — Хоста говорил еле слышно, но и этого хватало, чтобы от звука его голоса бегали по коже мурашки. — Это Приживник. Так эту тварь у нас в предгорьях называют. Говорят, в старых зеркалах иногда живет. В нехороших местах... в осквернённом оружии. В человека подселяется... и хозяина выживает. Выдавливает. Говорили, что...

Дико заверещала Сале. Доля секунды — и мы трое были уже на ногах, причем у меня в руках оказался меч, у Хостика — стилет, у Рама — удачно подвернувшаяся коряга.

Сале танцевала у своего костра, и на крючке у нее...

О чем-то подобном я когда-то слышал. Но вот видеть — не доводилось. Обрывок цепи дымился и прыгал по траве, и подковы на нем не было, зато извивалось чешуйчатое тело размером с небольшую щуку.

Сале завизжала снова. Хостик плюнул, пряча стилет, Рам хихикнул; склонившись над добычей, мы едва не стукнулись головами.

На спине зверя ощетинился игольчатый гребень. Узкие глаза

подернулись пленкой, двупалые лапы судорожно прижались к животу. Кусок подковы встал саламандрику поперек горла — в прямом и переносном смысле. Зверь издыхал; совладав с эмоциями, Сале обмотала руки тряпками и ловко, как бывалый мясник, принялась свежевать тушку. К'Рамоль заинтересовался шкурой; оставив его и Сале разделывать саламандрика, я взял Хостика за рукав и оттащил от костра подальше.

Он не смотрел мне в глаза.

— Хоста... *нельзя всю жизнь помнить зло. Особенно в походе.* Особенно на пути за Рубеж... Я тебя не держу.

Он посмотрел на меня с горьким упреком.

— ...и не гоню, — добавил я быстро. — Но мы на серьезное дело идем. Я в тебе уверен. И в Раме. И ты будь, пожалуйста, во мне уверен, а иначе...

Он молчал.

— Хоста, — я переменил тон. — Ты этих... Приживников когда-нибудь своими глазами видел? Или только россказни?

— Своими глазами не видел, — сказал он после паузы. И добавил беззвучно: — Незачем мне...

У костра балагурил к'Рамоль — ему пришлись по нраву свежие саламандричьи окорочка. Как там говорила Сале — «голод утоляет на сутки, сил прибавляет, ну и мужское естество взбадривает, конечно...».

Приятного аппетита, дружочек Рам.

Только не объешься.

Росистым утром мы растолкали сонного паромщика и перебрались через медленную, в ошметках тумана реку. Левый берег ее был полной противоположностью правому — суровые каменистые холмы, никаких лесов, чахлые деревца жались друг к другу, будто солдаты отступающей армии, отбившиеся от своих и окруженные врагами.

— Рубеж близко, — сказала Сале, ни к кому конкретно не обращаясь.

Никто и не ответил.

На нашем пути лежал длинный овраг с крутыми склонами, живописный, разукрашенный всеми видами степной флоры, прямо-таки звенящий полчищами цикад. Войдя в овраг, мы уподобились бы потоку в жестком русле или колесу в глубокой колее — только вперед либо назад, и ни шагу в сторону. Дорога же по кромке оврага осыпалась, и путник, отправившийся поверху, так и так оказался бы внизу — но со сломанной шеей.

— Поехали, — я свернул в овраг. Сале помрачнела лицом, но ничего не сказала. Хостик и к'Рамоль привычно пристроились сзади.

Очень долго ничего не происходило. Над нашими головами

лаковой полоской лежало полуденное небо, каменистые склоны уходили круто вверх — овраг боролся за право называться ущельем. Над порослями диких цветов вились бабочки всех семейств, всех отрядов, я в жизни не поверил бы, что такое возможно. Прежний-я, различавший оттенки цветов, умер бы на месте от восторга, прыгнул бы в траву с сачком наперевес, кинулся, не боясь расцарапать голые ноги...

Спина моя ссутулилась под грузом боевого железа.

О чем я сожалею?! О каком-то сопляке... Эдак любой взрослый может лицемерно вздыхать о ребенке, которым был когда-то — пацан-де и чище был, и светлее челом, и талантливее, и благороднее... Да, Шакал?!

«Нет, — ответил тот, кого я по привычке звал Шакалом. — Ты — всего лишь железный болван с навыками рукопашного боя. А тот, в коротких штанишках — тот был подарком этому миру, чудом, такие, как он, не в каждом поколении рождаются, и если бы тот бедный мальчик дожил до совершеннолетия — кто знает, каким был бы сегодня этот мир...»

— Он все равно не дожил бы, — пробормотал я вслух.

«Да, — сказал Шакал, — но ведь как неприятно быть живой могилой!»

— Стой! — звонко крикнула Сале и натянула поводья, и почти одновременно вскинул руку Хостик.

Тишина — если можно назвать тишиной исступленный хор цикад. Змеиное тело, струящееся в траве, спешащее уйти подальше с нашей дороги...

— Что, Сале?

Женщина напряженно смотрела вперед, туда, куда уводила едва заметная среди камней дорога.

— Хоста, ты что-то чуешь?

— За поворотом, — сказала женщина очень спокойно, и спокойствие было искусственным. — Штук двадцать... засада.

Хостик невозмутимо вытащил стилет. Я вздохнул сквозь зубы:

— Рутина... рутина, Сале. Не беспокойся.

В следующую секунду те, кто нас поджидал, вышли из-за поворота.

Да, Рубеж близко. Никогда прежде мне не приходилось видеть таких тварей, даже в сравнении с карликовыми крунгами они представлялись экзотикой.

Больше всего они походили на железных ежей, вставших на задние лапы. На очень больших ежей — посмотрел бы я на крунга, пожелавшего изготовить шипастый шар из шкуры такого вот ежика. Головы существ сливались с туловищем, морды казались не то чтобы человеческими — кукольными, причем вместо глаз мерцали различимые черные бусинки. Спины и за-

тылки были покрыты сплошной порослью иголок, каждая сошла бы за хороший клинок.

— Приехали, — меланхолически пробормотал к'Рамоль.

Ежей было очень много. Сале не ошиблась.

Я подумал и спешился. По всей видимости, единственным незащищенным местом у противника является живот — а бить сверху по шипастым головам представляется малоэффективным.

— Хоста.

Он и так все знал. Стоял за моим плечом, как, говорят, стоит Смерть. Бить буду на поражение — Хостик должен поспевать, чтобы ни один из бедных ежиков не ушел в мир иной от моей руки. Только от Хостиной.

— Пропустите нас, — я, кажется, даже улыбнулся. — Видите ли, согласно давнему княжескому указу все дороги считаются общественными, поселяне обязаны пропускать путников через свою территорию, а если они отказываются — то не поселянами их следует считать, а дикими племенами, и обходиться соответственно... Я понятно говорю?

Болтая, я наблюдал за маневрами ежей. И ситуация казалась мне все менее определенной — мой клинок был ненамного длиннее их иголок, а у парочки особей, пожалуй, иглы были совсем как мой меч.

У ежей иголки — оружие обороны. А как у этих?..

Будто отвечая на мой вопрос, молоденький горячий ежик, стоявший на левом фланге, попытался достать отступающего к'Рамоля. Прыгнул вперед, крутнулся волчком; иглы веером рассекли воздух, лошадь Рама взвилась на дыбы, на лице всадника обозначилась паника:

— Рио!

Из к'Рамоля такой же боец, как из меня лекарь. А ведь еще и Сале...

Молоденький ежик едва устоял — инерция взметнувшейся железной шубы чуть не снесла его с ног. Прочие будут покрепче — вон у ежа-предводителя ножки как пни, такого и таран не снесет!

Один на один этот предводитель — не противник мне. Но до чего их много, перегородили собой ущелье, от железного лязга уши закладывает...

По коням — и бежать, сказал здравый рассудок. Искать обходной путь, я герой, а не охотник на железных ежей... Кстати, если бы ежики кинулись на нас, как собирались, из засады — поход мог бы уже и закончиться. Во всяком случае, без потерь мы бы не ушли.

Предводитель шагнул вперед. Наклонил голову, будто соби-

раясь забодать меня; иглы с его загривка нацелились мне в лицо. И как они только таскают на себе такую груду железа?!

— Разойдемся полюбовно, — сказал я, ни капельки не веря в мирный исход.

Еж напал.

Он атаковал не в повороте, как молоденький забияка, а кувырком — на это стоило посмотреть. Коротенькие ножки мелькнули в воздухе; завизжала Сале — девчонка совершенно не умеет собой владеть!.. Я ушел от двух десятков падающих клинков; за спиной застучали копыта — к'Рамоль покидал поле боя и правильно делал. Еще бы эвакуировать Сале...

Доля секунды. Каскад смертоносного железа, рассекаемый воздух — и незащищенная полоска живота на расстоянии клинка.

Я поймал его.

Меч окрасился темным. Еж пошел на очередной кульбит — но приземлился уже на четвереньки, скорчился, прижимая к животу маленькие трехпалые руки, сделал попытку свернуться клубком.

Я рубанул, отсекая сразу несколько иголок. Спина ежа оказалась покрыта костяными чешуйками; Хостик хладнокровно всадил свой стилет в едва приоткрывшуюся щель. Я отпрыгнул.

Ущелье, приведшее нас в засаду, на этот раз спасло нам жизнь. Ежам просто негде было развернуться; я рубил и рубил, двигался «между секунд», Хостик исправно колол и колол стилетом — но противник давил числом, грохотало, как в кузне, как в брюхе железного дракона, меня оцарапали раз и другой, пока несерьезно, но ситуация все более напоминала бойню.

Прямо передо мной оказалась морда молодого ежа, молодого, потому что шкура на щеках была гладкая, без морщин, а бусинки-глаза совсем глупые, как у щенка. Еж напряженно смотрел куда-то мне за спину, я ткнул мечом, не оборачиваясь, некогда мне ворон ловить...

В следующую секунду передо мной были одни удаляющиеся спины. Противник отступал, но не в панике — выглядело это так, будто отважные ежики вдруг вспомнили, что на печке осталась кастрюля с молоком.

Я оглянулся — и застал уже распадающийся фантом. Увидел толстощекую ежиху в окружении тающих в воздухе ежат. Ежиха неуловимо напоминала Сале — может быть, потому, что покровы иллюзии спадали; через секунду на месте ежихи стояла некрасивая женщина, прижимающая к груди воздух, и глаза у нее были круглые, перепуганные и радостные одновременно.

Я шагнул навстречу Сале, намереваясь обнять ее, как боевого друга. И объяснить, какая она молодец, как здорово соображает и как умело реализует удачные идеи...

Но в этот момент Хостик расхохотался.

Он смеялся от радости и неприлично показывал на Сале пальцем, и смех его эхом прыгал от стены к стене. Знаменитый голос Хостика, который, однажды услышав, вовек не забудешь. Голос, обращавший в бегство орды разбойников, голос, из-за особенностей которого Хоста почти все время молчит.

У Сале задрожали губы. Сале побелела как мел, судорожно зажала уши ладонями — и я с опозданием сообразил, что до сих пор Сале считала нашего друга немым.

Хостик отсмеялся. Вытер губы тыльной стороной ладони, виновато покосился на Сале и побрел по полю боя со своей миссией милосердия.

Ежиков на поле боя осталось меньше, чем я боялся. Мне казалось, что я штук десять положил — какое счастье, что я ошибся. Предводитель, правда, лежал там, где упал, и еще двое были безнадежны — но молодой еж, последняя моя жертва, понемногу подавал признаки жизни.

— Стой, Хоста...

Занесенный стилет замер в воздухе. Удивленный взгляд — стоит ли мелочиться?!

— Погоди.

Топот копыт. Рам решил, что самое время наведаться.

— Эй, лекарь! Поди сюда, есть работа.

— Этих лечить?! — к'Рамоль едва не выпал из седла. — Да они же...

— Поди сюда, кому сказано?

Рам повиновался.

Возможно, молодой ежик еще будет жить.

Даже скорей всего.

* * *

— ...Что ж, Сале, мы теперь товарищи?

Шел пятый день похода. Сале держалась непринужденно; от нее действительно было много пользы — не только в качестве добытчика саламандриков. Время шло, еще через несколько дней предстоит взятие Рубежа — а значит, пора поговорить.

— Похоже на то, — отозвалась женщина мне в тон.

Хостик и к'Рамоль ехали впереди — вроде как разъездом.

— Можно, я тебя поспрашиваю, а ты, если хочешь, меня?

— А куда мне деваться-то? — Она улыбнулась, но в улыбке не было кокетства. К'Рамолю, например, она улыбается совсем не так.

— Что ты еще умеешь? Кроме как иллюзии наводить?

Я не ждал, что она ответит.

— Еще след брать, — Сале пожала изящным плечом. — Чуять

опасность. Через Рубеж водить... Находить пропавшее. И еще кое-какие штучки, но — мало... Я достаточно ответила?

— Да, спасибо, — я действительно был ей благодарен. Похоже, она ответила совершенно откровенно. — А у князя ты давно служишь?

— Пять лет.

Кони шли, рассекая грудью высокую траву. Справа и слева, куда ни глянь, лежало травяное море, и только иногда, будто для разнообразия, попадались солончаки.

— Сале... Первое испытание претендентов, в гостинице... Князь тебе поручил *выбирать*?

Она быстро на меня взглянула — и отвела глаза:

— Видишь ли, Рио...

— Понятно. Среди твоих умений числится еще и чутье на героев.

— На удачу, — призналась Сале неохотно. — Ты и тот лысый — самые удачливые.

— А почему князь лысого отклонил?

— А я почем знаю?

Она легко пожала плечами. И, похоже, снова была откровенна — признаки, по которым меня выбрал князь, нимало ее не интересовали.

Умиротворенно шелестела трава. Колыхалась, ходила волнами; лошади Хосты и Рама плыли в стеблях по брюхо.

— А скажи, Сале... такой оруженосец у князя был, уши, как лопухи... где он теперь?

Вопрос был задан нарочито небрежным тоном; я спрашивал будто бы о старом знакомом, зато эффект превзошел все мои ожидания. Сале вздрогнула и посмотрела на меня так, что впору было хвататься за меч.

С самообладанием у нее явно было не все в порядке. С минуту я ждал, пока она возьмет себя в руки, потом спросил как можно мягче:

— Я тебя обидел?

— Нет, — она злилась на себя за свою же несдержанность. — Откуда ты знаешь... про этого оруженосца? Его уже года четыре как казнили.

— Казнили?!

— Ну да... Измена. А по-моему, так оговорили его, не такой он парень, чтобы изменять, да и молоденький совсем...

Что-то у них с оруженосцем было. Что-то намечалось; когда некрасивая девушка любит парня, а парня казнят по навету — трагедия может быть невыносимой.

— Жаль, — сказал я после паузы. — Не хотел тебя огорчать. Извини...

И подумал, что князь, безусловно, доверяет Сале, а у Сале

есть все основания ненавидеть князя. Если юношу действительно оговорили... Впрочем, и она не покинула княжескую службу, и князь ее зачем-то держит, хоть Сале ни владеть собой не умеет, ни держать язык за зубами... Или это маска?!

Теперь женщина смотрела на меня не отрываясь. С подозрением.

— Что? — Я улыбнулся как можно приветливее.

— Откуда ты знаешь про оруженосца?

— Видел, — обычно я вру, не моргнув глазом, но тут даже врать не приходилось. — В городе... вот погоди-ка, областной центр... там еще казнь была знаменитая, двум аристократам за один раз головы сняли!

— Охта, — сказала Сале тихо.

— Вот-вот, — я одновременно и обрадовался, и насторожился. Ну не может девчонка быть настолько глупой. Впрочем, кто знает... Дурам, говорят, магия легко дается.

Некоторое время мы ехали молча. Плыли по морю высокой травы.

— Сале, извини... А перед тем как поступить на службу к князю, этот парень никому больше не служил?

Сале, не глядя, помотала головой. Еще один подобный вопрос — и она пошлет меня подальше. Отчего-то верится, что как раз ругаться-то Сале вполне умеет!

Но я не стану больше спрашивать. У меня и так голова кругом; выходит, рыцарь из моего видения, рыцарь с оруженосцем — то был все-таки князь?!

Надо будет хорошенько расспросить Хосту относительно Приживников. Хоть это, конечно, не мое дело, князем считается тот, у кого на макушке венец, а тот, кого я принимал за Шакала, мог попросту морочить мне голову...

— Я могу наводить на себя чары и делаться красавицей, — призналась Сале устало.

— Зачем? — искренне удивился я.

— Вот именно — зачем? — Сале вздохнула. — Князь очень доверял Клику... везде таскал за собой...

Она замолчала, будто оборвав себя. Выпрямила спину в седле:

— Ну, что ты еще хотел спросить?

— Князь изменился за последние годы? — поинтересовался я рассеянно. — Так, что даже мозаику подновить пришлось?

Сале молчала.

Я посмотрел на нее и понял, что ответа не получу.

* * *

Никогда раньше мне не приходилось пересекать Рубеж.

— Ну, заходите.

Мужичонка был самый обыкновенный. Встретив такого на

дороге, я не повернул бы и головы; другое дело, откуда ты взялся, мужичок, посреди холмистой равнины, на широком перекрестке, где перевернутой подковой высятся ржавые железные ворота?

Я невольно оглянулся, будто ища взглядом избу или сторожку. Или по крайней мере родник, откуда страж Рубежа мог бы время от времени черпать воду.

Ничего, естественно, — кроме камней и травы, стрекоз, цикад и бабочек.

— Заходите, заходите! Или передумали?

Сале проглотила слюну. Лицо Хостика по обыкновению ничего не выражало, к'Рамоль если и трусил, то умело свой страх скрывал.

Я первым шагнул в подковообразные ворота.

И зажмурился, потому что глаза едва не взорвались от белого, отовсюду бьющего света.

Рядом охнула Сале. Крякнул к'Рамоль, и только Хостик по обыкновению не издал ни звука.

— Добрый день, господа, вас приветствует Досмотр. Назовите пункт следования.

Захотелось оторвать ладони от глаз и заткнуть на этот раз уши. Правда, эффекта и это не возымело бы — голос вибрировал во всем теле, отдавался в костях, в полостях носа, в черепе и в груди.

Ответствовала, как и договаривались, Сале. У нее у единственной был опыт путешествия за Рубеж — а выговорить название места, в которое мы идем, не под силу даже велеречивому к'Рамолю.

— Пожалуйста, документы на контроль.

Справа меня подпирало плечо Хостика, слева — к'Рамоля. За к'Рамоля цеплялась Сале; я смог чуть-чуть приоткрыть глаза. Мы стояли, как дети перед показательной поркой — сбившись в кучу.

— Визы, пожалуйста.

Мне показалось, что в воздухе перед Сале возникло нечто вроде пышной пуховой подушки, и наша проводница без колебаний сунула туда свою левую руку, после чего подушка вдруг поросла весенней травкой и рассыпалась прахом, и тут же точно такие подушки возникли в воздухе перед Хостиком и к'Рамолем. Мои подельщики, поколебавшись, повторили жест Сале, причем Рам гадливо дернулся, а Хостик оскалил желтые зубы; подушка Рама покрылась собачьей шерстью, подушка Хостика — рыбьей чешуей, и уже секунду спустя мои спутники яростно оттирали пострадавшие ладони о штаны, о голенища и о полы курток.

— Вы глава делегации? Предъявите...

Белесый сгусток приглашающе возник передо мной, и я замешкался только на секунду. Рука моя утонула будто в тине — действительно, прикосновение не из приятных.

Большую часть искателей приключений, решившихся пересечь Рубеж без должных на то оснований, больше никто никогда не видел. А среди тех, кто был отвергнут Досмотром и вернулся обратно, не оставалось охотников даже близко подходить к Рубежу.

У нас были основания и была виза, проставленная золотой иголкой уполномоченного старичка. Никто из нас не пытается пронести через Досмотр ни украденных мыслей, ни запрещенных заклинаний. За себя, Рама и Хостика я ручаюсь. А Сале... она ведь лучше нас знает, что можно нести через Рубеж, а что нельзя?!

— Спасибо. Предъявите личности для досмотра.

Сале тяжело задышала. Покачнулась, ухватилась за Рама; провела ладонью по лицу — успокоилась, зато теперь засопел к'Рамоль. Что он предъявляет — коллекцию совращенных девственниц? Набор благодарностей от спасенных пациентов?

Хостик опустил плечи Пошатнулся, но устоял; Хостику трудно, я понимаю. В его багаже столько загубленных...

Я не успел довести мысль до конца. Досмотр накрыл меня, режущий свет сменился темнотой, и в этой тьме жил еще один голос — сухой и скрипучий:

— Вы пытаетесь провести через Досмотр второго человека? Вторую личность? Без визы, без документов, даже без линии жизни?

— Это тоже я, — сказал я, с трудом разлепив губы. — Он — это тоже я... На мне заклятие.

— Вам известно, что лица под таким заклятием, как у вас, не имеют права пересекать Рубеж?

— Я думал...

Ничего я не думал. Впервые слышу. Никто меня не предупредил!

— Я уже очень давно под заклятием, — я говорил, не заботясь тем, слышат ли меня спутники. — Тот, кем я был... умер. Это тень, воспоминание... а не человек. Пропустите меня, пожалуйста. Мне очень нужно...

— Всем нужно, — желчно сказал голос. — Вам известно, что лиц, уличенных в нарушении визового режима, постигает административная ответственность?

Я молчал.

Вот они, недобрые предзнаменования. Вот она, встреча с Шакалом; к'Рамоль, Хостик и Сале окажутся по ту сторону Рубежа, а меня, по всей видимости, больше никто никогда не найдет.

Бесславный, идиотский финал.

Рука моя легла на рукоять меча. Просто так, механически — я прекрасно понимал, что сила здесь ничего не решает.

— Ну? — желчно спросил скрипучий голос.

— Что? — спросил я в ответ.

Молчание. Чернота, головокружение; глухо, будто из-под земли, доносился хрипловатый голос Сале... но слов я все равно не разбирал.

— Впредь будьте осмотрительнее, — порекомендовал скрипучий голос.

Я проглотил вязкую слюну.

Тьма рассеялась; свет снова ударил в глаза, и пришлось прикрыть лицо ладонью. Сквозь пальцы я рассмотрел бледное лицо к'Рамоля, красное — Сале и невозмутимое — Хостика.

— Счастливого пути за Рубеж!

Резкий белый свет медленно сменился мягким, белесым.

Мы стояли в снегу. И лошади наши стояли в снегу; снег валил живописными лохматыми хлопьями, и пахло дымом.

Я снова приложил ладонь к слезящимся глазам.

— Предупреждать надо, — глухо сказала Сале. — Чуть не влипли!

— Что ты ему дала? — требовательно спросил к'Рамоль.

Сале молча взобралась в седло.

— Что ты ему дала?!

— Взятку, — отозвалась Сале устало. — Поехали, нам туда, к жилью.

— Мы уже за Рубежом?

Благоговейный голос Хостика скрежетнул железом о стекло. Я отнял руки от лица.

Наш палач, всю дорогу хранивший невозмутимость, стоял, подставив ладони летящему снегу, и по страшной физиономии его растекалась радостная, детская улыбка. За Рубежом... Надо же, вырвался!

— Я понимаю, что взятку, — к'Рамоль не давал сбить себя с толку. — Я спрашиваю, *что именно* ты ему дала?!

Сале помолчала, решая, по-видимому, стоит ли отвечать. Вздохнула, пожала плечами:

— Артефакт... железный крючок для ловли саламандриков. Ничего, с князя новый стребую... Когда будем делать визу для ребенка — что-то надо будет придумать и для Рио, иначе на повторный Досмотр не стоит и соваться.

Сале смотрела теперь на меня. С вопросом — и одновременно с упреком.

— Я не знал, — сказал я хмуро. — Не знал, что у них такие правила!

Сале, Сале, вот так Сале...

Поняла ли она, в чем заключались претензии Досмотра? И если поняла — как восприняла новость? В отношении Заклятых всегда было полным-полно предубеждений...

— За дело, — хрипло велел я, забираясь в седло. — Сперва найдем младенца, а потом... потом посмотрим.

Хостик улыбался, глядя в пасмурное небо. Улыбка преобразила его лицо — будто сфинкс, переживший века, вдруг вывалил из суровой каменной пасти розовый влажный язык.

ЧУМАК ГРИНЬ, СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Исчезник больше не появлялся. Будто ушел обратно в свою скалу.

Миновала неделя; младенец жрал, как не в себя, и рос так, что чуть не лопалась кожа. Уже пытался сидеть, ползал на четвереньках и заползал в самый дальний уголок на печи; Гринь боялся, что очень скоро и корзина станет для него мала.

Однажды, пососав свою «куклу», младенец внезапно разболелся — его понесло жидким поносом, глаза затуманились, тельце сделалось горячим, как разогретый свечной воск. Гринь нашел среди прочих травок одну «от живота», но и отвар не помог; младенец пищал непрерывно, но и голос его был какой-то болезненный, слабый. Гринь сидел перед корзиной, свесив руки почти до пола, и думал, что вот и конец, что он, сам того не желая, отравил братишку, и только бы дите не мучилось, только бы скорее все кончилось...

Прошел еще день. Ребенок отощал так, что явственно проступили ребра, и уже не плакал — лежал тихо. Гринь ходил к знахарке, старая Ивдя сперва отказалась пустить «чортового пасынка» на порог, но потом, сжалившись, дала свежий травяной сбор и заговоренное ржаное зернышко.

Еще через день младенец оклемался. Попросил есть, завозился в пеленках, высвобождая ручки; Гринь глянул на розовые разнопалые ладошки — и ушел на двор, сел на пороге, опустил голову на руки и так сидел до темноты.

Семейство у деда было большое, ртов много, а земли мало. Женатые сыновья не спешили отделяться; Гриня еще бесштаньком брали на жнива — будили ночью, когда самый-самый сладкий сон. Посреди двора стоял воз, уже готовый и снаряженный. Дед, баба, Гриневы дядья, из которых младший был ему ровесником, отец и мать, двоюродные сестры — все оборачивались на восход солнца, все слушали, как дед благословляет новый день, и предстоящие жнива, и всех работников, и просит хорошей погоды, здоровья жнецам и милости от поля.

Едва занимался рассвет, все пешком выходили за ворота и там уже, за воротами, садились на воз. Вожжи были в руках у отца, кобыла ступала торжественно, будто понимая, что ее тоже благословили. Изо всех дворов, изо всех ворот выезжали снаряженные возы. Целая процессия тянулась на поле — и ревнивые глаза соседей отмечали, кто как снарядился, да как подготовился, да сколько жнецов выставил, да вовремя ли поднялся в это единственное, самое главное утро.

Добравшись до своей полосы, слезали с воза. Становились полукругом и смотрели на рожь — накормит ли? Что за год будет — сытый?

А потом мужчины брали серпы, женщины принимались вязать снопы, а малышня вроде Гриня была на подручных работах — воды принести, еще чего...

И только когда солнце поднималось высоко и первые снопы стояли уже на стерне — только тогда дед варил в казане кулеш и садились завтракать, и слаще тех завтраков была только вода в чумацкой степи.

Гриня передернуло. Он поднял голову, прислушался; в хате было тихо. Ребенок, насытившись, спал.

В степи тоже был кулеш, чумацкий, с салом; сало было настоящее, старое, темное, с запутанными ходами червячков. А иногда попадался живой «хробачок», и седоусый Брыль балагурил, что без живчика и сало не сало.

Заскулил на привязи Бровко, зазвенел цепью. Гринь тупо смотрел на свои ладони.

Идти к Оксане?

Куда идти? Была бы гадалка — пошел бы к гадалке.

К матери на могилу?

Ох и красавицей была мать! Ох и ревнивый же был отец... Ох и бегал же за матерью по двору с кнутом, Гринь помнит.

А тем временем мать никогда не смотрела на сторону. И отец, напившись пьяный, каялся, говорил, что всему виной бесстыжие хлопцы и мужики, которых так и тянет к Ярине, будто медом здесь помазано. А Ярина не виновата, нет...

Куда идти?

Гринь вернулся в дом.

Младенец спал, причмокивая губками, рядом в пеленках ле-

жал медальон на слишком длинной цепочке. Гринь не раз порывался его снять — еще задушится дите!

Порывался — но так ни разу и не попробовал. Будто удерживало что.

* * *

— Выдь, чумак. Поговорить надо.

— Заходите в дом, окажите милость.

Гринь не рад был увидеть у ворот дьяка. Сам не знал, почему так нехорошо сделалось на сердце; дьяк усмехнулся, глядя в сторону:

— Не... ты выйди, чумак.

Гринь цыкнул на Бровка и вышел, притворив за собой калитку. И сразу же увидел, что в конце улицы ждут, спрятав руки в рукава, соседи ближние и дальние, всего человек десять.

И вздрогнул, потому что среди собравшихся был и Оксанин отец.

— Ты хлопец хороший, чумак. Батько твой был хороший мужик. Хоть в бедности, а на церковь жертвовал... А за мать молись. Молись, Гриня... И, чтобы грех не растить, чертененка надо того... экзорцировать. Беса, то есть, выгнать обратно в преисподнюю... Жив-то чертененок?

— Жив, — сказал Гринь, чувствуя, как мороз дерет по спине.

Дьяк скрипнул снегом, переминаясь с ноги на ногу:

— Грех, Гриня.

Гринь сглотнул:

— Знаю, что грех... Что мне, не кормить его? Орет...

— Грех, — повторил дьяк, глядя в сторону. — Напасти на село пойдут... Недород... а то и вообще засуха. Как в тот год, когда твоих-то Бог прибрал. Помнишь?

Гринь и рад был забыть.

Кормилица-нива почернела тогда и пожухла; выехав на жнива, семья долго смотрела на мертвое поле. Отец бродил, выискивая хоть зернышко, плакал... Зимой продали все, что было. Весной стали помирать — двое Гриневых братьев, сестра, последним ушел отец, и не от голода даже — от горя.

— А в том году, — Гринь не узнал своего голоса, — какой был грех?

Дьяк посмотрел сычом:

— Не все знать положено... Может, тоже какая-то баба втайне бесененка прижила. Или девка с перелесником согрешила. Или еще что... Столько народу повымерло — страх... Ты, Гринь, не сомневайся. Давай бесененка — мы уж придумаем, как с ним...

— Убьете? — тихо спросил Гринь.

Дьяк поморщился:

— Не зыркай... тоже, поди, не звери. Сказано — эк-зор-цизм!

Слово было нехорошее. Каленым железом веяло от слова, железной цепью да горючим костром.

Гринь молчал.

— Что смотришь, чумак? Люди собрались... давай, неси чертененка.

— Брат он мне, — сказал Гринь и сам подивился своим словам.

Дьяк разинул рот:

— Что-о?!

Гринь молчал, испугавшись.

— Ты, чумак... ты смотри. Дело серьезное. Коли недород случится — тогда уж бесененка жечь поздно будет... Дождешься, что хату тебе подпалят. Вместе со всем... Слышишь?

Гринь сглотнул:

— Никак угрожаете мне?

— Дурень, — дьяк сплюнул. — Дурень, дурень... Дурень! Грозить тебе... Против села пойдешь? Против совести пойдешь? Твой же батька в могиле перевернется... хоть и так уже, поди, переворачивается... Дурень!

Народ в конце улицы переговаривался все громче. Подступал ближе — Гринь увидел среди соседей уже и Касьяна, и Касьянового отца, который о чем-то толковал с отцом Оксаны.

— Подумать надо, — сказал Гринь шепотом.

— Думай, — неожиданно легко согласился дьяк. — Знаю, хлопец ты умный и придумаешь хорошо. Как придумаешь, приходи. А не то, гляди, сами к тебе придем.

Гринь повернулся и ушел в дом — не попрощавшись, против вежливости, не поклонившись людям.

Ему смотрели вслед.

...Брат.

Гринь всегда был старший, самый старший, братишки ковыляли по двору, сестра орала в корзине, родителей не было весь день, надо было качать и баюкать, до хрипу орать колыбельные, вытаскивать неслухов из собачьей будки, вытирать сопли, лупить хворостиной, снова вытирать сопли, утешать... В сердцах отлупив меньшого братишку, Гринь уже через несколько минут раскаивался, ему жаль становилось маленького, ревущего и несчастного, он с трудом поднимал брата на руки, тот обхватывал его за шею и тыкался мокрой мордочкой в щеку.

А вот сестру Гринь не любил. Она всегда орала и мешала спать и выплевывала «куклу», едва Гринь пытался заткнуть ей рот. «Люли-люли!» — выкрикивал он и качал колыбель так, что дите едва не вываливалось наружу. «Люли-люли... Замолчи, а то задушу!»

Потом все забылось. И вспомнилось в тот день, когда сестру хоронили — она первая не выдержала голода, с малолетства худая была и болезная...

Гринь обнаружил, что стоит посреди комнаты с ребенком на руках. И малыш гукает, пытаясь потрогать Гриня за усы. И чертененок теплый, и очень похож на мать, вот если бы только не ручки эти, четырехпалая и шестипалая.

И медальон с золотой осой.

— Люли-люли, прилетели гули... что мне с тобой делать... что мне с тобой делать...

Он ходил и ходил по комнате, раз за разом повторяя свой вопрос, и от частого повторения слова его превратились в лишенные смысла звуки. Младенец не отвечал — пригрелся, заснул у братца на груди; Гринь уложил его в корзину, пристроил сверху вышитый матерью полог.

Долго сидел на лавке, свесив руки между колен.

Потом встал, оделся, взял шапку и пошел к Оксане.

* * *

— Завтра Касьян сватов присылает.

Гриня, против ожидания, пустили в хату. Оксанины сестры шушукались на печи, Оксана стояла в сторонке и ковыряла на печи известку — хотя рано еще, завтра будет ковырять, когда сваты придут.

Гринь присел на уголке стола. Оксанины родители сидели на лавке плечом к плечу — почти одного роста, оба сухощавые, суровые, со складками у бровей.

— Откажите Касьяну, — сказал Гринь.

— С какой радости?

— Сам сватов пришлю.

— Что за горе! — в сердцах сказала Оксанина мать. — Извел девку, истомил... И деньги уже есть... только куда дочь отдавать — в хату, чортом отмеченную?!

— Бесененка выкинь, — тяжело проговорил отец. — Попа позови, пусть покадит и все что надо прочитает. Коли пообещаешь, что завтра же, — откажем Касьяну.

Оксана уткнулась в печку лбом. Так и замерла, не глядя ни на кого.

— Обещаешь, чумак? Чтобы завтра же...

Гринь молчал.

— А нет, так убирайся! — внезапно разозлилась Оксанина мать. — Душу тянуть из девки... чтобы ноги твоей не было!

— Он пообещает, — сказала Оксана, и по голосу ее было ясно, что она с трудом сдерживает слезы.

— Молчи, когда старшие говорят! — Оксанин отец опустил на стол кулак так, что подпрыгнули миски и кринки.

Гринь проглотил слюну.

— Обещаешь? — ласково, почти умоляюще спросила Оксанина мать.

Гринь молчал.

Оксанин отец поднялся с лавки. Широко распахнул дверь; прошелся по хате холодный сквозняк. Указал Гриню на выход:

— Вон.

Гринь не шелохнулся.

— Вон, сучье племя! Ведьмачий сын, чортов пасынок, чтобы духу твоего здесь не было!

Гринь поднялся и вышел.

В спину ему грохнула дверь; пройдя несколько шагов, Гринь наткнулся на поленницу, споткнулся, встал, удивленно глядя перед собой и не понимая, как это можно было промахнуться мимо калитки.

— Гриня...

Оксана выскочила ему вслед. Без свитки, босиком.

— Гринюшка, да что ж ты... да как же ты отказываешься от меня, я тебя из чумаков ждала, молилась, на дорогу ходила, все глаза проглядела! Все думала, как свадьба будет... как в дом к тебе приду... Гриня, не хочу за Касьяна, откажись ты от матери своей ведьмы, от байстрюка чортового, возьми меня за себя, обещал ведь!

— Обещал, — сказал Гринь мертвыми губами.

— Так откажешься от байстрюка?!

Гринь перевел дыхание. Положил руки Оксане на плечи, ей ведь холодно без свитки.

В тот день его выпорол отец, как оказалось, без вины; Гринь сидел в бурьяне под чьим-то забором и ревел в три ручья, не столько от боли, сколько от несправедливости. Она подошла — коса до пояса, в стиснутом кулаке, в чистой тряпочке — сокровище.

«А у меня яблоко!»

«Ну и что, — сказал Гринь сквозь слезы, — у нас во дворе целая яблоня стоит!»

«У вас дичка, — засмеялась девочка, — а это яблоко из панского сада».

И развернула тряпочку. И Гринь вылупил глаза — такого чуда видеть не доводилось, наливное, будто из воска, желто-розовое яблоко в пятнышках веснушек... А запах, запах!

«Ты не реви, — благожелательно сказала маленькая Оксана. — Ты, это самое... Хочешь, дам откусить?»

— Гринюшка... отдай байстрюка.

Он помолчал, слыша, как бьется ее сердце.

— Отда... отдам.

— Обещаешь?

— Обещаю...

— Мама! — Оксана, спотыкаясь, метнулась к дому. — Мама, батька... он обещает!!

Громко, на весь двор, зевнул в своей конуре Серко.

* * *

Значит, судьба.

Значит, судьба тебе такая. Исчезник тебя зачал, мать моя тебя родила, да ты же и убил ее. А теперь все. Свою жизнь загубить, да еще Оксанину — дорого просишь, братишка. Так дорого, что и медальоном золотым не откупишься.

Гринь едва доплелся до дома. Все бродил кругами, оттягивал время, когда войти надо будет, младенцу пеленки поменять да и отнести его, младенца, на расправу, на эк-зор-цизм.

А коли правда, что из-за этого малого новая засуха прийти может?! У кого пять детей — останется один или двое...

Дорого просишь, братишка. Не такая тебе цена. Не понесу тебя никуда. Дам знать дьяку — пусть сам приходит с людьми да и берет. А мне со сватами надо договариваться — чтобы завтра же Оксану засватать, завтра!

Прыть-то поумерь, Касьянка. Не для тебя девка. Вон, бери на выбор: Приська созрела, Секлета, Одарка...

Смеркалось.

Гринь долго стоял перед собственными воротами. Не решался войти; странно, остервенело гавкал Бровко на короткой цепи: то ли не признал хозяина, то ли замерз.

Вошел. Остановился среди двора. Мерещится — или дверь приоткрыта?!

«Хату простудишь, — недовольно кричала мать. — Живо дверь закрывай, живо...»

В хате было холодно. Остатки тепла вынесло сквозняком; еще в сенях Гринь зажег свечку.

Корзина стояла на столе пустая, вышитый матерью полог лежал рядом.

Гринь ушибся головой о притолоку.

Вот, значит, как... Пришли и взяли. Вот следы сапог на пестром половичке... Пришли и взяли, Гринь хоть сейчас может сговариваться со сватами, еще не так поздно, только что стемнело.

Ни о чем не думая, Гринь полез за печь и проверил тайничок. Деньги были на месте — ничего не пропало. Хватит, чтобы стол накрыть и музыку нанять. Хватит, чтобы земли прикупить

и нужды не знать, жену баловать обновками, а детей — пряниками.

Разве не для этого он жарился под солнцем в степи?! Разве не для этого рисковал жизнью, отбивался от разбойников и откупался от мытарей?

Гринь стянул сапоги. Перемотал онучи; зачем-то обулся снова. Наклонился над опустевшей корзиной — теперь Оксана будет складывать в нее чистое белье.

Корзина пахла младенцем. Кисловатым, молочным запахом.

* * *

Он застал их на площади перед церковью. Горели факелы, будто в праздник; луны не было, зато из-за обилия звезд небо казалось обрывком церковной парчи.

Младенец орал.

Орал от холода, или от голода, или от страха; дьяк читал что-то по книге и, силясь перекричать младенца, охрип.

— Вы что творите?! — закричал Гринь издалека еще, на бегу. — Вы зачем человеческую тварь невинную мучаете, Божьим словом прикрываетесь, как воры?!

Те, что стояли на площади, разом обернулись. Хмурой решимостью повеяло на Гриня, решимостью, отчаянием и злобой:

— Отойди, чумак!

— Отойди, а то будет тебе проклятье... дом спалим — с сумой пойдешь...

— Нового недорода захотел?! Чумы захотел, да?!

Поначалу собравшиеся показались Гриню безликой темной толпой — но уже через минуту он увидел и Василька с отцом, и Колгана, и Матню, и Касьяна с братьями, и всех соседей-мужиков... Баб не было. Ни одной. Не бабское это дело.

— Не мучьте дите!

— Зачем оно тебе надо, чумак?! Твое, что ли? Поперек горла тебе и всем... чортово отродье, вражье зелье! Ну что тебе надо?!

Гринь остановился.

Зря пришел сюда. Ох, зря; на одной половинке весов и Оксана, и... все, а что на другой?! Зря только лечил от поноса... зря молоком поил, зря на руки брал...

— В костер бросите? — спросил он шепотом, ни к кому не обращаясь.

— В какой костер?! — удивился оказавшийся рядом сосед. — Читать надо, пока не замолчит. Беса гнать... Это не дите орет — это бес в нем.

Младенец зашелся новым криком; Гринь покачнулся, схватил ртом морозный воздух — и, не размахиваясь, ударил соседа в челюсть.

Хороший был кинжал. Дядька Пацюк сам его для Гриня выбрал, посоветовал денег не жалеть. Кривой кинжал, на лету волос перерубает. Пацюк же и научил Гриня приемам — и пригодилась наука, ох как пригодилась, особенно весной, когда разбойников стало больше, чем ворон.

— Не подходи! Убью!

Дьяк пятился, уронив свою книгу на снег. Нехорошо улыбался Матня, хмурились Касьяновы братья, и везде, где хватало света факелов, блестели яростные глаза.

— Не подходи!..

Гринь набросил на младенца свою свитку. Тот замолчал, как по команде; люди зароптали:

— Бес...

— Чует... бес...

— И этот уже бесами забран!..

— Чортов пасынок...

Матня поудобнее взял факел. Пошел на Гриня боком, отведя факел чуть в сторону; его одернули. Отец велел вернуться — Матня оскалился и попятился назад.

Поблескивал кривой кинжал. Мужикам постарше доводилось видеть такие клинки — и по тому, как Гринь держал его, ясно становилось, что хлопец не в бабкином сундуке отыскал оружие. Что хлопец тот еще.

— Камнями его, — сказали из задних рядов.

— Тихо, — поп шагнул наперед. — Гриня, уйди. На исповедь придешь, замолишь... Уйди. Не то худо будет, слышишь, Гриня?!

— Не дам дите! — крикнул Гринь срывающимся голосом. — Нечего мучить! Своих вон рожайте и мучьте...

Попа оттеснили. Мужики наклонялись, искали под снегом камни; камней под заборами было в избытке.

— Забьем обоих, — хрипло сказал Матня. — Отойди от пащенка, коли жить не надоело!

Гринь проглотил слюну.

А чего терять-то? Всему пропадать! Оксаны не видать больше. В отцовской хате не жить. Только в проруби топиться — так лучше в бою, как чумак, как мужчина...

Матня первым кинул камень — Гринь увернулся. Зато следующий камень метил в младенца — Гринь отбил его кулаком, и рука сразу же онемела.

Потом камень угодил ему между лопаток.

Потом — в плечо.

Потом одновременно в спину, в колено и в грудь. Потом в лоб — Гринь зашатался, но устоял. Кинжал был бесполезен — мужики держались широким кольцом. Гринь склонился над младенцем, прикрывая его собой...

И вдруг стало светло.

— Что здесь происходит?

Камни больше не летели. Гринь поднял голову.

— ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?

В свете новых, сильных факелов на толпу смотрели четверо. Первый восседал на огромной белой лошади, закованный в невиданную гибкую броню, в руках его был хлыст, а у пояса — сверкающий меч; двое его спутников отставали на полкорпуса, один в черном, заросший бородой до самых бровей, страшный, как в детском кошмарном сне, второй в зеленом, белолицый, с надменной усмешкой и тоже с плетью в руках.

И женщина. Такими обычно представляют ведьм — чернявая, с глазами как уголья, да еще в мужской одежде.

Мужики побежали.

Они бежали молча, падая в темноте и наступая на упавших; дьяк убежал первым, и книжка его с экзорцизмами так и осталась валяться в снегу. Поп спрятался в церкви и запер за собой дверь.

Гринь громко хлюпнул носом. Втянул в себя кровь.

Младенец заплакал. Сперва неуверенно, потом все громче.

Часть вторая

ДЕВИЦА И КОНСУЛ

ПРОЛОГ НА ЗЕМЛЕ

Здесь магнолии не росли.

У него не было сада, не было дома с колоннами розового мрамора. Няни не было тоже. Маленькая хибарка на окраине Умани, вишневое дерево у входа, единственный лапсердак с заплатками на локтях, доставшийся ему от щедрого дяди Эли...

— ...Ваш сын станет великим учителем, уважаемый ребе Иосиф! Может быть, даже наставным равом в самом Кракове! Хотел бы я, чтобы мои великовозрастные балбесы понимали Тору хоть вполовину так же, как и он. А ведь вашему сыну, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, только двенадцать!..

Ему действительно недавно исполнилось двенадцать, когда проклятый Зализняк ворвался в Умань.

Отец не верил — и отказался бежать. А потом стало поздно. Семья успела выбраться из северных ворот, но только для того, чтобы наткнуться на очередную гайдамацкую ватагу, — люди Зализняка спешили в горящий, гибнущий город.

— ...Хлопцы! Глянь! Так то ж жиды! А ну, робы грязь!..

Отцу повезло — он упал сразу под ударами шабли. Повезло и

матери — ее проткнули острой косой. И Лев Акаем, жених сестренки старшей, погиб без мучений — бросился на врагов и упал бездыханным.

Ему повезло меньше — ему, сестрам, братьям.

Лея, младшая, умерла быстро — уже под третьим или четвертым ублюдком, терзавшим ее юное тело. А Рахиль жила долго и все кричала, кричала... кричала.

Пока одни убивали сестер, другие разжигали огонь. Дрова разгорались плохо, недавно прошел дождь...

— А ну, говорите, жидята, где ваш батька червонцы запрятал?!

Голые ноги — в костер.

Страшный дух горящей плоти.

И крик... Сначала умер Ицык, самый младший, затем — Шлема...

Наконец замолчала Рахиль — страшная, непохожая на себя. Кто-то взмахнул шаблей, поднял ее голову, насадил на пику. На него взглянули широко раскрытые пустые глаза...

Ухмыляющиеся рожи подступили ближе, кто-то плюнул в лицо.

— А вот и мы, жиденок! Ну, может, ты чего скажешь, перед тем как сдохнешь?

Он знал, что не может отменить случившееся, — и знал, что оставить все, как есть, тоже не сумеет. Зачем он здесь, кто он такой, если не сумел защитить свой дом, свой народ, свою семью?.. Он ненавидел себя. Он стыдился себя, слабого; он *пожелал*, сам до конца не осознавая своего желания. Изо всех сил пожелал...

И шагнул в костер.

Лица гайдамаков менялись и плыли, полустертые горячим воздухом, но ему было все равно, потому что как раз в этот момент на голове его сухо вспыхнули волосы...

«Не в добрый час твое желание услышано, мальчик. Не в добрый час».

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

— Панночка! Панночка! Заступитесь!

Чужие руки прикоснулись к узде. Кровный серый конь не выдержал — прянул в сторону, возмущенно заржав. Всадница — девушка в серой, обитой дорогим черкасином кожушанке — качнулась в седле и слегка наморщила плоский утиный нос. Красные сапожки вжались в конские бока, удерживая скакуна на месте.

— Панночка!

— Гей, назад, шайтан! Кому говорить? Назад! Отойди от ханум-хозяйка!

Второй всадник, широкоплечий одноглазый татарин в синем жупане, взмахнул короткой плетью-камчой. Просители — трое посполитых в долгополых кожухах — отступили на шаг.

— Заступись, панночка!

Девушка придержала коня, оглянулась.

Вечерняя улица была пуста. За день снег успел слегка подтаять, подернуться грязноватым настом. В маленьких окошках неярко горели огни, возле высоких дубовых ворот скучал здоровяк-караульный, небрежно опираясь на пику.

— Погоди, Агмет!

Татарин недовольно заворчал, но послушно опустил руку с плетью. Те, что остановили всадницу посреди пустой улицы, поспешили вновь приблизиться, держа заранее снятые шапки в руках.

— Панночка Ярина! Заступитесь! Пан Лукьян нас и на крыльцо не пустил! Пропадаем, панночка!

Ярина Загаржецка раздраженно пожала плечами, бросила взгляд на запертые ворота:

— Откуда?

— Из Гонтова Яра! Из Гонтова Яра, панночка Ярина! — заспешили кожухи. — Вконец пропадаем! Пан писарь сотенный нас и слушать не стал! Заступитесь! Батька твой до нас добрый, и ты добрая!

Девушка невольно хмыкнула и покосилась на своего спутника. Татарин осклабился и произнес нечто среднее между «Хе!» и «Хы!». Видать, совсем уж плохи дела у кожухов, если они о доброте пана сотника заговорили!

— Батька уехал, или не знаете? — Девушка наморщила свой плоский нос, вздохнула. — Пока его нет, пан писарь главный.

— Заступитесь, панночка Ярина! Пропадаем! Все село пропадает!

Девушка дернула плечом и соскочила с коня. Татарин смерил недовольным взглядом наглых посполитых и нехотя последовал ее примеру.

— Жди здесь, Агмет!

Ярина кинула поводья своему спутнику и шагнула к воротам. Караульный, поспешив поклониться, распахнул калитку.

— Пан писарь у себя?

— Так, панна сотникова!

Девушка быстро прошла через двор. Взбежала на высокое крыльцо, стукнула каблуками, отряхивая снег с сапожков, и решительно отворила дверь. В лицо пахнуло теплым запахом жилья. Навстречу шагнул еще один реестровец, уже без пики; узнал, склонился в поклоне.

— К пану Лукьяну! Где он?

— В зале, панна Ярина.

— Не провожай! Дорогу знаю!

В прихожей тускло горели свечи — не сальные, восковые. Лукьян Еноха, писарь Валковской сотни, не мелочился. Новый дом поставил всего год назад, а уже и пристройку затеял, и амбар под тесовой крышей, и конюшню. Девушка вспомнила, как посмеивался отец, читая писарскую «слезницу», в которой тот просил отписать ему еще и мельницу «за-ради бедности нашей кормления для». Посмеивался — но в мельнице не отказал. А теперь, когда пан Логин Загаржецкий, сотник Валковский, со своими черкасами реестровыми где-то за Дунаем, пан писарь и вовсе стал кум королю и самому гетьману сват.

Девушка толкнула дверь — тяжелая створка поддалась с трудом. В глаза ударил яркий свет. В зале горели уже не свечи, а немецкое диво: масляная лампа розового стекла. Ярина невольно прикрыла веки.

— То ты, Ярина Логиновна? Проходи да садись!

Лукьян Еноха сидел за высоким, крытым вышитой скатеркой столом. Перед ним лежала толстая друкованая книга в обложке дорогой кожи. Не доверяя немецкой лампе, пан писарь водрузил на нос большие окуляры, делавшие его весьма похожим на филина.

Девушка прошла вперед, взялась рукой за резную спинку стула, но садиться не стала.

— Вечер добрый, дядько Лукьян! И чего это у тебя просители у ворот мерзнут?

— Которые? Из Гонтова Яра?

— Из Гонтова.

Пан писарь ничуть не удивился. В черных с проседью усах мелькнула усмешка.

— То не ко мне. Им к архимандриту надо. К отцу Мельхиседеку. Черти, вишь, к ним в село повадились!

— Черти?!

Писарь, не торопясь, захлопнул книгу, снял окуляры, вложил в кожаный, шитый бисером футляр.

— Помнишь, на той неделе болтали, что в Гонтовом Яру баба чертенка породила? А теперь к ним и вовсе — толпа чертей пожаловала. Один чорт на коне белом, другой — на коне вороном...

Девушка быстро перекрестилась. Писарь последовал ее примеру, но усмешка не исчезла — стала еще шире.

— Вот они, заполошные, сюда прибежали — сикурсу просить. И что посоветуешь, Ярина Логиновна?

Девушка непонимающе поглядела на улыбающегося пана писаря. Наконец и сама усмехнулась:

— Врут, думаешь, дядько Лукьян?

— Да не то чтобы врут... Ты, Яринка, садись да шапку с кожушанкой снимай. Жарко тут! Ужинать будешь?

Девушка послушно сняла шапку, расстегнула крючок ворота, но садиться все же не стала.

— Ужинать — потом. Но ведь чего-то там приключилось! Иначе зачем им сюда прибегать?

— Сие суть злонравные плоды невежества, дурными нравами усугубленные...

Ярина быстро оглянулась. Высокий нескладный парень — тоже в окулярах — незаметно вошел в залу и теперь с интересом поглядывал на происходящее сквозь толстые стеклышки.

— ...Истинно глаголил учитель мой, блаженный муж Григор Варсава: без просвещения народного обречены мы прозябать среди диких суеверий, подобных суевериям ефиопов или индийцев заморских... Здравствуй, Ярина!

— Вечер добрый, Хведир Лукьяныч! — ничуть не удивилась девушка. — Так что же там у них приключилось-то?

Парень в окулярах бухнулся на лавку, вздохнул:

— Да ну их, пейзан сих лапотных!

— То есть как «ну»? — возмутилась девушка. — Люди без шапок на снегу стоят!

— То от дурости! — вновь усмехнулся пан писарь. — Теодор, расскажи, ты же с ними балакал!

Тот, к кому столь странно обратились, не спеша снял с носа окуляры, протер и вновь водрузил на место. Было ясно, что тема его явно не увлекала.

Хведир Еноха, младший сын пана писаря, вернулся прошлой осенью в Валки после шести лет учебы в Могилянской коллегии. За эти годы он приобрел дурную привычку изъясняться книжными словами и изрядно зачванился, отныне предпочитая откликаться на «Теодора» вместо излишне простонародного «Хведира». Если окуляры были вещью неизбежной, то все прочее вызывало усмешку — у кого добродушную, а у кого и злую, хотя зла парень никому не делал. Добра, впрочем, тоже — слонялся по округе, книжки читал да играл на свирели, изрядно фальшивя. Батька, пан писарь сотенный, не спешил пристраивать сына. Поговаривали, что по весне он вновь пошлет младшего в коллегию — на философа учиться.

— Ведомо сугубо, — парень наставительно поднял указательный палец вверх, — что в представлениях пейзанских, ныне фольклором именуемых...

— Хведир! — Ярина топнула сапожком об пол. — Еще раз по-бурсацки заговоришь, я на татарский перейду!

Грозила она не зря. Агмет, отцов слуга, выучил свою воспитанницу не только татарскому, но и турецкому.

— Борщив як три не поденькуешь, — невозмутимо откликнулся Хведир-Теодор, — так в моторошни засердчит; и зараз тяглом закишкуешь, и в буркоти закендюшит.

Девушка не выдержала — рассмеялась. Парень вздохнул, покачал головой:

— Вот так всегда! Да ничего там не случилось, Яринка! Вдова Киричиха с каким-то пришлым сошлась, родила байстрюка, а сама и померла. Упокой, Господи...

Он быстро перекрестился, остальные поспешили последовать его примеру.

— Дите сиротой осталось, при брате. А брат, почитай, его лет на двадцать старше — чумак, заризяка, без ножа на улицу не выходит. Ну и загулял по селу разголос, будто младень сей — чертенок, и от того чертенка всему селу пропасть. Попом там отец Гервасий, темный, как ночь, а дьяком — Юско Шалый, ученый да дурной. Наслушался всякого вздора и решил, что дите должно по книжке отчитывать, беса выгонять. Экзорцист нашелся! Схватили они младеня, на выгон потащили. Брат, чумак который, за нож, а они его — в каменья. И тут, в раззор самый, четверо приезжих на огонек завернули. «Чего делаете?» — спрашивают. А паны посполитые — деру.

— А почему — черти? — поразилась Ярина.

— А потому — дурные! — наставительно пояснил сам пан писарь. — Конь, вишь, у одного забродыы белый, у второго — рыжий, у третьего — вороной. А четвертая будто бы и вовсе на коне бледном. Смекаешь, чего удумали? Я их, селюков, по-хорошему спрашиваю: с оружием, мол, приезжие? Не разбойники ли? А они: нет, мол, без рушниц, только с шаблями, зато зрак страховидный имеют, и баба средь них — чисто ведьма. Помнишь, Яринка, как в прошлом году в Конотопе ведьму ловили?

Девушка кивнула и звонко рассмеялась. Слух о конотопской ведьме прошел по всей Гетьманщине. И не только слух — сотника Халявского за дурь да за самоуправство с сотни сняли и виру наложили такую, что не расплатиться.

— А все же не годится, дядько Лукьян! — отсмеявшись, заявила она. — Вдруг и вправду там чего непотребного деется? Слыхал ведь — до ножа с каменьями дошло!

Писарь вздохнул, качнул окулярами:

— У меня, Яринка, как батька твой в поход ушел, только и осталось, что десяток стариков абшидных да дюжина сопляков, что и шабли в руках не держали. А случись чего, чем Валки оборону? Люди лихие сие сразу смекнули, того и гляди — налетят. Подумаешь, каменьями подрались!

— Батька, так давайте я в Гонтов Яр съезжу, — внезапно

предложил Хведир. — Все одно делать нечего! Разберусь, а заодно и погляжу, каковы там черти. Селянам скажу, что я по ведьмам — первый знаток. Три раза «Отче наш» прочту, посполитые и успокоятся. В коллегии потом хлопцам расскажу — посмеемся.

— На ночь глядя? — Пан писарь недовольно поморщился. — А ежели и вправду люди лихие? С тебя вояка, сам ведаешь, какой!

Хведир только вздохнул. Это уж точно — не воин. Шаблюкой махать — не перышком черкать и не вирши складывать.

— А вместе съездим! — улыбнулась Ярина. — Дядько Лукьян, вы мне этого вояку доверите?

— Тебе? — Седатые брови пана писаря полезли вверх. — Тебе, Яринка, я и сотню доверю, да только что за обычай — по всякому селянскому плачу коней томить? На каждый чих не наздравствуешься!

— Батька так не думает, — теперь голос девушки звучал твердо, на лице не было улыбки. — Батька считает, что мы, реестровцы, черкасы гетьманские, — посполитым ограда и защита. К кому им еще обращаться, как не к нам? За то нас и кормят, за то и на полях наших работают.

«Мы — реестровцы» — прозвучало так, что пан писарь и не подумал ухмыльнуться. Нрав Ярины Загаржецкой, единственной дочери зацного и моцного пана сотника, был ему хорошо ведом — как и всем прочим в округе. Логин Загаржецкий мечтал о сыне, а родилась дочь. Некрасивая плосконосая девочка, с детства приученная скакать на кровных конях и рубить татарской шаблей лозу. И уже без всякого смеха начинали судачить, что быть когда-нибудь девке сотником — дело хоть и невиданное, да мало ли чего невиданного в мире деется? Что ни говори, а и такое на свете бывает. Редко — да бывает.

— Ин ладно! — Пан писарь вновь вздохнул, повернулся к сыну: — Возьмешь с собой Малея да Луцыка. Только смотри у меня — не задирайся! И за егозой этой следи, а то, случись чего, как я ее батьке в глаза глядеть буду!

Щеки девушки невольно вспыхнули, но она сдержала характер — смолчала. Хведир довольно ухмыльнулся и тут же охнул — маленький, но крепкий кулак поцеловал его аккурат под ребра. Пан Лукьян Еноха осуждающе покачал головой, но вмешиваться не стал, благоразумно рассудив, что молодежь и без него во всем разберется.

* * *

— И чего дальше, после коллегии? Попом будешь?

— Попом? — Хведир задумался, погладил ноющий бок. — Да ну его, не хочу попом! Попадется такая попадья, как ты, и месяца не проживу!

— Что, сильно попало? Ну, извини!

— Вот так всегда! Побьют, а потом извиняются!

Дорога была пуста, снег глубок. Ехать пришлось по санной колее, по двое в ряд — шагом, не спеша. Ярина и Хведир пристроились впереди. Двое черкасов, оба седоусые, лохматые, в высоких черных шапках, ехали за ними. Одноглазый Агмет замыкал маленький отряд, то и дело оглядываясь и недовольно покачивая головой. Было заметно, что поздняя поездка ему не по нутру. Похоже, не ему одному — Малею и Луцыку явно хотелось спать, да и кони шли понуро, без всякой охоты.

— А если попом не хочешь, чего в коллегию ехал?

Хведир усмехнулся, пожал плечами:

— Так батька послал! Я ведь третий сын, почнут добро делить, мне и отрезать нечего будет. А так, не попом, так дьяком. Может, повезет, в коллегии останусь: ритором или даже богословом...

Девушка недоверчиво покосилась на своего спутника, но ничего не возразила. Для нее, дочки, внучки и правнучки удалых черкасов, коллегия представлялась чем-то вроде богадельни — для тех, кому шабля не по руке.

— Думаешь, Ярина, мне самому не хотелось в черкасы? Да только куда мне! Помнишь, я и в детстве без окуляров шагу ступить не мог?

Девушка кивнула, на этот раз не без сочувствия. В детстве они дружили — то есть регулярно дрались, причем Хведиру доставалось куда чаще, чем юркой и проворной на руку сотниковой дочке. Первые окуляры были разбиты на следующий же день. Вторые и третьи прожили едва с неделю.

— Батька женить меня хочет, — внезапно сообщил Хведир. — На богословский и на философию без рукоположения не берут, значит, до лета свадьбу сыграть надо.

И на этот раз ответа не было. Ярина вновь покосилась на понурого бурсака и зачем-то погладила свой утиный нос.

— А говорят, тебя той весной сватали?

— Сватали, — девушка усмехнулась. — Степан Климовский за своего старшего — Максима. Так батька и слушать не стал.

— Это который Максим? Который песни сочиняет?

— Который, — Ярина кивнула. — Да голота они, Климовские, хутор и тот продали. А Максим — зазнайка, его девки наши разбаловали... Ну его, ерунда это!

Она отвернулась и стала смотреть на дорогу. Путь был близкий, знакомый с детства. Овраг, небольшая роща, снова овраг, холм, а за ним — село. Если бы не снег, за полчаса доехать можно. Да и по снегу — немногим дольше.

— А что такое «фольклор»?

Хведир удивленно моргнул близорукими глазами:

— Как? Откуда ты?.. Ах да, понял! Фольклор, Ярина, это по-нашему вроде как побрехеньки. То, чем посполитые детей пугают. Ну там черти, ведьмы, мертвяки заложные...

Рука девушки дернулась ко лбу — перекреститься, но ироничный взгляд Хведира заставил ее отвернуться.

— Профессор у нас по риторике — пан Гримм из Немеччины. Так он велел каждому из нас, пока на вакациях будем, записать какую-нибудь историю, да не со слов чужих, а чтоб сами увидели.

— Так вот чего ты ехать вызвался!

— Ну да! Что мне на этих поселян смотреть без пользы? А так — байка хоть куда. И черти, и чертенята, да, говорят, какой-то исчезник в придачу.

Ярине стало не по себе. Не то чтобы она боялась — негоже сотниковой дочке такого бояться! Но с другой стороны... Поздний вечер, пустая дорога, а впереди — село, где черти гнездятся.

— А сам-то ты что, не веришь? В чертей?

Хведир покачал головой и только усмехнулся.

Холм перевалили уже в полной темноте. Правда, искрящийся снег помог — село заметили сразу. Полсотни хат, окруженных палисадами, за ними — узкая полоска замерзшей реки. Ярина невольно придержала коня, оглянулась.

— Э-э, погоди, ханум-хозяйка!

Агмет ударил каблуком своего вороного иноходца, выехал вперед.

— Теперь, ханум-хозяйка, моя первым ехать! Твоя сзади ехать, меня слушать!

Оба сивоусых — Малей и Луцык — согласно закивали и, не говоря ни слова, тоже пристроились впереди. Малей, порывшись в седельной суме, достал оттуда что-то лохматое, издали похожее на пушистую мышь, и показал остальным. Те, одобрительно заворчав, достали ножи.

— Вы чего, панове? — удивилась девушка, но ответа не дождалась. Пушистый комок начал переходить из рук в руки, острые ножи отрезали кусок за куском.

— Так то ж хвост волчий! — сообразил Хведир. — На пыжи, да?

Его тоже не удостоили ответом. Уцелевший кусок меха был отправлен обратно в сумку, после чего сивоусые, о чем-то шепотом посовещавшись с татарином, удовлетворенно хмыкнули и тронулись с места.

— Понял! — Бурсак потер руки и зашептал, стараясь, чтобы не услыхали остальные: — Это, Ярина, и есть фольклор, самый настоящий! Чтобы убить чорта, нужен пыж из волчьей шерсти. А можно и серебряным таляром — вместо пули. Говорят, сам Семен Палий это выдумал. Вот уж не думал, что увижу!

Ярина улыбнулась в ответ, но улыбка сразу погасла. Рука привычно нырнула в седельную суму, проверяя: на месте ли пистоли? Вот они, надежные, недавно смазанные, заряженные. А вот и пороховница, тяжелая, полная. Правда, пыжи не из волчьего хвоста, но — ничего.

Шабля тоже была на месте — «корабелка», подарок отца. Захарко Нагнибаба, сотников дед, взял ее в горячем бою. Давно дело было, еще при Старых Панах, когда гетьман Зиновий поднял черкасов на защиту родной земли и родной веры...

— Да ты чего? — удивился Хведир. — Воевать собралась, что ли? С кем?

Девушка только головой покачала. Всем хорош парень — и умный, и добрый, и не трус вроде — да только не черкас. Вот и на коне сидит: стыдно смотреть, словно собака на заборе.

Впрочем, Хведир тоже изготовился — по-своему. Из-за пазухи был извлечен кожаный кошель, из кошеля — окуляры. Окуляры долго протирались и, наконец, были водружены на нос. Вовремя — маленький отряд уже подъезжал к околице.

Ярина усмехнулась.

* * *

Первым их встретил поп. Отец Гервасий был без шапки, зато с большим медным наперсником на груди. Черные с проседью волосы дыбились, всклоченная борода торчала во все стороны.

— Господи! Господи! Неужто и вправду услыхал мя, грешного? Неужто и вправду?..

И голос стал иным — не прежним, густым и самодовольным, а хриплым, трескучим, словно с мороза.

Ярина соскочила с седла, не глядя, кинула поводья, надеясь, что Агмет успеет их подхватить. Склонила голову:

— Благослови, отче!

Благословляющая длань дрогнула, с трудом сотворила крест.

— Добрый вечер, отец Гервасий!

— Добрый... Дочь моя! Ярина Логиновна! Панове! Не попустите! Заступитесь!

— И где сии супостаты злокозненные пребывание ныне имеют? — поинтересовался Хведир, неловко слазя с коня. Остальные уже окружали Ярину. В руках у черкасов сами собой оказались короткие рушницы-янычарки. Агмет поигрывал кривой турецкой шаблей.

— Су... Супостаты... — поп сглотнул. — Пребывают они в хате бесова пасынка Григория Кириченки, именуемого также Чумаком...

— А все остальные где? Мужики? — перебила Ярина. — Возле хаты?

Поп понурил лохматую голову, и все стало ясно.

— Ну, пошли! — Девушка резко вскинула подбородок. — Веди, отец Гервасий!

— Д-дочь моя! Панна сотникова! Панове черкасы! — растерялся священник. — Не должно ли подмогу обождать, ибо страшны супостаты, словно войско адово...

В ответ послышался негромкий смех — смеялись сивоусые. Агмет тоже скривил губы. Ярина махнула рукой:

— Или не видишь, отче? С нами сам пан ритор Теодор Енохa, с ведьмами и чертями первый боец!

Хведир расправил плечи и зачем-то погладил еле заметные усики. Поп только вздохнул, но спорить не стал.

Шли пешими, ведя коней в поводу. Село словно вымерло, собаки и те не брехали. Но вот из-за плетня высунулась чья-то голова в черной шапке, за ней другая — в очипке...

Ярина только языком прицокнула. Мужики-мугыри, что с них взять? Вот толпой на одного — это они горазды. До первого черкасского посвиста.

Нужная хата оказалась почти в самом конце, обычная, беленая, с засыпанной снегом соломенной стрехой. Калитка была отворена, маленькое окошко светилось.

— Вот! — выдохнул поп, прячась за ближайшего коня. — Гнездилище адово!

И словно в ответ послышалось негромкое, но грозное рычание. Огромный пес вразвалочку подбежал к калитке, ощерил белые клыки. Поп пискнул и тут же сгинул — словно и не было его.

— И бысть сей Цербер зело лют и грызлив, — усмехнулся Хведир. — Панове, сала никто не захватил?

— Э, зачем? — хмыкнул Агмет. — Свинья плохо кушать, свинья поешь — сам свинья станешь! А ну, зажди мало-мало!

Он подошел к калитке. Левая рука татарина дрогнула, словно пытаясь погладить воздух. Послышался протяжный свист. Пес недоверчиво повернул кудлатую голову, замер, затем осклабился и вильнул хвостом.

— Шайтан ты, Агметка! — удовлетворенно заметил один из сивоусых.

Ярина не удивилась. Старый татарин и ее учил этой хитрости. Учил — да не выучил. Видать, свистела не так.

— Зачем — шайтан? — удивился Агмет. — Собака — глупый, совсем как ты! Свинья ешь — глупым будешь!

Сивоусый обиженно заворчал, но ответить не успел.

Дверь скрипнула.

Черкасы разом вскинули янычарки.

— Стойте, панове! — Ярина шагнула вперед. — Я сама...

Договорить не успела — в дверях показался человек.

Один.

Ярина никогда не встречала Гриня Чумака, но сразу же стало ясно — не он. Не селюк, не мугырь.

Девушка прикусила губу. Вот, значит, на кого похожи черти!

На незнакомце был темный плащ, застегивавшийся у горла, под ним неярко светилась броня: то ли кираса, то ли дедовская кольчуга. На боку — что-то странное: палаш или заморская шпага...

— Что вам надо?

Равнодушный голос ударил в уши. Ярине даже показалось, что слова звучали иначе, по-другому, но невидимый толмач поспешил перевести.

Один из сивоусых дернулся, но Ярина положила ему руку на плечо.

— Сама! Дверь под прицел!

Незнакомец ждал, спокойный, уверенный. На молодом красивом лице ничего не отражалось — кроме откровенной скуки.

— Стой, где стоишь! — Девушка помедлила, затем сделала еще шаг, остановилась. — Я — Ярина Загаржецка, дочь моцного и зацного пана Логина Загаржецкого, сотника Валковского. Кто ты и что здесь делаешь?

Незнакомец ответил не сразу: словно ждал, покуда невидимый толмач переведет чужую речь. Наконец кивнул, дернул головой в коротком поклоне:

— Добрый вечер, госпожа Ирина! Меня зовут Рио, и я здесь по делу.

И вновь почудилось, будто слова странного пана Рио звучали совсем по-другому. Но думать об этом не было времени.

— Предъяви подорожную, пан Рио. На себя да на спутников своих.

На красивом лице мелькнуло удивление. Пан Рио задумался, затем рука скользнула за ворот.

Один из черкасов предостерегающе кашлянул, но девушка не дрогнула. Что у него там? Пистоля? Не безумец же он в самом деле!

Пистоли за пазухой не оказалось. Вместо нее в руке появился свиток — странный свиток из странного твердого материала. Неужели пергаментный? Экая старина!

Девушка протянула руку. Пан Рио шагнул вперед, их пальцы встретились, слегка соприкоснулись — и вдруг Ярина с изумлением поняла, что краснеет.

— Прошу, госпожа! — Незнакомец улыбнулся, а девушка сердито нахмурилась. Ишь, любезник нашелся!

Свиток действительно оказался пергаментным, с тяжелой золотой печатью. Ярина только головой покачала. Это кто же та-

кие подорожные выписывает? Царская? Цесарская? Нет, там печати обычные — свинцовые или сургучные.

Девушка развернула свиток, всмотрелась, наморщила нос. Темно! Только и видно, что буквицы в заголовке. Искусно писанные, красные с золотом.

— Сейчас принесу огня, госпожа!

Пан Рио вновь улыбнулся, но эта улыбка ничуть не успокоила. Что-то не так! Незнакомец ведет себя, как хозяин. А сам хозяин где? Когда же это было, чтобы за порог первым гость выходил?

Пан Рио исчез и почти сразу вернулся — уже со свечой. Неровный свет упал на пергамент.

Понятнее не стало. Буквицы оказались незнакомы: не свои, русские, не польские, не латинские. И не жидовские.

— Агмет!

Татарин словно ждал — мигом оказался рядом. Девушка поднесла пергамент к свету:

— Гляди! Не турецкий?

Агмет всмотрелся, качнул головой:

— Йок, ханум-хозяйка! Не турецкий, не татарский. Агмет такого не видеть!

Оставалось позвать всезнающего Хведира, но тот был уже рядом. Блеснули толстые стеклышки окуляр. Бурсак вгляделся, хмыкнул:

— Койне! Диалект давнегреческого! Ну надо же!

— Прочтешь?

— Попытаюсь...

Хведир склонился над пергаментом. Пан Рио ждал, не двигаясь с места, и это спокойствие почему-то с каждым мигом нравилось Ярине все меньше и меньше. Где хозяин? Где Гринь Чумак? В хате было тихо, но вот из дверей донесся странный звук, похожий на кошачье мяуканье. Младень? Ах да, конечно, байстрюк вдовы Киричихи! Чертенок!

— Тут написано... — Хведир поднял голову, неуверенно пошевелил губами. — Какой-то деспот... Владыка или князь... Посылает героя Рио...

— Как? — Девушке показалось, что она ослышалась.

— Героя, — бурсак пожал плечами. — Так и сказано — доблестного героя Рио. Посылает с каким-то заданием в сопровождении трех спутников и просит всех оказывать помощь. Внизу — именной знак, подпись секретаря. Ну и печать.

— Ясно!

Ясного, правда, было мало. Документ составлен верно (если, конечно, не считать «доблестного героя»). Составлен, но не заверен — ни в гетьманской канцелярии, ни в полковой. А ведь

без этого «герой» Рио не добрался бы до Гонтова Яра: ни с севера, ни с юга. Откуда же он взялся?

— Вам придется отправиться со мной в Валки, пан Рио, — девушка передала пергамент Агмету, усмехнулась. — Старшим там сейчас пан Еноха, сотенный писарь. Пусть он и решает.

— Нет...

— То есть как — нет?

Сзади послышалось ворчание. Сивоусые тоже услыхали ответ героя. Услыхали — и, наверное, мигом взялись за янычарки.

— Нет, — повторил пан Рио. — Госпожа Ирина, я... Мы должны ждать здесь. В течение суток к нам должен прийти наш... консул... представитель. От него мы должны получить разрешение... визу на выезд...

На этот раз невидимый толмач явно сплоховал. Ярина ясно услыхала чужую речь, непривычную, странную. Выходит, так и есть — с нею говорят на неведомом наречии, а какой-то чаклун переводит! Да так, что слова сами ложатся в уши!

На миг стало страшно. Ярина закрыла глаза, вздохнула. Может, ну его к бесу, этого героя? Пусть катит в свое пекло!

Но страх вдруг исчез, сменившись злостью. Колдун, значит? Напугать решил? Не выйдет, пан герой!

— Разрешение, пан Рио, дает у нас не консул, а местная власть. И я говорю от ее имени. А не веришь, так мы поможем — под руки отведем!

Улыбка на лице незнакомца стала еще шире. Ладонь как бы ненароком скользнула к поясу, к странной шпаге.

— Госпожа Ирина! Мне... Нам не требуется разрешение местной власти. Я уже получил его, потому и смог попасть в ваш мир... в вашу местность... землю. Ни нам, ни вам не нужны неприятности... трудности... сложности...

Невидимый толмач старался вовсю, но Ярина уже все поняла. Добром этот Рио в Валки не пойдет. Не пойдет — и вдобавок смеет угрожать. Так, значит?

Она обернулась, желая отдать приказ черкасам, как вдруг в хате послышался шум, сдавленный вскрик, возня. Это почуяла не только она — пан Рио вздрогнул, ладонь легла-таки на эфес...

...Поздно! Высокий парень, крепкий, в черном кожухе, появился на пороге. На его плече лежала чья-то рука, парень дернул плечом, освободился, рванулся вперед:

— Помогите! Помогите, панове! Они братика... Братика!

Хлопнула дверь, заскрежетал засов.

Пан Рио исчез.

— Помогите!

Парень оступился, упал на снег, вскочил.

— Назад! Шибко назад!

Агмет схватил его за руку, поташил за плетень. Хведир за-

мешкался, но его тут же поторопили, толкнув в спину. Ярина отступала последней, жалея, что не захватила с собой пистоли. Этак шибанут сейчас из оконца!

Малей и Луцык уже ставили лошадей — одну к другой, чтобы закрыться от выстрелов. Янычарки смотрели на врага, но в хате было тихо.

— Второй выход есть? Есть, бачка? — Татарин тряс парня в кожухе за ворот, но тот только головой мотал. Наконец пришел в себя, резко выдохнул:

— Нет! И оконца узкие — не пролезут.

Ярина удовлетворенно кивнула — быстро соображает, молодец!

— Ты Гринь Чумак?

Последовал быстрый кивок. На лицо парня смотреть было неприятно: синяк под глазом, еще один — на лбу, из рассеченной скулы сочилась кровь. Девушка поморщилась и сразу вспомнила. Камни! Выходит, чумаку и вправду пришлось несладко.

— Я — Загаржецка, дочь...

— Знаю, панна сотникова, слыхал! — быстро перебил ее Гринь. — Панна зацная! Панове! Спасите братика! Не винен он! Ни в чем не винен! Разве можно дите за чужие грехи карать?

— Погодь! — Луцык, один из сивоусых, дернул парня за плечо. — Кони! Где ихние кони?

— За хатой... Сарай там...

Ярина мысленно выругала себя за недогадливость. Ну конечно! Кони — первым делом. Каким бы ни был пан Рио героем, без коней далеко по снегу не уйдет.

Сивоусые переглянулись. Луцык показал рукой налево, вдоль плетня, Малей согласно кивнул. Ярина поняла — в обход, чтоб пулей из окошка не задели.

— Агмет! Дверь! Дверь под прицел!

Татарин кивнул, вскидывая рушницу. И в ту же секунду послышался громкий скрип, а вслед за этим отчаянный крик Гриня:

— Нет! Нет! Не надо!

Агмет хрипло выругался — и опустил янычарку.

На пороге стояла женщина. Низкорослая, худая, с большим пищащим свертком в руках. Ни шапки, ни платка — густые смоляные волосы падали на плечи.

— Ведьма это! — застонал Гринь. — С братиком! Не стреляйте!

Черкасы неохотно опустили рушницы. Чернявая женщина шагнула вперед. За ее спиной показался кто-то знакомый. Ярина скривилась. Хорош герой, за бабью спину прячется!

Рио оказался не один. Вслед за ним из хаты вышел страховидный густобородый мужик с чем-то, напоминающим шило, в крепкой руке; следом — худой фертик в зеленом плаще.

— Мы сейчас уйдем! — Голос пана Рио звучал спокойно, но в нем слышалась насмешка. — Не стоит преследовать... догонять нас, госпожа Ирина!

Девушка беспомощно оглянулась. Стрелять нельзя — чернявая ведьма заслонялась ребенком. И к коням не успеть...

— Постойте! Вы не имеете права!

Хведир! Ярина тихо охнула, бросилась вперед, но опоздала. Бурсак поправил сползавшие с носа окуляры, быстрым шагом прошел во двор.

— Даже разбойники не трогают детей, пан Рио! Побойтесь Бога! А если нет — побойтесь Дьявола!

Они стояли лицом к лицу: широкоплечий «герой» в сверкающих латах и нескладный семинарист в простом темном кожухе. Ярина растерялась — но только на миг. Молодец, Хведир-Теодор! Пока он будет говорить...

Агмет тоже понял, ухмыльнулся — и заскользил вдоль плетня.

— Мы не сделаем ничего плохого этому ребенку, — красивое лицо пана Рио внезапно дернулось. — Я... Мы не обижаем детей. Мы доставим его к родственникам... к свойственникам .. Он будет получать воспитание... уход...

Невидимый толмач вновь не справлялся. Сквозь колдовской дурман ясно слышалась чужая речь — странные гортанные слова с непривычными ударениями.

— По Статуту Литовскому не можно младеня, что от вольных родителей на свет появился, без дозволения ближних его силою исхищать. Брат же его, Григорий Кириченко, прозвищем Чумак, отнюдь своего согласия не давал, напротив...

Ярина улыбнулась — ну, храбрый же парень! Когда б не окуляры — славный черкас бы вышел! Жалко, если попом станет, да еще и с дурой-попадьей в придачу!

Агмет был уже за хатой, возле сарая. Еще немного...

Резкий крик — бородатый страхолюда ткнул рукой назад, в сторону сарая. На этот раз толмач промолчал. Но этого и не требовалось — заметили!

Все остальное случилось в единый миг. Чернявая подняла ребенка, заслоняясь им, словно щитом. Пан Рио быстро отступил назад...

И наткнулся на Хведира. Каким-то дивом нескладный бурсак сумел заступить дорогу.

— ...А посему, побойся Бога, пан Рио, и оставь младеня...

Договорить не успел. Темнобородый страхолюда с быстротой молнии выбросил руку вперед. Неярко сверкнул узкий клинок...

— Хведир!

Парень пошатнулся, но упасть ему не дали. Пан Рио вместе с еще одним, в зеленом плаще, подхватили его, прикрываясь безвольно обвисшим телом.

— Не стрелять! — отчаянно крикнула девушка, понимая, что опоздала. Рядом громко, в полный голос, черно лаялись черкасы. Враги отступали — быстро, умело. Вот послышалось конское ржание, ударили копыта.

— Братик! Братика увозят! — Гринь бросился вперед, но тщетно. Из-за хаты вырвались кони. Впереди на огромном белом жеребце скакал пан Рио; за ним, на соловой кобыле, чернявая ведьма с ребенком в руках...

Выстрел ударил внезапно — резкий, словно удар бича. Агмет мрачно усмехнулся и опустил дымящуюся янычарку. Ярина вначале не поняла, но тут же увидела еще одного коня — гнедого, с пустым седлом. Значит, не промахнулся!

Последним ускакал фертик в зеленом плаще — на вороном, точно смоль, аргамаке. Гнедой помчался вслед, но затем неуверенно остановился, ударил копытом по звенящему насту, повернул назад...

* * *

На окровавленном снегу лежали двое: Хведир — без шапки, в залитом кровью кожухе, и тот, что ударил его, — страшила со вздыбленной бородищей.

— Жив? — Ярина бросилась к парню, но кто-то, то ли Луцык, то ли Малей, положил ей тяжелую ладонь на плечо:

— Не лезь, панночка! Мы сами!

Девушка закусила губу, отступила на шаг. Хведира приподняли, чьи-то руки расстегнули кожух. Послышался сдавленный стон.

— В хату! В хату несите скорее! — опомнившийся Гринь подбежал, помог поднять раненого. — Заморозите!

— Н-не надо! Я... Сам... Живой!

Ярина облегченно вздохнула. Кажется, и вправду живой!

Бурсака осторожно поставили на ноги. Близорукие глаза раскрылись, моргнули:

— Окуляры! Яринка, скажи, чтобы нашли!

Девушка кивнула, походя отметив «Яринку». Прямо как в детстве, после драки, когда пропавшие окуляры приходилось искать то в кустах, то в ручье. Она уже успела заметить большое красное пятно на правом плече. Значит, не смертельно. Только бы кровь остановить!

Окуляры лежали на снегу, целые, только дужка слегка погнулась.

Подбежал заполошный Гринь, мотнул головой:

— Бабку нужно! Бабка Руткая кровь останавливает! Она тут, рядом! Да только, боюсь, не пойдет...

— Пойдет, пойдет! — Агмет ощерил кривые зубы. — Сам не пойдет — на аркане бабка притащим!

Ярина махнула рукой, соглашаясь. Между тем один из сивоусых склонился над бородачом:

— А ведь жив, панна Ярина! Или прирезать?

Девушка подошла ближе. Страшила лежал на земле. В открытых темных глазах горела ненависть.

— Ишь, ровно волчина! — добавил второй черкас. — Да только резать ни к чему, панночка. Не на войне, чай! Вот копный суд соберется, там и определим лиходея!

— Хорошо, — вздохнула Ярина. — Этого — тоже в хату. И найдите сани...

Вокруг была ночь. Под копытами звенел наст, сквозь редкие тучи неярко светила осторожная луна. Кони шли шагом — ехать предстояло долго, а силы были еще нужны.

— Нагоним! — Ярина кивнула вперед, где за широким оврагом темнели сгрудившиеся у дороги хаты. — Некуда им деваться, разбойникам! Шлях один, снег глубокий, не свернут.

— Так, панна! — Гринь вздохнул, поудобнее пристраиваясь в седле. Ездить верхом он был не горазд. — Только бы до Минковки не доехали, там дорога сворачивает.

Девушка пожала плечами. Враги уходили на юг, но до кордону еще скакать и скакать, а путь вел через села, где каждого подозрительного обязательно остановят. А не остановят — погоню пустят.

Раненых отправили в Валки. У Хведира оказалось проколото плечо, страхолюду пуля пробила бок. Бабка Руткая остановила кровь, заметив: «Что чорт, что бурсак — выдюжат!» Осмелевшие мужики в дюжину глоток вызывались помочь, но Ярина решила взять с собой только Гриня. Во-первых, не побоится — за братом едет. А во-вторых, спокойнее, дабы посполитые сдуру вновь за камни не взялись.

— Ну-ка расскажи еще раз! — велела панна сотникова.

— Ну... — Гринь вздохнул. — Появились, стало быть, они и спрашивают: чего, мол, тут происходит? Потом ко мне: жив братик? Я и смекнул — нечисто дело. Главного, в доспехе который, Рио зовут; того, что пана бурсака подранил, — Хвостик; а ведьму эту клятую (парень не выдержал, сплюнул) и вовсе — Сало!

Девушка невольно усмехнулась. Хороши имена! Немцы? Вряд ли!

— А молодой — он вроде как лекарь, Крамольником кличут. Мы как в хату пришли, он вместе с этой ведьмой братика смотреть стал. Мол, не захворал ли. А как цацку золотую увидели, обрадовались, и к этому старшому — Рио. Тот тоже обрадовался...

Село приближалось. Возле крайней хаты мелькнула темная фигура. Девушка нахмурилась и невольно коснулась сумы, где ждали своего часа пистоли.

— Я так понял, панна Ярина, — ждали они кого-то. Вроде как проводника.

Ярина кивнула — что-то подобное говорил и пан Рио...

— Стой! А ну, стой!

Из-за ближайшего плетня выбежали четверо, загородили путь.

— Кто такие?

Пугаться или пистоли доставать было ни к чему. Это оказались свои — местные черкасы-подсоседки, поднятые среди ночи по тревоге.

Объяснились быстро. Ярина не ошиблась: сторóжа видела беглецов. Не только видела, но и задержать пыталась. Да не смогла: верховых коней у местных посполитых не оказалось, и всадники ушли дальше на юг — к Минковке.

С шага перешли на рысь. Минковка была рядом, за горбом. А там уж беглецам деваться некуда. В селе — тоже сторóжа, но уже не из подсоседков, а из настоящих черкасов. Эти не пропустят.

— Как думаешь, Гринь, зачем им твой брат?

Парень насупился, отвернулся:

— Так... Оно и говорить нехорошо, панна сотникова. Батька его — исчезник, чортяка. А эти — оттуда же, видать. Родичи!

Ярина еле сдержала усмешку. Как это бедняга Хведир назвал? Фольклор? Вот уж точно, фольклор! Но пергамент с золотой печатью заставлял задуматься. И вправду — приходит в Гонтов Яр чуж-чужанин, явно издалека, женку заводит, сын рождается. Потом этот чужак куда-то исчезает, а затем... Затем за сыном приезжают — тоже издалека! Приезжают, на амулет смотрят, что батька оставил... Интересно, в каких это краях на подорожные золотые печати вешают?

— Слышь, Гринь, а батька братика твоего куда девался?

Отвечать чумаку явно не хотелось. Он вздохнул, скривился:

— Мы с ним... Подрались мы. Очнулся — нет его. Да только потом он вроде как приходил — цацку золотую братику оставил.

Девушка согласно кивнула — сходится. Не иначе, прятался чужак. Забрался подале, да только и здесь нашли. Вот и ушел, а сына оставил. Думал, наверное, что младень в безопасности будет. А не вышло!

— Родитель этот... Батька который. По-нашему говорил? Православный?

— Да где там православный! — вновь скривился Гринь. — Чортяка и был, хоть бы раз на образ перекрестился! А говорил по-нашему, да как-то странно. Вроде пана Рио.

И это сходится! Опять не обошлось без невидимого толмача. Кто же это такие?

— В том пергаменте сказано, что пана Рио какой-то владыка

послал, — вслух заметила девушка. — Владыка — или князь. Значит, чортяка этот ему либо родич, либо ворог смертный. Так, что ли, Гринь?

Чумак не ответил и поспешил сотворить крест. Ярина улыбнулась. Видимо, парень вспомнил, кто всем чертям князь и владыка.

Фольклор!

При въезде в Минковку их вновь остановили. Да не просто окриком — стволами в упор. Ярина даже испугаться не успела. Набежали, наставили рушницы и только после извинились — узнали. Старшой, пожилой черкас с глубоким шрамом на всю щеку, только руками развел, прося прощения у «панночки Загаржецкой». Обдурили старого! И как обдурили!

Беглецы были в Минковке за полчаса до этого. Въехали с криком и воплями, старшого кликнули и принялись плакаться, что-де купцы они заморские, лихими людьми грабленные. А люди эти лихие все как есть забрали — и возы, и золото, и бумаги, какие были, а теперь за ними, бедолашными, вдогон идут. Товарища их уже убили, ребятенок расхворался, плачет. А люди лихие не успокаиваются, за ними наметом скачут...

Пока старшой суетился, черкасов поднимая да стражу у околиц выставляя, пока рушницы заряжали и рогатку посреди улицы громоздили, беглецы и сгинули. Не по большому шляху, что на полдень ведет — там своя сторожа, без разрешения не пропустит, — а по дороге, что в лес сворачивает.

Теперь старшой с досады усы седые рвал, перед панной сотниковой извиняясь. И действительно: кто ж его знал? У беглецов и зброи огненной не было, одни шабли, и не шабли даже, а так, баловство заморское. И дите при них, и баба. Ну как не поверить?

Впрочем, было еще не поздно. Уехали беглецы совсем недавно, а дорога плохая, узкая, снегом покрытая. К тому же ведет не в город, не в село даже, а к Дикому Пану.

Ярина отправила Гриня на околицу — следы поглядеть; сама же подозвала стариков-черкасов. Те выглядели изрядно смущенными. Не беглецов боялись — тут дело простое. Двое мужиков да баба — невелико войско, к тому же без рушниц. А вот Дикий Пан...

О Диком Пане Ярина слыхала и сама. Слыхала — и даже както знакомство свела, когда тот в Валки ненароком заглянул. Да только вдругорядь видеться не хотелось.

Черкасы вздыхали, отводили глаза. Агмет — и тот хмурился, головой мотал. Ярине тоже было не по себе, но отступать не хотелось. Вернуться домой, прийти к дядьке Лукьяну, руками раз-

вести? А потом объяснять Хведиру, что она, сотникова дочка, какого-то Дикого Пана испугалась? Ну уж нет!

Старшой, все еще переживая свой промах, предложил привести свежих коней. Это кстати — лошади успели выдохнуться. И у них, и у беглецов. Значит, и нагонять сподручнее будет.

Ярина подождала, пока вернется запыхавшийся Гринь, велела зарядить рушницы и выступать. С ней не спорили, только сивоусые дружно, не сговариваясь, перекрестились, да кто-то (уж не Агмет ли?) вполголоса помянул какого-то «шайтан-багатура».

* * *

Теперь вокруг темнел лес. Дорога стала у́же, но все-таки ехали по двое в ряд — плечом к плечу, толкаясь горячими конскими боками. Вперед Ярину на сей раз не пустили. Не пустили и назад, пришлось ехать посередине, рядом с хмурым и мрачным Агметом. Гриня сивоусые отправили вперед — и не без умысла. Мало ли чего этот чумак, чортов пасынок, удумать может? Вот его первая пуля и найдет!

Ярина не стала спорить. Здесь, в лесу, среди заледенелых деревьев, все воспринималось по-другому. И вправду, странные дела деются! Ну, приехали чужаки за ребенком, ну, сцепились по дурной лихости с черкасами. Но почему они бегут к Дикому Пану? Ведь этой дорогой больше никуда не попасть! Знают?

Страх, до того прятавшийся в самой глубине души, распрямился, вылез наружу. Может, не так уж и не правы мугыри из Гонтова Яра? Повадился нечистый к вдове, выродил чертенка — а после и подмога приехала с толмачом-невидимкой. Добро бы печать на пергаменте была серебряная! Так нет, золотая! А вдруг и того страшнее — уговорились пан Рио с Гринем Чумаком, Гринь и повел глупую панночку прямиком в засаду?

Выстрел ударил внезапно — резкий, оглушительный. Ярина зажмурила глаза, зачем-то дернула узду.

— Ах, шайтан!

В руках Агмета уже плясала янычарка. Сивоусые тоже были при рушницах, но стрелять не имело смысла. Всадники — со всех сторон, спереди, сзади, из-за деревьев...

— Стоять! Стоять! Герш-ту?

Незнакомый гортанный голос заставил вздрогнуть. Ярина очнулась, выхватила из сумки пистолю — и опустила руку. Слишком их много! Дюжина? Две? Крепкие хлопцы в серых жупанах, обвешанные зброей. При поясе шабли, в руках рушницы — прямо в лицо смотрят.

— Оружие опустить!

Агмет оглянулся, оскалился по-волчьи и нехотя закинул

янычарку за спину. Сивоусые последовали его примеру Гринь замер, черная шапка сползла на лоб.

— Кто такие будете?

Гортанный голос прозвучал совсем рядом. Ярина перевела дух. Если не стреляют — спрашивают! — значит, не разбойники.

— Я — Ярина Загаржецка. Со мной мои люди.

Голос прозвучал неожиданно громко, и Ярина смутилась. Словно не отвечает, а кричит от страха.

— То панна сотникова? Так-так, что за встреча!

Теперь в голосе слышалась откровенная насмешка. Послышался топот. Всадник на вороном коне подскакал совсем близко к Ярине, чуть склонился в седле.

— То не объяснит ли мне панна мостивая, отчего черкасы валковские обычай нарушают и ездят конно да оружно по владениям зацного пана Мацапуры-Коложанского, моего господина?

Ярина попыталась разглядеть говорившего, но лесная тьма прятала лицо. Почему-то показалось, что этот человек стар — несмотря на звучный голос и лихую посадку опытного наездника.

— Я — Ярина Загаржецка, дочь сотника Валковского, — девушка сцепила зубы, перевела дух. — Со мной — мои черкасы, мой слуга и посполитый из Гонтова Яра. Мы здесь по державной надобности! А ты кто будешь? По какому праву твои люди преградили нам путь?

Послышался смех — веселый, искренний.

— Панна сотникова сердится? Ой, вэй, не сердись, панна Ярина, от того морщинки бывают! Я — Юдка, надворный сотник зацного пана Мацапуры-Коложанского, со мною мои сердюки, и эта земля — моего господина.

— С каких это пор? — возмутилась девушка. — Или я не знаю, где начинаются владения твоего пана?

— Или не знаешь, панна сотникова! — охотно подтвердил гортанный голос. — Но не станем ссориться, зацная панна! Стережем мы дорогу от лихих людей, а не от черкас валковских. Если могу помочь — скажи!

Ярина облегченно вздохнула. И в самом деле, чего бояться? Мацапура-Коложанский хоть и Дикий Пан, но все же не станет ссориться с Валковской сотней

— Мы гонимся за разбойниками, пан Юдка. Их трое, одна — женщина, они украли ребенка.

— Вэй! — Юдка явно удивился. — Так то они от вас убегали! Так-так, интересно! То поехали со мной, поглядишь!

Агмет сердито заворчал, но девушка не стала слушать. Сердюков Мацапуры она не боялась. К тому же беглецы здесь, а это главное.

— Туда! — Юдка ткнул рукой вперед. — Там поляна!

Ярина кивнула, ударила каблуком горячий конский бок. Юдка пристроился рядом.

— Дозором мы ехали, панна сотникова. Глядим — скачут. Стрелять не стали — свалили дерево на дорогу и прижали голубчиков.

Девушка кивнула, отметив про себя некую несуразность. Чтобы свалить дерево, немалое время нужно! Или в этом лесу деревья подпиленные?

На поляне стало светлее. Девушка повернулась, вновь пытаясь рассмотреть своего спутника. Серый сердюкский жупан, шапка с синим верхом, на поясе — шабля, за плечами — рушница. Но что-то в этом человеке было не так.

— Чему удивляешься, панна? — Юдка вновь весело рассмеялся. — Жида с шаблюкой не видела?

Ярина лишь моргнула. Ну точно — жид! Горбатый нос, темные глаза навыкате — и рыжие с проседью пейсики, свисающие из-под шапки. Ну и, конечно, борода — широкая, пушистая. Ясное дело, Юдка!

— Прости... э-э-э... пан Юдка! И вправду, не видела!

...Видать — не видела, а вот слыхивать доводилось. Давно поговоривали, что у Дикого Пана новый надворный сотник объявился. Да не черкас, не москаль беглый и даже не турчин — жид. Кто да откуда, не знали, но шел слушок, что будущий сотник издалека, то ли из заднепровских гайдамаков, то ли из опришков карпатских. Будто разбойничал он по битым шляхам, а как те земли к Войску Запорожскому отошли, подале подался — от греха А еще шептали (еле слышно, одними губами): колдун. И не простой колдун.

Ярина все это, конечно, слыхала, да не шибко верила. С чего это жиду не за дукат, а за шаблюку браться? А выходит, вот оно как! Коли и врут, то не подряд, а с разбором.

Юдка улыбнулся, и вдруг девушка поняла: перед ней не парень — взрослый мужик, старше ее на много-много лет. Лицо казалось молодым, голос тоже, но глаза... И улыбка... Сколько же ему?

— Вот видишь! Панна зацная не встречала жида с шаблюкой, а жид с шаблюкой не видел молоденькую панночку с пистолями в сумке!

Ярина не выдержала — улыбнулась. Кажется, этот Юдка — не такой уж и страшный. Дивно, конечно, но чего только на свете не бывает!

Опять же сам сказал: надворный, мол, сотник... стоит ли зря лаяться?!

— Отец на войне, — пояснила она. — Пан Еноха, писарь сотенный, послал меня в Гонтов Яр, а там — люди лихие.

— Вот я и смотрю, чего это они байстрюка малого на ночь глядя везут, — кивнул сотник. — Да вон они!

Беглецы сгрудились на краю поляны: пан Рио в своем странном доспехе, Крамольник в зеленом плаще и ведьма по прозвищу Сало. И ребенок был здесь — на руках у черноволосой.

Кони стояли чуть в стороне, а вокруг расположился десяток серожупанных сердюков с рушницами наготове. Ярина невольно усмехнулась — добегались, голубчики!

— Мы уж их отпустить хотели, — заметил Юдка, ловко спрыгивая с коня. — Пусть бы себе назад ехали! Но раз ты, панна, говоришь, что они, заризяки, дите украли...

Внезапно Ярина поняла: сотник врет. Нет, не собирались отпускать! Что-то они задумали, да не успели...

— Ну как ехалось, пан Рио? — Ярина бросила поводья одному из сердюков, шагнула вперед.

Тот не ответил — отвернулся. Тоненько запищал ребенок, чернявая ведьма склонилась над ним, что-то зашептала.

— Пан Юдка! — Девушка повернулась к удивительному сотнику. — Эти разбойники украли ребенка — брата Гриня Чумака из Гонтова Яра, да человека моего подранили, да приказов не слушались. А посему требую их мне передать и в Минковку отвести под стражей.

Юдка задумался. Бросил быстрый взгляд на пленников.

— А вы что скажете, панове?

— Ребенок этот — наш, — негромко ответил пан Рио, не поднимая головы. — Раз мы на землях вашего господина, то пусть он и рассудит!

— Вот как? — Сотник задумчиво погладил окладистую бороду. — А и вправду, панна Ярина! Раз они во владениях пана Мацапуры, то пусть он и суд творит.

Губы дернулись в короткой усмешке — и девушка все поняла. Договорились! Все подстроено! Уж не потому ли надворный сотник на ночь глядя в глухой лес выехал?

— Здесь не владения твоего пана, — вздохнула Ярина. — Согласно универсалам гетьмана Зиновия да гетьмана Ивана Ляха лес этот за сотней записан.

Юдка вновь улыбнулся, широко, весело:

— Ну... То пусть наши паны решают! Я — человек подневольный, чего прикажут, того и делаю. Так что, извиняй, панна зацная, отвезу я этих приблуд к пану моему Мацапуре-Коложанскому, а он в сотню отпишет, что и как. Пусть они с паном писарем сами решают.

Ярина беспомощно оглянулась. Ее люди далеко, да и что тут поделать? Даже будь с ней сотня, не доставать же шабли из но-

жен из-за подобного спора! Юдка прав: так всегда и делалось — приказ выполняли, а потом начиналась тяжба, когда на год, когда и на десять лет. И батька ее, и дед старались не ссориться с такими, как пан Мацапура.

И тут вспомнилось — ребенок! Не зверь же этот Юдка!

— А с младенем как быть, пан надворный сотник? Брат его со мной. Гоже ли дите отбирать да неведомо куда увозить?

Крепкая рука Юдки вновь коснулась бороды. Сотник задумался — вернее, сделал вид, что задумался. Темные глаза хитро блеснули:

— То пусть брат старший сюда едет! С ним и решим.

Он махнул рукой сердюку, что-то пояснил. Тот кивнул. Ударили в наст копыта.

Ждали молча. Ярина пыталась понять, что задумал сотник. Неужто ребенка отберет? Но ведь этак и разбойники не поступают!

Подъехал Гринь, коротко поклонился — и замер, увидев похитителей. Дите словно услышало: вновь подняло крик.

— Так-так, — Юдка удовлетворенно вздохнул. — Ты ли Григорий, именуемый Чумаком?

Гринь кивнул, не отрывая взгляда от плачущего на руках у чернявой ведьмы ребенка.

— Тот младень — твой брат? — Рука с плетью протянулась к вопящему свертку.

— Да, пан, — голос парня звучал сдавленно. — То брат мой. Сын моей мамки...

— Так ли это, пан Рио?

Сотник резко повернулся, лицо на миг стало суровым, даже злым. Но Ярине вновь почудилось, что все это — игра.

— Это так, господин Юдка, — спокойно проговорил пан Рио. — Но мы имеем права на этого ребенка.

Девушка хотела возмутиться, но Юдка опередил:

— Так ли это, то пусть суд решает. А пока, пан Рио, пусть ясна пани, твоя спутница, отдаст дите этому брату его, чумаку Григорию.

Никто не возразил. Гринь недоверчиво покосился на сотника, соскочил с коня, медленно подошел к чернявой. Та молча передала чумаку сверток. Гринь глубоко вздохнул, прижал ребенка к груди. Тот вновь словно все понял — затих.

— Я... Я могу ехать? — Парень нерешительно поглядел сперва на сотника, после на Ярину.

— Кто же тебя держит, чумак? — Юдка хмыкнул, пожал плечами. — Возвращайся в свой Гонтов Яр! Думаю, камни там давно припасли! Вэй, может, и хату хворостом обложили!

Парень замер, словно камнем стал. Ярина и сама вздрогнула. А ведь верно! Гриня и так чортовым пасынком почитали, а после налета «чертей» да после того, как кровь пролилась!..

— Я... К соседям уйду, — нерешительно проговорил Гринь. — В Копинцы или в Минковку...

Юдка только усмехнулся. Ярина и сама поняла: не выйдет. Слух о бесовом семени прошел по всей округе. Даже те, кто не поверил, побоятся принять парня. А вдруг «черти» вдругорядь налетят!

— Так чего же?.. — Гринь затравленно обернулся, отчаянно поглядел на Ярину.

Та не нашлась, что сказать. Отвезти парня в Валки? С чего бы это валковским обывателям быть храбрее соседей? Был бы дома батька, так нет его, и некому прикрикнуть на трусов.

— А не поехать ли тебе с нами, Григорий? — Юдка наивно моргнул и не выдержал — усмехнулся во весь рот. — От имени пана моего обещаю, что никто тебя и пальцем не тронет. Ни тебя, ни брата твоего. А ему мы бабу найдем, чтоб кормила. Ведь негоже — столько часов дите на морозе держать!

И тут Ярина окончательно поняла — сговорились. Хитрый пан Рио что-то пообещал пану надворному сотнику. И ведь не придерешься, не станешь возражать! Все в своем праве: и Юдка, и Гринь Чумак.

— То може, на денек-другой? — Гринь вновь взглянул на девушку — Хоть успокоятся в селе? Как думаешь, панна сотникова?

Ярина видела: парень устал. Смертельно устал быть «чортовым пасынком». Устал бороться — и за себя, и за жизнь брата. Впервые ему пообещали защиту.

— Смотри сам, чумак!

Девушка отвернулась, не зная, что сказать. Происходило что-то плохое, может быть, даже страшное, но не поймешь, не пояснишь. И шаблю из ножен не выхватишь.

— Гоже ли решили, панна зацная? — Юдка подъехал, улыбнулся. — Чумак с братом в усадьбе поживут, чтоб мугырей-дурней в соблазн не вводить, а разбойников, что младеня забрать хотели, мой пан по справедливости рассудит.

Сотник бросил быстрый взгляд на невозмутимого пана Рио, и Ярина почувствовала, как ее охватывает гнев. Страшный, унижающий гнев бессилия. Все было не так. Все было неправильно.

— Нас четверо против твоей сотни, — тихо проговорила она, стараясь не глядеть на ухмыляющегося Юдку. — Будь у меня хлопцев поболе...

— Нас всего три десятка, панна зацная. Но ты права. Только...

Сотник на миг умолк. Исчезла наглая усмешка, глаза стали серьезны, даже суровы:

— Не держи на меня зла, Ярина Логиновна! Каждый свой приказ сполняет, а ежели что не так было, то прости! Кто знает, может, в следующий раз ты сама мне башку шаблюкой снесешь!

И вдруг стало ясно: сотник не шутит. И когда прощения просит, и когда о шаблюке говорит.

Гнев исчез, словно не бывало. Внезапно навалилась усталость — свинцовая, неподъемная. Весь день в седле, затем — вечер, потом — ночь...

— К чему нам насмерть рубиться, пан Юдка? Или твой господин войску черкасскому враг? Но ты прав, будет еще следующий раз!

— Будет...

Слово упало тяжко, словно камень в черную воду. Словно приговор. И вновь Ярине стало не по себе. О чем это сотник? И почему ей самой так не хочется этой будущей встречи?

Конские копыта ударили в снег. Поляна осталась позади, но девушка еще долго чувствовала неотрывный тяжелый взгляд, которым провожал ее Юдка. Так провожают Смерть, заглянувшую в гости и пообещавшую вернуться...

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

Моя Смерть уезжала.

Худая плосконосая Смерть, ладно сидящая на кровном жеребце. Некрасивая девчонка, еще не знающая, но уже начинающая догадываться.

Я бы мог убить ее — легко, одним взмахом клинка.

Мог заточить в подземелье и замуровать выход серым камнем — навечно, пока стоят стены замка.

Да только зачем? Смерть не обманешь!

Я прикрыл глаза, прогоняя Тени. Поляна засияла белизной, и только удаляющийся силуэт горел недоброй мерцающей синью. Как давно я не видел цветов! Да, так и обещано — Смерть оденется в синее...

Все, хватит!

Ты знал, что так и будет, Иегуда бен-Иосиф, сопливый мальчишка из Умани. Знал о дне, когда встретятся Смерть, Двойник и Пленник, — Дне Встречи. И нечего теперь бояться!

— Пан сотник!

Михал, молодой десятник, которого я подобрал четыре года назад еще за Днепром, кивнул на дорогу.

Да! Пора!

Смерть ушла — до поры до времени. И только Святой, благословен Он, знает, когда быть той поре: завтра или через полсотни лет. Сколько этой девчонке? Восемнадцать? Меньше?

Я кивнул, и Михал начал собирать хлопцев. День Встречи не кончился. Пан Станислав ждет, а мне еще надо решить. Решить — и решиться.

Можно ли обмануть Рубежных Малахов? И надо ли? Не станешь ли ты Б-гоборцем, глупый Юдка?

Отряд был выстроен, гости размещены там, где и должно, — посередине. Я махнул рукой, и Михал поскакал вперед, чтобы возглавить колонну. Впрочем, в этом лесу ничего опасного не встретишь, сколько ни блуждай по заснеженным чащобам.

Самые опасные здесь — мы.

С кем поговорить вначале? С чернявой бабой или с Двойником? Наверное, с ним. Он — старший.

Я направил коня к гостям. Хлопцы посторонились, и я занял место рядом с паном Рио. Понял ли он? Думаю, нет. Значит, можно не спешить. Сначала — о пустяках.

— Я хотел бы поблагодарить вас, господин сотник...

— Пустое, пан Рио!

Чужая речь сама собой ложилась на слух. Читать о таком часто приходилось, а вот встречать — редко. Прозрачное Имя, способное сделать понятным любую речь. Почти любую. Знают ли они?

— Почему вы свернули в лес, пан Рио?

Легкое пожатие плеч. Кажется, он и сам не очень уверен.

— Но... За нами гнались, господин Юдка! Я подумал...

— Это я подумала! И не ошиблась, не правда ли?

Я обернулся. Чернявая баба усмехалась — знала! Ну что же, так даже проще. Как бишь ее зовут? Сале? Да, кажется.

— В таком случае, панове, вы не можете пожаловаться, что вас слишком поздно встретили.

Чернявая кивнула и ударила коня каблуками, пристроившись рядом.

— Значит, с визой трудностей не будет?

Глаза Рио удивленно моргнули. Стало ясно — не знал. Значит, Сале и есть Кеваль — Проводник. Так я и думал!

— В таком случае, позвольте еще раз представиться, пан Рио! Я не только надворный сотник, но и консул Рубежа.

— Рад познакомиться, господин консул!

Отреагировал он на удивление быстро. Да, мой Двойник — парень не промах! Одно дивно...

— Прежде чем мы поговорим о деле, панове, позвольте узнать. Почему вы не взяли с собой хотя бы рушницу? Это не запрещено.

— Не взяли... что?

Да, этого он не знал.

— В вашем Сосуде... в вашем мире нет оружия огненного боя?

— К сожалению, нет, — ответила вместо Двойника Сале. — Иначе бы мы не потеряли Хосту... нашего спутника. Его схватили эти разбойники и, кажется, серьезно ранили...

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. Над чем тут смеяться? Чужой Сосуд, чужие порядки, а они тут и суток не пробыли.

— Они не разбойники, уважаемая пани! Та девица с плоским носом — дочь здешнего сотника...

— Но ведь сотник — вы? — вмешался в разговор третий, парень в зеленом плаще. — Вы — слуга здешнего князя!

— Не совсем...

Только сейчас я понял, что значит попасть в чужой Сосуд. Хорош был бы я сам в их мире — с рушницей и пистолями! А может, в их Сосуде и порох не горит?

— Власть в нашей земле принадлежит гетьману, а тут, в Валках, — сотнику. Панна Ярина Загаржецка — его дочь. А мой господин пан Мацапура — зацный владелец, но все-таки не князь. Так что вашего друга скорее всего будут судить.

Они переглянулись, пан Рио поджал губы.

— Я... Я не хотел бы, чтобы с ним что-нибудь случилось. Если надо, я сам пойду на суд, объясню...

Оставалось пожать плечами. Долго же объясняться придется!

— Про то у нас еще будет время поговорить, панове. А сейчас о главном. Мне поручено оформить вам обратные визы через Рубеж. Могу это сделать в любой момент, хоть сегодня. На вас — и на ребенка.

Рио кивнул, и я еще раз подумал, что Двойник действительно похож на меня. Вырвать дитя из рук брата — и даже не поморщиться! Смог бы я такое? Наверное, смог.

— Благодарим вас, господин Юдка! Полагаю, надо оформить визу и на его старшего брата...

Ах вот оно что! Пан Рио решил быть добрым! Точнее, добреньким! Вэй, так не бывает!

— Увы, панове, только что я сказал панне Загаржецкой, что все мы подчиняемся приказам. Могу добавить — к сожалению. Я уполномочен выписать визы на вас четверых и на ребенка. Его брат не имеет права перейти Рубеж.

— И кто это решил? Мы потребуем!

В голосе пана Рио слышалось раздражение, и я вновь едва удержался от усмешки. Двойник ничего не знает о Малахах. Интересно, Сале нарочно оставила его в неведении?

Я оглянулся. Дорога пуста, заснеженный лес тих и спокоен. А вот и Веселый Дуб! Говорят, при батюшке пана Станислава его ветки никогда не пустовали, причем вешали не реже раза в неделю. А теперь — только ржавая цепь свисает. Пан Станислав приказал не снимать: пусть смотрят. Увидят — вспомнят, все польза будет.

— Вы первый раз перешли Рубеж?

— Я — нет, — негромко ответила чернявая, и все стало ясно.

Когда-то я тоже был таким, как мой Двойник. Потребовать у Малахов? А хорошо бы!

— Но... Как я понял, у его брата здесь... неприятности, — неуверенно проговорил пан Рио. — Может, будет лучше, если мы отвезем парня... в безопасное место?

В его голосе слышалось сомнение, и я еле сдержал вопрос: есть ли у него самого братья? Хотя кто знает? Если бы тогда мне предложили отправить Ицыка и Шлему с таким вот паном Рио? Но мне не предложили...

— Есть еще кое-что, панове.

Я вздохнул и вновь прикрыл глаза, чтобы Тени ушли. Яркий белый свет, чисто и пусто. Но я знал — меня слышат. Можно ли обмануть Малахов?

— У вас хорошее Прозрачное Имя, пани Сале! Отлично действует!

Она улыбнулась, явно польщенная, хотя ничего особенного в этом нет. Рабби Моше Кордоверо понимал любой язык без всяких ухищрений. И рабби Ицхак Лурия — тоже.

— А понятно ли тебе будет то, что я скажу сейчас? Ибо не все прозрачное — прозрачно!

Пан Рио недоуменно оглянулся, хотел переспросить, но я предостерегающе поднял руку. С моим Двойником все ясно — не знает. Не знает язык, на котором я заговорил, не знает и о Великом Исключении. Сейчас меня интересовал не он, а чернявая.

— Кажется... — она поджала губы, помолчала. — Кажется, понимаю. Меня немного учили этому. Но разве язык имеет какое-либо значение?..

Я облегченно вздохнул. Легко ли обманывать Малахов? Иногда легко, особенно если знаешь Язык Исключения.

Язык, непонятный ангелам.

— Слушай меня внимательно, Сале. Слушай и не перебивай, иначе за головы — и за твою, и за мою — не дадут и шекеля...

Впереди послышался крик. Я привстал в седле — подъезжаем! Сторожа на месте. В доме ли пан Станислав? Кажется, он собирался в замок...

— Язык, на котором мы говорим, — единственный, который неизвестен Малахам. У нас его зовут арамейским. На нем написаны наши священные книги...

Я заставил себя остановиться. Что толку рассказывать чернявой о книге «Зогар»! Если в ее Сосуде она есть, то ей поведают — в свой срок. Если нет — то и говорить не о чем.

— Малахи (их у нас еще называют по-гречески — «ангелами») — стражи Рубежа. Я выполняю их волю. Но я — человек, и вы — люди, поэтому я решился заговорить о тайном. А теперь — главное. Вы не должны просить визы. Это понятно?

Она подумала и кивнула. Темные глаза блеснули.

— Кажется, ты догадываешься, в чем дело, Сале. Вы нарушили таможенные правила. Ты дала взятку стражам. Тот, кто нарушил долг, уже наказан, а теперь Малахи ждут вас, дабы сурово покарать — так, чтобы это стало уроком прочим. Поняла ли ты?

Сале вновь кивнула, затем нерешительно посмотрела на пана Рио.

— Потом расскажешь ему, — понял я. — А лучше напишешь, чтобы не произносить вслух. Вам придется пока остаться здесь.

— Навсегда? — Ее голос дрогнул.

Я понимал ее. Застрять в чужом Сосуде — хуже, чем в чужой стране. Но что делать? Малахи не ведают пощады. Сорок тысяч погибло, когда кто-то излишне любопытный посмел сунуть нос в Ковчег.

— Поговорим позже, Сале. Есть обходные пути. Их я не знаю, но их может знать пан Станислав, мой господин. Но об этом — позже.

Она вновь кивнула. Я отвернулся, чтобы не смотреть на ее лицо. Так, наверное, выглядел я, когда встретился глазами с Яриной Загаржецкой и понял, кто передо мной...

* * *

Пан Станислав не спал. В этом не было ничего удивительного — его странные привычки известны всем в округе. Спать днем, ночью бодрствовать — говорят, так жил еще его отец. Правда, ночи он обычно проводит в замке, но на сей раз господин оказался в доме, и я облегченно вздохнул. Кое-что надо решить немедленно. Хотя бы для того, чтобы шептуны не успели перекрутить все по-своему. Конечно, пан Мацапура верит мне, но мой предшественник тоже был в этом убежден. А теперь никто и не скажет, где гниют его кости. Да и остались ли от него хотя бы кости?

Сердюк у дверей библиотеки щелкнул каблуками, пропуская меня. В доме я — единственный, кто может входить к пану Станиславу в любое время. Но только в доме. В замок мне хода нет, да я и не особо прошусь. Меньше знаешь — больше живешь! А я и так знаю очень много о зацном пане Мацапуре-Коложанском! Пожалуй, даже слишком много!

Пан Станислав сидел в углу под лампой зеленого стекла и читал «Лембергскую газету». Глядя на него в этот миг, самые злые недруги завязали бы узлами свои языки: само добродушие восседало в старом массивном кресле. Толстые вывернутые губы улыбались, на пухлых щеках проступили ямочки, стекла окуляр скрыли привычный острый блеск маленьких глаз, и даже черные нафабренные усы словно опали, бессильно свесившись

вниз. Пожилой пан, добрый, немного усталый, пришел почитать газету. Наверное, у доброго пана бессонница — не иначе весь день милостыню раздавал и утирал слезы вдовам...

— Шолом, пан Станислав!

Глазки добродушно моргнули, улыбка стала шире:

— Вечер добрый, пан Юдка! Там, в поставце, — гданьская вудка, выпей, ты же с мороза! Выпей — и садись.

Вудка обожгла горло, и я только головой помотал. Ну и пойло! Куда там местной горелке или даже пейсаховке!

Пан Станислав со вздохом отложил газету, поглядел на принесенную мною бутыль, протянул руку — и тут же опустил.

— Цо занадто — то не здрово. А я, как видишь, скучаю!

На такое отвечать не полагалось, и я молча присел на тяжелый дубовый табурет. И тут только заметил, что кресло, в котором восседает пан Мацапура, переставлено. Раньше оно стояло ближе к окну, теперь же каким-то дивом оказалось прямо под старым портретом.

Портрет этот — загадка. Чья-то умелая кисть изобразила худого узкоплечего юношу в испанском платье с большим кружевным воротником, как носили полвека назад. На боку шпага, в руке — толстая книга с золотым обрезом. И не было бы тут ничего странного, если бы не герб Апданк в верхнем углу — герб рода Мацапур. Не просто герб, а еще и буквицы «L.M-K». И цепь — знакомая золотая цепь давней работы на груди. Эту цепь с огромным красным камнем пан Мацапура частенько надевает, особенно когда гости случаются. Видать, фамильная. Правда, на портрете камень другой, ну так не камень же художник рисовал! Ясное дело — родич изображен, и родич близкий. Батюшку пана Станислава звали Леопольдом, так что и дивного вроде бы ничего нет, если бы...

...Если бы в доме были другие портреты. Если бы не общий хор тех, кто помнил старика. Леопольд Мацапура был широкоплеч, толст и мордат — сын капля в каплю в батюшку. И лицо — совершенно иное лицо! Губы, глаза, нос... Может, не отец, а дядька, какой-нибудь Леон? Все равно непонятно. Чтобы в таком доме — и один-единственный портрет, и то не в зале, а в библиотеке! Бывал я в подобных домах, там целые галереи, по ним гостей водят, слуги наизусть заучивают, какой предок чем отличился...

— Ох уж эти поселянки, пан Юдка! Сперва лежит под тобой, как бревно, только пыхтит, а потом выть начинает. И всегда одно и то же: «Замуж собиралась, замуж собиралась!» Языки им вырезать, что ли?

Пан улыбался — пан изволил шутить. Но мне почему-то не было смешно.

— Ну и кого ты мне сегодня привез?

Голос был прежний — расслабленный, вялый, но я заметил быстрый взгляд из-под толстых стекол. *Стало ясно — уже доложили.* У кого-то пятки салом смазаны.

— Четверо гостей, пан Станислав. И ребенок — младень.

— Ребенок?

Грузное тело нехотя приподнялось и вновь опустилось в глубины кресла.

— Ребенок — это хорошо. Прикажи его сразу в замок.

Я вздрогнул — так и знал! Любит пан Станислав детей!

— А гости кто? Кажется, там баба есть?

Он по-прежнему улыбался — добрый толстый пан, которого мучает бессонница.

— Не баба, — стараясь быть спокойным, ответил я. — Пани. Один из гостей — селюк из Гонтова Яра, а вот трое — паны зацные. Вернее, два пана и пани.

— Большой за них откуп дадут, как думаешь? — словно невзначай бросил пан Станислав и вновь взял в руки газету.

Разговор подходил к концу.

Похоже, пан уже все решил. Даже не похоже — решил. Сколько раз так было: ребенка — в замок, и гостей туда же. И правильно — кто же в здравом уме в гости к пану Мацапуре ездит?! А если ты цудрейтор, то и жаловаться нечего.

— Все не так просто, пан Станислав...

Газета медленно легла на стол. Из-под стекол удивленно блеснули маленькие глазки:

— Гетьмановы родичи? Или голота бесштанная?

Я с трудом сдержал улыбку. Каждый — о своем. Соврать, придумать какую-нибудь сказку? Нет, нельзя!

— Они иноземцы, пан Станислав. Очень издалека.

— И... что? — Глаза моргнули, пухлая ладонь потянулась к окулярам. — Тем лучше!

Я вздохнул. Поверит ли?

— Мир велик, пан Станислав! И в этом мире Сосудов больше, чем представляется многим. Это особые гости. Мои. Вы понимаете, о чем я?

Улыбка сгинула, словно стерли ее мокрой тряпкой. На неузнаваемом лице светлым огнем загорелись волчьи глаза.

— Ты... Ты уверен, пан Юдка? Уверен?

Я улыбнулся, хотя в этот миг улыбаться мне совсем не хотелось.

— Особые гости... Значит, откликнулись! А ты не врешь?

Теперь улыбаться нельзя. Замереть, выдержать его взгляд. Говорят, не всякий его выдерживает...

— Не врешь, вижу! Рассказывай!

Толстый вальяжный пан сгинул. Огромное тело налилось силой, широкие лапищи сжались в кулаки, а лицо!.. Таким Станислава Мацапуру увидишь не каждый день. Да и мало кто его таким видит. А кто видит — уже никому не расскажет.

— Они из другого Сосуда. Из какого, сказать трудно. Малахи разрешили им пересечь Рубеж. Они пришли за ребенком — за *этим* ребенком...

Пан Станислав молчал, а мне вспомнилось, как мы с ним спорили. Редко кто решается спорить с Мацапурой-Коложанским, но есть вопросы, по которым даже ему нужна не покорность, а истина. Я никак не мог его убедить, что дорога между сфир все-таки есть и Рубеж проходим. Не для душ, не для бесплотных Малахов — для людей. Он очень неглуп, пан Станислав, и много знает. Но книга «Зогар» недоступна этому гою.

— Ну, говори! И подробнее!

Теперь следовало взвешивать каждое слово. Не лгать — пан Станислав звериным чутьем распознает ложь. Но и со всей правдой не спешить. О гневе Малахов ему знать ни к чему. Достаточно и того, что переход через Рубеж труден и без должной помощи его не одолеть...

— Так-так! — Пан Станислав крутанул ус, дернул щекой. — Стало быть, воин, лекаришка да колдунья. Колдунья-то хоть хороша?

Он снова шутил. Я вспомнил чернявую и тоже улыбнулся. Может, в своих краях Сале и хороша. У нас — едва ли. Во всяком случае, не во вкусе зацного пана.

— А с младенем как вышло? Что думаешь, пан Юдка?

Я пожал плечами. Что тут думать?

— Судите сами, пан Станислав. В Гонтовом Яру объявляется чужак. Не просто иноземец, а совсем другой, нездешний. Посполитые считают его чортом — случайно ли? Он подселяется к бабе, брюхатит ее, а после исчезает. И вот за ребенком приезжают *оттуда*...

Пан Мацапура задумался; наконец кивнул.

— Складно. Значит, дите пока оставим, но им отдавать не будем. Все одно Рубеж закрыт. А с братом того чертенка как?

— Погодим, — предложил я. — Гриня Чумака соседи крепко обидели. Из таких лихие сердюки выходят.

Он вновь кивнул и прикрыл глаза, превратившись обратно в доброго усталого пана, которого мучает бессонница средь холодной зимней ночи.

— Эка, забот привалило! И не отдохнуть! Та девка, что из Калайденцев привезли, скотина неблагодарная, хотела мне ногтями в глаза вцепиться, представляешь? Пришлось клещами все ногти повыдергивать да рот зашить, чтоб не выла! А вторая, что из Хорлов — дерево деревом. Обнимаешь ее — молчит, кнутом дерешь — молчит. Только когда пятки припек, завыла...

На такое тоже отвечать не полагается. Да и что ответишь? То пана Станислава забава, ему виднее.

— А знаешь, в газете пишут, что война за Дунаем до весны не кончится. Может, еще на год затянется.

Глаза его по-прежнему были закрыты, но я понял: это — главное. Потому и ждал меня пан Станислав среди ночи, в замок не ушел, газетку лембергскую почитывал.

— Про то и в округе болтают, — кивнул я. — Думаю, Валковская сотня не скоро вернется. Да и вернется ли? За Дунаем, говорят, чума.

— Значит? — Его лицо дрогнуло, ямочки на щеках сгинули без следа. — Пора?

— Да, пан Станислав, пора.

Он вновь задумался, а я вдруг почувствовал знакомый запах — страшный, сводящий с ума дух горящей заживо плоти. Сколько лет хотелось забыть, не вспоминать! Не вышло — это уже навсегда.

— Откуда начнем, как думаешь?

Откуда? О том мы с ним говорили не раз, и все давно решено. Вопрос этот так, для разговора.

— С Хитцов, пан Станислав.

— С Хитцов? Ну, как скажешь...

Запах горящего мяса стал сильнее, и на миг я даже пожалел, что Смерть — худая плосконосая девчонка — в эту ночь промедлила. Чего же еще хочет от меня Святой, благословен Он?

Ответ не был мне дан, но я догадывался. Двойник! Двойник — и Пленник. Чертенок из Гонтова Яра. Не зря они встретились в эту ночь — Смерть, Пленник и Двойник.

Не зря.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

Знакомый рябой черкас буркнул: «У себя», — и отвернулся. Кто именно — Ярина решила не переспрашивать. Ей были нужны оба — и сам пан писарь, и его нескладный сын.

Постовой не ошибся — Лукьян Еноха оказался на месте, за своим столом, и даже толстая друкованная книга была знакомой: та, что и неделю назад. Девушке подумалось, что книга, равно как подставка с гусиными перьями, нужна пану Енохе исключительно для представительности. Во всяком случае, прочитанных страниц за эти дни не прибавилось.

— Чего, егоза, скучно?

Пан Еноха не без труда оторвал взгляд от хитрых буквиц, снял окуляры, зевнул.

— Скучно? — Девушка просто задохнулась от возмущения. — Да я в Перепелицевку с разъездом ездила! До петухов встала!

— Ну, ясно, — писарь потер сонное лицо, с трудом удерживаясь от нового зевка. — За дурной головою...

Ярина вздохнула. Что бы она ни делала, всерьез сотникову дочку никто не принимал. Девчонка и девчонка, разве что замуж отдать, да и то пока не за кого.

— В Перепелицевке каких-то всадников видели. К Хитцам ехали.

— Знаю... Сообщали уже. За такими вестями, Ярина Логиновна, нечего коней томить... Ты к Теодору?

Девушка дернула плечом. К пану писарю она завернула, чтобы доложить по всей форме, как и надлежит старшему по разъезду. И вот, пожалуйста!

— Он в подвале. С разбойником этим — Хвостиком. Ты бы его оттуда вытащила, что ли? Чего ему с душегубцем якшаться? Посидели б, сбитню горячего попили. В жгута сыграли...

Намек насчет сбитня и жгута Ярина пропустила мимо ушей — не маленькая, чтоб в игры детские играть. Но вот по поводу остального...

Хведир встал уже на третий день — продырявленная мякоть плеча срасталась быстро. Встал — и первым делом направился не в церковь свечку ставить, а в подвал, где заперли черноборо-дого заризяку.

Тому досталось больше. Пуля из янычарки пропорола бок, и местный знахарь вначале лишь головой качал, посоветовав готовить домовину — вкупе с осиновыми клиньями и маком. Однако на второй день чернобородый открыл глаза, а на четвертый — попытался встать. Видавшие виды сивоусые только руками развели, рассудив, что разбойнику суждено быть непременно повешенным — потому пуля его и не взяла.

Однако Хведир-Теодор вновь удивил всех. Поговорив с пленником, он категорически заявил, что в суд на него подавать не будет и о том же остальных просит. Тут уже и Ярина диву далась. Как можно заризяку миловать? И главное: о чем это Хвостик с Хведиром говорили, *если им обоим ни слова не понять?* Невидимый толмач сгинул вместе с химерным паном Рио да с чернявой ведьмой. С Хвостиком говорил пан писарь — по-польски да по-немецки, Агмет — по-татарски и турецки, а беглый стрелец Ванюха Перстень — по-московски. Говорили, да все без толку — Хвостик лишь глаза таращил да блекотал по-непонятному. И как блекотал! Не голос — бесовское наваждение, мурашки по коже бегут. Раз услышишь — перекрестишься, два — под лавку спрячешься!

И на каком это наречии бурсак с ним столковался? Неужто на латыни?

* * *

Пан писарь не ошибся. Хведир действительно оказался в подвале, около пленника. Тот лежал на лавке, а бурсак, пристроив поудобнее раненую руку, сидел на колченогом табурете и что-то тихо ему говорил. Страхолюда молчал — слушал и, похоже, понимал.

Увидев Ярину, Хведир махнул здоровой рукой — мол, не мешай, погоди чуток. Пока девушка соображала, обидеться или в самом деле погодить, заговорил Хвостик. Девушка не стала прислушиваться (больно голос страшен!), но отчего-то почудилось, что речь чернобородого стала иной, не такой, как прежде. Или в самом деле знакомое наречие нашли?

— Ладно! Потом!

Бурсак встал и негромко выдал пять-шесть слов на неведомом языке. Заризяка понял — кивнул и даже усмехнулся. Видать, и вправду — столковались!

— Ты чего, Ярина?

— Как — чего?

Кажется, следовало все-таки обидеться. Ведь не только к пану писарю зашла, но и к этому невеже. И о здоровье справиться, и просто — потолковать. Ведь друзья же!

— Тут интересное дело, Яринка... Ну, хорошо, пойдем! Я тебе такое расскажу!

Они прошли не в залу, дабы не беспокоить пана писаря, а на второй этаж, в маленькую комнатушку, где и жил пан Енохамладший. Точнее, не жил — на постое стоял в редкие приезды из коллегии. Ярина опытным глазом отметила паутину в углах, пыль на книгах — и только вздохнула. Беда, когда мамки нет! Пани Еноха два года как преставилась, а свою мать Ярина и не помнила. Плох дом без женской руки!

Хведир скинул с кресла какую-то книгу в треснутой кожаной обложке.

— Садись!

Сам он пристроился прямо на лежанке — тоже заваленной фолиантами. Ярина вновь вздохнула: ну и разор! Она бы тут враз порядок навела! Мыши бы и те каждое утро на перекличку строились!

— Служанку позвать нельзя? — не утерпела она. — Как ты тут живешь, Хведир?

— А как? — Парень удивленно оглянулся. — Все на месте, под рукой. Служанок я и на порог не пускаю. Перепутают все, я и до лета не разберу!

— Ничего, матушка попадья тебя быстро к порядку приучит! — хмыкнула девушка, не без злорадства отметив, как вздрогнул Хведир-Теодор — будто мороз ударил. Или в доме похолодало?

Она хотела для начала спросить о ране, о том, не болит ли, не ноет по ночам, но любопытство пересилило.

— Так как ты с ним говоришь, с разбойником этим?

Хведир усмехнулся, почесал кончик носа:

— Ты не поверишь! По-арамейски.

— По... По-каковски?

Поверить Ярина не могла — хотя бы потому, что не ведала: есть ли вообще на белом свете такой язык — арамейский?! Но и не верить тоже вроде не с руки. Мало ли языков на свете?

— Понимаешь, батька с ним говорить пытался, Агмет, слуга твой, — и все напрасно. Я тоже вначале по-латыни заговорил — без толку. А потом вспомнил — пергамент! Ну, тот, что нам пан Рио показал?

Девушка кивнула. Пергамент с золотой печатью был сдан пану писарю и торжественно заперт в большой сундук, что стоял в углу горницы.

— Я подумал: а если по-эллински попробовать? Ну, по-давнегречески. Там, правда, *койне*, это посложнее, но у меня есть Пиярская грамматика, ее для отцов-василиан издали.

Хведир увлекся, заговорил быстро, горячо. Ярина невольно улыбнулась. Чему только не учат в коллегии этой? А зачем? Быть парню попом — здесь, в Валках, а то и в селе, если места не сыщется. С кем он на *койне* говорить станет, с отцом Герасием?!

— В общем, греческого он тоже не знает. Но *койне* не совсем язык, это смесь, суржик, вроде как у нас в Белгороде говорят — и наша речь, и московская. Так вот, некоторые слова он понял — арамейские.

— Так что это за язык? — перебила девушка. — Вроде этого... армянского?

Об армянах она слыхала и даже раз видела — в Глухове, на ярмарке.

— Вроде, — засмеялся Хведир. — Только другой. Ведай же, Ярина! Ибо глаголили на нем в часы давние, библейские! Арамеи суть племя, с давними вавилонянами в родстве сугубо состоящее. Сам Навуходоносор, о коем в Завете Ветхом...

Увесистый щелчок по лбу заставил бурсака умолкнуть.

— В следующий раз окуляры разобью, — невозмутимо сообщила девушка, подув на костяшки пальцев.

— Окуляры — не надо! — вздохнул Хведир. — Ну, я и говорю: древний язык. Вроде бы Евангелие, которое от Матфея, вначале было написано по-арамейски, только потом его на греческий перевели. Ну, арамейский я почти не знаю, и он, пан Хвостик, тоже — вслепую бредет, но все-таки объяснились.

— И поэтому ты на него не будешь в суд подавать? — не удержалась девушка.

Да, не быть бурсаку черкасом! Настоящий черкас сперва врагу шаблюкой башку с плеч снимает, а после об имени-племени спрашивает!

— Какой суд! — Парень даже рукой махнул. — Я сам под нож полез. К тому же он слуга, его дело — пана своего защищать. С пана и спрос.

С этим Ярина была вполне согласна. С куда большей охотой она бы увидела в подвале самого пана Рио. Вспомнились нелепые слова, что на пергаменте написаны. Герой! Хорош герой, младенец ворует!

— Так откуда он родом, Хведир?

Бурсак улыбнулся, поднял вверх палец:

— Ведай же, что сия тайна — велика есть. Однако же при должном рассмотрении и особливом сопоставлении...

— Окуляры! — вовремя напомнила девушка.

— Гм-м, — Хведир прокашлялся, почесал затылок. — В общем, стал я его расспрашивать, даже атлас показал — Меркаторов. И ни в дугу! Ясно лишь, что там, откуда он родом, теплее. Снег он, кажется, видит второй раз в жизни. Ну, я и понял... Драться не будешь?

Ярина вздохнула, но не выдержала — улыбнулась:

— Ладно, не буду!

Палец вновь оказался воздетым вверх.

— Истинно скажу, что сей пришлец не кто иной, как антипод!

— К-кто? Анти? .

— ...под! Прибег же он в края наши с земли, именуемой *Terra Australia*, в просторечье же — Южным Материком...

Девушка попыталась повторить, сбилась, жалобно моргнула:

— Хведир, ну пожалуйста! Скажи по-человечески!

Парень только руками развел.

— Ага! Скажешь, когда шесть лет приходится язык в узел завязывать! Ладно, попытаюсь... Ну, в общем, в Южном полушарии — южнее Африки — судя по всему, существует огромный материк. Значительно больше Европы. О нем еще писал греческий географ Птолемей. Я и подумал: если греки его знали, этот материк, то, может, и там о нас помнят? Отсюда и давнегреческий, и арамейский.

На этом дело не кончилось — Хведиру пришлось досконально пояснять, кто таков географ Птолемей, а заодно демонстрировать Меркаторов атлас с большим белым пятном в Южном полушарии. Наконец Ярина удовлетворенно кивнула.

— Поняла. Так думаешь, они оттуда?

— Больше неоткуда вроде, — с легкой неуверенностью заметил бурсак. — Имя Рио, конечно, похоже на испанское, но он не испанец...

Ярина задумалась. Поскольку ни рогов, ни копыт (равно как и хвостов) странные забродьі не имели, она была готова поверить даже в антиподов. Но и в этом случае загадка не решалась. Пусть пан Рио родом с неведомого Южного Материка, однако и антипод не мог попасть в Гонтов Яр без правильной подорожной, отмеченной в полковой канцелярии. Или они там, на юге, по воздуху летают, аки птахи небесные? Но ведь гости прибыли верхами!

Продумать как следует этот важный вопрос Ярина не успела. Дверь, отчаянно заскрипев (ну почему бы петли не смазать!), отворилась.

— Та-а-ак! Воркуете, значит, голубки?

В дверях, подбоченясь, стоял сам пан Лукьян Еноха.

— Батька, мы!..

Хведир смутился, вскочил, окуляры упали с носа.

— Вижу, — невозмутимо согласился пан писарь и повернулся к Ярине:

— Вот чего, егоза! К себе домой не ходи, тут оставайся. И этого никуда не пускай. Поняла?

— Это почему еще? Дядько Лукьян, да что это вы?

Девушка тоже вскочила, но не смущенная, а полная искреннего возмущения.

— Потому! — Пан писарь вздохнул, поморщился. — Потому, Ярина Логиновна, что мне уехать надо. В Хитцах неладно Гонца прислали — вроде бы татар поблизости видали.

— Татар?!

Ярина и Хведир переглянулись. В последний раз татар, если, конечно, Агмета не считать, заносило под Валки лет двадцать назад. Хведир тогда только-только родился, а Ярины еще и на свете не было.

— Бог весть, — писарь пожал плечами. — Вроде бы комонные, в татарском платье. Так что ехать надо. Людей мало, в Валках я троих оставлю да Агмета твоего в придачу, остальных с собой беру. А вы дома сидите!

— То есть как? — возмущение Яринино не только не улеглось — до небес выплеснулось. — Дядько Лукьян! Да как же это так! Я чего — верхами ездить не умею? Да я с глазами завязанными лозину рублю!

Пан Еноха невозмутимо кивнул:

— Мне батька твой то и говорил — насчет лозины. Не будет, мол, моя Яринка слушаться, лозину возьми да отдери по филейным частям. И не от локтя бей, а с замахом — так, чтоб год садиться не могла. А потом снова отдери да солью сыпани, чтоб верещала громче!.. Сказано — дома сидеть, значит — дома! А ты, Хведир, за старшего остаешься!

— Я... Батька, я...

Бурсак растерянно моргнул, но дверь уже хлопнула. Хведир неуверенно потоптался, затем махнул рукой и бухнулся на лежанку. Ярина подумала — и присела рядом.

— Татары? Откуда тут татары? — растерянно проговорил парень. — С ханом у нас мир, да и засека надежная. Еще бы сказали — турки!

Девушка вздохнула и внезапно, не утерпев, погладила парня по щеке.

* * *

В зале было полутемно. Немецкую лампу зажигать не стали, обошлись свечой — единственной, едва прогонявшей ночной мрак. Хведир пристроился на отцовом месте — у закрытой книги; Яринка забилась в угол, в самую черную тень.

В доме было тихо.

Тихо — и страшновато.

Пан Лукьян не вернулся, прислав гонца, что остается в Хитцах, потому как в лесу поблизости и вправду чужаков видели, не десяток, не два — больше. С тех пор никаких известий не было, хотя ночь на исходе и где-то совсем близко уже пропел первый кочет...

Хведир встал, подошел к маленькому, подернутому морозом окошку.

— Иди спать, Яринка! Если что, разбужу.

Девушка помотала головой — спать не хотелось. То есть, конечно, хотелось, но...

— Это ты иди спать. А я постерегу — чтоб татары не украли!

Она шутила, хотя на душе было не до шуток.

Ярина, конечно, не утерпела. Весь вечер вместе с верным Агметом ездила по Валкам, дабы и людей подбодрить, и самой осмотреться. Городок почти вымер — пан Лукьян забрал с собой не только черкасов, тех, что в поход не ушли, но и дюжину подсоседков, и просто охотников. Остальные забились в хаты, боясь показаться на улицу. Даже рогатки, выставленные поперек шляха, остались без охраны. Да и кому охранять? В городе и до войны меньше тысячи жило, из них черкасов — служивых и абшидных — сотня с небольшим. Теперь даже их не осталось. Остальные — обычные мугыри, которые и смотреть на шаблю боятся.

Девушка почувствовала, как страх, сидевший где-то глубоко, начинает наползать, подступать к горлу.

— Хведир! — не выдержала она. — Не молчи! Расскажи что-нибудь!

— О чем?

В голосе бурсака тоже не слышалось особой уверенности.

Ярина усмехнулась:

— Ну... Про фольклор свой. Написал байку? Про Гонтов Яр?

— А-а! — послышался тихий смех. — Написал! Пану Гримму понравится. Позавчера из Гонтова Яра выборный тамошний приезжал — к отцу, бумаги выправлять насчет винокурни. Так знаешь, о чем там болтают?

— Снова черти заглянули?

Почему-то в присутствии Хведира-Теодора о таком говорить было совсем не боязно — даже в темноте.

— Нет, другое, — бурсак вновь усмехнулся. — Может, не говорить? Ночь ведь, страшно!

— Ах ты! — Девушка вскочила, махнула рукой. — А кто еще в детстве перед сном нам про Черную Руку рассказывал? И про Дидька Лысого? Забыл?!

Сама Ярина забыть такое не могла. После каждой истории она забивалась под перину и дрожала полночи. А на следующий вечер вновь просила рассказать — и снова дрожала.

— ...Пришла Черная Рука, — замогильным голосом начал Хведир. — Открыла дверь — и стала искать маленькую девочку Яриночку... А ведь это мысль! Представляешь, Ярина, такое записать, а? Пан Гримм с кафедры свалится! А в Гонтовом Яру всякое болтают. Будто из Гриневой хаты голоса доносятся, будто вокруг кони невидимые скачут. Ну и мамка его еще приходила.

— Мамка? — удивилась девушка. — Его же матушка померла! Ребятенка родила и...

— Вот я и говорю... То есть соседи говорят — приходила. Хату обошла, потом внутрь заглянула — искала. А наутро пес сдох. Помнишь пса? Его еще Агмет заговорил?..

Ярина закусила губы. Страх, уже ничем не сдерживаемый, сжал сердце, холодом прокатился по спине. Мертвая мать ищет сгинувшего сына. Ищет — и не находит...

— А на следующую ночь ее снова видели. Поп — отец Герасий — не побоялся, с крестом выскочил. Так она зубами заскрипела, руки протянула — не дотянулась, а после обратно на погост пошла. А наутро...

— Прекрати! — не выдержала девушка. — Как ты можешь! Такое... такое говорить!

— А что? — Хведир явно удивился. — Обычная история! У этих посполитых вечно то мать к сыну с погоста является, то муж к женке. Потому и обычай есть, чтоб долго не оплакивать...

— Прекрати! — повторила Ярина и, подумав, добавила: — Чурбан!

Бурсак, недоумевающе пожав плечами, замолк. Ярина отвернулась — слушать страшилки расхотелось.

— Ну ты чего? — Хведир подошел ближе, присел рядом. — Мало ли что лапотники эти болтают! Темные они!

— А ты — светлый! — огрызнулась девушка.

— Ну, не такой уж светлый, — развел руками парень. — Но байкам этим не верю. Если и есть что-то необычное, то это не черти и не призраки, а тонкие энергии, которые наш мир окружают. Про то и блаженный муж, учитель мой Григор Варсава, писал...

Страх вновь спрятался, и Ярина внезапно почувствовала, как смыкаются веки. Сон только и ждал — перед глазами поплыли странные серебристые нити, закружились, сплетаясь в пушистые коконы. Уж не тонкие ли это энергии, о которых Григор Варсава толковал?

* * *

— Ярина! Проснись, Ярина!

Девушка открыла глаза. В зале светло, сквозь окошки белеет утро. Кажется, она так и заснула — сидя. Вот и покрывало: не иначе Хведир догадался — укрыл.

— Ярина! — Голос парня звучал странно. — Батька... Батька погиб!

— Что?!

На полу — мокрые следы; на плечах Хведира — кожух. Наброшен наскоро, даже на крючок не застегнут. В глазах под толстыми стеклами — ужас.

— Батька... Погиб батька. И все погибли...

— Мой... Мой отец? И сотня?

Почему-то сразу же подумалось об отце — о сотнике Загаржецком. С Дуная давно не было вестей, а какие и приходили — не радовали.

Парень вздохнул, качнул головой. Дужка окуляр сползла с уха.

— Мой батька — Лукьян Олексеич. И все, кто с ним поехал. В Хитцах. И село... Погинуло село...

Ярине показалось, что она все еще видит сон — страшный, тягучий. Хорошо бы проснуться, поскорее проснуться!..

Проснуться не получалось.

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

Я скинул окровавленный жупан прямо на пол и взглянул на руки. И здесь кровь — но не моя.

Чужая.

На шаблю и смотреть не стал: хоть протирал снегом, а все равно — чистить и чистить!

Хотелось упасть, как был, прямо в сапогах, на лежанку и

провалиться в черную пустоту. Как хорошо, что мне никогда не снятся сны! Там, в темной пропасти, я недоступен — ни для пана Станислава, ни для тех, кого встретила моя шабля за эти долгие годы, ни для всевидящих Малахов.

Уснуть!

Но я знал: не время. Хотя пан Мацапура уже извещен — я специально послал хлопца на свежем коне впереди отряда, — но придется докладывать самому. Таков порядок, таков обычай. Хоть и не в войске, а вроде того.

Я кликнул джуру, отдал ему шаблю — чистить до белого блеска — и велел принести таз с теплой водой. Кровь плохо отмывается; особенно зимой, особенно если она смешана с грязью.

С грязью — и с пеплом.

Теперь — свежая рубашка, штаны, каптан с белой подкладкой, кипа. Дворецкий — тот, что был до нынешнего, — все рожу морщил: негоже-де при пане зацном с головой покрытой ходить! О своей бы голове подумал, прежде чем болтать пустое! Где она сейчас, его голова?

Застегиваясь и надевая пояс, я вновь перебрал в памяти все, что должно рассказать пану. Когда я на службу поступал, пан Станислав сразу предупредил: говорить надо лишь о самом главном — четко и ясно, без лишних словес. Так-то оно так, да только сам он любит о таком расспрашивать, что порою дивишься — к чему? То ли пан зацный попросту любопытен, то ли видит в мелочах что-то важное, нам, сирым, непонятное. Ну, скажем, моргала ли голова после того, как на снег свалилась? Как у того дворецкого. Три года назад это было, тогда тоже на дворе месяц лютый стоял.

Может, пан Мацапура в детстве страшные сказки любил?

— Пан Юдка! Пан надворный сотник!

Задумался! Даже не услышал, как джура постучал, как дверь открыл.

— Пан Юдка! Пан Станислав вас в банкетную кличут! Он там с гостями. Поспешить просит!

Я мельком отметил: «просит». Странное дело, пан Станислав действительно вежлив! И не только со мной. Даже с теми, кого в замок волокут.

Итак, кличут.

Обычно пан не завтракает и не обедает — отсыпается после ночи, лишь на ужин зовет гостей. Что-то сегодня изменилось! Впрочем, гости, как известно, бывают разные.

Я все-таки опоздал. Гости давно расселись, и пан Станислав был на месте — в резном кресле под огромными оленьими рогами, что к стене прибиты. Помнится, один гость посмел улыб-

нуться и даже шутку отпустить. После ему стало не до шуток — когда болтуну его же язык на ужин подали.

Отварной, с горчицей.

Итак, все на месте — пан Станислав, пан Рио, пан к'Рамоль и, конечно, пани. Причем если мужчины сидят на местах гостевых, хоть и не загоновых, то пани Сале (вэй, ну и дела!) — рядом с паном Мацапурой, не в обычном кресле, а в хозяйском, с высокой спинкой.

Вот даже как!

Долго кланяться да извиняться мне не дали. Пан Станислав в это утро был в изрядном настроении. Черные усы смотрели кончиками вверх, глазки поблескивали, и ямочки — такие детские ямочки на щеках!

— То прошу, пан Юдка! Остынет!

Я с опаской поглядел на ближайшее блюдо. Было дело — пытались свинину подсунуть. Повар (смешно сказать — тоже жид, как и я), когда его на стайне кнутом охаживали, все вопил, что мясо кошерное, поскольку свинья рылом вышла точь-в-точь меламед из харьковского хедера.

Веселый был повар!

Был.

Нынешний такого себе не позволяет. На блюде была телятина, на соседнем — рыба. Ага, у гоев сегодня постный день! Никак не привыкну. Намудрили эти Моше с Иешуа бен-Пандирой! Вместе бы и постились!

Слуги ждали, замерев, как волки в засаде. Ждал пан, ждали гости. Мой желудок тоже ждал, хотя в последний раз закусить довелось прошлым утром. Чтобы не думать о телятине и о подливе (на этот раз — винной), я искоса, дабы хамом не показаться, принялся разглядывать соседей. Так-так, на пани Сале новое платье, белое, золотого шитья. То есть не новое — из кладовой пана Станислава. Вэй, ну и платье! А ведь в каких обносках приехала! Широкая душа у пана Мацапуры! И на самом пане Станиславе кунтуш — одно загляденье. Кунтуш, золотая серьга в ухе, цепь...

Цепь?!

Точно, та самая, с портрета в библиотеке. Давно ее пан Станислав не надевал, наверное, с год. Богатая цепь, прямо орденская, и камень хорош — огромный, красный...

...Красный! Кажется, я снова начинаю различать цвета! Да, камень красный, густого сочного цвета. Страшно подумать, сколько такой стоит. Село купить можно — и немалое!..

Мы все чего-то ждали, телятина отчаянно пахла (нынешний повар свое дело знает, хотя и гой!), как вдруг я заметил некую странность. То есть не заметил даже — почувствовал. Все на

месте — и пани гостья хороша, даром что худа, как сушеный карась, и пан Станислав орлом глядит. Но что-то... Что? Серьга? Кунтуш?

Я вновь искоса глянул на пана Станислава — и вдруг понял. Цепь! Да, такая, как на старом портрете — за исключением камня. Тот худощавый пан в испанском камзоле носил цепь с белым камнем, а на пане Станиславе...

Красный! Как хорошее вино, как запекшаяся кровь!

Как приятно вновь различать цвета!

Красный?

Оно бы и не удивительно: мало ли что художнику в голову взбредет? Да только знаю я этих панов зацных и моцных! Чтобы на портрете фамильную прикрасу перепутать? Быть того не может!

Или камень в цепи заменили?

Дверь неслышно отворилась, и в банкетную деревянным шагом вошел пан Пшеключицкий. Вошел, так же деревянно поклонился, ни на кого не глядя, и шагнул к высокому креслу, в котором восседал пан Станислав.

Я облегченно вздохнул. Ну конечно! Его и ждали!

Пан Пшеключицкий вновь поклонился (даже не поклонился — головой дернул) и стал там, где положено, — за спинкой кресла. Он так часами стоять обучен — даже не моргнет.

Все, можно и за вилку браться!

Такое я еще за Днепром видел. Настоящий пан хорошего рода и хлеба не куснет, если за креслом его не будет другой пан стоять. И не кто попало, а чтоб урожденный шляхтич, да с гербом, да при шпаге. Говорят, иные по горсти золота в день за такое платят.

Вот оттого и пана Пшеключицкого ждали!

Странный он, пан Пшеключицкий. Ни с кем слова не скажет, вина не выпьет, не поругается даже. Первые полгода я его фамилию запоминал, потом целый год присматривался — понять не мог, а когда понял...

...Когда понял — зауважал пана Станислава еще больше. Не то чтобы было в пане Пшеключицком что-то особенное (видел я, как за креслом одного кнежа аж трое стояли), но все же неплохо! Умелец он, пан Станислав!

Слуги неслышно скользили, подавая блюда и подливая вино, пан Станислав улыбался, негромко беседуя с пани Сале, та улыбалась в ответ, пан Рио явно увлекся рыбой, пан к'Рамоль брови хмурил (с чего бы это?), а мне внезапно дико захотелось спать. Нельзя! Завтрак — только начало, потом будет главное. Раз пан Станислав меня к завтраку пригласил, значит, разговор будет.

И не простой разговор!

* * *

— Так, значит, все в порядке?

— Да, пан Станислав! Троих хлопцев потеряли, да пятеро ранены...

— Не беда. Народу много, бабы новых нарожают!

Он вновь сидел под старинным портретом, только теперь в руках у пана Станислава была огромная глиняная люлька. Сизый дым неторопливо поднимался вверх, тучей собираясь под лепным потолком.

— Новые гости — в замке? Те, что из Хитцов доставлены?!

— Так...

Пан Станислав кивнул, глаза удовлетворенно сверкнули.

— Ну-ну! Вечером погляжу, кого ты мне привез. Не хочешь вечерком вместе со мной в замок прогуляться?

Я вздрогнул. В замок? Избави Святой, благословен Он!

Он понял. Засмеялся — весело, словно и в самом деле пошутил.

— А ты заметил, как пан лекарь на нас с пани смотрел?

Я вспомнил мрачного к'Рамоля и усмехнулся.

— Не по коту сметана! А знаешь, пан Юдка, в этой пани есть свой смак! Видал?

Он протянул вперед правую руку. На запястье темнел кровавый след — чьи-то ногти впились в кожу.

Ясное дело чьи.

— Когда пан будет вновь стирать того кота, — вздохнул я, — то пусть пан его не выкручивает, а так на веревку вешает.

Он хохотал долго, хлопая себя по брюху и тряся щеками. Наконец махнул рукой:

— Ладно! Так и повешу. Да знаешь ли, пан Юдка, это не то, что ты подумал. Дело иначе было. Решил я поглядеть, из какого теста эта пани. Повел ее маёнток показать — и на стайню завел. А там одну девку как раз плетью охаживали. Воровать вздумала, бесова дочь! Я велел ее на воздусях парить, под колокольчики — пока не сдохнет. И что ты думал? Эта пани Сале до самого конца простояла, глаз оторвать не могла. За руку меня взяла — и смотрела.

Он вновь покрутил исцарапанной рукой, расправил усы:

— Вот таких и люблю! Знатная пани! И чернокнижница зацная! Книгу «Рафли» читала, и «Задею», и «Сирин». Только, говорит, они у них иначе зовутся.

Вот даже как? Интересно, есть ли в том Сосуде книга «Зогар»?

— Что меня дивит, пан Юдка... Если они в наши края за ребенком собрались, отчего про обратный путь не подумали? Я тоже кое-что прикинул, «Рафли» полистал. Трудное дело за этот Рубеж пробраться! А они — как в омут.

Наши взгляды встретились. Трудно врать такому, как пан Мацапура!

Трудно — но можно. Этому гою незачем знать о визах, о том, что в каждом Сосуде имеются консулы. Сале молчит — и я молчать буду.

— Видать, очень им этот ребенок нужен, пан Станислав.

— Видать...

Он нахмурился, замолчал, а я вновь взглянул на портрет. Неужели этот, в испанском платье да с белым камнем в цепи, — его батюшка? Вот уж поистине: не в отца, а в проезжего молодца!

— А хорошо бы, пан Юдка, самим дорогу в иной мирок сыскать! Чтоб только мы об этом пути знали, а? Вот тогда и с дитем разберемся — кому он там нужен да зачем.

Мог бы не говорить! Я сразу понял, почему пан Мацапура принялся пани Сале обхаживать. У той, понятно, свой интерес, да только нашего пана не проведешь! Аукнется ей ее белое платье! В нем и зароют, едва дорожка через Рубеж откроется!

— Есть у меня думка, как толк наладить! А ведь у них там даже рушниц нет!.. Да, ты этого ребенка-то видел?

— Видел, пан Станислав, — удивился я. — Только не разглядывал. Дите себе и дите!

Он вновь задумался. Выпустил клуб сизого дыма, качнул головой.

— Ан не совсем! То, что пальцы на руках не по счету — ладно. И не таких рожают! А вот сколько ему?

— То есть? Что пан имеет в виду? — удивился я. — Гринь Чумак говорил: дите две недели как родилось...

— Две недели! — Пан Станислав даже трубку отложил. — Да ты бы поглядел сейчас на него, на байстрюка этого! Ему полгода — не меньше! Скоро зубы резаться будут!

Полгода! Я вспомнил вопящий сверток на руках у пани Сале.

Полгода?

Был бы гоем — точно перекрестился.

Кто же ты такой, Пленник?

— А с братом его, пан Юдка, мы вот что сделаем. Утром человечишка прибежал из Гонтова Яра, поведал кой-чего. Тамошние лапотники совсем спятили. Хату, где тот хлопец жил, спалили да мамку его из домовины выбросили...

— Как? — Мне показалось, что я ослышался. — Из домовины?

— Выбросили и колом проткнули, а после тоже сожгли — чтобы с чертями не путалась да из могилы не вставала. Что с хлопов взять? Дурни! Вот мы про это чумаку и расскажем. Сам же говорил: лихой из него сердюк выйдет! Будет при брате — да при мне!

Лихо пан Станислав задумал! Теперь чумак сам за шаблюку схватится.

— Вот так! Как за Рубеж пойдем, его и возьмем — вместо пса. Как думаешь, пропустят нас твои ангелы?

На этот раз я не удержался — вздрогнул. Пан Станислав усмехнулся, но усмешка почти сразу погасла.

— Их можно... подкупить — или напугать?

Подкупить? Пани Сале попыталась — на свою голову. А вот напугать...

— Рабби Шимон бар-Йохай когда-то прогнал Малаха-Разрушителя, — осторожно начал я. — Прогнал — и запретил возвращаться. Но я — не бар-Йохай. И вы, пан Станислав, тоже.

— А договориться? — живо подхватил он. — Ведь нужно же им чего?

Я закрыл глаза. Блаженны несведующие! Договориться — с кем? С чем? С громом, с молнией, с потопом?!

С Рубежными Малахами?!

На миг все словно сгинуло — и я вновь очутился в холодном мокром лесу у старой дороги на Умань. Заныли скрученные веревкой запястья, запершило горло от страшного, удушливого духа горящей заживо плоти. В глаза ударил ослепительный свет — ярче пламени, ярче солнца: белый, проникающий даже сквозь закрытые веки.

— ...Твое желание услышано, Иегуда бен-Иосиф! Да будет так! И знай, что жалеть уже поздно!

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

Кровный соловый конь нетерпеливо переступал тонкими ногами, плохо понимая, чего ждет хозяйка. Горячие ноздри раздувались, копыта били в снег.

Ярина растерянно оглянулась. Вот еще одни сани, забитые добром, за санями бежит одуревший козленок, на руках у бабы — рыжая кошка.

Бегут!

С самого утра бегут — кто в Полтаву, кто в близкий Харьков. Пустеют Валки!

Девушка покосилась на Хведира. Тот сгорбился, вцепившись здоровой рукой в конскую гриву. Конь словно чуял — свесил голову, глядя вниз, на истоптанный снег.

За этот страшный день парень почернел; у рта залегла нежданная складка. Горе — и поплакать некогда.

Вот и еще сани, на них баба с двумя младенями. Муж тут же — сидит на пристяжной в распахнутом тулупе.

Бегут!

...Тело пана писаря привезли поздним утром — порубленное, с выжженными очами. Не ладно умер Лукьян Еноха! Остальных оставили в Хитцах — в полусожженной церкви. И некому было оплакать — в селе не осталось ни души. Кто не погиб, порубленный, пошматованный, застреленный, тот сгинул, уведенный неведомо куда.

Погинули Хитцы! И теперь страх пошел по округе. Некому отозваться, некому стеной стать...

— Может, и вправду уехать? — поневоле вырвалось у девушки. — Хведир, что делать?

Бурсак мотнул головой, щека дернулась.

— Пока батьку не поховаю — никуда не уеду. Да и куда бежать-то? Зима! В лесу — верная смерть, а в поле — нагонят.

Девушке стало стыдно. Бурсак в окулярах ее смелости учит! А ведь верно, учит!

Послышался дробный топот. Из-за угла вылетел Агмет на своем вороном, подскакал, махнул рукой:

— Сюда идут, ханум-хозяйка! Я им сказал, чтоб шибко сюда шли! К тебе, ханум Ярина!

Единственный глаз татарина горел злым огнем. Агмет тоже не боялся. Не боялся — и первым сообразил, что делать надлежит. Ярина улыбнулась — верно! Пусть идут, разберемся!

Толпа уже вываливала на майдан — мужики, бабы, молодые парни, даже детишки. Впереди грузно семенил валковский выборный — тучный старик, умевший, как хорошо помнила девушка, лишь кланяться и поддакивать. Оттого и выборным поставлен!

Люди заполнили майдан, окружили всадников. Кто-то протянул руку к узде солового скакуна, но Агмет свистнул камчой — и смельчак-невежа поспешил отшатнуться.

— Панна сотникова! Чего делать-то? Скажи, чего делать? Пущай скажет! Скажет!

— Чего там спрашивать? — тут же откликнулись иные. — Бежать! Бежать надоть! Из Минковки уже бегут, из Перепелицевки бегут!..

Ярина ждала. К горлу подступил страх, и она с тоской вспомнила батьку. Пан Логин Загаржецкий живо бы объяснил этим мугырям, чего делать надо. Но батька далеко, а беда — вот она, рядом.

Она вновь взглянула на Хведира. Парень смотрел вниз, под конские копыта. Да, не вояка! Вот браты его — один к одному, черкасская кость. Но они тоже там, на синем Дунае...

— Тихо! — Ярина привстала в седле, рука с «корабелкой» взлетела к серому низкому небу. — Тихо, панове-молодцы! Что

орете, как жидовский кагал? Пришли слухать — так слухайте, чего я скажу!

Гвалт стих, сменившись холодным, тяжелым молчанием. Десятки глаз смотрели на худую плосконосую девушку в серой кожушанке и черкасской шапке с белым верхом.

Ярина подождала, вдохнула холодный воздух.

Пора!

— Что, обыватели валковские? Бежать вздумали? Волков по чащобам кормить?! Вы побежите, соседи побегут — и край запустеет. Для того ли прадеды ваши здесь засеки строили да татар в пень рубали? Неужто они трусов породили?

Ответом была тишина. Мужики прятали глаза, смотрели вниз, отворачивались.

— Батька твой, панна сотникова, далеко, — наконец бросил кто-то. — Он на Дунае, а мы — здесь. И татары здесь. Пан писарь погиб, и все черкасы с ним. Кто Валки оборонит?

— Верно, верно! — откликнулись другие. — Чего ее слушать, соплюху! Бежать надоть, бежать!

— А ну цыть! — «Корабелка» вновь взлетела к небу. — Трусов не держу — дорога скатертью! А кто не трус, меня слушай!

Ярина на миг замолкла, переводя дыхание и давая возможность перепуганной толпе прийти в себя. Соплюха? Пусть и соплюха, зато у нее кровь в жилах, а не гнилая водица!

— Эй, панове-молодцы, обыватели валковские, мугыри да свинопасы, костерники да броварники! Хватит вам под перинами прятаться, в винницах страх заливать да по запечьям дрожать — ждать, покуда татарский аркан не найдет! Кто смелый — иди со мной, Яриной Загаржецкой, дочкой сотниковой, наши Валки боронить! А кто трус, смелость взаймы бери и тоже иди! Или не деды ваши с паном гетьманом Зиновием Старых Панов под Пилявцами рубили да татар на Изюмском шляху гоняли? А не пойдете — по селам поеду да молодиц с рогачами наберу, а все одно: врагов в Валки не пущу! И в том слово даю крепкое, черкасское! Поняли меня?

Девушка задохнулась, рука с шаблей опустилась вниз. В горле першило — не иначе голос сорвала. Не беда, лишь бы услыхали!

Услыхали! Тишина сменилась гулом, но голоса теперь звучали иначе. Очнулись мугыри!

— А сотником кто будет? — Высокий парень в коротком, не по росту, кожухе пробился вперед. — Не можно без сотника, панна Ярина!

Парень был знакомый — Миско Швец, из самой голоты. Год назад в черкасы просился, да не взяли. Какой черкас без коня?

Девушка задумалась. А и вправду, кто? Ни писаря не осталось, ни есаула, ни черкаса реестрового.

— А хоть он, — Ярина кивнула на мрачного Хведира. — Роду

он черкасского, и батька, царствие небесное ему, сотенным писарем был!

Хведир даже головы не поднял — будто не слыхал. В толпе засмеялись.

— Не, не годится! — Миско Швец взлохматил буйную шевелюру — Пусть пан бурсак покуда в писарях, как батька, походит. Он — человек ученый, ему и писарем быть. Верно?

Толпа вновь загудела — согласно, дружно. Ярина облегченно перевела дух. Раз уж чины делить начали, значит, не побегут!

— А сотником тебе быть, Ярина Логиновна, некому больше.

Девушка невольно покраснела, в висках застучала кровь. О таком и не мечталось. Не мечталось, не думалось. Куда там в сотники! Тут бы раз с батькой в поход сходить — и то не брали!

— Девка она! — послышался чей-то рассудительный бас. — Девка славная, боевая, да один хрен: разве можно девку в сотники?!

Ярина только вздохнула. Все верно! Замечталась, дуреха!

— И кто ж такое сказал? — Миско резко оглянулся, хмыкнул. — Да это мы все — бабы, а она — единственный вояка на все Валки! Кто бежать хотел да хомяком в нору ховаться, а?

Рядом со Швецом уже собрались его погодки: крепкие, плечистые, один в один. Кое-кого Ярина помнила. Тоже из голоты, доброго кожуха — и того нет.

— Ярину Загаржецку — в сотники! Слава! — крикнул кто-то, и весь майдан дружно отозвался:

— Слава! Слава! Не уйдем! Не сдадимся!

Ярина словно очнулась. Криком сотники не ставятся. Через день-другой из Полтавы наказного пришлют, но ждать все одно нельзя.

— Теодор Лукьяныч!

Парень поднял голову, взглянул удивленно.

— Поезжай в управу сотенную да всех волонтиров запиши, да амбар открой, где припас хранится, да погреб пороховой. Понял ли, пан писарь сотенный?

Бурсак подумал, кивнул. Ярина повернулась к Швецу.

— А ты, пан Миско, при мне сотенным товарищем будешь. Проследи, чтоб на улицах порядок был, да чтоб не стреляли попусту. И об есаулах наказных подумай, вечером назначим.

— А головы брить? — поинтересовались петушиным фальцетом. — То холодно, панна сотникова!

— Брить, ясное дело! — хором ответили ему. — Голову брить, а чуприну оставлять да усы. И пшена с салом запасай, и ложку с казанком бери! Чай, теперь черкас — не мугырь!

Ярина улыбнулась.

* * *

— Зброи много, Яринка, — Хведир устало вздохнул, откладывая гусиное перо. — Да только старая вся. Рушниц справных нет, и янычарок нет. Булдымки, фузеи без пружин, флинты. Какие ржавые, какие без кремней. И шабли ржавые. Гармата есть, да только без ядер.

Здоровая рука сдернула с носа окуляры, парень повертел их, растерянно оглянулся.

— Протереть бы! Подсоби!

Ярина выругала себя за недогадливость и взялась за окуляры — тереть до блеска толстые стеклышки. Ночь прошла, уже утро. Сделано немало, да вот поможет ли? Люди есть — восемь десятков записалось. Но только кто? Голота — ни коней, ни зброи, ни выучки. Только пятеро и служили, и то не в черкасах, а на востоке — в стрельцах городовых. Это ли войско?

— И коней мало, — Хведир вновь нацепил окуляры, заглянул в исписанный мелкой, красивой вязью лист. — Восемь коней, настоящих, боевых, а остальные — клячи селянские, на них не поездишь.

— Ничего, — девушка заставила себя улыбнуться. — Не в том сила!

Да, валковский обыватель воевать не обучен, зброя стара и коней боевых нет. Зато на всех въездах-выездах уже стоят рогатки, а за рогатками — хлопцы с фузеями. За околицами спрятаны секреты, чтобы враг внезапно не налетел, а пушку зарядили гвоздями да подковами. В упор ахнет — добре будет.

— Я Миско Швеца в Минковку послала да в Перепелицевку, чтоб народ поднимал, — девушка присела к столу, бегло проглядела записи. — Надо бы порох пощупать, а то пишешь — «три бочонка», а что в тех бочонках...

Бурсак что-то хотел пояснить, но не успел. Негромко заскрипела дверь.

— Ханум-хозяйка! Говорить надо!

Агмет подошел к столу, расстегнул жупан, бросил недоверчивый взгляд на разложенные бумаги.

— Зачем глаза портишь, бачка Хведир? Мой один глаз иметь — лучше твоих два видеть!

Бурсак только руками развел. Агмет, не снимая шапки, присел на лавку, хлопнул широкой ладонью по колену.

— В Хитцах был. Все смотрел, хорошо смотрел. Не наша это был. Не татары!

Ярина и Хведир переглянулись. Им самим не очень верилось в неведомо откуда взявшихся крымчаков. Из всех селян, что в Хитцах жили, уцелели трое; те, что сразу в лес убежали. Они и рассказали о татарах: и платье татарское, и луки. Стрелы Ярина

сама видела — и не одну. Какие в стены впились, какие в телах холодных застряли.

— Не наша, не татары! — На мрачном лице Агмета промелькнула ухмылка. — Шайтан умный шибко, да моя не глупее. Следы смотрел — не наши кони! Заводных нет, а наша без заводных в поход не идет. А главное — рушницы. Откуда у татар-крымчак рушницы? Наша с лук-саадак идет, наша рушницы йок — нет совсем.

— Значит, не татары, — девушка поджала губы, задумалась. — Кому же это быть?

— Может, москали? — неуверенно предположил бурсак. — У них татар в войске много и рушницы есть.

— Кто бы ни был, — Ярина поднялась, устало провела ладонью по лицу. — Придут — разберемся.

— Сейчас сани приезжать, — Агмет кивнул на дверь. — От Дикого Пана приезжать. Бочонок пороха привозить, пять рушниц привозить. Бар якши!

Девушка удивленно покачала головой. Вот, значит, как? Ну, спасибо пану Мацапуре!

— Они сразу назад уезжать, а двое тут оставаться. Тебя, ханум-хозяйка, видеть хотят. Я их велел караул стеречь, никуда не пускать.

— Зачем? Они же помочь приехали!

Почему-то сразу подумалось о пане Юдке. Вот бы его сюда с дюжиной-другой сердюков! Никаких татар с москалями и на околицу бы не пустили!

— Помочь? — Татарин вновь усмехнулся. — Знай наша этих «помочь»! Ханум-хозяйка и бачка Хведир пана Рио хорошо помнить?

— Кого?!

На майдане собрались хлопцы — не меньше дюжины, кто с мушкетом, кто с фузеей, а кто просто с пикой. Порох в небольшом, потемневшем от времени бочонке стоял тут же, прямо на снегу.

Ярина подошла, головой покачала:

— Эй, кто старший?

Незнакомый безусый хлопец подбежал, стукнул древком пики в снег:

— Наказной есаул Климко Чалый, панна сотникова!

Девушка вздохнула. И с такими воевать! Есаул сиволапый...

— Кто же порох так бросает? А ну-ка быстро — порох в погреб, да запереть, да караул верный приставить! Гости где?

— Там! — Пристыженный десятник вздохнул, обернулся. — Вона!

Хлопцы расступились. Ярина, все еще не веря, шагнула вперед.

Пан Рио? Да неужто?

Он?

Точно, он!

А еще точнее — они.

На пане Рио был теперь не странный плащ и не бронь, а дорогой жупан и мохнатая шапка с синим верхом. И спутник приоделся. Этого тощего фертика с надменным лицом Ярина уже встречала. У хаты Гриня Чумака. На вороном коне ускакал фертик. Как его Гринь назвал? Крамольник, кажется? Да, точно, лекарь Крамольник. Ну и имечко!

Девушке захотелось протереть глаза — или, еще лучше, перекреститься. Ну это же надо! Сами пришли!

— Добрый вам день, панове! Или на суд приехали?

На красивом неподвижном лице пана Рио не дрогнул ни один мускул. Поклон — вежливый, но не слишком низкий. Крамольник кланяться не стал, лишь подбородком дернул.

Пан Рио помедлил, затем шагнул вперед.

— Добрый день, госпожа Ирина! Надо побеседовать... поговорить... обсудить.

Невидимый толмач вновь оказался на месте. Ярина покосилась на Хведира. Бурсак понял, прокашлялся — и медленно заговорил на странном гортанном наречии.

Пан Рио вздрогнул, быстро переглянулся с Крамольником.

Ярина усмехнулась — то-то!

На этот раз толмач не понадобился. Говорили долго — и бурсак, и пан Рио явно подбирали слова. Наконец Хведир кивнул, повернулся к девушке.

— А пошли в хату, панна сотникова. И вправду есть разговор.

* * *

От угощения гости отказались. Рио просто поблагодарил, а Крамольник не утерпел — сморщил нос, отставив кубок с медом в сторону. Ярина невольно обиделась: славный ведь мед, ставленый! Хоть бы не морщился, невежа!

— Мой друг к'Рамоль — лекарь, — пан Рио впервые улыбнулся. — Он считает, что здешние напитки очень опасны для здоровья.

— И как вы это... пьете? — Крамольник вздохнул, покачал головой. — Если хотите, госпожа Ирина, я сообщу вам рецепт... состав...

Невидимый толмач трудился вовсю. Девушка ждала. Неужто о медах да о наливках речь пойдет?

— Пан Рио считает, что порох в бочонке подмочен, — вполголоса проговорил Хведир.

— Что?!

Гость кивнул — уже без улыбки.

— Я еще плохо разбираюсь в вашей... системе вооружения, госпожа Ирина, но, как я понял, порох должен быть сухим.

— Откуда знаете? О том, что подмочен?

Пан Рио переглянулся с лекарем. Тот нахмурился.

— Наша... знакомая сейчас... подружилась с господином Мацапурой. Этим утром... Господин Мацапура думал, что она еще спит, когда отдавал приказ своему слуге. Она... Наша знакомая услыхала и рассказала мне...

Толмач явно сбивался — то ли устал, то ли самому пану Крамольнику нелегко давался рассказ. Ярина задумалась, пытаясь понять, о ком лекарь толкует. Уж не о чернявой ли ведьме? Так-так, теперь ясно! Как это кличут ее? Сало, кажется? Выходит, соблазнился кот Мацапура заморским сальцем! Уж не с того ли Крамольник хмурится?

— И для того вы приехали, панове? Или мы сами бы порох не проверили?

Ярина понимала, что не совсем права. Кто ведает, может быть, и не проверили. А перед самым боем открыли бы — и руками развели.

Пан Рио ответил не сразу. Наконец кивнул:

— Не только поэтому, госпожа Ирина. Наш товарищ... Его зовут Хостик... Он пребывает в месте заключения... узилище... буцыгарне... Мы приехали просить госпожу Ирину проявить снисхождение... милость.

Ага! Девушка хмыкнула — вот теперь и о деле заговорили, забродыі Что товарища не бросили — добре, конечно, а вот все прочее...

— Мы понимаем, по вашим законам... обычаям... правилам... наше поведение выглядит неправильным... ошибочным. Но мы готовы объяснить... растолковать...

— Это вы пану писарю сотенному растолкуйте! — Ярина встала, кивнула на Хведира, молча слушавшего этот странный разговор. — Ваш Хвостик ему верную пометину оставил. Так что, панове, разговор наш будет долгий да серьезный. А пока тут сидите, недосуг мне. Вечером потолкуем!

— Госпожа Ирина! — Пан Крамольник вскочил, бросил быстрый взгляд на Хведира. — Я — лекарь! Я — неплохой лекарь! Я готов провести лечение... исцеление...

Девушка только рукой махнула. Тоже мне, исцелитель нашелся! Чем там у этих антиподов лечат? Не иначе, крыс освежеванных к ранам прикладывают!

Вошел Агмет, недобро покосился на гостей, заворчал. Ярина кивнула.

— Седлай! Едем!

* * *

Вернуться в Валки довелось лишь вечером, когда в маленьких окошках уже зажигались желтые огоньки. Стража оказалась на месте — при рушницах и шаблях. Миско Швец расстарался — нашел в старом погребе две древние чугунные гаковницы и расставил их на околицах, чтоб вдоль улиц картечью палить. Это порадовало — но ненадолго. Больше радоваться было нечему.

В Минковке и Перепелицевке мугыри и подсоседки с подкоморниками не оплошали — тоже рогатки выставили да рушницами обзавелись. Это не удивило: села черкасские, коренные. А вот в иных местах дела шли хуже. Вернее, никак не шли. Мужики хмурились, качали головами, но зброю не брали, отговариваясь, что и неученые они, и женки против, и детишек кормить надо. В Гонтовом Яру и того хуже — мугыри во главе с выборным да с попом Гервасием хоть и вежливо, но твердо попросили «панночку сотникову» прочь убираться и к ним не приезжать боле, потому как они люди мирные и женки опять-таки сильно против.

Ярина даже не обиделась — удивилась. Или глупым мугырям охота женок да детишек врагам на позорище отдать?

Удивилась — но вскоре ей пояснили.

Шепотом, оглядываясь и прося, чтобы никому-никому...

Она приехала не первой. Еще поутру в село прискакали крепкие хлопцы на справных конях — сердюки зацного пана Мацапуры-Коложанского. Прискакали без подарков, зато с верным словом от своего пана. Обещал Мацапура-Коложанский село от всех врагов оборонить твердой рукой. И в том слово свое давал, прося же безделицу — с будущего урожая четверть, да выгон за селом, да право рыбной ловли в реке и на прудах. Велел подумать — да побыстрее. Главное же, наказывал пан Мацапура, к черкасам валковским за подмогой отнюдь не обращаться, потому как сил у них мало, а хлопоту от черкасов тех много будет.

Стало ясно — если не все, так главное. Похоже, сердюки Мацапуровы не только в Гонтовом Яру побывали. Вот хитрые мугыри и задумались. То ли вправду за зброю браться, то ли выгоном откупиться, дабы уцелеть, с печей не слезая.

Спорить Ярина не стала. Понимала — не убедит. Мугырь — он мугырь и есть: жаден, а душа заячья! Вот и обороняй таких!

Возле дома пана писаря скучал караул во главе со старым знакомцем — наказным есаулом Климко Чалым. Теперь есаул

был уже не пеший — комонный. Правда, не на боевом коне, а на пахотной кляче с овчиною вместо седла. Увидев панну сотникову, парень чуть на землю не свалился, однако же усидел, взмахнул пикой и поспешил доложиться.

Нового Ярина не узнала. Все тихо, спокойно, кашу сварили — пшенную с салом; а пан Теодор Еноха в доме — с гостями заговорился.

Бурсак был действительно в доме, в той самой зале, где любил коротать время его батька. Правда, теперь кресло пустовало, и книга, которую читал покойный пан Лукьян, лежала нераскрытой. Хведир пристроился сбоку, на лавке, рядом с паном Рио. Меж ними лежала пузатая книжечка. Ярина присмотрелась, узнала. Ну конечно, атлас Меркаторов!

— А где пан Крамольник? — поинтересовалась девушка, с трудом снимая кожушанку. Пальцы не слушались — заледенели.

— Он... — Хведир растерянно моргнул. — У пана Хвостика он, на рану зелье кладет.

— Ясно...

Ярина присела рядом, кивнула на атлас:

— Разобрались? Так вы, пан Рио, и вправду этот. . антипод?

При этом слове бурсак отчего-то смутился, Рио же улыбнулся, сверкнул крепкими зубами.

— Отчасти, госпожа Ирина! Господин Хведир почти угадал, только моя земля... страна находится несколько дальше.

— И потому вы решили к нам пожаловать? Или вам больше разбойничать негде? Там бы, у себя, детей и воровали!

— Ярина, не надо!.. — начал было Хведир, но девушка цыкнула, и бурсак покорно замолчал.

— По обычаям нашим да по Статуту Литовскому, должно вас, пан Рио, вкупе с паном Крамольником в железо ковать да на суд в Полтаву вести. А то, что издалека вы, не оправдание вовсе...

— Знаю! — Рио кивнул, улыбка исчезла. — Знаю, госпожа Ирина! Потому и приехал к вам, чтобы объясниться. Выслушаете ли?

Девушка вздохнула, устало прикрыла глаза. Поспать бы часок! Ночь не отдыхать, а после целый день с седла не слазить — легко ли?

— Хорошо, пан... антипод. Только покороче.

Пан Рио вновь кивнул, задумался.

— Постараюсь, госпожа Ирина! Мы прибыли из очень далекой земли... далекого мира. Мой отец, как и твой, был наместником... правителем. Он погиб — давно уже. Я воин, герой...

— Доблестный? — хмыкнула девушка, вспомнив пергамент. — Это кто же вас в герои произвел?

Рио помолчал, словно слушая невидимого толмача, затем улыбнулся.

— Понял! Это слово... В нашем языке оно имеет другой смысл. Герой — это вольный человек, умеющий воевать... сражаться. Его берут на службу...

— У нас это называется «наемник» или сердюк, пан Рио, — вздохнула Ярина. — А у немцев — ландскнехт или зольдат. Значит, вы на службе?

— Да, госпожа Ирина, у нашего владыки... князя. Он дал мне Большой заказ... поручение. Я должен был попасть в ваш мир... в вашу землю и доставить ребенка. Нашему князю он очень нужен. Князь сказал, что ребенок в силу каких-то причин... обстоятельств... родился в чужом мире и ему угрожает опасность. Так и оказалось, госпожа Ирина! Его хотели убить — дитя и его брата, господина Гриня. Мы вступились... защитили. Мы не знали, что вы не хотите ему зла! Я сожалею, что Хоста по ошибке ранил господина Теодора.

Ярина задумалась. Складно изъясняет, да только все одно — непорядок. В Диком Поле они, что ли? Захотели — приехали, захотели — дите забрали!

— Ну, считайте, что объяснили, пан Рио! Пан Теодор Еноха у нас добрый — не хочет в суд на вас подавать. Если Гринь Чумак тоже жалобу не подаст, тогда и я промолчу. Да и времени нет — беда у нас. Может, слыхали?

— Слыхал...

Пан Рио медленно встал, посмотрел прямо в глаза.

— Потому и приехали, госпожа! Возьмите нас на службу. Много не попросим — только бы на хлеб хватило.

Девушке показалось, что она ослышалась. Или невидимый толмач все перепутал. Этих заброд — и на службу? Очумел пан Рио, что ли?

— В силу некоторых причин... обстоятельств... правил, я не могу долго жить на одном месте без службы. А Большой заказ... сейчас я не уверен... не до конца. Уехать мы не имеем возможности, надо подождать... дождаться. Госпожа Сале и господин Мацапура обещали нам помочь найти дорогу... путь...

Ярина невольно хмыкнула! Пан Мацапура! Тот, что подмоченный порох дарит! Ну, этот точно — поможет.

— Так шли бы служить пану Мацапуре, раз вы с ним друзья!

Рио покачал головой, заговорил, тщательно подбирая слова.

— Мы... Мы не друзья с господином Мацапурой. Он обещал нам помочь, потому что это и в его интересах. Во всяком случае, мне так кажется. Госпожа Сале осталась с ним... это ее дело. Служить господину Мацапуре я бы не хотел... не желал.

— Так, может, согласимся, Ярина? — вмешался Хведир. — Нам опытные люди нужны.

— Опытные? — Девушка дернула плечом. — А скажите, пан Рио, если вашу сотню атакует в чистом поле конница, как лучше перестроиться: в «змейку», в линию или в каре?

Рио покачал головой, засмеялся.

— Вы правы, госпожа Ярина! В моей земле воюют иначе, у нас нет рушниц и гармат. Но я действительно много воевал, господин Хоста — прекрасный рубака, а к'Рамоль — отличный лекарь. Лекарь ведь вам нужен?

Девушка покосилась на Хведира, на его перевязанное плечо. Лекарь-то нужен! И на лазутчика пан Рио никак не походит. Может, и вправду?

— А если вас пан Мацапура обратно кликнет?

Пан Рио вновь задумался, по лицу промелькнула невеселая усмешка.

— Только если он поможет госпоже Сале открыть нужный нам путь... дорогу. Служить я ему не буду. Последние события... дела... очень подозрительны.

Ярина и Хведир переглянулись. Еще бы! Налет «татар», подмоченный порох, сердюки, разъезжающие по селам. За руку не схватишь — но и руку не подашь, поостережешься.

— И еще... Мне очень не нравится камень на его цепи.

— Какой камень, пан Рио? — поразился бурсак.

— Темный. Я плохо различаю цвета, но, по-моему, он красный. Мне этот камень что-то напомнил, что-то очень знакомое...

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

— А здесь — усиленная стража, Григорий. Меняется каждые шесть часов. Задача — не пускать никого, кроме пана, меня и смены.

Гринь Чумак кивнул и с интересом поглядел на замок. Именно тут, в караулке у ворот, размещен сторожевой пост. Между внешними воротами, дубовыми, окованными железом, и крыльцом входа в западное крыло (единственное жилое на сегодняшний день) — пустое пространство. Ровное, гладкое. Когда-то здесь был разбит сад, но пан Станислав велел срубить деревья и даже пни выкорчевать.

— Стража стоит у ворот, но внутрь не входит. Смена — только по тайному слову. Это ясно?

— Точно так, пан надворный сотник!

Я одобрительно взглянул на парня. Молодец! В сердюкском жупане да с шаблюкой на поясе он уже никак не походил на растерянного селюка, искавшего защиту у моего господина. На шаблях, правда, чумак еще не силен, и в бой брать хлопца рано, но для сторожевой службы годится.

— Из ворот никого не выпускать, кроме пана. Если он не

один, подождать, пока к вам подойдет, остальные пусть на месте остаются. И впускать так же. Понял ли?

Гринь вновь кивнул и с любопытством поглядел на замок.

— Понял, пан надворный сотник. А что это за крепость?

Я вздохнул. Ну вот, перехвалил этого гоя! Вопросы задавать начал... впрочем, замок, заново отстроенный отцом пана Станислава на месте древних развалин, и впрямь для сельского парня мог сойти за крепость.

Если не шибко приглядываться: из башен лишь одна всерьез годится для обороны, стены вечно собирались надстроить, да все руки не доходили... укрепили кое-где и бросили.

Все равно в случае серьезной осады не удержать — людей не хватит.

Не те времена.

— Какая крепость? Нет тут никакой крепости, Григорий! Есть ворота, есть караулка — и стража. А больше ничего!

— А-а-а...

Вид у хлопца был до того растерянный, что я еле удержался от смеха. Смеяться не стоило — сам такой был. Хорошо все-таки, что мне внутрь ходу нет... хорошо.

— Нет тут никакой крепости, — повторил я. — И ты ничего не видишь, чумак! Ничего! Ни стены, ни башен угловых...

Он усмехнулся и кивнул — понял, хвала Святому, благословен Он! Понять-то понял, да знаю я этих молодых! Начнет расспрашивать кого попало, а кто попало пану Станиславу передаст.

— Ладно, Григорий! В первый и последний раз. Услышите — и тут же забудьте...

...О замке можно рассказывать долго. Он не такой и древний, построен лет эдак с полтораста тому назад прежним владельцем этих мест. Кто тут правил, уже забыли, разве что пан Станислав знает. Кто-то из Старых Панов — из тех, что в златотканых кунтушах щеголяли и бриллианты в усы вплетали. Да только не помогли ни стены, ни башни. Когда гетьман Зиновий (да проклянет его Святой, благословен Он, за невинную кровь народа моего!) прислал сюда своих головорезов, замок взяли с ходу, не иначе кто-то из хлопов ворота открыл. Говорят, целую неделю замок горел — вместе со всеми, кто был в нем. Крик стоял — подойти страшно. А потом, как война кончилась, завладел этими землями бывший сотник Петро Мацапура — то ли дед пана Станислава, то ли прадед. Так всегда бывает — сгинули Старые Паны, пришли Новые. Петро Мацапура в мертвом замке жить не стал — дом выстроил, хутор вокруг дома... Так и стояла крепость — не крепость, руины-развалины, пустые и от огня черные, пока батюшка пана Станислава не позвал каменщиков из Полтавы. Долго рабо-

тали, упорно. Что смогли, сделали. Обещал, говорят, им пан Леопольд битыми талярами миски наполнить. Может, и наполнил, да только сгинули каменщики — отсюда вышли, до Полтавы не добрались. А возле восстановленных ворот стража появилась.

С тех пор и стоит.

Жить пан Леопольд в замке тоже не стал — когда не по европейским краям шастал, заезжал иногда, иной раз на минуту, иной раз на всю ночь. И пан Станислав сюда наведывается. Бывает, в замок гостей привозят — всяких. То девку селянскую, то молодицу, то младеня. Гринев братишка чудом туда не попал — как и пани Сале. Зато другим повезло — попали. Видать, хорошо им там всем живется — еще ни один обратно не попросился! А может, и попросился, да не пустил пан. Любит он гостей!..

•

Всего этого я рассказывать не стал — ни к чему такое простому сердюку. Только главное: замок этот пана Станислава, бывает он там, а больше и ведать ничего не надо. Придет — пропустить, выйдет — тоже пропустить. А самое важное — не болтать, не спрашивать, не намекать даже.

— Понял ли, чумак?

— Точно так!

Кажется, действительно понял. Вот и хорошо, дольше проживет хлопец!

— Славно, Григорий! Завтра в стражу пойдешь. Как служба, по сердцу?

— По сердцу, пан надворный сотник.

Прозвучало без особой радости. Я вновь поглядел на парня. Да, невесел! Словно с похорон вернулся!

— Что так, чумак? С братом негаразд какой?

Тяжелый вздох. Гринь отвел глаза, губы дернулись.

— И с братом...

Переспрашивать я не стал. Странного братца послал Святой, благословен Он, чумаку! Чуть больше недели он тут, а уже гукает — говорить пытается. И растет — за день, как за десять. Баба, что кормить приставили, через день назад попросилась. Страшно!

Да, страшно. И странно. До сих пор имени у ребятенка нет. Пан Станислав крестить предлагал, попа из Минковки кликнуть, так Гринь не захотел — рано, мол. Ничего себе рано! Если так дальше пойдет, через месяц дите на коня сядет!

Вот и пойми этих гоев!

— Пан надворный сотник! Я... Не знаю, как и сказать...

Да, с парнем неладно. Много на него свалилось, да, видать, не все еще. Недаром говорят: пришла беда, отворяй ворота.

— Вы... Вы спасли меня, пан Юдка. Меня — и братика. Я за вас всю жизнь Бога молить буду!..

Внезапно я почувствовал стыд. Вэй, не моли за меня Свято-

го, благословен Он, хлопец! Не спас я тебя! И братика твоего не спас! Может, лучше бы вам двоим под камнями погибнуть — или с гулящим паном Рио в чужой Сосуд перелиться.

Странно, уже много лет я никого не жалел.

Разучился!

— Беда у меня, пан Юдка! Хату спалили, мамку из домовины выбросили, а теперь...

Слова давались ему с трудом, словно каждое — с гарматное ядро весом.

— Невеста у меня есть... была. Оксаной звать. Сговорились мы с ней, думал, сватов зашлю...

Так-так! Я начал понимать. Бедному жениться — ночь коротка! И то верно: какой гой девку за бесова пасынка отдаст!

Посмеяться бы — да не смешно.

— Никак замуж ее отдают? А, Гриня?!

Он кивнул, в глазах блеснули слезы.

— Отдают! За Касьяна, соседа нашего! Не любит она его, пан Юдка! Да только против отцовой воли не пойдешь, сами знаете.

Знаю ли я? Пожалуй. Матушка долго уговаривала отца бежать из Умани, пока еще можно было. Не уговорила — хоть и знала, что нас ждет. Упрям был отец мой, Иосиф бен-Шимон!

— Свадьба... Завтра играть решили. Последнее воскресенье масляной. Хотят до Великого Поста успеть.

Завтра? Выходит, сегодня шаббат! Вэй, совсем ты грешником стал, Иегуда бен-Иосиф! Сколько же мицв ты нарушил? И можно ли в шаббат посты проверять? Впрочем, в «Мишне» мудро сказано: если нельзя, но очень надо...

Да, не повезло хлопцу! Хотя, как поглядеть. Если договориться с паном Станиславом... Как раз сегодня утром велел он глупых поселян поторопить, чтоб не думали долго. Хотели с Калайденцов начать, но чем Гонтов Яр хуже? А Гринь пану Станиславу нужен, ох нужен! И как сторож при брате, и как верный пес, что любого по хозяйскому слову загрызет.

— Так-так, мой славный пан Григорий. Значит, ты ее любишь, и она не против... Осталось родителей уговорить.

Тяжелый вздох. Чумак отвернулся, рукой махнул.

— Да где тут уговорить, пан Юдка! И раньше не мог, а теперь уж...

Я оглянулся на замок. Не он ли мне мысль подсказал? Даже на стены эти серые смотреть неприятно. Пытался я веки прикрывать, гоня Тени прочь, но ничего не увидел — одна чернота.

— Уговаривать можно по-всякому. Когда словом, когда и шаблей.

Он вздрогнул, резко обернулся. Рука дернулась — словно и вправду за шаблюку схватилась.

— Или тебе, чумак, твоих соседей жалко? Славные соседи, что и говорить!

В его глазах вспыхнули волчьи огни. Вспыхнули — и погасли. Да, изменился парень!

— Нет, пан надворный сотник! Не жалко! Да только гвалт это.

— Еще какой! — усмехнулся я. — Запомнят надолго! И как вас с братом погубить хотели, и как матушку твою...

— Да...

Он помолчал, на щеках набухли желваки.

— Да! Пусть запомнят! Надолго запомнят! Когда... Когда поедем?

Ой, вэй! Не спеши, парень! Рано еще тебя в такие поездки направлять! Как и рано знать: не запомнят твои сельчане, что на свадьбу соберутся, нашу лихость. Некому будет помнить!

* * *

Горе городу кровей!

Горе!

Копыта били в промерзшую землю, и я еле сдерживался, чтобы не погнать чалого галопом. Холодный ветер в лицо, пар из конских ноздрей, турецкая шабля прижалась к бедру — ждет.

Дождется!

Скоро дождется!

Ради этих минут я живу. Ради этого я не умер тогда, на залитой дождем дороге рядом с отцом, с матерью, с братьями и сестрами. И теперь голос их крови звучит в каждом биении сердца, в каждом ударе копыт.

Это — мой час.

Мой!

«Поздно жалеть», — сказали мне Малахи, но я не жалею.

Горе городу кровей!

Горе Вавилону, убивающему мой народ!

Горе!

И пусть теперь они не ждут пощады от Иегуды бен-Иосифа, от маленького жидовского мальчика, которого не спешили прикончить, желая поиздеваться вволю.

Не спешили — и ошиблись.

Кони мчат, молчаливые хлопцы скалятся, предвкушая кровь, и веду их я, Юдка Душегубец, просивший Святого, благословен Он, о великом праве — праве Возмездия.

За мой народ, за мою семью.

За меня.

Горе городу кровей!

Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!

Я очнулся, вдохнул холодный воздух, потрепал коня по горячей холке. Спокойно, Юдка, спокойно, верный слуга доброго пана Мацапуры! Твой кровавый хлеб уже испечен. Остается лишь надломить — и вкусить до блаженной сытости.

Хлеб Стыда — то, что мы просим у Святого Его.

Но мне не стыдно.

* * *

...Мы выехали под вечер. В татарское платье переодеваться не стали — ни к чему. Прав пан Станислав, хватит прятаться! Все одно догадаются — если уже не поняли. Так даже лучше. Кто уцелеет — всем прочим расскажет, как плохо спорить с паном Мацапурой-Коложанским!

Давно, давно задумал это пан! В иных местах, где черкасы посговорчивее, все села давно записаны за такими, как пан Станислав. Только сосед нам попался больно непонятливый. Два раза пан Мацапура с сотником валковским говорил, предлагал села да поселян делить. Но вот уперся пан Логин, не захотел «вольности» рушить, словно гетьман Зиновий до сих пор в Чигирине правит. Уперся — на свою беду. Теперь он далеко, а мы здесь, и никто не остановит наших шабель!

Впрочем, села да хлопы — это забота пана Станислава. Мне нужно другое. Совсем другое!

Михал, мой десятник, предложил ехать напрямую, через Минковку и Копинцы, но я все же поостерегся. Минковка рядом с Валками, а встречаться слишком рано с панной Яриной и ее сиволапым воинством ни к чему. И не потому, что мы их боимся. Всему свое время. Сначала алеф, затем — бейт...

Впрочем, дорог много, а хлопцы не зря что ни день учатся выездке. И кони хороши! За каждого не золотом плачено — кровью.

Не скуп мой пан!

Позади — поле, заснеженное, голое; впереди холм, а за ним уже — Гонтов Яр. Проселками ехать трудно, зато никто не заметит, не предупредит селюков.

...В первые годы, после того как спала багровая пелена с глаз, я усомнился. Те, ради которых я воззвал к Святому, благословен Он, уже мертвы, и моя шабля упилась их грязной кровью. Не съеден ли мой хлеб, хлеб Мести? Ведь глупые посполитые в глухих селах даже не слыхали об Умани и о кровавом псе Зализняке!

Да, я усомнился. Усомнился, а потом понял.

Виноваты!

Они все виноваты — сыновья, внуки и правнуки убийц. Тех, кто истреблял мой народ. А их дети? Неужто они вырастут без

греха? Нет, мой путь не кончен! Всех! Всех до седьмого колена, как и велит Закон!

Тем более времени осталось мало.

Они уже встретились — Смерть, Двойник и Пленник.

Песчинки падают, и я не стану колебаться. Верно говорил Иешуа бен-Пандира: эти галилеяне не грешнее всех прочих, но и они погибнут — если не покаются. Но они не каются, значит, и мне не о чем жалеть!

— Пан сотник! Пан сотник! Куда теперь?

Ах да! Приехали! Вот он, Гонтов Яр!

Нужную хату нашли сразу — почти в самом центре, неподалеку от церкви. Я даже не стал смотреть на рисунок, сделанный Гринем Чумаком. Вот она — обычная хата, на соломенной стрехе лежит снег, окошки заиндевели...

Хата обычная, да возле нее не по-вечернему людно. С темнотой, как водится, посполитые прячутся и двери запирают — от лихих людей да от собственных страхов. Сегодня же на улице толпа. Сани, еще одни, в густых лошадиных гривах — пестрые ленты. Двери открыты, возле них дружки...

Значит, все верно — свадьба!

— С коней!

Я оглянулся — сердюки привычно перекрывали улицу, Михал расставлял хлопцев вокруг хаты. Нападать на нас некому, но и ворон ловить нельзя. Мало ли? А вдруг мой чувствительный пан Григорий в последний миг душу решил спасти и послал гонца к панне Ярине? Ничего, пусть! Рушницы наготове, да и шабли под рукой...

— Михал! Ждать здесь, никого не подпускать!

Я поправил шапку, стряхнул снег с плеча. Все-таки на свадьбу идем!

— Первый десяток — со мной!

Те, что толпились у дверей, сразу догадались — отбежали в сторону, пытаясь спрятаться в промозглой ночной темноте. Я усмехнулся — пусть! Кто-то должен остаться, чтобы поведать остальным...

Я обернулся, махнул рукой:

— Всех, кто выскочит, — рубить в пень! И найдите соломы...

— А девки, пан сотник? — послышался чей-то обиженный голос.

Вэй, кому что, а курци просо! Конечно, хлопцы рады развлечься, но задерживаться нельзя. Того и гляди, иные гости на свадьбу пожалуют.

— С собой захватим, — решил я. — Все одно привал делать. Михал, отберешь двух, посмазливей, для пана.

— Ну, это как водится!

Итак, сегодня в замке у моего славного пана будут новые гостьи. А заодно Гринь Чумак порадуется. Тоже доброе дело!

Я вынул шаблю и шагнул на порог. В лицо пахнуло теплом и запахом браги. На миг стало не по себе. Какими бы ни были те, что сейчас погибнут, они все-таки люди, созданья Б-жьи! И свадьба — Б-жье дело!

Но тут вспомнилось.

Нет, не вспомнилось!

Я никогда этого не забывал!

Никогда!

...Рахиль, старшая сестра, высокая, черноглазая, первая красавица в семье. У нее тоже должна была быть свадьба — всего через неделю. И жених славный — Лев Акаем, отцов ученик. Добрый парень, он как раз из Кракова вернулся, хотел стать меламедом в нашем хедере.

Его зарубили на глазах у сестры. А ее насиловали — долго, целой толпой. Сначала она кричала, потом затихла...

Я поправил шапку и горько усмехнулся.

Горе вам, дщери Вавилонские!

* * *

Девка плясала на снегу — голая, в одном венке с яркими лентами. На шее звенело монисто с тяжелыми дукатами, босые ноги проваливались в снег.

— Давай, давай, сучонка! Пока пляшешь — жива будешь!

Хлопцы разошлись не на шутку. Кто-то свистел в такт, кто-то об заклад бился — долго ли еще пропляшет. Остальные ее подруги лежали рядом — нагие, бесстыдно раскинув ноги. Им уже не плясать.

Я отвернулся. Иногда самому становится тошно. Но делать нечего — вырастил волков. В ушах до сих пор стоял вой, отчаянный вой сгоравших заживо. И дух — знакомый дух горящей плоти.

— Жги, жги, стерва! Пан сотник, может, с собой возьмем? Крепкая, одной на всех хватит!

Я не удержался — обернулся. Девка (кажется, подруга невесты, не упомню уже) не кричала, не выла — тоненько повизгивала. В глазах не было ничего — даже страха. Но она продолжала плясать, истово, не останавливаясь ни на миг. Да, жажда жизни сильнее всего — боли, страха, стыда. Даже сейчас, избитая, опозоренная, она все еще хочет жить...

А красивая девка!

Жалко?

Нет, не жалко. И брать с собой ее нельзя. Пану она — такая — уже не нужна, в маёнтке посторонним не место.

Ну что ж... Кони отдохнули, пора и домой. Но сначала...

— Михал!

Хлопец подбежал, широко ухмыляясь. В руке звенело монисто — такое же, как на девке, с тяжелыми старинными дукатами.

— Пан сотник?

— Невесту сюда! Оксану!

— Гы!

— И не «гы!» — оборвал я. — Обходиться вежливо! Понял?

Михал почесал затылок, но спорить, ясное дело, не стал.

— А вы, хлопцы, собирайтесь! И эту... Побыстрее!

Девка словно догадалась — пошатнулась, упала в снег, с трудом приподняла голову. Крик — хриплый, страшный.

— Пан сотник! А может, отпустим? Пусть бегит! Доберется — ее счастье!

Доберется! Десять верст — голой, по морозу!

— Быстрее! — повторил я и, не оглядываясь, пошел к лошадям. В уши вновь ударил крик — ударил, оборвался.

Все!

Отплясала!

У лошадей скучал постовой, не иначе, проклиная свой удел; неподалеку кулями лежали связанные гостьи. Эти еще поплясшут в замке, жаль, мы не увидим...

— Вот она, пан сотник!

Тогда, в хате, я не успел толком рассмотреть невесту. До того ли было? Теперь... Теперь смотреть на нее не хотелось. Девка как девка, только на голове не венок — очипок с завязанной лентой. Как раз завязывали, когда мы вошли.

— Ты Оксана? Невеста Гриня Кириченко?

Она не ответила. В глазах была пустота — такая же, как у той девки.

— Сомлела она, пан сотник!

Я пригляделся. Не сомлела — хуже. Ее вытащили из хаты прежде, чем мы взялись за шабли, но и того, что она видела, хватило.

— Да ничего, пан сотник! Чумак не в обиде будет!

Михал вновь ухмылялся. И вправду, забава — невесту из-под венца увезти! Невесту увезти, жениха под потолком на собственном кушаке подвесить...

Белые губы шевельнулись, в глазах промелькнуло что-то осмысленное, ясное.

— Ироды! Ироды...

Ее разум уходил — в темную глубину, в пропасть, откуда нет возврата. Да, не порадуется Гринь! И она не простит. Ведь там, в хате, вся ее родня осталась!..

— Отойдите! Все! На двадцать шагов! Живо!

Хлопцы удивленно переглянулись, Михал хмыкнул. Нетерпеливо заржали кони — застоялись, пора ехать...

Я подождал, прикрыл веки.

Прочь, Тени!

Теперь перед глазами была белизна и неясный размытый силуэт с темным пятном возле сердца.

Ее душа — и ее безумие.

Страх можно прогнать, но это не страх, это хуже. Значит, обычные средства не годятся. Остается одно — Имя Тосефет, Великое Добавление. Клочья чужой души прогонят безумие, станут частью ее самой...

Да, станут. И больше не будет Оксаны, Чумаковой невесты. Будет кто-то другой... и Оксана.

Теперь — не спутать, правильно подобрать слова. Когда-то раввин Лев из Праги пошутил: наклеил бумажку с Именем на обычную глиняную кадку — и получил голема. И мой хозяин тоже пошутил — сотворил пана Пшеключицкого. До сих пор не знаю из чего — из кадки, из бревна или из свежего трупа. Удобно — за креслом стоит и золота не просит!

Пора!

Слова проступали на белизне — угловатые черные буквы. Справа налево, одна за другой. Чернота исчезала, сменяясь серостью. Словно кокон охватывал душу.

Есть!

Теперь последнее, но очень важное.

Я открыл глаза. Белизна исчезла, исчезли черные буквы. Передо мной стояла кукла — живой голем с пустыми глазами. Нижняя губа отвисла, в уголке рта скопилась слюна...

— Панночка Оксана!

В глазах что-то блеснуло. Она вспомнила свое имя.

Пока — только имя...

— Ты — Оксана, невеста Гриня Чумака. Ты его очень любишь. Скоро твоя свадьба. Поняла? Если поняла — кивни!

Голова дернулась — деревянно, мертво; и я вновь вспомнил пана Пшеключицкого. Такое и пан Станислав может. Но что толку от голема?

— Пани Оксана! Сейчас я досчитаю до трех, и ты проснешься — веселой, радостной. Скоро ты встретишься с женихом, но слушаться будешь только меня. Поняла? Если поняла — кивни.

Голова снова дернулась. Посмотрел бы сейчас пан Григорий на свою невесту!

Теперь — последняя часть Имени. Та, что неведома пану Мацапуре. Его надо читать, глядя прямо в глаза. В пустые, широко раскрытые глаза новорожденного ребенка.

— А теперь... Один... Два...

— Где? Где я?

Голос звучал растерянно, но в нем не было страха. Я улыбнулся, любуясь делом рук своих. Та, что была Оксаной, снова стала ею. Почти прежней...

— Гратулюю вас, пани Оксана! Меня зовут Юдка, я — друг вашего жениха...

Она неуверенно улыбнулась, поглядела вокруг. Удивленно, не узнавая.

— Вечер добрый, пан Юдка! А где Гринь? Я хочу к нему!..

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

— Панна сотникова! Панна сотникова! Гвалт!

Этого хлопца она не знала. Маленький, ушастый, мохнатая шапка на нос налезла, шаблюка по снегу волочится. Ну и воин!

— Гвалт!

Этого еще не хватало! Весь день в седле, устала, коня заморила, думала, хоть в Валках спокойно...

— Гвалт, панна сотникова! Крамольника бьют!

Ярина вначале не поняла — какого еще крамольника? Но тут же вспомнила.

Лекаришка!

— И где ж его бьют, хлопче?

За что, спрашивать не стала. Валковчане — народ справедливый. Коль бьют, так за дело.

Парень моргнул и внезапно ухмыльнулся.

— А у Павки Гончара! За углом, тут близко.

Девушка вздохнула, провела рукой по лицу. Такой тяжелый день, а тут еще и гвалт!

— А без меня не разберетесь?

По довольному лицу недоростка поняла — не разберутся. Точнее, разберутся в лучшем виде — с паном Крамольником.

— Ладно!

Где живет Павка Гончар, она знала. Да и не Павка он — давным-давно Павло Севастьяныч, и сынов у него двое, у каждого — кулаки с добрый гарбуз. Уж если они бить начали!..

Толпа оказалась небольшой — всего с три десятка. И парни, и молодицы, и детишки. Стояли кружком — смотрели.

Было на что.

На снегу лежала попона — старая, в дырках; рядом валялись синие шаровары с кушаком в придачу и смушковая шапка. Хозяин всего этого добра находился здесь же — на попоне.

Без штанов.

В такой холодный вечер можно и замерзнуть, на попоне средь улицы лежа, а посему пана лекаря дружно грели.

В две руки.

Канчуками.

Добрыми кожаными канчуками.

Ярина невольно поежилась. Ох и славная вещь — кожаные канчуки! От одного свиста душа в пятки уходит!

— Двадцать пять! Двадцать шесть! — вопили в толпе. — Гуще! Гуще пригощай! По филеям его!

С попоны доносилось сдавленное подвывание. Голые ноги дергались в такт «угощению».

— Двадцать семь! Двадцать восемь!

Ярина почесала кончик носа. Важно пана лекаря лечат! Никакая застуда не возьмет! Вмешаться? Или обождать, пока до полсотни дойдет?

— Тридцать пять! Тридцать шесть!.. Гуще, гуще!

Доброхотов услыхали. Поровшие — сам Павка Гончар и его сын — переглянулись; и над улицей пронесся дикий вопль.

— Тридцать семь! — подытожил кто-то. — А добре парят, аж завидно!

— Хватит! Хватит, говорю!

Ярина подъехала поближе, соскочила с коня. Ее узнали — парни поспешили снять шапки, и даже Павка Гончар остановил поднятую в полном размахе руку.

— И чего это вы, добрые люди, творите? Или порядка не знаете?

Павка Гончар сплюнул, хотел ответить, но его опередили.

— А где ж такой порядок был, чтоб девок с пути сбивать?! Мало ему, сквернавцу-нехристю! Что смотрите, мужики? Поддайте ему, да так, чтоб навеки запомнил!

Толстая широкоплечая бабища — руки в боки, очипок на ухо съехал — выступила вперед, сверкнула карими глазами-вишнями.

Так-так! Ярина невольно усмехнулась. Тетка Гончариха! Ну, сейчас будет!

— И ты, панна Ярина, рассуди! Доченька у нас одна, родимая, как яечко пасхальное! А он, нехристь поганый...

«Нехристь поганый» между тем, сообразив, что канчуки откладываются, встал на четвереньки, потянулся за штанами...

— А ну лежи! — Тетка Гончариха грозно обернулась к бедолаге Крамольнику, ткнула деревянным «котом» в бок. — Пока сотни горячих не получишь, не отпустим! Сначала — сотню горячих, а потом к попу, икону целовать!

Похоже, лекарь попался — завяз по самые уши. Ярина хотела переспросить, но не тут-то было.

— Рятуйте, люди добрые! Ох, рятуйте! И чего ж это он, нехристь, удумал-то? Ох, дитятко мое, дитятко! Ох, да чего ж теперь будет?

Из хаты выглянуло «дитятко» — рябая пышногрудая девка в кожухе поверх рубахи, заплаканная, с распухшими губами.

— Пошла в хату, бесстыдница, бессоромница! — грянула Гончариха. — На лавку ложись да юбку задирай — сама тебя сечь буду, сквернавку! Рук не пожалею! А устану, всех соседей позову!

«Дитятко» исчезло. Между тем упомянутые соседи в дюжину голосов принялись пояснять «панне сотниковой», как дело было. Застукали их, лекаря да девку, на сеновале, причем с первого же взгляда на рубаху Гончаровой дочки ясно стало, что опоздали...

Крамольник все же изловчился — натянул шаровары и попытался нырнуть в толпу. Но его схватили, толкнули обратно.

На пана лекаря было жалко смотреть. Ярина не выдержала — отвернулась. Польстился кот на сметану! И была б еще сметана добрая!..

— Вот что, Ярина Логиновна! — Павка Гончар снял шапку, с достоинством поклонился. — Сечь его, сквернавца, так и быть, не станем боле, а отпустить — не отпустим. Сперва к батюшке сведем, к отцу Нифонту — окрестим бусурмана. А после пусть икону целует, что на моей Гапке женится. Вот Пост Великий пройдет, так на Красную Горку и окрутим. Пусть он, бессоромник, грех покрывает!

Девушка вздохнула. Оно и не поспоришь, в своем праве Гончар. Канчуки что, могли и за дубье взяться!

Сзади послышался топот. Подлетел Агмет на вороном иноходце, вихрем спрыгнул с коня.

— Ханум-хозяйка! Зачем без меня ходи? Зачем от Агмета убегай?

— Агметка! Иди сюда, Агметка! — радостно отозвались из толпы. — Давай камчу, камчой сподручней будет!

* * *

Хведир оказался на месте — в зале, за отцовым столом. Ярко горела немецкая лампа. Бурсак чуть сгорбился, водя пером по листу толстой тетради. Пан Рио пристроился рядом, что-то негромко поясняя.

Девушка лишь покачала головой. Ну, нашел Фома Ерему! Один сказки рассказывает, другой — записывает. Ровно дети!

— Ярина! — Парень вскочил, поспешно захлопнул тетрадь. — А мы тут...

— Вижу...

Шапка упала на лавку, темные волосы рассыпались по плечам. Ярина вздохнула — косу заплести, и то времени нет!

— В Полтаву отписал ли, пан писарь?

— Еще утром, — с готовностью отозвался Хведир. — С нарочным послал и коня ему доброго дал... Думал сам ехать, так ты ж, панна-сотник, не велишь!

— Хорошо...

Ярина не без труда расстегнула кожушанку, попыталась снять. Замерзшие руки не слушались. Пан Рио подскочил, помог.

— То спасибо...

Девушка подошла к очагу, протянула руки, поморщилась.

— А вы бы, пан Рио, чем байки всякие пану писарю сотенному рассказывать, за паном Крамольником бы смотрели! Или в земле вашей каждому гулене девок портить вольно?

Странное дело: пан Рио смутился — впервые за все их знакомство.

— Я... Я ему скажу, госпожа Ирина! Рам... То есть господин к'Рамоль и вправду иногда позволяет себе...

Ярина не удержалась — хмыкнула. Вспомнилась грозная тетка Гончариха. С такой свекрухой не разгуляешься!

— Вы б с ним поговорили, пан Рио! Утешили бы! Агмет вас отведет.

— Гм-м...

Рио задумался, вздохнул — не иначе, о чем-то догадался. Девушка подождала, пока за гостем закроется дверь, и повернулась к Хведиру:

— Ну так какую сказку рассказали пану Теодору сегодня?

Бурсак смутился — не хуже пана Рио, но мигом принял серьезный вид.

— Отнюдь не сказку, Ярина Логиновна, но предание давнее земли своей. И не весь день сим мы заняты, но токмо час, не боле. Днем же вовсе мы не безделью предавались. Показал я пану Рио, како из фузеи стрелять, дабы мог он врага оружно встретить...

Ярина только моргнула. Это же надо! Бурсак в окулярах учит «доблестного героя» рушницей владеть!

— И... как?

— Как и должно, — парень важно кивнул. — Пан Рио попал, я же — нет. Сейчас же, ради времени вечернего, рассказал он мне дивную повесть про злокозненных супостатов, Приживниками именуемых. Той супостат, Приживник который, сугубо к людской природе прилепляется и оную природу своей замещает...

— Вроде беса? — Девушка хмыкнула. — Эх, пан бурсак!

Хведир-Теодор только усмехнулся:

— Так фольклор же! Запишу, пусть пан Гримм порадуется... Устала, Яринка?

— Устала...

Девушка опустилась в кресло, прикрыла глаза. Хведир неуверенно потоптался на месте, шагнул к ней, осторожно погладил по плечу.

— Ну, ты чего? Ну, отдохни!

— Гонтов Яр пожгли... — Ярина сцепила зубы, мотнула головой. — Два десятка насмерть побили, а девок в лес увезли. Сегодня утром нашли — сгвалтованные, мертвые...

— Знаю...

— Знаешь? А что молчат — знаешь? Спрашиваю: кто сотворил?! — глаза отводят. Будто и не их сельчан побили да живьем пожгли! Мать, у которой дочек увезли, — седая, за ночь старухой стала...

Ярина устало прикрыла веки. Отец говорил: на войне страшно. Могла ли она подумать еще месяц назад, что доведется такое увидеть. И не в чужом краю — дома.

— Подкоморник один приезжал, — Хведир оглянулся, заговорил шепотом. — Из Мерлы. Туда снова Мацапуровы сердюки наведались. Говорят, пишитесь в крепость к пану нашему, он и защитит. А не запишетесь — все пропадете. И в Калайденцах они были, и в Циркунах. В Циркунах сход собирался, решили к пану Мацапуре под руку проситься...

Девушка кивнула. Широко пан Мацапура рот разевает! То выгон требовал, теперь же — село вместе с посполитыми!

— Значит, вот кто эти «татары»!

Ярина и раньше догадывалась, теперь же все ясно стало. Вот почему им подмоченный порох прислали! Сгорят Валки, погинут все, а потом, как из Полтавы наказной сотник приедет, Мацапура только руками разведет: не моя вина, я даже порох им прислал, от сердца оторвал. И что селяне молчат — тоже понятно. Татары далеко, а Дикий Пан — под боком.

— Батька снился, — Хведир вздохнул, ссутулился. — Черный весь, глаза неживые, страшные. Видать, не упокоился...

Девушка присела рядом, хотела что-то сказать, но слова не шли. Как утешить? Одно утешение — врага найти и кровью его умыться. Да разве достанешь пана Мацапуру!

— Батька, он... Он тебя сватать хотел, когда сотня вернется. За Мыколу.

— Твоего брата старшего?

— За него...

Девушка не удивилась — догадывалась. Умен был Лукьян Еноха! Нет сыновей у сотника Логина, а кому-то после смерти его доведется новым сотником стать. Впрочем, чтоб такое сообразить, ума особого не требуется.

Мыколу Ярина знала мало, хоть и росли рядом. Хлопец как хлопец: черноусый, веселый. И черкас справный.

— За Мыколу, значит? А ты?

Сказала — и укусила себя за язык. И не просто — до боли.

— Я? — Парень невесело усмехнулся. — Мне, Яринка, попадью вдовую найдут. Вот и весь сказ.

Девушка искоса поглядела на Хведира. Да, всем хорош хло-

пец — но не черкас. Стукнул бы кулаком по столу, чтоб с притолоки щепки посыпались!.. Хотя... О чем это она? Может, у пана бурсака и в мыслях ничего такого нет?

Навыдумывала, дуреха, навоображала!

Ярина встала, отвернулась, взглянула в темное окно. И вправду, хватит о глупостях! Не для того ее сотником кликнули!

— Ездила сегодня, смотрела... Не знаю, что и делать. Слепые мы, Хведир! Мацапура каждый час налететь может, а мы и не знаем, куда помощь слать.

Бурсак пожал плечами, снял окуляры, повертел здоровой рукой, снова пристроил на нос.

— То и пан Рио говорил. Надежду он имеет, что пани Сало весть подаст.

Ярина поморщилась. Странные дела творятся. Пан Рио тут из фузеи стрелять учится, а пани Сало, поговаривают, пана Станислава на постелях тешит-голубит. С чего это ей черкасам помогать? Другой у нее интерес. А может, и у пана Рио — другой? Приехал, чтоб Хвостика своего выручить. А как только тот на коня сесть сможет...

— Как думаешь, пан Рио не предаст?

— Он?!

Бурсак почесал стриженый затылок, поправил окуляры.

— Не такой он, Яринка! Он вроде лыцаря, а такие предавать не умеют...

Лыцарь! Девушка улыбнулась. А и вправду — лыцарь! В броне да еще с мечом. Дивный меч! Такой она только на картинках видала.

— ...Так я понял, обет у него — без службы не жить. Как у Дон Кишота. Помнишь книжку?

Ярина кивнула и невольно улыбнулась. Хорошо еще пан Рио с ветряками не воюет! То-то бы хлопоту было!

— И домой он попасть не может. Говорит, чародейство требуется. Вот Приживник этот... Думает пан Рио, что и в наших краях такой Приживник может обретаться. Оттого и...

— Хведир! Прекрати! — Маленький сапожок ударил об пол. — Все тебе байки да сказки!

— Кто ведает? — Бурсак усмехнулся. — Может, и сказки, а может, и тонкие материи, о коих учитель мой...

Ярина засопела от возмущения, но не выдержала — рассмеялась.

Что тут поделать? Фольклорист!

Скрипнула дверь. Вошел пан Рио, скинул шапку, головой покачал. Присел, снова головой мотнул.

Ярина отвернулась — чтоб улыбку не показать.

— Так что, пан лыцарь, не вы ли у пана Крамольника на свадьбе дружкой будете?

Сердюк — косая сажень в плечах, голубые глаза навыкат — вытянулся, щелкнул каблуками:

— То прошу, пан сотник! Ждут!

Каблуками греметь да фрунт показывать я его не учил. Не положено здесь спрашивать, кто и откуда, но сказывают, будто служил этот парень в гвардии самого прусского короля. Служил да сбег — прямиком к пану Станиславу.

Нашел куда бежать, дурень!

Я кивнул гвардейцу и открыл знакомую дверь. Если пан Мацапура уже здесь...

— Добрый день, пан Юдка!

Я оглянулся — в библиотеке было пусто. Откуда же...

— Я тут!

Пани Сале появилась из-за кресла, в руках — большая книга в переплете, обшитом бархатом.

— Пан Станислав обождать просил, скоро будет. Присаживайтесь, пан Юдка!

Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. Не знал бы, кто она, точно решил бы — княгиня! Жесты, улыбка... А как голову держит! То-то она пану Станиславу по душе пришлась! Это вам не сельская девка, что только воет от страха да о невинности потерянной плачет. Эта себя показать сможет.

Дама!

Говорят, пан Станислав ей уже ключи от дома доверяет. Не все, конечно, но все-таки...

— Нам с паном Станиславом может понадобиться ваш совет...

Ага! «Нам с паном Станиславом!» Вэй, быстро это она!

Хотелось спросить о важном, но стены, как известно, имеют уши. Особенно эти.

— И что пани читает?

Она молча протянула мне книгу. Я взглянул на открытый лист. Ага! Это даже не книга, это альбом. Странно, его я ни разу не видел.

Рисунки были хороши. Хоть и не велит Святой, благословен Он, изображать нас, Адамовых потомков, но хорошие портреты мне всегда нравились.

Как тот, что висит совсем рядом.

В альбоме, понятно, было не масло — акварель. Незнакомые лица, улицы, дома, морские волны...

Рука пани Сале осторожно прикоснулась к моей, пальцы перелистнули страницу.

Так-так!

Старый знакомый! Да не один!

Я поднял голову, сверяясь с картиной на стене. Хороший глаз у пани Сале! Сразу заметила! Да, это он, тот самый неведо-

мый пан, только не в испанском камзоле, а в рединготе и шляпе. И рядом...

Второй был мальчик — лет двенадцати. Тут и гадалка не нужна, чтобы понять — сын. И лицо, и глаза...

Подписи не было, но сбоку темнели маленькие, еле заметные буковки. Я всмотрелся: *«Paris»*.

Париж!

Жалко, что ни года, ни имени. Но если на большом портрете — батюшка пана Станислава, то и здесь, конечно, он. А вот мальчик... Неужто сам пан Станислав?

Вэй, да зарежьте меня, глупого бестолкового жида, если это он!

Пани Сале поднесла пальчик к губам, закрыла альбом, отложила в сторону.

Значит, не один я что-то заметил!

Ладно!

Рискнуть?

Рискнуть!

Язык Исключения, наречие, неведомое ангелам...

— Успешны ли поиски ваши, госпожа? Нашли ли вы путь?

Она задумалась, поджала губы.

— Почти. В книге «Задея» описан один обряд. Его называют «Багряные Врата»...

Внезапно я почувствовал: воздух в комнате загустел. Не нужно даже гнать Тени, чтобы понять — нас подслушивают. Покинуть Рубеж для Малахов почти невозможно и сопряжено со страшным риском — но уловить отголосок вибраций, вникнуть, разобраться... Одно благо: слушают — и не понимают. Да, не все доступно даже Рубежным Малахам! Потому и сотворил Святой, благословен Он, смертного Адама...

— Это очень странный обряд — и очень страшный. В книге пишется, что он открывает дорогу в Шеол, но, по-моему, это и есть нелегальный путь через Рубеж к нам.

Я невольно усмехнулся. Чтобы попасть в Шеол, не нужны никакие обряды. Да и глупость все это — сказки для сапожников и портных. Шеола нет, как нет и Рая. Есть другое, совсем другое...

— Только... — пани Сале нахмурилась, качнула головой. — Там сказано, что для обряда нужна «чистая кровь». Господин Станислав считает, что это кровь детей. Он говорит, будто такая кровь нужна для всех обрядов, связанных с выходом за пределы этого Сосуда...

Точно, считает. Теми детьми, что в замок попали, можно целый пригород заселить. И не просто младени ему нужны! Лишь те, что совсем крохи, только от бабки-повитухи. А нас, жидов, еще обвиняют, будто мы замешиваем мацу на крови христианских младенцев!

— Я сделала большую глупость, господин Юдка. Когда мы переходили Рубеж, стража... Малахи едва не задержали господи-

на Рио. Я решила откупиться и отдала свой амулет — крючок, ловящий чужие заклинания. С ним было бы легче.

Двойника не хотели пропускать? Так-так, запомним! Выходит, Малахам не по душе лишняя душа! Значит, и мне через Рубеж не пробраться — обычным путем.

Обычным — но есть и другие.

— И вы решились, госпожа?

Пани Сале не ответила, и я понял — решилась.

Ее не страшат «Багряные Врата».

И кровь — тоже не страшит.

— Мой господин, кажется, собирается пойти с вами?

Она улыбнулась — легко, чуть снисходительно.

— Он очень любопытен, господин Станислав. И жаден. Но что он там сможет сделать — один? Даже если возьмет с собой своих воинов...

Я не стал возражать, хотя и мог. Сотня хлопцев с мушкетами в Сосуде, где не знают, что такое порох! Да и одному всегда есть что делать. Жизнь спасать, например. А ко всему еще — ребенок, Чумаков брат.

Пленник!

Не зря пану Рио велели его найти!

Послали его — а вернется с Пленником пан Мацапура-Коложанский. Вернется — и просто так не отдаст. А может, и вовсе отдавать не станет.

Умен пан Станислав! Чтобы отхватить руку, ему не нужен палец — хватит и тени пальца.

— А ваши друзья, госпожа?

Снова улыбка, такая же снисходительная. Понимай как знаешь: то ли обмануть пана Станислава задумала, то ли пана Рио тут оставить — черкасам на съедение.

А может, еще проще: велели ей *одной* вернуться — с ребенком.

Одной!

А что амулет свой отдала — не беда. Повернется пан Станислав к ней спиной в постели...

Вэй, я бы не повернулся!

Негромко хлопнула дверь.

Он!

Вставать не стал — чтобы пан Мацапура лишнего не заподозрил. Ничего плохого: сидит пан надворный сотник, гостью разговором занимает.

А что Малахи разговоры подслушивают и зубами скрипят (если Святой, благословен Он, даровал им зубы, конечно), то моему пану не увидеть.

— Гу-у! Гу-гу!

Все-таки я вскочил — от неожиданности. Что значит «Гу-гу»?

— Гу-гу! Да... Да!.. Дай!

Топот крохотных ножек. Кто-то маленький, в коротком ба-

лахончике, косолапо пробежал по комнате, остановился у столика.

— Дай! Дай!

«Дай!» явно относилось к вееру. Сколько тут бывал, этот веер все время лежал на одном и том же месте. И никто, кроме пана Станислава, уже не скажет, откуда он взялся — легкий, изящный, с бабочками, летящими по тонким бамбуковым пластинкам.

— Дай!

Маленькая ручка потянулась вперед — и опустилась, не достав. Маленькая детская рука — с четырьмя пальцами.

Пленник!

Да, плохо быть жидом — даже не перекрестишься! Ведь этому мальцу и месяца от роду нет!

— Дай!

Взгляд нечеловеческих — от висков к переносице — глаз обжег, словно на меня взглянуло Пламя Эйн-Софа.

Взрослые глаза.

Страшные.

И лицо... Не бывает у детей таких лиц!

Послышался знакомый смех. Пан Станислав шагнул к столику, протянул веер.

— Держи!

Ребенок довольно засопел, прижал добычу к груди.

— Гу-у! Гу-гу!

И вновь я почувствовал страх. Брат Гриня Чумака не гугукал, как несмышленый младенец. Он говорил, пытался сказать, но не мог.

Пока что — не мог.

— Прошу прощения, пани и панове! Этот маленький пан меня слегка задержал.

Пан Станислав улыбался, на пухлых щеках обозначились знакомые ямочки. Ни дать ни взять добрый дед, радующийся внуку-первенцу.

Интересно, когда он «чистую кровь» по углам пентаграммы льет, тоже так улыбается?

— Этот маленький пан очень любопытен. А ну-ка, подойди к пану Юдке! Можешь подергать его за бороду, он не обидится!

Мне бы посмеяться. Во-первых, шутит пан Станислав. Во-вторых, почему бы и не подергать пана Юдку за бороду?

Посмеяться бы — но я даже не улыбнулся.

Он понял!

Ребенок, видевший меня пару раз за всю свою жизнь (вэй, тоже мне жизнь, месяц всего!) — понял!

Простучали маленькие ножки. Пленник подбежал ко мне, чудные глаза смотрели твердо, не мигая.

Сдерживая страх, я наклонился, дернул губы улыбкой.

Вот она, борода, хватай!

Ручонка протянулась вперед. Уже другая, не с четырьмя пальцами — с шестью.

Я стиснул зубы.

Святой, благословен Ты! Не допусти!

Шестипалая ручка застыла, медленно опустилась.

— Гу-у! Гу!

Он что-то требовал. Чудные глаза взглянули в упор.

И сразу исчезли Тени...

Я был тут, я никуда не делся.

Но это был уже не я...

Кто-то другой сидел в старом тяжелом кресле.

Нет! Не сидел!

Стоял!

Вокруг был незнакомый сад, чужие лица — и только запах гари, такой привычный, был знакомым.

Дом пылал, пылал сад...

...Магнолии горели неохотно.

Дом, в полотнищах черного дыма, не желал сдаваться. Все эти старинные гобелены, посуда из серебра и фарфора, все эти ткани и резное дерево, дубовые балки и расписная известь потолков — все это сопротивлялось огню, как умело, и розовый мрамор садовых статуй давно уже сделался черным от копоти.

На коробку с коллекцией шлифованных линз наступили сапогом.

Собаку убили. Кошки разбежались. Улетела ручная сова, а белые мыши так и остались в доме.

Поперек усыпанной гравием дорожки лежит грузное тело тети. А там — дальше — бабушка, а няню куда-то волокут, выкручивая тонкие, в медных браслетах, руки.

И за сотни верст вокруг нет ни одного мужчины.

Ни одного; только потные гиены в стальных рубахах, несколько женщин, уже мертвых или все еще обреченных, горящие магнолии — и я, задумавший обороняться шелковым сачком для ловли бабочек.

Обо мне вспомнили. Сразу несколько рыл обернулось в мою сторону, в редких бородах блеснули белые зубы. Кто-то, временно оставив награбленное, двинулся ко мне — как бы небрежно, как бы привычно, как бы мимоходом, потому что всего и дела-то, что сгрести за шиворот обомлевшего от страха мальчишку, щенка, не сумевшего спасти даже свою белую мышку.

А тетя лежит поперек дорожки и уже ничего не видит. И бабушке все равно. А няня...

Белый платан за моей спиной устал бороться и вспыхнул снизу доверху, будто облитый маслом. Вместе с дуплом, вместе с гнездом болотницы, вместе с муравейником...

Я знал, что не могу отменить случившееся, — и знал, что ос-

тавить все как есть тоже не сумею. Зачем я здесь, кто я такой, если не сумел защитить свой дом, свою бабушку, няню, тетю?..

Я отступил на шаг. Еще на шаг. Шелковый сачок в руках дрожал. Гиены ухмылялись, но я боялся не их.

Я ненавидел себя. Я стыдился себя, слабого; я пожелал, сам до конца не осознавая своего желания. Изо всех сил пожелал...

И шагнул в костер.

Вспыхнули волосы, боль впилась в щеки, в кончики пальцев.

Я дернулся, пытаясь вырваться, вынырнуть из страшного видения.

Рванулся...

— Пан Юдка? Да что с вами?

Лицо пани Сале было рядом — встревоженное, слегка растерянное.

— Сейчас! Тут у меня нюхательная соль...

Вот уж не думал, что в библиотеке пана Станислава есть нюхательная соль! Откуда?

Я глубоко вздохнул, прогоняя остатки кошмара.

Чужого кошмара.

Чужого — но такого знакомого.

Встал, улыбнулся, поправил сбившуюся на ухо кипу.

— То я прошу прощенья у моцного пана и сиятельной пани...

— Это я у тебя прошу прощения, пан Юдка! — Пан Станислав улыбнулся, хлопнул по плечу. — Да не вставай ты! Эх, мой грех, загонял я тебя! Ни дня субботнего не чту, ни дня воскресного...

Пан Станислав качал головой, усмехался дружески, но я уже не верил — ни его улыбке, ни добрым словам.

Я оглянулся — Пленник исчез.

Ясно...

Пан Мацапура продолжал улыбаться, что-то твердить о том, как вредно три ночи подряд не спать, но я не слушал. Умен мой пан! Наверное, так и было: взглянул он в глаза Пленнику, то ли случайно, то ли заподозрив что — и провалился в пропасть.

В *чужую* пропасть.

В бездны чьей-то памяти.

Да, пан Мацапура умен! Не испугался (а может, испугался, да себя преодолел) — и проверить решил.

На мне.

На своем верном псе Юдке.

Так-так...

Интересно, что моему пану привиделось? Нет! Не привиделось!

Что *он* заставил моего пана увидеть?

Кто же ты, Пленник?

* * *

Нюхать соль я отказался и от стопки знакомой гданьской вудки — тоже. Пан Станислав не настаивал. Мы присели к столику, на скатерть легла толстая книга с позеленевшими медными застежками переплета.

Я узнал — книга «Задея».

Так-так...

Для того и собрались. Пан Станислав и тут верно рассудил. Пани Сале в своем Сосуде некромант не из последних. И сам пан Мацапура не один год такие книги почитывает. Ну и я, глупый Юдка...

Слушать о «Багряных Вратах» было неприятно. Читать — тоже. А смотреть на рисунки — тем более. И не только из-за «чистой крови». Я не брезглив; тем более людей, кто попадет в замок, все равно не спасти. Говорят (говорили — прежде), что такой кровью пан иногда ноги парит.

От боли в суставах.

Может, врут?

Другое не нравилось. «Багряные Врата» — все равно что топор в руках ювелира. Или портного. Вместо тонкой работы — удар сплеча.

Хотя...

Я вновь перечитал затейливую вязь скорописи, проглядел густую киноварь рисунков. Три круга: глумленье, Имена и кровь. И дорога — тоже из крови. Грубо! Очень грубо!

Но кто знает?

Обнадеживать не стал Может, и выйдет. Хвала Святому, благословен Он, мне *таким* заниматься не приходится!

И не придется.

Пани Сале принялась что-то рассказывать о настоящих Воротах — о тех, которые стерегут Малахи, — но я не стал слушать.

Захотят рискнуть — пусть!

Я им не спутник.

Другое сводило с ума, не давало покоя.

Пленник!

Чего он хотел от меня? Помощи? Или просто угрожал? Или?..

* * *

Дверь хлопнула, пан Станислав откинулся на спинку кресла, улыбнулся.

— Тебе и вправду надо отдохнуть, пан Юдка! Завтра поспи, а послезавтра работа будет.

Я плечами пожал. Впервые, что ли?

Мацапура поглядел на дверь, за которой скрылась пани Сале, и внезапно подмигнул:

— Хитра баба! А ведь врет! Чую — врет! И ты, пан Юдка, врешь!

Он понял. Да и мудрено не понять! Пани Сале все-таки баба — увлеклась и сболтнула о Рубеже то, о чем лучше молчать.

— Значит, эти твои Малахи некоторых задарма пропускают?

Да, кое-что пан Станислав сообразил. Но не все. О том, что перед ним — консул Рубежа, он все-таки не догадался.

— Ладно, после поговорим... А теперь о деле. Пора с Валками кончать. И побыстрее!

Я кивнул, вспомнив худую некрасивую девочку, ладно сидевшую в седле. Моя Смерть... Можно ли покончить со Смертью?

— Утром гонец прискакал — Циркуны согласны под мою руку пойти. И Мерла тоже...

— Поздравляю зацного пана!

Он дернул щекой, огромная ладонь рассекла воздух.

— С чем? Два села — разве того мы хотели? Проклятые селюки! В норы забились да поглядывают, кто верх возьмет! А из Полтавы, того и гляди, наказной сотник приедет. Полковник там не дурак — знает, как таляры звенят, но и он тянуть долго не сможет.

Я задумался. Легко пану приказывать!

— Валки с налету не взять, — осторожно начал я. — И Минковку не взять. Да это зацному пану и не нужно. Черкасов там нет, все на панне Загаржецкой держится...

— Верно! — Пан Станислав хохотнул. — Ты, пан Юдка, мне ее живой привези! Прежде чем шкуру содрать, я хочу знать, чем ее кожа пахнет!

Перед глазами вновь встало ее лицо — плосконосое, некрасивое. И глаза — темные, как ночь. Как та ночь, когда встретились все трое — Смерть, Пленник и Двойник.

Двойник!

Мальчишка показал мне!..

— Что молчишь, пан Юдка?

Я заставил себя улыбнуться.

— Пану нужна панна Загаржецка? Он ее получит. Да только она зацного пана ласкать не станет.

Он захохотал — громко, до слез. Затем махнул широкой ладонью:

— Ну ты и скажешь! Нагайки или железа каленого испробует — враз захочет. А нет — руки свяжу да рот заткну. Не в том дело!

Да, не в том. Мне не пережить свою Смерть. Значит? Значит, вот он, мой час?

Страшно, глупый Юдка?

— Пан Станислав сказал «послезавтра», — я встал, взглянул ему прямо в глаза. — Значит, будет послезавтра. Пан меня знает.

Он хотел что-то сказать, но осекся. Да, он меня знает. Иегуда

бен-Иосиф выполнит панскую волю. И не потому, что я предан ему — зацному пану Станиславу Мацапуре-Коложанскому, бешеному псу, парящему ноги в теплой крови. Просто от судьбы не уйдешь, а долги надо платить.

Моя Судьба рядом — протяни руку.

И я протягиваю.

Но сначала...

* * *

...А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом, и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Г-да Саваофа, Б-га воинств Израильских...

Средний треугольник — Гевура, Теферэт, Хесед.

Гевура — созвездие Шор, могучий Телец.

Теферэт — Кешет, Стрелец-из-лука.

Хесед — Мознаим, Весы Б-жьи...

Неярко горит семисвечник, белые линии на деревянном полу проступают четко, вбирая священный огонь и отдавая свет обратно.

Желание Отдавать — то, чем озаботился Святой, благословен Он, сотворив мир из самого Себя.

Нижний треугольник — Год, Йесод, Нецах...

Я не тороплюсь. Время тоже послушно, его можно сжать, можно развернуть, как ночное небо.

...А Давид отвечал Филистимлянину...

Маген Давид — Щит Давидов, великий образ Творения, путь к Двейкут — Единению. Шесть лучей — шесть дорог...

Год — созвездие Арье, гривастый Лев.

Йесод — Бетула, небесная Дева.

Нецах — Г'ди, лобастый Козерог.

Линии замкнулись, и свет, до того сдерживаемый, наполнил комнату. Не огонь светильника — пламя Сфирот, отблеск Вечного Пламени.

Шесть лучей, шесть созвездий, шесть пророков. Теперь вы со мной, Ицхак, Иаков, Авраам, Моше, Йосеф и Аарон!

И Ты, Б-г отцов моих, вспомни обо мне!

Пора!

Я ступил на самую середину, в Крепость Малхут, в средоточье Давидово, сияющее под пламенем Творца. Космос раскинулся вокруг — бесконечные слои сфир. От Мира Малхут — сфиры Действия до Мира Кетер — Великой Короны.

И Космос объял меня.

Я прикрыл веки — обычное зрение уже не служило мне. Тени сгинули, и я узрел блистающую белизну. Мир ждал моего слова, и на миг душу объяла гордыня, невероятная, безмерная, как море, в котором до поры затаился Левиафан.

Я МОГУ ВСЕ!

ВСЕ!

Я, маленький мальчишка из Умани, я, Иегуда бен-Иосиф...

* * *

Очнулся...

Глубоко вздохнул, заставил себя вынырнуть из Бездны Левиафановой.

Святой, благословен Ты, прости меня, грешного!

Мне не нужно пламя сфир, не нужно служение ангелов. Мой час близок, а мне еще так много надо узнать! Когда я впервые открыл великую книгу «Зогар», то вознамерился уподобиться самому Шимону бар-Йохаю, да пребудет мир с ним, знавшему все о Тверди и о Небесах. Но я не смог узнать все даже о самом себе — и, наверное, уже не успею.

Мой час близок, и дорога стелется под ноги.

Пора!

Я поднял руку, сосредоточиваясь, представляя того, кто должен прийти ко мне.

Двойник!

К твоей душе взываю я!

Приди!

Белизна дрогнула, поползла пятнами. Меня услышали — и множество душ откликнулось на зов. Но мне нужна одна — душа того, кто так схож со мной. Двойник! Именем и Силою Божьей заклинаю тебя!

Откликнись!

Откликнись... Откликнись... Откликнись...

Невидимый ветер сфир унес чужие души, и вот сквозь белое свечение проступило неровное пятно. Я замер. Пятно, похожее на кокон; внутри, за полупрозрачной пеленой, темная сердцевина, словно косточка в спелой вишне.

Я не ошибся.

Он!

— Я... Я здесь...

Голос не слышен — слова проступают сами собой, неспешно, тяжело.

— Кто ты и зачем меня позвал?

Представиться, назвать себя? Нет, рано!

— Я тот, кто знает о горящем доме, о маленьком мальчике, который не смог вынести своей слабости и воззвал к Неведомому, прося о Силе...

Интересно, видит он меня? Наверное, нет. Сейчас ночь, Двойник спит, и только душа его...

— К кому ты обращаешься? К мальчику — или ко мне?

Да, я не ошибся: в его душе, как в скорлупе, заперта другая — душа маленького мальчика из горящего сада.

— К тебе. Я хочу получить ответы...

— Зачем?

Внезапно мне показалось: я слышу голос старца. Усталого от жизни старика, которому все равно. А ведь Двойник молод, вдвое младше меня!

— Я скоро уйду. Смерть, Двойник и Пленник уже встретились. Но я не хочу исчезнуть, не вкусив последнего Хлеба Стыда...

Молчание... Белый кокон чуть заметно колеблется под невидимым ветром.

— О чем ты? Не понимаю.

Да, конечно! Я попытался говорить с ним на языке, неведомом в его Сосуде. К тому же он молод, а только с годами приходит мудрость.

— Двойник — это ты, чья душа столь сходна с моей. Смерть — девушка, которую ты знаешь. А Пленник... О нем я и хочу спросить. Кто он?

Снова молчание. Внезапно я пожалел об этом разговоре. Уже много лет я пытаюсь разобраться в себе. Чем мне поможет мальчишка, заживо сгоревший в пламени последней мольбы?

Чем я сам помогу себе?!

— Пленник... Ребенок, за которым меня послали?

— Да...

Вспомнились глаза — страшные, недетские глаза, способные ввергать душу в пучину чужой памяти. Я не верю в чертей, которых боятся глупые гои. Но в тот миг я был готов поверить даже в рогатых бесов.

— Князь выбрал меня, чтобы доставить ребенка в наш мир. Думаю, он — княжеский родич. Может быть, внук.

Я не поверил. Внук мелкого князька пересекает Рубеж, пронзая границы сфир?

— Но князь... Он не просто человек. И, может, не человек даже. Ты знаешь о духе, который может жить и в камне, и в людской плоти? Жить — а потом менять того, в чье тело вселился?

Я понял, что стою на берегу реки. Но на другую сторону не перебраться — поздно. Двойник узнал что-то важное, краешек тайны, неясной пока и ему самому.

— Ты услыхал, что хотел? Если да, то отпусти меня.

Он прав. Я открыл глаза, чтобы на миг отдохнуть от беспощадной белизны. Я ничего не узнал и уже не узнаю. Хлеб Стыда на сей раз не достался мне.

— Прости. Я побеспокоил тебя, Двойник. Уходи — и прощай!

Белесый кокон дрогнул. Пленная душа — черная косточка — подступила к самым краям, вновь сжалась.

— Я уйду. Но сначала ответь. Ты понял, что случилось с тобой — и со мной?

Он тоже любопытен. Как и я. Много лет хотелось понять — пока не открыл я первые страницы великой Книги.

— Хорошо! Слушай, Двойник! Не знаю, понятны будут ли тебе мои слова, но скажу, как вижу... Многие дети гибнут, моля Святого, благословен Он, о Мести и Силе. Многие — и от них остается только прах. Но ты и я родились не случайно. Каждый из нас нес на плечах бремя, еще непонятное нам, но важное для родного Сосуда...

— Да...

В его беззвучном голосе — боль. Я вновь вспомнил видение — беззащитный мальчик перед убийцами в стальных латах.

— Я — простой мальчишка из маленького городка. Не знаю, кем бы я стал, но отец надеялся, что я буду великим цадиком, учителем Торы и, может быть, продолжателем самого бар-Йохая, да пребудет с ним Б-жья благодать! Он говорил, что именно мне суждено разбудить Дремлющего Льва...

Я оборвал себя, заставив замолчать. Что этому пришельцу до моего народа, до его великой и страшной судьбы? Это — моя боль.

— Когда случилась беда, мне было двенадцать лет. Возраст, когда Зерно Души готово прорасти и заполнить Оболочку. И когда Смерть подступила ко мне, я воззвал — и меня услыхали. Зерно проросло, но не так, как задумывалось. Мне даровали другую Душу и другую Судьбу. Я просил о Мести — и мне было дано это право...

...Говорить дальше не было сил. Мокрая дорога, запах горящей плоти, веревки, впивающиеся в запястья...

— Мне тоже было двенадцать, — его голос звучал спокойно, но где-то в глубине по-прежнему звенела боль. — Я родился, чтобы сделать что-то важное. Что — не помню. Но мне было даровано другое — право побеждать. Побеждать — не даруя смерть...

Я невольно усмехнулся — горько, беззвучно. Вот даже как!

— Ты счастливей меня, Двойник! Мне даровали иное — пра-

во мстить, но не миловать. Я — Смерть и буду ею, пока моя Смерть не придет за мной.

Молчание. Белый кокон начал терять очертания, растворяться на сверкающем фоне. Двойник уходил, и мне незачем было его держать...

— Прощай! — прошептал я одними губами. — Да пошлет тебе Святой, благословен Он, покой, недоступный мне!..

* * *

Свечи гасли, белые линии на полу потемнели, становясь обычным рисунком. Космос исчез, осталась неровно начерченная шестилучевая звезда.

Все...

Я медленно опустился на колени, закрыл лицо руками. Что я узнал? Почти ничего. Путь, подсказанный мне Пленником, никуда не привел Жалко сил, потраченных впустую. Почему-то думалось, что Пленник и станет Кевалем — проводником в Сосуд, где я смогу разорвать страшную паутину своей судьбы.

Нет! Уже не смогу!

Перед глазами вновь встал горящий сад, горло запершило от жирного густого дыма. Кем ты должен был стать, Двойник? Великим ученым? Великим правителем?

Ты не стал — как и я.

Только у меня не было сада, не было дома с колоннами из розового мрамора. Маленькая хибарка на окраине Умани, вишневое дерево у входа, единственный лапсердак с заплатками на локтях, доставшийся от щедрого дяди Эли...

— ...Ваш сын станет великим учителем, уважаемый ребе Иосиф! Может быть, даже наставным равом в самом Кракове! Хотел бы я, чтобы мои великовозрастные балбесы понимали Тору хоть вполовину так же, как и он. А ведь вашему сыну, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, только двенадцать!..

...Да, мне было только двенадцать, когда проклятый Зализняк ворвался в Умань.

Отец не верил — и отказался бежать. А потом стало поздно. Мы успели выбраться из северных ворот, но только для того, чтобы наткнуться на очередную гайдамацкую ватагу, — люди Зализняка спешили в горящий, гибнущий город.

— ...Хлопцы! Глянь! Так то ж жиды! А ну, робы грязь!..

Отцу повезло — он упал сразу под ударами шабли. Повезло и матери — ее проткнули острой косой. И Лев Акаем, жених сест-

ренки старшей, погиб без мучений — бросился на врагов и упал бездыханным.

Нам повезло меньше — мне, сестрам, братьям.

Лея, младшая, умерла быстро — уже под третьим или четвертым ублюдком, терзавшим ее юное тело. А Рахиль жила долго — и все кричала, кричала... кричала.

Пока одни убивали сестер, другие разжигали костер. Дрова разгорались плохо, недавно прошел дождь...

— А ну, говорите, жидята, где ваш батька червонцы запрятал?..

Голые ноги — в костер...

Страшный дух горящей плоти.

И крик...

До сих пор он стоит в ушах, этот крик!

Сначала умер Ицык, младшенький, затем — Шлема...

Потом замолчала Рахиль — страшная, непохожая на себя. Кто-то взмахнул шаблей, поднял ее голову, насадил на пику. На меня взглянули широко раскрытые пустые глаза...

Веревки впивались в запястья. Я знал — смерть рядом. Но страх исчез, остались лишь ненависть — и жуткая, рвущая душу жажда Мести.

За мою семью. За мой народ. За себя.

Ухмыляющиеся рожи подступили ближе, кто-то плюнул в лицо.

— А вот и мы, жиденок! Ну, может, ты чего скажешь перед тем, как сдохнешь?

И тогда воззвал я к Небу, к низкому, покрытому тучами Небу.

К Нему!

К Б-гу Авраама, Ицхака и Иакова, к Г-ду народа моего.

...Темным пламенем вспыхнули веревки. Вспыхнули — упали. Рука рванулась вперед, вырывая чью-то шаблю...

— ...Твое желание услышано, Иегуда бен-Иосиф! Да будет так! И знай, что жалеть уже поздно! Ты станешь Смертью, Мстителем за свой народ, пока не встретятся Смерть, Двойник и Пленник. И да будет так!..

И вот они — встретились.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

В последние дни Ярина редко заходила в отцовский дом. Что там делать? Пусто, тихо, комнаты заперты, из всей прислуги — вечно сонная Глашка, которую никогда не застанешь на месте. Ночевать — и то страшновато, словно в детстве, когда из всех углов темной комнаты начинают лезть упыри с чертями, и Чер-

ная Рука над кроватью нависает. Особенно после страшных баек языкатого Хведира — уж он-то старался!

Но этим вечером довелось и залу открыть, и камчатой скатертью стол устелить. Глашка, так и не проснувшись до конца, выставила зеленую бутыль с рейнским, да филижанку с варенухой, да знаменитый мед, что был сварен еще покойной супругой сотника Логина.

И к этому — угощение, как водится. И зубцы, и путрю и борщ-квашу, и шулики. Есть чем брюхо потешить!

А все потому, что гости. Вернее, один гость — пан Рио.

Виделись они, понятно, каждый день, но Ярина обычай помнила. Раз она — наказной сотник, то тех, кого на службу берет, должно домой пригласить да угостить от души. А пан Рио — не обычный сердюк. И роду зацного, шляхетного, и прибыл издалека.

Девушка и пана Крамольника пригласила, да лекарь отговорился. Не иначе усидеть в кресле не мог. Оно и ясно — знатные канчуки у Павки Гончара!

Итак, гости. Ярина была не одна, а с Хведиром, и Агмет тут же — за креслом ее стоял, брови хмуря. Все по обычаю, разве что гарматного салюта после здравиц не учиняли. Впрочем, пили мало, да и к угощению едва притронулись (Глашка, по такому случаю нацепившая новую керсетку вкупе с ненадеванной шапочкой-кибалкой, даже обиделась). Не до того — Хведир-Теодор молчал, Ярине говорить не хотелось, а пан Рио хоть и улыбался, стараясь хозяйку беседой увлечь, да тоже, видать, к веселью был не сильно расположен.

Посидели по чину, чарки подняли, донышками по столу ударили.

Хведир сразу распрощался — пошел к себе, новое письмо в Полтаву строчить. Агмета Ярина услала в город — стражу на улицах проверить. Самой полагалось бы, так ведь гость в доме!

Вот и остались вдвоем. Остались — да и разговорились.

Странное дело: слушать пана Рио оказалось интересно, почти как Хведира. Да только бурсак больше книги мудрые пересказывал, а гость все своими глазами видел. Слушала Ярина, дивилась. В каждой земле свой норов, свой обычай. А тут и ежи с волка величиной, и карлы лесные, и Чудило Глиняное, что страхи на людей насылает.

Слушала — и верила. Потому верила, что сам пан Рио многому удивлялся — и зброе огненной, и книжкам друкованным, и черкасскому ладу вольному. О таком в его дальней земле и не слыхали. А когда Ярина вспомнила о чуде-чудном, что в стране французской недавно сотворили — летуне-монгольфьере, — гость только руками развел. Девушка не удержалась — варшавскую газету принесла, где то чудо нарисовано было. Пан Рио дивился, а Ярине приятно стало. Хоть и не встретишь у нас карлов лесных, а все равно есть чем гордиться.

После о жизни заговорили. Пан Рио о себе поведал, Ярина — о себе.

И вновь дивно стало.

О том, что батька гостя — человек шляхетный, Ярина и раньше слыхала. Слыхала — и в толк взять не могла: отчего тогда пан Рио по чужим землям шастает? Ведь не на службе военной, а в доме хозяин нужен!

Теперь поняла — батька пана Рио тамошнего гетьмана прогневал, за то и был по суду на смерть покаранный. Но ведь сейчас банацию эту вроде как отменили? Чего ж пану Рио в свой маёнток не вернуться? Что вороги дом пожгли — беда, так ведь и не такое бывает. Дом отстроить можно, после — жену привести, а там и детки забегают.

Или серебра мало? Потому и в сердюках пан Рио?

Гость улыбался, пытался объяснить, но тут и толмач невидимый не всегда мог помочь.

— В нашей земле... нашем мире... несколько иные законы... — Пан Рио задумался, подбирая слова, вздохнул. — Это трудно пояснить. Но мне кажется, что в моем мире законы магические... волшебные имеют большую силу, чем законы физические. У вас такое — исключение. У нас — правило. Мы говорили с господином Теодором, и он предположил, что мой мир находится ближе к Внутренней Сфере, поэтому в нем больше тонких материй...

Ярина испуганно моргнула. Все, тонкие материи пошли! Ну, Хведир, погоди!

Гость понял, улыбнулся.

— Скажем, наш мир... более волшебный.

Девушка не стала отвечать. Может, и так, а все равно дивно.

— Хотя кто знает? — Пан Рио медленно встал, шагнул к окошку, зачем-то тронул рукой толстое стекло. — Сегодня мне снилось... Очень странный сон... видение. Будто кто-то допрашивает меня... мою душу... Кто-то черный...

Ярине стало не по себе. Полутемная зала, густые тени в углах, за окошком — сизый вечер...

Бр-р-р!

— Сны, конечно, всякие бывают, — гость словно понял: подошел ближе, улыбнулся. — Иногда и чужая жизнь снится, словно своя. Но этот... черный... Он рассказал кое-что очень важное...

— Да будет вам, пан Рио! — Девушка заставила и себя улыбнуться. — Сны Бог посылает. А если какие не от Бога, то в церковь вам надо да свечу поставить. Как вы там у себя без Бога живете?

Гость развел руками — так, мол, и живем.

— Как я понимаю, господин Теодор будет жрецом... священником?

Ярина кивнула.

— Я слыхал, что у вас жрецам... служителям Бога запрещено жениться. Какой странный обычай!

— И вовсе не у нас! — возмутилась девушка. — То у латинов, а латины истинного Бога забыли, в ересь впали. У нас только монахам того не можно, а священники женятся. Вот пан Хведир...

Она осеклась, замолчала — и с изумлением поняла, что краснеет.

С чего бы это?

Гость улыбнулся, и от этой улыбки Ярине стало и вовсе стыдно.

Она хотела объяснить, что дело вовсе не в Хведире и не в той дуре-попадье, что за него отдать собираются...

Не успела.

— Ханум! Ханум-хозяйка!

Девушка вздрогнула. Агмет? Когда только войти успел? Видать, замечталась!

— Говорить надо, ханум-хозяйка, — татарин шагнул из темноты, поклонился, единственный глаз с подозрением уставился на гостя. — Тайно говорить! Шибко тайно!

Пан Рио понял, тоже поклонился.

— Уважаемая госпожа Ирина! Не смею больше навязывать...

— Вот еще! — возмутилась девушка. — Вы мой гость! Оставайтесь, скоро вернусь. А ты, Агмет, что, указывать мне вздумал?

— Шибко тайно! — Слуга вновь неодобрительно взглянул на пана Рио. — Бачка Хведир у крыльца ждет...

* * *

Бурсак был не один. Рядом с ним имелся кто-то знакомый, в новом жупане и сердюкской шапке с синим верхом.

Увидев Ярину, Хведир встрепенулся. Тускло блеснули окуляры:

— Яринка! Ярина Логиновна! Вот, прибег...

Хлопец шагнул ближе. Поклон — низкий, вежливый.

— Панна сотникова? То я очень рад!

В первый миг Ярина удивилась, но тут же узнала.

Гринь!

Гринь Чумак!

— И я тебя рада видеть, Гринь! Ну, как твои дела? Как брат?

— Добре! Все добре, панна сотникова! То благодаря вам да пану Хведиру. А я, дурень, вам даже спасибо сказать не успел. Вам — особо, добрая панна! Даже дивно: вас, как мамку мою покойную, кличут... То не случайно Бог так определил! Спасибо!

Парень улыбнулся, и девушке почему-то сразу стало легче. Они не одни! Хорошо, когда люди добра не забывают.

Внезапно лицо Чумака стало серьезным, даже суровым.

— В сердюках я сейчас — у пана Мацапуры. Сам не рад, да

деваться некуда, панна Ярина. Так вот, прознал я, что пан Станислав сжечь Калайденцы задумал. Завтра...

Девушка вздрогнула, но миг спустя ощутила злость — и неведомую ранее уверенность. Широко шагает Дикий Пан, не споткнуться бы!

— Десять человек поедут — с паном Юдкой. Село маленькое, пан Станислав говорит, что и десятка за глаза хватит...

Ярина усмехнулась — нет, не хватит! Теперь они в Валках не слепы! Теперь и ударить можно — во всю силу!

— Когда?

Гринь задумался, зачем-то потер подбородок.

— После полудня, думаю, к вечерне. Пан Станислав ждет, пока все в церкви соберутся.

— Ясно...

Мысли неслись, обгоняли друг друга. Десять сердюков — немного. На дороге встречать опасно — уйдут, да и на шаблях Мацапуровы хлопцы горазды. А вот ежели в церкви спрятаться да гаковницу вперед выставить... Десяток — в церкви, другой — за домами, чтоб никто не ушел...

— Ну, спасибо тебе, Гринь! От меня — и от тех, кого ты от смерти спас!

Парень смутился, помотал головой:

— То вам спасибо, панна сотникова! Поеду, как бы не хватились...

Он вновь поклонился — отдельно Хведиру-Теодору, отдельно Ярине — и шагнул в темноту.

Сгинул.

— Ну что, пан писарь сотенный? — Ярина глубоко вдохнула холодный воздух, улыбнулась Хведиру. — Вот и мы часу дождались!

* * *

Кони были плохи — еле шли по глубокому снегу. Всадники сидели кое-как в седлах, а порою и просто на попонах. Ярина обернулась, головой покачала — не войско! Хоть и стараются хлопцы.

Сама девушка ехала впереди, рядом с верным Агметом. Не в первом ряду. Туда не пустили, напомнив, что место сотника — за дозорными, а еще лучше — сбоку, к середине ближе. Вот и довелось пристроиться за широкой спиной пана Рио. Тот сам вызвался первым ехать. Агмет заворчал, но гость, мягко улыбнувшись, напомнил, что у него все-таки два глаза.

Пан Рио был не один. Слева грузно восседал широкоплечий Хостик-Хвостик, справа ерзал по седлу пан лекарь. Их Яринка и брать не хотела: один с раной недолеченной, другому на коне сидеть неладно. Но оба — и заризяка, и гулена — твердо заявили: куда пан Рио — туда и они. Так и переспорили.

Когда все трое сели на коней, девушке внезапно почудилось, будто она уже где-то видела этих странных вояк. Не у хаты Гриня Кириченки, не в лесу — раньше. И только за Валками, когда отряд свернул в лес, сообразила. Ну конечно! Картинка-лубок, что в горнице отцовской висит! Давно уже висит, поблекла вся. Заходил как-то в Валки офеня из Московии, вот и продал.

Да, картинка, друкованная, красками расцвеченная. На ней тоже три всадника-богатыря, в кольчугах, с мечами. Один руку ко лбу прикладывает, другой рукоять кладенца булатного сжимает...

Ярина чуть не рассмеялась. И вправду! Пан Рио — Муромец, Хвостик — Добрыня да Крамольник — Попович! И кольчуги при них, и мечи. Только за плечами у пана Муромца — мушкет, а у пана Добрыни — шило да фузея. А так — и не отличить!

Настроение сразу улучшилось. Да оно и не было плохим. Ей ли, сотниковой дочке, боя бояться? И народу достаточно, двадцать парней с ней едут, и шабли с ними, и рушницы, и даже гаковницу волокут. А главное, не вслепую едут. Спасибо чумаку, славный оказался хлопец!

Одно тревожило. Уже перед тем как выступать, Хведир отвел Ярину в сторону и стал плести какую-то ахинею, что, мол, опасно, и Гриню верить до конца не стоит, и самой ей ехать ни к чему. А если и ехать, то всю сотню брать с ним, паном Теодором, в придачу.

Девушка и слушать не стала. Если уж Гриню не верить, так и верить некому. А сотню брать не след. Во-первых, и сотни нет, всего восемь десятков, а во-вторых, Валки бросать нельзя. В Валках Хведиру и место — пусть в окуляры смотрит да лад блюдет.

Поспорили. Поругались даже.

С тем и уехала.

Теперь, ясным днем, Хведировы страхи и вовсе казались ерундой. Вот лес проедут, а там и Калайденцы. Первым делом — разведку вперед, затем — к церкви...

Сзади засмеялись, присвистнули.

— Панна сотникова, а можно песню?

Ярина улыбнулась — хорошо, что у хлопцев настрой боевой!

— Давай!

Вновь присвистнули, и молодой голос затянул — громко, задорно:

Ехал козак за Дунай,
Сказал: дивчина, прощай!
Вы, коники вороненьки,
Несить та гуляй!

Песня была своя, валковская. Максим Климовский ее сложил, тот, что к Ярине сватался. Девушка лишь головой покачала — без царя в голове хлопец. А песня хороша, теперь ее всюду поют: и в Полтаве, и в Харькове.

Постой, постой, козаче,
Твоя дивчина плаче.
Як ты меня покидаешь,
Тильки подумай!

Пели весело, в два десятка глоток, и девушке подумалось, что угадал гуляка-Максим. И сам он теперь за Дунаем, и батька ее, и браты Хведировы. И песня уже там...

Белых ручек не ломай,
Серых очек не стирай,
Меня з войны со славою
К себе ожидай.

Девушка и сама не заметила, как подпевает. Это хорошо, когда перед боем поют! Поют — значит, не боятся...

— Ханум!

Резкий голос Агмета ударил, словно плетью. Ярина вздрогнула, обернулась.

— Ханум-хозяйка! Гляди!

Рука с камчой указывала куда-то вперед. Девушка привстала на стременах...

И увидела встревоженное лицо Рио.

— Госпожа Ирина! Надо остановиться... задержаться...

И пан Рио туда же! Ярина вгляделась. Лес как лес, к самой дороге подступает, на опушке — ни следочка...

Пан Рио пошептался с паном Хвостиком, вновь обернулся.

— Мы проедем вперед. Хостик что-то почувствовал. Птицы...

Птицы? Ярина удивилась, хотела переспросить...

И тут ударили выстрелы.

* * *

...Сначала дрогнула земля. Затем — рванулась навстречу. Плечо больно ударилось о закаменевшую, припорошенную снегом грязь. Губы пронзило болью, рот сразу наполнился соленым, горячим...

...А выстрелы все гремели, близко, совсем близко...

— Ханум-хозяйка! Ханум!

Агмет! Девушка приподняла голову — и застыла. Прямо на нее смотрели конские глаза. С болью и ужасом смотрели...

— Ханум!

Ярина наконец очнулась. Она лежит на дороге, конь — рядом, чуть дальше — чье-то тело в синем жупане...

Сильные руки приподняли, оттащили в сторону, за придорожную канаву.

— Лежи, ханум-хозяйка! Лежи!

Лежать?! Девушка возмутилась, оттолкнула слугу...

И замерла.

Отряда не было.

На дороге шевелилась страшная куча-мала — люди, лошади, рушницы. Трое, едва держась в седлах, неслись назад, к Валкам.

...Выстрел... Еще один, еще. Тот, что скакал сзади, взмахнул руками...

Еще не веря, не понимая до конца, она повернулась к Агмету — и ахнула.

Татарин лежал на снегу, в сжатой руке — пистоля; шабля — рядом...

— Госпожа Ирина! Госпожа Ирина!

Пан Рио? Жив?!

Свистнуло у виска. Девушка прижалась к холодной земле, затем приподнялась...

...Мертвые кони... Чья-то поднятая рука. Пан Крамольник? А вот и Хвостик — с шилом в руке. Лицо не узнать, все в крови...

— Госпожа Ирина!

Пан Рио упал рядом, выставил вперед мушкет.

— Я... Забыл, где воспламенитель!.. Кремень...

Девушка мотнула головой, выхватила из его рук оружие...

А из лесу уже выезжали.

Победители.

Крепкие хлопцы на кровных конях. Знакомые серые жупаны, и шапки приметные — с синим верхом. Впереди — пан Юдка, рыжая с проседью борода поверх одежи, в руке — знакомая турецкая шабля...

— Девку ищите! Девку!

Гортанный голос ударил в уши. Ярина закусила разбитую губу. Девку тебе, пан надворный сотник?..

Краем глаза заметила: в руке у пана Рио — пистоля. Не иначе из Агметовой руки взял.

— Курок взведите! — крикнула она, не очень надеясь, что услышит. — Сзади, кривой такой!

Легкий щелчок.

Услышал!

Сердюки соскакивали с коней, начинали ворошить окровавленные тела. Кто-то очень знакомый подлетел на сером коне к пану Юдке.

— Искать! — Надворный сотник ткнул шаблюкой вперед. — Григорий, помогите им!

Григорий? Гринь Чумак?

Ярина застыла, все еще не веря. Все может быть: если Чумак служит у Мацапуры, его вполне могли послать сюда...

Могли, конечно!

Но истина уже проступала — голая, страшная, словно раздетый труп.

«А я, дурень, вам даже спасибо сказать не успел».

Вот каково твое спасибо, Чумак!

Имя у меня, значит, как у твоей мамки?

На миг стало стыдно — до боли, до холода в сердце.

Поверила!

Как дуру-соплюху провели!

И теперь из-за нее!..

Это все — из-за нее!

Гринь стоял у дороги — вместе с теми, кто ворошил трупы. Девушка осторожно повернулась, дотронулась до твердой теплой ладони пана Рио.

— Этого... Чортова братца!

Рио мрачно усмехнулся. Рука с пистолей приподнялась...

Ярина припала к холодной ложе мушкета. Где ты, пан Юдка? Жаль, сам пан Станислав не пожаловал!

Сотник обернулся.

Замер.

Увидел?

Внезапно почудилось... Или просто слезы на глаза навернулись?

...Вместо рыжебородого широкоплечего мужика, ладно сидевшего в седле, соткался из холодного морозного воздуха кто-то другой, незнакомый...

Мальчишка!

Худой, встрепанный мальчишка с вечным испугом в глазах. На костистых запястьях — клочья обожженных веревок...

Выстрел!

Гринь Чумак пошатнулся, схватился за грудь.

Молодец, пан Рио!

В тот же миг Ярина и сама спустила курок. Она еще успела

заметить, как вспыхнули болью огромные черные глаза, как дернулась ладонь, пытаясь прикрыть рану...

И свет померк...

* * *

Кап... Кап... Кап...

Мерные легкие удары раздражали, не давали забыться, успокоиться в промозглой глухой темноте.

Кап... Кап...

Ярина застонала, глубоко вздохнула.

Кап...

Нахлынула боль.

Голова разрывалась, кровь стучала в висках...

— Не двигайтесь, мадемуазель! Сейчас... Я только закреплю повязку...

Еще ничего не понимая, девушка приоткрыла тяжелые, словно свинцом налитые, веки.

Свет!

Неяркий, больше похожий на светящийся туман. Чей-то темный силуэт — совсем рядом; тепло ладоней...

— Мадемуазель лучше не двигаться. Рана неглубокая, но удар был очень сильный.

Голос звучал странно — хриплый, словно неживой. И слова выговаривались дивно: вроде бы и понятно, а каждое звучит как-то по-нездешнему.

Что-то стянуло наполненную болью голову. Ярина сообразила — повязка! Ее сильно ударили, наверное, рукоятью шабли. Подобрались сзади...

Пан Рио? Где он?

И остальные — где?

Хведир?

И она сама?

Кап... Кап... Кап...

Капель? Неужели весна?

— Пусть мадемуазель полежит, я сейчас принесу воды...

Внезапно почудилось, что говоривший очень стар. Как гранитные глыбы, нависающие над головой.

Странно: почему она подумала о камнях?

Холодный, мокрый край коснулся губ. Девушка отхлебнула, с трудом удержалась от стона...

— Спасибо!

— Мадемуазель лучше пока не разговаривать! Я сейчас вас укрою.

Но туман уже исчезал. Медленно-медленно из светящегося сумрака проступили тяжелые, неровные своды...

Вот почему вспомнился камень!

И тут она наконец очнулась.

Неярко, чуть потрескивая, горел факел. Легкий приятный запах смолы...

Холод...

Холод и сырость.

Ярина сжала зубы, попыталась приподняться.

— Мадемуазель лучше лежать!

Худые руки осторожно поддержали за плечи.

Вначале она разглядела бороду, седую, длинную — и аккуратно расчесанную. Такие же волосы — длинные и белые — падали на плечи.

Большие светлые глаза...

И губы — узкие, бесцветные.

— Где я?

Бледные губы чуть дрогнули. Усмешка; горькая, не усмешка даже — гримаса.

— В аду девять кругов, мадемуазель. Этот — девятый.

Она все-таки смогла привстать. Сесть. Оглянуться.

Ад был каменный — от низких сводов до блестевшего влагой пола. Прямо посреди потолка — круглый люк. Высоко — не достать, не допрыгнуть. В углу, почти неприметный в полутьме, черный зев. Колодец?

Тот, кто помог ей, был одет странно — грубый кожух, какой носят селяне, а под ним тонкое платье с узорным кружевным воротником. На худых пальцах — золотые перстни.

— Это замок господина Мацапуры, мадемуазель. Мы в подвале, на нижнем ярусе.

Все стало на свои места. Итак, она жива. Надолго ли?

Ярина вновь огляделась, пытаясь найти путь к спасению. Неровные стены, капли воды, черный зев колодца...

— Здесь один вход и один выход, — понял ее неизвестный. — Вход — это люк. Выход пани может увидеть в том углу. Осадной колодец — очень глубокий. Даже не слышно всплеска...

— А вы... Давно здесь? — Ее голос дрогнул.

— Давно...

Слово упало тяжело, словно кусок гранита.

— А что там, наверху?

Человек вновь горько усмехнулся, качнул седой шапкой волос.

— Стоит ли об этом, мадемуазель?

Ярина попыталась привычно мотнуть головой, но не удержалась — застонала.

— Стоит, — наконец смогла выговорить она. — Расскажите, пан добродий!

Тяжкий вздох. В светлых глазах — боль.

— Там умирают. И здесь тоже. Мадемуазель повезло, ей дали выбор. Страшный, но все-таки выбор.

Слова звучали жутко, но девушка догадалась. Колодец! Бездонный колодец — единственный выбор, какой у нее остался.

— Поэтому ни на вас, ни на мне нет цепей. Мы свободны — в этих стенах. Тем, кто наверху, хуже.

— Хуже?

Ярина оперлась локтем на холодный камень пола, заставила себя встать.

— Что может быть хуже?

Седая голова качнулась.

— Мадемуазель лучше не знать. Хуже — когда беззащитных девушек привязывают к ложу и терзают, пока в них еще есть жизнь. Хуже — когда из вен льется кровь, а мясо пылает на огне...

Ярина не поверила. Бред! Этот несчастный просто тронулся рассудком. И немудрено, в этих-то стенах!

— Люк наверху — единственный выход?

— Да... Иногда у меня бывают гости — как вы, например. Здешний хозяин не хочет, чтобы я сошел с ума в одиночестве. Потом их забирают назад, если они не догадываются сами уйти вовремя. Не смею советовать, но...

Девушка даже не возмутилась. Ну, нет, так легко ее не возьмут! Раз жива — выход всегда есть! И это — не холодная глубина колодца. Она выберется! Обязательно выберется, не может же она, Ярина Загаржецка, сгинуть в этом дурацком сыром подвале!

Ведь ей только семнадцать!..

Страх ушел, исчезла растерянность. Боль не мешала думать. Да, до люка не достать! Но ведь сюда кто-то спускается, наверное, сбрасывают лестницу — веревочную или деревянную. Этот странный старик должен знать...

— Я не представилась пану, — девушка постаралась улыбнуться. — То прошу прощения. Я — дочь сотника валковского...

— Я знаю, кто вы, мадемуазель, — бледные губы вновь сложились горькой усмешкой. — То позвольте приветствовать вас в стенах моего замка. Станислав Мацапура-Коложанский к вашим услугам, мадемуазель Ирина!

Большие светлые глаза взглянули в упор...

Она поверила.

Поверила, почему-то даже не особо удивившись.

И сама поразилась этому.

— Мадемуазель, наверное, решила, что перед нею — безумец?

— Нет...

Ярина медленно прошла вперед, прислонилась горячим, кипящим болью лбом к ледяному камню.

— Вы не похожи на безумца... пан Станислав. Значит, тот, наверху — самозванец?

— Увы, не совсем... Я бы посоветовал вам присесть.

Странно, в этом подвале было кресло — тяжелое, темного полированного дерева. Резные листья вились по массивным ручкам и подголовнику.

— Не знаю, много ли у нас с вами времени, мадемуазель. Я думаю, *он* решил познакомить нас, чтобы, так сказать, похвастаться. Ведь я немного знал вашего батюшку. Вы для *него* — ценная добыча... Впрочем, если хотите — расскажу. Постине, эта история напоминает сочинения месье Казота! Не читывали? И слава Богу, юным девушкам такое ни к чему...

Он помолчал, глаза потемнели, сжались губы. Внезапно Ярина поняла: этот седой человек не так и стар. Не больше сорока, и если бы не белые волосы, не длинная борода...

— Лет тридцать назад мы жили с моим отцом в Париже. Мне было тогда двенадцать. Однажды...

Пан Станислав помолчал, словно вспоминая. Худая ладонь сжалась, длинные ногти впились в кожу.

— Однажды отец повел меня на Гревскую площадь. Там была казнь — четвертовали какого-то разбойника. Бог весть, зачем отцу понадобилось вести меня туда! Страшно мне не было, я даже глаза не зажмуривал... — Он вновь замолк, вздохнул: — Никогда бы не повел ребенка смотреть, как убивают человека! Этот разбойник был истинный негодяй. Он отказался от исповеди, оттолкнул монаха, бросил крест на помост. Страшный человек!.. Очень крепкий, широкоплечий, лицо красное... Я даже обрадовался, когда он закричал. Он долго кричал — палач медлил. Сначала — руку, потом ногу, потом другую руку...

Слова падали мерно, тяжело, и девушка почувствовала, как по спине ползут мурашки. Или это холод подземелья делал свое дело?

— Наконец все кончилось. Народ стал расходиться, но мы остались. Отец подошел к палачу, о чем-то стал с ним говорить Отрубленная голова лежала тут же — на колесе. Знаете, такое большое колесо, деревянное, как от телеги. Мне было жутко, но я все-таки подошел ближе. И вдруг я увидел, что голова приоткрыла глаза...

Часть третья

ИСЧЕЗНИК И КОЛДУНЬЯ

ПРОЛОГ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

На этот раз его ждали.

Стены западни готовились долго. В основу ложилось все — донесения Рубежного караула, доклады застав с границ Сосу-

дов, косые, обманчиво мимолетные взгляды вслед, когда он вихрем проносился сквозь порталы.

Сегодня ловушка захлопнулась.

Напротив, закрывая выход, светящимся дымным маревом клубился тот, кого звали Самаэлем. Тот, кто силой своей и чужой исстари держал Рубеж на замке; для кого личным оскорблением была всякая свобода, не желающая знать ограждений и пределов.

Самаэль смеялся.

Прозрачный ранее Рубеж неожиданно встал навстречу переплетением толстых, пружинящих канатов; рядами проволоки с колючими железными репьями; стеной синего холода, сиянием, откуда с треском били молнии о семи зубцах, не давая приблизиться, отшвыривая обратно. И безнадежность клубилась грозовым облаком исхода.

А Самаэль все смеялся.

Потому что далеко отсюда медлил над полыньей молодой чумак, готовясь опустить в ледяную смерть младенца-нехристя, сына блудной матери своей и адского любовника; чумак стоял далеко, а Самаэль стоял здесь, загораживая дорогу, и надо было спешить, и спешить было нельзя.

— Забрал бы сына... — издевательским сквозняком пробрало издалека. — Придушу ведь... соберусь с духом — и придушу!

Впервые в жизни он испытал ненависть и боль. Впервые в удивительной жизни, где всей боли было — внезапная смерть Ярины, а ненависти не было совсем. И внутренний свет стал внешним, делая его подобным кипящей лаве. В прошлый раз он ушел шутя, а молодой страж Рубежа, вцепившийся в него мертвой хваткой, растаял в плотском мире судорожной, дрожащей вспышкой. Ему потом было даже немного жаль глупого щенка, совсем немного и совсем недолго...

Сейчас ему было не жаль даже себя.

Они сошлись в Порубежье, сшиблись грудь в грудь — и он понял: не уйти. Тьма давила, отсекала пути, тщательно затаптывая отлетевшие прочь искорки; к услугам Самаэля были таможенные склады всех Рубежей, доверху набитые изъятой контрабандой, Имена и Слова хлестали наотмашь, и молча ждала добычу черная полынья вдали. Упругие жгуты пеленали его кольцами, гася волю... нет, не уйти.

Такому, какой он есть, не уйти.

Он знал, что не может отменить случившееся — и знал, что оставить все, как есть, тоже не сумеет. Кто он такой, если не смог спасти смертную свою любовь? Если сына своего не может спасти?! Он ненавидел себя. Он стыдился себя-нынешнего, себя-затравленного, слабого; он *пожелал*, сам до конца не осознавая своего желания. Изо всех сил пожелал... И произнес запрет-

ное Имя. Почувствовав обостренным чутьем умирающего, что врата судеб открыты, что ему внимают, он выкрикнул то главное, страстное, что еще позволяло ему держаться на пределе бытия.

И задохнулся.

— Забери малого, слышишь? — эхом вплелось в его крик. — Чертяра...

В миг просветления он вдруг отчетливо осознал, что и эта, последняя лазейка была подстроена, была тайной пружиной мышеловки, — но осколок меркнущего сознания отчаянным метеором ввинтился в открывшуюся прореху Рубежа, жадно плеснула вода в полынье, упустив добычу; и вдогон ударил голос, шедший, казалось, отовсюду:

«Не в добрый час твое желание услышано, бродяга. Не в добрый час».

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

Золото.

Внизу, сверху, слева, справа... всюду. Золотые корабли идут по золотым хлябям, золотые тучи идут по золотым небесам, золотые пылинки пляшут в золотом луче, драгоценный дождь нитями тянется к литой тверди, желтые листья бубенцами звенят на желтых деревьях, на златом Древе Сфирот, и заточены в мертвый металл сфиры Малхут-Царство, Год-Величие и Нецах-Вечность, не позволяя встать на ноги, шевельнуть пусть самыми кончиками пальцев, а сфира Йесод в золотой броне надежно сковала детородный уд, замыкая центр, сердцевину нижнего треугольника... выше, выше, скорей выше, пока еще огонь заката пьяным канатоходцем пляшет на макушке Древа, окрашивая живым багрянцем высшую сфиру Кетер-Венец, пока солнце еще не рухнуло за золотой горизонт!.. выше!.. но пустота клокочет в груди, и руки, мощные руки мои — бессмысленная тяжесть, ибо средний треугольник Гевуры-Силы, Хесед-Милости и Теферэт-Красоты почиет в саркофаге, откуда нет выхода, и лишь в завершающем треугольнике, в триединстве сфир Бины-Разума, Хохмы-Мудрости и багряного Венца еще плещет умирающий прибой, судорожно теряя последние капли, исходя пеной...

Тянусь чем могу — волей.

Остатками.

Выплескиваюсь из золота — куда?

Ползу жужелицей по тайным каналам чужого и в то же время странно родного тела, когда хотел бы лететь самумом пустынь, проницая триста девяносто небосводов, наполняя собой все и

всем — себя; ползу, тащусь, уговариваю пропустить, где раньше ломал запоры, просачиваюсь капелью, куда раньше врывался волной; и взглянуть на мир из не-моих глазниц труднее, чем прежде — смеясь, рвать Рубежи и уходить от погони.

Смотрю.

Кричу из не-моих глаз — в глаза.

Передо мной Заклятый.

...что?! Рио, это ты? Неужели разговор не окончен?!

Чужие глаза видят плохо.

Я ворочаюсь в них, как ворочалась однажды иссохшая мумия в погребальных пеленах *(было!.. помню!.. а я тогда стоял и смеялся в пыльной тишине пирамиды...)*. Но тьма не-моих глаз свежа и прохладна, в ней нет ни крупицы, ни пылинки проклятого золота.

И из этой спасительной прохлады я горстями швыряю в Заклятого видения-мольбу, его же собственную память, надежно похороненную в этом бесчувственном сундуке с двойным дном. Я бросаю в лицо его души дым магнолий и хруст фарфора под сапогом, свечу белого платана и ненависть превыше обреченности; я выбиваюсь из сил, умоляя его нарушить условие Заклятия, совершить выбор, спасая себя и меня. Я беззвучно кричу, как уже кричал ему раньше, умирая не в золоте — в дурацкой клетке после неравного боя со сворой Самаэля, того гордого Малаха, чья власть зиждется на силе... да, я еще кричу.

Остатками.

Пока не понимаю страшную истину: все изменилось.

Это совсем другой Заклятый. Это не глупый герой Рио, это Двойник, и с его клинка мне меньше всего нужна смерть — с его клинка мне нужна пощада.

У каждого Заклятого свой Запрет... и свое нарушение Запрета.

Умолкаю, возвращаюсь и тону в плавящемся металле забытья.

На дно.

Поздно.

Золотые корабли идут по золотым хлябям, золотые тучи идут по золотым небесам, золотые пылинки пляшут в золотом луче, драгоценный дождь нитями тянется к литой тверди, желтые листья бубенцами звенят на желтых деревьях, на златом Древе Сфирот... нет, поздно.

— Пан Юдка? — эхом спрашивают из ниоткуда. — Да что с вами?!

«Со мной — все», — хочу ответить я, но не могу.

И вовсе не потому, что обращаются не ко мне, а к Двойнику, в кого я напрасно швырял дым магнолий и хруст фарфора, когда

надо было швырять страшный дух горящей плоти и молчание сестры Рахили, на беду себе прожившей дольше обычного...

Нет.

Все-таки поздно.

Не дотянусь.

* * *

Старый, очень старый человек сидит у очага, раскачиваясь вперед-назад и монотонно выпевая песнь без смысла и цели.

Я стою рядом, наполовину утонув в стене.

— Ну почему? — вновь говорю я. — Рав Элиша, почему ты зовешь меня каф-Малахом, тогда как остальных из Рубежей ты всегда называешь бейт-Малахами?! Ответь мне! Ответь — и я принесу тебе полные ладони света!

Маленький каганец чадит в углу, играя тенями.

Снаружи и внутри — духота, которая безразлична мне и безразлична старику у очага.

— Глупый, глупый каф-Малах, — хриплым смешком вплетается в песню без цели и смысла, и тень на белой известке все качается от тайного сквозняка, то увеличиваясь, то уменьшаясь. — Зачем мне твой свет, зачем мне твои ладони? Уйди в стенку, не мешай старику умирать... Тебе мало, что меня и так наградили прозвищем «Чужой», а синагогальный служка плюет мне вслед, когда я еду мимо на осле? Мало, да?! А ведь мой осел ничем не хуже ослиц рабби Пинхаса и язычника Балама, разве что не вещает прописных истин для народа! Уйди в стенку, неудачник, и забудь ко мне дорогу...

— Почему?! — Я согласен уйти в стену и не мешать старику раскачиваться, но только после ответа.

— Глупый, глупый каф-Малах, — меленько хихикает песнь. — Он держит во рту сто языков и еще один, Язык Исключения, употребляя который, мудрецы прячутся от гнева и ревности ангелов! Он гуляет меж Сосудами, как правнук дряхлого рав Элиши-Чужого гуляет в гранатовом саду за городом! Он вертит кукиши из престолов и врат, из времени и пространства... Так нет: ему этого мало, ему еще и надо мучить бедного рав Элишу дурацкими приставаниями! Пойми, позор матери, которой у тебя никогда не было, — первая книга Пятикнижия начинается с буквы Бейт, основы всего сущего, и означает она: «Именно так!» А великая Каббала, Путь взыскующих Святого, благословен Он, лежит под знаком буквы Каф, означающей: «Как если бы...» Вот потому-то ты, негодный убийца стариков, зовешься каф-Малахом, а Существа Служения из Рубежей зовутся бейт-Малахами, ибо они постоянство, а ты — случай! Уйди в стенку, дай отдохнуть перед смертью...

Тень качается на белой известке, то уменьшаясь до черного

комка, то вырастая до восьмого небосвода, и я знаю: рав Элиша так шутит.

Потому что я гуляю там, где он находится всегда, не вставая с засаленной циновки.

— Тогда почему ты вступаешь в беседу только со мной? — не сдаюсь я. — Почему ты ни разу не откликнулся на зов Рубежей?! Ты, вошедший в Сад Смыслов и вышедший не с миром, но со знанием?!

— Потому что, путая Бейт с Каф, можно разрушить Мироздание, — с внезапной строгостью отвечает песнь, и больше мне не удается выудить из нее ни слова.

Ухожу в стенку.

Я все-таки принесу ему полные ладони света — это единственное, что он берет у меня.

* * *

И снова — золото.

Детские пальчики *(на левой руке — четыре, на правой — шесть)* вертят мое тесное узилище, переворачивают... Луч солнца, идущего в зенит где-то далеко-далеко, едва ли не за тысячу Рубежей отсюда, ныряет в витраж оконного стекла *(чувствую!.. клянусь Тремя Собеседниками, чувствую!.. так слепой радуется лучистому пятну во тьме...)* — и впитывает рукотворную радугу. Багрянец аспекта Брия сливается с изумрудно-тонким аспектом Ецира, третьим из сокрытых цветов; западный край их слияния слегка затенен аспидной чернотой Асии, зеркала радуги — в ответ мое сознание проясняется, и холод рассудка обжигает золотую осу в золотом медальоне, трепетом пронзив крохотное тельце.

Оса — это я.

Остатки.

Все, что я успел отбросить прочь в смертный час, вывернувшись на миг из-под тяжести Самаэлевой своры.

Пальцы настойчиво теребят, вертят, играют, пальцы сына моего, рожденного глупым каф-Малахом от смертной! — что ты делаешь, младенец?!

Щелкает застежка.

Живой воздух касается меня. Мгновенно воспряв, вслушиваюсь — *насквозь*, как бывало раньше. И с ужасом понимаю, как мало от меня осталось. Прежде я шутя ловил шелест игральных костей в мешочке, когда двенадцатирукий Горец в дебрях Кайласы намекал на славную возможность проиграть ему горсть-другую пыльцы Пожелай-Дерева; о, прежде...

И все-таки медальон открылся не зря.

Рядом, совсем недалеко — на полброска мне-прежнему — дрогнули три сфиры из десяти, словно готовясь силой Света

Внешнего нарушить влияние верха на основу, что в ракурсе Сосудов дает возможность рождения Малаха, а в ракурсе Многоцветья — надежду на всплеск Чуда.

Старый рав Элиша бен-Абуя, ехидный Чужой на циновке, ты бы, наверное, изругал меня вдребезги за такую трактовку Сокровенной Книги Сифры де-Цниута...

Прости, мудрый рав, но сейчас надежда мне стократ важней любых тонкостей.

Что, собственно, от меня осталось, кроме надежды?

Сфиры дрогнули еще раз, надолго замерли, словно колеблясь, после чего взорвались гулким эхом — и снова тишина.

Осмелюсь ли я-нынешний?

Решусь ли?!

— Лети...

Сперва я не поверил сам себе. Прозрачные крылья тронули воздух, расплескав пыль и затхлость драгоценной слюдой. Впервые в жизни, в удивительной жизни, где время значило меньше горсти пыли, а расстояние покорным псом терлось у ног, — впервые в жизни я испытал страх. Назад, скорее назад, в теплую мглу золота, в нору, в убежище, где меня не настигнет Самаэлева свора, где пестрый ястреб не смахнет на лету крылом мою последнюю искорку, где легко не жить и не умирать без мыслей, без боли, — назад, глупый каф-Малах!

— Лети...

Он видел мой страх. Он, мой сын от смертной из Адамова племени, видел страх отца своего, слышал этот страх, вдыхал с воздухом, ощущал вместе со мной всем своим существом и понимал, не осуждая. Рав Элиша часто говорил мне про Хлеб Стыда, пищу сильных; я же кивал в ответ, думая, что это просто красивая аллегория, просто...

Сейчас это оказалось так же просто, как ужалить за миг до хруста под тяжелой подошвой судьбы.

Золотая оса вырвалась из медальона и закружилась по комнате.

Мой сын подошел к лежанке, застеленной атласным покрывалом, и лег поверх вышитых жар-птиц на спину. Открытый медальон покоился на его узкой груди, он бездумно играл моей распахнутой настежь темницей-убежищем, а лицо ребенка сейчас отчаянно напоминало лицо его матери. Тогда, когда Ярина сама легла навзничь, не глядя на меня, а я, смеясь, потянулся за три Рубежа и достал кубок с утренней росой прямо из чьих-то рук — чьих? не помню... не рассмотрел.

До того ли было?

Оса кружилась по комнате, не решаясь выскользнуть в приоткрытое окно.

Как долго я смогу продержаться снаружи?

Но там, совсем рядом, подобно рукам записного пьяницы, дрожит треть сфир, обещая Чудо в ракурсе Многоцветья! Не потому ли семицветные бейт-Малахи, подлинные Существа Служения, сами из всех цветов различают лишь белый и черный, что для них нет и не будет чудес?

Я задержался у переплета оконной рамы, вновь окунувшись в багрянец, и в зелень, и в черноту; я вылетел прочь.

...Золотая оса летела над равниной ноздреватого снега, над чахлой рощицей близ заваленного по самый сруб колодца, и голодная собака недоверчиво почесала ухо задней лапой, на всякий случай гавкнув вслед.

Собака знала: эти, надоеды кусачие, зимой не летают.

Меньше всего собаку интересовало, что под золотой осой по снегу стелется удивительная тень — подобие длинного черного человека, только с четырьмя пальцами на левой руке и с шестью — на правой.

* * *

Когда грохнули выстрелы — не первый залп, взметнувший дальнее воронье с ветвей, а два одиночных, один чуть позже другого, — Древо Сфирот мотнуло так, что я едва не возомнил себя прежним. Я даже затянутую голубоватым льдом речушку, над которой как раз пролетал, вдруг увидел *насквозь*. Ну, не совсем *насквозь*, а так, Рубежей за девять-десять, и на седьмом поприще был июль, рыбаки с бреднями и толстун-водяной, лениво подглядывающий из камышей за толстыми икрами прачек.

Видение явилось и ушло, обдав кипящими брызгами отчаяния.

Оказалось: нет, не прежний — ворона среди прочих, вспорхну и сяду, разве что Древо иное, видно подальше.

Не дотянуться, не уйти в чужой июль.

А даже и дотянусь, уйду — кем буду? осой на шиповнике? пылью, где был ветром?! доживу до осени и опаду в палую листву, золотом в золото?!

Сфиры в ответ передернулись мокрым псом, страшно колебля уровень порталов. Надо было спешить. Неужели впрямь свершается нарушение Запрета? — то, на что я не смог подвигнуть этого толстокожего героя Рио, однажды променявшего цветной мир на способность видеть лишь ясно видимое?!

Тогда тем более надо спешить.

Оса забила крылышками и с жужжанием понеслась вперед — туда, где смешные свинцовые осы жалили не в пример сильней меня-нынешнего.

Туда, где гортанный крик вихрем взметнулся над кровавыми сугробами:

— Живьем! Живьем брать обоих — и пана, и панну!

Крепкие парни в серых жупанах прыгали из седел, с хрустом ломая корку наста, без суеты вынимали из ножен кривые шабли и облавной дугой шли к канаве. Туда, где скорчилась зародышем в утробе стройная девичья фигурка — и рядом, словно на картине плохого салонного живописца, закрывая девушку собой, спокойно ждал с мечом наголо герой Рио. Увы, герой, с головы и до пят, ибо таково было условие его Заклятия, когда-то превратившее чудо-мальчишку в бронированный могильный курган для самого себя — трижды увы, потому что иначе я бы его уговорил еще при первой нашей встрече.

Жаль.

Терпеть не могу героев — вечно у них в ножнах чешется.

Змеей мелькнул волосяной аркан. За ним — другой, вдогон... но первый промахнулся, а второй на лету встретил лезвие, бессильным обрывком скользнув на дно канавы.

Я ясно увидел: аура вокруг нападающих, сперва густо залитая здоровой алой кипенью, мало-помалу тускнеет, вспухает сизыми прожилками колебания... так вянут гладиолусы. Простые существа с простыми страстями, и души их в молодых телах жили просто, красивой бессмыслицей окрашивая внешний свет — приказ есть приказ, руби сплеча, пока кровь горяча, да сдуру лезть на рожон, на длинный рожон в ловкой руке заезжего пана...

Один из сердюков (самый яркий, меньше прочих битый морозом опаски!) вдруг прыгнул через канаву первым, на миг сломав дугу. Присел врастопырочку, закрутился волчком, норовя достать вражьи колени хитро, с вывертом, но меч легко порхнул навстречу и вниз, завертел лихой сабельный удар зимним бураном — скрежет, звон, и вот: забияка спиной влетает на прежнее место, с размаху сев на снег.

Без оружия, зато с навсегда раздвоенной верхней губой.

Рио носком щегольского сапога толкнул обломок шабли в канаву, к свернувшейся петле аркана, и неприятно улыбнулся.

Может, эти недотепы все-таки разозлят моего героя?.. вон, ни палача при нем, ни лекаря — полыхнет душа, не удержится... Ах, славно было бы! Жаль, души-то в Рио и нет — видимость одна, нечему полыхать, все давно сгорело в свече белого платана да в пламени последнего желания. А остатки я и рад бы зажечь костром, только не выходит пока...

Кто-то из парней не удержался, с ругательством рванул из-за пояса пистоль.

— Живьем, собачьи дети!

Собачьи дети переглянулись и решили не торопиться.

Я смотрел на всю эту детскую карусель, опустившись на черную ветку терновника, и недоумевал: что же заставило дрогнуть Древо Сфирот? что?!

Пожалуй, если бы второй Заклятый не произнес в этот момент личное значение шестого из десяти Нестираемых Имен, я бы его и не заметил. Еще один раненый, не более того. В свару не лезет, сидит на снегу близ своей лошади, за плечо держится. Щекой от боли дергает. Впрочем, это именно он, Двойник, минутой раньше кричал: «Живьем брать!» И все равно... Впору скорбно помянуть себя-прежнего, когда даже мастерские мантии поверх внешнего света не могли скрыть от моего взгляда *насквозь* истинную суть личности. Сейчас же, когда Двойник на миг раскрылся для произнесения, я почти ничего не успел заметить! Ничего! А ведь Нестираемые Имена... это ступень рава, посвященного рава! Рав Элиша всегда напоминал мне: если в одном из таких Имен допущена ошибка в произношении — у говорившего отнимается пять лет жизни при искажении «вкуса» и десять лет при искажении «венца»! Если же ошибку допустит косорукий писец — ему следует начать сорокадневный пост, а свиток не подлежит кощунственному исправлению, ибо до заката должен быть предан земле с надлежащим погребальным обрядом...

Нет, все-таки рыжебородый Двойник не рав... во всяком случае, не посвященный рав.

Это я вижу.

Как и то, что его зовут... Иегуда?

Да, Иегуда бен-Иосиф.

«Пан Юдка? Да что с вами?!»

Помню, память, помню, дрянь ты этакая! — и дым магнолий помню вместо смрада горящей плоти, ошибку мою случайную...

Недоумевая, я смотрел, как Юдка встает. Рана, казалось, не тяготила его больше — и до вечера тяготить не будет, а после надо за лекарем посылать, если жизнь дорога. На какую-то долю секунды я поймал *насквозь* взгляд рыжебородого: там, в черной глубине, плескалось недоумение втрое поболе моего! Словно пан Юдка, знаток Нестираемых Имен, удивлялся пуще малого дитяти: я жив? еще жив? почему?!

«...ведь если Смерть... и Двойник... и Пленник!..» — уловил я обрывок мысли, проскользнувший за мантию; но покровы вновь запахнулись наглухо, и не жалким осам было прорываться внутрь.

Однажды я видел уснувшего навеки бога.

Сейчас я смертельно завидовал ему — он хотя бы мог выбирать сны.

Сердюки охотно расступились, пропуская вожака вперед. Пан Юдка — сейчас имя Иегуда бен-Иосиф подходило ему

меньше, чем мне мысли о мести Самаэлю, — встал у канавы, развел пустыми руками, демонстрируя свои мирные намерения.

Герой Рио меча не опустил.

Рыжая борода встопорщилась: пан Юдка смеялся.

— Мой добрый пан! — Смех стал словами, оставаясь смехом. — Мой славный пан! Зачем нам лишние свары?! Я даже не прошу вас сложить оружие — на здоровье, носите, ведь пан сам оружие, хоть с железом, хоть без... Послушайте старого жида, знающего жизнь: езжайте с нами по-доброму! И панночку возьмите, иначе плакать сотнику Логину по дочке кровавыми слезами! Что скажете, мой славный пан?

Герой отрицательно покачал головой.

— Я благодарен вам, пан Юдка, за столь щедрое предложение. Но я нанялся на службу к госпоже Ирине, а долг...

Он помолчал. То ли подбирал нужное слово, то ли заменял одно другим, обжигающим язык хуже красного перца.

Рыжебородый не торопил его, тихо катая смешок в зарослях бороды.

— ...долг *наемника* — отрабатывать службу до конца. Еще раз прошу великодушно простить меня и — командуйте вашим людям! Я жду.

— Вэй, пан, шляхетный пан! Вы еще скажите, закрутив ус: «Через мой труп!» — и я спляшу от радости фрэйлехс, будто на свадьбе родной дочери! Но ведь старому жиду мерещится: вы уже раньше имели счастье наняться на службу? Не вам ли было поручено доставить к вашему князю некоего младенца? не вам ли давалась для того виза через Рубеж? или я таки не прав?!

Меч в руке героя дрогнул.

— Вы правы, пан Юдка. Но...

— Какие могут быть «но», мой дорогой пан?! Сами знаете: одной, простите, задницей в двух седлах... не шляхетно, да и неудобно, скажем прямо!..

Вдруг Юдка стал серьезным, мигом превратившись в Иегуду бен-Иосифа; и я опять не успел уловить изменение его внешнего света — а свет внутренний у него был такой же, как у любого Заклятого.

Гроб с заживо погребенным — вот их свет.

— Милостивый пан Рио! Я полагаю, нам хватит беседовать попусту. Вот мои предложения, раз уж нам обоим было суждено остаться в живых: вы вместе с панной сотниковой сдаетесь на милость пана Мацапуры-Коложанского, моего господина. Местные дела вас не касаются. По приезде к пану Станиславу я приложу все усилия, дабы вы и панна Ярина не потерпели ущерба. Что скажете?

Похоже, герой готов был отказаться и прыгнуть через канаву.

Но случилось непредвиденное, то, о чем я успел подзабыть:

дрожь сфир. Причем расторжение нижнего Слияния длилось столь долго, что аспект Скрытой Мудрости успел одеться в Глас Великий, почив на белом огне, — еще миг, и энергия Приговора стала бы явной.

Странно: не один я заметил это.

Пан Юдка весь напрягся, разом забыв о герое Рио с его смешным мечом, а сам герой покачнулся и до крови закусил губу. Взгляд Рио слепо шарил по лицам парней с шаблями, мимоходом скользнул по рыжебородому, и дальше, дальше — лошади, тела на снегу, тела, тела...

Так безглазый побродяжка ищет в пыли рассыпанную милостыню.

Взгляд остановился, закаменел — и полыхнул изнутри неизъяснимой мукой.

— Спасите... спасите его! — Отчаяние полновластно воцарилось в голосе героя, мальчишеское отчаяние, некогда заставившее откликнуться Рубежи. — Я согласен! Я на все согласен! Только спасите его! Или нет... я сам! сам!

Кинувшись вперед, Рио легко разбросал сердюков, заступавших ему дорогу (захоти Юдка задержать героя... нет, не захотел), и вскоре рухнул на колени возле дальнего тела в сером знакомом жупане.

Рядом бродила чалая лошадь, изредка всхрапывая.

— Не умирай! — Вопль заставил кружившее в небе воронье откликнуться суматошным карканьем. — Не умирай, будь ты проклят! К'Рамоль, где ты?! Где ты?!

Перед Рио, до половины зарывшись ногами в сугроб, лежал первенец моей Ярины — Чумак Гринь. Которого я однажды не убил только ради его матери. Это над ним сейчас смерчем закручивались сфиры, колебля Древо от самого основания, это над ним, над умирающим парнем, сейчас пылал белый огонь, изливаясь в порталы Великим Гласом; это его рана, его беспамятство вырвали меня из медальона и бросили на поиски вожделенного.

Клянусь Тремя Собеседниками — благословенна будь пуля, метко пущенная героем! Благословенна трижды, ибо сейчас Чумак умрет от выстрела Рио, и будет нарушен Запрет, и смерть сойдет в мир не с клинка, но с рук Заклятого! Я стану прежним! Я...

— Не умирай!

В лице героя уже исподволь проступали черты мальчишки из огненной купели. Крик то и дело срывался подростковой фистулой, и сердюки неловко крестились, пятясь назад.

— Не умирай, говорю тебе! Живи!.. Спасите его! Или хотя бы добейте!..

Я ждал, ощущая, как мало-помалу пробуждается нижний треугольник, как эхо колеблемых порталов входит в меня живительным ознобом.

Сейчас!

Сейчас...

— Пан Рио клянется сдаться на милость пана Станислава? Тогда старый жид еще поторгуется...

— Клянусь! Клянусь памятью отца! Да сделайте хоть что-нибудь!

Покровы резко спали с Иегуды бен-Иосифа, обнажив сияние внешнего света, — и вода слов щедро пролилась под корни Древа, унимая биение сумасшедшего пульса.

— Истинно говорю: сказал Святой, благословен Он, костям сухим: «Вот, Я вкладываю в вас дух, и оживете!» Именем Ав, чье число семьдесят два, и именем Саг, чье число шестьдесят три, и еще именами Ма и Бан, чьи гематрии составляют сорок пять и пятьдесят два...

Гринь заворочался, расплескивая подтаявший снег. Надсадный хрип родился из его горла.

— Живи!.. живи... — шептал Рио, стоя над Чумаком на коленях и дико поводя глазами, будто отец — над телом умирающего сына.

— ...и не ускользнет правда от глаз твоих, побежишь и не споткнешься, и окажется дорога твоя верна... ибо Хесед — рука правая, а Гевура — рука левая, Малхут — уста, и Бина — сердце; и стезя мира Ацилут — это орошение Древа, его ростков и ветвей, и оно возрастает от этого...

Я снялся с ветки и полетел прочь.

Обратно — в медальон.

Запрет остался ненарушенным.

Внизу подо мной издевкой судьбы стелилась черная тень меня-былого.

* * *

Старый, очень старый человек сидит у очага, завернувшись в полосатую накидку с кистями, и время от времени прихлебывает из щербатой чашки.

Губы его мокрые.

Я стою рядом, наполовину утонув в стене.

— Ну почему? — спрашиваю я. — Почему ты не позволил мне выставить этого шелудивого пса на посмешище!

Мокрые губы шевелятся, раздвигая седые пряди усов.

— Глупый, глупый каф-Малах! — смеются губы. — Мудрый учитель Торы при всех возвестил, что в день смерти рав Элиша возьмет в рот песнь вместо плача, а в сердце ликование вместо горя. Ну и что? Даже если все вокруг кивали, трясли бородами и твердили, что еретик-Чужой забыл Святого, благословен Он, — ну и что?! Даже если было сказано во всеуслышанье меж народом Исраэля, что рав Элиша нарушает двести сорок восемь за-

поведей «да» по числу мышц Адама, и нарушает триста шестьдесят пять заповедей «нет» по числу сухожилий Адама, и плюет слюной на святость празднования шаббата — что с того, я тебя спрашиваю?! Разве это повод устраивать посмешище из тех, кто и без твоих потуг смешон в своем гневе?!

Я молчу.

Я не понимаю старого человека.

Если бы не его запрет, мудрый учитель Торы уже сегодня бы хрюкал, прикусив свой раздвоенный язык, подобно свинье, и испражнялся кошерными колбасами.

Кровяными, с чесноком.

Ах, если бы...

— Я — твой ученик, — говорю я. — Я должен...

— Ты ничего не должен! — Мокрые губы перестают смеяться. — Ты мне ничего не должен, дитя блуда случая с нарушением; и ты не ученик мне!

— Тогда кто же я тебе?

— Ты — птица, которая однажды явилась к ослу, чтобы осел рассказал птице, почему она летает. Не научил летать, ибо птица рождена для полета, но объяснил: почему?! Ты — рыба, которая однажды приплыла к тростнику, чтобы тростник объяснил рыбе, почему она плавает. Ты — умеющий, захотевший знать! Ты — внешний свет, захотевший обладать светом внутренним! Ты — духовный потомок Азы и Азеля, строптивых Малахов, пришедших к людям в одеждах людского мира, бравших в жены дочерей наших и за это до Судного Дня прикованных железной цепью в горах без названия! Понял?

Мотаю головой.

Я ничего не понял; и рав Элиша не прав.

— Ты тоже умеешь летать, — говорю я. — Ты летаешь, не вставая со своей циновки. Ты летаешь, сидя здесь, летаешь, мучаясь со своими дряхлыми полупарализованными ногами, и, когда я предлагаю тебе их вылечить, ты ругаешь меня ругательствами погонщика мулов. Я так не умею.

— И не надо, — губы вновь окунаются в чашку, чтобы вынырнуть с мокрой улыбкой. — Если ты научишься ругаться, как погонщики мулов, Древо Сфирот завянет на корню.

Я молчу.

— Глупый, глупый каф-Малах, — еле слышно бормочет старый человек, но мне слышно, как шепчутся озерные каппы за двадцать Рубежей отсюда; и значит, мне слышно все. — Однажды птица явилась к ослу, однажды рыба приплыла к тростнику... и еще однажды, гораздо раньше, некий Заклятый преступил черту Запрета ногой левой и преступил черту Запрета ногой правой, перестав быть утробой для зародыша Малахов, перестав

быть могилой для себя-былого, гнилым мясом, куда Существа Служения откладывают личинки...

Молчу.

Жду.

— ...и вместо бейт-Малаха в мир явился каф-Малах. Вместо службы — свобода, вместо долга явился ветер, дующий в уши старому рав Элише... Святой, благословен Ты, Б-г отцов моих, они ведь не знают, что ты добр, что в тебе нет ничего, кроме доброты! — они просто строят Рубежи в ослеплении ложных истин, тщетно надеясь уложиться в шесть тысяч лет исправления; они...

Кашель сотрясает тщедушное тело старика, и грязные брызги летят с губ его в чашку.

Ухожу в стену.

Я принесу ему раковину, из которой кричат чайки и доносится соленый запах прибоя, — он всегда делает вид, что не замечает моей раковины, он отворачивается, комкает лоб морщинами, но кашель стихает, и на губах появляется тень улыбки.

А потом он засыпает.

Я мог бы сделать его молодым, но тогда он сожжет меня Именами.

...щелкает застежка медальона.

Золото.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

...Уже проснувшись и даже открыв глаза, она некоторое время лежала, не шевелясь, глядя в никуда пустым, отсутствующим взглядом. Человек? Тело без души, без разума? Кукла в смятых простынях?

Нет ответа.

В эти тягучие утренние мгновения, когда стылость рассеянного света медленно, словно нехотя, вползала в спальню сквозь щели между наспех задернутыми шторами, она ненадолго позволяла себе побыть обнаженной. Не без одежд — это банальная обыденность. Без личины. Сейчас ее никто не видел: пан Станислав, повернувшись к ней спиной, сладко всхрапывал во сне, и пуховая перина мерно вздымалась и опадала в такт могучему дыханию зацного и моцного пана... впрочем, он ведь просил называть его просто Стасем, особенно при посторонних.

Интересно, если и впрямь внять его просьбе, что последует раньше: поощрительный смешок или дыба?.. Проверять не хотелось.

Спит. Пусть себе спит. А если притворяется (после короткого, но близкого знакомства Сале не исключала и этого), если да-

же и исхитрится тайком заглянуть ей в глаза в миг внутренней наготы — подумает, что спросонья все бабы глупы.

Ишь, вылупилась...

На самом деле сейчас Сале бодрствовала. Холодно и невозмутимо, словно река подо льдом. О том, какая она на самом деле, знали всего двое: она сама и ее мастер. Человек, которому она бы с наслаждением вонзила в сердце граненый стилет. А лучше не в сердце — в печень. Чтобы уходил долго и мучительно. Мастера Сале ненавидела, как никого на свете — ведь это из-за него казнили Клика! Но ненависть, единственное яркое чувство в ее жизни, если не считать... не считать!.. забыть, закрыться, иначе... короче, ненависть была до тошноты бессильной, потому что... потому. И мастер знал это.

Именно он дал ей прозвище — Куколка.

Он был прав, как всегда; впрочем, многие полагали это прозвище не очень смешной шуткой. А зря. Шутка была смешная. Вот уже четыре года Сале ходила в личине. Карнавальное тряпье из человеческих страстей, добродетелей и пороков, блестки улыбок, серпантин испуга и тревоги, конфетти растерянности, наивности и откровенности, фейерверк страстных вздохов в постели... Все это было почти настоящим. Почти. Мишура, которую мы топчем ногами, идя похмельным утром после праздника. А внутри этого кокона, этого тела, некрасивого тела, иногда чувственного, иногда чувствительного, жила другая Сале.

Та, которая сейчас смотрела в никуда остановившимся взглядом, потому что спросонья все бабы глупы.

Изредка она-настоящая выходила наружу и наблюдала со стороны, как ее тело едет куда-то верхом или выгибается сладострастной кошкой на ложе. Временами ей, той, настоящей Сале, бывало интересно наблюдать со стороны за собственной оболочкой. Она даже научилась извлекать нечто приятное из ощущений своего тела — и потом, в минуты скуки, перебирала в памяти эти ощущения, как горсть ярких, но дешевых стеклышек.

Временами она задавала себе вопрос: зачем она еще живет? Зачем выполняет поручения своего мастера-убийцы? Зачем носит личину, ест, пьет, смеется, ложится в постель с мужчинами? Зачем? Неужели внутри ее-настоящей, пустой, выгоревшей Сале, еще что-то осталось? Или... или эта пустота — тоже своеобразная оболочка? Кокон в коконе, которым гусеница закрывается уже не от других — от самой себя?

От глубины в глубине?.. нет, не так — от бездны в глубине?!

Но если там, за оболочками, и впрямь крылась правда, то Сале была бессильна до нее добраться. Она пыталась — и всякий раз у нее перехватывало дыхание. Словно при погружении в темную, ледяную воду — судорога, руки бьют наотмашь, и сле-

пой животный страх выталкивает на поверхность. Значит, она способна испытывать страх? Значит, там, в бездне, есть чего бояться?!

Нет ответа.

Надо было жить. Носить приросшую личину, выполнять приказы, куда-то ехать, спасать себя и спутников... И ждать.

Чего именно — Сале не знала. Она уже устала гадать и теперь просто старалась не забивать себе голову подобными мыслями. Она жила в смутной полудреме, инстинктивно следуя течению несущего ее потока событий.

Она была *вне*.

Пока.

Та, что затаилась в заброшенном чулане души, ждала своего часа.

* * *

Женщина моргнула — и без видимого перехода в глазах ее возникло осмысленное выражение. В куклу-куколку вдохнули душу — она ожила. Как первый человек из глины, о чем пишут местные святые книги. Как тот мертвец, что стоит за креслом милого Стася во время трапез. Как... интересно, она уже кощунствует или еще нет?

Сале сладко потянулась и выбралась из-под перины.

Вечно мерзнущий хозяин здешних угодий всегда накрывался второй периной вместо одеяла. А на вид и не скажешь: такой цветущий мужчина!.. кого хочешь в гроб загонит.

Утро, как выяснилось, было отнюдь не раннее, да и не очень-то утро. Живя с паном Станиславом, большим оригиналом с любой точки зрения, немудрено и вовсе день с ночью перепутать! Сам заядный пан Мацапура-Коложанский давным-давно привык отсыпаться днем, бодрствуя в темное время, а вот у Сале такая совиная жизнь плохо складывалась. В итоге полдня она обычно выглядела как сонная муха — лишь к вечеру мало-помалу приходя в себя (во всяком случае, со стороны это смотрелось именно так). А там хозяин усадьбы изволили вставать к делам праведным, и вся круговерть начиналась по новой!

Пока слуга согрел воду для омовения, наполнив до краев огромную бочку, пока Сале привела себя в порядок, пока ей подали холодную шпундру, как здесь именовалась шпигованная чесноком грудинка, от которой скулы сводило, солнце незаметно миновало зенит. Где-то в глубине дома время от времени слышался дробный топот маленьких ножек — росший не по дням, а по часам младенец резвился в коридорах и выделенной ему дальней коморе. Громко тикали высокие напольные часы в резном футляре из мореного дуба. Больше никаких звуков в доме слышно не было: прислуга появлялась и исчезала бесшумней

привидений, у которых, как всем известно, ног нет и не предвидится — знатно вышколил свою челядь веселый Стась!

Или они и вправду призраки?

Следовало до пробуждения пана Станислава покопаться в кое-каких книгах, до которых у нее еще не успели дойти руки. Впрочем, книги никуда не денутся, да и сам Мацапура не станет препятствовать ее занятиям. Зато выйти на двор, вдохнуть свежего морозного воздуха, чтобы в голове прояснилось окончательно, — это надо было сделать наверняка!

Набросив на плечи полушубок из черной, битой сединой лисы (дома за него деревню купить можно было бы!) прямо поверх бумажной керсетки, Сале вышла на крыльцо.

Двое усатых сердюков у крыльца мигом бросили резаться в «хлюста» засаленными картами, вскочили и почтительно поклонились женщине. При других обстоятельствах это, возможно, даже понравилось бы Сале. Не так уж часто кланялись ей там, где она имела несчастье родиться. Но... сейчас у нее хватало забот помимо честолюбия!

Морозный воздух слегка обжигал, покалывая кожу тонкими стеклянными иголками. По ту сторону Рубежа так холодно не бывает никогда. Сале ловко присела, сгребла в ладошку скрипучий снег и, слепив упругий комок, запустила им в стойку ворот под одобрительное хмыканье сердюков.

Попала.

Ножи и метательные клинья она тоже бросала изрядно. Только мало кто знал об этом ее таланте. А кто знал, тот помалкивал по многим причинам.

В конце улицы послышалось гиканье, конский топот. Возвращались сердюки, отправленные утром в лесную засаду. Похоже, не поздоровилось черкасам сотниковой дочки! Смышлен пан Юдка, ох смышлен в делах тайных... И Гриня этого знал, на что купить: видишь свою Оксану? Жива, здорова, по тебе сохнет. Вот теперь сгоняй по-доброму к панне сотниковой, передай, что велено, да с усердием — и забирай девку! Хоть завтра свадьбу сыграем!

И не ей, Сале Куколке, судить парня! Он за любимую чужих людей под лихую смерть подставил, а она? Что бы она сделала, лишь бы своего Клика спасти? Мир бы сожгла, не то что чужих в могилу спровадить — да без толку все. Делай не делай, жги-полыхай, хоть пополам перервись — нельзя лопоухому помочь было, никак нельзя...

Все! Хватит! Не вспоминать!

Кажется, на миг у нее снова стали *настоящие* глаза — недаром же тот сердюк, что постарше, странно скосился на пришлую бабу. С сочувствием, что ли, с опаской? с подозрением?!

Пусть его косится!

Сале заставила себя с извечным бабьим любопытством взглянуть на приближающихся всадников — и едва не вскрикнула. Так кричит ребенок, сунув руку в крапиву; так наступают на гадюку. Обычное зрение чуть запоздало, и лишь через мгновение Сале осознала: иссиня-черный сполох над всадниками, столь испугавший ее впопыхах, — двойной. Первый язык его клубился над санями, из которых торчали две пары ног, а второй жадно облизывал рыжебородого мужчину, ехавшего впереди кавалькады.

Юдка!

Консул был ранен, и ранен опасно. Если вовремя не оказать помощь...

Почти сразу взгляд женщины наткнулся на долговязого воина с прямым, нездешним, мечом у пояса. Рядом с ним, держа руки на рукоятях пистолей и посмеиваясь в усы, ехали трое сердюков постарше.

Рио!

Значит, где-то рядом должен быть и к'Рамоль, которому местные знахари-шарлатаны в подметки не годятся! Юдку надо спасать, он обязательно должен выжить, консул им нужен позарез, без него...

Женщина умом не вполне отчетливо понимала, что означает это «без него...», но сердце подсказывало: в чужом Сосуде потерять консула, который в обход правил предупредил чужаков о заговоре Малахов, — глупость и безрассудство.

Чтобы не сказать большего.

— Рио! Где к'Рамоль?!

Сперва ей показалось, что она заглянула в колдовское зеркало — таким опустошенным, выжженным показался ей ответный взгляд героя.

— Застрелили его, Сале. Понимаешь... совсем застрелили. И Хосту — тоже.

На миг она растерялась. Внутри оплыл слезами кусок подтаявшего льда — не помогла ни маска, ни пустота .. Взять себя в руки! Немедленно! Сейчас нужен лекарь. И если сердцееда к'Рамоля волей судьбы больше нет среди живых...

Она обернулась к ехавшим следом довольным, ни о чем не подозревающим сердюкам.

— Лекаря, быстро!

— Благодарю за заботу, сиятельная пани! — с некоторым усилием усмехнулся Юдка. — Тому хлопцу, что в санях, лекарь таки потребен!

Кого он хотел обмануть? Сале прекрасно видела, что консул держится из последних сил. Проклятье! Дура несчастная! Он ведь еще и раненого сердюка держит, не только себя!

Она сбежала с крыльца и остановилась перед замешкавшим-

ся всадником в сером жупане, широких черных шароварах и смушковой шапке.

Впилась взглядом в изумленно вытаращенные на нее карие глаза.

Не отпустила.

— Скачи за лекарем! Живо!

Только снег взметнулся из-под копыт.

Да, здесь ее и без того невеликие силы киснут, как молоко на солнцепеке, — но на такое... грех скряжничать. Иначе этот болван-десятник до вечера бы за лекарем собирался!

С коня консул слез сам.

— Да ты никак ранен, пан Юдка!

В дверях стоял сам пан Станислав, в мятой ночной сорочке и накинутой поверх нее медвежьей шубе, без шапки, в остроносых домашних туфлях на босу ногу.

Озабоченный отец семейства. Как здесь говорят?.. Ах да — пан добродий.

— Вэй, пан Станислав, разве ж незамужние девки умеют ранить? Смех, не рана...

— Ну-ну, — похоже, Мацапура-Коложанский прекрасно все понял: и то, что рана серьезная, и то, что Юдка не хочет показывать этого при сердюках. — Удачно ли на охоту съездили?

Сердюки разом заухмылялись. Как же: с победой вернулись, и пан доволен, вон, шутить изволит!

— Удачно, пан Станислав. Поглянь, какую козочку заполевали!

Юдка медленно, нога за ногу, двинулся к дому. А Сале не удержалась и вслед за Мацапурой подошла к остановившимся саням.

В смятых плащах, брошенных на дно розвальней, лежали двое: Гринь, брат урода-младенца, и уже виденная Сале сотникова дочка. Оба были без сознания. «Девчонку просто оглушили, оправится быстро, — сразу определила Сале, — зато парень плох. Только на Слове консула и держится».

— Да то ж панна Яринка! — вполне натурально всплеснул руками Мацапура, и любой, кто не знал веселого Стася, вполне мог увериться: зацный пан искренне удивлен и огорчен тем положением, в котором оказалась девушка. — А ну, живо! Хлопца до хаты, пусть лекарь его пользует, а о панне Ярине я сам позабочусь...

Пан Станислав уже забирался в сани, как был, в шубе и в ночной сорочке. Уселся на передке, взял в руки кнут, обернулся к стоявшей рядом Сале.

— В замок отвезу, там за ней присмотрят! — Губы Мацапуры расплылись в добродушной улыбке. — Перевяжут, вином напо-

ят, чтоб кровью не изошла. Кровь молодая, чистая, нельзя, чтоб панночка ею изошла, никак нельзя!

И Сале поняла, что имеет в виду пан Станислав.

* * *

...Консула она тогда, при первой встрече, узнала сразу. Добро б просто узнала! — ловчим псом вывела спутников прямо на него, идя по невидимой ниточке быстро слабеющего *следа*. Да, здесь ее способности уходили водой в песок — но она успела дотянуться верхним чутьем. Успела и расслабилась, решив, что миссия, ее *последняя* миссия, практически завершена...

Как бы не так!

Оказалось, что все еще только начинается!

Вернее, началось раньше.

Ну кто, кто мог знать наперед, что этот ироничный красавчик Рио, рубаха-парень и рубака-парень, стеснительный благодетель многодетных побродяжек, — двоедушец?!

Нет, то, что герой находится под заклятием, Сале, конечно, знала — но она и подумать не могла, что дело обстоит настолько серьезно! Ведь тогда, при Досмотре, когда строго прозвучало: «Вы пытаетесь провести через Досмотр второго человека? Вторую личность?» — она растерялась. И испугалась. При последующих словах Малаха-Досмотрщика: «Вам известно, что лиц, уличенных в нарушении визового режима, постигает административная ответственность?»

Однажды ей довелось видеть, что бывает с теми, кто пытается пересечь Рубеж нелегально. В ушах до сих пор звучит вопль неудачника, возомнившего, будто он может беспрепятственно миновать Досмотр. Он был самоуверен. У него имелась действительно стоящая контрабанда, за такую любой чародей с радостью опустошит свою казну; и он рассчитывал... не рассчитал.

Он кричал долго, пытался сопротивляться... Потом по ту сторону Рубежа, куда он так стремился, упала его пустая оболочка.

Бычий пузырь, из которого выпустили воздух.

Наверное, действительно великим магам изредка удается прорваться через Рубеж — силой или обманом. Краем уха Сале слыхала о случаях прорыва, хотя Малахи и не любят распространяться о своих неудачах. Однако живьем она ни одного нарушителя не видела.

Сале запаниковала (хотя страшная и малопонятная «административная ответственность» угрожала сейчас отнюдь не ей) — и неожиданно услышала обращенные лично к ней слова Малаха-Досмотрщика:

— В принципе, мы можем сделать некоторое исключение из правил для вашего спутника.

Сале не поверила своему внутреннему слуху! Малах предлагал ей...

— У вас есть вещь, которая могла бы помочь нам в работе. С ее помощью значительно легче отслеживать запрещенные к провозу сущности и вибрации...

Сале сразу поняла, на что намекает Малах. Это бабнику к'Рамолю и простодушному герою Рио она потом соврала первое, что пришло на ум: «Крючок для ловли саламандриков»! Нет, это и на самом деле был крючок, только ловилась на него дичь куда более серьезная. Чужие Слова, даже непроизнесенные вслух (или, как называет их консул, — Имена). Артефакт на самой грани дозволенных к провозу через Рубеж; и то лишь при наличии заверенной декларации с обязательством возвращения имущества.

Она не колебалась ни единого мгновения, ибо этого мгновения ей попросту не дали. И вовсе не уловила, в какой момент оказалась вместе со спутниками вне Рубежа — без крючка, но, как позже выяснилось, на крючке. В тот момент Сале не могла думать ни о чем, а в голове истеричной мухой билась одна-единственная мысль: «Пронесло!»

Потом было чужое село, бегущие люди, избитый парень со странным младенцем на руках, хата, вооруженные гости, грохот огненных самострелов (не впервой доводилось Сале видеть такое, не впервой; в одном из дальних Сосудов подобные штучки были куда опасней...); и, наконец, — встреча с консулом.

Удача?

Провал?

Консул, конечно, себе на уме — но, хорошо хоть, предупредил! Только теперь Сале поняла, как их ловко подставили! И кто? Сами же Рубежные Малахи! Придрались к Рио-двоедушцу, вынудили дать взятку — и все, обратный путь для них закрыт! Проклятье, попасться, как сопливой девчонке, с перепугу согласной на все и с кем угодно! Дура! Набитая дура! Надо было плевать на Рио, возвращаться, брать того лысоватого Убийцу Драконов — или, если бы Рио пощадили, выписывать на него вторую визу... Время? Да, время бы они потеряли, зато тогда уж комар носу не подточил бы! Хотя... Если их и впрямь решили подставить — подставили бы так или иначе!

Одно странно: из-за кого весь сыр-бор? Из-за нее, Сале Куколки? Да кому она нужна, колдунья-недоучка! Из-за героя-двоедушца?! Так чего проще было — подвергнуть сразу «административной ответственности», и дело в шлеме! Спутники Рио вообще пустышки...

Значит, остается ребенок.

Малахи не хотят, чтобы он оказался по ту сторону Рубежа!

Только сами же Малахи перед этим и отдали распоряжение доставить ребенка в местный Сосуд!

Голова кругом идет... ну что, Куколка, еще побарахтаемся или как?!

Сале криво усмехнулась.

Она вполне отдавала себе отчет, что «побарахтаться» ей могут и не дать.

* * *

— Ну, хто туточки ликаря пытал?

В дверях коморы, где лежал пластом надворный сотник, воздвиглись: посередке — овчинный кожух с обшитым черкасином подолом, снизу и сверху соответственно, — растоптанные чоботы из войлока-стеганки и лихо сбитый набекрень малахай. Внутри этого изобилия, кочерыжкой в капусте, прятался на диво румяный дедуган, хитро поблескивая глазками-маслинками из-под заиндевелых бровей.

«И когда это он успел? — мимоходом отметила Сале. — Верховой едва-едва коня в стайню отвел, а он уже следом! Да и второй раз топота слышно не было. Пешком прибежал? Или на пузыре воздушном прилетел, о котором консул рассказывал?»

— Это ты, что ли, лекарь? — без особого радушия поинтересовалась она.

По тону сказанного сразу чувствовалось: в лекарские способности деда женщина не верит ни на грош.

— Ни, який же я ликар, ясна пани? — искренне удивился дед, разоблачаясь и шмыгая носом-картошкой. — Пасичник я, Рудый Панько, тут, окромя вас, меня всяка собака знает! И пан Юдка знает, мы пана Юдку с Божьей помощью третий раз за пейсы из домовины тащим! Вы, пани ясна, не терзайте серденько, я не ликар, от меня ему вреда не будет...

— Пусти его! — прохрипел с кровати Юдка, и Сале подчинилась.

Пасичник, у которого под кожухом обнаружилась очень даже приличная, чуть ли не щегольская, чумарка на вате, мигом оказался рядом с кроватью. И принялся споро извлекать из принесенной с собой латаной торбы какие-то скляницы, горшочки и узелки, выставляя их на столик в одному ему ведомом порядке.

— Славно тебя стрелили, жид, славно, лысый бес начхай им в кашу! — бурчал дед, ловко сдирая присохшую повязку и со знанием дела осматривая рану. — Хто ж это так?! Ой, славно, аж завидки берут...

Сале присела в углу; смотрела, слушала. Дед явно был не прост, но женщина все еще не до конца верила, что этот замшелый хитрован сумеет поднять консула на ноги. Лучше здесь остаться. Мало ли? Вдруг знахарю помощь потребуется? В лекар-

ском деле Сале кое-что смыслила, хотя и недостаточно, чтобы самой вытянуть умирающего (в последнем она не сомневалась!) консула с того света.

— Дочка сотникова, Ярина, из мушкета саданула, — Юдка закашлялся, на губах у него выступила кровавая пена, пачкая усы.

Сале порывисто встала, но Рудый Панько, не оборачиваясь, махнул ей рукой.

— Сидите, пани ясна, бросьте тугу-печаль, все ладом выйдет! Пан Юдка такой орел, что хоть сала не ест, зато горелку кухлями свищет, его ни християнская, ни жидовская погибель не возьме — подавится...

Удивительное дело: в здешних краях Прозрачное Слово, прилагаемое к любой визе, действовало далеко не лучшим образом; а в случае со старым пасичником — и вовсе из рук вон плохо. Треть сказанного дедом оставалось малопонятным, и приходилось больше догадываться по смыслу.

Сале села обратно, но сидела словно на иголках.

— Не в попа, не в дяка кров, мов юшка з буряка, — скороговоркой забормотал меж тем Панько, чуть не тычась бороденкой в открытую рану, — тою кров'ю гоять раны молодого юнака... перший у верши, третий в очерети, п'ятый — проклятый...

Сале с изумлением вслушалась, даже без смысла вжилась в ритм... Пасичник читал заговор! И добро б из простых! Пожалуй, такого не смог бы и покойный к'Рамоль... не срывая чужого Слова, подложить свое!..

— Добряче тебя дивчина приложила, всякого ей счастья и парубка доброго, — странным образом умозаключил Панько, закончив нашептывание и занявшись собственно раной. Безмолвно возникнув в дверях, слуга поставил у кровати медный тазик с горячей водой и вновь исчез. Сале не слышала, чтобы Рудый Панько кого-нибудь звал. То ли слуга сам догадался, то ли дед еще с крыльца распорядился.

В ход пошли остро пахнущие мази, медовые соты, серый порошок с запахом цветочной пыльцы. Лоскуты для перевязки тоже нашлись в торбе, причем на удивление чистые.

Пулю от мушкета, невесть как оказавшуюся в корявой ладони деда, тот аккуратно завернул в платок и спрятал за пазуху.

— Ну, ныне узвар сготовим, напоим тебя, пан Юдка, — и плясать тебе гопака у меня в хате!

Панько обернулся к исходившему паром тазику, мимоходом мазнув взглядом по застывшей в углу Сале. Только тут до женщины дошло, что вода в тазике *кипит и не думает успокаиваться*. Вот тебе и дед!

А дед тем временем увлеченно бросал в кипяток горсти сушеных травок и продолжал без умолку болтать, обращаясь в ос-

новном к тазу и Сале (консул, похоже, все истории Панька знал наизусть и сейчас впал во временное забытье).

— Ты, пани ясна, за пана Юдку не держи заботы! Рудый Панько и живого вылечит, и мертвого подымет!.. Хотя мертвяки — дело особое, про них все больше пан Станислав слухать любит... Зазовет к себе и просит (слышь, пани ясна, просит! — а не велит!): «А ну, диду, набреши-ка мне страшну байку про опыряких!» Ну, про утопленницу там, про дидька лысого, про чорта-немца... Рудый Панько баек много знает: что сам видал, что дедусь мой (тоже Рудый, и тоже Панько) по вечерам брехал, что батька... Любит он, пан Мацапура, про мертвяков байки, пуще баб с горелкой любит! Прям як паныч из Больших Сорочинцев — помню, все у меня те байки выспрашивал да пером гусиным в малой книжечке малевал. После укатил к москалям, аж в самый Питербурх; байки мои там, сказывают, друкует, про души мертвячьи, а народ читает да нахваливает: «Он бачь, мол, яка кака намалевана!» Вот паныч и вовсе-то загордился: шинель напялил, нос задрал и по ихнему клятому Невскому прошпекту гоголем — гоп, куме, не журися, туды-сюды повернися...

До непутевого паныча из Больших Сорочинцев и маловразумительной дедовой болтовни Сале не было никакого дела. Ее гораздо больше волновало состояние пана Юдки — но консул, кажется, уже начал приходить в себя. Щеки порозовели, обвисшая было борода браво встопорщилась; пан Юдка открыл глаза и, закряхтев, приподнялся на локте:

— Ты, Панько, самому турецкому султану баки забьешь! Узвар готов, или как?

— Готов, готов, пан Юдка! Пей на здоровьечко!.. А скажи-ка, пан Юдка, чи много нынче народу полегло?

— Да десятка два будет, — консул, отдуваясь, на миг оторвался от огромной чашки, из которой с шумом хлебал снадобье.

— А болтают люди, и чужинцев там двоих положили? — В тенорке пасичника вьюнами в бочаге мелькнули странные нотки, не имевшие ничего общего с его предыдущей болтовней. — Врут, что и души-то пропащие, не крещеные, не в обиду почтенному жиду?

— Положили, Панько, положили. На просеке в снегу и остались.

— Добре, добре, — меленько покивал дед. — Треба будет съездить, глянуть... може, на что и сгодятся. Кожушанок им под голову подстелить, чтоб опосля моль не тратила, или лозиной обмерить, для новых ульев...

«Вот тебе и дед! — вовсе изумилась Сале. — В этом Сосуде что, одни некроманты собрались?!»

— Съезди, — равнодушно кивнул Юдка, возвращая пасичнику опустевшую чашку. — Слушай, кликни там кого-нибудь, не-

хай мне чарку вудки принесут да товчеников, что ли, с карасями! И хрена чтоб не жалели, гои необрезанные!

«Выживет!» — с облегчением вздохнула Сале.

* * *

...В книгах она все-таки покопалась, как и собиралась. Темнело здесь рано, однако предупредительный молчун-слуга вовремя принес три витых серебряных шандала, на семь свечей каждый, и установил их на редкость удачно, так что Сале даже не пришлось прерывать своих изысканий. Впрочем, ничего особо нового ей на этот раз не подвернулось. Разве что два косвенных подтверждения тому, что пан Мацапура ошибался, переводя без счета кровь младенцев, — для «Багряных Врат» под чистой кровью подразумевалась скорее всего кровь девственницы.

«По крайней мере, мне это не грозит», — криво усмехнулась Сале.

Дневной отъезд милейшего Стася с раненой девушкой в санях говорил об одном: эту ошибку зацный и моцный пан успел осознать. И если он сумеет сдержать свою поистине звериную похоть...

Ладно, завтра выяснится.

Женщина уже собиралась погасить свечи и, отобедав (или отужинав? все перепуталось!), ложиться спать в одиночестве. Хозяин явно решил заночевать в замке, и это Сале вполне устраивало. Не устраивало ее другое: строка вверху заложенной перышком страницы.

«...ночь, когда запредельные силы проникают на короткий срок в мир человеческий, и мощь всякого колдовства увеличивается многократно...»

Она поспешно захлопнула книгу. Пламя свечей дрогнуло, колыхнулись тени на стенах библиотеки, и на миг Сале показалось, что пошатнулся сам дом от фундамента до крыши. Хотя это, конечно, была лишь иллюзия.

Про чудесную ночь ей уже говорил Мацапура. Как он сказал?.. «Ночь на Ивана-Купалу»?! Скорее всего пан Станислав знал, что говорит: по-видимому, в эту ночь их шансы нелегально прорваться через Рубеж значительно повышались. Вот только... Путем несложных вычислений Сале успела определить: ночь на Ивана-Купалу, которой надо было ждать около полугода, наступит ровно за сутки до истечения срока их визы. Разумеется, ни герой-двоедушец Рио, ни его ныне покойные спутники не знали, что в действительности означает «истечение срока визы».

Невозвращенец, уколотый золотой иглой, просто-напросто умирал. Причем эту смерть не назвал бы легкой даже добродушный пан Мацапура.

Она проснулась затемно, за два часа до рассвета, как и приказала себе, засыпая. В комнате стоял кромешный мрак: свечи погашены, дверь плотно прикрыта, шторы на окнах задернуты — ни лучика, ни искорки звездного света!

Пора.

Пора вершить задуманное.

Сале несколько раз глубоко вздохнула. Закрывать глаза в этой темноте было совершенно не обязательно — но привычка взяла свое. Веки смежились, мысли одна за другой канули вниз, в темный омут внутренней бездны, растворяясь в ней; тьма перед глазами постепенно наполнилась внешним светом, проступающим оттуда, из-за грани плотского мира...

Кеваль — означает «Проводник».

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

...отстань!

Не слышит.

Уйди!.. дай сдохнуть...

Не хочет слышать.

Ты не сын мне! Ты — палач, ты — убийца матери, лишивший меня Ярины; ты — подлый выродок, что глумливо разрывает могилу отца своего, забавляясь голым черепом, силой пробуждая останки к чудовищному подобию жизни... отыди от меня!

Теплые пальцы с осторожной властностью раскрывают створки драгоценной раковины; вынимают золотую осу из медальона.

Чего ты хочешь, маленький ублюдок?!

Сизая мгла клубится за единственным окном. До восхода не меньше двух часов, и Древо Сфирот оплывает мутным киселем, тем соком, что, даже загустев, не останется на стволе янтарной капелькой — мгла исподволь обволакивает спящую жизнь, и черные остовы тополей еле-еле проглядывают вдали, тянутся из савана бессильными руками мертвеца.

Ну отпусти же меня... молю!

Дай не-быть...

У стены напротив, на дубовой кровати с резной спинкой, прямо в смятых простынях — женщина. Нагая. Незнакомая, чужая. Сидит, бесстыдно скрестив ноги. Плотно сомкнуты тяжелые веки, прошитые лиловыми строчками вен, и залегли мешки под глазами, темнея озерными бочагами. Смеюсь неслышно. Сын мой, враг мой, что ты делаешь в этих покоях, рядом с этой женщиной?.. не отвечает. Замер в дверях истуканом, держа на ладони золотую осу; ежесекундно облизывает языком вывернутые губы. Ты похож на меня не только лицом, да? Ты тоже лю-

бишь Хавиных дочерей?.. не отвечает. Конечно, ведь тебе еще не дано их любить по-настоящему, тебе еще не исполнилось тринадцати месяцев, как смертным должно исполниться тринадцать лет, прежде чем их «нэр-дакик», духовная сердцевина, оплодотворится истинной душой, итогом совершеннолетия... Зачем же ты пришел сюда? зачем смотришь? зачем принуждаешь меня смотреть?

Ладонь теплая, спокойная, и шесть тонких пальцев слегка согнуты в суставах, словно держат не осу, а спелый персик — боясь раздавить, брызнуть ароматным соком.

Зачем?!

Часть сыновнего тепла в ответ переливается в меня нежданным подарком. Сопротивляюсь. Как могу, как умею, ставлю преграду за преградой. Увы, потуги тщетны — тепло движется помимо моей воли. Я согреваюсь, я сдаюсь, презрев гордыню; я ем Хлеб Стыда, обжигаясь им, захлебываясь, и искорка внешнего света сама собой пробуждается в остатках... останках кафМалаха.

Уголь в пепле погребального костра; рдеет случайным отсветом-милостыней.

Смотрю.

Женщина некрасива. Не только лицом; телом тоже. Вялые груди смотрят в стороны сосками, не знавшими прикосновения губ младенца, руки густо покрыты белесым пушком, лежат на костистых бедрах двумя сбитыми влет птицами, и складка простыни едва касается раскрытого лона. Аура над женщиной тоже некрасива: знакомый кисель, матовый, бледный, какого полно за окном — без лазури мечтаний, без кровавого багрянца похоти, без ажурной зелени грез.

Пустота; между полночью и восходом.

Вглядываюсь.

Да, правда. Женщина не здесь. Здесь лишь тело, бренное тело, чья нагота бессмысленна и бесполезна. Ткни это тело каленым железом, опрокинь на спину и сотвори насилие, ударь по щеке наотмашь — не заметит.

Зачем мы пришли сюда, сын мой?!

— Лети...

Куда?!

Ладонь движется вперед. Цепляюсь лапками за линии жизни и бугры достоинств, словно надеясь изменить судьбу младенца; раздраженно бью крыльями, закручивая воздух смехотворными вихрями; сотрясаю пространство гневным жужжанием.

Тщетно — меня просто-напросто стряхивают.

Сижу на женской ключице. Рядом, чуть выше, — подбородок. Неожиданно твердый, резко очерченный. Кожа подо мной еще упруга, но это ненадолго. Это все ненадолго; и я в том чис-

ле. Раздражение заполняет меня целиком, без остатка, мутный яд течет во мне, мутная мгла без надежды на рассвет, сухие руки меня-былого обиженно тянутся к съеденному тучами небу, и я чувствую: сдерживать злобу больше нет сил.

Осиное жало впивается в бесчувственную плоть.

Жалю, чем могу.

Не испытывая облегчения.

Аура вокруг женщины закручивается водоворотом, меня втягивает в воронку, и, прежде чем захлебнуться этой гнилостной мутью, я успеваю заметить: мой сын стоит на пороге, по-птичьи склонив голову к плечу.

Он улыбается.

* * *

Грязь чавкает под ногами. Легкие туфельки на каблуке-шпильке совсем не приспособлены для хождения по болотам, по мокрым склонам, текущим оползнями глины, — но тем не менее... и липкая жижа почему-то не задерживается на атласе лакированной кожи. Поодаль, до половины утонув в осоке, стоят рядком плакучие ивы — свесили желтеющие косы до самой земли, изумленно глядят вслед.

Гляжу и я.

На легкие туфельки, на белую пену кружев вокруг корсажа на китовом усе, на роскошь платья из розовой тафты, чья шемизетка сплошь расшита соцветьями изумрудов и бриллиантов; а над всем этим великолепием царит сияние жемчужных нитей в волосах. О, восхититесь! — юная красавица стремглав бежит по кочкам и лужам, вишневым цветом порхает над зарослями чертополоха, мотыльком огибая топкие места, смеясь над растопыренными колючками терновника...

Да, я понимаю.

Она, та некрасивая женщина в простынях, — такой она видит себя здесь, в Порубежье.

Завидую; мне никогда не увидеть себя-прежнего даже в грезах.

Увидеть — значит стать, а для меня это потеряно.

Дальше, начинаясь близ ореховой рощи, проглядывают из тумана деревянные столбы. Длинная, бесконечная вереница; каторжники бредут по этапу. Сочувствую: бывшие деревья, мы с вами одной крови, пролитой на потеху врагам. На столбах рядами натянуты жилы из металла, украшенные стальными репьями. Ржавчина густо испятнала ограждение, запеклась повсюду бурой коркой, и нижний ряд жил тонет в грязи, сливаясь с ней. По ту сторону — опять болота, холмы, деревья и сухой кустарник. Все так же, как и здесь, но красавица в бальном платье

смотрит вдаль с тоской во взоре. Ей смертельно хочется туда, за жилы из металла, за рукотворный репейник.

Да, я понимаю.

Она, та некрасивая женщина в простынях, — таким она видит Рубеж изнутри.

Засмеяться бы, но нечем.

Меня здесь нет, я здесь случайно... я — яд в чужой ауре.

Туфельки несутся двумя обезумевшими лодочками, рукава знаменами полощутся на ветру — быстрее, еще быстрее! Только тут до меня доносится отдаленный лай, переливчатая, почти членораздельная злоба: там, во мгле, свора идет по следу. По следу юной девушки с жемчужными нитями в волосах, по следу некрасивой женщины в смятых простынях, рискнувшей явиться в Порубежье без надежды прорвать и уйти.

Дочь любопытной Хавы, что ты здесь делаешь?!

Лай вдруг стихает, будто невидимые псы потеряли след. Но радоваться нечему: по ту сторону ограждения из-за приземистого холма выезжает одинокий всадник. Жеребец под ним отливает аспидной чернотой, горделиво ступая по земле; сам всадник почему-то одет в пышный наряд кастильского дворянина, каких много собиралось поглазеть на костры соплеменников старого рав Элиши. В облике всадника есть все: кожа и шелк, парча и бархат, пряжки и эполеты, ножны длинной шпаги у бедра, лаковые голенища сапог и перо на широкополой шляпе. Даже плащ на нем того цвета свежих роз, который получается лишь при смешении кармина с персидским кобальтом... нет лишь главного.

Лица нет, рук нет — вместо открытой взгляду плоти ровно дрожит голубоватое сияние.

Свет в мирских одеждах, верхом на жеребце из мрака.

Да, я понимаю.

Она, та некрасивая женщина в простынях, — таким она видит Самаэля, гордого Малаха, чья власть зиждется на силе... да, я понимаю.

И еле удерживаюсь, чтоб не закричать; хотя кричать мне нечем.

Меня здесь нет, я здесь случайно...

Самаэль подъезжает к ближайшему столбу. Спешивается. Ленивый свет вытекает из-под обшлага, трогает металл репья, ласкает ржавчину. Пространство между кружевным воротником и шляпой вспыхивает пламенем свечи: белая вершина, чья суть — Благо, голубая сердцевина, чья суть — Уничтожение, и красное основание, чья суть — Поддержка. Мгла вокруг Малаха редеет, рвется клочьями тумана, но вместо звезд в небе проступают искрящиеся буквы. Йод, Шин, снова Йод, и снова Шин, и снова — слово «Бытие», многократно подхваченное небосводом.

Красавица останавливается.

Ее бег завершен.

— Подойди, Проводник, не бойся! — говорит Самаэль.

Ржание вороного жеребца эхом вторит ему.

Бальное платье — у столба. По эту сторону заграждения. И псы совсем умолкли в туманной дали. Словно умелые псари дернули сворку, уводя клыкастых питомцев прочь от добычи. Двое стоят, разделенные колючей паутиной: Существо Служения и душа одной из дочерей Хавы.

А вокруг все так, как хочет видеть смертная.

— Ты все-таки боишься, Проводник? — спрашивает Самаэль. — Ты не ожидала встретиться здесь со мной?

— Да, боюсь, — отвечает красавица.

Голос ее тускл.

Засиженное мухами стекло — вот ее голос.

— Почему?

В ответ стекло трескается отчаянным воплем.

— Потому что ты предал меня! Потому что я выполняла твой приказ, о могучий Самаэль, когда отправилась сюда за этим чудовищным ребенком! Ты... ты обещал мне, что это будет последнее, самое спокойное задание, что после него ты выведешь меня из мира-мертвеца, из треснувшего Сосуда! Ты обещал; ты клялся непроизносимым Именем Творца о четырех буквах! И что же?! Теперь Рубеж наглухо закрыт для преступницы, и меньше полугода отделяют меня от смерти! Где справедливость?! Ты лжец, великий Малах! Слышишь?! Я, Сале Кеваль, Проводник, утверждаю: Ангел Силы, ты подлый лжец!

Тишина.

Лишь огонь лица Самаэля теперь течет вверху пурпуром, а внизу — белоснежным молоком.

Голубая сердцевина, чья суть — Уничтожение, неизменна.

— Это все, Проводник? Все, что ты хотела сказать мне, воровским образом явившись в Порубежье?

Без гнева, без злобы — одно равнодушие царит в вопросе Самаэля.

Сале Кеваль (теперь я знаю, как зовут некрасивую женщину в смятых простынях!) молчит.

Кажется, она выгорела.

Дотла.

Напротив нее стоит высокий воин: двуслойный панцирь с алыми шнурами надет поверх черно-синего кафтана, рогатый шлем с пятирядным нашейником «кабанья холка», на блестящих пластинах набедренников красуются по три бабочки из полированной меди. У пояса — меч в ножнах с чехлом из медвежьей шкуры; за плечом висит лук, туго обтянутый лакированным волокном пальмы.

Между налобником шлема и нижней частью «кабаньей холки» — свет.

Мертвенный, холодный свет букв в небе.

— Я никогда не лгу, Проводник. Не умею; не способен. И никогда не оправдываюсь — запомни это, если не хочешь смерти более страшной, чем просто смерть. Мне, сподвижнику Габриэля, князю из князей Шуйцы, не раз закрывавшему Рубеж собственным свечением, по-прежнему нужно от тебя одно. Чтобы ты привела отпрыска Блудного Малаха туда, откуда ты родом. Именно потому, что время жизни Сосуда, который ты зовешь родиной, взвешено, сосчитано и измерено. Именно потому, что радуга уже не первый год висит в вашем небе; и не только после дождя. Значит, договор расторгнут, и заступника нет...

Позади хозяина надрывно стонет гигантский нетопырь, в нетерпении дергая кожистыми крыльями.

Вороной жеребец — в прошлом.

— Так должно быть, и так будет, — заключает Самаэль после долгого молчания. — Но Десница в лице этого старовера-Рахаба, этого олицетворения трусости и ожидания, чья сущность — Досмотр чужих карманов... Впрочем, это не твое дело, Проводник. Забудь. Ты поняла меня?

— Я поняла тебя, великий Малах, — судорожно кивает Сале, закусив губу.

— Ты хорошо поняла меня?

— Да. Я хорошо поняла тебя, Ангел Силы.

Бунт женщины умер, не начавшись.

Так смолкает невольный богохульник перед тяжестью косматых туч над головой, чреватых бурей.

— Запомни, Проводник: то, что случилось с вами при Досмотре, — ошибка. Умысел осторожного Рахаба и моя невольная оплошность. Я властен, но не могу исправить ее. И поэтому обычный путь назад для тебя закрыт. Знаешь ли ты пути иные? Способна ли повести спутников через Порубежье?

— Багряные Врата, — еле слышно бормочет женщина, но Самаэль слышит ее, удовлетворенно кивая.

Слышу и я — ведь меня здесь нет... меня вообще нет.

Слышу, захлебываясь Хлебом Стыда, ибо счастлив, что грозный Ангел Силы не видит меня-нынешнего.

Прав был рав Элиша, тысячу раз прав, ругая меня последними словами и называя болтуном! Сглазил!.. — подслушали. И Рубежные бейт-Малахи начали охоту за моим сыном едва ли не с момента его зачатия!

— ...Хорошо, Проводник. Открывай Врата любым способом, не медли. Я прикажу всей Шуйце пропустить тебя через пограничную полосу без вреда. Тебя, ребенка и тех смертных, на кого

ты укажешь мне заранее. Остальные... полагаю, тебе хорошо известно, что бывает с нарушителями. Ты ведь и сама в некотором роде... нарушитель?

Напротив Сале — строгий мундир болотного цвета, чьи погоны украшены лживыми звездами: буквами Йод и Шин. Кожаный пояс с латунной пряжкой, тонкие ремни крест-накрест по груди, лак чехла для малого пистоля; глянец сапог с высокими голенищами...

Между стоячим воротничком и козырьком фуражки — свет.

Теплый, розовый, словно платье бесплотной красавицы.

— Смейся, Проводник! Смейся вместе со мной, ибо близок час! Воистину, не смешно ли? — кладовые Рубежа ломятся от конфискованных Имен, способных до Страшного Суда подымать мертвых из гробов, темницы Рубежа полны величайшими из великих, а Рахабовы служки ловят тебя на какой-то крючок для отслеживания астральной пыли! Смейся, говорю! Существа Служения в раздоре своем унизились до скрытого обмана, сделав подобных тебе участниками раздора — о потеха! Приказываю: смейся!

Жиденький смешок вырывается из груди Сале Кеваль. Налетевший ветер комкает его, словно пальцы нервной старухи батистовый платок; и что-то урчит в брюхе железного чудовища позади Самаэля.

Тишина.

Грязь пенится под ногами красавицы, налипает на туфельки-лодочки, струится по расшитому серебром подолу... чавкающий рот болота подымается к корсажу, шемизетке... душит крик слюнявым поцелуем, тянется к жемчужным нитям в волосах...

Тишина.

И буквы Йод и Шин в небесах обреченно смотрят вниз.

Меня здесь нет, я здесь случайно... меня здесь нет.

— Что... что ты здесь делаешь, маленький мерзавец?!

Нет ответа.

— Ты подглядывал? Ты никогда не видел голых женщин?!

Мой сын кивает, щелкает застежкой медальона и идет по коридору, оставив за спиной покои с вернувшейся женщиной в смятых простынях.

Я — внутри.

Я перебираю, словно четки, слова Самаэля, того гордого Малаха, чья власть зиждется на силе.

«Мне, сподвижнику Габриэля, князю из князей Шуйцы, не раз закрывавшему Рубеж собственным свечением, по-прежнему нужно от тебя одно. Чтобы ты привела отпрыска Блудного Малаха туда, откуда ты родом. Именно потому, что время жизни Сосуда, который ты зовешь родиной, взвешено, сосчитано и измерено.

Именно потому, что радуга уже не первый год висит в вашем небе; и не только после дождя. Значит, договор расторгнут, и заступника нет...»

Сын мой, похоже, мне теперь надо выжить не ради себя одного.

Не смешно ли?

* * *

Старый, очень старый человек сидит в саду на каменной скамье, бездумно вертя в пальцах сухую веточку жимолости.

Я сижу напротив, на бортике фонтана.

— Почему? — спрашиваю я. — Почему ты не приказал ему встать и идти?!

«Мой правнук умер», — молчит в ответ скорбь на скамье.

— Но ведь ты мог бы?..

«Мой правнук умер, — отвечает молчание. — И какое теперь имеет значение: мог я или не мог?!»

Не понимаю.

Когда я могу — это значит, я делаю.

«Глупый, глупый каф-Малах... Ты полагаешь, свобода — это действие? Ты полагаешь, скрытое непременно должно проявляться? Так однажды уже считал пылкий сын Иосифа и Марьям, когда ушел из Санхедрина, дабы открыто воспользоваться знанием Каббалы: «Постигающий Меня ради Меня зовется Сыном Творца, достойным слов: «Се Человек!» Ради этой истины он кормил тысячи людей пятью хлебами и заставлял мертвых восставать из погребальных пелен! Ради этой истины он бросался Именами направо и налево, как неопытный пахарь швыряет семена в иссохшую землю, не знавшую плуга! Тщетно наставники говорили ему: «Лишь в 5755-м году от сотворения мира, лишь через два тысячелетия без пяти лет после твоего рождения, о сын Иосифа и Марьям, когда лицо поколения станет подобно морде собаки, знание Каббалы откроется многим!» Он же отвечал наставникам: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». И что? Кто увидел смысл за покровами всех этих чудес, творимых им? Единицы, как всегда и везде, единицы... Слово «Каббала» означает «Получение», и получивший не имеет права слепо раздавать полученное, словно безумец, дающий золотушным лекарство от боли в суставах! Приведет ли это к свету?! Нет — такие дары приводят лишь к Хлебу Стыда...»

Молчу.

Он плачет без слез, а я молчу.

Я хотел заставить небосвод пролиться цветами над погребальным шествием правнука рав Элиши, но старик запретил

мне это. Он сказал, что ему достаточно слов, которыми ответил мудрый учитель Торы на вопрос своего собственного сына.

Сын спросил:

— Будут ли надо мной скорбеть столь самозабвенно, как над правнуком этого еретика?

— Нет, — ответил учитель Торы. — Потому что ты лев, сын лисицы, а он — лев, потомок многих львов.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

Если б еще Сале понимала... Но нет. Ничего она не понимала, ровным счетом ничего; и меньше, чем ничего, — откуда, из какой грязной клоаки взялся этот кошмар.

Поначалу все складывалось славно.

Выйдя из транса и брезгливо прогнав из коморы дерзкого урода-ребенка, гораздого подсматривать за бабьей щедрой плотью, измученная женщина сразу рухнула обратно, на перину, и провалилась в сон. В обычный, несущий силы и успокоение сон. Как правило, после визитов в Порубежье она спала без видений, но сейчас, впервые в жизни, после злой Самаэлевой шутки с трясиной вместо простого возвращения, все вышло совсем иначе: приснились руки. Теплые руки, до боли похожие на руки Клика, — невидимые, они легко касались нагого тела, и смазанные бальзамом ладони бродили в самых потаенных местах лепестками роз. Истомная нега охватывала Сале, погружая в пушистый мех блаженства, в грезу забытья, а руки все двигались, ласкали, истекали благовонной жидкостью — треск оконной рамы, порыв свежего воздуха, и Сале не удивилась, обнаружив, что летит.

Купаясь в звездах.

Снаружи, в небесах, вместо рассвета царила непроглядная ночь.

«У снов свои законы и свое время», — успела лениво подумать Сале, прежде чем отдаться бродяге-ветру, кружившему ее над сонной землей. Она скучала по рукам, звала их, но те исчезли, а вскоре тишина раскололась вдали гомоном сотен голосов и еще почему-то — отчетливым хрюканьем свиньи. «Не хочу! — капризно подумала Сале, упрекая сон в явной безвкусице. — Не хочу! не надо свиньи! шума не надо...»

Увы, сон упрямился, сворачивая по своему усмотрению и длясь дальше.

Небеса болезненно сменились землей, холодной и каменистой, а покой в свою очередь сменился неистовством шутовского карнавала. Сале несколько раз доводилось вместе с мастером участвовать в стихийных оргиях ради обретения силы, но здесь, в проклятом сне-мороке, творилось нечто уж вовсе непотреб-

ное, и главное — совершенно бессмысленное. Вокруг без числа роились всякие смазливые рожи и такие, что в другое время чего только не дашь, лишь бы ускользнуть от этого знакомства; над самым ухом кто-то ухарски свистнул в кулак и дробно расхохотался. «И без твоих лап холодно, слякоть ты эдакая!» — взвизгнул совсем рядом молодой девичий голос. «Ишь, занозистая! — был ответ. — А на рога, егоза?!» Сале вздрогнула и почти сразу больно споткнулась об охапку ухватов, отчетливо заговоренных в три слоя, потому что прикосновение к ним отдалось колотьем в боку. Из черной пасти небес один за другим вывалились, лопаясь и распадаясь, сразу три гроба. «Новенькая? колбасы Хозяину принесла? гляди, чтоб несоленая!» — наскоро поинтересовался у Сале один мертвец широкоплечий и звякнул кольцами оков, мимоходом огладив живот своей собеседницы. «Ну-ка, девка, подыми мне веки!» — Коренастый, почти квадратный урод, похожий на страдающего ожирением карликового крунга, сунул Сале в руки цельнометаллические грабли и в ожидании подставил бельмастую морду. Крутанув грабли способом «Могучая белка ворует орех Йор», женщина отшвырнула нахала прочь и принялась вовсю расталкивать толпу, истово мечтая проснуться, проснуться немедленно — но вдруг оказалась на пустом пространстве.

Одна-одинешенька.

Прямо перед ней возвышалось кресло с высокой спинкой, сделанное если не из червонного золота, то уж наверняка из красной меди, ярко начищенной до почти нестерпимого блеска. Поставив копыта на маленькую красную скамеечку, в кресле развалился здоровенный рогач, надменно разглядывая Сале умными, пронизывающими насквозь глазами.

Поверх мохнатой груди рогача висела цепь с блюдом из олова, на котором был вычеканен какой-то герб; какой именно, Сале не успела разобрать.

— Подарки! подарки давай! — засвистел прямо в ухо неожиданно знакомый тенорок. — Горелку давай! кендюх с луком! колбасу! галушек миску на складчину! да кланяйся, кланяйся! Ишь, дурна баба, не взяла ничего!

Рогач ждал, лениво пощипывая козлиную бороденку. Наконец ему ждать прискучило; и он притопнул копытом о скамеечку. Сильные руки вцепились в женщину со всех сторон, поволокли за спинку кресла; потная ладонь с силой надавила на затылок, пинок под коленки — и Сале с ужасом обнаружила, что стоит нагая на четвереньках, а насильники толкают ее головой вперед, подсовывая под сиденье кресла. «Целуй! ну целуй же, кошачье отродье!.. — бормотал рядом советчик-тенорок, брызгал слюной в щеку и заводил наново. — Целуй, дура!» Крик застрял в горле Сале, когда она рванулась вьюном, попытавшись

вывернуться: сверху, в специальном вырезе кресла, вместо мерзкой козлиной задницы, на женщину холодно смотрело ее же собственное лицо, и из приоткрытого рта слегка тянуло сивухой.

Мокрые губы надвинулись, и больше Сале ничего не помнила.

* * *

— ...Бовдуры! Йолопы, три сотни чертей вам в печенку! Где пан Мацапура, спрашиваю?!

Кричат. Громко кричат; непонятно. Это снаружи. А что внутри? Внутри бродило жалкое эхо кошмара, наполняя все тело отвратительной слабостью. Сале открыла глаза и некоторое время лежала без движения.

Тишина.

Отчего-то подумалось: «Если милейшему Стасю ночами всегда снится подобная пакость, то неудивительно, что он предпочитает отсыпаться днем!»

Мысль мелькнула и исчезла, оставив привкус непроходимой глупости.

Уксусный привкус.

— Да чтоб вам в башке клепки поразбивало, бурлаки чортовы! Бежите за паном, говорю!

«Важно бранится! — чуть слышно булькнуло снаружи у самого окна. — Ох, важно... аж кулаки чешутся!..»

Чувствуя себя вконец разбитой, Сале сползла с кровати и, стыдно кряхтя по-старушечьи, стала одеваться. Из полуоткрытого окна (со вчера забыла запереть на щеколду?) зябко тянуло промозглостью; наверное, это было кстати, потому что голова мало-помалу начала проясняться. Суставы невыносимо ломило, надеть сорочку стоило большого труда, а уж натянуть поверх приталенную керсетку, тщательно застегнув ее на все многочисленные крючочки, — и вовсе мучение. Возясь с кашмировой юбкой, Сале обнаружила, что ноги ее до самых бедер покрыты синяками и следами от щипков.

Думать о причине этого безобразия было больно и немного страшно; женщина сунула ноги в сапожки, прихватила полушубок и, охая, пошла на крыльцо.

Снаружи был день, сползающий к вечеру.

А еще снаружи на весь двор горланил пожилой дядька, ежеминутно утирая рукавом нос, больше похожий на сизую сливу. Дядька ругательски ругал караульных «бовдурами» и «йолопами», обещая их отцу знатный «прочухан» на том свете, а матери — плохо понятную «трясцю» и сто чертей с вилами в придачу.

Дядька требовал встречи с паном Мацапурой-Коложанским, встречи, как он выражался, «сей же час», а если пан Мацапура занят, то нехай к нему, к сизоносому дядьке, выйдет самолично пан надворный сотник; а еще лучше — пусть его, дядьку, пустят в теплую хату, к пану Юдке, и тогда он расскажет нечто наиважнейшее.

Караульные сердюки переглядывались, хмыкали в усы. Пан Станислав до сих пор не вернулся из замка, и посылать туда за зацным и моцным паном мог решиться лишь сумасшедший. Что касается надворного сотника, то пан Юдка после ранения вряд ли способен был выслушивать наиважнейшие донесения от подозрительного дядьки.

Если вообще был еще жив.

Брать же ответственность на себя, слушать и потом принимать какие бы то ни было решения... этого сердюкам страх как не хотелось.

— О, вот и пани! — Явление Сале вселило радость в сердца караульных. — Слышь, горлопан, ты с сиятельной пани говори! Или проваливай, ежели брешешь!

Дядька шморгнул своей сливой и с недоверием уставился на Сале.

— Чего надо?! — с отменной гримасой поинтересовалась женщина, вкладывая в короткий вопрос все раздражение сегодняшней безумной ночи (дня?!). — Я слушаю.

— Хведир-писарчук в саму Полтаву ускакал, — ни с того ни с сего заявил дядька после некоторого размышления, хмуро уставясь на ближайший сугроб, словно на давно не виденного кума. — Соображаешь, пани? Вот так прямо взял и ускакал с десятком хлопцев. А тут талдычишь им: «Зовите пана Мацапуру!» — отмалчиваются, дурни, чтоб их в пекле смажили...

— Ну и что?

Путешествия некоего Хведира сейчас интересовали Сале меньше всего.

— А то, пани ласковая, что в Валки двое всадников прискакали. Еще вчера, на закате. Коней запалили, и под седлом которые, и заводных, а прискакали. От сотника Логина гонцы: есаул Ондрий Шмалько и с ним куренной отаман, батька Дяченко. Сказывают, на Дунае с турками-нехристями замирение вышло или еще что... Вот Логиновскую сотню к Великому Посту домой услали, на прокормление. Заместо убитых реестровцев две дюжины молодых чуров вписали; а вдобавок еще и ватага сечевиков прибилась, с дозволения пана наказного гетьмана. Вот оно как вывернулось, ласковая пани! Сечевики все сорвиголовы тертые, битые, на соломе смаленные, да и логиновские черкасы тоже не пальцем деланы! Гонцы сотню с обозом недели на две, а то и на полторы обогнали... Выходит, сотник Логин сейчас через

Днепр переправляется. Вскорости домой нагрянет, к галушкам да вареникам. Ясно?!

Не нужно было иметь семь пядей во лбу, завернутых на манер малахая Рудого Панька, чтобы понять смысл дядькиных слов. Возвращение домой бравого сотника Логина во главе седоусых ветеранов, прошедших огонь, воду и медные трубы, тем паче что в сотне, по словам самого пана Станислава, реально насчитывалось бойцов сотни две с половиной... Явись Логин сюда в самый разгар территориальных притязаний Мацапуры-Коложанского да узнай, что дочка его сидит в панских погребах, — гореть Мацапуриному замку сверху донизу!

Сале незаметно улыбнулась.

Ее вполне устраивала любая причина, в связи с которой милейший Стась не захочет тянуть до Купальской ночи с открытием «Багряных Врат».

— Еще что-то принес? — Женщина с наигранной озабоченностью уставилась на дядьку. — Выкладывай!

— Та Хведир же, говорю... В Полтаву ускакал, с челобитной. Валки на есаула Шмалька покинул и ускакал. Какой, говорит, из меня вояка, смех один и это... как его?.. дивное умов помраченье! Он, бурсачья его душа, иной раз как завернет, аж ухи пампухой скрутит! Намалевал бумагу и в Полтаву, разом с хлопцами и куренным батькой. Сказывал, первым делом полтавскому полковнику жаловаться будет на панский произвол; вторым макаром — на подворье самого владыки пойдет. Дескать, пущай велит попам предавать пана Мацапуру анафеме на веки вечные, за грехи тяжкие, как упыря, злодея кровавого, и за связь с лукавым, врагом рода человеческого! Хведир — он ученый, балабонит складно, глядишь, и уговорит владыку...

— Не слыхал, из Полтавы они навстречу к Логину не собирались? — внятно спросили из-за спины Сале.

Женщина обернулась.

В дверях, держась за наличник, стоял пан Юдка. «Поглянь, поглянь!.. — зашептались сердюки. — Белый, як крейда...» Действительно, выглядел надворный сотник ожившим мертвецом, но на ногах держался, не падал, и черные глаза на бледном лице Иегуды бен-Иосифа жили своей, яркой и страшной жизнью.

Дядька попятился, машинально крестясь.

— Та слыхал, пан Юдка, как не слыхать, — забормотал он, кланяясь. — Хведир на раде говорил: он в Полтаве задержится, а куренного батьку обратно пошлет, к Логину! Нехай сотник поспешает, если не хочет к родной дочке на поминки вместо свадьбы прибыть!

— Это, значит, дней десять, — раздумчиво протянул Юдка, плотнее запахивая на груди серый жупан. Было видно, что мороз сейчас беспокоит надворного сотника в последнюю очередь,

и жест его скорее машинальный, символический. — А если гнать будет...

— Будет! — охотно подтвердил дядька. — Будет гнать-то! Дяченко-куренной — он в седле родился, в седле крестился, под ним аргамаки, что мухи, мрут!

— Значит, неделя, — бесцветно подытожил Юдка. — Вэй, не вовремя...

Сале кивнула, пряча радость глубоко-глубоко, туда, где ее не смог бы высмотреть черный взгляд консула, чудом восставшего из мертвых.

Чудом, Именами и стараниями Рудого Панька, румяного деда-словоблуда.

* * *

— ...ну иди, иди ко мне, моя красавица! Гой-да, гой-да! Распрягайте, хлопцы, коней и ложитесь почивать... до Страшного Суда! Гой-да, гой-да...

Колено пана Станислава было толстым и твердым; как и все панское бедро. Оно мерно двигалось под Сале, боком сидящей сверху, будто и впрямь спина крестьянского тяжеловоза, вынуждая подпрыгивать с закаменевшей улыбкой. Совсем рядом поблескивали толстые стекла окуляр. Ни дать ни взять, добрый папаша шутит шутки с дочкой-переростком в домашней библиотеке, перед тем как взять со стеллажа фолиант, доверху набитый исключительно мудрыми мыслями о добродетели. Улыбайся, Куколка, улыбайся... и расслабься, чтоб тебя Тень Венца покрыла!

Слышишь!

— Ну что, пан Юдка, подложил нам с тобой писарчук свинью?! Ешь сало, не ешь, а придется! И турки хороши! — замирение, замирение, чтоб их всех Магометка по второму разу обрезал! Ладно... в полковничьей канцелярии у меня лапа есть. Славная лапа, волосатая, с золотыми цехинами в горсти, — жаль, у владыки полтавского свои лапы втрое волосатей! И зуб на пана Мацапуру-Коложанского... давний зуб, глазной. С дуплом. А ну как и впрямь анафему пропоет, старый пропойца? И тебе заодно, сотник надворный... Слышь, пан Юдка, быть тебе первым пейсатым, которого сам владыка с амвона анафеме предаст! Клянусь гербом Апданк! Все жидовство от радости взвоет! Шучу, шучу... гой-да, кони, снег топчите...

Тихо горела лампа зеленого стекла, бросая тени на горбоносое лицо Иегуды бен-Иосифа. По приказу пана сердюки вташили в библиотеку дощатый топчан и поставили у стены, под фамильным портретом, застелив малой периной и покрывалом вишневого атласа. Юдка долго сопротивлялся, возражал, что негоже ему бока пролеживать в присутствии мостивого пана; но Мацапура был неумолим. В итоге раненый консул волей-нево-

лей лег, сам Мацапура вместо излюбленного кресла опустился на дубовый табурет; а Сале, исполняя просьбу неутомимого на выдумки Стася, вынуждена была присесть к нему на колено. И когда же он угомонится, прекратит забавляться дурацкими качалками?!

По всему выходило, что ой как нескоро.

— Ладно, будем поторапливаться. Не люблю, а будем... гойда, гой-да, шибче, кони!.. Придется тебе, милочка, вторую ночь без меня коротать — я обратно в замок вернусь, дорожку к Вратам торить! Да по первому снежку дадим коням батожку... Ты не бойся, милочка, я без тебя стучаться не стану. Без тебя, да без пана Юдки с дюжиной сердючков (чуешь, Юдка?!), да без младенчика нашего славного! Гой-да, кони... А скажи-ка мне, милочка: что, твой князь за младенчика пану Мацапуре маёнток отвалит?! Малый такой маёнток, с курячий огузок, чтоб только хату поставить?

Сале кивнула — и чуть не прикусила язык: так сильно подбросило ее чужое колено.

— Венец из белой кости даст, не поскупится, — сказала она, приноравливаясь к новому ритму. — Верно говорю, даст...

— Из кости? Кость — это хорошо, это славно... чья хоть кость-то? Ну да там видно будет... значит, до Купальской ночи ждать не станем! Небось рада, моя красавица?.. не слезай, не слезай, дай старому Стасю поиграть всласть! Эй, пан Юдка, не помнишь, какие у нас большие праздники на носу?!

Влажные глаза консула смотрели в потолок. Сале осмелилась, пригляделась искоса, и ей показалось: там, в чудной глубине черноты, на самом донышке, по сей час теплится искорка негасимого изумления: «Я еще жив? почему? почему?!» Тонкие пальцы, которым не оружейную рукоять держать, а гусиное перо в чернильницу макать, задумчиво оглаживали рыжий пожар бороды.

— Праздники, пан Станислав? Да уж и не скажу так сразу... Месяц лютый, восьмой день? На той неделе был «Ту-би Шват Эрец-Исраэль», «Новый год деревьев», до месяца березня тихо, а там уже и «Пурим» рядом! «Амановы уши» печь надо, подарки голоте раздавать...

— Да что ты мне свои жидовские вечерницы в глаза тычешь?! Разлегся перед паном, сучий потрох, шутки дурацкие шутишь... Встать!

Словно норовистый жеребец брыкнул задом под Сале. Женщина отлетела к стене, чудом удержавшись на ногах, и больно ударилась плечом о край портретной рамы. Узкоплечий молодчик с картины сочувственно улыбнулся: «Терпи, Куколка, терпи, мне больше терпеть доводится — ты живая, а я вон какой...» Цепь с белым камнем оттягивала шею молодчика, напоминая

больше не украшение — груз, навешенный палачами будущему утопленнику. Глубокий вдох, медленный, опустошающий выдох; и когда Сале ощутила себя готовой повернуться, за спиной миролюбиво прозвучало:

— Ладно, пан Юдка, не бери зла в сердце! Сам понимаешь, как оно сейчас... иной раз и не выдержишь. Облаешь слугу верного, под горячую руку. Лежи, лежи, не береди рану-то...

Картина, представшая взгляду Сале, была прежней: пан Станислав на табурете, пан Юдка на топчане. Благодать, семейный вечер. Тихо горит лампа, тихо смотрит молодчик с портрета. Разве что в воздухе разлит терпкий, пьянящий аромат... опасности? крови? чего?! Нет ответа. И, похоже, чем дальше, тем больше становится вопросов и меньше — ответов.

Пан Станислав встал, поправил на носу окуляры.

— Сам сказал, пан Юдка, — бросил он с добродушной ухмылкой, — месяц лютый на дворе. Значит, к тринадцатому числу, к понедельнику, бабы на обед коржи-жилянки подадут да горелку мужьям по-доброму выставят — рот полоскать, чтоб ни крошки не осталось! Великий Пост с тринадцатого заходит, пан Юдка, с Жилистого Понедельника, как у нас, добрых христиан, говорят... А слыхал ли ты, пан Юдка, как в здешних краях да еще в Таврии этот понедельник по-свойски кличут? Когда боженька в сторону смотрит?!

— Мертвецкий Великдень, — равнодушно отозвался консул, поудобнее умащиваясь на топчане. — Иначе Навское Свято.

— Пять дней осталось, значит... Нам пять дней, сотнику Логину — пять; владыке полтавскому тоже пять, чтобы анафему петь мне за это... как там подсыл сообщил?

— За грехи тяжкие упыря, злодея кровавого, и за связь с лукавым, врагом рода человеческого, — с тайным злорадством слово в слово повторила Сале и вспомнила, что собиралась задать милому другу Стасю один вопрос. — Пан Станислав, а что значит «упырь»? Это вроде Глиняного Шакала?

Гулкий хохот был ей ответом. Отсмеявшись, Мацапура рыскцой протрусил к левому стеллажу, долго копался, с головой забираясь во вторые ряды, и наконец бросил женщине потрепанную книжицу, заложенную на середине шелковой полоской.

— Читай, милочка! Да вслух читай, дай и нам с паном Юдкой посмеяться...

— «Промемория войсковой енеральной канцелярии по делу Семена Калениченка», — начала Сале, досадуя на саму себя за несвоевременный вопрос; и вдвое — на Прозрачное Слово, за изрядные сбои в переводе. Если б она еще знала, что дальнейший текст будет вообще понятен едва на треть...

— Дай сюда!

Мацапура нетерпеливо вырвал у нее из рук книжицу и про-

чел сам, нараспев, во всю глотку, подражая площадному глашатаю:

— «Сего году, июля пятнадцатого дня, полковник киевский Антоний Танский прислал в войсковую енеральную канцелярию человека Семена Калениченка и при оном его допрос, в котором допросе показал Семен себе быть упиром, и якобы в городе Глухове и в Лохвици, прийдучой Спасовки сего году, имеет быть моровое поветрие. Пре то з войсковой енеральной канцелярии оный Калениченко и подлинный его допрос при сем в коллегию посылается. А по усмотрению упира оного разсудила войсковая енеральная канцелярия его быть несостоятельнаго ума, и потому оние его слова от него показани знатно по некотором в уме помешательству. О чем колегия да благоволит ведать». Поняла, милочка? — «...показани знатно по некотором в уме помешательству»! Вот оно, просвещение, вот плоды его сладкие!

С топчана хмыкнул консул. Видимо, он понял в этой тарабарщине существенно больше Сале.

Грузное тело Мацапуры плюхнулось в кресло, и бедная мебель взвыла, но выдержала. Книжица полетела в угол, шурша страницами, тень огромного мотылька метнулась по стене, вдребезги разбившись о край стеллажа. В окулярах полыхнул зеленый отсвет лампы, превратив лицо Стася в стрекозиную морду; Сале машинально прикрылась улыбкой — и строго-настрого заказала себе вести лишние разговоры с паном Станиславом о чем бы то ни было; во всяком случае, до возвращения на родину.

А там видно будет, кто кого на колене прокатит.

Меньше всего она жалела, в самом скором времени слушая удаляющийся топот копыт, что ей вторую ночь придется ночевать без любвеобильного Стася.

* * *

Впрочем, до ночи еще оставалось время. Постояв у внешней двери, Сале миг раздумывала: выходить наружу или нет? подышать воздухом на сон грядущий или поразмыслить в тишине о будущем? — но ее отвлек от размышлений знакомый тенорок с крыльца.

Аж дрожь пробила. «Подарки! подарки давай! Горелку давай! кендюх с луком! колбасу! галушек миску на складчину! да кланяйся, кланяйся! Ишь, дурна баба...» Женщина моргнула, успокоила дыхание и толкнула дверь, ругая подлое сердце свое за пустые страхи.

Раньше она была спокойней... или это иная, скрытая Сале, бездна в глубине, чаще стала являться?

На крыльце раскидывал с сердюками-караульными «дурня» на троих не кто иной, как Рудый Панько собственной румяной персоной. Кожух с лихостью распахнут настежь, изнутри светит зарницей свитка алого сукна; жидкая бороденка пасечника азартно встопорщена, и засаленные карты смачно шлепаются о доски крыльца.

— Король козырей! — брызгая слюной, выкрикивал дед, и глазки его из-под косматых бровей так и горели болотными огнями, что морочат головы путникам. — Что, принял? А?! кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз, валет!.. Дурень ты, хлопец, як есть дурень, и приятель твой дурень от роду-веку! Подставляй нос!

Явление Сале спасло нос незадачливого сердюка от экзекуции. Нимало не смутясь, Рудый Панько встал, одернул кожух и поклонился женщине в пояс, заблаговременно сняв малахай.

— Звиняй, пани ясна, за шум, за горлопанство! Люблю, шельма сивая, в картишки перекинуться... ох люблю! Мимо шел, дай, думаю, зайду, за здоровье пана Юдки справлюсь! Як он там, а?

Сегодня речь пасечника была гораздо понятней. То ли Слово приноровилось, то ли еще что...

— Пан Юдка на ноги встал, — холодно ответила женщина, всем своим видом показывая нежелание вести светские беседы с дедом. — Сейчас спит, велел не тревожить. Завтра заходи. Или тебе не заплатили как следует?

Умом Сале понимала, что должна быть благодарна деду за спасение консула. Но благодарность никак не складывалась. Ее в пасечнике раздражало все: и дурацкая свитка, подходящая более шуту гороховому, и наглая манера разговора, и подмигивание, и... короче, все, и все тут!

— Га? — Рудый Панько приложил ладонь к волосатому уху, делая вид, что недослышал. — Спит? Ну и нехай себе спит, на здоровьечко! А я уже иду, пани ясна, я геть иду... ось, нема меня...

Пятясь задом к воротам, он зачем-то сунул левую руку себе под мышку, и этот идиотский жест просто взорвал Сале. Не понимая причин бешенства, охватившего ее, как пламя охватывает сухой хворост, она кинулась следом, догнала деда уже за воротами и ухватила за отвороты кожуха.

— Ты чего сюда таскаешься, старый сыч? — с неизъяснимым наслаждением прошипела она в румяное лицо Панька. — Подслушиваешь? Подсматриваешь?! Иди отсюда, и чтоб я тебя...

Панько ухмыльнулся без малейших признаков испуга, вытащил руку из-под мышки и показал Сале здоровенный кукиш. Чудное дело: злоба мигом покинула женщину, оставив после се-

бя щемящий холодок удивления: я кричала? ругалась? нет, правда, — я?!

— Так ты, пани ясна, ведьма не роженая, а робленая? — спросил дед, пристально глядя Сале прямо в глаза. — Роблена, куплена, за три копы куплена? Ну, я так себе и разумел... роблена, та еще и волоцюга — телепаешься туды-сюды, бедолаг за нос бурьянами водишь!..

— Что? Что ты несешь?

— Что несу, то мое, пани ясна... Неужели не довелось слыхивать: ежели при робленой ведьме себе дулю под рукав сунуть, она непременно лаяться зачнет? Кто ж тебя робыв, коли такому не выучил... а еще надо было учить, что руку на ведьмача поднять — лучше в печку сунуть! А ты дида за кожух... Небось пан Мацапура и робыв для своих хиханек? То-то ты доброй волей на шабаш не явилась, и Хозяина не уважила, и упиралась, як коза драна... Теперь жди, пани ясна: быть беде. Скажи спасибо, що не взял притыку с плетня и не погнал по селу! Ох, пан Станислав, Мацапура-Коложанский! — мало тебе земли подмять, еще и чужую силу приваживать стал?! Зря, что ли, Хозяин в твою сторону щепоть соли кинул... ну, значит, так тому и быть.

Сале слушала старика с замиранием сердца.

— Уходи, пани ясна, — неожиданно заключил Рудый Панько. — Собирай манатки и сей же час беги отсюда. Иначе... жди вскорости обратно. Пану Мацапуре больше б Хозяина бояться, чем владыку полтавского... эх, строптивый пан!

Старик махнул рукой и быстро, не оборачиваясь, пошел прочь.

Вечерняя заря светила ему в спину, превращая кожух в подобие алой свитки, сейчас скрытой под дубленой овчиной.

...сердюки, молчаливо пропустившие женщину обратно в дом, переглянулись.

Стоит ли рассказывать ясной пани, что Рудый Панько, прежде чем сесть резаться в «дурня», минут пять цацкался во дворе с чортовым младенцем?

Не стоит?

Пожалуй, все-таки не стоит.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

Золотая темница содрогается.

Ее тесно обволакивает эфирная дрожь, словно некое существо, блестками внешнего света отдаленно похожее на меня прежнего, пытается не телом — самой сутью своей проникнуть сквозь сияющие мертвым великолепием стены саркофага.

Слабая рябь колебаний на границе ближайших шести порталов уровня Малхут — на уровне Брия их число вырастает в десять раз и во сто крат на черном уровне Асия. Раньше я обратил бы на эту дрожь не больше внимания, чем обращает потомок Адама на дуновение ветерка от крыльев пролетевшей рядом бабочки. Сейчас же... О, сейчас эта дрожь клинком пронзает меня насквозь, всколыхнув потаенные глубины, и я стараюсь отозваться, пустив эхо через руины самого себя, ловя сладкий отзвук *вибраций, — отчаянная попытка выжать из случайности* хоть что-нибудь, напитать жалкое осиное тельце хотя бы крупицами милостыни.

Так пьяница переворачивает опустевший сосуд кверху донышком, моля судьбу о вожделенной капле.

Отчасти мне это удалось. Почти угасшая искорка замерцала снова, осторожно разгораясь. Нет, из этой искры не возгорится пламя, для пламени мне нужен Чистый Свет, подобный великому океану в сравнении с каплями росы, которые сейчас пролились на меня. Но все равно — спасибо тебе, неведомый благодетель, подаривший мне эти капли, крохи...

Подаривший?

Оставь надежду! — и скудные обрывки силы подтверждают еще раз: я прав, ничего не делается случайно.

Тому, кто пытается нащупать меня, просто интересно: что это за необычный золотой медальон висит на шее у жутковатого ребенка? Вот он и простукивает мое узилище по-своему, ища пустоты, так, как в совершенстве умел это некогда я, как при желании умеют делать Рубежные бейт-Малахи; и как отчасти — грубо, с трудом, будто слепец стучит клюкой о дорогу! — могут некоторые смертные.

Люди.

А я попросту поглотил, украл, присвоил часть направленного на меня чужого внимания!

Мной интересуется человек... человек?.. вибрация слишком слаба и беспорядочна, чтобы...

— Экая у тебя цацка знатная, хлопче! Важная цацка! А внутри пчелка! — небось батька сыну подарил?!

Свет. Но не тот, Истинный — обычный, солнечный. Довольно тусклый, ибо снаружи вечер; хотя после проклятого золотого сна и он кажется почти ослепительным.

Неподалеку — человек.

Раньше я его уже видел.

Как говорят смертные, «мы были немного знакомы».

Нелепые слова.

— Ой, мастерят же люди! Така краса! Прям як живая, хоч в улей... А може, хлопче, она у тебя еще и меду даст?

Нет, ведьмач. Нет, Рудый Панько, вожак местного ковена, я

не дам тебе меда. Щурься, не щурься, ухмыляйся в клочковатые усы, подмигивай — не дам. Тем более что ты сейчас не шутишь. Ты прекрасно понимаешь, кто перед тобой, ты ловишь отголосок тех вибраций эфира, которые я не сумел поглотить полностью. Для любого из ковена, не говоря о его вожаке, телесный облик не имеет значения.

Ты ведь узнал меня, да, ведьмач?!

— Дай диду забавку, хлопче! Та дай глянуть, не отберу!

Мой сын в ответ отрицательно мотает головой и отступает на шаг назад.

— Ну дай, дид пасичник, дида пчелки страсть як любят!..

Молодец, сынок... не давай. Я не враг местному ковену, вернее, не был врагом, когда мог; но такому, как этот дед, палец в рот не клади. Особенно если у тебя не осталось даже пальца... Может быть, вчера мне и было бы все равно, но теперь я готов платить любую цену, лишь бы выжить!

Потому что люблю жизнь не ради себя самого... за двоих люблю.

— Ишь, куркуль! — Панько шутейно грозит моему сыну сухим, словно из дерева вырезанным пальцем; но следом не идет. — Ну ладно, як ся маешь, хлопче. Стой там, коли хочешь, я с твоим батькой и отсюда побалакаю!

Силен старик! Не только узнал, но и понимает, что я его слышу. И даже, наверное, могу ответить. Могу? Или...

«Что, исчезник, дала тебе доля стусана под коленки? — ведьмач вдруг перестает улыбаться. Он молчит, скучают сердюки у крыльца, а я слушаю его молчание. — Маловато от тебя осталось, ох все склевано-съедено! Но все ж таки признать можно. Панька не проведешь... Знаю, знаю, ты меня проводить и не собирался. Помнишь, говорил я тебе: зря ты к Ярине тогда подкатился, зря дите ей склепал... не поверил Паньку, вот с того твои напасти и приключились. Опять не веришь? Ну и не верь себе на здоровьице! Давай так: баш на баш, ты мне пособишь, я тебе, глядишь, чего измыслю! А надо мне от тебя вот что: ночью сегодня, опосля полуночи, поглянь, что в коморе у панночки пришлой твориться будет. Просто поглянь, а потом раскинь умишком. То тебе не в тягость, а мне в корысть. А я в долгу не останусь! Много не обещаю, но кой-чем пособлю. Ну як, по рукам?..»

Молчу.

«Чую, по рукам. Вот и Слово тебе на закуску; дня три на нем в небесах кружлять сможешь!» — и Панько на одном дыхании выдает неразборчивую скороговорку, от которой сердюки-караульные начинают похабно хохотать, а все мое осиное тело *насквозь* пробирает озноб.

Действительно, дня на три хватит.

Одно жаль: согласись я помочь ведьмачу в надежде на будущую ответную помощь, не согласись — сути дела это не меняет. Скрыть-то я от него ничего не смогу. Вот и сейчас: стоило мне только *подумать*, что я хочу ответить ему, — а он уже знал мой ответ наперед.

Я потерял гораздо больше, чем мне поначалу казалось.

Поэтому я непременно снова наведаюсь ночью в комнату, где спит женщина по имени Сале Кеваль; но частично из своих личных соображений.

То, что интересует вожака ковена, вполне может заинтересовать и останки каф-Малаха.

* * *

...я все еще не знаю, что на самом деле представляет из себя этот ребенок, убивший собой Ярину.

Мой сын.

Сомневаюсь ли я в отцовстве?.. нет. Внешне он очень похож на меня-былого, такой себе маленький каф-Малах; вот только мне, как никому другому, известно, что внешность не значит ничего. Зачастую она вообще может быть иллюзией, а даже если и нет, то под ней может скрываться что угодно, вплоть до полного отсутствия сердцевины.

...много ли из творящегося вокруг понимает мой сын? И, главное, *как* он это понимает? Как ребенок? как взрослый человек? как я? я-былой или я-нынешний?! А может быть, у меня просто не с чем сравнить его понимание?..

Но, в любом случае, мне мой сын не препятствует. Можно сказать, даже помогает. Если бы еще не подленькая мысль: «Он ведет свою игру!.. с самого начала, с утробы женщины, умершей ради того, чтобы он жил!.. да?.. нет?!» Возможно ли, что дитя каф-Малаха и дочери Хавы не вмешивается в происходящее лишь потому, что ход событий его пока устраивает?!

...или — вмешивается?! Ведь не зря же он выпустил меня из медальона в комнате женщины по имени Сале Кеваль, когда душа ее рвалась в Порубежье?! Я видел Иегуду бен-Иосифа сыновними глазами, потом — своими собственными, после я видел Порубежье и Самаэля глазами женщины-Проводника... Что из всего этого видел мой сын? чьими глазами он это видел?!

Нет ответа. После первого, случайного прорыва его сущность для меня закрыта наглухо.

А моя для него?

...а ведь Рудый Панько тоже не видел его *насквозь*! Меня — видел, а его — нет! Я вздрагиваю: жутковатое ощущение чужой

власти над собой неожиданно смешивается с новым, непривычным, незнакомым мне ранее чувством.

Чувством гордости за собственного сына.

...родители — первые игрушки детей.

Кажется, я впервые ощутил себя отцом.

Крышка медальона приподнялась.

Полночь.

Пора выполнять условие договора с ведьмачом.

* * *

Дверь в комору женщины не заперта; вон, узкая щель между краем и косяком. Оттуда зябко тянет сквозняком. Поддерживаемое заговором вожака ковена, осиное тело легко зависает в воздухе, и на миг меня до краев наполняет радость. Радость — и стыд за радость. Три Великих Собеседника! — как, оказывается, мало нужно для того, чтобы обрадоваться... Я, кто проносился сквозь порталы вольным ветром, пронизывал насквозь крону Древа Сфирот, купался в сиянии Истинного Света, черпал его горстями, одаривая тех, кого хотел; я, смеявшийся над Рубежами и их стражами, — теперь я радуюсь безделице: оказывается, мои останки на время могут преодолевать десятки (пусть сотни!) шагов, и даже — проклятье! — оса может летать!..

Я смешон.

Я, крылатый соглядатай, не менее смешон, чем человек, ползущий сейчас от лестницы вдоль коридора. Ведьмач, ты хотел знать, что произойдет здесь в полночь? — здесь в полночь по коридорам ползают люди. Один человек. Странный. Неподвижный. *Изнутри* неподвижный. Значит, он вроде бы не должен двигаться и *снаружи*. Но — движется.

Ползет с завидной целеустремленностью.

Ноги у него отнялись, у бедолаги, что ли?

Остановился.

Скрипит дверь, за которой спит женщина в смятых простынях, позволяя сквозняку с облегчением вырваться на свободу.

Человек на пороге коморы поворачивает голову, опасливо косится через плечо — я ловлю его взгляд. Тухлый, словно рыба после двух дней на солнцепеке. Гнилой взгляд.

И вместе со скрипом, вместе с тухлым взглядом ночного гостя ко мне вспышкой во мраке приходит понимание: надо спешить. Ведьмач просил меня только наблюдать, наблюдать и ничего больше в обмен на грядущие услуги, но если я останусь всего лишь чужими глазами, мне никогда не стать прежним!

А удивительный человек-червь ползет медленно, ему еще надо миновать порог, затем — почти всю комнату...

Я успею!

Лечу — коридоры, лестница, первый этаж... Снаружи, за внешней дверью, спит стража — я не вижу их, но ощущаю мерцание многосна на челах спящих: о, на пятом уровне им грезится ночное крыльцо и честная караульная служба, а на шестом и седьмом — глухая попойка у какой-то шинкарки Баськи!.. Спокойствие выполненного долга и нежелание просыпаться — вот что это значит в сочетании.

Умно.

Вожак ковена, ты не предупреждал меня о таких шутках!

Вот... вот... вот и дверь, за которой обитает Заклятый, спутник женщины-Проводника, — цель моего полета. Закрыто! Я не могу, не могу проникнуть внутрь! Я, для которого не были помехами границы сфир, не могу проникнуть через обычную, скорее всего даже незапертую дверь! Я, который...

Без паники.

Только без паники!

— Лети...

Шестипалая рука слегка толкает дверь. Мой сын смотрит на меня — долго, пристально — и, молча повернувшись, идет обратно. Идет бесшумно — ни одна половица не скрипнет.

Он заранее ждал меня здесь, стоя в стенной нише за портьерой.

Он знал.

Сейчас я почти люблю своего сына.

Уже не в силах сдержать возбужденного жужжания, золотая оса стремительно влетела в открытую дверь.

Внизу, под несущейся искоркой, презирая отсутствие света, стелилась удивительная тень — черный человек с разнопалыми руками.

* * *

Заклятый спал. Тяжело, беспокойно, и дикие видения из сопредельных аспектов терзали его мятущуюся душу, раздвоенную, словно жало змеи. Бесплотные, еще более тонкие, чем духи или эфирные создания, образы снов зачастую приходят из-за пределов. Почему, почему сумеречное сознание Заклятого притягивает к себе одно и то же: дым магнолий, хруст фарфора, белая свеча платана?.. и почему, проснувшись, он хоронит это в себе до следующего сна?

Впрочем, неважно. Когда Заклятый проснется, его ждет кошмар наяву!

Вонзаю жало. И яд струится в человека по имени Рио, под защитные покровы, сразу в обе сплетенных души (хотя и не души это вовсе!) — яд реальности. Смотри!.. смотри! — погружена в многосон бдительная стража, ползет по полу человек с тухлым взглядом, спит, разметавшись, беззащитная женщина на дубовой кровати... смотри, герой!

В других обстоятельствах можно было бы сказать: «Герой вскочил как ужаленный!» Но других обстоятельств у меня не было; и я едва не опоздал. Трудно было уловить грань пробуждения, и еще труднее — понять, в какой миг Заклятый, как был, нагишом, оказался за дверью, прихватив со стены меч. Все-таки он хорош, этот могильный курган для самого себя! И если мне удастся сделать себя прежним, а его — ...

Думать получалось плохо. Все силы уходили на одно-единственное: не отстать от героя.

Силы ушли, и я не отстал.

— Отпусти ее! Слышишь, мразь?!

Все-таки времени прошло больше, чем предполагалось вначале. Ведьмач, вожак здешнего ковена, ты хотел, чтобы я смотрел — и только?

Пожалуйста: я смотрю.

Тот, неподвижный изнутри, все же успел добраться до кровати. Сейчас он навалился на Сале всем телом, припал к ложбинке между шеей и плечом, намертво обхватив руками отчаянно сопротивляющуюся женщину. Насилует? Или... впрочем, герой Рио уже рядом. В темноте он видит куда хуже меня, но героям, как правило, достаточно силуэтов и собственного воображения. Рывок за волосы, удар рукоятью меча под ребра, прямо граненым медным яблоком — и чужак, грязный, лохматый, кувырком летит в угол.

Чтобы спустя мгновение медленно встать глиняным големом.

Встать?!

На Рио человек с тухлым взглядом не обращает внимания — негнущиеся, словно деревянные, ноги несут его обратно к кровати. Пальцы героя клещами впиваются в плечо насильника, но человек с тухлым взглядом походя отмахивается — и теперь в угол летит уже герой, чудом не порезавшись о собственный меч. Ну, давай же, Рио, вставай! Он встал, значит, сможешь и ты! Разве не видишь: его нельзя остановить, не убив! Убей! Брось в мир щедрую смерть со своего клинка! Преступи Запрет! Иначе... посмотри — у женщины на шее кровь! Кровь! Ты что, совсем ослеп?!

Заклятый бьет в броске с пола — снова медным яблоком рукояти.

По хребту.

Достигни удар цели — человек с тухлым взглядом упал бы со сломанным позвоночником, парализованный — но живой!

К счастью, удача теперь была на моей стороне: ночной гость, словно почувствовав опасность, в последний момент начал оборачиваться — отчего удар обрушился вскользь, разодрав одежду вместе с кожей спины. Желтые кривые клыки ощерились в лицо Рио, из выгребной ямы рта потянулась ниточка кровавой слюны. Острие меча угрожающе ткнулось в грудь чужака, напротив сердца — остановись! стой, погибнешь! сдавайся! — две лапы в ответ ухватили клинок, но ноги, непослушные ноги подвели своего владельца.

Человек с тухлым взглядом упал вперед.

И меч вышел у него из спины.

Мироздание содрогнулось! Эфирные вихри хлестнули со всех сторон, сметая завесы, прорывая Рубежи, верша слияние возможного с невозможным! — сейчас, сейчас вода нарушения хлынет под корни Древа Сфирот, раскроются набухшие почки на ветвях, давая дорогу Истинному Свету, как уже было однажды — и я наконец обрету цельность... Скорее, скорее, я устал ждать!..

Но почему слабеет невидимый ветер, иссякает влага чуда, почему вновь смыкается треснувшая было скорлупа, почему... Не надо! Неужели снова... Ведь вот он, убитый, валяется на полу, с мечом в сердце, и над ним в оцепенении застыл герой Рио, нарушивший, нарушивший — НАРУШИВШИЙ!!! — условие Заклятия!

Почему?!

Заклятый нагибается над лежащим.

— Мертв, — бормочет он, судорожно дергая щекой. — Странно, уже окоченеть успел...

Окоченеть?

Убитый мгновение назад — окоченеть?!

Существо на полу дернулось, и Рио невольно отшатнулся. Отчаянно завизжала на кровати перепуганная до смерти женщина, зажав ладонью рану на шее. Человек с тухлым взглядом рывком извлек из груди меч, аккуратно положил его возле стены и сел.

— Сале, беги! — В крике героя стыло отчаяние.

— Сале? Нет!.. Сале, это правда ты?

Голос — хриплый и одновременно пронзительный — безумным скрежетом разорвал ночь, и даже Рио застыл на месте, словно налетев на невидимую преграду.

Этот голос нельзя было не узнать.

— Хоста?! — выдохнул герой; и я проклял удачу, обернувшуюся чудовищной насмешкой, — дважды просить у Заклятого

смерть для одного и того же человека, и дважды не дотянуться до вожделенной цели!

— Хоста?!! Что с тобой? Ты... тебя же убили, я сам видел!

Обнаженный Рио присел на корточки перед живым мертвецом. Женщина, кажется, начала мало-помалу приходить в себя, но по-прежнему не могла вымолвить ни слова. Вместо лишних слов она молча потянулась к изголовью, где стоял тяжелый подсвечник на семь свечей и лежало огниво.

Я к тому времени обосновался на крючке стенной вешалки и мог не опасаться, что при свете меня заметят.

— Убили, — прошептал тот, кого раньше звали Хостой, стараясь пригасить свой жуткий голос. Это у него получилось плохо. — Убили меня, Рио. Холодно мне. Мертвый я. Мысли... сгнили мысли. Сале... ты хоть жива?

Вспыхнула свеча, за ней — другая, и люди наконец смогли рассмотреть мертвеца.

— Жива, — проскрежетал мертвец, и в тухлом его взгляде червями сплелись боль и облегчение. — Помрачение на меня нашло. После смерти... бывает. Я палач; я слышал. Добей меня, Рио! Я для тебя добивал, добей и ты... для меня. Крови я мало выпил. Вот-вот память уйдет — тогда я опять на вас брошусь. Отруби мне голову, Рио... пожалуйста. Ты не бойся, покойникам головы рубить — сущая безделица!.. я знаю, я палач...

— Я... я не могу, Хоста! Не могу!

— Добей! — Бывший палач неожиданно вцепился в руку своего бывшего спутника поистине мертвой хваткой. — Упокой мою душу! Не хочу — так...

— А як же ты хочешь, катюга? — весело спрашивают от двери. — У рай до святого боженьки хочешь?! Некрещена душа, в чужой землице зарыта, чужими людьми кончена, — не, нема таким рая...

Старый ведьмач стоит на пороге. Хитро щурится на непотребную картину: голые мужчина с женщиной и оживший мертвец на полу.

Одно неясно, Панько, зачем тебе я, как соглядатай, понадобился?

— Ну что, ведьма роблена, не сладила сама с моим опырякою? — Толстым ногтем пасичник скребет подбородок, ухмыляясь. — Велел же тебе пятки салом смазать — а ты упираешься, лезешь поперед батьки в пекло! Ладно, пани ясна — на цей раз Панько тебя стращал, чтоб думала впредь, як ведьмачей за кожух... Неделю даю на сборы, а больше не дам. Поняла, ясна пани?

— Зачем... зачем ты его? — Вместо ответа на откровенную угрозу женщина кивает в сторону притихшего, сжавшегося в комок Хосты. — Зачем?!

— Я? — Вожак местного ковена пожимает плечами. — Та

ваш приятель и без Панька готовый опыряка был, когда я пришел. Ну, подсобил трошки, не без того...

— А... второй? Лекарь? — Герою все с большим трудом удается держать себя в руках.

— А, той парубок, что Крамольником кличут? Той помер совсем. Як честные люди. Покрестить его успели, вот и помер, як всяка християнська душа. Ликар, говоришь, был? Если добрый ликар — теперь в раю вареники ест!

— Ухо ему отрубить, что ли? — скучным голосом интересуется Рио у женщины. — Или язык отрезать, чтоб не болтал глупостей? Как думаешь, Сале?

Кажется, на этот раз Панька проняло. Понял: этот убить не убьет, а вот язык и впрямь отрежет — глазом не моргнет.

— Ты, хлопче, думай, що балабонишь, — глядя в сторону, бормочет он. — А то как бы не пришлось тебе завидовать тому бурсаку, что панночку мертвую три ночи у церкви отчитывал...

— А ты думай, что делаешь, когда покойников поднимаешь! Говори: чем теперь Хосте помочь можно?

— А чем опыряке допоможешь?! — Пасичник искренне изумлен. — Разве что отнести до кого, чтоб кровушки посмоктал? Так я и отнес!

— А покой дать ему можешь?

— Ну...

— Не «ну», а делай что сказано!

— Больно ты прыткий, хлопче! Добрый опыряка всегда в хозяйстве пригодится! Покой ему... Може, и упокою, если вы драпанете отсюда без разговоров та болтать лишнего не станете. А приятелю вашему и так непогано! Був катом, заризяк всяких на той свет отправлял — а теперь что? Да то же самое! Ему не привыкать... Ладно, ладно, иду. — Панько явно заметил, как изменилось лицо Рио. — По рукам? Вы отсель выметаетесь за неделю — а я тогда его, може, и упокою!

Ведьмач присел, ловко взвалил потянувшегося к нему мертвеца на плечи и поковылял к выходу.

Я вылетел следом.

Я знал, чего добивался старый ведьмач, приглашая меня в свидетели. Местный ковен вынес приговор несговорчивому пану-чернокнижнику, начав с первого, самого простого — предупреждения его пассии, и бывший каф-Малах должен был это знать.

Зачем?

Неужели чтобы передать сыну?!

* * *

Старый, очень старый человек ругается.

— ...Ну вот, и так вечно: едва больной еврей, которому давно пора на тот свет, собирается вздремнуть, как являешься ты! И гонишь сон прочь своей дурацкой болтовней. Что тебя беспокоит на этот раз, позор мироздания? Может быть, ты хочешь, чтобы я открыл тебе все сокровенные замыслы и стремления Святого, благословен Он? Тогда я должен сразу разочаровать тебя: я не знаю, каковы Его сокровенные замыслы и стремления! — Надтреснутый кувшин старческого бормотания течет каплями язвительной надежды. — Если да, то можешь сразу уходить, а мне таки удастся урвать клочок сна...

Он так и разговаривает со мной: лежа на кипарисовом топчане, покрытом циновкой, и поверх нее — одеялом из верблюжьей шерсти. Ему не хочется вставать, и я его понимаю. Я выхожу из колонны портика; я присаживаюсь рядом, у изголовья, чтобы не возвышаться над стариком Вавилонским Столпом.

Восковые веки смыкаются еще теснее — но он не спит, конечно, он не спит. Все-таки ему тоже интересно, зачем я пришел сегодня.

— Поздравь меня, рав Элиша. У меня скоро родится сын!

— Я всегда подозревал, что ты не очень умный каф-Малах, — один глаз приоткрывается и с влажной печалью смотрит на меня. — Но сегодня ты оправдал мои подозрения с лихвой! Кто же, не боясь сглаза, хвастается вслух еще не рожденным ребенком?! Всякое слово имеет свой отзвук, а когда речь идет о том, что еще не случилось, особенно о таинстве рождения... Глупый, глупый каф-Малах!.. кстати, кто она?

Я не сразу понимаю суть вопроса. Так всегда: вот почтенный рав Элиша только что говорил о понятном — а вот он уже молчит, позволяя собеседнику тупо моргать в недоумении.

— Женщина. Смертная. Не отсюда.

— Ясно, ясно, — с удовлетворением кивает старик, вновь занавесив оба глаза мятыми шторками век.

— Что — ясно?

— Что женщина. Смертная. И не отсюда. Таких, как ты, всегда тянуло к дочерям человеческим.

— Ты прав, рав Элиша. Но почему? Я видел тех, которых называли богинями, — и они были действительно прекрасны! Я встречался с теми, кого называли демоницами, — и они были чувственны, и сладострастны, и искушены, как никто, в плотских утехах. Я видел тех, кому еще не придумали имен на известных людям языках, и облик их завораживал. Но едва вблизи появлялись смертные дочери человеков...

— И с этим вопросом ты пришел к старому человеку, доверху полному добродетели?! Уйди, бесстыжий выкидыш неизвестно

чьей утробы! Отыди от меня! Я-то думал, что ты пришел спрашивать о замыслах Святого, благословен Он! — и надеялся быстро от тебя отделаться! А ты... — Старик наконец соизволяет открыть оба глаза, и оба этих хитрых глаза смеются. — Ладно, разве что ради твоего будущего первенца, трижды тьфу-тьфу-тьфу в его сторону и сторону его бедной матери!.. но увы, болтливый отец! — начать придется все же с замыслов!..

Сказано в толковании каббалистов Цфата, чьи имена не называют вслух, к Книге Берешит, иначе Бытие:

«В час, когда приступил Святой, благословен Он, к сотворению первого Адама, увидел Он праведников и нечестивцев, что произойдут от него. Сказал: «Если Я сотворю его, то выйдут из него нечестивцы. А если не сотворю, то как появятся из него праведники?» Что сделал Святой, благословен Он? Убрал Он от своего лица дорогу нечестивцев. И призвал к участию в нем Свойство Милосердия, и сотворил его. Об этом написано в Тегилиме, иначе в Псалтыре: «...ибо знает Господь путь праведных, а дорога нечестивцев исчезнет ..» И в час, когда приступил Он к сотворению первого Адама, советовался Он с бейт-Малахами, иначе Ангелами Служения. Сказал им: «Сделаем человека в образе Нашем, по подобию Нашему». Сказали Ему: «Адам? а каковы его свойства?» И еще сказали Ему: «Что человек, коль ты вспоминаешь о нем?» Сказал им: «Человек, которого я собираюсь сотворить, более мудр, чем вы». И еще сказал им: «Восстанут из него праведники». Это то, о чем сказано: ибо знает Господь путь праведных. Ибо показал Господь путь праведников бейт-Малахам, иначе Ангелам Служения. А «дорога нечестивцев исчезнет...» значит, что не открыл им Святой, благословен Он, что восстанут из Адама нечестивцы. Ведь если бы открыл Он бейт-Малахам, что восстанут нечестивцы из него, сотворенного по образу и подобию, то не позволило бы Свойству Суда сотворить Адама...

Когда же Адам согрешил, покинув вместе с Хавой эдемские сады, и начали расти на земле колена Адамовы, являя праведников и грешников, — увидев это, сказали двое из Существ Суда, имена которым Аза и Азель: «Если бы мы были на земле, то не согрешили бы!» И, навсегда облачась в плотские одежды, дабы не искушаться возвращением в свет, сошли на землю Аза и Азель, входя к дочерям человеческим и зачав от них исполинов.

Взирая на них из сияния Эйн-Соф, говорили при этом иные Существа Суда: «Вот, потомки Азы и Азеля силой правят сыновьями Адама. Разве таков был замысел Святого, благословен Он?!» И в гордыне своей сочли они, что постигли Его замысел, решив исправить ошибку. Оставшись светом, пали Существа Суда в мир телесный и разделили его на части Рубежами, дабы по мере сил оградить свободных сынов Адама от владычества исполинов. А самих

Азу с Азелем в их плотских одеяниях приковали Существа Суда железной цепью (ибо считали, что вправе вершить суд именем Его) к скале Каф, дабы более не плодили они потомства; и по сей день стоят там мятежные ангелы, прикованные, и сведущие люди, взыскуя тайных знаний, приходят к ним учиться запретному.

Но в рвении своем, даже оставшись светом, лишили бейт-Малахи себя возможности вернуться, пока существуют люди и есть что от кого ограждать. Скорбный удел: служить благу потомков Адама, не любя их, ибо было сказано: «Человек, которого я собираюсь сотворить, более мудр, чем вы». Впрочем, известно Существам Суда о том, что в конце времен исчезнет плотский мир и вместе с ним — тела людские, души же возвратятся в Свет Эйн-Соф, сделав излишними Рубежи и служение бейт-Малахов. Ныне же держится мир силами праведников, и едва число их станет меньше положенного — тут и настанет конец земной юдоли.

И тогда здраво рассудили Существа Суда: «Мы разделили мир Рубежами, дабы оградить одних от других, и силу от силы, и знание от знания. Но ведь может статься, что внутри какой-либо из огражденных частей окажется меньше праведников, чем требуется для поддержки мира на краю бездны? Тогда исчезнет эта часть в огне гнева Его, и души людей освободятся от гнета бренных тел, устремившись к Свету, — о, вот способ помочь исполнению замысла Святого, благословен Он! Спасем же целое от гнета бренной плоти, очищая по частям!»

Множа поводы ограждения — царя от царя, демона от демона, жреца от жертвы и знающего от глупца — бейт-Малахи стали множить Рубежи; и впрямь случалось так, что огражденные участки гибли в пламени гнева Его, ибо не хватало праведников для спасения части от участи.

Когда же разверзлись небеса всеобщим потопом, возрадовались Существа Суда, сказав: «Вот! сейчас освободимся мы от служения». Но воды схлынули, вновь обнажив лоно земли. «Плодитесь и размножайтесь!» — вновь прозвучало в мире, и стало бейт-Малахам недоставать сил, чтобы удержать все возведенные Рубежи, желая сверх того строить новые! Вот тогда и позавидовали они черной завистью мятежным Азе и Азелю и их потомству, детям свободного выбора. Ибо кто избрал Свободу взамен Служения, тот ближе к Адаму, чем к Существам Суда; потому и тянет наследников Азы и Азеля, наследников их мятежа, к смертным женщинам, а не к богиням, или демоницам, или безымянным созданиям! Самим же Существам Суда потомства иметь не дано: оставшись светом, бесплодны суть!..»

— Ты доволен?

— Нет, мудрый рав Элиша. Я не доволен. Ты сказал слишком много для ответа на простой вопрос: «Почему меня тянет к

смертным женщинам?» И одновременно слишком мало — ибо твой ответ породил во мне другие вопросы. Если количество Рубежей непрестанно растет, а бейт-Малахи не в силах иметь потомство от дочерей человеческих, то как они, Ангелы Служения, исполняют заповедь «Плодитесь и размножайтесь»?!

Нет ответа.

Только легкий храп и присвистывание.

Ухожу в колонну.

Я принесу ему самый тихий сон, который сумею найти, — если, конечно, успею.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

...Сквозняк, заигрывая, прошуршал страницами. Сале протянула руку, и этот бастард ветра и щели всем телом приник, распластался вокруг запястья.

«А что это у вас, дражайшая Сале?..» — беззвучно осведомился сквозняк, лаская гладкую кожу.

Женщина, не ответив, улыбнулась.

Прохлада была приятной.

Если до сих пор она плохо понимала, чем Жилистый Понедельник, он же Мертвецкий Великдень, отличается от прочих пятниц, четвергов и вторников, вместе взятых, то сегодня все стало на свои места. Голову с утра словно мокрым полотенцем обвязали. В висках сухо стучали молоточки, беспрестанно хотелось пить, и трепетно билась жилка под левым веком — отчего казалось, что женщина все время игриво подмигивает.

Знать бы еще — кому?

Сале заставила себя пробежать глазами абзац, затем другой. Речь шла о каком-то невезучем шляхтиче Матковском, сожженном суеверными жителями села Гуменец по обвинению в насылании мора. Поскольку бедный шляхтич вовсю голосил, что просто ходил с уздечкой по полям, отыскивая пропавшую с вечера лошадь, было решено замазать ему рот свежим навозом, а глаза завязать смоченной в дегте тряпкой. Меры помогли, и Матковский голосить перестал. Присланный к нему священник сообщил же гуменчанам следующее: «Я до души, а вы до тела, жгите как можно скорей!»

Женщина зевнула; перелистала страницы.

Время убивалось туго. Минуты растягивались в часы, а часы и вовсе прикидывались неделями. С трудом удалось прочитать еще абзац-другой, повествующий о черниговском полковнике, позднее — генеральном обозном Василии Бурковском. Этот прославился двумя вещами: при жизни участвовал под командованием гетьмана Мазепы, прозванного за женское угодничество Мартоплясом, в разгроме под Полтавой войск «Дракона Мос-

ковского», а после смерти разъезжал в карете шестерней по Красному мосту, пока под гнетом проклятия не провалился в Стрижень.

Жизнеописание лихого полковника (включающее и малую толику бытия загробного), а также перечень некоторых его милых привычек, интереса опять не вызвали. После тесного знакомства с веселым Стасем... Наверное, все-таки хорошо, что все эти дни пан Станислав практически не вылезал из замка. Интересно, что он там ест? что пьет? с кем спит?

Ничего, сегодня выясним, если не стошнит.

Захлопнув скучную книгу, Сале встала и подошла к знакомому портрету.

Худосочный молодчик на этот раз смотрел ей в глаза с неприятным сочувствием. Тайное полотенце вокруг головы налилось ледяной влагой, молотобойцы внутри черепа мерзко зачастили своими кувалдами. «*Гревская площадь...* — вдруг уловила Сале верхним чутьем, обострившимся с самого утра; и еще раз, вдвое тише: — *Гревская... площадь...*»

Она смежила веки и привычно сосредоточилась.

Действительно, пан Станислав был прав: сегодня особенный день. С четверга ей ни разу не удалось всерьез выйти за пределы себя. Судорожно, доводя себя до исступления и обморока, она все это время пыталась связаться с Самаэлем, предупредить Ангела Силы о времени нелегального выхода в Порубежье, о спутниках, которых следовало пропустить невозбранно в отличие от прочих... Тщетно. Ничего не получалось. Женщина неизменно вылетала душой в ночные небеса, где бессмысленно носилась верхом на дурацком ухвате. Светила луна, рой стихийных духов хихикал вслед, а вокруг мельтешили рогатые шуты с собачьими харями. Свита? зеваки? конвой?! Наконец один из них, самый наглый, одетый в мундир с длинными фалдами, хватал луну и совал себе за пазуху — становилось темно, хоть глаз выколи, и Сале с криком падала в пропасть.

И так раз за разом.

Чьи это происки, не стоило и гадать.

«*Гревская площадь...*» — послышалось снова. И почти одновременно с этим морок прояснился. Но вместо Порубежья женщина и впрямь увидела городскую площадь, полную народа. Люди уже расходились, живо обсуждая что-то между собой. Рядом, на высоком дощатом помосте, разговаривал с палачом в красном капюшоне какой-то человек; за руку человек держал примерно двенадцатилетнего ребенка, очень похожего на молодчика с портрета. Разговор явно ладился, палач протянул руку, взяв бархатный кошелек, — и человек повернулся в сторону пыточного колеса.

Сале затрясло. Там, у колеса, валялось безглавое тело, и от-

рубленная голова, откатившись чуть в сторону, лениво моргала глазами.

Тело было мощным, кряжистым. Даже если бы не толстые губы живой головы, кривящиеся в знакомой улыбке, подходящей более почтенному отцу семейства...

Казненный был похож на зацного и моцного пана Мацапуру-Коложанского, как бывают похожи родные братья. Не близнецы, нет, и про них нельзя сказать «Одно лицо!» — но сходство тем не менее было несомненным.

— Пойдешь ко мне на цепь? — хрипло спросил человек, заплативший палачу.

Веки того, что лежал у колеса, снова дрогнули. Опустились.

Больше Сале ничего не видела.

За окном усердно распекал сердюков пан Юдка, бодрый, как никогда. Консул поспевал везде: только что его гортанный голос звучал у конюшни — и вот уже град страшных ругательств обрушивается на голову лентяя-кухаря, по сей час не уложившего харч в седельные торбы. Казалось, Юдка никогда не бывал ранен и всю жизнь провел в неге и довольстве, копя силы про запас.

Сале пожала плечами, отогнала прочь видение публичной казни и вышла из библиотеки в коридор.

Молодчик с портрета тоскливо глядел ей вслед.

Словно рассчитывал на помощь, а его подло обманули.

«*Гревская*... — еле слышно кинулось в спину. — *Гревская пло*...»

Сале не обернулась.

Вещи она собрала еще до обеда. Собственно, и вещей-то было... Разве что прихватить заодно и скучную книжку, что худобедно помогла ей убить-таки часа два времени? Будет дома потешать желающих (особенно — мастера) байками о сожженных ни за грош шляхтичах и посмертно разгуливающих полковниках. Животики надорвут...

Не только в здешнем Сосуде любят «байки про опырякив»; правда, здесь их любят особенной, чистой и бескорыстной любовью.

По всему видать.

До намеченного времени выезда оставалось не меньше двух часов; зимние сумерки бродили за окном, окрашивая мир в лиловую муть. Женщина вздохнула. Она ощущала в душе гулкую пустоту безразличия, и больше ничего. Правильно. Перед серьезным делом у нее так было всегда. Пока другие старались не забыть самую мельчайшую мелочь, планировали и рассчитывали наперед, насилуя воображение, пока другие жгли душу жадным огнем предвкушения...

В то же время Сале Куколка превращалась в сонное привидение, слоняясь из угла в угол с застывшим лицом.

Она умела ждать правильно, завернувшись в кокон снаружи и внутри.

Мастер научил, будь он проклят.

Из коморы, где жил герой Рио, доносился глухой лязг металла. Герой с самого утра возился со своим боевым железом, собираясь перед отъездом вновь переодеться в привычный доспех. Это тоже правильно. Это тоже успокаивает. Брать надо только свое — привычное, знакомое издавна. Чужому доверия нет, любой Проводник это знает назубок. Тем более что перед обедом один из сердюков, отобранных Юдкой в сопровождение, расщедрился и приволок заезжему пану пистоль, долго уговаривая взять с собой «верную зброю». Когда заезжий пан вежливо, но твердо отказался, услужливый сердюк долго шептался во дворе с товарищами, пока наконец не пришел к странному выводу: для такого моцного пана пистоль-маломерок, пусть и турецкий, — кровная обида. Была принесена рушница-кремневка и рог с порохом. В результате Рио молча выставил доброхота за дверь вместе с его рушницей. Совет во дворе продолжился, из арсенала на свет божий была извлечена гаковница совершенно непомерной величины, вкупе с прилагающейся к ней треногой.

Сердюк откашлялся, гордо подкрутил ус и пошел делать пану приятное.

Чуть позже, после грохота, треска и проклятий, он долго еще хромал по двору, делясь с товарищами недоумением относительно раздражительного пана и выбитого собственной спиной окна.

— Ну нема у нас кулеврины! — воздевал сердюк руки к небу, охая и демонстрируя неплохое знание огнестрельного оружия. — И мортиры нема! Где ж я ему...

Когда о случившемся доложили пану Юдке, консул долго хохотал, утирая слезы, и ничего не сказал.

Сале еще немного постояла в коридоре.

Вернулась в библиотеку, к назойливому портрету — но тот молчал.

Обиделся.

Без видимой причины вспомнилось, что вчера герой напился вдребодан. Вышло это случайно или сознательно — Сале понятия не имела. Хотя знать хотелось. Просто в воскресенье, ближе к вечеру, на низких санях-гринджолах, запряженных лохматой кобыленкой, приехал треклятый ведьмач. Рудый Панько вел себя как ни в чем не бывало, низко поклонился «ясной пани» и мигом затрюхал на кухню. Вскоре сердюки перетаскали туда из саней два мешка с солью и множество глиняных жбанов с медом. Панько юлой вертелся рядом и драл глотку, требуя, чтобы

гречишный ставили отдельно, липовый отдельно, а какой-то «соняшник» — и вовсе отдельно, лично для пана Станислава.

Минутой позже толстяк-кухарь выбрался наружу, начав с дедом долгий, невообразимо шумный торг.

— Полтора карбованца? — орал он, ударяя оземь шапкой, после чего принимался топтать шапку сапогами. — Сдурел, дед?! Да за полтора карбованца я выкормленного кабана куплю! Кожух дубленый куплю, еще и папаху смушковую! Скидывай цену!

— А соль, соль-то яка?! — не сдавался Панько, подначиваемый развеселившимися сердюками на купеческие подвиги. — Поглянь, блазень ты этакий! — разве ж то «крымка»?! Это ж «бахмутка», самочистейшая! — нет, ты поглянь, поглянь, языком сунь! Кожух он купит... папаху он купит... хрена он купит за полтора карбованца, да и хрена-то не купит!..

Кухарь в сотый раз совал языком, кривился, и торг начинался сызнова.

Когда же наконец денежный вопрос был кое-как улажен, Панько засобирался обратно. Видимо, он был изрядно доволен итогом торговли, потому что на посошок сунул сердюкам бутыль с...

Сале показалось — с водой.

— Выпейте, хлопцы, — задумчиво буркнул ведьмач, дергая бороденку. — Выпейте на помин души... не глядите, что халява — добрый чвирк, двойной перегонки!..

— Чьей хоть души-то? — сразу несколько рук вцепились в бутыль с чвирком — не отнимешь.

Рудый Панько только малахай поглубже нахлобучил да побрел к саням.

Дескать: эх, хлопцы, был бы помин, а душа для него завсегда сыщется!

Когда дед укатил восвояси, а сердюки успели для разгона пропустить по чарке-другой, во двор спустился Рио. Он постоял-постоял, глядя перед собой и словно забыв, зачем выходил из коморы, потом решительно направился к сердюкам и обеими руками поднял бутыль. Пока он пил прямо из горлышка, щедро заливая грудь, в глазах собравшихся вокруг мужчин родилось и выросло до необъятных размеров чистое, искреннее восхищение.

Двойной перегонки.

Сале еще подумала: так сельские дети глядят на канатоходцев и бродячих фигляров.

— Сальцем, сальцем заешьте, ваша мосць!

Даже кухарь метнулся от дверей своей обители поучаствовать в этом чуде: пан гуляет разом с сердюками!

— Заешьте, не побрезгуйте!

Герой заел, смахнул слезу и подсел к выпивохам.

Сверху высунулся из окна пан Юдка, глянул сумрачно, но встревать не стал.

В него плечи, як у бабы,
В него очи, як у жабы,
В него усы, як у рака,
Сам недобрый, як собака! —

вскоре оглушительно затянули сердюки, со значением косясь на окно.

Сам недобрый, як собака! —

блаженно подтягивал странствующий герой, утирая слезы.

Еще позже вся компания ушла со двора, горланя песни и смачно обсуждая прелести шинкарки Баськи, а также лихой вдовушки Солохи, к которым они, собственно, и направлялись — добавить во всех смыслах. Вернулись сердюки далеко за полночь; когда именно, Сале не запомнила, потому что легла спать. Разбудило ее мерное громыхание в коридоре. Сунувшись туда прямо в ночной сорочке, женщина обнаружила героя в полном доспехе, марширующего из угла в угол без особой цели и смысла.

— А, С-Сале... — герой попробовал улыбнуться и неожиданно икнул. — Ежиха Сале со стальными иголками... Не сп-пится?.. и мне не с-с-с... не с-с-спи... а, чтоб его!..

И продолжил маршировать.

— Ты б шел ложиться, — женщина сперва хотела высказать Рио все, что думала о его несвоевременном загуле, но сдержалась.

Сдержалась легко, удивившись собственной покладистости.

Мельком подумалось: а славно было б упиться вдрызг самой!.. Почему раньше ей не приходило в голову такого простого выхода из тупика?! — захлебнуться, забыть, не думать, не помнить и просто шляться в коридоре, мешая честным людям коротать ночь в честном забытьи...

— Заказ! — вдруг возвестил герой, с лязгом садясь прямо на пол. — Большой заказ! Не поверишь, Сале, — я т-так его хотел... т-так ждал... дождался. И к'Рамоль тоже дождался... и Хостик... сейчас рады н-небось!.. до смерти рады. Скажи, Сале! — кому я мешаю на этом свете? Кому? Скажи! Ехал, думал: денег заработаю... миры посмотрю... Насмотрелся! Сыт по горло! Ведь ты тоже сдохнешь из-за меня, а я останусь жить дальше, жить и переезжать с м-места на место, нянчась со своим запретом на убийство! Они пошли к бабам, эти парни, и я пошел вместе с ними... скажи, Сале! — зачем я пошел с ними?!

— Успокойся, Рио, — женщина села рядом, остро чувствуя холод, идущий от половиц.

Не застудиться бы перед самым отъездом!

— Успокойся и иди ложись. Ну зачем мужчины ходят к бабам?.. Нашел что спрашивать, глупый! Завтра мы уедем, уедем домой, и все вернется на свои места. Иди спать, герой.

— Все вернется на места, Сале? И Хостик вернется? И Рам?! И мы с тобой?! Ты врешь, и сама прекрасно понимаешь, что врешь... и я тоже понимаю. Ладно, пора и впрямь спать... герою пора спать...

Скрежет, взвизг металла — Рио поднялся на ноги и потащился к лестнице.

Встав на первую ступеньку, он обернулся.

— А я ведь... — совсем уж непонятно сообщил он, глядя мимо Сале. — Я ведь с женщинами... еще никогда. Ни разу. Мне ведь, в сущности, еще и тринадцати нет... маленький я еще. Маленький...

И совершенно бесшумно пошел к себе.

Высокий воин в боевом железе; усталый мальчишка, заживо похороненный в убийце с запретом на убийство.

Последняя мысль, явившись из ниоткуда, страшно обожгла Сале, и холод от половиц уже не имел никакого значения.

Минут через десять она на цыпочках подошла к двери комоpы, где спал герой, но дверь оказалась заперта изнутри на щеколду.

А на тихий стук ей не открыли.

* * *

— ...пан сотник! Пан Юдка, на околице палят!

Многоголосый вопль вытряхнул Сале из пыльного мешка задумчивости.

Вдали, со стороны западной окраины хутора, где начиналась мрачная громада леса, сумерки разом треснули гнилым полотнищем; и еще, теперь уже севернее, от замерзшего пруда.

Женщина запоздало поняла — это не впервые.

Самый первый, робкий треск двух-трех выстрелов она пропустила мимо ушей, не обратив на него внимания: сказалась непривычка к таким методам ведения войны.

Куда только и делась личина безразличия, вся показная неторопливость! Метнувшись в библиотеку, где лежали собранные ею котомки, Сале пнула вещи ногой — пропадай, не жалко! Наскоро застегнув на талии пояс с набором метательных клиньев, она сунула туда же два кривых клинка без ножен, накинула поверх полушубок и вихрем вылетела во двор.

Удивительно: паники не было.

Повинуясь коротким командам надворного сотника, сердюки сопровождения выводили из конюшни заседланных лошадей, двое парней покрепче ждали у ворот с засовом наготове, а еще с полдюжины стрелков, вооруженных нарезными рушницами, ловко карабкались из чердачных окон на крышу — залечь у трубы, за обледеневшим карнизом.

Оборона дома явно отрабатывалась заранее, и не единожды.

Кроме того, большая часть сердюков квартировала на хуторских хатах (многие — с законными женами и детьми); они просто обязаны были задержать продвижение нападающих.

— Кто это, консул? — Женщина вцепилась в рукав Юдкиного жупана. — Писарчук из Полтавы привел?!

Косой взгляд был ей ответом.

— Логиновские черкасы, — наконец бросил Юдка, удостоверясь, что лошади ждут, ворота готовы закрыться в любую минуту, а стрелки на крыше проворно орудуют шомполами. — Бьют грамотно, залпами. Вэй, кто ж мог предвидеть?! Одно хорошо — кони у них небось вконец запаленные! Глядишь, прорвемся к яру, а там...

Сизые от беспробудного пьянства тучи низко нависли над головой. Видно было и так не лучшим образом, а тут еще ветер, как назло, залепил Сале в лицо пригоршней мокрого снега. Ресницы слиплись, женщина утерлась тыльной стороной ладони и вдруг почувствовала себя совершенно никчемной.

Надвигалась метель.

Много чего надвигалось...

— Черкасы? Логиновская сотня?!

— Да какая там, мать ее, сотня! С сотней он еще дня три б шел! Видать, обоз Логин за Днепром кинул, и с малым отрядом — сюда... на Великий Пост разговляться! Все, хватай байстрюка — и в седло! Да шевелись, чорт тебя побери, черкасы ведь окраинные караулы вмиг стопчут!..

— А успеем?!

— Должны успеть! Пока они сюда доберутся, пока дом возьмут, пока хутор перетряхнут сверху донизу... Должны!

Рядом звякнуло железо.

Герой Рио держал под уздцы подведенного ему жеребца.

Смотрел в сторону; спешить за Сале, помочь ей управиться с ребенком явно не собирался. Ладно, после разберемся, кто герой, а кто второй...

Сломя голову женщина кинулась в дом. Пытаться бежать с хутора в замок пана Станислава, и оттуда — нелегалами через Порубежье, оставив здесь на произвол судьбы урода-ребенка, главную цель Большого заказа... Такие шутки были смерти подобны. Разве что смерть откладывалась на некоторое время, дабы подготовиться для радостной встречи.

Больно ударившись плечом о стену, она тенью пролетела коридорами.

С дребезгом откинулась внешняя щеколда. Хлопнула дверь, и Сале, тяжело дыша, огляделась.

Комора, где еще с обеда заперли дитя, пустовала.

Да что он, сквозь землю провалился?!

Впрочем, после здешних похождений женщина не исключала и этой возможности.

— Эй! Маленький, ты где?

Под кроватью тихо завозились, послышался всхлип — и снова наступила тишина. Упав на пол, Сале ужом скользнула вперед, и секунду спустя ее пальцы нащупали хрупкое тельце.

— Иди... иди сюда, мой славный!.. иди к мамочке...

— Пусти! — неожиданно выкрикнул ребенок, отчаянно сопротивляясь. Сале едва не разжала пальцы: столь велико было потрясение от членораздельного, совершенно недетского вопля. — Пусти меня!

Больше он не произнес ничего, пыхтя от напряжения. Увы, силы были неравны. Кусающегося и царапающегося, маленького выродка извлекли из-под кровати и даже подняли на руки. Но скакать с ним, с таким, в седле было бы почти невозможно; тем более что Сале никогда не считала себя превосходной наездницей.

Отдать же ребенка в чужие руки... пусть даже в руки героя или консула... Нет, она бы ни за что не согласилась.

О сердюках даже речи не шло.

— Пусти... пусти меня...

Предоставив ребенку барахтаться у нее под мышкой, Сале правой рукой изо всех сил рванула оконную портьеру.

Раздался треск; ему вторил треск выстрелов с околицы.

После второго рывка часть крючков отлетела. После третьего портьера осталась у Сале — и ребенок был мигом запеленут с головой в тяжелую ткань.

Вместо плача изнутри доносилось только хриплое рычание, как если бы женщине взбрело в голову тащить к проруби изрядно подросшего щенка.

— Ну, тихо... тихо...

Тихо не получалось. Ни в какую. Со стороны могло показаться: обезумевшая мать выносит насмерть перепуганное дитя из охваченного пожаром дома, укрыв свою кровинушку от искр и жара. Разве что дом пока не горел. Сале криво усмехнулась на бегу. Пожар не заставит себя долго ждать. Разве что чуть позже, когда черкасы неистового сотника Логина, стоптавшего взмыленными конями два лишних дня, доберутся сюда.

Еще как полыхнет... ну, тихо, тихо, перестань дергаться, кошачье отродье... да перестань же, говорю!..

— Шевелись, Проводник! — гортанно взметнулось за окнами, и почти сразу, звонким напевом боевой трубы: — Сале! Скорее!

Выбежав на крыльцо, женщина на миг зажмурилась. Вьюга за это время разыгралась не на шутку, снежные плети-тройчатки секли наотмашь, не разбирая, кто прав, кто виноват, кто вообще случаем подвернулся... Смотреть обычным зрением было трудно, а на большее не оставалось сил. Местный Сосуд не создан для таких, как Сале Кеваль... Для кого же ты создан?.. неужели для подобных Рудому Паньку и веселому Стасю?! Вряд ли, скорее, просто посланникам князя не повезло со встречными...

Кто-то подвел ей заседланную кобылку, подставил ладони для опоры. Последнее оказалось как нельзя кстати: толчок — и женщина очутилась в седле, слепо нашаривая поводья.

Кокон, тесно прижатый к ее груди, сперва притих, но тут же взорвался бешеным движением. Из складок портьеры, червем из капустных листьев, выбралась сперва сжатая в кулак ручонка, струясь наружу переливами золотой цепочки; следом показалось лицо. Щелями-бойницами раскрылись узкие, от самых висков глаза, страшное пламя недетского взгляда обожгло Сале...

Она едва не выронила свою ношу.

Судорожный взмах — и драгоценная искорка, кувыркаясь, полетела в снежную пелену.

— Батька! Лети... лети, батька!

Визг проклятого ребенка слился с порывом налетевшего сбоку, предательски, ветра. Проморгавшись, Сале увидела совсем рядом с собой героя Рио — тоже в седле. Князь не ошибся в выборе: сдерживая пляшущего жеребца, герой показывал женщине пойманный на лету золотой медальон.

Тот, что урод-дитя все время таскал на шее, заходясь истошным воем, едва кто-нибудь хотел посмотреть цацку или, упаси небеса, потрогать.

Сокровище, понимаешь...

— Себе! — Женщина сорвала горло, перекрикивая вьюгу. — Себе оставь!

Герой кивнул. Сплюнув через губу замысловатое ругательство (странно... раньше за ним вроде бы не водилось!..), Рио растянул цепочку, которая, словно живая, удлинилась под напором его пальцев; прикинул на глазок — и решительно сунул голову в образовавшуюся петлю.

Миг, и медальон уже постукивает о зерцало доспеха.

— Батька!.. батька, лети!.. лети...

Портьера надежно закутала крик.

Кони рванули с места, и за спинами беглецов злобно громыхнул засов.

«Чумака... жалко Чумака, — верхним чутьем уловила женщина обрывок мысли консула. — Замордуют ведь парня...»

Сале тесней прижала к себе сверток с ребенком.

Ей не было жалко Чумака-предателя, в беспамятстве валявшегося во флигельке, под присмотром краденой невесты.

Ей никого не было жалко; даже себя.

* * *

...эту скачку сквозь метель и выстрелы Сале запомнит навсегда.

Кобыла неслась стремглав, дробно стуча копытами, все силы уходили на то, чтобы удержаться в седле, не выронить ношу и не потерять во мгле спину скачущего впереди Рио. Кое-где в снежной круговерти красноватыми очами чудовища светились оконца редких хат; дважды кони прыгали через украшенные горшками плетни, расплескивая черепки звонкими ударами копыт — дыхание перехватывало, а отдышаться не было ни сил, ни времени. Потом, бешеным метеором, дико вырвалось из тьмы оскаленное лицо консула. Локоны на висках Юдки висели двумя рыжими сосульками; глаза, и без того выпуклые, сейчас чуть ли не вылезали из орбит. «За мной!..» — Сале так и не поняла: почудился ли ей страшный шепот или это и впрямь было на самом деле.

Чужая рука дернула поводья кобылки, разрывая лошади рот удилами, а сбоку, из хаты выбегал сердюк-квартирант в подштанниках и кожухе нараспашку, паля в метель из двух пистолей. Ребенок на руках притих, сжался в теплый, просто горячий комок; Сале казалось, что она везет собственное, вырванное из груди сердце.

Сердце, которого у нее давно не было.

Земля билась и грохотала где-то далеко внизу, раскалываясь кувшином под копытом. «Так гибнут Сосуды!.. так гибнут...» — додумать не удалось. На ворот полушубка налип целый сугроб, вынуждая горбиться, стекая за ворот ледяными струйками, а скачка все длилась, и метель длилась, и бегство, и безумие, и ждал вдалеке замок, ждал веселый Стась, ждал обозленный молчанием Самаэль, Ангел Силы, не способный ничем помочь здесь, в скачке и метели...

Все было именно так.

Все было.

Ветер косым ударом крыла распорол пелену впереди и слева.

Сперва Сале почудилось, что она прихотью судьбы оказалась во главе кавалькады, что это на нее вылетает из крутящегося

снега громада чубатого всадника без шапки, взмахивая кривой шаблей.

Откуда-то сбоку вывернулся один из сердюков сопровождения, срывая с плеча рушницу.

Выстрел оглушил женщину, но чубатый исчез, пропал во вьюге, а вместо него явилась запряженная парой бричка. Легкая бричка, какие Сале уже видела здесь — пан Станислав и местные звали их «чортопхайками». Кони захрапели, вьюном разворачивая чортопхайку на месте, и с зада брички ощетинились в снежный морок зрачки сдвоенных гаковниц, готовясь в любую секунду заплевать весь мир рубленой картечью.

«Сворачивай!.. сворачивай, пани!..» — зашипело, забулькало у самого уха; кобыла зашлась истошным ржанием, успев свернуть в проулок за миг до того, как грохнул залп.

Сердце Сале оборвалось в свистящую пропасть, бездну в глубине, в ту самую, где пряталась до поры прежняя, настоящая Сале Кеваль, — и ноздреватый сугроб принял женщину с ребенком в себя. Рядом билась в агонии несчастная лошадь, а у плетня герой Рио силой вынуждал своего жеребца удержаться на ногах — его конь, видимо, был ранен. Из-за ближайшего хлева, примыкающего к рубленой хате в три наката, взвился гортанный зов, но ветер скомкал его в горсти, расплескал, раскидал по округе.

Все было именно так.

Все было.

И, поднимаясь на ноги, тесно прижимая к себе раскаленный комок, Сале Кеваль поняла: не уйти.

Даже если жеребец Рио продержится в скачке, а ее с ребенком кто-нибудь возьмет к себе в седло — не уйти.

Решение пришло само.

— За хлев! — крикнула женщина, надеясь, что ее услышат те, кому этот крик предназначался. — Прячьтесь за хлев!..

Спустя мгновение, расхристанная, простоволосая, с ребенком на руках, она уже бежала навстречу преследователям.

Чортопхаек оказалось две, и передняя ее едва не задавила.

— Панове! Панове черкасы!

Кони с ржанием заплясали на месте, сдерживаемые умелой рукой, и женщина увидела всадников (двух? трех?..), что скакали следом.

— Панове черкасы! Спасите! Вон они, ироды клятые, вон туда поскакали! Мамку мою, мамку старенькую, стрелить хотели... Бровка затоптали... спасите! Они там, там ховаются!

— Не врешь?!

— Христом Богом клянусь! — вовремя вспомнилась местная присказка, не раз слышанная здесь от кого угодно, начиная ку-

харем и заканчивая сердюками; разве что пан Станислав и Юдка обходились иными словами.

И рука женщины еще раз указала куда-то в черный провал между хатой и хлевом.

— Ну, баба! Вот это баба! Хлопцы, а ну!..

— Пан есаул, на чортопхайке не пройдем!

— Бес с ней!.. Зараз вернемся!

Черкасы прыгали с брички, досадливо швыряя на дно разряженные в бою пистоли и булдымки-короткостволки; кривые клинки шабель скупо взблескивали, покидая ножны. Всадники ринулись первыми; пешие от них почти не отставали.

Трое черкасов с последней брички слегка замешкались. Молодой парень, правивший упряжкой, лихо соскочил на землю, набрав полные сапоги снега; от души хлопнул Сале по плечу.

— Эх, баба! Спаси тебя Бог! Ну, баба...

Он вдруг замолчал, тяжело, со свистом, дыша.

Взгляд его уперся в сверток на руках женщины.

В суматохе портьера разошлась, и на парня смотрели узкие глаза — от переносицы до самых висков.

Шестипалая ручка цепко держала скомканную ткань.

— Баба!.. да у тебя ж чорт в пеленках... слышь, баба...

Сале Кеваль, прозванная Куколкой, улыбнулась оторопевшему черкасу и шагнула вперед.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

...Златое Древо Сфирот распускалось цветами помыслов Святого, благословен Он. Цветы осыпались вьюгой лепестков, образовывая завязи Сосудов; завязи щедро наливались соком вложенного в них Света, росли, но вскорости начинали чернеть, подтачиваемые изнутри червями — червями противоречивых стремлений и страстей, раздиравших Сосуды на части. И вот уже черенки-порталы не в силах выдерживать тяжесть плодов, набухших густой жижей греха, вот один за другим Сосуды срываются с ветвей и летят вниз, в аспидную бесконечность небытия, по дороге схлопываясь, обращаясь в ничто...

Плодов осталось едва-едва, но эти последыши держались изо всех сил. Лишь на самой верхушке, забытый в шорохе вечной кроны, судорожно цеплялся за жизнь крохотный комочек, безнадежно съеживаясь на глазах. Дуновение ветра, касание крыла летящей мимо птицы, минута, другая — и упадет, рассыплется прахом, перестанет быть...

Я знал, что сплю и вижу сон. Раньше, когда я был самим собой, я не спал никогда — не понимал зачем. Теперь же... За ответ на этот вопрос — зачем?! — я заплатил необходимостью бе-

речь свои скудные силы, как нищий собирает в горсть хлебные крошки.

Силы мне вскоре понадобятся.

Все, без остатка.

Откуда я это знаю? Откуда ветер знает, что если он стихнет — он умрет? Ветер не знает. Он просто играет, летит, завывая, треплет ветки деревьев; ему никто не объяснял, что остановка, отдых — это смерть для ветра... Смерть? конец? отдых?.. Значит, я умер. Я научился спать, как смертные (сон — близнец гибели, младший брат! может быть, поэтому бессмертные не спят?!), — но что-то еще осталось от прежнего вольного каф-Малаха. Я чувствую, я *пред*-чувствую; ибо еще недавно минуты-годы-века не имели для меня никакого значения, «здесь» означало одновременно и «сейчас»; «там» — могло быть и «завтра», и «вчера».

А сейчас у меня отобрали «вчера» (оставив лишь память — не извлечь, не вытащить, не уйти туда!), оставив лишь «сейчас» и «завтра». Вместо свободного «там» меня обрекли на вечное «здесь», и даже если я куда-то лечу золотой осой — это все равно «здесь», только на несколько шагов левее или правее.

Левее, правее, выше, ниже...

Убогие слова, тесные понятия.

Привыкай, блудный каф-Малах, ибо других у тебя больше нет.

Я сплю.

Интересно, люди спят иначе?

Я вижу сны.

Я беспокоюсь: сморщенный плод готов упасть, все слабее цепляясь порталом за ветвь Древа Сфирот... я сплю, понимая, что сплю, понимая... люди, знакомые мне, описывали сон иначе.

И еще: можно ли испытывать во сне беспокойство?

Не знаю.

Скорлупу сна подбрасывает, словно лодку на волнах, трещины в ней ширятся — но золотой свод еще держится. Золотой? Почему скорлупа сна — тоже из золота?! Как своды моего склепа-медальона! Или мою темницу действительно трясет, и никакой это уже не сон, а...

Тянусь чем могу — волей.

Остатками.

Выплескиваюсь из золота — куда?

Тянусь наружу, тянусь туда, вовне, ожидая наткнуться на привычный барьер, воздвигнутый моим сыном. И не успеваю осознать, что никакого барьера нет, а есть кто-то знакомый, я помню его, он тоже умеет ставить барьеры, только сейчас ему не до меня, потому что...

Я вырвался!.. нет, я ворвался!

Бешеный черно-белый мир распахивается передо мной — мир, который я вижу знакомым взглядом.

По глазам хлещет снежной кашей.

* * *

Вьюга раскололась ослепительной вспышкой.

Впереди кто-то падает — пан Юдка не промахнулся.

Это *не моя* мысль! Я просто не могу понимать...

...От удара меча шабля черкаса ломается пополам. Стальная молния дважды перечеркивает противника, словно ставя на нем крест, и обе руки его безвольно обвисают. Сердюки добьют. А не добьют — выживет.

Он знает свое дело, герой по имени Рио, и он крепко держит поводья смерти, что обосновалась на конце его клинка.

«Убей!» — хочу я беззвучно крикнуть ему изнутри, но, поперхнувшись, сдерживаю крик. Любое вмешательство может сейчас привести лишь к одному: отвлекшись, герой просто-напросто погибнет, так и не нарушив запрета. Рио дает коню шпоры, сбивая наземь пешего усача, сворачивает за угол грязного хлева, крытого соломой, — и я вижу...

Вернее, *мы* видим.

Вместе.

— ...Баба!.. да у тебя ж чорт в пеленках... слышь, баба...

Спрыгнувший с брички черкас в изумлении таращится на жутковатого мальчонку, которого держит на руках женщина по имени Сале. Портьеру размотало порывом ветра, выставив на всеобщее обозрение разнопалые руки, заостренные черты лица, исхлестанного ураганным снегом...

— Так ты, мабуть, ведьма!

Перекрикивая вой метели, молодой парень отводит для удара шаблю.

Бросаем коня вперед, понимая, что не успеть — черкасов у брички трое, да и одного хватит...

Мы.

Вместе.

...Женщина по имени Сале зажимает ребенка под мышкой, будто какой-то безгласный тюк. Короткое движение освободившейся рукой — изумление костенеет на лице черкаса, занесенная шабля виснет в свистящей снежной карусели, а женщина по имени Сале делает шаг вперед, и пистоль за поясом истребителя ведьм меняет хозяина.

Выстрел.

Женщину окутывает облако дыма, мгновенно унесенное ветром прочь. Двое падают одновременно: парень — с торчащей из груди рукояткой ножа, его приятель на бричке — с простреленной головой.

— Ах ты, сучья ведьма! Хлопцы, баба Остапа стрелила! Да зараз я твою чортову породу на порох пошматую!

Разряженный пистоль летит в голову третьего черкаса, но тот успевает уклониться. Крепче прихватив ребенка, женщина шарахается в сторону, ныряет под бричку; вторя ветру, свистит шабля, вспарывая колючую метель и опаздывая всего лишь на миг...

— Не уйдешь, стервь!.. не уйдешь!

Почему бричка и люди вокруг нее, играющие сейчас в смертельные догонялки, приближаются так медленно? Или предательница-вьюга нарочно громоздит перед конем снежную стену, сечет лицо ледяными иглами, пытаясь отшвырнуть назад, не пустить?..

Выбиваюсь из сил, чтобы Рио видел *насквозь*.

Ну хоть чуть-чуть, самую малость...

...Черкас уже на бричке. Ждет, с какой стороны появится ведьма с чортовым отродьем. Но умница Сале не спешит высовываться — тоже выжидает, на какую сторону спрыгнет ее противник.

Грохот бьет в уши.

Жаркая волна обдает щеку. Черкас кулем валится в бричку и, пару раз дернувшись, затихает.

Мы оборачиваемся.

Позади один из сердюков, криво ухмыляясь, снимает дымящуюся фузею с плетня.

Мы одобрительно киваем стрелку.

Мы.

Мне абсолютно наплевать, кто здесь воюет и по каким причинам. Моего сына только что спасли от верной смерти, и зна-

чит, женщине по имени Сале вместе с обоими Заклятыми мой сын нужен живым.

Этого достаточно.

Более чем.

* * *

— Стой, кто идет?!

Дорога была страшной. Кони оскальзывались на обледенелых склонах, разъяренная тьма кишела белыми осами, бурля вокруг кучки дерзких, осмелившихся перечить дикой бабе-завирюхе... Бричка дважды едва не опрокидывалась. Раненный в ляжку сердюк, что взялся править упряжкой, матерился на чем свет стоит — и все косил на сторону хитрым зеленым глазом. Что уж он там хотел высмотреть в метели, один Святой, благословен Он, ведает; а может, и Он не очень-то... Сугробы ловчими псами кидались под ноги коней, норовя вцепиться изломанными челюстями наста, позади буран забавлялся эхом криков и редкой пальбы, ловя на лету и разрывая добычу в клочья.

— Вперед, вперед, — бормотал рядом бледный Юдка, хрустко обдирая лед с усов и бороды. — Поспешать надо, хлопцы... поспешать... вэй, черкасы, раклово племя, киш мирин тухес зай гизунт!.. Вперед!..

И маленькая, смятая бешеной мглой процессия упрямо ползла вперед, пока из хуртовины вдруг не выросла черная громада замка, спросив испуганно:

— Стой, кто идет?! — И без паузы: — Стой, говорю! Стрелю сейчас!.. Вот те крест, стрелю!

Только здесь мы с героем Рио очнулись от невеселых дум.

Каждый из нас думал о своем, но мысли обоих не отличались радужностью. Герой, мы с тобой похожи, просто ты *еще*, а я — *уже*! Вот если бы ты... ладно, молчу, молчу. Оставим до лучших времен, не будем травить души, которых у тебя две, а на самом-то деле ни одной нет. Давай я попробую помочь тебе выжить, спастись и спасти... хочешь? Молчишь? Небось прикидываешь, как меняла на рынке: «А что потом?» Да ничего потом, совсем ничего, а если из ничего выйдет что-то — куда ты от меня денешься, герой?! Вот он я: ярмом на шее у тебя и клеймом на челе твоем, печатью на сердце и огнем в судьбе...

— Я тебе стрелю, дурья башка! Надворный сотник с панскими людьми едет! Ворота открывай, да живо! Логиновская сотня на хвосте висит!

Перечить Юдке никто не осмелился. Сквозь усилившуюся (казалось бы, дальше некуда...) метель, застлавшую все вокруг белесой мутью, проступила угрюмая серая стена. Трое сердюков, выскочив как ужаленные из расположенной сбоку караул-

ки, суетливо распахивали дубовые створки ворот, окованные по краям железом.

— Чортопхайку во двор! — деловито распоряжался Юдка. — У крыльца, у крыльца ставь! Эх, бричка-сестричка, повернись к нам лицом, к врагам задницей!.. Гаковницы на ворота наводи!.. А, остолопы, дайте, я сам!

Молодец, пан надворный сотник! Людей бы побольше — глядишь, и отбились бы. При их-то оружии надо бы факела на стену; и к бойницам — сердюков с рушницами... мало, мало сердюков!.. не отстоять...

Это не я!.. это не мои мысли! Или мои? Наши? Кажется, я уже с трудом отличаю, где Рио, а где я! Если так пойдет дальше...

— Пан Юдка? Что за гвалт ты учиняешь?!

На миг все застывают.

Мы оборачиваемся.

У входа в западное крыло, примыкающее к угловой башне, на крыльце стоит пан Мацапура-Коложанский собственной персоной. Сегодня, в Мертвецкий Великдень, пан — щеголь. На нем длиннополый кунтуш алого бархата, увенчанный бриллиантовыми пуговицами, каждая — ценой в славную деревеньку, выставленную на торги. Под кунтушом — жупан из синего атласа, подпоясанный таким кушаком, словно пан вознамерился опоясаться радугой. На этом великолепие не заканчивалось: глядите! — пунцовые шаровары, сапоги из блестящего желтого сафьяна, на золотых каблуках...

Ладонь веселый Стась держал на фамильной шабле в разукрашенных ножнах; рукоять сабельную покрывал чехол из шкурки соболя, украшенный хохолком белой цапли.

Впрочем, павлинья пышность одежд меня взволновала куда меньше, чем цепь на груди Мацапуры. Цепь с камнем густым, красным, словно пролитое вино... или кровь. Ветер треплет волосы на непокрытой голове пана Станислава, старательно набивая их колючей снежной крупкой, весь кунтуш в снегу, плечи, рукава; а на цепи, на камне — ни снежинки. Да, я не ошибся: камень — Сосуд. Малый, но от этого ничуть не менее интересный. Вокруг меня слегка вздрагивает, недоуменно моргая, герой Рио; прислушивается к самому себе, и я невольно замираю в изумлении.

Неужели он способен частично улавливать мои вибрации, как я — его?!

Или он на миг увидел все это разноцветье?! А ведь он успел привыкнуть к черно-белому миру...

— То не гвалт, пан Станислав, — хмуро отзывается Юдка,

боком привалясь к борту чортопхайки. — То пожар, потоп и переполох в придачу. Логиновские черкасы как снег на голову... кто ж мог сегодня ждать?! С трех сторон на хутор вломились. Со мной — семеро, и то двое поранены, да вот еще пан Рио, пани Сале и байстрюк голопупый. Остальные небось уже в пекле смолой разговляются, кто удрать не успел!

— Ясно... — Лицо зацного и моцного пана мгновенно становится мрачнее зимней вьюги, навалившейся на замок. — Как думаешь, сотник, сколько времени у нас?

— Полчаса есть. Пока они дом перешерстят, пока сюда прискачут... Ну а там — сколько замок удержим.

— Людей, говоришь, мало?

— Те, что сказал, да еще трое в карауле у ворот сидели. Я их с караула снял — вон, ворота запирают, лоботрясы...

— Мало. Ах, мало!.. А у Логина?

— Не знаю, пан Станислав. Он, видать, обоз с молодыми чурами покинул, с собой старых реестровцев взял, и то не всех... всех забирать нельзя, мало ли... Ну, еще, пожалуй, сечевиков приписанных. Я бы на его месте всенепременно взял, сечевики в скачке злые. Думается мне, десятка три-четыре есть наверняка, а может, и все пять.

Теперь пан и его надворный сотник говорили вполголоса, чтобы не слышали сердюки, но я позаботился о Рио, чтобы герой случаем не остался в неведении.

Панько, ведьмач, почему ты пожадничал, почему не подал мне еще чуток милостыни?! Стыдно, ох как стыдно...

— Полчаса, говоришь? — задумчиво протянул Мацапура, кусая губы. — А еще полчаса сверх того замок удержишь, сотник?

— Не ручаюсь, пан Станислав. Но постараюсь. Очень постараюсь.

— Ты уж постарайся, мой жид. Ты очень постарайся. Тогда и мы с пани Сале в свою очередь очень постараемся. Глядишь, уйдем и Логина с носом оставим. А нет... сам понимаешь.

Юдка кивнул, промолчав.

— Тогда командуй. Оборона — на тебе.

— Факелы б на стены надо, — Юдка словно в свою очередь прочел наши с Рио мысли. — Одна беда: задует ветром...

Мацапура ухмыльнулся и хлопнул своего надворного сотника по плечу.

Тот аж качнулся.

— Не задует. Мне ли тебя учить, как ветродуя заговаривать?! Ладно, тебе еще силы понадобятся... Сам все сделаю.

И, махнув рукой Сале, он скрылся в дверях. Сале с моим сыном на руках послушно двинулась за паном Мацапурой. Я чуть было не подтолкнул Рио шагнуть следом, но нас задержали.

— Ну вот, пан герой, пришла пора харч отрабатывать, — ры-

жая бородища Юдки оскалилась белым льдом зубов. — Наверху, я думаю, и без жидов да героев справятся. Или пан — колдун?

Пан не колдун.

Пан следует за надворным сотником, отдающим распоряжения сердюкам.

Пан готов отрабатывать харч.

* * *

Старый, очень старый человек не в духе.

Ругается.

Впрочем, он всегда не в духе и почти всегда ругается.

— Некогда мне с тобой лясы точить, надоедливое ты существо! — слышу я прямо с порога.

«С порога» — это скорее поэтический образ, нежели правда. Я еще ни разу не переступал порога его жилища — ни приходя, ни удаляясь. Обычно я выхожу из стены или из колонны. Странное дело: чем плотнее внешне материальные предметы этого Сосуда — тем легче мне торить сквозь них путь! Надо будет как-нибудь поинтересоваться...

— Почему? — спрашиваю я, зная: этот вопрос действует на старого рав Элишу, как запах вина — на горького пьяницу.

— Что — «почему», ошибка Святого, благословен Он?! Ну вот, из-за тебя богохульствую... Что — «почему», я тебя спрашиваю?!

Это хорошо.

Теперь уже он меня спрашивает.

Значит, сложилось.

— Да, кстати, тебя можно поздравить? — спохватывается старый, очень старый человек. — Ты уже обзавелся потомством?

Это он просто так. Он и сам прекрасно знает: время не значит ничего ни для меня, ни для рав Элиши. Для него моя Ярина будет вечно ходить в тягости, и он не доживет до ее разрешения от бремени — только потому, что время для одних идет, для других бежит, а для третьих...

«Что это такое — время?» — спрашивают третьи.

— Глупый, глупый каф-Малах еще не исполнил заповеди «Плодитесь и размножайтесь»! — смеюсь я, до половины утонув в стене. — Зато глупому каф-Малаху хотелось бы знать, как исполняют эту заповедь истинные Существа Служения, громоздя Рубеж на Рубеж!

— Ты совершеннолетний? — в ответ интересуется рав Элиша.

Пожимаю плечами.

— Я так и знал, так и знал...

— Что именно?

— Что ты ждешь от старого, больного человека непристойно-

стей, дабы слушать и гнусно ухмыляться в ответ! Не выйдет! Потому что бейт-Малахи плодятся вполне пристойным (с их точки зрения!) образом... Известно ли тебе, что до тринадцати лет в человеке еще нет души — есть лишь ее зародыш, искорка «нэр-даким», которая в день совершеннолетия притягивает к себе душу из круговорота «гилгулим», готовую воплотиться для исправления?!

— Да, рав Элиша. Ты однажды говорил мне об этом, а также о том, что изначальное число душ конечно, и поэтому они иногда вынуждены воплощаться частично... но позволь, я спрашивал о другом!

— Он спрашивал! Нет, люди добрые, только послушайте, что говорит этот неудачник! Он спрашивал! А про то, что мир держится на праведниках, на тех цадиках, кто, сам того не ведая, служит ответчиком за мир перед Святым, благословен Он, — об этом ты не спрашивал?! О том, что большинство праведников с виду отъявленные грешники, как фарисей Савл, любитель кидаться камнями, или рабби Акива, треть жизни проведший в пьянстве и распутстве, — об этом ты тоже не спрашивал?!

Молчу.

Иначе замолчит он.

— А то, что если будущий цадик до своего совершеннолетия, до воспринятия истинной души попадет в безвыходное положение, грозящее ему смертью, если при этом он будет испытывать терзания не только телесные, но и душевные, не в силах помочь себе и близким своим, и если он очень пожелает... Ты спрашивал, что будет тогда?! Ты спрашивал, что случится, если вопль такого мальчишки вонзится в небеса — и в ответ получит исполнение желаний?! Ты... ты...

Старый, очень старый человек долго кашляет.

И впервые не отталкивает мою руку, когда я тянусь за двенадцать Рубежей и протягиваю ему чашу, наполненную прохладой водопадов Джур-Джур.

Капли текут на всклокоченную бороду.

Тишина.

— Он спрашивал... Глупый, глупый каф-Малах! — бесплатный сыр бывает лишь в мышеловках! За исполнение желаний приходится платить, и чаще всего платишь самим собой. Наивные люди! Надо обладать очень богатым воображением, чтобы придумать Дьявола и его присных. Надо полагать свои души слишком большой ценностью, — и здесь они правы, даже ежеминутно втаптывая эту ценность в грязь! — чтобы вообразить рогатого скупщика лежалого товара...

Я жду.

— Пойми, беспутный бродяга: больше никогда, никогда такому мальчишке не стать совершеннолетним. Никогда ему не

воспринять в себя истинную душу, а то гнездо для души, та искорка «нэр-дакик», что тлела внутри его, превратится в куколку, личинку, зародыш Существа Служения! Отныне бывшему мальчишке жить в обнимку с Запретом. Он может стать великим воином, или могущественным мудрецом, или... Но самим собой он быть перестал, и мир теперь будет раскрашен для него лишь в два цвета — черный и белый, как видят наш мир бейт-Малахи. Глупец, ну зачем тебе понадобилось это знать?.. ну зачем?!.

Бегу.

Но даже за сотню Рубежей отсюда я слышу тихий, срывающийся голос старого человека, кашляющего в духоте своего дома.

— ...и когда бренное тело Заклятого умрет, выходит из него бейт-Малах, чтобы крепить собой Рубежи между Сосудами... а в мире становится одним праведником меньше, и в небе все чаще повисает радуга, говоря безмолвно: «Договор расторгнут, и заступника нет...»

Бегу.

Прочь.

Нет, не убежать. Не убежать от иного знания: как рождаются подобные мне?

Если Заклятый все-таки нарушит Запрет, каким бы он ни был, если бывший мальчишка променяет Служение на Свободу, вновь встав на грань уничтожения... если...

Бегу.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

Зала была о пяти углах, с куполообразным потолком.

На уровне примерно второго этажа ее опоясывала легкая галерея, снизу смотрясь ажурной пентаграммой; такая же пентаграмма, только гораздо меньше, выложенная инкрустированным паркетом, красовалась на полу, в центре.

Внутри нижнего знака, ближе к углам, были вбиты пять заостренных кверху колышков из осины.

А в витражи стрельчатых окон билась вьюга.

Словно силилась дикая ведьма в куски разнести эту радужную роскошь, удивительную там, где больше смотрелись бы узкие щели бойниц.

Пан Станислав хлопнул в ладоши. Почти сразу в дальнем углу открылась неприметная дверца, и из нее вышел человек. Нет, не так — бывший человек. Давно бывший. Деревянным шагом пан Пшеключицкий прошествовал к своему господину, привычно встав у него за спиной.

— Со мной пойдешь, — не оборачиваясь, бросил пан Станислав мертвецу. — В подвалы. Я девку заберу, а ты того, кто останется... ты убей его. Не надо, чтобы черкасы с ним виделись. Ты убей, только...

Зычный голос Мацапуры вдруг сорвался, треснул сломанным клинком.

Чуждые, невозможные нотки пробились наружу: жалость? неуверенность? стон давно умершей совести?!

— Ты его легко убей. Понял? Легко! И чтоб без этих твоих... знаю я тебя!

В ответ пан Пшеключицкий дернул щекой и неуклюже поклонился.

Сале прошлась вдоль стены, обтянутой синими, златотканными шпалерами. Дешевые свечи, какие во множестве горели в канделябрах, бросали отсветы на вязь узоров: знакомых, частью виданных женщиной в тайных покоях мастера. Сосуды разные, а вино везде вино. Вот «преследование белой змеи», а вот «красавица глядится в зеркало»... а вот неизвестно что, но руками лучше не касаться.

Особенно в такой день, как сегодня.

Да и свечи... знаем мы, из чьего жира такие свечи топятся.

Прямо над камином висела странная статуэтка из дерева: голый человек прибит к кресту. Прибит вверх ногами. Вокруг клубилась такая чернота, что Сале побыстрее отошла от камина и статуэтки.

На всякий случай.

В мозгу плясали игривые бесенята.

— «Уздечки» плести умеешь? — от дверей спросил пан Станислав, прежде чем выйти вместе с мертвецом.

Толстый палец указал на столик-треногу, где лежали пряди длинных волос: в основном черные, как смоль, но встречались и ярко-рыжие.

На корнях кое-где запеклась кровь.

Сале кивнула.

— Ну тогда потрудись, милочка, потрудись...

Хлопнула дверь.

Женщина подошла к столику, ногой придвинула колченогий табурет, которому на первый взгляд было не место в роскоши залы; зато на второй... Пробормотав полагавшееся к месту Слово, она села и принялась за работу. В углу тихонько скулил маленький ублюдок; но бежать или чем-нибудь мешать не пытался.

Хорошая затрещина всегда убедительна.

Плести «уздечки» ей пришлось долго — часть волос оказалась снята с мужних жен, да еще в момент женской нечистоты, что требовало излишне пристального внимания и предосторожностей. Хорошо хоть после этого бывшим обладательницам волос ногти обрезали, как полагается... или это Стась повыдергивал? Пальцы сноровисто заплетали волосок к волоску, на пять черных — один рыжий, и тоненькие косички локтя в полтора длиной ложились отдельно: первая, вторая... пятая...

Как раз на пятой и вернулся пан Станислав.

— Молодцом, молодцом! — пропыхтел он, левой рукой придерживая на плече беспамятную девушку. — Сильна, милочка... вижу, стараешься!..

И, поймав взгляд Сале, пояснил с сожалением:

— Плохо сотник дочку учил! Ох, горазда драться, голубка сизокрылая!.. Пришлось кулачком по затылку, маленечко, для острастки... Ну, в Бога-душу-мать, начнем, благословясь!

Мертвеца с веселым Стасем не было.

Задержался в подвалах.

Снаружи хохочет вьюга, вплетая в свой дикий смех дробный конский топот, — рядом, совсем рядом! — гомон то ли людей, то ли разгулявшейся под праздник нечисти.

— ...Бумага! — веселится вьюга, без смысла играя обрывками чужого, сиплого с мороза или от долгой скачки вопля. — Бумага от полковника полтавского! Повеление — на суд... на суд!..

Пан Станислав досадливо мотает головой, заканчивая раздевать донага свою пленницу, так и не пришедшую до сих пор в чувство.

— Ах, сотник, сотник Логин! Наш *пострел* везде поспел! — бормочет он, укладывая голую девушку на спину в центр пентаграммы, бесстыдно раздвигая ей ноги, раскидывая руки; так, чтобы голова, щиколотки и запястья оказались у осиновых колышков. — Поспел, чтоб тебя сразу в рай забрали! Держись, мой жид, тяни время... держись!

— И что таки в той бумаге написано?! — словно в ответ, издевается вьюга гортанным вскриком.

Досадливый шепот пана Станислава — и на время становится тихо.

Будто замок снаружи обтянули войлоком в пять слоев.

— «Уздечки»! «Уздечки» давай! Стреножить будем...

Женщина молча подает косички из волос: одна, вторая... пятая.

В углу скулит ублюдок.

Над мальчишкой, на багрово-черном ковре, утонув в ворсе, больше похожем на мех хищного зверя, развешано оружие. Немного, но каждый клинок, если правильно прислушаться, да еще в Мертвецкий Великдень, дорогого стоит. Вон тот гигант-двуручник отсек ноги собственному хозяину; узким эстоком, больше похожим на шпагу, душ людских выпито — куда там иному чернокнижнику... две легкие шабли, от которых изрядно тянет вонью отцеубийства... огромная алебарда успела некогда послужить палачу...

Добрая коллекция.

Годами собиралась.

На миг прекратив свое бормотание, Мацапура (словно пой-

мав нить мыслей женщины!) коротко ощупывает взглядом пояс Сале, откуда торчит кривой нож и торцы метательных клиньев.

— Умеешь? Мастерица или так, для пущего форсу?!

Женщина кивает; по-прежнему молча.

Сейчас слова излишни.

Более того — опасны.

— Славно, милочка!.. ах, славно! Значит, так: я начинаю, а ты, едва нутряной холод пойдет по жилочкам, бери в каждую руку по клинышку, становись вон у той стены, где узоров погуще, и всаживай свое баловство прямиком .. Иконки видишь?

Прозрачное Слово опять справляется плохо: что означает «иконки», совершенно не понятно. Но толстый палец веселого Стася безошибочно указывает в угол, где в центре узора «Кошачий Глаз» висят две картины в богатых окладах.

Молодка с грустным лицом кормит грудью младенчика; бородатый каторжник в отрепьях строго смотрит на Сале.

Строго не получается. Возможно, потому, что обе картины, как и деревянная статуэтка над камином, висят вверх ногами. Да еще потому, что подобие княжеского венца из колючих веток терна только каторжанам-душегубам и надевают, в насмешку.

— В лицо, в лицо цельсь! И не промахнись, нынче за промах три шкуры дерут... Поняла? Не подведешь старого Стася?

Камень на груди пана Станислава задергался, запульсировал вырванным из груди сердцем, разбрасывая сгустки кровавого света.

— Поняла, спрашиваю?!

Сале поняла.

Она все поняла; она будет целиться в лицо и не промахнется.

Потому что за промах дерут три шкуры.

Наверху, на пятилучевике верхней галереи, купаясь в багровых отблесках, толпились замковые призраки: распяленные в крике рты, глаза вылезают из орбит, руки изломаны пыткой или последней мольбой... бывшие участники, ныне зрители, силой призванные на небывалое зрелище.

За окном метелью плясал Мертвецкий Великдень.

Праздник.

Она все-таки едва не промахнулась. Когда холод от произнесенных Слов ледяной, намоченной в проруби холстиной объял женщину до души ее, войлок за окнами разорвался оглушительным грохотом. Стекла витражей с дребезгом пролились на пол дождем осколков, Сале закусила губу и, прищурясь, метнула клинья, — один за другим, в лицо кормящей матери, в лицо строгому бородачу-каторжнику...

Женщина не видела, что маленький ублюдок выбрался из своего угла, подобрав по дороге зазубренный кусок стекла, и

сейчас ползет к очнувшейся девушке, тщетно дергающей тонкие, непрочные на вид «уздечки».

Изнутри «уздечки» порвать невозможно.

А маленький ублюдок все полз и полз, кропя полировку паркета янтарной, светящейся влагой.

Кровью из порезанных пальцев.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

За окнами — снежная мгла. Стемнело. Совсем. Приходится не скупиться, чтобы мой герой сумел хоть что-то различить в этой пурге, доверху наполненной колючей белой крупой.

Приглушенный посвист ветра.

Охряные шары горящих факелов.

Охра? багрянец? пурпур?

Рио цветов не различает, и я убираю лишний подарок.

Просто огонь; герою вполне достаточно.

Буран рвет пламя мерзлыми когтями, пытаясь унести добычу прочь — в ночь, которая еще не до конца ночь, но очень старается. Месяц-лютый, лютый месяц... Пламя отчаянно сопротивляется, трепещет на ветру растрепанными шевелюрами.

Не гаснет, упрямое.

Слово пана Мацапуры — золото.

Ненавижу золото; ненавижу, ненавижу, не ..

Конский топот. Трудно сказать, сколько человек скачет, но изрядно. На нас хватит.

У бойниц засели сердюки с рушницами — трое. Всего трое. И то, что у каждого — по три рушницы, да еще по паре пистолей в придачу, дела не меняет. Людей в замке мало, поэтому на стены пан Юдка никого ставить не стал. «Это правильно», — думает Рио, и я с ним соглашаюсь Наверное, правильно. Беда в другом: сам замок не очень-то приспособлен для обороны — стены низковаты, часть вообще щербата, будто стариковская челюсть, рва с подъемным мостом нет и в помине, из башен только одна и годится для стрелков... похоже, когда отец пана Станислава отстраивал эти руины, он меньше всего думал о серьезной осаде.

Горе, не крепость.

Мы с консулом стоим неподалеку от сердюков, в галерее верхнего перехода, у окна. У обычного, двустворчатого окна. Смешно: нам даже бойницы не досталось!.. Нам надо держаться. Держаться до того, как Сале с Мацапурой откроют «Багряные Врата». Способ их открытия мне неизвестен, ветру никогда раньше не было нужды в костылях, но людям для таких игр всегда нужна кровь. Хорошо, что об этом не знает мой герой — на-

верняка кинулся бы сломя голову спасать жертву... все испортил бы...

Нет уж, пусть лучше оборону держит, вместе с привычным ко всему паном Юдкой!

...Не думать! Не думать так громко!.. Я уже ни в чем не уверен...

— Ну что, пан Рио, видать, гости к нам? — Кривая усмешка трещиной раздирает бороду надворного сотника. — Гостей у нас песней встречают! Вэй, черкас, не рвися к бою! Старый жид на всем скаку срежет шаблею кривою...

— У меня Запрет. Запрет на убийство, — Рио без стеснения портит песню. — Там, когда мы... когда мы спасались бегством, кажется, обошлось. А сейчас... Мои палач и лекарь погибли.

— Лекарь тебе, мостивый пан, сейчас без надобности. А вот палач... Я подойду? Или побрезгуешь?!

Снова трещина усмешки.

— Да, вполне. Благодарю, — Рио серьезен и, как всегда, безукоризненно вежлив.

Он не врет.

Он действительно благодарен Юдке за это предложение.

Жаль...

— Тогда — по рукам, мостивый пан! Хорошая у нас пара получается: вам губить нельзя, а мне — миловать!

Герой по имени Рио резко вскидывает взгляд на бородатого насмешника — и отворачивается, так ничего и не ответив.

— Эй, пан Станислав, открывай!

Это от ворот.

Глухие удары. Звук сносит ветром.

Внешние ворота крепки — с налета не высадишь. А полезут через стену — тут уж сердюки из окон и начнут пальбу. Видно только плохо, гребень стены еле освещен — целься, не целься!

— Пан Мацапура! Открывай по-доброму! У нас бумага от полковника полтавского! Повеление — на суд тебе явиться! Открывай, пока честью просим!

— Приготовьтесь, хлопцы, — тихо, но внятно произносит Юдка. — Ежели над стеной хоть шапка покажется — стреляйте.

И вдруг, без всякого предупреждения, распахивает окно настежь.

Снежный вихрь ударяет в лицо, метет по полу, вихрится белой поземкой...

— А кто вы такие, что на ночь глядя в ворота зацного пана ломитесь да хозяина на суд требуете?

От зычного рыка у нас с Рио разом закладывает уши.

Герой морщится, отступает в сторону.

Подальше от громогласного Юдки и рвущегося в замок бурана.

— Сотник Логин со своими черкасами, вот кто! Думаешь, не ведаем, что тут у вас за бесчинство творится?! Это ты, Юдка? Зови пана Мацапуру или сам вели открывать! Если доню мою сей же час выдадите, живую да здоровую, — Христом Богом клянусь, никого не тронем! Даже тебя, жида некрещеного! А пана Мацапуру к полковнику на суд в целости доставим. Без цепей, слово даю. А там уж — как суд решит.

— А что, пан сотник, говоришь, и бумага от полковника у вас имеется? — В вопросе Юдки сквозит неподдельный интерес.

Будто и не подступают к воротам вооруженные черкасы, будто и не предстоит с минуты на минуту Заклятому биться насмерть...

Впрочем, ему не привыкать.

Он себя давным-давно похоронил, ему терять нечего.

— Имеется! Имеется бумага!

— И что таки в той бумаге написано?

— Ты что, издеваешься, клятый жид?! Написано там, что полковник велит пану Мацапуре-Коложанскому немедля к нему в Полтаву явиться для судебного разбирательства! По поводу разбойных действий, имевших место со стороны пана и его людей!

— Разбойных действий? Это каких еще разбойных действий?!

— Ты мне москаля не крути, пейсатая морда! Думаешь, не знаем? Все знаем! И Хведир-писарчук нам все рассказал, и зрадника вашего мы тут прихватили, Гриня Чумака, с невестой его краденой! Знатно вы на свадьбе у девки погуляли, нечего сказать!

— А не брешешь, сотник? Ежели и впрямь не брешешь, может, пан и велит открыть!

Юдка уже издевался в открытую.

Но и у сотника, видать, тоже было на уме нечто свое, потому как, вместо того чтобы обложить «клятого жида» сверху донизу черкасским загибом, Логин продолжил переговоры.

— Я — брехун? Я, боевой сотник, — брехун?! Да я после с твоей спины велю ремней нарезать! Гринь, сучья твоя рожа! Иди, подтверди ему!

— Пан Юдка... пан Юдка, я им всю правду рассказал! И про село, и про Оксану... И про те слова, что вы Ярине Логиновне, дочке пана сотника, через меня, иудину душу. передать велели! Все сказал, как на духу! Сдавались бы вы лучше, пан Юдка, а? Живы б остались... и братик мой... живой бы...

Вьюга играла слабым, заискивающим криком Чумака, как кот с мышью.

Попустит, попустит, и снова — лапой...

— Сдаться, говоришь? Ну, то зацному пану, не мне решать. Ждите. Эй, вы слышите там? — жди-и-ите! Пойду, скажу ему.

— Долго ждать не станем! — рявкнул снизу Логин. — Вышло ваше время, христопродавцы, все как есть вышло! Ежели через три минуты не откроете да не вернете мне мою Яринку в целости-сохранности — взорвем ворота к чортовой матери и вашу бесовскую ватагу вщент порубаем!

— А пороха у вас достанет — ворота взорвать? — миролюбиво поинтересовался пан Юдка, меньше всего собиравшийся тащиться к пану Станиславу за ответом.

Ответ Мацапуры он знал заранее.

— Достанет! И не таковских взрывали! — злорадно взвилось откуда-то сбоку.

Логин не замедлил подхватить:

— О! Слыхал?! То беглый москаль-пушкарь, Дмитро Гром, чудодей по минам да подкопам! Он что хошь на воздух подымет: замок, церкву, Столп Вавилонский — один бес! Ему ваши ворота разнести — что комара прихлопнуть. Верно вам Чумак сказал: кидайте зброю да сдавайтесь... Шмалько, ты куда?!! Стой, старый дурень! Стой!

— Да я, пане сотнику, только погляну, что там у них! Больно той жид храбрый! Мало ли... у меня веревка с гаком-тризубом...

— Да куда, дидька лысого тебе в печенки... Хлопцы, назад! Назад, я сказал!

Все происходит быстрей быстрого.

Над стеной возникает сразу несколько голов в косматых шапках — и тут же справа и слева от нас вьюгу раскалывают огненные вспышки.

Громыхает раз, другой, третий.

Стена чиста.

— Ондрий! Есаул, хай тебе грець! Живой?!

— Та живой я, пан сотник, что старому хрену сделается? А вот Свербигуз пораненный... и Нестеренко... стрелили Нестеренку-то!..

— Нестеренку убили?! Ну, все, вражье семя! Молитесь! Давай, Дмитро!

Замок подпрыгнул. С беззвучным запредельным звоном — упругой волной грохота разом заложило уши. Посыпались, разлетаясь осколками, стекла. На месте ворот вспух огненный клубок, вверх взлетела мерзлая земля вперемешку со снегом, обломки дерева...

Мигом позже нам с Рио показалось, что «чудодей по минам да подкопам» зря бахвалился — ворота покосились, но все же остались на месте. Однако в следующее мгновение тяжелые створки с треском распахнулись под напором хлынувших на

приступ черкасов, и стало ясно, что беглый Дмитро таки знал свое дело: взрывом ворота приподняло с петель и вырвало из пазов тяжеленный брус, запиравший их изнутри. Сработано было действительно мастерски — другой бы только зря истратил огненное зелье.

Ответный грохот, навстречу казакам ударяют снопы огня — сердюки с установленной у крыльца чортопхайки дали залп из гаковниц.

Из бойниц — беспорядочная пальба.

Кто-то, вскрикнув, падает.

— Вниз, пан Рио. Наш черед.

Мелькают под ногами узкие ступеньки. Надворный сотник по дороге гасит редкие свечи, и в западном крыле воцаряется тьма. Сердюки внизу поспешно запирают тяжелую входную дверь за успевшими заскочить внутрь товарищами — теми, что стреляли из установленных на чортопхайке гаковниц.

— Руби двери!

— Келепы! Келепы давай!

Это снаружи. Приглушенная пальба. Дверь содрогается, но пока держится.

— Сними того, сверху!..

— Станьте по сторонам, чтоб шальной пулей не зацепило, — спокойно распоряжается Юдка. — Они небось, когда дверь вынесут, сразу палить начнут. А мы погодим, пока они пистоли да булдымки разрядят, и как сунутся — в ответ.

Мы отступаем назад. Становимся за колонну, непонятно зачем установленную прямо посреди широкого холла. Позади нас — лестница на второй этаж. Именно ее нам предстоит держать. И в случае чего — отступать тоже туда. К зале, где сейчас, подобно атакующим черкасам, ломятся в «Багряные Врата» Сале Кеваль и пан Мацапура-Коложанский.

Я уже не пытаюсь разделить, где мои мысли, а где — Рио.

Сейчас они у нас общие.

— У нас в Умани кантор был, — ни с того ни с сего говорит Юдка, глядя в пол. — Кантор Лева... его все так и звали: кантор Лева. В синагоге не пел, жил прямо на кладбище. Все на могиле сына сидел. Или внука, не помню уже... Отец говорил: он Леву, кроме как стариком, и не знал. Дед то же самое говорил. Как похороны, Лева явится и «кадеш» поет — хочешь, не хочешь, а плачешь. Денег никогда не брал... ему уж после тайком подбрасывали. Наши говорили, его гайдамаки три раза убивали...

— А у меня коллекция была, — невпопад отвечает герой. — Линзы шлифованные... их — сапогом...

— Зачем?

— Низачем. Просто так...

Гулкий удар.

Треск распахивающейся двери.

— Факелы! Хлопцы, факелы запаливай!

Снаружи в холл вслед за снежной пургой врываются, мечутся на ветру блики пламени — кто-то из черкасов успел зажечь факел.

В дверном проеме одна за другой сверкают вспышки, дробно бьют выстрелы; град пуль мечется по стенам, две или три звонко щелкают в колонну, за которой притаились мы.

Пора!

Я отдаю Рио все, что могу, все, что имел и получил от Рудого Панька, с трудом сдерживаясь, чтобы не оставить чуток про запас.

...и подтолкнуть в горячке боя под руку этого Заклятого с Запретом на убийство... подтолкнуть, самую малость...

Нельзя!

Или все-таки...

Стрельба на миг смолкает, в двери разом ломится толпа черкасов, за их спинами пляшет пламя уже многих факелов — навстречу, справа и слева, бьют ответные выстрелы.

В упор.

Кто-то валится навзничь. Звон стали, крики. В дверях — свалка.

Надворный сотник слегка придерживает за плечо рванувшегося было вперед Рио.

— Не время, пан герой. Потерпите немного. Пусть выпустят все заряды; пусть войдут внутрь. Тогда самый цимес и начнется...

— Но там же... наши люди! Они погибнут!

— Нашим людям так и так конец. Да и нам, видать, тоже. Успеете в пекло, пан Рио. Туда еще никто не опаздывал.

Полотнища света выхватывают перекошенные усатые лица, взблескивают на лезвиях сабель и боевых келепов.

Лязг, хрип... ругань.

— А вот теперь — пора.

Юдка хладнокровно достает из-за пояса два длинных пистоля. Третий, маленький, но зато двухствольный, заткнут за кушак сзади, за спиной.

Запасливый человек — пан Юдка!

— Подвал ищите! А вы со мной, наверх!

Надворный сотник молча разряжает один из пистолей в ближайшую фигуру — и, видимо, в отсвете выстрела успевает заметить новую, подходящую цель, потому что почти сразу стреляет снова.

Разряженные пистоли летят в темноту.

— Хлопцы! Ось они! Рубай вражью силу!

У первого черкаса Рио играючи выбил шаблю и на возврате добавил яблоком рукояти в скулу, швырнув бедолагу прямо на ногайский кинжал в левой руке надворного сотника.

Свист, хруст, хрип.

— Факелы, факелы тащите!

Два разъяренных смерча рубятся бок о бок, двое Заклятых, двое умелых бойцов, двое заживо погребенных мальчишек — и второй убивает за двоих.

Это невозможно, но это так.

Внезапно все кончается.

Рядом никого нет.

Это невозможно, но это так.

Враги отхлынули, не решаясь больше приближаться к двоим безумцам? — или?..

— Отходим, — тихо цедит сквозь зубы надворный сотник, сплевывая кровь. — К лестнице. Медленно.

Мы отходим.

Медленно.

— Как думаете, господин Юдка, наверху... может быть, они уже закончили? — вполголоса интересуется Рио.

— Увы, пан Рио. Я бы почувствовал. Да и вы тоже... полагаю, как откроется, то все заметят...

Тут он прав.

Мы уже на лестнице. Двоим здесь, в теснине перил, еще можно драться рядом, а больше — никак. Значит, еще повоюем... пока пистоли не перезарядят.

Черкасы тем временем шебуршат во мраке; шепчутся. Напрягаю из последних своих сил слух Рио, чтобы услышать, о чем речь — но тут из дальнего коридора, ведущего к нижним башенным коморам, доносится вопль, разом сводящий на нет все мои усилия:

— Пан сотник! Пан сотник! Подвал нашли! Подвал с двумя мертвяками!

— Ярина?! — от ответного крика кровь стынет в жилах.

— Не, пан сотник! Мертвяки-то с усами... Один даже с бородой, благообразный, ровно поп, упокой Господи его душу; а второй, погань такая, в драку полез! Даром что дохлый! Закоченелый уже, с душком, и нога сломана, а Тараса Бульбенка едва не придушил! Мы его шаблюками пошматовали, мертвяка, в смысле, а не Тараса, а оно все равно шевелится! Небось первый мертвяк второго и порешил... то есть второй — первого. Вот харцызяка! А больше — ни макового зернышка, пан сотник...

— Значит, Яринку Мацапура, волчий выкормыш, наверху держит!.. Эй вы, рубаки! Я ж знаю: вас там раз-два, и обчелся! Кидайте зброю! Казнить не будем, нам не вы нужны!

Молчим.

Логин для порядку выжидает миг-другой.

— Ну, як ся маете, душегубы! Хлопцы, давай факелы!

Пламя страшно бьет в глаза из попятившейся тьмы.

Мы с Рио успеваем заметить: какой-то тщедушный человечек мечется по холлу замка, находя и зажигая от малой лучины свечи в стенных шандалах.

— Пали, братья-отаманы!

Но раньше, чем трое черкасов, успевших перезарядить свои булдымки, успевают выполнить приказ Логина, этот приказ с готовностью выполняет Юдка! В руке у него — двухствольный пистоль, припасенный надворным сотником на крайний случай. Видимо, такой случай настал.

Грохот.

Над самым ухом, нашим с Рио.

Ближний черкас с булдымкой, хрипя, заваливается на спину; посланная им пуля без смысла уходит в потолок.

Пан Юдка что-то вертит на своем пистоле.

Снова грохот — на сей раз палят все, кто был на это способен.

Свинцовая оса вскользь обжигает щеку, другая визжит по зерцалу доспеха, не причиняя вреда. Пан Юдка, охнув, хватается за бок, мгновение смотрит на измазанную кровью ладонь...

— Скверно бьете! — вопит он в свет и дым. — Вэй, скверно! Панна Яринка куда как крепче прикладывает, курвины дети!

И умолкает — потому что вал стали вперемежку с проклятиями уже теснит нас вверх по лестнице. Мы пятимся, отмахиваемся, отчаянно стараясь не упасть, — и я уже плохо понимаю, кого подразумеваю под этим «мы»: себя и Рио, себя, Рио и пана Юдку, Рио и Юдку, Юдку и себя... Сознание плывет, растворяется, уже не отделяя «я» от «не-я», но что-то еще удерживает блудного каф-Малаха в этом мире, что-то, чего нет и никогда не было у меня-прежнего — я-прежний отдал почти все, чтобы я-нынешний смог *приобрести этот последний, истошный дар судьбы*..

Лязг металла.

Высверки перед глазами.

Бой.

И мне кажется, что это вечно длится бой на Рубеже с Самаэлевой сворой, мой прошлый, мой единственный бой...

Закованное в броню тело движется само, меч раз за разом пробует на вкус податливую плоть, отшвыривая в сторону легкие кривые клинки, зачастую вместе с руками; а рядом завершает нашу работу надворный сотник Мацапуры-Коложанского.

Казнить нельзя.

Миловать нельзя.

Ничего нельзя.

Бой.

Удивительный, чудовищный...

Меч Рио походя целует шею зарвавшегося черкаса, тот, еще не поняв, что произошло, пытается зажать рану ладонью, глядя на нас с детской обидой в стекленеющих глазах. Дикая надежда обжигает меня — неужели! неужели!.. — обжигает, чтобы уйти вместе со свистом Юдкиной «корабелки», отправившей раненого в рай.

Голова черкаса, кувыркаясь, скачет вниз по ступенькам, под ноги его товарищам.

— Уговор дороже денег! — *плюется насмешкой оскаленный* Юдка.

Вот, кажется, и все.

Совсем.

Сейчас оба Заклятых лягут на этих ступеньках, а я не успею даже вернуться в золотой склеп медальона — поздно!..

Лестница под ногами заканчивается.

Спина упирается в дверь.

Дверь заперта — и за дверью бьются в истерике, открываясь помимо своей воли, «Багряные Врата»!

Да!.. о, да!..

Пан Юдка... нет, сейчас — Иегуда бен-Иосиф — он внезапно бросает порядком вышербленную «корабелку» в ножны. Оскал превращается в хитрую ухмылку, влажный глаз, налитый кровью, подмигивает Рио, и, заставив черкасов попятиться перед этим сумасшествием, рыжебородый убийца принимается плясать.

Плясать, сунув большие пальцы рук под мышки и разведя локти в стороны, выхаркивая горлом:

Авраам, Авраам, дедушек ты наш!
Ицок, Ицок, старушек ты наш!
Иаков, Иаков, отец ты наш!
Хаиме, Хаиме, пастушок ты наш!

Он поет, он пляшет, приседая и отбивая коленца, а черкасы смотрят на него в немом изумлении, забыв даже, что собирались зарядить пистоли, желая добить двух проклятых басурман.

— Видать, смерть жид почуял! — невольно крестясь, бормочет седой вояка. — Вот с глузду и съехал!.. матерь Божья, заступница...

Наверное, один я понимаю поступок Иегуды бен-Иосифа. Наивная, смешная, нелепая песня! — одно из творений великого рабби Бэшта и его учеников, считавших, что тайны Каббалы должны идти «в люди» под личиной обрядов, танцев и напевов, скрывая за занавесом истинную суть! Авраам, владыка колесницы Хесед-Милости; Ицхак, господин колесницы Гевуры-Силы;

Иаков, чьи двенадцать сыновей — двенадцать месяцев и двенадцать знаков Зодиака, от Овена до Рыб...

Милость, Сила и Охрана.

Черкасы пялятся на пляшущего жида, крутят пальцами у виска...

...Чому ж вы не просите, чому ж вы не просите,
Чому ж вы не просите пана Б-га за нас?
Чтоб наши домы выстроили, нашу землю выкупили,
Нас бы в землю отводили,
В нашу землю нас, в нашу землю нас!

Я чувствую: прилив сил захлестывает меня целиком, даря куда больше милостыни Рудого Панька. В напеве ветром, сокрытым в листве, светом из-за тучи, надеждой во мраке звучит мощь имени Айн, чье число — семьдесят, и имени Далет, чье число — четыре, и имен Йод и Гей, чьи гематрии соответствуют десяти и пяти... обуздание врага пляшет в смешной песне Иегуды бен-Иосифа, обуздание врага и создание защитного покрова перед уходом...

— В домовину сплясать захотел?

Вперед выступает дородный черкас в богатом, атласном жупане и шароварах неимоверной ширины. Шапку черкас потерял в пылу боя, и сейчас пламя факелов отсвечивает в его могучей лысине, отчего кажется: голова объята огнем.

Сотник Логин?.. Пожалуй.

— В домовину — это запросто!

Дуло пистоля смотрит на безумного плясуна.

...В нашу землю нас, в нашу землю нас!

Замок содрогнулся от основания до крыши.

Границы сфир разошлись краями раны, невидимый ветер пронизал насквозь вереницу раскрывающихся порталов, заставив жадно запульсировать все мое существо. Оглушительный грохот расколол, казалось, сами небеса. Створки дверей сорвало с петель, вместе с обломками стены по бокам — а мы стояли на стрежне бушующего потока, что бил из открытых настежь Врат, и напев Иегуды бен-Иосифа надежно закрывал нас от бури стихий, от камня и дерева, чудом огибающих смертную плоть...

Перила верхней галереи, где мы сейчас находились, снесло напрочь, черкасов смело вниз, кто-то кубарем летел по лестнице, кто-то рушился спиной на плиты холла.

Сознание меркло, дробилось, растворялось — все силы я отдал Рио, чтобы он выжил в неравной схватке, и он выжил, а я...

В последний миг на ткани моего меркнущего «я» отпечаталась картина, внезапно ставшая цветной. Я видел сейчас не глазами героя-Заклятого, потому что мир вновь обрел краски, по-

зволив каф-Малаху видеть *насквозь*, через несколько порталов, — судорожный отпечаток гаснущей памяти, что отчаянно цеплялась за соломинку бытия.

Посреди залы пан Станислав, зажав под мышкой моего вырывающегося сына, рубился на шаблях с нагой фурией, в которой нетрудно было признать бешеную дочь сотника Логина. Панна Ярина была уже ранена, кровь запеклась у нее на плече и на бедре, кровь пятнала выложенный на полу узор Знака — но Ярина Логиновна топтала символ, продолжая сражаться за свою жизнь с неистовостью отчаяния, присущей только людям.

Рядом, на миг оцепенев, застыла Сале Кеваль — она оборачивалась, оборачивалась к нам, раскрывая рот в беззвучном крике, и все никак не могла обернуться.

А у самого края лестницы, где только что бились плечом к плечу двое Заклятых и умирающий каф-Малах, на границе расползающегося язвой Порубежья, карабкался, пригибаясь, словно в него целились, стриженный «в скобку» бурсак со смешными стекляшками на носу и с нелепым пистолем за поясом длиннополого кафтана.

Позади него, едва держась на ногах, пытался не отстать от бурсака мой старый знакомый, Чумак Гринь. «Братика! Братика отдайте! Иуда я, зрадник, душа пропащая... отдайте, молю!..» — то ли послышался, то ли почудился шепот блеклых, бескровных губ. А рядом, поддерживая Чумака под руку, помогая ему идти... рядом шел призрак той, что умерла, рожая моего сына, призрак моей земной любви! Сквозь фигуру Ярины, тезки той фурии, что свистела сейчас шаблей над Мацапурой-Коложанским, просвечивала грубая каменная кладка замковой стены, очертания женщины колебались, подергиваясь рябью... Мертвая, выкопанная из могилы, сожженная — мать шла на помощь сыну!

Двум сыновьям.

А потом я ушел.
Забытье?
Сон?
Смерть?
Нет ответа...

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

...зазубренный край стекла коснулся волосяных пут — и «уздечка», удерживающая правую руку, лопнула.

Буран, самовольно ворвавшись через разбитое окно, пошел плясать трепака белой поземкой, завертел, закружил обрывок,

черный с рыжим... эх, дам лиха закаблукам, закаблукам лиха дам!..

Мгновением позже порвалась «уздечка», одним концом связанная с осиновым колышком, другим — с теменной прядью девичьих кудрей.

— Да что ж ты творишь, чортово семя!

Первым очнулся пан Станислав. На его счастье, он только что закончил ткать словесную вязь, подготавливающую открытие порталов, иначе выкрик этот стоил бы веселому Стасю жизни, и то в лучшем случае.

Сале Кеваль замешкалась. Наверное, потому, что женщину сейчас интересовало совсем другое: вот Мацапура-Коложанский умолкает, вытирая пот со лба, вот он вскрывает пленнице жилы, желая окропить Знак «чистой влагой», открывая нелегальный путь через Рубеж, — и последний метательный клин Сале, некрасивой женщины по прозвищу Куколка, кленовым семенем уйдя в полет, дарит ей возможность пересечь границу вдвоем с «чортовым семенем», без лишних спутников.

На герое она давно поставила крест.

Жаль, конечно... опять же, в местном Сосуде под крестом понимают что-то иное, свое, плохо объяснимое, превращая орудие пытки в символ спасения...

— Пшел вон, байстрюк! Убью!

Не обращая на угрозу никакого внимания, байстрюк уже трудился над третьей «уздечкой». Болезненный вскрик; шестипалая рука выронила осколок, быстро подобрала его, испачкав янтарной кровью паркет внутри пентаграммы...

Залу выгнуло живой рыбой, брошенной на сковородку.

Больно ударившись, Сале упала на колени. Ладони тесно сжали виски, гася намек на возможное беспамятство. Не молотобойцы — Инар-Громовик ударил в своды черепа молнией о семи зубцах. Боль хриплыми раскатами, желваками на скулах пытуемого перекатывалась внутри; зажмуриться удалось легко, а вот заставить свинцовые веки разойтись, выпустить на волю узника-взгляд...

«Я седая, — подумалось мимоходом. — Проклятье, я, наверное, совсем седая!..»

Однажды женщина видела, как поражает человека колдовская проказа, сжирая плоть за считаные минуты. Сейчас вокруг творилось нечто подобное: жадно чавкая, мокрые губы трясины всасывали паркет, дальняя стена грузно вспучилась боком холма, сплошь поросшего терновником для каторжных венцов и ядовитым олеандром... кора деревьев складками покрывала стены тут и там, раскидывая верхнюю галерею кроной леса, где иволгами в сетях запутались призраки замка, беззвучно разевая рты...

По топкой грязи, в угол, где еще сопротивлялся превращению черно-красный ковер, покатилось нагое тело, изрыгая ругательства, более приставшие скорей тертому есаулу, нежели юной девице.

Лопнувшие «уздечки» на глазах становились плетями вьюнков с сочными, ярко-белыми цветами — бессильными помешать, задержать...

— Погань!.. ах, погань! Стой!

Вскочив на ноги, панна сотникова в три движения оборвала с себя растения. Миг — и легкая шабля перекочевала из коврового ворса в ладонь бывшей пленницы. Сале вдруг увидела лицо девушки; коротко, мимолетно, но с предельной отчетливостью. «Мы похожи! — зарницей полыхнуло на самой окраине сознания. — Мы похожи, мы обе некрасивы, просто она моложе, моложе... мы обижены доле и сунулись сгоряча в чужие игры, надеясь не обжечься... мы... мы обе...»

— Шалишь, девка! Брось шаблю! Брось, говорю!

Вместо ответа нагая смерть кинулась на пана Станислава.

Зарычав, подобно хищному зверю, Мацапура подхватил с пола ребенка и легко сунул себе под мышку, как бездушный сверток. Фамильная шабля Мацапур-Коложанских с визгом вырвалась на свободу из теснины ножен — и два клинка заплясали, завертелись в неистовой пляске, вторя обрадовавшемуся бурану. Нет, не бурану! — дождь, осенний ливень наотмашь хлестал с потолка, ставшего небом, разорванной дерюгой над головами; молнии скрещивались, отлетали, исходя лязгом, молнии искали поживы, теплого тела человеческого... молнии, ливень, нелепый бой в Порубежье...

Беспомощная, Сале Кеваль смотрела, как веселый Стась убивает панну сотникову. Девица, верно, полагала себя славной рубакой и имела к этому изрядные основания, подкрепленные страшной, запредельной яростью; но вот уже кровавый поцелуй оставил метку на ее плече, вот спустился ниже, алыми губами ткнувшись в бедро... Пан Станислав рубился холодно, расчетливо, вкладывая в удары всю свою неподточенную годами силу, и малый груз «чортового семени» нимало не отягощал зацного и моцного пана. Выбрать момент и метнуть клин?.. нет, опасно. Можно угодить в ребенка, своими руками разорвав пропуск на благополучный переход! Впервые Сале не знала, что делать. Впервые она оказалась в роли стороннего наблюдателя, не способного вмешаться; а вокруг властно царило Порубежье, довершая превращение.

Ливень.

Грязь, грязь...

С легкостью, удивительной для его грузного тела, пан Станислав вдруг присел раскорякой, пропуская над головой обижен-

ный посвист шабли, вкусившей некогда смертный грех отцеубийства. Ответный выпад не заставил себя ждать. Лезвие фамильного оружия наскоро обласкало узкую девичью лодыжку на ладонь выше пятки... еле слышный стон — и панна сотникова боком валится в липкую жижу.

С подрезанными сухожилиями не попляшешь.

Сале все-таки метнула клин. В схватке неожиданно возникла крохотная, почти неуловимая пауза, веселый Стась оказался к женщине спиной, вполоборота, и Сале рискнула. Оказалось: зря. Все зря. Было глупо недооценивать Мацапуру-Коложанского, тщетно надеясь, что в горячке боя он забудет о зрителях. Острие клина лишь разорвало рукав панского кунтуша, зато ответный взгляд чернокнижника ясно дал понять женщине: ее намерения были разгаданы еще задолго до начала обряда.

Оставалось лишь поблагодарить маленького ублюдка за освобождение намеченной жертвы, а жертву — за превращение в сумасшедшего мстителя.

Иначе лежать Сале Кеваль, прозванной Куколкой, со всеми ее потугами на удар в спину...

— А, курва! Н-на!

В последний момент девица все-таки исхитрилась откатиться в сторону. Камень, ребристый валун, до половины погрузившийся в грязь, грудью встретил смертоносную шаблю, искренне предложив Мацапурам-Коложанским с этого часа подыскивать себе новое фамильное оружие.

От старого осталась лишь рукоять да еще обломок клинка длиной в локоть, не больше.

— Что здесь творится, Проводник?!

Дикое, суматошное эхо раскатилось окрест.

Сале повернула голову.

Там, где раньше горел камин и мучился на кресте голый человек вверх ногами, теперь лежали поваленные столбы. Скрученная, разорванная местами проволока с репьями; опоры, рухнув, собственной тяжестью вдавили ограждение в трясину... пролом зиял в ограде Рубежа.

Рукотворный пролом.

Неподалеку ждал ответа свет в мирских одеждах.

Свет был в недоумении, свет не понимал, почему его не предупредили заранее, — и одеяния света плыли судорожным калейдоскопом. Обшлага мундира сменялись коваными наручами, плоский шлем-мисюрка растекался, на глазах становясь фуражкой с высокой тульей, и без перехода — гусарским кивером; сапоги, сандалии из кожи с бронзовыми бляшками, какие-то безобразные обмотки...

— Я спрашиваю, что здесь творится?! Проводник, почему ты молчишь?.. почему ты молчала раньше?!

Самаэль гневался.

Самаэль был в бешенстве.

А женщину разбирал истерический смех, прорываясь наружу стыдным фырканьем. Князь из князей Шуйцы, Ангел Силы, всемогущий и непогрешимый Малах, не знал, что делать! Точно так же, как минутой раньше не знала, что делать, она, ничтожная мокрица Сале Кеваль... бездна в глубине, былая Сале без предупреждения выбралась наружу, властно заявив о своих правах, и смех, смех, смех был знаменем ее явления!

Смех.

Ливень.

Грязь...

Хищно оскалясь, пан Станислав перехватил ребенка повыше, поудобнее; и лезвие обломка приникло вплотную к тоненькой, детской шее.

— Стой, где стоишь! Ты слышишь, сатана?! Клянусь вилами твоих присных, я его зарежу, как поросенка на свадьбу!

Унося истошно кричащий пропуск, он начал было отступать, пятиться к пролому в ограждении. Но далеко уйти веселому Стасю не довелось. Распластавшись в отчаянном броске, нагое тело дотянулось до Мацапуры-Коложанского, скрюченные пальцы когтями вцепились в ноги зацного пана чуть повыше голенищ сапог, тонкие руки напряглись, натянулись двумя струнами...

Бешеная дочь сотника Логина, забыв себя, грызла врага зубами.

— Юдка! — визгливо заорал пан Станислав, дрыгая ногой и тщетно пытаясь стряхнуть прочь дикий груз. — Юдка, жид проклятый, что ты смотришь?! Убей сволочную девку! Убей!

От распадка меж двумя горбами, где раньше красовалась дверь в пятиугольную залу, спешил Юдка. Скособочась, зажимая бок окровавленной ладонью, он бежал, с хрипом выплевывал комки бурой мокроты; вот еще шаг, другой, третий... вот сапог его каблуком бьет в затылок Ярины Логиновны, и пальцы девушки разжимаются, один за другим...

— Простите, господин Юдка, но я не могу этого допустить!

— Вэй, славный пан, шляхетный пан! Послушайте старого жида: бегите, пока не поздно! А закручивать ус и выпячивать свое шляхетство собачьим хреном...

— Господин консул! Прошу вас, не делайте этого! Господин консул!.. Остановитесь!..

На бегу, изо всех сил торопясь за скрывшимся в проломе Мацапурой, Сале Кеваль, Сале Проводник, носящая смешное для избранных прозвище Куколка, обернулась.

Меркли очертания холмов, утопая в ливне, превратившемся в потоп, опадала кора с деревьев, обнажая рванину бывших

шпалер на стенах, колючий терновник осыпался штукатуркой руин, грязь засыхала на глазах, становясь вывороченным паркетом и открывшимися взгляду балками перекрытия; молчал в туманной пелене Самаэль, Ангел Силы, — а между «здесь» и «там», между уходом и возвращением, над нагой, некрасивой девицей, стояли двое.

Консул и герой.

Таким все запомнилось женщине, прежде чем померкнуть окончательно.

ПРОЛОГ НА ЗЕМЛЕ

— ...Пан сотник! Пан сотник, здесь кто-то живой!

— Кто? Кто?! Да отвечай же, сучий сын!

Нет ответа.

СРЕДИСЛОВИЕ, или СЕРЕДИНКА НА ПОЛОВИНКУ

СРЕДИСЛОВИЕ; А ПРОЩЕ СКАЗАТЬ, СЕРЕДИНКА НА ПОЛОВИНКУ

Ох, любезные мои читатели, чуяло, чуяло вещее мое: зря на эту книжку бумагу извели, зря гусей на перья ободрали! И панычам-борзописцам говорил: не позорьтесь, не смешите честной народ! хлопните по чарке горелки с перцем, салом заешьте и киньте эту забаву к чертям свинячьим, не во гнев будь сказано!

Где там! будут они простого пасичника слушать! Панычи в тычки, а пани пышна и вовсе котищем диким травила старика! И добро б кропали себе помаленьку, как меж умными людьми водится: вот колдун поганый на скале сидит, замыслы черные лелеет, вот славный лыцарь Кононенко с ватагой на того колдуна уж восьмую книжку сбирается... нет! Наворотили мудростей! Разве что пан ректор Киевской бурсы ихние выкрутасы разберет, и тот небось в затылке лысом не раз и не два почешет!

Теперь уж точно пойдут в народе зубоскалить; и пусть бы высшее лакейство или там пан комиссар — нет, всякий мальчонка голопупый, кому на хворостине по двору гарцевать, и тот пристанет, хмыкнет сопливым носишком: «Куда? зачем? ишь, завернули, всякого им добра мимо хаты!..»

Чистая прекомедия, от стыда хоть на люди не показывайся! Ведь знаю я вас, щелкоперов да книгочеев: станете смеяться над стариком, а в иных знакомцев, что на сих страницах табором встали, мало что пальцем не потыкаете: бачь, яка кака намалевана!

Прощайте! Может, и не свидимся больше.

А напоследок руками разведу: есть в этой книжке, хай ей грець, много слов, не всякому понятных. Так ниже они почти все означены, а там понимайте или нет — ваша на то воля. Я и сам каких не знал, так у рав Элиши либо у кнежского писаря без стеснения пытал, даром что старый уже .

За сим остаюсь ваш добрый
приятель, пасичник Рудый Панько

ТЕЗАУРУС, или ЖЕ ТОЛКОВНИК СЛОВ

Абшид — отставка (абшидный — отставной)

Байстрюк — незаконнорожденный, ублюдок

Балабус — хулиган

Банация — наказание

Бовдур — придурок

Ведьмач — я это, люди добрые! Вроде как пан комиссар над тутошней нечистью...

Волоцюга — бродяга

Вудка — водка (а горелка?! а пейсаховка?! эх, да что там...)

Гайдамаки — разбойники (и что в них паны-шелкоперы доброго сыскали?)

Гаковница — помесь ружья с пушкой; имела крюк (гак) для стаскивания всадника с седла

Гаплык — конец всему

Гармата — пушка

Гвалт — шум, крик (сгвалтовать — изнасиловать, опозорить)

Гематрия — числовое значение слова, имеет мистическое толкование

Гилгулим — круговорот душ как частиц души Первого Адама, расколотой грехом; их полное либо частичное воплощение в тела для дальнейшего развития и воссоединения

Глузд — здравый смысл

Гой — не-иудей (ср. «Ой ты гой еси, добрый молодец...»)

Гойдалка — качель

Голота — чернь

Гратулюю — выказываю почет

Джура (чур) — молодой черкас (в обиходе — денщик)

Друк — печать (друкованная книга — напечатанная)

Заброда — пришелец

Заризяка — головорез (а харцызяка — то вдвое!..)

Зацный и моцный (мостивый) — уважаемый, знатный

Зброя — оружие

Зрадник — предатель

Жид — та жид он и есть! Многострадальное слово. Обозначало нацию без бранного смысла. Ведь в наши часы стародавние назови кого «евреем», хоть в Галиции, для примеру, — в рожу схлопочешь! Обидятся...

Жупан — верхняя одежа. Здесь же: кунтуш, чумарка

Йолоп — остолоп

Каптан — кафтан

Кадеш — поминальная молитва по отцу

Канчук — кожаный хлыст, бич

Кат — палач

Кеваль — Проводник

Кендюх — фаршированный овечий желудок

Келеп — боевой молот, клевец

Киш мирин тухес зай гизунт! — та найдите себе умного жида и у него спрашивайте! А мне стыдно...

Кнеж — князь

Ковен — законный реестр местной вражьей силы

Комора — комната (иногда — амбар)

Копный суд — общественный суд

Крейд — мел

Крунги — мелкая лесная пакость

Ликар — лекарь

Лыцарь — рыцарь

Лютый — февраль

Маёнток — поместье, надел

Малах — ангел

Меламед — учитель в хедере

Мицва — заповедь

Мугырь — мужик (в пренебрежительном смысле)

Негаразд — непорядок

Нэр-дакик — зародыш души, сердцевина

Ниврoку — присказка от сглаза

Опыряка — упырь, он везде упырь...

Очипок — головной убор женщины

ПАРДЕС «Сад» — аббревиатура четырех уровней толкования Писания: Пшат (простой смысл), Ремез (намек), Драш (притча), Сод (тайна)

Пасичник — пасечник. Гей, панове, доброго вам денечка!

Патык — стеблистое растение, употребляется в пищу

Пахолок — слуга, лакей

Пейсы — локоны на висках

Перелесник — гулящий бес, охочий до девок

Побрехеньки — враки

Поспольство — крестьянство (в широком смысле — народ)

Потвора — чудовище

Прочухан — взбучка

Рав (рабби) — титул еврейского мудреца в Вавилоне (в земле Исраэль)

Рушница — ружье (булдымка, янычарка, фузея и всяко-разно...)

Свитка — род полукафтанья

Сердюк — наемник

Сифра де-Цниута — Сокровенная Книга, анонимный рассказ о внутреннем смысле Мироздания

Стайня — конюшня

Стусан — кулак или тумак, смотря куда попадает...

Сфирот (Сефирот) — десять универсальных принципов строения Мироздания. Само слово Сфира (Сефира) не поддается точному переводу. Родственные слова:

Сефер (Книга), Миспар (Число), Сапир (сапфир),

Сфера (сфера и есть)

Трясця — то, что во злобе желают ихней матери

Тютюн — табак

Филижанка — фляжка

Фрэйлехс — жидовский гопак

Хазер — свинья (оскорбление)

Халепа — неприятность

Хедер — ихняя же школа

Химерный — таинственный, странный

Хробачок — червячок

Хронги — еще меньшая лесная пакость

Цадик — праведник

Цимес — сладкое блюдо

Цудрейтор — боягуз

Цфат — местность в Верхней Галилее, куда эмигрировали многие иудейские мистики в результате гонений Фердинанда Испанского

Чаклун — колдун

Черкас — козак. Реестровец — регулярный военный; подсоседок (подкоморник) — неимущий черкас, подселенный к зажиточному с обязательством ходить за того на войну

Чвирк добрячий — самогон

Чоботы — башмаки

Чорт — черт (лысый дидько, исчезник — адово племя...)

Шаббат — суббота

Шабля — сабля

Шекель — монета (дукат, цехин, червонец)

Шибеница — виселица (она же — глаголь)

Шинок — трактир, корчма

Шлемазл — неудачник, растяпа

Шляхта — дворянство

Шмат — кусок

Эйн-Соф Абсолют — Бесконечный Мир

Билась стрелка часов на слевопой
стене,
Рвался — к сумеркам — белый свет.
Но, как в старой песне:
Спина к спине
Мы стояли — и ваших нет!

А. Галич

Книга написана на собственныя фантазіи авторовъ,
Не содержитъ богохульствій.
Одобрена цензурой.

Книга вторая
ВРЕМЯ НАРУШАТЬ ЗАПРЕТЫ

Рубежи — стеной.
Пришли.
За мной.

Ниру Бобовай

ПРОЛОГ НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ

Небеса проповедуют славу Б-жию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

I

В тот час, когда Тора даровалась Моше, пришли тьмы высших ангелов под водительством Самаэля, князя левой руки, чтобы сжечь его пламенем уст своих. И укрыл его Святой, благословен Он, чтобы не узнали те и не возревновали к нему, пока созидаются из этого Слова новые небеса и новая земля.

II

И восстал князь Самаэль, подобный высокой горе, из уст которого вырывались тридцать языков пламени. Сказал он: «Собираюсь я разрушить мир, так как нет в поколении праведников, и радуга рассекла небеса». Он был человекоубийца из начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он ложь и отец лжи.

И был с ним тот, кто начальствует над Преисподней, — Дума имя его, — вместе с многими ангелами наказания, стоящими у входа в Преисподнюю, и иные Крылатые были с ними.

Микаэль-Архангел, слыша все это, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит вам Святой, благословен Он». Но не послушал Самаэль, отец лжи, ибо прельщен был лживым Словом.

III

И к этому лживому Слову выходит Самаэль, муж превратностей, язык обмана из жерла великой бездны. И скачет пятьсот верст навстречу этому Слову. И берет его, и идет в этом слове в глубь своей бездны, и созидает из него небосвод лжи, называемый Хаос. И пролетает муж превратностей в этом небосводе разом шесть тысяч верст. И когда возникнет этот небосвод лжи, тотчас же выходит жена распутства, и усиливается на этом небосводе лжи и соучаствует в нем. И оттуда выходит она и умерщвляет многие тысячи и тьмы.

IV

Но восстал некий Ангел на Самаэля, не желая гибели мира, который сотворил Святой, благословен Он. И воскликнул Восставший: «Горе вам, живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел Самаэль в сильной ярости. Склонились вечерние тени, тени смертные, ибо право господствовать над ними передано ангелам, князьям народов. Благо же мне принять смерть в огне чистого золота, пылающего там, откуда искры рассыпаются во все стороны!»

V

Ангел вострубил, и увидели все звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух. Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион.

VI

И произошла на небе война: Самаэль и ангелы его воевали против Восставшего, и не устоял он, и не нашлось уже для него места на небе. И повержен был, и низвержен на землю.

Тогда содрогнулись сфиры, и задрожали небосводы, и взволновалось великое море, и затрепетал Левиафан, и намерилась Вселенная перевернуться.

VII

Когда же Восставший увидел, что низвержен на землю, то начал преследовать жену, которая родила ему младенца мужского пола. И нарекли его Денница, звезда утренняя.

VIII

Младенец родился нам — сын дан нам; владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира его нет предела в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.

И младенец играл над норою аспида, и дитя протянуло руку свою на гнездо змеи.

IX

— Видел я сынов восхожденья, и мало их. Если их тысяча — я и сын мой из них. Если их сто — я и сын мой из них. Если двое их — это я и сын мой.

— Могу я избавить весь мир от суда с того дня, когда я был сотворен, до нынешнего. А если отец мой со мной — со дня, когда был сотворен мир, до нынешнего. А если будут товарищи наши с нами — от дня сотворения мира до конца времен...

X

Самаэль же, предводитель Крылатых, приблизился к нему и поклялся клятвой, услышанной им позади Завесы, что погубит младенца. И говорил он в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».

И в тот же час ударил ударами триста девяносто небосводов, и они содрогнулись, и затрепетало все перед ним. И пролил Самаэль слезы ярости, и упали эти жгучие, как огонь, слезы в глубины великого моря, и возник из этих слез древний Змей, Повелитель Хаоса, и поднимался и обещал поглотить все воды Мироздания, и вобрать их в себя в тот час, когда соберутся все народы, землю же сжечь дыханием своим.

XI

Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное? Восстали на них ангелы, цари земли, и князья ангелов совещаются вместе против мира, сотворенного Святым, благословен Он.

«Расторгнем узы миров, и свергнем с себя оковы их». И сказали они Самаэлю, князю своему: «Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь, как сосуд горшечника. Ты дивно велик, ты облечен славою и величием; ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер; устраиваешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими — огонь пылающий».

XII

Денница же встретил Змея, который полз с открытой пастью и сжигал землю в прах. И сомкнул руки свои на голове змея. Замер змей, поникла пасть его. И молвил ему Денница: «Змей, ступай и скажи Самаэлю, вождю Крылатых, что я нахожусь во Вселенной. Я есмь Денница, звезда светлая и утренняя».

XIII

Кто идет в червленых ризах, столь величественный в Своих одеждах, выступающий в полноте силы Своей? «Я — Денница, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? «Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей; кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения — в сердце моем, и год моих искуплений настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего; но помогла мне мышца моя, и ярость моя — она поддержала меня; и покарал я врагов в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их, и смел Рубежи между мирами, словно плотину из песка».

XIV

Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Рубежи отныне не будут запираться днем; а ночи там не будет. И когда соберутся народы на месте, называемом Армагеддон, и начнется великая битва, и упадет звезда Полынь в воды рек, то увидят люди новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля уже миновали, и прежнего мира уже нет.

И сказано обо всем этом словами этими в Книгах Священного Писания: Берейшит, иначе Бытие, Тегилим, иначе Псалтырь, в Книгах великих пророков Исайи, Иеремии и Софрония, Бла-

гой Вести от Иоанна и в его же Откровении, в книге Коран, в толкованиях мудрецов Мишны и в великой книге Зогар, что значит «Сияние», а для сведущих — «Опасное Сияние». И разумеющие их воссияют, как сияние небосвода, а приводящие к праведности многих — как звезды в вечности века...

Часть первая

ЧУМАК И ГЕРОЙ

ПРОЛОГ НА ЗЕМЛЕ

Охали, крестились, переминались с ноги на ногу, топтали и без того нечистый, слежавшийся снег.

Мерзлая земля поддавалась тяжело. Взопревшие мужики отступали, пропуская к яме других, свежих; отец Гервасий вычитывал молитву, сперва укоризненно и громко, потом все более невнятно и хрипло — осип батюшка.

По низкому небу стелился черный дымный хвост. Бесовскую хату пожгли вместе с барахлом, вместе с осквернеными образами.

Похороны наоборот. И поп, и люди, и заступы, только не в яму ложится земля — летит из ямы. Не камушки стучат по крышке гроба — сапоги топчутся, и не скорбь на лицах — страх, да еще угрюмая радость: дождалась, проклятущая ведьма!

— И как она с погоста-то ходила? Землищи-то!

— Известно, как. У ей чорт в полюбовниках!

— Постыдились бы, соседка, поминать-то! Свят-свят...

Обнажились доски.

— С домовиной доставай! Поднатужься!

Поднатужились. Кинули на снег кожухи, взялись за веревки, выпучили глаза: раз-два! Взяли!

Бабы, толпившиеся поодаль, отшатнулись. Множество рук вскинулось в суетливом крестном знамении — земля, отпуская гроб, скрежетнула, будто зубами.

Одна веревка лопнула, но прочие не подвели. Вывалили домовину на снег.

— Слышь, сосед, вроде воет чего-то?

— Волки?

— Нет, сосед. Это что-то не то воет...

— Бог с вами, сосед!..

Пошел в ход плотничий инструмент. Затрещала, поддалась домовина, запечатанная по обычаю до Страшного Суда; так сталось, что Ярина Киричиха попала на суд много раньше времени...

Отец Гервасий возвысил голос.

Вдова Киричиха с деревянным стуком грянулась оземь. Темные руки, сложенные на груди, будто молили о пощаде.

Судьи молчали и сопели. Острый кол заранее был вытесан из молодой осины; кузнец Вакула примерился — и ударил молотком; острие без труда погрузилось во впалую грудь мертвеца, и только окоченевшие руки судорожно дернулись: «За что?!»

Содрогнулась земля — так, словно перевернулись в истлевших гробах все покойники на погосте. Качнулись кресты, спугивая ворон; тем, кто собрался сегодня на кладбище, в одночасье послышался хрипловатый детский голос:

— Я спасу!.

Осекся отец Гервасий. Мельничиха Лышка, стоявшая поодаль, дала подзатыльника малолетнему внуку, невесть как оказавшемуся на погосте в этот страшный час; кузнец Вакула снова ударил молотком — и едва не промахнулся, чего с ним отродясь не случалось...

— Я спасу!

Повеяло дымом — запахом беды.

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

— Мамочка родная... Ох, мамочка!..

Гринь сидел на земле, голой, бесснежной, теплой земле. Бурые комья, будто вывороченные огромным тупым плугом, понемногу осыпались, кое-где извивались хвосты потревоженных червей. Дальше росла трава, зеленое дерево, зимы как не бывало, страшного замка как не бывало, и никогда не было ни рушниц, ни гармат, ни сечи на ступенях, ни криков умирающих. Он, Гринь, пятилетний мальчик, пас корову и заблудился, перегрелся на солнышке, вот ему и примерещилось страшное, про которое дядька-запорожец рассказывал!

Он пошевелился. Огляделся, желая увидеть мирно пасущуюся корову.

Лето. Негустая, нестарая роща. В изобилии свален бурелом, молодые деревца выкорчеваны с мясом, и тоненькие листья еще не успели пожухнуть. Как будто ленивый великан, работая на великанском огороде, несколько раз ударил своей великанской тяпкой, но дальше полоть не стал — позвали обедать.

От такой мысли Гриню стало страшно. Даже пот прошиб, тем более что среди жаркого лета он сидел в кожухе, в сапогах, разве что без шапки.

— Отче наш, иже еси на небеси...

Ответом был чуть слышный стон.

Гринь поднялся на четвереньки. Переждал головокружение, встал. Схватился за бок, сам едва не застонал. Шагнул, придерживаясь за покосившийся ободранный ствол. Совсем рядом, из-под наваленных веток, виднелась окровавленная голая нога.

...Был в чумаках — всякого повидал. Был в сердюках у пана Мацапуры... Точно, был. И замок был, и рушницы палили, и сотник Логин за дочкой пришел...

Гринь разбрасывал ветки. Задохнулся, вытер пот, догадался, наконец, скинуть кожух и свитку. Дело пошло быстрее, по-настоящему тяжелая палка была только одна, прочее — мелочь, щепки.

Здравствуйте, Ярина Логиновна!..

Сотникова дочь была вся в крови, но не это смутило Гриня. Нага была панна сотникова, а голых панночек ему, чумаку, до сих пор видеть не доводилось. Сельские девки, в пруду забавляющиеся, — другое...

И все-таки не оттого чумак отшатнулся, что голую девку увидел.

«Ну, спасибо тебе, Гринь! От меня — и от тех людей, кого ты от смерти спас!»

Спасибо. Спасибочки. Иуда, предатель... Смотри теперь в глаза зраде своей.

Панна сотникова застонала. Рана на плече, рана на бедре, и еще одна, ниже — умело рубили, по всему видать, сухожилье подрезано.

Гринь стянул рубаху. Не дело, конечно, панночек нечистым полотном перевязывать — да только кровь из сотниковой дочки сочится и сочится, вон как лицо пожелтело!

Ярина стонала, не открывая глаз. Гринь радовался; может, и вовсе не придется встречаться с панночкой взглядом. Хоть бы хутор был рядом или село какое — позвал бы людей, оставил бы панну сотникову бабам на попечение, а сам, глядишь, и сбежал бы, на Сечь подался.

Гриневы мысли текли ровно и бессмысленно, как бормотание. На Сечь, на Сечь... о чем еще думать? Из зимы в лето попасть — не штука. Где братик, куда Дикий Пан провалился, что он с панночкой в проклятом замке вытворял — о таком не задумываются, когда раны перевязывают. Рука должна быть твердой...

Гринь сделал все, что мог. Подложил панночке под голову свернутую свитку, укрыл кожухом. Придерживаясь за стволы, отошел в сторону, справил нужду. Огляделся, увидел небо между тонкими покосившимися стволами, поспешил к прогалине, хромая и задыхаясь, спотыкаясь, будто старый дед. Скоро вы-

брался на опушку, ошалев, втянул голову в плечи, прикрыл глаза ладонью.

Большое поле, засеянное не житом и не пшеницей, а невиданным колючим злаком. В стороне — дорога, тополями не обсаженная, голая. Ни души на ней, и на поле ни души. И, сколько Гринь ни всматривался, — ни единой знакомой приметы, да и небо невиданное, слишком низкое, тугое.

Так куда черти их с Яриной закинули?!

Гринь отыскал межу. Поле было аккуратно нарезано, и полоски оказались куда посытнее, чем в родном Гонтовом Яре. Богато живут люди... хотя кто знает, как эта колючка родит, какой с нее обмолот?

По меже Гринь добрался до дороги. Постоял, выбирая, куда идти, где жилье ближе. Ничего не определил, двинулся наудачу; колеи были узкие и уж больно глубокие, телега в таких завязнет, колесо слетит, а то и ось сломается.

Ко всему привычные ноги, которыми Гринь, бывало, широкую степь мерил, теперь бухали, словно колоды: слаб сделался чумак, не оклемался еще от недавней раны. Сапоги казались непомерно тяжелыми; Гринь стянул их, закинул за плечо, пошел босиком. Пыль оказалась мягкой, что твой бархат, только время от времени под жесткую пятку попадался жгучий, как оса, камушек.

На счастье, хутор не заставил себя долго ждать. Показалась криница; в отдалении купой стояли плодовые деревья, проблескивала между ними вереница красных крыш. Гринь замедлил шаги; что за паны тут живут? Издали видать, что хаты не соломой крыты и не дранкой, а настоящей черепицей, как в городе!

Привычно запахло навозом и дымом. По дворам мычали коровы; теперь Гринь припустил быстрее, почти побежал.

На самой околице стояли ворота, резные, невиданной красы. Гринь привычно поднял руку, собираясь перекреститься на икону, — но на воротах иконы не оказалось. Долго удивляться не стал, вошел в приоткрытые створки; сразу несколько окликов заставили его остановиться, замереть, разинув рот.

Татары? Турки? Всякую речь Гринь слыхал на крымских базарах, но такого блекотания...

К чумаку не спеша, начальственно приближался невысокий, упитанный пан в странном каптане, темнолицый, но на турка не похож, а на татарина тем более. Приближался, уперев руки в бока и повторяя вопрос на своем непонятном наречии; за его спиной гортанно галдели десятка два мужиков, все в каких-то цветастых лохмотьях, ни на ком не видать ни свитки приличной, ни рубахи.

Цыгане? Где это видано, чтобы цыгане на хуторе жили?!

Гринь перевел дух:

— Люди добрые!.. Из посполитых я, Гринь Кириченко, из Гонтова Яра, может, слыхали?..

Заслышав его речь, мужики как один замолчали. Тот круглый и начальственный, что стоял перед Гринем в двух шагах, нахмурился и поскреб в затылке; на макушке у странного господина сидел вместо шапки королевский венец — точь-в-точь как на лыцарских гербах, только деревянный.

Гринь испуганно перекрестился. Еще раз, и еще; некоторое время мужики молча наблюдали, потом тот, что был увенчан деревянным венцом, выпятил круглый живот, показал на Гриня пальцем и оглушительно захохотал. И, вторя ему, расхохотались селяне в пестрых обмотках — как будто Гринь сотворил сейчас нечто непристойное и смешное.

Диавольское отродье!

— Отче наш... — забормотал Гринь, истово надеясь, что чортовы прихвостни растают в воздухе. Или хотя бы заткнутся.

Венценосный толстяк отсмеялся раньше прочих. Сунул руку за пояс, вытащил кошель, развязал, выкатил на ладонь монетку... Золотой цехин! Неужто душу за золото купить хочет?!

Но толстяк показать-то денежку показал, но предлагать, кажется, не собирался. Подбросил, поймал, аккуратно спрятал; поглядел на Гриня, скрутил пальцы колечками, приставил к глазам, будто окуляры. Надул губы, втянул голову в плечи — Гринь отшатнулся, будто вправду чорта увидел. Венценосец силен был пересмешничать — с лица его глянул на Гриня, будто живой, зацный и моцный пан Мацапура-Коложанский.

* * *

— ...То вы лежите, панна Ярина! Тут они были — Дикий Пан, а с ним баба эта черная и братик мой. Эти, местные, сперва переполошились, как пана Мацапуру увидели... только наши-то вежливо повелись. Купили коней на панское золото, и повозку купили, и поехали прочь! Сегодня это было поутру, то есть вчера уже...

— Что же ты, — сотникова едва разжимала губы, — по-ихнему бельботать выучился?

— Не... Руками показывают да рожи строют. Столковались мы.

— Столковались, — повторила сотникова, казалось, безо всякого выражения, только Гриня от этого слова холодный пот прошиб.

— Панна Ярина, я... — Гринь умолк.

Куда уж тут прощения просить? Не знал, мол, не ведал, как все обернется? Ведал! Дикого Пана видел и с надворным сотником Юдкой говорил — то мог бы и догадаться.

Или рассказать Ярине Логиновне, как другую Ярину — Гри-

неву мать — из гроба выбросили да осиновым колом пригвоздили? Нашлись добрые люди, донесли до сына, как оно все было...

Сотникова дышала тяжело, с присвистом. Теточка, травница здешняя, и раны умастила как следует, и начисто перевязала, и теплым напоила — а только тяжело сотниковой, помереть не помрет, но помучается здорово.

Теточка ждала, видимо, от Гриня все тех же золотых цехинов. Думала, что все забродыиноземные при деньгах, подобно пану Мацапуре, — только у Гриня, кроме старого кожуха, не нашлось ничего, да и тот кровью запятнан.

— А батька моего видел?

Гринь вздрогнул:

— А как же... видел, панна Ярина, все ему рассказал, как на духу! Я и к замку привел. И не просил меня миловать. Вот крест, не просил!

Гринь огляделся в поисках образа — и, разумеется, не нашел. Не держат икон в здешних домах, неведомо кому молятся, хорошо хоть, не чорту.

— Батько ваш за вами шел, панна Ярина. Вызволить хотел, и вызволил, когда б...

Панночка молчала. В свете единственной свечки желтое Яринино лицо вдруг показалось Гриню совсем мертвым — будто он, чумак, над покойницей сидит, призванный всю ночь читать молитвы; похолодев, он перекрестился снова.

— Когда б пан Станислав не спутался, прости господи, с лукавым, и... куда занесло-то нас?

— То не пан Станислав, — сказала сотникова, не открывая глаз. — Пан Станислав помер.

«Бредит», — подумал Гринь.

На лбу сотниковой бисером выступил пот:

— Пан Станислав Мацапура-Коложанский весь век просидел под замком, в подвале. А тот людоед — не человек вовсе, а диавол во плоти. Оттого и шабля против него бессильна, и пуля!

Точно, бредит. Гринь и в третий раз осенил себя крестом.

— Что ты, чумак, все крестишься, ровно баба или чернец? А много тебе дали за душу твою? Золотом заплатили или еще чем?

Мог ли Гринь ослышаться? Конечно, мог, ведь сотникова едва шевелила губами.

— Панна Ярина!..

Молчит. Уголки рта приподнимаются в улыбке — кто знает, что там сотниковой в бреду привиделось?

Свечка, давно уже трещавшая, догорела до пня.

За маленьким квадратным оконцем разливался серый рассвет.

* * *

Что он помнил?

После той ночи, когда соседи собрались на площади перед церковью, когда отец Гервасий читал «экзорцизм» над орущим младенцем, единоутробным Гриневым братом... Когда ударили каменья, когда на помощь не Господь пришел — явились страшные заброды во главе с паном Рио... а потом, как избавление, появилась вот эта панночка с сивоусыми черкасами, одноглазым татарином и бурсаком в окулярах.

И вздохнуть бы Гриню, попустить все как есть. Пусть бы ехали, забирали «чортово семя», сам ведь не знал, как избавиться от братца, — а тут такая оказия! Забрали бы младеня, Гринь бы в церкви покаялся, замолил бы грехи. Глядишь, Оксанин батько и смилостивился бы, тем более что хата у чумака хорошая, и деньги есть, а грехи отпускать — на то поп имеется.

Нет! Кинулся в ночь за малым дитем, за проклятым чортовым отродьем, а все-таки кинулся, потому что мать любистка наготовила, чтобы малого искупать, а они его — каменьями хотели... а потом схватили и увезли невесть куда, кто знает зачем, и не для доброго дела, ох, не для доброго...

Дурень ты, чумак. Лучше бы в степи сгинул!

Что он помнил потом? Дальше — все как туманом подернуто. Черные глаза навыкате, рыжеватые пейсы — пан Юдка все наперед видит, все наперед знает, про то, что соседи хату спалят, он еще когда сказал... А соседи спалили-таки, и бедную Гриневу мать из мерзлой земли вынули, а пан Юдка еще тогда, впервые Гриня повстречавши, все это знал. И потом, помнится, как рядом встанет, как в глаза посмотрит, — все припоминается. Колган, Матня и Василек, трое на одного; Касьян и Касьянов отец, дьяк, поп, взгляды, камни, «экзорцизм»...

И самое страшное... Как затрещала, поддалась домовина, запечатанная по обычаю до Страшного Суда, — а Ярина Киричиха попала на суд много раньше времени. Как отец Гервасий возвысил голос. Как мертвая мать с деревянным стуком грянулась оземь... как кузнец Вакула примерился — и ударил молотком, и острие без труда погрузилось во впалую грудь, когда-то Гриня вскормившую, и только окоченевшие руки судорожно дернулись: «За что?!»

Простишь, чумак?

Святой, может, и простил бы. А Гринь — он что, он не святой!..

Хотелось по-волчьи выть в потолок — но сотникова заснула наконец-то, и Гринь боялся ее разбудить.

* * *

...Нет, не ляхи и не татары. Странный народ; и село вроде бы как село, а только выборный ихний в деревянной короне разгуливает. Церкви вовсе нет, бабы ходят простоволосые, мужики наряжаются в цветное и украшают себя стеклянными цацками. В ставку, говорят, какой-то бука живет — все Гриню твердят, чтобы не совался к тому ставку. Рожи строят, зубы скалят, изображая злость неведомого водяника. Гриню-то что? — в перевозчики не нанимался.

А нанялся к теточке-травнице, вроде как милость отработать. Топор — он и в пекле топор, а печки и на чортовых куличках дровами топятся. Гринь никакой работы не боялся, опять же, пока топором машешь — голова свободна, и ненужные мысли удобнее гнать.

Одно плохо — слаб стал, и бок болит.

А сотникова одну ночь в бреду пометалась, а потом на поправку пошла, да так быстро, что даже теточка-травница диву далась. То ли здоровье крепко у Ярины Логиновны, то ли здешний климат, как говаривал дядька Пацюк, «в пропорции»... День-другой — и встанет. Хотя ходить без костыля долго еще не сможет, а то вовсе охромеет — ловко подрезал сухожилия пан Мацапура-Коложанский.

Ну вот. Опять. Гринь устало опустил топор; закружилась голова, заболела недавняя рана.

Всякое болтали про Дикого Пана, а он, дурень, не верил! А когда сам увидел своими глазами, как в зале, кровью залитом, стены корой поросли, вместо потолка — ветки сплелись и мары в ветках мечутся, дождь идет и грязь под ногами, свет и голоса, а пан Станислав, про которого сотникова говорит, что он чорт — этот самый пан приставляет обломок шабли к тонкой братиковой шее, и мертвая мама, невесть как случившаяся рядом, неслышно вскрикивает: «Ай, Гринюшка, убереги!..»

Померещилось?

Кабы под локоть не поддерживали — не дошел бы Гринь до того зала. Страшно было, и ноги подгибались. Не успокоилась мама или лишилась покоя, когда из труны доставали. Кабы не она — не угодил бы Гринь вслед за Мацапурой в серую слякоть, не провалился бы сквозь железный плетень...

Железный плетень! Вот как все это было: проломанная ограда, пан Станислав с братиком под мышкой, голое тело сотниковой под ногами... Пан Рио и пан Юдка, а снаружи палят и палят... Или это гром?! Подхватило сырым ветром, кинуло в яму: «Ай, Гринюшка, убереги!..»

Вышла из хаты хозяйка. Поглядела, сколько Гринь наработал, покивала, поулыбалась; была бы мужняя жена — мужик бы, увидев, за косу оттаскал. Странный тут народ, бесстыжий.

Зато строят хорошо. По-пански строят, с резными ставнями, с высокими потолками, с высоким порогом.

А на пороге батьковой хаты старый жернов лежал. Новую хату ставили — жернов перетаскивали. Его еще деды-прадеды топтали...

Спалили хату.

«Пусть запомнят», — сказал тогда Гринь доброму пану Юдке. Только не знал, что помнить некому будет; что с Гонтовым Яром сделали, много позже узнал. Лучше бы помер в том лесу на красном снегу, чем такое узнать!

Наверное, он переменился в лице, потому что теточка-травница бросила улыбаться, подала руку, помогла сесть. Топ-топ-топ — скрылась в доме. Топ-топ-топ — уже бежит обратно, несет ковшик с водой, а на дне расплываются темные душистые капельки какого-то здешнего зелья. Языком цокает, по плечу поглаживает... Вдовая она вроде бы. Зажиточная вдова. Темные волосы раскинуты по плечам, и вроде бы полынью пахнут...

...Оксану тогда привезли румяную, веселую. «Любишь меня?» — «Люблю». — «А как же батько, как мать?» — «Разрешили». «Пан Юдка уговорил?» — «Люблю тебя!..» И все. Сперва Гринь радовался — а потом страшно стало. Глянешь — вот она, Оксана, черные брови, карие очи. И улыбнется, и вздохнет — она. А заговорит — нет, не Оксана; будто опоили ее, окурили невесть чем.

Гринь тогда кинулся к пану Юдке; надворный сотник добрым был в тот день, по плечу хлопнул, в глаза глянул: «Что ж, Григорий...» И поплыл мир. Привиделась Оксана, прежняя, но только в высоком очипке — мужняя жена. В очипке — а сама нагая. Как подходит, целует, на ложе садится. Жена законная, целомудренная, глаза прячет — а сама горит, жаром пышет, ждет...

Теточка-травница заулыбалась смелее. Присела рядом на чурбачок; заговорила непонятно, протянула руку к Гриневу боку, туда, где ныл под рубашкой свежий шрам. Наверное, уговаривала поберечься и не мучить себя работой. Она, мол, и без этого кормить и лечить станет — и Гриня, и раненую сотникову.

Добрый тут народ. Даром что нехристи!

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Мне холодно.
Невкусно. Вода.
Молоко. Вкусно. Темно. Ночь.
Все злые. Мама добрая.

Мамы нету.

Дядька злой... Дядька смотрит. Дядька гладит. Дядька укрывает.

Дядька хороший.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

Сотник Логин выхаживал по комнате. Останавливался под образами, укоризненно глядел в темные на золоте лица, грузно разворачивался, шагал к двери.

Высок был сотник Логин, статен и собою хорош, за что и любили его в парубоцкие годы и девки, и молодицы; сам же Логин охотнее знался с шаблею, нежели с бабою, и, взяв за себя смирную архиерееву дочь, с нетерпением ждал сына-наследника.

Родилась дочь.

Та самая Ярина Логиновна, которая недавно — вчера? — скакала по двору на палке, размахивая деревянной шаблей, и разбойничьим нравом не уступала никакому хлопцу. Та самая, которую верный Агметка выучил и в седле сидеть, и из пистоля стрелять, и шаблей рубить. Про которую шептались, что быть ей сотником, хоть и девкой уродилась.

Еле теплилась лампада. Логин в который раз остановился перед иконами, по-стариковски пожевал губами.

За минувшие несколько дней лицо его почернело, будто земля. Был бы у сотника чуб — побелел бы, как у старого деда, да только Логинов чуб давно поредел да сошел на нет, и сверкающая лысина теперь потемнела тоже — как старая деревяшка.

Недобрые дела творятся. Жуткие, невиданные дела, не иначе, скоро Страшный Суд!

Когда хлопцы прошлись по замку Дикого Пана; когда увидели там все да припомнили, как пропадали на хуторах то девка-сирота, то младень. Как списывали все на волков, на хапунов, на дикого зверя — а зверь был пострашнее медведя, похуже хапуна, на двух ногах ходил зверь, по-пански одевался, и служили ему не упыри — люди ему служили!

Хотя и упыряка сыскался-таки один. В подземелье нашли, над свежим трупом странного какого-то старца — или не старца? — седого, длинноволосого, в золотых перстнях. Смердел упыряка, а все одно Тараса Бульбенка чуть не задушил! Порубали его на части — а все равно шевелился!

Навидались всякого сотниковы хлопцы — но после того, что в замке увидели, словно ума лишились. Если кто из сердюков Дикого Пана и уцелел — порубали, порезали, голыми руками порвали.

Всю власть пришлось употребить сотнику Логину, чтобы сохранить в живых хотя бы главных душегубов — окаянного жида Юдку, что командовал резней в Гонтовом Яре, да еще того иноземного супостата, что рубился как чорт, что залил чужой кровью ступени, ведущие к Дикому Пану...

Логин едва удержал стон. Не ему, зацному сотнику, скулить ровно бабе, Яринку все одно не вернешь. И добро бы похоронить по-христиански! Нет, утащил чорт Мацапура в свою преисподнюю, живьем утащил родную дочь, попы глаза воротят, не хотят служить за упокой души, потому как душа неизвестно где оказалась; скорее всего — в пекле.

Долго искали Яринку. Хведир Еноха, окуляры нацепив, весь замок обшарил. Думал, может, затаилась где? Не поддалась?

Хороший хлопец Хведир. Хоть и не черкас, не чета братьям. За окулярами глаза прятал — мокрые они были, глаза-то...

* * *

Логин понял, что давно не смотрит на иконы, — стоит посреди комнаты, вперившись в голую стену, и кулаки сжимаются сами собой, а в одном — вроде бы мелкий камень.

Сотник с трудом разжал руку.

Медальон. Обрывок цепочки свисает из кулака. Откуда? А, то на шее у супостата этого, Рио, колдовская вещь была, приметная! Когда обезоружили Юдку с иноземцем да скрутили... Жид, хоть и подраненный, — щерится, а пан Рио смотрит холодно, по-рыбьи, будто и не ему на кол садиться!

Логин сам не помнил, как сорвал ведьмачью цацку. Бросить оземь — рука не послушалась. И верно! Негоже такими вещами разбрасываться — а отдать кузнецу, пусть сплющит, пусть в горниле спалит нечистое золото...

— Пане сотнику?! — робко, от дверей.

— Ты, Ондрий?

— Все готово, пан сотник! Волов запрягли, две пали выстругали — из осины. Хорошие пали. Пану Юдке и пану Рио удобно будет!

Сотник стиснул зубы.

По-хорошему, не надо бы так торопиться. Да только жжет душа, душно. И панихиду по Яринке служить не хотят. И до Мацапуры, чорта, волчьего выкормыша, не дотянуться. Так хоть этих на палю надеть!

— Хорошо, Ондрий. Собирай народ!

Есаул поклонился и вышел; сотник с удивлением посмотрел на собственную руку. Вроде убирал он медальон за пояс? А вот он, лежит, золотенький, и неведомо, что в нем за сила.

Неохотно поддалась золотая крышечка. И верно, вражья цацка: на золотой подушечке, гляди-ка — оса!..

Свет дрогнул перед глазами Логина. Вроде дымом потянуло... нет, цветами. Густым осенним запахом, чернобривцами.

И вроде застонал кто-то. Яринка?!

Сгинь, бесовское наваждение! К кузнецу! Сегодня же — к кузнецу!

РИО, СТРАНСТВУЮЩИЙ ГЕРОЙ

Подвал, где нас держали, не был предназначен специально для узников. Когда-то здесь хранили, по-видимому, овощи; пахло гнилью и мышами, и кто-то деловито шуршал в темноте, не обращая на нас ни малейшего внимания.

Юдка не видел моего лица, а я не видел Юдку. Я только слушал его монотонный, без интонаций, голос, и все сильнее хотелось взяться руками за голову — но не было такой возможности, потому что руки, скрученные за спиной, уже как бы перестали быть. Что с руками, что без рук!..

Юдка говорил, а мне мерещилась горечь дыма. Попеременно запах горящих магнолий — и смрад обугливающейся плоти. Брат сидел передо мной, такой же Заклятый, такой же двоедушец, вот только запрет ему положен другой. Мне — не убивать, ему — не миловать.

Я думал — нет ничего страшнее, чем то, что случилось со мной в двенадцать лет. Разрушенный дом, замученные родные; собственное бессилие и неумение защитить... Но когда душегубы под предводительством какого-то Железного с людоедской жестокостью перебили взрослых Юдкиных родичей, когда взялись жарить на огне Юдкиных братьев и его самого, двенадцатилетнего, а рядом умирали под насильниками сестры... Тогда и он воззвал — к Неведомому — и получил такой же дар, как у меня. Превратился в боевую крепость с замурованным в стене детским скелетиком.

Впрочем, нет. Вторая — точнее, первая! — душа Юдки жива, как и моя, еле дышит, но все-таки жива.

— Прошу прощения, пан Юдка... Кто они были, эти изверги? Политический заказ?

Неприятная, не до конца понятная мне улыбка:

— То у вас, пан Рио, политические заказы. А здесь простые нравы — богатому пану маенток подпалить, онучей из китайки надрать, католика пилой перепилить, жида поджарить...

Я ничего не понял, но смолчал.

Он рассказывал дальше — как встретились Двойник, Смерть и Пленник, — первым был я, второй — Ирина Логиновна, третьим — тот, за кем меня послали, младенец, спасенный нами от обезумевшей толпы. Эти трое сошлись — в ту нашу первую, холодную встречу, и Юдке было предначертано вскоре умереть, но он почему-то не умер.

Он говорил, и многие миры, по которым так заманчиво, так интересно было бы путешествовать, оборачивались для меня одним-единственным миром, разделенным Рубежами, а сами Рубежи из волшебных граней неведомого превращались в ремни и шнурки, то там, то здесь перетянувшие живое тело, удерживающие в узде гной и яды, но и кровь удерживающие тоже.

...Сале? Ах да, Сале, наш Проводник! Она была в сговоре с Рубежными Малахами, она, а не я, получила самый настоящий Большой заказ! И она его выполнила: странный ребенок, брат чумака Гриня, оказался по ту сторону Рубежа, в моем мире, который Юдка почему-то именует Сосудом.

Чужие игры!

Уже сметены с доски третьестепенные фигуры — мои подельщики, Хостик и к'Рамоль, — и подходит черед второстепенных, то есть наш с Юдкой черед. Я не спрашиваю, что нас ждет; что-то очень скверное, и я понимаю этих людей, наших тюремщиков!

— Пан Юдка! Мы с вами хорошо сражались, и вы сполна выполнили наш... уговор. Нас многое... роднит. И все-таки я не могу не спросить. Те люди, что пришли тогда на свадьбу... и многие другие, нашедшие смерть от вашей руки, иногда нескорую, почти всегда — страшную... чем они провинились перед вами, перед вашим заклятием?

Мой собеседник молчал.

— Эти люди — слабые, иногда трусливые, иногда подлые... но тем не менее...

— Ах ты, герой, — с непонятным выражением сказал Юдка. — Странствующий герой!..

Я вспомнил, как он бил Ирину — каблуком по голове. Я вспомнил, и по моему затекшему телу прошла судорога.

Если бы Ирина не кинулась за Мацапурой в пролом! Это было невозможно, она же не могла ходить! Она бросилась на четвереньках, едва ли не ползком. Раньше я думал, что только любовь способна на такие подвиги. Оказывается, ненависть не менее жертвенна, и даже скорее наоборот.

И Сале тоже успела уйти. А страшный Мацапура полагает, и не без основания, что по ту сторону Рубежа ему будет привольнее, чем на родине...

Но все-таки, если бы Ирина осталась здесь, и осталась жива, — моя судьба сложилась бы иначе? Или?..

Над нашими головами загрохотали шаги. В углах притихли мыши, с потолка посыпался мелкий мусор; свет, пробившийся в щель приоткрытого люка, показался нестерпимо ярким.

— Живые, панове? — осведомился молодой, но до хрипа сорванный голос. — То попрошу, панове, на добрую палю!

* * *

Люди стояли тесно — площадь была невелика, а пространства для предстоящего действа требовалось немало. Я поначалу и не понял, что здесь готовят, — два огромных круторогих быка, сложная система упряжи, скамейка...

Потом стало ясно, что такое «паля». Это длинный заостренный кол, тупым концом упирающийся в край земляной лунки. И механизм казни стал понятен как-то сам собой, а в животе сделалось тяжело и холодно, как будто я по ошибке проглотил покрытый инеем камень.

Что это? Страх смерти? Давно забытое чувство... Вернее, и вовсе не знакомое; до того, как воззвать к Неведомому, я смерти не боялся, а уж после — и подавно!

Страх *такой* смерти?

Пожалуй.

Я узнал сотника Логина — для него мы были виновниками гибели его дочери, хотя на самом деле девица Ирина скорее всего жива... Я узнал писарчука Федора — тот стоял между двумя здоровенными воинами, и все трое были неуловимо похожи друг на друга — не иначе братья. Писарчук стоял без очков, и от этого мне почему-то сделалось легче. Парень, хоть и пришел посмотреть, как нас насадят на кол, — но подробностей видеть не желает.

Я узнал еще несколько знакомых лиц — молодые ребята, из которых госпожа Ирина пыталась в свое время сколотить войско. Мало же их осталось, ох как мало!..

Взгляд невольно остановился на единственном улыбающемся лице. Красивая, по-кукольному румяная девушка. И где-то я ее уже видел... Кажется, это невеста чумака Гриня. Как ее, Оксана? Да. Ей, похоже, нет дела до готовящейся казни — разглядывает толпу, будто высматривает кого, будто ждет, что вот-вот объявится ненаглядный женишок!.. А женишок тем временем перевалился на ту сторону Рубежа, где-то там, в моем мире, вместе с госпожой Ириной, паном Мацапурой, проводником Сале...

Да, теперь я точно вспомнил. Это Оксана, это у нее на свадьбе так славно погуляли Юдка с сердюками.

Я оглянулся на того, с кем придется разделить позорную казнь. Оглянулся, надо сказать, с омерзением; Юдка на меня не смотрел. Вперился глазами в толпу, а кого там разглядел, кого увидел — уже не имело значения.

Обвинительное заключение читать не стали. Ограничились кратеньким информационным объявлением — мы обрекались смерти как пособники душегуба Мацапуры-Коложанского, чортовы прихвостни, изуверы, нехристи и убийцы. Последнее обвинение показалось мне забавным, потому что я так и не нару-

шил запрета. Не спустил смерть со своего клинка, и в этом мне немало помог умелый пан Юдка.

...В тот день Юдка взял на себя роль палача. Ту роль, которую так долго и верно исполнял мой Хоста, друг, спутник, подельщик, оставшийся в снегу на лесной дороге, но так и не нашедший покоя. Чем Хоста был при мне? Да убийцей же и был, но почему-то я и руку ему подавал, и ел с ним из одного котелка. А на Юдку мне не хочется смотреть. Хоть он и брат мне, брат по заклятию, и кому, как не мне, понимать...

— ...А теперь, любезные, решите меж собой, кого из вас первым натягивать?

Распоряжался немолодой воин, кажется, его звали Есаул, кажется, мы с ним встречались там, на лестнице, среди жадного до крови железа.

Его взгляд был, как прикосновение бича.

Толпа зашевелилась, — вероятно, то было начало казни, теперь нам с Юдкой предстояло выяснить, кому принимать муки первым, а кому наблюдать — в ожидании своей очереди.

— Жребий, — не дрогнув, сказал мой товарищ по заклятию. — Жребий, панове, он рассудит.

Говоря, Юдка смотрел на сотника Логина. За спиной у того возникло движение — как будто бы кто-то пробирался сквозь толпу, словно желая уйти прочь, испугавшись предстоящего зрелища.

Впрочем, они тут, за Рубежом, ко всему привычные. Не из пугливых и не из брезгливых.

Есаул поднес к Юдкиному носу две соломинки в кулаке. Одна, предположительно, длинная, одна — короткая.

— Вэй, Ондрий, да ты две короткие суешь! Нехорошо над людьми в смертный час насмехаться!

В толпе кто-то засмеялся. Ночью такой смех услышишь — спать не ложись, кошмары замучат.

— Будет, — мертвым голосом сказал сотник Логин. — Дай ему вытянуть, Ондрий.

Юдка зубами ухватил одну соломинку, выпустил, взялся за другую; внутри меня стояла зима, холодная зима, и сердце пропустило удар, хотя решался вовсе не вопрос жизни и смерти. И неизвестно еще, что лучше, — первым лечь на скамейку или вторым...

— Короткая! Бери его!

Юдку подхватили под связанные локти два дюжих сердюка. Потащили к скамье; на миг мне показалось, что я различаю краски. Что на сотнике алый кафтан, а на сумасшедшей Оксане — пестрые, как луг, цветные ленты...

Юдку кинули на скамью лицом вниз. Разрезали и стянули штаны — по толпе прошелся гогот; пока привязывали к волам,

пока разбирались с многочисленными постромками, наперед вышел барабанщик, парнишка лет четырнадцати в полном воинском облачении, с огромным, как бочка, гулким барабаном; ударил дробь.

Юдка приподнялся на скамейке и посмотрел на меня.

Он все уже видел. Он все пережил. Пленник, Смерть и Двойник встретились — но где было сказано, что Юдкина судьба решится в ту же минуту? Вот, он исполнил предначертанное — и теперь свободен.

Парнишка барабанил зловеще и гулко — вот только лицо у него никак не соответствовало моменту. Надутые красные щеки, казалось, вот-вот лопнут от гордости — как же, такое дело доверили! Перед всем людом, посреди площади!..

Щелкнул бич. Погонщик ударил по быкам; медлительные, мощные твари переступили копытами, сделали каждый по шагу...

Я лихорадочно огляделся. На всех лицах лежало одно и то же выражение; нехорошие были лица. Сотник, воины, зеваки, мужчины, женщины, подростки; я поймал себя на том, что готов их понять. Предательство и резня, страшный замок пана Мацапуры — и Юдка во главе карательных отрядов.

Скорей бы!

Быки сделали второй шаг. Натянулись веревки...

Я не видел Юдкиного лица. Немыслимо изогнувшись, казнимый смотрел через плечо, но не на быков, а куда-то в толпу. Призрак, что ли, явился ему? Говорят, так бывает — поглядеть на казнь приходит давно умершая жена, или отец, или...

Толпа заволновалась. Из-за плеча сотника Логина вынырнул некто знакомый, безмятежный, нос картошкой, щеки — как печеные яблоки, шапка до бровей.

— Вйо! А пошли, Рябый, Моругий!

Новый удар бича.

И тут быки встали.

Встали, будто в землю врытые, встали, опустив тяжелые рогатые головы, подергивая спинами в такт ярящемуся бичу.

— Вйо! Вйо-о! Ах, бисовы дети...

Сотник Логин напрягся. К уху его приник бойкий румяный старикашка, и никто не спешил прогонять назойливого деда, оттаскивать прочь, как это принято у приличных телохранителей. Кожа на сотниковом лбу пошла складками, будто тюлевая занавеска, — почему-то я вспомнил, как полощется под ветром легкая белая ткань.

Вот лицо Логина потемнело. Вот он вскинул руку, собираясь оттолкнуть старикашку, но тот, не дожидаясь толчка, отпрянул в толпу.

— Вйо!

Быки рванулись.

И тогда лопнули постромки. Все разом.

Быки качнулись вперед, сделали сразу несколько шагов, неприлично быстрых для такой серьезной скотины. Люди едва успели отпрянуть, падая, давя друг друга, освобождая быкам широкий коридор. Закричали женщины, кто-то заругался в голос, витиевато и оттого непонятно, к скамейке подскочил Есаул, держа наготове обнаженную шаблю:

— Бесовское наваждение! Врешь, не отвертишься! Тащите попа, пусть екзорцизм читает!

— Погоди.

Возможно, голос сотника Логина и потерялся в общем гвалте. Но не для нас с Юдкой.

Сотник стоял, неожиданно бледный, постаревший, растерянный. Рядом безмятежно усмехался давешний дедуган, как его?..

Ах да. Рудый Панько!

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

— ...Просто и не знаю, панна Ярина, что делать нам!

Сотникова сидела на постели — и прежде жилистая, теперь она была похожа на обтянутый кожей скелет. Луч солнца косо падал на желтое лицо, и оттого круги вокруг глаз казались гуще, темнее; Смерть, подумалось Гриню в испуге. Что там пан Юдка про Смерть говорил?! В лесу... на дороге... на кровавом снегу...

— Просто и не знаю, — снова начал он, прогоняя страшное воспоминание. — Ни бельмеса ведь не понимают. Никто не слыхивал ни о Валках, ни о Полтаве, ни о самом Киеве!

Сотникова молчала. На минуту Гриню показалось, что его не удостоят ответом.

— И по-татарски тоже не понимают, — проговорила сотникова, глядя мимо чумака. — Но ты-то, говорил, силен руками размахивать и рожи корчить? Столковался?

Гринь вспомнил горячие взгляды безмужней травницы. Втянул голову в плечи; к его-то грехам...

И церкви нету, чтобы грехи замолить. И об Оксане не с любовью вспоминается — с ужасом. Чужая свадьба, и жених под потолком на собственном поясе висит...

— Что с тобой, чумак?

— Не знаю, — пробормотал он, отворачиваясь. — Не знаю, что нам делать!..

Ярина глядела теперь прямо на него. Ишь, развесил сопли, — ясно читалось в ее глазах. Не знает он, что делать! Баба, одно слово. Не мужик.

— Я вот что думаю, — холодно, по-деловому заговорила девушка. — Во-первых, хорошо бы коня раздобыть. Во-вторых, подорожную выправить. В-третьих, разузнать, где тут город, — авось отыщем знающих людей, что и на Киев дорогу укажут, и на Полтаву, а то и о сотнике Загаржецком слыхали.

Гринь перевел дыхание. А ведь могла бы и к чорту послать — иди, мол, чумак, на все четыре стороны, а я сама выпутываться буду; нет, как ни верти, а вдвоем лучше. Хоть какой ни иуда, какой ни предатель — а свой.

Замутило. Лес, выстрелы, снег, крики, копыта...

— Да что с тобой, чумак?!

Гринь сглотнул слюну:

— Так ведь... денег нет у нас, панна Ярина. Кожух я уже продал...

Сотникова сжала зубы. Совсем по-мужски заходили на скулах желваки:

— Еще чего-нибудь продай! Не скупись. Батько мой потом отблагодарит, — девушка не сдержала себя и усмехнулась, да так презрительно, что у Гриня свело челюсти:

— Не надо мне... его благодарности.

Помолчали. Сотникова опять глядела в сторону.

— Панна Ярина... а ведь пан Станислав где-то рядом!

Жесткие глаза сверкнули, как со дна глубокой ямы:

— Он не пан Станислав!

— Не поминать же всякий раз... лукавого! Как-то звать ведь его надо.

— Не надо звать, — панночка овладела собой. — Нам с ним... не сладить, — она потупилась, будто уязвленная собственным признанием. — Батьку надо искать; домой возвращаться. Чует мое сердце, что далеко мы от дома забрались, круто этот чорт завернул... Да не крестись ты! Нет его рядом, он пришел, куда хотел, и ведьма эта черная с ним. След давно простыл...

— И братик мой, — сказал Гринь тихо.

Ярина кивнула:

— Видать, чумак, и правда с братцем твоим нечисто! Пусть себе идут. А нам бы домой...

Гринь не нашел сил ответить. Поднялся и вышел.

* * *

...Зрадник! Иуда!

«Съезди, Григорий, туда-то и туда-то и сделай то-то и то-то, и завтра же девка будет твоей. Завтра, чуешь? Свадьбу сыграем».

Как пеленой глаза затянуло. Как песком засыпало; поскакал, разыскал, донес, что велено, слово в слово.

«Ну, спасибо тебе, Гринь! От меня — и от тех людей, кого ты от смерти спас!..»

Пан Юдка сердюков взял да и Гриня с собой прихватил. И Гринь поехал — все в той же пелене.

Сели в засаду. Ждали кого-то. Сперва песня послышалась, потом показался отряд — валковские черкасы, с ними сотникова со своим татарином да пан Рио с подельщиками.

— Пали!

Выстрелы на мгновение разорвали пелену. Так прут, ударив, рассекает жирную пленку на воде. А потом пленка смыкается снова. Гринь, помнится, зачем-то кинулся к надворному сотнику, что-то спросить хотел... Как же, пан Юдка? Как же?!

И все. Ничего больше не помнит, боль ударила, навалилась чернота...

Долго ли он валялся, раненный? Скоро ли встал? Помнится, багрово отсвечивала лысина сурового сотника Логина, и думалось, что петли не миновать, а то и чего похуже...

И хотелось петли. Пали хотелось; предательская пелена повисла клочьями, давая Гриню в полной мере разглядеть дело рук своих — и сожженный Гонтов Яр, и убитых из засады черкасов, и Ярину Логиновну, живьем отданную в руки кровавому Дикому Пану...

А что, если он и вправду — чорт?!

Пекло тебе будет, Гринь-чумак. Руки на себя наложить — новый грех, да не тяжелее прочих. Семь бед — один ответ, все в пекле гореть, в огне неугасимом...

Гринь остановился.

Почти полностью смерклось. Болел бок. Над верхушками неподвижных деревьев висела луна, лысая, как сотник Логин. В отдалении мычала корова — мерно, через равные промежутки. Прямо перед Гринем стояло кряжистое, в бугристой коре, дерево, и с протянутой в сторону ветки свисала веревка с петлей на конце.

Шибеница? Сам себе петлю сплел, в беспамятстве? Или...

Гринь протер глаза. Все так же светила луна, и веревка висела — старые качели, он сам когда-то мастерил такие. Гой-да, гой-да...

Блеснула поверхность воды. Прямо у Гриневых ног начинался крутой спуск к пруду; трава здесь стояла нетоптанная, видно, ребятишки давно забыли про гойдалку. Обходят стороной.

Он попытался вспомнить Оксану — и не смог. Вспоминалось только яблоко в чистой тряпице. Наливное, будто из воска, желто-розовое яблоко в пятнышках веснушек. «У вас дичка, а это яблоко из панского сада...»

За черные брови, за карие очи, за белое тело Оксанино — продался чорту. За то и кара — не вспомнить лица.

Гринь зачем-то потрогал веревку. Э-э-э, сгнила совсем, даром что просмоленная. На такой веревке вешаться — только себя позорить.

И шагнул вперед. Не особенно задумываясь, двинулся по склону вниз; вот ноги по щиколотку провалились в тину. Вот по колено поднялась холодная вода; прими мою грешную душу, Господи! Не отринь. Зрадник я, зраду смертью искупаю...

В пруду плеснуло — будто в ответ.

Далеко, в самом центре отблескивающей глади, черной чашей прогибалась воронка. Водяник, подумал Гринь равнодушно. Ему уже случалось однажды видеть водяного, а рыбача, он всякий раз ублажал хозяина подарками. Все равно, пусть хоть водяник душу заберет...

Харя, поднявшаяся над водой в лунном свете, меньше всего походила на бородатого хозяина глубин. Голая, усеянная мутными бусинками глаз, похожих на бородавки. Опоясанная, будто кушаком, черной растянутой пастью. Безбородая и безобразная харя; страшные рожи, с помощью которых местные жители пытались предупредить Гриня об опасности, не шли с этой харей ни в какое сравнение.

Он успел порадоваться, что чудище так далеко от берега, — когда в прибрежной тине закипело вдруг движение, и вокруг щиколотки обвилась ледяная мускулистая лапа.

Рывок! В бескостной руке чудища остались лохмотья кожи; рывок! Зашуршало в траве, будто ринулось снизу вверх семейство огромных змей. Взлетела в воздух подброшенная лягушка — Гринь на мгновение увидел ее прямо перед своим лицом, мелькнуло в полутьме светлое лягушачье брюхо...

Он опомнился только на околице. Нога горела огнем, и сердце выпрыгивало, словно надеясь выскочить наконец из горла и затрепыхаться в пыли.

Нет, не можно человеку так умирать! В предательстве и скверне, без исповеди, без покаяния, не исполнив материной посмертной просьбы: «Ай, Гринюшка, убереги!..»

Гринь всхлипнул по-детски — и вдруг разинул рот.

Издалека, с полей, с дорог прилетел вместе с ветром обрывок знакомого запаха.

Пахло колыбелью.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

У дядьки лицо плохое. Он дает свою цацку. Цацка плохая.
Я заболел. Подушка плохая. Лошадь плохая. Небо плохое.
Надо мной пленочка. За ней еще одна. Пленочка разноцвет-

ная Она хорошая Она красивая За пленочкой хорошо Там плавают красивые смыслы Там водичка Я хочу пить

Я хочу пописать!

У тетки руки плохие

Я хочу потрогать пленочку Она мягкая

Я хочу спать

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Теточка-травница хлопотала по хозяйству Увидев постояльца, заулыбалась Вот ведь чутье у бабы — сразу догадалась, что сотникова чумаку не любовь и еи, вдовице, не соперница И еще, наверное, много о чем догадывалась, только кто их, местных, разберет?

Гринь, сам того не желая, ответил на теточкину улыбку Да, травница постарше его будет, — но руки у нее золотые И полынный запах, и расплетенные черные косы без единого седого волоска Нет, хороша травница по-своему, и ведь добрая, по глазам видно, не то что валковские молодицы да хоть бы и Оксанина мать!

Дом у нее большой Ремесло свое налажено — местные со всякой хворью к ней идут Корова, две свинки, куры И земля есть — по здешним меркам немного, зато в Гонтовом Яре за такую полоску насмерть дрались бы Эх, Гонтов Яр, забыть бы!

Травница, как обычно, чутко угадала Гриневу тоску Подошла, положила руки на плечи — не то жена, не то мамка Спокойная, надежная, травкой пахнет И груди покачиваются, как тяжелые колокола

Ну, хлопец, попался ты! Вот уже сердце мотается, как собачий хвост И жаром обсыпало с головы до пят, и никуда не хочется ехать, ничего не хочется делать — мужик ты или не мужик? В своем доме хозяин, на своей пашне работник, здоровой бабе любящий муж

Двор усыпан был свежей соломой Золотой Колючей Душистой

Гринь барахтался будто в меду В сладком золоте В мучительных теплых волнах

Проснулся от собственного стона

Ночь Тесная комнатка Сотникова на своей лежанке, не спит

— Ты чего, чумак? Приснилось что?

Выпростал руку из-под одеяла Перекрестился

Господи, Господи, грехи наши тяжкие!

* * *

Разумно ли с места трогаться, когда у одного раненый бок болит, а у другой сухожилие не срослось еще?

Неразумно

Да Гриню и не хотелось никуда ехать Спокойная жизнь, да крестьянская работа, да благосклонная вдова — чего еще надо?! А главное — ни одна душа в округе никогда не попрекнула бы зрадой Уважаемый хозяин был бы, по-здешнему говорить выучился О прошлом — не вспоминать На пепелище — не возвращаться

А сотникова между тем маялась, хоть и думала, что никто ее маеты не видит При Грине-то молодцом держалась, так и хотелось «паном сотником» назвать ее Но бравая да храбрая девка все одно девкой остается — по ночам всхлипывала, подушкой всхлипы душила, надеялась, верно, что не услышит никто

А по вечерам — иногда — ветер приносил с околиц знакомый дух Будто глумился ветер Колыбелью пах

В конце концов — не выдержали оба

И тронулись в путь

Гринь продал все, что мог Свитка на нем хорошая была, сапоги почти новые, местные селяне долго дивились, шупали, нюхали, чуть не языком лизали обновки, видимо, у них никто не делал таких вещей Еще крестик медный, нательный сторговать хотели — да только Гринь не дался

А деньги у них были под стать селу Квадратные, темные и тяжелые — неужто серебро?! Гринь долго разглядывал значки и надписи, ничегошеньки не разобрал — зато торговать научился быстро Даже поймал одного ловкача, когда тот надуть его хотел, за целую свитку заплатил, как за чарку в шинке!

И шинок тут был, вот только вместо горелки наливали какого-то пойла, хмельного, но Гриневой душе противного Да и глазели на чужака как на диковинку — хуже, чем те хлопцы в Копинцах Один раз Гринь в шинок заглянул и больше не показывался Тоска!

Сотниковой раздобыл одежу простую, но добротную Теточка-травница и тут подсобила — полотна дала на плахту Панна Ярина долго носом вертела — подавай, мол, шаровары навроде турецких, а то как я на коня сяду?! Да только не досталось им никакого коня, больно дороги в этих краях кони, Гринь купил два колеса от телеги да двуколку соорудил, два деревца срезал на оглобли, старый мешок соломой набил — пожалуйте, панна сотникова, готова карета для вашей мосци!

Сам между оглобель встал, перекрестился, теточка-травница слезу утерла До околицы провожала, рукой махала — а Гринь

шагал себе между оглоблей, шел, не оглядываясь, вперед, туда, где солнце всходит.

Так ему здешний выборный велел — идти туда, где солнце. Вместо подорожной дал писульку без герба и без печати — и так, мол, сойдет. Больше Гринь ничего от него не добился — выборный надувал щеки, раскачивался и махал руками, изображая дерево, а потому выкатывал глаза и строил рожи. Не понравились Гриню эти предупреждения — напомнили того, что в пруду сидит. Что же, в здешних краях страшил, выходит, без счета? Да еще таких, про которых даже среди чумаков, всюду хожалых и всего повидавших, никто и слыхом не слыхивал?!

Странные края. Это хорошо, что панночка надеется вскорости домой вернуться — надежда и греет, и насыщает. Да только ошибается панночка. Не скоро здесь найдется человек, который укажет дорогу на Полтаву...

Так думал Гринь, налегая на оглобли. Колеса пришлись ровно по колее, пока дорога сухая, тянуть не трудно; да и нельзя спешить слишком — панночке раны растрясет.

— Всяких коней запрягала, — сказала за его спиной Ярина Логиновна. — Чумаков не запрягала еще!

Голос у панночки был излишне веселый — сотникова пыталась скрыть неловкость. Не так ей виделось это путешествие, совсем не так...

— Как, панна Ярина, не сильно трясет?

— Ничего... Скоро сама пойду.

Скоро!

Гринь усмехнулся — благо, сотникова не видела его лица. Храбрись, храбрись, Ярина Логиновна, храбрость нам понадобится!..

Будто услышав его мысли, панночка вдруг спросила нарочито грубо:

— Слышь, чумак... Ты зачем со мной вожжаешься? Бросил бы — да и валялся со своей вдовой по сеновалам! Думаешь, я ничего не видела?

Гринь закусил ус. Девка сама не знает, что говорит. Жалит вслепую — но как точно!..

Панночка не унималась:

— Или надеешься у батьки прощение вымолить?

Он сильнее налег на оглобли.

Ярина Логиновна насмехалась, забыв о собственном беспомощном положении. А вот разобиделся бы Гринь, кинул двуколку да ушел бы — что тогда?

А ведь иуда и зрадник так и сделал бы. Среди чиста поля, зверью на забаву. Девка слабая, хромая...

Гринь вздохнул. Пусть говорит сотникова. Она в своем праве.

...Всем смертям не бывать, одной не миновать. Сто раз по-

вторял вслед за дядькой Пацюком, а когда понял, наконец, сердцем — легче стало. Смерть — она все равно придет, все дело в том — какая. Гадкая, как харя из пруда, или лютая и позорная, перед толпой на пале, или легкая и бесшабашная, как у того Нестеренки, что на штурме замка застрелили... Сотниковой вон выжить удалось, хотя от пана Станислава обычно не уходят. То вышнее дело, кому какую смерть послать, а его, Гриня, забота — панночку сохранить, да еще братика отыскать бы...

Тяжко заныло в боку. Гринь остановился.

— Ты чего, чумак?

— Далеко твой батька, сотникова, — сказал Гринь, глядя, как колышутся под ветром стебли колючего, незнакомого злака. — А вон... едут какие-то. Они близко.

* * *

Всадников было четверо. У Гриня на мгновение потемнело в глазах — вспомнились вечер и снег, четыре силуэта, холодные лица и разномастные кони. Пан Рио, а с ним Крамольник и Хвостик, и еще черная ведьма по кличке Сало.

Вероятно, сотниковой вспомнилось то же самое.

Всадники подъехали ближе, и наваждение развеялось. Точно, наряжены всадники были точно так же, как и явившиеся в Гонтов Яр забродьі, — но на этом сходство заканчивалось. Впереди всех восседал на кровном жеребце незнакомый коренастый господин. Его спутники держались позади, но не уступали предводителю ни богатством разукрашенных ножен, ни привычной спесью во взглядах.

Гринь стоял, не выпуская оглобель. Сражаться с такими, да еще голыми руками — дурное дело. Подорожная — вот она, за пазухой; авось не станут обижать мирных путников, авось не для этого по дорогам шастают.

А вдруг чорт Мацапура пронюхал — и *этих* послал?!

Эх, нельзя перед такими бледнеть. Объясняй потом, что вины нет на тебе. Что, если и служил в сердюках — так далеко отсюда, *по ту сторону!*

Ась? Что это так странно подумалось? По какую?..

Предводитель что-то спросил — властно, но вроде бы беззлобно; Гринь захлопал глазами.

Предводитель обернулся к своим, указал на Гриня, усмехнулся; заскорузлые Гриневы ладони сильнее сжались на тонких оглоблях.

Просто так потешается — или с умыслом? Вот перекинет через седло и отвезет пану Станиславу... ну, с Яриной — понятно как. А с ним, Гринем? Ведь он и перед Мацапурой зрадник — все рассказал сотнику Логину, а сотник...

Всадники окружили двуколку. Гринь вертел головой, пытаясь уследить сразу за всеми, — кто первый вытащит аркан. И сотникова вертелась. Подобралась вся, недобро сузила глаза: с виду некрасивая сельская девка, плосконосая, злая к тому же и нездоровая.

Всадники откровенно ее разглядывали. Один из спутников, франт и хлыщ, ткнул пальцем в Ярину Логиновну и что-то сказал своим; те с сомнением покачали головами, брезгливо наморщили носы, а другой хлыщ, молодой парень с голубыми навыкате глазами, свистнул сквозь зубы и протараторил нечто такое, отчего всадники зашлись дурным хохотом. Предводитель что-то проговорил в ответ — голубоглазый заговорил снова, и хохот сделался громче, а голубоглазый, насмешничая, распластал пальцем собственный нос и прокрякал уткой. Так, хохоча, паны поехали себе дальше.

Все случилось в мгновение ока.

Камень был не большой, но и не маленький; Гринь схватил его с обочины, размахнулся, кинул вслед.

Не добросил. Силы не те. Всадники даже не заметили — камень бессильно скатился в колею, и за стуком копыт никто не услышал удара. Минута — и черные силуэты скрылись за стенами колючего злака, только пыль долго не желала оседать, желтая вонючая пыль.

Гринь закашлялся.

— Пистолю бы, — сказала сотникова не обычным своим, а по-девчоночьи тонким голосом. — Пистолю бы, пистолю... Где мои пистоли?!

И, не удержавшись, разревелась белугой.

* * *

Ему, Гриню, проще. Был селюком — стал чумаком, был чумаком — стал сердюком. Ничего, и здесь вывернется, языка не понимая, руками столкуется, заработает, проживет.

А Ярина Логиновна сотню уже имела под своим началом. По-другому росла, по-другому жила, и представить не можно было, чтобы какие-то паны над ней посреди дороги потешались!

Просто потешались. Зла не делали, обиды никакой — хотя и могли. *Все* могли — а ведь только посмеялись, добрые паны, не то что пан Мацапура.

Вот так. Из боевого сотника превратилась Ярина Логиновна в простую некрасивую девку, и никому теперь не докажешь, чья она дочь и какое право имеет. Бродяга, да еще и хромая; вот как случайная встреча все перевернула, будто специально Ярину Логиновну плоским ее носом ткнула: знай свое место!..

— ...А ты заметил — ни рушниц тут нету, ни пистолей? Что ж они, пороха не знают?

Держится. Из последних сил лицо держит, будто и не ревела перед Гринем, будто и не он, враг, иуда, слезы ей вытирал. Теперь рассуждает по-деловому, сухо, спокойно; как будто не все равно теперь, знают тут порох или нет.

— Как, Ярина Логиновна, раны не слишком?..

— Не слишком! Через пару дней плясать буду!

Голос дрогнул. Видно, как раз сейчас и спросила себя сотникова: батюшки, а ходить-то когда-нибудь смогу, не хромая?!

— Отчего ж не сплясать, Ярина Логиновна? — пробормотал Гринь, думая о своем. — Спляшем, спляшем...

Все сильнее сосало под ложечкой — сил нет, хорошо бы остановиться да припасенную краюху доесть, но скоро вечер, а, памятуя страшные рожи, которые выборный корчил, в поле ночевать не больно-то хочется. Кто знает, откуда они берутся, страшилы здешние?

Сотниковой Гринь ничего не рассказывал. Ни про того, что в пруду сидел, ни про других, о которых выборный предупреждал. Хватит с нее и глумливых панов.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Плохая дверь! Не открывается! Я хочу открыть дверь!

Пленочки красиво переливаются. Красным, синим, желтым. Я протягиваю руку и достаю гриб... Он червивый. Я бросаю гриб на пол и наступаю ногой. Гриб разлепечивается. Я протягиваю руку за пленочку. Там кто-то сидит. Я быстро забираю руку, чтобы он меня не схватил.

Я хочу открыть дверь!

Пол загрязнючился. Я не хочу эту дверь. Она быстро сламывается.

За дверью дядька и тетка ругаются. Дядька хороший, тетка плохая. Они злятся. Дядька говорит тетке, что убьет ее. Тетка говорит дядьке, что он сам убьется. Вокруг тетки трясутся пленочки. У дядьки во рту ядовитые закорлючки, он может сказать ими в тетку. Я хочу, чтобы он сказал ими. Тетка плохая.

Тетка меня увидела. У нее тоже закорлючки во рту. Она хочет сделать мне больно. Она злая.

Я кричу.

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Не заладилось с Яриной Логиновной. Ненадолго хватило у девки гонору. По дорогам таскаться безродной калекой — не шаблей рубиться и не сотней командовать.

Сотникова то молчала днями, так что Гринь из нее слова не мог вытащить. То впадала в гнев, требовала, чтобы Гринь во что бы то ни стало раздобыл ей коня и зброю. Где черкасы местные? Где войско? Неужто никто про сотника Логина не слыхал?!

Потом Ярина Логиновна спохватывалась. Сжимала губы, стискивала зубы, ровным голосом говорила Гриню, чтобы справился насчет большого города. В тысячный раз говорила, и Гринь ей в тысячный раз обещал, что все будет в порядке, недолго бродить осталось.

Трудно пришлось с Яриной. Но не легче втолковать здешним нехристям, чего хочешь от них. Намашется Гринь руками, силясь рассказать, кто такие они с сотниковой и откуда идут, и куда дорогу спрашивают; столкуется с грехом пополам — а на другом хуторе все сначала. Выбегут на улицу бабы и ребятишки, глаза пялят да языками щелкают, ровно на невидаль; в такие минуты Гринь спиной чуял, как напрягалась сотникова. Как глазищами сверкала, ноздри раздувала, гонор свой показывала. А народ на такое чуток — вот уже и мужики переглядываются, зубоскалят... Хорошо, когда беззлобно. Непуганый народ, и зброи настоящей Гринь ни у кого не заметил — видать, те страшилы, что по лесам да прудам сидят, к честным людям в гости не захаживают...

По ту сторону... чего?!

— Не к антиподам же мы попали, — говорила Ярина с нервным смешком. — Не провалились же сквозь землю в тридесятое царство!..

А может, и провалились, думал Гринь, но вслух говорить не спешил. Слишком слаба еще сотникова, чтобы понапрасну тревожить.

Места тянулись малолюдные. Хутора редко попадались, все больше пустыри да рощи; Гринь вспоминал, как в родном его селе судились за землю. Брат с братом судился, сын с матерью; вот отрежут тебе не полоску даже, а ленточку узенькую, будто девке в венок, и поди прокорми на ней семь душ ребятишек... А тут гуляет земля. И добро бы пески какие — а то ведь жирная, плодородная, только вспаши!

Поставить бы хату. Народ тут добрый... а что оружные паны по дорогам скитаются — так где их нет, панов-то?

Гринь замедлил шаг. Поднял голову, потянул носом, как пес. Ветер с поля... мерещится ему, что ли?! Колыбелью пахнет ветер. Братиком. Материной хатой...

И гарью. Не сытым дымом людского жилья, а горьким смрадом пожарища.

Подоспели не в добрый час.

Селяне работали споро, передавали ведра по цепочке — но не надеясь потушить, а только затем, чтобы огонь не перекинул-

ся на соседние строения. Где-то голосила баба. Погорельцы, видать, прежде жили хорошо — дом был добротный, наполовину каменный, наполовину из тяжелых бревен... был. Теперь камни закоптились, а бревна прогорели, и балки не держали больше того, что осталось от крыши. Кто-то, накрывшись мокрой рогожей, вскочил внутрь — Гринь поневоле разинул рот, но смельчак успел выскочить за мгновение до того, как крыша рухнула, и сотникова за Гриневой спиной закашлялась, прикрывая лицо.

Ну, теперь тушить и вовсе нечего. Что могло гореть — все сгорело. Видать, хороший был огонек, хотя бы и пана Мацапуру на таком!

Гринь оборвал собственную мысль. Хлебнул дыма и сам закашлялся до слез; показалось на мгновение, что стоит перед тлеющими развалинами материной хаты, а там, под упавшими балками, остались и мать, и Оксана, и непутевый Гринев братик.

Чернолицый от копоти человек прошел было мимо — но вернулся. Высокий, жилистый, с деревянным зубастым обручем на коротко стриженной голове. Оглядел двуколку, кинул быстрый взгляд на сотникову, уставился Гриню в глаза и о чем-то отрывисто, сурово спросил.

Гринь развел руками.

Выборный — а это именно он, завернувшись в рогожу, входил в горящий дом — нахмурился. Медленно повторил свой вопрос — Гриню показалось, что он различает отдельные слова. Пожить бы тут немножко, так сам выучился бы так лопотать. язык не сложнее татарского.

Гриню отчего-то сделалось страшно. Хоть там, где он вырос, сгоревшая соседская хата не считалась такой уж печалью, хоть здешние погорельцы не приходились Гриню даже соседями, хоть на странной земле не случалось еще такого, чтобы молодых заброд встретили злом, — но Гринь молчал, боясь раскрыть рот и выдать себя. Лучше уж немым сказаться, что ли...

Не выдержала сотникова.

— Мы нездешние, — сказала она надменно, как будто не в убогой двуколке сидела, а глядела сверху вниз из черкасского седла. — В город идем. Я — Ярина Загаржецка, дочь...

Выборный оскалился по-волчьи. Ткнул пальцем, указывая на пожарище; рядом с ним как-то сразу оказались трое лютых, перепачканных сажей мужиков. Гриня взяли за плечи, завернули руки назад, обыскали.

Злобной кошкой зашипела сотникова. Видимо, и с ней не церемонились — а Ярина Логиновна панночка своенравная, вольностей не потерпит.

Гринь выждал момент и вывернулся — пошла впрок наука дядьки Пацюка. Правда, дядька не учил, что делать, когда дубиной по голове огреют...

Очнулся в темнице. Не то подвал без окон, не то глухая ночь. И голова гудит.

— Есть тут кто?

— Есть. Оклемался, чумак?

— Да что мне сделается, Ярина Логиновна?

Смешок. Вишь, гордая сотникова — и не хочется смеяться, а хихикает.

— За что нас повязали, а, чумак?

Гринь пожал плечами. Руки оказались связаны, но не за спиной, а перед грудью. И на том спасибо.

Постанывал в углу сверчок. Тихонько так, по-домашнему.

— Слышь, чумак... Ты не молчи.

— А о чем говорить, Ярина Логиновна? Молиться разве что...

— Ну, помолись.

И Гринь принялся читать молитвы, все, которые знал; сперва душе сделалось легче, но потом окончательно сел и без того охрипший голос, и некстати вспомнился отец Гервасий — как он творит «экзорцизмы» над малым невинным ребенком...

— Что замолчал?

— Сейчас... горло прочищу.

Снова смешок.

— Чумак... а ты много по свету ходил? И что видел?

По голосу казалось, что сотникова сейчас заплачет. Гринь проглотил слюну.

Думал, вернется из чумаков в родное село — ребятишки проходу не дадут. Все будут выспрашивать; ан, по-другому сложилось. Ребятишки от Гриня, как от нечистой силы, зато Ярина Логиновна, гляди ж ты, интересуется.

Тошно сотниковой. Все уже понимает — но вслух сказать боится. Страшно.

— ...А степь, панна Ярина, она как тарелочка круглая. День идешь, два идешь... Иногда татарская шапка над травой замаячит — тогда зброю наготовишь и ждешь, а сердце — как заяц. Но татары не трогали ни разу. Разбойнички — было, а татары...

— А у меня Агметка был, — сказала сотникова ни с того ни с сего. — Берег меня, как дочку. Сам вот лег, а меня уберег... зачем?!

Гриню сделалось душно. Помнил он этого татарина; тогда, в лесу, в засаде... И не в упрек сотникова об Агметке вспомнила — а Гриня словно каленым железом прижгли. Из-за него, предателя!..

— Из-за меня, — шепотом отозвалась сотникова. — Возомнила я, девка, себя великим полководцем!

Постанывал сверчок.

— Я вот что думаю, чумак, — сказала Ярина другим, обычным своим насмешливым голосом. — Пан Мацапура... прости

Господи... здесь перед нами был. Оттого они взбеленились, как речь нашу услышали. Решили, что мы тоже, ну... колдуны!

Колдуны?!

Гринь вспомнил залу в страшном замке, куда привела его, поддерживая под локоть, мертвая мать. Кору на стенах и кровь на полу. Ясно, что колдун, чернокнижник, чортов прихвостень. вот только как же?..

— Панна Ярина, — голос дрогнул. — То, может быть, мы...

— ...в пекле?

Слово было сказано; некоторое время стояла тишина, и сверчок примолк, только на голове у Гриня ворочались, поднимаясь торчком, отросшие волосы.

— Нет, панна Ярина. Нет! Я-то понятно, меня, зрадника, пекло так и ждет... А вас-то за что? И всех этих людишек, разве они такие уж грешники?

Вздох.

— Книжка есть такая. Мне Хведир рассказывал... — она запнулась, но овладела собой. — Так вот, там как раз про пекло. И сказано, что перед самым пеклом — ну, перед воротами... Есть местность, где честные нехристи живут. Ну, не грешники они — но некрещеные. В рай не возьмешь — но и в котел не за что. Понимаешь?

Гринь закрыл глаза — все равно разницы никакой. Темень — она и есть темень. Девка-то какая башковитая оказалась. Все сходится — и даже страшилы эти, про которых сотникова, по счастью, не знает.

— А пан Мацапура... — выдохнул Гринь.

— ...А он как раз чорт и есть! Едет в самое пекло, ведьму с собой тащит и...

— А братика-то за что?! Дите невинное!

— А я почем знаю? Может, он братика-то отдал уже на воспитание где-нибудь на хуторе, потому как чортов сын, но нагрешить не успел еще. Понимаешь?

— Нет, — сказал Гринь после паузы. — С ним братик. Чую я его. Мы все время разными дорогами ехали, но в одну сторону. Чую.

— Значит, мы тоже в самое пекло едем, — упавшим голосом сказала сотникова.

Помолчали.

— Чумак... а что они с нами, эти... делать-то будут? Если мы и так вроде как померли?

Гринь вздохнул:

— У мертвых, панна Ярина, голова не болит и раны не ноют. Живые мы.

Темень понемногу переставала быть густой и непрогляд-

ной — обозначились какие-то щели, дыры, а под потолком, похоже, даже оконце.

— Что же нам делать-то, чумак? — Видно, Ярина Логиновна долго колебалась, прежде чем так спросить. И совсем уж решилась было молчать — но в последний момент слово вырвалось.

* * *

Допрашивал выборный. И начал с того, что бросил перед собой на стол тяжеленный кожаный кнут — и в пекле, видать, батоги в чести!

Гринь долго объяснял, что для разговора ему надо развязать руки. Развязали, но с опаской — видать, пан Мацапура со спутницей изрядно здесь накуролесили. Затекшие руки сперва не слушались; выборный хмурился и готов был взяться за батог. Наконец Гринь совладел с собой и начал «разговор». Наблюдавшая из угла сотникова то и дело заходилась нервным сдавленным смехом.

Пальцы, приставленные к голове наподобие рогов, означали для допросчика корову, а никак не чорта, зато рожу в кружочках-«окулярах» и выборный, и его подручные узнали сразу. Половина их слов была, вероятно, ругательствами, но одно, повторенное несколько раз, Гринь запомнил и постарался выговорить сам.

Выборный склонил голову к плечу. Довольно кивнул; ободренный Гринь принялся изображать черную ведьму Сало и качать на руках несуществующее дитя. Еще одно слово выучил, означающее, по-видимому, младеня, ребенка.

Выборный глядел недоверчиво. Гринь размахивал руками, повторял непривычные языку слова «злодей» и «ребенок», тыкал пальцем себе в грудь, доказывая, что дитя принадлежит ему, а Мацапура его украл. Выборный, размышляя, указал на сотникову и о чем-то спросил; вероятно, он полагал Ярину Логиновну матерью чортового дитяти, а Гриня — отцом. Сотникова покачала головой и этим все запутала; выборный нахмурился, поднес руки к лицу и пальцами растянул собственные глаза: вот, мол, как выглядел ребенок. Из вас, мол, ни один не похож!

— Объясни ему, что мы не колдуны, — устало попросила Ярина Логиновна.

Легко сказать!

Гринь перевел дыхание. Посмотрел выборному в глаза; скрутил пальцы колечками, изображая «окуляры», несколько раз повторил — «злодей», «злодей». Указал на сотникову; взмахнул воображаемой шаблей, так, что девушка даже отшатнулась. Взмахнул снова; подошел к Ярине и указал выборному на плечо ее, бедро и щиколотку.

— Это ты зачем? — Сотникова нахмурилась.

Выборный заинтересовался. Приблизился к девушке — сотникова отстранилась и по-кошачьи блеснула глазами. Выборный, не оборачиваясь, дал знак подручным — те придерживали взвившуюся Ярину, пока выборный без стеснения, но и без излишнего нахальства осматривал зарубцевавшиеся раны.

— Ой-ой-ой, — проговорил он наконец, и прозвучало это совсем по-родному, привычно. — Злодей, злодей!

Подумал, наклоняя голову то к правому плечу, то к левому. Большим пальцем ткнул себя в грудь:

— Митка.

Митька, удивленно подумал Гринь. Надо же! В чортовом пекле какого-то москаля встретил!

* * *

Пан Мацапура со спутницей и младенем прожили в селении ни много ни мало десять дней. Десять, — растопыривал пальцы Митка; задержались поневоле — ведьма в дороге занемогла, да и ребенок расхворался, но что с ними случилась за болезнь, Гринь так и не понял. Местная травница, пользовавшая младенца за золотые Мацапурины монеты, повторила несколько раз подряд, что «дитя» — «хорошо», но глаза у нее при этом бегали, и губы складывались кислым бантиком. Гринь совсем уж уверился, что со здоровьем у братика дело плохо, когда травница, не удержавшись, пояснила свою мысль — растянула пальцами собственные глаза и скорбно пощелкала языком. Чортов ребенок не понравился ей сам по себе — что больной, что здоровый, а все выродок!..

Гриня уязвили эти ее намеки, и куда глубже, чем сам он мог ожидать. Весь мир по обе стороны пекла ополчился на малого; батька покинул, мамка померла, кто ж заступится? Сперва пан Рио младенца из братниных рук вырвал, потом пан Юдка — из рук пана Рио, а потом злодей Мацапура умыкнул дитя к чорту на кулички, и ведь не для добрых дел умыкнул — куда еще душегуб везет братика, что еще собирается с ним делать?!

Выборный Митка корчил рожи и размахивал руками с отменной убедительностью. Гриню порой казалось, что он слышит степенный и доходчивый рассказ.

Пан Мацапура расплачивался полновесным золотом и за постой, и за стол, и за лечение; за время, проведенное в селении, зацный и моцный успел полюбиться многим, в особенности шинкарю. Про бабу его, наоборот, сразу пошли дурные слухи, а младенца путники никому, кроме травницы, не показывали — да только та имела длинный язык, и про несомненное уродство дитяти скоро знали и кум, и кума, и людей полсела.

Так бы и съехали странные постояльцы, оставив после себя золотые монеты в разных карманах да разговоров на год вперед. И все обошлось бы, — да только случилось между паном и пани... да никто не знает, что случилось. Размолвка? Свара? Смертоубийство?

Невольные свидетели — хозяин дома и его жена — остались под горелыми развалинами. Их работник, которому посчастливилось убраться восвояси за несколько минут до происшествия, рассказывал, что странный ребенок вырвался из-под замка, сорвав новые дубовые двери, а над головой его тучей вились золотые осы; что ведьма взялась наказывать воспитанника, вместо розги хлеща его черной гадюкой, а сам пан Станислав разгневался на нее и взялся выкрикивать проклятия такие страшные, что от звука их парень-работник сорвался с места и кинулся бежать, и тем спас свою шкуру.

Сразу после его бегства дом превратился в пылающую печь. Из этой печи вырвались два взрослых призрака, и один из них нес под мышкой призрака-недомерка. Вскочили на коней — только пыль столбом, никто и не пытался остановить, таким страхом всех осыпало!

И все же Гринь не был уверен, что понял Митку до конца. Тот хоть и говорил медленно и показывал доходчиво, а все-таки язык чужой; из рассказов Митки выходило, что и Мацапура говорить по-здешнему не умел; зато пани Сало — пожалуйста.

Толмачом была.

Ярина Логиновна бродила по двору, опираясь на суковатый костыль.

Худо было сотниковой. И не то чтобы раны беспокоили — худо-бедно, но зарубцевались раны; и не то чтобы местные обижали — те, хоть и поглядывали исподлобья, но зла не держали и задеть не пытались. Иной болью маялась сотникова, все расхаживала и расхаживала по Миткиному двору, старалась держаться прямо, но все равно припадала на подрезанную ногу, наваливалась на палку, грызла губы, бормотала черные ругательства, смотрела в небо и едва удерживалась, чтобы не погрозить ему кулаком.

Выборный Митка поглядывал на сотникову с сочувствием. Неизвестно, каким образом он домыслил себе историю Ярины — но уж точно не так, как оно было на самом деле. Выборному и в голову не могло прийти, что вот эта худая плосконосая девка рубилась с Мацапурой на шаблях и раны свои получила в честном бою; скорее Ярина представлялась бедной жертвой зацного и моцного, поруганной девицей, каких много. Только эту еще и покалечили.

— Пистолю бы! Хотя бы шаблю! Зброю ищи, чумак, да коней бы...

— Кони дороги, панна сотникова! А зброи нет. Не положено здешним посполитым зброю хранить. А нам носить не положено, потому как мы не черкасы боле и не сердюки, а так себе, волощюги.

Сотникова закусила губу. Блеснула на Гриня лютыми, подернутыми слезой глазами:

— Ты... слушай, чумак. Нам из этого пекла не вырваться, если... слушай. Чорт Мацапура нас втащил сюда... пусть теперь вытащит!

Сотникова замолчала. Гринь долго разглядывал ее порозовевшее от возбуждения лицо, долго искал, что сказать, чтобы Ярину Логиновну не обидеть.

— Молчишь, чумак? Думаешь, девка умом тронулась? А вот о чем подумай. Что они так в братца твоего вцепились? На что он им?

Гринь помрачнел. Отвел глаза. На что таким, как Мацапура, малые дети? Сожрать разве что?

Передернулся от одной мысли. Глаза панночки, уже сухие, горели теперь лихорадочным блеском:

— Коли везет за тридевять земель, коли охраняет, бережет. А вот выкрадем младенца, чумак! И не отдадим, пока Мацапура... ну, пока он нас обратно не вернет. А там...

— Братиком торговать?!

Гринь слишком быстро разгадал Яринину задумку. Может быть, оттого, что и сам бессонными ночами задумывался о разном, и о торге задумывался, был грех.

— И ты туда же, сотникова! Камнями его, в прорубь его, людоеду его... пусть жрет, лишь бы нас... лишь бы нам... Дите! Малое! Оно виновато, что уродилось таким?! Что батька его исчезник поганый, что мать померла?!

Ярина смотрела враз округлившимися глазами; Гринь все не мог уняться:

— Мать сказала — «сбереги его»! А я не сберег. И не спасу теперь, потому что как его у чорта из рук вырвать?!

— А как вырвать, это мы придумаем, — мягко сказала Ярина.

Гринь посмотрел ей в лицо.

Хорошую дочку вырастил сотник Логин!

Упрямую.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Дядька катает меня на коленке. Хороший дядька. Как на лошадке!

Гой-да! Гой-да!

Дядькина настоящая лошадка упала и лежит. Дядька говорит, что она спит. Поехали на теткиной лошадке.

Теткина тоже спит. Пусть спят. Я поеду на дядькиной шее.

У дядьки хорошая шея. Хорошие усы. Красивые.

Тетка плачет. Пусть плачет. Она плохая.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

Сотник Логин привычен был к невзгодам и потерям; ни на кого не надеялся сотник, только на шаблю свою, да на тяжелые пистоли, да на верного аргамака.

А понадеяться, вот как сейчас, не на друга даже — тьфу, стыдно сказать, на ведьмача, прости Господи, на слово его лукавое, на посулы его — знамо, куда такие посулы заводят!..

Впрочем, сотник Логин не боялся ни турка, ни ляха, ни чорта. Душу крещеную жаль — только за дочку родную, единственную, и душу отдать не грех.

Попросят — отдадим!

— Гладко да ладно у тебя все выходит, Паньку! В пекло, стало быть, дорожка проторена, посполитые туды-сюды шастают, ровно по грибы!

— Та нет, пане сотнику! Не дорожка, и не посполитые, и не пекло, и не рай, и не шастают. Тут, пане сотнику, великое хотение потребно. Или великая надобность.

Дед-ведьмач замолчал. Потешно встопорщил клочковатые усы, накрутил на палец жидкую бороденку, замурлыкал под нос песенку — как будто и не перед паном сотником сидел. Как будто язык отсох у деда, а ведь какой разговорчивый был на площади! Ох, какой разговорчивый!

— Ой продала дивчина гребень,
Та й купила черкасу ремень.
Ремень за гребень купила —
Она его верно любила..

Сотник молчал.

Будь она проклята, надежда! Оплакал Яринку — знал, что не вернуть ее, знал, что делать и как за дочку мстить. Ни на что не надеялся. А тут!..

Рудый Панько оборвал песенку, уставился Логину не в глаза даже — в брови. Сотник испытал мгновенную потребность протереть лысину — взмокла голова, сейчас капли покатятся, ровно дождик.

— Жива твоя Яринка. Не брешу, пане сотнику.

Логин ухватил себя за ус. Подергал, но вырвать не смог —

крепки усы оказались, даром, что седые. Закусил зубами — жестко, солоно на вкус.

Рудый Панько поерзал на лавке. Темными, будто деревянными ладонями огладил полы алой свитки:

— Ой продала дивчина сало,
Та й купила черкасу кресало.
Кресало за сало купила —
Она его верно любила...

Второй час, как пособники Дикого Пана должны корчиться на кольях. Ан нет — сведены обратно в подвал, под усиленную стражу, и хлопцы, хоть и не ропщут, — поглядывают хмуро. Начальству, мол, виднее, но...

— Ты, что ли, Панько, в пекло меня за дочкой сведешь?

— Я дорожку указал, — отозвался дед серьезно. — А сведет тебя умный жид Юдка, ему над переходом власть дана. А еще сопроводит тебя тот заброда, пан Рио, — он оттуда, с того бока, и приперся до нас.

Рука пана сотника, будто наделенная собственной волей, скользнула за пояс. И вот уже в пригоршне — золотая цацка, что с пекельного выходыша Рио сорвана, и хотел же кузнецу отдать, кузнецу!..

— И сотню черкасов, — сказал сотник, сам дивясь своим словам. — Хлопцев с собой возьму. Они у меня хоть в пекло, хоть...

— Звиняй, пане сотнику, а не дал бы ты Паньку сюю цяцю? Знатная цяця, только к чему она тебе? Еще беда какая приключится!..

Сотник помолчал. Глядеть на медальон было неприятно, будто в мертвые глаза глядишь.

Беда! Какая уж тут беда, когда все мыслимые беды уже приключились?!

— То возьми...

Выпустил чортов медальон из рук — легче стало. Хоть и ясно, что одной золотой безделкой, да еще и чужой, с ведьмачом не расплатишься.

— Сколько ж ты за службу запросишь, дед?

Рудый Панько закатил глаза:

— Ой продала дивчина душу,
Та й купила черкасу папушу.
Папушу за душу купила —
Она его верно любила...

Тихо-тихо стало в хате. Ни досточка не треснет, ни ветер в дымаре не дохнет, ни мышь не шелохнется — тихо.

Ш-ш-ш...

...Вспомнил сотник, как Яринка, годиков пять ей было, с коня упала. О камень ударилась, лобик разбила в кровь, батька рядом был — кинулся на помощь, с Агметкой столкнулся, тот тоже подскочил. А девчонка носик морщит, плоский, утиный, слезы глотает — молчит, не ревет. «Ничего, — говорит, — батьку. Ничего! .»

И затрещал седой ус — так прикусил его лихой пан сотник, который ни турка не боится, ни ляха, ни чорта.

— А, пропадай душа! Пропадай душа христианская!

Была бы шапка — кинул бы о пол. А так — притопнул только, да на ведьмача, который тоже с лавки поднялся, поглядел, будто похваляясь: на, подавись!

За дочку — не пожалею!

Рудый Панько усмехнулся — и очи у него были, как болотные огни.

А третий огонь — золотая цацка на шее.

* * *

— Пане сотнику! Пане сотнику! Гвалт!..

Логин подхватился, будто и не спал. Голова, словно свинцом налитый казан, клонилась снова к столу — но рука уже нашла рукоять «ордынки»; уже готов был сотник рубить все, что движется. Турки?

Ф-фу ты, какие турки? Собственная хата, пустая, осиротевшая Так и задремал сотник под образами, прикорнул уже под утро, когда петухи по всему селу просыпались. .

— Гвалт, пане сотнику! Бунт!

— Бунт?! Та что ты мелешь, Ондрию? Разве сечевики?..

— Какие сечевики, пане сотнику?! Бабы!

— Бабы?!

Натянул жупан. Подпоясался; голова гудела, и разноголосый шум, доносившийся снаружи, делался то громче, то тише.

А ведь к чарке вчера и не притрагивался!

Так и есть, бабы. И у плетня, и за плетнем, у кого топор в руках, у кого орущий младень, у кого коромысло...

Хотя и хлопцы тоже есть. И черкасы, и сечевики; мнутся в стороне, в землю смотрят, грызут усы и шапок не снимают, наоборот, до бровей насунули

Логин встал на пороге, не зная еще, яриться или шутить; в одночасье нахлынул вой — затыкай уши.

Насупился сотник. Под этим взглядом и турецкие паши, бывало, язык прикусывали — а бабам хоть бы что. Орут и глазами сверкают, ровно кошки, будто каждая третья — ведьма.

Да так оно, наверное, и есть.

Открыл было рот — прикрикнуть, да не стал понапрасну горло драть. Сейчас накричатся, дуры, уймутся...

Не унялись.

— Ты, пан сотник, велел жида Юдку, душегуба пейсатого, *миловать?*

— Ты, пан сотник, велел страту остановить?

— А-а-а, людоньки, Хитцы-то как погинули, и Гонтов Яр!..

— Ироды, людоеды!

— ...А у нас семь душ сиротами в одном только дворе!..

— ...Хлопцев наших воронам отдать да волкам!

— ...Четыре сына, да муж, да зять, домовинами весь двор...

Никогда не отступал сотник Логин — а тут невольно отступил. Бабы, все как одна, повязаны были черными платками. Словно стая галок.

— ...В лесу под Калайденцами...

— Сыночки мои, орелики...

— На погосте места не хватает!

— Подай нам людоеда, подай Юдку! Пошто ты его в подвал спрятал?

И в тот момент, когда все бабы замолчали, чтобы набрать воздуха для нового гвалта, — пробился единственный голос, тонкий, старушечий:

— А может, тот жид тебе, пане сотнику, цехинами позвенел? Или ты не продался, ясный пане?

Тишина. Кто далеко стоял, не слышал — закричали снова, но скоро умолкли, зажав ладонями рты.

Тишина...

Белый-белый стоял на пороге сотник Логин.

Никогда не случалось ему полотнеть, как смерть. Алела лысина от ярости, от горя темнела, — но впервые за всю жизнь отхлынула кровь от лица его и от сердца, оставив пропасть, морок...

Хотел сотник закричать да за шаблю схватиться. Зверем хотел зареветь на безумную бабу — как?! Его, сотника Логина, продажным назвать?!

Продажным?!

Не было сил. Не поднималась рука, не поднимался голос. Потому как правда, продался он, как последняя шкура, только не за цехины. За надежду продался, за посулы, что дочку живой увидит и домой вернет.

А тех, по ком эти бабы плачут, не вернуть уже. Предложи им сейчас привести из пекла их сыновей, да мужиков, да братьев. Отказались бы?

— Я...

Голос Логина сорвался. Не понять, от ярости ли, или от смертельного оскорбления, или старуха в цель попала.

— Я клянусь вам, бабоньки... что упыра этого, Юдку, своей рукой в пекло приведу! Я... Писарь Еноха загинул, а он мне был!.. Лучшие хлопцы погинули... Только кроме Юдки еще и Мацапура имеется, он-то самый кровопивец и есть! Так я в пекло пойду, за чортом Мацапурой. Найду и сам в котел вкину! А жид Юдка мне живой нужен, покуда в пекло меня не приведет, а когда приведет — то я его, злодея кровавого, шкурой новый барабан натяну! Или брехал когда?!

Тишина. Переминаются с ноги на ногу черкасы, побывавшие с Логином за Дунаем, хмурятся тертые сечевики.

— Хлопцы! Вот вы им скажите! Если Логин слово дает — может сбрехать?!

Тишина.

— Не может, — угрюмо сказали из толпы.

— Не может сбрехать, никак не может, — это старый друзяка, Ондрий Шмалько.

— Не может, — Тарас Бульбенко.

— Не может! — Голокопытенко.

— Никак не повинен сбрехать! — это сечевик Небийбаба.

— Хлопцы! — Бледность помалу сходила с лица сотника, уступая место обычной краске ярости. — Хлопцы... Кто со мной в пекло пойдет?!

Облегченный смех.

— Да все пойдем, батьку, чего уж там!

— Отчего же и не сходить в пекло? Можно и сходить!..

Хлопцы переглядывались с явным облегчением; бабы молчали. Даже младень на руках матери притих.

— Ты, сотник, про обещание-то помни, — все тот же тонкий старушечий голосок. — Ежели жида выпустишь...

— Не выпущу. Своей рукой порешу! — истово пообещал сотник.

И размашисто перекрестился.

РИО, СТРАНСТВУЮЩИЙ ГЕРОЙ

Верно ли, что я сижу сейчас в темноте, вдыхая запах гниющих овощей? Или мое тело давно уже корчится на колу, а все, что я вижу, — видения угасающего сознания?

Темнота способствует яркому воображению. Прикрыв глаза, я в который раз видел, как рвутся постромки, как неповоротливые животные, призванные быть палачами на отвратительнейшей из казней, врезаются в толпу...

Быки ни в чем не виноваты. Их впрягли — они и тянут. И мы

с Юдкой, строго говоря, не виноваты. Заклятые мы — какой с нас спрос?

Я пошевелил плечами. Рук по-прежнему нет как нет — отнялись намертво.

Итак, последние минуты своей жизни я уже пережил. И какая бы смерть ни ждала меня в будущем — в последние минуты, я уверен, снова вернусь на площадь, где пахнет морозом и волами, где молчит толпа, где мы с Юдкой тянем жребий... Где сквозь толпу пробирается к сотнику румяный старичок-колдун.

Только теперь, переживая заново свои последние минуты, я вспоминаю еще кое-что. И чем подробнее вспоминаю, тем холоднее кажется стена, тем жестче — соломенная подстилка.

— Пан Юдка...

До сих пор мы не перекинулись и словом. И теперь бывший надворный сотник не отозвался, а окликать его снова — пересохло во рту.

Не только толпа. Не только быки и не только колья, не только невесть откуда взявшийся старикашка — был еще кто-то, ощущение чужого присутствия, взгляд невидимых глаз. И не зловещий, как можно было предположить, и не сочувственный, и не злорадный. Так смотрит, наверное, садовник, подставляя сетку под огромный румяный плод, вызревший на почти бесплодном дереве.

...Два плода! Тяжелых, полнокровных, готовых свалиться одновременно.

Интересно, Юдка — почувствовал?

— Пан Юдка!

Голоса. Топот сапог, опять валится мусор на головы, опять, как в дурном сне, открывается люк:

— Живые, панове?

Что, опять?!

...Был вечер. Или ночь. Точнее время определить не удавалось; где-то заливались собаки, их тут специально держат для звука, для лая, и стоит одной подать голос — все селение взрывается гавом, выдавая чужака, отпугивая злоумышленника.

Ноги слушались плохо. Освобожденные руки оставались парализованными. Один из конвоиров в темноте напомнил мне к'Рамоля — заныло еще и в груди.

В двери пришлось сильно пригнуться. Низкие тут делают проемы, с непривычки можно голову снести. И потолки низкие — тепло, что ли, хранят? Неудивительно, при такой-то погоде!..

— Здоровеньки булы, панове, плакала за вами паля, да видно, подождать ей придется!

В темном углу на цепях висел тусклый зеленоватый светильник. В нашу с надворным сотником сторону обратились три лица: одно маленькое, темное, со всех сторон обернутое золотом — с картины; другое — тяжелое и постаревшее, знакомое лицо бравого сотника Логина. Третье — румяное, простоватое, в улыбчивых морщинках — пасичник Рудый Панько. Больше в комнате никого не было.

— То садитесь, панове, беседа долгая будет, непростая беседа...

Пока я тупо соображал, чего старикашка хочет, пан Юдка ногой отодвинул от стола чурбачок — и неуклюже, боком, уселся.

Похоже, он знал, чего от нас хотят.

И намерен был всерьез торговаться.

Руки мои постепенно возвращались к жизни — и так болезненно, что временами я пропускал мимо ушей целые фразы такой важной, такой судьбоносной беседы. Впрочем, странный разговор моего присутствия как бы и не требовал, более того — чем дальше, тем настойчивее мне казалось, что разговора на самом деле два. Первый — явственный, неторопливый, слышимый для всех четверых. Второй — потайной, невидимая струнка, натянувшаяся между улыбчивым дедом и хищным, подобравшимся Юдкой. А мы с Логином сидим, как два болвана, — и сотник, кажется, тоже учуял неладное, нахмурился, казалось, еще секунда — и велит тащить нас на площадь, чтобы среди глухой ночи довершить начатое дело.

Но хитрый Панько прекрасно, по-видимому, чувствовал пределы допустимого; Логин готов был взорваться, когда второй разговор, тайный, смолк, и я с удивлением спросил себя: а не померещилось ли?

— То, панове, договориться-то мы договоримся... — Юдка аккуратно расправил грязную, поистрепавшуюся в переделках бороду. — Будет виза, пане сотнику; а уж панночка Яринка и на той стороне не пропала — верьте, не пропала, такая панночка, даром что молоденька, ни в пекле не пропадет, ни в раю с пистолей не расстанется. Будет виза; только, прошу пана, сотню с собой брать — не пропустят... э-э-э... те хлопцы не пропустят, которые Рубеж стерегут.

— Много их? — сквозь зубы поинтересовался сотник.

— Прошу пана?

— Много тех хлопцев? А може, и не надо твоей жидовской визы, а просто наших хлопцев взять, да и...

Юдка замахал руками, — вернее, попытался замахать, но руки у него, как и у меня, слушались неважно.

— Та что вы, пане сотнику! То такие хлопцы, что с ними не

шаблей воевать!.. Нет, пане сотнику, давайте так уговоримся: хочете панночку выручать — будете слушать, что Юдка присоветует. Черкасами командовать — то панское дело, а вот через Рубеж идти...

Перед моими глазами на секунду помутилось, лица собеседников расплылись. Накатила горячая волна — через Рубеж идти! Вернуться! Вернуться домой, в мир понятный и простой, туда, где я потерял все, что имел, и приобрел нечто, совсем, как оказалось, ненужное. Вернуться туда, а здесь оставить мертвых к'Рамоля и Хостика.

Вернуться!

— ...Добре, добре, мой зацный пан, полсотни, може, и пропустят... А лучше десяток. Та и с кем пан сотник там воевать собирается? Народец мирный, незлобивый. А одного пана Мацапуру злапать-повязать — ведь десятка черкасов хватит?

Юдка говорил совершенно искренне — но даже я, далекий от местных представлений о чести, понял, что он издевается. Сотник Логин задышал тяжело, будто бык на корове:

— Ты, заризяка, болтай-болтай, а меру знай! Али забыл, как палю встромляют?

Юдкины глаза на мгновение сузились. Он не забыл.

— Да, и еще, моцный пане сотнику... Я-то визу выправлю, только как бы зацный пан, моей добростью воспользовавшись, не содрал бы тут же шкуру с бедного Юдки?

Логин сверкнул глазами — точно, пан сотник именно так и собирался поступить. С незначительными вариациями — ну там содранная шкура, осиновый кол, вспоротый живот...

— Так вот, пане сотнику, нехорошо это. Потому как Юдка, себя не жалея, дочку вам возвращает...

Юдка забыл уточнить, каким образом сотникова дочка попала в беду!

— Давайте так договоримся: Юдка визу выправит, а зацный пан поклянется перед иконою, что Юдку, живого и невредимого, на ту сторону возьмет. Там и сочтемся.

Сотник подумал. Морщины на его необъятном лбу понемногу разглаживались:

— Ты, душегуб, так и так с нами пойдешь! А то чорты знают, куда заведешь нас. Вот если правильно заведешь да Яринку там отыщешь — тогда поговорим... мое слово — железо...

— Пусть так, пане, — неожиданно легко согласился Юдка. — Вместе, стало быть, и пойдем. Я визу справлю, через Рубеж проведу, пан Рио нас поведет в том Сосуде... по тем землям, стало быть, по пеклу, — бывший надворный сотник усмехнулся. — По рукам?

Сотник, помолчав, кивнул.

— От и добренько! — радостно задребезжал Рудый Пань-

ко. — Вишь, пане сотнику, не зря ты старого пасичника послушал, ох, не зря, еще внучков тетешкать будешь... Натетешкаешься вдосталь, — и, без всякого перехода, забормотал под нос не то стишок, не то песенку:

— Ой продала дивчина сердце,
Та й купила черкасу седельце.
Седельце за сердце купила —
Она его верно любила ..

— Только, панове, еще одно, — сказал Юдка, дождавшись, пока старикашка допоет. — Еще самая малость... Визу заверить надо у владыки.

Я впервые увидел, как удивляется сотник Логин:

— У владыки?! Митрополита?! Твою нечистую, чортову, жидовскую визу?!

— Вэй, пане, при чем тут митрополит? К царице ехать надо!..

Кровь бабахнула сотнику в лицо, алым залила лысину:

— То ты... сучья кровь... песий выкормыш... издеваешься?!

— Ой, зачем гневаться, пане, — ласково запричитал старикашка. — Зачем беспокойство творить, раз пан Юдка правду сказывает? То пан Юдка не придумал. До царицы надо ехать, ну и что ж такого, до Питербурху, были уже хлопцы, ездили. То не штука. Ничего такого, ну, возьмете пана Рио и слетаете, великое дело, до царицы...

Смотреть на сотника было интересно. Забавно было смотреть, чтобы не сказать смешно. И когда я в последний раз искренне, беззаботно смеялся?

Вероятно, то было еще до заклятия.

* * *

Нас с Юдкой не стали возвращать в подвал. Поселили порознь, кормили хорошо, дали возможность помыться и переодеться, но под каждым окном денно и нощно стоял воин при полном вооружении. Мне даже жаль их сделалось, честное слово. Куда мне бежать?

Новая встреча с Паньком случилась ночью, посреди ровного заснеженного поля. Мы снова остались вчетвером — стражники отступили далеко за грань видимости. Небо, почти полностью заваленное тучами, почти не давало света, зато снег, казалось, светился сам по себе.

— Отче наш, карандаш, як наш, так ваш, як тут, так там, по колена каптан, моли бога, гетьман...

Продолжая рассеянно бормотать, Рудый Панько сунул руку в карман, так глубоко, что, казалось, сейчас дотянется до собственной пятки. Бездонные у него карманы, что ли?

— Ай, ай!

Кричал не Панько. И, разумеется, не сотник Логин, да сотник и не сумел бы издать такого тонкого, противного звука. Юдка молчал, и я молчал, а кричало то, что оказалось у Панька в руке.

— Цыть, капосник!.. В Питербурх полетишь, панов повезешь.

Из кулака забавного деда свисал тонкий шнурок с кисточкой на конце, и по тому, как шнурок подергивался, я понял, что это хвост.

— Каких-таких панов? Одного свезу, а боле...

— Цыть, говорят тебе!.. Пане сотнику, ежели станет в дороге выкобениваться — крест на него кладите, не бойтеся.

Старикашка разжал руку — на снег неуклюже шлепнулся его небольшой, с котенка, собеседник. Черный, покрытый вроде бы шерстью, в темноте не разглядеть; желтые глаза сверкали, как две латунные блестки.

Сотник Логин поднял руку, медленно коснулся лба, живота, правого плеча, левого; протянул сложенные щепотью пальцы к дивному зверю — тот по-собачьи заскулил, отшатнулся:

— Не надо! Свезу, коль велите, и двоих!

— Троих, песья кровь!

— Троих?! Батечку, та пожалейте!.. Опять за черевичками, или как?

— За соизволением. Визу надобно заверить, вот что!

— А-а-а...

Странное существо отступило в сторону — опасливо косясь поочередно на Панька и на Логина, кланяясь и приседая; хвост волочился по свежему снегу, оставляя замысловатый след.

— А-а-а. . Уже не надо черевичков... Теперь за визой летают!..

Порыв ветра; хвостатый, секунду назад умещавшийся в кармане у Панька, сделался вдруг размером с ломовую лошадь. Нет, больше; острые сверкающие глазки стали подобны огненным фонарям на богатой карете. Когда-то я видел кареты с фарами, давно, в столице...

— Садитесь, панове, — заботливо сказал Панько. — На хребет и садитесь.

Логин, которого превращение странного зверя впечатлило еще больше, чем меня, поднял руку. Существо завизжало — прежним, тонким и противным голосом:

— Та не клади креста! Батьку, та скажите ему, пусть не кладет!

Сотник помедлил. Нерешительно опустил руку, оглянулся на Юдку:

— Слухай, душегуб! Коли только ты задумаешь бежать...

— А куда мне бежать-то, пан Загаржецкий? — весело отозвался Юдка. — Повязаны мы!..

Не дожидаясь спутников, я подошел к странному существу. Его новые размеры позволяли разглядеть и влажное рыло на острой морде, и раздвоенные копыта на задних ногах, и козлиную бородку, и небольшие рога. Крысиный хвост существа теперь был тяжелым и толстым, как корабельный канат.

— То садитесь, панове... — пробормотало существо, старательно глядя в сторону.

Я уселся на шею, рассудив, что таким образом обеспечу себе необходимый обзор. За моей спиной примостился Юдка, и уже на самый крестец твари вскарабкался сотник Логин.

— Ой, гоп, рано-вранци мисник сватавсь на ковганци... — Рудый Панько пританцовывал, будто от мороза, напевая свою непонятную чушь. — Неси, красунчик, до самого Питербурха неси, до самой царицы!

Захватило дыхание.

Земля стремительно отдалялась; как летало неизвестное существо, не сказал бы и самый опытный механик. Крыльев не было и в помине, но земля отдалялась, проворачивалась, игрушечными сделались дома, тонкой ленточкой — дорога.

И в этот момент выглянула из-за тучи луна.

Юдка что-то сказал? Или мне померещилось?

Ледяной холод. Мы пронеслись сквозь сизую снежную тучу, я едва не захлебнулся, склонился к шее летающего существа, на секунду зажмурил глаза...

Под нами — темные шпили леса. Дорога, будто ровный пробор, луна и снег; как красиво, проклятье, как невозможно красиво!

Черное пятно среди леса. Бывший замок Мацапуры-Коложанского. Запахло гарью — или я сам себе придумал этот запах? На такой-то высоте...

Обугленные развалины промелькнули — и пропали. Чистый ветер, носящийся здесь, никогда не узнает ни гари, ни дыма. Густые тени, белое, дымчатое, снег, снег... Пальцы Юдки мертвой хваткой вцепились мне в плечи, но я не ощущал боли.

Какой огромный... какой колоссальный, циклопический мир! Сосуд, как говаривал Юдка. Бесконечные поля до горизонта, и встают, и встают навстречу леса, белыми венами лежат реки. Больно дышать, но хочется, чтобы полет длился вечно.

Поворот!

Край черной тучи горит расплавленным белым металлом. Некто бесформенный, но при этом отменно вежливый, снимает шапку, приветствуя, вероятно, трех всадников на одном летающем коне. Целый рой таких же бесформенных, но менее учти-

вых существ клубком колышется чуть в стороне, струится, переливается под луной.

Жесткий Юдкин палец сперва ткнул мне под ребра, а потом показал вперед, но не на призраков — те уже остались за спиной, — а в противоположную сторону. Я едва успел заметить силуэт длинноволосой женщины, летящей в огромном горшке. Или котле, или бочонке?

Теперь Юдка показывал уже вниз. Снег на холмах лежал уже не сплошняком, а с проталинами, а за горизонтом вставало сияние, хотя до рассвета было еще далеко.

— А-а-а!..

Совсем рядом промелькнула белая коленчатая молния — только била она не с неба на землю, как обычно, а, насколько я мог судить, из земли в небо. По летящей цели.

По нам!

Хвостатое существо жалобно заскулило. Резко сменило направление, заметалось; молния ударила снова, едва не опалив нашему перевозчику шерсть.

— Экзорцируют, — хищно сказал Юдка у меня над ухом, и я его услышал, несмотря на вой ветра и треск разрядов. — Знать бы, кто такой умный нашелся!..

Я всерьез задумался над тем, каково будет падать с такой высоты, но тут сотник Логин вышел, по-видимому, из прострации.

— Но-о-о! Пошел, проклятый, трясця твоей матери, в бога, в душу, пошел!!!

Выучка боевого командира, побывавшего со своим конем не в одной передряге, взяла верх. Логин изо всех сил ударил летучую тварь по бокам, а заодно произвел жест, которого несчастное существо так боялось, — положил крест. Ветер хлестанул по нашим ушам, грозя снести вместе с шапками и головы, небо встало дыбом — зато земля под нами провернулась судорожным рывком, и последняя молния, явно не успевая, едва затронула длинный хвост существа — на излете.

— Ы-ы-ы... ш-ш-ш... Боляче! Только креста не кладите больше, дядьку!

Из-за горизонта вставал свет. Город, да какой!

Юдка снова что-то сказал — я не расслышал.

— А? Что?

— То у них иллюминация...

Город наползал. Река во льду... Край какого-то не то моря, не то озера... Полосатый шлагбаум...

Я понял, что лежу в снегу, голова гудит и кружится, звезды опять неподвижны, зато тучи несутся бешено, как минуту назад неслись мы, и где-то играет музыка... Трубы.

Сотник Логин поднимался, ошалело вращая глазами. Юдка

протянул пану сотнику руку — тот гадливо отстранился, еще и глазами сверкнул.

— Ну, собачья кровь? — это к существу. — Что теперь?

— Приехали. Питербурх, — обиженно проскулило существо. — Спасибо сказали бы! А то — «собачья кровь»... а меня чуть не поджарили через вас!

Сотник оскалился и поднял руку, собираясь в очередной раз положить крест. Я успел перехватить его за локоть:

— Он прав, господин Логин. Он свое дело сделал и заслужил некоторого... снисхождения.

Сотник высвободил руку. Плюнул в снег; покосился на Юдку, мрачно взглянул на меня, с отвращением зыркнул на существо:

— Ну, ты... Веди. Где тут царица?

Я невольно оглянулся. Вокруг не было ни души

— Конем обернусь, — шмыгнуло существо. — Только... один конь ведь троих не свезет.

— Лошадей добудем, — сказал я, ощущая нечто вроде прилива сил. Впервые за долгий срок предоставилась возможность действовать без оглядки, не казниться каждым шагом, не выбирать между скверным и отвратительным.

Новый порыв ветра. Хвостатое существо обернулось, как и обещало, конем — полностью оседланным и взнузданным, но странной масти. Сотник снова плюнул:

— От погань!..

После короткого, но энергичного спора ехать в седле пришлось все же Логину. Я взял коня-оборотня за уздечку, Юдка пристроился в стороне — я видел, как нервничает сотник, оглядываясь на своего ценного пленника:

— Ты ж смотри, жид!..

— То буду смотреть, пане сотнику, для того ведь и глаза даденые!

Я тщательно делал вид, будто веду коня, — на самом деле конь, то есть бывшее мохнатое существо, вел меня сам. Мы както сразу угодили в шум, блеск, многолюдье; вдоль улиц громоздились каменные дома в три, а то и в четыре этажа, то и дело попадались роскошные экипажи, как колесные, так и санные. Извозчики и форейторы кричали бестолково, но с апломбом. Пешеходы жались к стенам; я подумал, что если Юдка и задумал бежать, то лучшего места и времени не придумать. То же самое подумал сотник Логин, и правый ус его, и без того поредевший, сделался вдвое короче — его перекусили наконец крепкие Логиновы зубы.

Юдка усмехался. Что таилось за его усмешкой, разгадать не представлялось возможным.

Не знаю, как мы выглядели со стороны, — наверное, стран-

но, но не предосудительно, во всяком случае, пялиться-то на нас пялились, а остановить никто не пытался.

— Лошади таки нужны, — одними губами сказал Юдка.

Я пожал плечами:

— Пешком не доберемся?

— Как мы заявимся во дворец — пешком?!

Странной масти конь, бывший недавно летающим хвостатым существом, замотал гривой и беспокойно повел глазами.

— Лошади нужны, — повторил Юдка с нажимом.

Сотник Логин посопел, но ничего не сказал.

Лошадей вокруг было много. Неизменные следы их присутствия встречались на каждом шагу — как замерзшие, заснеженные, так и свежие, дымящиеся. То ли дело в забытой уже столице, где ради чистоты мозаичных улиц каждой лошади под хвост прилажен специальный мешочек...

Лошадей было много, но в основном — упряжных. А мы с Юдкой — не деревенские мальчики, чтобы ездить без седла. Мы и так привлекаем внимание — зачем же плодить новые странности?

Юдка легонько толкнул меня плечом. Нас обогнали верховые — двое, нет, трое, просто третий держался чуть позади. Наверное, служка, оруженосец или лакей.

Свернули в переулок.

Здесь было тише. Каменные дома сдвинулись, едва оставляя место для проезда, на фоне снега темнели причудливые железные решетки, то здесь, то там покачивались на ветру светящиеся плошки, и тени трех всадников внезапно выросли, головами коснулись крыш...

— Эй, панове!

Один из всадников обернулся. Не стал скрывать удивления:

— Чего тебе, жид?

Вероятно, это военные, подумал я, разглядывая их одинаковую черную верхнюю одежду с непомерно широкими плечами. У каждого, включая служку, имелось оружие; вероятно, в большом спокойном городе мы могли бы найти лошадей и подешевле.

— А не продали б господа офицеры бедному жиду своих конячек? Мы сами люди не местные...

Всадник, щуплый и худощавый, бледный, несмотря на мороз, рассмеялся. Его спутник, тоже тонкий в кости, но очень высокий, устало поморщился:

— Поедемте, Николай...

Оруженосец — юноша лет четырнадцати — смотрел во все глаза.

Юдка тоже заулыбался. Шагнул вперед, протягивая руку, будто намереваясь потрепать лошадь юноши по холке; увидев его улыбку, я обомлел.

Нельзя! Да нельзя же!

Не пощадит. Ради глупой лошади, которая не так уж и нужна, ради сиюминутной сомнительной надобности — не пощадит, потому как заклят. На кого поднимет руку — живым не выпустит.

— Стоять!

Юдкина рука остановилась в воздухе. Он оглянулся, поймал мой взгляд — и понял. Темные глаза навыкате блеснули нехорошим огнем; помедлил, но руку опустил.

— Сотнику... ваш черед поработать. Вы не помогли бы пану Рио...

Всадники удалялись. Откуда-то из подъезда вслед за клубом пара показалась толстая женщина с полным ведром; из-за угла вывернул господин в шубе, лицо от мороза прикрыто платком...

Самой легкой добычей казался мальчик, но его я обогнул. Прыгнул с места — снег мягкий, мостовая скользкая, неудобно, — приземлился за спиной у высокого, перехватил руку, потянувшуюся за оружием; конь, терзаемый судорожно натянутой уздечкой, поднялся на дыбы, и я соскользнул с покатого крупа, увлекая за собой человека в черном.

Разбойное нападение. Именно так. Думал ли я, наемный герой, что мне придется разбойничать не по приказу сомнительного работодателя — по обыкновенной жизненной необходимости?

Нагайку я не видел — услышал в воздухе, подставил руку, поймал, намотал на кулак; очень удачно. И знаменательно, между прочим, что в борьбе с уличным грабителем вооруженный офицер не за саблю хватается — за нагайку. Презирает? А может, человеколюбив?

Рывок — вот и второй всадник аварийно спешился.

В первом освободившемся седле уже сидел Юдка. Мгновение, чтобы подчинить коня, и — вперед, без оглядки, в конец улицы. Невнятно закричал Логин. Я видел, как он отдирает от себя руки того, что замахивался на меня нагайкой, прыгает на верхового оборотня, бьет несчастную тварь по бокам, кидается в погоню...

Неужели Юдка сорвался?

А почему бы и нет? Один, свободен, в большом городе, с Юдкиными-то возможностями...

Все вдруг потеряло смысл. Где-то играла музыка, где-то голосила женщина; черные одеяния бывших всадников изрядно вывалялись в снегу, тот, кого я сбросил первым, в падении повредил правую руку — и теперь держал свое оружие в левой. Рядом его товарищ оттеснял в сторону мальчишку; парень, в отличие от своих бледных спутников, был темен лицом и не давал

так просто себя оттеснить — драться он собирался, драться до победы.

— Извините, — сказал я хрипло.

Все трое одновременно вздрогнули. Глазищи мальчика раскрылись шире, хотя это, казалось, было уже невозможно.

— Я приношу извинения за себя... и за своих товарищей. Однако мы попали в такую ситуацию...

Старшие невольно переглянулись — и снова уставились на меня, но не просто как на бандита — как на опасную диковину.

— Парле франсе? — неуверенно спросил мальчик.

— Не понимаю, — признался я.

Женщина все кричала. Где-то надрывался свисток — через минуту набежит толпа, мне придется снова отправляться в тюрьму, в то время как Юдка...

— Компрене ву? — продолжал допытываться мальчик.

Я развел руками:

— Извините.

Они были слишком озадачены, чтобы вовремя спохватиться. Я проскочил между ними, уцепил за узду лошадь мальчика — она была спокойнее. Понеслись навстречу каменные стены, шарахнулись из-под копыт зеваки.

На углу стоял господин в шубе, тот самый, что невольно сделался свидетелем ограбления. В удивлении он отнял от лица платок — и мне в какой-то момент показалось, что физиономия его состоит из одного только пористого, лоснящегося носа.

* * *

Кони нам нужны были, как лисе оглобли. Дворец — роскошное, сверкающее огнями здание, куда более впечатляющее, чем даже знаменитая мозаичная стена на моей родине, — обнаружился буквально через несколько кварталов. И это при том, что я ехал наугад, прячась за широкими боками экипажей, так что кучера и форейторы кричали на меня с особым остервенением.

Не иначе, хитрый Юдка всю эту провокацию устроил ради побега. Возможно, мне и удастся ускользнуть от здешнего правосудия, и даже наняться на работу, и, может быть, совершить пару подвигов до того момента, когда истечет срок моей визы, и, как намекала в свое время Сале...

Где ты, Сале? Куда ты нас завела?

Около дворца народу было — не протолкнуться. Богатые горожане в крытых сукном шубах, удивительные застекленные повозки, светло, как днем. Все чего-то ждали, на меня почти не обращали внимания, потом вдруг ударил грохот, и я, изготовившись к неизвестной напасти, вспомнил молнии, которыми бил в нас неведомый экзорцист. Женщины в толпе завизжали — но

скорее от восторга, чем от страха, потому что небо озарилось вертящимися огнями; это был не бой — развлечение.

— Пан Рио!..

Я содрогнулся. В моем кармане заворочалось нечто размером с крысу.

— Пан Рио, то я... Суньте руку, будьте так ласковы!

Жесткая на ощупь шерсть. Тоненькие ножки, копытца, рога. Ох и ну!..

— Только наружу не вынимайте, пан Рио, ведь люди ж кругом... Велено вам на коня лезть и к заднему подъезду пробираться, это там, я проведу.

— Кем велено? — спросил я механически.

— Та паном же Логином, они с Юдкой давно уж вас дожидаются; времени, говорят, мало осталось...

Новый гром. Я малодушно вздрогнул. Огни, огни, искры...

— То скорее, пан Рио!

...А интересно, кто кого при случае в бараний рог согнул бы — Панько Юдку или Юдка Панька?

— Иду, рогатый... Уже иду!

* * *

Сотник Логин едва удерживался, чтобы не вертеть, как мальчишка, головой. Юдка скорбно улыбался; мне вдруг сделалось все равно. Ну, блеск... Ну, лестница необыкновенной красоты, с коваными перилами, освещенная, как полуденный пляж; ну, бесконечная анфилада залов, сверкающий паркет, огромные картины на стенах, спесивые личности в золотых мундирах, время от времени попадавшиеся нам по дороге...

Мы шли плечом к плечу, едва ли не под ручку, как на гулянье — некоторая неуверенность заставляла нас держаться друг друга. Впереди топал громогласный, весь в позументах и галунах, чиновник. Перед всяким, кто встречался на пути, он потрясал развернутым свитком с тяжелой печатью; кое-кто ему даже кланялся. Только нам, идущим сзади, виден был свернутый бухтой, заправленный за фалду хвост.

— Так. Здесь, господа, останавливаемся, смотрим картинки и дожидаемся, — во дворце у нашего сопровождающего неуловимым образом изменилась манера речи.

Мы остановились — спина к спине, обзор на три стороны. По залу шатались несколько богато одетых мужчин, и я не мог определить, генералы это или лакеи. Варварская, тяжеловесная мода.

Шорох множества ног. Не стук, а именно шорох — как будто приближается стая летучих мышей. Нам пришлось отступить к стене; блестящая свита заполнила зал, как заполняет кадку по-

дошедшее тесто. Будучи на службе у Ирины Загаржецкой, я несколько раз имел возможность наблюдать за этим восхитительным процессом. Хотя сама Ирина, конечно же, стряпни не касалась.

Я посмотрел на сотника. С неожиданным сочувствием. Не повезло тебе, старый воин — один Заклятый твою дочь похитил, второй Заклятый — не уберег.

Сотник, не обращая на меня внимания, поедал взглядом кого-то в центре зала. Я посмотрел туда же, куда и он; окруженный согнутыми в поклоне спинами, на нас глядел одноглазый, растрепанный, большой и толстый человек с печатью власти на лице.

— Все ли вы здесь, господа? — вопрос, по-видимому, предназначался нам.

Юдка шагнул вперед:

— Все, кто понадобился, — все здесь, пане...

Взгляд кривого вперился в бывшего надворного сотника; секунда — и в надменном лице его что-то явственно изменилось. Как будто он не ожидал встретить здесь Юдку и теперь несколько сбит с толку, но в общем-то даже рад.

Немая сцена была прервана появлением целого выводка дам в блестящих, с длинными шлейфами, платьях. Сопровождающие их мужчины, в париках с девчоночьими косичками, немногим отличались от спутниц. Хоть в зале сделалось совсем уж тесно, в центре неизменно оставался пятачок свободного паркета; на этот-то блестящий пятачок и вышла, манерно оттопырив мизинцы, маленькая плотная женщина.

Сотник Логин тяжело задышал у меня над ухом.

Взгляд неподвижных голубых глаз остановился сперва на моем лице, потом на лице Логина, потом удивленно вперился в Юдку:

— Чего же вы хотите? — Голос был приятный, тягучий, произношение — странное. Будто женщина беспрестанно катала круглый камушек между языком и нёбом.

— Мы пришли за тем, за чем приходить не должно, но в чем есть великая надобность, — скороговоркой проговорил Юдка.

В зале произошла мгновенная, не сразу понятная перемена. Все многочисленные придворные как по команде перестали нас замечать, и каждый занялся своим делом. Одноглазый достал откуда-то щеточку и взялся чистить бриллианты на своих разнообразных перстнях; кто-то поправлял парик, кто-то беззастенчиво ковырял в носу, дамы разглядывали друг друга и время от времени протягивали руку, чтобы на ощупь оценить ткань на платье соперницы.

— Хорошо ли вас тут содержат? — невпопад произнесла жен-

щина, глядя теперь уже на Логина; тот грыз и без того поредевшие усы.

— Та спасибо, мамо, — ответил за сотника знакомый тонкий голос. Летающая тварь, снова уменьшившаяся до размера крысы, сидела у Логина на плече.

— Право, мне очень нравится это простодушие, — пробормотала женщина, коротко взглянула на меня — коротко, но пристально — и протянула для поцелуя руку. — Это не так трудно сделать...

Юдка шагнул вперед, склонился, на мгновение коснулся маленькой руки, отступил. Хвостатая тварь что-то зашептала на ухо Логину; сотник, двигаясь с грацией мельничного жернова, повторил Юдкино действие. Не дожидаясь подсказки, я потянулся тоже; полная женская ручка пахла духами и пудрой, но в момент, когда я коснулся ее губами, кожа потемнела и съежилась. Потянуло кислым запахом немытой старости; я отшатнулся. Голова кружилась, вокруг меня медленно проворачивался гудящий, как улей, набитый людьми зал. Женщина, по-прежнему белокожая и ароматная, смотрела на меня с укоризной.

— Теперь выноси нас! — распорядился Юдка, обращаясь не к Логину, не к женщине и не ко мне.

И уже в следующее мгновение я сидел в снегу, едва не уткнувшись носом в полосатый шлагбаум.

* * *

Приземлились в Валках на рассвете. Летающее существо очень спешило, но обернуться затемно все равно не удалось. Женщины, с утра пораньше выбравшиеся к колодцам, оборачивались нам вслед и одна за другой повторяли жесты, которых хвостатое существо так боялось и не любило:

— И крестятся, и крестятся, дуры!..

Существо ворчало скорее для порядку; суеверные женщины были далеко и скоро пропадали из виду, зато сотник Логин, помещавшийся на этот раз прямо за моей спиной, ни разу за весь обратный путь не травмировал верховую тварь «страшным крестом».

— ...Ну что, батьку, угодил я тебе?

Рудый Панько ждал нас там, где мы попрощались, причем весь снег кругом был разрисован замысловатыми узорами. Не то старик в колдовстве ухищрялся, не то просто развлекал себя в долгом ожидании.

— Угодил, сынку.

Хвостатое существо с чувством раскланялось — и сгинуло вслед за порывом ветра. Захотелось протереть глаза: где мы были? Что с нами случилось?

— То все готово, панове, — сообщил Юдка, растирая замерзший в полете горбатый нос. — Что ж, сегодня в пекло ломанемся или завтрего подождем?

Говорил просто, без улыбки, но мне показалось, что он издевается.

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Лошадей они попросту свели, так что черти у смоляных котлов припомнят Гриню еще и конокрадство.

Распрощались с Миткой на рассвете, но далеко не ушли — схоронились на дне зеленой балки, у ручья, там и просидели дотемна. Ночью подкараулили пасущийся табун, Гриневым засапожным ножом порезали путы — ищи ветра в поле! Гринь, правда, все на сотникову оглядывался — сдюжит девка? Сдюжила. Ровно бес в сотникову вселился; при коне, хоть и без шабли, а все веселее.

Боялись погони. Только утром дали коням отдохнуть, да и сами повалились на траву полуживые; сотникова болезненно морщилась: видать, раны подрастрясла.

— Совестно перед Миткой, — сказал Гринь. — Он к нам с добром, а мы коней свели!

— Праведник нашелся, — угрюмо отозвалась Ярина, и Гринь надолго замолчал.

Около полудня Гринь заприметил впереди деловитую тучу воронья. Обмер — сразу вспомнилась степь, такие вот сытые вороны над чьими-то незахороненными телами, и непонятно, по какому обряду хоронить, что был за человек, чумак ли, татарин, беглый каторжник...

— Видишь? — сдавленно спросила Ярина Логиновна.

— Вижу.

Приблизились. Вороны нехотя отлетели; на обочине лежала раздувшаяся конская туша.

Скоро обнаружился труп второго коня. Видимо, путники спешили, коней не берегли — то ли погони боялись, то ли рассчитывали за золотые цехины купить новых, лучших. Только где их купишь среди чиста поля?

— Теперь точно догоним, — уверенно сказала Ярина. — Пешие, да с младенцем на руках — далеко не ушли!

Гринь промолчал.

Ярининой уверенности хватило до первого перепутья. Дороги здесь сходились крест-накрест — одинаково узкие, не особо ухоженные, но и не заросшие окончательно. На перекрестье гнил деревянный указатель, но ни чумак, ни сотникова не могли

разобрать ни единой буквы. Пьявки какие-то, многоножки, а не письмена.

— Куда теперь, панна Ярина?

Сотникова закусила губу. Махнула рукой направо, развернула коня; Гринь поспешил следом, — и тотчас же родилась уверенность, что не туда свернули, промахнулись.

После короткой перебранки вернулись на перепутье. Поехали на этот раз налево; спустя час добрались до селения, и местные мужики встретили незнакомцев без приветливости. Подозревали, провидцы, что кони краденые.

Гринь привычно принялся выкрикивать диковинные слова: «ребенок», «злодей», «золото»... Селяне переглядывались. Никто из них слыхом не слыхивал ни о ребенке, ни о злодее, а упоминание золота укрепило их в уверенности, что с парнем и девкой не все чисто. Золото здесь, как видно, было редкостью, столь же вожделенной, сколь и опасной. Золото, паны, разбойники...

Сотникова не дала себя в обиду. Несколько рук уже потянулось, чтобы стащить девку с лошади, но Ярина Логиновна оскалилась и подняла коня на дыбы — это без седла-то! Людишки шарахнулись в стороны, сотникова вжарила пятками по конским бокам и — поминай как звали. А промедли Ярина хоть секунду — не вырвались бы ни она, ни Гринь, селяне конокрадов не любят, особенно тех, кто непонятно балакает!

Дело шло к вечеру. На распутье возвращаться не стали, боялись погони от выборного Митки. Под крышей ночевать надежды не было — как бы далеко селения друг от друга ни стояли, а весть о конокрадах пойдет теперь гулять сама собой. Тут бы ноги унести!

Отыскали укромное место в стороне от дороги. Привязали коней; тут наконец-то повезло. Сотникова нашла свежее кострище, прикрытое от глаз прелым ворохом прошлогодней листвы. Обрывок веревки на тугой орешине, потоптанная трава, сломанная ветка...

— Они, чумак, больше некому. Пару дней всего прошло. Хорошо мы укрытие выбрали.

Яринины глаза горели так, будто битва уже выиграна. Будто Мацапурин труп лежит перед ней среди волглых листьев, черная ведьма на коленях просит пощады, а чортов младенец гукает у братца на руках. Даже тяжелая палка, выломанная для сотниковой Гринем, даже этот уродливый костыль не угнетал теперь охромевшую девку.

— Догоним, чумак! Вот-вот догоним!

Гринь снова промолчал. Ну не диковина ли — зайцы за волком погоню снарядили, лапы потирают, достанем, мол, зубастого!

Смеркалось. Костерок развели маленький, сжевали по куску

хлеба и запили кислым молоком. Брюхо требовало еще; Гринь скорчился, обняв руками колени, глядя в огонь.

Огонь над материной хатой... огонь над Оксаниным двором. Огонь над богатым домом в Миткином селе. Пекельный огонь, черти с вилами ждут, ухмыляются...

— Ты чего, чумак?!

Гринь мотнул головой:

— Ничего.

Сотникова нахмурилась:

— Ты вот что, чумак. Как домой вернемся, сходил бы в Киев, поклонился святым мощам...

Гринь усмехнулся. Надо же, «как домой вернемся»...

— Нет мне прощения, сотникова. Хоть на карачках в Киев поползу, хоть сам мощами лягу! Ты со мной, иудой, один хлеб жуешь — и на том спасибо.

Помолчали. Над самой землей прошелся ветер, Гринь потянул носом, надеясь услышать знакомый запах колыбели, — но пахло травой, водой и древесной гнилью, а больше ничем.

— Чем же тебе заплатили, чумак? — жестко спросила сотникова.

Гринь отвернулся.

Брови, как две угольные ленты. Яблоко в платочке. И щеки, как яблоки... Оксана.

— Ведь зрадник, он что? — раздумчиво спросила сотникова. — Он себя сам выгораживает, чорт, мол, попутал! И у Дикого Пана, не к ночи будь помянут, таких зрадников целый мешок, среди сердюков-то. Разве нет?

Над костром кружились, остывая, белесые хлопья пепла, а Гриню казалось, что идет снег, снег, снег.

Он разлепил губы и стал рассказывать. И чем дальше говорил, тем глуше болела затянувшаяся рана в боку, тем внимательнее глядела сотникова.

Говорил про Оксану. И не про ту, со смородиновыми щеками, красавицу, которой поднес шкатулку с жар-птицами. А про ту, с которой вместе свиней пасли и за бодливыми козами гоняли. Которая яблоками пахла и умела, как взрослая, повязать тряпицей ранку или вытереть подолом горькие Гриневы слезы. Это когда поймают на баштане и вожжами отдерут или когда с рыжей кобылы свалишься и бежишь за ней, проклятой, без всякой надежды догнать.

— Невеста твоя? — шепотом спросила сотникова.

Гринь покачивался — взад-вперед. Попробовал замереть — нет, будто не хватает чего-то. Дал себе волю, качнулся снова, взад-вперед.

...И как решил свататься. И как пошел чумаковать, хоть и страшно было, — из родного-то села первый раз в жизни. И как

степь сперва подернулась маковым алым ковром, потом выгорела под солнцем, ощетинилась колючками, а по ночам над головой лежал все тот же бесконечный шлях — его и кличут Чумацким И как спасались однажды от пожара — черный дым вполнеба И как цедили воду из бурдюка, и как разъедает ладони эта самая соль Только про то, как казнят в степи разбойников рассказывать не стал

И как вернулся домой Принес денег на свадьбу и невесте подарок

— Так это Оксану тебе Дикий Пан посулил? — медленно спросила сотникова

— Н-не Юдка

— А родители что же, отдавать не хотели?

— Н-не Родители к тому времени уже в своей хате сгорели

— Гонтов Яр?!

— Д-да Пан Юдка

— Убью, — сказала сотникова и блеснула глазами так, что и глухой догадался бы убьет Юдку коли поймает

Помолчали

— Чумак, слышь

Яринин голос зазвучал странно Будто грудь сотниковой сдавили обручем и не дают вздохнуть

— Чумак Твоя Оксана красивая?

— Да, — сказал он, не раздумывая

— Чумак Ты *за это* ее полюбил? Так, что даже на зраду решился?

Гринь молчал

— Чумак Если девка некрасивая то лучше бы ей парнем родиться, верно?

— Кто же выбирает? — сказал Гринь шепотом

Теперь смолчала сотникова Гринь искал слова утешения и не находил — кто ж мог подумать, что гордая Ярина Логиновна так заговорит с ним Хотя с кем ей, бедняге, еще говорить?

— Чумак мы никогда не вернемся домой

— Вернемся, сотникова

— Нет, не вернемся! Мы в пекле Все потеряли дура! Надо было Хведир, дурак я его под ребра а надо было

— Писарчук? — спросил Гринь бездумно

Сотникова разрыдалась

Он сел рядом и стал утешать Не впервой К завтрему небось снова гонору наберется, станет очами блестеть и хвататься за несуществующие пистоли

Сотникова была совсем худая Кожа да кости Нет в ней ничего от Оксаны — ни щек румяных, ни глаз, как вишни Гонор один, да и тот подломленный

— Чумак Слышь

— Да, Ярина Логиновна

— Ты меня так не зови! Скажи, я совсем никому не нравлюсь?

— Отчего же, — механически сказал Гринь

— Скажи я как опенок засушенный?

Гринь растерялся

— Ну почему — опенок?

— Скажи — смог бы поцеловать меня, или лучше жабу поцеловать?!

Сотникова вдруг озлилась Неведомо на кого — на себя ли, на Гриня, на судьбу

— Что, страшная я, как смертный грех? Тебе, великому пану, и смотреть гадко, не то что голубить? Легче козу полюбить?!

— Ярина

— Так уйди! — Сотникова неожиданно сильно толкнула его в грудь — Уйди, коли тебе так противно!

Теперь озлился Гринь Надо же, как выкаблучивается, скверная девка Мало пороли ее, безобразницу!

Перехватил Яринины руки Гонор — хорошо, а мужик все же сильнее, чем самая бешеная девка И это правильно, а то невесть куда свет скатился бы через этих баб!

Ярина сверкала глазами Щеки — мокрые от недавних слез, искусанные губы распухают на глазах Эх, глупое дите!

Соленые губы-то Оно и понятно

Не укусила бы, как тот котенок Зубы острые

Нет, не кусается Обмякла

Совсем обмякла И губы живые Ой, Господи!

Гринь с трудом отстранился Грех, грех-то какой Приголубил-то девку скорее из жалости, а грешная плоть взбеленилась, теперь спать не даст Ох, Ярина Логиновна!

Сотникова сидела красная, как степь по весне Вся в маковом цвете И горячая, жарче, чем костер

Эге, подумал Гринь удивленно А ведь панночка та еще, с перцем панночка, ей бы не шаблей махать и не сотней командовать

Пахло водой и ночью Еле слышно шумели ветки над головой, и шумела вода, но стук Гриневого сердца заглушал все звуки

— Слышь чумак спать пора

И голос у Ярины Логиновны изменился Сделался басовитым, как гудение шмеля

Теперь поспишь, — подумал Гринь горько

Столько ночей они провели бок о бок, и хоть бы что! Бывало, на одной рогожке укладывались рядышком, как два полена, бесчувственные, равнодушные, только одним озабоченные спать

Гринь улегся на бок, подтянул колени к животу, закрыл глаза Сразу привиделась голая сотникова — но не такая, какой он

ее из-под бурелома вытаскивал, безжизненная и окровавленная. Нет — чистая, легкая, как из бани.

Ярина шумно ворочалась по ту сторону от костра. Плачет?

— Не холодно, Ярина Логиновна?

Тишина.

— Так не холодно?

Еле слышно, тише, чем ветер в тополях:

— Холодно...

Подобрался поближе. Укрыл своей рогожкой. Сам пристроился рядом. Подумать бы — так не думается, сердце колотит, как походный барабан, а девка уже не тощая — тонкая, как струна на лире, тростиночка...

— Чумак... Ты... полежи со мной. Просто полежи.

Замер. Даже дышать перестал.

В переплетении ветвей перемигивались звезды. Огромные какие, бог ты мой, ну и здоровые звезды в здешних краях, а он сейчас только заметил.

Оксана.

Давно это было, будто триста лет назад. Когда съездил в Валки по заданию жида Юдки, передал что велено и вернулся — все в той же пелене, чародеем наведенной. Когда кинулся к Оксане своей ненаглядной, теперь уже точно своей, сосватанной, без пяти минут жене. К Оксане, предательством выкупленной.

Только и помнит, что гарью пахло, будто под окошком мусор жгли. Оксана улыбалась, как кукла тряпичная. Еще хлопцы ржали, будто кони. Желтые зубы скалили. Черные брови, карие очи, пышные груди... А больше не помнится ничего.

А грудь у сотниковой маленькая и горячая, как печь, какое там «холодно»!

Жарко.

Тепло.

Тепло и спокойно, и страшно и уютно, как разогретой земле в половодье.

О Господи... бывает же такое!..

Не думается. Не вспоминается.

Пытка.

* * *

Перед рассветом он с трудом поднялся, разминая затекшие мышцы. Надо было отойти по нужде; Ярина Логиновна тоже проснулась, но подниматься не стала. Лежала, свернувшись калачиком, не открывая глаз.

Гринь вернулся. Лег теперь уже в сторонке. От утренней сырости пробирал озноб. А может, и не только от сырости. Страх? Стыд?

Поднялся, раздул угли, подбросил хворосту в остывший костер. Занялось ровно и весело, чумак погрелся, потом снова лег.

Сотникова выждала время и поднялась тоже. Подобрала свою палку; Гринь сделал вид, что спит. Все равно Ярина не примет помощи, хотя ходить с костылем по оврагу и неудобно, и опасно. Чего ходить-то, присела бы у костра в двух шагах, но нет — побрела куда-то в сторону, поковыляла...

— Ай! Ай-яй!

Гриня бросило в пот. Сразу вспомнилось озерное страшило, и те рожи, что корчили поселяне, и...

— Ярина!

Тишина. Внизу, вдоль оврага, шорох — будто удаляется по хрустким листьям толстая поворотливая змея.

— Ярина... Логиновна!

В темноте он едва не сшиб ее с ног.

— Тихо, чумак. Вот... на земле лежит.

Гринь наклонился пощупать — и еле удержался, чтобы не вскрикнуть. Палец натолкнулся на шип — хорошо, щупал осторожно, а то и вовсе руку нанизал бы.

— Один удрал, а этот... свернулся. Еж это, чумак... а я думала — чорт!

Плечо сотниковой вздрагивало. Волной накатила нежность — обнять, удержать, привлечь. Гринь через силу удержался — а вдруг оттолкнет?

Глаза тем временем привыкли к темноте. В палой листве лежал клубок размером с тыкву, не приведи Господь наскочить на такое босиком!..

— Давай, — сотникова начальственно толкнула ежа своей палкой. Еж едва не скатился вслед за товарищем, — но палка не позволила. Гринь на ощупь вернулся к костру, подобрал рогатину, вдвоем с Яриной они выкатили ежа на светлое место.

— Чумак... да он ведь железный!

Тускло поблескивал металл на растопыренных иглах. Ни дать ни взять, ножи. Стилеты.

— Надергать да снести к кузнецу, — кровожадно предложила Ярина. — Пусть шаблю выкует. А был бы такой здоровый еж — подумай, чумак! — так и кузнеца не надо. Выдернули бы по иголке... Пан Рио рассказывал... Да, пан Рио! Что в их краях водятся железные ежи ростом с лошадь!

Говорила, говорила, говорила. Избегала смотреть на Гриня; кстати подвернулся ежик, и переполох случился вовремя. Может быть, гоноровой сотниковой удастся убедить себя, что ничего между ними и не было. Приснилось, привиделось...

— С лошадь, говорите? — бормотал он, не особо задумываясь. — Вот чудище!

Девушка содрогнулась. Пальцы ее больно сжались на Гриневом плече.

Он обернулся вслед за ее взглядом.

Из темноты смотрели глаза. Зеленые, горящие; выше, чем волчьи, но много ниже человеческого роста. Мигнули. Еще...

— Отче наш, — хрипло сказал Гринь. — Иже еси...

Глаза мигнули снова.

— Чего тебе? — грубо спросила Ярина, обращаясь к мороку. — Хлеба? Иди своей дорогой! Нет у нас ничего!

Зеленый блеск. Гринь понял, что попеременно крестит себя и морок, но мороку от этого ничего не делается — как зыркал, так и зыркает.

— Иди, иди, — повторила Ярина совсем спокойно, даже чуть сварливо. — Сейчас вот пистолю достану... добрая у меня... пистоля...

То ли морок не поверил вранью, то ли не боялся пистолей.

— Да сгинь, проклятущее! — завизжала Ярина так, что у Гриня уши заложило.

И запустила в темноту своей палкой.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Мне снится батька. Он прилетает. Он золотая пчелка, он меня не укусит.

Я говорю ему: батька, забери меня к себе.

Тонкие пленочки дрожат. Я протягиваю руку и достаю что-то. Не знаю, что это такое. Бросаю. Оно горит. Оно жжется. Я убегаю.

Батька, забери меня к себе!

Он говорит: скоро заберу.

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Краденого жеребчика Гринь назвал Вороньком. В Гонтовом Яре половина коней были Вороньки, сам Гринь когда-то пас Воронька, он-то, в отличие от стервы Рыжей, был и спокойным, и покладистым.

Сотникова свою кобылу никак не называла. Ехать без седла было чистой пыткой; Ярина Логиновна садилась попеременно то на кобылу, то на Воронька, а Гринь шел пешком, привычно, бездумно, иногда казалось, оглянись — и увидишь сонных волов, дядьку Пацюка, знакомые хлопцы глянут из-под широченных соломенных шляп...

Оглядывался — и видел тонкую девушку с болезненным лицом, и страшнее всего, казалось, встретиться с ней взглядом.

Ехали пустошью. С тех пор как переночевали в овражке и столкнулись с неведомой зеленоглазой тварью — с тех самых пор селений по пути не попадалось. И добро бы солончак, пески какие-нибудь — нет, тучная плодородная земля, и ручейки встречаются, и рощицы, а людей нет. Дорога совсем заросла, и тем яснее виднеются на ней следы подкованных копыт: пан Мацапура добыл-таки новую лошадь. Одну.

Спустя два дня Гринь впервые учуял запах дыма от чужого костра. В тот же вечер кобыла, освободившись, сбежала от новых хозяев.

— Скоро на закорках понесешь меня, чумак, — невесело предположила Ярина Логиновна.

За последние дни она еще больше отощала и погрустнела. Маялась, сама себя стыдилась, и когда Гринь пытался ее приласкать — отталкивала его руки.

— Нужда будет, так и на закорках понесу.

Устраиваясь на ночлег, оба всякий раз испытывали неловкость и, засыпая, долго не могли улечься...

Спустя еще два дня Гринь предпринял ночную вылазку.

Этот чужой костер горел не таясь. Памятуя науку дядьки Пацюка, Гринь подобрался с подветренной стороны, чтобы ни одна собака не почуяла.

Собак у костра не было.

Зато была ведьма, а эти хуже любой собаки.

Пан Станислав сидел к Гриню лицом. Зацный и моцный заметно спал с тела — исхудал, видать, в долгой дороге и на нежирных харчах. Моложе пан не сделался; кожа сухими складками висела на лбу и щеках, желтыми огоньками поблескивали стеклышки окуляров, когда, склонив голову, пан рисовал на земле остро отточенной палочкой:

— А это, гляди, домик... А это корова...

— Еще! Еще!

Гриня пробрал озноб.

Рядом с зацным и моцным сидел на заботливо подстеленной попонке мальчонка лет четырех, не меньше. Лохматые черные волосы до плеч, глазищи от переносицы до самых висков, безобразная, казалось бы, мордашка — но только с первого взгляда, потому что глазищи у дитяти живые и блестящие. И нету в них того особого цепенящего выражения, памятного по встрече перед корчмой; тогда мальчонкин батька, не сводя с Гриня таких вот длиннющих глаз, велел пасынку убираться прочь из собственной хаты.

Святый Боже, как он растет! Скоро с батьку своего вымахает, и ни Мацапуре с ним не справиться, ни тем более братцу родному.

Темная тень, сидевшая между Гринем и костром, пошевелилась. Гринь плотнее вжался в землю; вот чертовка встала, будто собираясь размять затекшую спину. Вот оглянулась как бы невзначай; Гринь на мгновение увидел ее лицо. Ноздри ходили ходуном, будто ведьма по кличке Сало принюхивалась...

Да так оно и было! Боже праведный, спаси и сохрани!

Ведьма села на место, к Гриню спиной, но чумаку казалось, что она глядит и затылком. Шарит в траве, выискивая его, Гриня, нимало не сомневаясь, что незваный надсмотрщик здесь и бежать ему некуда.

— Еще! Нарисуй смыслу!

Ребенок говорил ясно и четко, без сюсюканий, а голос у него был звонкий и резкий, будто чайка кричит.

Дикий Пан, похожий сейчас на старенького любящего дедуся, поправил окуляры:

— Чего-чего нарисовать?

— Смыслу!

Ведьма отвлеклась и перестала наконец принюхиваться. Обернулась к мальчонке, спросила без приязни:

— Ты-то сам эту смыслу когда-нибудь видел?

Ребенок посмотрел тетке Сало в глаза. Гринь обмер, на мгновение угадав тот самый взгляд, тот самый, что так поразил его в глазах взрослого исчезника.

И ведьма тоже почуяла этот взгляд. И — Гринь даже привстал от удивления — потупилась. Опустила глаза, сдалась.

— Ты, малой, нарисовал бы сам, — ласково предложил пан Станислав. — А то ведь я, старый, не знаю никакой смыслы — так заодно и поглядел бы.

Мальчонка взял у него из рук заостренную палочку. Повертел попеременно в шестипалой руке и в четырехпалой. Провел по земле раз, другой; обозлился собственному неумению, швырнул палочку в костер:

— Теть Сале, поймай саламандрика.

— Разве ты хочешь кушать? — с фальшивой заботой осведомилась ведьма.

Мальчонка тряхнул головой:

— Не хочу кушать. Хочу поглядеть, как ты ловишь.

— Клева нынче нет, — ведьма не глядела на воспитанника. — Только крючок поломаем. Да и спать пора.

Мальчонка оскалился, опасно сверкнул продолговатыми глазами. Сунул руку в костер — Гринь от неожиданности не успел зажмуриться. С первого взгляда ему показалось, что братишка выхватил из пламени головню, но нет, по волглой траве

запрыгал, разбрасывая искры, невиданный зверь вроде огромной ящерицы.

В этот момент чумака-шпиона можно было разглядеть без особого труда. По счастью, и ведьма, и добрый дедушка Мацапура глядели на воспитанника и только на него; мальчонка дул на шестипалую руку, и в длинных глазах все яснее обозначалась обида:

— Жжется... ай!

— Конечно, жжется, — проворковала ведьма. Пан Мацапура зыркнул на нее с откровенной ненавистью. Подхватил парнишку на колени, быстро оглядел руку, поцокал языком:

— Ты, паря, когда что-то в огоньке видишь, то лучше палочкой достать или там крючком... А руки — они человеку не для того дадены. Давай-ка, полечим скоренько, для того хороший способ есть.

Говоря, пан Мацапура развязывал штаны. Не смущаясь присутствием ведьмы, окропил парнишкину руку — полечил давним дедовским способом, Гринь и сам им пользовался, если приходилось сильно обжечься.

В длинных нечеловеческих глазах стояли вполне понятные слезы. Человеческие, детские.

— Заживет, паря, как на собаке. Тряпицей сейчас завернем. Ты, баба, не стой столбом, тряпицу подай чистую!

Гринь смотрел, как Мацапура утешает своего четырехлетнего пленника... четырехлетнего, потому что два месяца этому мальчонке приписать никак не удается. Как пан Мацапура, любивший детей совсем особенной любовью, тетешкает на коленях странного чортова младенца, гладит по голове, совсем забыв об издыхающей в траве огненной твари. Как ведьма Сало походя тычет в тварь носком сапога, оглядывается, заново начинает шевелить ноздрями...

Гринь отполз ал. По-рачьи пятился, пока стебли травы не скрыли от него и далекий костер, и черный силуэт насторожившейся ведьмы, пока звон цикад не заглушил нелепую песенку, которую добрый дедусь напевает внучку на сон грядущий.

А тогда, удалившись на порядочное расстояние, подхватился и побежал прочь.

* * *

— Э-э-э, то панночка Ярина все никак сдохнуть не может! Ну подите сюда, ясна панна, я допоможу!..

Вместо привычной шабли в руках Дикого Пана был щербатый прямой клинок. А Ярине Логиновне негде было добыть зброи — костыль разве что, а костылем много не навоюешь.

— Вон где встретиться пришлось, — Мацапура шагнул впе-

ред, из-под сапог его брызнули искры прогоревшего костра. — В пекло за старым чортом потащилась? Ну иди сюда, Ярина Загаржецка, сосватаю тебя и на свадебке потанцую! Н-на!

Щербатый клинок вошел в бледную девичью шею у самого основания...

Гринь охнул и открыл глаза.

Серое небо. Трава в росе. Рядом, ткнувшись лицом в ладони, спит под рогожкой Ярина.

Живая.

Гринь перекрестился. Перевел дыхание, принюхался, как давеча ведьма. Пахло сырой землей и конским навозом, сквозь плотные эти запахи едва пробивалась ниточка знакомого духа. Колыбелью пахло — хотя какая там колыбель, дите такого роста уже гусей пасти должно!

Приложил ухо к земле. Ничего не слыхать, оно и понятно.

— Ярина! Ярина Логиновна! Вставайте, иначе не догоним.

Стон.

Сотникова села, не отнимая ладоней от лица. Помотала лохматой головой, что-то пробормотала сквозь зубы. Гринь испугался — сон в руку?!

Он ожидал увидеть на Яринином лице рану, кровь. А увидел слезы; в серой пыли, налипшей на впалые Яринины щеки, пестрели светлые промоины. Сотникова ревела и не могла остановиться. Что-то часто плачет гоноровая Ярина, день за днем глаза на мокром месте.

— Уйди, чумак! Оставь меня в покое... Чего вылупился?!

Гринь попятился. Сотникова повалилась на землю, заколотила кулаками, будто капризное панское дитя:

— Так мне и надо! Так мне и надо! Калека, опудало, баба!.. В пекло меня!..

— Коли сон дурной, так поплевать надо, — шепотом сказал Гринь. — Слышь, Яриночка...

— Уйди, чумак! Видеть тебя не могу!

В стороне переступал спутанными ногами уцелевший Воронько. Переводя взгляд с рыдающей панночки на низкое солнце, а потом на дорогу, а потом на лошадь, а потом опять на панночку, Гринь успел подумать, что хорошо было бы осесть на хуторе и построить дом. Неленивого хозяина здешняя земля в три года озолотит. А бабы не надо вовсе. Нанять наймичок, пусть работу делают по дому, а бабы не надо, нет...

— Чумак... добей меня. Сил нет. Добей!

— А это можно, — сказали у Гриня за спиной.

Сон в руку!

Дикий Пан стоял, опираясь на здоровенную дубину. Ни ведьмы, ни дитяти рядом не было.

— Кого ты мне привел, Григорий? То ж Ярина Загаржецка все никак сдохнуть не может. Ну подите сюда, ясна панна, я допоможу!..

Ярина перевела взгляд с Мацапуры на Гриня. И, встретившись с ней глазами, он все понял и едва не засмеялся, такой вздорной была панночкина мысль, но смех застрял в горле, потому что сотникова *поверила*:

— Так ты меня вел... Григорий?

Не отвечая, Гринь прыгнул на Дикого Пана. Слишком вольготно стоял пан Станислав, слишком не стерегся, и шабли при нем не было...

Как на соляной столб налетел. Крепко стоял зацный и моцный, только уклонился от просвистевшего Гринева кулака, поймал чумака за руку... и поскользнулся на росе, грянулся на землю вместе с Гринем.

— Ах ты чортов братец!

Потемнело в глазах — то пан Станислав приложил Гриневу голову о случившийся рядом мелкий камень. О такой камушек можно плуг сломать, а можно и выворотить... из земли... выворотить...

Панская шея была неохватной, будто поросшая мхом колода. Гринь все сжимал и сжимал пальцы; рядом заверещала сотникова, заверещала, как десяток ведьм. Гриня снова ударили по голове — пальцы разжались сами собой, выпуская Мацапурино горло. Высоко над собой он увидел белесое небо, качающиеся стебли и ухмыляющееся лицо Дикого Пана; через миг вместо лица появился сапог с налипшими комьями земли — жирной, плодородной. Сапог легонько подтолкнул Гриня в висок; мир взорвался болью, Гринева голова повернулась, как снежный ком, позволяя сквозь красную пелену разглядеть и сотникову. Ярина Логиновна стояла на коленях, сжимая в одной руке костыль, а в другой — неизвестно когда подобранный камень. Пан Станислав оставил поверженного чумака, шагнул к панночке, поигрывая своей дубиной. Сотникова оскалилась сквозь невысохшие слезы и кинула камень. Мацапура уклонился. Поднял дубину к плечу, примерился...

Гринь повис у него на руке. Чумаки живучи; мало, что ли, Гриня били? И по голове случалось получать, а скамейка в шинке не мягче Мацапуриного кулака. Красным глаза застилает, а все равно поднимался, поднимется и теперь!..

Вот разве что толку от его усилия не было никакого. Мацапура легко стряхнул оглушенного чумака, замахнулся на этот раз дубиной — в землю вбить и в земле же оставить. Лежи, Гринь, мечтай о плуге... Когда-нибудь и тебя распашут...

— Ни-е трогай! Ни-е-е!

Между почти уже мертвым Гринем и занесенной Мацапури-

ной дубиной возник кто-то третий. В какой-то момент чумаку показалось, что он видит собственную покойную мать.

Он и был в эту минуту похож на Ярину Киричиху — чортов младень с разными руками — разве что пекельный огонь в раскосых глазах достался хлопцу от батьки.

И норов, вероятно, тоже его.

— Не тр-рогай! — сказало дитя голосом исчезника из Гонтова Яра, и пан Мацапура, Дикий Пан, очень любивший детей, послушал его.

* * *

...Весу в нем было порядочно. Тяжелый он, чортов младень, за эти месяцы вымахал — как за четыре года!

Гринь шел, стараясь не оступиться. Придерживал на плечах две тонких, жилистых ноги.

— Братик хороший...

Жесткая ладонь гладит макушку. Гринь уже научился не вздрагивать.

«Гринюшка, убереги!..»

Уберег?

Дикий Пан, зацный и моцный Станислав Мацапура-Коложанский, шагал за чумаком след в след. Дышал в затылок. Гринь, не глядя, чувствовал, как пан ухмыляется.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Баба злая. И свитка на ней злая, и сапоги злые. Не дам ей сладкий корешок. Пусть свой хлеб жует противный, сухой. Я корешок достал, ей не дам, дядьке дам. Дядька хороший, и штаны на нем хорошие.

Корешок растет через три пленочки. Первая тонкая, вторая толстая, третья такая, как вода. Я протянул руку через три пленочки и взял корешок. Там кто-то сидел и тоже его хотел, и хотел схватить меня за руку, но я показал ему дулю и убежал.

Наша пленочка сверху разноцветная. Как радуга. Я показываю хорошему дядьке, но он не видит. Бедненький. Слепой.

Сверху плавают смыслы. Я хватаю самую жирную, она скользкая, как рыба. Я съем эту смыслу, и мне будет хорошо.

Дядька плохо рисует. Я хорошо рисую, но у меня не получается. Это потому, что дядька дал мне плохую палочку. Она сломалась.

В кустах сидит кто-то. Кто-то настоящий, в нашей пленочке. И смотрит. Он думает, что его не видно. Злая тетка начинает

нюхать — она его тоже не видит, но хочет его понюхать. Мне смешно.

Дядька не хочет рисовать смыслу.

Тетка не хочет ловить для меня саламандриков.

В огне плавают саламандрики — они тоже в нашей пленочке, но некоторые и в другой. Я хочу поймать того, из другой пленочки, но попадается настоящий. Он горячий. Мне больно.

* * *

Он хороший! Не трогай его! Не бей его, дядька!

Другой дядька лежит на земле, и под ним кочевряжатся пленочки. Как будто он хочет перевалиться на другую сторону, туда, где растет сладкий корешок. Но у него не получается. Его побил хороший дядька.

Другой дядька вчера приходил к костру. Наверное, хотел есть. Хотел саламандрика. Про него еще говорила тетка. Непонятно.

Еще одна тетка. Ее зовут Девка. Так ее называла первая тетка. У нее болит ножка. Плохая тетка не хочет ее обидеть. Она только делает вид, что злится.

А дядька злится по-настоящему. Что такого сделал этот, который на земле? Почему на него злится дядька?

Но сильнее он злится на Девку.

«Братик», — говорит второй дядька. Я вижу, что это не дядька, а хлопец. Где-то здесь его братик. Я оглядываюсь, но никого не вижу. Только за две пленочки отсюда много дядек в железных одежках лезут на высокую стену. Они далеко, их плохо видно. Они открывают рты — наверное, есть хотят.

«Братик», — говорит дядька-хлопец. Мне его жалко. Он смотрит на меня.

Я хочу поймать новую смыслу, чтобы стать умнее. Но смыслы уворачиваются от меня, они слишком большие, чтобы поймать одной рукой.

«Братик», — говорит дядька-хлопец. А добрый дядька говорит мне, чтобы я шел обратно. Он хочет убить дядьку-хлопца. И чтобы я ему не мешал.

«Он хороший, — говорю я. — Не трогай его. Это мой братик».

Да! Я понял! Это мой братик, только большой. Он быстро вырос, а я расту медленно. Нельзя его убивать. Он хороший.

Добрый дядька смотрит на меня. Мне хочется поймать смыслу, вместо этого в руку попадается большое яблоко. Оно червивое. Я бросаю его на землю.

Добрый дядька смотрит на яблоко. Спрашивает: «Где ты его взял?»

Я говорю, что хотел поймать смыслу, а попалось яблоко. Что там есть еще, но все червивые.

Дядька оглядывается кругом. Кругом поле. Ничего нет. Пасутся кони. Те железные люди, которые лезли на стену за две пленочки отсюда, уже попадали вниз и лежат. Не двигаются Сверху их поливают водичкой, только она почему-то черная и очень горячая. Дядька ничего этого не видит. Он ищет дерево, на котором выросло червивое яблоко.

Я смотрю на братика.

Тепло. Было тепло. Там была мама. Я подхожу к братику и трогаю его.

Он хороший.

Девка что-то говорит. Тетка смотрит на дядьку и спрашивает, что, может быть, Девку оставить в живых, она еще пригодится. Я говорю, что если они убьют братика и Девку, то я их убью. Тетка пугается. Она меня боится. Она не хочет, чтобы я ее убивал.

Дядька говорит, чтобы я не баловался.

Я глажу братика по голове.

Он добрый.

Я спасу.

* * *

У Девки болит ножка. Она тоже злая, как тетка. Они с теткой едут на одной лошади.

Братик несет меня на закорках. Это хорошо! Я еду на братике, как на конячке. Мне нравится.

Братик веселый.

Дядька идет сзади и улыбается. Я знаю, он хочет потом убить и братика, и тетку, и Девку. Тетку пусть убивает и Девку тоже, но братика я ему скажу, чтобы он не убивал.

Тетка и Девка едут впереди. Они говорят между собой, что хорошо бы убить дядьку. Дядька не слышит их слов, но все понимает. И улыбается.

Домов нет.

Потом появляются коровы.

Потом появляются дома. На улице стоят люди. Они некрасивые.

Потом мы заходим в один дом. Там очень много пленочек; я сперва смотрю, как они переливаются радугой. Потом протягиваю руку и достаю цацку. Она хорошая.

Тетка кричит.

Все сбегаются и начинают смотреть на цацку. Я отдаю ее Девке. Дядька забирает цацку у Девки и кладет себе в карман.

Я говорю, что цацку нельзя есть.

Приходят другие люди и приносят еду. Вкусную, как сладкий корешок.

Я ем.

Я хочу спать.

Мне снится золотая пчелка.

И еще мне снится мама. Она хорошая.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

...И хлопцы все надежные. Бывалые хлопцы, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в пекло!

Думал сотник в церковь божию зайти — да оробел, на паперти остановился. А что как отвернется Богородица, свечка погаснет, поп проклянет? После того как с ведьмачом в сговор вступил, душу христианскую, считай, погубил... На чорте — тьфу! тьфу! — помилуй мя, Господи, на чортяке лысом по небеси летал — кто ж такое простит?!

— ...Ну, хлопцы, с богом. Присягаю вам, что кровопивца Мацапуру в пекле отыщем, а вы мне присягните, что не испугаетесь ни ангелов, ни демонов, ни стражей Рубежных, потому как выправлена на вас, братцы, одна коллективная виза... Тьфу ты, язык сломаешь от этих пекельных слов!

— Чего нам бояться, батьку! Не пальцем деланы!

— Веди!

Сотник вздохнул. Вот они, все перед ним — вот Забреха, вот Небийбаба, вот беглый пушкарь Дмитро Гром, при всяком приступе необходимый; вот Шмалько, сорвиголова, старый греховодник; вот Свербигуз, весь в рубцах, как девка в монистах, вот браты Енохи, за покойного батька мстить идут... Ох, уследить бы за молодцами, удержать бы до поры, потому как мстить-то идут Мацапуре, а на жида Юдку так поглядывают, что пора бы душегубу в камень обратиться. В Хитцах-то, в том страшном деле, Юдка командовал... Вот Тарас Бульбенко, вот прочие, всего двадцать человек. Старый ведьмач поначалу стоял на своем: не брать! Никого из сотни не брать, иначе не будет Рубежа — сажа будет, и аминь! А потом, уже как в Питербурх слетали, отвел Панько Логина в сторонку — и говорит да щерится, как кот на сметану. Бери, мол, хлопцев, не более двух десятков, но и никак не менее. Коллективную визу, вишь, проклятый жид справил, а не будут пускать, так ты, сотнику, припугни. Припугни, говорит ведьмач, и глазами своими зеленющими сверк-сверк; а не сам ли твердил недавно, что, мол, сажа от хлопцев останется?!

У Нечитайлы жинка в Валках и ребят полдесятка. А у Свер-

бигуза одна жинка за Дунаем, другая на Дону, еще, говорят, и третья есть, а детворы — как гороха... Мало мы ребят сиротили?

Яринка. Ярина Логиновна.

Хлопцы все понимают. Что идет сотник вроде за Мацапурой, но на деле дочка ему нужнее, нежели месть.

— Добре, хлопцы. Ступайте там, попрощайтесь. Наутро выступаем!

Разошлись. Тихо стало на опустевшем дворе, ничья голова над плетнем не поднимется, ничья собака не забрешет, тихо-тихо, как перед бурей.

Нехороший закат сегодня. Красный закат — к ветру, и никаких примет не содержит боле; а гляди ж, как заныло сердце...

И на улице никого. Нет, один показался-таки. Вон у ворот переминается длинная тень, вон блеснули окуляры.

— Хведир, я тебе ясно сказал! Ступай домой. Дом отцов тебе остается, должность отцова, писарем будешь при батьке Дяченко. Башковитый ты хлопец и отважный, да и я добро помню...

Молчит. Окуляры снял, протирает.

— Слышишь, Хведир? Не можна всем сразу уходить — на кого Валки покинем?

— На батька Дяченка, — сказал бывший бурсак, и вроде тихо сказал, а так, что хоть огонь из того слова креши. — Не пропадут.

Сотник плюнул. Снял шапку, вытер вспотевшую лысину:

— «Не пропадут»... На что ты мне в пекле, Хведир? В седле сидишь, как дойная коза, прости Господи. А что в бурсе выучился — так в пекле это без надобности!

— А вы почем знаете, пане сотнику? — Если Хведир и обиделся на «козу», то наружу обиду не выпустил. — Что в пекле понадобится, а что нет? Толмач, например, понадобится? Я по-арамейски знаю, с тем пекельным забродой, Хвостиком, столковался!..

Сотник в сердцах хлопнул шапкой о колено:

— Да будет же толмач! Пан Рио, чтоб его черти забрали! С нами идет, для того и от пали избавлен.

Блеснул глазами Хведир, усмехнулся недобро:

— А кто его ведает, пане сотнику? Кто его ведает, что у того пана Рио на уме. А я...

Бурсак запнулся. Снова надел окуляры, подобрал губы и сделался похож на батьку, покойного писаря Еноху:

— А я вот, пане сотник, тоже... за Яринку в пекло пойду! Мне бы... только вызволить ее. Батька мой хотел за Мыколу Яринку сватать, за старшего брата. Воля ваша, только знайте, что в пекле я вам пригожусь. Ох как пригожусь, помянете мое слово!

А если и сгину, так не жалко. Смотрите, пане сотнику, можете оставить меня — только как бы потом не пожалеть!

— Да ты что?! — Сотник задохнулся. — Грозить мне вздумал, бурсаче?

В окулярах стоял отблеск гаснущего заката, и за красными искорками не разглядеть было Хведировых глаз.

* * *

Выступили на рассвете.

— Як засядем, братья, коло чары,
Як засядем, братья, при меду —
То хай едут турки и татары,
А я себе и усом не веду!

Мороз щипал добряче, а в светлеющем небе, во всей природе чувствовалась уже весна. У сотника Логина странным образом полегчало на душе: проклятая надежда, искушение адово, перестала мучить, а, наоборот, придавала силы. Хлопцы пели — а сотник улыбался в усы; жива Яринка, жива и вернется, потому что у Яринки есть батько, который не боится ни турка, ни ляха... ни чорта, ни жида!..

Юдка ехал слева и чуть позади, сотник время от времени терял его из виду, но знал, что беспокоиться не о чем. Хлопцы присмотрят. Много, ох много внимательных глаз держат супостата, будто на аркане — пусть только попробует бежать!

— Кришталева чара, серебряна крешь —
Пить или не пить, все одно помрешь!
Кришталева чара, серебряно дно —
Пить или не пить, братцы, все одно!

И за паном Рио глядят, но за тем присмотр уже не такой. Тот из шкуры рвется, чтобы в свое пекло обратно попасть. Хоть и верно Хведир сказал — кто его знает, что у заброды на уме?

Сотник оглянулся.

Два всадника ехали стремя в стремя, но один сидел в седле, как конная статуя, которую сотник видел в Питербурхе, а другой — как дойная коза, прости Господи.

Сотник усмехнулся снова. Правильно он Хведира взял — не ошибся. И человек верный, и за толмачом приглядка. Жаль только, что бурсак, а не черкас!

Рудый Панько ожидал, как и уговаривались, на перекрестье. Хлопцы поехали мимо, сотник придержал коня; старый ведьмач пошел рядом, держась за стремя:

— Прощевайте, панове, вскоре ждем вас обратно с Яриной Логиновной!

Юдка, который тоже задержался, согласно кивнул. Братья Енохи, не отставшие от душегуба ни на шаг, одинаково ощерились за его спиной. Дождетесь, мол, да не всех, кое-кому в пекле самое место!

— Смотри, Консул, — скороговоркой сказал ведьмач. — Дальше ни ты, ни я не властны. Будет наша смена — проскочите без потерь. Или для вида придерутся... Когда придираться станут, — это уже сотнику, — давай своим хлопцам наказ всех рубить и вперед прорываться. Тут уж как доля скажет! А если смена чужая, так...

Ведьмач замолчал. Почесал в бороденке:

— Ой продала дивчина сердце, та й купила черкасу седельце... Пан или пропал. Держи, Консул!

Сотник узнал знакомый колдовской медальон. Ишь, Панько! «Знатная цяця, только к чему она тебе? Еще беда какая приключится...»

Старый пасичник поймал сотников взгляд.

— Та не гневайся, пане! Тебе бы отдал, да только через Рубеж с такой цацкой проходить — лучше в пороховой башне люльку раскуривать. Ни к чему она тебе, послухай старого Панька!

Братья Енохи, которые разговор слышали с пятого на десятое, переглянулись. Дескать, после жида будет еще и пожива!

— То семь бед — один ответ, — усмехнулся Юдка, убирая цацку под жупан.

— На том свете не дадут горелки, а ни пива-меду, ни вина... — слышалось впереди. Хлопцы уходили все дальше, замыкала отряд чортопхайка с не то что гаковницей — с гарматой цельной!

— Ну, пошли, бесовы дети, — шепотом сказал Рудый Панько, и лицо его на мгновение потеряло привычный румянец.

А может быть, сотнику показалось?

* * *

Ворота стояли в стороне от дороги и были вроде шибеницы, и даже веревка висела, оборванная. Вот только кому взбредет на ум ставить шибеницу посреди леса, да еще из железа?!

Сам сотник сроду бы ворот не приметил. Юдка указал.

— И это двери в пекло? — Хлопцы смеялись. — Ой, жиду, гляди, к шибенице привел, то, может, сам в петле и попляшешь?

Пан Рио молчал. И сотник, на него глянув, посерьезнел. Хведир пытался что-то объяснить братьям, но его не слушали.

Юдка слез с коня. Держа его в поводу, сделал шаг к воротам, другой...

— То не торопись, жиду, куда ж ты убежишь? Коли ты уже свое дело сделал, то, может, теперь мы потешимся? Как ты над Гонтовым Яром потешался!

Будто не слыша, Юдка снова шагнул вперед — оказался прямо под ржавой перекладиной...

Сотник едва удержал крик. А кто-то из хлопцев и не удержал, ахнул, когда волна света, такого яркого, какого на земле и не бывает, обрушилась со всех сторон, и занялось дыхание...

— Добрый день, господа, вас приветствует Досмотр. Назовите пункт следования.

Ох, и голос был! Панский голос, хоть по-москальски говорил, но ладно и понятно, а только жуть брала, будто мертвая статуя свой каменный рот открыла.

Отвечал Юдка. Складно отвечал, хоть ни слова не разобрать. Нет, не зря душегубца помиловали до поры, ох, не зря!

— Пожалуйста, документы на контроль, — сказал каменный голос, эхом прокатился по всему телу, зазвенел в костях.

Логин чуть приоткрыл глаза.

Хлопцы собрались вокруг своего сотника, плечо к плечу и спина к спине, готовы отразить врага, откуда бы он ни появился. У многих в руках были обнаженные шабли; Хведир держал за руку пана Рио, один только Юдка стоял в стороне, и, глянув душегубцу в лицо, сотник едва узнал его. Силен, жид! Тогда на площади, перед лютой смертью у него не было такого лица.

В воздухе перед Юдкой возникло белое, как подушка, облако. Оскалившись, Юдка опустил туда левую руку. Оглянулся, безошибочно нашел взглядом Логина и Рио:

— Предъявляйте!

Сотник почуял, как по лысине катится пот. Попробовал вспомнить молитву — не сумел; гадливо осмотрел белое облако, возникшее и перед ним тоже, мысленно плюнул, скрутил левой рукой дулю и сунул в клубящийся мягкий морок.

— Спасибо, — сказал каменный голос, вполне, кажется, удовлетворенный. — Предъявите личности для досмотра.

Рядом явственно охнул Свербигуз. Хлопцы зашатались, кто-то принялся читать «Отче наш» и запнулся на третьем же слове. Сотник ощутил, как поверх режущего света наваливается тьма, и тьма стократ хуже, как будто к отворенным жилам присосались тысячи упырей и пьют, пьют...

А потом послышался другой голос — будто железом провели по стеклу:

— Коллективная виза оформлена неправильно. Кроме того, двое из проходящих Досмотр находятся под заклятием и, хоть у каждого имеется виза на дополнительную душу, пересечение Рубежа для них требует особого разрешения. У одного из прохо-

дящих Досмотр имеется запрещенный к вывозу артефакт! Едва ли не весь спектр нарушений! А вам известно, что лиц, уличенных в нарушении визового режима, постигает административная ответственность?

Сотник понял, что теряет сознание. Пошатнувшись, размашисто перекрестился. Раз, другой, третий...

Юдка стоял, широко расставив ноги, сжимая в кулаке золотой медальон.

«Всех рубить и вперед прорываться...» Кого — всех?! Нет ведь ни души, голоса одни кругом да еще свет!

Тут уж как доля скажет!.. Интересно, а Юдка понял уже, своя смена или чужая?!

— Вперед, — сказал Юдка одними губами.

И сотник воздел над головой шаблю:

— Хлопцы-ы! За мной! Рубай! Як капусту! Впере-од!

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

— Чумак, слышишь?..

В комнате душно. И темно — глаз выколи, но Гринь и без того знает, что сотникову уложили на полу, неподалеку от ведьмы Сало, что братик беззвучно спит на единственной в комнате кровати, а поперек двери разлегся на лавке сам Дикий Пан — вроде бы спит, но попробуй подкрадись к нему! Кому жизнь дорога, не станет и пробовать, а то ищи потом на залитом кровью полу собственную отрубленную голову!

Клинок у пана плохой, местным кузнецом выкованный, от прежней фамильной сабельки только рукоять и осталась. Шабля плохая, да пан хорош. Башку сперва снесет, а потом уж спросит, кто и зачем тут ходит в темноте.

— Чумак...

Гринь на ощупь нашел Яринину руку. Ее пальцы тут же стиснулись у него на запястье:

— Гринь... Страшно мне. Бежать надо. На убой он нас везет, вместе с малым.

Он молча привлек сотникову к себе. Зажал ей ладонью рот; чортяка хоть и спит, а все слышит. Не наделать бы шуму.

— Слушай, чумак, — Гриневому уху становится жарко от шепота, жарко и щекотно. — Я с этой бабой, Сало которая... она тоже... она говорит, чтобы мы утекали, как только будет можно. Она сама этого чорта боится. Никак не может развязаться с ним. Она говорит, что поможет. Что знак даст, когда утекать... Слышишь, Григорий?!

— А малый? — спросил Гринь одними губами.

Яринины пальцы сжались сильнее:

— Бог с ним... Чорт с ним... чорт с ними со всеми, чумак, я жить хочу!

Последние слова прозвучали не жалобно и не по-бабьи. Гринь прерывисто вздохнул.

Вон как повзрослела сотникова. Сколько раз смерти в глаза смотрела — не дрогнула. А цену жизни поняла только сейчас.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Мы едем на лошади с хорошим дядькой. Братик едет на другой лошади. У него лошадь красивая, черная и хорошая. У тетки и Девки лошадь плохая. Коричневая и грязная.

Братик молчит Братику грустно. Мне его жалко; я глажу его по голове. Я протягиваю руку, чтобы найти яблоко и дать братику, но за пленочкой попадается только плохое железо.

Тетка говорит, что скоро город. Там живет дядька, которого зовут Князь. Мы к нему едем в гости.

Девка молчит. Она боится.

Тетка улыбается. Она хочет убить дядьку, когда он заснет.

Ночью мы спим в доме. Мне снится, как я пролезаю из пленочки в пленочку. Там кто-то сидит, он злой! Я боюсь и просыпаюсь.

Тетка уже не спит. У нее в руках длинный нож. Она идет убивать доброго дядьку.

Я кричу, чтобы дядька просыпался. Я не хочу, чтобы его убили. Тетка злая.

А дядька все равно не спит. У него тоже ножик.

Я бегу к братику. Он просыпается и говорит, что мы сейчас убежим. Я хочу убежать! Я хочу убежать с ним к маме!

У злой тетки полный рот страшных закорлючек. Дядька тоже видит их — и хочет поскорее убить ее. Пока она не сказала в него.

Тетка сейчас скажет.

Братик хватает меня, чтобы убежать. Я вырываюсь. Я прыгаю на тетку и кусаю ее за попу.

Она кричит. Закорлючки разлетаются и никого не убивают.

Она меня бьет по голове.

Мне больно.

* * *

Дядька едет на лошади. Тетка едет на телеге, дядька завязал ей руки и ноги, чтобы она не могла убежать. И рот, чтобы она не говорила.

Братик тоже едет на телеге. Дядька говорит, что он будет его

«сердюк». Что братик должен сторожить тетку, тогда дядька его не убьет.

Девка тоже едет на телеге. Она же не может ходить без палки. У нее ножка болит.

Дядька говорит, что тетка предательница. Но он не будет ее убивать. Он отдаст ее тому Князю, к которому мы едем в гости. И Князь ему за это даст «маенток».

Тетка ничего не говорит, у нее ведь завязан рот. Но тетка думает, что дядька дурак. Я говорю, что она сама дура. Она смотрит на меня, и глаза у нее злые. Она думает специально для меня: дядька хочет отдать меня Князю, и Князь сварит из меня кашу.

Я говорю, что из меня нельзя сварить кашу. Что кашу варят из крупы.

Дядька говорит, чтобы я не говорил ерунды.

На небе все разноцветное. У дядьки желтый нос и желтые усы. Я смеюсь.

Значит, из меня можно сварить кашу?

Я спрашиваю у дядьки, зачем он хочет отдать меня Князю.

Его усы уже не желтые, а красные. Он удивился. Он говорит, что Князь хочет, чтобы я был у него в гостях.

Я спрашиваю, зачем Князь хочет сварить из меня кашу?

Его усы уже не совсем красные, а такие, как морковка. Он говорит, что Князь не хочет. Что он меня любит.

Я спрашиваю: а кашу он тоже любит?

Тетка смеется с завязанным ртом.

Братик начинает говорить. Его жалко. Он говорит, чтобы меня не обижали. Он говорит, что я сирота. Я спрашиваю, что такое сирота?

Мимо проплывает большая смысла, но удобная, ее можно ухватить.

Я ем ее, и мне хорошо.

Я говорю братику, что никто меня не обидит. Что я не сирота. Что скоро прилетит мой батька и заберет меня.

Они молчат.

На небе все разноцветное. За две пленочки отсюда танцует голая тетя. Очень толстая. Она, наверное, хочет помыться в речке.

В речке сидит водяной.

Я спрашиваю: а мы скоро приедем?

Дядька говорит, что скоро.

ЧУМАК ГРИНЬ, СТАРШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

В село заезжать не стали, а остановились в поле настоящим лагерем. Оглобли в небо, лошадей в путы, кашу в казанок.

Нас же теперь трое против одного, подумал Гринь в который уже раз. Нас же трое — одолеем. Пусть только уляжется.

Оглянулся — и наткнулся взглядом на острый взгляд пана Мацапуры. Будто на шип нанизался.

— Шустришь, сердюк? Играть вздумал со старым паном?

В казанке булькала крупа. Дикий Пан пластал ножом кусок настоящего сала — где только раздобыл доподлинное сало в здешних краях?

— Смотри, сердюк... Ты выгоду свою всегда разумел — смекни и сейчас. Дома тебя паля ждет, а здесь я тебя при случае нашинкую, как это сальце. Так что думай, что лучше — шинкой быть или надворным сотником при пане Мацапуре?

И улыбнулся так, что Гриню мороз пробрал. Намек был с двойным дном или даже с тройным, да только Гриню всех тонкостей все равно не понять.

— Кланяйся чаще, сердюк. И панночка твоя целее будет, да и...

Красноречивый взгляд на братика. А малой, забыв обо всем на свете, тычет палкой в чью-то нору — хомяку не посчастливилось, а может быть, суслику.

— ...да и младеня огорчать не будем, — хитро закруглил пан Мацапура.

Сотникова, ворочавшая ложкой в казане, на мгновение подняла глаза. Дикий Пан расхохотался:

— Ох, ясочка... глазки сверкают, перец, а не девка. Даром что худющая, что твой патык. Перчику-то подсыпь в кулеш, раз остренькое любишь. Давай-давай, бабе ложка к лицу, а не шабля!

Ярина потупилась. Мацапура, помолчав, добавил:

— А ведь, бывало, гостили в замке и такие вот, тошие...

Перепачканный жирный нож лежал на чистой тряпице. Этим самым ножом Гринь рассчитывал ночью перерезать путы на ведьме Сало; после слов Дикого Пана ему расхотелось дожидаться ночи. Просто схватить ножик и, не оттирая от шинки, погрузить в живот проклятого душегуба...

Эге, размечтался! Бился уже с паном, было такое, до сих пор голова болит.

И Ярина Логиновна тоже с ним билась. Так билась, что теперь даже убежать не может — хромая.

И ведьма Сало опростоволосилась. Уж если она не сумела Дикого Пана прикончить — никто не сумеет...

Эта последняя мысль была как каленое железо. Гринь передернулся.

Сало сидела в стороне, спутанная, как порося на базаре. Лохматая, черная, настоящая ведьма; в зубы ей чорт Мацапура воткнул гладко оструганную осиновую палку, чтобы колдовских слов не могла сказать.

Она и молчала. Затаилась.

Гринь потупился, пережидая острый приступ тоски; спустя секунду на плечо ему опустилась теплая ладошка:

— Тебе грустно?

Ладошка — Гринь накрыл ее своей рукой — была четырехпалая.

— Ты не плачь...

Тонкие руки кольцом обвились вокруг шеи. Гринь задержал дыхание — от братика пахло колыбелью. Домом пахло, матерью.

— Ты чего, паря? — Он через силу улыбнулся. — Запорожец не плачет! Хоть его на шматки режь — а он только смеется да люлькой пыхтит.

Сотникова хмыкнула. Мацапура радостно оскалился:

— А ведь верно!.. Ну, братчики-сестрички, за вечерю!

Ни дать ни взять, короткая передышка на жнивах. Гриню помнилось — собираются жнецы, каждый достает из-за голенища ложку, каждый усаживается на свое место; ах, какой он вкусный, вечерний кулеш, с салом, с солью...

Кусок не шел в горло. Напротив давилась кулешом сотникова; пан Мацапура самолично съел чуть не все содержимое закопченного казана, а потом подтащил к костру пленную ведьму. Взял свою шаблю — Гриню показалось, что голова ведьмы Сало сейчас отделится от тела, но Мацапура всего лишь освободил пленнице рот.

— Кушай, красавица.

Сало жадно выхлебала два ковша воды и съела несколько ложек каши. Все это время Мацапура держал клинок наготове — хотя ведьма, скорее всего, уже и не могла говорить колдовские слова. Губы распухли, язык онемел.

Кто же толмачить будет, когда в город приедем?!

Гринь удивился этой своей мысли. Он не собирался ни в какой город. Эх, умела бы сотникова бегать! А так — на закорках тащить ее...

...Если Мацапура спрячет нож, он, Гринь, зубами перегрызет веревки на ведьме. И они убегут. Мацапура с ребенком на руках не догонит их...

Потому что братика они бросят. Оставят людоеду на растерзание.

Догорал костер.

Мальчонка прикорнул у Гриня на коленях, и Гринь боялся пошевелиться, чтобы не разбудить его.

* * *

Он не спал — лежал под телегой, слушая темноту. Братик, заботливо укутанный одеялом, посапывал сверху, на телеге. Тлели угли в догоревшем костре.

И Ярина Логиновна — он знал — не смыкала глаз.

Оба ждали, пока Мацапура уснет. Ночь длинная.

Правда, ведьма Сало тоже думала, что пан спит. А вот промашка вышла...

Шорох. Поднимается грузная тень. Сам зацный и моцный поднимается. Не спится душегубу!

Гринь перестал дышать.

Дикий Пан подошел к телеге. Гринь слышал, как он поправляет одеяло на спящем ребенке. Еще и бормочет в усы — миролюбиво так бормочет, почти нежно.

Потом переступает через угли. Идет туда, где оставил связанную ведьму.

Тьма.

Скрип разрезаемой веревки. Возня. Глухой стон женщины, у которой заткнут рот. Снова возня, невнятное бормотание, а потом мерное уханье — как будто зацный и моцный дрова рубит.

Заворочался сонный братик. Посыпалась из щелей солома. Гринь на четвереньках выбрался из-под телеги. Темнота — глаз выколи. И ни камня под рукой, ни ножа.

Его нерешительность все погубила. Кинулся бы сразу, огрел бы занятого пана каблуком по затылку — авось, все и изменилось бы, по-другому бы обернулось.

Минута промедления — и вот уже поздно. Снова застонала Сале, а пан приглушенно взвыл, деликатно так, видимо, боясь разбудить ребенка. И тут же, отдуваясь, поднялся.

Темнота.

Зацный и моцный отдышался. Заново связал Сале, на этот раз не издавшую ни звука. Грузная тень на секунду заслонила собой тлеющий костер — пан поворошил угли, постоял, прислушиваясь.

Из пятерых людей у костра спал сейчас только ребенок. Ярина — Гринь знал — обмерла на своей рогожке и тоже боится, и тоже ждет, когда чортяка уляжется наконец.

Будто вняв Гриневу страстному желанию, Мацапура громко зевнул. Побрел на свое место, завернулся в одеяло, поворочался, стих.

Умиротворенно трещали сверчки. Гринь медленно распрямил затекшие ноги. Теперь надо обождать.

Пахло степной ночью. Мало он их видел, таких ночей? Когда пение сверчков заглушается здоровым храпом притомившихся за день хлопцев, и громче всех выводит носом дядька Пацюк, и висит посреди неба вечная дорога — Чумацкий шлях...

Кажется, только на секунду прикрыл глаза — а в мире неуловимо что-то изменилось. Холоднее сделался ветерок; еще час — и небо начнет светлеть.

— Чумак... — еле слышно позвали из темноты.

Ярина.

Пора!

Гринь вскочил было, но тут же опустился опять. Притаился.

Потому что Дикий Пан все еще не спал. Ворочался, давя боками толстое одеяло. Подминая под себя росистую траву.

Потом поднялся. Ухнул, разминая мышцы. Уверенно двинулся в темноту — туда, где устроилась на ночлег хромая сотникова.

Гринь без слов ощутил Яринин внезапный ужас.

Дикий Пан остановился над девушкой. Чуть слышно ухмыльнулся:

— Стало быть, сердце с перцем?

Сотникова молчала.

Гринь знал, что против Мацапуры ему не сдюжить. И знал, что ради спасения Ярининой жизни следует лежать тихо, как мышка.

— А, Ярина Логиновна? Какова ты с шаблей — знаю...

Тишина. Гринь зубами вцепился в собственную руку.

— Повезло старику, — поделился радостью Мацапура. — Две бабы попались, и обе перченые!..

Вскрикнула Ярина. Сквозь сильную ладонь на губах.

Да лежи ж ты, дурень, сам себе велел Гринь. Погубишь ведь и себя, и девку погубишь...

А секундой спустя понял, что стоит, напружинившись, готовый... к чему?

А схватить бы сонного мальчонку — да и деру. Здесь хутор неподалеку, свести коня, не впервой...

Всего несколько секунд. Гринь дотянулся до непрогоревшей коряги в костре, схватил, обжигаясь, марая руки копотью...

И снова все готово было перемениться. Неведомо как обернулось бы, если бы не проснулся и не заревел чортов сын. Утробно, басом, так, что от неожиданности палка чуть не выпала у Гриня из рук.

Мацапура замер, по-прежнему зажимая Ярине рот.

— Дядька-а-а! — ревел Гринев братик. — Уй-юй-юй... Дядечка!

— Что, малый?

Мацапура оставил Ярину и поспешил к ревущему воспитаннику. Чуть не споткнувшись в темноте о Гриня, который едва успел убраться с дороги.

Рассказал бы кто — плюнул бы в глаза, как плевали, бывало, завравшимся чумакам на привале. Дикий Пан по своей воле с девки слез — и с младенцем нянчиться побежал. Баюкать и тетешкать, заново спать укладывать, одеяльцем укрывать...

Хрипло рассмеялись по ту сторону костра.

Смеялась ведьма Сале с завязанным ртом.

Домов уже очень много.

Дядька накрывает тетку одеялом, чтобы другие люди не видели ее.

Братик едет в телеге и держит вожжи. Мне его жалко. Ему страшно, и хочется убежать.

Девка сидит рядом с ним. Ей тоже страшно. Она сидит к братику все ближе. И даже держится за него.

Тетки не видно, она же под одеялом.

Домов еще больше. Появляется высокая-превысокая стенка. И другие люди в одинаковых красивых свитках. Какие хорошие люди! Какие красивые у них лошади!

Я смеюсь. Красивые люди глядят на меня. Они боятся.

Дядька говорит, чтобы я тоже спрятался под одеяло. Что эти люди меня испугались.

Я говорю, что не стану их убивать. Пусть они не пугаются.

Он насупонивает брови и говорит, чтобы я был послушным. Тогда он нарисует мне смыслу.

Братик говорит, чтобы я сел рядышком, и он меня прикроет.

Дядька говорит, чтобы братик ничего не выдумывал. Что он, дядька, смотрит за ним.

Ворота открываются.

Братик накрывает меня своей свиткой. Я смотрю через щелочку.

Тут очень-очень много пленочек! И они переливаются радугой.

Тут очень душно. Совсем нет ветра.

Тут очень красиво. Прямо на дороге нарисованы картинки.

Тетка думает под своим одеялом. Громко думает о том, как Князь посадит доброго дядьку в подвал. Я молчу и ничего ей не думаю. Она злая.

Тетка думает еще.

Она вспоминает другого мальчика, большого, почти дядьку. Дядьку-мальчика кто-то убил, и тетке было очень жалко. Я спрашиваю, кто его убил, и тетка начинает молчать. Она испугалась. Я понимаю, что того дядьку-мальчика убил Князь. Он его не любил. Я спрашиваю, почему тетка не убила тогда Князя?

Она молчит.

Я думаю, что если моего братика кто-то убьет, то я его тоже убью.

Она думает, что я чудовище.

Я говорю, что нет. Братик спрашивает, с кем я говорю.

Братику страшно. И ему интересно. Он смотрит по сторонам. Тут очень красиво.

Я думаю тетке, что спрошу Князя про того мальчика-дядьку. Она быстро думает, чтобы я не спрашивал. Чтобы я вообще молчал.

Мы выезжаем на площадь, большую-пребольшую. Тут стоит большой дом. Братик совсем удивляется. Он трогает рукой то лоб, то живот, то плечи. Он всегда так делает, когда ему страшно или удивительно.

Дядька говорит, что это дворец. Что там, наверное, живет Князь.

Тетка что-то думает, я не пойму что.

Красивые люди с красивыми шаблями спрашивают, кто это приехал. Дядька говорит, что это привезли Большой заказ для Князя. Красивые люди удивляются. Они говорят, что такого быть не может. Тогда дядька поднимает одеяло и показывает им связанную тетку.

Красивые люди еще больше удивляются, и мы въезжаем в ворота с картинками.

Как красиво!

* * *

Нас приводят в зал, такой блестящий, что я зажмуриваю глаза. Здесь дядька, тетка и я. Братик и Девка остались в маленькой комнате, где много людей в красивых свитках. Я скучаю за братиком.

Мы кого-то ждем; на потолке висит люстра, она, как солнце, золотая, много цепочек, свечек и подвесок. Я смотрю на люстру. Потом на столик — он из зеленого камня. Я трогаю его пальцем. Он прохладный и гладкий, как пленочка, только его нельзя проткнуть насквозь.

Блестящий пол. Я наклоняюсь и трогаю его. Он скользкий. Возле стен стоят красивые люди в очень красивых шапках. Я тоже хочу такую шапку. Я подхожу, чтобы потрогать одного красивого человека, но он боится. Наверное, думает, что я хочу его убить.

Тетка тоже здесь. Рот у нее развязан и ноги развязаны. И руки. Но дядька стоит рядом, и он может ее ударить. Он говорит тетке, что она предательница, что если она станет толмачить не так, как надо, то дядька сразу это поймет и убьет ее.

Потом дядька видит, что я отошел, чтобы потрогать красивого человека. Дядька сперва пугается, потом злится, потом хватает меня за руку и держит. Мне больно. Я говорю, чтобы он пустил.

Дядька говорит, чтобы я молчал.

Тогда открываются большие двери и выходит еще один дядька. У него очень красивые сапоги, а на боку блестящий нож. Я тоже хочу такой нож.

Новый дядька смотрит на меня. Я показываю ему дулю.

Тетка начинает говорить, но как-то непонятно. Новый дядька в красивых сапогах и с ножом отвечает. Добрый старый дядь-

ка ничего не может понять. Тетка начинает толмачить, говорить, что это Князь и он очень рад. И даст награду и тетке, и дядьке. Какую дядька хочет награду?

Мне становится странно. Я просовываю голову сквозь пленочку. Раньше я никогда такого не делал. Мне становится страшно.

Новый дядька Князь очень большой, высотой до самого потолка. В животе у него клубок света, как будто он съел целый костер. На пальце у него красная злая цацка. Я смотрю на своего старого дядьку и хочу вырваться, но он держит крепко. Мне больно. Дядька тоже большой, и в животе у него тоже костер, как будто он его съел. А на шее у него моя любимая цацка, красненькая.

А тетка маленькая, но очень злая. И у нее опять полный рот страшных закорлючек.

Я говорю, что хочу пописать. Князь открывает рот и смеется. Дядька меня не выпускает. Дядька удивляется — почему Князь меня понимает?

Я писаю прямо на блестящий скользкий пол.

* * *

Они говорят долго, и мне становится скучно.

Князь говорит, что теперь в их Капле будет Спаситель. Что теперь радуга погаснет. Что все будет хорошо.

Тетка рассказывает все это моему дядьке и думает, что Князь дурак. Что их Капля скоро исчезнет. Что радуга в небе, и нет заступника.

Они очень похожи, Князь и мой дядька.

Князь говорит, что дядька скоро получит свою награду. И Сале — это тетка — тоже получит.

Я спрашиваю, получит ли награду мой братик и его Девка.

Князь смеется и говорит, что все, все получат свою награду.

Мне делается страшно. Он злой. Он хочет сварить из меня кашу.

Я плачу.

Часть вторая

КОНСУЛ И ДЕВИЦА

ПРОЛОГ ПОД НЕБЕСАМИ

Базальт клали на века. Прочен был камень, и не лишней тысяче ног было повредить мозаики Площади Владык. Даже копыта конские били, ущерба не нанося. Только искры летели.

Зато появилась грязь.

Впервые — за сотни лет.

Ночью прошел дождь, и рыжая земля беззаконно прилипала к башмакам. К башмакам, которые никто и не думал мыть. Грязь прилипала — и оставалась: на подошвах и копытах, на сценах пиров и охот, на картинах давних сражений. Никто не замечал — в этот день люди на площади смотрели не вниз, а в небо.

Тоже впервые.

А когда повалились медные столбики и упал красный канат, что ограждал Стену Ликов от напиравшей толпы, ясно стало — беда.

Люди смотрели в небо. В горячее летнее небо. Смотрели, щурились, вытирали слезы.

Жарко пылало солнце!

Впрочем, на площади уже с утра торговали закопченными на огне стеклышками.

Они были не так и нужны. Достаточно лишь чуть прикрыть глаза, слегка прищуриться, закрыться ладонью...

Маленьким было пятнышко. Крохотным.

Черным.

Вчера, когда на закате искру приметили, никто и внимания не обратил. А вот сегодня...

С утра — как головка булавочная, к полудню — как монетка медная.

Люди смотрели.

Ждали.

И в первый раз никому не было дела до давней славы, запечатленной на базальтовых мозаиках.

Братья стояли возле самой Стены Ликов. Четырехпалая ручонка младшего крепко стиснута ладонью того, что старше.

Младшему было больно, но он терпел, не говоря ни слова.

Мальчик, единственный на огромной площади, смотрел не в небо, не на черную червоточину возле солнца.

На людей смотрел.

Смотрел, молчал.

Наконец старший разжал руку.

— Тебе ж больно! Прости!

Младший не ответил.

Думал.

— А может, обойдется? — неуверенно продолжил старший. — Как себе мыслишь, хлопче?

Он никогда не называл брата по имени.

— Дырочка. В пленочках дырочка, — тихо проговорил четырехпалый мальчик. — Улетит в дырочку все. Пусто за пленочками, братик!

— То... То погинем мы? Все погинем?

И снова промолчал младший.

Думал.

— Бесталанные мы с тобой, хлопче! — вздохнул старший брат. — И дома жизни не было, и здесь, выходит... Или Бога прогневили? Неужто пропадем? Весь мир пропадет?

Он не ждал ответа. И вздрогнул от негромких слов мальчика.

Негромких, словно для себя самого сказанных:

— Нет. Я спасу.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

Далекий снег казался не белым, даже не голубым — зеленым. Стылая мерцающая зелень тянулась до самого горизонта, и не было ей ни конца ни краю, словно под черным зимним небом распростерлась не снежная равнина, рассеченная неровными черными изгибами оврагов, а бесконечное болото, вязкое, стылое. Ступи — и уйдешь в тот же миг в топь, в ледяную трясину. Ни крикнуть, ни шепнуть, ни Матушке-Заступнице помолиться.

Черная Птица с трудом повела замерзшими крыльями, взмахнула ими, дернулась. напрягая последние силы, но холодный воздух не держал, поддавался, будто и здесь, под мертвенно-белой луной, тоже было болото. Взмах, взмах, взмах... Тщетно! Воздух скользил, не задевая, даже не касаясь перьев. Самое страшное случилось — сила, державшая ее в поднебесье, уходила, растворялась без следа. А в черных небесах беззвучно скалился-хохотал Месяц-Володимир, и от его холодного оскала замирало сердце, холодела кровь.

Черная Птица вновь взмахнула крыльями и закричала — отчаянно, громко, словно здесь, среди равнодушных звезд, мог найтись тот, кто поможет, заступится...

Отзвука не было, не было эха. Голос стих, словно утонув в трясине. И тогда она вновь закричала...

Ярина открыла глаза — в зрачки плеснула темнота. Застонала, приподнялась, звеня цепями, дотянулась до кувшина. Глоток ледяной воды привел в чувство, прогнал нахлынувший ужас.

Плохо!

Очень плохо, панна сотникова!

Ярина попыталась встать, но изувеченная нога не слушалась, скользила по влажным от сырости плитам пола. К тому же висевшие на запястьях цепи мешали, тянули вниз. Девушка закусила губу, чтобы не заплакать, не зарыдать в голос, не завыть.

Плохо! Ох, как плохо!

Даже не поймешь, что хуже — чужбина, неволя, кандалы на

растертых до крови запястьях, волглая сырость подземелья — или грязь, омерзительная, сводящая с ума. Все плохо, но всего горше — нет надежды. Никакой. Словно у Черной Птицы, что снится ей почти каждую ночь. Не держат крылья, не держит воздух, вместо неба — трясина, а внизу — зеленый, мерцающий трупным отсветом снег.

Все-таки не выдержала — заплакала. Молча, тихо, глотая слезы. Эх, батька, батька, бесталанная у тебя дочь! Бесталанная, бессчастная. Сказал бы кто еще полгода назад, что гордая панна Загаржецка будет плакать по ночам от бессилия да от бабьей слабости! Не поверил бы старый черкас Логин, ударил бы пудовым кулаком по столу, да так, что доски — вдрызг!..

В дальнем углу послышался стон — негромкий, жалобный. Ярина вздохнула. Еще и это! Будто бы мало одной беды!

Когда дюжие сердюки в ярких каптанах приволокли ее сюда, в черную, обложенную влажными камнями яму, когда бородатый кузнец, дыша перегаром, забил руки и ноги в кандалы, одному обрадовалась — не сама она тут. В углу, под тусклым окошком, притаилась еще одна горемыка — в таких же цепях, такая же грязная и нечесаная. Лишь только за стражниками закрылась кованная железом дверь, Ярина потянулась вперед, негромко окликнула — и услыхала в ответ даже не вой — собачье тявканье. Несчастная была безумна.

Серый дневной сумрак сменялся чернильной ночной тьмой, за дверью привычно грохотали сапоги, бородатый сердюк приносил кувшин с водой да железную миску с варевом, которое приходилось есть руками. Ничего не менялось, разве что надежда, и без того маленькая и тусклая, словно звезда на рассветном небе, с каждым часом становилась все меньше, все незаметней.

Погасла.

Сгинула.

И тогда пришли сны, пришла Черная Птица, тонущая в ледяной пучине. От этих снов Ярина просыпалась — с криком, в ознобе. Наверное, той, что сидела в дальнем углу, тоже снились такие сны — пока тьма безумия не захлестнула, не покрыла с головой.

Стон сменился смехом, даже не смехом — хихиканьем. Ярина вновь тяжело вздохнула. Проснулась! Лучше бы не просыпалась!

Кое-что она все-таки поняла. Упырь Мацапура привез ее к здешнему гетьману — значит, и темница гетьманская, державная. И подземелье это — непростое. С чего бы обычных вори-

шек да шаромыжников в глухие камни прятать? Невесть что рассказали о ней гетьману, вот и повелел он спрятать незваную гостью подале. Та же несчастная, что тявкает да хихикает, когда-то иные времена знавала. От платья одни лохмотья остались, но и лохмотья о многом говорят. Не бархат, не парча даже. Серебряное шитье, кое-где и жемчуга уцелели, на худой руке — золотой браслет с синим камнем. И ведь не отобрала стража. Побоялась, видать! Не из простых та женщина. В справных нарядах ходила, высоко голову держала. Не сотникова дочь, даже не полковничья.

А вот сколько лет — не понять. То ли двадцать, то ли все сорок. Нет возраста у безумия.

Здесь, среди холодного камня, девушке часто вспоминалось другое подземелье. Люк в потолке, черный зев колодца... Странная мысль приходила на ум. Нелюдь Мацапура все же не сковал ее цепями, не кормил, словно собаку. И был с нею седобородый пан Станислав, не побоявшийся заслонить ее в последний миг, когда явились за ней Дикий Пан со своим мертвяком-шляхтичем, протянули жадные руки. Заслонил старик — и сам упал. Страшная доля выпала пану Станиславу Мацапуре-Коложанскому, но умер он лыцарем. С ним не так страшно было, хоть и тогда надежды почти не оставалось.

В углу стало тихо, и девушка облегченно вздохнула. Спит? И слава богу! За что же посадили сюда зацную пани? Заговорщица? Чернокнижница? Или?.. Или тоже душа невинная? Еще совсем недавно Ярине казалось, что по тюрьмам да острогам сидят лишь душегубы да воры. Что же это за земля, где без суда и приговора людей в цепи куют?

От сена пахло гнилью. Девушка подложила под ухо скованную руку, поморщилась, попыталась перевернуться на спину. Близкий камень дышал сыростью.

* * *

За ней пришли утром. То есть Ярине показалось, что утром. Тьма только начала сменяться серым сумраком, в коридоре прогрохотали сапоги — сменилась стража, миску забрали, но воду так и не принесли. Может, утро, а может, и полдень...

Знакомый кузнец долго возился с цепью. Руки расковывать не стал, освободил лишь ноги. Ярина попыталась встать — не дали. Бородатые сердюки схватили под руки, потащили по коридору. В спину ударило привычное тявканье.

Свет был неярок — в небольшом зале горело полдюжины свечей. Но хватило и этого, глаза с отвычки наполнились слезами, девушка зажмурилась, с трудом подавила стон.

Сердюки подтащили ее к столу. Кажется, за ним сидели двое — или даже трое. Слезы мешали видеть, но Ярина успела заметить скатерть. Богатая скатерть, тканая, не скатерть даже — ковер. На ковре-скатерти — чернильница, подставка с перьями...

Толчок. Девушка не устояла на ногах — упала. Но не на пол — на скамью. Чьи-то руки сжали плечо, поддержали. Рядом засмеялись — снисходительно, с презрением. Ярина вдруг представила себя со стороны: грязная, в нелепой плахте, со спутанными волосами, глаза красные, словно у совы.

— Ирьина! Ирьина Загаржецка!

Чужой голос заставил вздрогнуть. Обращались к ней. Кажется тот, за столом, пытался выговорить ее имя.

Глаза наконец стали видеть. Да, за столом трое. Посередине тот, кто обращался к ней, — худой, весь в черном, в каптане непривычного кроя. Вроде как гишпанский камзол, каким его в книжках рисуют. По левую — писарь, маленький, на крысу похожий, перо — за ухом. А по правую...

— Ирьина Загаржецка?

Теперь в голосе «гишпанца» слышалось нетерпение. Ответить? Все равно, хуже не будет.

— Я — Загаржецка Ярина Логиновна. Мой батька — моцный пан Логин, валковский сотник!..

Сказала и осеклась. Вместо привычного звонкого голоса — хрип. Кажется, тот, за столом, и не расслышал.

«Гишпанец» кивнул писарю, тот выхватил перо из-за уха, пододвинул бумагу. Или пергамент — не поймешь. Кончик пера нырнул в чернильницу.

Проснулось любопытство. Не то дивно, что с нее наконец-то допрос снять решили. Иное странно — как им друг друга понять? Здешнее наречие — словно свинец; как ни тужься, и дюжины слов не запомнишь. Гринь старался, старался — так и не выучился, все на мигах да на пальцах беседы вел.

И точно — следующий вопрос прозвучал впустую. Девушка даже плечами пожала. Или «гишпанец» этот ничего о ней не слыхал?

— Не понимаю! — Она попыталась встать, но крепкие руки легли на плечи, не пуская. — Толмача найдите, панове! Тогда и говорить будем.

Голос словно прорезался — звучал почти как прежде. Ярине стало легче. Раз хотят беседовать, то и толмача разыщут. Вот тогда она скажет. У нее есть что сказать!

Допросчик в черном каптане склонился к писарю, что-то зашептал. Перо легко заскользило, оставляя большие уродливые

значки, чем-то похожие на жуков. «Гишпанец» между тем повернулся направо.

Тот, что сидел одесную, казалось, попал сюда случайно. Не человек — гриб-поганка. На плечах — рубище, вместо лица — одни морщины, из которых торчит острый нос. Но Ярине стало не по себе. Пан в черном тут явно главный. Писарь — он и у антиподов писарь, а вот гриб-поганка... Не бывает в застенке случайных людей. Кат? Лекарь? На лекаря старикашка не походил. Значит?..

Они шептались долго, затем гриб-поганка закивал, в его руках словно сама собой появилась грамота с золотой печатью на толстом шнуре. Теперь настала очередь «гишпанца» кивать в ответ. Наконец сговорились. Старикашка встал, махнул рукой сердюкам. Ярина и сама попыталась встать. Поняла — началось!

Снова крепкие руки подхватили ее, подтащили к столу. Один из сердюков сжал ее кисть, дернул, протянул над столом.

Не закричала — хватило сил. Неужто начнут пытать — даже не спросив, не разобравшись? Или думают, что от боли она на их тарабарщине заговорит? Или вообще не думают, просто службу справляют? Спросили, не ответила, взялись за кнут...

Когда в маленькой, словно детской, ручонке гриба-поганки появилась длинная игла, девушка не выдержала — рванулась. Вот оно! Слыхала о таком, теперь испытать придется! На миг страх исчез, сменившись обидой. Ну за что? Что сделала она им такого? Хоть бы не пытали, хоть бы сразу убили!..

Укола не почувствовала. Лишь у основания большого пальца начала медленно набухать капля темной крови.

— Отпустите ее!

Руки разжались. От неожиданности девушка пошатнулась, с трудом удержалась на ногах.

— Вы можете присесть... занять свое место, госпожа Загаржецка.

Говорил «гишпанец» — все тем же голосом и даже теми же словами. Только теперь она понимала. То есть не понимала...

— Госпожа Загаржецка! Я есть... являюсь государственным прокурором Его Светлости Князя Сагора Третьего. Мое имя есть господин Иллу. Сообщаю... ставлю в известность, что вам выдана годовая виза на пребывание в пределах владений Его Светлости, что позволяет нам сообщаться... вести понятное общение.

Виза? Это странное слово она уже слыхала. Не здесь — дома. Химерный пан Рио рассказывал.

Пан Рио! Ну конечно! Они все-таки нашли толмача! Такого знакомого!

— По поручению Его Светлости я предложу вам ряд вопро-

сов, на которые ожидаю получить... услышать правдивые и исчерпывающие ответы.

Невидимый толмач! Ярина еле удержалась, чтобы не перекреститься. Ай, чернокнижники! Знать бы, на каком капище ту иглу калили! Нет, лучше не знать!

— Вопрос первый...

— Погодите!

Девушка потянулась вперед, забыв об искалеченной ноге. Напрасно! Пол рванулся из-под ног, пришлось падать вперед, прямо на доски стола, на богатую скатерть. К счастью, стоявшие рядом вовремя спохватились. Поддержали, бросили назад, на скамью.

— Погодите! Вы обязаны меня выслушать!

Ярина заговорила быстро, сбиваясь, глотая слова. Только бы не перебили, только бы дали сказать!

— Я — подданная Войска Запорожского, урожденная шляхтянка, роду зацного, старшинского. Мой батька — моцный пан Логин Загаржецкий, сотник валковский. Прибегла я сюда, во владения кнежа Сагорского, не своей волей, но будучи исхищенной злодеем Мацапурою, который есть богомерзкий нелюдь и оборотень. То я требую у пана прокурора Иллу, дабы он изъяснил, по причине какой да по какому статуту я, словно злодейка, бессудно банована?

«Гишпанец» повел бровью, и на лицо Ярины легла тяжелая, пахнущая чесноком ладонь.

— Вопрос первый. Его Светлость требует, дабы вы, Ирьина Загаржецка, во всех подробностях обрисовали.. описали обряд, который помог вам, господину Мацапуре, а также прочим господам перейти Рубеж. Поняли ли вы мой вопрос, госпожа Загаржецка?

Пахнущая чесноком ладонь разжалась, и Ярина смогла перевести дух. Значит, бесполезно? Ее просто не стали слушать!

— Говорю повторно... повторяю. Поняли ли вы мой вопрос, госпожа Загаржецка?

Голос прокурора Иллу звучал равнодушно, брезгливо, в нем слышалась откровенная скука. «Гишпанцу» был неинтересен разговор с грязной некрасивой нищенкой, посмевшей его перебить.

— Я... Я поняла вопрос.

...Черные свечи, перевернутое распятие, запястья, сжатые веревками, страшные непонятные слова — и холод, неживой, нездешний, подступающий со всех сторон. Такое не забудешь — ни в этом мире, ни в Ином...

— В этом случае прошу вас начать рассказ... приступить к ответу.

— Я должна подумать. Должна вспомнить!

Слова вырвались сами собой, и девушка тут же пожалела о них. Вроде бы пощады просит. Неужто сломалась? Струсила, сдалась, готова на все?!

Прокурор Иллу пожал плечами и посмотрел на писаря. Тот засуетился, полез куда-то под стол. Миг — и на скатерти появились песочные часы. Неслышно заскользили песчинки.

— Вам дается время, чтобы вспомнить... привести мысли в порядок.

Мыслей не было. Они ускользали, черными птицами улетали прочь, в горящий недобрым зеленым огнем простор. Проще всего, конечно, рассказать. Беды от того не будет, а неведомый кнеж Сагорский, может, смилуется...

...И велит перевести в другую камеру, посуше да посветлее.

Ярина покачала головой. Да, мало ей понадобилось, чтобы обо всем забыть — и о гордости черкасской, и о долге. Сперва у свинопаса, мугыря-чумака, у иуды-Гриня, лучших хлопцев на распыл пославшего, ласку вымаливала; теперь же и сама готова иудой стать! Ведь не для добра кнежу тот обряд нужен! А раз у нее расспрашивают, значит, все другие молчат! Даже ведьма Сало, даже Мацапура-христопродавец! Гринь, предатель, рад был бы, наверно, рассказать, да не знает. Под самый конец он там оказался, поди, и не запомнил ничего!

И главное — куда это кнеж Сагорский переходить собрался?

Выходит?

Выходит, молчать нужно?

Молчать?

Да, молчать!

Когда последняя песчинка упала вниз, Ярина прикрыла глаза. Ненадолго, всего на мгновение. Эх, силы бы ей! Совсем она сдала за последние недели.

— Прошу начать рассказ... сообщение, госпожа Загаржецка.

— Нет.

Губы еле шевельнулись. Девушка набрала в грудь воздуха, резко выдохнула:

— Нет!!!

— Прошу объяснить... мотивировать свой отказ.

Прокурор Иллу глядел куда-то в потолок. Ему было скучно.

Ярина хотела смолчать и на этот раз, но все-таки не выдержала.

— Или не понимаете вы, пан Иллу? Тот обряд сатанинский, люциперов! Каждый, кто к тому руку приложит, душу потеряет. Или вашему кнежу души не жалко? И кто же я после того буду, коль о таком поведаю?

Девушка задохнулась воздухом, откинулась назад. Понял? Ведь такое всякий поймет, даже нехристь!

— Ваше объяснение, госпожа Загаржецка, не есть убедительное... достаточное. Прошу в последний раз начать повествование.

— Нет.

На этот раз слово вновь прозвучало еле слышно. Силы ушли, вырвались вместе с криком.

Она ждала всего — ответного крика, угроз, удара в лицо, но прокурор молчал. Странная, невероятная мысль поразила Ярину: пан Иллу попросту дремлет! Спит с открытыми глазами! Такого не могло быть, но почему «гишпанец» молчит? Молчит, клюет носом, взгляд уткнулся уже не в потолок, а в скатерть.

Думает? Ой, непохоже!

Кажется, подобную странность заметила не одна она. Другой нос — длинный нетерпеливый — сунулся к самому уху прокурора. Губы гриба-поганки неслышно зашевелились.

Пан Иллу, не меняя позы, кивнул. Затем вновь замер, снова кивнул.

— Госпожа Загаржецка!..

Слова рождались медленно, с явной неохотой. Казалось, прокурору менее всего хочется говорить с упрямой девицей.

— Его Светлость предусмотрел... предвидел ваш отказ. Его Светлость на этот случай предусмотрел принятие необходимых мер... действий. Меры... действия, которые будут предприняты в данный момент... сейчас, являются лишь предупреждением... информацией к размышлению.

Невидимый толмач явно не справлялся, сбиваясь на дико звучавшие невнятные словеса. И вдруг новая мысль, еще более странная, поразила Ярину. Прокурору не скучно. Ему противно — до тошноты, до озноба. И не она, искалеченная девчонка, тому виной. Виной — то, что задумали сделать с нею! «Гишпанец» не хочет, тянет время!..

И вновь стало ясно — не одна она о том думает. Длинный нос старикашки вновь сунулся к уху прокурора, даже писарь привстал, нетерпеливо дернул тупым подбородком.

— Приступайте!

Да, в его словах звучала не скука — откровенное омерзение. Пан Иллу встал и, резко повернувшись, шагнул к черному проему двери. Писарь, радостно потерев ладошки, переглянулся с грибом-поганкой, вскочил, махнул рукой...

Чужие руки вцепились в плечи, рванули грязную плахту, толкнули лицом на скамью. Девушка закричала, дернулась, но держали крепко. Цепь, висевшая на руках, натянулась, прижимая ладони к твердому дереву, чья-то свинцовая задница бухнулась на ноги.

От первого удара плети — беспощадного, поперек спины, она вскрикнула, но тут же закусила губу, решив молчать — до конца, до черного беспамятства. Не будет согникова дочка черкасских кровей под плетьми вопить! Не будет! Не будет!

Били в две руки — расчетливо, соизмеряя каждый удар. По спине, по ногам, снова по спине, ниже, по свежей ране, по окровавленной коже. С каждым мигом боль становилось все сильнее, все невыносимей. Ярина уже не понимала, что не молчит — кричит, орет во все горло, срывая голос. Губа давно прокушена, кровь льет по подбородку...

Сознание все еще не уходило — долго, невыносимо долго. Сознание — и боль. Но голос пропал, сменившись не хрипом — шипением. А плети свистели, уставшие палачи меняли друг друга...

И, наконец, пришла тьма.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Дядька уехал. Мне скучно.

Братику тоже скучно. Он плачет. Я не могу его утешить. Даже смыслы не помогают.

Злая тетка не хочет со мной говорить. Она хочет плакать, как и мой братик, но молчит. Она хочет, чтоб я умер.

Вторую тетку зовут не Девка, а Ирина Логиновна Загаржецка. Я ее не вижу, но она рядом. Ей больно. Она может скоро умереть. Я послал ей смыслу и сказал дядьке Князю, чтобы Ирина Логиновна Загаржецка не умирала. Он удивился и спросил, знаю ли я, что это такое. Я сказал, что знаю, а вот он — нет. Когда подрасту, то объясню. Он удивился и испугался.

У дядьки Князя есть свой мальчик по имени Княжич Тор. Он очень-очень маленький, ему всего три годика. Я поймал ему смыслу, но он заплакал. Дядька Князь его очень любит и очень за него боится.

Пленочки стали темнее и тверже.

* * *

Сегодня я смог нарисовать смыслу.

Дядька Князь повел показать мне большую горницу, в которой стоят тяжелые игрушки. В каждой игрушке много листиков с неправильными смыслами. Я сказал это дядьке Князю, он удивился. Тогда я нарисовал ему настоящую смыслу — большую и белую. Дядька Князь испугался и спросил, откуда я знаю На-

речие Исключения. Я сказал, что это не наречие, а смысла, ее рисуют жучками. Я знаю много жучков. Жучки на листиках в горнице неправильные. Тогда дядька Князь показал мне тяжелые игрушки с правильными жучками. Но смыслы там невкусные.

Добрый дядька далеко. Ему хорошо.

Ирина Логиновна Загаржецка рядом. Ей очень плохо и больно. Мои смыслы ей не помогают. Даже белые. Я должен что-то придумать. Но я еще маленький, и я этого не умею.

Братик не хочет со мной говорить. Ему тоже плохо. Он говорит, что стал «иудой». В этом слове есть смысла, но очень черная.

Я хотел заплакать, но вдруг понял, что плакать нельзя. Когда я плачу, другим становится хуже.

И я не плачу.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

...И снова падала Черная Птица, и снова воздух поддавался, не держал, а светящаяся зеленой мертвизной земля была уже совсем рядом, и спасения не было, не было надежды...

Ярина лежала, уткнувшись лицом в грязную солому. Кувшин оказался пуст, не осталось и горсти воды, чтобы протереть окровавленное лицо. Забыли? Нет, похоже, Его Светлость ничего не забывает! Пустой кувшин тоже должен стать «предупреждением» строптивой «госпоже Загаржецкой».

Из дальнего угла, в котором грудой грязных тряпок скорчилась та, что лишилась рассудка, время от времени доносилось испуганное тявканье. Но обращать на это внимание уже не было сил.

Ярина не спала. Точнее, ей казалось, что она не спит, а просто лежит на вонючей соломе, не в силах двинуться, шевельнуться, чтобы вновь не разбудить боль. Подземелье никуда не исчезло, оно было тут, но Черная Птица тоже была здесь, и светившийся недоброй зеленью снег, и черное зимнее небо. Все это было реально, осязаемо...

И страшно, страшно! Почему-то земля была далеко внизу, а Черная Птица все падала; воздух густел, и от неверной колдовской зелени уже тянулась еле заметная дымка, забивавшая горло сладковатым трупным духом.

Черная Птица падала, сил уже не было, исчезли, истощились

в страшной борьбе. Волглое подземелье уходило ввысь, к жестокому небу, и Птица... и Ярина не могла пошевелить крылом.

Странно, она не боялась смерти. Смерть осталась позади, где-то там, среди руин Мацапуриного замка, среди трупов и пятен крови на полу — ее, Ярины, крови. Уже не раз приходила невероятная догадка, объяснявшая все. Невероятная, дикая, жуткая...

Ад!

Она действительно погибла там, среди крови и мерзких заклинаний. Сгинула без попа и исповеди, не сумев помешать сатанинскому шабашу.

Сгинула — и попала сюда. Господь ведает, как карать рабу Свою! Надежда, страх, унижения, снова надежда, снова унижения, и боль, боль, боль...

Дня за два до страшного похода в Калайденцы, где сгубила она своих хлопцев, сдуру доверившихся хвастливой девчонке (вот он, еще один ее грех! еще страшнее, еще неподъемней!), сидели они с Хведиром-Теодором да о пустяках болтали. Бурсак, душа добрая, видел, что не по себе Ярине от ноши, на бабьи плечи взваленной, и, чтобы от забот хоть на час отвлечь, принялся пересказывать ей вирши забавные, неким пиитом из Полтавы сочиненные. Будто гуляет славный черкас Эней по миру широкому со своими хлопцами-ланцами, и заносит его в самое пекло. А в пекле том — каждому по грехам. Кому котел, кому — сковорода, кому — очерет косить да под котлы сваливать. И не страшно — смешно.

Хорошо читал Хведир, не сбивался. Славная память у хлопца! И голос — хоть сейчас в дьяконы. Посмеялась Ярина, повеселилась — а после и задумалась. Весь если над пеклом смеяться можно, то что это за муки, за наказание? Смех — да и только!

И тогда Теодор серьезным стал, насупился, а после и сказал. Крепко сказал, словно и не своим — отцовым голосом:

«То не пекло, Яринка! Ад — он в нас самих. И нам от него не уйти. Потому как душа вечна, значит, и ад в нас — вечен!..»

И вот он — Ад!

Все, чего боялась она, чего страшилась, от чего бежала — здесь.

Все?

Не все, конечно! Черная Птица еще падает, еще цепляется за непослушный воздух, еще отворачивает глаза от трупной зелени, от трупного духа...

Ровная зеленоватая поверхность сморщилась, пошла трещинами, туман сгустился, твердея. Вот она — погибель, всеконечная, безвозвратная. Все, что было, — еще не мука, не горе. Горе — впереди, совсем рядом. Коснутся бессильные крылья неверной заснеженной тверди, ударит в глаза мерцающий болотный огонь...

Ниже, ниже — в холод, в ледяной ад, где снежинками смерзаются души. Черная Птица кричит из последних сил, поднимает глаза к равнодушному черному небу, к хохочущему Месяцу-Володимиру, в последней отчаянной надежде бьет крылом, и вдруг словно чья-то рука...

И чья-то рука, живая, теплая, полная силы, подхватывает ее, сжимая крыло... руку, ее руку, сжимает, удерживает на самом краю.

— Я спасу... Не бойся! Я спасу!

Клочья тумана сгущаются, лезут в горло, колдовской снег кипит, вспухает буйными волнами. Но ужас ушел, сгинул в бездонном черном небе. Она не одна, уже не одна! Она, Ярина Загаржецка — Черная Птица...

И все пропало. Ни неба, ни мертвого лунного лика, ни зелени снегов. Подземелье, охапка соломы, серый предрассветный сумрак.

Ярина горько усмехнулась. Сон! Всего лишь сон! И то хорошо, что так кончилось! Но почему она стоит? Да, стоит! Словно не резало сухожилие острая сталь панской шабли! Да не просто стоит! Исчезли цепи, на ней не окровавленная изодранная плахта, а яркий плащ с шитым серебром поясом? И ее рука?..

Он — тот, кто по-прежнему сжимал ее пальцы, улыбался, и девушка на миг потеряла мысль, ослепла от этой улыбки

Так улыбается бог.

— Я... Я сплю?

— Ты спишь, Ирина.

На нем — такой же плащ, только темно-лиловый, пояс сверкает знакомым серебром, при поясе — шабля... Нет, не шабля — заморская шпага, и не на боку, а у пряжки. В светлых волосах — серебряный обруч.

— Я сплю? Значит, тебя нет? Ты просто снишься?

Он по-прежнему улыбался — весело, беззаботно. Красивое лицо! Красивое — но странное. Непривычное, с резкими скулами, чуть раскосыми глазами. Не русин, не москаль — но и не татарин...

— Меня еще нет, Ирина. Но я буду. Скоро.

Девушка вздохнула. Да, всего лишь сон! Наверно, корчась от боли на вонючей соломе, она подумала о том, кто бы пришел, взял за руку, защитил. Подумала...

— Но если тебя нет, как ты смог прийти?

Широкая крепкая ладонь ерошит волосы под серебряным обручем. В золотистых глазах — веселые чортики.

— Ты же сама говоришь: это сон. А во сне нет времени.

Сон — вне Рубежей, вне Сосудов. Я не снюсь — я просто заглянул в твой сон. Извини, если не вовремя!

— Вовремя!..

Ярина огляделась. Странный сон! Все те же стены, грязный влажный пол, скорчившаяся фигура в дальнем углу. Лишь она — другая. Сильная, здоровая, и даже ее лицо...

Но думать о таком не было времени. Сон сейчас кончится...

— Спасибо! Как тебя зовут?

Он задумался, совсем по-детски надул губы:

— Никак! Пока — никак, Ирина! Столько родичей — и хоть бы кто имя дал! Но скоро меня будут звать Денница.

— Как? — растерялась она.

— Денница. Несущий Свет.

Непривычное имя отозвалось странным эхом. Несущий Свет... Кажется, она что-то слыхала. То ли батька рассказывал, то ли Хведир обмолвился.

— Не удивляйся! Одно и то же имя звучит по-разному, но остается Именем. Ты — Ирина, а значит — Несущая Мир. Мы с тобой почти тезки.

Несущая Мир... Неужели правда? Ярина хотела переспросить, но тот, чья рука была тверда, вновь улыбнулся и покачал головой:

— Не сейчас. Скоро. Жаль, что пока я могу помочь тебе только во сне. Но тот, кто еще будет мною, — он постарается. Он — славный парень! До встречи, Несущая Мир!

Лиловый плащ дрогнул, словно от порыва невидимого ветра, сердце сжалось нежданной болью...

...Отозвавшейся во всем теле — избитом, окровавленном. Ярина застонала, с трудом открыла глаза. Да, уже утро. Грязная солома, ржавое железо на окровавленных запястьях, пустой кувшин, перевернутая миска...

Девушка попыталась привстать, но сил не было. Из угла донеслось знакомое тявканье. Ее соседка, стоя на четвереньках, жадно вылизывала миску.

Ярина вновь закрыла глаза. Ничего не случилось, просто ей приснился сон, странный сон о странном парне со странным именем. О Том, Кто Спасает.

И вдруг она поняла — ясно и четко, словно кто-то неведомый записал это черной уставной вязью по желтой гамбургской бумаге.

Случилось.

Случилось!

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Моя рубашечка стала совсем тесная. И штаники тоже. Красивый человек, который всюду ходит за мной, сказал, что я быстро расту. Я сказал, что это не я расту, а рубашечка уменьшается. Он очень смеялся. Тогда я сказал, что на это можно смотреть по-разному. Если сравнивать со мной, то рубашечка и штаники в самом деле уменьшились. Он перестал смеяться.

Ирине Логиновне Загаржецкой очень плохо. Я сказал злой тетке. Злая тетка просила помочь Ирине Логиновне Загаржецкой. Я сказал, что могу помочь, если вырасту. Но я не умею так быстро расти. Надо найти пленочку, за которой она сидит.

Мальчик по имени Княжич Тор спросил, как меня зовут.

Я не знаю.

Сегодня со мной говорили бабочки. Я сказал об этом дядьке Князю, но он не поверил. Тогда я сказал братику. Но братик сегодня смешной. Он всегда бывает смешной, когда ставит на стол большой кувшин. Я сказал ему, что там нет ни одной смыслы.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

Теперь она уже не стояла — висела на руках у дюжих сердюков. Свет по-прежнему резал глаза, и лица всех троих — писаря, гриба-поганки и равнодушного ко всему пана Иллу расплывались, затягивались золотистой дымкой.

Во рту было сухо и горько. Ей даже не дали выпить воды.

— Вы имели некоторый термин... время для обдумывания своих ответов. Внушение, которое вы получили... которому вы подверглись... является вполне достаточным... убедительным. Прошу начать излагать... сообщать.

Голос «гишпанца» звучал по-прежнему брезгливо, с легким презрением. И не поймешь, к чему — то ли к ней, то ли все-таки к тому, что здесь происходит.

— Мы вас слушаем... внимаем.

Молчать? Ярина вздохнула. Молчать — страшно. Это не сон, в этих стенах не блеснет Денница, не протянет теплую крепкую ладонь.

— Повторяю... говорю опять. Мы вас слушаем!

Невидимый толмач по-прежнему справлялся с немалым трудом. Не оттого ли, что сам пан Иллу еле выцеживал слова?

Следовало молчать. Когда-то отец рассказывал, что в полоне опаснее всего — заговорить, показать слабость. Молчишь — умрешь быстро. Заговоришь — смерть будет медленной, долгой.

— Я хочу знать... — Ярина с трудом справилась с нахлынув-

шей болью, подняла налитую свинцом голову. — Я хочу знать, пан прокурор, чего еще желает ведать кнеж Сагорский. И от того ответ мой сугубо зависеть будет!

Таких слов здесь не ждали. Писарь тревожно заворочался, покосился на пана Иллу, гриб-поганка подскочил, сунул длинный нос в прокуророво ухо. Еще бы! В том и штука, в том и лихость допросная: вопросы задавать нежданные, чтобы сразу — в поддых, не разогнуться. Однако «гишпанец» лишь плечом дернул, от старикашки отстраняясь. На писаря, что тоже шептать полез, и глядеть не стал.

— Ваше желание, госпожа Загаржецка, является законным. Его светлость Князь Сагор ведать... знать желает следующее. Первое: в чем состоял обряд, о котором мы с вами имели беседу в предыдущий раз. Второе: Его Светлость желает получить подробную информацию... подробные сведения о стране, называемой Войско Запорожское, а также о соседях упомянутой страны с рассказом о структуре управления, финансовой... денежной системе, дорогах, крепостях и вооруженных силах.

Почему-то Ярина не удивилась. А если и удивилась, то самую малость. Что обряд сатанинский кнежу не для ученых штудий требуется, то сразу она поняла. А коль через Рубеж треклятый переходить, то с миром ли? Вроде бы и нечего черкасам кнежских сердюков страшиться — ни гармат у тех, ни рушниц, да на войне всякое бывает. Дороги, крепости, войска!

Ну уж нет!

И еще поняла — неспроста пан Иллу про все это поведал. Словно бы подсказывал, совет давал. А если так...

— То пан прокурор должен понимать, — девушка вздохнула, собирая остаток сил. — Расспросы такие пленным предлагать мочно. Между державой же кнежа Сагорского и Войском Запорожским войны отнюдь нет, а посему отвечать на них воли моей не будет. Тако же требую я, дабы пан державный прокурор Иллу озаботился обвинение мне предъявить, по какому я банована. Ежели же такового отнюдь нет, то требую освобождения и должной сатисфакции, как и водится в державах просвещенных, к варварству не склонных!

Сказала — и чуть не задохнулась. Не черкасское дело словеса вить, но тут даже краснобай Хведир остался бы ею доволен. Жаль только, не услышит!

Ярина ждала ответа, но пан Иллу не спешил. Наконец медленно встал, дернул щекой:

— Вон! Все вон!

В голосе уже не было скуки. «Гишпанец» гневался. И, дивное дело! — кажется, вовсе не на ее упрямство.

Сердюки послушались сразу — затопали сапожищами к две-

ри. Писарь недоуменно моргнул, потоптался на месте, но затем последовал за ними. Старикашка же явно не спешил уходить.

— Я сказал — вон! Оставьте меня с нею!

Крик сорвал гриба-поганку с места. Пан Иллу поморщился, рука заскользила по столу, по богатой скатерти, нащупала глиняный кубок, за ним — кувшин. Забулькала вода.

Ярина ждала. Стоять не было мочи, опустилась на скамью — боком, лишь бы не упасть. Понимала — не освободят и в суд законный не отправят. Тогда что?

«Гишпанец» обернулся, поглядел на закрывшуюся дверь, потер щеку.

— Госпожа Загаржецка! Я *должен*... обязан изложить вам некоторые неизвестные вам факты... обстоятельства.

Пан Иллу вновь поморщился, словно не говорил, а уксус хлебал.

— Сведения, которые желает получить от вас Его Светлость, требуются не для оккупации... захвата вашей страны. Речь о другом. Незаконный... несанкционированный переход господина Мацапуры через Рубеж каким-то образом нарушил его функционирование... существование. Более того, вероятна угроза нашему миру... Сосуду... реальности.

То ли невидимый толмач окончательно сбился, то ли у самого пана прокурора со словами вышла заминка. Ярина даже головой помотала, понять пытаясь. Что же это за Рубеж такой? Хоть бы объяснили!

— Его Светлость, как глава государства, обязан предусмотреть возможность эвакуации... вывоза населения из нашей реальности... Сосуда. К сожалению, обычные пути через Рубеж в настоящее время блокированы... непроходимы. Поэтому обряд, проведенный господином Мацапурой, очень важен.

— Не понимаю! — Ярина даже привстала, опираясь рукой на теплое дерево скамьи. — Так пусть пан Мацапура сам и расскажет! И эта ведьма проклятая — Сало!

Крикнула — и сама себя за язык укусила. Ее ли дело — такое советовать? Или сами не догадаются?

Пан Иллу вновь хлебнул воды, покачал головой:

— Госпожа Загаржецка не до конца представляет себе ситуацию... обстановку. По серьезным причинам господина Мацапуру мы расспросить пока не можем. Сведения же госпожи Сале нуждаются в проверке, поскольку ее верность Его Светлости, как нам недавно удалось узнать, сугубо сомнительна... под вопросом. Кроме того, ни она, ни господин Кириченко не знают о вашей стране достаточно фактов... сведений.

Ярина не знала, что и думать. Неужто правда? Выходит, антихрист Мацапура целый мир губит? А не врет ли пан Иллу?

Она поглядела на «гишпанца» и поняла — не врет. Не врет —

но и всей правды не говорит. Видно, приказано ему рассказать, он и рассказывает. А правда то или нет, похоже, ему и самому неведомо.

— Поэтому относительно вас Его Светлость приказал применить всякие... любые меры, которые в обычных условиях не используются. Более того, относительно вас запрещены любые воздействия экстрасенсорного... колдовского... нематериального свойства, дабы случайно не подсказать вам неправильные ответы. И еще...

Прокурор вынул платок, тщательно вытер губы, быстро оглянулся.

— И еще... В случае вашего отказа сотрудничать... помогать нам, Его Светлость возьмет следствие под свой личный контроль... персональное наблюдение.

Слова были непонятны, но от них веяло смертью. Пан Иллу явно намекал, подсказывал. Но что? Начать говорить? А как же — крепости, дороги, войска?

Рука «гишпанца» нырнула куда-то за обшлаг черного каптана. Миг — и на ладони появилось что-то маленькое, яркое. Ни дать ни взять леденчик, что на ярмарке россыпью за грошик.

— Действует мгновенно, госпожа Загаржецка. Вы не будете страдать. Это все, что я могу для вас сделать.

Она поняла. И не только потому, что чаклун-толмач на этот раз не сбился ни в одном слове.

* * *

И вновь — знакомая тьма подземелья, боль в избитом теле, глиняный кувшин под рукой.

Полный до краев — кто-то озаботился.

Яркий леденчик зажат в кулаке. Ярина так и не выпустила его из рук. Спрятать негде, и положить некуда. В первые минуты, как с допроса привели, страшно было — в собственной ладони свою же смерть держишь. Но после — быстро привыкла. Так оно и есть, смерть — рядом, совсем близко. Теперь уже — ближе некуда.

Три раза подносила леденчик ко рту, трижды пыталась разжать ладонь, выбросить — избавиться от страшного соблазна.

Не вышло.

Ничего не вышло.

Виданное ли дело — самой себе наглую смерть учинить? Такое и на Страшном Суде не простится! И если не в пекле она еще, так после такого уж точно — иного пути не будет.

Значит — ждать?

Чего?

Ярина несколько раз вспоминала недавний разговор. Все не

вязалось у пана прокурора. Если и вправду божьему миру от Мацапуриного колдовства беда грозит, то отчего ее, словно преступницу, в подземелье держат? Или по-людски поговорить нельзя было? А то — грозят, плетью увечат — а после вроде как о спасении просят?

Нет, нет, не так все это! Недоброе кнеж Сагорский затеял! Недоброе! Сперва напугать думали, после — в душу достучаться... Ведь если бы миру их беда грозила, стал бы ей «гишпанец» отраву смертную предлагать? Или он — самоубийца?

Нет, не для спасения посполитых все это нужно кнежу! Дороги, крепости, войска...

Молчать!

Молчать было страшно. Хоть и мало успела понять Ярина в делах той земли, куда попасть довелось, да кое-что все же увидела. Порядок тут всюду, чистота, посполитые законы чтут, по дорогам без охраны ездить можно, если не ночью, конечно. И ежели державный прокурор — око государево — *сам* яд ей предлагает!..

Значит, она — вне закона. Так же, как и в замке проклятого нелюдя Мацапуры. Только здесь не сыскать подмоги, не дождаться валковских черкасов. Сотник Логин не встанет за свою бесталанную дочку.

Девушка поняла, что плачет. Сцепила зубы, провела грязным рукавом по лицу, но слезы лились, солью сползали к губам — бессильные, жалкие.

Эх, батька, батька!

Непутевая вышла дочь у коренного черкаса. Всего-то ее и хватило — на стременах привстать да обозвать трусами валковских мугырей. Верхом на коне, с дедовой «корабелкой» в руке каждый себя храбрецом видит!..

Вспомнилось, хоть и не хотела вспоминать. В детстве, когда Яринины сверстницы с куклами тряпичными играли, любила сотникова дочка с деревянной шаблей бегать да на коня взбираться. А еще любила батьку про войну расспрашивать — про баталии да про славных предков, что еще в седые давние годы прославились. Хмурился сотник Логин, нехотя цедил слова, о боях да походах повествуя, словно и не воевал с мальчишеского пуха под носом. И про дедов-прадедов говорить не особо любил. «Справные черкасы были» — вот и весь сказ. Лишь после рассказывать стал — про деда Якима, под Лембергом-городом голову сложившего, про прадеда Северина, что самого Меншикова, Драконова фельдмаршала, в полон взял, да про иных, геройствами славных. Но более всего запомнились Ярине отчего-то не сотники, не старшины генеральные, а те, уже почти позабытые, что простыми черкасами были, — Захар Нагнибаба, что с гетьманом Зиновием Старых Панов под Пилявцами пластал, да батька его — лихой запорожец Ондрий. Зацно

воевали они — и умирали не хуже. Когда схватили враги Ондрия Нагнибабу с товарищами да начали на пали набивать, сплюнул черкас да и молвил: «От и славно! А то боялся, что откажете вы мне, паны моцные, в нашей родовой столповой смерти!» А когда паля уже и в нутро вонзилась, захохотал химерный черкас: «Ой, смешно! Нумо, хлопцы, посмеемся над вражьими ляхами!» И от того столпового смеха разбегались, крестясь, бесстрашные гусары со стальными крыльями за спиной.

Были черкасы!

Были!

Ярина вдруг представила, что какой-нибудь Старый Пан — толстый, кунтуш золотом да жемчугами шит, в пышных усищах каменья сияют — протягивает Ондрию Нагнибабе тот леденчик с отравой. «Действует мгновенно... Вы не будете страдать».

Ох, и ответил бы ему удалой черкас! Ох, и ответил! Всех бы родичей панских помянул, ни одного не пропустив!

Ладонь разжалась. Яркий леденчик соскользнул на пол...

* * *

...Они летели под холодными ледяными звездами, и его рука сжимала Яринины пальцы. Страх исчез, сгинул без следа. И даже мертвый оскал Месяца уже не казался зловещим. Чужая вражья земля была далеко, далеко...

— Почему ты говоришь, что тебя еще нет, Денница? Ты еще не родился?

Он улыбается, качает головой. Легкий ветер ерошит волосы под серебряным обручем.

— Уже успел. Но я еще... скачу на ивовом прутике. Как ты когда-то.

Ярина улыбается в ответ, хотя понимает — в его словах приговор. Он не успеет.

— Скажи, когда я умру, я... попаду в Рай?

Его лицо хмурится — впервые за все их короткое знакомство.

— Нет.

— Значит... В Ад?

Рука дрогнула, ледяной воздух вновь превратился в трясину, и если бы не его пальцы...

— Ада нет, Ирина. Рая тоже. Есть мир. То, что вы ошибочно зовете «мирами», — это Сосуды. Части целого. Они очень разные. А Мир — один.

Внезапно он смеется — весело, беззаботно.

— Вспомнил! В том Сосуде, откуда ты родом, живет один за-

бавный народ. Очень неглупый. Их мудрецы первые поняли, что нет ни Ада, ни Рая. Они даже написали об этом весьма толковую книгу. «Зогар» — не слыхала? Но все-таки кто-то не удержался и приписал, что самые умные из них после смерти отправятся в какой-то сад Эден и там будут беседовать с Высшим Существом. Будто Ему больше нечего делать — разговаривать с этими нудными самовлюбленными старикашками!

Она смеется в ответ, ничего не понимая. Действительно — смешно! Жаль, нет времени расспросить подробнее — ни о чем. Разве что...

— Откуда ты все-таки пришел, Денница? Из будущего?

На этот раз Несущий Свет не спешил с ответом. Тонкие брови сошлись к переносице. Сердился? Не хотел отвечать? Ярина даже успела пожалеть, что решилась спросить о таком.

— Будущего еще нет, Ирина. Века через два — по твоему счету — люди начнут выдумывать интересные байки о путешествии во времени — и станут неплохо на этом зарабатывать. Но это сказки. Нашего грядущего еще нет. Но есть Сосуд, где нет времени, — как во сне. Сейчас я в этом мире и могу заглянуть в твой сон. Скоро... Да, очень скоро я смогу приходить и наяву.

— Скоро?!

В сердце вновь вспыхнула надежда. Значит, еще не поздно!

Он понимает, уголки тонких губ еле заметно дергаются.

— Скоро... Но не так, как тебе нужно. Я не успею.

И снова поддалась ледяная трясина, и снова его теплая рука удержала, не дала провалиться в бездонную топь. Ярина подняла взгляд к равнодушным звездам. Все? Но как же! Ведь Денница обещал! Обещал!

— Я смогу помочь, если... Если тот, кто мною станет, вспомнит одну очень важную вещь. Он быстро учится, но времени мало.

Девушка кивнула, и тут же в глаза ударил серебряный свет Месяца. Володимир недобро скалился, словно чуя смерть.

— Помочь нужно не только тебе. Многим. Очень многим!

Почему-то вспомнились слова прокурора Иллу. Значит, правда? Выходит, этому миру и в самом деле грозит страшное!..

— Денница! Сегодня мне сказали... Пан державный прокурор Иллу...

И снова его лицо хмурится, недобро блестят глаза.

— Знаю! Не верь им, Несущая Мир! Князь Сагор меньше всего думает о своих посполитых. Он страшнее Мацапуры — и сильнее. Если б я мог...

Он замолчал, а Ярине не захотелось переспрашивать.

Небо.

Звезды.

Его рука...

Пусть это сон, пусть скоро все исчезнет, развеется морозной дымкой, но пока они вместе, и послушный воздух легко несет их в черную высь, и легкий ветерок ерошит волосы...

* * *

— Эта?

— Эта!

Свет факелов — в лицо. Бородатые рожи склонились, дышат перегаром.

— Тощая, сучка! Костистая!

— Ничего, щас помягчает!

Еще ничего не понимая, но чуя беду, Ярина дернулась, резко взмахнула скованными руками...

— Ишь, брыкается!

Удар — острым носком сапога по лицу. Во рту хрустнуло, хлынула соленая кровь.

— Но тока чтоб жива осталась! Ясно?

— Останется! Всю жизнь помнить будет!

Руки вздернули вверх, заскрипела ржавая цепь, цепляясь за крюк. Ярина извернулась, ударила ногой — не глядя, наугад. Попала! Громкий крик, непонятая ругань — невидимый толмач и тот промолчал. Девушка попыталась отодвинуться к стене, ударить снова...

— Ах ты, гадюка!

На этот раз били втроем — сапогами, куда придется. Наконец, хекая, отступили, кто-то плюнул — липкая слюна поползла по щеке.

— А может, придушим, а?

— Ты че? Сказано — чтоб запомнила! Запомнила, понял?

Потная волосатая ладонь протянулась, резко рванула ворот плахты. Крепкая ткань трещала, не поддавалась, больно впиваясь в шею. Ярина попыталась двинуться, но боль сковала, прижала к грязной соломе.

— Чур, я первый! Ну чего, сучонка? Раздвигай ножки!

Что-то тяжелое, пыхтящее, воняющее тухлым луком, навалилось сверху, завозилось, потная ладонь легла на грудь, скользнула по бедру, ногти врезались в кожу...

Хотелось закрыть глаза, но даже на это уже не было сил.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Я знаю, как меня зовут!

Знаю!

Знаю, знаю, знаю!

— Хлопцы-ы! За мной! Рубай! Як капусту! Впере-од!

И диво дивное — разом сгинуло все: страх, сомнения, майским червяком точившие сердце. Пекло ли, Рай, кочерга или галушки с медом...

Вперед!

Добрый конь не первый год под седлом — сразу понял, ударил копытами в затоптанный хрупкий снег.

Впере-е-од!

Эх, куме, не журись, туды-сюды повернись!

Турецкие гарматы, ощетинившиеся багинетами французские каре, немецкие шанцы — все сметали, всех в землю втаптывали. В землю, в горячий песок, в болотную жижу, в окровавленный снег. Верная шабля-«ордынка», в горячем бою взятая, прикипела к ладони. Хороша «ордынка», всем хороша, вернее жены, святее иконы!

Эх, бога-душу, крест животворящий, параскева-пятница и всех янголов собор!

Вперед!

...И уже поганая шибеница позади, и столбы, и веревка без петли, и кони храпят, близкий бой чуя, а ворога все нет, только снег сгинул, да близкий лес пропал, и небо...

Эх, не время на небо глаза пялить, не время!

Вперед!

Не выдержал — оглянулся.

Хлопцы? Как они?!

Оглянулся — хмыкнул в седые усы.

Молодцы хлопцы!

Все здесь — лавой, пики вперед, шабли наготове. Шмалько, греховодник старый, как водится, одесную, ноздря в ноздрю, редкие зубы довольно щерит, потеху чуя, за ним — Нагнибеда с ятаганом турецким, а там и Свербигуз, и Забреха, и Нечитайло. У Петра Енохи в руке фитиль дымится, гаковница вперед смотрит. Ахнет — добре будет! Дмитро Гром изловчился — гранату немецкую достал, и тоже фитиль приготовил — в зубах держит.

Остальные...

И остальные — молодцы!

— Сотник! Пане сотник!

Голос есаула заставил дрогнуть, обернуться...

Что же ты головой крутил, старый дурень, лысая башка!

Стена!

...От земли до неба, со всех сторон — неровная, клубящаяся, горящая дивным розовым огнем...

Эхма, вражины! Когда ж успели?

— То еще только туман, пан сотник! Вперед!

В голосе Юдки, колдуна проклятого, тревога. Небольшая — на самом донышке. И тут только сообразил сотник, что пристроился заризяка-жид ошуюю, из-за левого плеча советы подает.

Знаем, знаем, кому за левым плечом место! Шаблей бы христопродавца! Или просто перекреститься! Жаль, времени нет!

— Вперед, хлопцы! Впере-од!

И снова не сдержался — махнул «ордынкой». По стене, по розовой дымящейся мути, по бесовскому наваждению. Даже ветер не просвистел, только холод по руке.

— Пусть на рысь перейдут, пане сотник. Ехать долго, заморим коней!

Не терпел советчиков сотник Логин. Вообще не терпел, а особливо в бою. А еще если из-за левого плеча!

Ах ты, жидяра клятый!

Холодно глядели глаза Иегуды бен-Иосифа. И от того взгляда опустилась рука с верной «ордынкой».

— Гей! Хлопцы! Рысью! Размашистой да не раскидистой! Шабли не прятать, пики вперед, фитили зажечь!

Выдохнул, обернулся.

Туман!

Розовый, густой, горло терпким духом забивает. В десяти шагах — ничего не видать. И в пяти не видать...

— Юдка, собачий ты сын, верно ли едем?

— Пока — да, безмозглый лысый хазер!

Скрипнул зубами сотник Логин. Стерпел. Видать, чует смерть поганый колдун, оттого и язык свой мерзкий распускает. Верно чует! Вот только туман позади оставят, на битый шлях конские копыта вынесут — тут и аминь жиду.

— Спрячь шаблю, пан сотник!

Зарычал Логин, но снова стерпел. Понял вдруг — неспроста Юдка такие советы дает. И вправду — туман словно густеть начал. Густеть, дышать гарью, рассыпаться колючими искрами...

— Хлопцы! Прячь шабли, фитили гаси! Да скорее, богу в душу! Шибче!

Еле успел. Полыхнула «ордынка» красным огнем, дохнула жаром. Думал — задымятся ножны, ан нет — холодны остались.

— Юдка, чортов ты сын! Чего ж это такое?

— Огонь, пане сотник. Пока еще — только огонь. Можно ехать.

Твердо ответил Иегуда бен-Иосиф, но тревога плескалась в его голосе. Уже не на дне — под самый венчик подступила.

Сзади завопили — чья-то шабля, горя белым жаром, нырнула под конские копыта. Не упала — сгинула, словно сквозь землю провалилась.

Сквозь землю?

Только сейчас сообразил сотник, что давно уже не слышит стука копыт. Ни стука, ни скрипа, ни шелеста.

У-у, вражья сила!

Отдернул сотник Логин пальцы от крыжа — от греха подальше, сплюнул — и понял вдруг, что бой этот уже почти что проигран. Просто задумано! Вначале — под клятую шибеницу пропустить, преграды не чиня, после — туманом окутать, чтоб с дороги сбить да уверенности убавить, потом — зборю верную огнем зажечь.

А после? Кто Яринке поможет, кто ее из бездны неведомой вызволит?

И кто простит его, сотника валковского, за то, что лучших хлопцев не пожалел?! Эхма, не простят!

Дернул головой пан Логин, вправо косясь. Сгинула усмешка с лица верного есаула. Не иначе — понял. Эх, Ондрий, Ондрий Микитич, завел я тебя, товарищ войсковый! В самое пекло завел!

...И впрямь — пекло. Огонь — слева, справа, сверху. И под конскими копытами, и сзади. В горле сухо, горько, от конских ноздрей пар идет.

Влево поглядел пан Логин — и худо ему стало от взгляда темных глаз Иегуды бен-Иосифа.

— Огонь, значит? А что за огнем, пан Юдка?

Сам не заметил, как христопродавца-жида «паном» величать стал. Добро еще, не «мостивым»!

Дрогнула рыжая борода, дернулись уголки сухих губ.

— Пока огонь — проскочить должны. А не проскочим — то сам увидишь. Вэй, да не только увидишь!

Помянул чорта сотник, хоть и не ко времени, и ни к месту.

— Увижу? А ты, бесова душа, или три шкуры надел?

Так не понял пан Логин — чей смех слышит. То ли Юдки-колдуна, то ли из самого пекла эхом-луной принесло?

— Что черкасская паля, что Самаэлево пламя! Или не ведаешь, глупый гой, чем жизнь кончается?

Перекреститься? «Отче наш» прочесть? Не время, эх, не время!..

...А пламя густело, розовые сполохи подернулись алым отсветом, кони, сбившись с ноги, перешли на шаг...

— Пане сотнику! Пане сотнику! То делать чего? Не пускает, анчихристова поросль!

Крик Свербигуза донесся еле слышно, словно унесло отважного черкаса за целую милю. Или вправду — унесло? Оглядываться сотник не стал — не до того. И верно — будто в очерет густой попали. Кони еле идут, что-то твердое за руку цепляет. Близко — а не ухватишь. И огонь — не огонь уже вовсе. Словно кисель клюквенный!

Жид! Чего молчишь, клятый жид?

— То не фортуна нам, пане Логин. Коли верите в своего бен-Пандиру — молитесь! Вэй, самое время!

Не смеялся Иегуда бен-Иосиф. Не горевал. Просто сказал — словно крышку домовины захлопнул.

Намертво.

— Пан сотник! Пан Логин! Да чего это? Чего делать-то?

Оглянулся Логин — никого не видать. Затянуло, залило киселем розовым, крики — словно шепот...

Хлопцы, хлопцы!

Втянул голову сотник в широкие плечи. Глупую голову, себя и черкасов верных сгубившую. И тела их, и души. Эх, дурень он, Логин, старый дурень! Одно осталось — как в пекло провалиться, самому себе кару выбрать — и чтоб пострашнее, в самой гуще адовой!

Отче наш, иже еси...

Отче наш, иже...

Тьфу, пропасть, забыл!

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

Шма Исраэль! Адонаи элегейну, Адонаи хап... Слушай, Израиль! Б-г наш, Б-г сильный...

Нет, поздно! Поздно!

Здесь уже нельзя молиться! Запечатаны уста, и крепка та печать, ибо наложена она от Его имени. Молиться надо было раньше, глупый жид! Раньше — когда этих гоев в Ворота вел! А ведь знал! Все знал — с того самого мига, как Досмотр голос подал! Дружина Самаэлева, Малахи Защиты — в клубящемся пламени, в огненных латах! Не пропустят, не пощадят!

Малахи Защиты! Что перед ними силы всех Сосудов? Пыль! Просто пыль под ногами!

Я видел их. Видел — и все равно повел — прямо в Шеол, в безвидность, в Левиафанову бездну! Сперва — туман, затем пламя, а после — грязная жижа, твердеющая, словно диамант.

И все!

Навсегда!

Я знал, что так будет. Смерть, Двойник и Пленник встретились.

Знал — но только не думал о таком.

Дорого вам обойдется Иегуда бен-Иосиф, маленький сопливый мальчишка из распятой Умани! Горе тебе, проклятый Вавилон!

Горе!

...И воззвал Самсон к Г-ду и сказал: Святой благословен Ты! вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Б-же! чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул

Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами!..

Умри, душа!

Умри с филистимлянами!

Умри!

Чтобы никто, никогда!..

...И была молния темной, и треснула диамантовая твердь, разлетаясь в прах, и стали кости мои водой, и дрогнуло сердце мое пред страшной яростью Того, Кто пришел сюда в небесном огне...

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

...Когда же грохнуло, ударило сотней гармат и голубое пламя весело засияло сквозь проклятый розовый камень, понял он — зря глумился клятый жид над Сыном Божьим. Есть бог на свете! Есть! Не забыл он о славных хлопцах, о черкасах гетьманских!

— Нумо, панове-молодцы! Живы?

— Живы, батьку! Живы! Хвала Матинке-Богородице!

Справа — Ондрий Шмалько, друзяка старый, сзади — Свербигуз, удалая башка...

— Живы, пане сотник! От, химерия, не пили ж вроде!

— И мы живы, пане Логин! И я, и Мыкола, и Петро!

А вот и Нагнибеда! И Хведир Еноха!

Рука клала крест твердо, словно гвозди вбивала. А голубой свет становился все сильнее, рушилась розовая твердь, вновь становясь огнем, уходя куда-то вверх...

«Ордынка» вылетела из ножен. На верном клинке засветилось пламя — голубое, веселое.

Даже оглядываться сотник не стал. Потом поискать можно будет, кому за спасение кланяться, за чье здравие свечи перед Покровой ставить.

Потом!

— Шабли вон! Пики к бою!..

Краем глаза заметил безумный взгляд Иегуды бен-Иосифа. Безумный, полный ужаса. Длинные тонкие пальцы вцепились во вставшую дыбом бороду.

Легко засмеялся сотник Логин, чуть ли не простив в душе клятого жида. Вот ведь умный, а дурак! Каркал себе, каркал, Самаэлей всяких поминал! Не те они Самаэли, чтобы черкаса съели!

— Ондрий! За жидом приглядывай! Если надо — штаны ему поменяй!

Справа веселый свист — понял есаул. Не упустит!

...А розовое пламя отступало, вновь становясь туманом, и би-

ли голубые молнии — с грохотом, с громом, разметая клочья по черному небосводу.

Пан Логин провел запястьем по усам. Ну, будет дело!

— Эй, хлопцы! Поводья подобрать! Рысью!..

— Куда? Куда ехать?

Резкий крик Хведира-Теодора заставил поморщиться. Небось со страху кричит, долгополый бурсак! Или окуляры потерял, проглядеть боится?

— За мной! Вперед!

— Направо!

Ударили копыта (ударили! не в туман, не в кисель — в твердую землю!), и сотник так и не понял, кто посмел ему перечить. Голос вроде незнакомый. И громкий — словно гром.

— Направо!

— Вперед!

Гаркнул что есть сил, надеясь перекричать, переорать того, кто посмел его хлопцам приказы отдавать. Сказано вперед, значит — вперед!

— Направо! Направо нам, пан сотник!

Уже не гром грянул — сопляк-Хведир голос подал. Ну, покажет он этому заморышу!

— Вперед, хлопцы! Впере-од!

* * *

Небо светлело, отступала тьма, сменяясь серым сумраком. Под копытами — неровный камень, по бокам — то ли могилы степные, то ли целые горы.

Наверху... Чисто наверху — ни розового огня, ни голубого. И солнца не видать — не иначе тучи набежали.

— Эй, жиду! Пане Юдка! Никак прорвались?

Спросил просто так — для души. И вправду, чего тут отвечать? Сразу понятно!

Слева молчали. Сотник хмыкнул, повернулся в седле.

Все то же безумие светилось в темных глазах Иегуды бен-Иосифа. Все так же мяли пальцы рыжую бороду.

— Не боись, жиду! — засмеялся есаул Шмалько, поправляя съехавшую на ухо смушковую шапку. — Сегодня, так и быть, на палю не посадим! А, пане сотник?

Захохотал в ответ пан Логин. И вправду, пусть доживет до завтра, вражье отродье! Может, присоветует чего? Про Самаэля своего расскажет!..

— Прорвались, — шевельнулись в огне бороды бледные губы. — Только не спеши радоваться, пан сотник!

Логин Загаржецкий лишь рукой махнул. Ну его, нехристя! Только и умеет, что Мацапуре задницу лизать — да каркать.

* * *

Тьма уходила, растворялась в сером сумраке. Вот уже и горы видать, и дорогу, и сосны, что по краям толпятся. Какие толпятся, какие прямо на склоне отвесном за камни цепляются...

Сотник Логин лишь крякнул да подбородок потер. Далеко, видать, заехали! Бывал он в Карпатах, и в Татрах Высоких бывал и даже в Альпах, по которым французишек, якобинцев безбожных, гонял, но такого не видел Высокие горы — под самые небеса.

...А небо странное — серое, низкое. Солнца нет, но и туч незаметно. Сизая мгла — и все тут! Не иначе, туманом затянуло.

— А не пора ли привал, пане сотник? — вздохнул есаул, бросая в ножны шаблю. — Люльки запалим, из филижанок хлебнем. После такого — не во грех!

Пан Логин кивнул. Глаза уже приметили небольшую рощицу — и речушку, что весело бежала среди невысоких деревьев.

Выходит, прямиком в лето заехали!

— Добре, Ондрию! Оно и вправду...

Для верности огляделся. Горы к небу лезут, отвесные, даже кошке не забраться, не то что мушкетеру или лучнику. Впереди — пусто, сзади — тоже.

— Хло-о-опцы! Слушай меня, хлопцы!

Сотник привстал в стременах, оглянулся.

— Гратулюю вас, панове-молодцы! Слава!

— Слава! Слава! — прогремело над ущельем.

...Прогремело — стихло. Странное дело, эхо словно уснуло.

— Показали мы им, сукиным сынам! Ни чорт нас теперь не проймет, ни пекло не возьмет! Слава!

— Слава! Слава пану Логину! Слава!

...И снова — нет эха. Что за притча?

— А теперь — привал! Сперва — коней водить, а после — горелку пить!

— Добре! Добре, батьку!

И тут же послышался смех — громкий, безумный. Сотник дернулся, резко обернулся.

Из-за левого плеча хохотал Иегуда бен-Иосиф.

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

От филижанки несло сивухой, но я все-таки хлебнул. Раз, другой...

— От добре жид горелку хлещет! От добре!.. Ну чего, Юдка, оклемался?

Вэй, легко сказать!

— Пане сотник! Пане сотник! Вроде бы как в глузд вошел, вражья морда! Уже не гогочет — горелку пьет!

Я открыл глаза, заставив себя видеть так же, как эти безумцы. И вправду, ничего страшного! На склоне можжевельник растет, сосны за камни цепляются, вершины под самое небо уходят...

...Видел я уже такое! Мы с бен-Эзрой ехали из Чуфут-Кале в Алту, дорога — возле Старой Бизюки дело было — в последний раз пошла наверх, и сосны так же карабкались по отвесной скале...

Стой, глупый жид! Не время вспоминать!

— А ну, чего расселся! Вставай, сучий сын! Ишь, пышный какой!

Сотник Логин, кажется, доволен собой. Брюхо вперед, нос — кверху...

...Ну точно пан Станислав! Вэй, и чья же матушка закон преступила?

— От так! А теперь говори, куда ехать, клятый характерник!

Я оглянулся — скалы, ущелье, Логиновы хлопцы коней по кругу водят, вот уже поить стали.

Еще не поняли?

Вэй, и вправду — не поняли!

— То пан Логин лучше бы пана Рио поспрошал. Мое дело — Рубеж. Или я вас не перевел?

Так-так! Даже лысина потемнела! Вот сейчас «ордынку» выхватит...

Поздно, поздно, пан сотник валковский!

— Ох, не напоминал бы ты, Юдка! Гляди — тут деревьев много. Хоть и кривые, а на палю сойдут!

Я только плечами пожал. Или этот гой меня напугать вздумал? Раньше пугать надо было, шлемазл!

— Ну ладно, сперва его спросим, а после — и тебя! Не отмолчишься! Гей, хлопцы, а тащите-ка сюда того пана Рио!

Он ждал. Я тоже. Кому из нас сейчас придется глазами лупать?.. Ага, уже бежит кто-то!

— Так нет же его, пане сотник! Нигде нет!

— Что-о-о-о?!

Я не выдержал — улыбнулся. Вэй, сотник, плохая привычка — смотреть только вперед!..

...Впрочем, и я бы не увидел. Не увидел — если бы вовремя не прогнал Тени. Черное пятно, жалкие букашки, пытающиеся пробиться через **их** *строй*.

— Гей, панове! А ну, найдите кого из Енох! С ними он был!

— Пан Мыкола! Пан Мыкола! Да где же он?

— Петро! Чорт тебя забирай! Петро!

— Хведир! Пане бурсаче!

...И когда *их* строй распался, прыснули жалкие букашки во все стороны. Резво бежали — как тараканы от огня!

— Пане сотник! Нема Енох! Ни Мыколы, ни Петра, ни пана бурсака! И чортопхайки нема — которая с гарматой!..

С тебя бы парсуну рисовать, пан есаул! Хорошо глазами лупаешь!

Пока бегали, пока кричали да черкасов по их глупым головам пересчитывали, я понял, что действительно пришел в себя. Настолько, что уже начал примериваться к брошенным в переполохе коням. Вот тот, вороной, с пистолями у седла. Или тот, в яблоках! Взлететь в седло, каблуком — в горячий, пахнущий потом бок!..

Я прикрыл глаза и вновь, в который раз, прогнал Тени.

Некуда!

Некуда бежать тебе, Юдка! И не потому, что нагнать могут!..

На этот раз подступали целой толпой. Медленно, скалясь, словно голодные псы. Шабли — в руках, в глазах — ненависть.

Ненависть — и страх.

А ведь они еще ничего не видели!

— А ну говори, потрох сучий, чаклун поганый, куда хлопцев девал?

Вэй, не то спрашиваете, добрые люди!

— Пане сотник! Пане сотник! Дозволь жида вщерть порубать! На клочья его, поганца! Конями разорвать!

...Рычали, хрипели, кривили рожи.

Смешно?

Да, пожалуй.

— Ух, морда собачья! Еще улыбается! Да чего мы ждем, панове?!

...Ну точно как те черкасы-разбойники, что в давние годы решили московского царя извести. Под самую Кострому забрались — да наткнулись на такого же, как я. Завел он их в самую волчью чащу...

Вот удивлялись, наверное!

— А ну, погодь! Погодь, говорю!

Так-так, а пан Логин, кажется, что-то начал понимать! Или просто — почуял. Не зря же его сотником поставили!

— Вот чего! Ты, пан есаул, хлопцев возьми да назад проедь, сколько надо. Может, отстали Енохи? А ты, жиду, со мной говорить будешь!

* * *

Вода в ручье оказалась чистой — но горьковатой. Или это мне просто почудилось?

— Так что садись, пан Юдка! Садись — да рассказывай, все как есть!

Ага, уже «пан»! Того и гляди, скоро в пояс кланяться начнут!

Я присел на большой плоский камень и поглядел в небо. То есть в то, что здесь казалось небом. Для всех них оно серое...

— Вот чего, жиду! Или не обещал ты нас всех за свой клятый Рубеж переправить? Или не за то тебя с пали стащили?

— А потому поклялся ты своим разбойникам, что снесешь мне башку сразу же за Рубежом? — не выдержал я. — Думаешь, не знаю?

Смутился? Ну, не то чтобы смутился...

— К тому же через Рубеж я вас переправил. Или пан сотник считает, что мы в горах Таврийских? А за пана Рио да за головорезов твоих я не в ответе. Рядом мы ехали — сам же видел!

— Врешь!

Темная от крови дурной лысина была, а теперь и вовсе — аж черной сделалась.

— Врешь, клятый жидовин! Чую — врешь! Как ехали — сперва ты, пан Юдка, спокоен был. Позавидовал я тебе даже, заризяке! Потом, как камень этот поганый сыпаться начал, ты, вражий сын, словно ополоумел. А теперь — зубы скалишь! Все ты знаешь, все! А ну, говори!

Напомнить бы этому гою, что все знает лишь Святой, благословен Он!

Я взглянул ему в глаза — безумные, полные мути. Так смотрит разъяренный буйвол.

— Говори! Куда братов Енох девал, сучий ты сын?

— Девал? — поразился я. — Или пан сотник не слышал? Сами поехали. Направо. Дорогу спросили — им и сказали!

...А неглуп пан бурсак, неглуп! Что-то понял — и не захотел бараном за паном Логином ехать. А может, и глуп — дурнее горшка в печи. Мало ли кто его с братьями да с паном Рио направо позвал? Поди, уже камнем стали!

— Хм-м... — сотник потер подбородок, нахмурился. — Как спрашивали — слыхал. И как отвечали — тоже. Да только кто? А ну, говори, а то, клянусь Матинкой-Заступницей, развалю тебя шаблей от кипы твоей жидовской до срамного места!

Кто? Самому бы знать!

Я вновь поглядел на то серое, что здесь было небом. А почему бы и нет? Наверное, тому москалю, что черкасов в глушь зимнюю завел, тоже выговориться хотелось!

— Сперва пан Загаржецкий должен что-то увидеть.

Я закрыл глаза. Прочь Тени!

Прочь!

Теперь — Имя Голодных Глаз. Может не получиться, может не хватить сразу на меня и на этого гоя...

Имя!

Белый огонь — дальний отсвет пламени Эйн-Соф.

Пора!

Медленно, осторожно я прикоснулся к его плечу...

— Матинка божа! Да чего ж это?.. Христос-Богородица!

Увидел! Увидел то же, что и я, — Истину.

...Ни скал, ни сосен, ни серого — черная тьма, холодная, бездонная. А посреди нее — тонкая, словно нить, дорога...

— Убери! Руку убери, клятый колдун! Чтоб тебя!..

Но я не спешил отпускать пана сотника. Ему нужен ответ?

Вот он — ответ!

* * *

— Выпьешь, пан Юдка?

— Выпью.

В его филижанке была не сивуха — настоящая вудка. Такую только в погребах пана Мацапуры сыщешь.

Вэй! И где те погреба? И где тот пан?

Пан сотник валковский больше не спешил с расспросами. Сидел, головой лобастой мотал. Я не торопил. Уж кому незачем спешить, так это мне. На палю да под шабли всегда успею!

— То... То не ад, как думаешь, жиду?

— Не ад, — вздохнул я. — Шеола, говорят, и нет вовсе. Это не ад, не земля. И не небо. А вот что — сам точно не знаю.

— Завел ты нас, вражий сын!

Я и отвечать не стал. Завел, конечно. Да не туда, куда хотел.

— И рубить тебя вроде как поздно... И Яринку теперь не выручишь.

Голова опустилась вниз, крепкие ручищи повисли, словно кость из рукавов жупана выдернули. Скис, черкас гетьманский! Или нет?

Нет!

В глазах вновь вспыхнул огонь. Распрямились плечи, кулаки сжались — до белизны, до костяного хруста.

— Врешь! Врешь, вражина! Не сожрал нас твой Самаэль, и тут не пропадем!

На миг почудилось, будто передо мною вздался на задние ноги разъяренный буйвол. Эх, нет тут моего пана! То-то бы звон сабельный пошел!

— А ну, выкладывай, пес!

Б-же мой! Ну, почему сразу — пес?

Он слушал молча, подперев кулаком щеку. Слушал, кивал.

— Значит, стража в клятых Воротах не наша была? Эта, тьфу, как ее? Смена другая?

— Если бы! — усмехнулся я. — Что такое смена в Воротах, пан сотник? Несколько низших Малахов Служения — и все. Их там сегодня и не было вовсе. Там стояло войско — все сонмище Самаэлево под розовым стягом. Или мне стоило сказать пану сотнику?

Цвета стяга я, понятно, не разобрал — но мне ли не знать, под каким знаменем выступает Ангел Силы?!

Ручища сотника потянулась к левому усу, крутанула, закинула за ухо.

— Сволочь ты распоследняя, пан Юдка! Как есть, вражина! Под молнии ихние подвести нас задумал?

Не грозно сказал — печально. Словно сожалел.

— Какой есть, пан Загаржецкий, — хмыкнул я. — Да только пусть пан зацный себе иную материю представит. А как схватили бы пана сотника, к примеру... жиды.

Я специально обождал, чтобы полюбоваться выражением его лица.

— Схватили и решили на палю свою жидовскую набить. Или... на крови его шляхетской мацу замешать. То пан Логин не захотел бы погулять напоследок?

Лицо сотника аж перекосило печеной репой. Дернулись ноздри, встопорщились седатые усы.

— Ах, вот ты каков, Юдка, сотник надворный! Ай, не раскусил я тебя, жиду! Ай, не понял!

— Так не всегда ж нам барахлом торговать да всяким хазерам кланяться!

И я улыбнулся прямо в лицо своему врагу.

Странно, он словно успокоился. А и вправду — что теперь горло драть? Ор — бабье дело.

— Да только не по-твоему вышло, жиду! Да и врешь ты! Не взяли нас твои Малахи! Или ты, Юдка, от страху да от злобы памяти лишился?

...Не памяти — языка. Или разума.

— Чего молчишь-то?

— Пан сотник сам видел, — вздохнул я наконец. — Или пан сотник даже Суд Страшный не приметит?

— От дурень! Или вправду очумел?

Ну почему я не гой? Почему не могу перекреститься?

— Я не различаю цветов. Но если розовый цвет голубым сменился... Ведь так, пане сотнику? И если пан сотник в том уверен...

Я помолчал, собираясь с мыслями. Он уверен... А в чем уверен я? Вода мокрая, солнце горячее, комары кусают...

...Вэй, неправда! Не мокрая, не горячее, и не кусают — целуют.

— Пан сотник должен помнить, что Рубеж стережет караул Воителя Самаэля. Их цвет — розовый. Но он лишь тень Микаэля-Малаха.

— Чего я твоих жидов помнить должен? — огрызнулся он. — Я в вашу синагогу не хожу!

— И зря, — вздохнул я. — Таких, как пан сотник, там ставят на сквозняк — чтобы глупость выдуло. Ну хорошо, можно иначе. Небесным воинством предводительствует архангел Михаил. Вы еще называете его Архистратигом.

Пока пан сотник крестился, я быстро переводил имена с привычного языка на наречие гоев. Как бы мне рот углями не забили за такое кощунство!

— Никто, даже другие предводители Малахов... ангелов не могут без разрешения пересекать Рубеж между Сосудами... мирами. Сам Архистратиг предстоит перед Святым, благословен Он, воинство же ведет архангел Рахаб. Он — Меч Микаэля.

— А у нас Михаил на стяге полковом серебром вышит! — с гордостью сообщил пан Загаржецкий.

Я поморщился. Кому что, а курци — просо.

— Виза была оформлена правильно, но Досмотр пытался задержать нас. А я еще понять не мог — почему? А как Воинство увидел...

— Эге! — вновь перебил он. — Выходит, те, вторые, на собственную сторожу напали? Эх, гляжу, и в небесном таборе порядку мало! Разброд в твоих небесах, пан Юдка!

— Хуже! — вздохнул я. — Не разброд, пане моцный! Не разброд — война! И не в моих Небесах — в наших!

* * *

...Мышка толкнула горшок с молоком, разбился горшок, мужик бабу — кочергой, мужика того — в колья, а там и гусары подоспели, и вот уже село горит, а там и вся округа.

А каково мышке?

Неглуп оказался сотник Логин. Пошумел, шаблей-«ордынкой» помахал, пообещал мне, жиду пархатому, не одну палю, а целых две, и — по коням!

Вперед!

Что вперед, что назад. Везде одно и то же. Узкая дорога над черной пропастью. Час за часом, от привала к привалу. Над пропастью — и под пропастью.

«Тогу богу» — «нестройно», «пусто-пустынно».

...В начале сотворения Всесильным неба и земли, когда земля была пуста и нестройна...

Когда я в хедере у меламеда про «тогу богу» спрашивал, он, бедняга, про наш уманский рынок толковал. А я, сопляк малолетний, все представлял, как Дух Всесильного парит над перекупками да шмаровозами. Как-то спросил у отца...

Вэй! Суров был мой отец, Иосиф бен-Шимон!

Бедняга меламед! Разве он мог представить себе Бездну? Настоящую Бездну?

Тогу богу.

Ни дна, ни покрышки.

Да, умен сотник. Прямо не сказал — да намекнул своим разбойникам, что поведал ему жид проклятый Юдка всю тайну как на духу. И где мы, и ехать куда, и скоро ли до панны Ярины да колдуна Мацапуры доберемся.

Я не спорил. Зачем? Прав он, пан Загаржецкий, нельзя в черкасах дух гасить. Пусть едут, а куда — так ли важно?

Одно дивило — что жив до сих пор. И, кажется, не одному мне это странно. Панове черкасы аж зубами скрипят, в мою сторону поглядывая. Не иначе, пан Логин и вправду из этой Бездны выбраться думает.

Ну и пусть думает, глупый гой! Пусть коней гонит! Я мышка, мое дело — хвостатое.

Вэй, и что же ты, мышка, натворила?

Поворот? Нет, просто скала к самой дороге подступает. Все то же — серый камень вокруг, сосны за выступы цепляются.

И тени нет — ни следа.

Тогу богу!

Ведь что я подумал, когда молнии начали камень в крошку разносить? Ничего не подумал, просто душа в сапоги провалилась. Мало кому из нас, детей Адамовых, доводится видеть *их* гнев!

А я все понять не мог, почему в Торе, в книге Берейшит, меч пламенный, что людям в Эден дорогу заслоняет, «вращающимся» назван?

Сегодня — понял!

Слаб наш язык. Меч! Видели бы наши меламеды тот меч!

Дрожи, мышка!

А после, как жив остался, в первый миг о Темных Малахах вспомнил. Есть, говорят, такие. Из Семи Воинств изгнаны, от Его Лика отлучены, и бродят между Сосудами. Почему бы их

стае не попытаться проторить дорогу через Ворота? Говорили умные люди, что самим Темным ходу нет, вот и пытаются пристроиться к тем, кому виза выписана.

Решил — повезло. Нам повезло. Повернул Самаэль свое воинство против гостей незваных — и пробежали тараканы сквозь треснувший Заслон.

Теперь понимаю — чушь. Полная чушь и дурость! Но...

Но мог ли подумать я, глупый Иегуда, что ради нас, ничтожных, поднимет свой розовый Стяг великий князь Самаэль, что подобен пышущей пламенем высокой горе, и пошлет верных Малахов Ворота перекрывать, дабы мышку с тараканами в иной Сосуд не пропустить?! И мог ли помыслить, что придет нам на помощь Микаэлева рать?

Самаэль против Микаэля.

Раздрай небесный!

Да, бежала себе мышка, бежала!..

Разве не Высшей волей Рубежи охраняются? Разве не по Его приказу воинство под розовым Стягом стражу в Воротах держит?

Мышку не хотели пускать! Маленькая мышка оказалась не по душе самому Самаэлю!

И кто скажет мне, глупому жиду, почему?

Пусть даже так. Но воевать! Из-за нас!

Могуч Самаэль, сотоварищ князя Габриэля, Шуйцы Святого, благословен Он! Могуч! Но никто еще не сладил с воинством Микаэля. И разлетелся твердый камень под ударами голубых молний.

Голубых! А мне они казались темными...

Мышка ускользнула, убежали тараканы. А что Там? В Высшем мире, в обители Малахов? Не скликают ли князья все Семь Воинств? Белый Стяг Габриэля, зеленый — Рафаэля, пурпурный с золотом — Уриэля?..

Что же ты натворила, глупая мышка?

* * *

И был вечер, и было утро, и был день...

Ночи не было.

Все тот же сумрак, серое низкое небо, горы со всех сторон.

— Сто-о-ой! Привал!

Я спрыгнул с коня, поискал свою тень...

Потерялась тень!

— Нумо, хлопцы, кулеш варить! Эй, за жидом клятым смотрите!

— Приглядим, батьку!

Так ничего и не понял сотник валковский. Куда мне бежать-то? Прямиком в Бездну? К Левиафану?

Вот дурень!

Двое не поленились — стали по бокам. Руки на эфесах сабельных, взгляды огнем горят. Вэй, как страшно!

— А ну-ка, панове-молодцы, поглядите, чего вокруг есть? Да сторожко глядите! С бережением!

Я снял жупан, расстелил на камнях и прилег, не обращая внимания на сопящих по бокам хлопцев. Пусть все бегают, а жид клятый отдыхать будет. Шаббат у жида!

Но сначала...

Прочь, Тени!

...И вздрогнул я вновь, ибо увидел то, что не должно быть здесь.

Перекресток!

Прямо передо мною вдаль уходила широкая дорога. Даже не дорога — проход! Черная Бездна сгинула, растворилась без следа, уступая место привычной белизне Сосуда.

Словно окно.

Окно, ворота, дверь...

Я открыл глаза.

В двух шагах — серый камень бесконечной дороги, а за ним — привычные деревья.

Рощица — обычная, чуть ли не сотая за день.

Обычная — да не очень!

Я даже встал — осторожно, дабы стражей своих не потревожить. Сосны с елями толпятся, к склону отвесному лепятся.

Вэй, не сосны! Не елки! Не можжевельник, не боярышник.

Неужто никто не заметил?

Я поглядел по сторонам. Костер дымится, смолой сосновой пахнет, панове-молодцы котел над огнем пристраивают...

Их бы всех — в этот котел! Вэй, славный кулеш бы вышел!

А вот и пан сотник — с есаулом лясы точит, не иначе план военный составляет.

Архистратиги!

Так-так! Выходит, никто, кроме меня, и не заметил? Ай, славно!

Я вновь прилег, расстегнул ворот рубахи. Что-то странное поплыло перед глазами. Слепил Великий Горшечник Сосуды...

— Эй, хлопцы! Как там жид? Не убег?

— Да куда ж ему? Они, жиды, жизнь свою поганую любят! Пуще серебра!

...А вот это верно! Люблю я свою жизнь больше серебра. Но не больше крови! Их — этих убийц народа моего — проклятой крови!

— Спишь, что ли, Юдка?

— Сплю, панове, сплю!

...Слепил Великий Горшечник Сосуды да уложил их горлом к Эйн-Соф — Мировому Пламени. А что будет, ежели Сосуды... Ежели кувшины горлышком к костру уложить? Сверху взглянуть — вроде круга.

...И бесконечный путь вдоль подступившей к ним Бездны!

Бр-р-р-р!

Что за ересь пришла к тебе на ум, глупый Юдка? Или не ходил ты в хедер? Или не читал Тору? Или не открывал великую Книгу «Зогар»? Где же там такое написано? Чтобы горшки горлом к огню, а вокруг — дорога, вроде ленты, что гойские девки в косы заплетают?

И проходы! Окна в каждый Сосуд!

Прости меня Святой, благословен Ты, ибо пришла в башку мою глупая ересь. И такая глупая ересь! Такая глупая!..

Не хотел погубить нас великий Рахаб! И на путь верный направил! Верный — но не прямой! Не иначе, прошли мы мимо нужного Сосуда, Самаэлевым воинством едва не убитые, а посему послали нас по дороге дальней, вокруг всех Сосудов идущей!

Не вокруг ли Света Божьего?

— Эй, жид! Юдка! А ну проснись!

Проснулся жид Юдка.

Так-так, опять гости. Да не один — толпа целая. Скалятся, перемигиваются. Видать, решили с жида Юдки поглумиться.

Я не против. Глумитесь, панове-молодцы!

— Так что мы твоей мосци, пане Юдка, ужин принесли. Не изволишь?

Кто шапку снял, а кто и в пояс поклонился.

Ага! Уже в пояс кланяться стали!

— Кулеш его мосци!

А вот и кулеш — котелок полный, дымится еще.

— Звиняй, пан зацный, что ложка не серебряная! Как думаете, хлопцы, простит нас пан Юдка?

— Гы! Гы-гы!

— Простит! Как есть, простит! А ну, жри, сучий потрох!

От котелка несло горелым салом. Ах, вот чего они удумали! Вэй, как смешно — жида салом кормят!

— Жри, сволочь! Зря, что ли, кланялись?

...Гибли мои предки перед алтарями, не желая идоложертвенное вкушать. Эх, встать бы мне, как тезке моему Иегуде Маккаби, да воззвать перед смертью к Б-гу Израиля!

А зачем?

Первая ложка глоталась с трудом, вторая уже легче.

— То спасибо, панове черкасы! А в следующий раз сало тмином заправьте. И чесночку бы, чесночку!

Хохотнули — да как-то невесело. Переглянулись, кто-то плечами пожал...

Весело было мне.

Стоят дурни, не видя, не чувствуя, что за их спинами — Спасение. Задницами повернулись. А жид Юдка знай себе кулеш трефной наворачивает.

— Ну будет, тебе! Весь котелок съешь!

А почему бы и нет? Не в сале смак — в закуске. А вот она, закуска — дюжина дураков, которых ждут не дождутся в их гойском пекле.

Цимес!

Иегуда Маккаби разрешил войску своему сражаться в шаббат. Иегуда бен-Иосиф дозволил себе вкушать трефное.

Умри, душа моя, с филистимлянами!

* * *

Хорошо спится над Бездной!

Крепко!

Так крепко, что панам черкасам пришлось жида клятого под ребра толкать.

— Гей, Юдка! Вставай, вставай! В синагогу опоздаешь!

Серое небо, серые скалы, темная шевелюра рощицы. Зеленая, наверное. А вот и тараканы! Уже и котел вымыли, и коней оседлали. Сейчас дальше поскачем — вокруг Мира Б-жьего. Гой-да, гой-да, как говаривал пан Станислав.

— Пане сотнику! Пане сотнику! Там! Там!..

Эге, а это кто? Черноусый, в левом ухе — серьга серебряная — и шабля в руке. Тоже в левой.

— Чего сталось, Свербигуз?

Ой, точно! Свербигуз! Знавал я одного СвербигуЗа — еще за Днепром. Паном был зацным да все с прозвищем непотребным маялся. Не выдержал, поклонился попу битыми талярами, тот и дозволил сменять — СвербигуЗа на СвербигуСа.

— Батька! В леске том! Баба! В смысле девка! И без всего!

Грохнуло — словно из сотни гаковниц грянули.

— Ой, хлопцы! Ой, гляньте на него! Ну, Свербигуз, ну, силен! И в пекле девку отыщет!

Только трое не смеялись: черноусый, сотник Логин — и я. Этот хлопец был *там*! Не понял, не догадался, но — увидел!

— А ну цыть, бесово племя!

Огромная ладонь взметнулась вверх. Пан Загаржецкий дернул бровью.

— Цыть, говорю! А ну, рассказывай, какая такая девка? И чего шабля в крови?

Спросил — но не на хлопца поглядел. На меня. А я смотрел на шаблю. И вправду — в крови!

— Ты чего, Свербигуз, никак девке башку снес?

Вновь бы засмеялись, да взглянули на пана сотника — и осеклись.

— Рассказывай!

Свербигуз и сам на шаблю взглянул, правой рукой чуб густой поправил.

— Так от, панове. Пошел я, стало быть, в лес по нужде. По великой...

На этот раз уже никто не смеялся.

...Итак, шел черкас по рощице, шаг, другой, ан — глядь — тропка. Он по тропке — да вниз. Тут пан Свербигуз уже и о нужде своей великой забыл. Виданное ли дело? Роща к склону горы прилеплена, а тропка *вниз* идет!

— Иду, я хлопцы, а тропка вроде как шире становится. А за нею — полянка. А на той полянке...

— Баба? — не выдержал кто-то.

— Тьфу! — черкас не выдержал: сплюнул. — Да не баба! Дерево! Такое...

Свербигуз долго пытался изобразить, какое именно. Я пригляделся. Как по мне, получалось не дерево, а именно баба.

— А на дереве — сливы. То есть не сливы, а чорт его знает что, но похоже. Вот!

На его ладони появилось что-то большое и круглое. Я пригляделся. Эге, видел! В Таврии, на бахчисарайском базаре. Не слива, конечно, — гранат. Терпкий, челюсти вяжет!

— Сорвал я, понюхал, а есть не стал. Мало ли, а вдруг это ягода волчья? И вдруг — ползет змеюка. Большая, зараза! И говорит мне человеческим голосом...

На этот раз уже ничто не помогло. Хохотали, катались по земле, утирали слезы кулаками. Даже сам пан сотник в усы ухмылялся.

— Да не вру я, хлопцы! — завопил в отчаянии Свербигуз. — Не вру! Говорит, мол, съешь, вкусно! Я ее и послал. А сам в кусты, по нужде. Припекло совсем...

Лучше бы и не говорил. Тут и я на землю сполз.

— А после выхожу, шаровары поправляю, а там девка! Без всего! Да не гогочите, панове! Девка, говорю, а змеюка — возле нее, ягоду эту волчью в зубах держит. Я ее шаблей, гадину...

— Девку?

— Да не девку!..

Пока славные черкасы валковские по земле ползали да с земли вставали, я прикрыл глаза.

...Медленно-медленно, беззвучно, словно во сне, смыкалась черная тьма. Только в самой середине белело узкое окошко...

Свистнули, подкрутили усы.

— Панове-молодцы! А ну — за девкой! Веди, Свербигузка!

Застучали ладные чоботы с подковками — и стихло все. Мы с паном сотником переглянулись. Понял? Почувствовал?

Я вновь прикрыл глаза.

Все!

Сомкнулась Бездна!

Пока вернувшиеся из рощи хлопцы-молодцы угощали Свербигуза тумаками, пока отсмеивались («добре соврал, ох, добре!»), я никак не мог вспомнить, где я уже слыхал подобную историю. Дерево с гранатом, при нем девка без плахты и рубахи, а тут и змея — человеческим голосом речи ведет. Съешь, мол, съешь...

Вкусно!

Вспоминал — ну никак вспомнить не мог!

— По ко-о-оням!

Повеселевшие черкасы лихо взлетели в седла.

— Эй, жиду, не отставай!

Не отстану, панове! Вэй, не отстану!

— Рысью! Размашистой да не раскидистой! Гей!

Ударили копыта, кто-то свистнул, и тут же десяток голосов дружно грянул:

Засвит встали черкасоньки
В поход серед ночи.
Заплакала Марусенька
Свои ясны очи!

Так грянули, что я и сам чуть не начал подпевать. А может, и начал бы (плакать вашим Марусенькам, панове! ох, плакать!), если бы не четырехпалая...

...Огромная, нелюдская, бугристая, словно из болотного тумана слепленная рука... клешня...

— Не оборачивайся, Иегуда бен-Иосиф! Не надо.

Четырехпалая клешня лежала у меня на плече. И холодом тя-

нуло от того, кто сидел позади меня, на конском крупе. От того, кто обратился ко мне на родном идише. От того, кто не был человеком.

— Меня никто не видит, бен-Иосиф. Не видит и не слышит — кроме тебя. Не видит, не слышит — и не поможет!

Сцепил зубы, закрыл глаза. Не поможет, верно! Да только не стоит меня пугать! Кто бы ты ни был, я тебя увижу. Сейчас!

Прочь, Тени!

...Узкая дорога над Бездной, всадники-тараканы — гуськом, один за другим, я — такой же таракан. А сзади меня... Сзади меня... Никого!

НИКОГО!

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Батька жив!

Жив!

Я знаю, где он!

Бабочки говорили, чтобы я его не искал, но я все равно его нашел! Только он очень далеко, за всеми пленочками. Мне до него не дотянуться.

Я буду посылать ему смыслы.

Пленочки стали очень-очень твердые.

И черные.

* * *

Мы с дядькой Князем и Теткой гуляли в саду.

Ночью.

Княжич Тор тоже хотел гулять с нами, но дядька Князь его не взял. Он — очень маленький.

Мы смотрели на звезды. Звезды очень красивые. Дядька Князь сказал мне, что звезды — это маленькие мальчики со свечечками. Дядька Князь пошутил. Я смеялся.

Тетка сказала, что звезды — это горячий пар. Совсем горячий. Она так думает. Я ответил, что горячий пар — это не звезды, а то, из чего они состоят.

Она удивилась.

Дядька Князь стал говорить с теткой другими словами. Они думали, что я не понимаю. Дядька Князь говорил, что его обманули. Что его обманул я. Я должен был всех спасти. Но не спас. Не спас, потому что радуга снова в небе. Каждый день.

Радуга очень красивая! Почему дядька Князь сердится?

Я чуть не заплакал, но вспомнил, что мне плакать нельзя.

Тетка сказала дядьке Князю, что я скоро вырасту.

Они стали говорить тихо. Я не подслушивал. Подслушивать нехорошо. Я смотрел на звезды. Звезды красивые. Я искал. Я нашел!

Я нашел!

Меня спросили, почему я кричу. Я сказал, что нашел свое имя. Мое имя — звездочка. Я это знал, но забыл. Потом вспомнил. Звездочка белая и большая.

Дядька Князь сказал, что белую звездочку у них называют Тацел. Я ответил, что слово Тацел мне не нравится. Тетка сказала, что у меня дома эту звездочку называют разными именами. Я ответил, что имя может быть только одно, его лишь произносят по-разному.

Они снова удивились. Я хотел сказать, что имя тетки тоже произносят по-разному. Дядька Князь называет тетку «Сале». Братик называет «Сука поганая» и «Колдунья». Себя она называет «Куколка».

Но я не сказал. Она испугается.

Я не знаю, что означает слово «эвакуация». Надо спросить у братика.

* * *

Добрый дядька далеко. Ему хорошо, но он не хочет обо мне думать. Мне грустно.

Братик смешной. Он опять сидит у кувшина, в котором нет смыслы. Он плачет.

Я хотел его спросить, что значит «эвакуация».

Я хотел спросить его о батьке и мамке.

Я не спросил.

Он плачет. Он ругает плохими словами себя. В словах — черные смыслы. Меня он тоже ругает. Братик думает, что я во всем виноват. Я — и батька.

Я не выдержал и заплакал.

Надо сказать дядьке Князю, чтобы у братика отобрали кувшин. Кувшин плохой.

Тетка не хотела со мной говорить. Тетка боится. У нее во рту — много ядовитых закорлючек. Теперь я знаю — это тоже смыслы, но очень плохие.

Я умный. Я не стал спрашивать тетку, что значит «эвакуация». Я не стал спрашивать ее о батьке. Я спросил, как помочь Ирине Логиновне Загаржецкой. Ей очень плохо. Мои смыслы не помогают.

Тетка мне сказала, что она говорила с дядькой Князем. Дядь-

ка Князь не любит Ирину Логиновну Загаржецку. Он ее убьет. И добрый дядька ее тоже убьет, если увидит.

Тогда я сказал, что сам убью их всех. Кроме доброго дядьки.

Тетка не испугалась. Она сказала, что я молодец. А с добрым дядькой она сама поговорит. Потом.

* * *

У меня дома звездочку называют разными словами. Я все запомнил, но эти слова мне не нравятся.

Надо спросить доброго дядьку. Добрый дядька знает много слов.

Бабочки подрались. Они глупые. Из-за них пленочки чернеют.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

Странно, она все еще была жива.

Тело словно исчезло. Перестали ныть вздернутые вверх, закованные в железо руки, затихла боль в истерзанном лоне, в разбитых, истоптанных коваными сапогами ногах. Все стало каким-то стеклянным, пустым, ненастоящим.

Но она все еще жила. И это казалось самым страшным.

Окровавленные, потрескавшиеся губы еле заметно шевельнулись. Легкий хрип, стон. Слова рождались сами собой, негромкие, горькие.

У долини огонь горит,
Коло огню турок сидит.
Турок сидит — коня держит,
Коня держит за поводы,
За поводы шовковые.
Биля него дивча сидит.
Дивча сидит, слизно плаче,
Слизно плаче, турка просит...

Ярина не плакала — слезы давно исчезли. Да и поздно плакать. Надо было собраться с силами, привстать, собрать остатки жизни воедино, словно капли со стенок битого кувшина.

Пусти меня, турчиночку,
Побачиты родыночку,
Ще й ридну Вкраиночку.
Сестра сестри промовляе:
Проси, сестро, турка-мужа,
Нехай русу косу утне,
Най до мамки ее пошле.

Все-таки ей удалось приподняться. Стеклянное тело не слушалось, сопротивлялось. Кровь текла из прокушенной губы, но Ярина не чувствовала, лишь краешком сознания дивилась, отчего во рту так солоно.

Най ся мамка не фрасуе,
Най нам вина не готуе.
Бо ми вино утратили
Пид явором зелененьким
И з турчином молоденьким...

Привстала, с трудом прикрыла сухие, словно из ржавой жести, веки.

Прости, Богородица Пресвятая! Прости, мир крещеный, родная земля!

И ты, батьку, — прости!

Удара не почувствовала — словно и не о каменную стену головой билась. Сцепила зубы, застонала, ударила сильней. Еще! Еще! Кровь лилась по затылку, заливала волосы, стекала на шею.

Еще! Еще! Еще!

И тут вернулась боль — навалилась, окутала кровавым покрывалом. Ярина захрипела, дернулась, снова ударилась головой о холодный камень, о равнодушную мертвую стену.

— Не надо! Не надо делать больно!

Чужой голос донесся глухо, словно из несусветной дали.

— Не надо!

Ярина открыла глаза, все еще не понимая, не веря.

Ее соседка, обезумевшая, лишившаяся речи...

— Ирина Логиновна Загаржецка не должна делать так больно! Не должна умирать!

И тогда она закричала. Завыла, забилась, пытаясь порвать державшие руки цепи. А странный, незнакомый голос все повторял, повторял:

— Не надо! Не надо! Не надо!

* * *

Сначала она поняла, что ее руки свободны.

Поняла — и почему-то не удивилась.

На запястьях — кровавые следы, пятна ржавчины, но стальные браслеты сгинули, и цепей нет, и боль почему-то исчезла.

Чужое лицо склонилось, снова отодвинулось.

— Кто вы?

Губы с трудом шевельнулись, но мысль уже жила. Соседка!

Та, что была безумной! То есть не была — притворялась, наверное!

— Я не знаю слова. Имя знаю, а слова — не знаю. Я скажу потом. Ирина Логиновна Загаржецка не должна умирать! Я буду давать ей белые смыслы.

Ярина глубоко вздохнула. Странно, тело снова слушалось. Она попыталась привстать, привалилась спиной к холодной стене.

Смыслы? Видать, невидимый толмач совсем службу забыл!

— Ирина Логиновна Загаржецка должна сказать, что я могу сделать. Я не знаю! Я еще маленький!

Она удивилась — и вдруг поняла. Толмач не нужен. Соседка говорит на ее родном языке! Соседка?

— Я скоро вырасту — и тогда буду знать!

— Ты?.. — Девушка подалась вперед, протянула руку, отдернула.

— Ты — не она?

Незнакомые глаза виновато моргнули.

— Я не мог поговорить через пленочки. Эта тетка — пустая. Я сейчас поговорю и уйду. Я не буду больше ей мешать!

Догадка — невероятная, невозможная, заставила похолодеть, отшатнуться.

— Денница? Ты — Денница?

«Я еще... скачу на ивовом прутике. Как ты когда-то. Я смогу помочь, если... Если тот, кто мною станет, вспомнит одну очень важную вещь. Он быстро учится».

— Денница? А что это?

В голосе было такое удивление, что на миг Ярина забыла обо всем. Даже о сыром подземелье. Даже о смерти, что была совсем рядом.

Голос, хриплый, женский — и одновременно детский, чуть растерянный. Глаза...

Его глаза!

— Денница — это утренняя заря, — заспешила она. — И еще так называют звезду, которая всходит и утром, и вечером.

— Звездочка! — В голосе прозвучала радость. — Белая звездочка, такая красивая?

— Да.

Тело в разорванном платье приподнялось, неловко шагнуло вперед.

— Большим... Трудно быть большим! Земля далеко!

На миг Ярина вновь увидела черное небо, оскал Месяца-Володимира — и пальцы, сжимавшие ее руку.

Да, земля далеко.

— Ты вырастешь, Денница, — негромко, даже не думая, что он услышит, проговорила панна сотникова. — Ты скоро вырастешь!..

Услышал! Глаза радостно моргнули.

— Да! Я скоро вырасту, Ирина Логиновна Загаржецка! Скоро вырасту! И тогда я смогу унести тебя из плохого места...

...В черные холодные небеса. Под ледяной свет звезд.

Девушка вздохнула.

— А сейчас — не могу, — в голосе теперь слышалась обида. — Не могу! И даже бабочки не могут помочь. И батька не может. И братик... Скажи, что я могу сделать? Я дал тебе белую смыслу.

Только сейчас Ярина заметила, что уже не сидит, а стоит. Стоит! Ровно! Нога...

Пальцы коснулись рассеченного, плохо сросшегося сухожилия. Нет, рана не исчезла! Просто она может стоять...

Стоять? Просто стоять?

Девушка быстро оглянулась. Жаль, того, кто спас Черную Птицу, еще нет! Жаль, что они не встретятся! Но зато...

Сухие, в растрескавшейся корке, губы дернулись злой усмешкой. Зато ей не придется разбивать голову о грязную стену! Поглумиться над девкой решили, сволочи? Потешиться? До конца дней вы эту потеху запомните!

— Денница, ты... Ты можешь мне дать еще такую смыслу? Чтобы я могла... двери выбить?

Голова с растрепанными волосами неловко дернулась — он кивнул. На миг Ярина увидела все словно со стороны — и вновь усмехнулась. Раньше бы с ума сошла — с оборотнем, чуть не с мертвяком ходячим речи вести!

Ну и пусть! Хоть с Сатаной! Хоть с самим Люцифером!

Дверь бы выбить! Волюшки последней хлебнуть! А там — пусть даже смерть. Их родовая, столповая!

— Я могу. Я постараюсь, Ирина Логиновна Загаржецка!

— Меня зовут Ирина. Несущая Мир. Хорошо?

Снова кивок. И вдруг нелепое тело закачалось, неловко подогнулись ноги, закрылись глаза. Закрылись и снова открылись — пустые, чужие.

— Прощай, Несущий Свет, — прошептала она. — Прощай...

Вместо ответа послышалось знакомое тявканье. Безумная соседка отползала в свой угол. Ярина засмеялась и легко шагнула к двери.

* * *

Последнего — восьмого — сердюка она убила уже на ступенях, ведущих во двор. Резв был мужик и неглуп — первым понял, что безумную голую девку ни шабли, ни пики не берут. Схватил ключи, всю связку — прямо в зубы — и как раз успел дверь, железом окованную, отпереть, когда Яринина рука легла ему на ворот.

Не дрался, даже о жизни не просил. И страха в глазах не бы-

ло — одно изумление. Так и умер с шеей сломанной — удивляясь.

Ярина глубоко вдохнула теплый летний воздух, усмехнулась, сорвала с плеч мертвеца черный плащ. Почти впору — и совсем как тот, в котором она по небу летала.

В подземелье — тихо. А кровь замоют да падаль уберут — еще краше будет. А что снаружи? Лестница, двор, а там, если помнится, уже и княжьи палаты.

Гостью примешь ли, князь Сагорский?

Солнце ударило в глаза, но девушка даже не зажмурилась. Шла ровно, не оглядываясь. Кто-то подскочил, заглянул в лицо, отбежал...

— Хватайте! Хватайте девку!

Запоздалый крик ударил сзади, но Ярина даже головы не повернула. Двор людьми полон, паны и пани, все в шелках да аксамите. На ассамблею собрались, что ли? Не рановато?

Ну, раз собрались — будет вам ассамблея!

— Держите ее!

Перехватила чью-то шаблю, легко, не глядя, переломила, отбросила в сторону. Рука нащупала горло, теплое, потное...

— Ведьма! Ведьма! Стреляйте!

И словно в ответ — дружный крик. Паны и пани в пышных нарядах суетились, отбегали в сторону...

Почуяли!

Тяжелая стрела пробила плащ, скользнула по телу, и царапины не оставив. Ярина только бровью двинула. Не ожидали? Она оглядела быстро пустеющий двор. Три входа, у двух пусто, возле третьего — сердюки в латах. Эге, панове, уж не там ли ваш князь пребывать изволит?

На пики и внимания не обратила. Расступились пики.

— Господа! Железо! Ее железо не берет!

И шабли опустились. Ярина даже думать не стала — отчего.

— Господа! Это не девка! Это Глиняный Шакал! Шакал!

Вопль ударил в уши. Ярина поморщилась, поймала орущего за ворот, легко отбросила на ровные каменные плиты.

— Глиняный Шакал! Бежим!

— Бежи-и-и-им!

Панна сотникова только скривилась. Хороши вояки! Да будь она хоть Железным Волком, гоже ли бежать? Умри, а пост не оставь! Да сотня черкасов все это царство-государство за неделю узлом завяжет и в торбу седельную кинет!

У входа блеснула сталь. Ярина всмотрелась. Эге, не все тут

труса празднуют! Вон, столпились, мечи свои немецкие выставили.

А руки-то дрожат, панове!

И ладно! Чем гуще трава — тем слаще косить!

Дверь, за дверью лестница-сходы, мрамором блестит, ковром красным покрыта.

Туда?

Туда!

В гости!

И она шла.

Худая плосконосая Смерть в черном плаще — страшная, окровавленная, беспощадная. Искалеченная семнадцатилетняя девушка, мечтавшая о жизни, а ставшая Гибелью.

Шла.

По трупам.

Порог, лестница — широкая, бесконечная, в ворсе ковра тонут босые ноги.

...Трое в темном аксамите На головах — венцы медные, в руках — не поймешь: не шабли, не шпаги. И не мечи даже. В глазах — глухой ужас.

— Рассыпься! Рассыпься!

Даже не улыбнулась Ярина-Смерть. Отбила ладонью бессильную сталь, протянула руку...

— Рассыпься! А-а-а-ай!

Двое не соблюли чести — вниз по лестнице покатились, венцы медные теряя. Третий остался — глядел, не мигая, пока жив был. Недолго глаза пялил, пан зацный!

Выше!

А вот и еще один — в черном железе, тоже с венцом — серебряным. Щит выставил — один венец виден.

...Пробила рука щит.

Мучить, на куски рвать, как тех, в подземелье, не стала — натешилась. Просто сжала пальцы на горле. Треснул металл доспеха — и позвонки хрустнули.

— Князя! Князя спасайте!

Крик долетел, отразился от гулких сводов. Покачала головой Ярина-Смерть. Поздно, панове, ой, поздно! То раньше спасать требовалось — когда его мосць Сагорский беззащитную девку плетьми полосовал да ублюдкам своим сильничать велел!

Теперь — поздно!

Коридор — широкий, словно зала. Парсуны на стенах, канделябры ярым золотом сверкают. Эге, а это кто? Никак Гринь? Ну, здоров будь, иуда! Помнишь Калайденцы, хлопец?

Или забыл?

Белыми были глаза чумака Кириченки, байстрюкова брата. Не на нее смотрел, не в сторону — в себя. И шаблю не вынул — стоял, белыми глазами светил. А как подошла Смерть, шевельнулись бескровные губы:

— Убей, Ярина Логиновна! Освободи! Мочи нет!

И опустилась рука. То ли вспомнила Смерть, как чумак хворую девку на закорках волок да травами отхаживал, то ли не пустило что-то...

...Словно донеслось из бесконечной дали, из-под самых холодных звезд:

— Не надо! Не надо, Несущая Мир!..

Прошла мимо. Отвернулась. И услышала тихое, безнадежное:

— Освободи! Все одно — жизни не будет!

Улыбнулась Ярина-Смерть треснувшими, кровью текущими губами. Эх, хлопче, у тебя ли одного?

Улыбнулась — забыла.

Коридор, на парсунах — паны пышные в шелках да аксамите. На всех — венцы золотые, руки — на крыжах, кто-то меч вынул...

А не сойдете ли с парсун, панове?

Молчат!

Чуют!

У дверей двустворных, белых, с накладными золотыми штуками, ее ждали. Не стража, не паны с венцами — старый знакомый. Нос из морщин торчит, худая ручонка вперед тянется...

И ты тут, гриб-поганка? Ай, славно!

Дрожала чаклунская рука, воздух знаками черкала. И губы дрожали, молитву творя. Или не молитву. Кто ведает, какого беса кликал поганый старик?

— ...Пятым небом золотым, и шестым — смарагдовым, и седьмым — белого огня!..

Словно ветерком повеяло — легким, прохладным. Повеяло — да отпустило.

— Ну что, колдун, помогли тебе твои бесы? Или опять иголку достанешь?

Хрустнула ручонка, дернулась челюсть. Поморщилась Смерть гадливо, сжала пальцы...

Утробный вой смолк, стоном сменился. А после и стон затих. Язык оторванный кровавой пиявкой о белый мрамор шлепнулся. Полетели красные брызги.

— А вот тебе моя виза, кат! Заждались тебя в пекле!

Переступила через дергавшееся последней мукой тело, легко тронула дверь.

— То открывай, кнеже!

Зала — не зала, но и, считай, не горница. Большая, круглая, окна высокие, стекла в свинцовых переплетах. У стен — цветастые штандарты, на стенах — зброя каменьями светит.

Кнежа узнала сразу, хоть и видела однажды — когда ее, по рукам да ногам связанную, в подземелье волокли. Рядом с паном Мацапурою стоял тогда кнеж. Стоял, на нее брезгливо косился.

Со свиданьицем, ваша милость! Не побрезгуешь ли теперь?

У высокого кресла встречал ее кнеж. На том кресле — венец золотой, и на кнежском красном плаще тоже венец — парчой заткан.

И красным пламенем горел камень на тяжелом перстне. Горел, подмигивал.

— Ну, добридень, ясно утречко!

Не спешила Ярина-Смерть. Посмотреть хотела. Потешиться. Как те, что ее тело терзали.

Рад ли гостье, кнеж?

Не было страха в черных глазах кнежа Сагорского. Только лицо белым стало да пальцы дрогнули, прежде чем на крыж меча лечь.

— Нам надо поговорить... побеседовать, госпожа Загаржецка!

Весел был смех панны сотниковой.

— Ой, надо, ваша милость! Ой, надо!

И вновь не дрогнул кнеж. Твердо смотрел.

— Вы совершаете ошибку, госпожа Загаржецка. Вы — марионетка... кукла... орудие в чужих руках. Если вы еще человек — остановитесь!

Покачала головой Ярина-Смерть. Ближе шагнула. Сжались белые пальцы на крыже, но не вынул меча кнеж Сагорский. Лишь двинул пальцем, камня красного на перстне коснулся.

И вновь вспыхнул камень кровавым светом. Вспыхнул, подмигнул.

Погас.

— *Они*... те, кто послал вас, хотят оставить государство без управления. Сейчас критический... опасный момент... время. Если погибну я, погибнут все. Десятки тысяч людей!

Вздохнула Смерть. Вот и о людях вспомнил! Теперь о боге самое время подумать, нехристь проклятый!

— По отношению к вам была допущена несправедливость... жестокость. Но у меня не было выбора, госпожа Загаржецка! Вы отказались сотрудничать... помогать. Когда речь идет о спасении страны... мира... я не могу выбирать средства!

Говорил, а сам перстень гладил. Горел перстень, подмигивал. Словно чей-то глаз на незваную гостью пялился.

Ярина лишь головой покачала. Ой, нехороший перстень у тебя, твоя милость! А камень — словно с цепи зацного паны Мацапуры, дьявола клятого!

Даже зашипела она, о Диком Пане вспомнив. Зашипела, ближе подошла.

— Нашему миру грозит беда... опасность. Единственный выход — эвакуировать... вывезти население... жителей. Рубежи закрыты, мы можем пробраться только в ваш Сосуд... мир... землю...

Губы двигались, а глаза молчали. И поняла Ярина — время тянет кнеж. Не зря — что-то знает. То, что ей неведомо.

Скорей!

Еще ближе подошла. И — отшатнулся владыка Сагорский. Спиной к креслу под венцом золотым стал. Руку поднял — ту, что с перстнем кровавым.

Ай, кнеж Сагорский! Что за перстень потворный!

— Теперь я понимаю, госпожа Загаржецка. Меня обманули. И не только меня. *Они* обещали... Обещали спасти мой мир. Потом — обещали показать путь в ваш Сосуд... землю. *Они* сказали, что надо спешить, что вас следует допросить пожестче... пострашнее. А потом превратили вас в Глиняного Шакала!

Складно лилась кнежья речь, но не поверила Ярина. Да и верить не хотела. Не в словах кнежских правда была — в глазах. Твердо смотрели глаза.

Без страха.

— Поэтому вы должны остановиться... одуматься. *Они* могут уничтожить и ваш мир... Сосуд.

Голубой сталью сверкнул меч, холодной змеей взвился. Все рассчитал кнеж — подпустил на полтора шага, как раз на длину клинка. Жадно блеснул клинок, по крови людской изголодавшийся — по крови, по мясу, по жилам. И ни медь не остановит его, ни железо, ни грань алмазная...

Остановила рука. Тонкая девичья рука. Жалобно зазвенели обломки, словно пощады прося.

И впервые блеснул ужас в темных глазах. И засмеялась Ярина-Смерть.

Пальцы сомкнулись на чужом запястье. Сомкнулись, сжались.

Рванули.

Блеснул в последний раз колдовской перстень. Оторванная длань кнежа упала на крытый ковром пол. И погас кровавый камень.

— Нет! Не надо! Тата! Тетечка, не убивай тата!

Простучали маленькие ножки. Кто-то подбежал к Ярине, потянул за плащ.

— Тетенька! Не надо! Тата! Не убивай! Он добрый!

И опустилась рука.

Хлопчик, лет трех, не больше. Глаза — такие же темные, отцовские, а в глазах...

— Тетенька! Не убивай! Не убивай!

Шевельнулись побелевшие кнежьи губы.

— Уйди, Тор! Уйди!

Застыла Ярина столпом Лотовым. На все была готова Смерть, со всем простилась. Не ожидала лишь такого.

— Госпожа... Загаржецка. При ребенке... Не надо. Я виноват; он нет. Пожалейте... Его пожалейте. Пусть уйдет!

Трудно говорил кнеж и стоял плохо — рукой уцелевшей за кресло с венцом держась. Но ударили эти слова в сердце, и дрогнула Смерть...

— Уйди, сынок! Уйди!

— Тата! Тата!

И когда обхватил маленький кнеж отцовы колени, ткнулся лицом в окровавленный аксамит, поняла Ярина-Смерть, что не Смерть она уже, и подкосились ноги, и вновь нахлынула позабытая боль, заволокла черным покрывалом, словно ночным небом. Заволокла, закружила, бросила в глухое беспамятство. И только детский голос все повторял, повторял:

— Тата! Тата! Тата!..

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Мне плохо.

Больно.

Красивый человек дает мне горькое. Говорит слова. Слова неправильные, но я молчу. Он не понимает.

Тетка приходит. Молчит. Она понимает. Она рассказывает. Я молчу, хотя все знаю.

Братик приходит. Он белый. Он не плачет. Ему холодно. Мне тоже холодно. Я отдал все свои смыслы. Я очень старался. Я не смог. Я еще маленький.

Братик говорит, что дядьке Князю тоже больно.

Ну и пусть! Он плохой!

Когда я вырасту, я хочу стать таким, как Ирина. Как Несущая Мир.

Я хочу летать с ней по небу.

* * *

Батя меня слышит. Он далеко. Между нами много черных пленочек. Я не могу достать.

Он мне говорит слова. Говорит смыслы. Я не слышу. Он далеко.

Я хочу спросить его о мамке.

* * *

Бабочки смешные.

Они думают, что я не слышу. Они громко думают. Они думают, что я слишком быстро расту. Им страшно, но они хотят, чтобы я вырос.

Они знают мое имя, но не говорят мне. Я молчу. Я — белая звездочка. Я — Денница. Я тот, кто Несет Свет.

Когда я вырасту, я тоже стану бабочкой.

Буду летать.

Я буду летать по небу вместе с Ириной.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

Пахло старым железом.

Рука коснулась решетки, пальцы скользнули по неровной стальной тверди.

Темно.

Темно — и качает. Словно на «чайке», что по днепровской волне плывет. С детства мечтала под белым парусом сходить — к порогам, к химерной Хортице, что всем черкасам мамка, и дальше, на самое Черное море. К Варне, Трабзону, Синопу, к вражьему клятому Стамбулу. Летит соленая вода с тесаных весел, от зеленого близкого берега — кипарисовый дух...

Хорошо!

А еще лучше, чтобы полночь, залихватский посвист, грохот гаковниц — и стальные крючья, вонзающиеся в борт турецкой галеры!..

Мечтала, грести училась, натирала кровавые мозоли.

Да где там!

Боль не исчезла, но все же отпустила, уйдя куда-то вдаль и напоминая о себе лишь редкими толчками. Нога... Плетью висела нога — не двинуть. Лицо... В кровавой коросте лицо, лучше и не трогать!

Ярина приподнялась, попыталась сесть — не вышло. Прутья, толстые, в палец, со всех сторон. Домовина? Нет, скорее клетка.

Клетка?

Прутья — как на медведя, а в придачу еще и железо со всех сторон. Добро хоть щели оставили, а то и задохнуться просто! Здорово же она их всех напугала!

Вспомнилось — и тут же забылось. Не о чем жалеть, Ярина Логиновна! Сладко погуляла — жаль, не догуляла слегка!

Ах, твоя милость, кнеж Сагорский! И кто же тебя спас, кто от смерти увел? Мальчишка, что за батьку просил, — или красный камень на чаклунском перстне?

Странно: все словно туманом серым затянуло, а свет тот кровавый до сих пор в глазах стоит!

Тьфу ты, погань!

Перекреститься — руки не поднять. Клетка-домовина не пускает.

Тряхнуло. Ярина приподнялась — и вдруг поняла. Не зря о «чайках» белопарусных подумалось! Только не плывет она, а едет. Вон и скрип колесный, и голоса! Один... второй... третий...

— А как проснется?

— Типун тебе! Да ему... Тьфу! Ей то есть, почитай, флягу зелья в глотку влили!

— Так ведь не девка! Шакал Глиняный!

— Тихо вы! Разбудите! Али порядку не знаете? Зашевелится — в свистульки дуй! А не поможет — то к господину герою.

От такого бреда Ярина очнулась окончательно. Пошарила в темноте, надеясь нащупать дверцу или оконце, да где там! Постарались кузнецы!

— Эй, господин герой! Господин герой!

Нелепые слова показались странно знакомыми. Слыхала их панна сотникова, и не один раз! Неужто пан Рио?

— Да не волнуйтесь, господа! Ну, Шакал, ну, Глиняный. Не дракон же, в самом деле!

Нет, не Рио! Совсем другой голос. Приятный голос — вроде как с улыбкой пан герой объясняет.

— Главное, господа, правила соблюдать. Помнится, служил я у наместника Тулли. Бравый был рубака! Тогда еще война была с Бешеным Панчем, помните? Так господин Тулли любил повторять: при соблюдении устава караульной службы никаких неприятностей ждать не следует.

Байка внезапно понравилась. И не смыслом, а тем, как рассказана. Шутит пан герой, но не зло. Подбадривает своих сер-

дюков. И верно: ежели правила караульные соблюдать, ни за что ей, Ярине Загаржецкой, из клетки не выбраться.

Впрочем, если и не соблюдать — тоже не выбраться. Хороша клетка, с душой ковали!

— А неужто, господин герой, в столице колокольни не нашлось?

— Нашлось — так без полусотни золотых остался бы, орел!

— И то верно. Эх, кому война, кому — мать родна!

Ярина хотела было окликнуть своих стражей, но передумала. Устав есть устав, а слушать, как под ухом в свистульки дуют, ей совершенно не хотелось.

Тележный скрип, негромкое лошадиное всхрапывание, запах старого железа. Закрыть глаза — и вроде бы как по Днепру плывет. Легкая волна «чайку» подкидывает, весла воду режут, брызги летят, а над головой — тоже чайки, на белых крыльях — черные пометины...

* * *

— Сударыня! Не изволите ли выпить молока?

В лицо ударил острый сосновый дух. Ярина открыла глаза.

Солнце!

Да, солнце. Вечернее, теплое. Ничего, что сквозь прутья, ничего, что вокруг все та же клетка!

— Сударыня! Вы меня слышите... воспринимаете?

Незнакомое лицо было рядом — у самой решетки. А, вот в чем дело! Железо-то сняли! Не все, но почти половину.

— Это молоко. Если хотите, я хлебну первым.

— Нет, не надо, — Ярина наконец-то пришла в себя. — Спасибо, я выпью!

Узкая глиняная филижанка с трудом пролезла через прутья. Пить лежа было неудобно, молоко лилось по подбородку, капало на железный пол.

Ярине стало неудобно. Гоже ли ей, как нищенке последней, угощением давиться? Она украдкой взглянула — и никого не увидела. С понятием оказался пан герой — не стал глаза пялить.

— Спасибо!

Не глядя, протиснула пустую филижанку через прутья. И тут же ее руки коснулись чьи-то пальцы.

— Извините.

Лицо снова было рядом. Обычное, чуть скуластое. Молодой парень, пригожий, с глазами веселыми. Только волосы уже успел потерять, оттого и старше кажется.

— Если хотите, могу принести еще. Нам выдали целый жбан. Не уверен, правда, что все оно — от черной коровы...

— Как? — поразилась Ярина.

— От коровы. Черной, без единого пятнышка, — улыбнулся пан герой. — Считается лучшей защитой от Глиняных Шакалов.

Ах да! Ярина не удержалась — дернула губы усмешкой. Славно придумано, а главное...

— А вы-то не боитесь, пан герой?

— Да как вам сказать, сударыня...

И вновь — усмешка в голосе. Но почудилось панне сотниковой, что все это — неспроста. С чего бы старшому стражу с нею лясы точить? Или это тоже по уставу?

— Боюсь, конечно. Но Глиняный Шакал опасен и для тех, кем он овладевает. То есть, извините, для вас. Глиняные Шакалы часто скрываются под видом обычных людей, как правило, чужестранцев... иноземцев...

Пан герой непринужденно болтал, но Ярина уже поняла — время тянет. Для чего? И стражи не видать. Или попросить его, чтобы выпустил — хоть по нужде? Так ведь клетка цельная, не отворить!

— Его, так сказать, носители порой и не подозревают — до поры до времени. Как вы, например.

Слушать эту чушь не хотелось. Ярина вновь попыталась сесть, ударилась головой о железо, поморщилась.

— То пан герой не знаком ли с паном героем Рио?

Спросила просто так, чтобы про Шакалов не слушать. Но ее собеседник ответил сразу:

— С тем, кто получил Большой заказ... поручение? Конечно, конечно! Я, признаться, тоже пытался, но, увы, споткнулся у самого финиша... у конечной точки. Господин Рио — герой из самых лучших, но мне, честно говоря, не хотелось бы меняться с ним местами. Ведь рассказывают, сударыня, что он заклят. Представляете? А жить заклятым, я вам скажу...

И вдруг Ярина поняла, что голос ее стража звучит совсем тихо, и солнце уже не светит, а перед глазами серое что-то...

— Бедняге не повезло — не вернулся. Есть слушок, что Заказ... поручение перехватил тот господин, что привез этого странного ребенка. Сударыня, возможно, слыхала о господине Мазапуре?..

Хотелось ответить — ведь слыхала о «господине Мазапуре»! Ох, слыхала! Но Ярина вдруг поняла, что не может шевелить губами, и руками двинуть не может.

— Ну вот и все! — Голос пана героя донесся, словно из несусветной дали. — Спит, господа! Всего-то и работы!

Спит? Девушка невольно удивилась. Она спит? Но почему? Ей совсем не хотелось спать!

— А точно спит, господин герой?

— Убедитесь! Недаром я говорил, что с собой надо сонного зелья брать. И побольше.

— Ну вы и герой, господин герой!

И тут Ярина поняла. Поняла, попыталась усмехнуться, но серая тьма заволакивала, гасила сознание.

— Да я бы лучше помер, чем с чудищем этим толковать!

— Э-э, нет, господа, с Шакалом тонкость нужна! Он ведь на свою речь надежду имеет, значит, разговаривать захочет. И молоко, как ни странно, любит. Книги читать, господа, надо! Все, можно ужинать!

А она еще подумала, что незнакомый ей пан герой пожалел девушку! Ярина рассмеялась сквозь подступившую со всех сторон тьму — беззвучно, горько. Как это ее сердюк назвал? Чудище? А ведь и вправду — чудище! Чудило Глиняное!..

* * *

...Лед был не белым, не синим даже — зеленым, словно молодая трава. Горный пик врезался в черное небо острым зубом, и холодом веяло от его неприступной мощи.

— Не бойся, Ирина! Я здесь!

Теплая рука подхватила, помогла стать на ноги.

— Красиво, правда?

Денница улыбался, и был на нем все тот же лиловый плащ, и так же сверкал серебром обруч в светлых волосах.

Ярина оглянулась. Вокруг лед — зеленый, в дивных узорах, вот еще одна вершина, чуть пониже, вдали, у черного горизонта — еще одна.

И звезды — огромные, яркие. Совсем близко — протяни руку.

— Красиво! А где мы, Денница?

— Не на Земле. Но и не так далеко. Этот мир совсем рядом, и даже не за Рубежом. Соседняя планета, очень древняя, старше Земли.

Ярина не поняла — но и не испугалась. Пусть так! С Несущим Свет — не страшно.

— Здесь хорошо думается — и никто не мешает. Мои, — он негромко засмеялся, — мои сородичи почему-то боятся космоса. А люди сюда придут не скоро.

И вновь не поняла Ярина, но теперь уже почувствовала тревогу. Почему они здесь? Почему ей снится эта чужая земля?

— Что случилось, Денница?

Он не ответил — задумался. И странным стало его лицо.

— Мне... Мне следует принять решение. Очень важное, Ирина! И я пока не знаю, что делать.

— Я могу помочь?

Она подошла ближе, легко коснулась его руки. Несущий Свет улыбнулся — еле заметно, одними губами.

— Сказавши «алеф», следует говорить «бейт». Пять Воинств

перешли ко мне. Два — остались верны Рубежам. Я должен решиться.

Девушка хотела спросить, узнать, что за воинства такие и с кем баталия предстоит (ведь ясно — о бое близком речь), но вдруг поняла — нельзя. И страшно стало — словно вновь в подземелье оказалась.

Нет! Страшнее! Куда страшнее!

— Он — всемогущ, Ирина, но ведь мы — и ты, и я — тоже Он! А дом, расколовшийся надвое, не устоит — Он сам так говорил. Он отдал слишком много Себя, чтобы создать и нас, и людей. Но ведь если мы — это Он, то бунтовать против самого себя нелепо, правда? Все миры, все Сосуды, все Существа Служения, все люди — одно целое! Но ведь начали не мы!

Внезапно ей захотелось проснуться — пусть даже в подземелье, пусть в цепях. Что-то жуткое решалось тут, на неведомой планете, среди зеленого льда.

Денница словно понял. Замолчал, легко коснулся ее плеча.

— Извини. Это — моя забота. Просто я с детства очень уважал тебя, Несущая Мир. Если бы не ты, я бы вырос совсем другим... То есть вырасту.

Он рассмеялся — и тревога исчезла. Без следа, без приметы. Она — свободна, его теплая рука касается ее пальцев...

— Жаль, я ничем не смог тебе помочь, Ирина! Тот, кто будет мной, еще мало понимает. Он дал тебе силу — ненадолго, всего на какой-то час! — но не открыл дорогу...

— Кто ты, Денница?

— Я? — Он развел руками. — Пока я маленький некрасивый мальчик, которого все боятся. Я могу заболеть, умереть, погибнуть, и тогда все, что ты видишь, останется просто твоим сном. Будущего еще нет, Несущая Мир!

— Я не понимаю! — отчаянно воскликнула Ярина. — Денница, объясни! Мне страшно!

— Мне тоже, — его глаза внезапно стали суровыми. — Но Будущее не должно говорить с Настоящим. Скажу лишь то, что уже известно в твоем мире. Существа Служения посчитали себя мудрее Его и решили уничтожить Сосуды, дабы воссоединился весь Мир и исчезли преграды. Тот Сосуд, в котором находимся я и ты, должен погибнуть очень скоро. Он — проба, очередная попытка. Удастся — погибнут и остальные.

Слова были непонятны, но страх почему-то исчез. Словно и вправду — перед боем. Ожидание кончилось. Вот он, враг — от одного конца поля до другого. Дымятся фитили гарматные, заряжены рушницы, вот-вот грянет первый залп...

— Но ведь мир не погибнет, Денница? Он не должен погибнуть, слышишь!

Холодно сверкал зеленый лед, ярко горели близкие звезды, и тепла была его рука.

— Не погибнет, Ирина. Я спасу!

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Тетка тоже умеет разговаривать с бабочками.

Она их боится.

Бабочки ей приказывают.

* * *

Дядька Князь потерял смыслу. Он погас. Он уже не светится. Мне его не жалко. Мальчик Княжич Тор плачет. Мне его жалко.

Братик говорит, что будет «смута». Что нам нужно уехать. Я сказал, что нам нужно ехать к батьке, но братик не хочет. Братик боится батьки. Я не понимаю. Батька добрый. Он скоро вернется. Тогда я сказал, что мы поедем к доброму дядьке. Добрый дядька меня любит.

Братик не хочет. Он боится доброго дядьки.

Мой братик всего боится. Наверно, он еще не вырос. Я сказал, что, если его будут обижать, я их всех убью, как Ирина Логиновна Загаржецка.

Братик очень испугался.

«Эвакуация» — это когда все уезжают, нагрузив вещи на телеги. Телег нужно много.

* * *

Пленочки порвались! Это плохо! Это очень-очень плохо!

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

Вначале удивило покрывало — легкое, почти невесомое.

И чистое.

Она уже успела отвыкнуть от чистоты. От чистоты, от мягкой перины, от тишины, от забытого чувства покоя.

Веки не хотели открываться, но это было ни к чему. Можно было просто лежать, чувствуя еле ощутимую тяжесть теплого покрывала, вдыхая приятный запах. Лаванда вроде? Или не лаванда, но уж очень похоже.

И боли нет! А если и есть, то где-то далеко, в самом темном уголке.

Или в рай ты попала, сотникова?
В рай?
А как же Шакал Глиняный?

— Госпожа должна спать. Не будите. А проснется — зелья дайте, как я прописал.

— Да-да, господин лекарь, не сумлевайтесь...

Лекарь? Уж не ее ли лечат? А клетка? Хотелось протянуть руку, нащупать решетки. То есть не нащупать, а наоборот...

— С господином наместником я сам переговорю, когда он вернется.

— Вы уж подождите, господин лекарь. Скоро ему быть! Вот супостата проклятого со звонницы скинут, он и вернется.

— Хорошо. Пойдемте, господин управляющий... маршалок, не будем ей мешать.

Только единый раз и сбился невидимый толмач. Мог бы и не стараться. Что маршалок, что управляющий — все едино. Стало быть, наместник, при нем маршалок с лекарем...

Ярина вздохнула. Плохо, когда жизнь лишь обрывками видится. То черное забытье, то клетка, а теперь вот и вовсе непонятно. Звонница? А ведь что-то знакомое!

«А неужто, господин герой, в столице колокольни не нашлось?»

Выходит, отыскали?

Но для кого?

— Погодите! — крикнула она. То есть не крикнула — хотела крикнуть. Вместо крика — шепот из горла.

Услышали! Тихие голоса — далеко, наверно, у самой двери.

— Госпожа проснулась!

— Только много не говорите, господа! Ей нельзя!

Открыла глаза — и ничего не увидела. Темно — собственных пальцев не разглядишь. Протянула руку — пусто. Значит, не почудилось — расклепали клетку. Да где же она?

Девушка попыталась привстать.

Привстала.

Рука коснулась чего-то мягкого, плотного.

Полог? Точно, полог! Выходит, она на кровати, да не простой — под пологом. Таких даже не видала, только слыхивала.

— Госпожа! Как вы себя чувствуете, госпожа?

Ага, кажется, пан лекарь!

— Н-ничего... Только... Только сил нет совсем.

Руки скользнули по телу. Рубаха! Ткань тонкая, словно пау-

тинка Ого! И к какому-такому пану она попала, ежели первую встречную так привечают? То есть не первую встречную

— Госпожа пока не должна вставать! Госпоже следует соблюдать покой недвижность

Упала на подушки Ярина, закрыла глаза Чего могла она ждать, после того как прошла кровавым шляхом от подземелья до кнежьей горницы? Ясно, чего! Потому и клетка не удивила Не поразило даже, что за Шакала этого клятого приняли

А здесь что? Полог, покрывало мягкое, лаванды запах И где это — здесь?

— Пан лекарь! Панове! — заспешила она — Объясните, где я?

Молчат, шушукаются Снова молчат

— Госпожа сейчас в Замке Медного Венца Госпожа — гостья господина районного наместника сотника

Последнее слово невидимый толмач произнес с явным сомнением Но Ярина даже не удивилась У них дома — сотня, здесь — район, не в том сила

— Как Как я сюда попала?

Снова шушукаются Долго

— Госпоже не стоит пока об этом думать Госпоже следует отдыхать набираться сил Скоро госпожа сможет поговорить с господином наместником Медного Венца

Ага! С тем, кто супостатов со звонницы спускает!

— Господин наместник сейчас в городе в населенном пункте Там важное мероприятие дело Господин наместник руководит экзекуцией наказанием Глиняного Шакала

От удивления Ярина вновь привстала Или толмач совсем службу забыл? Или ей уже чудиться начало?

— Это который в клетке железной? — жалобно спросила она

— В клетке он, поганый! Как есть, в клетке! — радостно подтвердил другой голос, не иначе — маршалка — Вопит, да на три голоса, жуть одна! Ох, вопит, госпожа! Один голос ругается, другой — плачет, а третий кричит, что он — герой! Знаем мы этих героев, знаем!

— Господин управляющий! Госпоже сейчас не нужны эти подробности детали

Ярина не спорила Вновь уронила голову на подушки и глаза закрыла Не понять! Если тех Шакалов с колокольни скидывают, так отчего в клетке не она? Или то все почудилось и вежливый пан герой, и прутья стальные, и молоко от коровы чернои?

Шепот затих, скрипнула дверь Ярина улыбнулась, глубоко вздохнула Потом, все потом!

Жива! Она жива!

* * *

И вновь Черная Птица парила по холодному небу, и хохотал Месяц-Володимир, и ледяные звезды мерцали недобрым стылым огнем

Она была одна — под пустым черным небосводом

Денница! Где ты?

Хотела позвать, окликнуть, но речь отнялась Вместо слов — вопль, отчаянный, хриплый

И тогда Черная Птица закричала Громко, из последних сил

Но не было ответа Небо молчало

— Даже странно, господин наместник! При ее ранах травмах повреждениях, госпожа удивительно быстро выздоравливает Ведь подумайте только, эти изуверы давали ей, видите ли, сонное зелье Да этим, извините, зельем можно дюжину воинов навечно усыпить! Чудо, да и только! Конечно, как человек науки, я в такое верить не могу, но — сами видите Спасибо, господин наместник, спасибо, это очень щедро Да-да, в любой момент, в любой момент к вашим услугам!

Лекаря Ярина узнала сразу А вот господин наместник

Ой, интересно!

Привстала, тронула полог

Открыть?

— Э-э, да ты не спишь, Ярина Логиновна! Славно!

Дрогнула рука

Дрогнула, похолодела

Нет! Нет! Нет!!!

— Все вон! Вон, говорю, песья кровь! Ну-ка, ну-ка, поглядим!

Все еще не веря, надеясь на чудо, на совпадение невозможное, замерла сотникова, в перину вжалась И камнем показалась ей та перина

Огромная лапища отдернула полог

— То гратулюю панну Загаржецку!

Весело глядел пан Мацапура-Коложанский, крутил черный ус

Видать, и вправду рад был!

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

То ли седло жесткое попалось, то ли горелки перед сном перебрал

Так ведь нет!

Почитай, сорок лет в походы ходил, спал, щекой к седлу прижавшись, — и ничего А о горелке и вспоминать грешно —

всего-то и хлебнул глотка два, кулеш запить. Иной раз по кварте кружлять приходилось — и без всякого кулешу. Снилось после хмельницких тех баталий, конечно, разное, но чтоб такое! И ладно бы черти болотные или басаврюк красноглазый. Не удивился бы — не в родных Валках ночевничать выпало. Но ведь не черти привиделись, не басаврюк, и не Конячья Голова!

То есть поначалу все вроде бы понятно снилось, привычно. Горница, а в горнице той — все паны зацные да моцные, и он, сотник Логин, среди них. Только уже не сотник он и не полковник даже, а вроде как гетьман наказной.

И мапа на столе. Карта то есть. Огромная, аж с краев свисает.

Все ясно! Святому святое снится, а вояку старому, стало быть, война. А что не сотник, а гетьман наказной, целому воинству голова, так даже приятно.

Вот только на плечах вместо жупана — ферязь зеленая немецкого сукна с «разговорами» из китайки. Ну точно как у стрельцов москальских! И цацка тяжелая к той ферязи винтом на самой груди привинчена. Красивая, а что на ней — не поймешь.

Ну, ничего! Сон ведь все-таки!

Другое плохо. Знает Логин, что велят сейчас ему воинство на штурм вести — фортецию брать. Да не простую фортецию...

Ага, вот и велят уже. Стоит среди панов зацных, в такие точно ферязи наряженных, самый главный. И не гетьман даже, не король — выше.

Ампиратор!

Видом неказист, в сюртучке немецком колеру болотного, рука левая висит, сухая не иначе, в правой — люлька дымится.

И голос дивный. Не по-нашему говорит и не по-москальски. Или все же по-москальски, только слова перекручивает?

И ведь что говорит? Велит, стало быть, фортецию некую взять, и не просто взять, а чтоб аккурат через две недели. Паны зацные по сторонам поглядывают — молчат. Знают (и Логин, гетьман наказной, знает), что через две недели, час в час, у того ампиратора праздник будет — день его ампираторского рождения. А чтобы в тот праздник слаще гулялось — бери фортецию, пан Загаржецкий! Геройствуй!

То есть даже не «пан», а как-то иначе. Да не это важно.

И стоит у карты сотник, и думу думает. Но не о войне отчего-то, не о сикурсах и маневрах всяких, а о дочке своей, Яринке. Словно бы сама жизнь ее от его слова зависит. Даже удивился пан сотник во сне. Война — войной, а с чего это ему за дочь родную волноваться-тревожиться? Ведь не в таборе черкасском она, а дома, в Валках...

То есть не в Валках, горемычная, не дома! Ну, так ведь сон!

А паны в ферязях уже и подмигивать стали, чуть ли не рожи

корчить: чего молчишь, мол? Соглашайся, пока жив, дурень старый! И ампиратор люльку на стол положил, глядит косо, глазами желтыми светит. Филин, не иначе!

И уж хотел согласиться пан Логин, каблуками щелкнуть, как вдруг рвануло сердце...

Словно в тот день далекий, как первый раз на шанцы турецкие идти довелось. Под Бендерами дело было, когда чуть не пропали без галушек да горелки. Эх, много на тех шанцах хлопцев справных полегло! Страшно было — но лишь в миг самый первый, а потом...

Рвануло ретивое!

Ударил кулаком сотник по столу, по карте расстеленной, аж гул по горнице пошел. Ударил — да заговорил. И дивно было в том сне пану Логину самого себя слушать. И где только таких слов набрался?

Про фортецию ту клятую, что на две сотни верст в ширину, а на полсотни в глубину растянулась-разлеглась (где ж такое видано?!), да про проволоку колючую-кусачую, и про то, что повозки железные, самострельные по дорогам не провести — нет там дорог!

Тьфу ты, слова какие!

И про мороз, на котором горелка киселем сизым становится, а корка хлеба — железом. И что после такого приступу лобового, бездумного поляжет в снегах не сотня, не две, а полторы сотни — тысяч.

Полягут — и зазря!

(Слушает сам себя сотник, слушает — не верит. Полторы сотни тысяч! Нет, видать мухи в ушах завелись, не бывает такого!)

Белеют лица панов в зеленых ферязах, желтым огнем горят глаза ампиратора-филина, и понимает сотник, что нет уже ему ходу назад и что пропала его голова, и дочкина пропала, и родичей всех, каких сыщут...

И ведь сыщут, сыщут!

А все одно, не станет он, Логин Загаржецкий, хлопцев своих зазря гробить! Для того ли их матери рожали да на ноги ставили, для того ли их он учил науке военной? Ведь не для смерти учил — для победы! Лучше уж ему самому пропасть да дочку единую погубить, чем полстраны сиротами оставить за ради ампираторского праздника. Эх, пропадай голова, пропадай навек!

...И схватили под руки, и рванули железку, что на груди красуется, — с мясом, с нитками зелеными, и потащили коридором...

Эх, Яриночка-ясонька! Погубил я тебя! Вдругорядь погубил!

* * *

А как открыл глаза сотник, как увидел вновь небо серое, как перекрестился да горелки хлебнул, усы седые намочив, не знал даже — радоваться ли, что проснулся.

Фу ты, клятое место!

Встал сотник Логин, головой лобастой помотал, оглянулся.

Спят хлопцы, похрапывают, третий сон видят. Вон Шмалько, греховодник старый, вон и Бульбенко, и Свербигуз, и Громзатейник. И Юдка проклятый тоже спит, сны свои жидовские переваривает!

Вновь перекрестился пан Логин, нахмурился. Ой, не зря снилось! Словно бы урок ему дали. Там, во сне, жизнь потерял, чтобы хлопцев на смерть верную не посылать. Перед самим ампиратором желтоглазым труса не спраздновал!

А здесь?

Куда хлопцев завел? И за ради чего? Ведь сам завел, сам позвал, и нечего на Юдку-нехристя кивать! Правда, не сто тысяч, и даже не сотню, так не в числе сила!

А может, бред это все? Просто седло жесткое попалось?

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

Ко всему привыкаешь. Даже к такому. Едешь себе и едешь, и вроде как не замечаешь...

...И отвечал Саул: Самуила выведи мне. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. Какой он видом? — спросил у нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?..

Вэй, слышал я, как спорили однажды мудрецы в лембергской синагоге, как эти слова понимать. Спорили, кричали, а после бороды друг у друга драть начали. Да так, что седые клочья — снегом! Ведь не велит великая книга Талмуд в призраков верить! Не велит! Но написано же — не сотрешь. Как же понимать? Не иначе, обманула проклятая колдунья царя Саула!

Я и сам не верил, тем более уже успел в «Зогар» заглянуть. Какие призраки, если Душа одна, лишь на миллионы частей поделена!

— Тебе никуда не деться, Иегуда бен-Иосиф! У меня времени много!

Кто это говорит? Тот, чья лапа четырехпалая на моем плече угнездилась? Или я сам?

...А ведь видел я уже такую руку! Видел!

— Ты сделаешь, что я велю. Иначе тебе не будет покоя!

Зря это он! Пугали уже. Всю жизнь, почитай, пугали. Вон, пан сотник валковский тоже пытался!

Да и когда в моей жизни покой был?

— Как только откроется нужное Окно, я дам тебе знать. И ты выведешь их с Околицы. Выведешь, куда я скажу!

...Голос — морозом по коже. В иное время да в месте ином — испугаться можно. До смерти!

Да только не здесь!

— Ты их выведешь, Иегуда бен-Иосиф! Ты слышишь?

Слышу, слышу! И вижу. Лапа четырехпалая, а если повернуться...

Ошиблись мудрецы! Зря бородами трясли!

...Темный, длинный, на плоской личине — черные губы. И глазищи — узкие, нездешним огнем горят.

— Ты не боишься смерти, Заклятый, знаю! Но я сделаю хуже: выверну твою душу — и покажу тебе. Твою настоящую душу, мальчишка из Умани, воззвавший к Неведомому в страшный час! Твои мечты, твои надежды — все то, что не случилось и не случится никогда. И твой род, твою кровь, твоих неродившихся детей, не открывших глаз внуков! Хочешь, покажу?

С этими ли словами Противоречащий к Иову Многострадальному подступал? Впрочем, Иову на его гноище легче было.

Он — не Заклятый. Он не знал, что такое, когда вместо души — гроб с прахом!

— Итак, мы договорились, бен-Иосиф?

Тяжело падали страшные слова, и тяжела была его невесомая длань.

Тяжела!

Но я молчал.

— Ты напрасно не отвечаешь, Иегуда. Я не уйду, не исчезну!

Не исчезнет. Я уже вспомнил все Имена, какие знал. Вспомнил, прочитал... Тщетно! Но ведь и он не заставил меня говорить! Так что мы на равных.

— Подумай! В последний раз. Я скоро вернусь.

Миг — и сгинула четырехпалая клешня. Недалеко, конечно. Здесь он, рядом. Но все-таки легче стало.

Надолго ли?

* * *

Над головой — серое марево, слева и справа — склоны вверх ползут.

Стучат по камням копыта.

Едем!

Окна на нашем странном пути встречались часто. Какие огромные, словно полтавский майдан, какие — с узкую калитку. Значит, не ошибся я, глупый жид! Идет дорога, что над Бездной Левиафановой простерлась, вокруг Мира, вокруг великого Древа Сфирот, мимо всех Сосудов. Идет, и даже название имеет.

Околица!

И не первые мы здесь. Уже дважды кострища встречались Возле одного — скляницы пустые, у другого — кости обглоданные.

И ведь чьи кости! Вэй, был бы гоем — точно крест бы сотворил. Видать, совсем кого-то голод одолел!

И тот, четырехпалый, эти места знает. И ведь что интересно? Запугал он меня, бедного жида, до гусиной кожи, а зачем? Стоило ему на крестец иного коня пересесть — хоть к сотнику Логину, хоть к есаулу Шмалько...

Я-то ему зачем?

И еще Хорошо он слова плести умеет. Убедительно. Только сильный пугать не станет. Сильный — убьет. Или простит. А пугать!..

Значит?

— Эй, Юдка, сучий ты сын! Стой! Стой, кому говорят!

Ах да! Замечтался!

Замечтался и чуть вперед не уехал, к самой передовой заставе. Неглуп пан Логин, неглуп! Мало что тихо, опаску всегда иметь надо.

Значит, стоим. Ждем.

— Что-то долго не едут!

— Так там же Свербигуз, панове! Небось опять девку увидел. Без всего!

Грохнуло, покатилось — и замерло. Нет в Бездне эха!

Ага, вот и застава! Что-то прытко скачут!

— Пане сотнику! Пане сотнику! Там! Там впереди!..

Так-так, все трое: Свербигуз-змееборец, Нечитайло и этот, уж не упомню, как кличут...

— С полсотни их. Или больше даже! С пиками!

— С пиками, говоришь? А нумо, хлопцы, заряжай! А ты, Юдка, давай-ка ко мне!

Да, неглуп он, сотник валковский! Ни на шаг не отпускает. И верно делает!

— Ну-ка, говори, жиду, кого это ты сюда покликал?

Я даже восхитился. Вэй, за кого же он меня держит? За Самаэля Малаха? Или я Рубежам сторож?

— Не иначе, заблукал кто. Вроде нас.

Сказал — и плечами пожал. Отвернулся даже, будто и неин-

тересно мне. А ведь интересно! То ли заблукали, то ли... То ли дорогу знают!

...Его смех только я услыхал. Громкий, торжествующий. Весело стало четырехпалому! Только рано ему смеяться. Мало ли откуда гости едут?

— Готово, пан сотник!

— Добре, Ондрию! Тока без меня не палить! Скажу — тогда уж...

Прочь, Тени!

Над черной Бездной — белая паутинка дороги. Вот мы — кучка тараканов, вот я... А вот и они!

Я открыл глаза. Нет, пока не видать! Зато слыхать!

— Ну, хлопцы, товарищи войсковые, встречайте!

...Из-за каменистого уступа — сразу четверо. Комонные, в темной броне. За ними — еще, еще...

Ого! Да тут не полсотни! Тут вся сотня будет!

— Спокойно, панове, спокойно! Эй, Гром! Бонба гранатная готова?

— И фитиль горит, пане сотник!

Стук копыт все ближе, уже и коней разглядеть можно. Добрые кони, кровные!

— Видал таких, Юдка?

Я всмотрелся. Вэй, интересно!

— Не видал, пан сотник! Может, турки?

Но я уже понимал — не турки. Не носят османы такие латы. И шлемы не носят. Не турки, не татары, не москали.

— Пане сотнику, а рушниц-то нема!

— Вижу, Ондрий, вижу! То добре!

Вот уже совсем близко, лица видать — загорелые, белозубые...

— Стой!

Кто крикнул — я вначале и не понял. А что «стой», сообразил сразу. Хоть и не по-русински сказано. И не на идише.

— Копья к бою!

Остановились. Ощетинились. Подняли круглые щиты. А я замер, рот раскрыв да глаза вылупив. Что за притча? Они говорят — я понимаю. Польский? Нет, не польский...

— Кто такие? Почему загородили нам путь?

Это, наверно, старшой. Шлем серебром блещет, панцирь в каменьях. .

— Панове! Панове! По-какому это они?

Старшой в шлеме ждал. Пан Логин с есаулом переглядывался, панове черкасы перешептываться начали.

— Он спрашивает, кто мы такие и почему мешаем им проехать, — не выдержал я.

Вэй, длинный мой язык! Ну отчего я его не отрезал!

— А растолкуй как есть, — сотник Логин нахмурился, провел рукой по седатым усам. — Да только не ври, жиду!

Я открыл рот — и вновь замер. Растолковать? Да на каком наречии? Ведь не могут же эти, в темных латах...

— Отряд военачальника Логина. По своей надобности.

...изъясняться на Наречии Исключения!

Почудилось! Почудилось?

— Логин? — Темные брови старшого поползли вверх. — Спроси его, толмач: не родич ли он Секста Логина, что командует сотней в Гамале?

Не почудилось! Наречие Исключения, язык мудрецов, язык «Зогара»!

Делать нечего — перевел. И ответ тоже. Не родич, как выяснилось.

— Спроси господина Логина, не доходили ли до него слухи о Царе Иудейском, что будто бы родился в недавнее время?

Вэй, веревочку бы мне! Челюсть подвязать!

Странно, когда я перевел, пан Логин вроде как успокоился. Успокоился, хмыкнул.

— Никак свои это, хлопцы! Не басурмане! А ты, Юдка, перетолкуй, что о Царе Иудейском всем ведомо. Родился он во граде Вифлееме, в пещере, где пастухи тамошние череду от дождей прятали!

По загорелому лицу старшого промелькнула усмешка. Ох, и не понравилась мне она!

— Спасибо! Передай господину Логину благодарность от имени царя нашего, царя Великого, Владетеля Четырех Стран! Счастливо оставаться, а нам пора! В Вифлеем, ребята! Зададим им жару!

— В Вифлеем! В Вифлеем! — гаркнула сотня глоток, да так, что сам пан Логин отшатнулся.

Расступились. Опустили рушницы. Долго взглядами провожали.

— Эх, дорогу не спросили! — вздохнул есаул.

Ему не ответили. Даже пан Загаржецкий промолчал. Словно понял что-то.

И я молчал. Поздно вспомнил я, глупый жид, что Наречие Исключения — «язык ветвей» — всего-навсего арамейский!

...Глас в Раме слышен, и плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет...

* * *

Теперь уже не кулеш варили — затируху из соломахи. Вот беда! И жида салом не накормишь!

Ковырял я ложкой соломаху да все кости вспоминал, что у

кострища старого нашли. Те тоже, наверное, сперва салом пробавлялись. Сперва салом, после — кашей...

Вэй, читал я как-то в «Лембергской газете» про капитана британского. Храбр был капитан, два раза вокруг земли плавал. А в третий раз поплыл — и попал аккурат к таким, как мы. Оголодавшим.

К ужину.

Подумал — и застряла в горле та соломаха. Хороша шутка, цудрейтор Юдка!

Эх, если бы шутка!

Вот и панове черкасы словно тоже про того капитана вспомнили. Уже не зубоскалят, не гогочут. И я не буду. Посижу, соломаху-затируху ложкой поковыряю.

Да и подумаю. Сытое брюхо, как известно, к ученью глухо, голодное же — наоборот.

— Ну чего, жиду, скучно без сала?

— Ох, скучно, панове!

Думаю.

Говорил мне как-то один мудрый человек: правильно ставь вопросы, а ответы сами придут.

Ну, например.

Если тому четырехпалому от меня что-то вконец нужно, отчего это он пропал? Отдохнуть решил, что ли?

Я даже оглянулся. Пусто! А говорил — не отстанет!

— Эй, пан Юдка, чего глядишь? Или места знакомые?

— Пока нет, пан Логин. Пока еще нет.

Места действительно прежние — горы нависают, сосны за камни цепляются.

И Окон не видать. Давно уже.

Вопрос второй. Кому нужно, чтобы жид Юдка этих черкасов не погубил, а на верный шлях вывел?

Хороший вопрос! Только ответов на него много. Поэтому иначе спросим. У кого такая сила есть...

— Или не слышал, жид? Сказано — по коням!

— Бегу, бегу, пан есаул!

...чтобы к бедному Юдке некоего призрака приставить? Да не просто, чтобы выл и цепями тряс, а чтоб в нужную сторону толкал?

Вэй, как интересно! Один вопрос, два ответа!

Едем!

* * *

Сполох сторожа подняла — Тарас Бульбенко да Нечитайло-заризяка. Громко вопили, словно впереди целое воинство фараоново. А что?

«А не видел ли господин Логин некоего Моше, что бежал из страны нашей с голотой разной?»

Я бы не удивился. Околица!

— Пан сотник! Пан сотник! Там... Там такое! Да не ворог, панове, нечего рушницы хватать!

Эге, и вправду! Шла себе дорога меж гор, бежала. Петляла.

Исчезла.

— Ого, хлопцы! И чего ж тут такое было?

Я и сам затылок почесал. Что ж тут было такое, чтобы превратить горы...

...в щебень, в черную гарь, в грязный песок, в мелкое крошево? Да не просто, а, почитай, на целую версту! Были горы — и сгинули!

Я оглянулся по сторонам. Нет, остались горы. Да только обрубленные, оплавленные, почерневшие.

— С коней, хлопцы! В поводу держать. Осторожно идти.

— Да тут, пане сотник, не иначе, велеты гопак плясали!

Велеты?

Прочь, Тени!

Та-а-ак! Никуда не делась дорога. И Бездна никуда не исчезла. Значит, просто мара. Призрак, тень, след чего-то страшного, что случилось здесь. Или не здесь даже. Ведь Околица!

— Пане сотник! Пане сотник! Понял я, чего здесь было! Бонба тут рванула! Да так рванула, так ахнула!..

— Все-то тебе, Гром, бонбы да мины! Это ж какая бонбища нужна, чтоб горы своротить?!

Чем дальше, тем меньше обломки. Вот уже один песок остался — черный. Вроде бы и вправду горело! А это что? Уж не стекло ли блестит?

Ну и пусть себе блестит! Дорога никуда не делась, а я...

...А я еще один вопрос задам. Самый интересный.

Что важнее? Чтобы я черкасов пана Логина спас — или чтобы заклятие нарушил?

И опять — два ответа.

— Осторожней, панове!

Вэй!

Авраам, Ицхак, Иаков! Да что ж это?

— Свят, свят, хлопцы! А ну, стой! Сперва молитву сотворим! Отче наш, иже еси...

И вправду!

Яма. Ямина. Ямища.

Кругом идет, а в том круге саженей... Триста? Больше?

Больше!

Края ровные, черным стеклом блестят, на дне... Вэй, и смотреть не хочу!

— А ведь и вправду, панове, рвануло! Рвануло — аж камень запекся!

— Да врешь ты, Дмитро! Такое лишь Сатане клятому под силу!

— Цыть, дурни, доболтаетесь! А ну, хлопцы, в обход! Да по сторонам глядите. Не ровен час!..

А я смотрел в черный зев пасти Шеоловой, стеклянным блеском блиставший, и иной блеск вспоминал. Вспоминал да в который раз себя дурнем величал. Как же, Юдка-шлемазл, забыть такое мог!

«Смотри, консул! Дальше ни ты, ни я не властны... Будет наша смена — проскочите без потерь. Или для вида придерутся... Ой, продала дивчина сердце, та й купила черкасу седельце... Пан или пропал. Держи, консул...»

Держи, консул!

Держи!

Дурень я, дурень!

Ой, продала дивчина сердце,
Та й купила черкасу седельце!
Седельце за сердце купила —
Она его верно любила!

И еще один вопросик. Маленький такой — вдогон! Или яблоко от яблони далеко падает?

* * *

Уже и соскучиться успел. Уже и в седле вертеться начал. И когда клешня четырехпалая вновь на плечо легла, не выдержал — расхохотался.

— Чего смеешься, жиду? Или палю вспомнил? Эх, будь я на месте пана сотника!..

— То я знаю доброту вашу, пан есаул! Да только после вас.

Огрызнулся, не думая. Все на руку химерную смотрел. Явился! Ну-ка, с чего начнешь, пан морок?

— Мы можем договориться, Иегуда бен-Иосиф!

Ого! Сперва пугает, после — сделку сулит. Ну точно допросчик из приказа разбойного, что в Москве-городе меня на дыбу поднимал...

...Земля ему пухом — и кол осиновый. Стоеросовый.

— Тебе лучше ответить, Иегуда бен-Иосиф!

Вэй, помню я свое имя, помню! А ответить? Отчего бы и нет? Эх, в таком деле перво-наперво нельзя пытаемому времени давать! А то опомнится...

...Как я тогда в Москве, к примеру.

Да, рано пташечка запела!..

Ну-ка, ну-ка!

Хоть и серый был день, а вместо неба — туман сизый, все же засветилось, заиграло золото. Славный медальон, добрые руки делали.

Не иначе, жидовские (вэй, смири гордыню, Юдка!).

А вот и пчелка! Еще краше, еще фигурней. Дуну — и улетит!

— Не смей! Не смей! Именем Святого, благословен Он, прошу тебя!

...как бы кошечка не съела!

Едем!

И снова затируха. Всего по нескольку ложек на брата.

Ну и на этом спасибо!

И цимесом показалась мне пресная соломаха — даже ложку облизал. А паны-молодцы, черкасы гетьманские, явно приуныли. Кажись, и горелка на исходе!

— Так чего, хлопцы? Доведется конину жрать! Слышь, Нечитайло, давай с твоего серого начнем!

— Тьфу! Да я лучше жида клятого съем!

А что же вы думали, глупые гои? Легко ли вокруг Света Мирового ехать? Да только не сожрете вы меня — подавитесь!

— Эх, вареников бы сейчас! Да со сметаной!

— Цыть! Балачки о жратве запрещаю! Чтоб ни про вареники, ни про галушки, ни про борщ, ни про бок бараний с чесноком и с подливкою, прожаренный да пропеченный, с корочкой... Фу ты, прости Господи! Лучше про девок языки чешите!

— Да какие после соломахи девки, пан сотник!

А я все на плечо глядел. Но нет, сгинула клешня. Спрятался морок! А ведь тут он, близко, чую!

Да и чуять нечего. Вот она, цацка золотая, с пчелкой дивной. Эх, пан Панько, удружил! И за что? Или я твоему ковену на дороге встал? Или не в ковене дело?

— Эй, морок! Чего пропал?

Хоть и ждал, да все же дрогнуло сердце. Вот он! Длинный, темный, рукастый, узкие глаза нездешним огнем горят.

...И пальцы! На одной руке — четыре, на другой... Шесть на другой!

Вэй, яблочко-то от яблони!..

— Что тебе от меня надо, Иегуда бен-Иосиф?

— Что?! — восхитился я (шепотом, шепотом!). — Сначала ты, нежить, тревожишь почтенного человека, грозишь даже, а потом еще удивляешься! Вэй, что за мир? Даже у призраков не осталось совести!

— Я проиграл, — печально проговорил морок.

— А мне что за дело? — возмутился я. — Или это повод приставать к бедному жиду?! Да клянусь Именем Ав, чье число семьдесят два, и именем Саг!..

Грустный смешок. Я осекся. Во-первых, нечего зря клясться, а во-вторых...

— Мне так уже ответил один Заклятый. Только без имени Ав. Он был не столь учен, как ты, бен-Иосиф!

— Эй, Юдка! Чего не отвечаешь, пархатый жид?

Ага, панове черкасы! Эх, спугнули!

— До пана сотника, живо! А не то я тебя, курвий сын, канчуком!

— А ты попробуй, хазер! — предложил я, взглянув прямо в его наглые глаза.

Дернулась рука, за шаблю хватаясь, дернулась, опустилась.

— Потом поговорим, — прошептал я в никуда. — Как заснут все. Не уходи!

Тихий шелест был мне ответом.

* * *

По тому, как крутил он седой ус, понял я — кончились шутки. Совсем.

И раньше пан Загаржецкий шутить мало был расположен. Особенно со мной. А уж теперь!

— Отойдем, пан Юдка. Важная у нас с тобой беседа будет. Важная — и последняя.

Тихо говорил, равнодушно даже. Словно сам с собой.

От камня несло нежданным теплом. Не удержался, коснулся рукой. Слаб человек, хоть и создан по образу и подобию Его! Захотелось мне, чтобы все вокруг правдой стало — и горы, и сосны, и дорога. И чтоб вела эта дорога хоть куда, только бы прочь от проклятой Бездны.

И жить захотелось.

Вэй, Юдка! Ты ли это?

Пан сотник тоже ладонь на камень опустил. Опустил, отдернул, стряхнул пыль.

— Вот чего, жиду. Говорить я буду. А ты слушай! Добре слушай!

Я поглядел вверх. Сизый туман как будто ниже стал. Ниже — и гуще. Или почудилось?

— Нет нам двоим места на земле, пан Юдка!

— Знаю, — поморщился я. — И за этим стоило меня тревожить?

И вновь показалось мне, что передо мной — вставший на дыбы разъяренный буйвол.

— Ты слушай, жиду! Слушай! Потому и дал я слово крепкое и поклялся всем, чем черкас вольный поклясться может, что порешу тебя, вражье отродье, вот этой рукой!

Хрустнули пальцы, в кулак сжимаясь. Побелели. А мне вдруг скучно стало.

Сначала скучно. Потом злоба накатила.

— Вэй, Логин, сотник валковский! Твоя клятва — зеленая, еще и почки на ней не набухли. А моей уже трех десятков лет поболе! Поклялся я, что никто из вас, губителей семьи моей, от меня не уйдет. А как помирать станешь, пан Загаржецкий, вспомни всех жидов, что твои черкасы зарезали, огнем сожгли да на пали набили. И девушек наших вспомни, что так матерями и не стали! Ты по своей дочке плачешься, а кто оплачет сестер моих? Кто оплачет мою мать? Смертью меня напугать хочешь, дурной гой? Да я уже умер давно, меня уже собаки съели, а вороны кости разнесли! Понял?

Крикнул — и задохнулся. И сердце болью зашлось.

Ждал удара — не ударил. Даже за эфес сабельный не взялся. Стоял, набычившись, словно и вправду — буйвол.

Молчал.

Плохо молчал. Трудно.

— День тебе даю, пан Юдка, — наконец вздохнул он. — От этого вечера до следующего. Выведешь нас из пекла — шаблю дам. Схватимся один на один, а там уж как бог рассудит. И с хлопцев клятву возьму, чтоб отпустили тебя, кровопийцу, коли меня порешишь. А нет — плохо умрешь, пан сотник надворный. И сам умрешь, и все жиды, что от Валок до Иерусалима вашего землю поганят, кровью умоются! И в том тебе Покровой клянусь. Понял ли?

Хотел я ему припомнить, что не он первый грозит народу моему. И фараоны грозили, и цари греческие, и кесари римские. Да где они теперь?

Хотел — но не стал. Я — мертвец, а он кто? Что толку душам в Шеоле лаяться?

— День тебе, — хрипло повторил он. — Как сказал — так и будет

Я пожал плечами.

Отвернулся.

Отвернулся — и пошел прочь от этого мертвеца.

* * *

— Потому я и проиграл, — невесело усмехнулся он. — Даже тебя заставить не смог. Вот и весь сказ, Иегуда бен-Иосиф!

Я поглядел на черную тень в сером сумраке. Руки-клешни бессильно свесились, глаза вниз, на битый щебень смотрят.

Думал ли я, что придется беседовать с каф-Малахом? И где?

— Самаэль против Рахаба, — медленно проговорил я. — Розовое воинство — против голубого. И Блудный Ангел посередине...

— И мой сын, — глаза блеснули страшным, запредельным огнем. — Ребенок, никому не сделавший зла!

Помню! Помню я эти глаза! Как взглянул на меня тот байстрюк, Пленник, памятной ночью мне встретившийся, как заглянул в душу...

— Мне кажется... Мне кажется, Самаэль задумал что-то плохое. С миром. И с моим ребенком. Поэтому я спешу. Мы и так потеряли много времени. День на Околице — это почти неделя в Сосуде. Я не должен опоздать.

Кивнул я, но не потому, что поверил. Просто кивнул, словно черту подводил. Что он мне хотел сказать, ясно. А вот что ему ответить?

— Пан сотник валковский дал мне один день, — наконец начал я. — Этот глупый гой думает, что за день я разыщу нужное Окно. Так что к следующему ночлегу тебе придется обратиться со своей заботой к нему самому, каф-Малах! Хочешь, я завещаю ему медальон? С ним и решай.

Медленно качнулась его голова. Влево... Вправо. Не хочет!

...Еще бы! Не зря старшой ковена дал медальон *мне!* Мне, не Логину! Я, глупый Юдка, заклятый Юдка Душегубец, должен черкасам путь указать!

Я!

Но почему? Если этот призрак к Пленнику, к сыну своему страхолюдному торопится, то худшего проводника не найти! Или не торопится? В ином дело?

Не выдержал, хотел спросить. Но рядом со мной уже никого не было.

Пусто!

У кострища храп стоит, бедные кони из-под камней колючую траву выдирают (вот кого жалко!), часовые носами клюют...

Странный я все же человек! Другой бы на моем месте давно бы шаблю из чьих-нибудь ножен достал, до ближайшего коня добрался...

То есть это глупый другой. А умный другой вначале бы подпруги перерезал, а напоследок по горлу пана сотника шаблей полоснул.

И ходу! В галоп — до ближайшего Окна. А там — ищи ветра в поле!

А я вот стою.

Думаю.

И добро бы о коне да о шабле. Так нет же! Словно и не мне пан Логин всего день жизни оставил. То есть не день — уже меньше.

Все не так!

Все!

Ну, поссорились между собой Существа Служения. Так впервой ли? Сперва Противоречащего изгнали, что Адаму поклониться не возжелал, после — Азу и Азеля к горам приковали. Даже если князь Самаэль решил подрубить Древо Сфирот и Сосуды разбить (спаси нас Святой, благословен Он, от такого!), что за забота ему за младенем сопливым гонцов посылать? Поверил бы я, если те гонцы (вэй, пан Рио, вот чей ты слуга!) Пленника придушили, чтоб в батьку-бунтаря не вырос. Так ведь нет!

И что теперь? Растет себе байстрюк, батьке-призраку Имена посылает, тот и рад — из медальона потихоньку выглядывает, силы копит. Вот и сидел бы пан каф-Малах в золоте, и ждал бы, пока сынок вырастет да на ноги его поставит.

А вместо этого?

— Эй, жиду! Ты куда?

Задумался! А панове часовые, оказывается, не спят! Так что зря я к горлу пана Логина подбирался.

— Назад! Назад, а то стрельнем!

— Иду, иду, пан Бульбенко! Уже иду!

Возле камня, где мы с мороком четырехпалым беседу вели, было пусто. Я тронул медальон. Сидишь? Сиди, сиди, бунтарь поднебесный, там тебе и место!

А что бы случилось, ежели б я его послушал? Послушал — да и указал нужное Окно пану Логину? Спас бы голову свою? Ой, не верю! Выручил бы байстрюка огнеглазого? Так ведь не грозит ему беда вроде. Во всяком случае, не сейчас. И что за глупость именно мне медальон поручать?

Ой, хитрое было лицо у пана Панька! Ой, хитрое! Словно старую клячу за трехлетнего жеребца цыганам продал!

«Держи, консул!»

Почему помочь каф-Малаху поручено именно мне?

Я усмехнулся. Правильный вопрос, Юдка! А потому и ответов всего два. Первый — до обычного человека мороку не достучаться. Не услышат его.

И это возможно. Да только не верится что-то. Не услышат, так во сне явится. Или еще как. Велика сила Малаха, даже если от него одна искра осталась!

А посему первый ответ забудем и над вторым подумаем. А вот второй ответ...

Не привык труса праздновать сотник Логин. Ни в бою, ни в походе, ни на совете. И нрав имел крутой — не подступись. Потому и в сотниках остался. Сватали его на полковника миргородского, да покрутился Логин по канцеляриям, по избам приказным, поглядел — и шапкой об пол ударил. Не по нему! Полк — почитай держава целая. А державой править — не сотню в атаку вести. Кому — поклон, кому — миску с талярами, кого на охоту позвать, а к кому и молодицу сосватать.

Полития!

Тьфу!

Так что презирал пан Логин всякие политии с политесами, в старшины генеральные не рвался, в прихожей гетьманской диваны турецкие не просиживал.

Зато совесть чиста!

И думал сотник, что это и есть награда. Что там в раю или в пекле, то попам виднее. А здесь, на земле, выше совести чистой награды и нет. С тем и жил. С тем и помереть думал.

И вот теперь...

— То сторожа вернулась, пан сотник! Никого впереди. И проходу нет.

— Вижу, Ондрий, вижу! Ты новых пошли. Пусть смотрят, пусть руками щупают! Должен быть путь, должен!

Сказал — и еле сдержался, чтобы самому вперед не рвануть. Все чудилось, что проглядят хлопцы тропинку нужную, не заметят...

— Чего встали! Вперед! Вперед!

Рысью шли кони, да не бодро, не споро. Видел сотник — притомились, отощали, вон уже ребра видать. Хорошо, хоть вода есть в местах этих клятых!

И коням плохо. И хлопцам. И ему, Логину Загаржецкому, не по себе.

Влево покосился, осторожно, чтобы себя не выдать. Вот он, Юдка-злодей! Ишь, ухмыляется, бороду рыжую гладит! Так бы и выхватил «ордынку», так бы и рубанул поперек поганой рожи!

Эх, нельзя! До вечера обождать надо. Может, одумается лиходей, о жизни своей вспомнит, о душе?

Но уже понимал сотник — не одумается. Тверд Юдка, не уступит. Решил погубить всех, с собой в пекло забрать — и погубит. И заберет.

Аж зубами скрипнул Логин. Его вина! Его! Не раскусил жида

клятого! В глаза не взглянул! Так что не Юдка виноват, а он сам. Это он, Логин Загаржецкий, взял в проводники сатану-анчихриста, чаклуна Панька послушавшись. Сам и расхлебывай, сотник валковский!

...Эх, Панько, Панько! Или не спасал его сотник? Не покрывал, не прятал, когда хотели химерника старого в полковую канцелярию за ворожбу отправить — прямиком на дыбу?

И чем отплатил ведьмач?

Не утерпел пан Логин — обернулся. Вот они, хлопцы! Его гордость, сыны его! Позвал в самое пекло — и пошли! И ведь знали, что не за Мацапурой-нелюдем спешит их сотник. Чорт с ним, с Диким Паном (а ведь и вправду — с ним!). Ярина! Ярина Логиновна!

Яринка!

И сон вспоминается — про совет военный да про ампиратора-филина. Ведь тому, кем был он, Логин, в том сне тоже небось немало сулили! Но ведь не оплошал, не повел хлопцев на погибель!

Эхма!

Когда ему в палец игла золотая ткнулась, простился сотник с душой своей бессмертной. Думал: душу — на дочку. Свою душу. Свою! Не хлопцев, не черкасов валковских, за которых перед богом да гетьманом в ответе И кто ж он после этого? Ну, разорвут Юдку-убивца конями, ну, отрежут поганую голову. И что?

Обернулся пан сотник влево. Твердо смотрел клятый Юдка. Твердо, без страха. А как поймал его, Логина, взгляд — ухмыльнулся в пламень-бороду.

И жаром залилось лицо, и рванулась рука к верной «ордынке»...

— Пане сотник! Пане со-о-отник!

Что?!

Нет, не обмануло эхо. Да и нет тут эха! А как рушница бьет, Логин Загаржецкий помнил крепко. Помнил — не спутает.

— Хлопцы! К бо-о-ою!

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

Вэй, ну и людно на Околице стало! Прямо прошпект питербурхский!

— Отряд там! С рушницами! Нечитайлу ранили!

— Как? Нечитайло! Эх, рассучьи дети! Ну-ка, хлопцы, заряжай!

Так-так! На белом коне долговязый... Как бишь его? Ага, Забреха, второй конь — с седлом пустым...

— Трое! Или четверо! И коней с дюжину. То есть не коней...

— Впере-е-о-од!

Эх, горяч ты, пан Логин! Я бы сперва хлопца дослушал. А вдруг там не кони, а медведи? Или тигры?

— Гром, бонба готова?

— Завсегда готова!

Ага, вот они!

Вначале почудилось, что встречались уже. Латы темные, да шлемы, да пики. Не из Вифлеема ли едут? Вкруговую?

— Пали!

Хорошо, рот раскрыть успел — знатно ахнуло. Добрая вещь гаковница! Тот, что впереди ехал, кажется, уже оценил.

— Шабли! А ну-ка, Дмитро! Бонбу!

Ой, вэй!

А как дым рассеялся, как откашлялись да сажу с лиц вытерли, стало понятно — кончилась баталия. На земле — четыре мертвяка, трое — в латах, один в каптане, да две лошади, да еще одна ногами дергает. Отбегалась, бедная!

— Вот так, Юдка! Так со всеми вами будет!

— Вэй, пан сотник! Вы прямо-таки Голиаф!

А вот и Нечитайло в сторонке лежит, глазами лупает. Жив? Вроде как.

— Они... Мы... Мы к ним, кто такие, спрашиваем, а они — из мушкетов!

Из мушкетов?

Не утерпел — с коня спрыгнул. И пока хлопцы по сумкам седельным шарили да лошадей уцелевших сгоняли, поднял рушницу.

— А ну, положь! Положь, клятый жид!

Положил, тем более — разряженная. Ой, дивная рушница! Где-то видел я такие! Ствол короткий, раструбом, кремня нет, приклад тяжелый, зато в насечке серебряной...

— А вы сами взгляните, пан Логин!

— Тю!

Вспомнил! Видел, ой, видел! И совсем недавно, и трех недель не прошло. Славная у пана Мацапуры оружейная! Все там есть!

То есть было, конечно.

— Фитильное ружье, пан сотник. Аркебуза. Видали такое?

Посопел, потрогал, нахмурился.

Не видал.

— Пан сотник! Пан сотник! Вот кони эти! Химерные!

Он оглянулся — и я оглянулся. У него глаза на лоб полезли, и у меня — следом. Он перекрестился...

Вэй, почему я не гой!

Такого и у пана Станислава не было. То есть таких. Не лошадь, не осел, не верблюд. Шея длинная, уши острые, шерсть белая. Может, верблюд все-таки? Только поменьше, и горбов нет.

— Их тут с дюжину. Под вьюками. Чего делать будем?

Мы смотрели — и верблюды эти безгорбые смотрели. На нас. В глазах темных — страх и тоска. И вправду, изголодались пановe черкасы. Затоскуешь тут!

— Вот чего, хлопцы! Перво-наперво — «Отче наш» прочесть. Затем — каждую тварь крестом осенить. А потом — во вьюки заглянуть!

Ну что с них взять, с этих гоев-язычников?

Пока крестили да молились (ой, смех!), я потихоньку в сторону отошел. Все ясно — караван. Не иначе, заблудились, свернули на Околицу, да в недобрый час на заставу нашу налетели.

Прочь, Тени!

Оглянулся, всмотрелся...

Нет, не видно Окна. А интересно бы знать, откуда ехали бедолаги. Это ж где сейчас из аркебуз стреляют? И где такие верблюды травку щиплют?

— Панове! Да тут припасу — море Черное! И горелка, горелка!

— Гур-р-р-ра-а-а-а!

Да, кому что, а курци — просо!

* * *

— Пей, пей, жиду! За погибель свою пьешь!

Пью!

Тем более не горелку, не медовуху даже — мадеру. Настоящую. Пил я мадеру у пана Станислава, да куда ей до этой!

Табор разбили тут же. Только трупы подальше унесли да камнями завалили. И вправду, трудно сдержаться. Мясо копченое, рыба, сухари, фрукты. И мадера, конечно. И печенье даже — на закуску.

Гей, наливайте полные чары,
Щоб через винця лилося!
Щоб наша доля нас не цуралась.
Щоб краще в свити жилося!

Славно поют! А ведь действительно, не чурается их доля! Или кто-то Там решил, что не написано им на роду среди этих гор помереть? Выходит, я Б-гоборцем стал?

Оглянулся, осмотрелся — нет пана морока. Спрятался! А жаль, хотелось ему напоследок вопрос задать. То есть не вопрос. Вопрос я уже знаю. И ответ знаю. Просто интересно, зачем ему надо, чтобы я, Иегуда бен-Иосиф, *нарушил заклятие*?

— Вот так, жиду! Голодом заморить нас решил? А хрен тебе, пейсатый!

— ...Сказала мышка, кушая сало в мышеловке. Смачного, пане Свербигуз!

Сходится! Сходится все! Потому и мне медальон дали, потому и хотел каф-Малах блудный, чтобы я, тот, кому нельзя миловать, черкасам валковским путь к спасению указал!

Да только зачем это ему?

Зачем?

Вот ведь загадка! И что обидно? Помру — а ответа не узнаю...

— То иди-ка сюда, пан Юдка!

Ну все! Иду!

Пан Логин уже не походил на буйвола. Не иначе, тоже мадеры хлебнул. С кварту — а то и с полведра.

— Ты это, жиду... Того... Прежде чем рубать тебя, сукина кота, буду, взгляни.

Хорошее начало! Ладно, поглядим. Да чего тут глядеть? Карта, от руки исполнена, сверху вензель, вроде как литера «К» с короной королевской. Дорога, а вот и город. Город *Cuzco*. Как? Кузко? Или Куско?

— Ты не туда, Юдка, смотри! Ворота видишь?

И вправду! Ворота, да не одни!

...В самом низу — вроде как горы, и дорога меж них вьется. Вьется — в ворота упирается. А дальше... А дальше черта через всю карту, вроде молнии. И... Еще одни ворота. А из ворот — дорога. В Куско.

Вэй, что-то знакомое! Или читал, или рассказывал кто. Далеко город этот! Было дело, брали его приступом паны в темных латах с аркебузами...

— Смекаешь, жиду? Не просто шли! По мапе. Спешили, видать!

Спешили — а все одно на Околицу попали. Ай, интересно! Мы шли, они шли... Что это с Рубежом?

То есть как это что?

Усмехнулся я. Ухмыльнулся даже. Ухмыльнулся — до медальона золотого дотронулся. Незаметно.

Паны дерутся — у хлопов чубы трещат. Малахи воюют — Адамовы дети по Околице шныряют.

Вэй, любопытно!

Хотя, если задуматься, все понятно станет. Раз война, значит, первым делом все дороги перекрыть должно. Вот и перекрыли. Вроде как в осаду взяли.

— Не лыбься, не лыбься, Юдка! Лучше скажи — надумал?

Просто спросил, без злости. Словно ответ знал.

— Надумал, пан Логин. Не знаю я нужное Окно. Я знал бы — все одно не сказал!

Кивнул, задумался.

— И никого тебе не жалко? Или в бога не веришь? Ведь мои

хлопцы твоих родичей не рубили. Это ты, пес кровавый, наши семьи резал да жег! Неужто до сих пор кровью не упился? Ведь и у тебя душа есть!

Просто сказал — как и спрашивал. Да так просто, что захотелось волком февральским завыть. Или я в самом деле вообразил себя Святым, будь трижды благословен Он? Кто я, чтобы чужое племя карать до седьмого колена? Невинных, ни мне, ни родне моей зла не сделавших?

И ударил мне в лицо смрад плоти горящей, и встала перед глазами раскисшая от дождей дорога...

Зачем Ты послушал меня, Г-ди?

Зачем?

Почему я не умер тогда, возле уманских ворот, и не приложился к предкам своим — безгрешный, кровью чужой не замаранный? Зачем Ты позволил мне стать бездушным чудовищем, Левиафаном, Юдкой Душегубцем, убийцей и слугой убийц?

Зачем, Г-ди?

Молчало серое небо. Молчала серая земля.

Поздно жалеть, Иегуда бен-Иосиф, сопливый мальчишка из распятой Умани. Поздно! И винить некого.

Я посмотрел ему в глаза. Посмотрел, отвел взгляд.

— Нет у меня души. Рубите!

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Я пошел к братику. Я сказал, что пленочки порвались. Он не понял.

Я стал искать злую тетку. Я ее нашел. Я рассказал про пленочки. Она поняла и испугалась. Мы пошли к дядьке Князю.

Дядька Князь весь вытек. Он не светится. Он темный. Он скоро умрет. Я хотел сказать ему, но не сказал. Он будет плакать. Я сказал про пленочки. Он понял.

Дядька Князь стал говорить тетке другие слова. Он думал, я не понимаю. Я понимал. Я сказал, что другие слова не нужны. Они удивились. Дядька Князь сказал, что я могу послушать. Я слушал. Я думал.

* * *

Красивый человек учил меня ездить на лошадке. Лошадка добрая. Она красивая. Я учился. Я сказал красивому человеку, что, когда вырасту, научу его летать, если он захочет. Он смеялся. Он веселый. У него есть своя девка, о которой он все время думает. Я хотел рассказать ему об Ирине Логиновне Загаржецкой, но он испугался. Он сказал, что она — Глиняный Шакал и

что ее сбросили с высокого дома. Я смеялся. Я знаю, что ее ниоткуда не сбрасывали. Она у доброго дядьки.

Когда я вырасту, то помирю доброго дядьку с Ириной Логиновной Загаржецкой. Я скажу ему, что она хорошая.

* * *

Я не умею думать. Я еще маленький. Это плохо. Бабочки будут надо мной смеяться.

Бабочки плохие. Они обманули дядьку Князя и тетку. Они обещали им, что я спасу Сосуд.

Нет, они обещали иначе, но дядька Князь их так понял. Он не умеет правильно понимать по-бабочьи.

Сосуд — это наща Капля.

Я еще маленький и не могу спасти.

Дядька Князь очень боится за мальчика Княжича Тора. Он его любит. Он думает о другом мальчике, который умер. Он его жалеет.

Я считал бабочек. Их много. Они разных цветов. Я их всех вижу, но не знаю слов, чтобы назвать. Сейчас бабочки летают возле места, где лопнули пленочки. Дядька Князь велел мне молчать о пленочках и никому не говорить. Даже братику. Иначе будет «паника». Я не буду говорить. Я не хочу, чтобы была «паника».

Надо спросить у батьки, что мне делать. Батька знает. Он поможет.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

— И ведь чего выходит, Ярина Логиновна? Интересно выходит, а?

Ярина молчала. И не потому, что ответить нечего. Просто растерялась. Казалось бы, ко всему готова, ан нет! Уже и смерти в глаза смотрела, взгляда не отводя, и сама Смертью была. А как поняла, к кому в пасть угодила, — сгинуло все. Ни руки не поднять, ни слова вымолвить.

— Ведь чего я думал, панна Ярина? Думал в этих краях отсидеться, жирком обрасти. Чтоб ни черкасов с их вольностями, ни попов с анафемой. Живи — не хочу!

Странное дело, вроде бы и шутил Дикий Пан, а вроде бы и нет. На пухлых губах — улыбка, а глаза... Ой, страшные глаза! Недобрые!

— Всем жить-то хочется, Ярина Логиновна! Как подумаешь, глупо это. Ведь все одно помрем. А ведь цепляемся, зубами грызем... Как ты меня грызла, помнишь?

Молчала Ярина. Силы собирала, чтобы броситься на врага, руки на горле жирном сомкнуть. А если надо — то и зубами вцепиться, чтоб только мертвую и оторвали.

Да только не собирались силы. Словно жилу невидимую отворили. Вытекли — и нет их.

— А знаешь что, панна сотникова! А не заключить ли нам мир? Вроде как угоду подпишем. Ты к горлу моему примериваться не будешь, а я... А я добрым стану. Хорошим.

Не выдержала девушка — вперед рванулась. Рванулась — и остановилась. Словно на стену невидимую налетела.

Вновь ухмыльнулся Дикий Пан, рукой по усам провел. И вправду, пошутил славно! Добрый да хороший пан Мацапура! От слов таких мороз не по коже — до сердца пробирает.

— Да ты не удивляйся, Ярина Логиновна. Просто так одни детишки сопливые дружат. А настоящая дружба — это когда ворог общий есть. Или не так?

— С кем же воевать будем? — не утерпела девушка. — Не с кнежем ли Сагорским?

Долго смеялся Дикий Пан. Хохотал, по брюху себя хлопал, вытирал слезы платком батистовым. Видать, хорошее настроение было в тот день у пана!

— Ой, уморила! Стратиг ты, панна сотникова! Архистратиг даже! Можно и с ним повоевать, ежели хочешь! Что ты ему оторвала-то? Руку? Ой, не руку надо было! Ну, не буду, не буду...

Отсмеялся, спрятал платок да как-то сразу серьезным стал. Хрустнули пальцы, в кулаки сжимаясь. Побелели костяшки.

— Я б того кнежа, Ярина Логиновна, и сам бы на шашлыки изжарил. Изжарил бы — и съел. И за дело. Ведь чего выходит-то?

Помолчал, присел в кресло, пальцы на брюхе сложил. Дернул щекой.

— В ангелы я, Ярина Логиновна, не записывался. Скучное это дело, ангелом быть. Поэтому не в обиде я ни на тебя, ни на батька твоего. Я одного хотел, вы — другого. Миром не смог — силой взял...

Вновь замолчал Дикий Пан. Задумался, лицом потемнел.

— А с кнежем Сагором — иное дело. Ведь для чего ему тот байстрюк, чумаков брат надобен был? Мир спасти! Целый мир, разумеешь? Привел я того хлопца, из рук в руки отдал. И что?

— Или наградой обошли пана? — не выдержала девушка.

Укорить, обидеть хотела. Да не обиделся Мацапура.

— И с наградой обошли. Сотником сделали да два десятка деревень приписали. И Серебряным Венцом поманили — вроде как обещали в полковники вывести. Да только Серебряный тот Венец — наследственный. Дадут мне — наследника обойдут. Значит, стану я шляхетству здешнему первый враг. А паны тут пышные, чуть что — за меч. И войска у каждого — не пересчи-

тать. Это первое. А вот и второе. Тебе, Ярина Логиновна, визу выписали?

Визу? Вначале не поняла даже, а после вспомнила. Гриб-поганка! Колдунишка мерзкий, что иголкой в пальцы тычет!

— Знаю, выписали. А вот мне — забыли. И не то плохо, что без визы наречие здешнее не разумеешь. Не наш это мир. С визой в нем год прожить можно, а без визы — только три месяца. Смекаешь? Еще бы немного — и рассыпался бы я прахом... Тебе на радость.

Вот уж точно! Ярина скрипнула зубами. Прахом! Плотью гниющей! Чтобы с червями белыми!

— Ну, с визой-то у них не вышло. Подсказали добрые люди, так что пришлось кнежу и печать ставить, и чаклуна звать. И за что, скажи, такое? Или я ему ворог был? А вот и третье. Просил я кнежа, чтобы он тебя со мной отпустил. Обещал — так нет же, себе оставил. Ну, оставил так оставил. Может, по душе ты ему пришлась...

И вновь заскрипела зубами Ярина. Ох, не вовремя тот мальчишка в горницу вбежал! Ох, не вовремя!

— А теперь — присылает. Разумеешь? Когда понял, что ты одна можешь сотню сердюкскую по косточкам разнести. Подарочек мне, видишь ли! Или та ведьма Сале не поведала ему, как ты меня любишь?

А ведь и вправду! Вот почему ее с колокольни не скинули! Послал ее кнеж Сагорский Мацапуре вроде как бочку пороховую. С фитилем.

— Хитро придумал! Или я тебя с колокольни скину — или ты меня на шматки разорвешь. Все выгода! А коли не то и не другое, то слух пойдет, что пригрел я в замке Глиняного Шакала. А такому, по обычаям здешним, можно и анафему пропеть. Ловко!

Даже причмокнул Дикий Пан. Не иначе — оценил кнежью задумку.

— Ну, с Шакалом тем я сразу разобрался. Перехватил вас у околицы. Тебя — в замок, а дурней тех — за прутья. Ох, и славно вопили!

Странное дело! Вроде бы и не за что было Ярине жалеть стражников, что ее, словно зверя дикого, в клетке везли, а все-таки пожалела. Всего на миг какой-то, но жалко стало. И пана героя, и его подельщиков. Польстились дурные хлопцы на полсотни золотых!

Как это сердюк тот про войну говорил? Может, и вправду кому-нибудь она — мать родная. Да только не им. Не тот устав читали!

— Так что, Ярина Логиновна, не за что любить мне кнежа здешнего. Да только не в нем дело. Ворог наш того кнежа по-

сильнее. Погибель нам грозит — и тебе, и мне. И не от кнежа Сагора вовсе. Не понимаешь?

Не понимала Ярина. Но странное дело — поверила. Не шутит Дикий Пан и над ней не глумится Вроде бы и в самом деле договориться хочет.

— Зачем ты мне нужна, потом скажу. А погибель вправду близка. И думать нам о том вдвоем придется. Крепко думать, Ярина Логиновна! Ну да ладно, отдыхай пока, после поговорим...

Встал, кивнул, взялся ручищей за полог.

Словно очнулась Ярина. Словно цепи с рук упали да кляп из горла вынули.

— Не на чем нам мириться, нелюдь!

Крикнула, вперед подалась. Встать хотела, да ноги не пустили.

— Не на чем! Не на чем, слышишь? Живой буду — убью тебя, анчихриста! А помру — мертвой вернусь. Слышишь? Вернусь — и с собой уведу!

Покачал головой пан Мацапура. Вздохнул. Словно была Ярина ребятенком неразумным.

— Убивать тебе меня, панна сотникова, и не надо. Визу не продлишь, так жить нам с тобой осталось много — год. Да и года у нас нет. Вот и весь сказ.

Сказал, снова головой мотнул, полог задернул. Ушел. Только половицы скрипнули.

И вновь подушка камнем показалась...

* * *

Она искала его в небе, но пусто было под звездами. И в земле дальней, где лед зеленый мерцает, тоже искала — и там не нашла.

Кричать — не услышат, дальше лететь — воздух не пускает. Бьют впустую крылья, каждый взмах болью отдается...

— Денница!

Позвала — и замерла. Тихо, только звезды холодные перемигиваются. Но вот издалека, из черной дали, еле слышным эхом донеслось:

— Я — Денница!..

Рванулась в небо Черная Птица, ударила крыльями.

— Я — Денница. Я — Несущий Свет. Уходи, уходи, Ирина! Сейчас... Сейчас не время. Сейчас — война.

— Нет! — Она закричала, глотнула ледяной воздух, обернулась, надеясь его увидеть...

Тщетно! Только тьма, только звездный огонь.

— Денница! Денница! Я хочу быть с тобой! Я хочу быть с тобой!..

— Хорошо. Протяни руку.

Черная Птица взмахнула крылом... рукой, в глаза ударило синее пламя, закружило, бросило в сверкающий, кипящий водоворот...

— Не бойся! Я здесь!

Ярина кивнула — ей не было страшно. Его рука была тепла и тверда.

— Когда откроешь глаза — не удивляйся. Ты увидишь не все. Даже я вижу не все.

Она удивилась, хотела переспросить, но поняла — не время. Не все? Ну и пусть! Лучше что-то, чем пустое ледяное небо.

Ярина открыла глаза. Открыла, зажмурилась...

Голубым огнем горела сталь. Слепящей лазурью. И был таким же лазурным стяг — огромный, тяжелый.

— Кого ты привел, сын греха? Или забыл Азу и Азеля? Забыл своего отца?

Синим светом сверкали глаза того, кто стоял напротив. И не было у него возраста, как нет возраста у небес.

— Я ничего не забыл, Архистратиг! Она — дочь Хавы. Сейчас решается и ее судьба тоже.

Ярина оглянулась. В темно-лиловом плаще стоял Денница — без лат и без шлема. Лишь серебряный обруч сверкал в волосах.

— Пусть остается, — Архистратиг презрительно скривился. — Она все равно ничего не увидит. Не увидит — и не поймет.

Ничего не поймет? Девушка быстро осмотрелась. Ну так уж и ничего! Холм, вокруг поле, а поперек поля — войско. И еще одно — напротив. А тут, никак, переговоры?

Над миром божиим стояла серая тьма. Ничего не разглядеть — ни хоругвей, ни доспехов. Но почудилось Ярине, будто сила, что за спиной Денницы стоит, совсем малая. Добро, если пара сотен наберется! А напротив...

— Ты рассчитывал на пять войск, Несущий Свет? Ты ошибся. Они все со мной — и Задкиэль, и Рафаэль, и Иофиэль, и Рахаб, и другие. А во главе них — я. Не ожидал?

Легко улыбнулся Денница. Поднял взгляд к серым небесам.

— Не ожидал, Архистратиг. Значит, и ты теперь — раб Самаэля?

Темным огнем полыхнули синие глаза. Дрогнул голос:

— Лучше... Лучше поклониться Самаэлю, чем тебе, сын греха! Лучше сохранить порядок, пусть даже ценой крови, чем дать волю этим... этим...

Молчал Денница. Молчал, в серое небо смотрел.

— Ты знаешь, я долго ждал. Я не хотел вмешиваться. Но сейчас — время выбора. Если рухнут Рубежи, мир превратится в хаос!

— Так сказал Самаэль, — Денница усмехнулся, не отводя

взгляда от серого марева наверху. — А я скажу другое. Когда рухнут Рубежи, дети Адама станут, наконец, свободными. И настанет новый мир.

Колыхнулся голубой стяг. Злым пламенем горели глаза вождя в сияющих латах.

— Мир низших тварей! Мир грешной плоти!

— Я покажу тебе вещь, — Несущий Свет протянул вперед руку, раскрыл ладонь. — Ты скажешь, что это, без подсказки? Я приведу к тебе зверей и гадов земных по роду их. Сможешь ли ты дать им имена? Не сможешь! Люди — смогут. Человек — Его образ. Человек — не ты! А ты лишь Существо Служения!

О чем они? Ярине вдруг показалось, что слыхала уже она о таком. Слыхала — или читала, или Хведир-Теодор рассказывал...

— Это все слова, сын греха! Только слова! Я не знаю имен зверей и гадов, зато знаю, кто ты, Светоносный! Тебе не поможет словоблудие. Чтобы сокрушить Семь Воинств, нужно иное, совсем иное. Веди своих заброд! Веди! Чего же ты ждешь?

— Знака! — Рука Денницы еле заметно пожала ее пальцы. — Знака, Архистратиг!

Серым было небо, безвидным. Но вдруг почудилось Ярине, что колыхнулось марево, и словно чья-то длань отдернула занавес...

...Проснулась — долго понять не могла. Когда же поняла — не по себе стало. Сон ли это? А если сон — то от бога ли? Как назвал Денницу пан Архистратиг? Светоносный?

Дрогнуло сердце. Вроде бы и нет в том имени ничего дурного, напротив. Светоносный свет людям несет, тьму разгоняет. Ведь и бог, перед тем, как мир творить, свет возжег!

Отчего же так страшно?

* * *

Странное было платье — не шелковое, но и не аксамитовое. Словно парча, только легкая, невесомая. А красоты такой — залюбуешься. Переливается ткань серебряным огнем, не хочешь, а рукой погладишь.

— Не хочу, — Ярина опомнилась, оттолкнула обнову. — Не надену! И не пойду никуда.

— Но господин наместник велели!

Девушка вздохнула. Переспорить служанку оказалось мудрено. Да и понимала: не в служанке дело. Не в ней и не в платье из ткани невиданной. Не хотелось в очередной раз чужой наказ выполнять. И ведь не просто чужой!

— Господин наместник просил поторопиться. Господин наместник просил госпожу пройти в Зал Грамот.

Просил! Вежливый он, пан Мацапура!

Этим утром Ярина впервые смогла встать. Нога, что с подрезанным сухожилием, по-прежнему не слушалась, но все же стоять было можно. И тут озаботился Дикий Пан — прислал со служанкой трость. Легкую, твердого дерева, с узорной резьбой — тоже серебряной.

Для гостьи дорогой ничего не жалко!

Вздохнула панна сотникова. Поняла — придется идти. Не таков Мацапура, чтобы отговорки слушать. Не захочет она — на веревке притащат. Голой.

Замок не удивил. Видела такие Ярина возле Киева-города. Старые Паны строили. Ладные фортеции — с добрыми стенами, с бойницами, с главной башней-донжоном. После гетьмана Зиновия мало их осталось — пожгли да по камню разобрали посполитые. И не только у Киева такие стоят. И у Валок тоже. Бывала в одном похожем замке панна сотникова, гостила — не забудет. Только там все больше подвал осматривала.

Как выразился бедный пан Станислав, Девятый Круг.

Здесь же довелось поглядеть на парадные покои. Пока шла, пока по лестницам крутым взбиралась, ногу волоча, осмотрелась. Осмотрелась — и удивилась даже. Бедновато! Один камень да камень. Где в побелке, где так просто. Хоть бы зброю на стены повесили или парсуну какую! А может, наместник прежний банован был, вот и вывезли добро, а в пустой замок Дикого Пана вселили?

Зал Грамот оказался на самом верху. Окна — в рост человеческий, стрельчатые. И без решеток. Ярина не выдержала — к первому же подошла. Закрыто! Вгляделась, сквозь толстые стекла на мир посмотрела. Высоко!

Внизу, за стенами, начинались луга, холмы; дальше, по левую руку — рощица. Невеликая, редкая. От рощицы дорога наискосок ведет, к реке дальней и — через мост — к местечку. А вон и звонница вдали торчит! Не с нее ли Шакалов Глиняных в полет вольный отправляют?

— Любуешься, Ярина Логиновна?

Вздрогнула. Повернулась быстро, трость на звонкие плиты уронила. Тихо подошел пан Мацапура. Словно кот к мыши.

— То надежду имею, что панна зацная в добром здравии пребывает?

Ярина кивнула — не думая, не слыша даже. Почему-то стало трудно стоять. Схватилась за подоконник мраморный. Трость! Ах ты, досада!

— Пусть панна не беспокоится!

Миг — и трость уже в Мацапуриных лапах. Улыбнулся, с поклоном вернул. Шагнул ближе.

— И я тут бывать люблю. Красиво! Вон, только глаголей не хватает. Ничего, я уже распорядился — аккурат близ рощицы поставим. Ведь тут, Ярина Логиновна, и не вешают почти, больше головы рубят. Дело доброе, да глаголь лучше. Удавленника хлопы в полном виде лицезреют, что зело поучительней бывает. А ежели смолой облить, то целый год провисеть может. Или два. Все польза! И для порядку, и для души. И подати платить станут справно!

На толстых губах — улыбка, глаза добротой лучатся. Заботлив пан Мацапура, не запускает хозяйство.

— Много чего тут поправить надо, Ярина Логиновна. Богатая земля, ткни палку — дерево вырастет, а толку мало. Ты бы почитала, сколько податей тут собирают! Смех! Батька бы твой сразу втрое их поднял, ну а я...

Ярина и вовсе слушать перестала. Вдруг показался ей Дикий Пан шкодливым мальчишкой, что хвалится кошками умученными.

Тот словно понял — сам себя оборвал.

— Умна, умна ты, панна сотникова. Видишь — пустое болтаю. Не для того пригласил.

Сгинула улыбка. Потемнели глаза.

— Посмотри-ка ты, Ярина Логиновна, на ясное солнышко!

Что? Или ослышалась? Или опять Дикий Пан шутит?

— Погляди, погляди!

От его взгляда враз мурашки по коже побежали. Никак в последний раз посмотреть приглашает?

Ладно!

...Ударил в глаза желтый огонь, ударил — ослепил. Закрыла веки — а все одно желтое пятно плавает.

— Не открывай глаз-то, панна сотникова. Пройдет скоро. Не открывай — и меня слухай. Лето сейчас, солнце здесь жаркое, жарче нашего. Жарче — и ярче. Не иначе, на полдне мы, вроде как в Берберии. Какой дурень на солнце будет смотреть?

Подняла веки Ярина, а перед глазами все одно — пятно желтое плавает. Помотала головой. Не проходит.

— Да вот нашелся дурень такой, что на солнце смотреть стал. Может, догадаешься кто?

Догадалась. И диву далась. Что это с Мацапурой? Или в коллегиум поступить решил, звезды считать? Говорил Хведир, что есть такие. Ходят в балахонах темных, трубы зрительные таскают.

— То присядем, панна сотникова. Нечего тебе ногу томить.

Взял под руку — не сопротивлялась даже. Поняла — не в вежестве притворном дело. Что-то случилось. Иначе не стал бы Дикий Пан на солнце глядеть!

Сели тут же — в высокие кресла, что вроде как на помосте стояли. Неудобные кресла, жесткие. Мацапура долго устраивался, по сиденью елозил. Устроился. Хмыкнул, ус крутанул.

— А знаешь, Ярина Логиновна, что это за места? На сих креслах только кнеж пребывать право имеет. Ежели, стало быть, в гости заглянет, тут его усаживать должно. Так что, я — на кнежском сиденье, а ты — вроде как кнежна!

Хохотнул. Хихикнул. Подмигнул. И вновь подивилась Ярина. Ну точно мальчишка! Хведир, тот тоже, как мальцом был, все норовил за батьковским столом усесться да окуляры пана писаря на нос нацепить.

— Так что, мы с тобой с сего дня — злодеи державные. Эх, было бы время, я бы не сюда, а на самый трон пана Сагора взобрался! Жестковато, говорят, да ничего!

Помнила тот трон Ярина. И трон помнила, и кнежа, что за него цеплялся, кровью исходя. А славно бы у того трона самого пана Мацапуру приветить! Чтоб так же кость хрустнула да жилы лопнули. И чтобы перстень...

Перстень! Камень кровавый!

Даже испугалась. Поглядела — замерла.

Кровавым огнем горел самоцвет на груди пана Мацапуры-Коложанского. Горел, переливался — словно подмигивал.

«Пойдешь ко мне на цепь?»

Ах, чародеи-химерники! Колом бы осиновым вас!

То ли взгляд ее перехватил Дикий Пан, то ли просто — почуял.

— Чему дивишься, Ярина Логиновна? То прикраса фамильная, от батька моего Леопольда досталась. Сперва был тут белый камень-диамант, только потерял его батька в городе Париже. Потерял — да другой вставил. Рубин этот, панна сотникова, из самой Индии привезли, из страны Кашмир.

Спокойно сказал, невзначай словно. Сказал, а сам взгляд от лица ее не отрывал. Будто испытывал.

Хотелось Ярине об узнике седобородом спросить да о площади Гревской, что в том Париже-городе, но — смолчала. Успеется! Будет час — все Дикому Пану припомнит. И пана Станислава тоже!

Поерзал пан Мацапура по креслу. Поерзал — успокоился.

— Ну, слушай, Ярина Логиновна. С безделицы все началось. Три дня тому разголос по местечку прошел, будто на закате искра возле солнца сверкнула. Сверкнула — да и погасла. Поговорили — забыли. А я вот не забыл.

Помолчал Дикий Пан, пальцами толстыми по подлокотникам побарабанил. Будто слова искал.

— Сам дивился: с чего такую безделицу помню? А потом на ум пришло: «Искрой, пятном, хоботом, а после — столпом». Вроде загадки детской. Не слыхали ли, панна сотникова?

Покачала головой Ярина. Не слыхала. Не любила она загадок. Одно поняла — не шутит Мацапура. Не шутит — и на солнце смотреть не зря заставляет.

— Книга такая есть — «Рафли» зовется. Чернокнижие сугубое, даже мне порой тошно. Да только вот читывал я там некое повествование — про Аспида, что землю сгубить хотел в годы давние. Вот с того и запомнил — про искру, про пятно да про все прочее...

Встал Дикий Пан, шеей повел, словно бы душно ему было. Будто бы схватил кто за шею его бычью.

— Послали того Аспида ангелы некие, самим Сатаной назначенные. А чтоб до времени не увидели губителя, возле самого солнца спрятали. Только и можно было заметить, что искру на закате. А через дней несколько...

Только сейчас и догадалась Ярина крест сотворить. Ишь, кого помянул, людоед!

— Или пан Сатаны испугался? — не утерпела она. — Чего ж слуге хозяина своего бояться?

Моргнул Дикий Пан, брови высоко поднял. Вот-вот рассмеется. Да только не стал смеяться.

— Дура ты, панна Ярина! То мугыри пальцы гвоздем колют да за полночь на печь лезут, чтобы душонку свою продать. Пропадают — и зазря. Сатане-то до них и дела нет. Ты хоть Библию читала?

И вновь перекрестилась панна сотникова. Сперва Врага, после — Писание Святое оборотень поминает. Неведомо, что хуже!

— Сатана, которого должно Противоречащим звать, Богу отнюдь не ворог. Или Иова Многострадального книгу не помнишь? «И был день, когда пришли Сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана». Поняла? Пришел он среди ангелов, потому как сам — ангел! К Господу приходит и от него наказы получает. Ты, Ярина Логиновна, попов меньше слушай. Вредно это!

В третий раз перекреститься не пришлось. Замерла рука. Помнила Ярина книгу об Иове. И о Сатане клятом помнила, да как-то не задумывалась.

— А потому и землю сгубить Противоречащий отнюдь не сам задумал. Да не о том речь. Пойдем, снова посмотрим. Вместе.

Как вставала — трость подал, руку калачиком согнул. И впрямь кавалер!

Возле окна дивное началось. Поглядел Дикий на небо, при-

щурился и принялся в карманах шарить. Долго шарил — видать, глубокие карманы панские.

— А вот гляди, Ярина Логиновна! Нравится?

Взяла, в руках повертела. Зеркальце? Нет вроде. Стекло, да какое-то мутное. Словно коптили его. Тронула пальцем — не мажется.

— Сие, панна сотникова, оптика называется. Не простое стекло — с дымом. А как через него глянешь, все больше кажется — в четыре раза. Знатные тут мастера! Ну-ка, проверь!

Поглядела Ярина на Дикого Пана — и чуть не отшатнулась. Экое чудище! Черный, словно арап, рожа — с гарбуз знатный!

— Поняла? Ну а теперь — на солнце взгляни. Не бойся, глаз не обожжешь.

Делать нечего. Взглянула.

Маленьким было солнце — словно плошка медная. Плоское, а по краям — вроде темной каймы. Даже обидно Ярине стало — это ли светило, что жизнь всем дает?! Фу ты, химерия!

— А теперь — влево. Чуть-чуть.

Серым казалось небо, словно то, во сне виденное. И странно гляделось на том небе черное пятнышно. Вроде как школяр-неряха кляксу посадил.

— Так это что — Аспид? — поразилась она.

Отняла мутное стекло — и зажмурилась. Яркое солнце в этих краях!

Задумался Дикий Пан, крутнул ус, губами пухлыми причмокнул.

— Про Аспида, Ярина Логиновна, книга «Рафли» пишет. А для того пишет, чтобы всем ясно стало. Не Аспид это, понятно. Да не в названии дело. Скоро пятно вырастет, хоботом вниз опустится. А в тот хобот весь сей мир и вытянет. Вот так!

Не удержалась — снова на небо взглянула. Пятнышко и пятнышко, маленькое, еле разглядишь. А вот ежели разглядишь...

— Никак дыра? — поразилась она. — Словно небо насквозь проткнули!

Ничего не ответил Мацапура. Кивнул только.

— Надо гетьману... кнежу написать!.. — быстро заговорила Ярина. И осеклась. Кнежу Сагорскому? А может, еще и самой приехать — со своей же головой на блюде?

Да и к чему писать? Ведь знает кнеж! Знает!

«...Незаконный... несанкционированный переход господина Мазапуры через Рубеж каким-то образом нарушил его функционирование... существование. Более того, вероятна угроза нашему миру... Сосуду... реальности».

Прав был, выходит, пан прокурор Иллу!

— Но что же делать, пан Станислав?

Сказала — и язык прикусила. Как только повернулся?

Прости, пан Станислав, лыцарь благородный!

И на это ничего не ответил Мацапура. Руки за спину заложил, голову понурил. Шагнул к пустому кнежскому креслу. Не дошел, назад повернул.

— Написал я кнежу Сагору, Ярина Логиновна. Неглуп он, поймет. Да что толку? Чародеев позовет? Лапки лягушачьи сушить станет?

Снова повернулся к креслу, шагнул — и опять назад повернул.

— И через Рубеж не перейти. Ни с визой, ни с чародейством! Как в домовине!

Всмотрелась Ярина. Или кажется ей, или вправду Дикий Пан труса спраздновал? Да неужто?

Вот так дела!

— То пан Мацапура не знает? — усмехнулась она. — Рубежи те по милости зацного пана закрыты. Ой, пан, пан мостивый! Такой чернокнижник — и в силок попался! Ровно тот мугырь, что гвоздем палец колол да чорта в полночь ждал!

Дернул плечом Мацапура. Смолчал. А Ярине и в самом деле весело стало.

— Попов, говоришь, слухать не надо? Так ведь попы разные есть. Вон, Еноха Хведир, которого ты батьки лишил, мудрые слова сказал как-то. Нельзя материи тонкие трогать, потому как из них мир божий соткан. А ты, пан моцный, сапогом проломиться решил!

Сказала — и возгордилась. И ведь запомнила! Эх, мало им с Хведиром-Теодором толковать пришлось! А если и толковали — то все про материи да энергии эти тонкие, будь они трижды!..

Эх, Хведир, Хведир! Встретимся ли?

— Ну, считай устыдила, Ярина Логиновна. Вот выберемся, так я прямиком в обитель Межигорскую отправлюсь. Власяницу надену, вериги с два пуда. И почну слезы лить. Слезы лить — и образам кланяться... Да это ежели выберемся, смекаешь?

Ярина очнулась. Далеко Хведир, а Дикий Пан — вот он. Ухмыляется, усы гладит. Видать, опамятовался.

— Я так прикидываю, панна сотникова. Месяц у нас — не больше. И за тот месяц извернуться нам следует. Понимаешь ли?

— Извернуться?

Дернулась трость в руках. Если бы не нога бессильная, размахнулась, полоснула бы поперек ненавистной рожи.

— Ой, умен ты, пан Мацапура! Ой, умен! Давай, вертись, а я погляжу. Весело глядеть будет!

— Ничего-то ты, видать, не поняла, Ярина Логиновна!

Вздохнул Мацапура, каптан на брюхе оправил. К окошку подошел, стеклышко дымное к глазу приставил.

— Вчера-то меньше было. Растет! Нет, Ярина Логиновна, смотреть я стану. А ты — вертеться. Дурак кнеж Сагор — талисман волшебный из рук выпустил! А за меня не бойся, моя ясочка. Не выпущу!

* * *

Заперты двери. На окнах переплет мелкий, не открыть, не выглянуть. Темница! А что не подвал сырой, а покои богатые — велика ли разница? Только и осталось — горницу шагами мерить. Да и то, много ли пройдешь с ногой хворой? Раз, другой...

— Отворите! Отворите!

Тихо. Слуг — и тех нет. Словно бы вымер замок.

Присела Ярина на край кровати, трость уронила. Нагибаться не стала — ни сил, ни надобности. К чему? Гулять не покличут.

— Эй, кто-нибудь!

Никого! То есть тут они, небось в коридоре стоят, а отозваться боятся. Суров Дикий Пан, сумел пахолков в руки взять! Если и осталась тут душа добрая, то все одно — не поможет.

Страшно!

Ну, почему так выходит? Почему только раз довелось с упырем этим лицом к лицу сойтись, шаблей о шаблю ударить? Все бы отдала за дедову «корабелку», да где она теперь? Разве что у Юдки, пса панского, узнать.

Да и не одолеть ей Дикого Пана. Страшно, смертно бьется! Словно и вправду — бес.

Бес?

Задумалась Ярина, подбородком в кулаки сжатые уперлась. В одном просчитался Дикий Пан — дал ей время. Не иначе, слишком в себе уверен. И то — в полной воле она, Ярина Загаржецка, у этого изверга. Захочет — на дыбу подвесит, захочет — на ложе бросит...

...Плеснула краска в лицо. «Стало быть, сердце с перцем? А, Ярина Логиновна? Какова ты с шаблей — знаю...» Не вспоминать бы, так не забудется! Как навалился, как в лицо задышал...

Нет, нельзя! Нельзя вспоминать! Потом вспомнит — когда час настанет Дикого Пана в клочья рвать!

Потом!

Мотнула головой панна сотникова, словно мару прогоняла. Не взять шаблей беса. А иначе если? Вроде бы и умен Мацапура, и «Рафли» колдовские читал...

Умен?

Усмехнулась Ярина, на покрывало тканое легла, руки за голову закинула. Вспомнилось, как спорил как-то с попом валковским химерный чародей Панько. Панотец Никодим ему из

Библии словеса, а румяный пасичник щурится, усмешкой рот кривит: «Умен ты, батюшка, умен. Да только ум у тебя — дурак!»

Не великого ума Дикий Пан!

Умен был — не вставал бы войной против всего Войска Запорожского! Или на острове они, посреди моря Черного? Сжег бы Валки, и Полтаву сжег — неужто на том все кончилось? Хоть и обросли жирком полковники да старшины генеральные, а все равно бы — не стерпели. Видать, жадность Мацапурина того ума посильнее!

А как нашкодил — бежать вздумал. Вроде бы и умно — через Рубеж перебраться, в мир запредельный. А о том не подумал, что визы чаклунской всего-то на год хватает. Значит, и страх панский ума посильнее!

Теперь она, Ярина Загаржецка...

Не утерпела — вновь вскочила. Долго трость поднимала, встала, проковыляла к двери. Тихо было за дверью. Ну и пусть! Думать никто не мешает.

Ведь что получается? Узнал Мацапура, что у нее, у Ярины Загаржецкой, откуда-ниоткуда сила неведомая взялась. Узнал — и понял, что ту силу можно на спасение направить. На свое спасение. Узнает панна сотникова, что миру этому конец приходит, позовет спасителя неведомого, а Дикий Пан в ее подол клешней вцепится. Вроде рака!

Умно? Ой ли?

Решил Дикий Пан, что она жизнь свою выше всего любит. И за эту жизнь готова даже его, Мацапуру-анчихриста, из пекла вытащить. Значит, грозить станет. Грозить — и сулить всякое.

Ну и пусть!

Усмехнулась Ярина, легонько тростью в дверь ударила: тук, тук, тук! Как бишь это в байке, что Хведир когда-то рассказывал? «Я, Черная Рука, иду тебя кушати — с ручками, с ножками, с пальчиками!»

Тук, тук, тук, Дикий Пан!

Или не слышишь, как Смерть твоя стучится?

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Теперь я знаю, как летают!

Это очень просто! Я летал. Я поднялся на большое дерево в саду. Я не испугался.

Когда я вырасту, то смогу летать под самыми звездочками.

Я научу летать Ирину.

Красивый человек, который ходит за мной, познакомил меня со своей девкой. Она хорошая. Она погладила меня по щеке.

Она удивилась. Она сказала, что меня называют чудовищем. А я — не чудовище, я очень красивый парень. И мне скоро надо будет искать невесту. Я спросил, что такое невеста. Она смеялась. Она сказала, что скоро все девки будут умирать, когда меня увидят. Я сказал, что не хочу, чтобы они умирали. Она снова смеялась, и красивый человек — тоже. Они хорошо смеются.

Красивый человек принес железную рубаху и попросил меня примерить. Рубаха тяжелая и очень большая. Красивый человек сказал, что ее носил княжич, который умер. Я тоже буду ее носить, когда рубаха станет меньше. Красивый человек дал мне подержать меч. Он не тяжелый. Я сказал, что этот меч — ненастоящий. Настоящий меч не из железа, а из огня.

* * *

Тетка спросила, слышу ли я бабочек. Я сказал, что слышу. Тетка повела меня к дядьке Князю.

Дядьке Князю больно. Он сидит в большом кресле. Красный камень на его перстне не горит.

Дядька Князь попросил меня позвать бабочек. Он сказал, что с бабочками желает поговорить Князь Сагор. Я звал. Я звал долго. Бабочка отозвалась. Она розовая. Она яркая.

Бабочка сказала мне, чтобы я не вмешивался. Она сказала, чтобы я не лез не в свое дело. Я обиделся. Я сказал, что скоро вырасту и тогда ее поймаю. Бабочка испугалась. Она согласилась говорить с дядькой Князем.

Дядька Князь спросил у бабочки, почему она не выполнила обещание. Дядька Князь сердился. Дядька Князь кричал.

Бабочка ответила, что обещание она выполнит. Дядька Князь и тетка могут улететь. Бабочки им помогут. Дядька Князь спросил, может ли с ними улететь Княжич Тор. Бабочка сказала, что нет. Бабочка сказала, что закрыт какой-то Рубеж. Что она может перенести дядьку Князя и тетку в спокойное место. Там можно жить долго без «визы».

Розовая бабочка просила меня показать дядьке Князю это место. Я взял его за руку и показал. Он испугался.

Спокойное место — плохое. Там очень холодно. Там плохо дышать. Бабочка сказала, что дядька Князь не умрет. Он будет ждать в спокойном месте, пока бабочки не найдут ему дом.

Дядька Князь очень сердился. Он сильно кричал. Он думает, что обманет бабочек. Он думает про «эвакуацию». Он думает, что ему поможет тетка.

Тетка не хочет помогать дядьке Князю. Она хочет, чтобы он умер. Она вспоминает мальчика по имени Клик. Этот мальчик

умер. Тетка хочет улететь. Розовая бабочка ей обещала. Дядька Князь об этом не знает.

Они злые. Они плохие. Мне было больно. Они забрали у меня все смыслы.

* * *

Я показал братику место, где лопнули пленочки. Он не увидел. Он сказал, что я все выдумал. Он сказал, что мир не может погибнуть, если не захочет бог.

Я спросил, кто такой бог. Братик объяснял. Он сказал, что бог правит миром. Я сказал, что бог — это и есть мир. Он велел мне никому об этом не говорить.

Батька далеко. Он меня не слышит. Я не знаю, чем ему помочь. Мои смыслы слишком легкие.

* * *

Мне надо поговорить с богом.

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

На этот раз не светило солнце. Темно было в горнице, даром что свечи всюду натыканы. В черной тени сидел Дикий Пан. Только красный огонек от панской люльки горел-подмигивал. Ну точно, дьяволово око!

Дымил Мацапура люлькой, молчал. Ярина тоже не спешила разговор заводить. С чего начнет? Дыбу посулит — или червонцев мешок?

— А знаешь, Ярина Логиновна, что кнеж Сагор удумал?

Вздрогнула. Все-таки сумел удивить, упырь!

— Ведь чего он у тебя расспрашивал? Про Багряные Ворота да про землю нашу? Верно?

— Верно.

Вспыхнуло дьяволово око. Вспыхнуло, погасло.

— От паскудство! И люльки доброй вырезать не могут! И тютюн тут не растет.. Сагор, Ярина Логиновна, чернокнижник знатный! Да и мир этот чернокнижием спокон века силен. Прикидывал я, чего это здесь даже до пороха не додумались? Приезжай с гарматой да скручивай всех в бараний рог! Ан нет! Тут у них магия такая, что и порох не нужен.

Кивнула Ярина, глаз от красного огонька не отводя. Слыхала! Рассказывал ей о том химерный пан Рио. Как это он говорил? «Мне кажется, что в моем мире законы магические... волшебные имеют большую силу, чем законы физические. У вас такое — исключение. У нас — правило».

— То мне пани Сале пояснить пыталась. Честно говоря, не очень я и понял. Вроде как Сосуд этот к Небесному Огню ближе. Может, и правда.

Правда?

«...Мы говорили с господином Теодором, и он предположил, что мой мир находится ближе к Внутренней Сфире, поэтому в нем больше тонких материй...»

— Ну и что? — не выдержала Ярина. — Какой с того чернокнижия толк, ежели мир свой спасти не могут?

— Не могут.

Полыхнул огонек, погас. Встал Мацапура, повел плечами — вроде как груз тяжкий скидывал.

— Спасти не могут. А вот что иное... Видишь ли, Ярина Логиновна, есть у князя Сагора некая магия на самый распоследний случай. Какая — не скажу пока. Магия эта сама мир тутошний в пепел превратит, зато иной мир как бы в полон возьмет...

Шагнул ближе, склонил голову набок, в лицо всмотрелся. Мол, поняла, панна Загаржецка?

— Ведь чего тебя про Багряные Ворота расспрашивали? Думаешь, бежать князь решил? Э-э, не бежать! Узнать ему хочется, откуда мы взялись. Стражи Рубежные не скажут, их дело — визы смотреть да через Ворота пускать. Конец дорожки он видел, а начало — нет. Тут, панна сотникова, каждая мелочь важна. Узнает, откуда дорожка наша началась, вот тут и магию свою последнюю в дело пустит. Ясно ли объяснил?

Молчала Ярина, не знала, что и думать. Врет, упырь, цену набивает? Так ее ведь и правда о том расспрашивали! И об обряде сатанинском, и о земле родной. Дороги, города, крепости...

— Вот тебе и цена договору нашему. Ты своих заступников просишь — крепко просишь! — чтобы нас с тобой выручили. Или в иное место, безопасное, перевезли, или это безопасным сотворили. А вот моя цена. Первое — жизнь тебе спасу. Второе — расскажу, что князь Сагор придумал. Магия его сильная, да тонкая. Порвешь ниточку — рассыплется все. Вот я тебе ту ниточку и укажу. Спасешь ты, Ярина Логиновна, все Войско Запорожское, а может, и весь мир божий. Прямо как Маруся Богуславка!

Хохотнул Дикий Пан, да странным тот смех Ярине показался. Словно не смеялся Мацапура — лаял.

— А коли заступнички твои нас обратно под Валки отправят, ты, ясочка моя, за меня, старика, перед батьком да перед гетьманом слово замолвишь. Потому как фитиль уже горит, а погасить его только я смогу!

Наклонился, тютюном в лицо дохнул. И почудилось девушке, что красным жаром горят панские очи. Словно кто две люльки в темноте запалил.

Закрыла глаза панна сотникова. Закусила губу — до боли, до крови. Что же делать-то ей? Не иначе, придумал всю эту химерию проклятый колдун! А если нет? Если и вправду?

— То пан добре выдумал, — наконец усмехнулась она. — Все-то пан подсчитал, все взвесил. Да только у меня тоже в руках ниточка имеется! И на той ниточке, пан зацный, жизнь твоя подвешена. Или нет?

Словно бы дверь заскрипела. Дрогнули толстые губы.

— И твоя! И твоя, ясочка! Разом висим, разом падать будем!

— А коли так, то поведай-ка и мне про кнежью задумку. А то не привыкла я верить на слово — особливо таким, как ты. А я послушаю!

Шумно вздохнул Дикий Пан. Хмыкнул, головой качнул.

— Не веришь, значит? Ну, ладно, все одно — коли не выберемся, в пекле только рассказать сможешь!

Отошел, обратно в кресло бухнулся.

— Узнал я, понятно, от пани Сале. Умная она, а все же баба. А баба, да будет тебе ведомо, панна Загаржецка, болтлива бывает. Особливо как размякнет или в гнев впадет. Ну, размякнуть я сам ей помогал. Хе-хе!.. Ничего, мягкая становилась. А гнева да злости в ней — море целое. Знаешь ли, что кнеж ее жениха смертью казнил?

Вот даже как? Ярина только диву далась. И после этого ведьма тому кнежу служит?

Или не после? Или у пани Сало своя задумка есть? Так-так!

— Много чего она про кнежа порассказывала! Ой, много! Ну и среди прочего — такую байку сплела. Будто пращур его не просто шаблей престол взял. Заключил он завет с демоном неким. Ну, чисто Моисей на Синае!..

Вновь засветились красным огнем панские очи. Даже вперед подался — до того завелся. Ярине и самой интересно стало. И не просто интересно...

— И обещал тот демон... Гей, чего надо?

Не поняла Ярина. Кому это надо? Ах да, пахолок! Подобрался тихо, теперь на ухо панское шепчет. Долго шепчет!

— Как?! Как звать, говоришь?

Вроде бы сидел только что Мацапура — а уже стоит. И не у кресла — у окна. Стоит в стекла темные смотрит. И шабля в руке!

— Ну, веди сюда, раз пришел! Да свечей, свечей побольше!

Поразилась Ярина. Или от кнежа гонец? Или сам кнеж Сагорский пожаловал? Тогда отчего один?

А вот и свечи! Что-то Мацапура с лица спал! Вот уж не думала она Дикого Пана таким увидеть!

— Сидишь, Ярина Логиновна? Ну, сиди, не вставай. Чтоб падать не пришлось!

Шаги... Вошел! Нет, это всего лишь давешний пахолок.

— Господин Теодор Еноша к господину наместнику Медного Венца!

Услышала — не поняла сперва. Теодор Еноша? Ено...

Хведир!!!

— То добрый вечер панству!

Вначале узнала окуляры. Потом...

— Хведир!

Не закричала — прошептала. Услышал бурсак, улыбнулся:

— Добрый вечер, Ярина Логиновна! И вам добрый вечер, пан Станислав!

Поглядела панна сотникова на потолок — не падает. На пол — не проваливается. На пана Мацапуру...

— То... То и вам добрый, пан писарь сотенный!

В иной миг бы и засмеялась. Знатно глаза вытаращил, пан моцный! Ровно сом на вертеле!

— Я... Я мешать не буду. Мне только вызов передать зацному пану.

Полез за пазуху, грамотку достал. Мятую.

— То пана Мацапуру-Коложанского в Полтаву кличут. Велено пану на суд явиться.

Белым стал Мацапура — словно мелом натерли.

— А обвинения моцному пану Станиславу будут такие. Первое — ребелия, сиречь бунт супротив власти державной. Второе — невинных христиан убиение, равно как иное мучительство. Третье...

Был Дикий Пан белым — зеленым сделался. Ярина же ушам своим не верила. Что же это такое? Или пан бурсак решил, что они в Валках?

— ...Третье — чернокнижие, сиречь магия, бесов вызывание, а также иное чаклунство упыриное...

— Да ты!.. Да как ты!.. Или разума лишился, хлопче?

Качнулся свечной огонь от Мацапуриного крика.

— Ах ты, семя крапивное! На суд?! Меня?! Меня, Мацапуру-Коложанского?!

— Вас, пан Станислав, — вздохнул Хведир, грамотку пряча. — Так как, поедет пан в Полтаву?

Зарычал Дикий Пан. Вскочил, сжал пальцы, что шаблю держали. Побелели пальцы, хрустнули.

— Да я!.. Ах ты, сопляк! Ах ты!..

— Ну так мы и без ласки панской обойдемся!

Весело усмехнулся Хведир-Теодор, окуляры снял. Снял — Ярине подмигнул. Подмигнул, пальцами щелкнул...

...Брызнули стекла. Звякнуло. Грохнуло. Громыхнуло.

— А вот и мы! Гоп, куме не журись, туды-сюды повернись! Хватай упыря!

— Ату, волчину!

И тогда рассмеялась Ярина-Смерть. Верила! Верила! Есть бог на свете!

...Ничего не помнила — кажется, плакала. Плакала, Хведира в обе щеки целовала. И Мыколу. И Петра-молчуна.

— Ну, ну, Яринка, успокойся! Добре все! А скоро еще лучше станет!

Очнулась, вытерла слезы.

— Хлопцы! Хлопцы!..

— Мы и есть, Ярина Логиновна!

Словно и не было ничего. Словно опять дома. Она в горнице парадной, а к ней гости завернули. Славные гости — браты Енохи. Вон, Мыкола чуб за ухо заправляет, вон Хведир — никак окуляры на нос не пристроит. А вот и Петро с гаковницей...

Нет, не ходят в гости с гаковницей! Не дома она! Но как же это?

— Откуда?

Рассмеялись. Даже Петро-молчун хохотнул. Хохотнул, гаковницу с плеча снял. Добрая гаковница! И о панскую голову не разбилась!

...Ай, пан, пан мостивый! Или думал ты, что будешь кулем на полу валяться?

То-то!

— Тут, Яринка, рассказывать — ночи не хватит. Ну, чего, сестренка, жива?

Вздохнула Ярина, закрыла глаза. Неужто все позади? И муки, и боль, и ужас смертный? Даже не верится пока...

— Жива, хлопцы! Жива!

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

— Ты прав, Иегуда бен-Иосиф. Через Ворота можно попасть не только в иной Сосуд, но и переместиться внутри самого Сосуда. Главное знать как. Но ведь ты хотел спросить не об этом.

В эту ночь (вэй, тоже мне ночь!) морок уже не походил на морока. Загустел, плоти набрался.

Славный сынок у каф-Малаха. Не жалеет Имен для батьки!

Костер погас. У пустого бочонка мадеры — попоище. Пали черкасы гетьманские в хмельницкой баталии, но пали с честью — чубами к бочке. Даже завидно!

— Я до сих пор жив, каф-Малах. Это ты попросил сотника Логина?

— Я не мог попросить. Мог лишь кое-что показать. Поэтому и опустилась его рука. Но ведь ты хочешь узнать о другом?

Смотреть на его черную личину не было сил. Пылающие уз-

кие глаза прожигали насквозь. А ведь он — только призрак! Каков же настоящий Малах?

— Ты прав, морок! Я хотел узнать, зачем спрятанному в медальоне нужно, чтобы глупый жид Юдка нарушил заклятие?

Обидным был его смех. Всего в нем хватало — и злости, и пренебрежения ко мне, сирому.

— Ты не умнее, Иегуда бен-Иосиф, своего Двойника! Не умнее — но любопытнее. Тот просто струсил.

Не удержался — взглянул в его горящие глаза. Вот даже как?

— Так с паном Рио тебе тоже не повезло? Вэй, да ты неудачник, каф-Малах!

Уязвил? Кажется, уязвил. Отвернулся морок, плечом дернул.

— Ты не первый, кто так зовет меня. Может, и правда. Но мои неудачи стоят твоих удач. Я мог бы ответить тебе, Иегуда бен-Иосиф, но не станет ли мой ответ водой, проливаемой на горячий песок? Но если хочешь, намекну. Когда нарушится заклятие, Внешний Свет разъединит верх и основу, сотрясутся сфиры, и в ракурсе Многоцветья станет возможным Чудо. Понял ли ты меня, мастер Нестираемых Имен?

Мне бы удивиться. Поразиться.

Но не стал я удивляться.

— Эге, так вот ты кто, каф-Малах! Ты не только бунтарь, ты еще и еретик! У какого безумца ты учился, сын греха? Ибо любой рав пояснит тебе, что никакого Чуда в ракурсе Многоцветья не настанет, зато в ракурсе Сосудов случится большая беда. Или ты хочешь, чтобы я стал Разрушителем Миров?

Внезапно почудилось, что я в синагоге, куда посмел зайти какой-то рав-самозванец. И не просто войти — сесть на возвышение, развернуть свиток Торы...

Ах ты, нечестивец!

Я быстро опомнился. Самое время изощряться в ученых спорах! Все-таки ты жид, бен-Иосиф. Хоть две шабли в руки возьми!

— Я учился у человека, которому твои равы недостойны омыть ноги. Ноги?! — они все, вместе взятые, недостойны кормить его осла!..

...Вэй, да и он, кажется, жид!

— Его звали Элиша бен-Абуя...

— ...Которого все благочестивые люди именовали Чужим — дабы не осквернять уста проклятиями, — подхватил я. — Который побывал в Саду Смыслов, но вынес оттуда только безумие. Значит, это он научил тебя именно так трактовать Сокровенную Книгу?

Я укусил себя за язык. Перед кем я стараюсь? Перед тем, для кого Сокровенное Знание — только лопата, которой ставят в печь хлебы? Но в его печи может поспеть только Глупость. И та — горелая!

— Я тебя понял, каф-Малах. Нарушение заклятия взорвет сфиры. Но тебе нет до этого дела. Ты думаешь, что это даст тебе лазейку, чтобы пролезть из Не-Существования в Существование. Ты похож на безумца, который решил изжарить яичницу в пламени горящего дома!

Нет, не зря я всегда остерегался Малахов! Но бейт-Малахи, по крайней мере, соблюдают законы!

— Какой же ты зануда, Иегуда бен-Иосиф!

Не стал отвечать. Встал, повел плечами, отгоняя сонную одурь. Внезапно я почувствовал странную приязнь к спавшим у погасшего костра чубатым разбойникам. Всего-то и хотят они — посадить вредного жида на палю. Им и в голову не придет трясти Древо Сфирот!

— Ты не понимаешь, бен-Иосиф!

Я обернулся. Он еще здесь?

— Нарушение заклятия — выход не только для меня, но и для тебя. Кто ты сейчас? Сторож собственного гроба — не больше. И уйдет душа твоя в никуда, в бездну, худшую, чем Шеол, не выполнив ничего из предначертанного. Если же не побоишься, если сможешь переступить через себя...

Я закрыл уши, не желая слушать. Поздно жалеть о несбывшемся. Поздно! Этот бунтарь ко всему еще и глуп. Разве понять Малаху, что для Заклятого переступить через себя — горше самоубийства? Впрочем, что для него люди? Тараканы, не больше!

— Я выбрал свою дорогу много лет назад, каф-Малах! И теперь она подошла к концу. И твоя похоть к жизни не заставит меня стать Б-гоборцем! Уйди!

Я закрыл глаза, и передо мной предстала Бездна. Рядом — протяни руку. Этим ли грозил мне морок? Ну и пусть! Пусть моя душа навеки останется здесь, на дороге, ведущей из Ниоткуда в Никуда...

За одно я был благодарен ему, еретику и ученику еретика. Бунтарь-морок подтвердил то, о чем я только догадывался. Заклятие — дитя сфир, дар из самой из сердцевины. Мог ли я думать, что прилеплюсь своей погибшей душой к величайшей из Тайн?

А мы еще думаем, что далеки от Небес!

* * *

И не было ночи, и было утро...

— Едут, батька, едут!

Я даже головы не повернул. Не иначе с похмела почудилось пану Бульбенко. Я бы услышал — не спал, да и не пил почти.

Услышал бы — и увидел. Вот она, Бездна, вот и дорога белой лентой протянулась... Эге!

— Скачут! Чортопхайки вроде! Одна... нет, целых три!

— До бою, хлопцы! До бою! А ну, вставайте, пьяндыги, а не то в пекле проснетесь!

Пока глаза протирали, пока шаровары подтягивали да порох в запалы сыпали, уже и слышно стало: и копыт перестук, и колесный скрип. Ошиблись сторожа, и я ошибся: не три там чортопхайки! Целых десять. Но не они удивили (после верблюдов безгорбых уже и дивиться нечему). Окно! Совсем рядом! Небольшое, вроде калитки широкой — как раз, чтоб чортопхайку пропустить. И кто же на этот раз к нам на Околицу пожаловал?

— А ну, цыть! Слухайте, вроде как поют?

Точно! Сквозь скрип тележный да топот копытный...

— Пане сотнику! Пане сотнику! Да то ж наши!

А ведь не ошибся пан есаул! Ваши!

Эх, яблочко, да куды котишься?
На «Алмаз» попадешь — не воротишься!

Эх, яблочко, да крыто золотом,
Тебя срежет Совдеп серпом-молотом!

Катись, яблочко, пока не съедено —
Побили Троцкого, побьем Каледина!

А вот и они, любители яблочек! Странная чортопхайка, высокая, словно карета, и колеса не прыгают — гладко бегут. А это что? Хоругвь! Черная? Красная? На миг привиделся мир цветным: и хоругвь двухцветная, чернь с кровью, и на шапках ленты похожие...

— А ну, стой! Кто такие будете?

А я уж подумал, что пан Логин обниматься полезет с земляками! Вэй, верно рассудил, от земляков — самые неприятности.

Отвечать не стали — словами. Дернул возница вожжи, присвистнул. Миг — и развернулась чортопхайка. Хороши же у них колеса! А это что? Никак гармата? Эге-ге-ге!

— Кто такие, спрашиваю? А ну, отвечай!

Спрашивай, пан Загаржецкий, спрашивай! А они уже вторую чортопхайку развернули. И тоже с гарматой. Или не с гарматой? Дуло узкое, короткое, стрелка щиток прикрывает...

— Мы-то кто? Мы есть революционный боевой отряд имени товарища Кропоткина! А ну с дороги, а то из кулемета пригостим!

Отозвались!

Разбойники? Так не ездят разбойники со штандартом! Или все-таки ездят?

Оглянулся пан Логин, силы соизмеряя. Ущелье узкое, больше двух чортопхаек и не проедет. Густо залегли хлопцы — в два ряда. Первый выпалит, второй уже рушницы заряжает. Эх, укатила гармата вместе с братами Енохами! И гаковница с ними. Ну, ничего!

— Гром! Гром! Дмитро, бес тебя, москаля, задери! Бонба еще есть?

— То обижаете, пан сотник! Я и фитиль поджег.

Ото добре!

Те, на чортопхайках, тоже услыхали. Переглядываться стали, шушукаться.

— Эй, товарищи, а вы кто? Какого отряду?

Хотел пан Загаржецкий пояснить, кому гусь не товарищ, да не стал. Не время задираться.

— Мы — черкасы гетьманские, Валковской сотни. А я — над ними старшой, Загаржецкий-сотник!

Сказал — и усмехнулся в седые усы. Ну чего, герои, схлестнетесь с реестровцами? Или кишка тонка?

На этот раз шушукаться не стали.

— Гетьманцы? Ах, сучьи дети, контрреволюцьонеры, наймиты германские! А ну, кидай зброю, не то всех к Духонину отправим, как врагов пролетарьята мирового!

Только моргнул пан Логин. Сколько прожил, сколько лаяться пришлось, а о словах подобных и не слыхивал. Сами они эти... курвицыонеры!

А сзади — шепот есаулов.

— Хлопцы! Лучше цель! Каждый своего выбирай!

Вновь хмыкнул пан Загаржецкий. Молодец, Ондрий! Пока те дурни на чортопхайках лаяться будут да Духонина своего поминать, его черкасы как раз все рушницы зарядить успеют.

— Вы бы гетьмана нашего, пана Олександра Розума, не чернили б зазря. Ненароком языки отпадут!

Просто так сказал — чтобы время потянуть. Перед тем как «Пали!» хлопцам скомандовать.

— Кого? Розума? А не Скоропадского, матери его чорт и батьке кондратий?

— Да вы чего? — озлился сотник. — Или с глузду последнего съехали? Да Скоропадский Иван восемьдесят годков как помер!

— Какой еще Иван? Павло он, вражий сын. И не помер, а в Немеччину к кайзеру драпанул! И недели не прошло!

Тьфу ты!

— Командир вольного отряда Кныш!

Только вздохнул пан сотник. Экий командир! От горшка два вершка, молоко на губах не просохло... А бойкий-то, бойкий какой!

— Извиняйте, товарищ Загаржецкий, обознались — за гетьманцев приняли. А товарищу Розуму посоветуйте гетьманом не величаться, потому как слово это негодное...

Не стал спорить пан Логин. Пусть болтает, Шиш-Кныш! Сюрточок заморский мышиного колеру напялил, ремнями затянулся, а на голове-то — блин зеленый! Блин — да еще с козырьком!

Ну, болтай, болтай, послушаем!

— Из Гуляй-Поля мы. По приказу Гуляйпольского ревкома наш отряд направлен в Катеринослав. Так что едем мы по революцьонной надобности, а посему и пропустить нас должно.

Не то было сотнику интересно, в какой-такой Катеринослав разбойники эти собрались. А вот откуда они? Гуляй-Поле — лихое имечко, самое гайдамацкое! Зато свое.

А коли вход есть, то, значит, и выход! Как говорит Юдка-поганец — Окно!

— Не велено пропускать, — буркнул, для верности нахмурившись. — Велел гетьман... товарищ Розум дорогу стеречь. Потому как шлях этот — секретный. Понимать надо!

Не удивился командир Кныш. Блином своим зеленым кивнул, нос длинный почесал.

— Так мы понимаем, товарищ Загаржецкий. Мы тихо прошли. Не было никого у Ворот. Можете проверить.

Екнуло сердце. Если «проверить» — значит, рядом. Есть бог на свете!

— И проверю! Вот сейчас и поедем.

Пока Кныш-командир своим разбойникам приказы отдавал, успел сотник есаулу Шмалько подмигнуть. Да не просто — со значением. Держись, Ондрий, сейчас дело будет! Только бы не сорвался с крючка дурень мышиный! Неужто выберутся?

Пока ехали, почти и не слушал сотник, что ему командир Кныш рассказывает. Свое сердце слушал — рвется, из груди просится. Не сгубил я вас, хлопцы, не отправил на погибель! Не схарчит нас, черкасов вольных, и сам чорт — подавится рогатый! Нема черкасскому роду переводу!

А потом слушать стал — вполуха. Да не дослушал — бросил. Ясное дело, чаклун какой-то путь подсказал. Имя только странное — Краевед. Чех, не иначе! А зовется тот шлях Сирым, или же

Левенцовским. Будто бы ходили им в давние годы левенцы-заризяки...

Ага, вот и мапа! Хоть на обрывке нарисована, а все ясно. Ворота, еще одни. А вот и Катеринослав-город! А это что за река? Никак Днепр-Славутич?

Дальней тревогой отозвалось сердце. Нет такого города в Войске Запорожском! Тем паче, на Днепре...

— Вот сюда, товарищ Загаржецкий. Прямо на скалу. Здорово замаскировали!

Даже не ответил сотник. Только ударил коня каблуком — и крест сотворил...

...И расступилась скала.

Только когда с седла слез да снег мокрый пощупал — поверил. А вот и солнышко! Здравствуй, родное!

Близкий лес, санный след на дороге, а за спиною — ворота. Кирпичные, старые. За воротами — тоже кирпич. Стояло что-то тут в давние годы. Рухнуло — одни руины остались.

Вздохнул сотник, воздух сырой губами попробовал.

Эх, славно!

И хуже смерти было обратно в Ворота поворачивать!

* * *

Пока назад ехал, мысли собирал, словно черкасов после боя. Перво-наперво Юдку-кровопивца порубать! Нет, не то! Перво-наперво хлопцам слово сказать...

— А какая твоя политическая платформа будет, товарищ Загаржецкий?

Очнулся сотник. Еще этих сдыхаться следует. Пусть катят в свой Катеринослав!

— Я потому спрашиваю, товарищ Загаржецкий, что сейчас все, кто за народ да за пролетарьят мировой, вместе быть должны!

Только и вздохнул пан Логин. Вот привязался, отаман мышиный! И где только слов таких нахватался?

— За кого мы, то наше дело, — нахмурился он. — Так что как встретились, так и разъедемся, пан зацный!

Сказал — и взгляд вперед бросил. И от того, что увидел, душа похолодела.

...Вместо линии ровной, рушницами ощетинившейся, — ярмарок сорочинский. Никак, бьются? Да нет, не бьются — обнимаются!

Обнимаются?

Рот раскрыл — да слов не нашлось. Хлопцы! Да чего ж вы это творите? Да что ж это деется, в христа-богородицу да параскеву пятницу через почаевский крест?!

Смешались, зашумели, набежали со всех сторон.

Гвалт!

— Эй, товарищи! Кончай биться, давай мириться! Даешь братание!

— Или не свои мы? Вяжи ахвицеров да отаманов! Да здравствует мировая революция!

— А кому самогону? Выпьем за всеобщую погибель контры!

— Даешь!!!

Уже обнимаются. Целуются даже. Вэй, меня не надо!

— Здоров, товарищ!

Эге, никак жид? Шапка с лентой, пистоля дивная на ремне, да только нос не спрячешь!

— Шолом!

Удивился, моргнул, снова моргнул. Я и сам удивился. Или не так сказал?

А у чортопхайки уже и горелку льют. Льют, не жалеют.

— Налетай, товарищи! Не старый, чай, режим! Анархия — мать порядка!

— Гур-р-ра-а-а!

Вначале подивился я даже. Чего это с панами черкасами? Только что из рушниц в заброд этих целили, а теперь горелку вместе пьют! Подивился — но тут же понял. Страшно было панам черкасам на Околице. Хоть и бодрились, и гонор держали — а страшно. И тут — свои. Какие-никакие, хоть под хоругвью черно-красной, но свои!

— А ну, товарищи, на митинг! На митинг!

Миг — и вот уже оседлал чортопхайку какой-то лохматый в длинном лапсердаке. А шляпа-то, шляпа!

Вэй, даже завидно!

— Товарищи! Братва! От имени Гуляйпольского Ревкома приветствую героический партизанский отряд из города Валки! Ура!

Заорали — уши зажимай. А чего не поорать, если горелку подливают, не жалея?

— И ты выпей, товарищ! За революцию!

Это мне? Ого, и вправду — не жалеют!

У-у-у-ух!

— Какой сейчас, товарищи, политический момент? А такой сейчас политический момент! Революция — это, товарищи, факт! А раз факт, то каковы выводы из этого факта?

Хорошо хоть, горелки не пожалели! Такое слушать — не на трезвую голову. Да и на пьяную тоже, признаться...

Но ведь слушают!

— Перво-наперво, власть народу! То есть — вам! Не нужно нам ни офицеров, ни отаманов, ни прочей сволочи. Правильно?

— Гур-р-ра-а-а!

И тут я понял. Ой, неглупые эти разбойники! Пана Логина в сторонку отвели, а сами его хлопцами занялись. А то, что слова непонятные, так это даже лучше. Убедительней!

— Второе, значит, земля крестьянам! Панам — петуха красного, добро всякое забрать, а землю взять — и поделить. И чтобы поровну. Правильно?

Все-таки гайдамаки! И зброя иная, и амуниция, а нутро то же. Вэй, наслушался! Наслушался, насмотрелся...

— А как у вас, товариш, с еврейским вопросом?

Эге, жид давешний! Ну и дела, уже и жиды в гайдамаки подались!

— Будем знакомы. Я — Аркадий Харьковский, секретарь еврейской секции ревкома. А ты кто будешь?

Ну, если он Харьковский...

— Иегуда бен-Иосиф... Уманский. А что пан Харьковский под еврейским вопросом разумеет? Как жидов на палю набивать? Тогда пан попал куда следует.

Вэй, опять не то сказал! Рассердил пана Харьковского.

— Во-первых, товарищ Уманский, слово «жид» есть ругательное, а потому надо говорить не «жид», а «еврей». Во-вторых, читал ли ты статьи товарища Жаботинского?

Хотел убежать — не смог. Крепко за руку держит, пан секретарь!

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

Закричать, «ордынку» выхватить, развалить до пояса патлатого горлопана?

Оглянулся сотник, головой покачал. Поздно! Или рано еще. Пусть поорет, позавывает! Ведь не дурные хлопцы, поймут!

— Так не можно нам, пан добродий, под Катеринослав с вами ехать. Нужно нам Мацапуру-упыря сперва изловить. Или не так, панове? А на что нам эта леварюция, если Мацапура будет и дальше землю поганить!

Улыбнулся пан Логин. Молодец есаул, обрезал болтуна. Да только что значит «сперва»?

— Верно! Верно! — зашумели черкасы. — Убьем Мацапуру-беса!

Да только патлатого не проймешь.

— Дело, товарищи, не в Мацапуре! Дело — в Мацапурах как классовом явлении. Много у вашего Мацапуры земли? Много! Вот и объединились против трудового народа Мацапуры, чтобы

ту землю не отдать, а вашу — в карман положить. Под Катеринославом сейчас судьба всей революции решается. Побьют нас кадеты, и вместо одного Мацапуры десять явятся. Землю у вас отберут, своих урядников поставят, а вы им чоботы целовать станете!

Загудели хлопцы, потемнели лицами. Перегнул патлатый с чоботами! А вот насчет земли...

— А так: побьем кадетов — и в каждой волости народную власть устроим. Земли у Мацапур и прочих богатеев отрежем и себе возьмем!

Неуютно почувствовал себя пан Загаржецкий. Как бы не вспомнили панове черкасы, сколько за ним сотенных грунтов записано. За ним да за паном Енохой покойным. Да и у есаула кой-чего имеется.

— А чего, универсал вышел — землю делить?

Поморщился сотник. Началось! Ну кто же тебя, Свербигуз, за язык твой тянул? Или засвербило?

— Вот! — радостно усмехнулся патлатый, грамоту из-за пазухи выхватил. Выхватил, расправил.

— Не универсал, товарищи, а декрет. Декрет о земле. Читаю! Слушайте, товарищи! «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно и навсегда...»

Понял сотник — плохи дела.

* * *

— Так ведь доброе дело те хлопцы затеяли, пан сотник!

— И гетьман Зиновий с того начинал. Как же нам им не помочь?

Обступили, глаза прячут. Прячут — но свое гнут.

— А победят под тем Катеринославом богатеи, а после и к нам доберутся. Побьют по одному!

Молчал сотник, слушал. Ему бы о присяге хлопцам напомнить, о клятве, что они давали — Мацапуру-изверга извести. И Яринка...

Но — молчал. Об Окне помнил. И о дороге бесконечной, что над пропастью черной протянулась.

— А потом мы все разом с Мацапурой управимся! Зброя-то у тех хлопцев — загляденье!

— А бонбы какие!

Покачал головой пан Логин. Все-то тебе, Гром, бонбы да мины!

— И земля опять же...

И снова промолчал сотник. Промолчал, оглянулся. Стоят забродцы клятые в сторонке, вроде как мешать не хотят. Посреди

Шиш-Кныш, отаман мышиный, рядом — патлатый горлопан, а с ним... Юдка! Ах ты, сволочь!

— Ведь мы все понимаем. Надобно того Мацапуру на палю набить. И панну Ярину выручить опять же... Оно, конечно, пан сотник, известное дело, да только тут, почитай, судьба всего поспольства решается!

И ты, Бульбенко? Ох, не ожидал! А где же есаул, молчит чего? Поискал глазами пан Загаржецкий — вот он стоит! Тоже глаза прячет.

Или боишься, Ондрий Микитич, что и до твоих грунтов доберутся?

— Мы же не разбойники, не гайдамаки какие, пане сотник! Как скажете, так и будет. Да только...

Обвел взглядом своих хлопцев Логин Загаржецкий. Может, и будет, может, и послушают его.

А может, и нет! Не зря глаза прячут. Не зря Зиновия-гетьмана поминают!

И Окно. Совсем рядом Окно! И второе, что в тот химерный Катеринослав ведет, тоже, говорят, совсем близко, полчаса всего ехать. А земля там, пусть не своя, но и не чужая. Стражи у Ворот опять же нет. Вот оно, спасение! Гаркнет он сейчас, махнет «ордынкой», уведет черкасов дальше — и прости-прощай белый свет! Что дороже ему — жизнь Яринкина или его хлопцы?

Трудно было даже во сне о таком думать. А наяву? И почудилось сотнику, что вновь стоит он перед желтоглазым филином-ампиратором. Дымится люлька, клубы сизые под потолком высоким тают. Веди, пан Загаржецкий, своих хлопцев на смерть! И дочка цела будет, и, глядишь, еще одну железку к ферязи привинтят, не поскупятся!

Эх, Яринка!

Сцепил зубы пан Логин. Глаза на миг закрыл.

Прости, дочка!

— Вот чего, панове черкасы, товарищи войсковые! Прежде чем решать будете, узнать вы должны. Тот шлях, на котором стоим, — не шлях вовсе. И горы — не горы...

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

Вэй, ну и дела!

Эх, яблочко, куда ж ты катишься?

— Эй, морок! Здесь ты?

Здесь!

Или ростом выше стал? Или темнее? Да, набирает силы!

— Радуешься, Иегуда бен-Иосиф?

Не знаю, как я, а он уж точно не рад!

— Когда будешь уезжать с этими разбойниками, оставь медальон сотнику Логину. Мой сын не услышит меня из другого Сосуда.

— А если и сам пан Загаржецкий с теми разбойниками уедет? — усмехнулся я. — Слыхал ведь, что он черкасам своим говорил? Понял наконец, что нет с Околицы пути к пану Мацапуре!

— Путь есть. Скоро будет нужное Окно. Ты бы мог сказать ему об этом.

Не было в его голосе надежды. Сообразил уже — не скажу. На миг мне даже жалко его стало.

— Они все могут сейчас уйти, каф-Малах. Уйти — и спастись. Я не могу помешать этому — да и не стану. Если это нарушение заклятия, то, считай, повезло тебе, а не мне.

Я оглянулся. Не спят черкасы, кружком собрались. В центре — Бульбенко, рядом с ним — Свербигуз. И пан Кныш тут же. Разговаривают!

Знаю, знаю о чем! А около пана Логина всего-то и остались, что есаул да еще четверо. Негусто!

— Ты не нарушишь заклятия, бен-Иосиф. Не нарушишь, потому что не ты милуешь их. Но ты, кажется, доволен? Чем?

Доволен?

— Может быть, тем, каф-Малах, что есть Сосуд, где «жид» стало бранным словом. И что мне не придется больше убивать. Может быть.

— Ты разве не поедешь с ними?

Я усмехнулся. А славно было бы! Прямиком к пану Жаботинскому.

— Нет, каф-Малах, не поеду. Ты забыл о заклятии. Поеду — значит, отпущу пана Логина. Страшное дело — быть Заклятым! И кроме того... Ты бы сам хотел очутиться в том Сосуде?

Подумал. Черной головой покачал.

— И я тоже. А мне, глупому жиду....

Внезапно я рассмеялся. Прав пан Харьковский, темный я еще. Как бишь он говорил? «Продукт кагально-раввинатного воспитания»?

Вот уж точно, продукт!

— Мне, глупому еврею, казалось, что я родился в слишком жестокий век. Вэй, да то, что я видел, это еще даже не цветочки!

...И верить не хочется. Десять миллионов на войне положить! Десять миллионов! А дымы ядовитые? А повозки крылатые, с которых бомбы бросают?

Но все-таки для них я не «пархатый жид», а «товарищ Уманский»!

— Так что сиди в своем медальоне, морок. Связало нас с тобою ниточкой. Прочной — не порвать!

* * *

— Значит, ты твердо решил, товарищ Уманский?

— Решил, панове... товарищи. Решил. Остаюсь.

Переглянулись. Пан Кныш на пана Харьковского поглядел. Тот — на лохматого в шляпе.

— Ну тогда будет тебе, товарищ Уманский, другое задание...

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

Тайно ушли — пока спал. И ведь не хотел спать, горелкой той мутной глаза протирал, а все равно — сморило. А как открыл глаза...

Эх, лучше бы и не открывал!

— Так что четверо нас, пане сотнику. Вы, да я, да Гром с Забрехой.

— Вижу, Ондрий, вижу...

Ушли!

И хоть сам отпустил, сам путь указал, а все равно — тошно. Выходит, перевелись черкасы. Как ни крути, а бросили! И его, и хлопцев. И где? Посреди Бездны клятой!

— Чортопхайку нам оставили. С кулеметом. Она у них тачанкой зовется.

— То пусть зовется...

Даже на кулемет глядеть не стал. Добре, конечно, что махинию эту подарили. Самая сладость из такой Мацапуре — да промеж глаз. И тачанка добрая: ход легкий, и ехать, ежели не врут, мягко. А все одно...

— А что же вы, хлопцы? Или не захотели землю панскую делить?

Сказал — и пожалел тут же. Ведь не бросили — остались!

— Да чего уж там, пан Логин! Вместе жили, вместе и помирать будем.

Невесело, видать, пану есаулу. И Забреха хмурится. Один Гром рад. Эге, да у него никак бонбы новые! Ишь, весь кушак обвесил!

— Так что четверо нас, пане сотник, — вздохнул Шмалько-есаул. — Четверо — да вот...

Повернулся сотник — и рот раскрыл.

— Или не ожидали, пан Загаржецкий?

Юдка?

Юдка!

— Ах ты, жид проклятый!..

— Еврей.

Аж поперхнулся сотник. И не от слова — от взгляда. Плохо смотрел Иегуда бен-Иосиф.

— Еврей, пан Загаржецкий. Отныне и довеку. Хоть и недолго осталось.

Ой, плохо же смотрел еврей Юдка!

— Ну ты чего? Чего смотришь?

Даже обернулся пан Логин. Не стоят ли за спиной дружки Юдкины? Нет, пусто...

Фу ты!

— И чего ж с этими не ушел? — хмыкнул сотник, успокаиваясь. — Или вправду одумался и Окно решил показать?

Качнул головой Юдка, ухмыльнулся в рыжую бороду.

— Ой, вэй! Куда же я от вас уйду, пан сотник? Велик мир, необозримо Древо Сфирот, а все-таки для нас двоих тесен. Или уже нет?

Зубами заскрипел пан Логин, руку к верной «ордынке» протянул...

...Сухо щелкнула пуля о камень.

— Это, пан Загаржецкий, «маузер» называется, — хмыкнул Юдка, пистолю черную за кушак пряча. — Вас четверо, а пуль здесь — с две дюжины. На всех хватит! Так что мы теперь на равных. Первым не выстрелю — вас подожду.

Дернулись черкасы, кто за рушницу, кто за шаблю хватаясь. Но поднял руку сотник, горячих хлопцев останавливая. Быстрая рука у душегуба! Пока застрелят, пока шаблей дотянутся, двоих положит, а то и всех троих.

Рассмеялся Юдка, в седло вскочил.

— Мне, пан сотник, те хлопцы велели за вами присматривать. Не верят они вам. И я не верю. Хотите — тут убивайте. А нет, то поехали. Чего ждать?

— Пане сотнику, пане сотнику! Мы его ночью, как заснет...

Даже не ответил пан Логин верному Забрехе. И ночью можно, и просто в спину...

Ночью? В спину?

Четверо черкасов — и один жид! То есть не жид — еврей, да все одно! В спину? Да что они, трусы?

Хотел послать разбойника к бесовой матери. Пусть коня забирает и обратно скачет, авось сломает шею дорогой!

Хотел — и язык прикусил. Еще хуже получается. Как ни крути — струсили!

— Тьфу, вражье семя! Делай чего хошь, тошно смотреть на тебя, мерзавца. А ну, хлопцы, по коням!

Говорил, а сам понимал, что прав Юдка — недолго осталось. Слишком тесно им двоим в этом мире. Если бы не Яринка...

Эх, Яринка, доченька!

Оглянулся сотник, словно надеясь Окно заветное увидеть. Да

где там! Стоят проклятущие горы, висит над головой сизый туман...

— Вперед, хлопцы! Вперед! Все одно — не сдадимся!

* * *

Кину пером, лину орлом, конем поверну,
А до свого отамана таки прибуду
Чолом, пане, наш гетьмане, чолом, батьку наш!
А вже нашого товариства багацько немаш!

Невеселую песню затянули хлопцы. Недобрую. Помнил ее пан Логин — да сам петь не любил. Про давнюю войну та песня напоминала, про берестейскую баталию. Собрались тогда под золотой булавой гетьмана Зиновия их предки. Собрались, перегородили берестейское поле...

Не вернулись.

Ой, як же вы, панове-молодцы, ой, як вы вставалы,
Що вы свое товариство на веки втерялы?
Становились, пане гетьмане, плечом об плече,
Ой, як крикнуть вражи ляхи: у пень посечем!

И предок сотников, Захар Нагнибаба, тоже не вернулся. Нашел свою смерть удалой черкас у переправы через Стыр, где легли три сотни справных хлопцев полковника Бартасенко. Только шаблю-«корабелку» сыну передать успел — ту, что Яринка носить любила...

Ой, що ж ви, панове-молодцы, що за здобыч малы?
Малы коня у наряди, *та ляхи однялы*!
Зима прийшла, хлиба нема, тож нам не хвала;
Весна прийшла, лес розвила, всих нас покрыла!

Недобрая песня! Говорят, ночами лунными до сих пор встают на том поле тени погибших. Не упокоились черкасы под высокой травой...

— Да будет вам, хлопцы, будет! — не выдержал пан Логин. — Или повеселей чего не помните?

Переглянулись: Забреха с Громом, тот — с есаулом.

Эх, яблочко! Крутись, история!
Что Совдепы нам, что Директория!

Эх, яблочко, да на тарелочку!
Выходи, кадет, на перестрелочку!

Тьфу ты! И когда только наслушаться успели?

Слева смешок — не иначе, весело стало поганцу Юдке! Губы усмешкой кривит, бороду оглаживает.

Еле сдержался сотник. Не закричал, не выхватил «ордынку». Нет, иначе надо!

— Ондрий! Ондрий Микитич! А ну-ка дай мне свою шаблю. С ножнами.

— Но... Пан сотник!

— Кому сказал!

Пока верный есаул, ругаясь вполголоса, ножны с пояса снимал (понял все, умен черкас!), пан Логин много чего успел передумать. И все к одному сводилось. Верно он делает!

— Держите, пан сотник!

Поймал, не глядя, тяжелую шаблю — и так же, не глядя, кинул.

Налево.

— Словил, душегуб?

Не стал отвечать Юдка. Засмеялся только.

— Ну, поехали!

— Пане сотнику!!!

В три голоса закричали хлопцы, но пан Загаржецкий только бровью дернул.

— Цыть! Мое то дело! Ты, Ондрий, — за старшого. Если чего — богу молись да Окно клятое ищи! Понял ли?

Ответа и слушать не стал. Ударил коня канчуком.

Далеко отъехали. Уже и тачанку-чортопхайку не видать, и зверей тех дивных (узнать бы, что за твари?). Остановился сотник, оглянулся.

Все то же! Дорога, горы, сосны по склонам лепятся.

— Подходит ли место, пан Юдка?

— То в самый раз, пан Логин.

Соскочили с коней. Хотел пан Загаржецкий сразу же за «ордынку» схватиться, да передумал — на ворога взглянул.

Взглянул — удивился.

— Что не так, пан сотник надворный? Или труса спраздновал?

Спросил, чтобы жида клятого перед боем разозлить. Да не разозлился Юдка. Молчал.

Странно молчал. И в глаза не смотрел.

ЮДКА ДУШЕГУБЕЦ

В какой миг я становлюсь рабом заклятия? Кто скажет? Как выхвачу шаблю? Как зазвенит сталь о сталь?

С какого мига я *не могу миловать?*

Сейчас он убьет меня. Или я убью его.

И все?

Вся жизнь — ради этого? Ради этого содрогнулись сфиры, встретились Смерть, Двойник и Пленник, чтобы выполнить неведомый мне Великий Замысел? Ради этого мы проехали вокруг всего Мира Б-жьего?

Нет!

Не хочу!

Я, Заклятый, я, Иегуда бен-Иосиф, Юдка Душегубец, больше не хочу никого убивать.

Не хочу!

И пусть Святой, благословен Он, Б-г Авраама, Ицхака и Иакова, Г-дь несчастного народа моего, делает что хочет со Своим недостойным рабом.

Шма Исраэль! Адонаи элегейну, Адонаи хап...

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

Рубить? Так ведь шабли даже не выхватил! Скрипнул зубами пан Логин. Скорее, триста чертей тебе в душу! Столько ждал, терпел столько, через себя переступал, гордость черкасскую топтал...

Молчал Юдка. Томилась есаулова шабля в ножнах.

Поразился даже сотник. Или вправду струсил, душегубец? Крепился, а как час настал — вывернулось наружу нутро жидовское, торгашеское? Неужто на пале дергаться слаще, чем с шаблей в руке помереть?

Не выдержал, сплюнул.

— В глаза смотри, людожор! В глаза! На смерть свою смотри!

Поднял голову Юдка. И отшатнулся пан сотник от его безумного взгляда.

Молотом застучала в висках кровь. Хватит! Долго терпел!

— Сейчас, жиду... еврею то есть, отче наш святой читать буду. Дочитаю — и надвое тебя развалю. Понял ли?.. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое...

Молчал Юдка. Безумные черные глаза смотрели прямо на сотника. Так смотрели, что чуть не сбился пан Загаржецкий.

— Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко же на небеси, так и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Уже не говорил — шептал. И страшно стало отчего-то. Словно недоброе дело творил.

— И оставь нам долги наши, яко же оставляем мы...

— Батька! Батька!

Дрогнула земля. Черной кипенью подернулось небо.

* * *

— ...Батька! Чуешь меня? Чуешь?

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Во дворце началась «паника». «Паника» — это когда бегают и кричат. «Паника» — это плохо.

Я не виноват. Я никому не говорил про пленочки. Только братику.

Братик сказал, что прилетел Аспид. Сказал, что Аспид скоро съест солнышко. Я хотел сказать, что солнышко нельзя съесть. Оно большое и горячее. Оно далеко. Но я не сказал.

Мы с братиком пошли смотреть на Аспида. Мы смотрели на площади, где под ногами красивые картинки. Сегодня все их топчут и даже ноги не вытирают. Все смотрят на Аспида.

Аспид еще маленький. Он черный, он летает возле солнышка. У него есть хвост.

Братик сказал, что Аспид прилетел наказать всех за грехи. И его тоже, потому что он — «иуда».

Братик плакал. Я сказал, чтобы он не боялся. Я его спасу — если успею вырасти.

Я понял! Аспид — это дыра, в которую улетает весь мир.

Это очень плохо!

* * *

Со мной говорил батя! Я его слышал!

Батя умный и добрый. Он любит меня. Он сказал мне, что нужно сделать.

Я не успел спросить его о мамке. Я не успел спросить его, как нужно разговаривать с Богом.

* * *

Сегодня я спрятался. Я научился хорошо прятаться. Это просто. Надо захотеть, чтобы тебя не увидели.

Я спрятался в горнице, где стоят тяжелые игрушки с неправильными смыслами. Горницу нужно называть «вифлиофика». В горницу часто приходит тетка.

Я ждал. Я дождался. Тетка пришла. Я появился. Она вначале испугалась, а потом сказала, что я молодец.

Я — молодец!

Я сказал тетке то, что мне сказал батя. Она думала. Она не верит бате. Дядьке Князю она тоже не верит.

Я сказал ей, что Самаэль — обманщик и не спасет ее. Он все-

гда так обещает, чтоб можно было сделать, не делая. Она испугалась. Она спросила, знаю ли я, кто такой Самаэль. Я сказал, что знаю. Самаэль — это розовая бабочка.

Она сказала, что я еще маленький. Она сказала, что она подумает. Она думала громко. Она думала, что дядька Князь не сможет провести «эвакуацию». Она думала, что Самаэль дал ей свое слово.

Я сказал, что бабочки не могут давать слово людям. Бабочки не любят людей. Я это знаю, потому что сам скоро стану бабочкой.

Тетка велела мне не говорить такое словами. Она боится, что бабочки услышат.

Она знает, что внутри дядьки Князя тоже живет бабочка.

* * *

Надо говорить не «смыслы», а «Имена».

* * *

Мы едем к доброму дядьке! Мы едем втроем: братик, тетка и я. Братик боится. Тетка тоже боится, но совсем иначе.

Я не боюсь. Я — смелый!

Я — Денница!

Я скоро встречусь с Ириной!

ЯРИНА ЗАГАРЖЕЦКА, СОТНИКОВА ДОЧКА

— А может, из гарматы пригостить? — задумчиво молвил Мыкола Еноха.

— Жалко! — вздохнул Хведир-Теодор. — Или мы посполитым враги? У них же и зброи-то нет.

И оба поглядели вниз. А там, на луговине близ рощицы, где пан Мацапура хотел глаголи поставить, кипела толпа. С утра набежали — и мугыри, и бабы ихние, и даже соплячье босоногое. Набежали, под самый вал подобрались...

Всякого ожидала Ярина. Да только не того, что поспольство здешнее кинется Мацапуру выручать. Даже не поверила вначале. И лишь когда на забороло вышла, на окрестность знакомую взглянула — убедилась. Убедилась — и удивилась еще пуще.

— То их пахолки тутошние подняли, — заметил Хведир. — Эх, ворота запереть надобно было!

Старшой Еноха только кивнул. И Ярина кивнула. Следовало, конечно. Так ведь всего трое их было, если саму панну сотнико-

ву не считать. Легко ли втроем целый замок приступом добыть? До слуг полохливых просто руки не дошли.

Да и не до того было. Всю ночь переговорили. Слушала Ярина, дивилась, за батька сердцем болела. Ох, и славный черкас, батька Логин! Да вот где он сейчас? Эх, беда, не услышал, когда умница Хведир про дорогу верную спросил!

Ну, то не смерть!

Знала панна сотникова — не таков ее батька, чтобы самому пропасть и черкасов верных сгубить. Нет черкасскому роду переводу!

Увидятся! Не сегодня-завтра застучат у замка копыта!

А как сама рассказывать начала, страшно стало на хлопцев смотреть.

Почернели.

* * *

Ворота заложили бревном и еще одним подперли — для верности. Гармату, что братья на чортопхайке привезли, против тех ворот и пристроили: вдруг вышибут-таки? А с гаковницей не расставался Петро-молчун. Так и ходил с ней по забоголу — улыбался, ладонью поглаживал. Ну ровно кошку!

Думали вначале: обрадуется народ здешний, что Мацапуру-изверга повязали. Или хотя бы внимания не обратит. Так ведь нет!

Пришли! Пришли — не уходят!

К самому валу несколько мугырей подтащили какой-то свертоk. Подтащили, развернули. Только и моргнула Ярина — полотно белое. Два аршина в ширину, в длину же все десять будут. А на том полотне белом — литеры киноварью красной...

— «Сво-бо-ду до-бро-му гос-по-дину Ма-за-пуре», — по слогам прочитал Хведир. — Странно, хлопцы. Языка не знаю, а литеры разбирать могу. Дивные дела!

Ярина хотела пояснить пану бурсаку про толмача невидимого (ишь, трудяга, литеры — и те подсказывает!), но тут же оборвала себя. В литерах ли дело?

— Он же!.. Мацапура — злодей... Он же, хлопцы, их вешать хотел! Шибеницы ставить! И подати... подати втрое поднять! А они...

— Дурни потому что! — авторитетно заявил Мыкола Еноха.

С ним не спорили. Да и не поспоришь особо со старшим сыном покойного пана писаря. Сажень косая в плечах, кулаки пудовые, и норов такой, что — поберегись! На Дунае был старшой Еноха над запорожцами-чупрындырами десятником. И слушались, химерники, шапки ломали. Что и говорить — справный черкас. Коренной!

— Читал я книгу одну, — задумчиво молвил Хведир. — Пер-

сидская, «Яваз Мусам» называется. Так сказано там, что крули персидские некий талан от бога имеют, «хваром» зовется. И кому тот «хвар» бог пошлет, того и слушаются во всем. И не только слушаются — любят. Чего бы крули те ни творили — хоть пытали, хоть смертью казнили. А все одно — любят.

— От я и говорю — дурни, — подтвердил Мыкола. — А ну-ка, Петро, наруби-ка гвоздей да в гаковницу забей. Хотя, стой! Лучше солью заряди.

Петро-молчун только угукнул. С детских лет говорить не любил. Думали вначале — немым родился. Ан нет, на месте язык оказался. Да только ворочался редко.

Толпа между тем напирала. Иные уже и в ров спустились — по шею в зеленой ряске. Кое-кто и на вал карабкаться начал. А крику-то, крику!

— Свободу Мазапуре!

— Свободу нашему доброму наместнику!

— Вы не имеете права! Не имеете права!

Переглянулась Ярина с Хведиром, на Мыколу взглянула. Чего делать-то? В ответ кричать, все злодейства упыря клятого помянуть?

Поверят ли? Ежели до сих пор Мацапуру-кровопийцу не раскусили, то кричи — не кричи, не будет толку.

Подошел Петро с гаковницей, присел у каменного зубца, к плечу зброю приладил.

А толпа уже возле самых ворот. Откуда-то лестницы взялись, а вот и бревно тащат. Не иначе, путь прошибать решили.

— Сво-бо-ду Ма-за-пу-ре! Сво-боду!..

Покачал головой Мыкола, рукой по усам черным провел.

— А ну-ка, Яринка, закрывай уши! Давай, Петро!

— Гы!

И — бабахнуло!

Когда Ярина руки от ушей оторвала, от толпы уже, почитай, не осталось ничего. Только во рву кто-то еще бултыхался, никак выбраться не мог, да какой-то мугырь кругами у ворот бегал, за бок держась.

Крупная соль попалась. Видать, мололи плохо!

Остальные были уже далеко. Стояли, кулаками воздух молотили. И кричали, само собой.

— Аспидовы Пасынки! Аспидовы Пасынки замок захватили! Глиняный Шакал! Глиняный Шакал!

Громко кричали, от души. Не иначе, хотели, чтобы их в замке услышали.

Услышали. Пришлось Ярине пояснять, кто таков Шакал

Глиняный и как с ним должно бороться. А вот с пасынками Аспидовыми промашка вышла. Вроде бы и понятно, а все же не очень.

Даже Хведир-Теодор помочь не смог. Протер окуляры, руками развел.

Не знает.

— И ладно, — заявил Мыкола Еноха. — Аспидовы, не Аспидовы, пасынки, не пасынки, а больше не сунутся, мугыри! Ну, пошли, что ль, Яринка?

Поморщилась панна сотникова, трость пальцами сжала. Знала, куда идти предстоит! Не хотела. Только понимала — придется.

* * *

За толстыми прутьями, за пудовым замком спрятан был Мацапура.

Словно зверь лютый.

Ну, так он и есть — зверь!

Клетку железную в самом глубоком подвале отыскали. Отыскали, подальше в темный угол задвинули...

Капало с потолка. Сырость за ворот проникала. Чадил огарок свечной. И показалось Ярине, будто вырос Дикий Пан, раздулся, плотью панской клетку заполняя. Словно и не человек он уже.

А может, и вправду — не человек?

Перекрестилась Ярина. Мыкола понял — улыбнулся, погладил по плечу.

Держись, мол, Ярина Логиновна!

Поначалу думала, что станет Дикий Пан прутья грызть, диким зверем реветь, клетку расшатывать.

Не стал.

Тихо сидел, очи потупив. Только шевелились толстые губы — беззвучно. Или молитву читает? Так знаем мы эти молитвы!

Переглянулись Мыкола с девушкой, ближе подошли.

— Чуешь ли нас, пан Станислав?

Не ответил — только губами зашевелил чаще.

Дивно стало Ярине. Сколько раз представляла такое, сколько мечтала! Думала, кинется на Дикого Пана, зубами рвать будет, железом каленым жечь. А вот теперь стоит перед своим ворогом смертным, и вроде бы как сказать нечего.

Да и о чем говорить с нелюдем? Только об одном. Ну, так о том сам Мыкола скажет.

— Суд тебя ждет, пан Мацапура-Коложанский, а после суда — огонь пекельный.

Дрогнул голос Мыколы. Понимала Ярина, что держит себя Еноха-старший из последних сил. И то — каково с убийцей родного батьки речи вести?

— И чтоб огонь тот хоть на чуток меньше жег, сделай единое доброе дело в жизни своей упыриной: поведай, чего кнеж тутошний супротив нас, супротив Войска Запорожского удумал? Скажи — и умирать тебе легче станет. А живым тебя все одно не выпустим. Так и знай!

Не ответил Дикий Пан — молчал. Даже губами шевелить перестал.

Нахмурился Мыкола, хрустнул пальцами, кулаки сжимая.

— Или, думаешь, подмоги дождешься? Так подмога за стенами, а мы — тут. Не скажешь — мучить начнем смертно. И огонь тебе будет, и железо. Сам пытать стану — не побрезгую. Потому как не человек ты — нелюдь и всему поспольству ворог. Ты не скажешь — боль твоя скажет!

Даже Ярине не по себе стало от слов таких. Знала — не шутит Мыкола. Не побоится руки замарать.

Поднял голову Дикий Пан. Приподнялся грузно — дрогнула клетка. Вперед подался, ручищами за прутья взялся. Посмотрел...

Сжала Ярина Мыколину руку. Ой, и страшно смотрел Мацапура! И не на Еноху — прямо ей в глаза. И почудилось девушке, будто слышит она панский голос:

— Вызволи меня, Ярина Логиновна! Вызволи — не пожалеешь!

В самую душу слова неслышные западали. Отшатнулась панна сотникова, глаза ладонями закрыла. Но невидимый голос только загустел, сильнее стал:

— Ой, не пожалеешь! А не вызволишь — сама погинешь, и батька твой погинет, и хлопцы все твои. И весь мир погинет!

И отозвалась душа. Страхом — и надеждой. И уже вспомнила панна сотникова, где Еноха-старший ключ от клетки железной прячет.

— Вызволи-и-и!..

— Что с тобой, Яринка?

Очнулась. В Мыколину руку вцепилась.

— Уйдем, Мыкола, уйдем!

А как уходили, снова услыхала — тяжелое, грозное, неотвратимое:

— Вызволи-и-и-и!

* * *

— И кто победил, Денница?

Не ответил Несущий Свет. Только дрогнули губы усмешкой невеселой.

Знала — что-то случилось.

Плохое. Очень плохое. И не дома, в Валках, не в земле неведомой, куда попасть довелось...

Вокруг снова был зеленый лед и чужое небо. И в первый раз Ярине не по себе стало. Вдруг заметила: на руке, что ее руку держит, — четыре пальца. Четыре! Как она раньше не видела?

Вздрогнула, губу закусила. Или в бою потерял?

— Извини, Ирина. Таким уж уродился!

Отнял руку, а девушке совестно сделалось. И в самом деле, в чем виноват хлопец?

— Прости меня, Денница! Мне... Плохо мне сегодня.

Он кивнул, встал, поглядел в небо — как тогда, перед витязем в голубой броне.

— Я не знаю, кто победил, Несущая Мир! Я нынешний — не знаю. Это еще будет. Так ли, по-другому — не ведаю.

Замолчал. А Ярина вдруг поняла, отчего ей так плохо. Дивно, только во сне и вспомнила! Или во сне она совсем другая?

— Несущим Свет Люципера кличут. Сатану!

Сказала — и глаза закрыла. Будь что будет!

— Я — не Сатана, Ирина!

— Знаю!

Вскочила, бросилась к нему.

Остановилась.

Знает?

Четыре пальца на руке у Денницы. На другой... Шесть на другой! Так ведь видела она такое! Просто вспомнить не могла. А вот сейчас — вспомнила.

— Я пока — маленький мальчик, который очень быстро становится взрослым.

— Знаю.

На этот раз действительно — знала.

— Ты — брат Гриня-чумака. Чортово отродье...

...Морозная ночь, выстрелы у чумаковой хаты, кровь на снегу, конский топот...

«Братика... Братика увозят!»

Вот из-за кого все началось! Из-за кого все случилось!

И вдруг поняла — нет у нее злобы. И обиды нет.

Просто — страшно.

— Моя мать — простая селянка. Ее звали, как и тебя, — Ириной. Она умерла, чтобы дать мне жизнь. Отец — каф-Малах, ангел. Я не выбирал своих родителей, Несущая Мир. Но если б мог — выбрал бы их снова.

Она кивнула. Какой же нелюдь от батька с матерью откажется? И тут только поняла — ангел!

Ангел?

Обрадоваться бы ей. Да только не обрадовалась. Снова вспомнила...

«...Сатана, которого должно Противоречащим звать, Богу отнюдь не ворог. Или Иова Многострадального книгу не помнишь? «И был день, когда пришли Сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана». Поняла? Пришел он среди ангелов, потому как сам — ангел! К Господу приходит и от него наказы получает!»

Будь ты проклят, Дикий Пан! Замутил душу!

— Чем я провинился, Несущая Мир?

Не знала, что ответить. В глаза ему посмотрела. Чистые были глаза.

— Ты... Ты ни в чем не виноват, Денница! Это я... Я...

Говорила — словами давилась. Но ведь не сможет она промолчать!

— Ведь чего в книжках написано? Будто был такой ангел, Богу первый помощник. Люципером его звали. Выше всех стоял, у самого божьего престола. А потом — загордился и ребелию против Господа устроил...

— ...И за это его низвергли в ад, — кивнул Денница. — Читал! Мог бы я сказать, Ирина, что было все не так, что напутали сочинители те. Но не скажу. Не знаю.

— Как? — поразилась она. — Не знаешь? Но ведь будущее...

— Его еще нет. А я — только твой сон. Может, я стану таким, а может... Кто ведает? Прости. Я не буду больше смущать твой покой.

— Погоди! — заторопилась Ярина. — Погоди, Денница! Не уходи! Не уходи!

Поздно! Подернулся туманом зеленый лед, сизый сумрак задернул незнакомые звезды.

— Денница!..

Она одна — наедине с чужим страшным миром. Тишина звенела, отдавалась болью в висках, но вот послышался голос — тоже знакомый, тоже памятный.

— Вызволи меня, Ярина Логиновна! Вызволи-и-и!

И вдруг поняла панна сотникова, что держит она в руке ключ, а вот и замок пудовый...

— Вызволи!

— Яринка! Яринка!

Открыла глаза — засмеялась от радости. Хведир! Слава богу, минул сон!..

— Вставай, гости у нас!

* * *

На этот раз не толпа собралась у замка — войско. Комонные в светлой броне с пиками да мечами, пехота в панцирях, а вот и катапульту с телеги сгружают.

В центре луга уже разбивали шатер — огромный, многоцветный. Рядом с ним и штандарт вкопали: на зеленом поле — корона серебряная.

— То быстро спохватились, панове зацные, — хмыкнул Мыкола. — И трех дней не минуло. Видать, порядок у них в войске знатный!

В голосе лихого рубаки было немалое удивление — но и уважение тоже.

Оценил!

— Серебряная корона — это вроде как полковничий знак, — сообщила Ярина, вспомнив беседу с упырем-Мацапурой. — Только полковники у них по наследству чин получают.

— То хвеодализм, — Хведир важно поднял палец вверх. — Сиречь право ленное, за службу сугубо даваемое!

Девушка с опаской покосилась на пана бурсака. Опять! Сейчас про материи тонкие вспомнит да про блаженного Варсаву...

— Или пальнуть? — Мыкола выглянул из-за зубца, покачал головой. — Или жалко? Чего скажешь, Петро?

— Гы! — сообщил молчун, поглаживая гаковницу.

— От и я о том.

Между тем табор под стенами рос на глазах. Один за другим ставились шатры, воины, сняв панцири, бодро работали лопатами, копая ров и насыпая вал. Повозки расставляли, как и положено — кругом.

— Порядок ведают! — вновь одобрил Мыкола. — Да только без боя огненного долго им возиться придется... Ну и добре! А не позавтракать ли, пока они готовиться будут, а, Яринка?

Но позавтракать не пришлось. Из многоцветного шатра вышли трое — все в яркой броне. У одного — значок зеленый на пике, у другого — труба медная.

— Никак разговор будет? — предположил Хведир, свешиваясь вниз. — Вроде как сюда идут!

Пан бурсак не ошибся. И нескольких минут не прошло, как пропела труба — один раз, другой, третий...

Тут уже всем интересно стало. Чего скажут? На милость сдаваться предложат?

Так не на тех напали!

Трубач руку опустил, пан с зеленым значком вперед выступил.

— Господин Гоар, наместник Серебряного Венца, передает

свой привет и наилучшие пожелания гарнизону крепости... фортеции Оход и поздравляет их с началом осады!

Все только рты раскрыли. Даже Ярина, больше иных в земле этой пожившая, и та вначале решила, что напутал невидимый толмач.

Или не напутал?

— Вроде как обычаи лыцарские, — предположил всезнайка-Хведир. — Читал я о таком в книжке одной. «Дон Кишот» называется.

— Ответь им, Яринка, — вздохнул Мыкола. — А то я того «Дон Кишота» и не осилил. На третьей странице заснул.

Ответить? Ярина даже растерялась. Но что?

А, все равно, лишь бы пышно звучало!

— Мыкола, пан зацный и моцный, роду шляхетного Енох-Валковских, фортеции Оход каштелян и всей округи хранитель и оберегатель, наместнику Гоару благодарность за поздравления передает и с тем же его гратулует!

Потрудись, толмач невидимый!

Снизу молчали — видать, переваривали. Хведир не выдержал — фыркнул. Мыкола же явно доволен остался, панне сотниковой подмигнул. Мол, знатно сказала, Яринка!

— Гоар, наместник Серебряного Венца, спрашивает господина Еношу Валковского, называющего себя каштеляном... каштеляном...

Не вынес толмач — сбился.

— ...комендантом крепости Оход, примет ли он парламентера — благородного героя Рио?

— Кого-о?!!

Хором прозвучало. Даже молчун Петро не удержался.

Пока Хведир-Теодор веревочную лестницу искал (не открывать же ворота!), пока закреплял и вниз скидывал, Ярина только головой качала.

Ну, тесен мир!

Мыкола Еноха тоже головой мотал, да только не от удивления — от иного.

— Ах он, герой, рассукин сын! — не выдержал, наконец, он. — Да что же это деется, панове? Ведь отпустили мы его, поганца, пожалели! А он чего, гад этакий, удумал? С нами воевать? А ну, Петро, давай сюда гаковницу!

Втроем пришлось ту гаковницу из Мыколиных рук вырывать. Сильно осерчал горячий черкас. А как гаковницу отняли, плюнул, ушел, говорить не пожелал. Видать, крепко обидел его пан герой!

Ярина же обрадовалась отчего-то. Прав Мыкола, конечно. Не герой — сума переметная тот пан Рио. А все-таки вместе за столом сидели, вместе под пулями у Калайденского леса лежали...

— Я... Я рад приветствовать... Здравствуйте, господа! Здравствуйте, госпожа Ирина!

Неуверенно звучала речь пана героя. И не толмач был тому виной.

— Я понимаю, мое появление... поведение... образ действий...

— Дивен зело! — сурово перебил Хведир-Теодор. — Ибо отпущены вы были, пан Рио, волею нашей доброй — милосердия христианского ради. Напомнить я должен, что надлежало вам на суд в Полтаву ехать за злодейства разные, равно как за службу Мацапуре-Коложанскому, первому в земле нашей злодею и извергу!

Пан герой вздохнул, на Ярину поглядел. Хотела утешить его панна сотникова, но — не стала.

Пусть подумает, переметчик!

— Я... Госпожа Ирина, вы знаете... В силу некоторых важных причин, я не могу жить без службы. Сегодня утром я говорил с господином наместником Серебряного Венца. Он предложил. Я... Я согласился. Я подумал, что смогу вам оказать помощь... содействие. Поэтому я попросился в парламентеры... переговорщики.

Переглянулись Ярина с Хведиром. Все ясно, пора и о деле говорить. Да вот кому? «Пан каштелян» не пожелал, на Петра надежды мало...

Наконец кивнул Хведир. Мол, говори, Яринка, раз начала.

— То мы слушаем, вас пан... пан переговорщик!

Сказала и пожалела. Совсем скис пан герой!

— Господин наместник Гоар... Наместник Серебряного Венца... Он... То есть не он. Князь Сагор велел передать. Он согласен оставить вам замок и власть над округой. Он даже предлагает... предлагает вам, госпожа Ирина, титул наместницы Медного Венца...

Не удивилась панна сотникова — злостью зашлась.

— Ой, добрый он, кнеж Сагорский! Слышишь, Хведир? Оторвала б я ему две руки, так он, поди, мне свой венец предложил бы! Так за что такая честь, пан Рио?

Опустил глаза герой, замялся.

— Князь... Его Светлость не желает продолжения смуты в тяжелое... трудное время. Вы же знаете, госпожа Ирина, у нас беда. Аспид...

Замолчал — и на солнце поглядел. Тусклое было солнце.

И пятнышко черное рядом. Прикинула Ярина — быстро растет, знак анчихристов! Как это Мацапура-упырь говорил? «Искрой, пятном, хоботом, а после — столпом»? Кажется, уже и хобот видать. Маленький пока.

Хоботок.

— Поэтому Его Светлость и предлагает мир. У него только одно условие... желание.

Поглядела Ярина на братьев, потом — вниз, на воинство у замковых стен кишащее.

Мягко стелет, кнеж!

— Хочу обратить ваше внимание, госпожа Ирина, что военное противостояние... столкновение будет не в вашу пользу. У нас нет огненного... огнестрельного оружия, но есть иные способы.

— Колдовством возьмете? — усмехнулась девушка, вспомнив свои беседы с паном героем. — Был тут один колдун, так я ему язык его поганый вырвала.

Сказала — и словно вновь все увидела. Плохо умер чаклун!

Плохо!

Да только не жалко!

— Они... Князь Сагор это знает. Вас считают Аспидовыми Пасынками, думают, что вы присланы Аспидом. А вас, госпожа Ирина, принимают, извините, за Глиняного Шакала. Но это ненадолго их сдержит. Есть способы... приемы...

И вновь переглянулись Ярина с Хведиром. И это ясно.

— Наместник Гоар вызвал какого-то сильного мага... волшебника.

— Так чего ваш кнеж желает-то? — прервал его пан бурсак. — То прошу вас ближе до дела, пан... переговорщик.

— Он... — Рио оглянулся, вздохнул. — Князь Сагор хочет получить голову... голову господина Мацапуры.

* * *

Не елось. Не пилось даже. Отставила Ярина в сторону миску серебряную, омочила губы в кубке.

— Ну, чисто змеи они, в мире этом! Эх, жаль, батька с его хлопцами не поспел. Веселее б хоть было!

Кивнул Мыкола. И Петро-молчун кивнул. Втроем за столом сидели. Хведир-Теодор на забороле сторожил. Хоть и ночь, хоть и дал им наместник срок до утра, а все одно — бережение требуется.

— То-то Сагор этот тебя к Мацапуре-ироду прислал, — проговорил Мыкола. — Видать, и он боится нелюдя! Хоть твоими руками, а прикончить все одно желает. Может, согласимся, а, Яринка?

Не ответила девушка. Вновь почудилось, будто голос дальний:

«Вызволи-и-и! Вызволи-и-и! А не вызволишь — сама погинешь, и батька твой погинет...»

Вздрогнула, крест сотворила. И снова вспомнила, куда Мыкола ключ от замка спрятал.

Фу ты, химерия!

— А я так думаю, — вздохнула она. — Друг нам кнеж Сагорский или ворог? Ворог, ясное дело! Так можно ли условия его сполнять? Если ему Мацапура мертвым нужен, то, выходит, нам...

Не договорила. Аж не по себе стало.

«Вызволи-и-и-и!»

— Нужен он нам, — хмыкнул Мыкола. — На пале нужен! Вот только пусть расскажет, что надо! Может, сейчас железо накалить да поговорить по душам с извергом этим?

Усмехнулся, на брата младшего взглянул. Кивнул Петромолчун, соглашаясь, подмигнул Ярине.

Но не ответила девушка. Думала. И странные мысли в голове кружились.

Ой, странные!

— Понимаете, хлопцы, кнеж Сагорский — не просто чаклун. Камень у него имеется — красный. И у Мацапуры такой же — на цепи. Не знаю, чего это значит...

— Ска-ажет! — протянул Еноха-старший. — Все скажет!

— Погоди! Выходит, кнеж ведает, в чем тайна Мацапурина? Ведает — и жизни его лишить желает. Чтобы или он погиб, или... Или я! И чтобы вместе мы не ..

Вместе — что? Растерялась панна сотникова. Но ведь так и выходит! Для чего кнеж ее в клетке к Мацапуре послал? Чтоб она его — в клочья, или он ее — со звонницы на плиты звонкие!..

И опять почудилось: «Вызволи-и-и!»

Качнул головой Мыкола, встал, из кубка прихлебнул.

— Пустое это, Яринка! Чего гадать-то? И Мацапура ворог, и кнеж ворог. Одно плохо — мало нас. И еще магия эта клятая... Ну, ничего, взял я с собой Спаса икону. Как из дому уходил, снял со стены да под рубаху спрятал. Завтра на забороле выставим, нехристям этим на страх!

Не ответила панна сотникова. Доброе дело — икона, да поможет ли? Небо рушится, мир в пропасть неведомую вот-вот вытечет...

Знать бы, чего кнеж задумал! Но только этого мало. Как помешать? Супротив одного колдуна-лиходея другой нужен. Если бы Денница...

Нет! Вздохнула Ярина, закусила губы. И вспоминать не ста-

нет. Все плохо выходит. Те двое, кнеж с Мацапурою, колдуны. А Денница кто таков? И подумать страшно!

Подошел к ней Мыкола, по плечу погладил.

— Я вот чего тебе, Яринка, скажу...

Да вот не сказал.

Грянул выстрел, эхом от стен отразился.

* * *

— Ворог! Ворог в замке!

Хведир! Его голос!

Взвился Мыкола, топнул ногой об пол, да так, что гул пошел.

— Ах ты, чорт с дьяволом и всех бесов клятых кагал! Хватай пистолю, Яринка!

Поймала на лету. Мыкола уже рушницу-фузею на плечо закинул, у Петра — гаковница в руках.

А в коридоре шаги. Ближе, ближе. Бежит кто-то.

— Ворог!

Так это же пан бурсак!

— Ты чего здесь, дурень безголовый? — гаркнул Мыкола. — Чего стражу покинул? На забороло беги!

— Так ведь... Внутри они! Наверху, где зала. Я шум услыхал, поднялся...

— Беги!!!

Сгинул Хведир. Чертыхнулся Мыкола от души, к панне сотниковой обернулся.

— Зала? Где это?

Задумалась Ярина. Не иначе, Зал Грамот, где они с Мацапурой на солнце смотрели.

— По лестнице. Той, что налево.

— Вперед, Петро! А ты, Яринка, не спеши — ногу береги. Кого чужого дорогой увидишь — лупи из пистоли! Ну, с богом!

Пока бежала, пока по ступенькам карабкалась, десять раз падала. Кривилась от боли, ругалась черно. Ах ты, калека безногая! Ведь хлопцев-то всего двое! Пока она доползет...

Остановилась на миг — дух перевести. Прислушалась. Не палят ли? Нет пока. А вот голоса...

— Не стреляйте! Не стреляйте! Свои мы!

Свои? Скривилась панна сотникова, дернула носом. Знаем, какие свои по ночам в фортецию забираются!

— Не стреляйте, панове!

А ведь знакомый голос!

— Это я... Я, Гринь чумак из Гонтова Яра!..

Что-о-о-о?!

Вначале не разобрала ничего. Не горели в зале свечи, а из окон стрельчатых только тьма сочилась. Енох-братьев, правда, разглядела. Вот они, у входа.

— Ты, Яринка? Ну, добре! А ну-ка ходите сюда, панове! Да смирно, не то свинцом накормим!

Панове? Всмотрелась панна сотникова в темноту. Точно — трое! У самых кресел собрались, которые для кнежа с кнежной выставлены. Да трое ли? Двоих — видно, а вот третий...

— Это я! Я! Не стреляйте!

Гринь!

Подошел, наткнулся грудью на фузейное дуло, замер.

— Эге, земляк, значит? — недобро проговорил Мыкола. — Слышь, Яринка, не тот ли это чумак, что хлопцев под пули Юдкины подвел?

Поняла Ярина — всего миг жизни чумаку остался. Поняла — заспешила.

— Погоди, Мыкола! Погоди!

— Годить? Да чего годить-то? Юдку Душегубца упустил, так хоть этого...

— Не надо! Не надо братика!

Замерла Ярина. Застыла. Протопали по плитам каменным маленькие ножки.

...Топ! Топ! Топ! Топ!

— Не убивайте братика! Хороший он!

— Тьфу ты! — даже сплюнул Мыкола, рушницу опуская. — Уходи, хлопчик, от греха!

— Это не он! Не он! Это я их в замок провел! Через стену! Там тонкая пленочка!..

И снова шаги — легкие, женские.

— У нас нет оружия, господа. Пожалуйста, выслушайте нас! Я — Сале. Вам, наверно, про меня рассказывали?

Ярина только вздохнула, ушам своим не веря.

Сале!

Ведьма Сало!

Ну и дела!

* * *

Запалили свечи, осмотрелись.

Чортов ублюдок! Ты?

Даже не узнала его панна сотникова. Он? Помнила, каким был, когда его Мацапура-злыдень на закорках нес. На вид года три было тогда байстрюку. Меньше даже. А теперь...

— Ну, то чем обязаны, панове?

Переглянулись Гринь с ведьмой.

— Мы... Мы хотим...

— Я! Я скажу!

Шагнул вперед бесов байстрюк. Ручку поднял — четырехпалую.

Вздрогнула Ярина.

— Я скажу! Это я попросил братика и тетку Сале сюда приехать. Я тут главный!

Не выдержал Петро — ухмыльнулся. Даже Мыкола не удержался, головой покачал.

— Справный отаман ты, хлопче! Силен фортеции брать! Ну, знакомы будем! Еноха я, Мыкола Лукьяныч. А ты кто будешь?

— Я? Я — Денница.

Холодно стало Ярине. Он! Совсем другой, непохожий, но он! Сколько же времени прошло? Месяц, чуть больше? Или меньше?! А на вид хлопцу все семь лет будет. И лицо изменилось. Уже не страшное...

Нет, страшное! *Его* это лицо! *Его*! Уже и узнать можно!

— А ты главный, дядька Мыкола Лукьяныч? Самый главный?

— Гм-м...

Даже смутился бесстрашный черкас. Смутился, ус покрутил.

— Ну... Пока что главный я здесь, хлопче. Значит, через стены проходить можешь? Лихо! Что предупредил — спасибо. Эх, надо было у панотца нашего крест напрестольный выпросить!

— Это не нужно! — перебила Сало. — У меня есть возможности... способы защитить замок от агрессивной... враждебной магии. Но это не главное.

— Кому не главное... — нахмурился Мыкола. — А кому и жизнь дорога! Слыхал про тебя, пани Сало. Всякое слыхал! И как ты Мацапуру-нелюдя на перинах тешила, и как чародейство мерзкое творила. Или в Господа истинного уверовала, пани пышная?

Задумалась Сало, губы тонкие поджала.

— Это... Это тоже не главное, господин Еноха. Не знаю, поймете ли вы... Мне надоело бояться. И просить надоело. Я больше не служанка — ни князю Сагору, ни Самаэлю. Если мое проклятие еще что-то значит, то будь они прокляты! Трижды! И ныне, и всегда...

— Нет! Не надо! Не говори!

Взметнулась вверх ручонка. Шестипалая.

— Не говори так! Никого нельзя проклинать. Никого! Дядька Мыкола Лукьяныч, мне с тобой говорить надо! Очень надо! Я хотел у бога совета спросить, да батька не позволил. Говорит, рано мне еще с богом разговаривать. Но он мне сказал, что делать нужно. Он умный, он все знает...

Слушала Ярина и чуяла, как ужас к сердцу подступает. С богом говорить хочешь, Несущий Свет? И ведь поговорил бы, если б не батькин запрет!

Байстрюк из Гонтова Яра, младень-недоросль...

Страшно! Ой, страшно!

— Говорить со мной хочешь? — нахмурился Мыкола. — То поговорим, хлопче!

* * *

Рискнули — позвали Хведира. Тихо было в таборе осадном, покойно. А об остальной химерии пани Сало, едва про наместника Серебряного Венца услыхала, как тот под стенами войной встал, побеспокоиться обещала.

Да только все одно не сдюжить, ежели с четырех сторон полезут!

Горели свечи, и факелы горели. Это уж Ярина озаботилась. Почему-то страшно стало от тьмы кромешной. Как в детстве, когда Черной Руки боялась.

А сейчас...

Ох, лучше и не думать!

За стол сели. Случайно ли, не случайно, но оказался байстрюк чортов в самом почете — в конце парадном, где хозяину место. Мыкола и тот — ниже сел.

Да в месте ли сила?

Расселись молча. Братья люльки достали, закрутили дым тютюнный кольцами. Хведир — и тот носогрейкой пыхтел.

Подивилась Ярина. Ай да бурсак! Да и то верно, что за беседа без люльки?

Дымили, молчали.

Ждали.

Наконец ударил Мыкола люлькой о каблук, положил на тканую скатерть.

— Так вот, пани да панове. Покурили, теперь и речи вести самое время. Ну, говори, пан Денница!

Встал байстрюк, глазами желтыми блеснул. И вновь похолодела Ярина. *Его* глаза, *его!*

Его!

Встал, дернул ручонкой четырехпалой — словно бы дым отогнать хотел.

— Пленочки лопнули. Понимаете? Лопнули! Они не сами лопнули, их бабочки порвали. Бабочки плохие, они хотят, чтобы наша Капля высохла. Совсем! Это все придумала розовая бабочка, она хочет быть главной. Самой-самой главной!

Странное дело — и не ухмыльнулся никто, детские слова слушая. Вроде бы и смешно — пленочки, бабочки какие-то, и еще капля ко всему.

А ведь не смешно!

— Братик сказал, что это Аспид прилетел. Аспид — неправильное слово. Это не Аспид. Это дырочка в пленочках, и через

дырочку капля вытекает. За пленочками очень пусто, капля не может удержаться, ее тянет. За пленочки тянет! Я... Я еще всех слов не знаю...

— Понятно, хлопче, — вздохнул Хведир. — То именуется «тыск», иначе же — «давление». Ибо написал великий Аристотель Стагирит, что естество пустоты не приемлет...

— Так чего ж это будет? — не вытерпел Петро. — Или пропадем?

Поразилась Ярина. Диво дивное! Молчун заговорил!

Так ведь заговоришь!

— Мой батька знает, — твердо проговорил байстрюк. — Он очень умный. Он сможет помочь. Он мне сказал, что я должен прийти сюда. Он сказал, чтобы вы не трогали доброго дядьку Он сказал, чтобы Ирина Логиновна Загаржецка позвала своего батьку. Он сказал, что батька Ирины Логиновны Загаржецкой должен прийти и привести с собой Заклятого.

— Кого? — не утерпел Мыкола. — Да поясни, хлопче!

— Я... Я не могу! — Денница огорченно вздохнул. — Я еще маленький. Я знаю, что батька говорит правильно. Если он придет, я всех спасу! Я спасу!

И вновь не усмехнулся никто. Ярина же вновь удивилась. Батька-то — ладно! А вот что за дядька такой у байстрюка чортова объявился? А как поняла...

«Вызволи, Ярина Логиновна! Вызволи-и-и!»

Сжал кулак Мыкола, по скатерти тканой ударил.

— То... То ты ведаешь, пан Денница, где ныне пан Логин, сотник наш, обретается? И ты позвать его можешь?

— Знаю, дядька Мыкола Лукьянович. Но я его позвать не могу Его может позвать Ирина Логиновна Загаржецка. Она его позовет и укажет Окошко. Тогда он сможет приехать и привести Заклятого. Только это все надо сделать сейчас. Прямо сейчас!

Договорил, ручонкой шестипалой взмахнул.

Сел.

Никто не откликнулся. Молчали, не переглядывались даже. Петро вновь принялся люльку набивать. Кисет достал, повертел в крепких пальцах.

Бросил.

— И кто скажет чего? — наконец проговорил Мыкола. — Или ты, чумак? Твой брат, тебе и отвечать.

— Я... Не знаю я...

Вскочил Гринь, обернулся растерянно.

— Он еще маленький. Маленький...

— Мальчик знает, что говорит.

Холодно прозвучали слова ведьмы Сало. И снова — не ото-

звался никто. Ярина на Хведира взглянула — молчал пан бурсак, окуляры в пальцах крутил.

— Та-а-ак, — протянул Мыкола. — Ну, тогда я решать буду...

— Погоди! Я... Поговорить надо!

Вскочила Ярина, к Енохе-старшему подбежала

— Отойдем...

А как отошли — недалеко, к окошкам темным, и слов не нашлось. Про что поведать? Про сны свои? Про Птицу Черную?

— Это... Колдовство это, — с трудом выговорила она. — Он... Денница... Он хороший, но ведь батька его... бес!

— Бес? — хмыкнул лихой черкас. — Да хочь пес, абы яйца нес! Домой вернемся — в церкву пойдем, к панотцу Никодиму. Отмолим грех! Не о том думать ныне следует.

Поняла панна сотникова — не убедит. Да и как убедить ей, если сама не знает. Прав Денница — нет еще будущего. Есть маленький хлопчик, что мир божий спасти обещает.

Ну, будь что будет!

Подошел к столу Петро, кулаками о скатерку оперся.

— Много ты чего наговорил, пан Денница. А потому вот чего сделаем. Ты сперва пана сотника нашего верни, а там и увидим. Понял ли? А панна Загаржецка тебе в том поможет. Верно ли решил, пани-панове?

Оглянулась Ярина, словно помощи от кого ожидая. Оглянулась, взглядом за икону зацепилась. Спас! Тот, что Мыкола под рубахой через Рубежи пронес!

Замерла Ярина, на темный Лик глядя.

Наставь, Господи, рабу Твою!

Подскажи!

Хмурился Спас.

Молчал.

* * *

И снова горели звезды над головой, и небо было рядом, и его рука...

За руку и привела — все норовил бесов байстрюк вырваться, вперед побежать, ступеней не считая. А ступеней много оказалось. Не сотня, не две даже.

Высокой была башня-донжон. В самый небосвод упиралась.

Зачем шли — не спрашивала.

Шли — и шли.

— Красиво как! Правда, Ирина Логиновна Загаржецка?

— Зачем так? По имени зови — Ириной, — вздохнула панна сотникова. — Красиво, Денница! А где твоя звездочка?

— Вот! — Маленький пальчик ткнулся в небо. — Только не

звездочка это, Ирина. Она не горячая. Она не светит. Это свет от солнышка. Хочешь, мы потом туда слетаем?

Поглядела она, куда байстрюк указал. Поглядела — увидела.

Белым огнем горела звезда.

Денница!

Улыбнулась Ярина, хотела мальчугана по голове погладить.

Не решилась.

— А как ты думаешь батьку моего позвать? Ведь не услышит.

— Услышит! — улыбнулся хлопчик. — Нам здесь звездочки помогут. Ты только глаза закрой. И не открывай, а то звездочки очень горячие!

Послушалась.

Закрыла.

Шестипалая рука коснулась ее пальцев...

И словно сгинуло все Почудилось — снова сон видит. На ней платье серебряное, в волосах — обруч, тоже из серебра...

А Небо совсем рядом. Только звезды не холодные, как прежде, — горячие, огнем пышут. Подивиться успела — сама на себя со стороны смотрит! Ну точно, сон! Но как же это?

— Открой глаза, Несущая Мир!

Не стала спорить.

Открыла.

Не было башни-донжона. Не было ночи. И звезд — не было.

Бездна была — безвидная и пустая. А над Бездной — узкая лента дороги.

Она — на перекрестке. А впереди, в двух шагах только...

Чудится? Снится?

Нет времени думать!

— Батька... Батька! Батька!

Кричала, себя не помня. Боялась — не услышит, не обернется.

— Батька! Чуешь меня? Чуешь?

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ,
СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

— ...Батька! Чуешь меня? Чуешь?

Еще не веря, не понимая, обернулся сотник.

— Яринка!!!

...В серебряном платье стояла Ярина Загаржецка. И горел серебряный обруч в ее волосах.

КОЛДУНЬЯ И ИСЧЕЗНИК

ПРОЛОГ НА ЗЕМЛЕ

Радуга.

Всюду радуга — от земли до неба. Вернее, все небо и есть радуга! Звенит празднично, на пределе слышимости — будто зовет. Текут, струятся бесконечные переливы разводов, уносятся в зенит, туда, где купол небесный раскрывается опрокинутым зевом воронки, ненасытным ртом, хоботом, омутом, засасывающим водоворотом...

Страшно.

И красиво.

Страшно красиво.

Будто оказался внутри мыльного пузыря-гиганта, который исполинское дитя, капризничая, вдруг решило втянуть обратно в свою соломинку. Не надо этого делать! Пузыри надувают, а не втягивают! Они невкусные! Остановись, дитя!

Не слышит. Радужная пленка безостановочно ползет вверх, к жадному отверстию в зените, колышется, подступает отовсюду. Рывок — и вот она разом сжалась, поглотив дальние кусты боярышника, суматошно взлетевших дроздов, одинокий домик у поворота дороги. Остановилась, словно размышляя. Или отдыхая. Или переваривая проглоченное.

Двинулась дальше. Уже неторопливо, степенно; без суеты. Замерла, помедлила. И снова — рывок вперед...

Карликовый крунг завороженно глядел на радужную завесу. Красиво. И уже почти совсем не страшно. Разве такое диво дивное, разноцветье прекрасное — может быть страшным?! Ветром свежим веет, звенит, зовет к себе. Обещает чего-то такое... светлое, ясное, какого здесь не бывает.

И слов не придумано.

Крунг улыбнулся. Моргнул, сверкнув пластинками слюды, наклеенными на внешней стороне век. Его глупые сородичи пятились от невиданного чуда, что-то кричали ему, маленькому, меньше прочих, но он уже не обращал на крики внимания. Пусть бегут, причитая, прочь, пусть бросают свои хижины и рухлядь — они трусы и дураки.

Да, трусы и дураки!

А он, самый маленький из карликовых крунгов — умница и герой.

И малыш решительно сделал первый шаг навстречу чуду.

Второй шаг.

И третий, наилегчайший.

Упругий поток подхватил его, мягко увлекая вперед, и крунг с радостным удивлением понял: лечу! лечу, братцы! Рядом, смешно гримасничая, кувыркался в воздухе коротышка-хронг — словно и сейчас собирался плеваться своими колючками. Глупыш! Страшно ему, видите ли! Оно и понятно: рожденный ползать...

Мимо со свистом проносились стайки железных ежиков, и крунг еще удивился: за что ежам такая честь — тоже лететь по воздуху, да в придачу куда быстрее, чем он сам, герой и умница?!

А потом... потом радужная завеса облепила его теплой болотной жижей. Приникла, впиталась, растворяясь в нем и растворяя в себе. Лишь тогда накатил страх. Запредельный, на грани с блаженством. Боли не было; совсем. Только липкое тепло, и изумление: это он? это он кричит, самый маленький из карликовых крунгов?!

Да, он.

Кричит.

Не понимая, что делает, все еще улыбаясь, выплескивает последним истошным воплем животный ужас, предчувствие неминуемой, нелепой смерти!

И когда вечная тьма, где спит, отдыхая от трудов, прекрасная радуга, сомкнулась вокруг карлика, — сквозь нее, сквозь эту бесстрастную черноту долетел голос.

Голос, который на миг разорвал пелену ужаса, голос, от которого невольно попятилась сама Смерть.

— Не бойся, — шепнул кто-то. — Я спасу.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

— ...Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Язык тяжко ворочался в пересохшем колодце рта. Впервые в жизни, впервые в буйной и бурной, как высверк шабли над головой, жизни сотника Логина он не мог дочитать «Отче наш» до конца.

Впервые.

И кому сказать! — из-за распроклятого жида-христопродавца!

— ...остави нам долги наши, яко же оставляем мы должникам нашим...

Ну глянь! глянь в лицо черкасу, иуда!

Возьмись за крыж! Брезгуешь?! Ведь добрая шабля, с пышного бунчук-паши боем взята, есаул Ондрий не всякому доверит, мне — и то промедлил, старый рубака!

Я ж тебя насквозь вижу, песий сын... сам стольких в куски пошматовал, что и на исповеди не рассказать, иной раз от дю-

жины не знаю как отмахивался, а от тебя, Душегубец, впору и не отмахнуться! Славно ты моих черкасов пластал, там, на панской лестнице, Мацапуру-упыря собой закрывая! Вовек не забыть, на Страшном Суде — и то вместо грехов иное припомню: днепровский рыбак щуку-матку скучней пластает, чем Юдка — черкасов-реестровцев...

Дерись, тварюка!

— ...не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого...

Хотел сказать «аминь» — ан с первого раза не сложилось.

Бульканье горлом, и весь тебе «аминь».

Словно горелка из опрокинутой бутыли.

— Батька! Батька!

Дрогнула земля. Черной кипенью подернулось небо.

— Батька! Чуешь меня? Чуешь?

Пронзительный вопль ворвался в уши. Аж мурашки по спине. Нелюдской, вражий голос; а вслушаешься — дитя блажит. Малое дитя, кому не батьку выкрикивать на крыльце пекла запредельного, а на лозе оструганной по двору гарцевать. Такое ночью в теплой хате приснится — в ледяном поту кинешься в сени, долго будешь воду из кринки хлебать, заливая грудь... Да только всякого навидался Логин, сотник валковский, по сей геенне Порубежной всласть наездился, чтоб от дурных воплей за спиной кочерыжкой ежиться.

Хватит.

И поползла, шипя по-гадючьи, верная «ордынка» из ножен.

Авось, в клинке больше гордости осталось, чем в хозяине неприкаянном, сменявшем душу на дочку, честь на кровь, славу черкасскую на скитания горемычные — и загубившем все сразу.

Выручай, невестушка!

— Батька! Да где ж ты?! чуешь ли?! — бешеной метелью взвился зов.

Чорт тебе батька, горлопан! — в пекле ищи, не здесь!..

Накликал.

Встал чорт меж жидом и черкасом.

Сам длинный, черный, нос крючком; глазищи, прости Господи, лампадами горят — узкие, нелюдские, от висков к самому переносью.

— Не надо, — сказал чорт. С такой тоской-кручиной сказал, что сердце аж захолонуло, а кулак с шаблей до краев свинцом налился: не поднять, не опустить.

Ах ты, вражина! сладить с Логином! адово племя!

Н-на!

Крестным знамением положил лихой сотник «ордынку» на врага рода человеческого. Сам себе удивился: есть еще порох в пороховницах! Славно! Что теперь скажешь, сучий выкормыш?

— Не надо, — повторил чорт, равнодушно моргая длинными,

девичьими ресницами. — Видишь, Логин: он не драки — смерти просит. Ты не руби его, сотник; ты пожалей его. И себя пожалей, ведь пора бы...

— Его? Себя?! Жалеть?! Уйди с дороги, пекельная рожа!

— Глянь на меня, сотник, — сволочной чорт даже с места не качнулся, только лапой шестипалой в грудь себе постучал. — Глянь, прошу: себя не видишь? не узнаешь?

Бросилась Логину кровь в лицо, опалила дикой обидой.

Думал: ко всему притерпелся... зря думал.

— Себя? Мать-Богородица, Мыкола-Угодник! Что мелешь, харя?! Кто ты, а кто я?!

Усмехнулся чорт.

— Ты за дочкой пошел, я — за сыном. Ты Малахов Рубежных в шабли со своими хлопцами взять хотел... и я взял — однажды. Что от нас осталось с тех пор, сотник? Порох один, и тот сырой... шипим, шипим, пыжимся грохнуть... Смотри лучше, сердцем смотри, коли не дал тебе Святой, благословен Он, разума!

Тошно стало Логину, до того тошно, что хоть вовкулакой лесным на луну вой, а глаза и рад бы отвести, да с радости этой проку мало! Зимой у детворы так бывает: лизнут сдуру железку, в самую стужу лютую, потом язык не отдерешь!.. Вот и взгляд — прикипел к чортяке. Не хочешь, а видишь, оглохнешь, а слышишь; нож кривой в сердце сунешь, да сердце-то в ответ не кровью — памятью во все стороны брызнет.

Встало перед Логином, сотником валковским:

— ...давайте так договоримся: Юдка визу выправит, а зацный пан поклянется перед иконою, что Юдку, живого и невредимого, на ту сторону возьмет. Там и сочтемся...

Помнишь? Помнишь, ты тогда еще подумал! Морщины на твоем необъятном лбу понемногу разглаживались:

— Ты, душегуб, так и так с нами пойдешь. А то чорты знают, куда заведешь нас. Вот если правильно заведешь да Яринку там отыщешь — тогда поговорим... мое слово — железо...

И еще встало, горячими брызгами:

...а тех, по ком эти бабы плачут, не вернуть уже. Предложи им сейчас привести из пекла их сыновей, да мужиков, да братьев!.. Отказались бы?

— Я...

Помнишь? Помнишь, твой голос тогда сорвался. Не понять: от ярости ли, или от смертельного оскорбления, или старуха в цель попала...

— Я клянусь вам, бабоньки... что упыра этого, Юдку, своей рукой в пекло приведу. А жид Юдка мне живой нужен, покуда в пекло меня не приведет, а когда приведет — то я его, злодея кровавого, шкурой новый барабан натяну! Или я брехал когда?!

И напоследок, беспощадным итогом:

...молчал молодой турчонок. Как кремень молчал, под ножами. Страшное дело творилось в плавнях близ Хотина-Днестровского. Страшно пытали Логин, тогда еще хорунжий сотенный, со Шмальком-друзякой пленного нехристя, диким спросом спрашивали — молчал черномазый.

Губы в клочья закусывал.

— Слышь? Помер, что ли? — спросил под конец Шмалько, вытирая ладонью потный лоб и оставляя поперек багровую колею.

Помнишь? Помнишь, ты тогда пригляделся.

— Клянусь Пречистой Богородицей, — сказал, а в камышах ветер подхватил, унес тихим шорохом, — таки помер, басурман! Добили, не добились...

Открыл тут глаза молодой турчонок.

Белькотнул по-своему, — отчего чужие словеса намертво в память врезались? отчего годы не вытравили?! — улыбнулся светло и уже взаправду помер.

Не скоро узнал Логин, что сказал ему полонянник, а когда узнал, лишь плечами пожал. Из ихнего клятого Корана то было:

«Аллах не взыскивает с вас за легкомыслие в ваших клятвах, но взыщет за то, что вяжете клятвы! Искупление этого — накормить десять бедняков или освободить раба...»

Сколько лет торчало вросшей в мясо, привычной занозой, и лишь сейчас выперло новой болью, чирьем гнойным под взглядом чортячьим:

«...не взыскивает за легкомыслие в ваших клятвах... но взыщет за то, что вяжете клятвы...»

Гори в аду, молодой турчонок!

Гори в аду, чорт-катюга с безумным Юдкой!

Гори в аду, сотник Логин, клятвопреступник и душепродавец!

В одном котле сойдемся!

Не земля под каблуком — камень да прель прошлогодней хвои. Не небо над головой — дерюга рваная, прохудившийся мешок с горохом, того и гляди, посыплется на голову частым градом. Не правда вокруг — брехня на брехне сидит, брехней погоняет, и все трое истинной правдой прикидываются, изгаляются над встречным-поперечным! Что делать? где стоять? куда идти? кого рубить?!

И в третий раз полоснул крик наискось, ударил в спину:

— Батьку! Чуешь?!

Еще не веря, не понимая, обернулся сотник:

— Яринка!!!

...В серебряном платье стояла Ярина Загаржецка. И горел серебряный обруч в ее волосах.

— Донечка! Ласточка моя!

Не помня себя, с забытой «ордынкой» наголо, с жидом и чортом за плечами, повернулся Логин к дочери. Стояла та в высоком небе ангелом господним, светилась зорькой ясной — и понял сотник: все. Конец отчаянной душе. Завершились адские скитания, но и жизнь завершилась. Смилостивился Иисус-Спаситель, допустил грешника в рай; туда, где сейчас Яринка сладкий варенец золотыми ложками ест.

Видишь, сотник?! Не ты пришел — за тобой пришли.

Шаг — и в небо.

— Яринка!.. Я... я иду...

Примерзли слова к губам; дыханье в глотке комом шерстяным сбилось.

В высоком небе стояла Ярина Логиновна, блистала святым серебром, что твоя икона в новой ризе... Да только приплясывал рядом с панной сотниковой чортенок-подмастерье, разнопалый нехристь.

Дразнился.

Язык высовывал. «Батьку! Чуешь?» — горланил.

Померк свет в глазах сотника Логина.

— Рушницу мне! Рушницу дайте!

Ответно ли грянул выстрел? Помстилось ли? — кто знает? Вот и Логин не знал, не видел уже, как из-за кустов приподнимается верный есаул, как дымится разряженная булдымка в руках старого Шмалька, а сам есаул Ондрий потрясенно смотрит в синь высокую, где пляшет неуязвимый чертенок и молчит Ярина Логиновна.

Хитер бывалый черкас. Знал, когда слушать, когда ослушаться надобно, когда по-своему телегу повернуть. Тайно ждал в засаде: выручит жида-падлюку шабля острая, так пуля меткая не минует!

Минула.

И Юдку Душегубца, и адского выкормыша.

Впервые есаула рука подвела.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

Мой сын звал меня.

А я медлил. Только сейчас, в эту минуту встречи, я ощутил всю горечь происходящего — и Хлеб Стыда забил мне рот липкой мякотью. Впервые я понял, что значит быть бессильным стариком на иждивении собственных детей! Я, каф-Малах, Свобода во плоти, проницавший Рубежи и смеявшийся над стражей! — ныне я жил лишь потому, что вот он, мой малыш, запер-

тый в темницу несовершеннолетнего тела, рвал свет в клочья и швырял мне, блудному отцу своему, последние обрывки.

Брось меня!

Оставь!

И тот, прежний стыд, показался мне светлым праздником перед стыдом новым. Это я кричу ему: «Брось! оставь!..»?! Это я облегчаю ему непосильный труд?! Нет, это я сам норовлю оставить, бросить мальчишку один на один с его судьбой, чтобы потом и в гибели, в растворении останков бывшего каф-Малаха, слышать до конца вечности:

— Батька! Да где ж ты?! Чуешь ли?!

На миг мне почудилось: я стал прежним.

На краткий миг, но и за него — спасибо.

— Батька! Лови смыслу! Белую, белую хватай!

Ловлю, сынок! Белую смыслу ловлю, Внутренний Свет ор-Пеним, облаченный в мантию Света Внешнего ор-Макиф... ловлю, хватаю, держу обеими руками, зубами вцепился!.. Ты только потом напомни, я тебя обязательно научу, покажу... потом. Если выберемся. Нет! — когда выберемся. А мы с тобой обязательно выберемся, на карачках выползем...

И снова нет.

В полный рост выйдем.

— Батька! вот еще!

Клянусь Азой и Азелем! — он дотянулся! Свет Скрытых Замыслов хлестнул меня наотмашь, мгновенно впитываясь, и я выплюнул остатки Хлеба Стыда. Да, он, дитя моей несчастной Ярины, воистину может — но он еще не умеет! Умею я, бесполезный призрак, умею, но не могу — и значит, я не такой уж бесполезный? Не очесок шерсти на гребне, а знание и память?!

— Батька!

— Хватит! Мне хватит!.. Оставь себе...

Мне действительно хватило. Даже с избытком. Рав Элиша, учитель мой, ехидный еретик — слышишь ли? У меня родился сын! Он уже почти вырос! Мы вместе!

И ярче Света Скрытых Замыслов полыхнуло из немыслимой дали тихое:

«Глупый, глупый каф-Малах... поздравляю, не сглазить бы .»

— Эй, Заклятый! Держись!

Больше мне не нужен был никто из заблудившихся в Порубежье.

Только он, Иегуда бен-Иосиф, носитель моего убежища-медальона, моя последняя надежда на нарушение Запрета.

Откликнулся ли он? Услыхал ли? Не услыхал, но откликнулся — сердцем, нутром знатока Имен. Зря, что ли, я сидел позади него в седле: убеждал, просил, уговаривал? Душу грозил наизнанку вывернуть, швырнуть в лицо не только смрад горящей се-

мьи его, но и смрад таких печей, где пылал и будет пылать народ Иегуды, что клочья пепла забьют глотки *насквозь* за мириады Рубежей?!

Зря, что ли, он спорил со мной?!

Срослись мы, носитель медальона, сплавились; не так, конечно, как с глупым героем Рио, тогда, в метели, но все-таки...

Я не открыл Окно.

Я его взломал.

Чувствуя, как клещом впился в меня мой Заклятый — силой имени Айн, чье число семь десятков, и силой имени Далет, чье число четыре, а вместе эти Имена тайно указывают на мужскую силу, сокрушающую пределы.

Хорошо взялся, Иегуда, щенок уманский!

Пошли *насквозь*? Прочь от Порубежья? Прочь от клинка сотника Логина?!

— Шма Исраэль! — лишь крикнул он в ответ.

И калейдоскоп сфир разлетелся мелкими цветными брызгами, той радугой, которая появляется в небе, говоря обреченным: «Нет защитника, и некому отменить приговор!»

* * *

Старый, очень старый человек сидит в огромной бадье, где поверх мыльной воды наросла шапка пены.

Пена-усы, пена-борода, пена-слова.

— Позор на мою дряхлую голову! Ты что, голых старцев не видел, плут и мошенник?! Морда твоя бесстыжая!

Я смеюсь.

Я видел много старцев, и часть из них была голыми.

Никакого удовольствия.

— Он смеется! Нет, люди добрые, он смеется, вместо того чтобы подойти и благочестиво потереть спинку старому рав Элише!

Подхожу; беру мочалку.

Тру худую спину с резко выступающими позвонками.

— Ты ведь только что был здесь, у меня, — бурчит старик, покряхтывая от удовольствия. — Спрашивал: как плодятся и размножаются Ангелы... не наговорился?

Пожимаю плечами.

«Только что» не имеет для меня никакого значения.

Равно как и «здесь».

Старый, очень старый человек смотрит мне в лицо. Странно смотрит. Раньше было иначе. И я, глупый каф-Малах, не сразу понимаю: он задал вопрос и ждет ответа. Куда уж мне понять это сразу, когда раньше всегда задавал вопросы и ждал ответа — я.

Впервые я сталкиваюсь со словом «раньше» лоб в лоб... может быть, я все-таки сумею понять, что это значит?

— Вот бадья, а вон стена, — говорю я, тщательно подбирая слова. Будто ожерелье из лунного бисера на волос горной феи вяжу. — Между ними расстояние. Локтя четыре. Это если для тебя, рав Элиша.

— А для тебя, путаник?

— А для меня, если *насквозь* — по-разному. Когда четыре локтя, когда двадцать поприщ, а когда и вовсе тесно. Я не понимаю пространство, как люди: здесь или там. Я понимаю иначе: там, где я есть, и там, где меня нет. Там, где я есть, я уже быть не могу; там, где меня нет, я буду. Вот и все.

Он кивает.

Он что-то понял — и я отдал бы сияние Эйн-Соф, чтобы разобраться в его понимании.

— Ты говоришь: я у тебя был только что — и вот я снова явился, — продолжаю рассуждать вслух, начиная мылить ему шею. Это смешно; рав Элиша хихикает. — Я так не понимаю время: только что, снова... вчера или сегодня. Я понимаю иначе: это уже было со мной — и этого со мной еще не было. Если было, значит, все, больше никогда. А если не было, значит, еще будет. Очень просто.

Он по-прежнему хихикает.

Хотя я убрал мочалку.

— А ты не такой уж глупый, мой назойливый каф-Малах... Тогда скажи: ты мог бы явиться к дряхлому рав Элише в тот миг, когда ты сам еще стоял здесь, раздражая меня дурацкими разговорами?

Я отрицательно мотаю головой:

— Нет, рав Элиша. Не мог. Для меня открыто все, кроме одного: того места-времени, где я уже был.

— Почему?

— Потому что *я* помню об этом. Помню, и память захлопывает двери, некогда бывшие открытыми настежь.

— Выходит, ты ограничен только своей памятью? только своей внутренней реальностью?

— Выходит, что так.

Если б я еще знал, о чем он спрашивает? если б я еще знал, что я ему отвечаю?

— Выходит, что так, — повторяю я.

— Спасибо, — отвечает старый, очень старый человек.

Я не знаю, за что он благодарит меня.

Я иду в угол и набираю из кадки чистой воды.

Сейчас я помою ему голову.

— А ты никогда не пробовал поменять их местами, эти ре-

альности, внутреннюю и внешнюю? Ты никогда не пробовал освободиться полностью? — вдруг спрашивает он.

Вода проливается мне на ноги.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Батя сильный. Ишь, как ломится!

Я скоро вырасту.

Я тоже буду сильным — как батя.

Бабочки засуетились. Машут крылышками. Розовая бабочка — пуще всех. С ее крылышек осыпается пыльца, такие яркие красненькие смыслы. От них пленочкам горячо. Там, за пленочками — пожары.

Везде.

Пусть машут. Пусть суетятся. Все равно хрен достанут. Про «хрен достанут» — это дядька Мыкола Лукьяныч научил. Хорошая смысла. Правильная. А Ирина Логиновна Загаржецка бранила дядьку Мыколу Лукьяныча. Ругалась, что смысла невкусная, не для «дитев».

А братик сказал, что теперь один хрен.

Братик молодец.

Тот носатый дядька, что у бати на плечах висьмя висит, — тоже молодец. Он знает, что смыслы — это Имена. Его не надо убивать. Раньше я думал, что надо, а теперь передумал. Только цацку заберу. Цацка батькина, чего ее носатому дядьке носить?

У меня болит в животе.

Тяжело.

Батя, думай о своем старике! Думай!

Тогда легче...

Старик, я тебя тоже спасу.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

Спать, конечно же, никто не ложился.

Ждали возвращения ушедших за подмогой. Впрочем, «ждали» — вряд ли удачное слово. Вот они, оба посланца: и жутковатый ребенок, заметно подросший за последнее время, и бешеная Ирина. Застыли пустоглазыми изваяниями на верхней площадке донжона; уставились, крепко взявшись за руки, в звездное небо...

Пришлые из-за Рубежа (братья? да, братья...) первые полчаса

все дивились. Переглядывались, хмыкали в усы. Один, самый здоровый, даже пальцем осторожно потрогал.

И мигом руку отдернул.

— Что, горячо? — криво усмехнулась Сале, наблюдая за этим действом.

— Не... холодно! Ледышка! Эй, Сало! — они что, померли стоя?

— Живы они, живы! — безнадежно попыталась объяснить женщина, заранее зная: не выйдет. — Души в поиск отправили, между сфирами, а сами ждут: когда ваши товарищи отыщутся. Вернутся души обратно — и тела потеплеют.

Здоровяк кивнул. Так кивнул, что показалось: судорога ему шею скрутила, не шея теперь — корень древесный. Сразу видно: понятливый малый. До всего своим умом доходит... доходяга. Вот и сейчас: поправил на плече «гаковницу», с которой, похоже, и в постели не расставался, сморкнулся в угол с левой ноздри — и гулко затопал вниз по лестнице.

На стену, должно быть.

— А дозволено ли будет спросить милостивую пани? — поинтересовался младший брат здоровяка (кажется, его звали Теодор). — Долго ли им в горних высях пребывать доведется?

Этот оказался на удивление разумен и дурацких вопросов не задавал. Тут другая беда: на носу Теодора красовались зрительные стекла, в их Сосуде именуемые «окулярами», и они все время напоминали женщине о веселом Стасе, пане Мацапуре-Коложанском.

Хоть и в подвалах сидит выродок, хоть и в клетке заговоренной, а все равно: сердце не на месте... Что, Куколка? — это ведь Денница, малыш неразумный, тебе про доброго дядьку в клетке рассказал! Еще когда кричала ты криком: нельзя в замок сей! нельзя! его веселому Стасю в надел отписали! пропадем ведь!

Улыбнулся тебе малыш.

«Можно», — сказал тоненько, как отрезал.

Можно.

— ...так долго ли, пани пышная?

— Не знаю. Время в Сосудах и между сфирами идет по-разному. Час, два, пять... Смотря насколько далеко им придется забраться.

— А тогда сомнения берут: как же им подмогу раздобыть? Разве можно сквозь тонкие энергии, как говаривал учитель мой, блаженный Григор Варсава, тела плотские сугубо провести?

Хороший вопрос. Если бы Сале еще сама знала на него ответ! Она молча пожала плечами (вот Варсаву своего и спрашивай, мудрец!), после чего снова принялась разглядывать застывшего мальчишку.

Это странное существо не уставало поражать ее. Поначалу Сале Кеваль относилась к нему с брезгливым равнодушием: уродец, балаганный шут, коего приказано доставить любой ценой. Любой — и это есть также цена ее собственного спасения Поэтому, когда ребенок начинал упираться, женщина испытывала вполне естественное раздражение.

Но дальше...

Она так и не поняла, в какой момент ей стало страшно. Тогда ли, когда с треском разлетелась на куски крепкая дверь, что удерживала жуткое дитя? Тогда ли, когда разом вспыхнул, занялся жарким пламенем дом, где они коротали ночь? Или еще раньше, когда в шестипалой ладони ребенка из ниоткуда явилось червивое яблоко?

Или совсем недавно, когда рвались они сюда из Столицы, рвались напрямую, через все препоны — и гнилой основой лопалось мастерство Сале Кеваль, не доставая, не успевая!.. Вот тогда-то и прозвучало рядом смешное: «Ты подвинься, тетя Сале... нам туда, где мышки шепчутся... слышишь, братик?»

Когда ты испугалась? — тогда, раньше, позже?

Не все ли равно?!

Просто в какой-то миг Куколка вдруг осознала: все ее магические умения, все ее могущественные Имена и тайные амулеты — ничто, пыль на ветру, по сравнению с одним косым взглядом этого нечеловеческого создания.

Нечеловеческого?

Сейчас она уже не была уверена в последнем до конца. Да, мальчишка рос не по дням, а по часам, да, его облик стремительно менялся, — но, меняясь, черты лица Денницы становились все более человеческими! Еще недавно темная, едва ли не чешуйчатая кожа теперь смотрелась уже просто смуглой. Длинноющие узкие глаза выглядели теперь скорее раскосыми, обычными, хотя и не потеряли своего завораживающего мерцания «А ведь вырастет — от девок отбою не будет! — вдруг подумалось Сале. — Уже и сейчас есть в нем что-то... что?!»

Впрочем, рос чудный ребенок не только внешне. В речи его наивные детские вопросы все чаще мешались с такими фразами, что мороз по коже продирал. Взять хоть недавний совет, на котором едва ли трехмесячный младенец взял на себя роль старшего! Хотя — какой там трехмесячный?! На вид ему уже лет восемь, а то и поболе будет!

Как он говорил:

«Я спасу. Только я должен успеть вырасти...»?

Может, и правда?! Может, потому и вырасти спешит, как на пожар?

Успеет?

Спасет?

Не рассудком — душой, опаленным нутром Сале Кеваль чувствовала: этот ребенок — и в самом деле их единственная надежда. Кто же он? Демон? Спаситель? Чудовище?! И какие чувства она испытывает к нему *сейчас*?

Холодом тянуло от зубцов стены. В трещинах ползали жирные слизни, оставляя за собой слюдяные потеки. Ночные птицы тоскливо кричали во тьме о несбывшемся.

Но Сале сейчас было не до птиц, слизней и холода.

Женщина истово пыталась разобраться в самой себе — и вдруг ощутила со сладостным трепетом, как раскрывается ее внутренняя оболочка, как темная суть («смысла»?!), сокрытая до поры, медленно поднимается оттуда, из глубин, наполняя все существо гибельным восторгом свободы. Что-то менялось внутри и вокруг нее, плавилось, текло, мир становился ярким, несмотря на ночное время, до краев наполнялся звуками, красками, запахами, — и Сале не сразу поняла: она сама здесь ни при чем! Звезды блекли, небосвод наливался радужным сиянием, пахнуло порывом свежего ветра — и площадка донжона слегка вздрогнула.

Теперь уже Сале с любознательным Теодором застыли безгласными изваяниями.

А бывшие статуи... статуи ожили!

* * *

Он появился сразу, прямо из воздуха, в огненном ореоле, который, впрочем, мгновенно погас. Отшатнулся к парапету чумак Гринь, торчавший все это время у самого проема, побелел меловым разломом и принялся мелко закрещивать себе грудь. Как успела заметить Сале, эту манипуляцию чумак проделывал при всяком удобном и неудобном случае — всегда с одним и тем же результатом.

Зато Теодор, тоже слегка спав с лица, мигом схватился за пистоль.

Но ни крестное знамение, ни оружие не произвели на пришельца особого впечатления. Пошатнувшись и едва не упав, он первым делом кинулся к ребенку — вовремя успев подхватить измученного сына на руки.

Сына?!

Да, сына! Потому что долговязый гость, демон с разнопалыми руками и светящимися прорезями вместо глаз, не мог быть никем другим, кроме как отцом странного дитяти! Но уже сейчас было ясно видно: сын не станет точной копией отца. Ребенок выглядел куда более похожим на человека. А со временем..

Или со временем все повернет в обратную сторону?!

— Батька! Прошли? Получилось?!

— Получилось... Ты жив? Жив?! — Демон баюкал мальчишку в объятиях, и по щекам демона текли раскаленные добела капли. — Во имя Пламени Эйн-Соф, как же ты похож на Ярину!.. На мою Ярину...

Сале плохо соображала сейчас. И на ее взгляд хромая Ирина, до сих пор пребывавшая в забытьи, меньше всего походила на сего ребенка.

Впрочем, демонам виднее.

— Да... похож, — бессмысленным эхом откликнулся Денница. — Ярина... Ирина Логиновна!.. А где... где ее батька?

Недоумение.

Недоумение пылает в бойницах-глазах.

— Где? И носатый дядька? Они там, за пленочками? Я ведь обещал...

— Шолом, пани и панове! — у дальнего края парапета, вынудив Гриня закреститься втрое чаще, ухмылялся белозубым оскалом консул Юдка. — Носатый дядька таки здесь! А остальные, голубок ты мой, и впрямь... за пленочками. Видать, силенок у твоего батьки на весь кагал не хватило. Ты спроси у него, у батьки-то: и впрямь не хватило? Или просто не захотел их сюда тащить? Что молчишь, каф-Малах?

— Это не мои силы, — в низком голосе демона, которого консул назвал каф-Малахом, лопнула перетянутая струна. — Это *его* силы.

Узкий подбородок судорожно дернулся, указывая на сына. А Сале Кеваль тем временем отчаянно пыталась вспомнить: кого называют каф-Малахами? Кого?! Ведь она слышала это слово, слышала...

— Я же обещал, батька! Надо ее батьку сюда, надо тоже... — вопль Денницы был полон растерянности.

И еще: совсем человеческой, детской обиды.

— Обещал? Ты?

— Да!!!

— Если так, ты прав, сынок. Просто ты не понимаешь, чего это будет стоить *тебе*!.. Нам обоим. Но я сделаю. Раз ты обещал — я сделаю. Раскройся!

Демон осторожно усадил ребенка на каменный пол, спиной к зубцам ограждения.

Глянул вверх, дернув тяжелыми веками.

«Так смотрят слепцы! — пронзила сердце иглой чудная мысль. — Или нет: так смотрят... *насквозь*!»

Сале ощутила, как воздух над площадкой донжона содрогнулся от дикого напряжения эфирных полей. И Денница вместе с так и не пришедшей в чувство Ириной вновь застыли — чтобы каф-Малах попросту исчез.

Совсем.

Без всякого сияния и грома небесного — соль, и та явственней растворяется в воде.

— Вы не знаете, кто таков есть каф-Малах, пани Сале? — с отменной вежливостью осведомился умник-Теодор.

Не спеша, однако, убирать за пояс пистоль в присутствии консула.

— Каф-Малах? — насмешкой прозвучало от парапета. — Ой, вэй, хлопче, чему вас только по вашим бурсам православные меламеды учат?! Ну, ежели попросту, для гоев необрезанных — так это такой себе маленький ангел-еретик!

— Сатана? — заинтересованно обернулся Теодор, блестя окулярами. — Люципер?

— Бес это! Чортяка! Тот, кто в скале сидит! Мамку спортил, братика спортил... мне жизнь спортил...

Бормотание Гриня-чумака мало кого заинтересовало.

Жизнь ему спортили... а кому легко?

— Не кидался б ты, хлопче, такими Именами, — посоветовал консул, обращаясь то ли к чумаку, то ли к бурсаку.

Однако на вопрос так и не ответил.

И тут Сале вспомнила! Ну конечно! Ангел Силы ведь говорил ей...

— Это блудный Малах, Теодор. Блудный ангел. Тот, кто отказался от Служения во имя Свободы. Тот, кто однажды преступил Запрет...

Договорить не удалось. Глубоко внизу, в замке, раздался оглушительный грохот, треск, и следом — частая, слитная дробь выстрелов.

Когда-то, будучи по делу в ином Сосуде, Сале уже слышала, как стреляет подобное оружие. Но... откуда?!

И почти сразу женщина увидела: юный Денница, ребенок, которого она искала-презирала-боготворила, тихо оседает боком на выглаженный камень плит.

Бледный как смерть.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

— Шмалько! Харя твоя непроспатая! Куды целишь?!

— Туды, пане сотник...

— Куды — туды? В божий свет?!

— Добро б в божий, пане сотник... Видали ж: один чортяка на земле, другой на небе! А рядом — и сказать боязно...

Кинул Логин шаблю в ножны.

Кого рубать? Не Ондрия ж, есаула верного.

— А рядом с небесным пекельником дочка моя сияет, Ярина

Логиновна! Это тебе сказать боязно, харцызяка? В тридцать три тебя рассвятых апостола?!

— Да так-то оно так, пане сотник... а все думаю: не мара ли? Отвели нам ясны очи черти да жидовня!

Подошел сотник к есаулу, глядит: а у Шмалька глаз его карий слезой плывет. Не он ли малую Яринку на коленке катал, за ус сивый драть позволял? Не он ли за панну сотникову сперва отчизну кинул, в пекло полез, а после боевых товарищей — и тех оставил?

Эх, пан Ондрий... пропадем мы тут, а все одно — вместе.

— Пошли, что ли?

— А то, пане сотнику... пошли. Только, не в обиду будь сказано: в какую сторону?

Петляла тропка под сапогами. Орали в кронах сосен дурные пичуги, изгалялись по-своему. Щебень мелкой осыпью тек впереди, шуршал змеюкой в осоке.

Била «ордынка» по бедру: что ж ты, хозяин? пить хочу!

Нечего ответить.

— Турчонка помнишь? — невпопад спросил Логин, глядя под ноги. — Слышь, Ондрий: турчонок, молоденький... под Хотином, в плавнях? Ты ему сперва ухо кромсал... помнишь?

Помолчал есаул.

Лоб наморщил.

— Не-а, — отозвался.

Ну и ладно.

* * *

Хлопцы ждали близ дареной чортопхайки.

Гром-бонбарь все кулемет по лоснящемуся боку гладил, ну точь-в-точь хлопец у плетня — ядреную девку; Забреха же на дорогу как уставился — прикипел.

Не спросили: куда Юдка Душегубец делся?

Чего им спрашивать? — и пан сотник на шаблях не из последних, и Шмалько уж чего-чего, а из рушницы шмалять горазд... и выстрел все слышали.

Они не спросили, а Логин и рассказывать не решился.

Байкой сочтут: примерзла рука у боевого черкаса, ан тут тебе и чортяки с ихними побрехеньками, и ангелы боженькины во облацех... и жид в небесах сгинул. Такие байки Рудому Паньку перед бабами складывать, а не сотнику валковскому.

— Зря вы, хлопцы, со мной остались! — само вырвалось у Логина; и не хотел, не думал, а сказалось в сердцах. — Надо было с нашими да с этими... у которых — декрет-универсал. Бились бы сейчас за счастье уж не помню кого... а так бьетесь — ровно мухи в склянице. Жужжим да лбом в стенку — что крепче. Нет, правда: шли бы вы... может, догоните еще?

Дмитро Гром кулемет в последний раз огладил.

— А в рожу? — спросил.

Отродясь не бывало, чтоб москаль беглый, из милости в реестр вписанный, у сотника Логина Загаржецкого такое спрашивал.

Не бывало! — а вдруг заметил Логин: полегчало.

Аж улыбка усы раздвинула.

— Вон кому в рожу... — вдруг брякнул есаул Шмалько, и Забреха на чортопхайке моргать начал, будто соринка ему в глаз попала. — Пане сотник, вы погляньте: ишь, анчихрист, опять явился...

Впереди, у поворота сволочной дороги, что тянется над бездной из ниоткуда в никуда, стоял давешний чорт-миротворец.

Зенками бесстыжими лупал.

— Пулей бы! — безнадежно кинул есаул, и сам себе язык прикусил: бил ведь пулей! а толку?

А чортяка подумал-подумал, скрутил левой рукой кукиш, да такой щедрый, что и за неделю не обгадишь; скрутил и в сторону славных черкасов сунул. Пригляделся Логин: кукиш-то чудной! Лапа у чорта шестипалая, вот и торчит из фигуры оскорбительной не один — сразу два пальца, и оба не по-людски шевелятся.

Взыграло сердце у сотника валковского.

Прянул в седло, ожег коня ударом плети.

— За мной!

Только и услышал, как сзади копыта-колеса в сухой грунт ударили. А там уже слушать некогда было: вон он, исчезник проклятый, за поворот уходит.

Вре-ошь!

Тогда не достал, сейчас достану!

Свистел ветер в ушах: с-с-стой, с-с-сучий с-с-сын! Бедра в конские бока корни пустили, вросли намертво: не зверь, не человек — диво дивное несется единым телом, карать насмешника. Щебень из-под копыт врассыпную. Пичуги из крон лохматых — врассыпную. Думы черные, боль сердечная — сгинь, пропади, рассыпься!

Сотник Логин с хлопцами вражьей силе укорот дает.

Грохнул выстрел. Это Забреха. Уверился, как и есаул: адских выкормышей лишь серебряная пуля возьмет. Еще, говорят, пуговица с полковничьего каптана способствует... Ой, куме, выпей чарку! — где они сейчас, те полковники, те каптаны?! Надо б Грому крикнуть, чтоб не смел новые бонбы вслед кидать: порвет ведь всех на маковый порох! — только крик в горле спекся.

Одно получилось:

— Вре-ошь!

Несется чорт по дороге, петляет — впору зайцу! турецкому аргамаку! поземке вьюжной!

Летят по дороге кони-птицы, пылит чортопхайка дареная, с боку на бок вертится — душу черкасы в погоне выплескивают! гнилую накипь с сердец отряхивают!

— Пане сотник! Пане... сотник...

Ударило сзади в уши.

— Пане... вниз... вниз погляньте!..

Или ополоумел есаул? Да кой же дурень в скачке под ноги коню смотрит?

— Вни-и-и-из!.. Пане...

Не удержался Логин; глянул. Поверил боевому товарищу. Пресвятая Богородица, угодники боженькины, сковородки дьявольские! — не зря горланил удалой Шмалько. Нет дороги под копытами-колесами. Была да сплыла.

Небо вместо дороги.

Облака взамен щебня.

Вон птичка летит; чирикает.

— Вре-ошь!

Небо так небо. Не пекло, и на том спасибо. И снова обидела плеть коня кровного. А за спиной гул, вой, бьются небеса в лихоманке — друзья верные не отстают от сотника Логина.

Небо так небо.

Достанем.

А чорт весь кипенью серной брызжет, искры на нем дыбом, зарницы по спине плашом хлещут — умаялся. Видать, несладко синь высокую драть, убегаючи. Вон, аж спотыкаться стал.

И сладко так стало сотнику Логину, что мед пред той сладостью — горечь полынная.

Налево свернул беглец — и черкасы налево. Направо свернул — и черкасы направо. А внизу метушня, гвалт; внизу — замок сам собой вырос, от земли до неба, шпилями ясну солнышку стусаны дает.

Рванул чорт по воздусям кругом замка.

И черкасы — кругом.

— Вре-ошь!..

— Пане сотнику... вни-из!..

Смотрит Логин по новой через плечо: у подножия замка (замка? города? крепости?! Спас Нерукотворный, просвети!) — людишек тьма. Штурмом стены берут. Сперва показалось: и хлопцы-реестровцы, что под чудной Катеринослав убегли, за землю против Мацапур биться, там. Вон, на холме — Свербигуз маячит, дерет глотку, надрывается. Или не Свербигуз?.. кто разберет?! Зато хитрые махинии — кулеметы — справно трещат, заливисто.

А вон и гармата бахнула.

Снуют людишки. Шебуршат. Вверх не смотрят. Нет им дела до чорта беглого, нет дела до черкасов в небесах.

Заняты людишки делом.

Ну и трясця ихней матери!.. Нехай.

На второй круг чорт завернул. И черкасы — на второй.

— Мы возьмем замок! — прогремело от земли. — Мы разрушим это дьявольское капище!

Аж зажмурился Логин — в глаза ударил свет. Невыносимо яркий, ярче солнца, ярче всего, что доводилось видеть. На миг замок исчез, окутавшись белым, жарким сиянием. Это продолжалось недолго, белый огонь начал тускнеть, превращаясь в малиновое пламя. Огненная стена выросла на склоне, ее языки потянулись ниже, свечками вспыхнули растущие у подножия стен кусты...

— Не верьте дьявольскому обману! — встало над пожарищем. — Молитесь, дети мои!

Это правильно, отметил сотник про себя. Это он верно, молитва завсегда душу согреет. Отче наш, иже еси на небеси... и насчет обмана диавольского — тоже правильно. Не поверим. Ни за кисет червонцев, ни за пампушки с чесноком не поверим. Уразумел, чортяка?

Чортяка уразумел.

Укрылся паром радужным да скрежетом зубовным; на третий круг пошел. Дался ему, поганцу, сей химерный замок!

И черкасы — на третий.

Только и успел заметить сотник Логин: вместо людского моря — иное море у подножия плещет. Ходит волнами, играет белыми барашками. Западная башня совсем рядом оказалась: протяни руку — до зубца дотянешься! Площадка на вершине хранит следы пожарища: черные угли, черная копоть на камне, белесый пепел. И девка у края стоит: носатая, косолапая, страшней Судного дня. Хмурится девка: видать, замуж не берут.

Ну и хмурься! — кому ты такая надобна, потвора?!

Змий Огненный с шабаша на Лысой горе и то побрезгует...

Сам себя проклял сотник Логин за думы глупые. Ведь знал же: на сей Околице беду накликать — пустая забавка! Подумай сдуру, словцо камешком оброни — свершилось. Вон чорт взапуски тикает, а вон Змий летит. Крылья шипастые раскинул, пасть вполнеба распахнул, вот-вот проглотит.

— Забреха! Гром! Чортопхайку! Чортопхайку разворачивайте, сучьи дети!

И ударил кулемет дареный по Змию. Распорол небеса треском. Присмотрелся Логин Загаржецкий, прислушался: летит, проклятый, хоть бы хны ему, ироду! — летит к башне с девкой, да еще и пламенем вовсю пыхает, будто черкас записной люльку смалит.

Песню орет, змеина:

Знал я и бога, и чорта,
Был я и чортом, и богом!
Спрячь за высоким забором девчонку —
Выкраду вместе с забором!.

Ну и хай тебе грець! — кради на здоровье.

Мы хоть Господа Бога покамест не встречали, а с чортом привелось... тоже, значит, не голота бесштанная!

Тут замок вроде пониже стал. И море куда-то схлынуло. Луга, поля; рощица жиденькая поодаль. Небо черным сделалось, звезды злые, моргают от недосыпа. А на донжоне замковом народу поприбавилось: тут тебе и девка, тут тебе и баба, тут тебе и...

— Хведир! Яринка!

Не углядел сотник Логин, как беглый чортяка в окошко витражное завернул. Так и влетели следом: сотник с есаулом конные, Забреха с Громом — со всех четырех колес.

Пал чорт об пол каменный — и сгинул, только смолой в стороны брызнуло.

А Забреха, оказывается, все Змия достать норовил.

Все шарашил вслед из кулемета.

Так что стенам в зале крепко досталось.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

...Они замешкались. Все. И первым опомнился не кто иной, как консул Юдка. Дернулся, выгнулся мартовским котом, с губ его слетело Имя Дин — и Тени разом отступили.

Сале, пожалуй, могла бы и сама это проделать, но опоздала.

Вот он, Денница, лежит на каменных плитах и, кажется, не дышит. Неужели — конец?!

— Сейчас, сейчас... — Рыжий пламень бороды глушит бормотанье консула. — Ой, Проводник, давай-ка вместе! уходит ведь!

Он уже склонился над мальчишкой, который сейчас больше похож на призрак, чем на живого... человека? Водит над ним руками, сплетает Имена в хитрую вязь, не давая измученному Деннице уйти до конца, раствориться во Внешнем Свете. Сале торопливо падает рядом, больно ударившись коленями; хватает край эфирного кокона, пеленает обмякшее тельце. О себе думать некогда: вся сила, что есть, щедро льется в ребенка. Не так уж много той силы у Сале Кеваль, но остановить, задержать, не позволить уйти — хватит с лихвой.

А не хватит — на консульские Имена плечом обопрется.

— Братик, братик, не помирай!..

Вокруг бестолково мечется чумак. Знал бы как, помог бы, но не знает. Оттого и слюной брызжет, руками машет, того и гляди, зашибет.

— Сюда иди! ко мне! — властно приказывает женщина. — Ладонь, ладонь на грудь клади! Да не мне, придурок, — брату! Вот так. Вытащим мы твоего братика, кончай орать!

Лицо чумака наливается восковым глянцем; не лицо — снятые сливки. Но ладонь с младенческой груди, против сердца, убрать не спешит. Ничего, парень здоровый, от него не убудет. Потом вином отпоим... красным, трехлетним...

— Хведир, ты б помог панне сотниковой вниз спуститься, — консул наконец разгибает спину и поднимается на ноги.

— Под пули? — мрачно огрызается бурсак, блестя окулярами. — Раскомандовался, душегуб?! Гляди, из пистоля стрелю!

— Не хочешь, как хочешь, — Юдка на удивление покладист. — То-то сотник Логин обрадуется: прибыл в гости, а писарчук Хведир от отца родную дочку прячет! Как мыслишь, чем наградит?

Ответа он не ждет.

Ответ написан на лице бурсака.

* * *

В зале горели факелы и редкие свечи, освещая исковерканные пулями стены и окна, скалящиеся осколками выбитых стекол. Посреди зала, прямо на руинах, что были совсем недавно роскошью обеденного стола, красовалась здоровенная бричка. Похабно торчал задранный вверх ребристый ствол незнакомого оружия. В углу фыркали, били копытом насмерть перепуганные кони, которых распрячь-то успели, а вот вывести из зала во двор — нет.

Не до того сейчас было сотнику Логину и его черкасам! Радостно гогоча, обнимались они с братьями Енохами, лупили друг дружку по плечам, аж пыль столбом! А сам сотник дочку свою на руки подхватил — да так и закружился волчком по зале, вокруг брички, еще больше пугая лошадей!

Сале даже завидно стало: вот ведь радость у людей! И плевать им, что земле под ногами, небу над головой считаные дни, если не часы, жить осталось. Скажи им сейчас тот каторжник в терновом венце, который у веселого Стася на стене вверх ногами висел, что вот допляшут, дорадуются, и пожалуйте на последний суд — в лицо ведь рассмеются...

«А ведь я когда-то тоже умела так. Забыть обо всем, и — головой в омут, когда есть только «здесь» и «сейчас», только ты и *он*, когда сбывается небывалое, когда — вольному воля... Неуже-

ли это и впрямь была я?! Неужели это возможно снова? Хоть на миг! на малую чуточку!..»

«А ты как думала? — ответила та, что таилась внутри Куколки. — Или даже на краю бездны станешь лгать и притворяться?! Игры закончились, сестра. Время нарушать запреты. Время жить, жить и умирать. Но — самой собой! Поняла, глупая?!»

И Сале молча кивнула.

Кокон трещал по швам. Куколка стремительно превращалась в бабочку. Еще немного — и...

— Ярина! Яринка моя! Живая! — орал во всю глотку между тем счастливый Логин. — А я, старый дурень, уж думал — ты с боженькиного рая за нами явилась! Так это тебя нам за спасение душ христианских благодарить да славить надо?!

— Не ее, — голос консула Юдки разом отрезвил всех. — В первую голову вот их двоих славьте. И не скупитесь, панове: им любая слава мала...

Юдка бережно опустил Денницу на скамью, вытер пот с детского лба, и только тут до Сале Кеваль дошло, что черкасы попросту *не видят* беспамятного мальчишку! Да и только ли его?

На этот раз она опередила консула.

Тени вновь отшатнулись прочь — и всем явилось: распростерт на полу длинный, нескладный каф-Малах, Блудный Ангел, исчезник из Гонтова Яра. А рядом, на скамье: чудной мальчишка в ореоле из тумана сизого.

Отец и сын.

— Вот им, панове, в ножки кланяйтесь. Себя не пожалели, а вас, добродии, за шкирку выволокли!..

— Померли, никак? — шепотом осведомился один из черкасов, с головы до ног обвешанный взрывными зарядами.

«Бомбами», — вспомнила женщина нужное слово.

— Живы, Дмитро, живы... Но близко к краю прошлись, не сглазить бы! Пуп надорвали за ваше здоровьице. Гнить бы вам, панове, на Околице, до скончания веков, аминь... Ну и мы с панной Яринкой подсобили самую малость.

«Самую... малость...» — гулко ударило эхом в стены. Пошло метаться по углам. И услышали люди в душах своих тайное шептанье:

«Видел я сынов восхожденья, и мало их. Если их тысяча — я и сын мой из них. Если их сто — я и сын мой из них. Если двое их — это я и сын мой».

Услышали и ответное:

«Могу я избавить весь мир от суда с того дня, когда я был сотворен, до нынешнего. А если отец мой со мной — со дня, когда был сотворен мир, до нынешнего. А если будут товарищи наши с нами — от дня сотворения мира до конца времен...»

Первым молча поклонился, сняв косматую папаху, тот самый черкас, что «Померли?..» спрашивал. Следом и остальные стали кланяться. А сотник Логин стоял-стоял, да и ударил шапкой об пол.

Плюнул в сердцах:

— Дожил! За дочку душу продал, хлопцев растерял, будто лузгу жеваную, слово черкасское ногами топтал! — а теперь еще чортова семейка да жид-капосник с того света вытащили!

И захохотал Логин Загаржецкий, сотник валковский. Так захохотал, что частые слезы из глаз брызнули. Через минуту хохотали уже все — и черкасы, и консул Юдка, и даже Сале не удержалась.

Один только чумак Гринь испуганно примостился на краешке скамьи. Сидел рядом с беспамятным братцем, вовсю таращился на творящееся в зале беспутство.

Не знал: радоваться? горевать ли?

— Так что ж мне теперь: тебя, Юдка, к себе в сотню есаулом брать? К Шмальку в друзяки?! А чортячий кагал — не иначе как в хорунжие?! — выдавил сквозь смех Логин. — То-то славное войско выйдет! Все турки кто со страху, кто со смеху передохнут!

— В есаулы! Славно! — ухмыляясь в ответ, консул то гордо подбоченивался, то закладывал большие пальцы за отвороты жупана. — У Мацапуры-Коложанского сотником надворным был; у тебя, пан Логин, есаулом стану! Сала наемся, горелки напьюся, с девкой налюблюся — и в народные комиссары!

— В кого, в кого, иродово племя?!

— Ну, в митрополиты! А что мне таки терять, кроме своих пейсов?

— Владыко Юдка!

— Хо-хо-хо!

— А-ха-ха!

Наконец все отсмеялись. Только есаул Шмалько еще время от времени всхрюкивал, утирая слезу — никак угомониться не мог.

Видать, жид в митрополичьей ризе мерещился.

На коне, с девкой.

— Ладно, хлопцы, гоните табун на двор. Эй, донечка! — тут у вас другой стол найдется?

— Всенепременно! — вылез вперед довольно улыбающийся Теодор-Хведир.

— А горелка с доброй закусью?

— А як же! — в тон ему откликнулся Мыкола Енох.

— Ну то тащите, хлопцы, та давайте вечерять! — Сотник взял себя в руки, разом став серьезным. — Расскажете, что тут у вас...

Взгляд сотника, лучась неподдельной, червонной любовью,

мазнул по собравшимся вокруг людям. Родным, верным; своим Хоть и в чужой земле, хоть и на самом краешке обрыва, а все едино — свои. Задержался на теле бесчувственного каф-Малаха. Того насмешника, за кем гнались лихие черкасы в небесах круг за кругом — а выходит, что и не гнались, а верхом на этом, черном, скакали, будто хлопец голопузый на конячке. Дальше взгляд двинулся — вот разнопалый мальчишка, что плясал в небе рядом с Яринкой, «Батька!» с панной сотниковой на два голоса кричал...

Уперся взгляд в консула Юдку.

Закаменел.

А как был теплым, так теплым и остался.

— Цацка, — вдруг сказал-спросил Логин, и брови его поползли на необъятный лоб. — Слышь, есаул пейсатый? — цацка-то твоя златая...

— Не моя, — ответил Юдка.

— Ну, Панькова... или этого, героя драного...

— И не ихняя. Вот его цацка.

Еще раз посмотрел сотник на каф-Малаха.

Еще раз — на консула.

— Так вроде оса там раньше сидела?.. в цацке-то?!

Сале вздрогнула: показалось, вьюга за шиворот ледяной крупы сыпанула. Не вьюга — память.

Разом встало: судорожный взмах — и драгоценная искорка, кувыркаясь, полетела в снежную пелену.

— Батька! Лети... лети, батька!

Визг проклятого ребенка слился с порывом ветра. Проморгавшись, Сале увидела рядом с собой героя Рио — тоже в седле. Князь не ошибся в выборе: сдерживая пляшущего жеребца, герой показывал женщине пойманный на лету медальон.

Тот, что урод-дитя все время таскал на шее, заходясь истошным воем, едва кто-нибудь хотел посмотреть цацку или, упаси небеса, потрогать.

Сокровище, понимаешь...

...Но ведь там, внутри, действительно была золотая оса?!

Сале вгляделась, отметив мимоходом: консул тоже пристально рассматривает медальон, закусив прядь бороды.

Никакой осы внутри не было.

Ни золотой, ни медной, ни живой полосатой злюки с жалом наперевес.

Сгинула.

— Ишь ты, — невпопад буркнул Логин, и повторил еще раз: — Ишь ты...

Батька думает, что он огрызок.

* * *

А я ему говорю, что в огрызке — семечки. Надо только закопать их в грязь. Весной. И тогда вырастет новое дерево. Если не верит, пусть спросит у братика. Братик говорил, что всегда так. Останется от кого огрызок — его в грязь закапывают. Песнями разными поливают. Слезами. Чтобы дерево до самого неба выросло.

Ты не смейся, батя.

Просто братик сам себя не понимает. А я понимаю. И ты понимаешь, только боишься.

Батька, я тебя... Спасу? — спрашивает он.

Не-а. Я тебя люблю.

Тогда он ерошит мне волосы, и мы летим.

Потихонечку летим, никуда не торопимся. Вокруг света насыпано: кучи целые. И кислый свет, который изнутри, и перченый, который снаружи. Батя говорит, его есть нельзя. Можно только слюнки глотать.

Я глотаю.

Батька уморился. У батьки коленки дрожат. Я тоже уморился, но меньше. Кто-то успел подсунуть мне горстку сладеньких смысел. Смыслы называются Именами, но пока пусть еще немножко побудут как раньше — смыслы. Я скоро вырасту, вот тогда и буду называть их Именами.

По-взрослому.

Иногда я боюсь быть взрослым.

В животе бурчит. Это тетка мне смыслу дала. И носатый дядька. Тетка раньше была плохая, а теперь лучшеет. Я знаю: она просто спала все время. Она была сонная и злая. Сонные, они всегда злые, если разбудить. Вот проснется, умоется, и станет совсем доброй.

Я не буду ее убивать.

Слышишь, тетка?.. Не слышит.

Я хотел отдать бате одну смыслу, из тех, что подарил мне носатый дядька. В дядьке свернулся калачиком горелый хлопчик. Хлопчику страшно и плохо. Я спасу хлопчика в дядьке. Он мне хорошие смыслы дал, жаль, что маленькие. Пожадничал, наверное. Или нет у него больше.

А батька едва не заругался.

Сказал, что я глупый, глупый каф-Малах. И если я не буду хорошо кушать, он мне уши надерет. Даром, что ли, я их всех на своем горбу вытащил?

Я сказал, что буду хорошо кушать. Вместе с батей. Он тоже сейчас слабенький; ему ругаться нельзя. Потому мы и летим медленно, и за пленочки заглянуть не можем. Даже за самую ближнюю. Я испугался, что так теперь всегда будет.

Как? — спросил батя.

Много света и больше ничего, ответил я. Зачем тогда вырастать?

Но батя сказал, чтобы я не боялся.

Это скоро пройдет, сказал он.

Тогда я обрадовался. Я ему смыслу дядькину за пазуху тайком сунул. Мне Ирина Логиновна Загаржецка однажды говорила, что большой добрый дядька завещал делиться. Вот я и поделился. Но батя не позволил. Вынул смыслу из-за пазухи и мне в рот запихал. Сказал, что мне надо расти, если хочу всех спасать.

Батя умный. Я-то об этом и не подумал.

Тогда я попросил драть меня за уши, чтобы быстрее расти.

Чтобы успеть.

Батя долго смеялся. Потом сказал, что я еще маленький. Что я ничегошеньки не понял. Поэтому он ничего объяснять и не станет. Он просто покажет. И стал показывать. Он был прав: я ничегошеньки не понял. Зато увидел: садик за забором, по забору крейдой написано «ПАРДЕС», и на деревьях растут ба-а-альшущие смыслы. Рыжие, лиловые, смарагдовые и такие... рябенькие.

Я таких еще не ел.

Вкусно.

И расти хочется быстро-быстро!

Батя сказал, что есть надо молча. А он когда-нибудь покажет мне дорогу в садик «ПАРДЕС». Нет, сказал я, когда я вырасту, я в том садике жить буду.

Наверное.

Потом подумал — оказывается, я тоже немножко думать умею! И сказал, что лучше, если он мне все-таки покажет дорогу.

Бате было приятно.

И мне тоже стало приятно.

И сразу же откуда-то явилась маленькая, но очень сладкая смысла.

Я ее повертел в руках и сунул бате прямо в рот. Он сперва проглотил, а потом стал ругаться. Опять уши драть грозился.

Тогда я понял, что все сделал правильно.

Она проснулась от звука трубы.

Ну конечно! Сале взглянула на золотистый прямоугольник солнца, что протянулся ковром от окна к ее кровати. Такие ковры стелют к брачному ложу, дабы бывшая невеста, а отныне и навеки молодая жена вышла к людям, ступая по свету. Говорят, хорошая примета.

Где твоя свадьба, Куколка?

Где твой жених?.. Радуйся, что хоть еще один светлый день даден тебе в награду завистливой судьбой. И тот давненько начался — заспалась ты, красавица. Час Иволги на дворе, а то и час Щегла, в столице хозяйки уж домой с базара торопятся, насудачились, набили корзины доверху! Надо успеть муженьку горячий обед сготовить — если, конечно, есть они еще на свете белом: столица, хозяйки, базар, муженек... Да и тебе спешить надо. Помнишь, вчера, за безумным ночным застольем, кто-то каркнул вороном-вещуном: времени замку отведено до утра?

Утром, мол, явится парламентер за ответом.

Вот и явился. Утро не утро, солнышко во-он где! — а труба зовет. Хорошо хоть выспаться всласть дали, после вчерашнего...

«Дядька Князь злой. Он голову доброму дядьке отрезать хочет...» — без причины всплыли в памяти слова Денницы.

И свадебный прямоугольник на полу налился багрянцем, а там и отечной синевой. Видать, снаружи наползла тучка на солнце ясное.

Или радуга цветным боком под луч подвернулась.

«Что, мастер мой? что, славный князь Сагор, вытекает жизнь твоя? — зло усмехнулась Сале Кеваль, садясь на кровати. — Слышишь ли сейчас свою Куколку?! Жаль, не я тебе руку оторвала!.. Ну да ладно».

Женщине было странно вот так сидеть, вот так думать. Ненависть к мастеру, к губителю ее любви, раньше была единственным ярким пятном в жизни Сале, разом потускневшей после казни Клика. Теперь же, среди множества ярких пятен, внезапно полыхнувших на ее шальном пути — от кровати к окну? от жизни к смерти? от рабства к воле?! — среди этих огней ненависть словно потускнела, стала одной из многих.

И все равно: осталась.

Они двое за Сале пришли, с двух сторон: мастер-убийца, князь Сагор — и Самаэль-Малах, Ангел Силы.

Не Серебряный наместник под стенами, не латники-лучники ждут — они.

Оба.

«Теки, жизнь мастерская, из жил невидимых! Подыхай как

собака, владыка! Одно скажи: зачем тебе голова веселого Стася понадобилась? Откупиться от судьбы? В мяч на жизнь сыграть? И запомни, если слышишь меня: это я, я, твоя Куколка, влила свою каплю яда! Я уговорила пришельцев отказать тебе! Помнишь Клика-оруженосца?.. Нет? Ну так еще вспомнишь, когда смертным воем взвоешь!»

Вчера, прежде чем малыш-Денница с бешеной Ириной «ушли» за подмогой, успели и об этом деле переговорить. Решили сообща: голову Мацапурину князю никак отдавать нельзя! Зачем одному чернокнижнику голова другого?! Для добрых дел?! Сироткам на именины дарить?! Да и обещанный медный венец никого не ввел в заблуждение: мог и все княжество от широкой души посулить! Забирайте, мил человеки, мой свет белый от края до края! Жить здешнему Сосуду всего ничего осталось — зачем Ирине Логиновне венец, зачем княжья милость?!

Хоть в рай, хоть в ад: с собой не унесешь...

Только что ж ты прячешь за пазухой, милый мастер? Зачем тебе эта голова? Явись! Расскажи! Никуда ведь не денешься, ежели не хочешь вместе со всеми — в радугу! А ты ведь не хочешь?

Посмотрим, сумеют ли твои люди замок взять! Пусть понюхают огненной смерти из-за Рубежа! Да и Куколка в сторонке не отсидится — останешься доволен ученицей, князь Сагор!

...А Денница — этот по-своему решил: «Я их не пущу. А кто доброго дядьку тронет, того сам убью». И странное дело: никто, даже Енохи-тугодумы, не усомнился в словах чудного мальчишки.

Мальчишки, что лежит сейчас без чувств рядом с отцом своим.

* * *

«Хватит бока греть! — приказала себе Сале. — А то узнаю, чем закончились переговоры, только когда стены рушиться начнут!»

Она спешила жить. Душа пела натянутой струной — ее время, ее! Пусть этого времени осталось на кончике ножа! Пусть! Все, что есть, — ее! Вперед, Сале-Бабочка! Как там говорил малыш? «Самаэль — это большая розовая бабочка?»

Женщина улыбнулась.

В зале было гулко и пусто. Прямо на скамье, кем-то застеленной клетчатым пледом (не Ирина ли расстаралась?), — на скамье спал, свернувшись калачиком, Денница. Женщина с удовлетворением отметила: ребенка уже видно и обычным зрением. Значит, понемногу оправляется. То же самое можно было сказать и о старшем каф-Малахе. Блудный Ангел по самые глаза

был укрыт ковром; а под голову ему сунули другой плед, черный с красным, сложенный вчетверо.

Переносить спящих (спящих ли?!) из зала в покои не решились.

Возле скамьи, на полу, сонно моргал еще не до конца очнувшийся Гринь. Больше всего чумак в этот момент напоминал побитую собаку.

И выслужиться нечем, и уйти некуда.

— Останься в замке, — мимоходом бросила парню Сале Кеваль. — Приглядишь за братом. И поесть чего-нибудь в кухонных кладовых расстарайся, пока мы с наместником договариваться будем. Думаю, потом времени трапезничать не останется.

Она мало надеялась на успех переговоров. Значит, будет штурм. В ход пойдет все: и огнебойное оружие черкасов, и катапульты-арбалеты осаждающих.

И для крючков на саламандриков место сыщется.

Сале с некоторым удивлением заметила, что продолжает улыбаться. Что, потягаемся с магом, кого б там ни призвал в свое войско Серебряный Венец? Прежняя Сале Кеваль еще десять раз прикинула бы, стоит ли ввязываться в эфирный поединок с противником неизвестной силы. Только где она, прежняя?

Женщина заботливо оправила ковер-одеяло на Блудном Ангеле. «Как на усталом муже», — мелькнула диковинная мысль. Едва касаясь, тронула ладонью лоб Денницы (холодный! мокрый...) — и легко сбежала по ступенькам в обширный холл замка, а там и во двор.

Все были уже в сборе.

Даже парламентер, гремя железом доспеха, как раз перебирался через стену.

Сале с удивлением узнала в парламентере героя Рио. Все-таки тесен мир! Да что там мир — миры, сфиры, Сосуды! Шагу ступить нельзя, чтоб не наткнуться на знакомого!..

Воистину Большой заказ большим получился.

Спросить: обзавелся ли новым палачом с лекарем в придачу?.. Ладно, зачем судьбу зря за усы дергать. И без того не лицо у господина героя — забрало из плоти бледной. Не разберешь за тем забралом: где пьяненький горемыка, что маршировал ночью? где странствующий герой? где Заклятый слуга всех господ?!

— Наместник Серебряного Венца Гоар приветствует славный гарнизон осажденной крепости. О, и вы здесь, господин сотник! Я рад, что вы нашли свою дочь...

— А я жалею, — проворчал Логин Загаржецкий в усы, глядя мимо парламентера. — Жалею, герой запечный, что мы тебя еще в Валках на палю не надели...

Рио на миг запнулся, но быстро оправился.

Продолжил:

— Господин наместник уведомляет, что время, выделенное вам для раздумий, истекло. И желает знать: согласны ли вы на условия Его Светлости князя Сагора?

— Условия? Какие такие условия?! — Забыв на миг об измене подлого героя, сотник Логин больно толкнул локтем в бок Теодора-Хведира.

Едва окуляры с носа бурсачьего не свалились.

— Да, право, пустяки, пан сотник! Кнеж здешний голову Мацапуры-чаклуна желать изволит! — шепнул в ответ Теодор. — А за сей подвиг осаду снять обещает да вашу Яринку в тутошние старшины произвести, милостью своей!..

Сале вздрогнула от запоздалого понимания: господин Загаржецкий еще ничего не знает! В суете встречи ему просто-напросто забыли рассказать, что...

— И на том свете всем досадить успел, харя поганая, и на этом! — процедил сквозь зубы сотник, сплевывая парламентеру под ноги. — Слышь, Яринка: так, может, и не ворог он нам, кнеж-то? Одна забота: где ж ему ту клятую голову раздобыть? Ищи-свищи теперь Дикого Пана, трясця его матери!

А Теодор, естественно, сказал то, что и должен был сказать:

— Есть ли надобность искать его, пан сотник?! В подвале он у нас имеет место пребывать, в клетке железной...

— То есть как: имеет место?! — на миг сотник дара речи лишился.

— В клетке, в подвале. Полоненный, значит, — охотно пояснил Мыкола.

Есаул Шмалько аж ногой притопнул:

— Так за чем дело стало, панове? Отсечь башку злыдню — и кнежу на златом блюде! Шо тут думать?!

— Делать то никак не позволительно, пан есаул! — попытался вмешаться Теодор, но опоздал: сотник Логин наконец пришел в себя.

— Не позволительно?! Не позволительно, чернильная твоя душонка?! Нехристю и душегубцу голову рубить не позволительно?! Да за тем ли я сюда через Рубеж ломился, за тем ли хлопцев с собой тащил-терял, чтоб Дикого Пана грудью защищать?! Ты что мелешь, бурсак?! А ну, давайте мне того харцызяку!..

— Батька, опомнись! Я б сама Мацапуру-выродка на куски порвала! — только кнежу голову отдавать никак не можно! Чернокнижник он, катюга, хуже Дикого Пана!

— Цыть, дура! Разоралась! Ума наживи! — с батькой спорить!

— А я говорю — не отдам! Сперва тогда меня рубите!

— Дура! От ведь дура!

— Господин сотник, ваша дочь полностью права. Голова гос-

подина Мацапуры нужна князю для неких магических действий. Если мы ее отдадим доброй волей, то потеряем единственный козырь...

Сале попыталась было спокойным, рассудительным тоном отрезвить сотника и его ополоумевшего есаула — но куда там!

— Замовчь, подстилка Мацапурына!

— Небось дрын его вспомнила — вот и выгораживает, мозги нам заплетает!

— Послушайте своего умного батьку, панна Яринка! Нам бы столько удач в карман, сколько у них войска! Соглашаться-таки надо! Да что ж вы за пана Станислава горой?! — будто он вас гусиными вышкварками с ложки кормил...

— Ото жид! Ото всем жидам жид! Молодцом!

— Верно тебя пан сотник в есаулы прочил!

— Да чтоб я жиду поганому верил? Панна Яринка сказала: не можно — значит, не можно!

— Язык прикуси, Еноха! Или ты с ведьмой заодно?

— Я — с ведьмой?! А ну иди сюды, собачий сын! Я тебе...

— Кто — собачий сын?! Я — собачий сын?! Иду, Мыкола, иду, крапивное семя!..

Скандал ширился, разрастался, расправлял саженные плечи. Ему, скандалу гвалтовичу, было вольготно здесь, на замковом дворе, дышать полной грудью, — наливая лица сизой краснотой, забивая глотки хриплым кляпом брани. Легли ладони на эфесы сабельные, сжались в кулаки, забелели литыми костяшками; катнулись желваки на скулах.

«Армагеддон, — без причины вспомнилось Сале Кеваль удивительное Имя, взятое из самой страшной книги в библиотеке веселого Стася. — Последнее поле».

Вот он, наяву: скандал, переходящий в Армагеддон.

Смешно?.. Смейся, Куколка! До слез, до судорог — смейся!

— Га?!

— Ото ж!

— Та хватит вам, хлопцы, кончайте свару!

— Нет, пусть он мне в ясны очи скажет — кто собачий сын?!

— Рубить! Вщерть!

— Не можно!

— Да вы что, сдурели, вражьи дети?!

— Это мы сдурели?! Это мы — вражьи?!

— Это мы — дети?!

— *Господа!!!*

Голос героя Рио лязгнул боевым железом, и все как-то разом смолкли.

— Отпущенное вам время истекло. К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению. Вынужден объявить вам от имени

господина Гоара, наместника Серебряного Венца, что в самом скором времени мы будем иметь честь начать военные действия. Переговоры окончены. Всем спасибо.

И герой, бряцая доспехом, полез обратно через стену.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

— Докричались, курьи головы?! — Сотник весь кипел, как котел, забытый растяпой-кашеваром над жарким костром. — Теперь из-за того клятого Мацапуры всем гинуть доведется! Эх, канчуками бы вас кожаными! да горелкой вспрыснуть! да по новой канчуками упарить...

Логин обреченно махнул рукой: что, мол, теперь глотку драть?

— Шмалько!

— Здесь я, пан сотник!

— Зброю всю огнепальную перечти быстро. Мне доложишь.

Разумеется, писарчук Хведир со всех ног кинулся помогать есаулу и едва не сбил того со счета своими мудреными словесами. Однако Логин Загаржецкий внимания на бурсацкие вытребеньки не обратил. Про себя бранясь по-черному, окинул цепким взглядом стену — поставь на плечи джуру верного, так еще и с гаком выйдет! — крытую галерею поверху, крепкие ворота, зубцы донжона... Знать бы: сколь далеко дареная махиния бьет? По-любому — куда дальше, чем булдымка или та же фузея. Значит, вон туды ее, матушку, в угловую башню: из башенного окна ворог как на ладони, весь его табор, и укрепления, что перед фортецией возвели.

Запляшут трепака, нюхнув черного пороху!

Никогда реестровый черкас от боя взапуски не бегал, не бывало такого чуда на свете белом! Только это ж не черкасом-реестровцем, а дурнем наипоследним быть надобно — супротив цельного войска с голым гузном переть, когда всех делов-то...

Ладно, после драки за чубы не таскают. Сам виноват, пан сотник: не сумел людей в кулаке удержать, приказать, заставить, на своем настоять — крутись теперь ершом на сковородке!..

— Так что докладываю, пане сотник: гармата — одна, гаковница — одна, кулемет «кропоткинский» — один, пистоля жидовской системы «маузер» — тоже одна. Рушниц шесть имеется, пистолей разных — одиннадцать. И еще у Грома бонбы в запасе: фитильных — чортова дюжина ровно; и новых, бутылочных — семь штук.

— А с зарядами как?

Шмалько на миг замялся, почесал в затылке. А потом решительно вытолкнул вперед взлохмаченного Хведира Еноху:

— Пусть пан войсковой писарь докладает! У него все записано.

— Докладай, Хведир, — кивнул Логин новоявленному войсковому писарю. Ишь, зарделся малый: кумачом горит. — Только гляди у меня: без выкрутасов! не в бурсе!

— Итого зарядов к дивовидной махинии, кулеметом именуемой, в наличии четыреста тридцать семь штук... — поспешно забубнил Хведир, тычась окулярами в мятый листок пергамента, сплошь исчерканный буквицами и цифирью.

Во дает, чернильная душа! и когда сосчитать успел?! — еще подивился Логин.

— ...у жидовина Иегуды Иосифыча (сотника чуть удар не хватил: Иосифыча! ну, пан писарь!..) к пистоли «маузер» — сорок девять зарядов, ежели не врет. К рушницам пороху да пуль — на дюжину выстрелов с каждой; к пистолям — до полудюжины; с гаковницы Петровой три раза бахать выйдет, а в гармате — тот заряд, что в ней допрежь имелся. Ежели порох весь до купы собрать, то выйдет и по второму разу в гармату забить, однако же тогда из рушниц и гаковницы палить нечем будет. А кроме того, имеется у меня соображение, пан сотник...

— Хватит, пан писарь. Соображать после будем, коли живы останемся! — оборвал бурсака Логин, почуяв сердцем: сейчас не остановишь хлопца, он до Страшного Суда свои «соображения» высказывать будет. — Кто с кулемета палить горазд?

— Я! — гордо выступил вперед Забреха. — Обучили кропоткинцы! Только второй нумер потребен, пан сотник: ленту держать. Чтоб не перекосило заразу...

— Подержишь, пан Ондрий?

Приказывать старому другу не стал. Спросил, будто в камышах на рыбалке: подержишь, мол, удилище? пока я горелки в кружки разолью?

— Да куды ж я денусь, ежели для дела... — отвел глаза Шмалько.

Оно и ясно: хотел есаул на стене остаться, где вскоре самое пекло начнется. Эх, пан Ондрий, не тужи, завей горе веревочкой: дойдет очередь и до рубки пекельной!

Не минует она тебя, и остальных не минует!

— Для дела, есаул. Одно у нас дело, на всех. Берите с Забрехой кулемет — и в башню. Вон в крайнее окошко выставляйте. Гей, ведьма... то бишь пышна пани Сало! Ты местные порядки знаешь: как мыслишь, не обойдут нас с тыла?

— Быть не может, господин сотник. По благородному уставу испокон веков положено атаковать крепость со стороны ворот, возвестив троекратно начало штурма.

— Ну то добрый устав, коли не наш. И без того полдень на дворе, самое пекло, а ведь могли бы и на зорьке ломануться, лы-

цари... Петро! С гаковницей — марш на галерею, леворуч от ворот. Без приказу не палить. Понял?

— Угу.

— Мыкола! Собери все рушницы, порох, пули до них — и со мной. Праворуч станем, до тех бойниц. А ты, Гром, над воротами засядь. Как набегут близко, в ров полезут — бонбы кидай. Да намотай себе на ус: зря не трать...

— Обижаете, пан сотник! Что ж я, пальцем деланный?! — и впрямь обиделся лихой москаль: аж в грудях у него пискнуло. — Пусть только набегут, едрена Матрена! Сами увидите, как потроха ихние в небесах зачирикают!

Вот в этом-то сотник валковский как раз и не сомневался! Было б еще огневых припасов в достатке... Не приходилось Логину Загаржецкому фортецию чужую с десятком человек от цельной армии оборонять! Да и подкрепление к врагу в любой миг подойти может. А им, вареникам в чужой сметане, помощи ждать неоткуда...

— А в какое место пан сотник мне стать повелит? Или то место, не при пышных паннах будь сказано, шибко смачно пуляет?!

Юдка Душегубец ухмылялся в рыжую бородищу, и Логин еле сдержался, чтоб не покрыть вредного жида тройным загибом.

— А ты со своей христопродавской пистолей к Петру до пары становись. Прикрывать его будешь. Да смотри мне...

— Вэй, смотрю, пан сотник! — Юдка в восторге хлопнул себя по ляжкам. — Аж боюсь: повылазит! Таки в одну халепу вляпались, значит, все у нас теперь пополам: и мой шаббат, и ваше воскресенье!

Ответить не удалось: на два голоса помешали.

— А я, пан сотник?

— А я, батьку?

Еще эти горе-вояки: дочка колченогая да их мосць, пан писарь! Вдвоем как раз за половинку черкаса сойдут.

Ту, что от земли до пупа.

— А вам я гармату доверю. Значит, так: ставим посреди двора, наводим на ворота. Ежели вышибут — тогда и палите, в упор. Все равно пороху на один выстрел! Заряжена гармата-то?

— Заряжена, пан сотник! Картечью. По сему поводу имею я одно соображение...

— Картечью — то добре. А ну-ка, подсобите!

Втроем стащили гармату с телеги. Завалили телегу на бок. Хведир все пытался высказать свои «соображения», но язык прикусывал: когда кряхтишь от натуги, не очень-то поболтаешь!

— Вот так! А теперь гармату — на колесо. Придержи-ка, пан писарь. А ты, Яринка, веревку давай, что покрепче. Вяжи гармату поверх... теперь на ворота наводи... от славно! Фитиль, креса-

ло есть? Добре. И молитесь, от души молитесь, чтоб до вас черед не дошел!

— Я тут... пани Сало велела...

Ну конечно, чумак-иуда! Моргает псом побитым, котелок с кулешом тянет. А пахнет-то: аж в брюхе зашкворчало!

— Найди мисок там или еще чего, ложки — и хлопцам разнеси. Пусть впрок поедят. Да, есаула с Забрехой на башне не забудь! Потом — ко мне. Как бой начнется — станешь сзади, будешь нам с Мыколой зброю заряжать.

— Спаси вас боженька, пан сотник! — просиял чумак; видать, решил, простили его. Это он зря. Да только когда каждый человек на счету, и самому распоследнему иуде дело найдется. — Да я...

— Выполняй! Бе-го-о-ом!

Чумак рванул как ужаленный. Котел здесь покинул и умчался. Раньше б от греха так бегал, дурачина... эх, да что там!

Всем бы нам раньше...

* * *

Выглянул в бойницу. Во вражеском таборе наблюдалось движение, но время еще явно оставалось. Не возвестили троекратно, шляхетное панство! Спасибо чумаку — хоть и ведьмин сын, и чортов братец, а кулеш отменный сготовил! И сальца не пожалел. «Не в последний ли раз брюхо тешить доводится?» — брызнула в очи дурная мысль, но Логин решительно погнал вещунью прочь. Перед боем не о смерти, о победе думают.

Стал думать о победе.

О-хо-хо, думы мои, думы, лихо мне с вами...

Хлебнул горелки из походной филижанки. Крякнул, обтер усы и ладонью загнал пробку на место. Ну, теперь и воевать можно!

Привалился к теплым шершавым камням стены, смежил веки. Солнце припекало — совсем как летом возле хаты, под старой, еще дедом посаженной, вишней .. Хата! вишня! Где та хата, где та вишня?! где то солнце?! Случится ли на родной порог ступить? Сотник решительно открыл глаза, трижды сплюнул через левое плечо, прищурился на небо...

Что за наваждение бесовское?!

Вся высь радужными сполохами переливается. Солнце желтой кляксой на треть небосвода размазалось — и словно бы звон в ушах стоит: тонкий, хрустальный. Раньше не до небес было, а сейчас само в глаза сунулось! Вверху-то, вверху, в самом зените — ишь, дырища! Это в горних высях-то?! И вся радуга в дырищу ту ползет-течет, не кончается. Неужто и впрямь Страшный Суд объявили, а они в суете не услышали?! Помилуй, Господи,

нас, грешных! Сотнику-то валковскому, Логину Загаржецкому, по реестру божескому нет прощения, потому как продал сотник душу свою христианскую, но остальных-то за что?!

Хоть их помилуй, Господи...

Со стороны табора быками взревели трубы — и сотник, разом позабыв о заоблачном непотребстве, прильнул к бойнице.

Началось!

От насыпанного вала, от шатров стройными рядами бежали воины в латах, с пиками наперевес. Любо-дорого посмотреть: доспехи сверкают пышно, флажки по ветру развеваются... ага, вот и лучники с самострельщиками позиции занимают.

— Забреха, стрелков видишь?! — заорал сотник, обернувшись к башне.

— Ага! — донеслось сверху.

— Пали!

Ударило из дула кулемета пламя. Заплясало огненной бабочкой, задергалось; грохот наполнил гулкий замковый двор. А впереди, где бежали в атаку бравые латники, где стрелки по гребню вала натягивали свои луки и взводили тугие самострелы, — там разом запылила-задымилась земля, поперхнувшись, смолкли трубы, раздались первые вопли раненых.

«Так их, Забреха, так! — шептал сотник, закусив прокуренный ус и ударяя о шершавый камень тяжким кулаком. — Вали сучьих выблядков! Это вам не на парадах красоваться да лыцарским вежеством друг перед дружкой щеголять!»

Еле опомнился.

— Хватит, Забреха! Побереги заряды!

Услыхали его? сам ли Забреха догадался?

Во всяком случае, кулемет послушно утих.

На земле перед замковым рвом скорчилось больше десятка неподвижных тел; раненых спешно оттаскивали в укрытия.

И стрелки, кто жив остался, в траншеи попрятались.

«Что, пан герой? Упредил своих про огнебойную зброю? А про дареную махинию ты знать никак не мог! Вот тебе и подарочек на крестины! погодь, еще сыщем...»

Противник поспешил отступить в явной растерянности. Однако длилась сия конфузия малый час, и сотник вынужден был отдать должное здешним воякам. Хоть и лыцари важные, аж пробы на задницы ставить некуда, а дело свое туго разумеют. Вновь заливисто пропели трубы (раньше быки орали, теперь кочеты рассветные!) — и из-за кольца повозок, из ближней рощицы горохом сыпанулись атакующие. На этот раз они бежали не плотным строем, а врассыпную. Передние толкали перед собой тяжелые деревянные щиты на колесах.

Быстро сообразили. Рушница такой щит, пожалуй, что и не возьмет.

Ну-ка, а кулемет?

Словно в ответ с башни вновь послышался дробный грохот — умен Забреха, открыл огонь, не дожидаясь опаздывающего приказа.

Не побоялся сотничьего гнева.

Из щитов полетели мелкие щепки. Вот один вояка упал, другой... Но Забреха не успевал! Атакующие лавиной подкатывались все ближе, не обращая внимания на тела боевых товарищей, что устилали путь. Вот-вот окажутся под стенами, укроются от Забрехи...

Пора!

— Давай, Мыкола! Давай, жиду! Давай! — заорал Логин и сам прильнул к бойнице, повел стволом, выискивая цель. — Чумак, забивай пулю!.

Фузея привычно толкнула в плечо, окуталась дымом. Сотник знал: не промахнулся. Отбросил разряженную фузею назад, чумаку, схватил другую. Сбоку, полтавским соловьем, засвистал Юдкин хитрый пистоль. Молодец жид, метко целит!

Мыкола! Где ж ты, Мыкола? Чего не палишь?!

— Пане сотнику, пане сотнику!.. Погляньте, ради Христа-Спасителя! Там... там наши!

— Что?!

— Наши, говорю! Бульбенко, Свербигуз...

— С глузду съехал, балаболка?!

Сотник до половины высунулся из бойницы, забыв осторожность. И невольно выругался. Чорт! Прав-таки Мыкола! Меж блестящих доспехов хорошо были видны жупаны, белые сорочки и лазоревые шаровары черкасов. Точно, вон и Бульбенко бежит, медведь косолапый, и Свербигуз вприсядку, и, кажется, еще кто-то из реестровцев — отсель хрен разберешь...

По стене рядом цвиркнула стрела. Затем — еще одна, но Логин не обратил на пальбу внимания.

До того ли?!

— Не стреляйте, пане сотнику! Это мы! На подмогу до вас! — весело донеслось снизу. — Открывай ворота!

Неужто и взаправду опомнились хлопцы, на подмогу явились?! Кто там к воротам ближе всех? Яринка с бурсаком?

Сотник набрал было воздуха: отдать приказ! отворить! — как вдруг охнул, увидев небывалое. Мыкола-угодник! Спасители небесные! Лицо выбиравшегося из рва Свербигуза, сплошь измазанного тиной-ряской, все переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, рот в минуту раздался до ушей, изо рта выбежал клык, и стал черкас — колдун бесовский.

— Ах ты, адов выкормыш! — креститься уже не было времени, и сотник попросту выпалил из рушницы в гнусную харю.

Редко давал промах Логин Загаржецкий.

И сейчас: не пропал заряд даром.

Харя щедро брызнула красным, разлетелась кровавыми сгустками, и мгновением позже на земле задергалось, засучило ногами тело наместничьего вояки — в латах, с диковинной шаблей в мертвой руке.

Тьфу ты, пропасть, мара чаклунская!

Отбросил назад рушницу, схватил другую. Получи, нечисть богопротивная! Ага, берут тебя пули, берут! Обычные, свинцовые. Ну, то и добре. Под черкасов-братьев рядиться вздумали, личину пялить?

Н-на!

Сбоку охнул, мигом выпалив из своей янычарки, Мыкола Еноха. Видать, узрел наконец! Не помогли ворогу чары басаврючьи!

Сотник обернулся за очередной рушницей, мазнул взглядом по двору — все ли в порядке? — и на миг застыл. Встретился глазами с женщиной у перевернутой телеги.

Ведьма Сало... Сале. А, не все ль едино?! — когда горят зенки хитрой бабы огнями болотными. И видится в них сотнику Логину: был латник, стал Свербигуз, был Свербигуз, стал лысый дидько! Что ж это выходит, панове-молодцы? Это, значит, она, пышна пани, чары ворожьи от него, сотника валковского, отвела? она обман колдовской распознала? не дала скомандовать открывать ворота?! Ведь еще бы чуть-чуть...

Она. Больше некому.

Сотник махнул рукой ведьме — спасибо, мол, баба! молодцом! — и в эту секунду неожиданно захлебнулся кулемет.

Неужели заряды кончились? Плохо дело!

Логин понимал, что он теряет драгоценные мгновения, что надо стрелять, стрелять, пока есть порох и пули, но взгляд мимо воли сам метнулся вверх по стене башни.

На краю окна, ангелом господним, стоял Забреха. Блаженно лыбился из-под густых бровей, воздевал к радужному небосводу руки. Сотник хотел крикнуть, выбранить, но слова застряли у него в глотке. Забреха сделал шаг вперед — как показалось Логину, ступая прямо по воздуху, — и тут черкаса уцелил толстый арбалетный болт.

В улыбку вошел, в уста молодецкие; из затылка вышел.

Тело кувыркнулось вниз, шмякнулось о булыжник двора — и медленно, словно не желая расставаться с вольной жизнью, обмякло.

Вокруг головы стала натекать бурая лужа.

Валковский сотник молча перекрестился. Вот и нет верного товарища, которого так и не смогли взять турецкие пули да ятаганы!

Прими, Господи, душу раба Твоего...

— Ну, чаклуны подколодные, ходи на вареники! — разлетелся по двору крик есаула.

Из ствола кулемета вновь ударило пламя. Дернулось, затрепетало — и поперхнулось само собой.

— Чорт! — раздалось из окна. — Клята махиния!..

И сразу, растерянно, чужим сиплым взвизгом, меньше всего похожим на вопли бывалого есаула:

— Чо-о-орт!..

* * *

Логин вгляделся — и обомлел.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

Золотая оса рвалась к свету.

Билась с надсадным жужжанием в стенки Сосудов (пленочки?.. смешно...), грозила жалким жалом Древу Сфирот (жалкое жало?.. смешно...), пугала и без того испуганных бабочек, мечущихся в бессмысленной пустоте Служения (бабочки? одна — большая? розовая?.. смешно...).

Розовая бабочка.

Золотая оса.

Бейт-Малах, Ангел Силы, князь Самаэль, подобный высокой горе, из уст которого вырываются тридцать языков пламени; муж превратностей, язык обмана из жерла великой бездны.

И каф-Малах, исчезник из Гонтова Яра, игравший Рубежами, будто ребенок кубиками, а ныне — ничтожный огрызок некогда великого существа, посмевшего возжелать на краю гибели, чтобы услыхать из вечности насмешливое:

«Не в добрый час твое желание услышано, бродяга. Не в добрый час».

Это я.

Золотая оса — это тоже я. Последняя искорка, выброшенная за предел. Жизнь золотой осы в медальоне — впрямь ли я могу назвать тебя своей? Ведь прежде я знал лишь одно: «здесь»! Ведь раньше я знал лишь одно: «сейчас»! А у тебя, смешная оса, было много иных сокровищ: «вчера» и «завтра», «там» и «тут»... Я завидую тебе, оса, я завидую сам себе, корчась в болезненном забытьи.

Помнишь: отчаянный бой с Самаэлевой сворой у последнего Рубежа?!

Помнишь: «Лети...» — шепчут губы сына моего, и вскоре За-

клятый стоит на пороге нарушения Запрета, пороге, который он так никогда и не переступит?!

Помнишь: юродствует ведьмач, глава ковена? длится бой в метели? бьется медальон о грудь Двойника, едущего с врагами своими по Околице?!

Да, ты помнишь... я помню...

Мы оба помним.

Мы оба, за неимением лучшего, зовем это — жизнью.

Мы оба: я, некогда свободный каф-Малах — и ты, запертая в темнице тварь, упрямством своим подобная несокрушимой косточке Луз, о которой сказано в Толкованиях:

— Адрианос, пропади он пропадом, спросил у посвященного рава, говоря: «Из чего намерен Святой, благословен Он, произрастить человека в грядущем, после Суда?» Сказал ему: «Из косточки Луз, *которая в позвоночнике*». Спросил его: «С чего ты взял?» Ответил: «Размалывали ее жерновами, и не изломалась. Сжигали в огне, и не сгорала. Мочили в воде, и не размокала. Положили ее на наковальню и ударяли по ней молотом. Разлетелась наковальня, и треснул молот...»

Оса моя золотая! тайная косточка Луз, что есть в человеке и отсутствует в Малахе! Почему же мне кажется, что тебя больше нет, золотая оса?!

* * *

И это тоже я — длинное тело на полу.

Тело.

Мое?!

Натягиваю ковер до подбородка; ежусь. Мне холодно.

Солнце заглядывает в проломы окон. Протискивается между витражными осколками. Режет себя в кровь, и волна легко струится вдоль стен: белизна, багрец, изумруд.

Три великие Колесницы: Милость и Сила, уравновешенные Великолепием. Радуга, ясно говорящая: «Нет заступника, и некому отменить приговор».

Отчего же мне смешно?.. смешно и холодно.

Сесть удается не сразу. Вот он, на скамье: мой сын. Рядом. Спит. Зародыш в материнской утробе. Спи, малыш, не думай о том, что утроба нашей с тобой Ярины похоронена, выкопана, пронзена осиновым колом и вновь опущена в землю.

Это ты прошептал во сне: «Я спасу»?

Или мне показалось?

Кого ты спасешь? Мать? отца? друзей? или тех, что переминались с ноги на ногу у разверстой могилы?

Всех?

— Глупый, глупый каф-Малах...

Резко оборачиваюсь. В спине хрустит, и хруст этот пополам с быстрой, короткой болью кажется мне удивительней блеска зари над геенной. Некоторое время перевожу дух, жду, пока сойдут слезы, разом застлавшие глаза.

Никогда!.. никогда раньше... каф-Малахом, золотой осой, пламенем ли, искоркой — никогда!..

Смотрю.

Старый, очень старый человек стоит напротив, до половины утонув в стене.

— Рав Элиша?! Рав Элиша, тебя ли вижу?!

Он молчит. Молчит и не отрывает взгляда: живого, насмешливого... родного. Если бы я мог выбирать отца, я бы выбрал — его.

Нет, иначе — я его выбрал.

— Рав Элиша!

И внезапно я все понимаю. Как обычно, он ответил мне, ответил самим своим приходом, но потребовалось время, чтобы его ответ вошел в глупого, глупого каф-Малаха.

Я сижу на полу, мучаясь холодом и болью в спине.

Он стоит напротив, плечом уходя в стену.

Прошлое отразилось в зеркале, поменяв нас местами и став — настоящим. Самым настоящим.

— Осы больше нет, рав Элиша?! Там, в медальоне — ее нет?!

Он смеется.

Смеюсь в ответ.

— Но и Блудного Ангела нет? Да, старый рав?!

Свербит в носу. Чихаю: гулко, эхом сотрясая зал.

Да, Блудного Ангела больше нет.

Что же я сделал вчера, на пределе вытаскивая с Околицы ненужных мне людей? Что я натворил, что сотворил, отчего стал таким — прежним и новым в один час?!

Гляжу *насквозь*.

Не вижу. Ничего не вижу. Зал, стены, цветные клыки в деснах окон; старый, очень старый человек напротив.

Свет Внешнего нарушил влияние верха на основу? В ракурсе Сосудов это дало возможность рождения Малаха, а в ракурсе Многоцветья — надежду на всплеск Чуда?

Пустые слова.

Меньше, чем пустые.

Тянусь — волей? остатками?! нет, просто четырехпалой рукой.

Беру с пола зеленый осколок.

Наискось, по мякоти ладони — больно! Хорошо хоть, не очень глубоко зацепил. И течет — по запястью, по предплечью, тяжко капает на плиты.

Кровь.

Янтарная, густая... сворачивается коростой, прекращает течь.

Кровь.

Моя.

— Я сейчас смертен, рав Элиша?

— Глупый, глупый каф-Малах...

Старый, очень старый человек улыбается.

Улыбаюсь в ответ.

Прощаюсь.

* * *

— ...Пали!

Бахнуло, громыхнуло, затрещало. И почти сразу — три арбалетных болта прянули на излете в разбитые окна. Первый задребезжал хищно, до половины уйдя в алебастровую лепнину под потолком; два его товарища упали вниз, лязгом заплясав по камню.

На пол.

Многоголосый крик — снаружи. Далеко. Пока далеко, но с каждой секундой все ближе, ближе...

— Пали!

Грохот, треск.

Где-то над головой надрывается в припадке детская трещотка В башне? Наверное

Сын мой, ты спишь? Ты хочешь в безопасное место, где тебя не убьют до наступления совершеннолетия?

Есть ли вокруг нас безопасное место?

Я подошел к окну. Выглянул, с трудом привыкая: надо наклоняться. Надо прятаться за раму, надо быть осторожным. ударит шальная стрела, вопьется осиным жалом, и польется кровь — жидкий янтарь.

Я еще нужен моему мальчику.

Я еще нужен им, тем, что бьются сейчас снаружи — не осой в золотые стенки, но силой в силу.

Какие-то старые отголоски смутно бродили во мне, будя случайный отклик, — видимо, там, снаружи, хлестали друг друга наотмашь эфирные вибрации. Раньше я с легкостью... нет! не думать! не вспоминать!

Раньше нет, есть лишь сейчас.

Сын мой, я скоро вернусь! Я не дам никому войти в твой зал, будь он латник здешнего князя, будь он Ангел Силы, язык обмана из жерла великой бездны!

Мне холодно.

Мне смешно.

Может быть, это и есть — страх?

— ...От чорт!

У башенного окна отчаянно бранился один из черкасов. Завидя меня в дверях, он выпучил глаза. Рука дернулась: сотворить знамение.

— Подвинься!

Детская трещотка ожила в моих руках.

Словно ждала.

И почему-то казалось: не люди-муравьи падают наземь, опоздав добежать до рва со стоячей водой.

Длится бой у Рубежа, со сворой Ангела Силы.

Только не так, как тогда: один против всех.

Иначе.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

В окне, поверх щитка кулемета, на миг возникла черномазая харя: сложились в ухмылку собачьи губы, плеснули огнем прорези узких глаз — негасимые лампады от висков к переносью.

Очухался, чорт-спаситель?!

Чорт махнул сотнику, как старому знакомому, шестипалой ручищей — и нырнул за щиток. Мгновение, и махиния вновь ожила, застрочила ровно, уверенно. Обернувшись к бойнице, сотник увидел, как свинцовый смерч безжалостно метет сперва по полю, а дальше — по насыпи, где вновь столпились вражьи стрелки.

«Вот оно, значит, как, — подумалось невпопад: хоть лоб крести, прося прощения за думу еретическую. — Знать, пришло время биться вместе — будь ты хоть черкас реестровый, хоть жид записной, хоть ведьма из земель неведомых, хоть сам лысый дидько! Ну что ж, панове вороги, добро пожаловать в пекло!»

И, криво усмехнувшись, сотник плотнее сунулся щекой к прикладу рушницы.

* * *

Потом и вправду было пекло.

Наместничьи полки навалились всей силой. Подступили к воротам, к стенам, забрасывая ров вязанками хвороста, теми же щитами, досками, бревнами. Жахнула в ответ Петрова гаковница, выкосив с полдюжины лезущих на стены латников; одна за другой, рванули четыре бонбы — не соврал Гром-москаль, вон и потроха к радуге летят. Горячее, липкое шмякнулось в лицо, и Логин не сразу понял в дыму, грохоте и пороховом угаре: что это? откуда?!

Вроде как от Грома привет.

Чумак уже не справлялся, пришлось через раз перезаряжать самому, на всякий случай встав сбоку от бойницы, чтоб не достали стрелой. Впрочем, со стороны табора стреляли редко: орел, чортяка! Как котлом накрыл самострельщиков! Сейчас кулемет лишь коротко огрызался с башни, не давая им высунуться. И где только воевать научился, тварь пекельная?! Впрочем, у них там, в геенне огненной, небось и не такая зброя водится! — сотник вспомнил оплавленную чудо-воронку, которую видел на Околице.

В стену неожиданно гахнуло так, что на миг Логин решил: конец света! пал замок! Нет, устоял. И стена устояла, хоть и трещину дала изрядную — вон, змеится, пылит битым камнем.

«Катапульта, хай ей грець! — дошло с опозданием. — Еще пару гостинцев — и таки проломят, вражьи дети!»

Но тут уж оставалось просто биться, уповая на помощь Господню, потому как больше уповать и не на что было. Сунулся сотник обратно к бойнице: стрелять! — и застыл соляным столбом.

Фузея сама из пальцев выскользнула, а губы «Отче наш» забормотали.

К воротам фортеции приближался крестный ход. Да еще какой! Воскресный! Не мугыри сиволапые с батюшкой да пьяненьким дьячком — такое и в самом Киеве разве что по большим праздникам увидеть сподобишься! Впереди не меньше чем митрополит выступает: риза белая на владыке серебром расшита, бородища до пояса, в руках посох архипастырский — золотом на солнце сверкает. Следом — сплошь иерархи в праздничных одежах, с образами да малеванными хоругвями; после — чернецы иное распятие несут, огромное, сажени три длиной, а то и поболе. И Христос на сем распятии — как живой! А за чернецами простой люд валом валит, без гвалта-гомона, чинно да благородно. А в ушах уж псалом звучит музыкою райской, и стелится поверх него — голос грозный, с самого неба рушится:

«Одумайтесь, грешники! покайтесь! Да воскреснет Бог, да расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его! Как рассеивается дым, рассеяться им; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости! Аллилуйя! аллилуйя!..»

Кладет знамение сотник щепотью окровавленной.

Смотрит, как крестный ход к воротам подходит.

Открыть! открыть владыке! православным отворить!

Дернулся было — и словно кинжал турецкий под ребро ткнулся: было ведь уже! Спешил ворота отворять, Свербигузу с Бульбенкой! А оказалось: мара, обман чаклунский; спасибо ведьме — глаза раскрыла, отвела колдовское наваждение. Как

говорится, клин клином. Только... а вдруг правда?! где она, правда?!

Где?!

Всякого сотник Логин насмотреться успел — и змиев огнедышащих, и чорта с кулеметом, и иного непотребства в достатке. А тут ведь слуги господни, не пекельные чудеса! Не поднимется рука в митрополита стрелять! отсохнет! Да пусть и не во владыку, в старца Божьего, пусть в чернеца наипоследнего — все едино ведь! Смертный грех — монасей из рушницы, грех и святотатство!..

Что делать?!

Что?!

Так и стоял сотник у бойницы. Раз за разом крест на себя клал, думы тяжкие вьюнами заплетал. Чуял: башка навроде бонбы Громовой, того и гляди, осколками брызнет! А решиться ни на что не мог. Стоял и смотрел.

И остальные смотрели. Не стреляли.

Даже чортяка не палил: то ли кулемет заело, то ли заряды в ленте кончились, то ли славы Господней испугался... а вернее всего — без толку ему теперь палить было.

Крестный ход у самых ворот, скрыла их стена.

А псалом все звучит хором ангельским, и глас гневный все с неба валится. Только слов не разобрать отчего-то, и веет от голоса жутью смертной, до самых костей сквозняком пробирает. Вот и хохот бесовский прорвался, визг, копытца топочут... А у ворот, у ворот-то! Да что ж вы творите-то, слуги господни?!!

Или креста нет на вас, ироды окаянные?!

Чернецы, молодецки крякая, вовсю лупили в ворота трехсаженным распятием. Отходили на шаг, примеривались и по команде владыки с уханьем вновь ударяли в тяжелые створки. Головой распятого Спасителя били, еретики! Вон уж у Него и кровь на маковке выступила, окрасила спутанные волосы, венец терновый, дерево креста...

«Да они никак живого человека распяли!» — дошло вдруг до сотника Логина!

Фузея едва ли не сама прыгнула в руки.

Только жид с другой стороны галереи первым поспел: хлестнул выстрел, за ним второй, третий — и вот уже валится на доски моста митрополит со лбом прошибленным. Глядит Логин и глазам своим не верит: сквозь ризу, серебром шитую, доспех лыцарский проступает, а в руке у владыки — уж не крыж пастыря, а меч длинный да узкий, с рукоятью в завитушках.

Обман!

Заморочили, богохульники!

Бабахнула фузея — и в ответ у стены дареные бонбы рваться начали. Видать, и москаль опомнился!

Тут уж ход не ход, личина не личина — со всех ног обманщики побежали, к табору. Вот и трубы голос подали. Неужели отход трубят?!

Отступают басурманы!

...отбились?!

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Сплю.

Вижу сон.

Бегут красивые люди. Батька играется детской трещоткой-поветрухой. Ирина Логиновна Загаржецка хочет палить из пузатой гарматы. Добрый дядька боится в подвале. Злая-добрая тетка переплевывается с кем-то ядовитыми закорлючками. Братик чинит цацки — чтоб пуще бахали.

Всем весело.

Хороший сон. Не бойся, добрый дядька. Не бойся, братик. Я вас спасу.

Нет, молчат они. Нет, это мы тебя спасем.

Дурной сон. Плохой. Уходи.

Сам уходи, смеется дурной сон.

Ухожу.

Иду по дороге. Через пленочки, *насквозь*. По всей дороге — костры. В кострах горят маленькие хлопчики. Горят, кричат; просят дать им смыслу. Одну и ту же. Потом маленькие хлопчики выбегают из костров. Они теперь большие, сильные. Убивают, кого хотят.

Молодцы.

А в больших-сильных, на самом донышке, все кричат — не докричатся маленькие хлопчики.

Они не хотят стать бабочками.

Они плачут. А потом ложатся на бочок. Засыпают.

Совсем.

Мой костер ждет впереди. Он самый красивый. Радужный. «Ты только попроси, — машет крылышками розовая бабочка. — Ты только попроси правильно, хорошо?»

Ладно, отвечаю я. Попрошу.

Правильно.

И тогда у меня будет шелковый сачок. Сачок и иголки. Чтобы собрать коллекцию бабочек.

А розовой я оторву крылышки.

...Устало привалился к горячим закопченным камням стены. Вытер лоб. С тупым изумлением уставился на багрово-черный след поперек ладони. Ранили, что ли? Да нет вроде.

А остальные как? — встрепенулся.

— Мыкола!

— Га?

— Живой?

— Та живой, что мне сделается... Тут другая беда: в пороховнице дуля вприсядку скачет! Чем отбиваться, коли снова сунутся?

— Кулаками! Впервой, что ли?! — Сотник понимал, что без пороха и пуль кулаками сподручно только в пекло дорожку пробить. Но говорить об этом вслух было никак нельзя. — Чумак, ты где?!

— Туточки я, пан сотник! — Перед глазами возникла чумазая от пороховой гари рожа.

— Заряжай зброю. Пороха-то хоть жменька осталась?

— Полжменьки, пан сотник...

— Все одно заряжай. Гей, Петро!

— Ну? — хрипло каркнуло с другого конца галереи.

— Ранили его, пан Загаржецкий! — немедленно пояснил голос Юдки, картавя больше обычного. — Как вы полагаете, сойдет кошерный лоскут от моего лапсердака православному черкасу на перевязку? А то я завязал, а теперь переживаю...

Это жид правильно встрял. От Петра ведь слова не дождешься.

— А ты там как? — помимо воли вырвалось у сотника.

— А что честному жиду во вред, не сглазить бы? Я ж обрезанный, а по второму разу, сами знаете... хоть креститься, хоть это самое — грех великий!.. да и больно...

— Шмалько!

— Да здесь мы, здесь! — ответили почему-то не с башни, а от входа в замок.

Логин глянул — и обнаружил есаула в компании чорта: оба как раз выкатывали из башенного входа кулемет.

— Куда махинию тянете?! — рявкнул сотник. — Почему без приказу?!

— Зарядов с гулькин хрен осталось, — скучно пояснил Шмалько, усаживаясь прямо на ступеньки рядом с кулеметом. Рыла обоих с дружным неодобрением уставились на закрытые ворота. — Все одно, ежели опять полезут, створки вышибут к бесовой матери. А отсюда, в упор — больше положим.

— Ладно, — махнул рукой Логин, признавая правоту есаула.

Шмалько отцепил от пояса филижанку, глотнул, крякнул. Подумал чуток — и протянул филижанку присевшему рядом на

корточки чорту. Тот отказываться не стал, хлебнул в свою очередь, с благодарным кивком вернул есаулу угощенье и убрел себе в замок. Вернулся чорт быстро, держа в разнопалых руках длиннющий протазан.

Явно старинной работы.

Это он правильно. Видать, хотел вилы-тройчатки сыскать — да не нашлось у лыцарей вил.

— Батько! У тебя кровь! Тебя ранили?!

Яринка! И когда только на галерею взобраться успела, стрекоза хромая?

— Нет, доню, не моя то кровь. Требухой ворожьей приласкало, когда бонба рванула.

Она пала возле голубкой сизой, принялась обтирать лицо влажной тряпицей. На минуту Логин расслабился: блаженно закрыл глаза, привалился спиной к стене... люльку б еще разжечь, затянуться сладким дымом...

— Идут!

И почти сразу — требовательный сигнал трубы. Над самым ухом зло свистнул, влетев в бойницу, самострельный болт. В следующее мгновение стену, от верха до основания, сотряс тяжелый удар. Послышался грохот осыпающихся камней.

Катапульта!

Проломили-таки, в святителей их равноапостольных!..

— Яринка! К гармате, живо! На пролом, на пролом наводите!

Обернулся к есаулу с чортом: повторить приказ! — но те уже и сами разворачивали махинию в сторону пролома: узкой щелястой пасти, целиком в клубах оседающей пыли.

— Князь Сагор! — донеслось от табора.

— Слава!

— Вперед-е-ед!

Слитный топот сапог, скрежет и лязг железа.

На миг сотник выглянул наружу, выпалил, не целясь: в такую толпу и захочешь — промаха не дашь!

Отпрянул назад.

Эх, сучье семя! Обрадовались, что кулемет с башни убрали — вот и садят стрелами почем зря! Было б зарядов вдосталь, чортяка б вам показал, где раки зимуют!..

— Чумак, заряжай!

— Нема чем, пан сотник!

— Ну то бери шаблю в руки — и молись! В пекле нас уж заждались небось?!

Одна-единственная булдымка заряженной осталась.

Логин сунулся к соседней бойнице — и заморгал в изумлении! На фортецию надвигался молочный кисель тумана, упрятав ряды атакующих, будто гречневые клецки. Это летом-то, средь бела дня — туман?! Нет, врешь, вражий чаклун, не станет

Логин Загаржецкий наугад палить, зря последние заряды тратить!

— Гей, пани Сало! Разгони морок!

— Попробую, господин сотник, — ответ ведьмы, что по-прежнему стояла у перевернутой телеги, звучал усталой безнадегой. — Я попробую... попробую... я...

Иное славно: опоздал вражий чаклун додуматься! Раньше дурить надо было, а теперь уж все едино — чем палить? поплевать в дуло, авось стрельнет?! Незримая ложка зачерпнула киселю, на миг под стенами посветлело — и этого мига сотнику хватило, чтобы спустить курок и отправить лишнюю душу в тутошнее пекло.

— Все! Не могу больше! — выдохнула во дворе Сале, и сотник даже не удивился, разобрав сквозь шум боя ее тихий вскрик. Ведьма, она ведьма и есть! — Не могу... не...

Бабахнула в последний раз гаковница, трижды бренькнул и смолк чудной «маузер».

Пора на гулянку?

* * *

Не воспользовавшись лестницей, сотник молодым бесом спрыгнул во двор. Выдернул из ножен верную «ордынку», потянул из-за кушака запасенный пистоль...

Оглянулся наскоро.

Все в сборе, вся последняя в этой жизни сотня Логина Загаржецкого. Братья Енохи: молчун Петро с наспех перевязанной грудью, гаковницу за дуло держит, Мыкола любимый палаш аглицкой работы из ножен тянет. Скалится зимним волчарой жид с шаблей: небось свою пасху поперек календаря справлять задумал. Ярина с бурсаком — у гарматы, вон и фитиль дымится. Рядом ведьма Сало, в руках кривые железяки, вроде ножей, остальные из перевязи торчат. Нет, все-таки бой-баба, даром что ведьма! Шмалько с чортякой за кулеметом залегли, бок о бок. А вон и Гром с бонбой, на галерее, примеривается. От хитрый москаль! Сберег-таки подружку на закуску!

Крест нательный пропьет-прогуляет, а это добро — никогда!

— Ну, бабы-девки-хлопцы, кого чем обидел, простите! Не поминайте...

Договорить не успел: из курящегося пролома, из киселя чаклунского с воплями полезли люди в латах.

— Гармата! Пали! — махнул рукой сотник Логин.

Бахнуло так, что разом заложило уши. Кажется, из тех, кто успел первым сунуться черкасского тела отведать, не уцелел ни один, но следом уже вовсю ломились другие, топча тела своих же товарищей.

Деловито заворчал кулемет.

Знал чортяка свое дело. Чортову дюжину и положил, пока смолкла диковинная махиния. Сотник уж и рот было открыл: приказ отдать! — но тут в проломе рвануло напоследок, только кровавые ошметки порхнули воробьиной стайкой. Это Гром остатнюю бонбу бросил.

Вот теперь — и правда все.

Праздник.

— Рубай их, хлопцы! В бога-душу-мать!

Пистоль разрядил почти сразу, в чей-то лыцарский шлем с решеткой-забралом. Не спасло забрало лыцаря: ишь, славно рухнул, истукан железный! Еще два-три пистоля выпалили по сторонам — и зазвенела сталь о сталь.

Поначалу в горячке показалось: удержат они пролом, отобьются! Да и то сказать — пролом-то грошовый, больше чем по двое за раз не протиснешься, а тут еще встали: справа сам Логин с есаулом, слева — Мыкола-рубака да жид заговоренный. А посередке чортяка своим протазаном что твой писарь гусиным пером чвиркает. Снаружи гвалт учинили: «Аспидовы Пасынки! Глиняный Шакал, Глиняный Шакал!» — это они чортяку так матерно обзывают. Есаул им в ответ: «Грозилась кума нажить ума! Только суньтесь, ухи свинячьи!» И смех и грех, словно дети малые!

И тогда взвился крик ведьмы:

— Берегись! Они через стены лезут!

Только крикнула — тут ворота и рухнули.

Завертелся дикий смерч по двору замка. Раскидал черкасов в стороны, не пробиться друг к другу — только успевай жать лихую жатву! Руби, сотник! Мелькай в самой гуще красным верхом шапки! Тешь душеньку на посошок! Пусть икнется любому на свете этом, пусть запомнится, как умеют помирать славные витязи! Гей, черкасы, не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Время честить встречных-поперечных на все боки!

А пот уж заливает глаза, соленый, боевой пот, крепче горелки, слаще вздоха последнего! бежит ручьем! Не поддавайся, Логин! Руби! Кто ж тебе спину прикрывает, сотник?!

Чорт!

Ей-богу, чорт! С протазаном своим.

— Гей, чортяка, прорвемся?!

Узкоглазая морда ухмыляется в ответ, кривит собачьи губы. Расцеловал бы, да некогда! Вокруг на миг становится просторно: латникам кнежским, и тем не по себе стало при виде адской ухмылки.

— Шакал, Шакал!..

Ну и Шакал, ну и Глиняный — так что ж теперь? Поп сказывал, боженька первого Адама тоже из глины лепил...

Ага, попятились?!

Мгновения еще тянутся, краткие мгновения жизни, которой осталось всего ничего, только оглядеться по-быстрому: как там хлопцы, доча, жид с ведьмой?

Живы еще?

Исчезнув куда-то, звуки вдруг возвращаются, наваливаются отовсюду.

— А-а-а-кха-кха! — захлебывается смертный хрип. — С-с-сучары!.. Лови!

Оглушительный грохот. Мясной ливень сечет булыжник двора, лязгая обломками доспехов. Что ж ты такое укрыл под самый конец, Дмитро-пушкарь? Правду ведь пророчил: «А меня, пан сотник, хоронить не доведется!» И смеялся еще: нравилась шутка.

Правей правого ты оказался, москаль: нечего теперь хоронить.

— Держись, есаул!

Жида голос. Не спутаешь. Оттуда, где телега перевернутая. Видать, плохи дела у Шмалька, выручать надо.

— Чортяка... слышь, чортяка?..

— Падай, сотник!

То ли вслух крикнул разнопалый, то ли прямо в башку Логину слова впихнул — о такой ли ерунде в смертном бою задумываться? Упал Логин разом, плашмя, только услыхал: взвизгнул над спиной чортов протазан.

Слаще музыки в шинке показалось.

Откатившись в сторонку от дикого ветряка, которым сделался адский побратим, Логин вскочил на ноги. Махнул, не глядя, шаблей по самому настырному, с пикой наперевес, отпугнул — и рванулся туда, где яростно звенели клинки, где слышались забористые жидовские проклятия.

Успел!

Верный есаул лежал у самой телеги: голова в крови, в руке сломанная шабля намертво зажата. А перед ним плясал свой фрэйлехс Юдка Душегубец, да так плясал, что сразу четверо кнежских латников переплясать веселого жида не могли.

Упарились.

Дружков кличут — пускай дружки тоже спляшут.

Ох, пошел вокруг сотник Логин трепака выкаблучивать! Ох, гори огнем, подошвы! Свадьба! И мысли не было: зачем спасаю, кого? Есаула? Или жида проклятого, Мацапуриного прихвостня?! Небось сам-то жид недолго думал, когда Шмалька-друзяку от смерти собой загородил...

— Живой?

— Ниврoку, живой пока! Я таки твой должник, пан сотник! Спас ты сегодня жиду его пейсатую голову!

— А с Ондрием что?

— С есаулом? Дышит! Пан герой здесь случился, вот и при-

голубил есаула рукоятью по башке. Катевойный дорезать было сунулся, да я...

— Пан Рио? Здесь?!

— Нет, у меламеда в хедере!.. Берегись!

Крепкая рука Юдки толкнула сотника в грудь. Логин оступился, едва не упал — и в телегу, хищно задрожав от бессилия, впилась длинная стрела с белым оперением.

Досадовала, промахнувшись.

— Ховайся! Лучники на стенах!

— Ну то и все. Гаплык, — спокойно подытожил сотник, присев рядом с Юдкой позади телеги. — Дочку только жалко. Мыто с тобой что? Мы души пропащие...

— Лэхаим! — непонятно согласился жид.

Глянул Логин краем глаза: знакомая шабля у жида. Та, что сам сотник ему в руки на Околице бросил, а сперва у есаула отобрал. Так по сей час и осталась. Сам-то есаул постеснялся забрать или решил: опоганили добрый клинок!.. Рубился Шмалько «клычом» Забрехиным, его и сломал...

Или чуял бывалый черкас: пригодится Душегубцу его невольный подарок?.. И впрямь: пригодился. Хотел сотник об том сказать Юдке напоследок, да не успел. Только крякнуло в пересохшем горле по-утиному.

— И жизнь прошла, и не жил вроде, — само вырвалось, вслед за кряканьем. — Эх, встану перед Спасителем, спросит Он: как жил? зачем? А мне и ответить-то нечего...

Рыжая борода пошла ходуном: Юдка ухмылялся, вражий сын.

— Знаете, пане сотник... был в Анатолии один головастый, не сглазить бы, цадик. Зуше по имени. Все как полагается: пейсы, лапсердак, Тора по субботам... Сами понимаете, пан зацный! — как увидишь, сразу хочется в рожу двинуть! Так вот, он сказал однажды: «Когда я предстану перед Небесным Судом, у меня не будут спрашивать: почему я не жил, как Авраам, Ицхак или Иаков? У меня спросят: почему я не жил, как должен был жить Зуше?!»

Аж в носу у сотника от такого засвербило; лютый чих напал.

Сотряслась телега.

И дальние трубы подхватили невпопад: слышите ли? отзоветесь ли?

— То пан сотник видит то же, что и глупый жид? — охрип рядом от изумления Юдка. — Или у жида таки повылазило?!

Логин, еще ничего не понимая, встал на колени, осторожно выглянул из-за колеса.

Противник деловито оттягивался к воротам и к пролому в стене, унося с собой раненых и убитых.

— Отходят... Отступают, пан сотник, не сглазить бы!

Впору было согласиться.

* * *

— Он, этот... пан герой — он Хведира рубить стал. Уж и шаблю выбил, и меч занес, и катюгу своего нового кликнул. Он же без катюги никак не может, гадина! А тут Гринь... чумак. Собой закрыл. Даже шаблю с земли подхватил, хотел в ноги ткнуть — так кат проклятый ловок... чумака вместе с шаблей...

Ярина то и дело запиналась, стараясь не всхлипывать. Но получалось из рук вон плохо. Только что дралась вместе со всеми, даром что девка, сколь народу положила — а тут на тебе...

— Что ж тогда не добил, кат-то? — буркнул Логин, склоняясь над окровавленным Гринем.

— Не успел. Отход заиграли.

— Да, плохи дела у хлопца, — Логин осмотрел рану. — До утра завтрашнего, может, и протянет, ежели бог даст. Эх, попа бы — исповедать, отходную прочесть! Хоть и зрадник, и иуда — а все ж душа христианская. И бился честно... Да только где его тут найдешь, попа-то? Чорт — это завсегда пожалуйста, а поп...

В углу двора над изрубленным в куски Петром страшно плакал Мыкола Еноха. Без слез провожал брата, без всхлипов — одна мука пекельная во взгляде плескала. Третий брат, бурсак-Хведир, стоял рядом, понурив голову.

Молчал.

Неподалеку, порвав сорочку на полосы, Юдка перевязывал есаулу его разбитую башку. Пан Ондрий терпел, только время от времени шипел сквозь зубы от боли. Однако от разных уместных здесь высказываний, на удивление, воздерживался.

Логин глянул на дочку, на ведьму: ни царапины.

Как так?!

— Я им глаза отводила, — пояснила ведьма. — А вот с героем мне бы не сладить — под заклятием он, в бою ему глаза не отведешь. И от клина моего увернулся. Если бы не он, — Сале кивнула на чумака, близ которого как раз хлопотала Ярина, — да не сигнал отхода...

Хведир покосился в их сторону; смолчал. Видать, стыдился, что его выручать пришлось. Хотя труса вроде не праздновал, дрался, как мог, пусть и толку с того было — чуть. Вот и стыдился бурсак, что бабы больше его навоевали...

А от Грома так ничего и не нашли, кроме шапки драной.

Добрая оказалась последняя заначка у москаля...

Сигнал трубы застал всех врасплох. Сотник невольно схватился за шаблю, обернулся.

В выбитых воротах, в сопровождении двух глашатаев, стоял пан Рио собственной персоной. В уже вычищенном, сверкающем на солнце доспехе, но без шлема и без меча.

Парламентер, значит.

Где ж он катюгу своего забыл, парламентер?..

— Его Светлость Князь Сагор, недавно прибывший в ставку наместника Серебряного Венца, имеет честь пригласить господина Логина Загаржецкого, сотника Валковского, к себе на официальные переговоры. В знак своих мирных намерений и как гарантию взаимного доверия Его Светлость оставляет вам в качестве заложника собственного сына и единственного наследника, Княжича Тора.

Один из глашатаев вывел вперед мальчугана лет трех, до того прячущегося у героя за спиной.

Знатно наряжен был хлопчик: малиновый камзольчик из тканой парчи, розовые панталоны из атласа. На узконосых туфлях поблескивали золотые пряжки.

По-кнежски.

— Господин сотник! Это действительно княжич Тор! — в возгласе Сале дрожало изумление.

Мальчик посмотрел на защитников фортеции круглыми глазенками, поморгал — и испуганно прижался к ноге глашатая.

* * *

— Итак, господин сотник соблаговолит проследовать со мной в ставку князя? — как ни в чем не бывало осведомился герой Рио.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

— Слышь, панове? — вяло спросил Мыкола Еноха, глядя в ближайшее окно. — Може, того... може, пролом завалим, а?

Ворота с грехом пополам закрыть удалось.

— Чем? Свиными хрящиками?

Это есаул. Смотрит на меня, будто ждет: сейчас я потянусь и достану ему из воздуха дюжину каменщиков с мастерками наперевес.

— А хрен его маму знает, чем... чем есть, тем и завалим?

В углу, на кипе покрывал, стонал раненый чумак. Утихал, ворочался и снова начинал всхлипывать горлом. Родственник, подумалось мне. Всерьез подумалось, без иронии. Сын моей Ярины, сводный брат Денницы... мне в рожу однажды двинуть хотел — и вправду родственник!

Ближе некуда.

Жаль, так и не сошлись накоротке.

— Пропадем мы здесь без панихиды...

Это опять есаул. Не отводит взгляда, прикипел. Ну, чего ус-

тавился? Ждешь, когда опять вместе из трещотки палить станем?

Отвел взгляд.

На братьев Енохов глянул, на женщину-Проводника, на Иегуду бен-Иосифа, в чьей рыжей бороде густо запеклась чужая кровь... на предателя чумака в углу, на панну сотникову... на сына моего.

Снова — на меня.

— Эх, погинем всем куренем ни за чих мышиный... Гей, чортяка! — ты хоть сковородку старому Шмальку в пекле вычисти, с песочком!

— Вычищу, — пообещал я, и есаул кивнул, будто благодаря.

Сотника Логина ждали уже больше трех часов.

Из окон хорошо был виден лагерь, княжеская ставка с поднятым над шатром знаменем: радуга на лазури.

Издевательство, не знамя.

И тем же издевательством, смертной радугой полыхал горизонт от края до края; и небо разноцветьем приговора валилось на головы.

Насквозь.

Убитых мы оставили во дворе, в тени галереи. Сперва хотели занести в замок, в погреба, где холодок, — раздумали. Да и Мыкола не позволил. Уперся: не рядом же с пленным Мацапурой брату родному лежать? Пусть напоследок вольным воздухом долюбуется всласть. «А разве есть плач перед Святым, благословен Он? — запел, раскачиваясь, Иегуда бен-Иосиф на Языке Исключения, и никто не посмел перебить Заклятого, оборвать непонятную речь. Лишь переглянулись с одобрением: свой своих отпевает, после честной баталии, в последний путь-дорожку. — Ведь сказано: нет печали перед лицом Его — блеск и слава перед лицом Его, сила и радость в месте Его...»

— Славно, — вспушил усы есаул; подбоченился лихо и еще раз бросил: — Славно...

На стенах никого не оставили: зачем? Здешние вояки трижды в трубы загорланят, прежде чем в атаку пойдут. Вот вернется Логин, пропоет звонкая медь — и пойдем собирать последнюю жатву.

Совсем ты черкасом реестровым заделался, глупый каф-Малах, и думы у тебя черкасские, и слова...

— Идет! — выкрикнул бурсак Хведир от другого окна. — Дядьку Ондрий! Идет пан сотник! Смеется!

Я погладил руку сына моего. Слабую, безвольную руку. Спи, малыш. Я здесь. Вот и сотник Логин, за кем гонял ты меня путями кромешными, скоро здесь будет.

Значит, жизнь продолжается, сколько там ее ни осталось.

Спи.

Гуляй в Саду Смыслов, набирайся силенок... совсем большой ты у меня стал...

Под ногами заскулили. Тихонько, жалобно, молочным кутенком у забора. Я опустил взгляд. Укрывшись в тени скамьи, в малиновом своем камзоле и розовых панталонах, словно облитый с ног до головы молодой кровью или вином, прятался забытый всеми княжич Тор. Встретившись со мной глазами, мальчишка разом замолчал, втянул пушистый затылок в плечи — и все норовил достать, прижаться щекой к запястью моего Денницы.

Наверное, видел в нем единственную защиту, единственное знакомое существо.

Еще подумалось: мы с местным владыкой одного поля ягода. Оба сыновей в заложники, не колеблясь, отдали. Он — чужим людям; и я — чужим людям. Что дала мне моя хваленая свобода? Смерть Ярины? Женщины, щедро подарившей Блудному Ангелу самое себя?.. И в смерти не нашлось тебе покоя, отчаянная ты, гибельная, мимолетная любовь! Муки сына моего, лишенного детства? Хлеб Стыда?! Не лучше ли было погибнуть, дать честно растоптать последнюю искру еще там, в бою у Рубежа?!

А может быть, просто я раньше называл свободой что-то совсем другое?

Глупый ты, глупый каф-Малах...

Но и глупый, скажу: нет. Погибнуть было — не лучше.

Спи, малыш.

* * *

— По уставу принял, с пониманием. Уважил гонор, значит.

Сотник Логин был сейчас мало похож на того закопченного дьявола, который совсем недавно рубился во дворе замка. Выпрямился, лицом просветлел. И без гонора своего дородный, теперь словно вдвое больше телом стал; помолодел годков на десять.

Изодранный жупан, весь в бурых пятнах, смотрелся на черкасе царской мантией.

— Вот так-то, панове-молодцы! Умен кнеж Сагорский, знает, как приветить. И шляхетский статут досконально превзошел. Говорили мы с ним в шатре, сам-на-сам, из уст да в ушко...

Все глаза были сейчас устремлены на сотника. И во всех читался вопрос: договорились ли? о чем? когда новый штурм?!

Нет.

Не во всех.

Спи, малыш... спи.

— А чего нам, панове-молодцы, в сей час хотелось бы? — Ло-

гин прошелся гоголем по залу, картинно подбоченясь одной рукой. — Да так хотелось бы, что никаких червонцев-цехинов за то не пожалели бы?! А?!

Забывшись, он хлопнул меня по плечу и в голос расхохотался.

Тяжела рука твоя, пан сотник.

Какого ответа ждешь?

Мне, например, хотелось бы, чтобы багряный аспект Брия слился с изумрудным аспектом Ецира, оттенясь чернотой Асии, зеркала для радуги. Никаких червонцев, никаких цехинов не пожалел бы, лишь бы нарушилось влияние верха на основу, содрогнулось Древо Сфирот — и в ракурсе Многоцветья явилось Чудо. Мне объяснить тебе, Логин Загаржецкий, что это значит? Изложить вкратце сокровенную книгу Сифру де-Цниута?..

Или лучше не надо?

— В шинок бы завернуть, — мечтательно протянул есаул Шмалько, тряхнув сивым чубом. — Гей, по шкварке, да по чарке, да к молоденькой шинкарке...

— И пускай скрипачи, — глаза Хведира-писарчука подернулись влажной поволокой. — Музыка есть гармония сфер, как говаривал учитель мой, блаженной памяти Григор...

Юдка-Заклятый перебил его:

— Скрипачи — то пышно. Спляшем разом, панове черкасы?! А то юшка простынет, горелка степлится? шинкарка состарится?!

Но насмешки не было в словах Заклятого. Вместо нее теплилась малая грусть, билась синей жилкой на виске; «А и впрямь славно бы!» — подмигивала.

— Эх, дурни вы, дурни!

Пан сотник аж руками в огорчении развел.

— Ну как есть дурни! Чарка, шинкарка... скрипачи! До дому нам подаваться надо, до дому, до хаты! — а там всякому своя сласть по душе сыщется!

Он многозначительно воздел палец к потолку:

— Слыхали, панове-молодцы! До дому!

Толстый был палец у сотника Логина. Уверенный.

Не палец — перст указующий.

— И все-таки сперва хотелось бы знать: о чем господин сотник изволили толковать с мастером... с князем Сагором? Домой — это хорошо, только мне бы, например, лучше не домой... Я, не в обиду будь сказано, и без того дома. Мне бы, например, лучше в гости... да куда подальше.

Женщина-Проводник выжидающе смотрела на Логина Загаржецкого.

А он сиял ясным солнышком. Жмурился котом, укравшим с ледника добрый жбан сметаны. И я еще подумал: не мои мысли, не мои образы... чужие сравнения.

Кто ты теперь, глупый каф-Малах? куда ты теперь?

Тоже — домой? в гости? сына на мамкину родину свезешь, могилке разрытой поклониться?!

— *...в костер бросите? — спросил Гринь шепотом, ни к кому не обращаясь.*

— В какой костер?! — удивился оказавшийся рядом сосед. — Читать надо, пока не замолчит. Беса гнать... Это не дите орет — это бес в нем.

Младенец зашелся новым криком...

И почудилась мне на краткий миг несуразица. Рубежи, дорога, костры... *Насквозь.* И он, сын мой, идет к своему костру — а мне не догнать. Не спасти.

Только все равно — бегу.

Пусть — не *насквозь.* Пусть — спотыкаюсь. Пусть босые ноги — в кровь, в янтарную, светящуюся жижу.

Я бегу.

Я здесь, с тобой.

— Ты, пани пышна, гони прочь тугу-печаль! Не тот человек сотник Логин, чтоб боевых товарищей на произвол судьбы бросать! — Логин с укоризной покосился на женщину-Проводника, но палец, к потолку воздетый, опустил. Не до пальца стало. — Я так кнежу вашему в очи и сказал: за всех думать надо. Чтоб потом от стыда не сгореть.

— И князь Сагор с вами полностью согласился?

— А как же, ведьма ты моя дорогая! Говорю ж: статут шляхетский — назубок! Подписали мы с ним угоду...

Учинился переполох.

До небес.

— Тихо! — возвысил голос пан сотник. — Цыть, говорю! Разорались! Ну, не подписали еще... по рукам вроде как ударили, а все равно — на словах больше. Едва, значит, обступит нас ихняя клятая радуга со всех сторон, будто татарва в степях Таврийских — вот тогда и подпишем. Он как кнеж тутошний, я как сотник валковский. Все чин чинарем, по закону.

— Батька! Чего он хочет, сей кнеж, что ты его возлюбил сердечно?!

Логин подкрутил седой ус.

— В гости к нам, доню моя, хочет! На горелку, на гречаники!

Дружный хохот черкасов был ему ответом. Даже Юдка Заклятый сперва прыснул слюной — но сразу поскучнел.

Задумался.

— Чего регочете, голодранцы?! Правду говорю: в гости до нас кнеж Сагорский просится! На землю нашу! Так в угоде и порешили записать: Логин Загаржецкий, мол, сотник валковский, зовет кнежа Сагорского со всем остаточным маёнтком на землю свою, гостевать!

Женщина-Проводник подошла вплотную к разошедшемуся не на шутку сотнику.

Глянула в упор:

— А не вспомнит ли господин сотник: как точно должен формулироваться сей пункт договора вашего?

— Ох, ты и язва, пани Сало! Как есть язва! Сорочинский ярмарок, не баба! Делать мне больше нечего, как словесами всякими башку забивать!

— Ну а все-таки?

Логин задумался:

— Да вроде просить я кнежа буду на бумаге, по-шляхетски: «Пойдешь, значит, ко мне на землю?» А он в ответ чиниться не станет, запишет: «Пойду!» — и вся угода!

— И в третий раз спрошу господина сотника: каким образом князь Сагор собирался после этого открыть проход через Рубеж меж нашими Сосудами?

— А это уж, пани Сало, тебе лучше ведать! Кнеж мне по-дружески шепнул между делом: не простая ты баба! Вот перед тем, как подписи-печати ставить, и пошлем мы тебя гонцом к стороже Рубежной! Они, сказывают, и кнежу Сагорскому, и тебе, пышна пани, клятву давали: за труды ваши вывести к спасению! А брехать им не с руки... не могут они брехать, в том кнеж мне слово давал! Вот и велишь ты им: пропускайте, мол, кнеж Сагорский к сотнику Логину гостевать едет!

Я заметил: женщина-Проводник побледнела.

Хотела что-то еще спросить или сказать от себя — да не успела.

Бешеная панна сотникова разом про хромоту забыла. Где усталость?! Где хворь?! Птицей слетела со скамьи, встала против отца. Глазищи в пол-лица, зарницами полыхают: того и гляди, стены ясным огнем займутся.

— Батько! Кнеж Сагорский — душегуб, кат записной! Он меня пытками мучил! Пахолкам своим в забаву отдал! А ты... ты с ним, с псом шелудивым, угоды подписывать мостишься?! Где твоя честь, где гонор черкасский?!

— Что? Что ты мелешь, Яринка! Давно за косы не таскали?!

— Панна сотникова! Опомнитесь!

— Братцы! Не можно Сагору верить, никак не можно!

— Послухайте старого жида, панна Яринка! Нехай ваш батька тому кнежу хоть замуж за него идти поклянется! Там видно будет... Впервой, что ли, батьке вашему по своему слову каблуками плясать?..

— Ах ты подлое племя! Христопродавец! Душу выйму!

— Не гневайтесь, пан зацный! Свою продали, взамен мою вынуть мыслите? А зачем вам душа жидовская? У Рудого Панька на христианскую сменять, или в заклад до поры оставите?!

Хлопнула дверь — аж штукатурка сверху дождем брызнула.
Выбежал прочь пан сотник.
От греха подальше.

Я смотрел ему вслед, краем уха внимая перебранке, и никак не мог понять: откуда такое спокойствие? Глупый, глупый каф-Малах, отчего ты не кричишь, отчего не споришь взахлеб?

Начало это или конец?

Уверенность или обреченность?!

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

— А помнишь, Мыкола? — вдруг спросил невпопад есаул, осторожно трогая засохшую ссадину на подбородке. — У корчмарки Баськи, на гулянке? Помнишь?! То-то хлопцы веселились, пока живы: нарядятся в хари и давай вприсядку! А вот еще, бывало, один оденется жидом, а другой чортом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы...

Он нахмурил лоб и совсем уж скучно (даже усы мочалой сырой обвисли!) подвел итог:

— Смех нападет такой, что за живот хватаешься... помнишь, а?

— Помню, — эхом отозвался Мыкола.

— От и я помню...

Сале Кеваль не поняла, к чему это было сказано. И в чем, собственно, заключалось веселье на гулянке, тоже не поняла. Да и не надо было. Наверное, бывалый черкас просто решил разрядить тяжкое молчание, повисшее в зале после шумного ухода господина сотника.

Тишина ведь стояла — похоронам впору.

Лишь скулил еле слышно под скамьей заложник-княжич. Да еще чумак Гринь порой схватывался в горячечном бреду: «Мамо! мамо моя! братика отдайте!..» — и умолкал, захлебнувшись.

Сама женщина отнюдь не пыталась начать разговор. О чем? с кем? Думалось о другом: о мастере. О князе Сагоре, что родного сына в залог не побоялся отдать. О словах Логина Загаржецкого: «Да вроде просить я кнежа буду на бумаге, по-шляхетски: «Пойдешь, значит. ко мне на землю?» А он в ответ чиниться не станет, запишет: «Пойду!» — и вся угода!»

Хоть и темное оно дело: где хитрые козни скрыты, что за фортель решил выкинуть Сагор-умница? — а все складывалось мастью в масть. Ведь отозвал же войско, когда, считай, взяли латники замок? — отозвал. Переговоры начал. Вдруг действительно: выход? Врать Малахи и впрямь от сотворения мира не умеют, тут мастер правду сказал господину сотнику; нет лжи в самом их естестве, многое есть, а лжи нету...

Или есть?

Или иная правда любого вранья лживей случается?

Получить вид на жительство в Сосуде, где правят люди, подобные веселому Стасю и неистовому сотнику Логину, на скорую руку именующему женщину-Проводника через раз «пышной пани», а через два «ведьмой»? Такие перспективы мало радовали Сале Кеваль, бывшую Куколку. Но и другая возможность — отдаться на чистую милость Существ Служения, позволив им выполнить обещанное, как они это сами понимают! — и это счастье из небольших.

Еще во дворце княжеском женщина знала о предложении Самаэля начать эвакуацию через те Рубежи, что еще способны пропустить тела плотские из гибнущего Сосуда.

Да что там знала?! — видела!

На то ведь и Проводник...

Три спасения, как в сказке: черный кусок скалы в звездном мраке, водный простор от края до края, где барахтаешься в обнимку с рукотворной медузой, — и, наконец, горный лабиринт, безлюдное нагромождение скал под небом цвета яичного желтка.

Жизнь Малахи обещали? — выполнят. Поддержат жизнь Сале с ее мастером, укрепят, того и гляди, века прожить удастся.

Спасение обещали? — выполнят. И отсюда, из общей гибели, вызволят, и там, глядишь, придет оно, спасение-то! Жаль, вслух не обещано напрямик: когда придет? завтра? через год? через вечность?! Жди паруса на горизонте: в звездном мраке — жди, в водном просторе — жди, в горном лабиринте — дожидайся!

Не спасут ли в конце концов неведомые доброхоты двоих престарелых безумцев? одного безумца? ни одного?!

Ах да, маленький княжич тоже с нами небось будет... с собой князь-отец сына возьмет.

В залог?

* * *

Солнечный зайчик робко проскакал по ноге, ткнулся щекотной мордочкой в ладонь. Но не это вывело Сале Кеваль из скорбных раздумий.

Вывело? вырвало!

Крик.

Страшный, нелюдской:

— На помощь!.. спасите!

Так в бездну валятся.

Вихрем прянул лихой есаул на середину зала, дернув клинок из ножен. Ухватился за разряженный пистоль могучий черкас Мыкола; брат его сверкнул зрительными стеклышками, завертел дивно стриженной башкой. Консул Юдка встопорщил пла-

мень бороды, огляделся истово прочь, Тени! прочь! Даже каф-Малах, до того сидевший храмовым истуканом, вздрогнул, пустил рыжие огни гулять в чудных глазницах

А рубить-то некого

Все свои

— На помощь! — еще раз взвыла раненым зверем Ирина Загаржецка

И на колени пала

— Скорее! ко мне! вызволите!

— Яриночка! голубка моя! та заспокойся! — сломя голову кинулся к девушке есаул, на ходу пряча бесполезное оружие

Рухнул рядом, тесно прижал девичью голову к широкой груди

— Та тихо, ясонька! тихо! что с тобою?! Сглазили?!

— Ко мне! спасите!

— Тут я, Яринка, туточки да что за мара?!

— Скорее!

— Гей, ведьма, вылей девке переполох! Или не можешь?

Сале наскоро огляделась и впрямь, откуда беда? Все как было, так и осталось Зал, люди нелюди Солнце на полу — пятнами Гарью по сей час со двора тянет, гарью да еще пылью каменной

Женщина плотно, до боли в веках, зажмурилась После боя, после схватки с магом Серебряного Венца за черкасские души никаких сил в запасе не оставалось, но она все-таки сунулась наугад в эфир

Без сил

На одном опыте

Сперва подкатила тошнота Сглотнула раз, другой — помогло, но слабо Голова кружится, ходит ходуном и во чреве слизняк, ровно младенчик, шевелится Ползет, сучит боками, слюдяную дорожку оставляет Как тогда, на донжоне, меж зубцами

Тут и пригрезилось невпопад прутья Толстые, лоснятся нагло, будто столбы дорожные Держат, не пускают, синими искрами грозят И смерть напротив подбоченилась безликая, безвидая

За тобой пришла

— Не надо! не дури, послушай не!

В две глотки крикнули Ирина Загаржецка и Сале Кеваль В две глотки, да на один, чужой, басовитый голос Только Сале вовремя глаза открыть успела, выдралась из морока, оставляя на прутьях клочья души, — а хромая девушка, видать, там осталась

С виденьем, с гостьей гибельной сам-на-сам

Рванулась по-волчьи, всем телом, отбросила господина есаула прочь Так ребенок в сердцах злую игрушку, что пальчик больно наколола, — с размаху да об стену Ударился Шмалько о

край подоконника виском пораненным, охнул тяжко, на пол сполз

Встала Ирина Загаржецка

Забыв хромать, к дверям тело бросила — отцова дочка, одна кровь, одна повадка

Сейчас хлопнет от души! сыпаться штукатурке!

— Иду! иду я!

«Остановить! да что же это творится?!» — Сале хотела было вскочить, вмешаться, но пересилила глупый порыв Осталась сидеть Первая заповедь мастера не понимаешь, что происходит? не знаешь, что делать?! — не вмешивайся! жди!

Спасибо за науку, князь Сагор!

Дай срок, сочтемся

Сидела женщина, смотрела преградил Мыкола Еноха дорогу панне сотниковой, плечом к плечу с последним братом своим, бурсаком Теодором Да вдобавок старый есаул исхитрился — прямо с мозаичного пола в ноги ясоньке любимой кинулся Уцепился клещом, не оторвать

И завертелось по залу

Дикий зверина, многорукий, многоногий, бешеный

Сам себя грызет

Слюной брызжет

она шла

Худая плосконосая Смерть в черном плаще — страшная, окровавленная, беспощадная Искалеченная семнадцатилетняя девушка, мечтавшая о жизни, а ставшая Гибелью

Шла

По трупам

Пойдет ли и сейчас? по трупам?!

Смерть? или Спасение?!

— Я спасу!

Не Денница ли очнулся?

Нет

Панна сотникова невесть куда собралась

Вот стоит посреди зала В правой руке — палаш аглицкий, у Мыколы-богатыря силой отнятый Корчится напротив Теодор-умник, шарит вокруг судорогой пальцев окуляры разбитые ищет При штурме уцелели, стеклышки-то, а здесь Нашарил, ухватил, да только не окуляры — есаулово запястье

Выдохнул есаул нутром

— Яринка! кыцька драная! ума решилась?!

Засмеялась панна сотникова

Отвернулась

И к дверям

А вдогон — молния черная

...если б я еще знал, что делать!

Достал в броске, со спины, нащупал ладонями мягкие виски. Прилип глиной после дождя — не оторвать. Одно и вспомнил: как швырял прежде в Заклятого-Рио дым магнолий и хруст фарфора под сапогом! как в Двойника выкладывался — молчанием живучей сестры Рахили, страшным духом плоти горящей...

Сталь вскользь обласкала бедро.

Горячо стало; закапало на мозаику пола, заструилось.

Отдай! отдай мне свою муку! Раньше я сам мастак был переливать чужую душу из горсти в горсть, из пустого в порожнее, плескал в лица дымными брызгами, входил и выходил без спросу... Отдай теперь ты мне! Войди! ворвись! Вот я, новый, слабый, бывший — давай!

И открылось напоследок: боль.

Дикая, чудная.

Не смертная — хуже.

И обмякла в моих руках безумная девчонка, Несущая Мир, разделив чужую краденую боль не на двоих — на троих.

— Помоги... — шепнула.

Не договорила.

* * *

— Давай-ка, чортяка! давай, перевяжу!

Есаул Шмалько рывком располосовал оконную гардину. Присел рядом на корточки, тронул шальной порез: обматывать туго стал.

— До свадьбы заживет! Позовешь на свадьбу-то, рожа пекельная?

Хлопнула дверь.

Тихо хлопнула, не по-старому.

Вернувшийся Логин грузно — будто отяжелел пан сотник за это время! — прошел на середину, к столу. Ни на кого не глянул, ни о чем не спросил.

Что за гвалт-резня? — не поинтересовался.

— Вот.

Кинул на стол — что?

— Вот она, цена кнежская! Дурень я был, что вас послушался! А теперь кричите! спорьте! как решил, так и сделаю!

Завизжал, забился в истерике трехлетний княжич; охнул Мыкола Еноха; выбранился сквозь зубы есаул, молча качнулся в

сторону Иегуда бен-Иосиф; пальцем удержал бурсак на носу треснувшие окуляры, вгляделся, морщась.

Посреди столешницы, щетинистым подбородком ткнувшись в цепь с белым, словно из снега вылепленным камнем...

Посреди столешницы, страшно ухмыляясь посинелыми губами...

Посреди...

— Прикусили языки?! То-то же!

Посреди столешницы лежала отрубленная голова зацного и моцного пана Мацапуры-Коложанского.

— Батька! — еле успев прийти в себя, бледная как смерть Ярина протянула к отцу дрожащие руки. — Что ж ты наделал, батька!

— Цыть, девка! Я за тебя душу христианскую продал!

Скривились синие губы червями.

Раздвинулись до ушей.

— Дурень, говоришь, был? — спросила голова. — Это ты верно говоришь, сотник... и был, и есть.

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Добрый дядька кричал.

Добрый дядька все еще кричит.

Хочу подставить ладошку. Иначе он скоро весь вытечет.

Не достаю.

Ты прости меня, добрый дядька. Я маленький.

Ты покричи еще немножко, ладно? Может, кто-нибудь другой подставит, кто ближе.

Батьку попроси — он сильный.

Он добрый, как ты.

Бабочки смеются.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

...Страшно взвыв, забилась в угол сотникова дочка, оттолкнула попытавшегося было успокоить ее Теодора.

Мальчишка, которого мастер отчего-то не стал забирать из залога, когда вернулся сотник, — тот в последний раз пискнул тоненько и на пол повалился. Сознание потерял. Может, оно и к лучшему — лишь бы умом со страху не тронулся: вон, даже

черкасы-головорезы крестятся испуганно. Да и сама Сале — хоть и привычна к чарам некромантическим, а все равно морозом до самого сердца пробрало!

Один каф-Малах взглянул на голову с пониманием.

И направился, припадая слегка набок, к обеспамятевшему княжичу — в чувство приводить.

— Ну что, панове, со свиданьицем! — жизнерадостно объявила голова Дикого Пана. — Аль не рады?

Даже смерть ничуть не изменила Мацапурин норов. Все ерничал, паясничал; все насмешку творил. Только губами шевелил больше для форсу: голос-то новый не из глотки идет, не в уши попадает! Впрочем, это для любого сельского колдуна фокус нехитрый.

Хоть для живого, хоть для мертвого.

Голове никто не ответил: языки примерзли! — и Мацапура продолжил в тишине:

— И ты здесь, надворный сотник?! У пана Логина служишь? Сало небось трескаешь? лоб крестишь?!

Голова коротко хохотнула: видать, самой понравилось.

— Ладно, шучу, Юдка! А ты, Ярина Логиновна, что невесела? Простить себе не можешь, что любимого Стася от смертоньки не уберегла? Так то еще не смерть, не кручинься!

— Ах ты!.. бесово отродье, тварь пекельная! — опомнился наконец сотник Логин. — Да я тебя!..

— Что — ты меня? — синюшный рот распахнулся наглой усмешкой. — Пасть кляпом заткнешь? анафеме предашь? в Полтаву на суд свезешь? Ну разве что уши отрежешь, так и то — скучное это дело, Логин! Ты уж что мог, все сделал, пан сотник. Всех дров наломал. Теперь мой черед настал. Разгребать.

— И как же ты разгребать наши дрова думаешь? — Сале взяла себя в руки.

Вышла вперед, так, чтобы Мацапура мог ее видеть.

— А головой и разгребу! — Глаза Дикого Пана заблестели: рад был узреть бывшую любовницу. — Больше, по милости пана сотника, ничего и не осталось бедному Стасю! Радугу небось лицезрели? Звон погребальный слышали?

Никто не ответил.

Лишь сотник судорожно сглотнул и кивнул, подтверждая: видели, мол, слышали.

— А знаете, что сие значит? Что миру этому жизни с комариный чих осталось?!

— Знаем, — согласилась Сале Кеваль, уже без страха, лишь с каким-то болезненным любопытством рассматривая голову Мацапуры-Коложанского. — Нам уж и выход предложили. Без тебя, господин мой. Что еще скажешь?

Голова явно не просто тянула время. Что-то знала, на что-то

надеялась. И сейчас очень важно было выудить из нее это «что-то», понять, на какой барыш рассчитывает зарубленный, но не умерший Мацапура. Ведь князь, мастер... тот, кто предложил им странный, небывалый выход — он ведь тоже... они с Мацапурой до боли похожи!

Чем?!

Разгадка была совсем рядом, но ее дразнящий хвост ловко ускользал из пальцев, не давался в руки. И новой, проснувшейся Сале оставалось лишь осторожно тянуть за невидимую нить, что исходила из уст смешливой головы, тянуть, каждое мгновение боясь оборвать и одновременно надеясь: вот сейчас...

— Кнеж Сагорский выход предложил? На землю валковскую его позвать, гостевать? То добрый выход! Соглашайся, сотник. Поначалу я на дочку твою надеялся. Опекает ее кто-то — слышь, пан Логин?! — вот и хотел я, как покровитель за ней явится, вместе драпака задать. А тут ты нагрянул, кнеж и свой подарочек углядел. Ты, сотник — власть! С тобой и угоду подписать можно, да такую угоду, что всех за чуб вытянет! Но и дочку свою послушай, коли мне веры нет: кнежу без ума доверишься — в одночасье на палю сядешь!

Голова облизнулась длинным, покрытым бледными пятнами языком.

Подытожила:

— Я хоть и ворог, да свой, могу обмануть, могу и правду сказать... А кнежа здешнего вам не понять, на кривой не объехать!

Словно был он все время тут, в зале, а не в подвале сидел, в клетке. Будто слышал все своими ушами, видел своими глазами! Мысли тайком читает? Вряд ли. Не настолько силен в делах тайных пан Мацапура: вон, Багряные Врата едва что не ломом открывал! Но ведь не провидец же он?! — провидца бы Сале Кеваль давно учуяла. Да и не попался бы провидец по-глупому, как Дикий Пан! Значит... значит, одно остается! В чью-то душу пан влез, приворожил, подмял под себя. Пока в подвале сидел, чужими глазами видел, чужими ушами слушал.

Еще немного, и освободился бы: чужими руками.

Чьими — уже и гадать не надо было. Вон она глазищи распахнула, Ирина Логиновна. Ясней ясного: отчего кричала дико, отчего на помощь рвалась, отчего сила в ней сверх всякой меры проснулась. Все отдал перед смертью Мацапура-Коложанский, последнего не пожалел!

Да не вышло...

— Эк загибает, сучий потрох! — не выдержал есаул Шмалько, кулаком в ладонь грянул. — Отдать кнежу башку сию языкатую, и конец! Нехай ему байки брешет!

Голова аж расхохоталась.

Слюнями пенными брызнула.

— Во-во, отдайте! Я кнежу байки брехать стану, а вы себе — панихиду заказывать, коли попа сыщете! Хотите: я всех отпою?! за медный грош?!

Сотник Логин в раздумье прошелся по залу. Вновь остановился перед головой, покачиваясь с пятки на носок.

Спросил во злобе:

— И откуда ты такой разумный выискался? Отчего все знаешь? Отчего не помер, как всякому положено, ежели башку шаблей отсечь?

— Ой, глуп ты, пан сотник! Ой, жизнь прожил, ума не нажил! Да такие, как мы с тобой, что чорту душу продали, разве ж могут помереть спокойно?! Братец ты мой разлюбезный, куда ж я без тебя?! Руби себе пустую башку, рядом ляжем, наговоримся всласть!

Не выдержал Логин Загаржецкий.

И ведь знал, что зря позорится, а все едино: за крыж схватился.

— Да ладно тебе, сотник! — миролюбиво бросил Мацапура. — Чего уж тут кочевряжиться! Продал ведь? Продал. Сам же и сказал. Нечего теперь отпираться. А ведаю я дела ваши через дочку твою, Ярину. Люблю ее безмерно, сердцем к сердцу тянусь...

Логин со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы.

— Отрублю-таки уши, — сказал задумчиво.

Есаул мигом подхватился на ноги: пособить! а то вдруг и нос на его долю останется! — но сотник остановил старого товарища жестом.

— Ладно, злыдень, не о том речь, чтобы ухи сечь... Тебе, тебе-то каков прок, ежели мы отсюда живыми выберемся? Небось отомстить задумал? Обмануть, с кнежем рассорить, спасение готовое из рук вырвать? Что молчишь?! Раскусил я тебя, чаклун поганый!

— Дурень ты, сотник, как есть дурень! — устало выдохнула голова. — Ну, коли не веришь, так подыхай вместе с дочкой и с друзьями своими! Кнеж-то вывернется... с Мацапуриной головой грех ему не вывернуться!

— Да ежели он тебя не получит — угоду не подпишет!

— Подпишет, куда ему деваться! Потому как без головы моей кнежу одно спасение — ту угоду подписать да честно выполнить! А вот с головой он и другую лазейку сыщет, без вас обойдется! Зря, что ли, юлит кнеж? хвалой сбивает, лестью подмазывает? Тут Страшный Суд на дворе, о своей бы голове думать, а ему — чужую подавай!

— Слышь, пане сотник, а ведь складно брешет, — неуверенно протянул Шмалько. — Только как бы и здесь не объегорил, собачий сын! Кнежу-то и у меня особой веры нет, но уж Дикому Пану — тем паче!

Логин по новой мерил шагами зал.

— Не могу я слово свое нарушить! — буркнул угрюмо. — Сколь раз уже преступил: не отмыться теперь, не отмолить... Хватит! Сдохну — а выполню!

— Подыхать-то как раз не обязательно, — вскользь заметила голова. — Ты, Логин, кнежу что обещал? Отдам, мол, голову Мацапуры-душегуба? Так?

— Ну, так.

— Ну и отдашь. Сдержишь слово. Только голова моя к тому времени уж мертвой будет! Хай кнеж задавится! — Мацапура злорадно хихикнул: видать, веселая картинка представилась. — Ему ведь не череп мой требуется, не уши-волосы, а душа моя заклятая! Отдай, отдай меня, сотник Логин! Только перед тем...

— Ну?!

Оба подались вперед, ловя каждое слово: сотник и есаул.

Да и остальные насторожились.

— Пусть кто-нибудь из вас позовет Дикого Пана к себе на перстень, или на цепь, на шаблю там, на пистолю — как сам захочет. Пусть скажет: «Пойдешь ко мне на перстень? на шаблю?..» И всех забот.

— А тебе-то что за радость с того дела? — подозрительно осведомился молчавший до сих пор Мыкола.

— А та радость, что в пекло не хочу! Боюсь. Заждались меня там с вилами. Или опять не верите?

— Вот в это верю, — хмыкнул Логин. — А чего ж тогда к кнежу на вареники не хочешь?

— Кнеж Сагорский хуже пекла. Выпьет он меня за один глоток. Для того глотка и просит.

— Ну, а мне, к примеру, кой прок тебя, чаклуна, на шаблю или пистолю брать? — не отставал Мыкола, выискивая скрытый подвох.

— Эх, пальцев нету! — сокрушенно вздохнула голова. — Давай так, черкас: я растолковываю, а ты загибай. Во-первых, пан сотник слово исполнить хочет. Пускай, я не против... Во-вторых, тем вы кнежу выбора не оставите, и останется ему угоду вашу честно выполнить, чтоб спастись. Без моей силы ему иной дорожки отсюда нет! А в-третьих, и тебе лично корысть: возьмешь меня на шаблю — зело зла шабля в рубке станет, спасу от нее врагам не будет! Возьмешь на пистолю — ни промаха, ни осечки не даст пистоля! А возьмешь, к примеру, на перстень — удачу тот перстень тебе принесет, хоть в карты, хоть в кости. Ну и моя корысть последняя. Уж лучше шаблей или камнем-яхонтом, чем в пекле на сковороде или у кнежа в утробе ненасытной!

— Складно да гладко пан Мацапура речь держит, и всем от

его пропозиции польза изрядная получается, — протянул раздумчиво Теодор-бурсак. — Однако же имею я некое сомнение...

— ...что брешет он, паскуда! Под монастырь нас всех подвести хочет! — закончил за него есаул.

Голова молчала.

Ждала, что решат.

— Может, в кулемет его подсадить? — предложил вдруг Юдка. — Ниврoку, злобная махиния выйдет, панове, доложу я вам! Что, пан Станислав, пойдете...

— Пан Станислав?! — неожиданно взвилась из угла Ирина Логиновна. — Он не пан Станислав! Брешет он все, собака! Пан Станислав... он настоящий шляхтич был и умер как лыцарь!

— То есть как это — пан не пан?! Эй, доню, ты говори да не заговаривайся! Ишь, лыцарем он помер, вражья душа!

— Батько! Вы, когда замок Мацапурин взяли, подвал обшарили?

— В первую голову! Тебя искали. А нашли только шляхтича убитого и мертвяка живого, погань такую, прости Господи! Ну, мертвяка хлопцы, ясное дело, в капусту...

— Вот шляхтич убитый и был пан Станислав! Подлинный! Мы с ним в одном подземелье сидели, он мне все рассказал! Все! Этот...

Девушка указала в сторону примолкшей головы и отдернула руку, словно боясь обжечься или замараться.

— Этот был его отцом! Был! пока однажды в городе Париже...

— ...на Гревской площади, — слова сами вырвались из уст Сале.

Сотникова дочка на миг осеклась.

Резко обернулась к женщине-Проводнику.

— Как?! И ты тоже знала?!

— Теперь знаю, — мягко уточнила Сале. — А раньше... видение мне было. Видение и голос: «Гревская площадь». Казнь видела. Казненный на нынешнего господина Мацапуру смахивал. А когда ему отсекли голову и народ начал расходиться, то к палачу подошли...

— ...высокий светловолосый пан и мальчик! — подхватила панна сотникова. — Пан Станислав мне рассказал! *Настоящий* пан Станислав! То были его батька и он сам! И батька его позвал ту пекельную тварь к себе на цепь! Вон, поглядите: голова уж другая — а тварь старая! То не пан Станислав! То вообще не человек!

— А кто? — выдохнул Мыкола, запоздало крестясь.

— Приживник, — слово упало из уст Сале тяжелым камнем.

Пошли круги по залу. Тихие, страшные. Женщина чувство-

вала: все взгляды сейчас устремлены на нее. Что ж, они правы, эти люди: сказавший «афаль», да скажет «бар». Их свела Судьба, и теперь им суждено вместе спастись или вместе погибнуть.

Они вправе знать все, что знает она.

— Приживник, господа, насколько мне известно — это бестелесное существо с очень большой жизненной силой. Может жить в человеке, в оружии, в драгоценных камнях... иногда — в старых зеркалах. Но предпочитает человека. Если же подселится — постепенно выдавливает... нет, скорее переваривает, съедает хозяина. И захватывает тело. Говорят, случалось: напрямую из тела в тело переходил, но чаще — через вещи. Сперва позвать просит, а там...

Сале на миг умолкла, собираясь с мыслями, и в образовавшуюся паузу вклинился изумленный вопрос сотника Логина:

— Это как же выходит, пышна пани? Значит, Приживала твой — дух злой, навроде беса? души жрет?

— Нет, сотник, — ответ каф-Малаха, о котором все забыли, прозвучал неожиданно резко. — Глупости это. Суеверия. Приживник — отнюдь не злой дух, что человека пожрал. Наоборот. Это человек, пожравший злого духа.

Сале Кеваль заметила: произнося слова «злой дух», каф-Малах всякий раз усмехается.

— Вы хотите понять. Вижу, — помолчав, вновь заговорил исчезник. — Я попробую. Только словами — трудно. Надо показать. Иди ко мне, Иегуда бен-Иосиф. Поможешь. Ты ведь уже почти понял... тебе будет легче.

* * *

Мгновение Юдка колебался. Лоб морщил. А потом кивнул согласно и шагнул к каф-Малаху.

Хотел было сотник Логин еще о чем-то спросить, да забыл о чем.

Где тут вспомнить, когда обеспамятел.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ; И ЕЩЕ СОВСЕМ НЕМНОГО — БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

...и приснился Логину Загаржецкому страшный сон.

При ясном солнышке; наяву.

Будто стоит он на ступеньках веранды белой, и не просто стоит, а потупил ясны очи в мать сыру землю, и не просто потупил, а будто кары небесной ждет. За спиной садик раскинулся:

сливы, абрикосы, и тот чудной плод, что Свербигузу змеюка в рот совала, и уж вовсе-то яблоко не яблоко, вишня не вишня, а так — рви да жуй, коли жизнь не мила.

Знать, малый сад Эден позади.

Выгнали оттуда сотника Логина, поперли в тычки на веки вечные.

Вздохнул сотник; поднял взгляд, перед собой глянул. Стол на веранде, лавки вдоль стола с двух сторон притулились: у стены и у перильцев резных.

По лавкам — ребятишки.

А во главе стола сидит в креслице с колесиками хрыч древний. Это ежели наотмашь, по правде, а коли с вежеством сказать: старый, очень старый человек. Сидит, губами толстыми плямкает; на ребятишек не глядит, все на Логина.

— Ну, садись, балабус! — говорит.

Сел сотник Логин на лавку с краешку. Пригляделся: матерь божья! Вон та девка чернявая — точь-в-точь ведьма Сало! Только росточком не вышла, а так на одно лицо... Рядом с ней верный есаул, пан Ондрий, примостился, заместо шабли линейку в руках вертит. А вон и Мыкола, и Хведир в окулярах, и Яринка-егоза...

И Юдка Душегубец: тоже маленький, а с бородой. Пейсы с висков вьюнами закрутились, аж до плеч, как у старика в креслице. Еще раз пригляделся сотник Логин, повнимательнее: да что ж это творится, люди добрые? И у есаула пейсы, и у Мыколы, а Хведир и вовсе ермолку плисовую к маковке пришпилил!

Куда ж это он попал, Логин-то Загаржецкий?!

В самый что ни на есть распрожидовский хедер? К учителю-меламеду? Отродясь слов таких не знал, а тут само всплыло, ровно из проруби, да со значением...

Поднял руку к голове окаянной, тронул пальцем висок.

Мягко; струится вниз завитыми локонами.

И понял сотник Логин: есть бог на небе! Все видит. Всякому греху — свое воздаяние, всякому грешнику — свое пекло, наособицу! Да после такой насмешки сковорода каленая раем покажется, о котле со смолой будешь молить чертей, как о манне небесной...

Все.

Воздалось.

(...трудно.

Идет толчками, будто кровь из раны. Мешается воедино: грешное с праведным, трефное с кошерным. Теперь я знаю: как это бывает.

Когда на костылях.
Когда с поводырем.
Когда?..)

— Рав Элиша, вы хотели... — ну ясное дело, сволочной Юдка и здесь первым выперся.

Поглядел на него старец.

— Я? Хотел? Ну и чего я, по-твоему, хотел, позор матери с отцом?

«Правильно, — отметил про себя Логин пархатый. — Бей своих, чтоб чужие боялись! Молодцом, дедуган!»

— Про одержимых! про одержимых! — разом загалдели всем кагалом: и Яринка пищит, и Мыкола басом, и ведьма дискантом, и Хведир навроде дьячка пьяненького с клироса подтягивает. Боже мой милостивый! — и сам пан сотник мимо воли голосит:

— Про одержимых хотели, рав Элиша! про бесами обуянных!

Тут за спиной дедугана человек объявился. Какой там, к арапам, человек — чорт! давний знакомец! Подмигнул Логину глазом желтым: дескать, как оно в гостях? — и давай меламеда по веранде катать.

Вроде как думать помогает.

— Глупый ты, глупый каф-Малах, — плямкает хрыч старый, и сердце пану сотнику вещует: к нему, к Логину Загаржецкому, клятый дед обращается. Хоть и зовет по-своему, по-собачьи, а к нему. Да и остальные примолкли, ждут. — Неужто не слышал от учителей Торы, от опор синагоги: как обуял бес бен-Тамлион дочь римского императора, как рабби Шимон бар-Йохай изгнал того беса именем Святого, благословен Он? Мало тебе сих рассказов?!

Задумался сотник Логин. В затылке почесал. Нет, не слышал. И в синагоге отродясь не бывал. Вот дьяк Фома Григорьевич, нюхнувши доброго табачку — тот и впрямь любил в сотый раз излагать, как Христос-Спаситель гнал бесей из одержимого, гнал да в свиней, в свиней!..

Это было.

(«...учителя Торы! ревнители вер иных! знатоки смыслов!» — ворчит старый, очень старый человек, и я знаю: он действительно сердит. Ему, способному сказать между делом: «Четверо ненавистны Святому, благословен Он, и я их не люблю...» — о да, ему по сей день втайне хочется признания у банальных соседей по улице, ему хочется их восторгов, рукоплесканий вместо тай-

ных плевков вслед, когда рав Элиша мирно трусит по улочке на своем осле.

Он знает: это смешно. Это тщета.

Это ловля ветра.

Он знает, и все равно хочет; и все равно будет, посмеиваясь над самим собой, втайне желать этого до самой смерти...)

Остановилось креслице.

— В свиней? — Меламед хренов в упор выпятился на Логина, и кажется: душу сей взгляд наизнанку, как прачка холщовую свитку, выворачивает. — В свиней можно. Свинья — тварь грязная, неразумная, в нее бесам двери настежь открыты... То ли дело — человек. Сперва глянешь: чем лучше свиньи? — да ничем! Где образ Его? где подобие?! А приглядишься, протрешь глаза: нет врага человеку, нет друга, нет насильника, и спасителя нет! Сам он себе и враг наизлейший, и друг верный, и насильник опасный, и спаситель долгожданный... Все двери в душу свою только сам открыть-закрыть может. Увидите одержимого, знайте: собой он одержим, не бесами пустыми...

Притихла малышня по лавкам.

Притих сотник Логин, в затылке почесал.

Нелепицу вроде несет жид старый (бесы у него пустые! собой, значит, одержим безумец! враки!) — а от той нелепицы в голове ровно сквознячком продувает. Метет пыль по закоулкам, серую паутину комками сбивает, да в окошко, в окошко, по ветру...

Молчи, значит, да на ус мотай.

— Об ином скажу: о Малахах Рубежных, о Существах Служения... об ангелах. Свет они есмь, и в мир плотский лишь в одеждах сего мира спуститься могут. Только где ж им взять одежду ту? где найти, помимо плоти человеческой, сотворенной из праха земного?!

«И впрямь, — отметил про себя сотник валковский. — Раз голым из дома на улицу не поскачешь, значит, шаровары потребны. Чтоб срамным задом не отсвечивать. А где те шаровары взять? — либо в сундуке, либо на ярмарке в Сорочинцах. Правильно говорит дед».

И так Логину мысль сия разумной показалась, что есаул Шмалько исподтишка линейкой по плечам огрел — не заметил

— Вот тогда и взывает Малах-посланец к иному человеку: услышь! впусти! Ты мне тело на срок малый, я тебе — иной корысти с верхом отвалю! Не часто, а находятся смельчаки — кому терять нечего. Одного казнь смертная на рассвете ждет. Другой болен неизлечимо. Третий душу за родича или там любовь свою положить готов, а сил недостает Соглашаются; заключают дого-

вор со светлым ангелом. А в договоре том сказано: по доброй воле впустил, по доброй и выпущу...

Старец перевел дух.

— А как срок истекает, то не всякий человек подобру-поздорову из себя Малаха отпустит. Кто излечился — вновь захворать пуще прежнего боится. Кто от казни ушел — новой казни ждет. Кто друга спас — сам в беду угодил. А Малах есмь свет, и в ком того света с избытком, тот многое может. Вот и не выпускают люди ангела договорного, не дают на уход своей доброй воли. Побудь еще, говорят, погости ангелом-хранителем ..

(...голова кружится.

Надо держаться. Вон и Иегуда — весь белый, даже борода словно побледнела... поседела борода, инеем взялась.

Надо.

Держаться.

Иначе они не поймут... иначе мы не поймем.

Рав Элиша, ехидный Чужой, запертый в немощном теле! — помнишь, ты спрашивал меня? Ты спрашивал: могу ли я поменять их местами, свои реальности, внешнюю и внутреннюю, могу ли я вывернуться наизнанку, *насквозь* — и освободиться полностью?

Ты знаешь, сейчас мне кажется, что — да.

Могу.

Ведь «снаружи» и «внутри», в сущности, одно и то же...)

— ...побудь еще!.. Кричит Малах, бьется, исходит светом, как припадочный — слюной. А выйти без разрешения не может. Страшна для него темница плотская. И не идти в мир не мог, если Рубежи велели Существу Служения: «Иди!» — и остаться в мире боится.

— Чего? — истово выдохнул сотник Логин в повисшей тишине. В гулкой тишине, морозной, зябкой, несмотря на жаркое лето вокруг. — Чего боится-то?!

Непонятно было: пустили, значит, ангела с крылышками, вроде как в хату переночевать, а теперь по доброй воле отпускать не желают. Точно галера турецкая: забрался поплавать и остался — в кандалах да на веслах. Так ведь и с галеры удрать иной раз получается... А тут не галера — человек. Помрет своей смертью, и гулять ангелу по новой в поднебесье... то бишь в Рубеже ихнем.

— Ты это... ты, значит...

Хотел сотник сказать: «Ты, христопродавец, кончай москаля лепить! начал говорить — договаривай!»

Хотел, да не вышло.

Заледенел язык.

А старый, очень старый человек все смотрит, и все на него. на Логина Загаржецкого; и все понимает — и сказанное, и проглоченное.

Нет обиды во взгляде его.

Живой взгляд, блестящий, молодой.

Хитрый.

— А смерти человека-темницы и боится он, Малах Рубежный. После смерти ему ведь в гниющей плоти еще двенадцать месяцев по закону обретаться, до выхода на свободу. Не выйдет ли Ангел — безумцем? свет — тьмой?

Прикусил сотник Логин язычок.

До крови.

Только и показалось: не стало никого по лавкам. С ним одним старик разговаривает, с глазу на глаз.

Из сердца — в сердце.

— Однако смерть телесная не самый страх — самый, он пострашнее будет. Горит свет чужой в сосуде плотском, корчится запертый Малах в человеке — а человек-то его уже потихонечку переваривает душой своей, травит кислотой людских помыслов... Ведь души людские, согласно книге «Зогар», чином выше ангельских уровней созданы. Оттого и не захотели ангелы первому Адаму кланяться; оттого и служат, не любя. Год пройдет, два, третий настанет — забудет Малах-узник себя самого. И не вспомнит.

Старик помолчал.

Губами пожевал.

(...Рав Элиша! Еще!
Я сам ведь не смогу... не объясню!
Еще!..)

— Был человек, был в нем ангел по договору. А останется навеки: человек-клятвопреступник с лишним, краденым светом внутри. Жить будет — долго. Ворожить — сильно. Из тела в вещь, из вещи в тело, если потребуется, шастать станет, верхом на пламени Малаха-беспамятного. Отец под старость омолодится, сына в расход, да сам сыном и назовется! поживет еще чуток — пока внук не вырастет. А глупцы талдычат в один голос: бесы... одержимые...

Тут Логин старика вроде как слышать перестал.

И видеть перестал. О своем задумался. Не то сон во сне случился, не то еще какая мара навеялась. Грезится Логину, как он по новой в самое пекло собирается, за Яринкой-ясочкой. Да

только подходит к нему уже не Рудый Панько, не Юдка Душегубец со своей пропозицией — ангел небесный является. Серафим о шести крыльях. Ну пусть не небесный, пусть Рубежный — о том ли речь? Является, значит, и глаголет нежным гласом: «Пусти меня, друг Логин, до себя в утробу! Я через тело твое черкасское дельце малое обстряпаю! — да и тебя, родной, не забуду! отслужу!»

В затылке Логин даже почесал. Эй, сотник, согласился бы? — Ясное дело, аж плясать бы пошел. Не ведьмач, не жид — ангел! Ну, ударили по рукам Угоду подписали. Кровью? — А пускай и кровью, не жалко, много ее в жилах!

Что дальше?

А дальше выходит: на Рубеже этих, Малахов-сторожей, уже не в шабли! — сами они встречают-пропускают, да хлебом-солью, да с поклоном! Скатертью дорожка, люди добрые! Чортяка от сотника Логина-ангела шарахается, ведьму Сало смертный озноб дерет... А при штурме, при штурме-то! Гуляй, черкас! Руби сплеча, секи наотмашь полки вражьи! Ангельское полымя в душе жаром пышет, силушки на десятерых, шабля сотника не берет, стрела мимо свистит!

Тошно вдруг отчего-то стало. Вроде как супротив детишек малых по пьяни вышел. Ты им чего душе возжелается! Хоть стусана, хоть пряник, хоть в мешок и в болото! А они тебе — разве что уши от крика ихнего позакладывает.

Ну да ладно.

Дальше, дальше-то как сложится? Вот нашел отец дочку, ангел отцу и глаголет по второму разу: «Давай, выпускай! Я свое дельце под шумок обладил, ты — свое, пора и честь знать! Ну давай, чего телишься! Мне ведь твоя добрая воля семью засовами легла...»

А вдруг завтра опять сеча лютая приключится?! А через Рубеж дорожку обратную торить?! Нет уж, серафимушка, Малах малахольный! — погодь маленько... вот вернемся!.. Тут уж сотник Логин просто наяву увидал: вернулись, все Валки неделю гуляют, ан с турками замиренье кончилось. Или татарва налетела. Или новый Дикий Пан объявился. Или хворь прилипла...

Совсем страшное примстилось. Стол в хате, а на столе башка Логина Загаржецкого лежмя лежит. Старючая, лысая, желваки на восковых скулах катает. А перед столом — парубок молодой. Яринкин сынок, значит... ишь, как вырос! Стоит парубок, в руках дедову «ордынку» вертит.

— Пойдешь ко мне на шаблю? — пытает.

Аж ледяным ознобом до костей пробрало. Вскинулся сотник, раскидал мару по углам, глядит: старый жид в креслице ему улыбается.

Тепло так, с пониманием: что, пан сотник, глянул в душу свою человеческую? Каково?!

Тишина кругом.

И меркнет веранда, стол, лавки, сад за перильцами.

Пусто.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

Меня сотрясала дрожь. Не сладостные вибрации сфир, не струнный ропот листвы Древа — нет! Противная, омерзительная дрожь смертной плоти, силы которой иссякали. Даже та малость, что мне удалось показать этим людям, рассказать каждому на его языке, и в то же время — на Языке Исключения...

Даже это выжало меня без остатка.

Если бы не Заклятый, вовремя подставивший плечо...

«Неужели так теперь будет всегда?! — наемной плакальщицей голосила моя новая, уязвимая, хилая плоть, забыв, что совсем недавно была золотой осой в медальоне. — Не хочу! Лучше просто — не быть, чем быть — *так*!»

— Глупый, глупый каф-Малах... — эхом отдался в голове затихающий приговор.

Ты, как обычно, прав, мудрый рав Элиша. Я действительно глуп. К чему звать небытие, которое люди называют «смертью»? — если это самое «всегда», призрак вечной муки, уже на исходе. Раньше я смеялся, закручивая спиралью дни, годы и века! Раньше мне бы и в голову не пришло: как это времени может «почти не остаться»?!

Может.

На собственной шкуре понял — может.

Времени, воздуха, любви... свободы.

Я изменился. Я продолжаю меняться, стремительно и неотвратимо. У людей есть поговорка: «С кем поведешься...»

Мудрая поговорка.

Это про меня.

Но Хлеб Стыда отныне и до конца — это для кого-нибудь другого.

* * *

Застывшие фигуры оживают. Оттаивают. Начинают бесцельно двигаться. Я их понимаю. Они потеряны. Потеряны в самих себе. Они пытаются осознать увиденное, перевести в привычные им Имена и образы, облечь в шелуху из затертых от долгого употребления слов, чтобы наружу выглядывал лишь самый краешек ослепительной истины. Так, ерунда, блестящая игрушка, нестрашная и почти понятная. Я старался, я очень старался,

чтобы их разум не отторг увиденное, — но увенчались ли мои старания успехом?

Разве что Заклятый и женщина-Проводник...

— Башка кругом идет, — пожаловался сотник, нервно вытирая потную, багровую плешь. — Слышь, чортяка, где это мы были? В Ерусалиме, что ли?

Я не стал ему отвечать — да он и не ждал ответа.

— Уж лучше бы в Ерусалиме, — буркнул есаул, потянув носом воздух и скривившись. — Там-то хоть дух был приятный, яблочный! А здесь...

Шмалько неожиданно подался к выбитому окну, выглянул во двор.

— Пане сотник! Солнышко донизу клонится! Вечер близенько! Хлопцы мертвые на самой остатней жарище вышли! Похоронить бы надо, пане сотник, по-людски!

— Дело говоришь, Ондрий, — кивнул сотник, ворочая затекшей шеей. — Наш грех: забыли, заморочились... Только где хоронить-то будем? Камень один кругом. А за ворота лучше пока не соваться — мало ли...

Женщина-Проводник тронула его за плечо:

— У нас традиция: строить замки на костях предков. Обычно фамильный склеп располагается в подземелье, под северным крылом замка. Там наверняка отыщутся свободные усыпальницы.

— Добре. Мыкола, Хведир! — сходите, проверьте. Только факелы возьмите! Еще заблудитесь...

Я не слушаю сотника. Я... да, несомненно! — я шмыгаю носом. Заложен. Дышать (дышать?!) приходится больше ртом, а вибрации, которые люди именуют «запахами», и вовсе не воспринимаются. Кажется, мое новое-старое тело само позаботилось обо мне. Странно. Раньше я не разделял свое «я» и свое тело. Это было одно целое. А теперь? Не знаю. Теперь я ничего не знаю! Есть ли у меня душа, отдельная от тела? И если есть — была ли она всегда?

Рав Элиша, помоги!..

Я начал привыкать к этим камешкам будущей гробницы: «теперь», «раньше», «душа», «тело»!.. Я начал *противопоставлять*! Я перестал быть *целым*!

Впрочем, я действительно перестал быть целым: что я есть сейчас? — лишь жалкая частица былого каф-Малаха, Блудного Ангела, любителя смертных женщин и нарушителя Запретов.

— ...Имею доложить, пан сотник: усыпальница замковая, склепом именуемая, в подземелье под северным крылом замка обнаружена была, как пани Сале и предрекала. Также имеются свободные помещения, для погребения предназначенные...

— Предназначенные, говоришь? Значит, так тому и быть. Хоть и не в землице родной, а похороним хлопцев честно. Сходи-ка, Ондрий, поищи чего, чтоб кресты сделать. Негоже православных без креста-то хоронить.

— То я сделаю, пан сотник, не беспокойтесь!

— Ну, пошли. Перенесем браточков.

— Батько! Хорошо ли будет мальчонку-княжича здесь, с башкой этой поганой, оставлять? — вскинулась из угла Ярина.

— Да и чертенка...

— Да и чумака...

— Чумака трогать сейчас нельзя: рана откроется, умрет, — отрезала Сале Кеваль. — А о мальчике я позабочусь. Пойдем со мной, малыш, не бойся, — она склонилась над малолетним княжичем.

Ну, о своем сыне я сам позабочусь. Права панна сотникова: не стоит оставлять детей рядом с умирающим Приживником. Иди на руки, Денница... вот так. Ты знаешь: иногда мне становится страшно — каким ты вырастешь? И тогда я шепчу себеновому памятью себя-былого: каким бы ни вырос, лишь бы вырос!

Лишь бы...

— Эй, панове? Далеко собрались?! — Окрик Приживника застал людей врасплох. — Часу с гулькин нос, а они... Спешить надо!..

— То ты прав, пекельник, — обернулся на пороге сотник Логин. — Надо спешить. Хлопцы наши убитые ждать не могут. А ты — обождешь, не протухнешь. А и протухнешь — невелика потеря!

Логин смачно харкнул на пол и вышел вон. Остальные двинулись следом, не обращая больше внимания на отчаянные призывы головы.

— Юдка! — неслось вдогон. — Ну ты-то хоть куда?! Заместо попа?!

Ответа Дикий Пан не дождался.

* * *

Обоих детей мы с Сале Кеваль уложили в верхних покоях. Женщина произнесла Имя Руах, и измученный княжич мгновенно засопел, уснув рядом с моим сыном.

— Пошли, поможем им, — сказал я ей. — У тебя есть... у тебя или здесь, в замке — составы, которые отбивают запах? С ними будет легче.

Женщина-Проводник только кивнула в ответ. А я смотрел на нее и думал, думал всю дорогу из покоев во двор: кто мне эти люди? Что мне до их погребальных обрядов? Кто мне эта жен-

щина? Зачем я, тратя последние силы, дарил им совершенно бесполезное перед общей гибелью понимание? Зачем? Почему? Может быть, потому, что становлюсь таким же? начинаю чувствовать одиночество?! хочу укрыться от него?! Раньше каф-Малах мог быть везде и всегда. Время, расстояние? — пыль для Блудного Ангела! Даже когда я любил — да, я любил! было! — свою Ярину, я в любой момент мог оказаться возле; даже уходя, я не был одинок. А теперь...

Что со мной творится?..

Кто я? что я?!

...Все стояли во дворе: кто у пролома, кто посередке, лишь Хведир забрался на галерею.

Смотрели в небо, вдаль и снова — в небо.

Я знал, что происходит, но все равно не предполагал, что это выйдет так красиво. Красиво и страшно.

Вечер не вечер, день не день... ночь не ночь.

Радужный купол висел над самой головой. Казалось: привстань на цыпочки, вскинь руку — дотянешься. Зарницы разноцветья пробегали по нему, зарницы всех аспектов разом, от Хеседа до Гевуры, от Милости до Силы, от долготы жизни до ее предела — угрюмыми волнами ниспадая к горизонту. Только горизонт этот простерся совсем рядом: шагни раз, другой, потянись пальцами... ах да, я уже говорил.

Сколько осталось?

Сутки? двое? не знаю.

Сосуд, усилиями ревнивых бейт-Малахов лишенный праведников, выбрал весь отведенный ему срок. Радуга в небе, и защитника нет. Скоро бытие вытечет в дыру, целиком, без остатка, и язва зарубцуется Рубежами.

Был — мир, стал — шрам.

Рубеж.

Рубец.

— Гляди! гляди! — это Хведир. Небось и на краю гибели уставится бурсак на очередное чудо: глядите! ишь, наворочено!

Звуки обрушились со всех сторон.

Гомон, вопли, хрюканье несуразное... вскрики? всхлипы?! Это там, за стенами.

Я залез на галерею, проклиная на ста языках мелкую дрожь в коленках; встал рядом с бурсаком.

Вокруг княжеской ставки, вокруг шатра с радужным знаменем творилось невообразимое. Множество людей толпились, галдели, тащили нехитрый скарб; кое-кто уже копал землянки близ рощицы, воины отгоняли особенно настырных, мало-помалу вытесняя толпу за пределы оградительной насыпи со рвом. В толпе шныряли тощие карлы, сверкая зелеными глазищами,

их сторонились мосластые живчики, похожие на хищных тушканчиков. На окраине лагеря стайка ежей с иглами, отливавшими кованой сталью, бродила за огромным пауком, скрученным в три погибели; временами особо прыткие ежики слегка подкалывали унылое чудище в лохматый зад, но никто никого всерьез не трогал.

Как во время лесного пожара: все спасаются бок о бок, забыв прежние свары.

— И лев будет возлежать рядом с агнцем, — пробормотал у плеча Хведир, протирая окуляры краем одежды. — Знаете, пан химерник... я себе мыслил: оно как-то иначе сложится...

— Пойдем-ка вниз, — предложил я. — Их скоро и вовсе тьма набежит. Не до похорон станет.

Под нами громыхнуло:

— Кончай глазеть! Страшного суда не видели, голота?! Айда хлопцев собирать...

* * *

Сале Кеваль раздала всем куски ткани, смоченной ароматическим составом. Я отказался — насморк.

Вот уж не предполагал, что заполучу — и обрадуюсь.

Пламя факелов масляным бликом металось где-то впереди, вырывая из темноты сырые склизкие камни, ступени со щербатым краем, ржавые кольца для крепления светильников. Вскоре сырой участок остался позади. Узкая лестница изгибалась блудливой кошкой, убегая вниз. Глубже, еще глубже, в самые недра гибнущего Сосуда, где, по людским поверьям, располагается Ад.

Пекло.

Такому, как я, самое место, говорят...

Вот и усыпальницы. Здесь куда светлее: черкасы расходятся кругом, укрепляют факелы в медных зажимах, позеленевших от сырости, — и огонь рвется к сводам, старательно покрывая низкий потолок копотью.

Жирной, черной.

— Вот здесь пусто.

— И вот здесь... не, здесь кости! Махонькие! Ребятенка небось хоронили...

— Шмалько, кресты сладил?

— Прутьев набрал, пане сотник. Зараз сварганю...

— Ну то снимайте крышки. А ты пока на лесенке обожди, чортяка. Ты не обижайся... негоже, чтоб православных людей чорт в могилу клал. Лады?

Я не обижаюсь.

Я стою на щербатых ступенях. Жду, пока мертвые, пустые оболочки уложат в медальон из полированного камня. Пока задвинут на место тяжелые плиты, пока есаул приладит снаружи

самодельные кресты, наскоро склепанные из железных прутьев... Пока отзвучит голос сотника, сбивчиво произносящий разные слова.

Эти слова он полагает святыми.

Он прав.

Я знаю: все это — прах и суета. В гробницах сейчас гниет только бренная плоть, бессмертные души погибших уже далеко отсюда... хотя кто знает наверняка: далеко ли? близко?! рядом?! Нет, я не знаю. И раньше не знал, и сейчас. Эхо колотится глубоко внутри Блудного Ангела, тайное эхо, заставляя вслушиваться в скорбные молитвы, склонять голову.

Мне кажется, я понимаю этих людей.

Я их понимаю.

— ...аминь. Покойтесь с миром, хлопцы, не поминайте лихом. Авось еще свидимся: помашете своему сотнику из садов боженькиных, замолвите словечко. А теперь — пошли. Помянем, что ли, новопреставленных рабов божьих?

— Да надо бы...

Я молча иду впереди.

Я думаю о своем.

В спину, с потемневшего от времени образа, укрепленного Мыколой над дверью склепа, давит вопрошающий взгляд. Они зовут его Спасом. Рав Элиша звал его пылким сыном Иосифа и Марьям. Юдка зовет его бен-Пандирой.

Я же не зову никак. Мне кажется: сейчас он зовет меня. Спрашивает беззвучно: что ты собираешься делать, глупый каф-Малах? Что?!

Знаешь ли это сам?

Иду, не оборачиваюсь; не отвечаю.

— А этот... Приживала? — вспоминает кто-то уже на лестнице.

— Помолчал бы, дурень! Только-только хлопцев похоронили, а он уж про ту гыдоту речи завел!

— Да что там — Приживала?! Брешет он, собака! Слыхал, что нам старый жид про ихнюю породу сказывал? Отдадим его кнежу, хай меж собой грызутся!

— А может, лучше изничтожить тварюку? В печке спалить?

— И угоду с кнежем — в печке?! Как отсель-то выбираться станем?

— Господа, у меня есть подозрение...

Сале Кеваль нашла удачное время для своих подозрений: лестница кончилась, все выбрались в холл и остановились, переводя дух.

— ...у меня есть подозрение, господа! Я полагаю, что князь Сагор — тоже Приживник. Более того, я в этом теперь уверена. И один, пострадав от панны сотниковой, хочет поддержать свою гаснущую силу за счет другого.

— Та-а-ак...

— Два сапога пара!

— А нам таки не все едино: что маца к празднику, что праздник к маце? Нехай и пан кнеж себе покушает! Будто нам ему куска Мацапуры жалко! Укажет дорожку — я первый за его здоровьице чарку вудки тресну...

— И свиным смальцем закушу! От жид! полковник!

— Хлопцы, а не сбрешет ли кнеж? Ангела схарчил, теперь на второго рот разевает!

— Да не ангелы они уже...

— Тем паче! Значит, брехать не заказано...

Я молчу.

Я стою в сторонке. Я вижу замысел князя, как если бы сам придумал эту шутку. «Пойдешь ко мне на цепь? на перстень? на землю?!» На грани жизни и смерти, когда от Сосуда остается жижа на донышке, когда от тела остается болтливая голова... Пойдешь? Один имеет право позвать: сотник валковский, не простолюдин, не черная кость! — хозяин! Другой имеет право согласиться: князь-владыка, да вдобавок еще и с беспамятным Малахом внутри... И лопнут Рубежи на миг единственный. И не сможет воспрепятствовать ангельское воинство, ни Десница, ни Шуйца: ибо было обещано! А в далеких Валках — огоньком в драгоценном камне, бликом в яхонте! — объявится, прирастет намертво клочок былого Сосуда.

И пойдут люди по новой землянки рыть, а то и целые хаты ставить. Засверкают в Гонтовом Яру глазищи юрких карл, шекастые живчики пойдут по дорогам честных купцов пугать, забьется в чащу паук-страшила — сбегут парень с девкой в ночь на Купала, вокруг куста жениться, а он их живо в сети запеленает...

Вначале трудно будет, а там — срастется.

Не отдерешь.

Ну а после растворится остаток, отдаст самое себя новому жилищу... глядишь, со временем станет в том жилище хозяином.

Да, князь Сагор?

— Себя кнеж спасает! — врывается в раздумья крик панны сотниковой.

— Так и нас заодно!

— А попробует обмануть — мы его живо к ногтю! как Мацапуру!

— Господин Мацапура как раз не врал, — голос Сале Кеваль прозвучал негромко и ровно, но все словно по команде смолкли. — Вернее, он искренне думал, что обманывает нас, поскольку сам не знал, что говорит правду. У вас всех действительно есть один путь отсюда: заставить князя подписать и выполнить соглашение. А у самого князя... и у меня — два пути.

— А ну-ка, пани пышна, излагай!..

— Малахи обещали нам за работу — спасение. Эвакуацию в другой Сосуд. Работа исполнена, а Малахи никогда не врут. Но даже им не все пути доступны, когда радуга висит над гибнущим Сосудом. Они показали нам, куда могут нас доставить. Там... господа, эти места созданы не для человека! Я не хочу тихо стариться в аду одиночества, пусть и на иждивении Существ Служения! А вместе с мастером — вдвойне, вдесятеро не хочу. Но если мастер... если князь Сагор, заполучив голову пана Станислава, восстановит свои жизненные силы, — у него появится выбор. Согласиться на предложение Самаэля и ждать, долго, но не бесконечно ждать счастливого случая. Или рискнуть, заключив договор с паном сотником. Самаэль слово сдержит в том и другом случае. А вот что выберет князь... Господа, я не знаю.

Поднялся шум.

Бессмысленный, бесполезный. Каждый старался высказать свое просвещенное мнение куда громче собеседников — и стены гулко отражали «сей диспут», как выразился бурсак Хведир.

— Дай мне медальон, Иегуда, — я подошел вплотную к Заклятому.

Молча снял, протянул мне. Не спросил — зачем? Догадался? Неважно.

Теперь — неважно.

Зал был совсем рядом, но едва я двинулся к двери, как спорщики гурьбой повалили за мной.

Неважно.

* * *

Голова по-прежнему на столе. Губы едва заметно шевелятся, шепчут что-то, неслышное мне-новому — а по мозаике пола...

Раненый чумак из последних сил полз к столу, оставляя за собой кровавый след. Правая рука жалко тянулась вперед; в кулаке зажат нательный крест.

— Гринь, сучий сын, ты куда?!

— Кровью истечешь!

— Небось башку говорящую узрел, крестом защищался!

— А чего ж тогда к ней полз?

— Чумак! Ты меня слышишь?

— А-а-а... — Старший сын моей Ярины с трудом раскрывает глаза. — Пан есаул? Он... он меня... велел, чтоб на крест позвал... Я... оборониться хотел... не помню... дальше...

— Вот ведь отродье сатанинское! И креста не боится!

— Так он же ангел... бывший...

— Ангел? Лучше скажи — сам сатана! Чортяка, ты зла не держи, ты-то другое дело...

— А чего ему того креста пугаться? Крест-то иудин, дочерна замаранный, нет в нем Господней силы...

Дальше я уже не слушал.

* * *

— Пойдешь ко мне на медальон?

— Пойду, — шевельнулись синие губы, и я поднес к ним открытый медальон.

...Золотые корабли идут по золотым хлябям, золотые тучи идут по золотым небесам, золотые пылинки пляшут в золотом луче, драгоценный дождь нитями тянется к литой тверди, желтые листья бубенцами звенят на желтых деревьях, на златом Древе Сфирот...

Колыхнулся, разом потяжелев, драгоценный кокон.

Внутри шевелился, словно приходя в себя и осматривая свое новое жилище, маленький рубиновый паучок.

* * *

— Стало быть, теперь твой черед, чортяка. Сперва я за всех решил, не спросившись, теперь — ты. Ну, значит, так тому и быть. Не боишься только, что он в тебя перейдет, душу твою схарчит? Или у тебя души все одно нет?

— Есть, — почему-то сейчас я был в этом уверен. — Но ему она не по зубам.

— Почему так?

— Потому что я — каф-Малах. Я — свободен. Я сам — Свобода. Меня можно убить. Но покорить — нельзя. Если даже у Самаэля, Ангела Силы, князя из князей Шуйцы, не вышло... Ну а вдруг выйдет — тогда мы просто умрем. Оба.

Я улыбнулся сотнику Логину.

— И он это знает, пан сотник.

— Почему? — тихо спросил сотник. — Почему ты такой?

— Потому что буква «Бейт», символ Существ Служения, означает испокон веков: «Именно так!» А путь свободных, мой путь, лежит под знаком буквы Каф, означающей: «Как если бы...»

— Это тебе тот старик сказал?

— Да. Это мне сказал тот старик.

— Мне б такого старика. — Логин Загаржецкий смотрел в пол, а мне казалось: в лицо он мне смотрит, не моргая. — Эх, чортяка! Мне б его, в Валки! Клянусь Христом-Спасителем, я б ему сам синагогу выстроил...

— Пане сотник! пане сотник, да погляньте же!

Кричал есаул.

Он стоял у раскрытого окна и все тыкал мосластым пальцем куда-то ввысь, в левый угол.

Я пригляделся.

В радужном куполе, как раз в том месте, на которое указывал есаул, плавал бледный, размытый переливами серпик.

Месяц.

А темнее снаружи... нет, не становилось.

Время пожирало само себя, свившись цветными прядями. Последнее, жалкое: время-сирота. И еще: «Время нарушать запреты...» — подумалось невпопад.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

Бледный, размытый месяц скалился сквозь переливы радуги призрачной ухмылкой. И женщине вдруг померещилось: они сейчас находятся внутри отрубленной головы — всего, что осталось от умирающего Сосуда. Ненасытная радуга поглотила тело, с черепа опадает жалкая плоть — вот и она, единственная радость: усмехаться напоследок костяным оскалом месяца...

Сале тряхнула головой, но наваждение не исчезло. Смерть лишь позволила женщине оторвать взгляд от ее ухмылки — чтобы дать возможность увидеть себя всю, целиком. Картина гибели притягивала, не давая отвести взгляд. Что привлекало в этом зрелище? безумное величие? извращенная красота?

Кто знает?

Радужный саван уже давно окутал близлежащий городок, подступил к речке, через которую спешно переправлялись последние беженцы. Было отчетливо видно: им не успеть... так и случилось! Неумолимый саван накрыл несчастных.

Сале закусила губу.

Вода в речке вдруг встала хрустальной стеной, просияла сотнями цветных бликов, выгнулась горбом, исполинской, невиданной волной; подхватила, завертела отчаянно барахтающихся людей... людей ли? Уж и не разберешь: руки-ноги щупальцами выгибаются, мелькает в водяном вихре смазанная невнятица, за жизнь когтями-зубами цепляется — поздно спохватилась, глупая!

Поздно.

Издалека долетел то ли стон тяжкий, то ли всхлип, то ли плеск — и весь тебе итог. Нет больше речки, и никого нет, кто на ближний берег выбраться опоздал. А кто успел — со всех ног прочь бегут. Одна беда: ноги подламываются, словно ветер беженцам встречь дует; да не просто ветер — ураган!

Сбивает, назад за шкирку тащит.

Вот один не выдержал: обернулся, застыл — да сам прямо в радугу и бросился, ровно в омут! Только круги пошли — по цветной пучине, от радостного камня.

Сале и сама чувствовала неодолимую притягательность надвигающейся радужной смерти. Оттуда веяло свежестью, светом и одновременно — покоем, вечным отдыхом от сует и страданий. Тек переливами на краю слышимости малиновый звон, обещая нечто большее, чем просто небытие. Может быть, и правда?..

Вон уж и деревья на берегу ветвями к радуге потянулись. Изогнулись стволы, потекли свечным воском, будто и им хотелось туда, в свет запредельный.

В свет, за которым — тьма.

Тьма ли?

— Не спешит кнеж угоду подписывать, — голос есаула вырвал женщину из гипнотического транса, плеснул в лицо студеной водой, отрезвил. — Вроде самое время. Как мыслишь, пан сотник?

— Верно, Ондрий. Всех тот пузырь скоро сожрет. Ну да раз кнеж не торопится — мы его поторопим. Пошли. Вдруг поспеем еще!..

— Погодьте, пане сотник! Гляньте сначала, не про нас будь сказано, что за лихоманка кнежский табор треплет! Может, потому и нет послов-то?

Оказывается, пока все глазели на подступающую стену радужного савана, консул Юдка наблюдал совсем за другим.

Сале Кеваль посмотрела туда, куда указывал консул, — и у женщины зарябило в глазах. Светопреставление, да и только! Хоть на небе, хоть на земле.

Вокруг обнесенного свежим неглубоким рвом, валом и кольцом повозок лагеря с княжеским шатром в центре — вокруг этого последнего оплота власти и порядка бурлила толпа.

Беженцы.

Все, кто успел до поры до времени унести ноги от надвигающейся смерти, — и теперь с ужасом следили за ее неумолимым приближением.

Горожане, спешно покинувшие смертельно опасные ныне дома, крестьяне из окрестных (а отчасти — и дальних) деревень, воинственные лесные жители: зеленоглазые крунги в своих немыслимых хламидах из моха, щекастые коротышки-хронги и совсем уж редкие долговязые кранги-затворники, более всего напоминавшие обтянутые кожей скелеты в набедренных повязках. Ну и, разумеется, самое разнообразное зверье. Железных ежей вокруг сновало множество, однако попадались удивительные твари (о некоторых Сале лишь слышала да видела рисунки

в старинных фолиантах). На верхушке одиноко стоящего дерева примостился даже маленький зеленый дракончик — совсем еще детеныш.

Звери вели себя на удивление мирно, включая и тех, которым в одиночку в лесу лучше не попадаться. Да и люди не обращали на горемычную живность внимания — не до того было людям.

Человеческий водоворот бурлил, вскипал то тут то там пенными бурунами. Вон, неподалеку от кольца повозок, огораживавших лагерь, над толпой воздвигся один, в лиловом кафтане нараспашку, видимо, поднятый на руках своими товарищами. Над гудящим людским морем вознесся отчаянный, срывающийся голос, ударился о радужный купол над головами, рухнул вниз, кругами расходясь во все стороны, — и люди на миг притихли, вслушиваясь.

Даже до замка кое-что долетело. Разобрать можно было далеко не все — лишь отдельные обрывки:

— ...на ком вина, я спрашиваю?! кто?! ...шакаленка пригрел... Мазапуре тому пожаловал... маги за-Рубежные!.. Шакал-отец!.. Шакал-сын! ...погибель наслали... в ножки, в ножки поклониться!..

— На нас всех собак вешают, — хмуро буркнул сотник, явно озабоченный сверх меры. — Теперь сунься туда — в куски порвут...

— Как бы на замок не грянули! Не отбиться ведь, — влез есаул со своей заботой.

— Типун тебе на язык! Обождем, поглядим. По всему видать — недолго уж осталось.

— ...головой! Головой кланяться надо! На блюде золотом! — долетело снаружи.

«Небось прослышали о княжеском условии. Насчет головы веселого Стася, — зябко передернула плечами Сале: ей вдруг стало холодно. — Всем ведь известно, что князь Сагор — чародей, каких мало! Вот и хотят задобрить его, вымолить спасение. На силу его колдовскую надеются. Где им понять: если бы мастер хоть что-нибудь мог, уже б давно из кожи вон выпрыгнул, лишь бы погибель отвратить. Прав сотник — самое время договоры подписывать...»

* * *

Ты хотела увидеть смерть мастера, Куколка?

У тебя есть шанс! Хороший такой шанс, большой, радужный! Правда, пойдете вы в никуда, обнявшись! Но велика ли беда?! Цена этим твоим годам после казни Клика — грош ломаный! Не тогда ли ты поняла, сердцем выжженным почуяла: родной Со-

суд обречен? И очень скоро смогла убедиться, что отнюдь не твое собственное горе раскрасило все вокруг в траурные цвета В библиотеке мастера были книги. В том числе — и очень старые книги.

Ты любишь читать, Куколка?

Это началось больше сотни лет назад. В книгах той поры ты находила чертежи и рисунки дивных сооружений, рецепты загадочных снадобий; там были трактаты великих философов и математиков, таблицы астрономов и пьесы драматургов, способные потрясать умы и сердца... Где они теперь? Кому, для чего нужны накопленные знания, пылящиеся в сумраке замковых библиотек? Неужели лишь для того, чтобы воспитанный на старых книгах Рио изъяснялся старомодно-высокопарным штилем?! Чему было положено начало в прошлом веке? Отчего в твоем Сосуде стало трудно дышать? отчего настал упадок, пришло запустение?! откуда в лесах объявились дотоле неведомые уроды, а из всех искусств и умений лишь волшба расцветала махровым цветом?

Из каких геенн нахлынула убийственная духота, взявшая вас за глотку?

Или сами виноваты? косные, ленивые, злые? — но главное: безразличные... куколки.

«Нет заступника, и некому отменить приговор», — всплыло вдруг в голове. Чья это фраза? Где она ее слышала? Не важно. Неужели действительно — все?!

Зачем ты ожила, Куколка? Чтобы снова — умереть?!

На этот раз — навсегда?!

* * *

— ...все одно терять уж нечего! — порхнуло от лагеря.

Сале опомнилась. Глянула в сторону людского сонмища — и как раз успела увидеть: лиловый камзол проглатывает свой вопль, в грудь «гласа народа» ударяет арбалетный болт, пущенный от шатра со штандартом; горлопан опрокидывается на спину, исчезает в море тел...

На мгновение толпа застыла. Смолкла потрясенно — чтобы взорваться яростным ревом, хлынуть к насыпи.

— Смерть погубителю! — донеслось оттуда тысячеголосым раскатом.

Сале невольно протерла глаза. Что за чудеса?! Вместо того чтобы растоптать проклятых колдунов из-за Рубежа, народ взбунтовался против собственного князя?!

Маячившие на валу стрелки разрядили в толпу свои луки и

арбалеты, но перезарядить оружие для повторного выстрела мало кто успел. Те, кто поумнее (или потрусливее), бросились со всех ног бежать к княжескому шатру, а остальных толпа просто смела, вместе с горсткой легких копейщиков, пытавшихся заступить ей путь. Впрочем, и среди озверевших бунтовщиков местами отблескивали доспехи латников Серебряного Венца.

Быстро, однако, переметнулись!

— Туго кнежу придется. Глядишь, и угоду подписывать не с кем будет!..

— Так выйдем, пане сотник? пособим? В спину смутьянам ударим?

— Сиди уж, пан Ондрий! Нам туда лезть — что поперед батька в пекло! Только погинем зря. Лучше во-о-он куды поглянь: сдается мне, кнеж и сам управится...

Вокруг шатра со штандартом наблюдалось движение, стальной стеной сверкали щиты и латы, командиры спешили выровнять строй, успеть... успели!

И когда ревущая толпа докатилась наконец до ставки князя — навстречу ей ощетинилось длинными копьями закованное в сталь каре: Оплот Венца, личная княжеская гвардия. Ростовые щиты плотно сомкнуты, за ними блестят начищенные до блеска панцири, внутри каре уже поднимают на запасных щитах стрелков, кто уцелел, а в центре гордо развевается державный стяг: радуга на лазурном поле.

«Символ конца света», — впору было рассмеяться, да не сложилось.

Толпа нахлынула пенным прибоем, напоролась на частокол отточенной стали, но задние продолжали давить, нанизывая передних на копья. Человеческий прибой с лязгом и скрежетом зубовным ударился о стену щитов, засверкали мечи, до замка долетел многоголосый вой-стон — и море бунта откатилось прочь, оставив перед строем обильную кровавую жатву.

Гвардейцы поспешно сомкнули строй, оттащив внутрь раненых и выбросив убитых наружу. Впрочем, убитых было всего пятеро... нет, шестеро. Против доброй полусотни трупов нападающих.

Толпа взревела, вновь рванулась вперед. Казалось, люди обезумели от крови, своей и чужой, и теперь их уже ничто не остановит.

В толпу полетели стрелы. Лучники били слаженными залпами, и в плотном месиве каждая стрела находила свою жертву. Стрелки свое дело знали: клали наземь тех, кто бежал первыми, наиболее озверелых и опасных — и перед самыми копьями толпа начала сбавлять бег... но все равно не смогла остановиться. Отчаянные крики, хруст, скрежет... До мечевой рубки на этот раз не дошло: нападающие побежали обратно еще раньше.

В уши ударил победный сигнал трубы.

Каре мгновение помедлило, а потом сдвинулось с места: слитно, тяжко, крабом-чудовищем, и дрожь от поступи четырех сотен панцирных бойцов докатилась до самого замка.

— Молодцом, кнеж Сагорский! — одобрительно подкрутил ус Логин.

— Как мыслишь, пан сотник, к нам он прорываться будет? — есаул взглядом уже прикидывал расстояние до замка и время, которое понадобится гвардейцам, чтобы его преодолеть.

— Мыслю, что так.

— Вы бы, панове, таки лучше б ногами мыслили! — вмешался озабоченный консул Юдка. — Пока еще кнеж со своими железнобокими сюда доберется! А толпа-то куда как раньше поспеет...

Одного взгляда в окно было достаточно, чтобы убедиться: прав консул! Толпа, поначалу неохотно пятившаяся от наступающего каре, уже не пятилась.

Она бежала.

Сотни, если не тысячи людей и нелюдей сломя голову неслись к замку!

ЧОРТОВ УБЛЮДОК, МЛАДШИЙ СЫН ВДОВЫ КИРИЧИХИ

Очень скоро будет Самый Главный День. Я знаю.

Бабочки за пленочками тоже думают, что знают. Только они глупые. Они думают, Самый Главный День — это когда пленочки слипнутся, и между ними останется «ничего». Это нехороший Главный День.

И бабочки — нехорошие. Глупые. Им кажется, они придумали, как всех спасти. А на самом деле это придумал я. И никаких пленочек для этого не надо.

Вообще.

Мне стало жалко глупых бабочек. Наверное, я не буду их ловить и насаживать на булавки. Лучше я их тоже спасу!

Бабочки как будто услышали, что их хотят спасти. Уже и кричат из-за пленочек: «Спасите! Спасите!»

Я хотел их успокоить.

И проснулся.

Рядом мальчик княжич Тор носом булькает. Я заглянул к нему в сон: страшнючий! там мальчика княжича Тора ножиками убивают. Тогда я поскорее словил за шкирку сон добренький — и поменял сны местами.

Он сразу заулыбался, и мне стало приятно. А тут с улицы кричат: «Спасите! Спасите!» Это, оказывается, не бабочки во

сне кричали. Это люди на улице. Много людей. Оттого я и проснулся.

Окошко кто-то разбил, но это даже хорошо. Я высунулся к людям и стал им кричать, чтоб они не боялись. Что я их всех спасу. Уже скоро. Уже почти спас.

Но они все равно боялись. И кричали. А еще многие на меня пальцами показывать стали. Их, наверное, не учили, что это неприлично. А меня учили! Я знаю! Я хотел и им сказать, но тут понял: они тоже глупые. Как бабочки. Они хотят, чтобы я их спас, но не так, как хочу я. И не так, как хотят бабочки. И вообще, так не спасают, как они хотят. Так — *неправильно*!

Я хотел им об этом сказать, но они так боялись, что все равно бы не поняли.

Бабочки в соломинку дуют. И люди в соломинку дуют. Оттого такой здоровенный пузырище и вырос. Скоро лопнет. Бабочки радуются, собрались, смотрят. Думают, их Самый Главный День совсем-совсем скоро.

А я думаю наоборот.

Надо, чтобы мой Самый Главный День наступил раньше. Тогда я всех спасу. Даже бабочек. Слышите, бабочки? Я вас всех зову на праздник! На мой Самый Главный День!

И остальных тоже спасу. А некоторых спасу *неправильно* — раз они так хотят.

Раз они глупые.

Ну и ладно! Пусть им хуже будет.

ЛОГИН ЗАГАРЖЕЦКИЙ, СОТНИК ВАЛКОВСКИЙ

«Достал клятый замок до самых печенок! Обороняй его, обороняй... Судный День на дворе, а местное поспольство не к исповеди! — бунтовать вздумали! Туда бегут, сюда бегут... эх, зря хлопцы под Катеринослав удрали! И тут намахались бы вдосталь... за счастье народа!..»

При этом язык и глотка сотника жили как бы совершенно независимой от подобных мыслей жизнью. Никогда еще Логин Загаржецкий такого за собой не замечал: думать об одном, а приказы совсем о другом отдавать!

А вот поди ж ты...

— Мыкола, Хведир! Берите чумака — и наверх, на донжон тащите. Яринка, и ты, пани Сало, — детишек забирайте, чертенка с княжичем! — и туда же. Чортяка, а ты куда?! Ну и что, что сын?! Ладно, дверь закрыть и нас троих хватит, а не успеем — и сам чорт не поможет.

— Спасите! — надрывалась за окнами приближающаяся толпа.

Вот ведь дурни! Кому кричат? Кто их спасать должен? Кнеж? Вон, уже спасает — копьями да стрелами! Совсем ополоумели от страха.

Словно в ответ (*или действительно — в ответ?!*) откуда-то сверху послышался звонкий детский голос:

— Не бойтесь! Я спасу! Не бойтесь, уже скоро...

Чертенок. Чумаков братец. Больше некому. Ну, сейчас батька тебе задаст хвостом по заднице!

Сотник мельком глянул в окно. Бегущие перебирались через ров, самые резвые колотили в кое-как запертые ворота. В пролом не лезут, сиволапые, и на том спасибо.

Спешить надо!

— Ондрий, Юдка — за мной! Парадную дверь запереть надо. Ее они не сразу вышибут. Потом — наверх, на донжон. Закроемся там. Кнеж со своими людьми на выручку идет. Авось поспеет!

Последние слова сотник выплевывал уже на бегу. На шаг сзади дробно стучал сапогами по каменным ступеням есаул Шмалько, а шустрый жид — тот даже обогнать их успел.

Да только все без толку.

Вот уж и последний пролет остался, вот уж холл замковый внизу; глядь — а в открытые двери народ ломом ломится! Босые мугыри в холщовых свитках да портках, простоволосые бабы с детьми и без, горожане в цветных каптанах, латники беглые, да еще всякой нелюди россыпью: карлы мал мала меньше, ежи ржавые, паучара здоровенный, брюхо чуть ли не узлом завязано... «Эк скрутило беднягу!» — успел подумать сотник. И еще он подумал, что теперь остается только бежать сломя голову обратно, карабкаться вверх по винтовым лестницам — даст бог, повезет захлопнуть дверь донжона перед носом у преследователей.

Бежать, значит, и надеяться, что остальные уже там, наверху.

А больше он ничего подумать не успел, потому как в следующий миг их заметили.

* * *

— Спасите! Смилуйтесь! — толпа рванулась к лестнице.

Все трое, как по команде, потянули из ножен шабли, отступая назад и придвигаясь друг к другу, но рубить не пришлось.

Вместо того чтобы наброситься на колдунов за-Рубежных, наславших огненную смерть и радужную погибель, люди-нелюди начали валиться на пол: кто на колени, а кто и вообще ниц падал.

Сотник с есаулом невольно перекрестились: «Совсем людишки умом от страха тронулись!» — а Юдка забормотал по-своему, всю бороду заплевал сгоряча.

— Спасите!

— Великие маги, добрые Глиняные Шакалы! Простите нас!
— Отведите погибель!
Совсем растерялся сотник Логин:
— Да кто ж вам погибели-то желает! Мы сами... случайно...
Кто его слушал? Никто.
— Это все князь виноват, князь Сагор!
— Это он Шакаленка похитил!
— Это он Мазапуру пригрел!
— Это он!
— Это не мы!
— Не губите!
— Смилуйтесь!
— Добрый Шакаленок нас простил!
— И вы простите! Отведите погибель!
— Мы княжью голову хотели!..
— ...на блюде золотом!
— ...кланяться!
— ...в ноги!
— ...не казните, смилуйтесь!

Люди тараканами ползли вверх по лестнице, норовя ухватить и облобызать сапог кого-нибудь из «великих магов» и «добрых Глиняных Шакалов». Сотник и его спутники попятились, но обезумевшие люди не отставали. Ну не рубить же их, горемычных?! — рука с зажатой в ней верной «ордынкой» бессильно опустилась. А в дверной проем тем временем вливался целый поток, вопль отчаяния нарастал, звенел в ушах, море тел захлестывало холл, грозя погрести под собой трех растерянных пришельцев из-за Рубежа...

Снаружи, от стены, слышался лязг железа, мерная, неторопливая поступь сотен ног — и отчаянные крики умирающих: гвардейцы кнежа Сагора прорубали своему повелителю дорогу к замку.

— А теперь, панове... — Логин понизил голос, чтоб его могли услышать только есаул с жидом. — ХОДУ!!!

Они рванулись вверх, оскальзываясь на вытертых до блеска ступенях, поддерживая друг друга, не давая упасть. Сердце бешено колотилось в грудь, в уши врывался рев устремившейся следом толпы.

— Спасите!
— Добрые Глиняные Шакалы!
— Не оставляйте нас милостью своей!..

Ухватил за пояс оступившегося Шмалька, рывком вернул есаулу равновесие.

— Давай, Ондрий, не отставай! Затопчут ведь!
— Та я, пане сотнику...
— Молчи, дурень, силы береги! Вперед!

Умный жид драпал молча, сил на болтовню не тратил, но, когда надо, не забывал подставить плечо совсем уж запыхавшемуся есаулу.

Годы, годы...

Вот и последняя винтовая лестница. Стучат сапоги по ступенькам, голова идет кругом. А топот и крики позади все ближе, ближе. Ну, еще немного, сотник! наддай!..

Дверь! Нет, не та. Шмалько в последний момент набрасывает щеколду — и в следующий момент дверь сотрясается, трещит от сокрушительного удара. Долго не выдержит.

Скорее — вверх!

Вот и она, та дверь, что ведет на верхнюю площадку донжона. Крепкая, окованная железом. За ней — спасение; пусть — ненадолго, пусть...

Не поддается.

Неужели — заперто?!!

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

...подо мной гнойным нарывом пульсировал замок.

Остаток. Золотой медальон, доверху забитый страданием. «Спасите!.. добрые Глиняные Шакалы, спасите нас!..» — и истошные вопли умирающих, слабых или просто менее расторопных, по которым сперва прошлись свои же, обуянные паникой, а затем поверх и вдогон хлынула железная волна: новый медальон, князь-оса в оболочке из панцирных гвардейцев.

Почему вы умеете просить, лишь убивая друг друга?!

Почему вы так торопитесь делать глупости? — ведь скоро и просить будет некому, и убивать будет некому, и приговор будет приведен в исполнение с равнодушием, говорящим о вековой привычке!

Остановитесь! оглядитесь!

Ладошка моего сына потеплела в руке. Дернулась птенцом: раз, другой... утихла.

— Я их спасу. Батька, ты не понимаешь: просто я их спасу, и все...

— Умирающих?.. умерших?! Петра Еноху в склепе? Нашу с тобой Ярину, вырытую для ласки осиновых кольев? Кого ты спасешь?! Как?!

Не хотел этого говорить.

Само вырвалось.

Но почему я сказал: «...нашу с тобой Ярину...», не сумев назвать ее вслух матерью этого существа, которое я сейчас любил и ненавидел, как никого и никогда?!

Он улыбнулся, тихо и светло:

— Батька, ты стал совсем большой...

Впереди закручивались винтом последние пролеты лестницы. Впереди стонал и вскрикивал раненый чумак, мешком обвиснув на братьях Енохах; впереди бежала женщина-Проводник, увлекая за собой спотыкающегося, беззвучно плачущего княжича Тора; впереди хромала больше обычного панна сотникова, то и дело оглядываясь на нас.

Нет, на Денницу.

По мне ее взгляд скользил лишь мимоходом.

И еще: впереди заскрежетала дверь, ведущая на донжон, и оттуда хлестнуло сквозняком.

А за спиной, под ногами, позади, внизу: «Спасите! спасите нас, добрые Глиняные Шакалы!..» — и бегут из разверзшегося ада трое несостоявшихся мессий, цепляясь за путеводную нить сквозняка, спешат за нами.

Скоро догонят.

— Батька, ты мне готовишь подарок, да?

Я задохнулся. Сердце (сердце?!) гулко колотилось в груди: еще одна оса в еще одном медальоне. Скоро освободится. Подарок? Какой подарок?! Неужели он сошел с ума, надорвался, неужели наше бегство потеряло всякий смысл?!

— Готовишь... — убежденно протянул он, словно подслушав мои мысли. — Я же чую... просто полночь на дворике .. скоро — завтра...

Не ответив, я прибавил шаг и вытолкнул мальчишку в распахнутый проем. Захлопнул дверь за собой; замер в напряженном ожидании. Кто успеет раньше? Хвала Святому, благословен Он! — кажется, я различаю голоса.

Вот, приближается:

— Чортяка?! ведьма?! это мы!

И еще:

— Не спасет праведность праведника в день прегрешения...

— Эт точно, жиду! Не спасет — ни праведника, ни грешника, ни нас с тобой!..

А по пятам, с каждой секундой приближаясь:

— Спасите! добрые Гли...

Они вломились, едва не застряв в дверях. Я выдернул есаула, бежавшего последним, за шиворот, и мгновенно заложил дверь засовом.

Обернулся.

Вот он, донжон замка, вот она, светлая Ночь Приговора, туго сжатая в пружину; пространство-время, отведенное мне (нам!..) для подведения итогов. Не так уж мало, если не быть привередливым... Да, после вечности на первый взгляд вроде бы тесно, но после золотого медальона — вполне.

Ты смеешься, глупый каф-Малах?

А почему бы и нет?

Над головами — сырая от слез и крови, впитав в себя вопли, смех, лязг железа и шелест осыпающегося бытия, ушедший день и сумасшедшую ночь, — радуга. Привстань на цыпочки, вспрыгни на зубцы ограждения — дотянешься. Слева, над северным крылом замка, край ее косо опадает вниз, рушится тканым занавесом, и контуры башни с частью стены размываются, заплетаются цветными нитями; спирали, круги, линии... Так ребенок ладошкой цепляет еще мокрый от краски рисунок, смазывая картинку, путая цвет с цветом, линию с линией.

А выше, проступая сквозь мерцанье пугающе близкого Рубежа, — они.

Бейт-Малахи; правильные.

Ждут.

Струятся переливами, каждый перед воинством своим: розовый доспех Самаэля, Ангела Силы, фиолетовые ризы — это Задкиэль, Оплот Радости; рядом с ним, но ближе к востоку, горит царственный пурпур с вкраплениями золота и рубина (дергается паучок у меня на груди!) — там стоит Уриэль-Миротворец, о ком молчат в Первых Книгах. Но он не обижается, он ждет, бок о бок с изумрудной зеленью Целителя-Рафаэля и червонной желтизной Иофиэля, дарующего Озарение...

Клянусь мятежными Азой и Азелем! Даже высшие явились! Белизна и лазурь, огонь и вода, Шуйца и Десница.

Габриэль с Микаэлем.

Надо полагать, слова «между ними пришел и Противоречащий...» — это обо мне.

— Они пришли ко мне на праздник? Да, батька?!

Да, сын мой.

Они пришли на праздник — только не к тебе, а к самим себе.

Минуты капают в клепсидре обреченности, и вскоре еще один участок Творения зарубцуется навсегда, освободив невинные души от мерзкой, дурно пахнущей плоти. Малахи полагают это благодеянием. Я же... я не знаю. Раньше я не разделял тело и душу, и освободить одно от другого значило для Блудного Ангела — гибель.

Они спасают так.

А как намереваешься спасать ты, Денница?

Мне чудится: вот сейчас, сейчас я пойму и вывернусь наизнанку. Но понимание ускользает, радуга душит в себе пойманную добычу, и остается только стоять, стоять и смотреть, крепко, до боли сжимая теплую ладошку.

— Ты не бойся, батька. Хорошо?

Хорошо.

— И они пусть не боятся. Ты скажи им: пусть не боятся, ладно?

Ладно.

И с запаздывающим ужасом в меня врывается: Денница говорит не о собравшихся на площадке донжона.

Он говорит о Князьях-в-небе; о бейт-Малахах.

Пусть не боятся.

А под нами захлебывается воплем и скрежетом замок-медальон.

* * *

Старый, очень старый человек...

Нет!!!

Только не сейчас...

* * *

Тишина вздрогнула под ногами, изумившись собственному существованию. Покатилась вниз, шурша ступенями; разбилась о стены далекого холла судорожным вскриком, вдребезги, в куски; и снова — тс-с-с!

Стук в дверь.

Изнутри; вежливый, деликатный стук костяшками пальцев.

— Князь Сагор желал бы осведомиться: готов ли Логин Загаржецкий, наместник Чужого Венца, скрепить подписями условленный договор?

Пауза.

И снова:

— Повторяю: князь Сагор желал бы...

Решительно отстранив есаула, кинувшегося было шептать на ухо советы, сотник Логин делает мне знак. Отворяй, мол! чего уж теперь...

Рука разжимается с неохотой. Птенец маленькой ладони выпорхнул на волю; Денница гладит меня по плечу и отходит к остальным, где рядом с ним сразу становится панна сотникова.

Иду открывать.

Засов.

Скрипят петли.

Вот они, трое, медленно выбираются из проема. Герой Рио, безуспешно стараясь не бряцать латами, и коренастый спутник героя, чьи глазки-маслинки целиком утонули под косматыми бровями (Хоста? Нет, не похож!), поддерживают с двух сторон под руки...

Не сумев задавить порыв, сотник коротко, по-конски всхрапывает от удивления за моей спиной.

Я понимаю сотника без слов.

Если тот глубокий, древний старец, то воплощение немощи, которое только что вывели на донжон, и есть князь Сагор, вла-

дыка гибнущего Сосуда... Полагаю, Логин видел его совсем другим; и не далее как сегодня.

«Скоро — завтра...»

Слова моего сына погребальным колоколом отдаются в душе.

Сквозь редкие, вылезающие целыми прядями волосы князя просвечивает кожа: неприятно розовая, с синюшными пятнами, будто у покойника. Движется он странно — шагнет рывком и затем подтаскивает одну ногу к другой, шаркая подошвой. Вместо лица стынет череп, тесно облепленный восковым пергаментом: торчат скулы, выпятились наружу беззубые десны, подбородок клином... Сагор почти висит на сопровождающих — а там, в глубине, на лестнице, тускло блестят панцири гвардейцев, перекрывших дорогу.

Воистину гвардия умирает последней... предпоследней.

Отступаю в сторону; опускаю взгляд.

И вижу: с каждым шагом, с каждым движением князя, намертво зажатая в сухих пальцах, схваченная не за волосы, а почему-то за ухо, болтается — голова.

Пустая, мертвая, бессмысленная голова пана Мацапуры-Коложанского.

На следующем шаге князь Сагор, словно ощутив мой взгляд, трудно дергает плечом. Пальцы разжимаются с отчетливым хрустом, и голова катится к сапогам сотника Логина.

Остановилась.

Уставилась на радугу стеклянным глазом.

— Это... — хрипит старец и давится собственным хрипом.

— Это не имеет никакого значения, — бесстрастно переводит герой Рио, и молчит его бровастый спутник, лишь кивая в такт. — Никакого значения. Господин сотник согласен подписать договор?

Свободной рукой герой достает из-за пояса свиток, красиво перевязанный ленточкой. Оставляет князя на попечение бровастого; ногтями цепляет узел.

— Вот, прошу... а это перо и чернильница...

Стою у самых зубцов, под розовым сиянием. Жду. Вижу: женщина-Проводник легонько подталкивает маленького княжича в спину — иди, мол, иди к отцу! не бойся! Ребенок судорожно мотает головой и вдруг отворачивается, вцепляется в женщину испуганным котенком... зарывается лицом в ее одежду.

Сале Кеваль молчит, и слезы текут по некрасивому, по прекрасному лицу женщины, отливая радугой.

Но сотник Логин уже оправился от первого потрясения.

— Пан Ондрий! А иди-ка сюда! Ну, подставь спину взамен стола...

Есаул послушно сгибается в смешном, нелепом поклоне, и развернутый свиток ложится на спину пана Ондрия. Герой ми-

гом подает сотнику перо, заблаговременно обмакнув расщепленный конец в чернильницу. Отсюда мне видно: княжеская подпись с завитушками уже красуется на документе. Происходящее кажется сном, дурным сном без надежды на пробуждение; я не знаю, что делать, и должен ли я делать хоть что-то... я ничего не знаю.

«Батька, ты стал совсем большой... батька, ты мне готовишь подарок, да?..»

Да.

Наверное.

А вверху пляшет радуга, потому что приговор вынесен, и заступника нет.

Логин не спешит подписывать.

Шевеля губами, сотник внимательно читает текст договора, пользуясь возможностями законной визы. Внимательно, но медленно, очень медленно... слишком медленно.

И князь, окончательно обвиснув на бровастом, понимает это.

Ему не дожить до подписи. Ему не дожить до перехода через Рубеж. Ему вообще не дожить... Я чувствую боль: на груди, растревоженной язвой, бьется в медальоне рубиновый паучок, ища выхода — и вскоре до меня доходит, куда устремлен блеклый взгляд князя Сагора.

Он видит медальон.

Он понимает.

И не может больше ждать, резко кивая своему герою в мою сторону.

— Заказ! — вырвалось умирающим, изодранным в кровь воплем ночной птицы. — Заказ! . Большой...

Я опаздываю.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

Летней ночью, на жаре кромешной, метелью обожгло:

— ...Батька! Лети... лети, батька!

Визг проклятого ребенка слился с порывом налетевшего сбоку, предательски, ветра. Проморгавшись, Сале увидела совсем рядом с собой героя Рио — тоже в седле. Князь не ошибся в выборе: сдерживая пляшущего жеребца, герой показывал женщине пойманный на лету золотой медальон...

Они ударили одновременно: память и узкий клинок героя.

* * *

Никто не успел понять; никто не успел вмешаться.

Видимо, Рио только и ждал условного знака, потому что мгновенно выхватил меч. Он и впрямь умел двигаться между секундами, этот странствующий герой, лучший из немногих — знатоки, рекомендовавшие его, не солгали. Застыл с пером в руке сотник Логин, не успел разогнуться скрюченный в три погибели есаул; тускло мерцали чудные глаза каф-Малаха, погруженного в свои раздумья.

А острие меча уже скользнуло гадюкой по груди Блудного Ангела...

Прильнуло; отпрянуло. Не удар, не смерть — поцелуй.

Игра-любовь.

Сорванный медальон, тесно обвившись цепочкой вокруг клинка, драгоценной искрой мелькнул в воздухе. Птичья лапа мастера, вытекшего почти совсем, метнулась было навстречу — достать! выпить!..

Не достала.

Он очень сильно толкнул женщину, бросившись вперед — консул Юдка, Заклятый-Двойник; он сбил Сале с ног, вынудив больно удариться коленями, потому что сейчас ему было не до женщин на его безумном пути.

И кривая шабля перехватила прямой меч.

А небо упало еще ниже.

Все происходило просто, до смешного просто и обыденно. Поступки, движения, даже слова, даже смутные образы, преломляясь во льду сознания Сале Кеваль, выходили такими же обычными, как стертый медяк.

Ничего ведь особенного не происходит? ведь так? ведь правда?

Ведь правда.

Вот: лопнула цепочка. Вот: легко скрежетнув по острию, медальон взмывает над зубцами ограждения. Выше, еще выше. К радуге. Вот: немыслимым, невозможным — иначе! — нечеловеческим броском князь Сагор выплескивается вдогон, не оставляя про запас ничего, даже самого жалкого остатка сил.

Стой, погоди, жизнь! не надо! не надо — в радугу!..

Вот: вспрыгивает на парапет черная тень. Одновременно с порывом мастера. Каф-Малах, тот, кто прежде шутя прыгал через бездны, сейчас способен лишь на этот балаган — привстать на цыпочки поверх каменного зубца, потянуться шестипалой рукой за искрой из золота.

Но никто не успел.

Радуга хищной тварью соскользнула ниже всего на какую-то пядь... Едва удерживаясь от желания зажмуриться, Сале Кеваль заставляла себя следить за происходящим, плохо понимая: откуда? откуда явилось омерзение, лживо смешанное с экстазом?!

Из какой геенны?!

Всего лишь навсего: червонными размывами поплыл силуэт медальона, с чмоканьем всасываясь в разноцветье, багряной многоножкой смазался, закрутился волчком паук-Приживник, многократно увеличиваясь в размерах, теряя форму — и следом, беззвучно вопя, пошла вертеться в смертном калейдоскопе фигура мастера, разом налившись перед гибелью многими красками.

А во чреве души Сале, в сердцевине потаенной уж зашарили липкие пальцы: иди, глупая! прыгни! растворись!

Ну же, Куколка!

Когда в сумасшедшей пляске над головой стало невозможно различить — где паук рубиновый, где золото, где князь Сагор...

Когда из мешанины бликов вырвались и остервенело вонзились в самую гущу радуги два пламенных силуэта ..

Когда беспамятные Малахи, долго служившие своим живым тюрьмам негасимыми лампадами могущества, наконец обрели свободу в родной стихии Рубежа...

...Сале все-таки сумела, заставила себя отвернуться.

Прямо перед ней, не отрывая от героя Рио ласкового взгляда убийцы, смеялся консул Юдка.

— Господин консул! Это безумие! Прошу вас, не делайте этого!

Голос героя был тверд, но в самой сердцевине его вибрировала тайная червоточина.

Словно подросток взрослым притворялся.

— Вэй, пан, шляхетный пан! — острый конец шабли Иегуды бен-Иосифа приглашающе танцевал у самого лица героя. — Погляньте вверх! Радуга! Видите? Говорят, красиво... Да только таким, как мы с вами, всего два цвета до самого края и осталось! День-ночь, черный с белым, и больше ни хрена собачьего! Смешай уголь с молоком да выпей! Много ли хорошего, кроме поноса, выйдет?.. Повеселимся напоследок, пан герой? Или вам без хозяина несподручно?!

— Это безумие! О чем вы говорите?!

— Давайте, милый пан! Кат ваш новый заждался небось?.. У каждого свой Запрет! — ну что же вы?!

— Я не буду с вами сражаться! Не буду!!!

— Ну тогда я тебя просто убью, дурак, — тихо сказал рыжебородый консул.

А над ними, успев поймать в броске золотую цепочку, верхний конец которой уходил в радугу, висел черный каф-Малах.

Между небом и землей.

Батька молодец.

Они думают, он за цацкой прыгнул.

А он за собой прыгнул.

И дядьки с собою, не друг с дружкой дерутся. Дядьки тоже молодцы. Совсем большие стали.

А носатый, с бородой, всех больше.

БЛУДНЫЙ КАФ-МАЛАХ, ИСЧЕЗНИК ИЗ ГОНТОВА ЯРА

— Куда спешишь, бродяга? — без насмешки спросил Самаэль.

...Зачем, зачем я прыгнул?! зачем ухватился за цепочку?! Ноги соскользнули с зубца донжона, потеряв опору. Пальцы закаменели на холодных, крохотных звеньях, а пропасть под ногами терпеливо ждала: кто из нас раньше? кто первым уйдет в никуда?

Глупый каф-Малах или она, пропасть гибнущего Сосуда?

Впрочем, для меня это мало что меняло...

— Ты всегда так жил, бродяга. Не сумев сделать свой окончательный выбор: небо или земля? Свет или плоть? И умираешь ты правильно, оставшись верен своей нерешительности: между небом и землей, между светом и плотью.

Самаэль помолчал.

...Радостные сполохи бродили по его доспеху, розовому, словно панталоны маленького княжича. Дурацкое сравнение. Он прав: я жил и умру — дураком. Почему же тогда я не вижу света, что служит плотью Ангелу Силы? почему я вижу просто плоть?!

Лицо в обрамлении крылатого шлема. Прекрасное, гордое лицо.

В кулаке зажата цепочка бывшего медальона. Прекрасная, золотая цепочка; прекрасный, крепкий кулак с белесым пухом на тыльной стороне.

Прекрасный я, которого скоро не станет.

— Мне даже жаль убивать тебя, бродяга. Ты наполнял смыслом мое существование. Когда Служение становилось мне в тягость, я вспоминал тебя. И понимал с новой силой: та ложь, что ты зовешь свободой, — ложь вдвойне. Для ее обладателя и для окружающих. И еще: ты зачал этого ребенка. Слышишь: Самаэль, князь из князей Шуйцы, на пороге твоей смерти и моего триумфа, говорит тебе — спасибо.

...Он не умел лгать, Ангел Силы.

Он говорил искренне.

— На пороге твоей смерти и моего триумфа... — задумчиво повторил он, играя цепочкой.

Поправился:

— ...моего триумфа, способного обернуться моей гибелью.

Да, он не умел лгать.

...Я смотрел в его лицо; я видел тайный замысел Ангела Силы, приведший к сегодняшней ночи.

Видел так ясно, как если бы сам звался Самаэлем, как если бы сам велел любой ценой доставить чудо-ребенка в гибнущий Сосуд.

Двойная игра; оса в медальоне.

ПРОЛОГ ВНЕ НЕБА И ЗЕМЛИ

Сосуд трескался неохотно.

Мир, весь в смертных переливах, упрямо не желал сдаваться. Все эти деревья и заросли кустарника, холмы и овраги, все эти стены замка, каменные плиты и дубовые балки, старинные гобелены и люди, люди, люди, кем бы они ни называли себя и друг друга, — все это сопротивлялось радуге, как умело, и разноцветье живого из последних сил рвалось прочь из разноцветья мертвого.

Вспыхивало, кричало, звало на помощь не звуком — буйством красок. Как будто кому-то напоследок хотелось света, много света — и сразу...

Зарылся в одежды злой-доброй тетки маленький княжич. Сирота; теперь сирота. Радуга съела доброго дядьку-паучка. Внизу, на камнях двора, на выложенной желтеньким дорожке: исковерканное тело батьки. Батька сильный. Батька самый сильный.

Батьки больше нет.

Зарезали друг дружку носатый дядька и красивый человек в одежке из железа. Красивому человеку помогли. А носатый дядька их сам зарезал.

Тихо перестал дышать братик.

Пляшет в радуге Ирина Логиновна Загаржецка. Руки тянет.

«Спаси!» — кричит.

Пылинка в луче.

«Я спасу...» — отвечает он.

Он не боится ни боли, ни позора. За три с небольшим месяца, прожитых им, он свыкся с тем и с другим. Всей его боли было — мамкина разрытая могила, всего позора — имя чортова ублюдка.

Хватит.

Но батька лежит поперек дорожки, и Несущая Мир уже не замечает цветных языков, жадно лижущих ее останки; и дядьки уже не дерутся. И плывет сполохами замок — неохотно, но растворяясь. .

О нем вспомнили. Сразу несколько бабочек высунулись из своих пленочек, замахали крылышками. Не бабочки — крысы. Двинулись к нему, волоча за собой голые хвосты — розовые, фиолетовые, пурпурные в золотую крапинку. Как бы небрежно, как бы привычно, как бы мимоходом, потому что всего и дела-то, что разорвать на кусочки обомлевшего от страха мальчишку, писклявого боягуза, не сумевшего спасти даже рубинового паучка.

А хотел спасать — всех.

Из штанов выпрыгивал.

Он знал, что не может отменить случившееся — и знал, что оставить все как есть тоже не сумеет. Зачем он здесь, кто он такой, если не сумел защитить свой дом, своего батьку, маму, братика, маленького княжича?

Он отступил на шаг. Еще на шаг. Крысы ухмылялись, но он боялся не их.

Он ненавидел себя. Он стыдился себя, слабого; он *пожелал*, сам до конца не осознавая своего желания. Изо всех сил пожелал...

И шагнул в радугу, как шагают в костер.

Раскинул руки, сгребая пляску цветов в охапку, и оттуда, из феерического ада, обернулся.

Замок растекался яркой лужей.

«Не в добрый час твое желание услышано, Денница. Не в добрый час».

— Неважно, — ответил он. — Я спасу.

— Да, — ответил Самаэль на незаданный вопрос. — Только гибель целого Сосуда способна загнать твоего сына в угол. Смотри, бродяга: вот сейчас, сейчас он пожелает, раскрывшись для крика, — и мольба будет услышана. Так бывало раньше; так будет теперь. Он выйдет из радуги новым; новым и — Заклятым.

Ты не боишься, Ангел Силы? Ведь они, прежние, всегда просили небо о мести! Посмотри на Иегуду бен-Иосифа, на героя Рио, вспомни остальных, сколько их ни было! Они просили о мести и получали желаемое...

Ты не боишься, Князь Шуйцы?!

— Нет. Не боюсь. Я сказал Князьям, что в случае успеха Денница-Заклятый — идеальный Малах. Наша мечта во плоти. Живая способность работать на благо Творения одновременно и в Рубежах, и снаружи. С его появлением грязный тварный мир не пойдет, вприсядку помчится к Судному дню! Одни согласились, другие — нет. Но я не сказал им всей правды.

Самаэль склоняется ниже, и я вижу крупные капли пота на его лбу.

Пот? на лбу Малаха?!

— Бродяга, я знаю: твой сын, как и все, обязательно попросит мести. И получит возможность ее осуществить. Как ты думаешь, кого первого он станет убивать?

Он не ждет ответа.

Мы оба знаем ответ. Мы оба знаем его, Ангел Силы, единственный из Князей, способный рискнуть самим собой.

Мой сын первым станет убивать тебя.

И гибель Сосуда покажется детским лепетом, пустой шуткой, когда сойдутся в бою: сын каф-Малаха и смертной, воззвавший и получивший — против Рубежных воинств, обязанных до последней капли света защищать жизнь одного из своих Князей.

Свобода-под-Заклятием и Служение-ради-Свободы.

— Бродяга, пойми: тогда вмешается ОН! — Самаэль почти кричал, приблизив свое удивительное лицо вплотную к моему. — ОН просто должен будет вмешаться! должен! должен!!!

Сперва я не понял, о ком кричит Ангел Силы.

А когда понял...

— ОН молчит, бродяга! ОН наблюдает и молчит! Служение уже идет у меня горлом, а ОН молчит! Но теперь я не позволю ЕМУ отмолчаться!.. не позволю!..

* * *

— Глупый, глупый бейт-Малах...

Самаэль подавился криком, услышав это от меня.

САЛЕ КЕВАЛЬ, ПРОЗВАННАЯ КУКОЛКОЙ

— Тогда я тебя просто убью, дурак...

* * *

Схватка Заклятых — вспышка в ночи.

Разве что ночь раскинулась сегодня палитрой безумного художника; разве что вспышка длилась и не кончалась.

Звенели, сливаясь в любовном танце, прямой меч и кривая шабля; выпад сменялся ударом, две пары сапог плясали по камню плит, лихо вколачивая подковки на каблуках, — а Сале Кеваль все не могла отрешиться от чудной грезы.

Не рыжебородый Двойник насмерть рубится здесь с Заклятым в боевом железе.

Двое мальчишек дерутся.

Нелепый обладатель шелкового сачка, сын опального наместника Троеречья, и рыженький книжник в лапсердаке с заплатанными локтями.

Вот они: оба.

Женщина испуганно заморгала, гоня наваждение прочь. И пропустила тот неуловимый миг, когда Иегуда бен-Иосиф весенним журавлем крутнулся на носках, позволяя узкому клинку безнаказанно вспороть жупан поперек груди. Лопнула плотная ткань; дождем брызнули пуговицы. Но шабля того, кого звали Юдкой Душегубцем, уже извернулась в ответ живой молнией, ударила наискось, и почти сразу — над самой землей плеснула заточенной сталью.

Запрыгал по плитам обломок меча.

Охнул герой; оплыл сугробом.

— Все? — спросил книжник в лапсердаке, склоняясь над сыном наместника.

Единственный взгляд, брошенный через плечо, пригвоздил к месту нового палача, сунувшегося было помочь нанимателю.

Умен палач был.

Понял: служба окончена.

— Вижу: все... Или допляшем, шляхетный пан?

«Почему он медлит?!» — кричал кто-то внутри женщины, и, прислушавшись, Сале поняла: кричит она сама.

Вслух.

— Глупый бейт-Малах... ты так ничего и не понял.

Я почувствовал: цепочка, единственная опора, слегка провисла.

Этого не могло быть, но это было.

А на донжоне все двигались мухами в киселе Заклятые, каждый в обнимку со своим Запретом.

— Хочешь уйти, смеясь, бродяга? — Самаэль отстранился, оглядел меня так, будто впервые видел. — Или все-таки надеешься, что эти двое нарушат Запрет? Но ты в любом случае успеешь долететь до земли. Не веришь?

— Верю. Верю, Ангел Силы. Я успею долететь. Я уже успел.

«Батька, ты мне готовишь подарок, да?»

Да.

— Знаешь, Ангел Силы... Один старый, очень старый человек, из тех, кому ты служишь, ненавидя, спрашивал у меня: не пробовал ли я когда-нибудь освободиться полностью?

— Освободиться полностью? Ты?! — Самаэль улыбается с отчетливым сочувствием. — Он спрашивал это у тебя, Блудный Ангел? Тогда он глуп...

— Нет. Это я глуп. Потому что не ответил. Потому что не знал, как их можно поменять местами: свои реальности, внешнюю и внутреннюю? Даже став из каф-Малаха золотой осой — не знал...

— А теперь знаешь?

— Да. Теперь знаю.

— И кто же тебя научил?

— Они.

— Эти существа на донжоне?

— Да.

И цепочка провисла сильнее, ибо я ощутил опору под ногами.

* * *

Хочешь, я расскажу тебе страшную сказку, Ангел Силы?

Жила-была на белом свете Ярина Киричиха.

Честная вдова, честная мать взрослого сына, плоть от плоти людей Гонтова Яра. У колодца с кумушками судачила; борщ готовила. Где, в каком тайнике спала в ней Ярина-иная — способная без оглядки отдать последнюю, зрелую любовь бродяге-ис-

чезнику, решившаяся выносить во чреве дьявольское отродье? В какой миг они поменялись местами, вывернулись наизнанку?! — чтобы и в смерти ни на миг не жалеть о случившемся?!

Жил-был на свете белом сотник Логин Загаржецкий.

Для всех: лихой рубака, верный товарищ, православный черкас. И сам не знал хозяин валковский — как глубоко, в каких заброшенных подвалах, куда и самому пану сотнику вход заказан, дремлет до поры Логин-иной?! Тот, что клятву переступит. Тот, что душу на дочку сменяет. В самое пекло залезет, жида помилует, с чортом бок о бок рубиться станет. Когда раскрылись подвалы? Когда махнулся сотник не глядя, себя на себя сменял?

Когда?!

Каким чародейством из панны сотниковой, некрасивой девки-егозы, причудницы балованной, вышла на простор Несущая Мир? — пытки снесла, позор снесла, смерти в очи глянула, не отвернулась!

А другие? все?! Почему они способны меняться, входя в запертые на три засова сокровищницы, куда им вход навеки заказан был?!

Потому что слабые?!

Но ведь это же просто, глупый Ангел Силы!

Не понимаешь? не понимаешь, ибо никогда не был слабым?

А я был. Ты меня слабым сделал, Князь Шуйцы.

Хочешь, я сейчас вывернусь наизнанку?.. что у меня внутри? взаперти? не Блудный ли Ангел, которого понадобилось встречать у Рубежа всей твоей сворой, о Самаэль, подобный высокой горе?!

Встречай!

* * *

...Склонились вечерние тени, тени смертные, ибо право господствовать над ними передано ангелам, князьям народов. Благо же мне принять смерть в огне чистого золота, пылающего там, откуда искры рассыпаются во все стороны!..

* * *

Я выдернул цепочку из его кулака.

Прочь отбросил.

И розовое сияние попятилось, увлекая за собой фиолетовую дрожь, когда над гибнущим Сосудом, одним из многих, взмыл птицей былой каф-Малах; и внутренний свет стал внешним, делая меня подобным кипящей лаве.

Ее, стоявшую на коленях, сбило с ног, когда наверху радуга шарахнулась прочь.

Упав ничком, женщина сразу перевернулась на спину. Затылком, позвоночником, кожей ощущая под собой шероховатости и выбоины камня, она смотрела вверх — и видела, как радуга отступает двумя цветами из семи.

За всю долгую бытность Проводником Сале никогда не видела... да что там не видела! — не слышала, не представляла, что такое возможно. Даже мастер ни разу не упоминал о подобном чуде.

«Пока был жив, не упоминал», — подумалось невзначай.

Но розовое с фиолетовым пятилось назад, укрываясь за зелень, за пурпур с золотыми вкраплениями, за белизну, лазурь и желток; так волна откатывается от скалистого берега, чтобы укрепить собой море и дать место буйному разбегу волн иных.

А в небе над замком стоял без опоры Блудный Ангел.

Без опоры, без грома, без молнии; лишь четырехпалая рука замерла в отстраняющем жесте. Он стоял, не произнося ни слова, одетый лишь в самого себя — могущество Свободы, волшебный медальон, в чьей сердцевине ждал до поры смертный бродяга, бившийся во дворе замка смешным протазаном, а в бродяге сияла ярче многих солнц оса-искорка.

Они готовы были в любой момент поменяться местами.

По собственной воле.

И женщина захлебнулась восторгом: настолько прекрасным показался ей черный спутник, отец того ребенка, из-за которого сама Сале Кеваль сейчас лежала навзничь на последнем камне, оставшемся от всего ее родного Сосуда.

«Сын мой! — ударило беззвучием в мозгу Сале Кеваль. — Сын мой! Достаточно для Вселенной меня и тебя!..»

Но золото с пурпуром...

Но изумруд, и лазурь, и белизна снежная...

Он стоял темным шпилем, и молнии пяти цветов уже грозили ему ударом.

* * *

— Руби, жиду! — взлетело над распростертой Сале. — Руби героя! вщерть!

Повернуть голову было — что гору своротить. Наждак камня в кровь оцарапал мочку уха, но боль помогла: привела в чувство, вернула на землю.

И Сале Кеваль почувствовала себя странствующим героем.

Это над ней замер в ожидании консул Юдка («Или допля-

шем, шляхетный пан?!»); это на нее сейчас должно было опуститься беспощадное лезвие.

— Руби!

Засмеялся Иегуда бен-Иосиф. Так засмеялся, что и на пороге обшей гибели пробрало женщину лютым морозцем.

Бороду встопорщил: прочь, Тени!

— В какой миг я становлюсь рабом?.. — спросил непонятно.

Вбросил шаблю в ножны. Оскорбленный, взвизгнул клинок, не дорвавшись до горячего сердца. А Иегуда ладонью рукоять прихлопнул; на героя посмотрел. Улыбнулся.

И Рио улыбнулся в ответ.

А потом привстал, потянулся и вогнал Иегуде сломанный меч по самую гарду — туда, где жупан консула сукном драным напоказ торчал.

— А я? — ответил вопросом на вопрос. — А я, Двойник?..

Выгнуло обоих.

Как меч — на излом.

Мертвый стоял, не падал консул Юдка; живой, смотрел на него снизу герой Рио.

Одна у них улыбка на двоих была.

Показалось Сале: чувств она на краткий миг лишилась. Только и осталось в памяти: небывалое дерево, от адских глубин до райских высей. Шелестит кроной, слова чудные в том шелесте укрывает: «...расторжение нижнего Слияния... аспект Скрытой Мудрости, одетый в Глас Великий... почив на белом огне — еще миг, и энергия Приговора!..» Да только в словах ли дело, пусть даже и в самых чудных на свете?!

Другое случилось: два могильных кургана под деревом зашевелились. Посыпались рыхлой землей, лопнули трещинами, выпуская из чрева... кого?

Не привелось Сале увидеть: кого?

Ушел краткий миг как не бывало; вернулись слух, зрение, боль вернулась.

А они оба уже шли плечом к плечу к ограждению донжона. На зубцы взбирались: рыженький книжник в лапсердаке с заплатками, сын наместника с шелковым сачком. И дальше — от зубцов в небо, к Блудному Ангелу.

Дошли.

Встали.

«...Видел я сынов восхожденья, и мало их... мало... мало их!..»

Но хватило, чтобы шестью цветами из семи отступила радуга.

Даже белизна не выдержала.

Захлестнуло, затопило остатки Сосуда пенной лазурью морской.

Голубой сталью Архистратиговой.

— А ну, хлопцы-бабы-девки! — тихо сказал сотник Логин.
И уж совсем еле слышно, себе одному:
— Пошли, что ли?
Швырнул гусиное перо под ноги, сапогом растоптал.
Во всю глотку, срывая голос:
— Рубежей их клятых не топтали?! За мно-ой!

Шагнул, не оглядываясь.
Знал: идут.
В лазурь, в радугу, в ад кромешный, к Господу Богу на казенный харч, все, кто остались, кто есть, кто были... Яринка-ясонька и Ярина Киричиха, разорванный пушкарь Гром с Забрехой-кулеметчиком, есаул верный с братьями-Енохами, живыми и мертвым, ведьма Сало да чумак-иуда, хлопцы из-под Катеринослава, турчонок катованный, чортячий сынок, княжич-трехлетка...
Идут.

ЭПИЛОГ НА ЗЕМЛЕ ПОД НЕБОМ

I

Мелкий летний дождь вслепую бродил по лугу. Пересыпал из горсти в горсть солнечные брызги, дробно стучал клюкой по траве; присвистывал в такт ошалевшим от простора иволгам.
Смеялся белозубо.
Швырялся каплями, не доставая — во все стороны, вдаль, туда, где невидимая отсюда, еще пятилась к небокраю радуга-дуга, выпускала из себя, из мешка рваного, проглоченное разноцветье жизни живой.
Деревья, дома, люди... смертная плоть, без которой и душа вроде как и не душа-то вовсе — пар один.
Пригреет солнышко жарче, глянешь искоса: где ты, дождь-слепец? был дождем, стал росой, был росой, стал паром, был паром, стал облаком... э-ге-гей, глупые, скоро вернусь!
Ждите!..

II

— Вымокла? — спросил Денница.
Он стоял, глядя в небо: высокий, легкий, в темно-лиловом плаще, найденном в замковых кладовых. Как тогда, на поле

грез, перед лазурным стягом и воином с синими очами. Только всей лазури на этот раз было: омытая дождем высь.

«А в том сне небо серым было, — подумалось Ярине. — Дерюга, не небо... отстирать бы...»

— Ну и ладно, — согласился Денница, как если бы она ответила ему, ответила что-то важное, а не просто: вымокла или нет?

— Ты уже вырос? — спросила Ярина, прикусывая горькую былинку.

— Да. Вырос. Мне тринадцать недель, Несущая Мир. Значит, я большой. Полночь сгинула, и настал мой Самый Главный День. Только это неправда. Самый Главный — впереди... ждет...

Он помолчал. Присел рядом.

Край плаща набух росой, отяжелел.

— Спасибо тебе, Ирина Логиновна Загаржецка. Батькам нашим спасибо. Остальным — всем. Я ведь уж чуть было...

Денница нахмурил ясный, юношеский лоб.

— Чуть было не попросил.

— Ну и что? — само вырвалось.

— Ничего. Просто не вырасти мне тогда. Так бы и жил: большим, да маленьким.

Он поднял голову, глянул на возвышавшуюся над замком башню донжона.

III

Трое стояли там.

Рыжебородый мудрец, стройный воин и чудной бродяга.

Спорили о чем-то; руками размахивали. Казалось: вот сейчас взмахнут посильнее и взмоют в ширь небесную, так и не прекратив спора.

А ведь взмоют...

Пойдут по облакам, лишь обернутся напоследок: ну что же вы? догоняйте!

IV

— Домой хочется, — Ярина легонько коснулась его плеча: гладкого, твердого. — В хате небось пылищи... за год не оттереть!

— Ототрем, — уверенно пообещал Денница. — И пыль выгоним, и полы вымоем. И раны вылечим.

Он замолчал, нахмурился.

Три поперечные морщины залегли в переносье.

Ярина знала: о брате думает. Чумак Гринь по сей час бился на пороге жизни и смерти, еще дышал, готовясь в каждую секунду сделать выбор: уйти или остаться. «Помоги ему! пожалуйста! — Ярина шепнула это на самом рассвете, когда новый,

взрослый Денница подсобил снести чумака в покои, а затем долго сидел над раненым, думая о своем. — Помоги! ты ведь можешь!»

— Могу, — ответил ей юноша, в чьих волосах горел невесть откуда взявшийся обруч из серебра. — Могу, Несущая Мир. Только нельзя. Надо, чтобы братик — сам... сам.

И добавил, больше себе, чем Ярине:

— Нельзя так. Нельзя спасать неправильно. Если я вырос, значит — нельзя.

Холодком пробрало панну сотникову от слов этих.

V

— Пан Ондрий! — донеслось из-за стены. — Дурья твоя башка! Куды чортопхайку с верхом грузишъ?!

— Га?

— Ото ж! Не довезем ведь!

— Та довезем, пане сотник... тут же всем: и вам, и нам, и жиду маленькую торбочку...

Денница взахлеб, по-детски расхохотался.

Просиял лицом.

— Насмехаешься? — с притворной обидой спросила Ярина. — Хихоньки строишь? А батька прав: через Рубежи эти, да на повозке груженой...

И замолчала.

Смотреть стала: как юноша в лиловом плаще опрокинулся навзничь, в мокрую траву, как ногами от восторга задрыгал. Точно так же, как у речки — во-он, у дальних кустов! — ликовал по-щенячьи трехлетний мальчишка Тор, глядя, как маленькая женщина по имени Сале плетет из вьюнков «попону для ящерки».

Весело им, недорослям... детская память короткая.

Подумала, и ясно стало: глупость подумала.

— Это для вас теперь не Рубежи, — отсмеявшись, сказал Денница, вытирая глаза. — Это так...

Он поискал слово.

Нашел.

— Пленочки это, Несущая Мир. Пленочки, и ничего больше.

— Для вас? — Ярина вскинула брови.

Он поправился:

— Для нас. Для нас всех.

VI

Ярина толкнула его, присевшего на корточки, в грудь.

Нет, не опрокинула.

Так и остался сидеть, улыбаясь.

— Богатырь! — Девушка еле сдерживалась, чтоб не ответить улыбкой на улыбку — Вернемся в Валки, отец тебя в реестр запишет! Будешь справным черкасом Горелку пить можешь?

— Могу, — ответил он

— А шаблей рубать?

— И шаблей могу

— А Богу молиться?

— Молиться? — спросил он — Как это молиться?

Не сразу и нашлась Ярина, что ответить

— Ну, молиться! Вот глупый! Ты Ему отче наш, иже еси

Он понял

— Разговаривать? Да, Несущая Мир? Теперь — могу

VII

— А девок любить можешь?

Невпопад спросила Только чтоб от дурного разговора убежать

И сама захлебнулась о чем спросила, курица?!

Он кивнул

В глаза заглянул увидела ли?

— А что ты еще можешь, Несущии Свет?

Само вырвалось, мимо воли

VIII

— Могу я избавить весь мир от суда с того дня, когда я был сотворен, до нынешнего А если отец мой со мной — со дня, когда был сотворен мир, до нынешнего

Денница встал

Твердо глянул в лазурь над головой

— А если будут товарищи наши с нами, то от дня сотворения мира до конца времен

IX

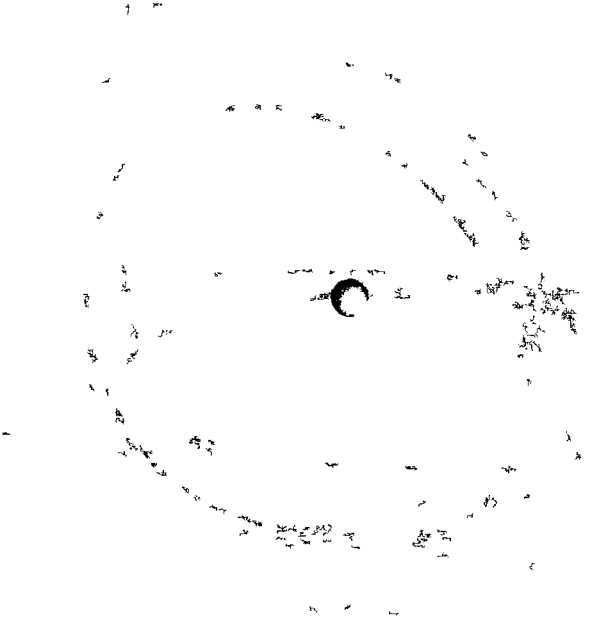
Радуга выгибалась над близкой речкой

Просто — радуга

После дождя

ПЕНТАКЛЬ

РОМАН



Доброжелательные люди — не предметы для искусства.

С. Т. Аксаков

Зачем выпрыгивать в окно, когда проще перевернуть мебель?

Окна здесь не мыли с прошлого века. Мебель тоже не меняли — столы из белого пластика, высокие седалища типа «сядь-и-дрожи», древний кофейный автомат, встретивший нас недовольным гудением. Портрет Николая Васильевича Гоголя на пузырчатой от краски стене был явно вырезан из юбилейного «Огонька» тридцатилетней давности. Рядом кнопками — две сверху, одна внизу — прикрепили фотографию: в лучах рассвета сияла рубиновая звезда, водруженная на шпиль. Звезду чья-то веселая рука, вооружившись углем или черным фломастером, заключила в извилистый круг. Пожалуй, геометр-любитель перед работой изрядно хлебнул горькой.

Звезда в круге.

Пентакль.

Ушедший Век-Волкодав все еще держался в этом странном кафе, куда мы, пятеро, завернули, спасаясь от внезапного дождя. Цеплялся за жизнь всеми годами — когтями, зубами, щербатыми и сточенными от старости, в особенности последними двумя-тремя десятками. Бармен, обеспечив каждого чашкой напитка, пахнущего горелой резиной, удалился. Спина бармена излучала гордость, достойную венецианского мавра: сделал дело — гуляй смело!..

Тихо. Пусто. Двадцатый век.

Прошлое.

— Луиджи Пиранделло, нобелевский лауреат. «Шесть персонажей ищут автора».

— С точностью до наоборот. Авторы ищут персонажей.

— Шестеро? Ты себя за двоих посчитал?

— Смею напомнить, ничем хорошим у Пиранделло эти поиски не кончились. «Видимость! Реальность! Игра! Смерть! Идите вы все к черту! Свет! Дайте свет!..»

— А портрет Гоголя — знак, между прочим! Даже перст — указующий.

— Ага... и нос тоже. Указующий.

— На что? На малороссийскую экзотику? На гоголь-моголь с горилкой-морилкой?

— Новый Миргород?

— А что?

— А ничего...

На улице лил дождь. Прохожие спасались под зонтами, под козырьками подъездов, в арках дворов. Портрет классика смотрел мимо нас в залитое водой окно. Классик упрямо воротил длинный нос от рубинового пентакля. Горчил кофе. Ненаписанная книга Вием стояла на пороге. Поднимите мне веки...

Поднимите мне век.

Двадцатый.

— Ловим героев, а в полночь встречаемся у разрушенной церкви и докладываем об успехах?

— Ведьма работает в парикмахерской? Черт сидит за компьютером? Упырь — председатель колхоза? Гоголевской Малороссии давно нет.

— Если ищешь чего-то необычного, можно выпрыгнуть в окошко. А можно просто перевернуть мебель. Так сказал Лир.

— Король?

— Король. Эдвард Лир, король нонсенса.

Тишина пустого кафе, тишина ушедшего века, века железа и пластика, ничем не похожего на времена патриархальной Диканьки. Все по-другому, все иначе.

Дождь. Кофе оставалось на самом донышке.

Портрет скептически молчал.

— Между прочим, для Гоголя Миргород — не символ глухой провинции, как в учебнике написано. Для него он — Мир-город, средоточие всего, что есть на свете.

— «Мир-город» — так раньше переводили название «Иерусалим». Все вспоминают Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича с их лужей, но в «Миргород» входит и эпический «Тарас Бульба».

— Ну, лужа — это центр стабильности! Эстафета веков!

— Сейчас на месте той лужи — пруд с лебедями. Источник миргородской целебной воды! Иван Иванович с Иваном Никифоровичем по золоту ходили. Вот вам и разница.

— А дождь, между прочим, кончился. Пошли?

Чашки с легким стуком опустились на пластик.

Пошли? Пошли!

Встречаемся в полночь — возле разрушенной церкви. Или утром под часами на главной площади. Или в полдень у старой мельницы.

Легко стукнула дверь.

— Сочинители! — вздохнул бармен, соткавшись прямо из воздуха, пропахшего горелым кофе. — Наворотят мудростей! Разве что пан ректор Киевского университета ихние выкрутасы разберет, и тот небось в затылке лысом не раз, не два почешет!

— Какие ведьмы в наше просвещенное время? — согласился кофейник. — Какие черти? Писали бы лучше про драконов, про баронов... Мебель, понимаешь, им переверни!

Белый стол поднял ножку и почесался. В идее перевернуться было что-то привлекательное. Но спорить с бывалым кофейником он не решился.

— А все-таки что ни говори, как ни верти, — Портрет задумался, степенно кивнул, — а все-таки разное в мире бывает. Редко, но бывает!

И не выдержал: скосил левый глаз на пентакль.

Словно боялся, что две верхние кнопки отвалятся и звезда в круге перевернется вверх тормашками, как мебель у короля нонсенса. Тогда хоть в окошко прыгай...

Зачем выпрыгивать в окно, если любой этаж — первый?!

Когда пентаграммы, иначе — пентакли,
Закружат дома в безымянном спектакле
И демоны освободятся — не так ли? —
То вздрогнет асфальт под ногой.

И пух тополиный — волокнами пакли,
И с бурсы хохочет угодник Ираклий,
И глотка охрипла, и веки набрякли...
Ты — нынешний?
Прошлый?
Другой?!

Пройдись не спеша от угла до угла,
Дождись, пока в сердце вонзится игла.

БАШТАН

Хата была очень стара. За десятки лет соломенная кровля поросла мхом, а плетенный из лозы дымарь кое-где разрушился, и потому дым шел не только сверху, но и валил из прорех. Никого это не печалило. Хату белили каждый год перед Пасхой. Рядом помещалась комора — хозяйственная пристройка, сарай. Перед ней имелся широкий порог, на котором можно было играть «в камушки», или выстругивать что-то, или просто сидеть; правда, посиделки случались редко.

Вся семья работала, и даже для младшенькой — Оксанки — всегда находилось дело.

Омелько был предпоследний ребенок в семье. По возрасту ему давно полагалось доверить корову, но доверяли только черную свинью, которую следовало гнать на выгон и не отходить от нее ни на шаг. Свинья так и смотрела в чужой огород — Омелько не мог ни прикорнуть, ни с хлопцами поиграть, ни лодочку смастерить.

Свинья свою власть понимала, смотрела на Омельку нагло и хрюкала издевательски. В наказание Омелько иногда катался на ней верхом.

За коморой тянулся так называемый сад — плодовых деревьев там не было, если не считать две-три дикие груши на самом краю. В глубине росли липы — вековые, в три обхвата, дальше — осины, а еще дальше, возле болота, — вербы. Под деревьями поднималась крапива в человеческий рост; когда старшей сестре Варьке поручали нарвать крапивы для свиньи, Омелько всегда бежал следом. Во-первых, в крапиве сплошь и рядом случались птичьи гнезда, и Омелько становился на четвереньки, чтобы разглядеть рябые яйца или кончиком пальца потрогать птенцов. Во-вторых, Омелько точно знал, что и детей находят в крапиве. Старших братьев Павла и Семена, и Варьку, и его с Оксанкой нашли в старом «саду» и сразу отнесли бабе Рудковской, чтобы «пуп завязала». Пробираясь босиком по скошенной крапиве и почти не чувствуя жжения (подошвы с весны задубели, как подметка на сапоге), Омелько мечтал найти в крапиве ребеночка. Возни, конечно, потом не оберешься — качать колыбельку, совать в рот «куклу» (пережеванный хлеб в тряпочке), таскать с собой на улицу и следить, чтобы мальчишки не обижали... Но зато можно будет всем рассказать: это я его в крапиве нашел! Я!

До сих пор младенцы в крапиве не попадались. Может, и к лучшему: семья и без того большая, а земли мало. По вечерам отец нередко заводил с матерью разговоры: мол, говорят, в Сибири есть свободная земля и ее дают крестьянам. Надо ехать в Сибирь, в Омск, в Томскую губернию — куда угодно, тут с голоду пропадем...

Засыпая, Омелько видел необъятные просторы этой сказочной Сибири. Там рожь поднималась на высоту деревьев, каждый пшеничный ус был с Омельку ростом...

Но дальше разговоров дело не шло.

Свинья опоросилась, и хлопот прибавилось. Все свиное семейство оказалось на Омелькиной ответственности; отец известен был строгостью, ему бесполезно объяснять, что поросенок-де сам отбился от выводка и потерялся. Следы хворостины не сходили с Омелькиного зада — как и с Семенового, Павлового и даже Варькиного. Только Оксанку отец баловал и порол реже прочих.

За утешением и советом Омелько приходил обычно к деду. Тот жил в балке, в стороне от села. Выбираться к нему было не так-то просто еще и потому, что дед и отец не дружили. Омелько не знал почему. И не расспрашивал особенно — стерегся.

Дед, которого звали Мамаем, седой и лысый, никогда не носил шапки; его голова казалась Омельке темным яйцом в гнез-

дышке из белейшего пуха. Широченная дедова рубаха стягивалась на горле вышитым шнурком. Штаны были необъятные и очень просторные, — помнится, когда Омелько числился еще «бесштаньком» и ходил в одной длинной рубашонке, ему мечталось о таких штанах...

Дед выстругивал из дерева всякий хозяйственный инструмент и рассказывал сказки про водяных, про леших, про русалок и мавок. Про колдунов и ведьм. Про козаков, про турок, про ляхов. Про войну. Стоя в церкви и слушая про рай и ад, Омелько воображал себе рай как низкий темный курень, где сидит дед, попыхивает трубкой, вытесывает «зубы» для грабель — и рассказывает, рассказывает, искоса поглядывая светло-голубыми, как небо, выцветшими глазами на млеющего от счастья внука.

* * *

Пришел день — Омельку посадили верхом на рыжую кобылу и приказали вести коней на пастбище. А со свиньей и ее выводком теперь мучился другой хлопец — соседский, помладше.

В первые дни не обошлось без слез — Рыжая оказалась пугливой до невозможности. Малейший звук, стук, крик, появление на дороге чего-то нового приводили ее в ужас, и она кидалась в галоп сломя голову, не разбирая дороги. За подругой послушно бежал Вороной. Омелько, слетев с лошадиной спины на землю, тут же вскакивал, несмотря на ушибы, и гнался — с ревом — за обоими. Догнать, конечно, не мог и долго бродил по лугам, продирался через верболоз, размазывал по лицу слезы, высматривая пропажу.

Потом приноровился — забираться на лошадь и слезать с нее, путать и распутывать, держаться за гриву и ездить верхом. И вот тогда началось самое интересное.

Их было четверо, пастушков. Они смело уезжали далеко от родных Терновцов, спутывали лошадей, валялись на траве, грызли принесенный из дома хлеб, закусывали чесноком. Купались в речке и прудах-«копанках». Беседовали; все товарищи Омельки были старше и опытней — он больше слушал, чем говорил сам.

Конечно, они чаще хвастали, чем рассказывали правду, — это даже Омелько понимал своим маленьким умишком. Например, Андрий божился, что среди бела дня, при собаке на длинной цепи и стороже в сторожке, ему удалось обнести панский грушевый сад. Тихон рассказывал, как обдурил панского объездчика и наелся малины в малиннике за рвом и забором (каждая ягодка с кулак! Вот верите, хлопцы!). Но мудреней всех выдумал Лесько — он-де выкатил огроменный арбуз с баштана над Студной!

Про баштан рассказывали такое, что и в страшном сне не приснится. Про Клятую Церковь и то брехали меньше. И взрослые к нему боялись подходить, а уж если малой сунется — пороли так, что неделю сесть не мог. Баштан принадлежал рыжему немцу, панскому управителю; там, говорят, и вправду росли сладчайшие арбузы, которые немец отсылал продавать на базар в самый Киев. Кстати, у здешних панов все было набекрень. Родичи самих Матюшкевичей, в дальних предках они числили лихих казацких сотников. Вокруг усадьбы разбили чудопарк, где мраморная девка Венера ночами гуляла и морила смертью любопытных дурачков. А в управляющие себе паны выбирали людей, знающихся с пеклом. Один из управителей, говаривали, выращивал страшный цветок — орхидею! — и тем сгубил безвинную панночку. Другой летал в небе на заклятом коромысле. Нынешнего же немца в округе считали не просто нехорошим человеком — злодеем, каких свет не видывал, а баштан его — проклятым местом.

Вроде как и черта там встречали раз или два.

Конечно, над Леськом стали смеяться. Он покраснел, доказывая, что все правда и все так и было, что черти да, гнались, но не догнали, потому как он, Лесько, очень справно полз на пузе и арбуз катил перед собой. А когда черти совсем хватали за пятки, тут он сбросил арбуз в Студну, переплыл с ним на другой берег и там уже разрезал ножичком и съел. «Один съел целый арбуз? — умирал от смеха Андрий. — Или с чертями поделился?» Дошло почти до драки. Спутанные кони неодобрительно косились, дергали ушами, фыркали. К счастью, кто-то вспомнил, что пора собираться домой — солнце вон где, а заехали далеченько... Так все и сошло Леську, разве что Андрий, по натуре злопамятный, иногда припоминал выдуманный подвиг: «А как арбуз, сладкий? А чертям оставил кусочек?»

Омелько пробовал арбуз всего несколько раз в жизни. Своего баштана у семьи не было, в Терновцах из бахчевых выращивали одну тыкву, а покупать сласти на рынке отец считал баловством. Немцевы владения детям велели обходить десятой дорогой. Омелько и обходил; только иногда, проезжая мимо, накидывал повод Рыжей на ветку старого дуба у дороги и быстро, чтобы никто не заметил, забирался почти на самую верхушку.

Оттуда был виден баштан — квадратное поле, где прямо на грядках задумчиво лежали темно-зеленые арбузы, каждый размером с голову взрослого мужчины. Казалось, их никто не охранял; Омелько пытался вообразить чертей, как они ходят с вилами вдоль ограды, но в солнечном свете черти выдумывались какие-то нестрашные. Вот когда на поле показывался рыжий немец в куцем кафтанчике, в панских штанах и начищенных до блеска сапогах — вот тогда в самом деле бывало жутко.

Но немец показывался редко. Чаще выходил сторож — усатый, стриженный «под горшок», вечно хмурый и злой. Оглядывал баштан и возвращался к себе в сторожку. Этого сторожа хорошо знали все хлопцы в округе — он мог вытянуть кнутом ни за что ни про что. Однажды пастушки, заговорившись, присели перекусить под самой границей панского леса, где строжайшим образом запрещалось собирать хворост. Хлопцы и не собирали, они даже за ограду не успели забраться, но усатый сторож рассудил по-своему: налетел верхом, стал бить, до кого мог дотянуться, а Омельку, самого младшего, загнал в угол — спиной к ограде, лицом к верховому.

Куда деваться?

Хорошо, Омелько не растерялся. Нырнул под ноги лошади и выскочил с той стороны. Рисковал, конечно, да как иначе?

Сторож очень не нравился Омельке; и, глядя на него с ветки дуба, парнишка вздыхал и хмурился.

Рыжая ржала внизу и дергала повод, Вороной, стоя рядом, беспокоился, да и по дороге вот-вот мог кто-нибудь пройти или проехать. Омелько слезал, обдирая ладони, снова вскарабкивался на спину Рыжей и продолжал путь, раздумывая об арбузах и еще о том, есть ли у немца собаки. Можно ли в самом деле арбуз выкатить? Днем нельзя — поле как на ладони. А ночью? Если ползти тихонько-тихонько, а перед тем побрызгаться святой водой и взять у деда оберег от чертей?

* * *

— На что тебе оберег? — спросил дед.

Омелько взялся плести: мол, отец скоро начнет отправлять его с Вороным в ночное, а если ехать мимо старой мельницы ночью, то непременно увидишь черта, и для этого дела как раз нужен оберег. Дед сдвинул брови — Омелько осекся на полуслове.

— Ты, хлопец, крестись, когда примерещится, — сурово сказал дед. — Крестись и молитву тверди. И в те места, куда ходить не велено, — Боже упаси тебя сунуться, хлопец.

Омелько испугался и поначалу думать забыл о баштане. Тем временем подошли жнива, и стало не до баловства.

Колеса от воза замочили в пруду возле берега; обязанностью Омелька было бегать туда каждый день, проверять, не поднялись ли колеса над поверхностью, не греются ли на солнце. Здесь же намокал бочонок, в котором повезут на поле питьевую воду; всю зиму он хранился на чердаке, высох и прохудился и теперь размокал, «пил воду». Время от времени отец вытаскивал его на берег, опорожнял и снова наполнял, проверяя, где течет. Накануне отъезда выяснилось, что одна самая упрямая щель не желает затягиваться, и тогда отец велел Омельке бежать и нако-

лупать дегтя с тележных осей. Омелько принес в пригоршне еще не загустевшего дегтя, отец замазал щель, и бочонок сделался готов окончательно.

Выкатили из воды тяжелые колеса, прикатили во двор и надели на оси. Нагрузили возы необходимым в поле инструментом — косы, грабельки, казан для каши, «катряга» — деревянный каркас, покрытый полотном, складной шалашик, в котором будут ночевать на поле жнецы; «таганки» с деревянным крюком, чтобы вешать казан над огнем; единственная на всех свитка, которой работники станут укрываться ночью...

До рассвета тронулись. Солнце встречали уже в поле. Отец и братья косили, мать и Варька собирали снопы, но еще не вязали — колосья мокрые, в росе, пусть подсохнут... Омелько бегал туда-сюда, подносил воду, собирал колоски, подавал «перевесла» — соломенные косички для перевязки снопов. До завтрака все наработались, устали; наскоро позавтракали хлебом и салом — жатва в этом году началась уже после Петра, пост закончился, семья разговелась. Не прерываясь ни на секунду, снова взялись за работу...

Солнце поднималось все выше. Над океаном ржи подрагивал, переливался струйками полуденный зной. Носились голубые бабочки, опускались на голубые цветы — васильки...

Омелько орудовал граблями, губы его слиплись от жажды, и ему мерещились арбузы. Горы арбузов; каждая зеленая голова усмехалась алым ртом, подмигивала, исходила сладким соком.

* * *

Успели сжать чуть больше половины, и тут задождило. Ни косить, ни вязать. Отец стоял посреди поля, глядя в серое, обложными тучами закрытое небо. В его глазах застыло непонятное выражение: если бы Омелько верил, что отец может чего-то бояться, — решил бы, что ужас прячется на дне отцовских глаз. Старшие хмурились. Омелько помнил один по-настоящему голодный год — он тогда был совсем маленьким и вспоминал не столько тупую резь в желудке, сколько панический страх. Всем в те дни было страшно, за окнами бродили волосатые тени, подходили близко, Омелько просыпался среди ночи от негромкого костяного скрипа...

Братья дремали в коморе, зарывшись в сено. В темноте пофыркивали Рыжая и Вороной.

...А если все-таки ночью?

В такую погоду немец не выйдет караулить. В такую погоду даже собаки спят под крыльцом, накрыв морду лапой.

Омелько прекрасно знал, что делать с арбузом. Он не стал бы сразу резать его и есть; он сплавил бы добычу по Студне. Спря-

тал бы на берегу надежно, в лопухах. И когда хлопцы соберутся печь картошку — вот тогда он выкатил бы арбуз прямо к костру. Что бы сказал Андрий? А Тихон? А задавака Лесько?

Морось тянулась изо дня в день. Колоски на поле поникли; к отцу зашел сосед, они о чем-то говорили вполголоса, но Омелько слышал отдельные слова: за спрос денег не берут... сходил бы... по весне пухнуть... а все-таки сходил бы...

Сосед ушел хмурый, а отец и вовсе почернел, как туча.

Дождь не прекращался, сжатые снопы прилипли к земле. Отец накинул свитку и пошел — Омелько видел — куда-то за село, в балку.

Вернулся бегом. Крикнул Павлу и Семену:

— Запрягай! Поехали!

В суматохе погрузились на возы вместе с инструментом. Пока ехали на поле по раскисшей дороге, дождь прекратился; солнце, правда, не выглянуло, но поднялся ветер. Посветлело небо — и сразу посветлели лица. По дороге один за другим потянулись возы: люди спешили дожинать свой хлеб, пока не поздно.

Ветер сушил мокрые колосья. Мать и Варька кинулись переворачивать снопы, ставить «будкой», чтобы скорее просохли. Оксанка собирала выпавшие колоски. Отец водил ладонью по несжатым стеблям, шевелил губами, пытаясь определить: можно уже косить или погодить немного?

Павел и Семен разбирали косы. Омелько стоял, не в силах оторвать взгляд от одинокой белой фигурки, идущей по полю по направлению к балке.

Дед шел, раскинув руки ладонями кверху, ветер развевал на нем рубаху и широченные штаны. Дед шел, и небо над ним становилось светлее. Казалось, за лысой макушкой расходится светлая полоса — как след от лодки, только не на воде, а на небе.

Отец перекрестился:

— Давайте, хлопцы... Днем не успеем — ночью справимся. Давайте, с Богом...

И взвились, тускло блеснув, зашипели в движении косы.

* * *

Зайти к деду через день-другой, как собирался, у Омельки не получилось. Небо стояло по-прежнему пасмурное, готовое пролиться дождем, солнце выглядывало мельком. Жали ночью и днем, а сжав все до колоска, принялись возить снопы.

Сноповоз Омелько любил. На поле едешь, подскакивая в пустой телеге, как мячик, бьешься тощим задом о «рубли», которыми потом придавят снопы на возу; зато возвращаешься, как король, — высоко, мягко, покачивает, будто на облаке плывешь... Отец вел Вороного, а Павло Рыжую, и оба вели так умело, что ни один воз ни разу не перевернулся. А такое случает-

ся — бывало, приходилось останавливаться и помогать какому-нибудь недотепе поднимать на колеса завалившийся воз...

Сверху, со снопов, Омелько увидел немца.

Отец и Павло быстренько отвели возы с дороги. Павло чуть не повис на поводу у Рыжей — она ведь и от куста шарахается, а тут вправду есть чего пугаться. Едет по дороге коляска с откидным верхом, в коляске — немец в клетчатом кашкете, надвинутом низко на лоб. На козлах — усатый сторож, весь в черном. У Омельки сердце ушло в пятки.

Коляска поравнялась с возом. Омелько близко-близко увидел клетчатый кашкет, куцый сюртук, рыжие усы и бачки, льдистые голубые глаза. Немец равнодушно скользнул по хлопчику взглядом.

Павло успокаивал Рыжую и вполголоса бранился. Отец молча выводил Вороного опять на дорогу, а Омелько, приподнявшись на снопах, смотрел коляске вслед. И простая мысль, прежде заслоненная страхом, взошла в нем, как солнышко: а ведь баштан-то без охраны оставили!

* * *

Поздно вечером, когда уставшие за день труженики уснули как убитые, Омелько выбрался из коморы.

Впервые за много дней тучи разошлись, и это показалось ему хорошим знаком. Луны не было; небо усыпали звезды, тянулся Чумацкий шлях, всеми цветами переливался Волосожар. Омелько затрусил по дороге, стараясь, чтобы соседские собаки не услышали. В селе лай перекидывается от хаты к хате, как пожар, а Омельке не хотелось, чтобы кто-нибудь знал про его авантюру.

Он крался, удивляясь собственной смелости. Немец со сторожем поехали в город, а больше на баштане — он знал — никого нет. Может, поехали договариваться насчет базара; может, через день-другой уже не будет никаких арбузов, пустые грядки останутся. И съест какой-нибудь паненок в Киеве сладкий ломоть, истекающий соком, а он, Омелько, будет проклинать себя за трусость и нерешительность. .

Над горизонтом, над кромкой леса, показалась большая желтая луна.

Следовало спешить.

Ночь выдалась теплая, но Омелько дрожал, добравшись наконец до баштана. Ветер улегся. Было так тихо, что Омельке мерещилось слабое гудение внутри собственных ушей. Он поглубже натянул картуз с треснувшим козырьком. Постоял еще. Прислушался. Нашел в плетне щель, достаточно широкую, чтобы протиснуться. Был он верток и худ, правда, боялся порвать сорочку. Обошлось; через секунду хлопец уже стоял на баштане, на четвереньках, обомлевший от страха и счастья.

Быстро перекрестился, огляделся, нет ли где чертей. Тихо. Темно. В отдалении едва-едва белеет сторожка. Поплевал на всякий случай через левое плечо, а потом и через правое. Трижды прочитал «Отче наш». Лег на пузо...

И пополз, извиваясь вьюном.

Луна поднялась выше. Скоро она все тут зальет светом. Надо хватать первый попавшийся арбуз и давать деру. Но арбузов поначалу не попадалось — только ботва, пышные заросли. Омелько уж испугался, что предусмотрительный немец, перед тем как ехать в город, велел все собрать и запереть в коморе. .

А потом он натолкнулся на арбуз лбом — так, что шишка выскочила.

Не удержавшись, поднялся на четвереньки. Каким-то чудом его занесло на самую середину баштана. Вокруг на грядках лежали, тяжело вдавившись в грунт, круглые, темные...

Омелько часто задышал. Луна светила вполсилы, он не мог как следует рассмотреть поле вокруг; огляделся, нет ли опасности, ничего не заметил — и вытянул шею, поднявшись чуть ли не в полный рост...

Не поверил глазам. Принялся тереть их, растер до слез.

Глянул еще раз — и врос в землю, не в силах ни крикнуть, ни сделать шага.

Головы лежали на грядках, отрезанные человеческие головы. Все глаза были закрыты — кроме выбитых, выколотых, вытекших глаз; желтоватая дряблая кожа и темная, как старое дерево, кожа. Черные чубы и седые чубы. Расшитые золотом шапки. Турецкие малахаи. Головы в бородах, и головы, бритые налысо, и совсем черные, как уголь, головы. Здесь были казаки, турки, ляхи, паны и селяне, старые и молодые; так случилось, что Омелько в одну долгую секунду смертельного испуга успел увидеть их десятки — тех, что росли поближе. А поле тянулось и тянулось во все стороны, и там, в отдалении, тоже маячили головы, головы, головы...

Заверещав, будто его режут, Омелько пустился бежать. Споткнулся о голову и упал. Прямо перед ним оказалось старое, изрезанное морщинами, желтовато-коричневое лицо. Блеснула золотая серьга в огромном ухе. Длинный чуб-оселедец лежал на земле, как стебель растения, прибитый дождем. Мгновение — закрытые веки дрогнули, старый запорожец открыл глаза, поводил зрачками, и взгляд его остановился на Омельке.

* * *

Он не помнил, как выбрался на дорогу. Сорочка изорвана, штаны — грязные и мокрые насквозь. Поскуливая от ужаса, Омелько добрался до Студны и залез в реку с головой — про-

хладная чистая вода помогла собрать остатки сил и не расстаться с рассудком.

Он бормотал все молитвы, какие знал. Выстирал одежду; луна к тому времени поднялась высоко, и приходилось прятаться в тени кустов — чтобы кто-нибудь, идущий ночью по хозяйственной надобности, не заметил на берегу скрюченного голого мальчишку. Наконец кое-как успокоился и сказал себе, что все позади. Отделался, почитай, легко. Хлопцам, конечно, ни слова не скажет — упаси Боже, рассказывая, заново пережить такой ужас...

Да и не поверят хлопцы. Будут смеяться, как над Леськом.

Ночь стояла глухая, будто тетерев. Становилось прохладно. Омелько выкрутил одежду, натянул на себя и решил добираться до дома бегом — на бегу и согреешься, и рубаха со штанами высохнут...

Только он так подумал, как новая мысль пригвоздила его к месту. Эта мысль была страшнее многого, что он повидал сегодня ночью.

Картуз!

Картуз с треснувшим козырьком остался на баштане!

Когда Омелько, не помня себя, кинулся бежать — картуз слетел от ветра и остался лежать среди отрезанных голов. Значит, завтра утром панский сторож, обходя грядки, непременно его обнаружит...

А может, сам немец наступит надраенным до блеска сапогом. Поморщившись, нагнется, возьмет двумя пальцами, поднесет к глазам...

Омелько от страха даже пальцы закусил. У панских слуг и сторожей имелась одна особенность — они точно знали, кому из деревенских хлопцев принадлежит та или иная вещь. Этот самый картуз когда-то потерял Семен, спасаясь от собак в панском грушевом саду. А на другой день сторож был у отца во дворе, и картуз у него в руках, и отцу пришлось платить штраф, а Семен потом еще долго ходил враскорячку, спал на животе и ел стоя...

А уж немец, если с пеклом связан, сразу догадается, чей это картуз.

* * *

Ранним утром отец с братьями отправились возить снопы. Варька подоила и погнала пастись корову, мать взялась печь хлеб, а Оксанка — помогать в хате. Омелько вроде бы тоже подался на сноповоз, но по пути ухитрился улизнуть — благо отцу было не до него. Дорога после дождей раскисла, и возы то и дело попадали колесом в выбоину.

Глотая слезы, Омелько поспешил в балку к деду. Пес с от-

рубленным в щенячестве хвостом — Куцый — встретил гостя сливающимся в очередь лаем, но через минуту, узнав, замолчал и вильнул обрубком.

Дед был дома. Сидел, как обычно, на колоде с ножиком в руках, что-то мастерил. Омельку встретил без обычной приветливости — как будто уже знал страшную тайну.

Сев перед дедом на корточки, Омелько, обливаясь слезами, рассказал все до нитки — и про арбузы, и про ночной баштан, и про головы на грядках. Дед слушал, попыхивая трубкой. Из трубки поднимались колечки — Омелько смотрел на них уже безо всякой надежды. Ведь если дед не поможет — не поможет никто, и похоронят незадачливого хлопца за оградой кладбища.

— Знал я, что этим кончится, — сказал дед неожиданно мягко. — Не зря баба Рудковская тебе пуп завязала на четырехлистном клевере, чтобы счастливый был. А о том не подумала глупая баба, что...

И замолчал, встопорщив седые усы.

— Что? — жалобно спросил Омелько.

Дед вздохнул:

— Глупый ты, хлопец... Пустая голова.

— Деда! — взмолился Омелько. — Спаси! Если... если ты... да кто без тебя... Немец утащит меня в пекло, и...

— А таки утащит, — сурово согласился дед.

На это Омелько не нашелся, что сказать, и молча заплакал.

— Дурень ты, дурень, — печально продолжал дед. — Не будь ты мне родной внук...

Он тяжело поднялся и ушел в глубь куреня. Омелько сидел тихо-тихо; дед вернулся, неся в кулаке что-то, от чего свисал из горсти кожаный гайтан.

— Слушай, дурень, — сказал дед, снова усаживаясь напротив Омельки, и тот немного воспрянул, потому что в дедовом ворчании не было гнева. — Наденешь вот это на шею... И когда она приедет за тобой на дохлой кобыле — за ней не ходи, а веди кобылу за собой прямо до обрыва. Только не дай ей до себя дотронуться!

— Кто приедет?!

— Молчи, не перебивай. Три ночи тебе дается. Сможешь продержаться — герой. Не сможешь... тут тебе, Омельку, никто не поможет.

— А ты, деда?!

— Я тебе уже помог, — отозвался дед сурово. — Тебе бы на том баштане навеки остаться, на грядке, сны видеть... А ты ушел. Потому что я подсобил.

Он раскрыл ладонь. На заскорузлой подстилке из вековых мозолей лежал колокольчик — обыкновенный колокольчик, как для скота, надетый на тонкую ленту кожи.

От деда пахло табаком и травами. И еще чем-то, отчего Омельке стало спокойнее.

— Деда... А что они там, спят?

Суровый взгляд, но Омелько уже не боялся.

— Деда...

— Спят. — Старческий рот под седыми усами властно изогнулся уголками книзу. — Спят... и снится им...

— Что?

Дед посмотрел на Омельку искоса.

— Страна им снится. Бои... Победы... И договоры, которые подписывают на свитках и скрепляют гетьманскими печатями. И слава им снится, громкая слава... И потомки снятся, — дед неопределенно махнул рукой за плечо, — которые напишут про их славу в школьных книгах с желтыми страницами. И никому из них никогда... — Дед замолчал, тяжело раздумывая. Сдвинул клочковатые брови, поскреб лысину. — Ступай. «Отче наш» перед сном читаешь?

— Читаю, деда, как не читать!

— Ну так иди. И помогай отцу, не отлынивай!

Омелько вылетел из куреня. Куцый проводил его радостным повизгиванием и звоном цепи.

* * *

Колокольчик Омелько спрятал под рубашку.

Вечером, когда мать позвала на ужин, ему встретился на улице Андрий. Тот рассказал не без восторга, что, оказывается, на баштане у немца нашли хлопчачий картуз с треснувшим козырьком и немец страшно гневался — обещал найти вора и спуску не дать.

— Говорят, так ругался, что в крайних хатах было слышно, — говорил Андрий, поправляя на голове свой собственный пыльный картуз.

Омелько с большим трудом притворился, что новость вызывает у него те же чувства, что и у Андрия: удивление и любопытство.

За ужином отец спросил, чего это Омелько такой тихий; тот сослался на усталость и, едва встав из-за стола, поспешил в комору, в сено. Устал он и в самом деле страшно: бессонная ночь давала о себе знать. Зарывшись с головой, он свернулся калачиком — и через секунду стоял в коричневато-сером мареве у ворот отцовской хаты.

Никого — ни человечка. Ни звука — даже собака не гавкнет. И к нему приближается, боком сидя в седле, старуха в черном платье с рваным подолом, с лицом желтым, как у мертвеца. А под старухой кобыла. Половина головы со шкурой и глазом,

половина — череп. На шее шкура висит лохмотьями, грива повылезла, бока вздулись. Дохлая кобыла.

— А ну-ка, дитятко, — говорит старуха, — пошли со мной. Я тебя сладеньким угощу: арбузика хочешь?

Омелько от страха язык проглотил. Стоит, шатается. А старуха все ближе. Тянет руку.

— Пойдем со мной, хлопчик. Тут недалечко.

Омелько дернулся. Звякнул в руке колокольчик. Хлопец поднес руку к лицу...

Колокольчик висел на кожаной ленточке, позванивал тихо и как бы сам по себе. Динь-динь... Динь-динь...

Старуха отшатнулась. Кобыла отступила; старуха повела ладонью, будто приглашая за собой:

— Ай, какая цацка у тебя, малой... А все равно пойдем. Арбуз на столе, нарезан острым ножом, ни семечки не выпало... Идем со мной.

У Омельки помимо воли выступила слюна на губах. Сладкая, как арбузный сок. Нога шагнула без спросу, за ней другая...

Звякнул колокольчик.

Омелько встал и попятился. И, зажмурившись изо всех сил, велел ногам идти в другую сторону — от ворот вправо. Там всегда был дом дядьки Петра, а теперь, в коричнево-сером тумане, там пусто, тропинка — и вдалеке обрыв...

— Постой, дитятко... Постой, погоди...

Омелько шел, будто прорываясь сквозь густую паутину. Сзади слышалась тяжелая конская поступь. Иногда колокольчик замолкал, тогда хлопца разворачивало и тянуло назад, к старухе и ее кобыле. Он тряс колокольчиком, но тот немел от ужаса — лишь в последний момент, когда можно было разглядеть червей, копошащихся в пустой глазнице лошади, колокольчик выдавал «динь-динь», и Омелько получал новую короткую свободу.

Обрыв был далеко, когда прокричал петух и в своем сне Омелько услышал его голос.

Открыл глаза.

Занималось утро. Братья спали. Отец возился во дворе, мать доила корову. Дверь в хату широко распахнута; в двери стояла, сладко потягиваясь, неумытая Оксанка...

Омелько нащупал на груди колокольчик. И страх сделался меньше.

* * *

Днем по селу ходили слухи. Одни говорили, что немец занемог и вызвал из города врача. Другие — что немец здоровехонек, сегодня по баштану гулял, видели его. А Варька принесла от колодца новейшую новость: немец нашел на баштане чей-то картуз и успел обойти с ним несколько дворов — выпытывал, чей.

— А твой-то картуз где? — спросил брат Семен как бы между прочим.

— В коморе, — ответил Омелько, не моргнув и глазом. — Ты чего, думаешь, я к немцу на баштан полезу?!

Семен расхохотался:

— Ну да! Там же черти... Хотя полез ведь кто-то, иначе откуда картузу взяться, а?

— Ты его видел, тот картуз? — спросил Омелько со всей возможной презрительностью. — Девки, может, и брешут!

Варька слегка обиделась.

Весь день Омелько искал момент, чтобы улизнуть опять в балку, к деду Мамаю, но, как на грех, его постоянно донимали поручениями. Сделай и то, и это, принеси и отнеси, почини, помой, сложи — Омелько вертелся как веретено, ни минутки не имея свободной. А еще помнил слова деда: помогай, не отлынивай. Может, и зачтется усердие? Звонче станет колокольчик?

За весь день колокольчик ни разу не звякнул. Домашние и не заметили, что такое у Омельки за пазухой.

Вечером он долго старался не заснуть. Пробормотал «Отче наш» раз сто примерно, еще столько же сказал про себя — и провалился в сон, не удержался. И сразу оказался в коричневато-сером тумане, у ворот отцовского дома.

А старуха на кобыле совсем рядом. Протянула руку — но Омелько чудом успел отскочить, вывернулся.

— Что ты бегаешь, дитятко? Не хочешь арбузика? — загнусавила старуха. — Сразу со мной пойдешь — тебе же лучше, дурник. Сладенько будет...

Колокольчик в руке казался тяжелым, втрое, вчетверо тяжелее, чем вчера. Омелько повернулся и побрел, не оглядываясь, к обрыву. Дохлая кобыла не отставала. Ее всадница бормотала неведомую речь, слова догоняли и цепляли кожу на спине, точно тоненькими крючьями, тянули назад. От голоса старухи пропадала воля; колокольчик тянулся к земле, кожаная ленточка трещала, готовая порваться. Но самое страшное — колокольчик немел. От «динь-динь-динь» сперва осталось «динь-динь», потом просто «динь... динь...», а потом колокольчик замолчал совсем, и Омельку потянуло назад на невидимых ниточках.

— Ах ты, мой хлопчик, — бормотала старуха. — Ну иди же. Иди со мной...

Он тряс колокольчиком, рискуя вытряхнуть руку из плеча. Колокольчик молчал; только когда старухина костлявая ладонь почти стиснулась на его плече, колокольчик издал хриплое звяканье, и старуха с проклятьями отшатнулась.

Омелько кинулся к обрыву. Земля на краю пошла трещинами, клочья травы нависали над пропастью, как дедовы брови. Воспоминание о деде придало силы, колокольчик снова зазво-

нил, и Омелько прибавил шагу. Может, это обрыв над Студной, успел он подумать. А может, над другой какой-то рекой...

Лошадиные копыта били в землю за спиной. Дохлая кобыла пустилась галопом. От ужаса Омелько чуть не выронил колокольчик, оглянулся — и увидел старухино лицо прямо над собой, седые космы почти касались его лба...

Закричал петух.

* * *

Днем разразилась гроза. Дождь лупил и лил, маленькая Оксанка смело бегала по лужам, а мать загоняла ее в дом. Страшные коленца выкидывала на небе молния, гром бил так, что хотелось заткнуть уши. Варька говорила с важным видом: видишь, прогневался Илья...

Омелько знал, на что он прогневался.

С утра немец успел обойти еще с десяток дворов, и в одном — Омелько знал точно — его картуз узнали. Это был дом родителей Леська; Омелько не знал, сумел ли Лесько сдержаться при виде немцевой находки. Лесько — хлопец хитрый и подловатый: с него сталось бы проговориться будто невзначай, ненароком. Отплатить Омельке за насмешку...

Он сам не понимал, как дожил до вечера. Но вечер пришел, а немец так и не появился. Колокольчик за пазухой был горячий, словно уголь.

Не раз и не два он останавливался в воротах. Наяву все выглядело иначе: справа — сад, слева — улица, и в отдалении дом дядьки Петра. Нет никакой тропинки и никакого обрыва, и колокольчик в руке не звонил. Берег, видно, силы для последнего испытания.

...А если вовсе не спать?! Дед сказал — три ночи; а будет Омелько спать или нет — кому какое дело?

Не давала покоя еще одна мысль: а вдруг старуха успеет схватить его раньше, чем он вспомнит про колокольчик? Она ведь каждый раз все ближе подбирается... Едва Омелько заснет, а старуха его — хвать! Как бы не пропустить ту секунду, когда явь переходит в сон? Когда из кучи сена в коморе он выпадает в коричнево-серый туман перед воротами отцовской хаты?

Отче наш, иже еси на небеси...

Сон навалился силком, не позволив закончить молитву.

* * *

— Стой, сладенький, не вертись... Ах, плохой хлопчик. Две ночи не слушался, на третью попался, будет тебе на орехи...

На самом деле Омелько еще не попался. Он стоял, прижимаясь спиной к закрытым воротам, а старуха верхом на кобыле за-

гораживала пути к отступлению. Не пробиться к тропинке, не добраться до обрыва...

Колокольчик звонил хрипло и очень тихо.

Старуха протягивала руки; не могла дотянуться до Омельки — но и не отступала.

— Что же ты, малой, старших не слушаешь? Не помогло тебе твое счастье, видишь, не помогло... Брось свою цацку. Иди со мной, тепленький, иди со мной...

Омелько набрал воздуха — и кинулся вниз. Проскользнул между ногами дохлой кобылы.

— Ай, стой, шустрый какой! Не уйдешь!

Топот копыт за спиной. И колокольчик молчит — выдохся. Омелько чувствовал, что бежит на одном месте. Ноги месят воздух, взлетают комья серо-коричневой земли, а обрыв с клочьями травы над пропастью не становится ближе — наоборот, отдаляется...

Цап! — костлявые пальцы схватили за рубаху на спине.

«Отче наш!» — немо взмолился Омелько. Отвечая ему или сам по себе, колокольчик в руке вдруг ожил: «Динь-динь-динь!» Ветхая домотканая рубаха треснула. Омелько почувствовал, что свободен. Припустил во весь дух; наверное, никогда в жизни так не бегал...

Вот и обрыв. Только внизу не видно никакой реки — чернота. Трещины стали яснее, шире; Омелько упал на четвереньки.

Рядом переступали ноги дохлой кобылы. От них тянуло невыносимым смрадом.

— Ну, хлопчик, что теперь?

Старуха смотрела сверху вниз. В руках у нее откуда-то взялась витая плетка.

Колокольчик упал на траву. Язычок, медная капелька, бессильно вывалился.

— Что теперь, сладенький? Как тебе наши арбузы?

Омелько отползал, лихорадочно нащупывая ногами твердую почву за спиной, ежесекундно рискуя ухнуть вниз.

Старуха захохотала.

Черный платок сполз с ее головы, обнажая голый череп. Она вскинула к небу руки, в ответ налетел ветер, подхватил черное платье с изглоданным червями подолом...

Омелько нащупал в темной траве колокольчик — немой, безъязыкий.

И заверещав, как поросенок под ножом резника, бросил его чудовищу в лицо.

Затрещало, будто выворачивали из земли вековой дуб. Смех старухи перешел в вопль. Трещина над обрывом превратилась в щель, затем разошлась вовсе. Огромный пласт земли откололся и полетел вниз вместе со старухой и ее дохлой кобылой, и вме-

сте с ними летел, светясь, будто в кузнечном горне, колокольчик.

Омелько остался на краю. Висел, вцепившись в траву, похожую на дедовы брови. Подтянулся, лег на обрыв животом...

Прокричал петух.

* * *

Немец стоял в воротах — рыжие усы, куцый сюртук, клетчатый кашкет. Панские штаны заправлены в блестящие сапоги; в руках — картуз с треснувшим козырьком.

Омелько смотрел из-за двери коморы, как отец разговаривает с немцем.

— Нет, — сказал немец неожиданно высоким трескучим голосом. — Штраф на этот раз никакого не требовать. Потрава невелик, и претензия моя невелик — чтобы в будущем, если можно, ваш сын не посягать на чужое добро.

Отец что-то сказал — Омелько не расслышал.

— В этих широтах нелегко выращивать бахчевая культура, — сказал немец. — Я понимай ваше возмущение. Кроме того, вора в жизни ждать плети, тюрьма и Сибирь. Надо уважать чужой труд, да!

И немец ушел, оставив картуз отцу.

Отец стоял посреди двора, вертя картуз в руках. Затем, мрачнее тучи, повернулся к коморе.

Омелько вышел, втянув голову в плечи.

И когда ему велено было идти за хворостиной и он покорно пошел, заранее похныкивая и вытирая кулаком нос, хлопцу виделся большой зеленый арбуз, спрятанный в лопухах на берегу Студны.

Пусть отец выдерет — в первый раз, что ли?

Зато когда соберутся у костра хлопцы, когда он выкатит арбуз к костру и с хрустом всадит ему в бок дедов казацкий нож... Когда потечет по пальцам сок, запрыгают лаковые семечки... Когда сердцевина арбуза, зернистая и розовая, заполнит собой весь рот... И когда хлопцы будут смотреть, выпучив глаза, и недоверчиво расспрашивать про немца, а он в ответ на их вопросы будет только улыбаться... Ай!

И они все вместе сожрут арбуз, и останется только гора зеленых корок и приятная тяжесть в животе... Ай, ай!

И с тех пор он станет у хлопцев ватажком, заводилой... Ай-ай-ай!

И следующим летом, может быть, он еще раз дождется момента и выкатит с баштана не один арбуз... Ай! Два или три арбуза, и тогда ..

Так или примерно так думал Омелько, лежа животом на от-

цовом колене, в то время как хворостина полосовала его зад, и без того, впрочем, давно полосатый.

Над балкой курился дымок. Не дед ли курил свою трубку?

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

1

Максу всегда нравилось, как она дерется.

Разумеется, не с ним. Существо безобидное и возвышенное, Максик бледнел при виде оцарапанного пальца и норовил хлопнуться в обморок. К дантисту Анка тащила его за шкирку, иначе Максик жрал тонны анальгина и трясся от дурных предчувствий. Бичом молодого человека было богатое воображение, все: и боль, и опасность — он переживал заранее, в сто крат усиленном виде, с подробностями. И когда наступала реальность во всей своей красе, Макс уже годился разве что на говяжью тушенку.

Анка — другое дело.

«Ввяжемся в драку, а там посмотрим!» — говаривал при случае Наполеон. Если бы Анке кто-то сказал, что она следует принципу великого полководца, девушка сильно удивилась бы. С биографией маленького корсиканца она была знакома исключительно по рецепту вкусного слоеного торта и стихам из школьной программы, которые училка заставляла зубрить наизусть: «В двенадцать часов по ночам из гроба встает император...» и «Напрасно ждал Наполеон...». Авторов этих стихотворений Анка честно путала.

Зато она изумительно дралась.

Анкин сэнсэй по карате, человек, безусловно, сумасшедший — ибо только псих способен посвятить жизнь изучению оптимальных методов искалечить ближнего своего и вдобавок называть это варначество искусством, — нашел в ней родственную душу. Утомившись от нагрузок, милая, стройная — ну разве что излишне жилистая! — барышня могла за чаем с сухариками часами рассуждать о высоких материях. Например, сперва короткий кинжальный удар ногой в пах, а потом, когда оглушенный болью враг согнется, левой рукой схватить за волосы и рвануть на себя, встречая чужое лицо правым локтем. Или, скажем, перевести встречный удар нехорошего человека мимо и вскользь, как стрелочник переводит поезд на другие рельсы, и, не разрывая контакта, пройти ладонями к голове — одна ложится на подбородок, вторая берет затылок, и одновременно с проворотом, с хрустом...

Анкина мама так и не привыкла к подобным чаепитиям, сбегая на кухню.

В соревнованиях Анка не участвовала. Честолюбие или, хуже того, тщеславие не свило гнездо в ее душе. К медалям и титулам она тяги не имела, а к правилам, ограничивающим бойцов на татами, испытывала легкое пренебрежение. К себе Анка относилась равнодушно. Не самая приятная подробность, но в должной мере пикантная: часть зубов у юной леди уже была вставная. Насчет белесых тонких шрамиков в области голеней и предплечий Максик шутил, что они украшают настоящего мужчину, и целовал каждый шрамик в отдельности. Ну, синяки не в счет. С кем не бывает?

А так, в целом — скромная, милая, во всех отношениях приятная девица. Даже, можно сказать, робкая: Максу пришлось изрядно постараться, прежде чем Анка уступила ему цветок девичьей скромности.

По большой и чистой любви.

Жил Максик на окраине, в спальном районе, где кто только не спал. Анка часто провожала его домой, если приходилось возвращаться поздно. Очкастый, рыхловатый Макс с безобидным выражением лица просто притягивал к себе интересы скучающей шпаны. Спросить у такого сигаретку, чтобы сразу перейти к выяснению взглядов на жизнь, — дело святое. А уж если рядом с таким замечательным рохлей стучит каблучками клевая телка, так и вовсе кровь кипит в жилах.

Останавливали, значит.

И знакомились с Анкиными каблучками-кулачками.

Прихватить хама, лезущего со слюнявым поцелуем, за уши. Ладони сложены «обезьяньей горстью», это очень полезно для барабанных перепонок, если прихватывать с хлопком. Лбом, смешно набычившись, — в переносицу. И сразу не смешно. Совсем. Оттолкнуть так, чтобы снес с копыт пьяненького дружка. «Журавль топчет змею» — дружок катается по земле, держась за ушибленную гордость, куда угодил острый каблук со стальной набойкой. Подхватить с асфальта увесистую штакетину. И того гада, что еще держит Макса за грудки, не успев оценить изменение диспозиции, — сперва по коленям, наотмашь, крест-накрест, а потом поставить жирную точку на происшествии.

В данном случае точка ставилась по уху.

В остальных случаях — по-разному.

Удовольствия от драк она не получала. Скучная, рутинная обязанность — в следующий раз, когда уроды захотят прикопаться к парню с девушкой, они сто раз подумают. Иногда Анка полагала, что таким образом делает мир лучше. И даже хотела сказать об этом своему сэнсэю, но стеснялась. Правильно делала, в общем. Сэнсэй мог и не согласиться.

Он был псих, но с принципами.

Постепенно в спальном районе их стали узнавать, и драки сошли на нет. Более полугода никто не трогал Макса, с Анкой же начали здороваться издалека. Жизнь вошла в мирную колею. Пока однажды Максик, слегка заведенный с самого утра проблемами в университете, не сказал громко и отчетливо:

— Ань, смотри! Копия Бумбараш!

Еще и пальцем ткнул для верности.

«Копия Бумбараш» меньше всего походил на актера Золотухина. Ну разве что цвет волос — солома соломой. В тельняшке и камуфляжных штанах, Бумбараш курил у подъезда, глядя перед собой стеклянными глазами. Реплика Максика, похоже, прошла мимо его сознания. Белобрысый отреагировал лишь тогда, когда Макс поравнялся с ним и дурашливо запел прямо в лицо:

— Ходят кони, да над реко-о-ою!..

Зря он недооценил стекло в глазницах Бумбараша. Стекло это, словно песня, влетела в него камнем, вдруг пошло кровавыми трещинами. Без предупреждений, без признаков агрессии и ритуала разборки белобрысый отвесил Максику затрещину. Короткую и до ужаса деловитую. Анка не успела сообразить, складывал Бумбараш ладонь «обезьяньей горстью» или, допустим, просто напряг «ивовым листом», но эффект случился поразительным. У ее ног корчился любимый парень, держась за голову и визжа на высокой, пронзительной ноте.

Казалось, визг длился целую вечность.

...короткий кинжальный удар ногой в пах, а потом, когда оглушенный болью враг согнется, левой рукой схватить за волосы и рвануть на себя...

Враг не согнулся.

Носок Анкиной кроссовки — сегодня она была в кроссовках — пришелся в подставленное бедро и соскользнул. Бумбараш шагнул вплотную, просто и страшно, стекло его глаз рассыпалось острыми осколками безумия, и один из осколков вонзился Анке под сердце. Визг Максика оборвался, словно рассеченный бритвой. Она еще не знала — почему.

Она уже больше ничего не знала.

2

Ночь. Снег.

Зима.

Очнулась Анка сразу, рывком. Словно бронзовокожий атлет-спасатель, с каким она познакомилась два года назад в Судаке,

профессионально ухватил ее за волосы и выдернул из безвидного омута небытия. В ушах скулила память, оборванная вместе с визгом Макса.

Дальше — провал.

Она огляделась. Поземка с легким шелестом бродила меж оград, ласково облизывая могильные холмики. Пыталась взвиться до крестов над плитами, до вершин памятных стел и без сил опадала, выдохшись. В голых ветвях монотонно, на одной ноте — знакомая нота рождала панику, — выл ветер. Кажется, вдалеке по дорожкам между секторами ходили какие-то люди, но сейчас они Анку не интересовали.

Ночь. Снег. Зима.

Кладбище.

Почему — зима? Ведь на дворе май, зеленый и душистый... На Анке оказались светлые джинсы, туфли-лодочки, белая блузка с кружевами и поверх нее — легкая кофточка. Однако холодно не было. Жарко или прохладно тоже не было.

Было — никак.

Только теперь она обратила внимание, что сидит на мраморном надгробии внутри ограды в две трети человеческого роста. Прутья ограды украшали злобного вида наконечники на манер копий. Чтоб не лазили? Куда? Откуда?! Нельзя сидеть зимой на голом камне, можно простудиться и подхватить воспаление почек...

Дурацкие мысли отвлекали от главного. От того, что следовало сделать вопреки желанию превратиться в сугроб, в бессмысленного снеговика.

Собравшись с духом, она встала. Заранее понимая, что увидит, вгляделась в буквы, выбитые на мраморе: «Стратичук Анна Анатольевна, 20.09.1976 — 17.05.1998». И отретушированная фотография, на которой Анка с трудом узнала себя.

Надгробная плита до середины вросла в обледенелую землю. Могила выглядела целехонькой. Ее однозначно никто не раскапывал. Плиту тоже не сдвигали и не выкорчевывали.

«Уже легче. По крайней мере, я не выбиралась оттуда, срывая ногти...»

— Вынужден вас разочаровать, барышня. Выбирались. И именно оттуда.

Дорогое кашемировое пальто. Клетчатое кашне выбивается наружу. Черные брюки, стрелки заглажены до бритвенной остроты. Зеркальный блеск ботинок на толстой подошве. Мягкая шляпа отбрасывает тень на лицо, так что черт не разобрать. Высокий, статный; чувствуется порода. Руки — в карманах пальто. Как незнакомец ухитрился незаметно подкрасться к ней, Анка не знала. Снегу кругом намело, должна была услышать скрип.

А вот — не услышала.

— И не спрашивайте, каким образом. Это вас волновать не должно. А волновать вас, милая барышня, должно совсем другое.

Незнакомец выдержал паузу, ожидая встречного вопроса. Легко догадаться, какого именно. Анка выкаблучиваться не стала, пойдя щеголю навстречу:

— И что же именно меня должно волновать?

— Вечные проблемы, милочка. Вечные, как мир. Факт вашей смерти. И возможность вернуться к жизни. Уникальная, заметьте, возможность. За такую многие душу рады бы продать.

— А сейчас я, по-вашему, что, не живая?

Незнакомец весело расхохотался.

— Нет, барышня. Не живая. Никак не живая. Уж поверьте, я в этом толк знаю.

Анка прислушалась к себе, но никакого волнения не ощутила. Так же, впрочем, как и биения собственного сердца. На всякий случай приложила руку к груди. Ожидание тянулось целую вечность. Нет. Сердце не билось. Дышать, кстати, тоже не хотелось.

Она и не дышала.

— Убедились? Я всегда говорю правду. Чистую, как слеза младенца.

«Будь я жива, наверное, рассмеялась бы ему в лицо. А так...»

Жажда вновь оказаться живой вскипела беснующимся гейзером. На миг даже почудилось: вот-вот вновь забьется сердце.

— Что я должна сделать?

— Пустяк, в сущности. То, что вы делать умеете и, можно сказать, любите. Любили, — со значением поправился незнакомец. — Вам предлагается принять участие в боях без правил. Победа — жизнь. Согласитесь, приз заманчивый...

— Сколько участников?

Вопрос прозвучал сухо и деловито. Слишком сухо и деловито для восставшей из могилы покойницы. Анка отметила, что в посмертии у нее образовалось специфическое чувство юмора. Черное, как брюки доброжелателя в шляпе. Ледяное, как ветер над кладбищем. Оборжаться, как сказал бы Максик.

— Вместе с вами — двадцать шесть. В основном любители. Четверо профессионалов. — Он подумал и поправился: — Трое. Один так, не разбери что.

— У меня есть выбор?

Вместо ответа незнакомец указал на плиту. Дескать, есть.

— Хорошо, я согласна. Но хоть какие-то правила в этих боях все же имеются?

— Идемте. Я расскажу по дороге.

«Ринг» напоминал разверстую могилу для великана. Прямоугольная яма шесть на десять метров глубиной в полтора человеческих роста. Отвалы рыхлой, но уже смерзающейся земли по краям. Темный провал отчетливо выделялся на свежем искрящемся снегу. Геометрически правильная, чудовищная прореха во вселенском саване. И там, внизу, дрались двое.

Первый, отборочный тур.

«На время боя жизнь вернется. Дыхание. Сердце. Боль. Это тебе не фильмы про зомби...»

Двое дрались остервенело, но бестолково. Им очень хотелось жить. Не только сейчас, в огромной могиле, молотя друг друга из последних сил. Просто — жить. Дальше, больше, снова; сегодня, завтра, через месяц... И шансов не было ни у одного. Даже у того, который сейчас победит.

Над рингом, собравшись на земляных отвалах, получали удовольствие господа — устроители турнира. Все, как присоединившийся к компании Анкин провожатый, — кашемир длинных пальто, фетр мягких шляп, затеняющих лица, стрелки на черных брюках. Хозяева жизни отличались разве что ростом.

Здесь это не было фигурой речи.

Действительно хозяева жизни. И смерти.

Господа-устроители делали ставки. С ленцой, вальяжно. Вполголоса переговаривались — слов не разобрать. Наверняка улыбались, саркастически или с приязнью, хоть улыбок и не разглядишь. Главным среди них, похоже, числился тот, что курил толстую сигарку. Пепел он время от времени стряхивал вниз, на «ринг», — хорошо хоть, не на головы дерущимся.

Один из бойцов ухитрился все-таки свалить противника. Но и сам при этом не удержался на ногах: упал сверху, принялся месить кулаками — наугад, куда попало. Нижний сперва закрывался, потом вдруг, словно опомнившись, перестал сопротивляться. Прижал руки к разбитому лицу и заплакал.

В воздухе повис удар колокола.

Отзвук долго гулял по кладбищу, будто заблудшая душа в надежде на успокоение.

В яму спустили лестницу. Победитель выбрался сам. На лице человека замерзла радость — нелепая, испуганная, заискивающая. Он до сих пор не верил, что победил. Миг, другой, и боец скис, сгорбился; радость осыпалась с его лица чешуйками старой краски.

«У телевизора выдернули шнур из розетки, — от такого сравнения стало тоскливо, хотя и раньше Анка не испытывала особого воодушевления. — Еще заметно остаточное свечение экрана, но это ненадолго...»

Побежденного выволокли под руки. Он рыдал и не хотел покидать могилу.

— Следующие!

Из рядов зрителей, молча толпившихся вокруг ямы, вышла новая пара. Анка сразу увидела: победит крепыш в белой рубашке. Видно по тому, как идет к «рингу», как спрыгивает в курящуюся паром могилу. Его противник, долговязый мужчина в костюме-тройке, двигался скованно, все время оглядываясь на кресты за спиной. Даже пиджак снять не догадался, тюфяк.

Не жить тебе, длинный.

Еще десятка два мертвецов, равнодушных к боям, бродили в отдалении, среди надгробий. «Страшный суд? — вдруг сообразила Анка. — Покойники восстали? А эти, в шляпах, развлекаются...»

Из-под шляпы незнакомца-провожатого раздался короткий смешок.

— Сказки, Аня. Наивные сказки, придуманные людьми с богатой фантазией. Не верьте подобным глупостям. Мы здесь локально, так сказать. Не афишируя, сугубо для своих. Раз в четыре года, в Касьянову ночь. С двадцать девятого февраля на первое марта...

«Високосный год. Значит, сейчас... двухтысячный?! Почти два года минуло...»

Крепыш свалил долговязого даже быстрее, чем рассчитывала Анка. Шагнул вплотную — быстрая серия в корпус, и когда противник скорчился, хватаясь за живот, жахнул наотмашь в висок. Анка сперва решила, что крепыш — боксер, но, увидя последний удар, передумала. Если и боксер, то с приличным опытом дисквалификаций за нарушение правил.

Серьезный товарищ. Реальный кандидат на вторую жизнь.

Колокол.

— Твоя очередь, моя дорогая валькирия. Давай!

«Он на меня поставил!» — догадалась Анка. Волнения не было. Страха не было. Ничего не было. Она должна победить. Столько раз, сколько потребуется.

Все. Точка.

Рядом с ней на отвал вскарабкался бритоголовый качок, голый по пояс. Бычью шею украшала толстенная цепь из золота. Глумливо скалясь, качок показал Анке «фак». Мол, сейчас поимею! По-всякому. Валяй, телка, перепихнемся...

И первым спрыгнул в яму, кичась мускулатурой.

Аплодисментов он не дождался. Без раздумий, не тратя времени на дурацкие ритуалы, Анка кинулась с насыпи прямо на качка. Колено угодило в лицо, раздался хруст. Бритый дурак опрокинулся на спину, пытаясь сжать подлую девку в мощных объятиях. Не сопротивляясь захвату, сидя на поверженном бой-

це верхом, Анка наклонилась вперед и трижды ударила основанием ладони в уже сломанную переносицу.

Слезла с качка и махнула рукой устроителям.

Давайте, мол, лестницу.

Громыхнул запоздалый колокол. К спущенной лестнице Анка шла долго, растягивая каждый шаг. Так умирающий от жажды смакует каждую каплю воды из фляги. Она была живая! Сердце отчаянно колотилось в груди. Кровь прилила к разгоряченным щекам, из ноздрей вырывались облачка пара. Мороз колол тело тысячами хрустальных иголок. Анка была рада февральской стуже. Она знала: стоит ей выкарабкаться из ямы...

Шершавое старое дерево под пальцами.

Перекладина лестницы.

Кто-то протянул руку, помогая выбраться. Жизнь стремительно гасла, кровь отхлынула от щек. Растаяло ощущение холода. Остановилось сердце...

— Спасибо.

Она подняла взгляд. Последние остатки жизни взметнулись отчаянным, оглушительным ударом сердца. Перед ней стоял Бумбараш.

В знакомом камуфляже и тельняшке.

4

— Ты?!

Белобрысый молча пожал плечами. Развернулся и, сутулясь, побрел прочь.

Смятение гасло в душе, затихая. Анка зачем-то оглянулась на устроителей. Хозяева жизни делали очередные ставки. Только деньги здесь были не в ходу. На миг ей удалось увидеть то, что раньше ускользало от взгляда. Зыбкие тени переходили из рук в руки, с еле слышным стоном уменьшаясь, съеживаясь, исчезая в карманах господ-устроителей.

— Молодчина. Поздравляю. Но не советую радоваться прежде времени.

Анка опять не заметила, как ее покровитель оказался рядом.

— Этот... — Она указала в спину уходящего Бумбараша. — Откуда он здесь?

— Оттуда. Самоубийца. Надоело, значит, небо коптить.

— Он тоже участвует?

— Вряд ли. С тех, кто на себя руки наложил, спрос особый. Впрочем, если очень захочет... Только сперва ему надо будет пройти Вышибалу. Ну, сами увидите.

Незнакомец-провожатый поспешно кивнул и отошел в сторону, где его ждал такой же, как он, кашемировый. Анкин покровитель нетерпеливо протянул руку, его почти близнец по-

морщился, провел ладонью по воздуху. Две тени, околачивавшиеся поблизости, дернулись, теряя размер и превращаясь в серые клочья тумана...

Провожатый с удовлетворением огладил карман пальто.

Следующий бой Анка решила не смотреть. И тот, что за ним, тоже. Понадобится — позовут, а ей следовало прийти в себя. Затертые слова внезапно приобрели совершенно реальный смысл. «Прийти в себя» — безвидная, бесформенная тень скользит мимо черных оград, торопясь к вросшему в ледяную землю надгробию с отретушированной фотографией... От таких мыслей стало совсем худо, но это было легче, чем думать о ледяном огне в глазах Бумбараша. «Ходят кони, да над реко-о-ою!..» Нет, нет, нельзя, не сейчас!

Она сама не заметила, как оказалась на соседней аллее. Не в одиночестве — компания неприкаянных душ безмолвно топталась по свежему снегу. Анка подумала, что завтра поутру сторож кладбища весьма удивится, увидев следы ее «лодочек»...

Рядом кто-то завыл.

Она поспешила отойти к ближайшей оградке и лишь после этого оглянулась. Ну конечно! Тюфяк! Долговязый неумеха в костюме-тройке!

«Тюфяк» выл истово, хотя и вполголоса. Анка невольно поморщилась. Да, не жить тебе, длинный! И драться не обучен, и умирать не умеешь. Таким, как ты, только и осталось — выть Вой усилился, делаясь громче. Анка решила, что пора уходить — наслушалась! — но внезапно замерла. Что-то в этом вое было не так. Издалека — вроде и впрямь голодный пес голосит. А если вслушаться...

Двадцать девять дней бывает в феврале,
В день последний спят Касьяны на земле,
В этот день для них зеленое вино
Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно

Анка не выдержала — моргнула. Оказывается, и так петь можно. Впрочем, у бедняги Макса вокальные данные тоже не очень. «Ходят кони, да над реко-о-ою!..» Нет, нет, не вспоминать!

Гости старые приказные,
Отставные, безобразные,
Забубенные алтынники,
Все Касьяны-именинники!

Слова оказались под стать вою. Сама не зная зачем, Анка невольно шагнула вперед. Может, узнать, кто такие загадочные «алтынники»?

Долговязый заметил. Подмигнул.

И тут дернул черт Касьяна-мужика:
«Эх, послушай, ты, приказная строка,
У меня звенят за пазухой гроши,
Награжу тебя — пляши, пляши, пляши!»

«Спятил!» — резонно рассудила она. «Тюфяк», словно торопясь подтвердить это, усмехнулся самым довольным образом. Впрочем, улыбка сразу погасла — вместе с воем.

— Еще первый тур? А ты, значит, своего завалила?

— Первый, — не думая, кивнула Анка. — Завалила.

Взгляд долговязого внезапно стал иным: холодным и острым, как осколок льда. Не к месту вновь вспомнился проклятый Бумбараш.

— А что? — дернулись бесцветные тонкие губы. — Пожалуй, подойдешь.

— Куда? — совсем растерялась она.

«Тюфяк» вновь ухмыльнулся:

— А сюда! Когда во втором туре победишь.

Он поправил сбившийся на сторону черный галстук, опять подмигнул.

Звал «строкой» противно званию,
Подлежит сие к поданию!

Психов Анка опасалась и поспешила ретироваться.

Из-за спины донеслось:

— Это бои без правил, Анна Анатольевна. Вас обманывают — из смерти не возвращаются. У здешних боссов просто нет такой власти. Не надейтесь! Между прочим, с тем, кого вы называете Бумбарашем, сведут именно вас. Так и задумано. Ставки пока три к одному в его пользу.

На ногах она все же устояла. А вот обернуться не решилась.

5

На сей раз руку ей подал сам благодетель. Не побрезговал; напротив, расплылся в улыбке, даже ногой шаркнул.

— Не ошибся я в вас, барышня! Лихо вы его, лихо!..

Анка дернула плечами, с тоской ощущая, как гаснет последний удар ненадолго ожившего сердца. Бой как бой, ничего особенного.

— Еще две схватки — и финал. Продержитесь, надеюсь?

Отвечать она не стала.

Вторым ее противником был верзила сам себя шире, но справиться с ним оказалось много легче, чем с хамоватым качком, обладателем золотой цепи. Качок, по крайней мере, что-то умел, верзила же был просто силен до невероятности, потому и во второй тур прошел. Но против Анкиной одержимости сила — вуль-

гарная сила, подкрепленная лишь горой плоти, — помочь не могла. Тем более что верзила до ужаса, до полного ступора воли боялся вида крови — не чужой, своей. Едва Анка это поняла, все прочее осталось делом техники...

Колокол!

Она поглядела на ринг-могилу, куда спускалась очередная пара. Подумала, обернулась к благодетелю-покровителю.

— Самоубийца... Вы сказали...

— Сказал, сказал! — охотно подтвердил тот. — Самоубийство, Анна Анатольевна, — смертный грех, посему данный господин... Вы его, кажется, Бумбарашем именуете? Так вот, ему придется драться с Вышибалой. Как правило, это победитель нашего междусобойчика. Если господину Бумбарашу повезет, через четыре года пригласим его на общих основаниях. А что? Мечтаете о должности Вышибалы? Я не против.

Анка кивнула. Ставки три к одному. Ясно!

Ах ты, милый друг, голубчик мой Касьян!
Ты сегодня именинник, значит — пьян...

Знакомый вой она услыхала сразу. Дурацкая песня про Касьяна-именинника никак не хотела заканчиваться.

— Кто вы?

Похоже, «тюфяк» решил в очередной раз подмигнуть, но раздумал. Знакомый взгляд — ледяной, острый.

— В таких случаях обычно говорят: вопросы здесь задаю я. Впрочем, вам отвечу: контролер — как в автобусе. Интересная должность! Смешиваешься с толпой, вежливо уступаешь место бабушке, вместе со всеми ругаешь водителя, вовремя не увидевшего выбоину в асфальте. А потом — хлоп! Предъявите, граждане!..

Анке стало противно.

— Не брали билет? — саркастически изломил бровь любитель песни про Касьяна. — Нехорошо нарушать, Анна Анатольевна! Бои, конечно, без правил, но Закон еще никто не отменял.

Хотелось развернуться и уйти. Только куда — к черной яме, к серым теням?

— Значит, меня обманывают? Всех обманывают?

— Заинтересовались? — Бесцветные губы вновь дернулись в усмешке. — Конечно, обманывают. Касьянова ночь! Не знаете это предание? Бедняга Святой, как известно, оказался слаб — вот и образовалось окошко для Велиара и его беспредельщиков...

«Главный. Тот, что с сигаркой, — поняла Анка. — Какое странное имя — Велиар!»

— Вам что обещали? «Победа — жизнь»?

Анка принялась лихорадочно вспоминать. Странно, со вре-

мени первого разговора у могилы прошло не больше часа, а кажется — целый год. Или вечность.

— Еще вам сказали: «Я всегда говорю правду. Чистую, как слеза младенца...»

Последнюю фразу «тюфяк»-контролер произнес не своим — чужим голосом. Точь-в-точь как Анкин благодетель.

— Я мог бы вам рассказать... Нет, лучше покажу.

Рука долговязого внезапно оказалась у самых ее глаз. Отшатнуться Анка не успела.

...Как не успела сообразить, складывал Бумбараш ладонь «обезьяньей горстью» или, допустим, просто напряг «ивовым листом», но эффект случился поразительным. У ее ног корчился любимый парень, держась за голову и визжа на высокой, пронзительной ноте.

Носок Анкиной кроссовки — сегодня она была в кроссовках — пришелся в подставленное бедро и соскользнул. Бумбараш шагнул вплотную, просто и страшно, стекло его глаз рассыпалось острыми осколками безумия...

Очнулась она на асфальте. Поблизости заливался взбесившимся соловьем милицейский свисток. Анка застонала, приподняла голову.

Жива?

—Жива девка! — подтвердил чей-то решительный голос. — А вот парень... Сержант, «Скорую», быстро!

Макс!!!

Анка выплюнула соленый сгусток, мешавший дышать, попыталась опереться на локоть, привстать.

—Лежите, девушка! — вмешался голос. — И так нагеройствовались! Нашли с кем связываться! Мы этого маньяка две недели ловим. Звать на помощь надо было, патруль за углом стоял...

Она не слушала. Не понимала. Макс! Что с Максом?!

Секунды потерянной мелочью катились по мостовой.

— ...Так все и будет. — Ладонь контролера отдернулась и слегка дрогнула, словно стряхивая видение. — «Победа — жизнь». На целых десять минут. Лгать здесь не принято, поэтому строго формально вас не обманут. Анна Анатольевна, ведь срок дареной жизни, если помните, не оговаривался? Вот и получите... мзду. А через четыре года вновь поманят. Пообещают, скажем, час. Или целых два.

— Что с Максом? — повторила она вслух, даже не пытаясь сообразить, о чем речь. — Что с Максом, ты!..

— Вопросы здесь задаю я. — Долговязый поморщился, как

от зубной боли. — А вы цените, Анна Анатольевна! Я бы и без вас обошелся, но после некоторых событий здешние устроители стали излишне внимательными. Пришлось тихонько отойти в сторону... Обещать ничего не буду, но встречу с начальством гарантирую. Вот там вам и ответят. Может быть. Держите!

На его ладони оказался милицейский свисток.

— Патруль за углом, Анна Анатольевна. И учтите, Бумбараша вам не сделать. Бывший наемник, наркоман, после очередной дозы полоснул себя бритвой по горлу... Сами понимаете: подготовка, боевой опыт. Не вам чета! К тому же вас ему показали и все как следует объяснили. Он ведь, собственно, из-за вас за бритву взялся, когда милиция в дверь ломилась...

Она хотела переспросить, узнать у наглого притворялы, что с ее Максиком, но контролер отвернулся. Щелчок зажигалки ударил, будто выстрел.

«Значит, и мертвые курят? Нет, он не мертвый, он такой же, как те, в кашемире!..»

Двадцать девять дней бывает в феврале.
В день последний спят Касьяны на земле...

«Тюфяк» был доволен. Собой, кладбищем, ею, Анкой. Доволен — и воет, сволочь! Но если здесь не лгут и она поговорит с таинственным «начальством»...

Свисток Анка сунула в карман джинсов.

6

— А если я его убью?

— В смысле — победите? — не понял благодетель. — Кого? Вашего Бумбараша? В таком случае, милочка, на подобные соревнования его больше никогда...

— Не победю, — стиснув зубы, перебила Анка, плохо соображая, что говорит. — Убью.

«Ее Бумбараш» стоял метрах в восьми, у края ямы-ринга. Судя по крикам, там, внизу, заканчивался очередной поединок.

Белобрысый наблюдал — очень внимательно.

— Плохо, барышня, плохо! — вполне по-человечески вздохнул благодетель-провожатый. — Эмоции, эмоции... Бумбараш (ну и кличку вы придумали!) этим в отличие от вас не страдает. Для него противник — мясо. Которое надо разделать.

Она кивнула — верно. Теперь ее убийца выглядел совсем иначе, чем тогда, у лестницы. Расправились плечи, выпрямилась спина. Упругой и резкой стала походка. Почему — ясно.

Мерзавец уверен в победе. Он узнал ее, вспомнил. И теперь не боится. Ни ее, ни остальных.

— Если на таких соревнованиях кого-то убивают, ему больше не выбраться из-под земли. Во всех смыслах. Но это — если. Между прочим, ставки на Вышибалу по-прежнему три к одному. Но я надеюсь на вас. Не подведите!

Отвечать Анка раздумала.

Третий и четвертый туры прошли очень быстро, без осложнений. «В основном любители», как выразился кашемировый, дрались не лучше обычной уличной шпаны. А вот обещанные профессионалы, даже если считать таковым бритоголового качка из первого тура, сошли с дистанции один за другим. Разве что в третьем туре вышла заминка, когда памятный крепыш в белой рубашке долго не мог завалить угрюмого небритого детину в рваном ватнике. Оба явно видали виды, и зрители — хозяева жизни-смерти — поспешили взвинтить ставки. Крепыш победил, но и сам не устоял на ногах. Точнее, на ноге — правую детина ему сломал. Анка успела выяснить: травмы, полученные на ринге, исчезали — вместе с жизнью, — едва боец выбирался из ямы. Но драться калекам было уже нельзя.

Финал намечался скучный.

В противниках Анки оказался лысый толстяк лет сорока с безумными бычьими глазами. Все его бои она пропустила и теперь могла лишь догадываться, как тот сумел победить. Наверное, удача — попались еще большие неумехи. Перед схваткой тип с сигаркой — Велиар, если верить всезнающему «тюфяку» — подошел к обоим бойцам. Ничего не сказал, но посмотрел очень внимательно.

И вновь шершавое, старое дерево под пальцами.

Перекладина лестницы.

Анка не волновалась. Противник представлялся ей пустым местом, сквозь которое надо бить, целясь в настоящего врага. Так прошибают кулаком дюймовые доски.

Не волновалась — и чуть не погибла. Во второй, стало быть, раз.

Толстяк решил не ждать. Скатившись с насыпи, он бросился прямо на Анку, и слишком поздно она заметила в его руке длинную острую спицу.

Бои без правил.

Чудом успела уклониться — спасли многолетние тренировки, когда на опасность начинаешь реагировать, не думая. Сэнсэй называл это «хара-гэй» — «глаз в животе». Спица скользнула по рукаву кружевной блузки, оставив на предплечье длинную царапину. Толстяк не удержался на ногах, упал, ткнувшись ладонями в черную мерзлую землю...

Остальное было легче легкого. Убивать его Анка раздумала, просто сломала все пальцы — на обеих руках.

Чтобы помнил. Вечно.

На сей раз ей даже аплодировали. Не очень громко, правда.

7

Зрителей стало больше. К кашемировым, дружно обступившим яму, присоединился какой-то непонятный люд — не иначе с соседних аллей, из-под крестов и надгробий. Похоже, святой Касьян и вправду слегка подзабыл службу.

Долговязого контролера нигде не было, но Анке все время чудилось: он близко. В ушах ржавым гвоздем застряла нелепая песня про Касьяновы именины.

Гости старые приказные,
Отставные, безобразные...

А еще она слышала крик Макса. Словно ее парень был по-прежнему рядом.

— Поздравлять с победой обожду. Не подведите, Анна Анатольевна! Иначе вам придется очень пожалеть. Ясно?

Проводник-благодетель назвал ее по отчеству — не «барышней» и тем более не «милочкой», что само по себе что-то значило. Не стала спорить, кивнула.

— Вашему Бумбарашу терять нечего, учтите. Он — вне Закона. Кстати, если вы проиграете, то скорее всего умрете. Вторично — и окончательно.

И вновь Анка дернула подбородком. Ясно объяснил, куда уж ясней.

У ямы-ринга ее встретили аплодисменты, много гуще, чем предыдущие. Не одну Анку привечали — Бумбараш стоял на противоположном краю. Отвернуться Анка не успела — стеклянные глаза безошибочно нащупали цель. Внезапно проснулось сердце, ударило височной болью.

Не победить. Не выжить.

Боя не будет. Ни «журавля» со «змеей», ни кинжального в пах, ни «ивовых листьев», ни яростной уличной драки без красивых названий. Белобрысый шагнет вперед — просто и страшно, — чтобы убить одним ударом несостоявшегося Вышибалу, худую девку со вставными зубами. Он уже убивал ее.

Ничего сложного!

Она умрет. Сейчас — и навсегда. Не узнает, что случилось с Максом, не увидит цветущих майских каштанов. Собственного надгробия и то больше не увидит. А ведь патруль стоял за уг-

лом!.. «Двадцать девять дней бывает в феврале, в день последний спят Касьяны на земле...» Реквием по Анне Стратичук.

Колокол!

Только бы успеть спрыгнуть первой!..

8

— Нарушение! Нарушение Закона!

Трель свистка до сих пор висела в ледяном недвижном воздухе. Сам свисток был намертво зажат в ладони.

— Нарушение! Самоубийце обещали жизнь! Сюда, скорее! Нарушение!..

Так Анка никогда еще не кричала. Да где там кричала — орала, вопила, визжала, словно резаная. Бедняга Максик, вот бы у кого тебе поучиться!

— Нарушение!!!

Наверху отреагировали мгновенно. Крик, еще крик — и резкая ответная трель. Услыхали! Но не это главное. Бумбараш! Он ведь тоже слышит!

— Всем оставаться на месте! — проревел над оградами мегафон. — Стреляем без предупреждения! Повторяю: всем оставаться...

Слышит!

Стекло треснуло. Не получилось твердого шага — и никакого не получилось. Белобрысый замер, согнулся, как от удара. Знакомо поникли плечи под полосатым тельником.

— Незаконный поединок прекратить! — подтвердил неумолимый мегафон. — Выходить с поднятыми руками!

Бумбараш покорно шагнул к лестнице, поднимая вверх руки, не думая, насколько нелеп этот приказ. На миг Анка представила, как белокурый гад пытается карабкаться по ступенькам с вытянутыми руками. Улыбнулась по-волчьи...

Бои без правил!

Прыгнула.

...Первый удар — ребром ладони в основание черепа.

И рывок на себя, прогибая обмякшее тело так, чтобы хребтом — об колено.

Контрольного добивания не понадобилось.

— Я победила! — Анка смотрела наверх, надеясь, что там ее слышат. — Я победила, победила, победила!..

9

— Начальство ждет! — «Тюфяк» кивнул в сторону огромной черной машины, нелепо смотревшейся между могильных оградок. — Мой вам совет: соглашайтесь сразу. На все, что бы ни предложили.

Анка кивнула, сдерживая вспотевшей ладошкой отчаянно бившееся сердце. Живое сердце. Холодно не было — на ее плечах каким-то образом оказалось широкое кашемировое пальто.

— Сейчас, минутку...

Дверца открылась. Тот, кого называли Велиаром, неторопливо выбрался на снег. Раскрыл портсигар, долго щелкал зажигалкой.

— Кажется, договорились, — констатировал контролер не без интереса. — Тем лучше для вас, Анна Анатольевна.

Анка не стала спрашивать почему. Неважно. Потом, все потом!

Ладонь стиснула ледяную ручку дверцы...

— ...Нельзя туда! Нельзя! — Решительный голос прозвучал над самым ухом. — Сейчас вы ему ничем не поможете.

Пальцы, сжимавшие ручку дверцы, разжались. «Скорая» рыкнула, тронулась с места.

—Инфаркт, — горестно вздохнули рядом. — А ведь такой молодой!

«Макс!» — беззвучно прошептала она, не в силах двинуться с места.

— Через час вы позвоните в больницу, в реанимационное отделение. — Решительный голос стал тише, в нем мелькнуло что-то отдаленно напоминающее сочувствие. — Вам скажут перезвонить позже, но вы не успеете. Его мать сама свяжется с вами...

Анка глубоко вдохнула теплый майский воздух.

Майский воздух февральского кладбища.

— На тренерскую работу пойдете?

Она пыталась представить лицо Макса. Но перед глазами плавало пятно — черное, как Касьянова ночь.

— Даровать вам вторую жизнь мы не имеем права. — Голос теперь звенел сталью. — Закон есть Закон, Анна Анатольевна! Но отпуск — почему бы и нет? На целых четыре года — до 29 февраля 2004-го. С последующим продлением, если договоримся... Между прочим, вашего друга мы охотно включим в команду. Каждый день сможете видеться на тренировках. Э-э-э... Точнее, каждую ночь.

— Макс, — повторила она вслух. — Максик...

10

— Ставки два к одному. — Велиар усмехнулся, протянул портсигар. — В нашу пользу, в нашу пользу, Анна Анатольевна! Прошу!

— Курить вредно! Даже для нас с вами, — отрезала Анка и поспешила уточнить: — Для нежити.

Стоявший рядом «тюфяк»-контролер хмыкнул. Она поняла: два к одному было час назад, но теперь, когда обе команды выстроились возле знакомой ямы... Четыре года работы — не шутка. Сразу ясно, достаточно лишь поглядеть на ее бойцов. Конечно, Велиар тоже не терял время попусту, но...

Увидим! И скоро.

На этот раз бои без правил проводились строго по правилам. Две команды, судья, даже медбригада. Анка до сих пор недоумевала, какими пряниками Велиар сумел заманить сюда знаменитого хирурга Величко по прозвищу Добрый Доктор, специалиста по реанимации оборотней. Помощником Величко, кстати, назначили бритого качка с цепью. Три курса медицинского, кто бы мог подумать!

— Первая пара!

Макс неуверенно оглянулся, и Анка постаралась вложить в улыбку все, что нельзя высказать словами. Она гордилась своим Максиком — таким, каким он стал за эти четыре года. Победить будет трудно, очень трудно, но если удастся... Отпуск — ей очередной, ему — первый. До следующего Касьяна...

Колокол! Макс ловко спустился в яму. Сейчас забьется его сердце... Он должен победить! Они победят! Обязательно!..

Анке нравилось, как он дерется.

ЧЕРТОВА ЭКЗИСТЕНЦИЯ

Жизнь чертячья — она известно какая. Отовсюду беды жди: то крестом припечатают, то молодица справная ухватом достанет. Но такая напасть — не напасть вовсе. Это в старину хуже справной молодицы для племени чертячьего беды не было. А как перемены пошли, все стало с ног на голову... И не думайте, что если у людей карусель с рулеткой началась, так у чертей все по-старому, как при царе Паньке или при самой царице Катерине. Где там! Издавна заведено: когда у нас, потомков Адамовых, жизнь иной становится, то у чертей, считай, вдвое. Правда, что чему причиной — не скажу. По-всякому, видать, бывает: когда черти набедокурят, когда и люди свое учудят. А потом, кому жаловаться? Вот и вертятся и те и другие, словно грешники на сковороде.

Как-то перед самым Рождеством выгнали Черта из пекла. Не впервой выгнали, случалась и прежде подобная беда, да уж больно времена стояли суровые. И Черт оплошал — так провинился, что у самого Люцифера в его пекельной конторе зубы за-

ныли. Грянул он, всем чертям начальник, кулачищем волосатым по столу, взревел медной трубой, грешников распугивая: «Ах, Черт, такой-разэтакий! А гнать его взашей! И не просто гнать!..»

Вот и выгнали. И не просто выгнали.

Сошел Черт с автобуса на районной автостанции, воротник пальтишка поправил, от ветра ледяного спасаясь, оглянулся, да и понял: плохо!

А надо сказать, что пострадал Черт аккурат из-за Жан-Поля Сартра, философа французского — того, что экзистенцию выдумал. Выпала Черту служба в самом городе Париже. Не из самых худших служба. Это лишь показаться может, что нашему православному черту в заморской земле делать нечего. Совсем не так, напротив! Тогда в Париже православных собралось, что душ грешных в Пекле. Известное дело: паны да подпанки от беды подальше из России подались, а с ними просто случайный люд толпой немалой. И все злые, все голодные, все друг к другу хуже, чем черт к черту. Собирай души грешные, не наклоняйся даже! Черт наш сыром полтавским в масле катался, на серебре ел да премии каждый квартал из Пекла получал.

А вот взяли — и выгнали!

Сартра этого Черт на Монпарнасе встретил, в шинке тамошнем, что у них, французов, «кафе» именуется. Сели за стол, абсента зеленого выпили, словцом перекинулись, снова выпили — уже до изумления. Вот и понравились один другому, общаться принялись. В том тоже беды не было бы, потому как по Сартру давно свои, французские бесы плакали; но только охмурил иноземный философ нашего Черта.

— Растолкуй мне, пане Сартр, что есть твоя экзистенция? — спросит, бывало, у него Черт. А тот и рад, ему бы только про экзистенцию толковать. Объясняет Жан-Поль Сартр приятелю новому, чего он там выдумал, а Черт кивает, слушает внимательно. Но вот лихо! О делах подобных они под абсент зеленый говорили, потому что без абсента философские мысли никак не рождаются. А где абсент, там граппа итальянская, где граппа, там и родимая горилка. Так что не понял Черт из всех пояснений почти ничего. Почти — потому как одну мысль Сартрову все же ухватил.

— Что ни твори, добро ли, зло, — разницы никакой нет, — повторял утром Черт, кофе черный с граппой смешивая (и этому Сартр его обучил!). — А разницы нет, потому как добро абсолютным не бывает, значит, для кого оно добро, а для кого — совсем наоборот. И со злом такая же история.

Допивал Черт кофе с граппой, заваривал по новой.

— А если так, что толку в моей чертячьей службе? Вот, к примеру, приказано мне зло творить, православный люд смущать да

искушать. А как понять, что оно есть? Искушу, скажем, а душа православная оттого, напротив, спасется — и прочих спасет? Нет, непонятно выходит! С другой же стороны, даже если не делать вообще ничего, все равно что-нибудь да случится. Может, доброе, может, и нет. Но ведь случится, причем без всяких наших стараний! Тогда зачем мы, черти, вообще нужны?

И такая забрала нашего Черта экзистенция, что забросил он службу. Все равно, мол, и без меня зла вокруг полно — и добра тоже полно. Сами люди себе все и устроят, причем в лучшем виде. Так к чему подметки стирать?

Ясно, что премии в следующем квартале Черт не получил. Может, выкрутился бы, за ум свой чертячий взяться успел, но только граппа подвела. Принялся Черт по кафе парижским про экзистенцию толковать. И со знакомыми, и с теми, что не очень. А дальше — ясность полная. У чертей с этим делом хуже, чем у нас. Легла бумага, бесовскими каракулями исписанная, прямо на стол Люциферов, грянул он кулачищем...

В одном повезло Черту, хоть и не слишком. Был он Черт уважаемый, не из новых, которые от грязных брызг народились или из яйца пасхального неосвященного вылупились. Настоящий Черт, коренной! Вот и позволили бедняге самому ту дыру выбрать, в которой ему теперь жить-бедовать предписано будет. Сунули Черту под самый пятачок карту французского Генерального штаба: показывай! И вспомнил он, как в давние годы заглядывал на хутор Ольшаны, что в славной Малороссии. Хмыкнул, ткнул когтем. И не подумал, что был прежде хутор — стал райцентр, была Малороссия — и ее переменило.

Понял лишь, когда с автобуса сошел. Оглянулся, поморщился. Тут его под локоток и поддержали. Аккуратненько так.

— А документик ваш, гражданин?

В прежние годы черти — те, что издалека к нам жаловали, — под шляхтичей польских да под купцов немецких рядились. Поглядишь на такого: фу-ты ну-ты, пан пышный! Но и здесь перемена вышла. Оказалось на Черте нашем пальтишко драповое с вытертой подкладкой, шапка-бирка, что теперь «пирожком» именуется, и ботинки киевской фабрики со шнурками рваными. А ко всему — фибровый чемоданчик, в котором и коту тесно. Привыкай, мол, ссыльнопоселенец пекельный, кончилось твое панство!

Понял Черт: и вправду плохо. Полез за паспортом во внутренний карман, а пока доставал, пока ощупывал и мысленно перелистывал, сообразил: еще хуже! Но только делать нечего. Достал, предъявил.

— Ай да паспорт! — захохотали те, что под локти Черта взя-

ли. — Всем паспортам паспорт! Да с таким тебя, гражданин, и в тюрьму Лукьяновскую не пустят!

Что правда, то правда. Сплошные «минусы» в паспорте: в Москву нельзя, в столицы республик нельзя, и даже в центры областные. Некролог, не паспорт! Видно, здорово досадил Черт начальству пекельному.

— Ну, ладно, — отсмеялись. — Держи, лишенец. Живи пока!

А как вернули документ, как вышел Черт на площадь у вокзала... Куда теперь? Прежде все помнил: там шинок огнями светил, там голова, грешник забубенный, проживал, там ведьма знакомая из-за плетня выглядывала. А теперь... Дома кирпича красного в два этажа, грузовики по дороге пыль снежную поднимают. Холодно, сыро... Куда Черту податься?

— А здоров будь, значит!

Поглядел Черт — подумал, что прежние весельчаки вернулись. Ан нет, не они — знакомец давний из родного Пекла.

— Никак Фионин? — всмотрелся. — Ишь, каким важным стал, и не узнать-то!

Сам же смекнул: хоть и в шапке-бирке, хоть с паспортом негодным, а все одно — встретили.

— Да и тебя не узнать! — отвечает ему черт Фионин. — Словно после лагеря исправительно-трудового. А меня по фамилии звать не моги, с «гражданином» именуй. Ну, пошли, что ли?

Не стал Черт спорить. Это прежде Фионин самым никудышным чертом считался — из тех, что веревки висельникам подают. Теперь и морду отъел, и в пальто ратиновое вырядился. А на левом боку, под пальто — револьвер в кобуре желтой. Вроде и не видно, но только от взгляда чертячьего не скроешь.

Зашли они в ресторанчик вокзальный, взял черт Фионин «мерзавчик» да пару котлет, стаканы выставил.

— Не потому угощаю, что персона ты значительная, — пояснил. — Был ты важным — никаким стал. А потому угощаю, что у нас у всех теперь чертячье равенство. Прежде небось и горилки со мной бы не выпил, побрезговал, а теперь — не откажешься, поди!

И вновь не стал Черт спорить и отказываться не стал. Про себя же решил, что прав приятель его Жан-Поль Сартр. Захотел черт Фионин гонор свой показать, с гостя спесь сбить, а ведь доброе дело сделал. И водки поднес, и поведать о здешнем житье-бытье захочет. Иначе зачем приглашал?

И в самом деле. Как выпили, котлетами холодными зажевали, приосанился черт Фионин, платком батистовым губы вытер.

— Ну, слушай! Чего прежде было — забудь. Раньше ты волю свою показывал да Месяц с небес перед Рождеством воровал, теперь же — зась! Наша теперь власть!..

Не выдержал Черт — улыбнулся. Славная была история с Ме-

сяцем, ох славная, даже теперь вспомнить приятно! Ведь это только кажется, что Месяц с небес легко добыть, если ты черт, конечно. Хитрое оно дело, не всем чертям доступное.

— И про Рождество забудь. Нет теперь Рождества — и Великдня нет, и Петрова поста разом с Великим. Порядки теперь здесь правильные, пекельные. Никаких тебе ведьмовских шабашей, никаких опыров с одминами. Были — и нету! А какие остались, строго живут, по патенту работают, не самовольничают. Потому что души теперь тоже целиком — наши. У кого хотим, у того отнимаем, и не иначе. Понял ли?

— Понял! — кивнул Черт, немало удивляясь. — Что ведьм с прочими скрутили, ясно. И что души ваши целиком — тоже. Но с Рождеством-то как вышло?

Сам же думает: болтай, Фионин, болтай! Никогда ты умом своим чертячьим не славился. Чеши языком длинным!

— А календарь о восемнадцатом годе зачем меняли? — заухмылялся черт Фионин. — Календарь поменяли, а праздники все в прежние дни оставили, по старому стилю. Вот и нет теперь в них силы!.. Ну, не это главное. А главное, что первым сегодня у нас в районе гражданин Сатанюк. Скажет — орденом тебя наградят, скажет — шкуру на школьные ранцы сдерут. Он и среди нас, чертей, первый — и среди людей тоже. Потому как прятаться нам, чертям, сейчас не резон, напротив. Так что слушайся во всем — да приказы выполняй. Вот Рождество отмененное отгуляем и поставим тебя, лишенца, веревки висельникам подавать. Забудешь о своем Париже, ох забудешь!

Совсем скверно Черту стало. Понял: и такое сделают. А главное, знал он черта Сатанюка, что ныне «гражданином» обернулся. Довелось встречаться! Да так, что и без новой встречи вполне обойтись можно.

Поглядел на него черт Фионин, лапой пухлой по плечу похлопал.

— Понял? Вижу, понял! Ну ладно, живи — пока! А мне на бюро райкома пора, списки утверждать станем. На таких, как ты, вражина!..

С тем и откланялся. То есть кланяться, конечно, не стал, даже кивнул еле-еле.

Вышел Черт на улицу, чемоданчик фибровый в руке пристроил — да и побрел куда глаза глядят. Идет, а сам вновь о приятеле Сартре размышляет. Вот ведь как выходит! Вроде доброе для них, чертей, дело случилось: и Рождества нет, и черт знакомый на хуторе, что теперь райцентром стал, верховодит. В прежние дни, когда любой казак мог молитвой припечатать, о таком и не мечталось. Казалось бы, хорошее дело? Вот только почему-

то все больше о веревке намыленной думается — и не чтобы висельнику ее подать, а чтобы себе оставить.

Идет Черт, о Сартре размышляет — и по сторонам поглядывает. Не позднее еще время, ходит народ туда-сюда по улице. Принюхался Черт по привычке — не пахнет ли где грехом? Дрогнул ноздрями — да чуть и не задохнулся. Всюду, всюду дух грешный! И такой густой, что с непривычки обмереть можно. Не поверил Черт, в душу первого встречного заглянул. Эхма, что в душе-то! Мечтает она, как рассмотрят в «инстанции» письмо анонимное, которое три дня назад в ту «инстанцию» отправлено. Рассмотрят, меры примут. Черт — в другую душу, а там и вовсе мрак. Вспоминает душа, как врагов лютых к кирпичной стенке ставила, как сапоги да галифе, еще теплые, с дружками своими делила. Помотал Черт башкой ушастой, высмотрел на улице дивчину пригожую. Уж у такой в душе иное совсем будет!

И вправду — иное. Умел бы Черт краснеть, залился бы краской до кончиков ушей своих собачьих. А тут и не покраснеешь даже. Одно осталось — лапой когтистой махнуть. Махнуть — и ночлег искать приниматься. Потому как в дни прежние можно было к знакомой ведьме заглянуть или в шинке пристроиться, а теперь, да еще когда в паспорте — сплошные «минусы»...

Повезло Черту — порой и такое случается. Дошел он до места, где раньше постоялый двор был, где чумаки, что из Крыма ехали, шеляги чумацкие пропивали. А там он и есть, двор постоялый. Почти такой же, только стены кирпичные да на вывеске «Дом колхозника» значится. Обрадовался Черт, заулыбался. Там, где торгуют, там ему, Черту, и место, как бы времена ни менялись. Достал он бумажник, подсчитал наличность (три червонца всего оказалось). «Хватит ли?» — подумал. Решил: «Хватит!» Зашел в ларек ближайший, взял две скляницы зеленого стекла с белыми «бескозырками» — и на порог. А как чемодан фибровый под койку бросил, так и пошел со сторожем местным знакомство сводить.

На постоялом дворе черт всегда своего сыщет.

Между тем и ночь настала — та самая, Рождественская. Ясная ночь, тихая. Вот и Месяц остророгий над Ольшанами показался. Показался, блеснул боком серебряным.

И пропал, словно не было.

Гражданин Сатанюк в ту ночь на службе пребывать изволил. Не один — с чертом Фиониным и всем прочим кагалом чертячьим. Обнаглело бесово семя, адово племя! Вместо того чтобы в Пекло спешить, пока петухи голос не подали, решили они честь

по чести Рождество запрещенное справить. Мол, прежде ваш верх был, теперь наш настал. Навсегда!

В кабинете и гуляли. В наши дни начальство больше бани предпочитает, а в те годы какие бани? Одна на весь город — и та на ремонте второй уже год. Но и в кабинете устроиться можно, особенно если кабинет непростой. Тут тебе стол — всем столам стол, быка колхозного уложить можно, а тут и дверца в горницу укромную. Называется горница «комнатой личного отдыха», а какого именно, начальству виднее. Гуляй — не хочу!

Вот и гуляли. Стол бутылками заставили, закуски, с базы привезенные, по тарелкам разложили. К закускам — патефон с пластинками польскими и румынскими, а к патефону — молодицы одна другой краше. Хоть и не чертовки, а хороши! Звенят рюмки, поет-гремит патефон, заморский танец танго танцевать манит. Хохочут молодицы, улыбаются зазывно, на двери горницы скрытой кивают. Вот она, жизнь чертячья, иной нам и не надо!

Почти до самой полуночи гуляли-безобразничали. А потом велел гражданин Сатанюк черту Фионину в окошко выглянуть. Жарко ему, начальнику бесовскому, стало, вот и решил узнать: хороша ли погода. Если хороша, если тихо, так отчего бы кости не размять, не прогуляться всем кагалом по улице? Мол, прежде мы, черти, прятались, а теперь — наше время!

— Ну, чего, Фионин? — вопросил гражданин Сатанюк. — Снега нет ли?

— Никак нет, — вздохнул тот. — Ни снега нет, ни Месяца нет. Украли, видать!

— То есть как укра... ? — взревел гражданин Сатанюк сиреной пароходной.

Не доревел. Обрезало.

А наш Черт меж тем давно по улицам гуляет. Сторож со двора постоялого не бойцом оказался — с полутора скляниц храпака задал, с иными же прочими знакомство свести пока не вышло. Так почему бы и не выйти на улицу в такую ночь, особенно если в Пекло не гонят?

Вот и ходит себе Черт вдоль улиц. Не просто так — вспоминает. Ведь есть чего, есть! Вот тут, где теперь памятник, серебрянкой смазанный, шинок стоял. Всем шинкам шинок, до самой Полтавы — да что Полтавы! — до Киева слава о нем летела. Приезжали в тот шинок паны важные, дивились. Что за притча? И горилка вроде бы такая, как и всюду, и сало, и пампушки с чесноком. Такая — а все ж иная, куда как иная! Хлебнешь, зажуешь, занюхаешь — и в свой Киев возвращаться расхочется. А уж когда скрыпицы играть начинали!.. Все дивились, Черт не дивился. Содержал тот шинок его давний приятель, ведьмак, который всей местной нечистью верховодил. Ох и славный шинок

был! Там Черт и познакомился с панычом из Больших Сорочинцев, что страсть как байки про нежить всякую слушать любил. Слушать, записывать — и сам сочинять. Добрый был паныч, только худо кончил. Плохо от черта к попу кидаться!

Вздохнул Черт: был шинок — нет его. И ведьмака нет, давно в котле пекельном бока греет, и паныча любопытного. Нет их! Если б только их! Помнил Черт: когда Рождество близко, спешат хлопцы и девчата колядовать, рядятся волхвами да медведями...

Безлюдно на улицах, скучно! Видать, крепко запретили Рождество. Нет, ничего нет. А это что? На дом панский похоже, колонны у входа, крыльцо высокое, на вывеске «Ольшанский Дворец культуры» написано. Шагнул Черт ближе, принюхался, да и похолодел. Чего там, за стенами и за колоннами, не понял, но на всякий случай на другую сторону улицы перешел. Экий страх, даже Черта напугали!

С «Дворцом культуры» ясность полная. А что еще тут в наличии?

Оглянулся Черт, от лишних глаз опаску имея. Но только пусто, ночь зимняя вокруг, ни души на улице. И в небе пусто: был Месяц — нет Месяца. Хмыкнул Черт, затылок, прической «бокс» стриженный, почесал...

Там, где прежде роща стояла, парк оказался. Не роща, конечно, но деревья в наличии. Поискал Черт, какое из них вербой будет. Хоть и без листьев, а узнать можно.

— А ну, вылазь! Вылазь, говорю!

Только кто ответит? Ночь, тьма зимняя, Месяца и того нет.

Хмыкнул Черт, губы дудочкой сложил.

Них, них, запалам, бада,
Эшехомо, лаваса, шиббода,
Яндра, кулейнеми, яндра .

Не взяли бы Черта в «Гранд-Опера» петь, и даже в сельский клуб не пустили бы. Не дал Люцифер талану! Только порой важно не как поешь, а что. Зашевелился снег под вербой, листья прошлогодние встопорщились. Показалось из-под них круглое да серое. Выглянуло, вновь спряталось.

— Кумара? — пискнуло еле слышно.

— Кумара-кумага! — засмеялся Черт в ответ. — Жунжан!.. Вылезай, Клубок! Не признал, что ли?

— Признал...

Встал перед ним черт Клубок — такой, каким был в годы давние: сутулый и седой, глаза — плошки желтые, борода козлиная, рога козлиные. А в рогах — вроде клубка шерстяного. Ох, не завидовали тем, кому такой клубок ночью под ноги попадался!

— Признал, — повторил, бороду козлиную почесав. — А как не признать-то? Кто из нынешних «Кумару» помнит? И песни

наши забыли, и Рождество справляют, нас, стариков, срамят.. Давно приехал?

Так и разговорились.

Из парка Черт к Студне-речке собрался. Не пропала речка, только обмелела и грязней стала, даже сквозь лед заметно. Пошел он туда, хоть и надежд особых не имел. За Клубка, приятеля стародавнего, Черт спокоен был. Куда тому пропадать? Или в округе все вербы перевелись? А вот Мостовой, что мосту старому хозяином считался, мог и не уцелеть. Давно мост сломали, еще полвека тому. Разобрали — и новый, железный построили. Прижился ли Мостовой? При железе служить опасно, это Черт еще по Парижу запомнил. Эх, веселым чертом был Мостовой! Клубок — тот без выдумки обретался, по земле катился да с пути сбивал. Или огнем пыхал. Мостовой же без шуток и ночи не проводил. Позднего прохожего на мосту встретит — меняться предлагает. У кого кожух добрый, тому новый, еще лучший сулит, у кого кобза — заморскую гитару обещает. А уж когда дело до уговоров дойдет, никому не устоять! Однажды и вовсе смех был: попа повстречал, что от гулящей молодицы под утро пробирался. А у попа блудливого — бородища до пояса. Заступил ему Мостовой дорогу, не побоялся, потому как нагрешил в ту ночь поп выше креста церковного. К перилам деревянным прижал его Мостовой и бородами меняться велел. Понимал: не станет гулена долго спорить. Ох и срам случился, когда матушка-попадья поутру увидела, что именно у благоверного на подбородке выросло! Ох и гремело смехом все Пекло! Жаль, историю эту Черт своему приятелю Сартру не поведал. Хотел, да все некогда было.

Шагнул Черт на мост, «Кумару», тайную чертячью песню, насвистывая. Только ступил — так сразу и замер, потому что иной звук услыхал. Урчал где-то поблизости мотор автомобильный.

— «Эмка», — определил Черт. — Карбюратор чуток барахлит, чистить пора... А не по мою ли шкуру?

Вот тут-то его и взяли.

— Сгною, удушу! — орал черт Фионин, лампу трехсотсвечовую ближе пододвигая. — В Кармурлаге заморю, в святой воде топить стану!..

Морщился Черт от огня пекельного, зрачки ему рвущего, кривился — и прикидывал, что в прежние времена одной такой лампой весь хутор, который на месте райцентра стоял, осветить можно было.

— Шкуру сдеру, падла! Где Месяц, спрашиваю? Куда девал?

Не выдержал Черт, отвернулся. Уж больно огонь ярок был — Ищите!

Взмахнул Фионин лапой когтистой, в кулачище сжатой, но так и не ударил. Хоть и власть у него, хоть и в кабинете они запертом, да только закон у чертей строгий, не в пример людскому. Не пойман — не вор, значит, и бить нельзя. Хуже того! Испокон веков в Пекле подлость ценилась. Подлость — и ловкость. А что может быть подлее и ловчее, когда своих же чертей в обман ввел? За такое немалую награду давали. Если же в совсем важном деле пакость учудил, иных чертей в беду сумел втравить, так не просто награду. Назначали того черта на освободившееся место — за то, что подлей оказался. В общем, все у них, у чертей, как у нас. Чуток честнее только.

Не ударил Фионин, поостерегся. И револьвером грозить не стал, хоть и красовался он рядом — на столешнице, зеленым сукном обитой.

— Пошутил — и хватит! — сбавил тон черт Фионин, даже лампу чуть отодвинул. — Ну зачем тебе Месяц? Не продашь ведь! А как у нас неприятности начнутся, так ведь и тебе...

Умолк — плохо вышло. Проговорился! Схватился было от злости за револьвер, да передумал.

— На постоялом дворе искали? — сочувственно вздохнул Черт. — Мой чемодан под кроватью.

Скривил морду черт Фионин, словно ему и вправду воды святой поднесли. Искали, как не искать! Всюду искали, даже в ресторане, где они с гостем водку котлетами заедали. Не шутка ведь — Месяц! Это прежде такие дела сами собой утрясались, а теперь, при новых-то порядках! Того и гляди из Миргорода позвонят или из самой Полтавы. Где Месяц, мол? Кто дал приказ на изъятие, кто в народе ненужные суеверия распускает? А не вредительство ли у вас в наличии?

— Отдай Месяц, а? — уже не приказал, попросил черт Фионин. — Христом-Бо... Тьфу ты, с тобою и язык отсохнет!

— Не брал я Месяца! — не выдержал Черт, улыбаясь во всю свою зубастую пасть. — На месте он, смотреть лучше надо. А то говоришь, порядок, порядок...

Зарычал черт Фионин, сжал револьвер в когтях. Но тут в замке ключ повернулся. Открылась дверь, шагнул на порог сам гражданин Сатанюк в красе и силе своей. Реглан кожаный расстегнут, на сапогах яловых то ли грязь, то ли снег с грязью, портфель немецкой кожи под мышкой. Вскочил черт Фионин, руки по швам опустил, замер царским гренадером. Не посмотрел на него гражданин Сатанюк, к столу шагнул, плеснул в стакан воды из графина. Хлебнул, поморщился. Мутна вода, давно не меняли.

— Отпусти его!

— Как отп-пустить? — обомлел Фионин, от изумления языком о клыки цепляясь. — Он это, он! Он Месяц украл, я докажу, я его в подвале...

Зарычал гражданин Сатанюк, морду псиную сморщил:

— На месте Месяц, чтоб его! Я в Полтаву звонил. И в Миргород, и в Киев. Всюду на месте, только у нас одних пусто.

— Ну, так... — Черт Фионин аж подпрыгнул. — Туча это! Я же говорил: туча! Вот...

Подбежал к окну, отдернул тяжелую штору. Застонал.

— Хоть бы не заметил кто! — вздохнул Сатанюк, без всякой, впрочем, надежды. — Где там! Сами же к бдительности приучали.

— Явление это астрономическое! — не сдавался черт Фионин. — Скажем, что необъяснимое наукой...

— Вот и будешь объяснять, за кругом Полярным, — перебил Сатанюк и к Черту повернулся. — Слушай, может, договоримся, а?

Не стал Черт отвечать. Встал — да и вышел, о приятеле своем Сартре подумать не забыв. Прав философ, во всем прав! Какой мудрец скажет, доброе ли дело сотворилось — или совсем напротив? С одной стороны, не дали людям Месяцем полюбоваться в Святую ночь, с другой же... Сильна она, экзистенция!

Как в воду глядел гражданин Сатанюк. Заметили в райцентре непотребство, с Месяцем приключившееся. В ту же ночь на карандаш взяли, а на следующее утро куда следует сообщили. И вправду не дело: календарь, властью изданный и властью одобренный, Месяцу на небо подняться велит, наука наша, самая передовая в мире, с этим вполне согласна. А Месяц, простите, где? Как народу трудящемуся пояснить? Что в ночь Рождественскую, из праздничной в обычную разжалованную, кто-то провокацию устроил, дабы внимание ненужное привлечь? И если бы хоть повсюду, так ведь нет, только в одних наших Ольшанах!

Написали, а для верности еще и позвонили — прямо в Киев. В пекельное же ведомство звонить нужды нет, там сразу узнали, не замешкались. В общем, началось.

Одно спасение имелось — в следующую ночь Месяц народу явить. Иное бы тоже годилось: тучами небо затянуть да на тучи все задним числом и списать, но только не властен черт над Небом! Это ему не на Земле пакости да мерзости творить. Так что не вышло с тучами — и с Месяцем не получилось. Следующая ночь звездная выдалась, ясная. Над Миргородом Месяц взошел, пополневший слегка, и над Полтавой взошел, и над Харьковом. Только над Ольшанами темно.

Чего уж там гражданин Сатанюк с чертом Фиониным делали, к кому обращались, про то никто в точности не ведает. Гово-

рят, падали нашему Черту в ноги, обещали на любую должность назначить, какой угодно оклад выписать, а вместо железного моста вновь деревянный построить. Что и как отвечал им Черт, неизвестно, но только ясно — не помогло.

На третье утро, под самую зорю, загудели моторы. Три черные машины — из города Полтавы. Выглянули те, что посмелее, в окошки, головой покачали: ну, будет! А когда из первой машины вышел сам товарищ Химерный с «маузером» в деревянной кобуре на ремне, все понятно и стало. Ведь от Харькова до галицийской границы каждому было ведомо: не страшны товарищу Химерному ни черти, ни бесы, ни прочая нежить, потому как страшнее его самого в те дни никого и не найти.

А еще через неделю в пустой кабинет гражданина Сатанюка нашего Черта и вселили. Незаметно так, без шума. Вселили да попросили шепотом: Месяц на небо верни и больше такого без спросу не твори. А за это живи как знаешь. Хочешь — Сартра из Парижа приглашай, хочешь самого Эйнштейна из Америки. Только чтобы тихо, тихо ..

Согласился Черт — отчего бы на такое не согласиться? Подписал приказ о вступлении в должность и второй подписал — о товарище Клубке, своем новом заместителе. А на следующую ночь Месяц на небе появился. Совсем круглый, с червоточиной малой на левом боку. Кто вздохнул облегченно, кто даже перекрестился от несознательности...

И настала в наших Ольшанах жизнь — лучше не придумать. Товаров в магазинах, понятно, не прибавилось, и люди умнее не сделались, зато тишина вокруг такая была, что иззавидоваться можно. И людям воля — и нечисти, какая уцелела и схоронилась, тоже воля. Ведь Черт после всей кутерьмы окончательно в экзистенцию Сартрову уверовал. И в самом деле! Поди пойми, где добро, где зло. А раз так, то и делать ничего не надо. Все равно что-то да случится. Как есть случится!

Заместитель его, товарищ Клубок, в данном вопросе с ним всегда соглашался, вот только порой на посетителей огнем пыхал — по привычке. Но ничего, не обижались, а если случалось такое, то не слишком сильно.

Бывало, соберутся Черт с приятелем своим, чертом Клубком, в тайной горнице за кабинетом, разольют граппы, поднимут стаканы.

— Ну так чего, брат? — спрашивает Черт. — За них! За времена наши былые, правильные! И за нее, за экзистенцию!

— За них! — отвечает Клубок, стеклом о стекло ударяя. —

И за нее! Только объясни наконец, брат, с чем ее, экзистенцию, едят-то?

И немедленно выпьют. Потом закусят от души, затянут свою «Кумару», да так, что на соседней улице слышно. «Них, них, запалам, бада, эшехомо, лаваса, шиббода...»

А вот где и как Черт граппу доставал, сказать не берусь. Черт все-таки! С их племени пекельного и не такое станется.

Черт уже подумывал Сартра из Парижа пригласить, чтоб веселее было. А заодно и в самом деле железный мост деревянным заменить, сменщика приятелю своему Мостовому (так и не объявился, бедняга!) сыскать. Не успел. Через год и за ним черные машины приехали, тут уж никакая экзистенция не помогла. Что ни говори, а плоха она, жизнь чертячья, отовсюду беды жди.

Где Месяц был, спрашиваете? Где же ему быть-то, на небе находился, как от веку и положено. Просто взял наш Черт у сторожа в Доме колхозника ведро с краской черной и малярную кисть, стремянку прихватил — и бок, каким Месяц к нашим Ольшанам повернут, аккуратненько так закрасил. В три слоя — для верности. А после выписал из области бочку с немецким растворителем и все поправил. Это ведь для нас Месяц чуть ли не с четверть Земли размером. Для черта же, особенно если из коренных он, настоящих, тот Месяц в карман уложить вполне даже возможно. В карман, впрочем, что! Такое и прежде умели. А вот когда американцы, не подумав, решили на Месяц «Аполлона» своего послать...

Но об этом — лучше не к ночи.

КАРТОШКА

В ту весну Богдан и Люська собрали все свои сбережения и купили домик в селе Градовом — за двести долларов. Зарплату задерживали, нули на «купонах» множились, как кольца в руках жонглера, и знакомые говорили: надо иметь место для выживания и обязательно огород, чтобы кормиться. «Малого будете вывозить на лето, — убеждала Люськина мама. — Экологически чистое место, природа, продукты с грядки. А если печка есть, то и зимой жить можно».

Богдан и Люська приобрели развалюху под соломенной крышей, как при Тарасе Шевченко. Огород при «хате» лежал огромный, и оба радостно предвидели грандиозный урожай картошки. Три старых сливы и пять кустов смородины образовывали «сад», в конце огорода имелся сортир о трех стенах и без крыши. «Зато свежий воздух!» — веселился Богдан. Люська раздувала ноздри, принюхиваясь к незнакомому запаху весенней земли,

розовела щеками и строила многоэтажные планы на будущее: «Тут прополоть... Тут вскопать... Тут фиалки, тут матиола... Тут будет мангал, тут летняя кухня, тут чеснок, там абрикосы...»

Приходили местные, все больше старушки, знакомились: «Говорят, Игнатьича хату купили... Вы купили? А-а-а... Игнатьич-то? Уже три года как помер, и хата стоит пустая... Икона-то в хате есть? Это хорошо... Три года стоит хата, никак нельзя без иконы...» Иногда вдоль забора прохаживался дядька Бык, местный сумасшедший, — смотрел, жевал губы, молчал. Люське дядька Бык не нравился.

Единственная соседка принесла желто-коричневые яйца, попросила добыть в городе курева для мужа, который парализован, не встает. Расспрашивала, кто из родственников покойного Игнатьича продал дом и за сколько.

— Задешево небось досталось? Знаю, дешево... Думали, даром никто не возьмет. А вам-то зачем оно сдалось?

— Так ведь инфляция, теть Лен, надо недвижимость приобретать...

Соседка ухмылялась с большим подтекстом и в конце концов надоела супругам хуже комаров.

— У меня от нее голова болит, — жаловалась Люська. — Выпытывает, как следователь, и тянет, и тянет... И намекает на что-то, а на что — не говорит...

— Им тут скучно, — предположил Богдан. — Мы приехали — событие...

Перед следующей поездкой Люська взяла в гастрономе пять пачек папирос.

Весна прошла под знаком энтузиазма. Каждую субботу супруги поднимались в пять утра, брали на плечи рюкзаки и спящего сына в охапку, ехали на вокзал. Выстаивали в очереди за билетами и грузились в электричку. В поездке завтракали припасенными с вечера бутербродами; двухлетний Денис просыпался, оглядывался по сторонам и отказывался есть манную кашу из бутылочки. Иногда скандалил, тогда Богдану приходилось брать сына на руки и прогуливаться по вагонам, подолгу стоять в тамбуре, тыкать пальцем за окно, где проплывали деревья и дороги, и рассказывать сказки без начала и конца, но со множеством событий: «И вдруг... он его... как схватит! А тот ка-ак... закричит!»

Через полтора часа, миновав санаторий «Ладушки» и переехав мост через Студну, электричка прибывала на полустанок. Супругам отводилось целых две минуты, чтобы вытащить на платформу сумки на тележках, саженцы в перепачканных землей кулечках и недовольного Дениса. Час они сидели на привокзальной скамейке в ожидании автобуса, который шел сюда полупустым от Ольшанского автовокзала. Вокруг собирались в изобилии старушки с багажом, их было куда больше, чем сво-

бодных мест в старом «пазике», и, когда дело доходило до посадки, малого нередко приходилось забрасывать через окно.

Проведя в автобусе кучу времени и миновав шумные Терновцы, семейство высаживалось посреди дороги, переобувалось в резиновые сапоги и брело по раскисшей грунтовке. Денис к этому времени наконец-то просыпался, радовался жизни, гонялся за воронами и хватал руками лягушек в канавках. Богдан и Люська мечтали об одном: добраться до места. Из всех достопримечательностей по пути встречалась заброшенная церковь и старое кладбище при ней.

Здоровались со старушками за плетнями — одно «здрасьте» на семь минут пути. Часам к двенадцати дня впереди показывался сперва колодец, а потом и остатки родного забора. Богдан торжественно снимал со старых скоб новенький замок, и семейство вваливалось во двор — покосившийся сарай, груды неразобранного мусора в дальнем углу, зелененькая травка всюду, куда ни посмотри.

Ночь с субботы на воскресенье проводили в «хате». Два дня с превеликими трудами очищали от сорняков заброшенный огород; одуванчики, такие милые в городе, здесь превращались в настоящих монстров, оплетали землю корнями, глушили укроп и редиску. Крапива, зверея, забивала смородиновые кусты так, что к ним нельзя было подступиться. На прогулки и рыбалку почти не оставалось времени. А предстояла еще дорога обратно — тем же порядком; в воскресенье, в половине двенадцатого ночи, едва живые супруги со спящим Денисом на руках прибывали в городскую квартиру, и обоим предстояла длинная рабочая неделя...

— Какой заряд свежего воздуха! — отважно говорила Люська. — Это замечательно — физический труд! Погляди на Деню, какой румяный...

И Богдан смотрел на вещи со здоровым оптимизмом. Во всяком случае, старался смотреть.

Он впервые в жизни косил траву косой. Собирал смородину и заваривал чай с мятой. Обнаружил, что под соломенной крышей свила гнездо незнакомая птица, похожая на ласточку, только много больше и молчаливая. Люська пыталась подкармливать птицу крошками, но та никогда не брала предложенного угощения — летала взад-вперед, бесшумная, как облако, и только ночью шелестела иногда под крышей, возилась, поудобнее устраиваясь в гнезде...

Но время шло, и затея «вывезти малого на лето» казалась все менее удачной. Денис категорически отказывался от парного молока, предпочитая сухое, разведенное из пакетика, и панически боялся коров, утром и вечером проходивших мимо домика по узкой улочке. Он вечно тянул в рот какую-то гадость, претер-

певал атаки ос и напарывался на сучки, а однажды наступил на змею — змея оказалась ужиком, но прежде чем была установлена ее видовая принадлежность, Люську чуть не хватил удар. Телефона нет ни у кого в округе — случись беда, пришлось бы бежать на почту, за три километра, и вызывать «Скорую» из райцентра.

Ни одно из средств по борьбе с колорадским жуком не принесло должного результата. Богдана, опрыскивавшего ботву, мутило потом два дня, зато жуки размножались без тени смущения. Разочаровавшись в химии, Люська ходила по огороду и терпеливо собирала оранжевые личинки в баночки из-под майонеза. «Отряд не заметил потери бойца» — оценить ее страдания могли только данаиды, наполнявшие водой треснувшую бочку в древнегреческом царстве мертвых.

Капуста, едва оформившись в кочаны, подверглась атаке паразитов. Огурцы погибли как один после неудачного мелкого дождичка. Помидоры, не успев покраснеть, темнели и валились на землю. Супруги попытались было устроить пляж на берегу местного озерца, но не выдержали конкуренции с коровами. Наконец однажды в июле Богдан и Люська переглянулись, перемигнулись, за полчаса собрали вещи и, взяв под мышку Дениса, ретировались домой.

Остаток лета прошел великолепно. Дождливые дни чередовались с солнечными, Денис пускал кораблики в лужицах возле подъезда, Богдан и Люська по очереди ходили в театр на гастролеров и в видеосалоны, где крутили, помимо третьеразрядных американских боевиков, многочисленные серии «Анжелики». Богдан снова занялся диссером, а Люська слушала английские кассеты.

Так закончился август, и настало время собирать картошку.

Люська ехать в село отказалась наотрез — она устраивала Дениса в садик, и за беготней по чиновникам и врачам не видела белого света. Бросать урожай на поле было жалко — одних жучьих личинок собрали не меньше трех тысяч; в субботу второго сентября Богдан поднялся затемно, взял рюкзак и поехал на вокзал — один.

Путешествовать в одиночестве оказалось неожиданно приятно. Богдан подремал в электричке и чуть не проспал свою станцию, потом, не дожидаясь автобуса, удачно тормознул попутный грузовик и уже к одиннадцати утра входил в одичавший за полтора месяца двор.

Трава стояла чуть ли не по пояс. Клумбы и грядки оккупировали торжествующие сорняки, два абрикосовых саженца засохли. Зато картофельное поле выглядело на диво пристойно — ссохшиеся хвостики ботвы дисциплинированными рядами тя-

нулись до самого сортира, и сорняков среди них почти не наблюдалось.

Передохнув и перекусив, Богдан взялся за лопату. Первый же пробный «тык» вывернул на поверхность три большие золотисто-коричневые картофелины.

Богдан приободрился. Поле, брошенное на произвол судьбы, оказалось честным и незлопамятным: картошки было много, и почти вся — крупная, крепкая, белая на срезе. Богдан стер руки до крови, но не сразу это заметил; на обед сварил в кастрюльке картошку в мундирах и долго смаковал, вдыхая пар, водя по горячим картофельным срезам ломтиком сливочного масла. Ему казалось, что ничего более вкусного он в жизни своей не пробовал.

Все представилось в новом свете. Утомительные поездки, проклятые жуки, автобусы и электрички — все наполнилось смыслом. Богдан смотрел на огород, покрытый горками подсыхающих картофелин, и улыбался рассеянно и счастливо, как посетитель Лувра.

Наступил вечер. Морщась от боли в спине, Богдан собирал картошку в ведра, а потом в мешки. Всю собрать не успел — стемнело; мышцы болели, ладони саднили. Он вскипятил себе чаю и открыл банку кильки в томате. Посреди двора догорал костерок из картофельной ботвы. Богдан сидел, глядя в огонь, ни о чем не думая. Ощущал, как медленно успокаивается ноющее тело. Вокруг стояла темнота, какой никогда не бывает в городе, — кромешная тьма, окна далеких соседских домиков не светились, луны нет, только звезды проглядывали в разрывы облаков. Тлели угольки. Шелестел ветер листьями бесплодных сливовых деревьев, далеко-далеко — может быть, в соседском селе — лаяла собака...

А потом замолчала.

В сгустившейся тишине и темноте Богдан поднял голову — и мороз продрал по коже.

Легкие быстрые шаги. Шелест сухой травы. И крик — еле слышный, нечеловеческий крик боли. Как будто издыхает задавленная подушкой птица.

Богдан вскочил. Нащупал на поясе фонарик, кинулся на огород — на звук. Белое пятно света тыкалось вправо-влево, выхватывая ботву, расстеленные на земле мешки, ведро, какую-то тряпку...

По огороду шел кот — очень большой. Богдан любил котов, Люська прикармливала трех соседских кошек, — но этот нес в зубах птицу. Дергалось, роняя перья, крыло. Даже ради любви и уважения к кошкам Богдан не согласился бы терпеть разбой на собственном огороде.

— Ах ты, дрянь! А ну, кинь немедленно! Убью!

Кот медленно обернулся. Луч фонарика уперся ему в морду — в лицо. Богдан отпрянул.

Стоящее перед ним существо не имело к семейству кошачьих никакого отношения. Узкие щелочки-глаза смотрели осмысленно, злобно, насмешливо. Нос отсутствовал. Зато рот, в котором трепыхалось тельце птицы, был вертикальный, правая челюсть и левая челюсть сжимались, смыкая крючкообразные зеленоватые клыки.

Богдан выронил фонарик. Отступил еще на шаг — и споткнулся о горку не убранной с поля картошки. Стояла полная тишина; фонарь лежал на земле, посылая луч в сторону сортира, и поперек световой дорожки неторопливо скользнула тень хищника с птицей в зубах. В одной руке у Богдана оказалась зажата огромная картофелина, подобранная машинально. Зубастое существо снова возникло в пятне света; птица в челюстях висела, безжизненно откинув красивую, черно-белую, как у ласточки, головку.

Богдан завизжал от ужаса и отвращения — и швырнул картофелиной прямо в страшную харю.

Посыпались редкие искры, как если бы на огороде кто-то пытался разжечь отсыревший бенгальский огонь. Темнота взвыла хрипло и яростно. Богдан повернулся и кинулся наутек — дальше сражаться с порождением ночного кошмара не оставалось ни сил, ни отваги.

Ночь прошла плохо. Зато утром на огороде не обнаружилось никаких следов схватки, кроме горстки черных перьев, которые могли быть потеряны раньше — кем угодно и при каких угодно обстоятельствах.

* * *

Поначалу он стеснялся рассказывать Люське про случай на огороде. Потом рассказал вроде как в шутку, под видом анекдота; Люська посмеялась, но неубедительно, и на следующие выходные предложила ехать «на картошку» вместе.

Дениса решили пощадить и оставили бабушкам. Захватили побольше мешков, две тележки на колесиках, встали в пять утра и поехали. Надо сказать, Богдан очень красочно описал Люське, какая замечательная картошка уродилась, как легко и приятно ее копать. Тем большее потрясение ожидало их в конце пути.

Все оставалось на месте — замок на ржавых скобах, туалет со старой клеенчатой скатертью вместо двери, дом, сорняки и три сливы. Вот только картофельное поле было перерыто будто стаей спятивших кротов. Не осталось ни картофелинки; Богдан и Люська стояли, не зная, что делать и что говорить, и смотрели на дело неизвестно чьих рук.

— Это воры, — сказала наконец Люська, стараясь, чтобы го-

лос не дрожал. — Я про такое слышала... Просто пришли и вырыли.

Посреди двора, в кострище, нашлось несколько обгорелых картофельных шкурок, и это подтверждало Люськину версию: воры, собрав чужой урожай, еще и запекли картошечку в костре и сытно поужинали.

Богдан развел огонь в печи. Не разговаривая и не глядя друг на друга, супруги перекусили килькой в томате.

— Уедем сегодня? — предложил Богдан.

Люська кивнула и через минуту добавила:

— Знаешь... А давай вообще тут все продадим. На фига?

Перед тем как уехать, Богдан сделал два дела. Во-первых, невесть для чего подставил лестницу и заглянул в гнездо птицы, похожей на ласточку.

— Да она улетела давно, — сказала снизу Люська. — Слезай, а то навернешься... лестница гнилая...

Гнездо в самом деле было пустое, брошенное, как дом. На дне лежали черные перья.

Богдан слез с лестницы и пошел к соседке. Передал две пачки папирос для мужа и спросил как бы между прочим:

— У нас тут... никого не видели? На огороде кто-то покопался, всю картошку вырыл...

Соседка округлила глаза и побледнела:

— Не видели, Богдасик, и не слышали. Никого не было.

— Там много работы. На пару дней...

— Не видели. Может, ночью? Бывает такое: воры ночью придут, все обтрясут, повыроют...

Богдан вздохнул и попрощался. От калитки обернулся:

— Теть Лен... А вы тут кота здоровенного не видели? Такой.. Зенки такие...

И растянул к вискам уголки собственных глаз, будто изображая китайца.

Бабка энергично закрестилась, рука ее замелькала в воздухе, как спицы колеса:

— Нет, что ты! Что ты! Игнатьич, царство ему небесное...

Скрылась в доме и захлопнула дверь. Богдан вспомнил, что Игнатьичем звали прежнего хозяина дома.

* * *

Супруги испытали облегчение, когда сделка купли-продажи наконец совершилась. Они продешевили, конечно, продавая дом осенью, а не весной, да еще в спешном порядке. Новый покупатель заплатил сто восемьдесят долларов — но Богдан и Люська и тому были рады.

На обратной дороге, в электричке, Люська призналась: не

хотела ведь покупать хату, не нравилась она Люське ни одной секунды!

— Еще и эта... баба Палажка, придурковатая, на углу живет, помнишь? Подошла ко мне и сказала: мол, Игнатьич был колдун, наплачемся мы с его хатой...

— Да ну ее, эту картошку, — вяло махнул рукой Богдан.

Он страшно устал. Хотелось спать.

Оба ушли с головой в работу и учебу, благо Денис теперь ходил в садик, хорошо прижился в коллективе и почти не болел. Картошку покупали в магазине — меленькую, часто гниловатую. Потом удалось «с машины» купить два мешка по приемлемой цене.

— Теперь на всю зиму, — довольно говорила Люська. — Бр-р... Как вспомню этих жуков...

Богдан не вспоминал о случае на огороде, пока однажды ему не привиделась огромная мохнатая тень, одним прыжком перескочившая через детскую песочницу. Богдан возвращался вечером с работы, фонари не горели, а в тусклом свете редких окон немудрено принять за чудовище обыкновенного кота с помойки.

Люська, открывшая дверь, была бледна и нервно хихикала:

— Орал тут соседский кошак под дверью... Прямо выл, таким голосом жутким... Хотела выйти, шугануть...

— Вышла? — спросил Богдан.

Люська смутилась:

— Знаешь... Поздно все-таки... Решила лишний раз дверь не открывать.

А через несколько дней, вернувшись с работы с Денисом под мышкой, Люська обнаружила входную дверь исполосованной в клочья. Дерматин висел черными ленточками, уродливо торчали куски ваты.

— Участковому скажу, — пообещал, вернувшись, Богдан. Люська держалась молодцом — спокойно объясняла Денису, что плохие мальчишки из соседнего подъезда балуются, режут чужие двери, но дядя милиционер их поймает и накажет...

Участковый долго жаловался на свинцовые мерзости «бытовухи» и маленькую зарплату. Богдан сочувственно кивал. За ремонт двери пришлось выложить деньги, отложенные на электрический чайник.

А еще через пару дней, наскоро завтракая за кухонным столом, Богдан поднял голову — и встретился взглядом с глазами-щелочками на круглой морде без носа, с вертикальными челюстями. Морда приникла к оконному стеклу — снаружи.

Богдан поперхнулся. Прибежала Люська; в окне, разумеется, никого не было, и Богдан постеснялся рассказать жене правду. Он всегда считал себя выдержанным человеком с крепкими нер-

вами. Но вечером по дороге домой зашел в аптеку и купил флакончик валерьянки.

— Для кота? — спросил знакомый провизор Костя, веснушчатый любимец окрестных пенсионеров.

— Ага, — беспечно ответил Богдан. И, выйдя из аптеки, почему-то перекрестился — впервые в жизни, скованно и неуклюже.

Валерьянка не помогла. Ночью Богдану приснился сон, который вполне проходил по ведомству кошмаров. Он сидел на овощной базе, перебирал картошку, но хороших клубней не было — в руках растекалась кашицей гниль. Он знал, что из всего университета прислали по разнарядке его одного и он не уйдет отсюда, пока не выполнит норму. Ящики громоздились вокруг, закрывая небо; за бастионами из гвоздеватых досок прятался кто-то, подглядывал, но Богдан не мог застать чужака врасплох, как резко ни оборачивался, как ни вертел головой. По овощехранилищу гулял ветер, порывы складывались в шепот, похожий на скрип:

— Расплатишься...

Он проснулся в отвратительном настроении и с утра накричал на Дениса. Сердитая Люська увела в садик сердитого сына, а Богдан долго остывал над чашкой холодного чая. Уныло поглядывал в окно на унылый дворик и встрепенулся, лишь когда на подоконник села птица — похожая на ласточку, но слишком большая. Птица смотрела на Богдана единственным глазом — второй был выбит в какой-то, видимо, схватке.

— Кыш, — в ужасе прошипел Богдан. И добавил, забыв, что птица не слышит: — Тебе на юг... Ноябрь на дворе... Убирайся!

Птица ударила крыльями по жести козырька под окном и улетела. Полный дурных предчувствий, Богдан стал собираться в университет; обнаружив на ковре под креслом синие колготки сына, испытал приступ раскаяния. Аккуратно сложил колготки, открыл комодик — и наткнулся на стопку альбомных листов: в последнее время Денис много и охотно рисовал, воспитатели в садике хвалили его за «развитие мелкой моторики правой руки»...

Богдан бездумно проглядывал рисунки, пока не наткнулся на один очень яркий, сделанный гуашью. На нем изображалась женщина в оранжево-синем клетчатом платье. Местами оранжевая и синяя краска слились, но в целом нарисовано аккуратно, как для трехлетки. Рядом на коричневом столике (толстая горизонтальная линия и две вертикальных) стоял зеленый круглый кактус в желтом горшке. Иголки понатыканы карандашом; в сторону от зеленого шара тянулась огромная фиолетовая труба, похожая на граммофонную.

У оранжево-синей женщины было узкое лицо, нос как у Ба-

бы Яги и длинный злой рот уголками книзу. В руке она держала прямоугольный предмет — сумку, чемодан или коробку.

Богдан подумал, что обязательно надо похвалить сына за этот рисунок. Или за какой-нибудь другой — но обязательно похвалить; он видит Дениса так редко, возвращается поздно, в субботу сидит в библиотеке... В воскресенье валяется в изнеможении на диване. По утрам, невыспавшийся и злой, кричит на ребенка всего-то за то, что малыш задумался над мыльной пеной в пригоршне...

Стало быть, в субботу — в зоопарк. Богдану стало легче. Он запер дверь, все еще пахнущую новым дерматином, с медным значком «8» (Люськина покупка и гордость), и отправился, почти веселый, на встречу с научным руководителем. Встреча намечалась еще две недели назад, но по множественным уважительным причинам откладывалась да откладывалась.

Екатерина Сергеевна восседала за профессорским столом. На краю стола стоял кактус, и фиолетовый цветок изгибался, как труба граммофона. Одного взгляда на лицо кураторши хватило, чтобы понять: похвалы не жди. Ноздри тонкого носа раздувались, тонкий рот изгибался уголками вниз. Екатерина Сергеевна говорила негромко, скупо, и все просчеты, допущенные Богданом, его недоработки и небрежности, подчеркнутые красным карандашом, ложились на стол одна за другой — серыми машинописными листами.

Последней легла пустая папка; Богдан смотрел, как беспомощно болтаются завязочки. Он не ждал разгрома, но беда заключалась в другом. На Екатерине Сергеевне был костюм в оранжево-синюю клеточку, не такой яркий, как на детском рисунке, но вполне узнаваемый.

— ...Одна радость — кактус расцвел, — сказала в заключение профессор, и ее тонкие губы наконец-то сложились в улыбку. — Идите, Донцов, и работайте. Я знала, что вы не хватаете звезд с неба... Но чтобы в такой степени! Идите.

* * *

Он вернулся домой, когда сын уже лег в кровать. Люська была не в духе; Богдан посидел над сопящим Денисом, но сын спал крепко и безмятежно — ни кошмарам, ни пророчествам не нашлось места в маленькой комнате с плотно занавешенным окном.

На ночь он выпил чуть не полфлакона валерьянки.

— Чем это воняет? — хмуро поинтересовалась Люська.

Богдан долго не мог уснуть, в полудреме читал какие-то стихи по незнакомой книге, успевал удивляться: что за строки? Неужели сам во сне придумал? А потом, провалившись оконча-

тельно, почувствовал запах гнилой картошки, очутился на ящике посреди овощебазы, а напротив, на другом ящике, сидел небритый старик, прикрывал нечистой ладонью выбитый глаз:

— Ходит за тобой... И ходит... Гляди...

— Кто ты? — спросил во сне Богдан.

— Игнатьич... — Старик вздохнул. — Через меня ты в это дело встрял... Гляди...

На другое утро Денис одевался вдвое дольше, чем обычно, но Богдан не проявил недовольства. Наоборот, сообщил, что в субботу они идут в зоопарк; малой развеселился. Завязывая шнурки на высоких ботинках сына, Богдан спросил как бы ненароком:

— А что за тетю ты нарисовал с кактусом?

Денис не сразу понял, о чем речь.

— Просто, — сообщил удивленно, когда Богдан сходил в комнату и принес рисунок. — Просто так. Красивая тетя.

— А где ты видел, что кактус цветет?

Денис засмеялся:

— Это краска размазалась!

* * *

Всю следующую неделю Денис рисовал зверей, а Богдан спал спокойно. Выпал и растаял первый снег. Ни черная птица, ни похожее на кота существо больше не мерещились. Он занимался диссером, и ничем другим.

В пятницу Люська попросила Богдана забрать малого из садика. Дожидаясь, пока неторопливый Денис оденется, Богдан рассматривал пластилиновых мишек с бумажными ярлычками имен и подписанные шариковой ручкой гуашевые рисунки. Тема занятия была «Правила дорожного движения», на всех картинках имелись светофоры с глазками и ручками, дяди Степы в огромных фуражках, кое-где попадалось треугольное солнце в уголке листа и цветочки внизу. На рисунке Дениса, невнятном и довольно грязненьком, красовался самосвал и маленькая фигурка под огромными черными колесами.

— Деня... Что это?

— Это тетя, которая неправильно переходила дорогу, — очень серьезно сообщил художник. — Нам про такое рассказывали!

Молча проклиная дур-воспитательниц, запугивающих детей всякой ерундой, Богдан вывел сына во двор из пропахшего кашей коридора. Снова пошел снег и перестал; Денис медленно и обстоятельно рассказывал, что давали на обед, что на завтрак и что на ужин. Подходя к троллейбусной остановке, Богдан издали увидел толпу возле перехода; над толпой возвышался самосвал. Мигала синим милицейская машина, чуть поодаль стояла «Скорая помощь». Богдан сильнее сжал руку сына и потащил

его прочь; во рту стоял отвратительный привкус. Взмокли ладони в перчатках из фальшивой кожи.

— ...какое там жива, пополам переехало... — донеслось от остановки, где судачили женщины.

Подошел троллейбус.

— Пропустите с ребенком! — рявкнул Богдан неожиданно грубо и, крепко прижав к себе пискнувшего Дениса, ввинтился в переполненные душные недра.

* * *

— Ты ведь понимаешь, что это совпадение? — спросила Люська. — Ты огорчился из-за этой выдры Екатерины...

— Вот-вот, — подтвердил Богдан.

— А возле того перехода вечно всякая жуть. Дурное место. Месяц назад пацана сбили — перебегал...

Богдан тяжело вздохнул.

— Игнатьич, — Люська поморщилась. — Кстати, я ту птицу видела. Сидела на мусорном баке.

— Да?!

— Явно не ворона... Хотя большая. У нас похожая в селе под крышей жила.

— У нее глаза нет.

— Насчет глаза я не заметила, издали смотрела... Но явно покалеченная, едва летает. Знаешь, часто бывает: подранки не улетают на зиму, а пристраиваются где-нибудь в городе. Надо подкормить.

— Люська, слушай, это та самая, что у нас под крышей...

— Ага. Прилетела за триста километров к тебе в гости. Как же.

Насмешливый Люськин тон привел Богдана в чувство. Но на Денискины рисунки он опасался смотреть еще долго — почти две недели.

* * *

Богдан сидел за работой, когда вернулись с прогулки Люська с Денисом. Люська держала санки, Денис — старое одеяльце, служившее подстилкой. С мокрых полозьев падали на линолеум снежные кляксы.

— Замерзли? — спросил Богдан, запирая дверь.

— Ага, — сказала Люська странным голосом. — Немножко...

И взялась расстегивать на Денисе шубку, но Богдан уже знал: что-то случилось.

— Да нет, — ответила Люська на взгляд мужа. — Ничего... так. Деня, иди мой ручки...

Прикрыла за сыном дверь ванной:

— Видели мы этого... кота. Деня испугался... А дворничиха

говорит, он здесь во дворе... Короче, вроде бы он таксу съел из второго подъезда.

— Кот?!

— Они говорят: «чернобыльский мутант». — Люська невесело усмехнулась. — Знаешь что? Позвоню-ка я в «будку» Пусть приедут, заберут его. На фига нам во дворе такая гадость?

* * *

«Будка», служба по отлову бродячих животных, никакого кота-мутанта во дворе не нашла, зато попыталась забрать двортерьера Булата из третьего подъезда. Случился скандал, чуть ли не драка, хозяйка Булата кричала в лицо Люське оскорбления, Богдан едва сумел разрешить дело миром — заплатил «будочникам», и те убрались пустые. Китайский шарпей Бернард, пес соседа-прокурора, скалил вослед живодерам зубы и глухо рычал Он ничем не рисковал: прокурорских шарпеев никто не отлавливал — себе дороже.

Люська долго плакала на кухне, Богдан утешал ее и не знал, как утешить. Наконец в час ночи улеглись; в пять утра Богдан вышел на кухню попить водички и, глянув в окно, увидел под единственным фонарем во дворе огромную тварь со стоящей дыбом шерстью...

Мигнул — чудовища как не бывало.

* * *

— Что это?

Богдан держал в руках новый рисунок Дениса, выпавший из-за неплотно прикрытой дверцы письменного стола. На рисунке были люди с круглыми головами, круглыми животами, с наведенными черной краской руками и ногами — много людей; некоторые сжимали в руках большие черные ножи размером с хорошую саблю. Люди стояли плечом к плечу, а в центре композиции помещался хиленький человечек в треугольном зеленом пальто и круглой шляпе. Руки человечка торчали в стороны — на каждой по пять длинных пальцев.

— Что это, Деня?

— Просто так, — уклончиво ответил сын. — Хулиганы.

— А в середине?

Сын пожал плечами.

— Это не я случайно? — осторожно спросил Богдан. — В зеленом пальто?

— Может, и ты, — пробормотал Денис, глядя в сторону.

* * *

Одноглазый старик сидел на покосившемся ящике из-под овощей. На темной морщинистой ладони лежала картофелина — чистая, золотисто-коричневая, будто светящаяся изнутри.

— Лопату найди, — говорил старик. — Найди лопату.

За штабелями ящиков, за горами мешков с гнилой картошкой ходили на мягких лапах. Смотрели глазами-щелками, разевали вертикальные челюсти. Поскрипывал ветер:

— Заплатишь...

— Лопату найди! — повторял старик, заглядывая Богдану в лицо почти с отчаянием. — В лопате твое спасение...

* * *

Когда первый из них, весь какой-то мутный и вихляющийся, вынырнул из подъезда и заступил Богдану дорогу, тот уже знал, чего ждать, и побежал, не медля ни секунды.

Судя по множественному топоту и мату, за ним погнались человек пять, не меньше. Вокруг не было ни души, фонари не горели, Богдан бежал, боясь одного — выронить папку с диссером. Преследователи, вместо того чтобы разочароваться и отстать, с каждой секундой преисполнялись азартом:

— Стой, сука!

Богдан споткнулся и все-таки упал. Вокруг захлюпали по грязи ботинки, кто-то торжествующе пнул его в бок...

— А-а-а! — распахнулось окно, стукнула рама. — Убивают! Батюшки! Милиция!

Неподалеку басовито залаял пес. Богдана пнули напоследок — и хлюпанье быстрых шагов отдалилось, затюкало по бетонной дорожке, потом по асфальту, потом стихло...

Рядом стоял сосед с догом. Вернее, сосед стоял, а дог описывал вокруг взволнованные круги.

— Бодя? Ты?

Женщина в окне матерно грозила «этим гадам» всеми возможными карами. Богдан поднялся, прижимая к груди папку с диссером.

— С-спасибо...

...Пальто пропало. Ничего страшного: и Богдан, и Люська понимали, что могло кончиться куда хуже.

* * *

В хозяйственном магазине стоял плотный химический запах. Богдан долго и бесцельно разглядывал тяпки без рукояток, грабли, жестяные лейки, пакетики с удобрениями; на толстой картонке лежала лопата. Темная, со светло-стальным ободком во-

круг острия, еще ни разу не пробовавшая земли, она казалась не мирным инвентарем, но орудием убийства. Богдан смотрел на лопату третий день подряд; купить ее означало признать себя сумасшедшим. Не купить — отказаться от последнего оружия в борьбе со взбесившейся судьбой.

— Что вы все смотрите? — удивилась толстая продавщица. — Берите, пока есть. Сталь хорошая. Держачок вам подберем.

— Дорого, — сказал Богдан, ощупывая в кармане сумки ворох бумажных купонов. От портмоне пришлось отказаться — во-первых, их немилосердно воровали, во-вторых, такая масса денег не помещалась ни в один кошелек.

— Весной подорожает! Да еще и не будет, все разгребут под сезон... Берите!

«Лопата тебя спасет», — Богдан вспомнил и содрогнулся. Зачем *лопата*? Уж не могилу ли себе копать?!

— Мне не надо, — сообщил он разочарованной продавщице. — Дачу-то продали...

Повернулся и пошел к двери.

* * *

В четверг, забирая Дениса из садика, Богдан первым делом ринулся к выставке рисунков. Тема была «Сказки»; не глядя на работы прочих детей, он жадно отыскивал надпись «Донцов» на обороте...

На сей раз Денису рисунок явно удался: клякс почти не было. Посреди листа имелся вертикальный коричневый столб, от столба в разные стороны тянулась желтая цепь из неровных звеньев; справа цепь заканчивалась уже знакомой тщедушной фигуркой: круглоголовый человечек вместо треугольного пальто был облачен теперь в квадратную черную куртку. Всю левую сторону листа занимал бурый силуэт с острыми ушами и толстым хвостом до самого неба.

— Что это? — спросил, обмирая, Богдан. — Это... кот?

— Кот научный, — радостно подтвердил Денис. — То есть ученый.

— А это кто? Александр Сергеевич Пушкин? — Богдан указал на фигурку в правом углу листа.

— Нет. — Денис скромно потупился. — Это ты.

* * *

— Зачем? — устало удивилась Люська.

Богдан не нашелся, что ответить. Приближался Новый год, а сбережения семьи, мягко говоря, оставляли желать лучшего.

— Она дешевая, — соврал он, оправдываясь.

Люська ничего не сказала. Уселась перед телевизором с чашкой чая на блюдце.

Богдан опустился на корточки и высвободил лопату из мешка. «Острая, — говорили в магазине, — в транспорте осторожнее...» Рукоятка была слишком свежая, слишком чистая; острие поблескивало тускло и хищно, и почему-то сам вид заостренной лопаты вдруг совершенно успокоил Богдана.

Пусть приходит, подумал удовлетворенно. Кот-мутант, или кто он там...

Люська тупо смотрела на экран. Богдан понимал, что она не видит и не слышит событий «Санта-Барбары», что нервозность последних месяцев скоро доведет жену до срыва, что надо объясниться — или покаяться, что одно и то же...

Он снова оделся и вышел во двор с лопатой в руках. Остановился посреди палисадника; здесь проходила теплотрасса, снег проседал, а земля не твердела. Сам не понимая зачем, Богдан налег на заступ — мышцы вдруг вспомнили август, огород, он был почти уверен, что в ямке обнаружится картофельный клубень.

Нагнулся. Протянул руку и нащупал под сталью лопаты, под снегом и мокрой землей — влажную шероховатую картофелину.

Вытащил.

Это оказался круглый комок глины.

* * *

Новый год встретили дома, по-семейному, тихо и скромно.

Денис заболел, и две недели Богдан и Люська занимались исключительно врачами, компрессами, жаропонижающими таблетками и чаем с малиной.

Лопата стояла в кладовой. На лезвии высыхал комочек земли из палисадника.

Денис выздоровел. Убрали елку и стали ждать весну. Екатерина Сергеевна наконец-то сменила гнев на милость — в последнюю встречу с руководителем Богдан удостоился двух-трех ободряющих слов.

В воскресенье — перед тем как после долгого перерыва отправиться в садик — Денис потребовал чистой бумаги. Ему, видите ли, захотелось рисовать. Люська полезла в стол за альбомными листами, но Богдан, прибежав из кухни с чашкой кефира в руке, заявил, что хочет почитать Денису сказку. Спеть ему песенку. Показать кукольный театр. Именно сейчас.

И полдня, позабыв о своих книгах, возился с сыном. Собственноручно выкупал его в ванной и уложил спать; краски так и остались стоять на столе рядом с чистым листом из альбома.

* * *

Утром он не помнил своего сна, но в том, что это был кошмар, сомневаться не приходилось.

— Что с тобой? — спросила Люська, увидев лицо мужа.

— Дрянь какая-то снилась. — Богдан помотал головой.

— Перемена атмосферного давления, — неуверенно пробормотала Люська, и Богдан кивнул:

— Наверное...

За Люськой и Денисом закрылась дверь. Богдан побрел на кухню доедать завтрак. Снаружи, на жестяном козырьке окна, сидела большая птица, похожая на ласточку. Смотрела на Богдана единственным глазом. Била крыльями, смахивала с козырька комочки примерзшего снега.

У третьего подъезда стояла черная крышка гроба — ветер вяло теребил широкое кружево. Богдан вспомнил, что умер старичок — хозяин таксы, тот самый, что каждое утро выгуливал ее в оранжевом, на меху, пальтишке...

Темными тенями сновали люди. Хлопали двери подъездов.

Богдан задернул шторы. Позвонил на работу и сказал, что болен. Позвонил приятелю, с которым должен был встретиться в библиотеке, и отменил встречу.

Он вспомнил, что ему снилось. Овощная база, только напротив, на покосившемся ящике, никто не сидел. Кто-то смотрел в спину, все время в спину.

— Жди... Сегодня... Жди...

Там, во сне, Богдан вертелся волчком, ожидая нападения, сжимая в руках...

Он открыл кладовку и вытащил лопату. Ногтем счистил прилипшую грязь.

* * *

В полпятого позвонила озабоченная Люська. У нее заболела мама — Люська собиралась сегодня ночевать у больной, прихватив с собой и Дениса.

— Ты-то как? — спрашивала Люська сквозь треск в телефонной трубке. — Пришел в себя?

— Совершенно, — отрапортовал Богдан.

В шесть часов стемнело.

В девять единственный фонарь посреди двора замигал и погас.

Воздух полнился весной и жутью. В небе, широко раскинувшись, мерцало созвездие Ориона.

В полдвенадцатого, когда почти все окна в доме погасли, Богдан взял лопату и вышел во двор. Минут пятнадцать он был очень храбр — расхаживал взад-вперед по асфальтовой дорожке, думал о Люське и о Денисе. Пора прекратить весь этот кошмар.

Пусть ребенок рисует что хочет. Пусть Люська наконец перестанет хлестать валерьянку на ночь...

Потом звезды съежились и потускнели. И Богданова храбрость съежилась тоже; он завертелся волчком, как тогда, во сне, поспешно отступил к подъезду. Будить соседей, бежать домой, вызывать милицию...

Темная тень вынырнула из-за мусорных баков. Богдан отшатнулся, выставив перед собой лопату; в этот момент единственный фонарь во дворе опять вспыхнул.

Свет упал на морду с вертикальными челюстями.

Угрожая лопатой, Богдан пятился и пятился к подъезду, молча умоляя хоть кого-нибудь проснуться и подойти к окну, крикнуть, хотя бы завизжать...

«В лопате твое спасение...»

Проклятый дом, проклятый огород, проклятая картошка...

Картошка...

Он вспомнил — клубень в руках, картофелина, летящая в страшную морду. Искры.

Не сводя глаз с ужаса, который смотрел на него, Богдан трясущимися руками опустил свое оружие. Мышцы напомнили, что делать; Богдан налег на лопату, она вошла в грунт без особенного усилия. Чудовище припало к земле, прижало уши, хлестануло по бокам хвостом; Богдан, не отводя глаз, нагнулся и нащупал в ямке — картофелину.

Она была крупная и гладкая, с тремя или четырьмя глазками. Она была теплая. Она светилась золотисто-коричневым светом.

Чудовище взревело, отталкиваясь от мокрого асфальта; Богдан размахнулся и запустил в него картофелиной — прямо в морду.

Взрыв.

* * *

— Что с тобой? — спросила Люська, увидев его лицо.

Денис сопел на кровати, натягивая колготки. Было серое утро; на письменном столе стояли баночки гуашевой краски и лежал нетронутый листок бумаги.

— Дрянь какая-то снилась. — Богдан помотал головой.

— Перемена атмосферного давления.

— Наверное...

За окном едва светало. Во дворе громко ругалась дворничиха. Богдан выглянул; дворничиха изливала душу старичку из третьего подъезда. У ног старичка вертелась такса — мерзла, несмотря на оранжевое пальтишко.

— Осторожнее, — сказал Богдан, выпуская жену и сына на лестничную площадку. И зачем-то уточнил: — Скользко...

— Ага, — улыбнулась Люська. — Не волнуйся.

Выглядывая из форточки, он смотрел, как они идут через двор. Мимо ямы на асфальтовой дорожке — глубокой, но неширокой. Не шире лезвия лопаты.

— Санэпидстанцию вызову! — угрожала дворничиха неизвестно кому. — А вдруг оно заразное? А вдруг оно здесь расплодилось? Вот, полюбуйся!

И указала Люське на мусорный бак, где на куче хлама лежала, по-видимому, падаль. Люська только глянула — отпрянула и поскорее потащила Дениса прочь. Перед тем как завернуть за угол, она остановилась и посмотрела на окно кухни. Встретилась взглядом с Богданом.

Взгляд протянулся между ними, как ниточка.

И Люська улыбнулась.

ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ

Дежурство выдалось спокойным, что в неотложке — большая редкость.

К обеду доставили лишь одного пьянчужку с кашей вместо физиономии. Двое приятелей страдальца маялись в коридоре, чуя за собой вину. «Лицевые кости целы, зубы потом вставит сам, если захочет. Зашить бровь и отзвониться Егорычу, во избежание», — наметанным глазом определил Величко.

Егорыч, дежурный мент, дремал в своей каптерке как раз для таких случаев.

Наложив швы, доктор вызвал покаянных дружков в кабинет. Задавая стандартные вопросы, быстро, но без лишней спешки заполнил все необходимые бланки. Егорычу звонить не понадобилось: вся троица хором утверждала, что «Митяй с лестницы навернулся». Громче всех версию падения отстаивал потерпевший, плямкая губами, распухшими до размера оладий. Ладно, с лестницы — значит, с лестницы. Меньше волокиты. Отослав компанию восвояси, Величко выглянул в окно. Новых машин у входа в приемный покой не объявилось. Прислушался. В коридоре царила тишина.

Ну и хорошо. «Час пик» начнется позже.

Александр Павлович откинулся на спинку жесткого стула. Не глядя, нашарил фаянсовую кружку с отбитой ручкой, хлебнул остывшего чаю и развернул купленную по дороге газету. «Курьер» раскрылся на 12-й странице. «Тайны рынка на обочине», интервью с какой-то Гели Реф, насквозь желтое, как молодой одуванчик. Быстро разочаровавшись в рыночных тайнах и пижонстве хамоватой Гели, доктор перелистнул страницу. «Криминальная хроника». Взгляд сразу привлекла фотография в центре. Серая, мутноватая, явно со служебного удостоверения.

Впрочем, не узнать молоденького лопоухого лейтенантика, изображенного на фото, было невозможно.

«ФИНАЛ ОСЕННЕГО ЛЮДОЕДА» — гласил заголовок.

Ниже, шрифтом, похожим на стилизованную готику, размещался подзаголовок: «Любимый город может спать спокойно». И собственно сама статья: «Кровавым ужасам, терроризирующим население с прошлой осени, пришел конец. Дарья Климец, студентка пищевого техникума, выжила чудом. Насильственным путем оказавшись в Осиновке, на территории «Dinastia Bradly», питомника доберманов и минпинов цвергпинчеров, девушка и не предполагала...»

Буквы на миг смешались, поплыли. Величко невольно моргнул — раз, другой, — и память, решительно ухватив доктора за шиворот, отшвырнула его на два с лишним месяца назад.

Сюда же, в первый корпус неотложки.

Только не в приемный покой, а в родной кабинет на втором этаже.

* * *

— ...Разрешите?

«Опять ЧП», — тяжело вздохнул Величко, глядя на щуплого «летеху» в милицейской форме, с бляхой ГАИ на груди. Из всего облика мента в первую очередь обращали на себя внимание уши — оттопыренные, мальчишечьи, пунцовые от волнения. Лопоух нервно мял в руках новенькую фуражку.

— Входите. Что случилось?

«Вот такой шкет меня в четверг на червонец нагрел», — подумал Величко. Червонца было жалко. Забыл вроде, а сейчас опять пожалел. И клятва Гиппократа не помогает.

— Лейтенант Сиромаха, — по-уставному представился посетитель, старательно закрывая за собой дверь. — Я к вам, Александр Павлович. Мне необходима операция.

— Операция? Срочная?

Лейтенант замялся:

— Ну, не то чтобы срочная... Но хотелось бы поскорее.

— Если вы не в курсе, молодой человек, у нас тут Институт неотложной хирургии. Подчеркиваю: неотложной. Может, вам лучше обратиться в вашу ведомственную клинику? Или в районную больницу по месту жительства? Если, конечно, нет денег на платную, — мстительно добавил Величко, вспоминая злополучный червонец.

— Я понимаю, доктор. Только... Я специально к вам пришел, лично.

— Именно ко мне? Из каких соображений, позвольте спросить?

Величко слегка приподнял брови. Хирургом он считался не-

плохим, опытным и удачливым, но в числе «светил» никогда не значился. И в очередь к нему клиенты не записывались. Особенно работники доблестных органов, которые к своим собственным внутренним органам относились с исключительным трепетом.

— Мне брат о вас рассказывал. Двоюродный. Николай Курсак. Помните? Он на стройке работал, монтажником. Жилой комплекс «Олимп», элитные дома. Ну вы должны помнить...

— В каком смысле — «работал»? Больше не работает, что ли?

Величко очень не любил вот такие значащие оговорки.

— Еще как работает, что вы! Он в марте с лесов сорвался, так вы его едва не из кусочков собрали. Сейчас жив-здоров, снова на верхотуре трудится. Привет вам от него и спасибо огромное!

— Рад, что у вашего брата все в порядке.

— Вот я и подумал: если вы Кольку с того света за уши вытащили, глядишь, и мне поможете...

— А вы уверены, что вам нужна операция?

— Да! Честное слово, доктор, очень нужна!

— Какая именно? К другим врачам вы обращались? Диагноз вам поставили?

С минуту лейтенант молчал, морща лоб и раскладывая в голове вопросы «по полочкам». Сразу видно, серьезный юноша. Обстоятельный. Остановит такой машину, козырнет и давай докапываться...

— Насчет операции — уверен. Какая именно — это вам виднее, вы же доктор. К другим врачам не обращался. А диагноз я и сам знаю. Чего там сложного?

Александр Павлович едва удержался от скептической улыбки:

— И каков же диагноз?

Сиромаха замялся, глядя в пол. Уши его только что не дымились.

— Я...

Он с видимым усилием поднял взгляд и посмотрел Величко в глаза.

— Я это... Оборотень я, доктор!

«Вам, батенька, не к хирургу надо, а к психиатру!» — Александр Павлович разом простил бедняге все червонцы на свете. Видимо, мысль эта слишком явно отразилась на лице врача. Лейтенант заторопился, зачастил, опасаясь, что его сейчас выставят за дверь. Или санитаров из дурки вызовут.

— Я понимаю, доктор, звучит как бред. Но я не псих! Я могу доказать... Показать! Хотите? Я могу прямо сейчас! В кабинете!

Сказать по чести, Александр Павлович растерялся. Ситуация складывалась, мягко говоря, неординарная. А ну как этот «оборотень в погонах» начнет с рычанием метаться по кабинету,

брызжа пеной изо рта? И в итоге набросится на скромного доктора Величко, чтоб наверняка разодрать в клочья все сомнения?

Что делать?

Постараться успокоить пациента, пока не поздно? Ретироваться из кабинета? Позвать на помощь коллег?

Тем временем Сиромаха уже деловито раздевался, бубня:

— Вы не бойтесь, я не кусаюсь. Я, когда животное, все помню. Без этих самых... антисоциальных проявлений. Соображаю, правда, туго. Это в полнолуние у меня крышу рвет... Я форму на вешалку повешу, ладно?

Доктор машинально кивнул, чувствуя себя соучастником группового психоза.

— Вы не думайте, я не просто так раздеваюсь. Когда обратно человеком делаюсь — то в одежде, то голый, то серединка на половинку. Или порвано на мне все. А форму жалко, она новая...

Голый, он выглядел совсем жалким. Тощий, ребра торчат. И срам ладошкой прикрывает, будто забыл, что стоит перед врачом. Величко незаметно протянул руку к телефону, плохо соображая, кому и как будет звонить. Алло, милиция, у меня ваш колега из ГАИ, он решил обернуться...

— Ну, с богом! — совсем уж невпопад выкрикнул Сиромаха.

Он упал на пол на четвереньки, и у хирурга перехватило дыхание. Казалось, лейтенант разом вывернулся из всех своих суставов. Груда на полу приняла чудовищную, невообразимую форму, напоминая саранчу-гиганта; отовсюду торчали мослы, шевелясь и дергаясь. Невидимые пальцы уминали чудовище, лепили заново, что-то отрывая и прикрепляя в другом месте, что-то переделывая на ходу, согласно задумке безумца-вивисектора. Откуда-то из движения и хруста вынырнула знакомая голова: вразнобой тряслись пунцовые уши, заостряясь и обрастая пегими волосами. «Больно, доктор... бо-о-о...» — сдавленный стон перешел в еле слышный скулеж. От живого кошмара текли струйки пара, обволакивая жертву: пар наполнился мутными, грязно-серыми прожилками, похожими на шерсть.

Бывший гаишник Сиромаха вдруг вывернулся наизнанку и встал перед Величко.

На четыре крепкие лапы.

До сегодняшнего момента Александр Павлович считал себя здравомыслящим человеком с крепкими нервами. Но сейчас, под взглядом здоровенного волчары, здравый смысл куда-то улетучился, а крепость нервов сдалась без боя.

«Добрый доктор Айболит... приходи к нему лечиться и корова, и волчица...»

Волк склонил голову набок, изучая человека, замершего в столбняке. Оскалился, обнажив изрядные клыки. Оскал вышел нестрашным и обидным. «Это он надо мной потешается!» Хи-

ргу стало неприятно, и еще опять вспомнился утраченный червонец. Такое бывает при нервном стрессе. Волк тем временем лениво кружил по кабинету, давая себя разглядеть как следует. С откровенной наглостью мазнул лапой по стене, оставив на штукатурке глубокие царапины от когтей. Резко прянул к столу, оперся передними лапами о столешницу. Сунулся мордой в лицо Величко: «Теперь веришь?!» Упал на спину, стал кататься по линолеуму, повизгивая; визг делался ниже тембром, опять превращаясь в стон. Чьи-то руки принялись быстренько выворачивать зверя обратно, уминать, лепить, дергать и скреплять...

В такие минуты мысли в голове человека движутся странными и совершенно непредсказуемыми путями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первой фразой, вырвавшейся у доктора, когда с пола поднялся голый лейтенант, было:

— Ну хорошо, а стену вы зачем поцарапали?!

— Для вещественного доказательства, — уныло сообщил пациент, одеваясь. — Иначе вы решите, что вам все привиделось.

Доктор лихорадочно пытался убедить себя: галлюцинация, гипноз, временное помрачение рассудка! Получалось скверно. Взгляд всякий раз возвращался к свежим царапинам на штукатурке и столешнице. «Вещественное доказательство» с упрямством прокурора говорило об обратном. Или тоже — гипноз? А что тогда реальность?

«Если это виртуозный розыгрыш, — Александр Павлович хватался за соломинку, чувствуя хрупкость опоры и не видя другого варианта, — будем считать, что я поверил. В крайнем случае, выставит меня дураком». Величко даже слегка успокоился, насколько это было вообще возможно в подобной ситуации.

— Хорошо, молодой человек. Убедили. Но от меня вы чего хотите? Ну, священник, экзорцист... или кто там по соответствующей части?.. Дрессировщик, наконец. Хирург-то вам зачем понадобился?!

— Достало! Нормальным быть хочу. Человеком жить. До капитана дослужиться. Как минимум. А чтоб капитан по ночам волком бегал — это вообще не пойми что...

«Значит, лейтенанту волком бегать еще туда-сюда. А вот капитану — никак не положено! Любопытная логика...»

— ...держусь пока, никого не тронул. А вдруг сорвусь однажды? Блох полную квартиру нанес, житья от них, сволочей, нету... Первый раз? Первый раз в армии случилось. Ни черта не запомнил: что творил, куда бегал... Вроде съел кого-то. Зайца, наверное. Или крысу. Ну да, в сыром виде. Вкусно было. После армейских харчей крыса мамкиной котлетой покажется. Утром очнулся за «колючкой», снаружи. Форма — в клочья. Упекли «на губу» — за «самоход», пьянку и порчу казенного имущества... Конечно, пьянку! Кто б поверил, что я трезвый? Месяц из

нарядов не вылазил. Дальше приспособился, втихую гулял. Отъедался с голодухи. Как дембельнулся, решил в кино пойти. Артистом. Думал, меня киношники с руками и ногами... Почему не пошел? Доктор, вы прямо как маленький! Ой, извините... Смекнул, к счастью: «безопасы» меня у киношников сразу отберут. Засекретят, на анализы изведут. Или в клетку засадят, опыты ставить...

«Не надо сгущать краски, молодой человек!» — хотел было возразить хирург, но вовремя прикусил язык. Прав лейтенант. В подопытные кролики никому не хочется. Даже если ты не кролик, а волк.

— ...школу ГАИ закончил. Вот, служу. Чтоб дежурство в ночь, да еще на полнолуние выпадало — такое редко случается. А если выпадет — махнусь с кем-нибудь, и всех дел. Уйду к вечеру за город, одежду припрячу... Место запоминать не надо: волком я его враз по нюху найду. Ну и гасаю вволю до рассвета. Это уже после страх накатывает. Боюсь навсегда остаться...

— ...Нет, в семье ничего такого не было. Уверен. Говорят, года в четыре покусали меня сильно. Уколы потом кололи от бешенства. Обошлось. Кто покусал? Не помню. Я себя лет до пяти вообще не помню. Почему только в армии проявилось? А я откуда знаю? Может, с голодухи? Или съел чего-нибудь? Нас там таким кормили...

— ...Операция? А как еще? Таблеток от этого нету. Я всякие пробовал. Не помогает. Какие? Ну, аспирин там, снотворное, потом от аллергии... эти, как их... супрастин, вот! Фталазол, бисептол... антибиотики колол... Доктор, я вас очень прошу! Может, у меня внутри что-то такое есть, чтоб отрезать — и стану нормальным. Ну должно же там что-то быть, верно?!

Величко представил, как заводит на Сиромаху карточку и записывает в нее: «Диагноз: ликантропия. Рекомендованное лечение: апендэктомия, резекция прямой кишки. Госпитализация в течение 45 дней, до прохождения двух полнолуний. Физраствор, капельница. Транквилизаторы внутривенно, душ Шарко — раз в два дня, ультрафиолет — ежедневно 15 мин.».

Пора сдаваться психиатрам. На пару с лейтенантом.

А пациент сидел и ждал, с надеждой глядя на врача. Наивный лопоухий мальчишка, явившийся со своей бедой в неотложку. Что ж, бред так бред. Будем работать по законам бреда. Вряд ли хирург Величко сумеет помочь оборотню-гаишнику. Но он обязан хотя бы попытаться.

— Должен сразу предупредить: ваш случай — уникальный. Ни с чем подобным медицина еще не сталкивалась.

— Я понимаю, доктор...

Понимает он! Хорошо б и доктору хоть что-то понимать!

— Успеха не гарантирую, но...

— Спасибо, доктор!

— Пока не за что. Сейчас я вам выпишу направления на клинический анализ крови, анализ мочи, рентген, флюорографию, УЗИ... Надо получить по возможности полную картину состояния вашего организма, прежде чем принимать решения.

— Да-да, я понимаю...

Ну вот, опять! Надо же, какой понятливый пациент попался!

Когда лейтенант покинул кабинет, унося целый ворох направлений на анализы, Величко минут десять сидел в полной прострации. До тех пор, пока его не укусила блоха, непонятно откуда взявшаяся в кабинете. Тогда Александр Павлович решительно отправился к коллеге Фельдману, напомнил про старый должок, потребовал открыть закрома и залпом выпил «сотку» чистого спирта.

Без закуски.

Разумеется, анализы ничего не дали. Мелкие отклонения — в пределах нормы, никаких злокачественных образований, изменений во внутренних органах, деформаций костей; кровь — самая обычная, вторая группа, резус отрицательный.

Все как у людей.

Показаний к операционному вмешательству нет.

О чем доктор и сообщил огорченному лейтенанту, когда тот заявился через две недели. Впервые Александр Павлович видел человека, убитого известием, что он абсолютно здоров.

— Голубчик, поймите! У вас попросту нечего «отрезать», как вы изволили выразиться. Не стану же я удалять здоровый орган, в самом деле?! Да и какой именно? Если хотите, могу дать направление на обследование в институт эндокринологии. Однако, боюсь, это пустая трата времени. В конце концов, вы ведь живете с этим уже не первый год? Вот и живите дальше! Попробуйте найти какие-то положительные стороны в вашей... э-э-э... способности!

— Какие, например? Служебно-разыскной собакой подрабатывать? На полставки, по совместительству? — мрачно буркнул оборотень. — Или в питомник наймусь, производителем...

— Вот видите, вы вполне способны отнестись к своему положению с юмором. Выходит, не все так плохо, верно? — как маленького, продолжал уговаривать его Александр Павлович. Еще недавно хирург и представить не мог себя в роли психотерапевта для лопоухого вовкулака. — Выше голову, лейтенант! У вас целая жизнь впереди. Вы еще дослужитесь не то что до капитана — до майора! До полковника!..

— Вы думаете? — расцвел Сиромаха.

— Уверен!

Когда лейтенант ушел, Величко снова отправился за спиртом к коллеге Фельдману.

* * *

Наскоро проглядев статью, доктор поднялся и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. На скользком кафеле он оступился, едва не упав.

— Осторожней, Александр Павлович! — сунулся из каптерки бдительный мент Егорыч. — Нюрка пол вымыла с порошком. Тут расшибиться — раз плюнуть! Сколько я ей говорил, чистюле...

Зоркое око Егорыча приметило свежий «Курьер» в руке Величко.

— Читали уже? Про нашего орла?

— Краем глаза...

— Ну, журналюги нарулили малость, а так — правильно все. Собакам — собачья смерть! Эти ублюдки не просто же девок насильничали, гады: убивали и ели! Вот скажите, доктор, — разве это люди?

— Нет, Клим Егорович, не люди. И не звери. Хуже.

— Верно! Тем доберманам, что их в куски порвали, надо премию выдать. Есть все-таки Бог на свете! Хоть я и неверующий...

Егорыч от возбуждения по-детски шмыгнул носом.

— Доберманам — премию, а Сиромахе — медаль! Орден! В одиночку, раненый, вел преследование... двоих отморозков в питомник загнал... Читали? Там, в газете, черным по белому написано: представлен, мол, к внеочередному званию. За проявленные мужество и героизм. Капитана дадут. А орден зажилят, начальнички. Я в органах тридцать лет отслужил, знаю, что говорю. Вы к нему небось? От меня привет передайте. А я тут покараулю. Если привезут кого — кликну. Не беспокойтесь...

Стараясь снова не поскользнуться на полу, сверкающем стерильной чистотой, доктор направился к лестнице. Поднялся на второй этаж. Седьмая палата. Одиночная.

— Добрый день. Как наше самочувствие?

— Спасибо, доктор. Намного лучше.

— Ну и славно. На вас, молодой человек, извините, все как на собаке зарастает.

Оба — и больной, и врач — хором рассмеялись, словно Величко бог весть как удачно пошутил.

Это случилось во время ночного дежурства. Залатав очередного бузотера, которого любимая жена приласкала утюгом, Александр Павлович вышел на крыльцо перекурить. В тусклом

электрическом свете ему почудилось шевеление у ступенек. Когда он с трудом поднял на руки серого зверя — окровавленного, изломанного, едва живого, — тот еле слышно заскулил. Этот скулеж Величко узнал бы из тысячи. «Да в нем ни одной кости целой нет!» — с ужасом подумал хирург. Рядом валялись обрывки милицейской формы, разряженный пистолет и нелепая, смешная бляха ГАИ.

— Куда вы его?! Это в ветеринарную... — заикнулась было дежурная медсестра Людочка, но Александр Павлович хищно оскалился на нее, и медсестра осеклась.

— Готовьте стол! Наркоз. Инструменты. Быстро!

Превращение он пропустил. Отошел к умывальнику, вернулся, а на столе уже лежал Сиромаха. Губы лейтенанта, запекшиеся, растрескавшиеся губы кривила судорога.

— Там Дашка... в машине... Я увидел!.. В одной школе... учились...

— Помолчите! Вам нельзя разговаривать!

Но лейтенант его не слышал.

— Тормознуть... хотел... Сбили... Я догнал... А они опять... Я догоняю, они сбивают... стрелять начал... по колесам... Ее зацепить... боялся!.. Занесло... Прямо в питомник... Собаки лают...

Внезапно Сиромаха открыл глаза. Осмысленно, жестко посмотрел на доктора.

— Она... жива?!

— Жива, жива! — буркнул хирург, понятия не имея, о ком говорит лейтенант. — А теперь извольте замолчать. Сестра, наркоз! Нет, анестезиолога вызывать не надо. Я сам...

К счастью, Людочка оказалась не из болтливых.

— А я зашел вас порадовать. Вот, читайте. Тут про вас. Читайте, читайте, я подожду. Егорыч уверен: капитана дадут. Вы ведь хотели до капитана дослужиться?.. Ладно, ладно, не буду мешать.

Когда лейтенант отложил газету, знаменитые уши его горели полковым знаменем.

— Спасибо, доктор! Я теперь мигом на поправку пойду. Знаете, как охота капитанские погоны примерить?

— Знаю, — улыбнулся Величко, майор медицинской службы запаса.

Сборы он ненавидел всеми фибрами души.

— И вот еще, доктор. Я тут лежал, думал. Хорошо, что вы мне ничего тогда не отрезали. Иначе в газете, в конце, сейчас бы еще одно слово стояло. Догадываетесь какое?

— Какое?

— «Посмертно». А так...

— Можно?

В приоткрытую дверь заглядывала симпатичная девушка в белом халатике. Сперва Величко принял ее за медсестру, но секундой позже узнал. Спасенная Даша Климец, студентка пищевого техникума. Бывшая одноклассница Сиромахи. Каждый день сюда приходит. Сколько ее выставлять пытались — бесполезно.

— Ой, доктор, извините...

— Ничего. Обождите пару минут.

Девушка благодарно закивала, исчезая.

— Ну ладно, молодой человек, выздоравливайте. На свадьбу пригласить не забудете, а? Получите капитана — самое время жениться! Тем более невеста в наличии...

С удовольствием пронаблюдав, как торчащие из-под повязки уши вовкулака сменили цвет с пунцового на багряный, Александр Павлович покинул палату.

Во дворе дома, где жил Величко, сосед Рахович, полковник в отставке, выгуливал своего ротвейлера Дика. Маленький, с цыплячьей грудкой, всегда в туфлях на высоком каблуке, Рахович страдал запущенным «комплексом Наполеона». Став из военного штатским, он утратил единственную возможность командовать и компенсировал потерю чудовищной склочностью. Из его писем в инстанции можно было сложить вторую пирамиду Хеопса, а из жалоб на неподобающее поведение жильцов — новую Эйфелеву башню. Собак он держал неизменно, отдавая предпочтение ротвейлерам, хвост им рубить отказывался из соображений, интересных разве что психиатрам, и втайне радовался, когда псины игнорировали хозяйские призывы к благоразумию.

Злобный цербер лишь однажды получил должный отпор. Прошлой зимой добродушный китайский шарпей Бернард, принадлежавший бывшему прокурору города, вдруг вспомнил, что шарпеи — бойцовая порода, и показал Дику такое кунг-фу, что потом ветеринары только диву давались. Впрочем, Дику урок не пошел впрок.

— Осторожно! — взывал Рахович на весь подъезд, открывая дверь квартиры. — Мы идем гулять!

«Кто не спрятался, я не виноват!» — внятно откликалось эхо.

— Маня! Петька, стервец! Наташенька! Бегите на улицу, генералиссимусу на двор приспичило! — кричали бабушки и дедушки из окон, предупреждая внучат.

Старики правильно понимали жизнь.

Вот и сейчас при виде Величко, идущего через пустынный двор, ротвейлер встал на дыбы, натягивая поводок. Полковник волочился за рычащим кобелем, делая вид, будто старается бросить якорь. От высоких каблуков на земле оставались бороздки.

— Альсандр Палыч! — блажил он, тщетно пытаясь скрыть удовольствие. — Палыч, чтоб тебя! Иди быстрее, я его не удержу, зверя!

В первый раз за всю жизнь Величко нарочно замедлил шаг. И, когда оскаленная морда Дика оказалась совсем рядом, присел на корточки, заглядывая в кровавые глаза собаки.

— У меня один пациент есть, — внятно сказал доктор, не повышая голоса. — Очень славный пациент. Я его попрошу, он тебя, шавку лишайную, на куски порвет. Понял?

Соседи в окнах еле удержались от аплодисментов, видя, как ротвейлер, поджав необрубленный хвост, пятится от доброго доктора.

Вселенная — город, а люди — планеты,
Свернешь за аптекой, а улицы нету —
Исчезла, свернулась в клубок.

По позднему мраку, по раннему свету,
От старческих бредней к ребенка совету
Иди, изумлен, и на участь не сетуй..
Ты — призрак?
Ты — путник?
Ты — Бог?!

Семь пядей во лбу, но ведь пядь — это пять?
Дождись, пока разум уляжется спать

БУРСАК

Железо давило на глаза — беспощадно, до кровавой боли. Не открыть...

— Товарищ Бурсак! Товарищ Бурсак! Эй, там, дежурный, к врачу, в медчасть, бегом. Бегом, говорю!.. Товарищ Бурсак, это я, Крышталев. Вам из Киева звонили, срочно очень...

Слова звучали неправильно, незнакомо, и все вокруг, за стиснутыми железными веками, за кольцом боли казалось чужим, ненастоящим. Почему он здесь? Где все? Где всё?

— Товарищ Бурсак, товарищ Бурсак, вам из Киева!..

— Слышу...

Он слышал — еле различимые слова доносились с края света, из невыносимо чужой дали. Странные, хотя уже понятные. Все, все не так, все должно быть иначе! Жизнь — та, что осталась там, за намертво стиснутыми железными веками, разве это его жизнь? Настоящая? Его жизнь, его город... Киев? Конечно же, Киев! Золотое солнце на Лаврских куполах, легкая пыль над горячим летним Подолом, живые лица друзей...

Почему он здесь?

Давило железо. Не открыть...

— Слышу, товарищ. Мне нужно немного полежать.

— Доктор, колите вашу научную микстуру. Дежурный, шторы в кабинете закрыть, никого к товарищу Бурсаку не пускать!..

У него еще было время. Пусть немного совсем. Хватит! Он вспомнит, он вернется назад, чтобы вновь пройтись от самого начала. От небытия, от пыльной ветхости, пахнущей старым деревом и давними мышами.

Привычная тихая вечность, темнота умершей церкви...

Давило...

1

Лютовали сабли, братья не узнавали друг друга. Шел над притихшей от ужаса страной великий и страшный год 1918-й. Пока самым краешком, первой поступью. По январскому снегу, по свежей поземке вел свой боевой отряд товарищ Химерный. Ладно вел — зацветали на его пути красные флаги, загорались горячим огнем вековые панские маёнтки. Быть народной власти!

— А ну, на митинг, товарищи! На митинг! Декреты читать буду!..

— Ура-а-а-а-а-а!

Что говорите? Уже Терновцы? Село как село, маенток как маенток — не первые на пути. В засыпанном снегом панском парке мраморные Венеры глаза круглые таращат, белыми руками от взглядов непрошеных закрываясь. Не поможет, ох не поможет, панночки, достанет и вас народная власть, власть трудящихся!

Да не с них начнем, с Венер глупых.

— Слухай, товарищи, декрет! Каждое слово слухай, через сердце пропускай. Потому как в словах этих — счастье ваше!

Читает декреты товарищ Химерный, в полный голос читает. Тяжело звучат правильные слова в ледяном воздухе. Не шелохнется народ. Дождались праздника! А вот пан, и он здесь — в мундире генеральском, в погонах золотых. Тоже слушает, не перебивая. И он дождался, но только не праздника. Кончились праздники у вражьей кости! Смотрит на него сам товарищ Химерный взглядом пристальным, пролетарским.

— С землей, товарищи, как сказал, так и будет. А с паном — сами решайте. На такой предмет полная власть народу дана.

Год 1918-й, великий и страшный, год расстрелянных генералов и растерзанных поручиков. Что спасет вас, ваше превосходительство, защитит кто? Вспоминайте, пока есть время, все, что дорого вам, вспоминайте! Свечи балов, сладость первого поцелуя, неяркий блеск Георгиевской сабли, сыновей, шагнувших с родного порога в черную пропасть Великой войны. Вспоминайте, немного вам осталось. Ведь не спасет — ничто не спасет!

А ведь чуть не спасло! Чуть...

— Да пес с ним, с паном нашим, стар уже, песком сыплет. С сынами бы его, волками голодными, поквитаться. Пусть скажет, куда скарбы, у народа отобранные, девал, — и катит подальше, не оглядываясь!

Хмурится товарищ Химерный, не того от народа ожидавший. Но — не спорит. Пусть! Еще успеет новая власть правильную линию трудящимся привить.

— Говори, где золото! Где скарб твой панский, говори!

Не молчите, ох не молчите, ваше превосходительство!..

Сказал пан — от всей души сказал Голову высоко поднял, нахмурил седые брови...

Кто услыхал, кто нет — шумно было у крыльца панского. Но только закричали все в один голос·

— В старой церкви искать надо! Под Градовым! Ломы бери, лопаты хватай!..

Давило железо...

Привычная тихая вечность, привычная тихая ветхость, недвижный, тяжелый сон. Но всему настает срок, даже у Вечности есть предел.

Он понял. И когда затрещали старые доски, когда ударил в тяжелые веки невиданно яркий свет керосиновой лампы...

— Ишь, накрутили, богомазы! Такую пакость развели!

— Не трать язык по-пустому, товарищ. Доски выворачивай!

В старой церкви повернуться негде. Набился народ, оживил дыханием трухлявые стены, осветил огнем керосинным. Кто доски ломает, кто просто по сторонам смотрит, мертвым иконам зрачки проглядывает.

— А чего же церковь пустой стояла?

— Так прокляли ее, товарищ Химерный. Отчего да почему — забыли уже. Давно случилось, когда еще паны наши сотниками числились.

Был покой вечный — нет его. Сорван пол, потревожена земля, а вот и черная крышка глядит наружу.

— Или домовина, товарищи?

— Открывай, там скарб панский и есть!

Смотрит товарищ Химерный на черные доски, железом обитые. Глядит, о низкой народной сознательности думает. Не вмешивается. Еще успеется, а пока трещать панским гробам!

Разлетелось в щепу старое дерево...

— Эге ж... Никак дивчина была?

— Упокой Господь душу...

Прав товарищ Химерный, ох прав! Вот она, несознатель-

ность, веками копившаяся! Только что ярились, золота панского взыскуя, а теперь кресты творят, обломки крышки тяжелой на место пристраивают. Прости, дивчина, не тронем мы тебя, и мониста твои не возьмем, и дукаты тяжелые. Спи дальше!

Только не все это, ох не все! Вторая домовина побольше да потяжелее. Глубоко зарыта, далеко спрятана. Не иначе в ней скарб панский, где ему еще быть?

— Открывай!!!

...И когда затрещали ветхие доски, когда ударил в тяжелые веки невиданно яркий свет керосиновой лампы...

— Товарищи! Так то ж человек! Живой человек! Паны проклятые живого человека в домовину запрятали! Товарищ Химерный, товарищ Химерный!..

— Вижу, товарищи, все вижу. Состав преступления налицо, никакой адвокат панский не поможет. А ну, за фельшаром, живо, может, откачаем еще... А вы — за паном, которого народ в простоте своей несознательной отпустить хотел!.

Он пил воздух, словно горилку. И легче становилось ему с каждым глотком Вот только веки давили...

— Товарищ, товарищ, глаза открой, себя назови! Порадуй нас, товарищей твоих, скажи, что жив, назло врагу классовому!

— Погодите, товарищ Химерный, плохо же ему. Сейчас нашатырь достану. Гей, лекарства какие есть?

Наконец полегчали и веки. Открыл он глаза, взглянул. Пока без удивления, просто посмотрел. Изменилась церковь, и люди другими стали. И воздух другим. Но если другим, то прежде что было? Почему здесь он?

Почему? И кто?

КТО ОН?

Вспоминай, вспоминай, вспоминай!..

Золотой блеск Лаврских куполов, синяя гладь Днепра, легкая пыль над летним Подолом, тишина в просторном классе...

— Вот это дело! Здравствуй, товарищ, панами почти насмерть замученный! Я — командир революционного отряда товарищ Химерный. А ты кто таков будешь?

— Бурсак...

2

У крыльца пан, без мундира уже, без сапог. Причащен согласно всем революционным обычаям. Ждет пан, когда плюнет свинцом в него народ трудовой. Но не спешит товарищ Химерный, во всем справедливость блюдет.

— Стань сюда, товарищ Бурсак. Покажись, чтобы люди тебя,

заживо закопанного, видели, чтобы его превосходительство поглядел. И пусть в пекле своем панском не жалуется на власть трудящихся. Или скажешь, вражина, что не твой грех? Смотри на него, на товарища Бурсака, тобой замученного! И ты, товарищ Бурсак, глаз не отводи!

Он смотрел. Он начинал понимать. Шевельнулись бескровные губы.

— Не он, панове... Похож — да не он. Тот другой был...

Но не дослушал пан, перебил, голосом своим гвардейским слабую речь товарища Бурсака заглушая:

— Признаю грех предков моих! Каюсь — и ответить обещаю на Суде Страшном.

— Так и отправляйся туда, ирод!

Но не стреляют — нет еще команды, не зачитан приговор Смотрит товарищ Бурсак, думать пытается. А тут его кто-то за руку и взял.

— Держи, товарищ, подарок от меня — и от всего отряда нашего. Пусть «наган» твой народ трудовой защищает!

Девичий голос, веселая усмешка. Сколько дивчине? И восемнадцати нет, поди.

— Оксана Бондаренко! — смеется. — Бери револьвер, товарищ, не давай людей в обиду!

Тяжело руке от оружия, ведь не держала никогда, не прикасалась даже. И губам улыбаться с отвычки — тоже.

— Спасибо...

— Руководствуясь революционной законностью, товарищи! Бывший генерал, а ныне изверг и преступник, приговаривается..

— Гоп, кумэ, нэ журысь!..

Ударила отдача в руку, запахло кругом кислым порохом. Опустил товарищ Бурсак револьвер.

Гоп, кумэ, нэ журысь, туды-сюды повэрнысь! Встречай, История, год 1918-й.

Со вторым рождением тебя, товарищ Бурсак!

3

Чи то хмара, чи туман
Отакый велыкий?
Идэ з Дону воювать
Генерал Деникин!

Весело поется в седле! Когда ездить привычен, конечно. Тогда и петь легко, и разговор душевный не в тягость.

Обучился этой премудрости товарищ Бурсак. Многому иному тоже — время больно подходящим оказалось. И по руке ему уже даренный красным бойцом Оксаной Бондаренко револьвер. Вот она, красивая, на своем сером в яблоках, рядом почти. Улы-

бается, на товарища Бурсака смотрит. Но занят товарищ Бурсак — беседует с самим товарищем Химерным, что ведет отряд размашистой рысью по боевой революционной дороге.

Докучыло генералу
Марно йиснуваты,
Зибрав донских козакив
З намы воюваты!

— Пусть не будет у тебя сомнений, товарищ Бурсак. Не печалься, что отняли паны память твою, имя твое отняли. Революция новую память тебе дарит, и фамилию с именем, и судьбу. Не годишься ты мне в сыновья, потому как возрасту оба мы молодого, хоть и седой ты от панского глумления. Поэтому будешь ты мне, товарищ Бурсак, братом!

Не поспоришь с командиром Химерным, умеет он говорить убедительно. Не спорит товарищ Бурсак, об ином думает.

Он думает, а отряд поет. И Оксана Бондаренко поет, на друга нового смотрит.

Гей, збырайтэсь й повэртайтэсь
У горах на кручи,
Наступайте й заспивайте
Веселойи идучи!

— Навсегда останусь твоим братом, товарищ Химерный Только плохо мне бывает. Страшное вижу — во сне и наяву тоже. Церковь перед глазами, мертвая дивчина в домовине черной, мертвые личины вокруг. Подступают, руки костлявые тянут. И будто веки мои из железа. Тяжело тогда дышать мне. Давит...

— Нелюдское дело сотворили с тобой проклятые паны, брат мой, товарищ Бурсак. Потому и яростен ты в бою, потому и назначен моим боевым заместителем. Пусть рука твоя и дальше твердой будет. Но смотри! Узка дорога наша революционная. Направо свернешь — слабость покажешь, врагов лютых на волю отпустишь. И будут губить они народ трудовой дальше. Но и налево нельзя. Шагнешь — своих же братьев на распыл пустишь. Станешь ты тогда хуже всякого пана.

Заспивайте веселойи,
Щоб аж лыхо гнулось
И щоб панство генералам
Повик не вернулось!

— Запомню я слова твои, брат мой, товарищ Химерный! Не дрогнет рука моя врагов лютых в штаб Духонина отправить. Не поднимется друга убить. Клянусь тебе, брат!

Идет отряд, спешит в бой. Спели про Деникина — про Петлюру-гада начнем!

Як задумав пан Петлюра
Сватать молоду,
Та й посунув на Вкраину
Всю свою орду!

Позади год 1918-й. Незабываемый 1919-й настает!

4

Вновь лютовали сабли...

— Всех кончили, товарищи?

— Не всех еще, товарищ Бурсак. Дивчина тут. Прапорщик золотопогонный.

Смешались люди в страшную кучу — живые, а больше мертвые. Гаплык отряду офицерскому, что в наглости своей классовой замахнулся на Красную Москву походом идти. Дочванились, допились крови народной по самое горлышко!

Гаплык!

— Какого отряда, полка которого были, поглядите.

Достали из френча, из кармана нагрудного, кровью проклятой офицерской залитого, книжку в твердой обложке. Развернули.

— Поручик Андрей Разумовский. Дроздовский полк, конный эскадрон. Ишь, фамилия гетьманская!

— Амба тебе, Разумовский! Не встанешь уже. Не возьмешь булавы!

В поход пора, заждался товарищ Химерный побратимов. Прижали его звери-офицеры к речному берегу, к самой переправе. Спешит его боевой заместитель, брат названый, товарищ Бурсак, на помощь. Время!

А тут дивчина...

— Приведите золотопогонницу!

Привели. Поднял веки товарищ Бурсак, поглядел.

...И вновь тяжелыми веки показались. Словно железными.

— Ишь ты!

И вправду ишь ты. Стояла дивчина во френче зеленом, светила глазами отчаянными. Расплескалась русая коса по золотым погонам. Молчала — на врагов классовых смотрела. Вздохнула Оксана Бондаренко, бесстрашный боец Рабоче-Крестьянской.

Чего ждать тебе, золотопогонница? Или не знаешь? Умереть тебе, и хорошо, если сразу. Свяжут по рукам и ногам, через седло перекинут, а после распнут среди желтой от жары травы. Не ты первая, и последняя — тоже не ты.

Знала об этом дивчина. Не опускала глаз.

— Может... Может, отпустим, товарищ Бурсак?

И словно лопнуло что-то, разорвалось рядом. Будто упал снаряд батареи гаубичной. Не иначе подумали бойцы о женах своих, с победой их ждущих, невест и сестер вспомнили, дочерей. Сгинула лютость, умчалась пороховым дымом. Заговорили разом, друг друга перебивая:

— Товарищ Бурсак, товарищ Бурсак! Отпустим ее, пожалеем! Не станем красоту такую в грязь затаптывать, на шинелях вшивых позорить! Не будем убивать, неправильно это. Может, за то в светлом царстве, в будущем коммунистическом, дюжина грехов с нас снимется?

— Товарищ Бурсак! — вновь Оксана Бондаренко, боец бесстрашный.

— Тихо-о!

Упало тяжелое слово, чужую речь гася. Подошел к пленнице товарищ Бурсак.

— Один у нас закон революционный — на всех один. Нет тебе пощады, офицер белый! Одно спасет — сорви погоны, потопчи при всех и вступай в отряд наш. Искупишь кровью грех против народа трудового!

Не сразу ответила дивчина в офицерской форме. Но вот сжались губы, потемнели глаза. Шагнула она вперед...

Упали веки тяжелые, железом загремев. Встала Память, протянула мертвые руки. Не дивчина во френче зеленом шла к нему, ступая без страха. Иная, совсем иная, хоть и похожая, словно сестра.

Пустые глаза, недвижный лик. Только пальцы вперед тянутся...

— Ведьма это, товарищи! Ведьма, панове!.. Мертвая, мертвая! Рубай ее, пластай в пень!..

— Прав ты, товарищ Бурсак, а я не права была. Нет еще во мне твердости классовой!

— Не знаю, Оксана, не знаю... Плохо мне, не вижу ничего. Веки... Словно железные они, не поднять. Не хотел я крови, но будто догнало что-то, поманило...

— Устал ты, дорогой товарищ Бурсак. Подремли в седле, я рядом поеду.

Лютовали сабли.

5

Был Деникин — нет его. Врангель-генерал остался, саблям острым на закуску.

За старым Турэцьким валом
Чорный Врангель, злый барон,
Вин не вытрымав удару,
Загубыл останний трон!

— Ну вот, товарищ Бурсак, оставляю тебе отряд. Ждет меня в пролетарском Харькове работа важная, партийная. Надеюсь на тебя, брат мой названый.

— Не подведу, товарищ Химерный!

Рвалысь з видблыском снаряды,
Лютував гнилый Сиваш,
Йшлы впэрэд бийци брыгады
Крым узяты з боем наш!

— Сказать тебе должен, брат мой. Не хочется, а должен... Страшен ты стал, бойцам нашим, и тем боязно. Гложет тебя что-то, не отпускает. Будто и вправду ведьмы и чаклуны, в которых наука верить не велит, заморочили тебя, мертвяком-оборотнем сделали. Потому и в домовину заколотил тебя пан — от беды подальше. Говорят, пленных не берешь, мирный народ расстреливаешь, детей и женщин не щадишь. Страшно за тебя, товарищ Бурсак, — и за всех остальных страшно.

Хвыли хлюпалы солони,
Лип до ниг холодный мул,
Навкругы — туман з морозом,
И снарядив гризный гул

— Правда твоя, товарищ Химерный. Сам себе страшен бываю. Душит меня мара, словно мертвецы в их проклятый Жиловый понедельник ко мне все разом подступили. И веки порой не поднять, тяжелые они, железные. Вели расстрелять меня, брат! Приму приговор твой.

«Упэрэд, ударна група,
Вал узяты!» — в ничь нэсло,
Скилькы там геройив трупом
У бою тогда лягло!..

— Не поднимется моя рука на брата по классу, товарищ Бурсак. Видать, и я силы потерял на проклятой войне. А главное, в тебя крепко верю. Кончаются бои, новая жизнь настает, счастливая да вольная, Оксана Бондаренко, красавица наша, с тебя глаз не сводит. Гони мару, товарищ Бурсак! Гони прочь смерть проклятую!

Вал взялы, мов блыскавыця;
Понеслось: «Ура! Вогонь!»
Впала врангельска фортеця
Й розшматованный погон!

Нет и Врангеля, на веки вечные за морем сгинул! Только не время еще по хатам, товарищ Бурсак, ой не время!

Еще вчера, еще только вчера...

— Даже имени своего не знаю я, Оксана. Даже имени! И фамилия у меня другая, не Бурсак вовсе. И чего было до церкви той проклятой, где нашел меня товарищ Химерный, не помню совсем. Только иногда... Будто Киев, будто Лавра с золотыми куполами, классы с партами. Может, из студентов я? Товарищи бойцы целую сказку придумали. Мол, положил я глаз на дочку того пана-генерала, а он в гневе панском велел меня в домовину живым заколотить, в церкви старой спрятать. Потому и видится мне нежить всякая, оттого и не отпускает. Нет, Оксана, не так все было! Хуже, много хуже. Кто знает, может, зря меня из домовины подняли? Страшнее нет, когда мертвец среди живых бродит!

— О чем говоришь ты, дорогой товарищ Бурсак? Скоро кончится война, добьем мы Махно-живореза, совсем хорошая жизнь настанет. Надену я вместо казенной формы платье самое лучшее, а ты орден начистишь поярче. Поедем мы с тобой в твой Киев, по Крещатику пройдемся. И скажу я тогда тебе, дорогой товариш Бурсак... Сил наберусь — обязательно скажу!

Еще вчера, еще только вчера...

— Мы все приготовили, товарищ Бурсак. Даже гроб сколотили, фанерный, правда... Товарищ Химерный приехал, как и обещал.

— Спасибо.

Шагнул он вперед, поднял веки железные...

Лежала в фанерном гробу красный боец Оксана Бондаренко.

И скользнула рука к кобуре — туда, где ждал минуты своей револьвер, ею подаренный. Дотронулась, ухватила холодную рукоять.

— Не смей, брат!

Силен голос товарища Химерного, и пальцы сильны. Выпал револьвер на весеннюю траву.

— В рай пойдет красавица наша, — вздохнули рядом. — Великдень Святой скоро!

И не возразил никто.

— Положу я револьвер в ее гроб, товарищ Бурсак, чтобы на том свете Оксана себя в смерти твоей, наглой и глупой, не винила. Положу — и буду речь говорить. А ты — плачь! Приказываю: плачь!

Он не мог плакать. Сомкнулись веки...

Не умирай, живи дальше, товарищ Бурсак! Для того ли тебя

из домовины на свет белый выводили, для того ли учил брата своего названого товарищ Химерный? Для того ли берегла для тебя красный боец Оксана Бондаренко слова заветные?

Живи, товарищ Бурсак! Ждет тебя новая работа.

7

— Экая горница, товариш! Панская прямо!

— Не горница, товарищ Бурсак, — кабинет, хоть и панский. Точнее молвить, был панский — наш стал. Ваш!

Поглядел он вокруг — славно! После полей окровавленных, после походов бесконечных — тишь да чистота. Мебель дерева темного, шторы на высоких окнах тоже темные, лучика солнечного не пропустят. И это неплохо, глаза меньше болеть станут. Посреди — стол, всем столам стол, а на столе прибор чернильный хитрой немецкой работы.

— Так в чем моя новая работа будет?

— Работа ваша — наиважнейшая. Кончилась война, но борьба классовая еще пуще разворачивается. Поэтому будете вы, товарищ Бурсак, списки врагов подписывать. И не думайте, что дело это вашего прежнего проще. Не проще оно, труднее. Легко врага в бою горячем пополам разрубить, в мирное же время твердость железная в душе нужна. Ведь не сразу врагами становятся. Много у революции друзей ненадежных, им в списках ваших самое и место. Приступайте, товарищ, желает вам революция успеха!

Подошел он к столу, взглянул. Лежат бумаги, его ждут. Много фамилий на тех бумагах. Кто и за что, не сказано даже. Можно трубку телефонную поднять, спросить можно...

Так ведь не за тем поставлен! Не за тем доверием революционным почтен.

Дрогнуло что-то в душе. И вправду, в бою легче. Даже в церкви ночной, когда страхи смертные подступают, — легче. Дрогнуло — и отступило, забылось. Может, шторы темные помогли, солнце скрывающие. Сел товарищ Бурсак за стол, пристроил лампу стекла зеленого, взял перо, в чернила макнул.

Попробовал.

Четко подписалось, буквочка к буквочке!

Удивился он даже. Отчего так свободно, так просто стало? И душа не ноет, и веки пуха легче. Видать, прав товарищ Химерный, гнать от себя мару проклятую требуется. А в таком кабинете никакая мара не возьмет!

Заскрипело перо по бумаге. Пошла работа!

Пиши, товарищ Бурсак. Много твоих подписей революции требуется!

8

— Заговор, товарищ Бурсак. Потому и фамилий так много. Потому знакомые они.

— И вправду, знакомые. Мы же с ними на Деникина ходили, Врангеля, генерала черного, в море топили! Как же так? Куда придем мы, если в эту сторону зашагаем? А ведь говорил мне товарищ Химерный, предупреждал: «Шагнешь — своих братьев на распыл пустишь. Станешь ты тогда хуже всякого пана».

— Вот я и говорю: заговор, спешить нужно. Хуже врагов бывшие друзья становятся. Собрали товарищи на них матерьял, потребуется — еще наберут. Пока же подпись нужна. И пусть рука ваша не дрогнет!

9

А за окном, за шторами тяжелыми, другие уже песни гремят:

В нас нэмае бильше пана,
Й куркули подохлы,
И кисткы йихни погани
Погнылы, посохлы...

Отвлекают песни товарища Бурсака от важной работы. Только не жалеет он — песни слушает. Нравятся ему — правильные!

Надо бы могилку Оксаны проведать, поди, не смотрит никто. Да все недосуг. Много работы, ох много!

10

— Не бережешь ты себя, брат мой товарищ Химерный! И пусть не сойду я с этого места, если не напишу сейчас бумагу в город Киев, в нашу новую столицу, чтобы выделили тебе путевку в санаторий самый наилучший. Поедешь ты в Крымреспублику, в палаты, где цари с панами проживали, здоровье свое революционное поправлять!

— Спасибо за добрые слова, брат мой товарищ Бурсак. Я же за твое здоровье рад, вижу, выправилось оно окончательно. Помню, писал ты мне, что спишь хорошо, глаза не болят и мара смертная больше не подступает. И тому обстоятельству рад я вдвойне. Тебе же, как брату, пожаловаться хочу, хоть и негоже это бойцу революции. Плохо теперь сплю я, просыпаюсь, думаю, все понять не могу. Туда ли идем мы, товарищ Бурсак? Трачу силы я свои, еще уцелевшие, чтобы защитить товарищей безвинных от произвола. Только сил не хватает. И вот снилось мне недавно, совсем плохо снилось... Будто все, как рассказывал ты, как тебе виделось: церковь, иконы трухлявые, домовина

черная, нежить проклятая вокруг. И нет мне спасения. И будто сам ты, брат мой товарищ Бурсак, с арестным ордером ко мне приходишь.

11

И снова песни. Как без песен-то?

Хыжи очи зазырають,
Порываются до нас,
И тому мы на сторожи
Кожен день и кожен час.

Ворогив мы не прогавым,
Завжды рыло набьемо.
Колы сурма в бий поклыче —
Вси гвынтивкы визьмемо!

Кивает товарищ Бурсак, новую правильную песню слушая. Подписывает списки, и легко ему на душе. Вот только отдыхает редко — много стало работы. Совсем много!

Одно хорошо — шторы тяжелые свет не пускают.

12

— А потому, выступая на съезде нашем, с высокой этой трибуны призвать я должен вас, товарищи мои боевые! Ходили мы с вами на Деникина, и на Врангеля ходили, и на Махно, подручника куркульского. Но все те враги — и не враги, считай, полврага каждый. Настоящие враги среди нас — затаились болотными гадюками. Готовят на сребреники панов заморских мятежи и террор, убивают в спину товарищей наших, жгут добро колхозное. Можем ли мы одолеть зло такое? Можем — и должны, велит нам это революция. А потому первым делом разобраться следует с теми, кто, подобно товарищу Химерному, бдительность напрочь утратил, врагам лютым потакает, спасает их от карающей руки народа. Не выйдет у тебя, бывший товарищ Химерный. Перед всеми говорю: не пройдет!

Хорошо сказал, товарищ Бурсак. Ой хорошо! Слышишь, хлопают как?

13

Той ночью увидел товарищ Бурсак сон — впервые за много лет. Знакомый сон, хоть и подзабытый слегка. Киев увидел, Лаврские золотые купола, пыль на Подоле летнем, большой класс с черными партами. А после пропало все, и встала перед

ним церковь памятная. Трещала крышка домовины, гвозди теряя, поднималась с ложа смертного ведьма с глазами пустыми. Вот и нечисть со всех сторон подступила, лапы с когтями тянет.

Не к нему тянет. И не ему, бурсаку киевскому, седым трупом в гроб лечь, не ему под досками гнилыми лежать.

Вот славно, подумалось, что не ему. Только вновь заболело под веками, словно бы крица железная легла на зрачки.

Железо давило на глаза — беспощадно, до кровавой боли.

Не открыть...

— Товарищ Бурсак! Товарищ Бурсак! Вам из Киева звонили, срочно очень...

— Понял, товарищ Крышталев. Помогите встать.

Полегчало. Слышалось, стоялось даже, только глаза болью пылали. Или шторы в кабинете зачем-то убраны?

— Вот и хорошо, товарищ Бурсак, вот и славно. Велели вам наиважнейшее дело справить — лично врага народа, бывшего товарища Химерного, взять. Честно скажу: опасно это, очень опасно. Совсем врагом бывший товарищ Химерный стал, не побоится поднять руку на славных бойцов революции. И на вас, товарищ Бурсак, не побоится.

Опасно? Вспомнились лихие атаки, конные рубки вспомнились, трупы окровавленные на снегу. Когда-то и такое опасным казалось. И списки бесконечные поначалу тоже трогать было боязно. Но чего страшиться? Ведь там, в церкви старой, теперь приходят не за ним.

Так ведь вроде клялся он? Слово крепкое давал? «Клянусь тебе, брат!» Только о чем то слово? Позабылось! Но — не страшно. Сейчас даже это не страшно.

Если бы не веки!

Не открыть...

Железо давило на глаза.

— Гей, кто там? Крышталев? Машину!

14

И вот он в церкви — в той самой, знакомой. Скрипят доски трухлявые под ногами, шепчется рядом послушная нежить. Трудно идти, под руки ведут, но все равно радостно. Словно домой прибыл после долгой отлучки.

Шаг, еще шаг... «Направо свернешь — слабость покажешь, врагов лютых на волю отпустишь. И будут губить они народ трудовой дальше. Но и налево нельзя». Кто сказал? Неважно, пустые слова, он все равно дойдет, положит железные руки на чужое, теплое горло... «Сам себе страшен бываю». А это чьи слова?

Не его ли самого? Неправда, не страшен он себе — остальным, что еще живы, страшен.

Приятно о таком думать. Жаль, глаза не видят! Не разглядеть последний ужас на лице того, кто сейчас перед ним. Не рассмотреть, не найти даже.

Ничего, найдет!

— ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ! НЕ ВИЖУ!

САТАНОРИЙ

— Приехали! «Ладушки».

Автобус со скрипом и злым шипением разжал челюсти, прощаясь с недопереваренной добычей. Пассажиры повалили наружу: тряская утроба доконала всех. Он выбрался в числе первых, подал руку жене, вскинул рюкзак повыше и осмотрелся. Ральф, всю дорогу притворявшийся сфинксом, вкусив свободы, словно с цепи сорвался. И теперь, беря реванш за долгое «Лежать!», нарезал круги вокруг обожаемых хозяев. Последнее солнце ноября плеснуло золота в редкие шевелюры старцев-дубов, нездоровым чахоточным блеском отразилось в стеклах корпуса, вымытых до сверхъестественной, внушающей ужас чистоты; блеклую голубизну арки у входа на территорию пятнали бельма обвалившейся штукатурки, и нимб издевательски клубился над бронзовой лысиной вездесущего вождя.

Струйка суетливых муравьев хлынула к зданию администрации, волоча чемоданы и баулы. Наверное, стоило бы прибавить шагу, обогнать похоронного вида бабульку, на корпус обойти рысака-ровесника, подрезать его горластое семейство, у ступенек броском достать ветерана, скачущего верхом на палочке, в тройке лидеров рухнуть к заветному окошку, оформить бумаги и почить на лаврах в раю номера. Но спешка вызывала почти физиологическое отвращение. Он приехал отдыхать. В первую очередь — от ядовитого шила, вогнанного жизнью по самую рукоять.

Хватит.

Сын удрал вперед наперегонки с Ральфом; впрочем, занимать очередь ребенок не собирался. Чадо интересовал особняк — старинный помещичий дом, двухэтажный, с мраморными ступенями и колоннами у входа; именно здесь располагалась администрация санатория. А Ральф, здоровенный, вечно слюнявый боксер, с удовольствием облаивал жирных, меланхоличных грачей, готовый бежать куда угодно, лишь бы бежать.

Стоя в очереди, он завидовал собаке, потом завидовал сыну, еще позже завидовал жене, которая вышла «на минутку» и потеряла счет времени. Зависти было много. Хватило до конца.

— Ваш номер 415-й. Сдайте паспорта.

— Хорошо.

К корпусу вела чисто выметенная дорожка. Можно сказать, стерильная, как пол в операционной. По обе стороны росли кусты: неприятно голые, с черными гроздьями ягод, сухих и сморщенных, кусты шевелились при полном безветрии. Лифт не работал. По лестнице получалось идти гуськом, и никак иначе. Четвертый этаж оказался заперт. Полностью. А дежурная с ключами играла в Неуловимого Джо. Поиски настроения не испортили; верней, испортили не слишком. Приехали отдыхать. Семьей. Нервы, злость, скандалы остались дома: скрежещут зубами в запертой и поставленной на сигнализацию квартире. Это заранее оговорено с женой. Он вспоминал уговор, плетясь за объявившейся ключницей, выясняя, что в 415-м трехкроватном номере отсутствуют электрические лампочки, душ и не работает сливной бачок, а в 416-м номере, где все работает, сливается и зажигается, — две койки.

— Посмотрим 410-й?

— Там комплект?

«Вряд ли», — читалось на одутловатом лице дежурной, похожей на статую уничтоженного талибами Будды. Дальше случилось чудо: сестричка из медпункта вместе с уборщицей, проявив не свойственное обслуге рвение, быстренько перетащили одну кровать из бездушного номера в душный. Первый порыв был — помочь. Женщины все-таки. Но он одернул внутреннего джентльмена. За путевку плачены деньги. Администрация обязана предоставить комплектный номер. А если персонал погряз в лени, забыв подготовить корпус к заезду отдыхающих, — пусть теперь корячатся!

Мысли были правильные, но ледяные. Январские. Стало зябко. Когда койка заняла отведенное место у окна, он протянул медсестре мятую пятерку:

— Возьмите.

— Ой, нет, что вы! Нельзя! — Девушка захлопала ресницами. Испуг казался наигрышем, хотя денег она так и не взяла. — У нас это не принято!

«Везде принято, а у вас — нет?!»

Пожав плечами, он принялся распаковывать рюкзак.

На завтрак, естественно, опоздали. Тем не менее бескорыстная сестричка убедила сходить в столовую: ее рассказ о гастритах и язвах, только и ждущих нарушения режима питания, будил в душе первобытные страхи. Действительно, завтрак нашелся: остывший, в меру съедобный. Из трех блюд: котлета с ячневой кашей, каша манная и чай. Есть в пустом, гулком помещении было странно. Призраки подглядывали из-за соседних столиков — легионы гостей, некогда евших здесь. Взгляды невидимок

отбивали аппетит. Котлеты они с сыном сдобрили кетчупом, предусмотрительно захваченным в дорогу, манную кашу есть не стали, а жидкий, приторно-сладкий чай даже показался вкусным. Жена, напротив, с аппетитом уплела все три порции манки. И доела за сыном ячневую. За десять лет супружества для него по-прежнему оставалось загадкой: как она может есть эту дрянь?

— С завтрашнего дня начну худеть.

Он обреченно кивнул.

Завтра не наступало никогда.

Разночтения вкусов увеличивали число домашних забот: угоди-ка семье, когда каждый, включая собаку, жрет разное и привередничает! Но до ссор на этой почве не доходило. Жена готовила молча. Копя немое раздражение, наполнявшее квартиру едкой кислотой. Ничего, здесь, в санатории, отдохнет. Ни стирки, ни готовки. Красота. А что ноябрь — так даже лучше. Меньше народу.

Вернувшись в номер, он упал на кровать, закинул руки за голову и блаженно закрыл глаза. Отдых! Валяться, спать, читать книжки — кыш работа, прочь звонки, долой суету...

— К озеру сходим прогуляться?

Жена рассеянно вертела в руках вилку допотопного радио: намертво приколоченный к стене куб из черного эбонита, с металлической сеткой-забралом и единственной ручкой громкости, выглядел хищным монстром из фильма ужасов.

— Сходим. После обеда.

— Ладно, спи. — Любимая женщина все поняла правильно. — А мы Ральфа возьмем и пройдемся.

— Угу, — буркнул он, проваливаясь в сон.

Снилась муть. Этот же номер: однокомнатный, с фотообоями на стене. Перекаты горной речки: бурлящая вокруг валунов вода, противоположный берег наполовину скрыт зарослями боярышника, взбегают на скалы сосны и желтые осины; клочья ваты тают в неприветливом, внимательном небе. Издалека донесся сдавленный шум. Быстро нарастая, превращаясь в плеск — нет, в грохот разбивающегося о камни потока! «Трубу прорвало, что ли?» Обои вспухли пузырем, картина мгновенно стала объемной, настоящей, — в следующий миг река хлынула в комнату, захлестывая с головой, забивая горло. Тело сковала слабость, крик застрял в глотке, ночь ударила в лицо рыбной вонью...

— А-а-а!

Он рывком сел на кровати, судорожно хватая ртом воздух. Наваждение отступило, но слабость осталась. В прямоугольнике зеркала над тумбочкой отражался человек: растрепанный, с мятой физиономией. За человеком — стена с фотообоями. Речка,

осины, скалы. Сейчас лопнет и утопит. Он вздрогнул, поспешив натужно рассмеяться. Во рту пересохло; сбегав в ванную, долго пил из-под крана холодную, пахнущую хлоркой воду. Потом вернулся в комнату. Пальцы машинально нашарили шнур от репродуктора. Радио он не любил и дома никогда не слушал, но сейчас это было в самый раз. Какие-нибудь «Валенки» или «Нас не догонят», да погромче, с хрипами и треском дряхлого динамика. Кондовый оптимизм родных осин (*опять?!*) хорош от неврозов.

Вилка со щелчком вошла в розетку. Он решительно прибавил громкости — так скручивают голову предназначенной на убой птице. Ожидаемый хрип, скрежет, помехи.

Бесполый, слегка испитой голос:

...что стоишь в углу комнаты?
Что молчишь за спиной?
Уходящие, помните:
Первый выстрел — за мной...

Рука сама рванула шнур. Вскрикнула вилка, покидая нору розетки. Под эту песню семь лет назад умирала его бабушка. До последней минуты не позволяя выключить проклятое радио.

Развеялся.

Проникся, значит, оптимизмом.

— Пап, там озеро! Турники! Мы крепость видели!..

Сын ворвался в комнату, спеша вывалить на отца ворох новостей.

— Выспался? После обеда пойдешь с нами? — поинтересовалась жена, входя следом.

Он согласился. Конечно, пойду. С вами. Меньше всего хотелось оставаться здесь в одиночестве. Под сволочными обоями.

— Воды хочешь? Мы лимонаду купили в ларьке.

Столики были на четверых, и к ним подсадили сухонькую каргу в платочке. К счастью, карга попалась молчаливая. Не стала без предисловий сетовать на жидкий стул и злыдню невестку. Разве что чавкала громко.

Безвкусный борщ отдавал скепсисом.

— Больше будешь мои обеды ценить. Разбаловала я тебя.

Он кивнул.

— Кстати, борщ вполне. Полезный, наверное. Диетический.

Он кивнул еще раз: полезный.

Соль и перец обещали спасти положение. Но пшенная каша, поданная в виде гарнира к обязательной котлете, стояла насмерть. Сдавшись, он без энтузиазма ковырнул вилкой котлету. Белесые жилки торчали из фарша. Местами котлета подгорела.

Куда хуже утренней. Из чего их делают? Из каких жертв кулинарии? «Лучше худеть буду. Прямо сейчас и начну». Съеденный после обеда шоколадно-вафельный батончик «Полюс» отчасти вернул благодушное расположение духа. Сейчас бы бутылочку «Бархатного» и хорошую сигарету... Увы. Пока не долечит печень (слава богу, недолго уже осталось!) — алкоголь под запретом. Даже пиво. А курить в августе бросил.

Не начинать же по новой?

Он с тоской покосился на лоток в вестибюле: вино, коньяк, сигареты. Для компенсации купил себе и сыну по второй шоколадке. Сладкое — яд, но тут уж — дудки! Не дождетесь! Не отвалится печень от лишнего батончика.

Снаружи полыхала красками осень. Редко склочник-ноябрь сходит с ума, страдая бабьим летом. Еще зеленели, подернутые ржавым золотом, дубы в роще, лимонной желтизной украсились плакучие ивы, сбегая к озеру — умыть косы в темной воде; вспышки пурпура в кленах, хрусталь воздуха расколот едва уловимой горчинкой: знакомый с детства запах паленых листьев. Слишком ярко, слишком празднично, слишком подозрительно.

Словно обед перед казнью.

Они втроем спускались по усыпанной гравием аллейке вниз, к озеру, болтая о разных пустяках. Большей частью болтала жена; он кивал или односложно поддакивал. Миновали бетонную коробку с надписью «Бассейн». Двери бассейна были заперты, а рядом, в стене, зияли ряды круглых отверстий. Воду сливать, что ли? Дыры были забиты сухим цементом. Так и представилось: куб из бетона наполняется водой доверху, и если кто-то по случайности откроет дверь — бедолагу смоет вырвавшимся на волю потоком...

От бассейна через аллейку тянулась отчетливая влажно-блестящая полоса шириной в добрых двадцать сантиметров. Будто оттуда недавно выполз, скрывшись в зарослях жухлой травы, гигант-слизень. При взгляде на эту полосу к горлу подступила легкая тошнота. Он быстро переступил гадкий след, спеша уйти подальше. Ральфу след тоже не понравился: пес обнюхал дорожку, фыркнул, чихнул и кинулся за хозяевами. Но вдруг, присев на задние лапы, оглушительно взвизгнул. Он обернулся, собираясь прикрикнуть на собаку. Окрик вышел тихим и скомканным. Такое он видел впервые: пес, скуля и дрожа всем телом, пятился от вполне безобидного на вид куста. Потом рванул прочь, подбежал и затравленно прижался к ноге, прячась за спину главы семейства. Пускать хозяев к кусту Ральф категорически не желал. Пришлось жене держать животное, пока они с сыном осматривали причину собачьего ужаса. Куст как куст. Ничего особенного. Только в самом центре, меж тонких голых

стволиков, валялась чья-то рука. В смысле, кожаная перчатка: старая, с дыркой на указательном пальце.

— Что ж ты так опростоволосился, зверь? Не стыдно?

Ральф скулил, слыша укоризну в голосе хозяина, виновато заглядывал в глаза, но вернуться к кусту отказывался наотрез. Может, химию какую разлили? Людям без разницы, а собака чует...

Ниже располагалась площадка тренажеров: бессмысленная, пустынная. Они с сыном не отказали себе в удовольствии «покачаться». Минут десять, может, двадцать. После нагрузки мышцы разболелись, заныло травмированное давным-давно плечо. Вернуться обратно и прилечь? Нет, жена станет брюзжать. Да и, если честно, здесь хорошо. Несмотря ни на что. Провинциальная глушь со своими незатейливыми прелестями и вялым ритмом жизни, который хоть ритмом, хоть жизнью назвать затруднительно.

— Пойдем дальше? К речке?

— Пойдем.

Маленький пляж со стационарными мангалами, облупленными «грибками», кабинками для переодевания и столиками-пнями. Вышка для прыжков, длинные мостки с перилами. Сейчас, в ноябре, понятное дело, никого нет.

Не сезон.

— Сходим в лес за опятами?

— Не стоит. Тут их готовить негде. Да и отравиться недолго...

— А на речку? Мне сказали, на том берегу, где скифские курганы, археологи нашли золотой клад...

— Папка! Хочу к курганам!

— Посмотрим...

Вокруг озера обошли за полчаса. Осень. Запустение. Стылая рябь. Сквозь темную, но при этом, как ни странно, прозрачную воду виднелись липкие водоросли на дне и редкие тени. Рыбы, наверное. Желто-бурый с прозеленью ил выстилал дно мягким саваном. Деревья оцепенели в предчувствии зимы. Грусть смены сезонов, пролог долгой летаргии. Говорят, Гоголь очень боялся летаргии: похоронят живого, спящего... Солнце, клонясь к закату, проложило по воде дорожку расплавленного металла, перечеркивая отражения ив и облаков.

Обратно возвращались другой дорогой. Побывали в детской крепости, вполне похожей на настоящую: с пушками из бревен и фигурами богатырей. От одного идола жена даже шарахнулась: вдруг почудилось, что богатырь протянул руку. Пришлось долго успокаивать: сумерки, игра теней, оптический обман... Потрогай, не бойся. Видишь: деревянный. Ребятне летом раздолье. Жаль, сейчас сыну поиграть не с кем. Впрочем, ребенок и так

доволен: нечасто они куда-нибудь выбираются всей семьей. Работа, склоки, дрязги...

Другое дело — в этом мирном захолустье. Тишь да гладь.

Покидая площадку, он оглянулся. Идол тянул вслед грубо тесанную руку.

Прощался? Предупреждал?

За ужином объявился массовик-затейник: шумный и назойливый, как базарная побирушка. Даже удивительно, что такие еще сохранились. Идя в ногу со временем, массовик не бегал по столовой с мегафоном, а вещал через динамики из будки радиоцентра. Отдыхающих ждал джентльменский набор: замшелый ужастик «Из бездны», танцевальный вечер знакомств в фитобаре на первом этаже и под конец — совместное распивание... Это затейник пошутил. И сразу поправился: конечно, распЕвание песен под баян в том же фитобаре.

Последнее мероприятие называлось «Кому за полночь».

Затем, откашлявшись, массовик объявил о завтрашнем приезде в санаторий выставки Музея восковых фигур: «Пытки и казни Востока». Покинув будку, начал собирать деньги с желающих. Любоваться пытками не хотелось; жена с сыном тоже не проявили особого энтузиазма. Но когда массовик оказался возле их столика, выжидательно уставясь лупатыми глазками Раскольникова, одряхлевшего на каторге, — рука сама полезла в карман за деньгами. Соседка по столу как сомнамбула механически протянула засаленную купюру. Сейчас карга вполне могла сойти за экспонат выставки.

Массовик, получив мзду, свернул к кухне. Над его спутанной грязно-седой шевелюрой каркнул динамик. Знакомый бесполый голос:

...что притих за портьерою?
Выпад. Шпага в крови.
Приходящие, верою
Не искупишь любви...

Он резко встал, почти вскочил, едва не опрокинув стул, и устремился к выходу. Некоторое время стоял у входа в столовую, шумно дыша. Сосчитал до десяти. До ста. До пятисот. Жена с сыном показались в дверях.

— Фильм смотреть пойдешь?

— Нет!

— Почему ты кричишь?

— Я не кричу.

— Может, все-таки в кино?

— Я сказал: нет! Книжку лучше почитаю.

— А мы сходим.

Он с удивлением вытаращился на жену. Ну сын-то ладно, а она? Ведь никогда жутиков не любила! Или для нее это отдых? Ладно. Отдыхать уезжают, чтобы делать то, что хочешь. Он не хочет в кино — и не пойдет. Жена с сыном хотят — пожалуйста! Кто против?

А лично он вернется в номер.

Впрочем, перед тем как завалиться на кровать с книгой, он решил еще немного подышать воздухом. Но вначале покормил Ральфа, высыпав в миску треть пакета с сухим кормом. Корм взяли с собой, зная слабый желудок пса. Один кусочек откатился в сторону, забившись под плинтус; ему показалось, что это таракан. Через секунду он был глубоко убежден: да, таракан. Если б понял раньше, успел бы раздавить. При виде миски к горлу подкатила тошнота. Да и Ральф ел неохотно. С трудом дождавшись, пока пес закончит трапезу, он вышел из корпуса, слыша, как собака бежит следом. Когти тупо цокали по линолеуму. За порогом обогнав хозяина, боксер умчался в темноту — по своим делам. Он не возражал, уважая чужое право на одиночество.

На небе зажигались первые звезды. Густая синева становилась фиолетово-черной, исподволь, с вкрадчивостью плесени окутывая санаторий. На западе слабо тлел окурок заката. Он брел вокруг корпуса, заложив руки за спину. Завтра надо будет осмотреть всю территорию. Просто так, из любопытства. Мысли текли лениво, скучно, лишь где-то на краю сознания дремал, помаргивая вполглаза, огонек тревоги. Раздеваясь перед сном, шептались деревья, качался одинокий фонарь под жестяным колпаком. Под фонарем по земле метались тени и пятна желтого света, мелко просеянные сквозь сито ветвей.

Он сам не заметил, как оказался с тыльной стороны корпуса, напротив черного хода с грузовым подъездом. Дальше, за поворотом дороги, огибавшей здание, таились в темноте хозяйственные постройки. Оттуда доносилось гудение, на которое накладывалась глухая ритмическая пульсация. «Подстанция, должно быть. И насосная. Или котельная». Постройки при ближайшем рассмотрении оказались не совсем темными; сквозь зашторенные окна в двух местах пробивался тусклый свет, да еще над запертыми воротами горела слабая лампочка. Он невольно ускорил шаги. На миг почудилось: за воротами ворочается смерть, огромная и бесформенная. Сгусток кошмара, готовый выплеснуться из-за ненадежной ограды с ржавой колючей проволокой поверху. Накрыть, поглотить, растворяя в себе; неумолимо двинуться дальше, распухая инфернальной амебой, выбрасывая ложноножки клубящейся тьмы...

Наваждение накатило, сдавило сердце когтистой лапой инфаркта — и отпустило.

Он медленно уходил прочь, красный от стыда.

Ральф встретил его у крыльца. Нервный, взъерошенный; погладить себя не дал, отскочив. Потом устыдился, снова, как

днем, прижался к ногам. Простив собаку, он поторопился оставить ночь за спиной, отгородившись стеклянной дверью ярко освещенного холла. На окнах насмешливо топырили иголки кактусы в грязных горшках. «А ведь эти двери вынести ничего не стоит...» Из приоткрытой дежурки доносился еле слышный храп, да еще в динамике над входом сипло пел знакомый голос:

.. что тобой мне назначится?
Чей смертелен оскал?
Остаешься?
Не прячешься?
Выходи из зеркал...

Поднявшись в номер, он упал на взвывшую кровать, взял с тумбочки недавно купленный роман Мак-Каммона и погрузился в чужой ужас.

Так было легче.

После седьмой главы он взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Что-то долго этот фильм идет. Или начало затянули? Читать уже не получалось. Прошелся туда-сюда по комнате, как зверь по клетке. Ральф следил за мужчиной внимательными глазами. Все ведь понимает, псина! Небось тоже волнуется: куда хозяева запропастились? Выйти, что ли, встретить? На всякий случай?

В углу, под плинтусом, где скрылся проклятый таракан, что-то блеснуло. Он присел, шаря рукой, нащупал изрядную трещину; хотел брезгливо отереть пальцы, — и тут порезался.

Нож.

Охотничий, с хищным изгибом лезвия. Упор, кишкодер, кровосток. Настоящее оружие. Кто-то забыл или спрятал до поры. С таким ножом поймают на улице — посадить могут. Или откупаться придется. Рукоять только неудобная, слишком короткая, словно для ребенка. На лезвии обнаружилось пятно ржавчины. Он вгляделся, гоня прочь дурные мысли. За спиной тихо отворилась дверь; впрочем, недостаточно тихо, чтобы он не услышал. Рукоятка ножа стала очень, немыслимо удобной, упав в ладонь рукопожатием друга.

Он обернулся.

Утром они уехали первой электричкой.

* * *

Это правда. Мы уехали электричкой. Сейчас, когда я накручиваю километры по Власовской окружной, скучая за баранкой «Опеля», в соснах на обочине метет поземку баловень февраль, а до «Ладущек» пятнадцать минут, если свернуть за Терновца-

ми, — это кажется странным. Но мы с семьей всегда покидаем санаторий в полупустом вагоне электрички, впрессованы в ноябрьские сквозняки, будто мушки в янтарь. Такие себе маленькие, бессловесные princes of amber. О машине я вспоминаю позже, дома, равно как и о том, что мог бы заказать такси прямо ко входу. Впрочем, неважно.

Ведь о санатории я тоже, как правило, не вспоминаю целый год.

До срока, когда беру очередную путевку: сутки с питанием.

Это очень дорогие путевки. Очень. Многие не понимают: зачем? Теща не понимает. Коллеги по работе. Подруги жены, большей частью. Стас не понимает, а Стасовой понималке я доверяю больше, чем тому факту, что зиму сменяет весна. Им удивительно. А я не умею, не в силах объяснить, что плачу кучу денег не за номер с фотообоями, чахлую клумбу на центральной аллее и тарелку борща-дистрофика. Я оплачиваю День Всех Святых, явившийся вне календарной лжи, сутки истины, две дюжины часов, разбросанных стальными колючками под колесами машины; я оплачиваю орла и решку паранойи, после которых триста шестьдесят четыре прочих монетки — остаток казны года! — непременно выпадают орлом. Что бы ни случилось, что бы ни произошло со мной или моими родными, я ничего не боюсь, ничего не предвижу и ничего не жду. События обтекают меня, словно вода — риф. Мне везет. Я, моя жена, мой ребенок, моя собака — любимцы Фортуны. А может, мы просто готовы принять все, что угодно, с радостью, лишь бы не ожидать.

Уступчивы и доброжелательны, мы очень любим друг друга. Угадываем желания. Смеемся над шутками. Поддерживаем в трудностях. День за днем. Кроме одного-единственного дня в году, когда я отбрасываю «я», становясь — «он».

Кажется, Альфред Хичкок, старый пройдоха, ныряльщик в пучины ужаса за кровавым жемчугом, сказал однажды: «Бомба с включенным таймером, спрятанная под кроватью, где молодожены занимаются любовью, много страшнее бомбы, взорвавшейся и разметавшей этих молодоженов по асфальту». Ожидание страшней всего. Предчувствие ужасней события. Ночь перед казнью острее гильотины.

Я покупаю день дурных предчувствий.

Очень хочется узнать: как они добиваются беспамятства? Всякий раз по приезде в санаторий, с превращением из «я» в «он», ножом под лопатку входит уверенность: «он» здесь впервые. Никогда раньше. Жена молчит, но у нее точно так же. У сына. У собаки. Лишь потом, дома, беспамятство уходит, оставляя осадок удивления: снова? опять?! Ответа нет, а спросить стыдно. Они скорей всего не ответят. Но клиентов в «Ладушках» становится больше с каждым новым визитом. Тех, кому по кар-

ману оплатить жертву хмурому божеству. Сейчас, несясь сквозь зиму, мне это ясно с особой отчетливостью. Выросла гроздь домиков возле дубовой рощи; завершено строительство нового корпуса у клуба. Гости, отдыхающие, потерянные души, мы не запоминаем друг друга; на улице города мы пройдем мимо, не узнавая.

Чтобы встретиться позже, привычно не узнав самих себя.

Люди, сполна оплатившие бомбу, детонатор, кровать и неотвратимость взрыва, оказавшегося наглым лжецом. Дав клятву, взрыв забывает прийти на свидание.

У этой истории нет финала. К счастью. Пока нет. В человеческой жизни истории с финалом вовсе не так увлекательны, как на экране или в книге. Просто сутки, оплаченные сполна, от путевки к путевке делаются объемнее, раздуваясь сытой жабой; просто ожидание, предчувствие, напряжение человека, которого зовут «он», становится нестерпимей, набухая фурункулом. Кровать вскипает любовью, и таймер детонатора тщетно стрекочет в пустыне страсти: его не слышно. Полагаю, однажды бомба взорвется.

Что-нибудь произойдет, оправдав предчувствие, — раньше чем мы уедем домой.

Это будет не так интересно, но это будет финал.

И только песня, которую я слышу из года в год, несуществующая вне «Ладушек» песня, которой я больше не услышу никогда, захрипит в динамиках, седых от снега или равнодушия, летя над безлюдными аллеями:

...что стоишь в углу комнаты?
Что молчишь за спиной?
Уходящие, помните·
Первый выстрел — за мной..

СОСЕД

Алевтина Антоновна, известная меж соседями как бабушка Вава, продала квартиру. К этому давно шло — решилась бы и раньше, если бы не страх перед проходимцами-маклерами, перед зловредными законами, так и норовящими выставить человека бомжем. А тут приехала внучка из Киева, у внучки дом в частном секторе, хватает жилплощади и деньги очень нужны.

Ну и продали за пару месяцев.

Квартиру купил иностранец. Сейчас, говорят, в этом нет ничего удивительного — живут здесь подолгу и покупают, чтобы не тратиться на гостиницы, не снимать чужие углы. А у Алевтины Антоновны была хоть и запущенная, без ремонта, но очень

удобная двухкомнатная квартира. И место удачное: зелено, почти в центре.

Артем, деливший с бабушкой Вавой лестничную площадку, заранее подготовил себя к «евроремонту», который обязательно затеет новый сосед. Немец, говорила про новосела консьержка, Зигмунд Карлович, а может, Фридрих Иоганныч, специалист не то по бахчевым культурам, не то по разведению орхидей.

Готовьтесь, значит, к капитальной перестройке.

Артем согласился со всезнающей консьержкой, мастерицей сплетен. Может быть, эта безропотная готовность помогла ему сравнительно легко пережить месяц июль, когда в подъезде не продохнуть было от меловой пыли, строительный мусор вывозился грузовиками, стены дрожали, а молотки и какие-то визжащие электродолбилки не затихали с утра до ночи. Артем тогда уходил в пыльный скверик напротив дома, садился на потемневшую от дождей скамейку и раскрывал книгу. Грыз кончик карандаша, сверялся с блокнотом, прикидывая планы будущих лекций. Наработавшись в удовольствие, бродил по трем узеньким аллеям, здоровался с мамашами и их детьми, мечтал о том времени, когда защитит докторскую, получит деньги под свой проект и развернет наконец работу как следует. Пусть придется дневать и ночевать в лаборатории — это ведь и есть настоящая жизнь, это, а не закольцованные воспоминания о разрыве с Ириной.

И, уж конечно, не мелочи вроде соседского ремонта...

Наступил август. Начались вступительные экзамены, и Артему стало не до прогулок по парку. Тем временем пол на лестничной площадке вымыли, стены заново выкрасили и даже общественный потолок слегка побелили. Артем подумал, что предположительно-немец, наверное, не такой уж плохой человек. Впрочем, это не имело значения: бронированная дверь с миниатюрным объективом была единственным доступным фрагментом соседовой жизни. И Артем, никогда не знавшийся близко даже с общительной Алевтиной Антоновной, очень радовался установившейся дистанции.

Сосед оказался бесшумным. Бабушка Вава, будучи глуховатой, иногда донимала Антона ревом включенного телевизора, любимая Вавина болонка Чапа также лаяла на редкость заливисто. А с окончанием соседского ремонта однокомнатная квартирка Артема сделалась самым тихим местом на земле. Редко-редко из-за стены доносились обрывки странной музыки на низких частотах, но не раньше восьми утра и никогда позже десяти часов вечера. А потому Артем, который обычно возвращался из института усталым и выпотрошенным, мог сколько угодно лежать на диване, установленном под «соседской» стеной, читать или смотреть в потолок.

Октябрь, дожди и резкие перемены атмосферного давления стали причиной не свойственной ему хандры. Он думал, что работа, всегда приносившая радость, забирает и здоровье, что он располнел в последнее время — к сорока годам станет обрюзгшим лысеющим толстяком.

И печень, зараза, побаливает.

Странное дело: часто, впав в полудрему, он начинал думать о соседе. Как тот ходит, бесшумно перемещается по свежеотремонтированной квартире. Будто воочию видел соседские тапочки из натуральной кожи — как они ступают по сверкающему ламинату прихожей, по паркету гостиной, по пробковому покрытию спальни. Сосед садится на низкий диванчик, набивает трубку и закуривает. Лежа с закрытыми глазами, уткнувшись носом в маленький бормочущий радиоприемник на подушке, Артем ясно представлял, как сосед улыбается и красный огонек трубки подсвечивает узкое, хищное, в глубоких морщинах лицо...

Сосед представлялся засыпающему Артему три или четыре вечера подряд. На пятое утро они встретились в лифте, чего прежде никогда не случалось. От предположительно-немца пахло свежо и мощно, и Артем вспомнил, что на шлейф этого дорогого аромата ему случалось наступать и раньше — в лифте, где запах держится часами. На лестничной площадке, где обычно царила застарелая вонь табака. Во дворе, где даже ветер не сразу справляется с зависшим над асфальтом парфюмерным маревом.

Сосед улыбался. Он был совершенно такой, как представлялось Артему: рыжеватая бородка, длинный тонкий нос и рябые, в бледных веснушках щеки.

— Гутен таг!

— Гутен таг, — пробормотал в ответ Артем.

Больше они не сказали друг другу ни слова.

Тот день оказался особенно трудным. Студенты раздражали, начальство вело себя по-хамски. К восьми часам Артем едва закончил проверку письменных работ, в большинстве написанных из рук вон плохо. Назавтра предстоял неприятный разговор с шефом; маршрутки пришлось дожидаться сорок минут, и, когда Артем добрался наконец до своего дивана, была уже ночь.

За стеной, прикрытой вытертым ковриком, царила тишина, но Артем почему-то знал, что сосед не спит. Он бесшумно бродит по квартире, курит трубку, бормочет под длинный нос непонятные слова. И улыбается. Обязательно — улыбается в рыжеватую бородку.

И Артем, хоть устал сегодня, не мог заснуть.

Он думал о студентах, которые с каждым набором становятся все глупее и бездарнее. Об их родителях, выкладывающих каждый месяц кругленькую сумму, из которой ему, преподавателю, достаются крохи. О коллегах, завистливых и двуличных, о док-

торской, которую никогда не защитить, потому что он — неудачник...

Слово пришло из ниоткуда и заставило сесть на кровати. Все сделалось ясно — так ясно, как не бывало давным-давно, с самого детства.

Неудачник. Вот оно что. Вот почему все его ровесники, однокурсники, бывшие друзья обретаются кто в Европе, кто в Америке, кто, на худой конец, в Корее. Вот почему он торчит в институте, который медленно, но верно загибается, где нет денег на самое необходимое, а если есть — они сразу достаются проходимцам, дармоедам, нахлебникам...

И ведь он, Артем, заслужил такую участь. Он всегда был недостаточно умен и дальновиден. Мягкотелый, наивный, он такая же бездарность, как наиничтожнейший из студентов...

Часы показывали полчетвертого утра.

Странно, почему осознание очевидного пришло только теперь? Почему даже уход Ирины — а как можно жить с таким ничтожеством?! — не открыл ему глаза? Как мог он тешить себя надеждами, что-то планировать, чего-то ждать?

За окном стояла плотная черная осень.

Артем лежал под холодным одеялом, скрючившись, глядя в потолок.

* * *

Утром вышло солнце — впервые за много дней, и Артем уверился, что классический «час Быка» стал всего лишь реакцией на переутомление. Осень, хандра, поссорился по телефону с сестрой, на работе сквозняки — вот и простудился к тому же... Переживем!

«Все хорошо, — говорил он себе, шагая под дождем к остановке маршруток. — Я здоров. Родители более-менее здоровы. Работа есть... Любимая работа. Квартира есть. О чем мне вообще сокрушаться?»

В маршрутку набилось полно народу. Пришлось стоять.

«...Жизнь такова, какой мы ее видим, — думал Артем. — Самый богатый миллионер и самый удачливый победитель не владеют всем, никогда не достигнут всего. А у меня руки-ноги целы, котелок пока еще варит. Вижу, слышу... не голодаю...»

Маршрутка резко затормозила. Артем ударился головой о поручень.

...Надолго ли?

Что-то случится... А что-то все время случается — с другими. Внезапная болезнь. Увечье. Катастрофа. Случается с другими — значит, рано или поздно случится и с ним. Может быть, его кошмар уже лежит, готовенький, на конвейере судьбы. И шесте-

ренки крутятся медленно, но верно. Ползет гладкая черная лента, и на ней лежит, например... телеграмма. Или...

— Вы выходите? — спросила веснушчатая девушка из-за спины.

Он посмотрел на нее так, что девушка, кажется, испугалась.

* * *

Телефонный звонок в полвосьмого заставил его содрогнуться.

«Со всеми случается. Случилось и со мной...»

Звонил отец, но Артем не сразу узнал его голос. У мамы ночью случился инфаркт, она в реанимации.

Последующие несколько дней слились в один долгий «час Быка». Артем говорил с врачами и задабривал медсестер, дежурил у кровати, добывал лекарства, ждал. Ситуация стабилизировалась — никто не знал, надолго ли. Проходили недели. Врачи бесили Артема равнодушием и тупостью; тем временем надвигалась зимняя сессия, его теребили и дергали, и он разрывался между больницей и институтом.

Изредка заезжая домой, он обязательно встречал соседа. Тот либо стоял перед подъездом, задумчиво изучая свое отражение в темных стеклах кремового «БМВ», либо ждал Артема в лифте, заботливо надавив кнопочку «Стоп», либо поворачивал ключ в скважине бронированной двери.

— Гутен таг! — и улыбка.

Артем, чтобы не показаться невежей, бормотал ответное приветствие.

* * *

Через месяц маму выписали, но страх не желал уходить. Телефонный звонок в любое время суток повергал Артема в панику. Касаясь трубки, он лихорадочно уговаривал себя, что ничего страшного не произошло, — и заранее знал, что лжет, уговаривая.

Ему звонили сообщить, что старый приятель и однокурсник погиб, сбитый машиной. Что учительница, с которой он до сих пор иногда перезванивался, умерла. Что маме опять стало хуже.

Студенты раздражали все больше. Артем не понимал, какая сила собрала вместе этих уродов, каким волшебным образом вступительной комиссии удалось создать паноптикум в рамках одного курса. Работа над докторской давно была заброшена: Артем возненавидел тему, когда-то казавшуюся столь привлекательной.

Коллеги избегали его. Студенты хамили в лицо. Он платил им презрением, граничившим с брезгливостью.

Лежа по вечерам на диванчике, Артем с отвращением разглядывал покрытый потеками потолок: соседи залили две недели

назад и, конечно, не собирались выплачивать компенсацию. Хотелось разрушить этот старый, душный дом, напичканный неприятными, бесполезными, безликими людьми. Хотелось разрушить самого себя; прикрыв глаза, он думал с мрачным наслаждением о веревке, мягко обхватывающей шею. И еще он думал о соседе — тот скользил в тапочках из комнаты в комнату, пил чай, курил трубку и улыбался здесь же, в двух шагах, за не очень толстой капитальной стеной...

Он был совсем рядом. Артему теперь казалось, что он был всегда. Невидимый, но вездесущий сосед-немец. За пленочкой старых обоев, за побитым молью ковром, за стенкой в полтора кирпича.

Рядом.

* * *

Телефонный звонок грянул в половине второго ночи, и Артем понял: это — все.

Он стоял перед орущим аппаратом, кусал губы и чувствовал, как текут слезы по щекам. Протягивал руку — и снова ее отдергивал. А телефон звонил, оглушительный в своем траурном рвении, звонил вот уже десятый раз подряд...

А за стеной курил трубку сосед.

Артем знал, что он не спит. Он не спит никогда. Он сидит за низеньким столиком, и узкое морщинистое лицо подсвечено снизу красным. Он разглядывает Артема сквозь стену — запуганного, отчаявшегося, ненавидящего и презирающего себя и весь мир...

Телефон звонил.

— Подожди, — сказал Артем неизвестно кому. — Подожди...

Сосед за стеной поднял голову, и огонь в его трубке полыхнул ярче.

Что за власть у соседа над человеческой жизнью? Кто дал ему эту власть? Из чьей кожи скроены его бесшумные домашние тапочки?

Телефон звонил.

Кто вертит ручки черного конвейера? Кто выкладывает на ленту все это, что ползет неотвратимо, чего боятся все на свете?

И можно ли застопорить конвейер хоть на секунду?!

Артем зажмурил глаза и набрал побольше воздуха. Он попытался представить, что там, на другом конце трубки, — не рыдающая сестра, не седеющий на глазах отец. Там просто глупый выпивший мальчишка, который звонит подружке и ошибся номером.

Он ошибся номером.

Паника была сильнее. Отчаяние затягивало, в нем таилась жуткая прелесть — осознать, как несчастен и беспомощен, по-

нять это до конца, и пусть все, что сейчас случится, подтвердит его слабость.

Сосед смотрел сквозь стену. Артем задержал дыхание, сжал мокрые от пота кулаки.

Но сосед не может его видеть! Он, Артем, скрыт за толстым слоем чешских обоев, которые они клеили триста лет назад вместе с отцом и сестрой. Он защищен изъеденным молью ковриком, купленным на толкучке маме в подарок. Его прикрывает капитальная стена в полтора кирпича. Взгляд соседа не достанет его. Он силен. И все живы...

Казалось, потолок обрушился и лег на плечи. Издалека, сквозь кирпичные обломки, звонил телефон.

Казалось, рвется толстая ткань. И шестеренки невиданного механизма скрежещут, тормозят, высекая искры... Останавливаются.

И медленно-медленно, тяжело-тяжело начинают вертеться в другую сторону.

Хлопнула от ветра форточка — очень резко и очень близко. Пластмассовая трубка легла в ладонь — сама. Будто спрыгнула с рычага.

— Алло! Светка? Сколько тебе можно трезвонить?

Молодой веселый голос. Шум вечеринки, счастливый девчоночий визг. Музыка.

Артем опустился на край постели.

— Вы ошиблись номером, — сказал он на удивление спокойным и ясным голосом.

И, не добавив ни слова, положил трубку на место.

* * *

Сосед-немец переехал. Теперь в его квартире живут молодожены, и порой Артему приходится стучать в стенку — чтобы сделали музыку потише.

И соседи неохотно, но убирают звук.

Артем встречается с Катей, своей бывшей студенткой. Неизвестно, выйдет ли что-нибудь серьезное из этих встреч...

А вдруг?

ВЕНЕРА МИРГОРОДСКАЯ

Ты, дочка, поправляй меня, не смущайся. Времена сейчас другие, для меня, старика, непривычные, значит, и слова иными стали. Вот ты говоришь «фольклор», по-нашему же «байки» выходит, не иначе. Только неправильно это, политически даже неверно. Фольклор — он у немцев с их музыкантами Бременскими. А у нас какой фольклор? Ведьмы да упыри, басаврюки да

потопельники. Тьфу, одним словом! Как с таким добром — да в газету?

А мы прежде не встречались, дочка? Лицо мне твое больно знакомое. Тебя по телевизору, часом, не показывали?

И — ладно! Фольклор так фольклор, будет тебе чего в воскресный номер ставить. Хоть история эта, сразу скажу, совсем не веселая. Не воскресная совсем.

Ну, слушай, дочка!

Началось все, когда разменяли старого пана. Чего с ним сделали? Эх, дочка, твое счастье, если такое переводить требуется. Не слыхала? Руководствуясь, стало быть, революционной законностью... В общем, убили человека. Нагло убили, у крыльца собственного, из дюжины стволов — да в упор. Вот так!

Зима тогда была — январь нового, 1918-го, как раз прежний календарь отменили вместе с праздниками поповскими. Приехал в наши Терновцы из уезда (из районного центра, если по-новому) красногвардейский отряд во главе с самим товарищем Химерным, чтобы революционные завоевания у нас утвердить. Памятник в сквере посреди Ольшан видела? Вот он и есть, товарищ Химерный, даже «маузер» его узнать можно. Прибыли наши славные товарищи, декреты на майдане народу прочли, церковные врата гвоздями заколотили, и началась правильная власть. А чего правильная власть перво-наперво делать должна? Нет, дочка, про землю и заводы в учебнике написано, на самом же деле требуется врагов лютых извести. Ты права, про такое сейчас лучше не писать, это я тебе для пущей ясности. Собрался народ, и молодицы, и хлопцы, и постарше кто, — да всей толпой к маентку панскому. А там, как на грех, старый пан оказался. Хотел уехать, говорят, только не успел. Отчего «на грех»? Так то в прежние годы я такой отчаянный был, сейчас иначе думается. Живой ведь человек тот пан, хоть и его превосходительство.

Надо тебе сказать, дочка, что панов мы наших очень уж не любили. Не только за то, что они лучшую землю к руками прибрали, а их деды наших на конюшне вожжами охаживали. В соседних селах не лучше жилось. Только панский род — особый. Предки панов наших такими же казаками числились, как и наши прадеды-прапрадеды. Избрали товарищи войсковые своего побратима сотником за доблесть и лихость, а он извернулся — да потомкам своим сотню оставил. И стали они сотниками без всяких выборов-демократий. А потом, когда царица Катерина, трясця ее матери, казаков в крипаков обернула, сотник, что первому сотнику внуком был, все село в крепость и записал, всех своих сотенных товарищей. Были мы войском славным, а стали паны и холопы. Кто ж таких панов полюбит?

А еще рассказывали, будто не просто так наши сотники в ве-

ликие паны выбились. Не без чаклунства и ворожбы обошлось! Может, и врали, сама, дочка, говоришь: «фольклор». Только верили в это крепко. Много, ох много о панах-ворожбитах баек сложено было! Считай, в каждом колене у них то колдун, то ведьма, то мертвяк неупокоенный, что по церкви ночами бродит. Словно прокляли род панский за то, что своих собственных товарищей рабами сделали. Оттого и чудили их превосходительства, родных дочек в камне замуровывали. Не слыхала? И про их родичей, что в Ольшанах мертвецкий театр устроили, не знаешь? Ну, это иная история, не для газеты.

И еще знали: великий скарб у сотника имелся. Привез он богатства из земли турецкой, где воевать довелось. И золото там было, и каменья цветные, и жемчуг. Не один сундук для того скарба понадобился. Привез сотник добро — спрятал и словцо верное наложил. И будто скарб тот великую силу всему роду их панскому давал; наследники тоже не ленились, к старым сокровищам новые прибавляли.

Всякий в Терновцах про скарб панский ведал. Искать пытались, но только скарб заговоренный найти ох как непросто. Не таков он, чтобы без хлопот в чужие руки даться! Вот из-за скарба все и случилось.

На пана старого зла особого не держали. Генерал, конечно, адъютант царский, но подлых дел не творил. Сыновья его на войне Германской были, а он, на грех, в имении остался. Эх, чего ему в Париж не уехать?

Пришли мы толпой всей к воротам чугунным, распахнули их настежь. Заходи, казак, кончилось панство! И к крыльцу, а на крыльце — пан. В мундире, в орденах золотых, при сабле наградной.

Ждет.

Поначалу не хотел никто дурного. Прочитал товарищ Химерный приказ о передаче маентка панского в собственность трудового народа да велел пану из дому убираться. Даже время дал — вещи собрать. И все бы тем кончилось, но тут Петро, дядько мой, возьми и крикни: «Скарб! Пускай скарб свой народу отдаст!»

Сколько было мне тогда? Совсем немного, из-за плетня едва выглядывал. Но — помню, не забудешь такое. А дядьке моему двадцать два исполнилось, только с фронта пришел.

И покатилось! Заорали, засвистели, кулаками замахали: «Отдавай скарб! Верни народу!» Старому пану руками бы развести, про «фольклор» напомнить, посмеяться даже. Сама, дочка, знаешь, почти в каждом селе про скарбы байки рассказывают. Так, видать, гордость панская не позволила. Одернул он мундир, ордена золотые на груди поправил — и говорит в полный голос.

Как сейчас помню каждое слово: «Не для ваших рук, — говорит, — холопы, скарб наш фамильный! Заговоренный он — на все ваши головы, на всех, кто попробует его достать. Если не жалко вам голов ваших холопских, то пусть его Проклятая покажет, хоть и не с руки ей это. А убьете меня — смерть из-под земли выпустите!»

Крепко сказал. Растерялись мы, переглядываться стали. Непонятно, да и боязно слегка. Слыхали ведь про заклятие-проклятие панское! Но тут кто-то и крикни· «Так ведь церковь ветхая! Ее еще Проклятой кличут!»

А надо тебе знать, дочка, что кроме церкви, которую товарищ Химерный гвоздями заколотил, была у нас еще одна — старая. За селом стояла, больше века как брошенная. Не любили мы то место и церковь старую не любили. Болтали, будто ночами нежить там собирается, шабаши свои справляет. Байки, конечно, но церковь и вправду иногда Проклятой называли.

Что дальше — понятно. Заорали, похватали лопаты и ломы, кто чего нашел. И к церкви — скарб панский искать. А как не нашли, тут же, у крыльца, пана старого в упор и разменяли. Упал он в лужу крови своей панской, поглядел последний раз в небо ночное...

Чего в церкви раскопали? Не ходил я туда, а толковали повсякому. Будто бы домовина там была, а в домовине той — упырь. И про ведьму говорили, и про иное, что не к ночи. Байки, одним словом! Только знаю — скарба не отыскалось. Потому и озлобился народ.

Потом, как тело панское в реку под лед скинули, принялись по всему маентку рыскать. Даже склепы, где паны, в давние годы усопшие, покой вечный вкушали, и те не пощадили. Ты про это не пиши, дочка, самому вспоминать неохота...

Уехал товарищ Химерный по прочим селам народную власть устанавливать, у нас же разное началось. Сама, дочка, в школе учила, знаешь. То германцы, то гетьманцы... А в 19-м году, когда красные вернулись, учредили у нас в селе коммуну. Нет, дочка, не колхоз, колхозы после уже появились. Коммуна — чтобы, значит, прямиком в светлое будущее, без пересадок. Возглавил нашу коммуну мой дядько Петро, потому как был он человеком проверенным, партийным. А разместилась она в бывшем панском маентке. Я тоже туда записался, хоть и мальчишкой был.

И вот однажды вечером, как с поля мы вернулись, говорит мне дядько Петро:

— А ведь не обманул нас старый пан! Правду сказал, только хитро.

— Ты про что, дядьку? — подивился я. — Про скарб панский? Байки это все, каждый теперь знает!

— Каждый, каждый! — смеется дядько. — А вот пойдем покажу!

И пошли мы прямиком в парк панский. Это сейчас, дочка, от него почти что ничего не осталось, а тогда парк в самой красе стоял. Деревья вековые, кусты розовые, беседки камня резного. Диво — не парк! И вот на дорожке, что мимо флигеля к пруду ведет, видим мы постамент круглый вроде тумбы, а на постаменте том — женщину. Статую, понятно, только тогда я еще слова такого не знал. Стоит себе, красивая, в платье легком, лицо тонкое, заглядеться можно. Но — сердитое. Наверно, потому, что левой руки у женщины нет, отбита по самое плечо. А правая ничего, целая, вперед указывает. Вперед — и вроде как немного вниз.

— Знаешь, кто это? — дядько спрашивает. А сам смотрит на меня хитро так. Мол, не знаешь, а я вот знаю.

Только я тоже не мочалом подпоясанный. Хоть мал был, да любопытен, всю библиотеку панскую (то, что на раскурку еще не пустили) перелистать успел. Конечно, больше картинки в книжках разглядывал, но и картинки помочь могут.

— Это, дядя, — говорю, — богиня римская. Зовут — Венера. Сделали Венеру две тыщи лет назад из камня-мрамора. А потом прадед старого пана ее из страны Италии в наши края привез, потому и зовут ее — Венера Миргородская.

Сказал — и на дядьку смотрю. Знай, мол, наших! А дядько Петро меня по волосам треплет, улыбается:

— Молодец, хлопчик! Верно сказал, только не все. Не две тысячи лет ей, Венере этой. Ее тогда и сделали в стране Италии для прадеда нашего пана. Подобие, а если правильно — точная копия. Венерой Миргородской ее и в самом деле называли, потому что во всей округе такой красоты мраморной еще не видали. Но так ее больше в книжках величали, а меж собой шептали иначе — Венера Проклятая.

Так и обмер я, сообразив, к чему дядько клонит. Поглядел я ей, мраморной, в лицо сердитое, подумал. А потом и удивился:

— Дядько Петро! Да это же просто камень. Как ему проклятым быть?

— А вот узнаю! — отвечает дядько.

И ведь правда — узнал.

Перед тем как урожай собирать, устроили мы, как и полагается, митинг. Про хлеб для Армии нашей Красной речи сказали, про Деникина-гада и его Антанту. Хорошо говорили, душевно — молодые все были, веселые. Стою я в первом ряду, на дядьку гляжу, что телеграмму товарища Химерного читает. Не

забыл он нас, из-под самого Киева весточку прислал. И тут смотрю — новенькая у нас. Тоже в первом ряду пристроилась, тоже с дядьки глаз не сводит. Красивая дивчина — и непростая, сразу видно, из города. А то, что на дядьку смотрит, понятно, справным он хлопцем был, дядько Петро, все дивчины в округе сохли. А вот жизнь не заладилась. Едва поп его обвенчал, так на фронт германский и забрали. Пока дядько под Ригой с Вильгельмом бился, жинка сына родила. Родила, бедная, а через неделю и померла. Вернулся дядько с войны, на могилке поплакал, сына Васылька у свояченицы в хате пристроил... И так бывает.

Сказали мы речи, про «проклятьем заклейменный» спели. Думал, все — так нет. Выступает мой дядько вперед:

— Подождите, товарищи! Еще слово к вам имею.

Подумал немного, будто сомнения отгонял, кудрями черными тряхнул.

— Вот чего! Завтра мы в поле выйдем, чтобы хлеб народный не пропал, и не будет у нас заботы важнее. Потому сегодня с иным делом разобраться следует. Я вам расскажу, а вы уж решайте...

И начинает, про что ты, дочка, думаешь? Все про тот же скарб. Напомнил, чего было, а после и к Венере мраморной перешел. Не тратил дядько времени даром! Когда в Харьков-город по делам партийным ездил, в библиотеку зашел, а потом еще и в университет тамошний, к панам ученым. Все узнал! Оказывается, Венеру Миргородскую не зря иначе называли. Ох не зря!

— Фигура та каменная, товарищи, — дядько даже голос повысил для убедительности, — по-научному же «статуя», в стране Италии гиблую славу имела с самых стародавних времен. Жертвы ей людские приносили, кровью обливали, не жалея. Вроде как бесов тешили. Такой факт, товарищи!

Зашумели мы, негромко, правда, вполголоса. Кто-то перекрестился даже.

— А пан наш — тот, что статую заказал, хитер оказался. Рассказали мне в городе Харькове знающие люди такую историю: сделал пану мастер итальянский копию точную, мраморную. А пан кому надо лапу салом смазал — и Венеру настоящую подменил. Подменил — и к нам привез. Возмущались люди в стране Италии, только у пана золота хватало, заткнул он тем золотом глотки. Кому заткнул, кому и залил. Развели товарищи итальянцы руками, извинились. Ошибка вышла, мол, погорячились. Вот вам следующий факт, товарищи!

Ох, интересно мне стало! Словно не наяву все, словно книжку читаю про Ника Картера или про самого Шерлока Холмса. Да разве только мне одному? А дядько меж тем дальше ведет:

— Проклятой же ее, статую, прозвали за дело. Как привезли ее в маенток, стали место в парке готовить, пропала в селе нашем

дивчина. Красивая была, говорят, получше всякой итальянской Венеры. Искали — не нашли. Только слух прошел, будто пан велел дивчину схватить и под статуей живьем закопать ради чаклунства своего упыриного. Поднялся шум да быстро стих, вновь панское золото всем рты закрыло. Потому и проклята она, Венера Миргородская. Это, товарищи, факт третий и последний.

— Так чего? — не выдержал кто-то. — Выходит, девка мраморная скарб стережет? Она нам золото панское и покажет?

Пустое спросил! Зашумели коммунары, нахмурились. Пусть и неправда все, байки старые, только зачем такая Венера нашей коммуне? Пусть берет кто хочет! Проголосовали — все «за». Гляжу — и дивчина новая «за».

— Вопрос ясен! — рассудил дядько Петро. — Пошли в парк, товарищи!

Нет, дочка, статую ломать не стали. Все-таки резьба затейливая, память историческая. Сняли ее с постамента — и за ограду вынесли. Уноси, не жалко! А потом постаментом занялись. Сковырнули с места, копнули на аршин. . Эх, дочка, если бы скарб! Валялись там кости человечьи, а меж костями — монисто стекла цветного да перстенек медный. Выходит, верно говорили люди. И вправду — Проклятая Венера!

Ночью не выдержал, за ограду выбрался, к статуе подошел. Лежит она в траве, спокойная такая, и лицо уже не злое, обычное. Даже почудилось, будто улыбка по губам ее мраморным скользнула. Чего только в темноте не привидится? А я стоял возле нее и думал: неужто паны наши в дикость подобную верить могли? За что дивчину страшной смертью сгубили? Как идол мраморный скарб хранить может? Да и есть ли он, этот скарб?

Вот такой он, дочка, фольклор вместе с Шерлоком Холмсом.

А дядько мой недолго прожил. Дивно даже: молодой совсем, а не на войне сгинул. Так просто умер. Собирали мы урожай наш первый коммунарский, торопились, потому что Деникин уже Харьков взял. Дивчина та, что из города, с нами осталась. Не просто осталась — от дядьки Петра ни на шаг не отходила. Он в поле, и она в поле, он на ток, и она туда же. Даром что городская. Все видели, все и радовались. И в самом деле, сколько такому казаку, черноусому да пригожему, одному жить и сына без мамки на ноги ставить?

Поговаривали, будто инструктор она из союза молодежи, но так ли это, кто знает? А как звали, не запомнил отчего-то. Странно даже, всякая мелочь на ум приходит, а тут!..

Заболел дядько за неделю до Деникина. Мы уже эвакуацию

начали, отряд из хлопцев собрали, а он и слег. Говорили, будто лихорадка, врач из Ольшан приезжал. Помню, белым мне дядько мой Петро казался, мрамора белее. И — холодный весь. Думал я: что за лихорадка такая непонятная? Или иную заразу кто занес? А еще помню — дивчина та только возле него и была. Так и сидела, днем, ночью. Не отдыхала даже.

Умер дядько Петро, похоронили мы его, звезду из жести над могилой поставили — и на север, вслед за Красной Армией. Вовремя! На следующий день к нам в село деникинцы пожаловали, а с ними — два сына панских. Ох и не повезло тем из коммуны, кто решил остаться!

И вот что еще странно, дочка. До последней минуты та дивчина рядом с дядькой была, а на погост не пришла. Удивлялись мы все. Как же так? Только не спросишь, не видели мы ее больше.

Про Венеру я через десять лет вспомнил, в самую коллективизацию Тогда в имении панском уже не коммуна была — МТС. А я в селе нашем комсомолией верховодил. И вот прислали к нам на укрепление хлопца одного — по культурной линии. Решило руководство при станции машинно-тракторной газету организовать, вот его редактором и назначили. Максимом звали. Веселый хлопец, решительный. Прозвище мы ему дали Карандашенко, потому как Максим всегда с собой карандаши таскал — целых семь штук, чтобы, значит, разных цветов были. И вот услыхал Максим Карандашенко про историю с Венерой. Услыхал — и сразу загорелся, словно сухой очерет. «Найду я скарб!» — сказал. И что ты думаешь, дочка? Нашел — только не совсем то, что думал.

А искал он так. Узнал у всех, кто что запомнил, меня тоже расспросил, целый день не отставал, чего рассказали, в тетрадь записал — и стал крепко думать. Особенно про слова панские, перед смертью сказанные. Помню, он, Максим, эти слова на отдельный листок занес и с тем листком не расставался. «Тут ключ!» — повторял.

Приходит однажды он ко мне — и листок на стол. Гляди, мол, товарищ. Гляжу — подчеркнуты там красным карандашом слова. Какие слова? А те, что «Проклятая покажет». «Думали об этом?» — спрашивает. Думали, отвечаю. «А как думали?» Я ему про тумбу, пьедестал которая, а он головой качает. Не в том, мол, сила.

Вот тогда ему Венера и понадобилась. Только как ее найдешь после стольких-то лет? Сходили мы на место, где она в траве лежала, все вокруг осмотрели. Да где там, словно под землю ушла! То ли еще при Деникине забрали (недаром сыновья панские приезжали!), а может, и наши расстарались, куда подальше определили.

Ладно.

Не вышло с Венерой, тогда Максим ее рисовать стал — со слов наших. Даже дивчину одну попросил на месте, где тумба была, в виде Венеры с рукой протянутой постоять. Дивчина та вроде бы при МТС числилась. Строгая такая, в красной косынке, в очках железных. Почему «вроде бы»? В том-то и дело, что «вроде». Звали? Нет, не помню, давно дело было.

Постояла дивчина вместо Венеры, серьезно так, не улыбаясь, а Максим рисунок закончил, сложил вдвое и ко мне повернулся.

— Как вы мыслите, для чего пан перед смертью те слова говорил? — спрашивает. — С какой радости вам про скарб рассказывал?

— Не из радости, а из злобы классовой, понятно, — отвечаю. — Гонор свой панский напоследок тешил.

— И так быть могло. — Карандашенко кивает. — Только вот иная мысль имеется. Что, если про скарб один он и знал? Сам прятал, сам хранил. И захотелось пану сынам своим место верное подсказать, ведь о его словах все узнают. Но подсказать тонко, чтоб свои лишь поняли.

— «Проклятая покажет»? — начинаю понимать. — Чтобы Венера место указала? Так одной руки у нее не было...

— Зато вторая на месте! — Карандашенко смеется. — Эх, жаль, потеряли мраморную. Ну ничего. Все к одному сходится — сюда рука указывала. В эту самую точку!

И на место среди травы кивает. И мы с дивчиной киваем: вроде без ошибки, туда палец мраморный целился.

И — пошли за лопатами.

Нашли? Да, почти сразу. Земли полсажени сняли, а под ней — крышка деревянная. Сундук! Собрали мы народ, пояснили, что к чему, и стали панскими сокровищами любоваться.

А ничего такого, дочка, там и не было. Оружие только — старое да ржавое. Револьверы, патроны к ним и еще другие патроны — к винтовке «мосинской». Вот и весь панский скарб. Патроны и прочее мы в сарае заперли, позвонили куда следует, да и разошлись по работам. Обидно было, конечно. Обманул, выходит, старый пан!

Один лишь Карандашенко не унывал, нас подбадривал. Не верю, мол! Не всё это, совсем другое пан прятал. Хитрость тут, но я хитрость панскую наружу выверну. Уверенно так говорил.

А наутро сгинул наш Максим. Только через три дня и нашли — в речке Студне за четыре версты. Да куда там купался! Одетый был, при оружии. А в «нагане» двух патронов, между прочим, не оказалось. Стрелял напоследок, выходит.

Что началось, понять легко. А тут и дивчина пропала — та, что строгая и в очках. Обыскались — нет нигде. То ли ее вместе

с Максимом враги народа угробили, то ли наоборот совсем. Ведь у нас в селе считали, что она в МТС служит, а на станции — будто сельская она, при школе. И документы ее ненастоящими оказались, даже фотография совсем другая.

Верно, дочка, я тоже дивчину, что с дядькой моим Петром дружила, сразу вспомнил. Только не она это — и возрастом не вышла, и лицом иная. Правда, внешность ее мы как раз и не запомнили. Следователь нас и так, и этак, а мы руками разводим. Очки помешали, наверно. А рисунок, что Карандашенко с нее снимал, пропал, и все записи пропали. Вот и думай как хочешь.

Потом у нас много про классовых врагов говорили и про бдительность утраченную, только кое-кто иначе считал. Нехорошее дело — панский скарб. Ой, недоброе! Не ошибся старый пан, выпустили мы смерть из-под земли.

И снова десять лет Венеру мы не вспоминали. Не совсем, понятно. Говорили меж собой, о скарбе проклятом думали. Многие точно уверовали — есть он, скарб! Хитер был его превосходительство, глаза всем отвел. Эх, не уберегли мы Максима!

После... После, известное дело, война. А как немцы к нам осенью пришли, так с ними один из сыновей панских объявился — младший. В форме немецкой, говорит не по-нашему, но все равно узнали. Узнали — да и поняли, зачем вернулся. И в самом деле, взял он десяток Гансов с лопатами и стал все вокруг перекапывать. Прав оказался бедняга Максим — не знали сыны панские точного места. Но в скарб крепко верили.

Нашли? Не успели — партизаны из отряда имени товарища Химерного о них позаботились. Переводчица, что при немцах была, отряд прямо в маенток провела мимо постов. Чисто всех положили, без потерь почти. И пана-предателя, и немцев его. Вот только дивчина в том бою пропала. Искали, все осмотрели — нет ее. Ну, на войне и не такое случается.

А мне довелось, правда, уже в 1944-м, в санаторий попасть. Нет, это не к тому, что я вместо фронта здоровье укреплял. Ранили меня за Днепром у города Белая Церковь. Плохо ранили, рана загноилась, так что после госпиталя отправили меня долечиваться под город Москву в бывший графский маенток. Ох и маенток! Красиво там, что в доме, что в парке. Статуи стоят мраморные — с руками и без. Вот тут-то я Венеру нашу и вспомнил. Но не из-за мраморов.

Иду я как-то по аллее парковой, красотами любуюсь. Гляжу: вот так диво! Васыль, брат двоюродный, дядьки Петра сын! Тот самый — вырос только. В командирской форме, голова в бинтах, грудь в медалях. Ну радость!

Обнялись мы, а потом целый день не расставались, все наговориться не могли. Он про фронт — и я про фронт, он про село

наше — и я про село. Он ведь, Васыль, из дому еще до войны уехал — на командира Рабочей и Крестьянской учиться. И Венеру вспомнили, чтоб ей еще глубже под землю провалиться. Конечно, это я больше рассказывал, Васыль Венеру ту и не видел ни разу. Стало ему интересно, поведал я все, чего помнил: и про дядьку, и про Максима. А Васыль кивает, подробности выспрашивает, уточняет. Особенно про панские слова и про то, как статуя пальцем в траву указывала. Выспросил, покрутил головой.

— Не все твой Карандашенко понял, — говорит. — Хитрую вещь паны наши придумали, да мы похитрей будем.

А через дня три позвал он меня в библиотеку. Богатая в санатории оказалась библиотека, с графских еще времен. Усадил Васыль меня за стол, книжку большую на непонятном языке развернул — там, где картинка на всю страницу:

— Гляди!

Гляжу. И что ты думаешь, дочка? Она — Венера Миргородская. Вернее, не совсем она.

— Миргородской ее у нас прозвали, — Васыль поясняет. — А в Италии именовалась она Венерой Капуанской и хранилась в научном музее в портовом городе Неаполе. В том самом, откуда дивизия пришла, которую я на Волге с друзьями моими добивал, в землю заколачивал. Только не в том интерес. Смотри, все так, как ты помнишь, или иначе что?

Да чего там смотреть? И так ясно: на рисунке-то Венера не с одной рукой — с двумя. Правая — та, что уцелела, — вперед и вниз указывает, а вот левая... Эге! А Васыль смеется:

— Чего пан перед смертью говорил? «Проклятая покажет, хоть и не с руки ей это». Так? А почему «не с руки»? Потому, что потеряла она руку! Не иначе по панскому приказу и отбили, чтобы тайну скрыть. А сундук с оружием пан для отвода глаз закопал, умный был, вражина. Это вроде как мы ложный аэродром у себя строили, чтобы немцев-гадов с толку сбить.

Гляжу на картинку — точно. Вот так закавыку удумал старый пан! На сынов своих надежду имел, они-то помнили, куда левая рука указывать должна. Только, видать, не по умишку им Венера оказалась. Оскудели мозги панские!

— Скоро, как отпуск мне выправят, домой заеду, — Васыль продолжает. — Возьму с собой дивчину мою, подругу боевую, могиле батьки поклонюсь. А заодно и вопрос с Венерой урегулирую, потому что оставил мне его батька вроде как в наследство. А вопрос почти ясный, только погляжу, куда рука Венерина указывать могла.

А я про другое думаю. Венера — ладно, а вот что за дивчина? Никак скоро на свадьбе плясать?

С дивчиной, как оказалось, Васыль в госпитале познакомил-

ся. И так познакомился, что решение тут же принял. Значит, и в самом деле — попляшем. Доброе дело!

Нет, дочка, не видел я ее. Саму не видел, а вот фотографию Васыль показал. Красивая дивчина, в форме военной, при медалях. Только лицо какое-то... Не злое, конечно, но будто расстроил ее кто. А так — справная, слов нет. Залюбовался я ею, родственницей моей будущей, а потом взгляд на Венеру, что на картинке, перевел. Протер глаза, снова взглянул... Почудилось, конечно! Это только в твоем фольклоре, дочка, мрамор оживать в силах. Мало ли что чудится? Вот, к примеру, мне все кажется, будто встречались мы с тобой уже, виделись...

А Васыль... Эх, и вспоминать страшно! Погиб Васыль — почти у самых наших Терновцов. Ехал на машине, домой спешил, да и на мину напоролся. Большие там у нас бои были, много смерти железной в земле осталось. И он сгинул, и дивчина, что с ним ехала. Так разнесло бедных, что и узнать нелегко было.

Тем и кончилось, дочка. Положили Васыля рядом с батьком его...

Вот, стало быть, дочка, такая история. А скарб? Что скарб! Как Васыля не стало, не захотелось мне о скарбе проклятом и думать. Тони он в болоте, цур ему! Да и мне самому домой попасть довелось не сразу. Долго война кружила, а после войны за кордоном служить пришлось. Ну, это долгий рассказ.

А вот недавно решил я поглядеть, что оно и как. Там сейчас, в бывшем маентке панском, пусто. Дом в войну сгорел, а парк немцы на дрова пустили. Грязно всюду, неуютно, а ведь какая в прежние годы пышность была! Нашел я место, где Венера стояла, — да все разом и вспомнил. Эх, думаю, что за тайну ты, Проклятая, прятала? Представил я ее, мраморную, и руку левую представил. Куда указывала? Ошибиться могу, конечно, но вроде бы на флигель, что напротив стоял, а точнее если — на вход в подвал. Он, подвал тот, сейчас землей закидан, но флигель ничего, стоит.

Вот и думаю, не взять ли мне лопату да не пройтись ли туда, к флигелю, чтобы разъяснить вопрос? Правда все это — или просто байки? Фольклор, если по-нынешнему. Сегодня как раз собирался, а тут ты, дочка, и пожаловала.

Так из какой, говоришь, ты газеты?

ДЕНЬ МЕРТВЫХ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Автобус, разумеется, опаздывал. Редкие прохожие с удивлением косились на пестрый табор, скучавший у запертых дверей ДК п/о «Стройматериалы». Кидали исподтишка любопытные

взгляды — словно леску со ржавым крючком на конце! — и, ничего не зацепив с первой попытки, спешили дальше. Психи, не иначе. В воскресенье, ранним утром, в мозглявой сырости ноября куковать под Домом культуры?

Точно, психи.

Прохожие были кругом правы. Со своей, прохожей, точки зрения. Только человек, по кому дурдом плачет горючими слезами, отпахав рабочий день на заводе или в КБ, попрется вечером на репетицию любительского театра. Трижды в неделю. Допоздна. А в промежутках — учи роль, выделывайся дома перед зеркалом, злись, что никак не можешь поймать верную интонацию... Раз в год — премьера. Перед жалкой полусотней (удача, если сотней!) родственников, друзей и маньяков-единомышленников. Да, бывали аплодисменты. Бывали и цветы: пять тощих астр, три худосочные гвоздики. Эти цветы помнишь всю жизнь, как школьные поцелуи: наперечет, каждый — наособицу.

Но ни славы, ни тем более денег с этого идиотизма...

— Любимцы судьбы! Мы живем в безумное время в безумной стране! — обожал изрекать Колюн Никодимов, в миру Никодим или Никотин. — Лишь мы способны адекватно воспринять свихнувшуюся реальность. Вдумайтесь в сакральный смысл мудрых слов: Дом культуры Стройматериалов! Дом культуры Кирпичей, Бетона и Шлакоблоков! И вас бросит в жар от священного ужаса...

В спектакле, который сегодня планировался «на выезде», доморощенный философ играл Дядьку из таинственного села Супонево. Дядька олицетворял душу народа: он вез из города домой мешок черствого хлеба для голодающих свиней. Из режиссера Никотин выгрыз эту роль зубами. «Гамлета любой пень сварганит! Кто их видел, этих Гамлетов? — одни армяне. Ты, брат, поди изобрази деревенского мужичка!» На премьере он блистал, сорвав жидкий шквал оваций. Но сейчас заметно нервничал: предстояло выступление перед настоящими мужичками. Сермяжными, не замутненными цивилизацией.

Проверка на «правду жизни» пугала философа.

Из-за угла раздались фырканье и лязг, словно там еж-переросток волок телегу с металлоломом. Видавший виды «луазик» вырулил ко входу, обдав людей сизой вонью бензина.

Распахнулось чрево автобуса.

— Артисты? Грузитесь, поехали!

Самое смешное, что спектакль так и назывался: «Автобус». Сейчас в «луазик» забирались не актеры — персонажи. Небритый Дядька в ватнике и треухе; чета скромно, но прилично одетых инженеришек — Он и Она. Мелкий аппаратный прыщ с «дипломатом» — Сознательный. Виртуоз, похожий на интеллигентного раввина: очки, бородища, буйные кудри из-под шля-

пы. С трудом протиснув в дверь огромный футляр от виолончели, Виртуоз выбрал сиденье почище, уселся, бережно придерживая инструмент. Пара юных Влюбленных влетела, смеясь. Последним, кряхтя, влез Репризыч — режиссер-постановщик, он же худрук народного театра «Моветон» Вадим Романович Реприжецкий.

— Все на месте? Ну, ни пуха...

— К черту! — взорлил жизнерадостный хор.

Виртуоз, скучая, разминал пальцы. Подсмотрел однажды у настоящего виолончелиста, для образа. Минута-другая такой разминки, и в голове всплывала «Сарабанда», главная тема спектакля. Езды до Ольшан — часа полтора-два. Спектакль тоже начнется далеко не сразу по приезде. Но «автобусный» антураж настраивал на соответствующий лад.

Народ перебрасывался знакомыми репликами из пьесы:

— За мешок тоже надо бы талон прокомпостировать...

— Чего?

— Я говорю, надо за мешок пробить.

— Зачем?

— Багаж!

— Это мешок-то багаж? Будь чемодан или что понейлоновей...

Виртуоз и Репризыч, занявший первое сиденье у двери, не поддерживали общий треп. Режиссер дремал вполглаза, думая о своем. Месяц назад он снова подал заявление. В столицу, на Высшие режиссерские курсы при Министерстве культуры. Третья попытка. Желанные ВРК при ГИТИСе накрылись медным тазом, ВРК при Малом, в мастерской Суходеева — аналогично. Опять завернут? В Минкульте есть «лапа»... Не сказать, что большая и волосатая, — маленькая и облезлая. Правда, шустрая. Шанс имеется. Иначе кранты. Провинция энтузиастов жрет на завтрак, не подавившись. Болото местного розлива. Террариум доброжелателей. Не за свой успех — за чужой провал душу сатане продадут. Только сатане эти души без надобности.

Лежалый товар, с душком, с нафталинчиком.

Умрет здесь Репризыч, думал Виртуоз. Если не сбежит — сдохнет. Станет приходить на репетиции: мертвый, глухой. Смотреть пустыми глазами, говорить пустые слова, хоронить спектакли-мертвецы: один за другим. Поначалу все сделают вид, что так и надо. Дальше привыкнут. А что? Худрук самодеятельности — ходячий покойник? Бывает. За зарплатой небось является — живее всех живых. Вскоре труп сделает карьеру — мертвым делать карьеру проще. Назначат бывшего человека заместителем директора ДК, через десять лет, глядишь, в директора выбьется... Линяй куда подальше, брат Репризыч. К чертудьяволу, за тридевять земель. Пока жив, пока хотелка не скис-

ла... Ты линяй, а мы перетерпим. Кому нужен бесхозный театрик? — дадут нас в нагрузку организатору-методисту Расстегаю, возьмется Расстегай с нами День Ветерана организовывать. Он покойничек бывалый, бодрый, наваристый. Через пару месяцев мы разбежимся: умирать поодиночке.

Останутся вместо труппы — трупы

«Странно, — думал режиссер. — Какого рожна нас в Ольшаны распределили? По области юмористы ездят, частушечники. Аккордеон-баян, для танцев широких масс. Оркестры духовых инструментов. Эти... с ложками, с гребнями. Умельцы. А у нас «полноформат»: спектакль с антрактом. И с подвохом. По сюжету водила автобуса, возомнив себя единоличным кормчим, метётся без дороги, а пассажиры ему задницу по-всякому лижут. Зря ты, Анна Григорьевна, решила повысить в Ольшанах культурный уровень. Ой, зря. Дом твой — он, конечно, Дом народного творчества, а сердце умного, если верить старому еврею, в доме плача. Как бы не возрыдать.

Ладно, ништяк. В Ольшанах накормить обещали. И напоить».

Последнее думали оба: и Виртуоз, и Репризыч.

— ...Народ, ша! К нам дядя из Мексики приехал... двоюродный...

— Родственники за границей имеются? Скрывал? Так и запишем...

— Он там давно живет. С войны. Старый, под семьдесят. Решил перед смертью посетить историческую родину...

— Гостинцев заморских привез?

— Ага. Джинсы, сомбреро... И фотки. Вот, я с собой прихватил.

Фотографии немедленно пошли по рукам.

— Ни фига себе!

— Ой, а это что?

— Класс! Подпись видели?

— Зачитываю для отсталых: «День Мертвых в Доме культуры»! Круто! Мексика — это не только буритос, мучачос, сомбреро и пульке. Это еще и верно понятые торжества для усопших сограждан...

Репризыч вяло проглядел снимки. Молча передал дальше.

К Виртуозу фотографии добрались в конце. Цветные, красивые, словно открытки. Алтарь с распятием, всюду — витые свечи, цветы, фигурки святых. Баночки-скляночки — наверное, с благовониями. Весело скалятся маски-черепа в черных сомбреро и индейских уборах из перьев. Гирлянды цветов, крест, на котором вместо распятия — снова череп. Карнавальное шествие. Саваны, балахоны, жуткие личины, а над процессией крив-

ляется огромный скелет-марионетка. Праздник смерти. Ликующий тлен. Живые и мертвые — братья навек.

— Все там будем, мачос-мучачос!

Автобус давно выбрался из города. За грязными стеклами тянулись унылые поля. На жухлой стерне копошились птицы. Барин-дождь сек птиц стеклянными розгами. Черно-серая тоска. Не чета красочному празднику ацтекских мертвяков.

— Дядя рассказывал, у них на День Мертвых вся страна на ушах стоит. С тридцать первого октября по второе ноября. Булочки-черепа, пирожные-черепа, из сахара — опять черепа. На лбу пишут имена дорогих покойников. Сгрыз — значит, уважил. Грызть надо у адресата на могилке. Кладбища ночами от свечей сияют. Пьют эту... тыкилу! На кактусе краник: открыл, она и течет...

Мелькнул за железнодородным переездом санаторий с жизнеутверждающим названием «Ладушки». Ладушки-ладушки, где были, у бабушки... что ели — буритас, что пили — *тыкилу*... попили-поели, на могилку сели...

Автобус с лязгом крыл по матери ухабы грунтовки.

— Между прочим, сегодня как раз второе ноября.

— Черепа ни у кого с собой нет? Я б позавтракал...

— Дома оставили. С мозгами вместе...

— У меня есть.

Философ Никотин полез в свой бездонный мешок, долго рылся и извлек на свет божий череп: оскаленный, желтоватый.

Дружный хохот сотряс вильнувший на мокрой дороге автобус.

При въезде в райцентр из кустов под колеса бросился мужик. С виду — родной брат Никотина: ватник, треух, кирза. Вместо мешка у камикадзе имелся бокастый портфель-ветеран. Недорезанным поросенком завизжали тормоза. Водитель в сердцах выдал мудреный афоризм, где фигурировали сам мужик, его мать, коромысло, карбюратор, различные половые органы, дышло и почему-то — кунсткамера. Последнему слову водитель, похоже, придавал особенное, личное значение.

Смачно дохнув перегаром, мужик сунулся в дверь:

— Артисты?

— Самодеятельность, — с достоинством ответил Репризыч.

Сейчас он напоминал члена Палаты лордов в изгнании.

— Пафнутий Иннокентьевич, — представился мужик таким тоном, будто это все объясняло. — Ямщик, ехай прямо к клубу! Щас направо, значит.

Упав на свободное сиденье, ольшанец по-хозяйски обшарил взглядом салон. Будто загон для скота проверил: все ли овцы на месте. Взгляд запнулся об Никотина. Мужик мотнул головой,

задумчиво прикусил ручку портфеля, обернутую изолентой. «Нет, не зеркало», — решил наконец.

— Куда путь держишь, земляк?

— Супоневские мы, — не моргнув глазом сообщил Никотин.

Народ втихую давился от смеха, предвкушая потеху. Однако Пафнутий Иннокентьевич по простоте душевной ловушки избежал. Не стал выяснять, что это за Супонево и где оно находится. География была ему до лампочки. Внимание мужика привлек футляр от виолончели.

— Товарищ артист! Скрипочка у вас тово... габаритная, значит!

Попадание было стопроцентным. В пьесе этой репликой Виртуоза доставали с момента открытия занавеса. Автобус грохнул хохотом, в котором утонул традиционный ответ: «Это не скрипка!»

Мужик не обиделся.

— Юмористы, значит, — удовлетворенно заключил он. — Это хорошо.

По сторонам мелькали дощатые заборы, крашенные суриком, шифер крыш, кирпичные трубы дымоходов. Из-под колес с кудахтаньем шарахались куры. Против ожидания, автобус под чутким руководством местного Сусанина направился отнюдь не к центру Ольшан, где виднелись «этажерки» из белого кирпича. Площадь с позеленевшим от скуки памятником быстро осталась за кормой. Вновь потянулись бесконечные заборы и проулки между дворами. Минут через двадцать автобус остановился.

— Приехали, товарищи артисты! Вот он, наш клуб. Вылезай, цыгане, становись к стенке...

Клуб поражал воображение. Широкие, облицованные полированным гранитом ступени вели к шести высоким дверям парадного входа. На дверях имелись непременные бронзовые ручки. В отличие от памятника на площади, ручки сияли тусклым заревом. По бокам от входа монументальные колонны подпирали фронтон, украшенный лепниной: голуби, серпы, молоты, лиры и венки. Над этой символической барахолкой разместилось сусальное золото надписи: «Дворец культуры Ольшанской мебельной фабрики».

Бастион духа навис над пустырем. Воплощение мощи и торжества отечественной культуры.

— Залец у нас отличный, товарищи артисты! Тыщу человек запросто разместим! Отъюморите в лучшем виде!

— Тыщу, говоришь? — задумчиво цыкнул зубом Репризыч. Дождь прекратился, и режиссер полез в карман за сигаретами. Ломать голову над тем, почему ожидаемый клубишко вдруг обернулся эдаким кучерявым селезнем, не хотелось. — Добро б человек тридцать собралось...

— Не извольте тревожиться! Набьем, как сельдей в бочку!

Репризыч, однако, пребывал в сомнениях. Тем более что мужик с портфелем, обещая «набить сельдей», поспешил отвести глаза в сторону — и теперь старался не встречаться взглядом с режиссером.

— А как насчет акустики? Фонограмму там, музыку включить?

— Обижаете, товарищ главный артист! И музыка есть, и даже электричество. Чай, не впервой гостей принимаем! Покамест никто, значит, не жаловался.

В глаза Пафнутий Иннокентьевич по-прежнему старательно не смотрел.

— Вы докуривайте, и айда, — вдруг заторопился он. — После концерта стол накроем, посидим, как положено. И закусь, и это самое... — Мужик заговорщицки подмигнул. — Оно, конечно, борьба с этим самым, с пьянством, значит... Вот и поборемся: кто кого? Наш первачок — ого-го! Ну, скатертью дорожка! Пора мне...

— Может, хоть директору ДК нас представите? — возмутился Репризыч, белея от гнева. — Или кто там нас встречать должен?

— Не могу, товарищи дорогие, никак не могу. Бежать надо, дела у меня. Насчет вас в курсе, встретят, покажут, помогут...

Заканчивал беседу Пафнутий Иннокентьевич едва ли не на бегу, скороговоркой, быстро удаляясь от громады ДК. Миг, и ольшанец исчез в проулке меж двумя косыми, заброшенными хибарами.

Репризыч проводил его долгим взглядом. Затоптал окурок «Родопи», подхватил с земли сумку.

— Вперед, коллеги! Несем культуру в массы — пусть знает свое место!

Уже поднявшись по скользким ступеням, Виртуоз обернулся. На краю пустыря стояли люди. Местные. Группками по пять-десять человек. Никто не пытался подойти, заговорить, познакомиться. Узнать, чем собираются радовать жителей «товарищи артисты». Люди стояли, молчали, смотрели. Лишь когда рука легла на мерзлую бронзу дверной ручки, Виртуоз сообразил, что напомнила ему увиденная картина. Фильм из детства. Затих в ожидании неизбежного прифронтовой городок; на горизонте клубится дым, полыхают зарницы разрывов. И немногочисленные люди в штатском вот так же молча смотрят вслед бойцам, уходящим на передовую. Смотрят с сочувствием и затаенной надеждой. Безмолвно благословляя тех, кому, быть может, не суждено вернуться.

«Вы слышите, грохочут сапоги...»

От подобного сравнения мороз продрал по коже.

Фойе встретило гостей сумрачной пустотой. В левом, глухом торце громоздились штабеля стульев. Из другого торца лестница вела на второй этаж. Напротив — две двери в зал, справа и слева. Понурый фикус в кадке осуждающе качал листьями от сквозняка.

— Ага, разогнались. Встретят, покажут, помогут...

— Догонят и еще раз помогут...

— Есть кто живой?!

Не ответило даже эхо. Зов растерянно метнулся по фойе, взбежал по лестнице наверх, где и сгинул бесследно.

— Ладно, времени навалом. Начало в час, сейчас без четверти одиннадцать... Ждите тут, а я пойду поищу разумную жизнь.

Шаги режиссера стихли в недрах клуба-великана.

Разговаривать или шутить не хотелось. Масса камня и бетона, нависнув над головами, давила, впрессовывала в пол, запечатывала уста. Тишина дышала зябким оцепенением. У стены, украшенной панно на колхозные темы, выстроился еще один ряд стульев, но даже для того, чтобы просто подойти и сесть, понадобилось ощутимое усилие.

Ничего не происходило.

Беззвучие плотно забило уши, затвердело, схватилось цементным раствором.

Виртуоз с хрустом потянулся, расколов скорлупу наваждения. Подошел к правой двери, потянул на себя. Против ожидания, дверь оказалась не заперта. Темнота зала. Лишь узкий нож серого света рассек проход между креслами. Выключатель оказался в привычном месте: слева, на уровне головы. В зале родного ДК он располагался точно так же.

Этот пустяк придал бодрости.

— Народ, чего сидим? Пошли в зал, выгородку ставить.

За первопроходцем, сначала как сомнамбулы, но постепенно оживляясь на ходу, потянулись остальные. Погода, что ли, гнетет? Или в автобусе укачало?

Зал действительно был хорош. Мужик с портфелем не соврал. Темный глянец лака на спинках кресел, бордовый бархат сидений, ложи. Оркестровая яма. Балконы второго яруса с осточертевшей лепниной: серпы, голуби... Ага! Между особо наглым голубем и особо щербатым серпом расположилась трагическая маска. Учли специфику, значит, как сказал бы брат Пафнутий.

Ну и, соответственно, сцена. Широка, глубока... На такой и потеряться недолго. Колонки на стенах имеются. Теперь бы звукооператора разыскать... Ладно, пусть Репризыч заботится, это его дело.

— Обустроимся?

За кулисами обнаружился еще один склад пыльных стульев. Казалось, в ольшанском Дворце культуры на стульях помеша-

лись, складывая грудами где попало. Ладонями выбивая на ходу мягкие сиденья, подняв тучи пыли, соорудили выгородку — подобие автобусного салона. В «широкофокусной» перспективе, с расширением на зрителя. Развесили «антуражные» таблички: «Не забудьте оплатить свой проезд», «Водитель — общественный контролер», «Мусор из окон не выбрасывать». Финальный перл сюрреализма вывесил лично Никотин: «Занимайте свои места согласно купленным билетам».

Сознательный извлек из «дипломата» свинченный где-то компостер, выволок из кулис горбатую вешалку и прикрутил к ней компостер обрезком проволоки.

Всё.

Народ вяло бродил по сцене, обживая пространство. Никотин спустился в зал, уселся в четвертом ряду сбоку и попросил подать несколько реплик — проверить, как слышно. «У Репризыча научился, — думал Виртуоз, уйдя в кулисы. — Тот всегда так делает на новом месте...»

Рядом с мощным светопультом обнаружилась дверца, ведущая в кольцевой коридор. Миновав гримуборные, Виртуоз свернул к ложам. Ближняя к сцене ложа оказалась уютной, двухместной. Явно для начальства. Кресла широченные, с удобными подлокотниками. Шторки по краям позволяют при желании отгородиться от взглядов любопытного плебса. На стене ложи на специальных крюках висели кнут, свернутый в кольцо, и шесть-семь витых плетей. Натуральные, не бутафория. Метла в углу при ближайшем рассмотрении оказалась пуком розог. Тут же стояло ведро, откуда остро пахло огуречным рассолом. Атрибуты власти местных чиновников? Орудия вразумления скучных юмористов?

Розыгрыш?!

Если так, у здешних культработников своеобразное чувство юмора.

На столике перед правым креслом лежала книга. Солидная, толстая, в кожаном или очень удачно имитирующем кожу переплете. По углам — скобы желтого металла. Даже на первый взгляд книга выглядела антиквариатом. Виртуоз не удержался: взял тяжелый гроссбух, раскрыл наугад. Книга распахнулась ближе к концу, взгляд тупо зашарил по чистым желтоватым страницам. Записи обнаружились ближе к началу и заканчивались примерно на середине. Дат не было. Лишь краткие заметки, сделанные старательным, по-солдатски грубым почерком.

«Актерка Настасья в третьем акте запнулась дважды. Ду-ра. 4 пл.».

«В четверг коровник Степашка, представляя Ирода, уронил канделябр. Учинилась лихая угроза. 24 рзг.».

«Архипка пущает в опере петуха. 8 пл. Заменить дурака Федькой Трындецом».

«Валерьяну — 10 кнт. Штоб не икал. Хмельного не давать месяц».

«Софья для королевны старовата. И гнусит. Гнать взашей».

— Эй, Виртуоз! Сходи поищи Репризыча!

— Ага...

Поднявшись на второй этаж и миновав холл, где вполне удалось бы сыграть «Автобус» в камерном варианте — со стульями здесь тоже все в порядке, человек на шестьдесят публики! — он принялся блуждать лабиринтами коридоров. Через пять минут за углом послышались голоса, и Виртуоз двинулся туда. Одна из дверей оказалась слегка приоткрыта. Напротив в рамочке висело расписание занятий кружков: хорового пения, детского танца и мокро ме. Именно так и было написано: «мокро ме». Еще участников ансамбля «Дударики» приглашали собраться во вторник к 19.00.

— Простите, но я отказываюсь вас понимать! — ржавой жестью громыхнул из кабинета непривычно резкий голос Репризыча.

Виртуоз заглянул в щелку. Ничего толком не разглядев, потянул дверь на себя.

— Добрый день.

За массивным столом, похожим на выжившего бронтозавра, скорчился человечек: сутулый, почти горбун, пенсионного возраста. Лицо изрезано складками, журавлиный нос, пегие волосы сосульками висят по периметру лысины. В слезящихся, блеклых глазках застыло больное, загнанное выражение. Над горбуном, опершись руками о стол, грозно возвышался Репризыч.

— Здра... — рот горбуна дрогнул, пытаясь улыбнуться, и не смог, — ...сте.

Режиссер по-хозяйски махнул Виртуозу рукой:

— А, это ты. Заходи.

— Выгородка готова, Вадим Романыч. — При посторонних режиссера надобно величать по имени-отчеству; закон известный. — Меня за вами послали.

— Молодцы. Обожди здесь, мне надо... С товарищем разговор надо закончить. Располагайся.

Окна кабинета были забраны решетками. «Небо в клеточку» раздражало. Хотелось на свежий воздух. Пусть под дождь, в сырость. Пусть.

Очень хотелось.

— ...я убедительно рекомендую вам уезжать...

— ...а я отказываюсь понимать!

— ...извините, ради бога... мне трудно объяснить...

— ...а я требую объяснений! Вы нас пригласили!..

— ...вы все равно не...

— ...а вы попытайтесь, сделайте милость!

На стене, над сейфом, висела картина в золоченой раме. Виртуоз уставился в картину, словно от этого зависела его жизнь. Больше всего хотелось провалиться на первый этаж, к своим. И не слушать глупый скандал, не пялиться на «шедевр» — где, кстати, тоже шло театральное действо. Косматый великан-трагик в тесном сюртуке тянулся к залу, словно хотел ухватить кого-то за глотку. В углу сцены корчился, потешно закрыв голову руками, тщедушный комик, внешностью напоминавший хозяина кабинета. В кулисах готовились упасть в обморок бледные актеры, больше похожие на жителей штата Мэн, когда с погоста к ним движется взвод зомби. Зрительный зал большей частью пустовал. Лишь в креслах галерки развалился десяток громил самого разбойного вида, увешанных оружием. Партер же занимала публика благопристойная, в мундирах и кринолинах.

По центру первого ряда стоял во весь рост дородный господин.

Наклонясь вперед, он истово аплодировал трагику.

Виртуоз сделал шаг в сторону, вглядываясь, — и похолодел. Под другим углом зрения на картине проступили новые, ужасающие подробности. Белые, восковые лица мертвецов-зрителей. Слепые бельма глаз. Череп офицера-гусара раскроен ударом сабли. Всюду кровь: на груди дамы в белом платье, на щеках сидящего рядом кавалера. У старичка с моноклем перерезано горло. Синие, трупные щеки аплодирующего господина. Живыми выглядели разве что актеры на сцене и громилы на галерке.

Наваждение?!

Он шагнул обратно, и все разом вернулось на место. Дама пролила на платье вино из бокала. Щеки ее кавалера раскраснелись от жары. У старичка с моноклем на шее просто складка. Кудри гусара расчесаны на идеальный пробор. А цвет щек аплодирующего — вполне естественный.

Горбун с Репризычем внимательно смотрели на него. И Виртуоз понял, что Репризыч тоже успел получить удовольствие от полотна в золоченой раме.

— Ну, если вы все-таки настаиваете... — протянул наконец горбун.

Он не сводил глаз с Виртуоза, но обращался явно к режиссеру.

— Настаиваю.

— Извольте. И пеняйте на себя.

* * *

Аристарх Матюшкевич, помещик из Ольшан, слыл меж соседями изрядным оригиналом. Деспот и самодур, скорый на руку и бранное слово, пан Ярый Страх — как Аристарха перекре-

стили за глаза доброжелатели — если чудил, то с размахом. Бог весть, зачем он обустроил в усадьбе крепостной театр. В самом театре было мало удивительного: южные и северные окраины империи в те годы, повинуясь моде, переполнились господскими театрами, как зимними, крытыми, так и «воздушными», устраиваемыми в парках летом. Но Матюшкевич?! Человек, столь же далекий от искусства, сколь далеки Ольшаны от Стамбула?!

Должно быть, испытав власть над телами и пресытясь ею, захотелось барину ощутить себя владыкой над тонкой материей. Взять в кулак живое дыхание, обуздать неподвластное; запрячь в тарантас тройку мотыльков.

Сказано — сделано.

Через год западное крыло усадьбы превратилось в истинный храм муз. Партер, бельэтаж, бенуар, ложи, галерея. Неизвестно, как радовались музы, угодив в кабальную «крепость», а мнения холопов, отобранных для хозяйского увеселения, никто не спрашивал. Двое ражих детин, Олесь Перекуйлихо и Дмытро Хвыльовой, наряжены в ливрейные фраки с цветастым галуном по вороту, учились ходить с вежеством и откликаться на смешное звание «капельдинера». В суфлерской будке тосковал хромой бортник Шибеница, единственный, кто с грехом пополам разумел грамоту. А немец Туфель, Карл Иоганныч, специально выписанный из Полтавы, где страдал от вульгарности населения, пил горькую и обучал труппу «оперическому искусству».

Главную трудность вызывали женские роли. Если в иных усадебных театрах девок отправляли прислуживать барыне-помещице, дабы обучались манерам для представления королев и императриц, то Матюшкевич был вдов. А гаремные услуги, до которых пан был зело охоч, никак не способствовали впитыванию мерзавками «бонтона». Ничего.

Розги тоже неплохо помогали.

Пример Матюшкевич во многом брал с закадычного друга, графа Сергея Каменского. Про орловского театрала писали в «Друге Россиян», что в течение года крепостными актерами графа к увеселению публики было поставлено восемьдесят две пьесы, из коих восемнадцать опер, пятнадцать драм, сорок одна комедия, шесть балетов и две трагедии. Не имея возможности конкурировать с богачом Каменским в роскоши, пан Ярый Страх решил брать строгостью. Лично присутствуя на репетициях в отдельной, господской ложе, он завел специальную книгу, куда записывал промахи актеров и оркестрантов.

На стене за креслом, дожидаясь своего часа, висели плетки для «вдохновения».

Работы плетям выпадало много. Поди научи коровницу Дидоной выхаживать! А уж когда требовалось безграмотного дурня

учить виршам с голоса, на слух. . Будь ты милосердней Николая-угодника, все равно за нагайку схватишься.

— Помилуйте, Аристарх Глебыч, — улыбались соседи, хмельные и довольные, разъезжаясь из Ольшан после комической оперы «Своя ноша не тянет». В их устах мягкое малороссское «г» превращало хозяина в «Хлебыча»: душистого, сытного. — Вы просто наш губернский Аполлон! Дай вам бог таланта и всяческого здоровья!

Отъехав же от усадьбы, бились об заклад: сколько еще продержится сия затея?

Возможно, пан Матюшкевич и впрямь скоро охладел бы к театру, ввязавшись в иную «халепу». Только черт дернул барина затащить на сцену Пилипа Скаженного, сына местного коваля. Был Скаженный велик ростом, дороден, кудри имел косматые, глас — трубный и доходчивый до всякого сословия. Бросать кузницу он никак не желал, упираясь, что называется, рогами в косяк. Лишь после шестого визита на конюшню, вдрызг истрепанный поркой, зарекся упрямый ковальчук возражать панской воле.

Смирился.

«Буду, значит, представлять «на тиятре», трясця его матери».

Пьяный немец Туфель бранил Скаженного непотребно. Изгалялся во все тяжкие. Однако времени с лоботрясом проводил больше, чем даже наедине с пышной красоткой Оксаной Кулиш, обучая последнюю «томности». Собственно, немец первым назвал Пилипа «трагиком», о чем имел тайный разговор с барином.

— Трагик? — спросил Ярый Страх.

И почесал лысину чубуком.

Дальше история наша приобретает черты игривого старца на балу, ибо ведет себя самым непристойным образом. Забыв на время о людях знатных в лице дворянина Матюшкевича, история принимается следить за низким холопом, частенько теряя его из виду на длительный срок. Оставаясь «в крепости», Пилип волей барина был отпущен в актерскую науку. И — завертелось! Сперва ковальчук возникает в Харьковском театре, где успешно трудится в эпизодах, подменяя в бенефисах запойных либо проигравшихся в карты актеришек. Стремительно обучившись грамоте, переписывает тексты ролей и суфлирует; через шесть месяцев поет в опере «Москаль-Чаровник», к вящей радости публики обнаружив густой, проникновенный баритон. Покинув Харьков, разъезжает с труппой Штейна и Калиновского, затем, во время Алексеевской ярмарки примеченный чиновником конторы московских театров, перебирается в столицу. Имя трагика появляется на афишах в первых строках: Пилип Скаженный чудесным образом превращается в Филиппа Каженова. Правда, как крепостного, его никогда не именуют в афише или программе спектакля «господином», обходясь просто фамилией — в отличие от вольных людей искусства.

Он много гастролирует. В Ольгове по приглашению графа Апраксина, в Ивановском у графов Закревских, в Марфине у Паниных, в Яропольце Волоколамском у Загряжских. Всегда — с неизменным успехом.

Слава идет за ним по пятам.

В газетах пишут: гений.

Трагика пытались выкупить дважды. Сперва — казенным коштом для зачисления на императорскую сцену. Матюшкевич отказал, не объясняя причин. Затем, через два года, коллеги по сцене собрали для Каженова выручку с пяти бенефисов: случай, скажем прямо, небывалый. Влиятельные друзья присовокупили к этим деньгам свою толику и предложили Матюшкевичу три с половиной тысячи рублей. Ярый Страх отказал снова. Когда ему намекнули, что всего за две трети такой суммы некий помещик Энгельгардт с радостью отпустил на волю крепостного художника, — Матюшкевич расхохотался.

— Ихние живописцы нашим трагикам не чета! — заявил пан, подкручивая усы. — Рылом не вышли. Энгельгардты Матюшкевичам также не пример. Собственным умом живу, слава богу. Быть ковальчуку в крепости, и баста!

Кое-кто злословил, что интерес пана к театру не ослабел лишь по причине тщеславия. Вот, дескать, какой человек у меня в холопах! Вы ему в ладоши бьете, «браво» кричите, а я захочу и велю в плети бросить!

Захотел.

Следующей зимой пан велел актеру возвращаться.

Поколобродил, выучился, пора и честь знать.

Правда или брехня, что трагик пытался от великой радости руки на себя наложить, — о том история умалчивает. Во всяком случае, живой и не пустившийся в бега, Филипп Каженов ранней весной объявляется в Ольшанах. Бледный, огромный, косматый. Для начала Ярый Страх ласково пригласил трагика на конюшню, вспомнить молодость, — где сразу из столичной штучки превратил в давнего знакомца: Пилипа Скаженного. Порка, она быстро ума вставляет. А ближе к маю — зеленому, благоуханному — в Ольшаны съехались гости-соседи: смотреть премьеру.

Какой спектакль игрался, не запомнилось.

Не все ли равно, что представляли в Ольшанах, если во время забавы усадьбу взяла налетом шайка Гната Опришка.

Когда Гнатовы лиходеи срывали драгоценности с присутствующих дам, у пана Матюшкевича взыграло ретивое. Не снес бесчестья Ярый Страх, не стал дожидаться, пока власти поймают да утихомирят разбойников. Взялся за плеть, поддержан с флангов гусарским ротмистром Вишневым и престарелым гордецом Селезнявским, чей дух оказался много сильнее немощного тела. Была б сабелька или ружье, вышло б ловчей, только

судьба распорядилась иначе. В театр с оружием одни головорезы ходят.

Бой вышел коротким.

Вскоре Гнат оглядел «тиятр», где в креслах и меж рядами раскинулись мертвецы, и подумал, что самый ловкий лекарь не нашел бы здесь живой души.

Он был шутник, веселый Опришок.

— Валяйте! — махнул Гнат актерам. — Ну?!

И для острастки пальнул в стену из пистоля.

Играть спектакль перед убитыми, веселя убийц, не решился никто из труппы. Актеры пятились, бормотали молитвы, согласные погибнуть злой смертью, но не осквернять сердце глумлением над мертвецами. Пожалуй, зная норов Опришка, идти бы труппе на тот свет следом за почтенной публикой — только собратьев по искусству спас Пилип. Дик и безумен, он вихрем вырвался на авансцену.

Столичные зрители никогда не видели трагика в таком кураже.

— Буду! Буду представлять!

Расхохотавшись в лицо убитому пану, в одиночестве, забыв про онемевших актеров за спиной, Филипп Каженов — нет! Пилип Скаженный! бешеный! — играл. Один за всех. Переходя от роли к роли, меняя голос, занимая все сценическое пространство огромным телом своим. Сцена, бенуар, ложи, партер и бельэтаж — все был он. Ночью трагик повесится в конюшне, где не раз бывал порот, — соорудит петлю из конской упряжи, найдет подходящий крюк, закончит жизнь обыденно и скучно, совсем не театрально: тело-маятник, фырканье лошадей, запах прелой соломы. Но сейчас этого еще никто не знал. Как не знал никто, не мог предвидеть, что летом Гнат Опришок внезапно бросит разбойный промысел, уйдя иноком в Духосвятский монастырь.

Потому что в конце спектакля в зале встанет мертвый пан Матюшкевич.

И будет долго, страшно аплодировать своему трагику.

Племянник Ярого Страха, пехотный капитан Чугуевского полка Михаил Рыкин, вопреки фамилии был человеком робким и в поступках медленным. Сослуживцы именовали Рыкина когда Рыбкиным, а когда и Снулым Карпом, не без оснований сравнивая с толстой, вытащенной на берег рыбиной. Получив наследство, капитан с радостью вышел в отставку, перебравшись с семьей в Ольшаны. Жил тихо, замкнуто, из развлечений довольствуясь охотой на перепелов и вишневой наливкой, до которой был большой охотник. Театр в западном крыле не интересовал Рыкина. Он и к трагедии, постигшей благодетеля-дядюшку, отнесся с обычным равнодушием, свойственным его природе. Впрочем, «дикий вертеп», как отставной капитан именовал театр, велел дворне содержать в чистоте. Уговоры соседей

возвратить этой части усадьбы первозданный вид, вовсе стерев память об ужасном случае, пропали втуне. Михаил отмахнулся, сославшись на лень и небрежение суевериями.

Через год после переезда четы Рыкиных в Ольшаны, в начале ноября, глубокой ночью дура-девка из семьи пастуха Кубенки забралась в «вертеп». Девка была «луноходица»: так местные именовали бедолаг, кого полнолуние тянет во сне на улицу. Какого рожна ей там понадобилось, неизвестно. Дворня, бледная как снег, наушничала, будто девка плясала и пела на пустой сцене. А в зале якобы дергался новый барин, честно желая убежать, но оставаясь на месте. Ну и, разумеется, помимо несчастного капитана в господской ложе сидели двое: мертвый пан Матюшкевич и его трагик Пилип.

Пан Ярый Страх что-то отмечал в книге «для промахов», а трагик кусал губу.

Это было началом блистательной карьеры Софьи Кубенко, «императрицы сцены», о которой писали в столичных журналах, что она «пленяет благородным видом, искусной игрой, верным движением членов с выражением речей». Следующей же осенью после дебюта Софьи завернули в усадьбу приезжие итальянцы. Без видимой причины. В грязи застряли, попросились на ночлег. Молодые, горячие, бесстрашные. Сейчас каждый вспомнит знаменитый баритон Грациани или тенор Нодена — старого, уродливого, почти безголосого, чья фразировка тем не менее приводила в восторг Москву и Санкт-Петербург. А тогда — кто их знал?!

Многие наезжали в Ольшаны. Слухи на ногу быстры, а богема, потеряв кураж, утратив любовь публики, готова душу дьяволу продать за славу, за успех. А уж если слава-успех сгинули, удрали восвояси, так за возврат — было б две, три души, каждую бы продали, оптом и в розницу. Цену за такой товар одни считали непомерно высокой, другие — шутейной, третьи — и вовсе чистыми враками.

Дел-то сущая малость.

После смерти вернуться в Ольшаны, в крепостной театр Ярого Страха.

Бывала здесь Саранцева Ольга Петровна. Которая после визита в Ольшаны через три года сделалась «русская Варлей» и «стихия темперамента». Был комик Музиль Николай Игнатьевич: жаловался, что смеяться над ним перестали. Еще двенадцать лет с тех пор животики народ надрывал, глядя на Музиля. Господин Самарин посещал — когда хотели Самарина снять с роли бегущего льва в балете «Царь Кандавл». Ну, сыграл в Ольшанах. Потом в «Кандавле» до глубокой старости пробегал, царь зверей: дублера гениальному артисту найти не удалось. По дороге в Крым, в гости к Чехову, Константин Алексеев заглядывал со своими. Показал «Дядю Ваню». Спустя две недели снискал бурный успех в Севастополе, а о провале «Чайки» ни один критик больше и не заикнулся.

Не то чтоб в очередь становились, но случались гости без перебоев.

После революции в разграбленной усадьбе организовали клуб. Выступала «Синяя Блуза», городские агитаторы читали Демьяна Бедного. Пан Матюшкевич смотрел из ложи, черкал пером в «Книге промахов»; косматый трагик кусал синюю губу. Изредка барин аплодировал. На галерке тихо молился Гнат Опришок в иноческой рясе с капюшоном. Комиссары злились, но постановили монаха не трогать: после расстрела он опять неизменно возвращался смотреть представление. Рядом с покаявшимся разбойником, прямая и строгая, сидела Софья Кубенко, старуха с золотым взглядом «луноходицы». Умерла? Ну и что? Искусство, оно бессмертно, особенно здесь. Их много было в креслах, покойников. Зал на концертах и спектаклях всегда полон: «битковой аншлаг». Хотя местные жители старались обходить «вертеп» десятой дорогой. Ольшанцев не трогали· явка на мероприятие стопроцентная, «с перевыполнением», а если так — чего суетиться? Здание часто перестраивали: перед самой войной, затем восстанавливали после немецкой бомбежки, в начале шестидесятых реализовали новый проект, в 74-м снесли подчистую и возвели роскошный Дворец культуры — в этом захолустье гигант стоял пустым, как склеп...

Своей театральной самодеятельности в Ольшанах не заводили. Зачем?

* * *

— Валерян Игнатович! Ну я же вас просила... я умоляла вас!..

Крашеная блондинка, чей мощный затылок венчал шиньон в виде дульки, кипела праведным гневом. Колыхалась брошь на умопомрачительной груди, предвещая шторм. Волновались бока, затянутые в цветастый кримплен. Поясок на обширной талии грозил лопнуть: блондинке не хватало воздуха. Словно весь воздух кабинета отхлынул от директрисы — слово «директриса» шло ей бесподобно, как прожилки сала ветчине, — сосредоточась на горбуне и оставив блондинку задыхаться в вакууме ярости.

Мягкий знак в имени Валерьян она, похоже, опускала сознательно, желая оскорбить.

— Что он наговорил вам? Товарищи! Родненькие! Что он наплел... вам!.. этот псих?! Я всего на минутку... на одну минуточку... к Марь Васильне сапоги завезли, австрийские... на «манке»!.. Валерян Игнатович! Товарищи! Не слушайте его!

— Все в порядке. — Улыбка Репризыча источала масляное обаяние. Оно стекало на волны директрисы, и шторм успокаивался, скован по рукам и ногам. — Мы чудесно провели время. Валерьян... э-э...

— Игнатович, — мрачно напомнил горбун.

— Валерьян Игнатович рассказал нам чрезвычайно занимательную историю. Очень, очень, знаете ли, любопытная и поучительная история. Кажется, даже с моралью. Думаю, у вас отличный кружок краеведов...

— И вы... поверили?! — В необъятной груди директрисы всхлипнула расстроенная фисгармонь. — Да он же у нас клоун! Я вас предупреждала, Валерян Игнатович?! Только честно: предупреждала? Говорила, что приму меры?!

Горбун упрямо поджал губы, уставясь в пол.

— Предупреждали. Вот и мое дело — предупредить.

— Ну вы видите? Опять он за свое!

Виртуоз искренне сочувствовал директрисе. Иметь под началом горбатого психа — удовольствие ниже среднего.

— Вы ведь будете играть? Будете?

Репризыч внимательно смотрел на директрису. Словно впервые ее увидел.

— Можно от вас позвонить? По межгороду?

Вопрос явно застал пышную блондинку врасплох.

— Н-ну, я не знаю... вообще-то не положено... Но если это важно...

— Это очень важно, поверьте.

— Хорошо, звоните. Только недолго. Вам скоро выступать...

— Спасибо. Я успею.

В тишине отчетливо жужжал вращаемый диск телефона. Через плечо Репризыча Виртуоз видел, что худрук набирает код столицы. Лапе своей звонит, вдруг понял Виртуоз. Облезлой, шустрой лапе. И зачем звонит, тоже понял.

Одного не понял: почему именно сейчас.

— Алло! Герман Вениаминович? Здравствуйте. Это Вадим беспокоит. Да-да, я. Рад, что не забыли. Извините, что тревожу в выходной, но...

Долгая, душная пауза. Шуршит голос в трубке. Словно старик далеко-далеко, в столице, вышел на прогулку, шаркая больными ногами. Больше — ни звука. Лицо у Репризыча обыденное, стеклянный взгляд устремлен в забранное решеткой окно.

— Что? В пятницу? На заседании? Не хотели огорчать? Да, вы совершенно правы. Такие новости вполне могут обождать до понедельника...

Человек у телефона ухитряется повернуться спиной ко всем сразу. Теперь лица его не видит никто.

— Нет-нет, не стоит беспокоиться. Вы и так очень много для меня сделали. Да-да, конечно, позвоню... Если буду проездом — обязательно. Спасибо. До свиданья.

Сухо щелкает рычаг.

— Так вы будете выступать?

Директрисе очень важно это знать. Директриса обеспокоена. Дулька шиньона торчит навершием боевого шлема.

— Конечно, будем! А зачем мы сюда тащились по вашим буеракам?

В хитрых глазках Репризыча пляшет кураж. Словно лопнул невидимый поводок. Так бывало, когда к нему вдруг приходило решение «провисающей» сцены. Директриса вздыхает с видимым облегчением. Горбун собирается встрять в разговор, но опаздывает.

— У вас отличное фойе! То, что надо. Уютное, камерное... и стульев навалом...

— К-какое фойе?!

— На втором этаже, за углом. А, Никотин! Ты вовремя!

Директриса вздрагивает. На лице блондинки — ужас. Словно она ожидала обнаружить в дверях тот самый никотин, капля которого убивает лошадь. Нет, все в порядке — на пороге топчется обычный Колюн Никодимов. В ватнике, кирзачах и по уши в образе. Теперь черед ахать горбуну. Наверное, явление тени отца Гамлета произвело бы на Валерьяна Игнатовича меньший эффект. Он принял Никотина за местного, думает Виртуоз. За местного, зашедшего в ДК перед спектаклем. Вот почему... У происходящего отчетливый привкус чертовщины.

— Никотин, дуй за остальными! Тащите реквизит на второй этаж, в фойе. Ставьте выгородку, стулья для зрителей. Мы с Виртуозом скоро подойдем.

— Стойте, стойте! Какое фойе? У нас же зал!

Директриса напоминает вытащенную из воды рыбу. Виртуозу становится ее жалко. Но Репризыч уже приобнимает даму за внушительную талию. Сейчас он — само простодушие.

— Вы понимаете, у нас спектакль камерный. Для узкого, так сказать, круга. В вашем Дворце прекрасный зал! — В зале худрук «Моветона» не был, но врет, не моргнув и глазом. — Просто очень, извините, большой. Мои любители на вашей сцене потеряются.

— А... а зрители? Они же... не найдут! Не поместятся! Они...

— Не волнуйтесь. Мы объявим, где будет спектакль. И все прекрасно поместятся, поверьте моему опыту. Вот, кстати, у вас и магнитофон имеется. — Зоркий глаз Репризыча углядел пыльный «Юпитер» с колонками. — Установим на столике, я сяду на музыку...

— Вы не понимаете...

— Я все чудесно понимаю. Никотин, ты еще здесь? Бегом!

И снова — директрисе:

— Мы привыкли играть на той площадке, которая нам нравится. В конце концов, мы ведь свободные люди, верно? И вольны выбирать, где давать спектакль. Согласны?

— Господи! Перед кем... перед кем вы будете играть в этом дурацком фойе?!

Не ответив, Репризыч подходит к окну.

* * *

Возвращались поздно.

Автобус застрял у Градового. Упираясь всеми колесами, «луазик» фырчал и лез из грязи в князи. Водитель, единственный вынужденно трезвый и оттого заранее обиженный на козни судьбы, бранился монологами по пять минут каждый. В его качаловских паузах звучал пафос таинственной «кунсткамеры». Впрочем, авария никому не испортила настроения. Подогретое ольшанским первачом, настроение парило над суровыми буднями, выше ноября на целый локоть. Даже толкать автобус не хотелось.

Ну и не толкали.

Виртуоз чувствовал, что пьян. Это было чудесно. Во рту произрастали травы, коими изобиловал вкуснейший самогон хозяев. В сердце тек жидкий сахар, сбраживаясь в медовые реки. А в памяти до сих пор, упрямая, худая, какая-то вся несегодняшняя и нездешняя, стояла спина Репризыча — когда тот подошел к окну, наплевав на ноябрь, распахнул створки и взялся обеими руками за решетку.

Внизу, под ДК, ждали люди. Местные. Они никуда не делись. Виртуоз не мог их видеть из-за великолепной спины худрука, закрывшей обзор. Но знал наверняка: ждут. Вертят цигарки, чешут в затылках. Молчаливые истуканы, люди задирали головы один за другим, и на асфальтовых лицах пробивались чахлые, живые ростки удивления — первое человеческое чувство, помимо скучного ожидания невесть чего.

Руки, малопривычные к грубой работе, слегка тряхнули решетку. Словно попробовали на крепость. Крепость, Дворец культуры, неприступная, грозная цитадель, крепость, в которой испокон веков находились стены, стулья, сердца, души, без надежды на вольную, — да, Виртуоз понимал, что пьян, улыбаясь восторженно и слегка бессмысленно. Вот руки и попробовали: как держится? Еще разок тряхнули. И еще. Побелели костяшки пальцев, сомкнутых на упрямцах-прутьях. Что-то вякнула директриса, вжимаясь в угол. Закрыл руками голову псих Валерьян Игнатович: горбун окончательно стал похож на комика с картины.

Репризыч тряс решетку с веселым остервенением. Он честно собирался вырвать прутья из пазов и швырнуть на головы ольшанцам.

— Эй! Товарищи! — Затасканное, давно потерявшее смысл слово обрастало значениями, как на ране нарастает новая, розовая кожа. — Мы вам спектакль привезли! Обалденный! Классный! Смешной! Эй! Чего ждете! Заходите! Поднимайтесь! На второй этаж! В фойе! Эй! Товарищи, вашу мать! Опоздаете!

Базарный зазывала, бирюч на площади, Репризыч в кураже был неподражаем. Виртуоз и не заметил, когда подбежал, оттолкнув стонущего горбуна, встал рядом, тоже вцепился в прутья. Крепость содрогалась в неумелой хватке, от гранитных ступеней до

лепнины на фронтоне. Крепость выворачивалась из рук и все никак не могла освободиться. Крепость хотела освободиться.

Тряслась решетка.

— Эй! Поднимайтесь! — И самое главное, истрепанное едва ли не больше, чем сакраментальное «товарищи»: — Вход свободный! Вход! Свободный!

— Чего стоите?! Эй! Мы же к вам приехали!

— К вам, чтоб вас! Вход свободный! Для всех!..

Пьяный, счастливый, откинувшись на спинку автобусного сиденья, Виртуоз крутил в памяти это безумие. Поворачивал разными гранями: так складывают головоломку, больше наслаждаясь процессом, нежели результатом. Наверное, насморк сказался на дикции или самогон — на воспоминаниях, только последние слова с каждым новым поворотом — дороги? памяти?! головоломки?! — звучали чуть иначе:

— Вход свободным!

— Эй! Вход! Свободным!

Хрипела директриса, призывая на городских разгильдяев кары небесные и гнев руководства. Сжался в комок несчастный Валерьян, ожидая по меньшей мере конца света. А внизу, в пустом фойе, напряглась тишина. Выгнула спину в ожидании удара. И удар не заставил себя ждать. Хлопнула дверь, одна из шести. Сквозняк? Случайность?

«Вы слышите, грохочут сапоги...»

Они шли: робкие, смущенные, озирающиеся. Плохо понимая, что делают и зачем. Чувствуя себя чужими в великолепном Дворце и все равно двигаясь вперед. Спотыкаясь о вездесущие стулья, задевая шторы и обходя склочный фикус. Громко топая по лестнице. Они шли смотреть смешной, классный, обалденный спектакль. Если эти психи из-за решетки так разоряются, значит, надо идти смотреть. Иначе проживешь всю жизнь и ни черта не увидишь. А на картине, вслушиваясь, переставал аплодировать пан Матюшкевич. Замедлял движение ладоней Пока не замер совсем.

Напротив барина, прервав долгий бенефис, осекся его бешеный трагик.

— Вход свободным!

Виртуоз засыпал, убаюканный мерным движением автобуса. Когда его растолкают возле метро, он еще будет улыбаться. Будет улыбаться и водитель: измученному воздержанием шоферу выдадут трехлитровую банку с собой, «сухим пайком». А потом Виртуоз спустится в метро, сядет в поезд, в последний вагон, и поедет домой.

И милиция не станет задерживать пьяного, но счастливого человека.

Пусть идет.

Пентакль — пять пальцев, пять чувств,
пять сомнений,
Цвет солнца над крышей и нивы осенней,
Пожатье руки — связь пяти поколений,
Пять тусклых свечей по ночам,

Рассветные блики, вечерние тени,
Опять двадцать пять — и домашние стены
Укроют от странных, нездешних смятений
Ты — завтра?
Сегодня?
Сейчас?!

Черти на асфальте таинственный знак —
Рубеж сопряжения яви и сна

ПРОДАННАЯ ДУША

1

— Душу продай, а? — проникновенно попросил черт.

Клим тоскливо поглядел на монитор. Цветная рогатая рожа, заполнившая весь экран, ласково улыбалась. Рука Клима потянулась к кнопке «Reset».

— Не поможет. — Теперь голос черта был полон сочувствия. — Все равно появлюсь. Даже если диск отформатируешь. А выбросишь компьютер, переселюсь в холодильник. Устраивает?

Клим представил себе подобную перспективу и затосковал. Черт же, почуяв слабину, устремился в атаку.

— В церковь можешь не ходить, предупреждаю сразу Святая вода через монитор не действует, крест тоже. А священнику я просто покажу язык.

Язык был немедленно продемонстрирован самому Климу. Того передернуло.

— Ладно тебе! — Черт хмыкнул. — Ты же деловой человек, совладелец фирмы. Оцени ситуацию! Тебе повезло — купил не

просто компьютер, а компьютер с выигрышным лотерейным билетом.

— С тобой, что ли?

Клим прикинул, откуда рогатый знает о его фирме. Наверняка все файлы прочел! А это уже совсем худо.

— Со мной, со мной! — обрадовался черт. — Ну так как насчет души-то?

Черт и вправду был куплен вместе с компьютером. На прошлой неделе Клим специально заехал в областной центр, чтобы подобрать — не черта, конечно, — машину по вкусу. Отыскал — в огромном фирменном салоне, белом, словно упомянутый чертом холодильник. Дивчина в отделе выдачи, заполняя бумаги, как бы ненароком поинтересовалась: «Со *всем* покупаете?» Естественно, Клим услышал «совсем», естественно, ответил «да»...

Поясняя эти обстоятельства, черт ласково улыбался. Отчего бы ему не улыбаться? Клиент честно ответил на извечный вопрос-ловушку, остальное было делом его, рогатого, техники.

На четвертый день это дошло и до Клима. Итак, теперь он обзавелся чертом — персональным, как и компьютер. Рогатый не безобразничал, вирусов не напускал и даже позволял работать. Зато теперь каждое включение машины сопровождалось деловым предложением.

— А чего взамен? — поинтересовался Клим, постаравшись вложить в вопрос весь свой запас иронии. И ошибся, причем непоправимо. Ему часто приходилось вести деловые переговоры, и Клим знал, как опасно проявлять *любой* интерес.

Черт отозвался мгновенно:

— «Форточки-миллениум». Лицензионные. Плюс бесплатный Интернет. Выделенку поставлю.

Палец Клима лег на «Reset», и рогатый обиделся.

— Шуток не понимаешь?

Клим понял, что влип. Переговоры начались.

2

Он вернулся в родной город, в свои Ольшаны, два года назад. Коллеги по бизнесу посмеивались и руками разводили, не понимая, как можно променять огромный мегаполис на глухой райцентр с гремя школами и мебельной фабрикой. Прожигать заработанное лучше на Багамах, серьезные же дела в таких Тьмутараканях не делаются.

Клим так не считал. Начал он с того, что купил упомянутую фабрику. На паях, конечно.

Через год смеяться над ним перестали.

Но деньги, не очень большие, хотя и не маленькие, позволившие Климу быстро развернуться, все-таки не были главной причиной странного поступка. Он очень любил Ольшаны, откуда уехал шестнадцатилетним поступать в университет. Все годы хотел вернуться.

Вернулся. И очень скоро уразумел, что ошибся — как и с компьютером.

— «Феррари» не предлагаю, — уже вполне серьезно заявил черт. — Ездишь ты с шофером, сам не гоняешь. Но можно «Бугатти». Штучный, в мире всего пять экземпляров. Твой — пятый.

Клим поглядел на рогатую рожу не без интереса. От «Бугатти» он, положим, не отказался бы...

Но не такой же ценой!

Из-под нижней границы экрана появилась волосатая когтистая лапа. Послышался скрип — черт энергично скреб себя между рогами.

— Ладно! Теперь без шуток. Пакет акций двадцати ведущих фирм мира. О сумме договоримся. Говорю сразу: чем она больше, тем быстрее завершится сделка. Понимаешь, о чем я?

Клим кивнул, раззадорив рогатого еще сильнее.

— Сейчас открою директорию, там файлы с расценками. Эконом-пакет — десять лет...

— Стой!

Клим сообразил, что дела плохи, и нажал сразу на «Power».

Дела и вправду были так себе. Деньги шли, бизнес понемногу, но расширялся, однако радости не приносил. Так случалось и прежде. Хлопец из дальнего райцентра со свежим университетским дипломом с головой окунулся в Мальстрим, развернувшийся на месте сгинувшей навеки прежней *правильной* жизни. Первые «пирамиды», первые акции, первые бессонные ночи с пистолетом на туалетном столике. Выжили и выплыли не все Климу просто очень повезло.

Несколько лет сумасшедшей гонки — то в огромном городе, то вообще за границей — обернулись черной депрессией и отчаянными попытками отвести от виска пистолетный ствол. Родные Ольшаны казались Палестиной, Землей Обетованной. Память детства: парк возле маленькой речки, шумная автостанция, запах весенней земли...

Парк оказался на месте, автостанция тоже, апрельская земля

отчаянно пахла, и голубое весеннее небо по-прежнему сводило с ума.

Но все стало другим. И прежде всего — город.

3

Клим вышел во двор, зябко повел плечами, пожалев, что не накинул куртку. Начало апреля, вечер, еще три дня назад летали белые мухи. Но возвращаться в пустой дом, где можно поговорить только с чертом, не хотелось.

Дом достался Климу в наследство — родители так и не дождались его возвращения. Без них стало пусто, как и без одноклассников, разнесенных ветрами по всему свету. Те, что остались, смотрели косо, изредка прося в долг.

Города детства не было. Ольшаны оказались знакомым мегаполисом, только меньше, грязнее и скучнее. И люди в них были под стать городу. Даже хуже.

Клим помотал головой, отгоняя скверные мысли. Обычно черти входят в комплект с белой горячкой, его вариант еще провальней. Но, может, совсем наоборот? В конце концов, переговоры — не сделка.

Кроме того, с нечистой силой можно общаться не только с помощью креста.

Он улыбнулся — впервые за целый день. Вышел на улицу, сорвал с ближайшего дерева маленькую веточку с клейкими почками и быстро вернулся в дом.

Веточка была пристроена прямо перед монитором.

— Продолжаем? — радостно воскликнул черт, только появившись на экране, но мигом сморщил рожу. — Ой...

Теперь можно было и рассмеяться. Странно, у Клима резко улучшилось настроение.

— Эх, надо бы профессору написать, жаль, адреса не знаю. Опыт in anima vili! Осины боятся не только упыри. Доказано!

Рогатый пожевал черными губами, попытался улыбнуться.

— Зачем же так?

— Визитная карточка Ольшан! — весело пояснил Клим. — В Киеве — каштаны, в Одессе — акации, а у нас...

Он кивнул на веточку. Действительно, по давней традиции улицы райцентра (прежде — уездного города, еще раньше — казацкого села) были засажены именно осинами. До покупки нового компьютера Клима это очень удивляло.

— Будто не знаю, — так и не улыбнувшись, буркнул черт. — Всем нашим в этих местах, между прочим, день за три считается. И то добровольцев не найдешь... А ты о каком профессоре говоришь?

Клим был доволен. Первый раунд остался за ним.

4

Профессор, носивший совершенно невероятную фамилию Химерный, преподавал на их факультете историю. Специальность, ради которой Клим поступил в университет, была дальше от Клио, чем черт от алтаря, но Химерный Профессор, как прозвали его студенты, умел заставить себя слушать. Огромный, громогласный, невероятно ироничный, он приводил первокурсников в настоящий шок. Не понимая, зачем это нужно, они коротали вечера в библиотеке, конспектируя «Повесть временных лет» и заучивая наизусть строфы «Энеиды» великого Ивана Котляревского.

Любов к отчизне дэ героить,
Там сыла вража не устоить,
Там грудь сыльниша од гармат...

«Энеида», которую профессор использовал как пособие по изучению казачества, и привела первокурсника на спецкурс по украинскому фольклору, читаемый все тем же Химерным. Тут уж Клим увлекся не на шутку. Не только фольклором, конечно. Прошлое, так мало напоминавшее о себе в огромном городе, вдруг встало перед студентом, словно Вий перед Хомой. Пугающее, но зовущее: «Взгляни!»

На исторический факультет Клим не перевелся, но с Химерным Профессором общался до четвертого курса. Потом тот исчез. Почему и куда, Клим так и не узнал.

Осина, конечно, — мелочь. Из лекций, а потом и бесед студент запомнил куда больше. Возможно, это и стало одной из причин, заставивших Клима в конце концов вернуться домой. Под голубым весенним небом земля казалась роднее. Но вместо Вия-Прошлого его встретило совсем иное.

— Осина, значит, — кивнул черт, не дождавшись ответа. — Ладно, симметричный контрудар. С твоей документацией я ознакомился прямо тут, прочитал с жесткого диска...

Пауза, очевидно, требовалась, чтобы Клим осмыслил сказанное.

Он осмыслил.

— С долгами ты, конечно, расплатился бы, — черт дернул пятачком, словно принюхиваясь, — и то, что последняя сделка сорвалась, — еще не беда.

Пора было давить на «Power». Не просто давить — выдернуть вилку из розетки, грохнуть системный блок о паркет. Только что толку? Завтра он откроет холодильник...

— Но вот твои партнеры... С одним ты поссорился, и он, кажется, не прочь тобой позавтракать.

На этот раз рогатый облизнулся. Клим успел заметить черные пупырышки на самом кончике языка.

— И позавтракает. А второй партнер .. уточним — партнерша...

— Заткнись! — тихо, но четко проговорил Клим.

— Зачем так? — Рогатый удивленно моргнул. — Можешь просто выключить машину. Ах, не выключаешь? Тогда смотри!

Рожа исчезла. Вместо нее по экрану поползли цветные снимки, как на старом диапроекторе. Клим вгляделся, и ему стало плохо.

— Когда истекает срок ультиматума? — Из динамиков послышался сочувственный вздох. — Подсказать? А ты смотри, смотри! С этой дамой тебе придется пойти в ресторан, потом она отвезет тебя на своей «Вольво» домой. Там у нее сауна, маленькая такая. Фотографии, кстати, именно оттуда.

«Даме», а точнее, компаньонше Клима Галине было за пятьдесят. Фотографии ясно показывали, что она не зря покупала одежду исключительно в Париже.

— Выводы! — Черт вновь продемонстрировал когтистую лапу и принялся загибать пальцы. — Первое. С деньгами плохо. Второе. Партнеры не помогут и скорее всего пожертвуют именно тобой. И третье...

— Заткнись, — повторил Клим уже без всякой надежды.

— И третье! — рогатый повысил голос. — Чтобы выкрутиться, ты скоро отправишься в упомянутую сауну и станешь ублажать даму, тоже упомянутую. Рассказать, как это будет? Между прочим, не поможет, мужчины ей надоедают в лучшем случае через месяц...

Палец наконец-то смог надавить на нужную кнопку.

Второй раунд явно остался за чертом.

5

На главной улице было темно. Фонари, поставленные в честь полувекового юбилея революции, намертво погасли к ее семидесятилетию. Светили лишь огни баров — в последние годы их открывали на каждом шагу. Клим, человек деловой, поначалу уверился, что все эти «точки» прогорят, но вышло иначе. Огни вывесок по-прежнему сияли, а за столиками кучковались безвкусно одетые хлопцы и девочки с безумными глазами.

Наркотиками торговали в открытую. Девочки с безумными глазами охотно садились в иномарку за один «корабль» с коноплей на борту.

Клим вспомнил, как Химерный Профессор со смаком повествовал о том, чем был *справжний* казацкий шинок. Он вообще

не спешил говорить серьезно. Что ели, как пили, где гуляли, и лишь потом, словно нехотя, — о главном.

— Вы считаете, жизнь тогда была лучше? — не выдержал Клим, когда о главном все-таки поговорили. — И люди лучше? Мы все «славных прадедов великих правнуки поганые»?

Профессор нахмурился, качнул седоватой головой.

— Нет, хлопче, не все так просто. Люди — всегда люди, и всегда — разные. Кому-то без телевизора и рай не рай. Каждый ищет в жизни свое. Тогда же... Тогда людей было меньше, значит, каждому доставался целый валун, который ему приходилось нести до самой смерти. Сейчас кирпичиком обходятся. Груз большой — но и награда большая. Потому и ели-пили всласть, и жизнь была вкуснее. Понимаешь? А телевизор... Кто спорит, нужная вещь, но поглядел бы ты настоящий вертеп, из тех, что киевские студенты ставили!..

— Дядьку! — Иззябшая на вечернем ветру малолетка подбежала к Климу. — А повеселимся, дядьку! Десять баксов за час... Ой!

«Ой!» — потому что узнала. Дочь соседки, запойной пьяницы, продавшей даже двери от хаты.

Девчонка отбежала, но недалеко. Мол, не проговоришься же ты, дядько Клим! И я, если чего, молчать буду. Сочтемся, свои ведь люди!

Клим вдруг подумал, что хорошо бы поговорить с профессором. Тогда, в пору их знакомства, *настоящая* жизнь уже давала трещины. Многие радовались, ожидая невиданных перемен, но Химерный лишь хмурился. На прямой же вопрос предлагал список книг по истории любой революции, хоть Французской, хоть той, что ближе.

Дома возле главной площади все еще белели предвыборными плакатами. Климу тоже предлагали избираться, причем сумму за место в городском Совете просили просто пустяковую. Чуть дальше темнела громада Дворца культуры, в сумерках похожего на недостроенную пирамиду, — самого странного места в Ольшанах. Дворец, стоящий на месте бывшего маентка панов Матюшкевичей, был нелепо роскошен — и вечно пуст. В свое время Клим чуть не купил его, но вовремя вспомнил, что за долгие годы ни он сам, ни его соседи ни разу там не бывали. Не любили ольшанцы «Панский театр», стороной обходили.

Клим постоял возле сырой речки, долго смотрел на уродливый железный мост, напоминавший пляжный лежак, глядел в привычное звездное небо.

Его город, его земля...

А что сказал бы пращур, усатый и чубатый, расскажи ему Клим о своих бедах? Мол, чего выбрать, диду? Душу черту продать — или пойти в наложники к злобной дуре-бабе? А мо-

жет, плюнуть на все, закинуть за плечи котомку, побрести битым шляхом, распевая «Лазаря»?

Он представил, каким мог быть ответ, и глубоко вздохнул Ничего, впереди третий тайм!

6

— А почему все-таки кровью? — поинтересовался Клим, не отводя взгляда от монитора.

По экрану ползли буквы, огромные, словно весенние жуки. При работе с важными документами Клим всегда ставил четырнадцатый кегль.

Веточка осины сиротливо лежала на полу.

Из динамиков хихикнуло:

— Не только из престижных соображений. Хотя, признаться, впечатляет. Дело в другом. Кровь клиента обеспечивает *автоматическое* выполнение контракта с его стороны. Допустим, подошел срок, а несознательный клиент укрылся в культовом сооружении.

— Извлечете? — Клим нажал на «Page down», гоня текст дальше.

— Не то слово! — В голосе черта звенело торжество. — Более того, *всякое* нарушение соглашения приводит к тому же. Скажем, клиент обязался не вступать в церковный брак. Стоит ему сказать батюшке «да» — и вж-ж-жик! Контракт прерван, а в нашем заведении досрочно обеспечивается новое место с предоставлением всего комплекса услуг.

— Угу.

Стрелочка «мыши» коснулась крестика в правом верхнем углу экрана. Буквы исчезли, сменившись ухмыляющейся чертовой рожей.

— Эконом-пакет? — Рогатый извлек из пустоты толстую пачку бумаг в красном файле. — Советовал бы — и весьма. Бонусы приличные. Перед началом действия контракта клиенту обеспечивается интимный ужин...

Теперь вместо файла на экране красовался огромный аляповатый каталог с фотографиями. Первой шла зубастая Бритни Спирс.

— Десять баксов за час, — буркнул Клим, и каталог исчез.

— Экскурсии и туры, — неунывающий черт уже демонстрировал глянцевый веер проспектов. — Во все уголки мира. Рекомендую экстрим-тур в Непал...

— Экстрим-тур! — резко перебил Клим.

Рогатый замер, боясь спугнуть клиента. Тот хмыкнул:

— Сюда! В Ольшаны. На двести пятьдесят лет назад!

Перед тем как включить компьютер, он тщательно перелистал подарок профессора — желтый пузатый двухтомник Олексы Воропая «Обычаи нашего народа». «Память! — строго сказал тогда студенту Химерный. — Память — наша сила, хлопче!»

Клим всегда серьезно готовился к переговорам

Черт выключил мобильник, тряхнул когтистой лапой, испаряя черную трубку.

— Там согласны. Одни сутки — с гарантией возвращения. Нужен отдельный контракт. Вставь дискету

Клим достал из распечатанной пачки новенькую дискету «Verbatim», не глядя, отправил в дисковод. По экрану вновь поползли буквы-жуки.

— Носитель информации не уничтожать, — комментировал рогатый, — не терять, не дополнять содержания. В случае нарушения контракт прерывается автоматически. По истечении суток дискета обеспечит успешное возвращение... Все! Включай принтер.

Перед тем как проколоть палец, Клим долго протирал иглу одеколоном. Вату и пластырь он приготовил заранее.

7

За калиткой его встретила тьма. Настоящая, густая, плотная на ощупь. Клим тронул губами холодный вязкий воздух.

Где-то вдали залаяла собака.

Страха не было, лишь под ложечкой немного ныло, как перед каждой важной сделкой. Нет, не так! Подобное он чувствовал на экзамене, бросая первый взгляд на взятый со стола билет.

Клим улыбнулся.

Улица исчезла вместе с домами и асфальтом. Так и должно быть, в те далекие годы жили еще за рекой. Интересно, мост уже успели построить?

Клим огляделся и, определив направление, двинулся в сторону несуществующего парка. Правая рука скользнула в карман, отозвавшийся металлическим звоном. Не обманул рогатый — мелочи, серебряной и медной, было полным-полно. А вот переодеваться Клим не стал. Японская куртка, костюм от Воронина, итальянские туфли. Экстрим так экстрим!

Карту с разъяснением маршрута он бы взял, но с этим у черта вышла промашка. Кажется, рогатый был изрядно смущен.

Дискету с гарантией черт положил ему в карман лично. И сам же проверил, чтобы другой, подобной, Клим с собой не захватил. Предусмотрительный, вражина!

Парк оказался на месте, конечно, не парк еще — рощица. Клим сразу нашел городскую достопримечательность — тысяче-

летний дуб. Слегка помолодевший патриарх выглядел внушительно.

«Привет!» — сказал ему Клим и направился к реке. Только бы не ошибиться с мостом...

— И жили тогда трудно, — соглашался со своим студентом Химерный Профессор, — и Чужая Молодица, считай, за плечами стояла, и пенициллина не было. Все так, хлопче! А вот боялись меньше. Дивно? Не так и дивно, если подумать. Крепкими росли наши предки. Если смеялись, то до упада, а если уж гневались — столешницы кулаком расшибали.

— Нас бы они и на порог не пустили! — вздыхал первокурсник Клим. — На костер бы потащили, как того янки из Марка Твена.

— Вот и нет. — Профессор усмехался в густые усы. — Или не помнишь, хлопче, как на Сечи бывало? Горилку пьешь, в Бога веруешь — пишись в какой хочешь курень. В человеке тогда главное различить старались, в душу глядели, не на одежду. А прижились бы мы? Это и я узнать не прочь.

Мост оказался на месте — новенький, деревянный, пахнущий стружкой. За ним, в густых вечерних сумерках, не без труда различались неясные контуры приземистых хат.

Значит, и в этом не обманул рогатый. Казацкое село в полторы сотни домов, знаменитый на всю Малороссию шинок, ветряные мельницы на околице...

И тут его пробило морозом. Клим наконец-то осознал, *куда* попал.

Первый шаг по деревянному настилу гулко отозвался в ушах. Ничего не случилось, и Клим занервничал. Пора бы!

Второй шаг. Ничего.

Клим не выдержал, резко махнул рукой:

— Меняться хочу!

Странные слова эхом ушли за реку. И снова — ничего.

— Мостовой! — повысил он голос. — Или заспался?

Где-то совсем рядом послышался тяжелый вздох. Мостовой соткался прямо из черного воздуха — кряжистый, покрытый шипами, не отличимый от «импа» из игры DOOM.

— Чего тебе, козаче?

— Службу забыл? — Клим шагнул вперед, нахмурился. — Раз Мостовой ты, значит, давай меняться! А не то принесу ведро святой воды, окроплю тут каждую доску и тебя, морда нечистая, не помилую!..

— Пышный, вижу, ты, козаче. — Мостовой не без опаски по-

глядел на гостя. — Первый раз не я предлагаю, мне предлагают. Или ты из запорожцев?

Клим расправил плечи, представив, что за ним наблюдают его прежние коллеги. Это вам не японцам табуретки клееные продавать!

— Поменяешь мне вот чего...

— Нет! — стонал «имп». — Пощади, козаче! Жупан твой немецкий сменяю, каптан... Самый лучший дам, даже без дыры в спине. Сам зашью! Или чоботы...

Не умел Мостовой вести деловые переговоры. Ой не умел!

— А не поменяешь, вражья морда, по всей округе ославлю. Мостовой от обмена отказался! На все пекло срам. Мальцы голопузые приходить станут, на мост плевать. А дойдет до Люципера? Закрутит он тебе хвост узлом голландским...

— Твоя взяла, козаче. — Мостовой удрученно кивнул. —Видать, не просто запорожец ты — характерник!

Бедный «имп» не читал Олексу Воропая.

8

Шинок нашелся сразу. Ошибиться мудрено: все хаты в два оконца, эта же — во все шесть. И крыльцо повыше, и коновязь вдоль улицы тянется, а у коновязи гривастые красавцы скучают, хозяев ждут.

Окошки светились. Клим ступил на крыльцо.

Почему именно в шинок, он и сам не знал. Не иначе вспомнились фильмы про лихих ковбоев. Куда приезжий первым делом заглядывает? Не к шерифу ведь! И вечер уже, если есть где народ, так здесь.

Клим осторожно открыл дверь. Изнутри пахнуло теплом и крепким духом чеснока.

— А поворотись-ка, сынку! Экий ты смешной! Где жюстокор покупал, не в городе ли Париже на ярмарке, что у Нового моста?

Огромный козарлюга, сам себя шире, чубатый и седоусый, шагнул навстречу.

Что такое «жюстокор», Клим не знал. Оставалось одно — поздороваться:

— Вечер добрый всем!

Надо было бы еще и шапку снять. но таковой не захватил.

— И тебе добрый, немчин залетный! — Козарлюга без всякого стеснения оглядел гостя с ног до головы.

Еще трое, такие же чубатые, но с черными усами, подтянулись сзади. Климу вновь вспомнились ковбойские фильмы. Сейчас бить станут.

— Или горилки выпить решил в шинке православном? —

грозно нахмурился седоусый. — Так и быть, нальем. Только уговор — стерпишь удар мой, не прошибешь дверь затылком, тогда и за стол сядешь.

Клим сглотнул, вспомнил секцию ушу, попытался сгруппироваться...

— Ну, бей!

Взлетел к потолку кулачище с пивную кружку. Замер. И ударил хохот, да такой, что шибки в окошках затряслись.

— Годен, годен, хлопче! — Седоусый опустил руку, повернулся к землякам. — А налейте-ка немчину!

Вот как? Клим понимал, что пришелец в японской куртке едва ли сойдет за своего. Но ведь говорил Химерный Профессор: не по одежде судили.

— Бей! — повторил он, голос повышая. — Только во всю силу, не то обижусь.

Стих смех, переглянусь чубатые.

— Ой, хлопче! — покачал головой седоусый. — Два раза бью, второй — когда домовину заколачиваю. Ну, будь по-твоему!

Вновь взлетел кулак, рухнула на Клима соломенная крыша.

Устоял...

— Горилки хлопцу не наливайте. Нечего! — распоряжался козарлюга. — Усы отрастит, тогда уж. Меду лучшего несите — того, которым мы панотца Никодима в прошлый Великдень в изумление ввергли.

В голове еще шумело, но думать было можно. Рука полезла в карман — зачерпнуть горсть чертова серебра, сунуть шинкарю...

Нет, не годится, чтобы горстью! Иначе надо. Профессор рассказывал...

— Погодите! — Клим не без труда встал, ударил ладонью по столешнице. — Я... Наверное, и в самом деле на немца похож. Только здешний я, из наших краев. Давно дома не был, а теперь... Теперь, кажется, вернулся. Хочу, чтобы все со мной за это выпили, да не просто — от души!

И стал вынимать монету за монетой, стол устилая. Аккуратно, словно пасьянс раскладывал. Красивые денежки — какая с орлом, какая со всадником.

— Хлопец-то наш! — сказали за спиной.

— И вправду, наш, — кивнул седоусый, на стол одобрительно глядя. — Давно не видел, чтобы казак так справно гулять собирался. Будем знакомы, хлопче. Гнат Недоскорый я, писарь сотенный.

Удивился гость, только ненадолго. Вспомнил, что писарь в те времена не одним перышком черкал. Правая рука сотника, того убьют — писарь в бой ведет.

— Клим. Будем знакомы, пан писарь.

Его ладонь утонула в огромной лапище козарлюги.

— Не зови паном, Климко! Свои мы тут. Дядько Гнат я.

— Вот, значит, какие твои дела, хлопче! — вздохнул дядько Гнат. — Не горюй, не к лицу казаку кручина. Руки-ноги на месте, удар мой держишь. А что в грамоте силен, в делах торговых, так и это не в убыток. Приедет пан сотник, с ним и решим. А пока — гуляй, казак. День всего, зато твой!

9

И загулял казак...

10

С чертом встретились там, где в контракте и указано, — возле мельницы. Странно было смотреть на рогатого без монитора. Мелок оказался — по плечо едва.

— Отдохнул? — Черт радостно оскалился. — Рекламаций нет?

— Нет! — честно признался Клим.

— Тогда давай дискету.

Откуда ни возьмись, в когтистых лапах появился ноутбук. Клим вздохнул, полез в карман, поглядел на красную надпись «Verbatim».

— Держи!

Черт открыл крышку, повозился, вставляя дискету.

— Сейчас! Эконом-пакет готов, отсчет пойдет с момента возвращения... А к Галине в сауну мы такого басаврюка направим!..

Они рассмеялись, и черт нажал на «Enter».

Ничего не случилось.

— Обмануть, обмануть хочешь!.. — злобно шипел рогатый, вертя в когтях дискету. — Нас не проведешь! Ты что, отформатировал ее? Испортил?

— Кровь, — невозмутимо напомнил Клим. — В случае малейшего нарушения контракт разрывается *автоматически*. Не уничтожать, не терять, не дополнять содержания. Правильно? Но ведь я пока еще здесь?

— Черт! — выругался черт.

— Итак. — Клим принялся загибать пальцы не хуже, чем нечистый — когти. — Возвращения моего ты обеспечить не смог. Раз! Твоего эконом-пакета я не получу. Два! С одним форс-мажором ты еще можешь апеллировать в пекельный арбитраж, а с двумя как? Думаешь, я документы читать не умею?

— К самому Люциперу пойду, — неуверенно пробормотал рогатый. — Ты кровью расписывался, в контракте дата указана.

Захохотал Клим не хуже пана сотенного писаря.

— К Галине в сауну ты пойдешь, башка пустая! Какая дата? Через два с половиной века которая? Ой, спасите, ой, страшно мне, бедному!

— Не погуби! — взвыл нечистый.

— Катись в свое пекло, вражья морда! — со смаком выговорил казак Климко. — Да не просто катись, чума рогатая, а катись ты!..

11

— Гляди веселей, Климко! — подбодрил дядько Гнат, подталкивая того к двери. — Хоть и сам робею, признаться. Суров, суров пан сотник. Ну да Бог не выдаст!.. Иди!

Нечего делать! Толкнул Клим тяжелые двери, вошел в горницу, голову склонил.

— День добрый, пане сотнику!

— И тебе добрый, хлопче! Заходи!..

Поглядел Клим, глаза протер.

— Или не узнал? — засмеялся Химерный Профессор. — А я все думаю, когда ты к нам пожалуешь?

— Так ведь в контракте что записано было? — развел руками Клим. — Дискету не уничтожать, не терять и не дополнять содержания. Но про *поменять* ничего не говорилось! Вот я ее и обменял у Мостового — на такую же. Ох и просился он, плакался даже. Где, мол, я «Verbatim» в этих краях найду? Нашел!

На сотниковом столе красовался чернильный прибор размером с добрый арбуз, рядом стояла зеленая склянница, закупоренная деревянной пробкой. Внутри ее корчился черт — склянница была ему явно мала.

— Терпи, терпи, вражья сила! — погрозил пальцем сотник Химерный. — Не то серебром угощу!.. Ну что, Клим, запишу тебя в сотню. Скоро в поход, а там видно будет. Другая здесь жизнь, не загадаешь далеко. Живут казаки от боя до боя, никогда не знаешь, с кем вечером танцевать придется: с дивчиной своей или с Чужой Молодицей.

Клим кивнул. Да, жизнь другая. Черт в склянице, Чужая Молодица за плечами...

А все-таки не зря!

Любов к отчизне дэ героить,
Там сыла вража не устоить,
Там грудь сыльниша од гармат...

— Знаете что, профессор? Давайте перед походом в наших Ольшанах осины вдоль улицы посадим. Красивое дерево!

Андрей Ивченко возвращался из Житомира, где навещал родственников жены. Багажник немолодой «Шкоды» был набит принудительными гостинцами — кисловатыми яблоками в полиэтиленовых кульках, луком, зеленью, «поричкой», бутылками самогона и литровыми банками с неизвестным темным содержимым. Андрей возвращался не то чтобы раздраженным (родственники жены всегда принимали его хорошо) и не то чтобы усталым (было всего три часа дня, а встал он сегодня поздно). Просто лежало на дне души смутное ощущение, что воскресный день, а с ним, пожалуй, и добрая часть жизни потрачены впустую.

Когда-то Андрей мечтал стать танцором, а стал инженером, но по профессии работать не смог и устроился менеджером в фирму, торгующую путевками. Отправляя людей в Эмираты, Египет и Чехию, сам он никогда нигде не бывал — если не считать, конечно, регулярных визитов в Житомир и пары еще студенческих поездок в Москву. В первый год замужества жена родила ему двойню, чем катастрофически подорвала финансовое положение молодой семьи; с тех пор Андрей работал без отпусков и выходных, и даже неделя в Карпатах представлялась бессовестной тратой времени.

Пацанам сейчас стукнуло по десять лет, и они учились в хорошей школе, а впереди маячил (Андрей думал об этом заранее) приличный институт для обоих. Жена преподавала в художественном лицее за жалкие деньги. «Хрущевка» с двумя смежными комнатами давно сделалась мала; таким образом, Андрей начинал каждый день заботой о хлебе насущном и засыпал с мыслями о семейном бюджете.

Тем обиднее было, что жена Антонина считала мужа скучным, ограниченным человеком и ни о чем, кроме хозяйственных дел, давно не разговаривала. Тоня жила, как балованная школьница под крылом обеспеченного папы, — Андрей в сердцах не раз ей об этом говорил, но она только улыбалась в ответ. Вот и сегодня визиту к родственникам Антонина предпочла «девичник» с сауной в компании Лариски Богатюк и Лильки Малениной, еще институтских подружек. Сыновья с утра обретались у бабушки; Андрей с тоской думал о кухонном смесителе, который предстоит поменять во что бы то ни стало. И никаких больше планов на этот вечер нет, кроме смесителя на кухне и телевизора в тесной комнате, а завтра начнется новая рабочая неделя, и Андрей забудет, как его зовут, — до самой пятницы...

Раздумывая таким образом, он катил и катил по шоссе — и вдруг увидел рекламный щит, на который не обращал внимания раньше: «Сантехника по низким ценам. Обои. Мебель. Бижутерия. Сахар. Трикотаж». Ниже, над стилизованным изображени-

ем Мухи-Цокотухи, красовалась «Косметика от Гели Реф». Под щитом обнаружилась стоянка, на стоянке — несколько десятков машин, от «жигуля» до «БМВ». Дорога вела от стоянки направо; там начинался вещевой базарчик, и Андрей издали увидел, как поблескивают никелированные детали на обширных прилавках.

Он притормозил. Смеситель все равно предстояло покупать, а на таком вот придорожном развале цены, как правило, невысоки. Правда, и товар выставляется лежалый, но Андрей был мужик с характером и целиком полагался на свой немалый опыт.

Он запер «Шкоду», поставил ее на сигнализацию и, потрогав бумажник во внутреннем кармане пиджака, двинулся по узкой бетонной дорожке к базару.

Продавцы сантехники лузгали семечки, потягивали пиво из бутылок и предлагали за смешную цену весьма разнородный товар — большая часть этих гаек, головок и шлангов годилась только на помойку, но попадались среди них добротные изделия. Андрей скоро увлекся, бродя между рядами, прицениваясь и рассматривая товар. Выбрал смеситель, полез за деньгами — но в последний момент разглядел микроскопическую трещинку и не купил.

За развалами с сантехникой тянулись прилавки с бижутерией, а глубже, под натянутым над головами полиэтиленом, маячил обещанный рекламой «трикотаж». Андрей, относившийся к рынкам без фанатизма, но и без брезгливости, решил осмотреть базар целиком — авось попадется хорошая недорогая вещь, джемпер, к примеру, или рубашка. Перед прилавком с детскими джинсами он простоял минут двадцать — хотел купить сыновьям по паре штанов. Продавщица старалась вовсю, ворошила ради него клетчатые тюки с товаром, но тщетно: не было подходящего размера, а если был, то неудачная модель, а если удачная, то слишком светлая ткань или девчоночий узорчик...

Поблагодарив тем не менее расстроенную продавщицу, Андрей неторопливо двинулся дальше.

Чем глубже погружался он в базар, тем меньше вокруг попадалось покупателей. Полиэтиленовые полотнища, защищавшие товар от дождя, тихонько шелестели на ветру — в некоторых местах приходилось наклонять голову, так низко провисал «потолок». Базар был многоярусный, как джунгли: прямо под ногами, на листах оберточного картона, стояла обувь, лежали пластиковые заколки и школьные тетрадки. На прилавках располагались колготки и носки, и снова обувь, пиратские видеодиски, зонты и посуда. На стойках, на вешалках, а иногда прямо над головой висели свитера и юбки, брюки, пиджаки и платья. Все они казались либо очень велики, либо малы; приторно-розовые, ядовито-зеленые, мышино-серых и черно-бурых расцветок. Ог-

лядываясь вокруг, Андрей удивлялся: неужели находятся покупатели на такое убожество? Иногда он снисходил до того, чтобы пощупать свисающий сверху рукав, и безошибочно определял: синтетика...

Впрочем, ажиотажным спросом здешний товар и не пользовался.

Очень скоро Андрей обнаружил, что, пробираясь среди прилавков, среди стоек, среди стен уродливой одежды под низко натянутым полиэтиленом, он остался единственным покупателем в этой части базара. Продавцы, которым полагалось бы зазывать клиента, поглядывали с вялым интересом — будто им не было дела до залежавшегося на прилавках барахла, будто они наперед знали, что Андрей ничего не купит.

«Как они не прогорают? Явно ведь в убыток торчат...»

Проход между прилавками сделался таким узким, что, когда навстречу вывернула из-за угла бабушка с полной термосов тележкой, Андрею пришлось боком влезть в щель между двумя стойками, чтобы разминуться с ней.

— Чай, кофе? — спросила бабушка. — Пирожки с мясом, с картошкой, с рисом? Пицца?

Андрей понял, что хочет пить и, пожалуй, проголодался. Он взял у бабушки чай и пирожок; женщина, торговавшая сумками из искусственной кожи, взяла себе растворимый кофе и кусочек так называемой пиццы. Старушка с тележкой укатила дальше. Жуя, морщась и дуя на чай в пластиковом стаканчике, Андрей подумал, что пора уходить.

— Как тут к выходу пройти? — спросил он у женщины, торговавшей сумками.

— К какому? — охотно отозвалась она. — К шоссе или к электричке?

— К шоссе... там, где рекламный щит.

— Туда, — женщина махнула рукой. — Пройдите вдоль двадцать пятого ряда, у сто первого места сверните налево, дойдете до туалета и там можете еще спросить.

— Спасибо, — сказал Андрей.

Он двинулся вдоль прилавков в обратном направлении — шел не торопясь, по дороге купил носки себе и спортивные штаны пацанам. Минут через двадцать добрался наконец до туалета — солидного кирпичного здания с двумя входами. Перед зданием восседала кассирша в переднике. Помимо таблички «50 коп.» и тарелочки для денег, на прилавке перед ней помещались отрывные календари «Для хозяек», «Для садоводов», «Для физкультурников», а также пластмассовые градусники всех размеров и цветов.

— Платно, — сказала кассирша.

— Я хотел спросить, где тут выход. — Андрей огляделся. Да-

же у стен туалета стояли торгующие — кто с батарейками, кто с носовыми платками, кто с растворимым кофе в банках. Обнаружилась одна-единственная покупательница — дамочка задумчиво вертела в руках невообразимо пошлый розовый бант на резинке.

— Туда, — кассирша махнула рукой.

Андрей прошел мимо прилавков и мимо задумчивой дамочки. Из дверей туалета на него пахнуло сдержанной вонью. Узкие ходы тянулись, сворачивали, пересекались с другими. Шелестело, потрескивало, ветер то поднимал полиэтиленовый полог, то бросал его. Андрей устал.

— Этот базар кончится когда-нибудь? — сердито обратился он к старику, торгующему деревянными ложками. — Уже полчаса пытаюсь выйти!

— Иди прямо, — старик неопределенно махнул рукой. — Туда... к электричке.

— Мне на шоссе надо!

— На шоссе — в другую сторону...

— Блин, — сказал огорченный Андрей. — И смеситель не купил, и два часа времени убил. Удалось воскресенье, нечего сказать!

Он вытащил мобильник, чтобы позвонить жене и попросить забрать мальчишек у тещи, но телефон, как назло, разрядился. От огорчения захотелось в туалет. Еще сорок минут обратного пути — и он удостоился сомнительного удовольствия положить в тарелочку кассирши пятьдесят копеек.

— Бумагу брать будете? — неделикатно спросила кассирша.

Андрей взял — не потому, что нуждался, а потому, что заплачено.

Туалет, против ожидания, оказался не таким уж грязным. Андрей вымыл руки кусочком хозяйственного мыла, плававшим в мутной лужице на краю умывальника, и снова вышел под небо, вернее, под пузырящийся от ветра полиэтилен. Посмотрел на часы и ужаснулся: Тоня давно вернулась с «девичника», позвонила родителям в Житомир и узнала, что муж выехал утром. Мобильник его не отвечает...

— Здесь где-то есть телефон? — спросил Андрей у кассирши.

Та пожала плечами:

— Не...

— До которого часа рынок работает?

Обычно, как он знал, торговцы начинали собираться в шестом часу, а если покупателей было мало, то и раньше.

Кассирша снова пожала плечами, посмотрев на Андрея с величайшим сомнением.

— А пока люди есть... работает.

— Людей нет совершенно. Не вижу, чтобы что-то покупали.

Кассирша пожала плечами в третий раз, и Андрей, отстав от нее, обернулся к продавщице кепок и беретов:

— Мне надо выбраться отсюда срочно, к стоянке, к шоссе. Не подскажете, как лучше пройти?

— По сорок пятому ряду, — сказала женщина, приглаживая черную кепку специальной щеткой для ворса. — От хот-догов свернете направо.

* * *

— Парень, хочешь, я тебе дам пятерку, чтобы ты меня отсюда вывел?

Мальчишка лет четырнадцати, торгующий кроссовками, с сожалением покачал головой:

— Не на кого товар оставить.

— Дам десятку. Попроси, пусть соседи присмотрят.

— Нет, — мальчишка вздохнул. — Нельзя. А вы идите прямо, от двести пятого места — налево, и потом еще налево, и выйдете прямо на шоссе...

Андрей скрежетнул зубами. Он чувствовал себя круглым идиотом — заблудиться на рынке! И блудить, как дурак, четыре часа подряд!

Часы показывали восемь. Тем не менее торговцы не спешили собираться. Они по-прежнему лузгали семечки, разгадывали кроссворды, переговаривались, иногда предлагали примерить туфли или выбрать футболку. Сквозь разрывы в грязном полиэтилене выглядывало небо — дни в июле длинные, но не бесконечные, скоро начнет темнеть...

За приступом раздражения пришла апатия. Андрей купил хот-дог, присел на складной стульчик для примерки обуви и успокоился. В конце концов базар опустеет, сделается прозрачным, как лес в ноябре, и тогда легко будет найти выход. Надо же, понатягивали веревок, понавешали тряпья, устроили лабиринты — немудрено, что у них так вяло идет торговля...

Прошел скудный дождик. Тихонько простучал по полотнищам.

Антонине, подумал Андрей, пойдет на пользу легкая встряска. Жена привыкла, что вот он, безотказный, дом-работа, гараж-хозяйство, всегда под боком, всегда тянет свой воз... Пусть представит хоть на минуту, что с ним что-то случилось. Что он пошел налево, в конце концов. Может ведь Андрей, видный молодой мужчина, раз в жизни пойти налево?

Эта мысль развеселила его. Он ел хот-дог, запивая минеральной водой из пластмассового горлышка бутылки, и улыбался.

* * *

Стемнело. На прилавках зажглись где свечки, где электрические лампочки. Тусклые пятна света лежали на горах белья, на рулонах туалетной бумаги, на полированных тушках сувенирных карандашей «Донбасс», невесть каким образом затесавшихся среди стирального порошка и губок для обуви.

Ни один продавец не потрудился собрать товар, никто не думал уходить домой. Андрей, едва волоча ноги, брел по узкому проходу под нависающим полиэтиленом, и ему казалось, что он спит.

Этого не может быть, говорил разум. Этого не может быть. Он часами шел и шел, никуда не сворачивая, и, если рынок не протянулся на многие километры, он давно должен был выйти... ну, не на шоссе... но хотя бы к забору, к лесу, куда-нибудь, где нет рваного тента над головой, где не свисают отовсюду свитера и плащи...

Но день закончился, а кошмар продолжался. Рынок жил своей жизнью; покупателей по-прежнему не было, а продавцы не выказывали ни малейшего нетерпения. Андрей пытался с ними заговаривать; они вели себя совершенно естественно для людей, к которым пристает с дикими вопросами странный человек с безумными глазами. Все, к кому он обращался, спешили от него отвязаться, иногда холодно, иногда откровенно грубо. Вид денег, которые Андрей вытащил из кармана и пытался предложить кому угодно в обмен на спасение, пугал и отвращал их еще больше: вероятно, они думали, что он пьян или «под кайфом»...

Это сон, думал Андрей и щипал себя за руку. Запястье покрылось синяками, но безумие не прекращалось. Шаг за шагом по узкому проходу между прилавков — он брел, как механическая игрушка с подсевшими батарейками, и взгляд безумно скользил по тапкам, лифчикам, курткам, джинсам, спортивным штанам и мыльницам, по равнодушным лицам продавцов, ни капельки не удивленным повседневным лицам...

— Скоро полночь, — сказали за спиной.

Фраза, произнесенная невпопад, заставила вздрогнуть. Это были первые необыденные слова, услышанные на базаре. Андрей обернулся. Продавец купальников смотрел ему в глаза — не так, как смотрели прошлые продавцы. Не ожидая вопроса о цене, не удивляясь сумасшедшим просьбам вывести с рынка за любую сумму в твердой валюте...

Ногой продавец купальников отодвинул ящик, закрывающий вход за прилавок. Повторного предложения Андрей дожидаться не стал — вошел сразу.

— Садись.

Андрей сел на низкий, покрытый старым ватником табурет. Рядом висела, чуть колеблясь от ночного ветра, серая просты-

ня — ею, по идее, отгораживались от посторонних глаз дамочки, вздумавшие примерить купальник прямо на рынке.

— После полуночи нельзя быть по ту сторону прилавка, — сказал продавец.

— Почему?

Продавец улыбнулся, поправил ряд бирюзовых плавок, казавшихся грязно-синими при свете маленькой керосиновой лампы.

— Ты новичок?

— Я заблудился, — шепотом признался Андрей.

Продавец кивнул. Над головой его покачивался пластиковый женский торс.

— Место человека — за прилавком. Во всяком случае, после полуночи.

Сделалось тихо. На грани слышимости шелестел полиэтилен. Мигала елочная гирлянда под навесом напротив.

— Почему? — снова спросил Андрей, потому что не нашелся, что еще спросить.

— Каждый из нас, — сказал продавец рассеянно, — в своем праве. Мы вправе продавать и быть проданными... А также покупать и быть купленными.

Андрей молчал.

Длинные часы, проведенные в поисках выхода, кое-чему его научили. Возможно, продавец шутит, разыгрывает, а возможно, он сумасшедший. В любом случае продавец купальников казался самым вменяемым человеком на целом базаре. Он, по крайней мере, не делал вид, будто ничего не происходит.

— Уже скоро. У Николая, который китайским барахлом торгует, в полночь будильники пищат. Вот как пропищат — тогда сам увидишь... А пока угощайся.

Он положил на колени Андрею яблоко, маленькое и зеленоватое — белый налив.

Андрей откусил не глядя. Бездумно выплюнул червяка. Откусил снова.

Продавец вздохнул:

— Как в девяносто пятом вышел на точку, так и стою. Не отпускает.

— Кто не отпускает?

Продавец посмотрел на него с сочувствием.

— Меня уже два раза покупали. Третьего, может, и не переживу...

— Кто покупал?!

— Они, — сказал продавец с невыразимым отвращением. — Первый раз... Я, может, и успел бы вырваться, но только сразу... купили. В первую ночь... точно так же.

Рядом, за стеной разноцветных купальников, запищал бу-

дильник. Ненавистный любому спящему звук моментально разросся, подхваченный многими механическими голосами. Будильники голосили хором секунд тридцать, потом один за другим стихли.

— Ну вот, — сказал продавец.

Огонек в керосиновой лампе вспыхнул ярче.

Минуту-другую сидели молча. Андрей ждал, что продавец рассмеется и скажет, что шутка удалась. И что пора собирать сумки — рынок наконец-то закрывается. Ждал, что продавец заговорит, но тот молчал, и тишина становилась все напряженнее. Андрей открыл рот, чтобы самому прервать молчание, — но в этот момент на него лег физически ощутимый, очень тяжелый взгляд.

Он замер с открытым ртом.

Из-за соседнего прилавка, из-за костюмов и пиджаков выдвинулась темная, неясная, безликая фигура. Огонек керосиновой лампы задрожал; черная тень скользнула дальше, по направлению к торговцу китайским ширпотребом. Андрей часто задышал, избавившись от взгляда, но из другого прохода, из-под бледно мигающей елочной гирлянды, выползла еще одна тень, на этот раз высокая и угловатая.

Андрею померещилось нездоровое, бледное, под толстым слоем грима женское лицо.

— Кто это?!

— Они. — Продавец закурил, загасил спичку, бросил под ноги. — Ночные покупатели...

— Люди?

— Ты молись, чтобы тебя не купили. Понимаешь... На этом базаре только днем люди продают вещи. А ночью — ночью вещи продают людей.

— Что?!

Прошли еще две тени — побольше и поменьше. Андрей чувствовал, как неотвратимо притягивает их внимание. Следующая тень остановилась перед прилавком и стояла минуты три — Андрей сидел, вжавшись спиной в мягкий баул с купальниками. По вискам текли струйки пота.

— Я сошел с ума? — беспомощно спросил он продавца купальников, когда настойчивая тень наконец удалилась.

— Может быть. — Продавец отхлебнул «спрайта» из пластиковой бутылки. Нервно вытер губы.

— Какие же это вещи?!

— Разные. Дорогие, дешевые... А купят тебя. Присматриваются, прицениваются... До первых петухов непременно купят.

— Нет! — сказал Андрей, борясь с приступом паники. — Я же не... я ухожу!

И ломанулся к выходу из-за прилавка. Но там стояла очеред-

ная тень — высокая и угловатая. Пожалуй, она бывала здесь раньше, она смотрела на Андрея — он чувствовал взгляд, — как смотрит женщина на хорошую, нужную, но очень дорогую вещь...

— Спаси меня. — Андрей схватился за место на груди, где полагается быть нательному кресту. Рука поймала пуговицу рубашки. Креста Андрей не носил никогда, он лежал сейчас дома, в комоде, в старом бумажнике.

— Курить будешь?

— Спаси меня! — взмолился Андрей. — Я вырвусь... приведу сюда... ментов... УБОП... они этот рынок накроют... снесут...

Продавец горько усмехнулся. Покачал головой:

— Нет... На вещи нет управы. А спасти тебя... Вряд ли. Только...

Он замолчал. Взял длинную палку с крюком на конце, снял женский торс, покачивающийся на веревке, деловито примерил на него уродливый пестрый бюстгальтер.

— Что «только»? — выкрикнул Андрей.

Продавец обернулся. У него было очень немолодое, усталое, безнадежное лицо.

— Вещь тебя может спасти. Если у тебя есть... или была... своя вещь. Своя, в смысле — родная. Дорогая тебе. Если найдешь, вспомнишь... она тебя может вывести. Только она. Я тоже... я тогда не успел. Думал всю жизнь — чай, не баба, за вещи держаться... Вот и не вывел меня никто. Вот и купили. Стою...

И продавец снова взялся натягивать купальник на манекен. Андрей смотрел, как ловко и бесстыдно он управляется с женскими трусами. В голове было пусто-пусто. Он тоже не баба. Что такое для мужчины вещь? Машина... Мотоцикл... Яхта... Мотоцикла у него не было отродясь. Мечтал в мальчишестве, но потом бросил. Машина — старая «Шкода» — была объектом не любви, но постоянного раздражения. При слове «яхта» его охватил нервный смех.

Дорогая тебе вещь...

— Талисман! — крикнул Андрей. — У меня в школе билетик был... на троллейбус!.. Я его хранил... Да что я говорю! Кольцо!

И он вскинул правую руку, на которой блеснуло желтым обручальное кольцо.

— Талисман — это не вещь, — сказал продавец, не отрываясь от своего занятия. — Вещь ты покупаешь. Не знак. Не символ. То, что ты используешь и потом выбрасываешь. Да и подумай по чести: много хорошего у тебя связано с этим кольцом?

Андрей смотрел на свою руку. Они с Тоней прожили год в гражданском браке, прежде чем решили, что «подходят друг другу». Обряд в ЗАГСе оказался затянутым и ненатуральным, Андрею все казалось, что это театр...

Перед прилавком снова остановилась тень — очень большая. Она закрывала собой весь базар; огни гирлянды напротив сделались совсем тусклыми. Керосиновая лампа едва мерцала.

— Нет! — закричал Андрей.

Тень задержалась еще на несколько секунд, потом отодвинулась, но не ушла совсем. Встала на углу, будто раздумывая.

— Охо-хо, — еле слышно пробормотал продавец купальников. — Да ведь это...

— Что?!

— Как тебя зовут?

— Андрей...

— Думай, Андрей. Вспоминай. Обжитые вещи не уходят насовсем. А любимые вещи — тем более. Ты видишь их на старых фотографиях. Ты вспоминаешь их, когда вспоминаешь себя. Лучшие минуты... Думай. Иначе тебя купит этот жлобский мебельный гарнитур... До Страшного Суда будешь стоять, продавать кресла. Вспоминай...

Андрей лихорадочно ощупал себя. Летний пиджак — купили вместе с женой на выставке-ярмарке прошлой осенью. Со скидкой. Туфли — из приличного фирменного магазина. Не очень удобные, после долгой ходьбы ноги болят отчаянно... вот как сейчас. Рубашка. Пояс. Простые вещи. Равнодушные вещи. Могли быть эти, могли быть другие...

Если бы он купил себе ту флягу для коньяка, плоскую, к которой много раз приглядывался в сувенирном магазине! Он, пожалуй, полюбил бы эту вещь. И в конце рабочего дня...

Не то!

Мысли путались; тень, которую продавец купальников назвал «жлобским мебельным гарнитуром», смотрела на него. У тени было лицо — круглое, темно-синее, с глазами навыкате. С очень внимательными, холодными, оценивающими глазами.

Нож. Он вспомнил, что подарил себе перочинный нож на прошлый день рождения. Подарил руками жены; та спросила — что купить, он и показал тот ножик. Нож оказался слишком большим, плохо лежал в кармане. И скоро затупился. Подвела хваленая немецкая сталь...

Иногда по дороге с работы он останавливался перед какой-нибудь витриной в центре. На секунду; глядя на вещи за стеклом, понимал, что они ему не по карману, и это портило настроение. Тогда он ненавидел эти чужие вещи — за то, что не умеет быть от них независимым, за то, что они выставлены здесь, в витрине, вызывающе красивые и дорогие, как часть прекрасной жизни, которой Андрей не заслужил — ни для себя, ни для детей...

Не то! Любимая вещь должна принадлежать ему. И вызывать симпатию, а не раздражение...

Закрыв глаза и сжав ладонями голову, он стал вспоминать все мало-мальски значимые вещи, которые окружали его с рождения. Старый платяной шкаф в маленькой комнате, где они жили с родителями. Андрей ненавидел этот шкаф — скрипучий, неудобный. Восьмилетний мальчик мог дотянуться только до двух нижних полок. Треснувшее зеркало на внутренней поверхности дверцы отражало все в искаженном, мрачно-перекошенном виде. А главное — этот шкаф часто фигурировал в его ночных кошмарах. Загромождал всю комнату, падал на Андрея, душил...

Костюм, который ему с большой помпой купили на выпускной вечер. Андрей тогда еле дожил до утра — пиджак сковывал движения, брюки треснули в самом неприличном месте, и он ни о чем другом не думал — только бы скрыть дыру! Тем временем одноклассники тайком напились и вели себя как свиньи...

Не то.

Ваза, которую он подарил маме на первую зарплату. Мама была счастлива... Либо притворялась счастливой. Хрустальная ваза; теперь таким тусклым, вышедшим из моды хрусталем забиты все чуланы и кладовые...

Неужели за всю жизнь у него не было ни одной любимой вещи?!

Были неплохие, удобные, практичные, фирменные, дорогие... Были носки и рубашки, которые покупала жена. Мебель, в которой он ничего не понимал. Шариковые ручки, которые все время терялись. Сантехника, плитка, ковролин — неужели у кого-то язык повернется сказать, что он все это *любил*?!

Спиннинг? Но у него не оставалось времени на рыбалку. Часы? Они все время напоминали: опаздываешь! день прошел! на вечер гора работы...

Неужели в его жизни вообще не было ничего значимого?

Жена? Антонина дарила ему полезные вещи — по его выбору, за его же деньги. Можно ли сказать, что жена никогда его не любила? Вздор, все знают, что любовь не имеет ничего общего с пошлыми шмотками — одеждой, обувью, полотенцами... Сыновья? Они рисовали ему машинки на день рождения и дедов морозов на Новый год. Что же, и дети его не любили? Только потому, что у них не было денег, чтобы купить ему Вещь?

В последний раз он подарил им дорожные шахматы. Антонина твердила, что правильнее было бы купить роликовые коньки. Только переломов им не хватало! Жена инфантильна, непростительно ребячлива, привыкла жить за ним, как за каменной...

Он вдруг понял, что никогда ее больше не увидит. В этом осознании не было истерики: оно было простое и почти естественное — здесь, на темном базаре, в свете керосиновой лампы и

мерцающей гирлянды над прилавком напротив. Под взглядом бесформенной тени с сине-черным неподвижным лицом...

Право продавать и быть проданным.

Право покупать и быть купленным.

Он вспомнил летний день. Тогда на его руке еще не было кольца. Они с Тоней гуляли вместе, едва ли не в первый раз. Ели мороженое. И забрели на такой же рынок... Нет. На обыкновенный вещевой рынок, возле стадиона «Звезда». Собирался дождик. И Тоня сказала, что у него нет летней куртки. И они пошли вдоль рядов, и Тоня смотрела на него...

Кажется, больше она никогда так на него не смотрела.

Он примерил одну куртку и другую... А Тоня критически оглядывала его и говорила, что он достоин лучшего. И когда наконец они совсем разуверились в возможностях вещевых базаров, им подвернулась женщина лет пятидесяти... рыжая с проседью... И у нее над прилавком висела вот эта куртка.

Черная. Мягкая.

Андрей надел куртку, и Тоня его обняла. И рыжая женщина улыбалась, глядя на молодых людей.

Они купили куртку — кажется, женщина сбавила им десятку. На куртке была застежка-«молния», и на каретке висел брелок из нержавейки — вроде как рыцарский герб. Они обнимались весь день. И куртка с тех пор пахла Тоней. Ее кожей, ее духами. Даже когда куртку стирали или забирали из химчистки — она все равно пахла тем днем, летним дождиком, Тониной влюбленностью...

Андрей содрогнулся и поднял голову. Черная тень, будто решавшая его судьбу под гирляндой напротив, шагнула вперед, заняла собой все пространство перед прилавком с купальниками. Андрей увидел, как в страшном сне, круглое лицо с холодными глазами навыкате.

— Все, — еле слышно сказал продавец. — По твою душу. И надолго. Такую мебель сейчас...

В этот момент наперерез круглоголовому метнулась маленькая, подрагивающая, невзрачная тень. Замерла между Андреем и его скорой судьбой.

Подняла неуверенную руку.

Там, где у человека находится кисть, у тени была зажата металлическая вещица. Брелок из нержавейки — потускневший, но все еще разборчивый: какая-то птица... Цветок... Щит...

— Иди, — еле слышно сказал продавец купальников. — Вспомнил-таки... Иди, и удачи тебе... Удачи...

Андрей, пошатываясь, выбрался из-за прилавка.

Вокруг был чужой мир — настолько чужой, что даже космический холод каких-нибудь марсианских пещер в сравнении с ним показался бы уютным. Маленькая тень стояла, покачивая

металлической подвеской, как свечой. Дождавшись, когда Андрей подойдет, она повернулась и двинулась вдоль ряда — среди черных теней. Среди неверных огоньков. Среди бредового мира, в который Андрей отказался бы верить — если бы не суровая необходимость.

И Андрей двинулся следом.

...Курточка была совсем легкая — сколько-нибудь серьезный дождь пробивал ее навылет. Она не умела выдерживать сильный ветер; зато в кармане однажды раскрошилась Тонькина пудра... Почему-то ей некуда было положить пудреницу... И Андрей предложил свой карман... А пудреница возьми и тресни...

С тех пор монеты, которые Андрей ссыпал в карман, оказывались покрыты тонким слоем пудры.

Маленькая тень шла впереди. Несла перед собой брелок из нержавейки, как факел. Как верительную грамоту. И большие тени расступались, давая дорогу.

...Что случилось потом? Она потерлась. Лоснились локти, карманы в сотый раз прорвались и уже не подлежали починке. Полгода курточка праздно висела в шкафу... а дальше Антонина, безжалостная к хламу, вынесла ее к мусорным бакам.

Почему жена никогда не советуется с Андреем? Даже в делах, которые явно его касаются?!

Маленькая тень запнулась. Замедлила шаг. Опустила руку с зажатым брелоком. Оглянулась на Андрея; он не видел ее лица, только угадывал. Лицо подростка, девушки, а может, и мальчика. Очень короткие волосы и узкий подбородок мешали точно определить...

Вокруг сомкнулись тяжелые взгляды. Нахлынул страх...

Они гуляли с сыновьями, Игорь был у Тони в «кенгурушке», а Костя — у Андрея. Чешские клеенчатые трусики попались с браком, или другая техническая неприятность, — но куртка оказалась мокрой насквозь. Костик смотрел на отца круглыми голубыми глазами, нерешительно улыбался, а водопад тем временем пробивался сквозь «кенгурушку», а Андрей хохотал, и в смехе его не было ни капли притворства — в тот момент он гордился сыном, как если бы тот полетел в космос...

Брелок из нержавейки дрогнул — и поднялся снова.

Маленькая тень шла от ряда к ряду, темные силуэты расступались перед ней, и следом шел Андрей. Шелест полиэтилена над головой становился громче. Сквозь обычные базарные звуки — шорохи, голоса, бормотание радио, позвякивание, потрескивание — вдруг прорвался шум мотора, как если бы машина прошла совсем рядом.

Андрей увидел выход.

Он видел его столько раз — в бредовых видениях. В мечтах.

Он рванулся и побежал, ничего вокруг не замечая, и через

несколько секунд вылетел на бетонированную площадку под рекламным щитом: «Сантехника по низким ценам. Обои. Мебель. Бижутерия. Сахар. Трикотаж».

Сонный парковщик сидел на складной скамеечке. Накидка с полосами-отражателями мерцала в свете проносящихся мимо фар.

— Ну вы долго, — сказал парковщик с осуждением.

Андрей оглянулся.

Пустые прилавки. Веревки покачиваются на ветру, как мертвые лианы. Шелестит полиэтилен; крохотный базарчик пуст. Сквозь него видно отдаленный лес — и огни проходящей электрички...

— Который час? — хрипло спросил Андрей.

* * *

— Господи! Где ты был?! Где ты был, я уже не знаю, куда мне бежать, что делать...

— Здравствуй, Тоня. Я вернулся.

СПАСАТЕЛИ

И пожалел седого малыша
Симург, царь птиц, великая душа

Фирдоуси, «Шах-наме»

Сегодня мы опять идем спасать мир. Мы — это Ленка, Жорик, Вась-Вась (который вообще-то Алпамыс, но «Вась-Вась» ему очень подходит) и я, Дум-Дум. По документам меня зовут Сергеем. А Дум-Дум — кличка. Я оружие люблю. Убивать не люблю, а оружие люблю. Пули такие есть, «дум-дум». Вот меня в их честь и прозвали.

Будем проникать в секретный институт. Надо добыть там один диск. А информацию на винчестере они стерли сами. Боятся, что украдут. Это облегчает нашу задачу. На диске записана очень опасная штука. Хорошо, что диск у них один, а тот, кто опасную штуку придумал, вчера умер от старости. Так нам передали. За институтом мы следим уже неделю. Надо бы еще пару дней, но завтра диск увезут. Далеко. Приходится спешить. Это плохо. Спешка — это всегда плохо. Если спешишь, что-нибудь обязательно пойдет не так. Я смотрю, как Вась-Вась дожевывает свой хот-дог. Последний кусок он глотает смешно: кадык дергается лягушкой.

— Пошли, — говорит Вась-Вась, утирая губы ладонью.

Здание института — самая обычная шестиэтажка. Похожа на

общежитие. Только вывеска другая. Странно: когда я на нее смотрю, я все понимаю, что там написано. А стоит отвести взгляд — и ничего не помню. Один номер помню.

Двадцать три.

Институт такой секретный, что на входе даже охраны нет. Дядька-вахтер, и все. Сейчас обеденный перерыв, народ снует туда-сюда, и мы смешиваемся с толпой. Проходя мимо вахтера, Вась-Вась солидно кивает ему, как старому знакомому. И смотрит на часы, будто торопится. Вась-Вась умный. У него такой метод. Смотришь на часы, хмуришься, и вахтер думает, что ты свой. Что опаздываешь к директору. Или еще куда. Вась-Вась у нас самый старший, ему тридцать семь. Поэтому он идет впереди. Хотя на самом деле главного у нас нет. Каждый знает свое дело. У каждого — *специализация*. А вместе мы — команда. Вроде пальцев на руке: каждый сам по себе, а если сжать — кулак получится. Таким кулаком можно ого-го как врезать!

Сейчас нам вверх по лестнице и направо. Вась-Вась заранее рассказал. Он тут никогда раньше не был, как и мы все. Но Вась-Вась — *видун*. Может сквозь стенку видеть. Не всегда, правда. В воскресенье не может. И по средам, с десяти утра до двенадцати.

Ступеньки. Длинный коридор с дверями. Идти надо быстро, но не бежать. Чтобы не привлекать внимания. В конце коридора будет железная дверь. Она заперта. Жорик ее взломает. Он что хочешь взломает Хоть дверь, хоть пароль в компьютере. Потому что Жорик — *взломщик*. У него есть маленькая блестящая отмычка. Щелк! Готово. Это старая раздевалка для рабочих. Зачем в секретном институте рабочие, я не знаю. Наверное, поэтому раздевалка заперта и тут никого нет, одни шкафчики. Здесь мы будем ждать. Не люблю ждать, но ничего не поделаешь. В институт можно попасть в обеденный перерыв. А в подземные этажи — вечером, когда сменяется охрана. Там, на подземных этажах, охраны много. Это только на входе один вахтер, чтоб никто не догадался. Наверное, те, кто здесь работает, тоже не все знают, чем они занимаются. И мы бы не догадались. Нам Симург сказал. Симург дает нам задания. Я вижу его у себя в голове и могу с ним разговаривать.

Я — *связник*.

Выслушав Симурга, я рассказываю задание остальным. И мы отправляемся спасать мир. Нам это нравится. Потому что мы — Спасатели. «Чип и Дейл спешат на помощь!» — смеется Ленка. Ведь нас как раз четверо. Вась-Вась — это, конечно, Роки. Он тоже большой, толстый и все время жует бутерброды. Ленка, понятно, Гаечка. А мы с Жориком — Чип и Дейл. Вот только кто из нас Чип, а кто Дейл, я никак не пойму. Я и в мультике их все время путаю.

Ленка из нас самая маленькая. Ей двадцать три года. «Двадцать три с половиной!» — любит уточнять Ленка. А выглядит на восемнадцать. Или на пятнадцать, если захочет. Жорику *четвертак*. Я смотрю на него чуть-чуть свысока, потому что мне тридцать один. Жорик — Ленкин жених. Уже давно. Года два, наверное. Не знаю, почему они никак не поженятся. Мне, между прочим, Ленка тоже нравится. Я с ней целовался. Три раза. Думал, после будет стыдно, а стыдно не было. Ни капельки! Наоборот, было хорошо. Жорик знает, но не сердится. Ему тоже другие девушки нравятся. Иногда.

Ждать нам долго. Я усаживаюсь на скамейку, прислоняюсь к железному шкафчику для одежды и засыпаю.

Дракон застрял. Здесь пещера слишком узкая, ему не пролезть. Одна шея с головой торчит из прохода. Пасть дымится, глаза отливают багровым блеском в свете фонаря. Красиво! «Скорее! — кричит Ленка. — Надо расширить проход!» Она права: лишь дракон может справиться с Черным Колебателем. Я уже слышу, как он топает внизу, приближаясь. Где-то рядом должна быть каморка со старым шахтерским инструментом. Симург говорил, когда давал задание... Вот она! Вась-Вась с Жориком шли позади дракона, и теперь им до нас не добраться. Двумя кирками мы с Ленкой отчаянно долбим стену. Ленка — она только с виду хрупкая. Если надо, работает как заведенная. Не всякий мужик так сумеет. Камень мягкий, слоистый, отлетает целыми пластами. Проход расширяется на глазах. «Быстрее!» — торопит дракон, фыркая дымом. Пот катится с нас градом, от каменной крошки першит в горле, слезятся глаза. «Ай!» Словно тысяча рыболовных крючков впивается мне в задницу! С криком роняю кирку себе на ногу. Пещерный крысобраз! Пускай это всего лишь детеныш... В следующий миг с грохотом обваливается огромный кусок стены. Походя отшвырнув крысобраза, дракон устремляется вперед, в глубину громадного зала. Словно в пасть чудовища с клыками-сталактитами. Детеныш крысобраза отчаянно визжит где-то в углу. Он насмерть обижен. Из прохода выскакивают Вась-Вась с Жориком, светят фонарями. В лучах возникает большущая черная фигура. Я сбиваю Ленку с ног, падаю сверху, закрываю...

— Пора.

Я всегда просыпаюсь мгновенно. Жорик трет глаза кулаками, а я уже проверяю снаряжение. Сначала — одежда. Отлепить от футболки рисунок-самоклейку и надпись. Надеть поверх синюю куртку, извлеченную из сумки. Очень похоже на одежду здешних техников. Вась-Вась видел. Теперь — оружие. Пистолеты у нас особенные. С такими даже если полиция остановит,

ничего нам не будет. Во-первых, Вась-Вась может сделать так, чтобы пистолеты никто не увидел. Гипноз. Я тоже так могу, но не всегда получается. А во-вторых, пистолеты на вид — как игрушки. Пластмассовые. Нажмешь на курок — из дула брызнет струйка воды. Ребенку купил, в подарок. Но если знать, где фиксатор... и снять верхнюю накладку с баллончиком для воды...

Крутое оружие. Мне нравится.

— Готовность — одна минута.

Вась-Вась смотрит на часы. Беззвучно шевелит губами. Должно быть, считает.

— Пошли!

Спускаемся по другой лестнице. Один пролет, второй, третий. На стене — электрический щит. Жорик снимает крышку, вырывает какие-то провода. Свет на лестнице гаснет. Проходит минуты две. Внизу лязгает дверь, слышны голоса. «Опять фазу выбило! Схожу за электриками...» Удаляясь, голос ругается. Очень плохо ругается. Я понимаю, что это значит, но повторять стыдно.

— Включить фонари! — шепчет в темноте Вась-Вась. Три луча света рвут темноту, и она спешит удрать вниз, вниз... Нам туда. Ленка фонарик не включает. Она идет позади меня и сопит. Ленка всегда сопит, когда злая или сосредоточенная.

Навстречу громко топают шаги.

— А, вы уже... Быстро!

— В первый раз, что ли? — пожимает плечами Вась-Вась.

Охранник кивает, спускаясь впереди нас. Вась-Вась спрашивает в спину:

— Где тут у вас фаза?

Фазу мы находим за углом в распределительной коробке. Дальше по коридору и налево будет комната, где хранится диск. Охранник возвращается на пост у входа в подземный этаж. Остальная охрана сейчас сдает смену этажом выше. Там свет не отключался, и они ни о чем не подозревают. Переодеваются, складывают автоматы в специальный шкаф, начальник расписывается в журнале. На постах стоят три человека. Или четыре: Вась-Вась точно не уверен. Будь у нас еще пара дней...

Под потолком вспыхивают лампы аварийного освещения. Багровые, как глаза дракона. Надо спешить. Хорошо, что коробка — за углом и охранник со своего поста нас не видит.

— Жорик, остаешься здесь. Делаешь вид, будто чинишь фазу. Следи за коридором. Если что, мы пошли менять перегоревшие лампочки. За мной!

Это Вась-Вась для порядка. Любит командовать. Мы и так знаем, что делать.

Достаем пистолеты и идем следом.

Низкие потолки. Под потолком — толстые трубы. От одной

пышет жаром. Отопление? Зачем летом отопление? А вон вода капает. Совсем как в обычном подвале. И ничуть не похоже на секретный институт. Я все себе иначе представлял. Шкафы с приборами, колбочки разные, что-то булькает, индикаторы мигают, люди в белых халатах...

Поворот Нужная дверь приоткрыта. На ней замок электрический, а электричество-то мы вырубили!

— Эй, вы куда?! Стой!

Из боковой дверцы выныривает охранник. Эх, зря мы заранее пистолеты достали. Не подумали. Так, может, сошли бы за электриков... Не люблю стрелять. Вернее, не так: не люблю никого убивать. Стрелять-то я как раз люблю. Но дело обходится без пальбы. Вась-Вась наставляет на охранника пистолет. Охранник пятится в дверь, откуда выскочил. Запирается там и трясется от страха. Стрелять или звать подмогу он боится. Это хорошо.

— Действуйте! — продолжает командовать Вась-Вась.

А то мы без него не знали...

Сейф открыт. Над сейфом, спиной к нам, склонился толстый лысый дядька в костюме. Пиджак задрался, круглый, обтянутый брюками зад смешно оттопырен. Хочется пнуть в этот зад ногой. Я с трудом сдерживаюсь, а Ленка пинает. Она известная хулиганка.

— Диск! Быстро!

Дядька белеет. Это видно даже в мигании аварийных ламп. Блестящие бисеринки пота выступают на лбу.

— Я... я не имею права!

— Имеешь! Скажешь: тебе оружием угрожали.

— Помогите! Террористы! — взвизгивает дядька, пятясь в дальний угол комнаты. Сейчас он очень похож на крысобраза.

Ленка грозит ему пистолетом:

— Не ори! Все равно не услышат. Мы дверь закрыли. Давай диск — или...

— Там! В сейфе... Вторая полка сверху...

Лысого трясет. Он очень боится за свою жизнь. Зря боится, мы не убийцы. Но ему об этом знать ни к чему.

— Есть! Идем.

— Подожди. Надо его связать и рот заткнуть. Чтоб не поднял тревогу раньше времени.

Ох, накаркал!

На нас обрушивается вой сирены. Я быстро оглядываюсь по сторонам, ища коробку сигнализации, чтобы ее разбить. Как в компьютерной игре. Коробки нигде нет, а связывать лысого уже не имеет смысла.

— Уходим!

Лампы вспыхивают, едва мы оказываемся в коридоре. Кри-

чат динамики: «Караул! Проникновение на минус второй уровень! Четверо вооруженных террористов в одежде технического персонала! Охране принять меры к задержанию!»

— За мной!

Я очень надеюсь, что Вась-Вась знает, куда нас ведет. Поворот. Один, другой. Да тут настоящий лабиринт!

— Ленка, диск у тебя?!

— Да.

Вась-Вась довольно пыхтит.

Повороты, железные двери, трубы, штабеля жестяных бочек, деревянных ящиков с грифом «Секретно»... Лестница! Вроде пожарной. Ступеньки влажные, скользкие. Не сорваться бы... Минус первый уровень. Заброшенный холл: пыль, горы хлама. Снова лестница: обычная, каменная. Перила отполированы касаниями многих рук. По таким хорошо съезжать. Только нам не вниз, а наверх! Там светло, там солнце, свобода! Бежим, торопимся. Я люблю приключения. Но мне не слишком нравится, когда за мной гоняется толпа здоровенных охранников. С автоматами и в бронежилетах.

— Уходим через окна второго этажа. На первом решетки.

Главное — добраться до ближайшего кабинета или лаборатории. Для Жорика любую дверь взломать — раз плюнуть. Но за углом взрывается топот, крики. Опоздали! За всех принимает решение Ленка. Молниеносный стриптиз, я краснею, не успев отвернуться... Мелькает одежда. И вот перед нами — строгая училка в белой блузке с кружавчиками, старомодной юбке, в очках и с узлом волос на затылке. Эта... «синий чулок». Никогда не думал, что Ленка может выглядеть такой старой. Лет на сорок! С половиной.

— Охрана! Сюда! Я их видела!

Здорово вопит. Оглохнуть можно. И голос дрожит правильно.

— Они побежали вон туда! Туда!

Вжимаемся в стену. Не дышим.

— Спасибо! — рявкает Ленке старший, с грохотом проносясь мимо. За ним топочут остальные. Молодец, Ленка. У нее специализация — *отвлекала*. Умеет.

Снаружи доносится вой полицейских сирен.

— Окна отменяются. Полиция окружает здание.

— Канализация?

— Верно мыслишь, Дум-Дум. Пошли.

Приятно, когда Вась-Вась тебя хвалит. Но в канализацию лезть совсем не хочется. Лазил однажды.

Даже если сам придумал, все равно не хочется.

Нас настигли, когда Жорик с Вась-Васем выламывали решетку стока. Ленка замешкалась, стрелять пришлось мне.

К счастью, на охраннике был бронежилет. Он просто упал, а потом его отвезут в больницу и вылечат.

— Уходим!

Под ногами хлюпает грязная вода. Очень сильно воняет

— Снимайте ботинки. И брюки. Нам потом наружу выбираться.

Хлюпаем босиком. Обувь и брюки держим в руках. Ленка юбку тоже сняла, сверкает белыми трусиками. Хочется все время посветить на нее, но я сдерживаюсь. Труба расширяется. Это уже не труба: кирпичный свод, кладка явно старая. В разные стороны расходятся три коридора. Вода доходит до колен. Вась-Вась зажмуривается, молча стоит несколько секунд. Мы стараемся ему не мешать.

— Туда! — он машет рукой вправо.

Идем долго. Кирпич сменяется потрескавшимся бетоном, бетон — ржавым железом, железо — полупрозрачным пластиком. Светлеет. Запорные вентили сверкают хромом в свете наших фонарей. Никакой ржавчины, потеков на стенах, даже вонь стала слабее. Колпаки из пластмассы, в баках пузырятся цветные жидкости. Я уверен, что так и должно быть. Если мы близимся к спасению, значит, делается светлее и чище. Нормально.

Последняя лестница.

Карабкаемся наверх. Вась-Вась упирается в крышку люка, с усилием сдвигает...

Пустующий общественный туалет оказался кстати. Мы привели себя в порядок. Смыли грим, отклеили: я — накладную бороду, Вась-Вась — усы. Ленка выбросила в урну парик. Теперь нас не узнать. Побрызгались одеколоном, чтоб не воняло. На улице сели в трамвай, честно взяли билеты у кондуктора. Только штрафа нам не хватало! Проехали мимо секретного института. Сирены, сполохи мигалок. Снова не могу прочесть вывеску. Кроме цифры: 23. Вокруг полно полиции. Но до ползущего мимо трамвая и глазеющих в окна пассажиров им нет никакого дела. Ловят неуловимых террористов. Обманули дураков аж на восемь кулаков!

— Дум-Дум, свяжись...

— Сейчас.

Закрываю глаза. Ответ приходит быстро. Симург, как всегда, в костюме, при галстуке, гладко выбрит. Скулы у него такие острые, что о них, кажется, можно порезаться. Иногда я думаю, что это у него не лицо, а маска. Никогда не видел Симурга живьем. А в моей голове он может показывать себя таким, каким захочет. Интересно, кто он вообще? С какой планеты?!

— Спасибо, — говорит Симург.

— Вы опять спасли мир, — говорит Симург.

— Возвращайтесь, вас ждут, — говорит Симург и улыбается.

Улыбаюсь в ответ.

* * *

Закончив сеанс, Симург встал с кушетки. Отошел к окну, слегка согнув колени, присел. Смешно растопырил руки и закрыл глаза. Этой дурацкой процедуре он якобы научился у какого-то ламы с Тибета, пьяницы и святого. Врал, пожалуй. Анна Николаевна наблюдала за ним, стыдясь своей детской влюбленности. Попасть в интернатуру к Симургу было для нее безумным везеньем, даром судьбы, который молоденькая «тетя доктор» никак не заслужила. Об этом человеке рассказывали легенды и анекдоты. Он работал без шлема: начинающие *психопомпы* записывались в очередь на блиц-тесты, надеясь, что комиссия позволит и им выходить на контакт без адаптеров, — голова потом раскалывалась от боли, а председатель комиссии механически подписывал отказ за отказом. Ну и, наконец, Симург был учеником Деда Мазая.

Любимым учеником.

Того самого Деда, чей бюст стоял у ворот интерната

Анна Николаевна подошла сзади, легонько тронула пальцами виски Симурга. Очень стараясь, чтобы жест был деловитым, в рамках обычной процедуры считывания. Как всегда, ничего не получилось. И, как всегда, Симург остался доброжелательно-равнодушным, помогая «выйти на тропу».

— Я очень устал, Анечка, — счастливо сказал он. — Очень.

— Вам надо в отпуск, Дмитрий Ильханович.

Она еле удержалась, чтобы не ахнуть. Считка шла легко, но результаты!.. Базовая коррекция за шесть недель?!

— Обязательно, Анечка. Доведу этих архаровцев — и уеду в Крым. Дикарем. В самый разгар сезона. Сниму сарай в Судаке и буду делать глупости. Сгорю на пляже, густо измажусь кефиром... поднимусь в Генуэзскую крепость, на Алчак...

— Врете вы все. Никуда вы не поедете.

— Анечка, обижаете! Пальцы держите ниже, на ямочках, так вам будет удобнее. И не бойтесь дышать мне в затылок. В моем почтенном возрасте это входит в число маленьких радостей, еще оставшихся старому мизантропу.

В его возрасте... Анна Николаевна отступила назад, до сих пор не веря результатам. Ни одного убийства на второй месяц коррекции. Ни единого. Даже раненых не было.

— Вы тоже заметили? Ах архаровцы, ах молодцы... Помните первые три сеанса?

Еще бы она их не помнила! После считки ее тошнило. Нет, она знала, как спасают мир эти несчастные, озлобленные на всех дети, знала из учебников, из лекций, из лабораторных работ — но когда пациенты днем бегают наперегонки под твоим окном, смеясь, а потом сеанс — и кровь, кровь, смерть... Месть за причиненное зло — проклятый безусловный рефлекс. Анна

Николаевна ненавидела формулировку: «Интернат для детей, пострадавших от насилия». Ей больше нравилась шутка Деда Мазая: «Лодка для зайцев».

И еще ей нравился Симург.

— Вам надо в отпуск, Дмитрий Ильханович, — повторила она. — Вы устали. Архаровцев я доведу сама, если позволите. Тут осталось всего ничего. Я до сих пор не понимаю, как вы это выдерживаете. С вашей интенсивностью контакта... Вы учились этому у Деда? То есть я хотела сказать — у академика Речицкого?

Симург выпрямился. С хрустом потянулся.

— Учился? Анечка, милая, я *лечился* у Деда. Около года. Мне тогда было... э-э-э... мало мне было. Очень мало. Димка Симург, отпетая душа... У меня мир спасался такой кровью, такой оглушительной местью всем и вся, что архаровцы — ангелы в сравнении со мной, грешным. Разве что эта, Ленка... С ней пришлось повозиться. Трудно мне с женщинами, Анечка. По сей день трудно.

Что он имел в виду, Анна Николаевна не поняла.

В окно влетела мохнатая бабочка-ночнушка и стала кружиться под лампой.

* * *

— ...Подъем! — Вставать не хочется. Глаза слипаются. Почему я там всегда просыпаюсь сразу, а здесь — нет? Почему там я взрослый, а здесь... Ничего, здесь я тоже вырасту! И тогда...

Еще месяц назад я знал, что тогда. Знал так, что в животе все слипалось от ненависти. А сейчас я знаю совсем иначе.

— Вставай, Серый. Завтрак проспишь.

Бреду в умывальную. Вода, как всегда, будет ледяная и слишком мокрая. Ладно. Вообще-то здесь неплохо. Это я просто сонный. Если б не заставляли вставать так рано! И если б не приходилось есть на завтрак манную кашу! И пусть чаще дают поиграть на компьютере. А уколы — ерунда. Я уколов не боюсь. Тем более что их с прошлой недели отменили. Только Ленку колют и таблетки дают. Одну желтенькую раз в три дня, на ночь.

Сейчас лето, занятий нет. После завтрака мы пойдем строить крепость. А после обеда поиграем в ее штурм. И книжки тут всякие, в библиотеке. Оказывается, книжки бывает интересней читать, чем играть на компе. Там за тебя уже все нарисовано, а тут читаешь и сам рисуешь. Воображаешь. Но не так, как Ленка воображает, а по-другому. Ленка так не умеет. Она книжки редко читает.

Но спасать мир интереснее всего!

Мы — хорошая команда. Сыгранная. А еще нам везет. Так Симург сказал. Он сказал: «Вам очень, очень везет!» Я все наши задания помню. *Там* почти все забываешь, а здесь сразу вспоми-

наешь. Главное — никому из взрослых не рассказывать про Симурга с его заданиями. Даже Аннушке, хотя ей очень хочется рассказать. Она добрая. Но глупая, как все взрослые. Решит, что у нас крыша поехала... Я, если честно, поначалу тоже так думал. Даже испугался немного. А потом с нашими поговорил: с Жориком, Вась-Васем, Ленкой. Вот скажите: разве так бывает, чтобы у четырех человек сразу одинаково крыша поехала? Значит, с нами все в порядке. Нас Симург куда-то переносит, пока мы спим, и мы там по-настоящему спасаем мир! Можете не верить, но это все не понарошку. И не глюки. Потому что мы — настоящая команда. Спасатели. А никакие не психи.

Когда я из умывальной выходил — ну, из нашей, мальчишечьей, конечно! — из девчачьей Ленка как раз вышла. Подмигнула мне. И я ей тоже. Мы с ней вчера опять целовались. Забрались в кусты, сидим, смотрим друг на друга. У обоих — улыбки до ушей. Жорик знает, но он не обижается. Он сам с Надькой и с Викой целовался. И Ленка тоже не ревнивая. Надо будет научить ее книжки читать.

После завтрака будем крепость строить... А, да, я уже говорил. Хотите с нами? После обеда я крепость поштурмую, а после ужина, наверное, книжку почитаю. А потом — отбой. Мы ляжем спать, и снова придет Симург. Даст нам новое задание. И мы опять будем спасать мир. Только не тот, что в прошлый раз. Другой. Тот мы спасли, и теперь там все будет хорошо. Иногда мне хочется вернуться туда, где я успел побывать. Насовсем? Нет, насовсем не хочу. Тут лучше. Я только недавно начал понимать, что тут лучше. Хотя и там хорошо. Симург обещал, что время от времени будет давать нам «отпуск». Тогда мы сможем попасть куда захотим. Меня дракон из пещеры, кстати, покатать обещал. Как только Симург нам отпуск даст, я сразу — к нему в гости. Обещал, мол, — катай! И вообще, дракон хороший. Добрый. Симург тоже добрый. Был бы злой, стал бы он нас отправлять миры спасать?! Вот и я думаю, что не стал бы. А еще он говорит: не волнуйтесь. Никого вы не убили. Даже когда стреляли и попадали. Раненые и те выздоровели. Это он раньше говорил. А сейчас не говорит. Незачем сейчас такое говорить. Вот сами подумайте, разве может такой человек быть злым?! И я говорю: не может. А пусть даже и не человек, все равно.

Ладно, мне на завтрак пора. Наверное, я сегодня манную кашу все-таки съем. Думаете, это легко — мир спасать?!

КОЛОБРОД

Сидела нежить на лесной поляне, Миллениум отмечала. Хоть и крещеный праздник, а все одно — событие немалое. Как такое пропустить? Съехались нечистые со всего района, «Мер-

седесы» и «Ауди» в сторонке спрятали, чтобы глаз случайный не смущать, бросили в снег шубы меха дорогого, открыли бутыли джина, виски откупорили.

Гуляй, упыры да потопельники, русалки да лешие! Однова не живем!

Спросить можно, конечно: отчего сила некрещеная на кочергах не прилетела и клубками не прикатилась, как ей испокон веку предписано? Почему виски с этикеткой черной, а не дедов первак? Э-э! Кто всякой роскоши с машинерией в придачу главный заводчик? Измыслил кто все? До сих пор бы люди добрые в наших краях на волах ездили, кабы черт не придумал паровоз. А уж насчет виски или, допустим, коньяка «Камю» и спорить нечего. Их, их затея! Хоть, прямо сказать, не всегда и плохая.

Гуляет сила вражья, пьет да закусывает в полную свою нечистую волю. Вот и полночь близко — близко, но не рядом. О чем бы еще потолковать? Обсудили уже все подряд: грехи людские, злодейства бесовские, шкоды ведьмины, чемпионат хоккейный.

— Так давайте я вам историю расскажу, — предложил Старшой Упыр, всей нечисти районной шеф и самого Люципера областного секретарь. — От деда ее узнал, когда еще пионером был.

— Опять соврешь, ой соврешь! — дружно заорала нежить, шефа своего куда как знавшая.

— Правду поведаю, не тонуть мне в болоте! — махнул синим кулачищем Упыр. — А если совру, то пить мне до остатка дней моих пекельных одну освященную горилку. Знатная, знатная история, доложу я вам. Здесь же и началась она, на этой поляне...

1

Стоял посреди поляны дед Мамай. Стоял — на панов офицеров поглядывал.

— Повесить бы тебя, сволочь кгасная! По всем пгавилам, на вегевке пеньковой да с мылом ваггавским, — мечтательно вздохнул ротмистр Клюке фон Клюгенау. — Жаль, вгемени в обгез. Шашкой пгидется.

— А и не придется, — весело подмигнул дед Мамай. — Ни вешать, ни рубить. Лучше езжай своей дорогой, пан пышный, под шабли славного отряда товарища Химерного. Не то до Страшного Суда жалеть станешь.

От такой наглости ротмистр чуть не застонал. Деду же как будто еще веселее сделалось. Стоял он в свитке старой, пояском кумачовым, революционным, подпоясанной, перед самой конской мордой, травинку в пальцах прокуренных вертя. Назад не отошел, напротив, ближе подступил.

— Красный подпевала, чаклун здешний, — пояснил хорунжий из местных. — Сильный чаклун! С нежитью знается, порчу наводит. Панов и священников на дух не переносит. Давно в Сибирь отправить хотели, только не вышло. Теперь же и вовсе — с красными снюхался, самому бандиту Химерному ворожит... А все ж таки, господин ротмистр, отпустили бы вы его подобру-поздорову! Мало ли?

— А не мало! — хмыкнул неукротимый дед Мамай. — Катитесь отсюда горшком да горошком, пока не передумал. Катитесь — и не оглядывайтесь.

— Онежане на рогах онучи сушили, — как обычно невпопад заметил белый с похмелья штабс-капитан Вершинин. — Ростовцы озеро соломой зажигали..

При этих словах Клюке фон Клюгенау понял, что стонать все-таки придется, хоть и по должности не положено. И вправду! Заблудились, приказ не выполнили, а тут этот дед!

— Мы в Малороссии, штабс-капитан! — покосился он на безразличного Вершинина. — До Онеги и Гостова из гаубицы когпусной не добить!

— Ну, так чего, паны ахвицеры? — совсем обнаглел дед. — Распрощаемся по-доброму или как? Иначе устрою вам такой колоброд, чертям в пекле жарко станет.

— Ливны — ворами дивны, — согласно кивнул бескровным лицом Вершинин. — Кромы — ворам хоромы, Елец — ворам отец.

Не выдержал ротмистр фон Клюгенау — застонал.

Стояло над Украйной буйное лето 1919-го. Насмерть сцепился конный отряд ротмистра Клюке фон Клюгенау с боевой революционной частью товарища Химерного. Рубились, расходились по лесам и балкам, чтобы снова встретиться в лютой схватке. Имел приказ ротмистр — истребить красного командира со всем его войском, только не выходило никак. А тут три беды сошлись: заблудился отряд среди лесных тропинок, не похмелился штабс-капитан Вершинин, вдобавок красного шпиона поймали, ругайся теперь с ним! Подумаешь, дед Мамай! Хан, видите ли!

Плохо, ох плохо знал кровный остзеец фон Клюгенау Малороссию!

— Рубите! — рявкнул ротмистр, трудную литеру «р» внезапно обретая. — Получай, кр-р-р-раснопузый!

— Значится, колоброд вам и будет, — сообщил вредный дед, травинку хитрым узлом завязывая. — Прощавайте пока, панове! В пекле свидимся.

Взметнулись шашки к самому небу, ударили в пустоту. Где дед? Нет деда! Переглянулись офицеры, перекрестился кто-то украдкой...

— Предупреждал ведь! — вздохнул хорунжий из местных.

— Галичане корову в баню тащили, — кивнул штабс-капитан

Вершинин, словно ничего иного не ожидавший. — У ельчан курица утенка вывела.

— Господин ротмистр, господин ротмистр! — донеслось сзади. — Разведка вернулась! Есть дорога. К полуночи в Ольшанах будем.

— По ко-о-оням!!!

2

— Колобгод он устгоит! Гудини кгасный нашелся! — никак не мог успокоиться ротмистр. — Ничего, мы сами кгаснопузым колобгод пгопишем! Накгоем господина Химегного тепленьким!

— Брянцы — куролесы, валдайцы — колокольники, — соглашался с ним штабс-капитан Вершинин. — Владимирцы — печи деревянные.

— Пе-е-есню! — не выдержал фон Клюгенау и, желая напомнить штабс-капитану о прикладной географии, уточнил: — Малогоссийскую!

Никто не удивился. Чего только не пели в эти годы! Переглянулись...

Колы б я був полтавськый сощькый,
Багато б дэчого зробыв,
Пампушкы жирнийи в смэтани,
Плачинды б з кабаком я йив.

Поставыв бы я кризь дэрэва
З мэдовых пряныкив самых,
И нижкы з холодцив свынячи,
Щоб з часныком рослы на ных

— Хохлы глупее вороны, а хитрее черта, — сообщил ротмистру прозревший на миг Вершинин. — Казак когда не пьет, так воши бьет, а все-таки не гуляет.

Не стал спорить с ним Клюке фон Клюгенау. К черту домороченную мистику! Не ошиблась разведка — на верную дорогу вышли. После полуночи гореть господину Химерному в его малороссийском пекле!

Замисть лозы — рослы б ковбасы,
А лыстя всэ було б — млынци,
Зэмля була б з самойи каши
Та з добрых свижих потрохив

Едет отряд шагом, смотрит дозор в вечерний сумрак, прикидывает ротмистр, как ловчее ему разрубить товарища Химерного от плеча до пояса...

Вот и звезды небо укрыли. Глядят вниз, дивятся. Куда спешите, добрые люди?

— Никак волки, господин ротмистр!

Заржали кони, повели тревожно ноздрями..

— Волки?! Какие еще волки?

Всего ожидал Клюке фон Клюгенау в этих краях, но не волков. Однако же рассудил, что дивного в том, пожалуй, меньше, чем в фокусах красного Гудини-Мамая. Леса, глушь, дикость...

— Идти остогожно. Винтовки!

— Осташи — волчьи объедки, — зловеще обмолвился Вершинин, доставая револьвер. — Волк осташа съест, суздальцем закусит.

Стрелять, впрочем, не пришлось. Первый волк, подбежав почти к самым копытам ротмистровой лошади, тут же сдал назад. Удержав поводья, фон Клюгенау помянул на родном остзейском тысячу чертей (ой, не к месту!) и привстал на стременах.

Волки! Хоть и темно, а видно: вдоль всей лесной дороги, и слева, и справа. Почти почетный караул для государевой встречи. Недвижно стоят — то ли ждут, пока отряд проедет, то ли засаду готовят по всем уставным правилам.

— Лишь бы Волчий Пастырь не показался! — Хорунжий из местных поспешил сотворить большой крест. — Ох, только бы...

Накликал! За рядом волков появился новый зверь. Не волк даже — волчина. Всякое видеть довелось ротмистру, но и его пóтом ледяным прошибло: чуть ли не с быка, глаза-плошки в желтом огне, белые зубы даже сквозь темноту ночную сосчитать легко.

Стоит волчина впереди всех — на ротмистра смотрит. Внимательно так.

Выхватил фон Клюгенау верный клинок, за храбрость от самого Брусилова полученный. Шагнул вперед волчина, хвост вверх задирая...

— Не можно! — повис на локте ротмистровом хорунжий. — Ой не можно! То ж он, Пастырь, и есть!

— В Вологде два дня бьют, — подхватил заметно посуровевший Вершинин. — На третий водки дают, на четвертый — хоронят.

Вновь чертыхнулся по-остзейски ротмистр, шашку пряча. Ехали на войну — на охоту попали. Только кто охотник, кто дичь?

Словно понял его волчина. Оскалился, назад отступил. А с ним и остальные. Пуста стала дорога ночная, словно привиделось все.

— Песню! — не выдержал фон Клюгенау. — Да поггомче, глоток не жалеть!

У Чорним мори — запиканка,
Сывуха б у ричках тэкла,
В Дунай бы напустыв слывьянкы,
А дно зробыв бы я из скла.

Разогнала песня ночную тишь. Откликнулся на звонкие голоса сыч — недоволен был старый.

— А ведь жалко! — заметил Волчий Пастырь, провожая отряд долгим взглядом огненных глаз. — Люди все-таки!

Прочие волки были с ним вполне согласны.

4

Ближе к полуночи посвежело. Штабс-капитан Вершинин и тот, слегка оклемавшись, смог правильно сообщить, который час, для чего долго вглядывался в светящийся фосфором циферблат.

— Аккурат без пяти двенадцать. А знаете, господа, нижегородцы — не уродцы, зато Нерехта враз на ум поставит!

На этот раз и Клюке фон Клюгенау не спорил. Полночь! И если он не ошибся, если карта не лжет... А с чего бы лгать карте Генерального штаба?

— За тем холмом, господин ротмистр. Река, мост, а за мостом — Ольшаны!

Есть! Прищучим краснопузых! Недолго тебе ждать, красный командир Химерный!

— Остогожно! Остогожно! Дозог — впегед, не шуметь!..

Подобрались люди, взбодрились привычные лошади, близкий бой чуя. Сейчас, сейчас!..

— В Луцке все не по-людски, — прошептал внезапно штабс-капитан, словно чувствуя что-то, — вокруг вода, посреди — беда!

Редко ошибался бравый рубака Вершинин — даже с похмелья. Как выехали дозорные из леса, как поглядел вперед ротмистр, бросил взгляд на застывший под звездами недвижный простор...

— Так что, ваше благородие, города-то и нет!

Чуть не ударил фон Клюгенау усердного дозорного, хоть в последние годы привычку эту опасную постарался забыть. Хроникер газетный нашелся!

— Китеж, — на сей раз определенно к месту заметил капитан. — Смотришь, а не видишь!

Точно! Все есть, все как на карте: река с камышами, мост деревянный с перилами, лес вдали... Стой, какой такой лес? Не лес, там город быть должен.

Стиснул зубы ротмистр, вновь вперед поглядел. Ладно, нет Ольшан. А что в наличии?

— Мельница там, ваше благородие. Водяная, от моста чуть

правее... Фу ты! Да не правее она, прямо перед мостом устроилась! Да чего же это творится?

Вгляделся фон Клюгенау: верно! Не взойти на мост — прямо на крыльцо наткнешься. Вброд? А если глубоко? А если на мельнице засада красная с пулеметами?

— Спешиться! Отгяду укгыться в лесу. Дозогным — наблюдать!..

Вдохнул ротмистр свежий травяной дух, опустил бинокль немецкий, трофейный, повернулся к Вершинину. Тот же, приказ исполнять не желая, просто лег в траву. Устроился поудобнее, на звездное небо глянул.

— Глупая истогия, пгавда? — прошептал ему фон Клюгенау, стараясь, чтобы нижние чины не услышали.

— Холмогорцы царя из-за угла встречали, — задумчиво проговорил тот, взгляд от звезд не отводя. — А юрьевцы...

— Сергей, будь человеком! — не выдержал ротмистр, на миг малый ловя заветное «р». — Мы же скоро спятим!..

— Уже! — совершенно трезвым голосом перебил Вершинин. — Уже спятили, Георгий!

Перекатился на живот, ударил добела сжатым кулаком по влажной земле.

— Разве ты не замечаешь, Георгий? Все сошли с ума: страна, народ, мы с тобой, этот сельский колдун. Все сошло с ума, даже Время! Ты что, до сих пор думаешь, мы воюем с последователями учения немецкого экономиста Маркса?

— Гас-фи-ло-соф-ство-ва-лись, господин штабс-капитан? — выдохнул сквозь зубы фон Клюгенау. — Спекуляциями по Гегелю заниматься изволите? Пгиказываю наблюдать — и докладывать!

— Водки хочу! — безнадежным тоном откликнулся Вершинин, перемещаясь на бок и прикладывая бинокль к глазам. — В Вильне семь дорог для жида и три для поляка...

Ротмистр попытался повторить про себя последнюю фразу, наткнулся на «р» в слове «дорог» и бросил безнадежное дело.

Оставалось одно — ждать и наблюдать. Докладывать, впрочем, тоже.

5

Первым бочку заметил не дозорный, а все тот же Вершинин. Увидел — и поспешил сообщить начальству. Так и сказал:

— Движущаяся бочка слева!

Доклад был повторен опоздавшим дозорным, постаравшимся, правда, заменить точное название на неопределенное «объект». «Объект» с хорошо различимым хлюпаньем выбрался из воды и, чуть переваливаясь, двинулся к мельнице.

— Бочка на крыльце! — бодро отрапортовал штабс-капитан, после чего фон Клюгенау с привычной для остзейца основательностью перекрестился: естественно, по-лютерански.

— Бочка в доме, дверь закрылась!

— Господин ротмистр, господин ротмистр, бежать нам надо! Сей же час! — заспешил выскочивший из темноты хорунжий.

Вторая бочка пробкой вынырнула из темной воды — и столь же легко взлетела на берег.

— Бе-жать?! — страшным шепотом переспросил кавалер Георгиевского оружия Клюке фон Клюгенау, расстегивая кобуру. — Ты сказал...

— Вторая бочка в доме!

Нрав командира знали, и хорунжий нашелся мигом:

— Совершить военный маневр! Обойти! Только скорее, скорее, это же водяная мельница, тут они и собираются!

Ротмистр сплюнул и вцепился в бинокль. Он не знал точно, принято ли в Малороссии, чтобы бочки по ночам собирались на мельнице, но паники в отряде допускать было нельзя. Тысяча чертей и одна ведьма! Бочки — не торпеды, в конце концов.

И тут он увидел стог.

Проморгал дозорный — и Вершинин не в ту секунду глаза от окуляров отвел. Вот и замечен оказался стог лишь у самого крыльца. Тяжко было стогу, но путь по ступенькам преодолел он на диво быстро. И в открывшуюся дверь нырнул с невиданной резвостью, почти не наклоняясь.

Креститься на этот раз фон Клюгенау не стал, порадовавшись, что вовремя отправил нижних чинов в лес. Впрочем, стог — не мокрая бочка, по нему можно и зажигательными...

— А вот теперь точно — гаплык! — вздохнул хорунжий, тыча вперед пальцем. — От казав же я вам, пане добродию!..

От волнения он явно растерял весь запас русских слов, полученный в унтер-офицерской школе.

— Попгосил бы использовать великогоссийскую гечь! —шепотом рявкнул ротмистр, тоже отметив данное обстоятельство. Но не утерпел: — Что там?

— Вода! Разве не видите, господин ротмистр? Вода к нам...

— Любимовцы — водохлебы, ладожане щуку с яиц согнали, — заметил штабс-капитан Вершинин, резко вскакивая и пряча бинокль. — Тамбовцы воду за степь приняли да неделю топли!

Клюке фон Клюгенау согласно кивнул, оценив точность похмельного штабс-капитана. Тонуть было самое время.

Река наступала. Ни плеска, ни волн, только сырость стала заметнее. Вот исчезли перила моста, вот закачалась на гладкой хляби мельница, вот плеснуло на сапог шагнувшего вперед ротмистра...

— Потопленикоп водяник позвал, — со знанием дела рассу-

дил хорунжий. — Да и не без русалок тут. Говорил же: гаплык! Чаклунство упыриное!

— Отходим! Быстро! — Слово «отступаем» фон Клюгенау произнести так и не смог, зато с ходу одолел несогласный с ним согласный. — Штабс-капитан, поднимайте отряд — и р-р-рысью обратно. Поищем дорогу!..

Маленькие ласковые волны уже обнимали щиколотки. Блеснул сквозь воду горящий синим огнем девичий лик...

— По ко-о-о-оням!

6

Звезды над фуражками, и над стриженными по уставу конскими гривами звезды, и над темными кронами, и над пустой дорогой. Не отступает ночь, отряд отступает. Обратно, обратно, к той самой поляне.

Ставкы б з смэтаною стоялы,
З лэмишкы з салом бэрэгы,
В ставках варэныкы б стырчалы:
Товсти, гарячи и пухки...

С рыси на шаг перешли, потому и запели. Вовремя вспомнил Клюке фон Клюгенау об усталых лошадях — и о нужной дороге, которую в прошлый раз наверняка не заметили. Потому и останавливаться приказывал, и походный компас зажигалкой то и дело подсвечивал.

Ротмистр даже прийти в себя успел, пусть и не в полной мере. Если подумать, что за беда? Не туда свернули, лишний час проехали. Дело военное, вся ночь впереди!

Так и объявил нижним чинам. Про бочки же велел всем видевшим молчать — как и про реку, из вековечного русла вырвавшуюся. Хорунжему особо объяснил, что никакое это не чаклунство упыриное, а природное явление. Пусть и редкое.

Уси крыныци — з добрым квасом,
Та й на пэчи, щоб нэ ходыть,
Щоб чоловик з похмилля часом
Мог до бэзтямы його пыть...

При слове «похмилля» штабс-капитан Вершинин на миг приободрился, но вновь поник головой. Совсем худо стало бедняге: бормочет, а что — не разобрать. И ротмистру было не до веселья, но он держался.

— Дозогный! Догоги не видишь?

— Есть тропа, вашбродь. Налево ведет!

Встрепенулся теперь и фон Клюгенау. Есть, значит, дорога. Не иначе она, нужная!

— Буй да Кадуй черт три года искал, а Буй да Кадуй у ворот сидел, — пробормотал Вершинин. Не без сарказма, зато внятно.

Фон Клюгенау подумал — и обиделся.

Лошадей решили не томить, подчиненных — лишний раз не смущать. Отряд на дороге оставили, как раз у перекрестка, на разведку же собрались втроем: ротмистр с вахмистром — и штабс-капитан в придачу. Оставлять Вершинина с нижними чинами было опасно, а вахмистра фон Клюгенау захватил в качестве специалиста по Малороссии. Взял бы другого, так негде.

Ехали рысью. Недолго, впрочем.

— Тихо, господа! Кажется, поют?

Переглянулись Вершинин с вахмистром, кивнули разом. Что спрашивать, ясное дело, поют! И не просто, не про полтавского соцкого — душевно распевают, по-церковному.

— У пгавославных имеет быть пгаздник? — шепотом уточнил фон Клюгенау, лихорадочно вспоминая календарь.

— Видать, — только и вздохнул вахмистр. — Ох, господин ротмистр, какой уж в таком лесу календарь!

— Белозерские святки, тульские колядки, сибирский Великпост!

Штабс-капитан полностью разделял его сомнения.

— Впегед! Шагом!

Тронулись и сразу поняли: шире стала дорога. А после и вовсе исчезла. Была дорога — полем обернулась.

Широкое поле, до горизонта. И не пустое.

7

— Доброй ночи, панове! И вам, и родне всей вашей!

— Добгой ночи, господа!

Приложил ротмистр руку к козырьку и головой покачал. Было отчего: там пусто, тут густо. Идет толпа ночным полем к церкви, а еще одна с края противоположного тянется. Чуть не все поле в шапках и очипках. Мерно шагают, не спешат, поют негромко, по сторонам не смотрят. Только ближние самые поздних гостей заметили. Вежливые — первыми шапки сняли.

— Не большевики, — рассудил фон Клюгенау, постепенно успокаиваясь. — Но и не нужные нам Ольшаны. Обидно, конечно...

Ударил колокол — глухо, словно из-под земли.

— ...Зато имеем полную возможность получить необходимые сведения.

— Уезжать, уезжать надо! — внезапно засуетился хорунжий. — Ой, трэба, панове! Ой, що зараз будэ!..

— По-великогоссийски излагать! — скривился ротмистр. — Штабс-капитан, опгосите абогигенов!

Вершинин изумленно поглядел на начальника, пошатнулся, попытался слезть с коня...

Получилось, хоть и с третьего раза.

— Лично загублю, паникег! Без всякого тгибунала! — шептал фон Клюгенау замершему в седле вахмистру, наблюдая, как пошатывающийся Вершинин беседует с «абогигенами». — Слышите, вахмистг? Загублю!

— Так загубили уже нас всех! — махнул рукой тот. — Помните, о чем красный дед толковал? Видать, колоброд даже гаплыка горше.

Потянулась рука ротмистрова к эфесу, но спас вахмистр паникерскую свою голову. Не сам — штабс-капитан Вершинин помог. Доковылял обратно, вцепился в край седла, чтобы в пыли не растянуться.

— Докладываю! Ольшаны не здесь — впереди, как мы и ехали вначале. Тут — Мертвецкий Спас. Церковь такая, господа. Покойники данного уезда получают духовное окормление... Эх, водки бы!

Не выдержал фон Клюгенау — ударил коня каблуком в бок. Если неправда, если опять философский бред, не посмотрит, что они с Сергеем фронтовые друзья!

Недалеко проехал — и десятка саженей хватило. И раньше бы сообразил, но темнота мешала. Что ночью различишь, кроме шапки и очипка? А как подберешься ближе, как наклонишься в седле...

Майн готт! Майн либер, либер готт!..

Вздохнул ротмистр безнадежно, по сторонам поглядел и внезапно для себя встал в стременах.

— Господа! Прошу простить! Я — офицер Вооруженных Сил Юга России...

Вовремя «р» появилось!

— ...Не хочу мешать вашему вечному покою, но если имеются живые... Прошу вас, очень прошу, отзовитесь!..

— Та есть, есть, пане! — прошелестело слева. — Как не быть?

— Вы и есть живой. Пока що... — справа.

— То не тратьте сил, пане зацный! — Вежливый остов в истлевшем каптане поклонился не без старинного изящества. — Присоединяйтесь, привыкать вам пора!

— Имею честь быть лютеранином! — железным голосом прохрипел Клюке фон Клюгенау. — За предложение, однако, спасибо. Всего наилучшего, господа!

И — подбросил руку к козырьку.

8

— Разве ты не понимаешь, Георгий? Революция — не политика, не штабная карта с синими и красными стрелами! — шептал штабс-капитан на ухо своему другу и начальнику. — Революция — действительно потрясение основ!

— Потгясение! — только и вздохнул фон Клюгенау. — Поэтический обгаз, не больше.

Горели костры, прогоняя тьму. Отдыхал отряд — и люди, и кони. Пристроились у огонька уставшие офицеры. А ночь все тянулась, тянулась, и не было ей предела.

— Сегодня ты видел этот... образ. Наша жизнь, привычная, такая дорогая нам жизнь, — не только земля и города, не только церковь и люди. Она — нечто неуловимое, духовное, восходящее к самому Небу. И одновременно — страшное, адское. Обычно все эти слои, видимые и невидимые, почти не соприкасаются, текут параллельно. Революция... В революцию все смешивается, рушится привычный Космос, жизнь теряет структуру, скелет. Вот и происходит со всеми нами, со всей жизнью нашей... колоброд.

Хотел возразить ротмистр, в огонь неровный поглядел. Не возразил.

— Хочешь сказать, что в эту ночь нам все показали... наглядно?

— Показали, — кивнул Вершинин. — Боюсь, еще не все, самое интересное впереди... А я тут прикинул, где все-таки началась заваруха — в Государственной Думе или вот в таком лесу? Обидели священник или урядник очередного деда-колдуна...

Снова смотрел в огонь фон Клюгенау. Думал. Долго думал.

— Стгашная месть?

— Страшная месть.

9

— Город! Ольшаны там, вашбродь. Христом-богом, город!

Закусил губу ротмистр Клюке фон Клюгенау, прижал руку к груди, усмиряя холодное остзейское сердце. Прорвались! Все-таки прорвались!

— Искали Казань, нашли леща да тарань, — начал было Вершинин, но ротмистр лишь локтем дернул. Хватит философии, в атаку пора!

— Гека есть, гебята? Мост есть?

— Та-а-ак точно-о-о!

Встрепенулся отряд, долгожданные слова услышав. Повеселели бойцы, обо всем лишнем забывая. Чего ждем? И так всю ночь проездили, проплутали!

Всю ночь? Поймал фон Клюгенау руку штабс-капитана с ци-

ферблатом светящимся, поднес к глазам... Ерунда, Вершинин спьяну просто часы не завел!

— К мосту! За мостом — в лаву! Шашки подвысь!..

Эх, чубарики-чубчики! Не поможет тебе, господин Химерный, колдовской колоброд. Ничего не поможет! Скольких уже таких к большевистской бого-душу-матери отправили, теперь и твой черед пришел вместе с красным Мамаем!

— Вперед!

Вот и «р» на месте!

— За матушку Р-р-россию! Впер-р-ре-е-ед!!!

10

Одэжи вжэ було б нэ трэба,
Панам нэ трэба кунтушив,
Ходылы б, як святи по нэби,
В одных сорочках, бэз штанцив...

Грустно звучала малороссийская песня — долгая, бесконечная, как эта ночь. Устал отряд. И если бы только устал!

Еле шагали кони, едва не падали с седел люди.

— А казино ничего, — равнодушным голосом заметил фон Клюгенау. — Пгистойно, чисто, пгислуга вежливая. И кгасных нет. Если бы не пгиказ, я бы, может, и остался. А ты видел хогунжего, хохла хитгого? Так и бгосился, подлец, штандагт петлюговский лобызать!.. А мне этот... телевизог больше по душе пришелся.

Дернул плечами давно протрезвевший штабс-капитан Вершинин:

— Телевизор... Не в штандарте дело, по телевизору твоему любимому нам все оч-чень убедительно продемонстрировали. В Москве то же самое, страшнее даже. Девочки тринадцатилетние собой торгуют, на каждом углу наркотики, бандиты оружия не прячут, городовые — бандитов хуже.

— Милиционегы, — без особой нужды поправил друга ротмистр. — Как у нас пги Кегенском. Так какой это был год? Сколько лет пгошло?

— Брянцы куда из дому ни поедут, далеко не отъедут, все к кружалу попадут, — то ли со значением, то ли очень впопад отреагировал Вершинин. — Какая разница, Георгий? Вот нам и еще кусочек показали. Мы хотим большевиков выгнать? Выгнали и без нас. Ну и как, нравится? Лучше стало? А ведь целый век, считай, целый век!..

Уси жинкы и молодыци
Знову дивчатамы булы б:

Тонки, высоки, блидолыци.
Погани в свити нэ жылы б...

Стихла недопетая песня, сбавили кони шаг. Словно и они чувствовали что-то.

— Агасферы мы с тобой, Сергей! — вновь поймал непокорную букву фон Клюгенау. — Как есть Агасферы! Только Жиду Вечному довелось из прошлого в будущее брести, а нам — куда попало... Тем, кто погиб и погибнет на фронте, — и нашим, и краснопузым, все-таки легче. Для них мир по-прежнему плоский... правильный.

— Колоброд! — опять дернул плечами штабс-капитан. — И на небесах, и на земле, и под землей... Что ж, Агасфер не меньше нашего был виновен. И мы — виновны! Значит, всем не простится. Будет нам, и детям нашим, и стране всей — страшная месть. Колоброд... Может, и устоится когда-нибудь мир. Увидеть бы — до Страшного Суда!

— Прекратить, господин штабс-капитан! — вздернулся в седле ротмистр Клюке фон Клюгенау. — Не желаю больше слушать. Не простится, видите ли! Наше дело — пр-р-риказ! Деда Мамая испугались? Телевизор не понравился? На ближайшем же привале приведите себя в должный вид. Перед лешими стыдно-с!

— В Муроме и лешак — первый большак, — подумав, согласился Вершинин.

— Отря-а-ад! Па-а-ачему песню не допели? И — раз!

А мы б сыдилы та гойдалысь,
Мов диты в люльци уночи,
Спокийно б раю дожидалысь,
Задэрши ногы на пэчи...

* * *

— Ой соврал так соврал! Ох насмешил! Ой и силен! — гоготала нечисть, распугивая ночной лес и без всякой субординации в Старшого Упыра когтями и пальцами тыча. — Гей, у кого горилка освященная есть, плесните, время самое! Да где такое видано? Слыхано где? Чтобы по лесам нашим, по тропам тайным, между живыми и мертвыми, год за годом чужие шлялись? Кто такую силу имеет? Ой, не верим! Или ты всему свидетель?

— Сам не видел, — упрямо повторил слегка обиженный шеф. — А вот дед мой, Мамай, как раз всему свидетель и есть. Ладно, не верите, ваше дело. Тем более и полночь рядом.

— Шампанского! — в один голос провыла вражья сила. — Миллениум!

Хлопнули пробки, зашипела пена, зазвенел штучный хру-

сталь. И вдруг сквозь гам, сквозь визг донеслось — сперва еле слышно, потом громче, громче...

Колы б я був полтавськый соцькый,
Багато б дэчого зробыв,
Пампушкы жирнийи в смэтани,
Плачинды б з кабаком я йив...

Тихо-тихо стало вокруг, лишь песня гремит. Переглянулись упыры и потопельники, ведьмы и русалки. Наконец сглотнул кто-то:

— Сюда едут...

Встал Старшой Упыр, брови мохнатые сдвинул:

— Значит, нальем хлопцам. И не на донце, а как годится — по полной, до краев! Миллениум все-таки...

Помолчал, вздохнул сурово:

— А главное... До самого Страшного Суда — долго-то как!

КВАРТЕРОНКА

Проезжая перекресток Садовой и Добролюбова, Саша Маленин вдруг осознал, что в его жизни недостает мелкого, но очень важного компонента. Саша служил всего лишь клерком, но зарабатывал неплохо и ездил на работу за рулем собственного «Опеля»; у него имелись жена, сын, любовница, квартира, дача, два-три нескучных друга и счет в банке.

Чего еще?

Всю дорогу Саша напряженно пытался сообразить, какая именно фигурка выпала из жизненного паззла, и только на пороге офиса наконец-то прозрел: в его биографии ни разу не было пылесоса «Никодим».

Угнездившись в рабочем кресле и «разрулив» два-три неотложных дела, Саша позвонил жене и попросил зайти в магазин «Хозтовары» на Добролюбова.

— «Никодим», — сказал Саша, — это такая новая марка. Мне много раз рекомендовали.

— У нас есть пылесос, — сказала жена с неуместным, по мнению Саши, раздражением. — Неужели ты думаешь, что «Бош» хуже твоего «Никодима»?

— Не понял, — сказал Саша. — Кто в этой семье зарабатывает деньги?

Жена положила трубку, и Саша пожалел о своей несдержанности. Супруга в обиженном состоянии творила чудеса; их последствия приходилось потом ликвидировать на пределе сил, эмоций и финансовых возможностей.

Он перезвонил ей через полчаса, но телефон не отвечал.

Возвращаясь домой, он, поколебавшись, все-таки свернул на Добролюбова, проехал двадцать метров и разинул рот. Улицу и тротуар наглухо забили транспортом, так что непонятно было, кто как сюда заехал и каким образом собирается выезжать. Три ступеньки перед входом в магазин покрывало густое человеческое скопление, и Саша смутно вспомнил советские времена — в магазин привезли тогда чайники в горошек, и очередь вытянулась на километр...

Он аккуратненько, задом, выехал опять на Садовую и припарковался на вытоптанном газоне. Хозяйственный оказался закрыт, наглухо залит чешуйками жалюзи, хотя время было еще рабочее. Народ на крыльце что-то живо обсуждал.

— А что тут? — осторожно спросил Саша.

— Да пылесосы размели, — охотно пояснил мужичок в мышиного цвета кепке. — Парень вон из ЦУМа только что, говорит, там то же самое. Ажиотажный, понимаешь, спрос на «Никодим». А «Самсунги» стоят, и хоть бы хны.

— Да? — неприятно удивился Саша. Он сам не мог понять, почему невозможность купить пылесос сегодня вызвала такое острое разочарование.

— Директриса, — мужичок кивнул на закрытые двери магазина, — обещалась завтра со склада привезти сто штук. И цена, между прочим, будет новая...

Мужичок вздохнул. Саша глянул поверх голов на закрытую дверь магазина; он уже понимал, что новая цена его не испугает. Был бы товар... Подойти завтра к открытию... Или рвануть прямо сейчас на склад?

Саша нахмурился, глянул на часы. Полвосьмого; в принципе, есть возможность вычислить директрисин домашний телефон...

Он едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Круглосуточные супермаркеты! Отделы бытовой техники! Слава богу, не советские времена, купить пылесос можно хоть в три часа ночи!

Он поспешил к машине и два часа провел, колеся по городу. В трех крупнейших супермаркетах были закрыты хозяйственные отделы, что само по себе — дело неслыханное. Далеко-далеко от дома, в колоссальном оптовом магазине, переделанном из крытого рынка, ему наконец повезло: добыл-таки «Никодим», маленький невзрачный пылесос. Последний в партии.

— Посказились все, — недовольно сказала кассирша. —Мотор слабенький, насадки плохие, цвет только один — коричневый... А цена, как у «Боша»!

Пока Саша расплачивался, еще двое подошли и спросили, как пройти к отделу бытовой техники и есть ли в продаже пылесос «Никодим».

* * *

Подъезжая к дому (а было уже почти одиннадцать), Саша опомнился. За весь вечер он ни разу не позвонил жене. Ссоры ссорами, но надо и совесть иметь!

Держа коробку с «Никодимом» за пластиковую веревочку, он отпер дверь своим ключом и вошел на цыпочках, заранее напустив на лицо измученную мину тяжелобольного человека.

Сын спал в своей комнате. Жена сидела на кухне, перед ней на полу стояла раскрытая коробка и рядом — пылесос «Никодим», темно-коричневый, с ребристым шлангом, торчащим из бока. Жена вертела в руках щетку-насадку, будто пытаясь понять, зачем вообще нужна эта вещь и зачем она нужна конкретно ей, Сашиной жене.

Саша остановился в дверях кухни. Выпустил из рук коробку, и она тяжело грянулась о покрытый плиткой пол.

— Я купила, — сказала жена, не глядя на мужа. — Пошла за лампочками... И подумала... Там народ его так активно брал... Я подумала и... взяла.

— Ага, — безвольно сказал Саша.

Прошедший день показался дурным сном.

* * *

В пятницу вечером Саша выразил желание съездить на дачу, заранее зная, что жена откажется: у нее в субботу планировалась сауна с подружками Ларисой и Тоней. Сын традиционно проводил выходные у бабушки; Саша дал знать любовнице, что дорога свободна, купил два кило свинины для праздника жизни и семена редиски для отвода глаз. Разыскивая в кладовке складной мангал, Саша наткнулся на два пылесоса «Никодим» — они стояли рядышком, благополучно забытые.

— Тьфу ты, — сказал Саша. Пылесосы почему-то будили в нем чувство вины.

Машину он оставил под окном, намереваясь выехать рано утром. В половине двенадцатого ночи грянул телефонный звонок.

— Алло! — сказал Саша, голосом давая понять нежелательному собеседнику, что звонить в такое время — наглость и моветон.

— Саня? — быстро спросили на том конце провода. — Слава богу, ты дома...

— Кто это? — гавкнул Саша, не позволяя себя разжалобить.

— Это Захар... Захар Кононенко...

— Привет, — сказал Саша без радости. Захар когда-то был его одноклассником; последние несколько лет они виделись не то чтобы часто, но регулярно — Захар, на все руки мастер, про-

давал по дешевке вазочки, полочки, резные фигурки гномов для дачного интерьера и прочие изделия народного промысла. Тот же Захар три года назад сложил Маленину камин на даче и однажды починил машину, когда три продвинутые автомастерские отказались браться за ремонт.

Ни о какой дружбе между ними речь идти не могла — хотя порой Саша находил некоторую приятность в том, чтобы «раздавить» на пару с Захаром бутылку «Медовой с перцем». На даче, разумеется, и лучше поздней осенью, когда огонь в камине и дождь за окном располагают к задушевным беседам. Но теперь был май, хотя и прохладный, и Саша не считал, что поздний звонок Захара хоть сколько-нибудь уместен.

— Слушай, — сказал он сухо и посмотрел на часы. — У меня был тяжелый день... И я сплю. Позвони в понедельник.

— Саня! — взмолился голос в трубке. — В понедельник меня уже... Слушай... — Захар явно подбирал аргументы, желая удержать Сашину руку, несущую трубку на рычаг. — Слушай... Ты Янку Маасу помнишь?

Янкой Маасой звали их общую одноклассницу. Когда-то Саша целый год был влюблен в Янку; воспоминания о ней остались наполовину приятными, но только наполовину.

— Чего ты хочешь? — спросил он устало.

— Меня хотят убить, — призналась трубка.

* * *

Спокойный уик-энд с Лилькой и шашлыками определенно летел ко всем чертям. Во-первых, в субботу с утра зарядил дождик. Во-вторых, уютная Сашина подруга прислала SMS-ку с извинениями: она-де не может приехать в связи с нездоровьем. В-третьих, и в самых ужасных, у ворот дачи обнаружился Захар — у Саши создалось впечатление, что тот ночевал в обрезке огромной трубы, больше пяти лет ржавеющей в лопухах под забором.

— Ты прости, — сказал Захар с заискивающей улыбкой. — Я сейчас уйду...

Саша полез во внутренний карман, вытащил пятидесятку:

— Возьми.

— Спасибо, — пробормотал Захар, прижимая бумажку к груди. — Я верну... Честное слово — буду жив, верну...

— Ладно, — пробормотал Саша. Никогда еще он не видел однокашника в таком жалком состоянии — Захар выглядел обыкновенным бомжом, старым, несмотря на свой тридцатник, и насмерть перепуганным.

— Я уеду, — бормотал Захар, глядя в сторону. — Я тебе не буду больше докучать... Мне надо спрятаться, понимаешь, чтобы

меня не нашли... Если бы еще паспорт поменять... А так — хоть с моста в воду!

— Да брось, — сказал Саша, давя невольное сочувствие. — Обойдется.

Однокашник печально покачал головой. Сделал шаг в сторону, как краб, — будто пытаясь уйти. Без особенного, впрочем, желания.

— Кстати, — сказал Саша неожиданно для себя. — А при чем тут... Янка Мааса?

Захар посмотрел ему в глаза — впервые с момента встречи.

— Ты еще спроси, — проговорил еле слышно, — при чем тут пылесосы «Никодим»...

* * *

До девятого класса Захар Кононенко был твердым хорошистом, бессменным редактором стенгазеты и компанейским, в общем-то, парнем. Учителя его любили за безотказность и неприметность и за осмотрительность, часто граничащую с трусостью; пацаны не шпыняли — во многом благодаря тому, что Сашка Маленин был к тихоне доброжелателен.

Захару удавались шаржи и самодельные комиксы. Маленин пускал их на уроке из рук в руки, пацаны ржали, картинки изымались, запись в дневник получал автор — Кононенко. Но Захар не роптал и рисовал снова; серия его карикатур на учителей долгое время украшала маленинский портфель изнутри.

Ни о какой дружбе между ними речь идти не могла — хотя порой Сашка находил некоторую приятность в том, чтобы посидеть с художником на перилах школьного крыльца, давая смешные прозвища проходящим мимо девчонкам. Иногда за такое творчество девчонки били их портфелем по голове; Сашка Маленин одноклассниц не ставил ни во что и издевался беспрестанно — над всеми, кроме одной.

Янка Мааса перешла в их школу в девятом классе. Ее попытались дразнить «негритоской», но затея умерла, едва родившись. Янка была квартеронкой — то есть на четверть африканкой; кожа светло-кофейного цвета, глаза черные, миндалевидные, волосы вьющиеся — но не курчавые, а волнистые, мягкие, свободно лежащие на плечах.

Скоро девчонки стали называть ее — шепотом, с оглядкой — Пиковой Дамой. Оказалось, Янка потрясающе гадает на картах, и что ни предскажет — непременно сбывается.

Родители ее были обыкновенные инженеры, зато бабка по материнской линии жила где-то в Полтавской области и числилась, безо всяких сомнений, ведьмой. А дед по отцовской линии, когда-то учившийся в Киевском мединституте, теперь об-

ретался на родине, в Африке. Неизвестно, какой из него вышел врач, но то, что он — потомственный африканский колдун, тоже сомнению не подлежало.

Вот такая Янка. Случилось так, что Сашка Маленин и Захар Кононенко влюбились в нее одновременно.

Сашка был по характеру решительнее и смелее. Он взялся окучивать квартеронку по всем правилам первой любви. Приносил билеты в кино на «детям до шестнадцати», небрежно бросал на парту шоколад «Вдохновение», в присутствии Янки всегда бывал необыкновенно язвителен и потешался над одноклассниками так тонко, что порой доходило до драки. В спортзале он забирался на самую верхушку каната и оттуда заводил остроумные беседы с учителем; учитель выходил из себя, класс ржал, Янка хранила бесстрастие. В ее совершенно черных глазах ничего не отражалось — ни одобрения, ни гнева. Сашка приставал к ней с просьбой погадать, и она ответила однажды, глядя прямо и спокойно: «Нет, тебе я гадать не буду».

И — как отрезало.

Говорливый Сашка вдруг обнаружил, что не может в ее присутствии открыть рот. Что сидеть с ней за одной партой невыносимо; девчонки смеялись и перемывали ему косточки. Но самым обидным было то, что тихоня Захар Кононенко пользовался, по-видимому, куда большим успехом.

Янка даже несколько раз приглашала его к себе домой. Захар возвращался обалдевший, рассказывал мальчишкам, понизив голос и оглядываясь по сторонам:

— Там маски... такие! У Янки в комнате на стене настоящая высушенная голова... Прикиньте, да?!

Художник сделался мечтателен, бросил играть в футбол на переменах и чернильной ручкой навел на руке «татуировку», очертаниями подозрительно похожую на «Я. М.». Квартеронка милостиво улыбалась и позволяла провожать себя домой. Очень часто, уже добравшись до Янкиного подъезда, парочка описывала круг-другой вокруг хрущевской пятиэтажки и поросшего ивами двора.

Сашка не знал, что Захар говорил Янке во время долгих прогулок. Разумеется, какую-то ерунду — сю-сю, пу-сю, Яночка, ты лучше всех, ты самая красивая, и тому подобное. Сашкин язык никогда не повернулся бы сказать такую глупость и банальность; Маленин затаился и стал ждать реванша.

И дождался. К празднику Восьмое марта мальчишки сообща задумали выпустить «альтернативную стенгазету» — с портретами девчонок «как они есть на самом деле». Захар радостно выполнил социальный заказ. На его карикатурах девчонки вышли как в жизни — заносчивые, глупые, безобразно толстые либо костлявые, с длинными языками, полными сплетен. Единствен-

ной, кто выглядел более-менее прилично, была, конечно, Янка; беда заключалась в том, что специфически африканские черточки в ее облике ярко выделялись на общем фоне. А Захар, как истинный художник, поддался вдохновению и отобразил их пусть не очень зло, но довольно точно: у Янки на портрете наличествовали вывернутые негритянские губы, нос картошкой, широкие скулы и много косичек на макушке.

Перед тем как вывесить газету на доску объявлений, Сашка подкрасил лицо Янки Маасы коричневым карандашом.

На следующий день случились шум и разбирательство и даже истерики у некоторых девчонок. Но главное было не это. Маленин навсегда запомнил взгляд Янки, когда она смотрела на свой портрет; оказалось, Захар Кононенко этот взгляд запомнил тоже. И кое-что еще.

— ...Она так и сказала, — бормотал Захар, не поднимая глаз от сероватой поверхности пластикового дачного стола. — Она сказала: «Что на словах — вранье. Что на бумаге — правда».

— И что? — жадно спросил Саша.

Захар поднял на него измученные глаза:

— И я к ней больше не мог подойти. Хотел... объяснить... Не вышло.

* * *

События той весны в школе запомнили надолго. Во-первых, в апреле случилось землетрясение прямо во время уроков — окна все повылетели, и уроки сорвались, но, слава богу, стены устояли.

— У нас была самостоятельная по физике, — сказал Захар. — Помнишь?

— Нет, — честно признался Саша.

Захар низко опустил седеющую голову:

— Я... понял, но... понимаешь... Я написал в коридоре... на уголке «Памятки учащимся»... Маленькими буквами... «Бобров — идиот».

— Что-то помню. — Саша сдвинул брови. Бобров из десятого «Б», драчун и хулиган, весной вдруг перестал ходить в школу — говорили, его положили в больницу на обследование. Просачивались слухи, что больница — психиатрическая...

— Понимаешь... Я написал на бумаге, что он идиот, и он стал полным идиотом...

— Он и раньше-то...

— Да нет! Он был придурок, но нормальный... Я тогда не понял. Написал в реферате по географии, что поселок Кузьки — районный центр... А он и стал районным центром! Мне геогра-

фичка еще сказала, вроде в шутку, что мне повезло — когда я писал, это была грубая ошибка, а потом из-за произвола местных властей вышло, что правда... Вот тогда я стал догадываться. Написал на полях: «Контрольная по математике отменяется» — и ее на другой день отменили. Тогда я...

Захар замолчал. Взял кусок сыра с пластиковой тарелки. Меланхолично надкусил; Саша с досадой подумал, что вот суббота, Лилька не приедет, шашлыки замаринованы, а он сидит под старой грушей и слушает откровения сумасшедшего однокашника.

— Ты думаешь, я сошел с ума? — Захар поднял голову.

— Ну... — Саша поморщился, — вообще-то... Ты на двенадцатичасовую электричку успеешь?

Захар вздохнул:

— Чуть-чуть осталось рассказать... Слушай. Три дня я ходил и думал, чего бы мне написать... Например, что я нашел тысячу рублей. Или что меня позвали играть главную роль в каком-то фильме. Или что мне подарили машину... При этом, заметь, на слово мне резко перестали верить. Когда я из-за бабушки опоздал в школу — ну, бабушка заболела, я бегал в аптеку... Надо мной биологичка только посмеялась. И мать тоже... Говорю — был воспитательный час, а она — не ври, в футбол играл... Вот так. И я уже почти придумал... как тут «самка» по физике, ну, самостоятельная. И я перепутал формулу...

Захар замолчал, глядя на свои руки.

— И случилось землетрясение.

— Не веришь? — безнадежно откликнулся Захар. — Да... я перепутал формулу... по-моему, что-то напортачил с законом всемирного тяготения. И...

Саша вспомнил, что с той самостоятельной Захара увезли на «Скорой». Кононенко потерял сознание.

— ...и оно сломалось, — шепотом договорил Захар. — Что-то в ее проклятии... не выдержало. Все-таки закон всемирного тяготения... знаешь... не всякой ведьме под силу.

Саша встал и открыл багажник. Вытащил мангал. Вытащил трехлитровую банку с замаринованными кусочками свинины. Мариновал безо всякого уксуса — майонез, лимон, красное вино.

— Давай жарить, что ли, — сказал сухо. — А то перекиснет.

— Я доскажу, — быстро пробормотал Захар. — Я... с тех пор... ну, как я школу окончил, ты помнишь... или нет? Ну, неважно... Я с тех пор боялся брать в руки ручку, карандаш... На доске еще мог писать... а на бумаге — нет. Дали мне справку, что у меня дисграфия или еще что-то... какая-то фигня, короче, что у меня расстройство письма... Не поступить никуда, об институте и речи нет... И стал я поделки резать из липы. Ну, кирпичи клал... В автомастерской три года... Неважно, неважно! — выкрикнул

он, видя, что Сашино терпение заканчивается. — Ты знаешь, я... с тех пор время прошло... Немного рисовал... Писать мог — чуть-чуть... Заявление там на работу или просто подписаться... Уже мог! И подбили меня... Плакат им нарисовать. Чтобы рекламщикам не платить... Профессионалам... А тут — просто листовка. Про пылесосы.

— Что? — Саша резко обернулся.

Бывший однокашник смотрел на него тревожно и грустно, как старая собака.

— Я нарисовал пылесос, — тихо сказал Захар, отводя глаза, — и написал... написал: «Пылесос «Никодим» — позарез необходим».

— Что?!

— Ты знаешь. — Захар втянул голову в плечи. — Потом... вот... такое... и они узнали.

— Кто — «они»?

— У меня под домом дежурят, — продолжал Захар, глядя мимо. — Звонили... обещали миллион долларов... Потом, когда я для них стану рекламу рисовать...

Саша молчал.

— А другие обещали убить. — Захар потер ладони. — За такое убивают... правда?

Саша выпустил мангал, тот улегся на траву, растопырив три коротких ножки.

— Так, — сказал Саша. — А ну выметайся отсюда. Давай чеши, чтобы духу твоего...

Захар покорно поднялся. У калитки остановился, обернулся:

— За деньги спасибо... Только... Это ты ей тогда портрет подрисовал. Я знаю.

— Иди себе!

— Я почему тебе все рассказал... Потому что это ты подрисовал. И она... про тебя сказала тоже. Тогда. В проклятии.

Захар Кононенко повернулся и вышел за ворота.

* * *

«Врал, подлец. Или крыша поехала. Параноик чертов. Миллион баксов... убить обещали... Кому он сдался, псих?! Блин, я столько шашлыка один не сожру!.. Ладно, пожарю, там видно будет. Как в анекдоте: «Что не съем, то понадкусываю!»

Руки предательски дрожали. Остро пахнущие куски свинины выскальзывали из пальцев.

«Это не от страха, а от лютой ненависти!» — пришел на ум финал другого анекдота. Такие цитаты всегда помогали успокоить нервы. Вот и сейчас: Саша криво, по-волчьи усмехнулся. Нанизал последний шампур. Огляделся в поисках чистой вето-

ши. На краю раскладного стула, где сидел Захар, обнаружился мятый клочок бумаги. Придавленный камешком, чтоб ветром не унесло. Тайком оставил, зараза...

Впрочем, бумага не граната, а хозяин дачи за бывшим однокашником особо не следил. Записка? А хоть бы и так!

В самый раз сойдет руки вытереть.

Любопытство победило: прежде чем использовать записку по назначению, Саша принялся разбирать каракули Захара. Дисграфия, чтоб тебя! Первоклашки разборчивей пишут...

«Я знал ты не поверишь. Я тебе правду... а ты.. Зря. Удачи, Саня!»

Ага, правду. Держи карман шире! Нашел дурака ..

Тем не менее вытирать руки Захаровым посланием Саша раздумал. Отыскал кусок старой газеты. Вскрыл купленный заранее пакет, засыпал в мангал уголь

Правду он, бомжара... правду...

Из багажника Саша извлек флакон с разжигателем, плеснул на уголь. Поднес спичку. Гори он синим пламенем, этот Захар, с его проблемами... Сиреневые язычки жадно облизали топливо. Буквально через минуту уголь зарделся, словно от смущения Вскоре пламя сошло на нет, от мангала ощутимо потянуло жаром. Настало время шампуров.

«Ну ладно, допустим, Захар не врет. Насчет проклятия Я ведь Янке только лицо подкрасил, карандашом. Значит, на Захаре процентов восемьдесят, а на мне — двадцать. Хорошо. Допустим...»

Саша любил мыслить конкретно. Числами. Процентами. Суммами.

Поднялся легкий ветер Словно вдруг заработали два пылесоса «Никодим», без дела скучавшие в кладовке. Два никому не нужных пылесоса. Два позарез необходимых каждому гражданину пылесоса.

«Я всего лишь сделал допущение. Верно? Если на мне проклятие, еще со школы, оно как-то должно действовать. Как? «На словах — вранье. На бумаге — правда». Когда Захар рассказывал, я ему не верил. Когда прочитал его чертову записку...

На бумаге — правда...»

Саша честно попытался вспомнить: что ему довелось писать от руки или набирать на компьютере за годы, минувшие после окончания школы. Бред собачий. Тонны бумаги. Но, может, было что-то особенное? Имевшее последствия, которые он не сопоставил?

Ничего экстраординарного на ум не приходило.

SMS-ки на мобильнике? Нет, речь шла о бумаге... Институт? Конспекты? Диплом? Изложение прописных истин, доказанных много лет назад. Правда, письменные экзамены Маленин

сдавал куда успешнее, чем устные. Действие проклятия? Вряд ли. Просто язык не слишком хорошо подвешен. Женитьба? Окучивая привередливую Татьяну, Саша действовал больше подарками и приглашениями в кафе. Пылкие речи и любовные записки здесь не котировались. Работа в «Элитстрое»?

Работа...

* * *

— Иван Антонович, комиссия приехала!

— Зови скорее! Чего стоишь? Только их и ждем!..

«Поляну» строители накрыли по-царски. Как и на всех предыдущих объектах «Элитстроя», где Саше доводилось бывать в составе комиссии по сдаче жилкомплексов «Олимп». «Третий — не лишний!» — любил говаривать шеф, со значением подмигивая Маленину, которого регулярно посылали третьим.

Раз за разом.

— Может, сперва объект посмотрим? — для приличия заикался зам, напуская на себя показную строгость.

Глава комиссии благодушно махал пухлой ручкой:

— Успеется. Объект не волк, в лес не убежит.

— Все путем, — присоединялся начальник участка, скручивая пробку у штофа «Купеческой». — По высшему классу, мама не горюй. Утеплитель в паре мест проложим, столярочку докрасим и окна помоем. Неделя максимум!

Маленин помалкивал. Он собаку съел на таких делах. Тут и высшего образования не надо, чтобы понять: работы осталось на месяц-полтора. Однако глава комиссии закусывал водку балыком и лоснился от удовольствия. Зам старательно следовал его примеру. После застолья глава распорядится составлять акт, Саша возьмет заранее подготовленные бланки, впишет все необходимое: соответствует, отвечает нормативам, сдано в срок...

Третий — не лишний.

Не было случая, чтобы после акта сдачи-приемки, заполненного Александром Малениным лично, в доме позднее обнаружились недоделки или неполадки. Даже когда при высотных работах, нарушив правила безопасности, разбился монтажник Николай Курсак, дело сошло на тормозах, а монтажника реаниматоры вытащили с того света. Потому что некий Маленин написал: все в порядке. И баста.

На бумаге — правда.

* * *

Вот, значит, как. А он, дурак, еще удивлялся: в должности не повышают, хоть убей, гоняют по объектам «третьим-не-лишним», а зарплату без напоминаний и просьб трижды поднимали.

За что? А вот за это самое, господин прóклятый! Выходит, он, Александр Маленин, — живой талисман «Элитстроя»? «Подкова на счастье»?!

Саше стало обидно. Но не слишком.

В конце концов, работа как работа. И платят хорошо. Один из его нескучных приятелей, Тоха-балабол, хозяин автомойки и магазина с запчастями, всегда говорил: «Твори, пацан, бабло! Бабло всегда побеждает зло!» Фразу эту Тоха перенял у старших товарищей по бизнесу.

Проклятие? Хрен тебе, Янка Мааса, смуглая квартеронка, первая любовь!

Благословение!

Так, самое время перевернуть шампуры. По классическим правилам шампур следует переворачивать всего один раз: чтобы корочка с двух сторон зажарилась, запеклась до хруста, а сок остался внутри, не вытек на угли. Такую «классику», в отличие от всяких Бахов-Брамсов, Саша уважал.

От важного занятия его отвлекли далекие хлопки. Маленин прислушался.

Бах! Бах! Брамс!

И четвертый хлопок; допустим, этот... Дешл!

Шпана петардами балуется? Кто-то из стройпистолета заклепки сажает? А-а, какая разница!

«На словах — вранье. На бумаге — правда». Ладно, с бумагой разобрались. Если всего двадцать процентов правды добавляется, уже на бутерброд с икоркой хватает. А вот слова... Получается, ему, Сашке Маленину, никто не верит? На эти самые двадцать клятых процентов?

Саша задумался. От мыслительного напряжения и жара мангала его пробил пот. Любой человек не всем на слово верит, так? Так. Сомневается. А если к сомнениям еще двадцать процентов накинуть?..

— ...Танюха, я завтра на дачу! Поехали?

— Ты же в курсе, у меня по субботам сауна...

Глядит искоса, кривит ярко накрашенный рот.

— Ну, как знаешь, а я съезжу. С редиской разберусь, свежим воздухом подышу. А тебе удачно попариться!

— И тебя, Санек, с легкой парой!

Послышалось? Или Танька нарочно?

Конечно, не верит! И про Лильку наверняка знает. Только молчит, свою выгоду блюдет. Он ведь деньги в дом приносит. Сын опять же... Блин! Дурак ты, Саня, баран лопоухий! Хоть бы

раз задумался: с кем твоя Танька по саунам субботничает? С подружками?! Ага, держи карман шире!

Раньше тебя доверие — или равнодушие — жены вполне устраивало.

А сейчас неверие — или равнодушие — устроит?!

— Привет, Вадюшка! Папка по тебе знаешь как соскучился?!

— Знаю, — бурчит сын, взлетая к потолку.

Врет папка. Он всегда врет. Ничего он не соскучился. Зато пожарную машину купил. С дверцами, фарами-фонарями и выдвижной лестницей. Ну и ладно. Папы вечно нет дома, папа на работе, папа с друзьями в кабаке, папа с тетей Лилей, папа запирается с мамой в спальне, папа уехал на море — а потом врет, врет, врет: соскучился...

Пусть врет папка.

Зато подарки дарит.

«Господи, за что?!» — в отчаянии воззвал Саша. Господь, явившийся воображению почему-то в облике Янки Маасы, беззвучно ответил: «А ты как думаешь?»

Катаешься как сыр в масле, дуралей?

А тебя ножичком исподтишка — на ломтики, на ломти...

— ...Я хочу поднять этот тост за нашего дорогого Бориславa Олеговича! Здоровья вам, Борислав Олегович, хорошего настроения и толковых подчиненных! А мудрости желать не стану: куда ж еще?! Больше просто не бывает!

Улыбается шеф, благодарит, руку с рюмкой тянет. Глаз острый щурит. Врешь ты все, милдружок Маленин, думает. Насквозь тебя вижу. Дураком старым меня считаешь, подсидеть надеешься, на теплое место метишь. Ври, Сашок, да смотри, не завирайся. Были б у тебя мозги и удача — пришлось бы выкинуть талисман на помойку. К счастью, обделила тебя судьба. Одно и дала: фарт немереный и вранья с три короба.

Это хорошо.

Брехливой собаке Бог клыки стачивает.

Захар, сука поганая, что ж ты со мной сделал?! Откуда взялся на мою голову со своими откровениями?! Жил бы себе, как раньше, поживал, плевал в потолок... Трахал бы Лильку по субботам, с друзьями водку пил, Танька бы вид делала, что ничего не замечает, — а я б и вправду не замечал... Подавиться тебе, За-

хар, и твоей правдой, и твоим враньем! Убить тебя хотели? Правильно хотели! Я тебя, козла, поймаю — сам придушу!

От душевного расстройства Саша извлек из багажника бутылку красного «Ахашени», со злостью вырвал пробку, едва не сломав штопор, — и залпом выхлебал добрых полбутылки прямо из горлышка.

Скрипнули ворота.

— Саня! Они... Спрячь меня!

У ворот стоял трясущийся Захар. Лицо его было в крови.

* * *

— Ты что, совсем придурок?! Они же сюда за тобой явятся... и меня, как свидетеля...

— Они не видели!.. Я побежал, а они... Саня, кажется, они друг друга перестреляли!

Далекие петарды получили объяснение. А желание придушить однокашника собственными руками — новый импульс.

— Точно не видели?

— Точно! Клянусь!

— Ладно. — Саша выглянул за ворота. Вроде и правда тихо. — Сходи к умывальнику, ополоснись. Потом расскажешь.

Из сбивчивого рассказа Захара выяснилось следующее. На полпути к станции его встретили. Юркнуть в кусты Захар не успел. Бритоголовый амбал, выбравшись из черного «БМВ», молча врезал жертве по зубам — для профилактики — и стал заталкивать на заднее сиденье. Сопротивления Захар не оказал. Во всяком случае, до тех пор, пока рядом не тормознула другая тачка. Кажется, в «Вольво» сидели заказчики рекламы пылесоса «Никодим». После короткого выяснения отношений, сводившегося преимущественно к жестам и междометиям, началась пальба. Дальше Захар смотреть не стал: ринулся в кусты, кубарем скатился в балку и дал деру.

— Да, влип ты конкретно...

Саша налил трясущемуся Захару вина и достал вторую бутылку. Мотнул головой на поспевшие шашлыки: кормись! Душить Захара расхотелось.

— Но ты все-таки придурок!

Захар виновато развел руками, расплескав «Ахашени».

— Твоя проблема решается в один момент. И моя, кстати, тоже! — Эта мысль, честно говоря, только сейчас пришла в голову Маленину, и он сразу повеселел. — Ты ж записку мне накорябать смог?

— Смог, — не стал отпираться Захар.

— Значит, садись и пиши: «У меня все будет о'кей. Они все

от меня завтра же отстанут, я за год заработаю кучу бабок, женюсь на Наоми Кэмпбелл, проживу сто... нет, триста!.. пятьсот лет!..» И все такое. Оно ж у тебя сбывается? Сбывается. Пользуйся, дурья твоя башка! А потом я напишу... или нет, лучше ты про меня напишешь — у тебя восемьдесят процентов...

Захар смотрел на него грустными глазами побитой собаки.

— Если б все так просто было... Думаешь, я совсем дурак? Думаешь, не пробовал?

— И... что?

— Честно? Лучше тебе не знать. Крепче спать будешь.

— Н-не понял...

— Нельзя про́клятого его же проклятием спасать. Оно... в резонанс входит, что ли? Отдача потом такая... Лучше не пробовать. Здоровье дороже.

— А если... вперекрест?! Ты про меня пишешь, а я — про тебя!

— Не выйдет. Или еще хуже будет. У нас проклятие — общее. На двоих.

— Врешь! — Саша взмахнул шампуром, словно шпагой, едва не пронзив однокашника. — Ты когда мне все рассказал, я тебе не поверил. Прогнал взашей. А когда записку твою прочел — поверил! Действует оно вперекрест! Действует!

Взгляд Захара остался прежним.

— Нет, Саня. Ты мне просто так поверил. Это ты сам себе признаться боялся...

Оба мужчины надолго замолчали, уставясь в землю.

* * *

Большая собака осторожно проползла в щель под забором.

С дачи оглушительно несло едой, но инстинкт подсказывал собаке: рано. Надо дождаться, пока чужие люди уедут. Можно было, конечно, рискнуть взять чужаков «на любовь». Явиться, виляя хвостом, униженно заглянуть в глаза, устроить грустный скулеж... Такая игра, бессмысленная с местными недоверчивыми жадинами, иногда срабатывала с дачниками. Особенно с их щенятами.

Но инстинкт, жестокий мудрец, держал голод за шкирку железными пальцами. Не пускал. «Ждать! — командовал инстинкт. — Ждать и не лезть со своей блохастой любовью!» Инстинкт умел трезво оценивать ситуацию.

А собака, которую звали Дыркой, умела терпеть.

События сменяли друг друга. Один человек приехал вместе с едой, второй вылез из укрытия вместе с бедой. Бедой пахло и от первого, но слабее. К счастью, первый оказался глух к собственным запахам и остался на даче. Они лаяли друг на друга, потом

первый человек зарычал, и второй убежал. Первый звякал банкой о металл и разжег огонь. Еда, еле различимая раньше, взвила свой запах, словно знамя. Видимо, почуяв это, вдалеке громыхнула опасность, и второй человек вернулся, воняя страхом отсюда до пруда.

Все это происходило не подряд, а с перерывами, но собака была не в ладах со временем. Ей казалось, что аромат мяса плывет над дачей целую вечность.

Маясь под забором, Дырка слушала, как двое скулят. Едят и скулят. В короткой собачьей памяти застряло новое слово. Рычащее слово «квартеронка». Скажи кто-то Дырке, что она тоже в некоторой степени квартеронка, собака и ухом не повела бы.

И зря.

Родители Дырки числились банальными дворнягами, каких в дачном поселке — пруд пруди. Зато дед по материнской линии, знаменитый Ярчак батьки Кулиша, славился по области и за ее пределами. Бабка же по отцу имела паспорт с родословной, выписанный не где-нибудь, а в «Dinastia Bradly», осиновском питомнике доберманов и минпинов цвергпинчеров. Гулящая была бабка, мир ее праху... Все это никак не сказывалось на Дыркиных похождениях, но в редкие минуты сытости собака не сомневалась, что достойна лучшей жизни. Зря, что ли, кобели бегали за ней стаей, а суки-соперницы и огрызнуться не смели?

Главное: уметь ждать.

И все будет.

Хлопнула дверца машины. Чихнул, заурчал мотор. Выждав, пока рев автомобиля стихнет за Яльцевой рощей, собака ринулась в щель. И судьба вознаградила Дырку за умение слушать приказы инстинкта.

Остатки шашлыка.

Куски батона, обжаренного над мангалом.

Она съела даже лук из эмалированной миски.

Подул ветер. Прямо на собаку, дремлющую на солнышке, со стола слетел лист бумаги. В этот лист ничего не заворачивали, рук об него не вытирали и в качестве скатерки не использовали. Удивительный лист. Почти живой. Словно с дерева упал.

Вверху корявым почерком, напоминающим галочьи следы на снегу, было написано:

«Янка, прости нас!»

И ниже, острыми угловатыми буквами с обратным наклоном, еще раз:

«Янка, прости нас!»

Оставшееся на листе место занимал рисунок, сделанный шариковой ручкой. Двое старшеклассников с виноватыми физиономиями стояли возле стенгазеты, еле намеченной резкими, от-

рывистыми штрихами. Четко выделялись канцелярские кнопки, которыми газету крепили к стене. Между лоботрясами счастливо хохотала смуглая девчонка в форме с передником, держа обоих парней за руки.

Очень красивая девчонка.

Впрочем, Дырку рисунок не заинтересовал. Шашлык пахнет куда вкуснее, чем надежда. Собака немного покаталась на спине, заходясь от удовольствия, легла прямо на исчерканный лист, свернулась калачиком и уснула. Дырка не знала, что написанное на бумаге — правда. Она и к сказанному-то относилась с подозрением.

А девчонка все смеялась.

Оконная рама сверкнет пентаграммой,
Брусчатка дороги от площади к храму
И дальше, к базару, направо и прямо,
Как губка, впитает шаги,

Клин ведьм журавлиный — скорее! пора нам! —
Пятеркою римской, клювастым тараном
Ударит в зенит над строительным краном...
Мы — спутники?
Братья?
Враги?!

У старого кладбища звякнет трамвай,
И в пенной сирени угаснут слова.

ТУФЛИ

Зимой Кирилл покупал абонемент в бассейн «Чайка», именовавшийся также банно-прачечным комплексом. Несмотря на оскорбительное название и малый размер, бассейн пользовался оглушительной популярностью среди окрестных школьников и пенсионеров. Дабы не плескаться, как в корыте, в толпе детей и стариков, Кирилл выбирал самое позднее время — с половины девятого до половины десятого вечера.

В этот час в бассейне кроме Кирилла бултыхалось еще человек пять-шесть. Все они молча плавали от бортика к бортику — сосредоточенно и даже торжественно. Один — научный сотрудник, уверявший, что особо ценные мысли приходят к нему именно в эти часы ритуального плавания взад-вперед. Другой — журналист, очень заботящийся о своем здоровье. Прочие троечетверо все время менялись.

В бассейне были высокие окна под самым потолком. В ясные дни плывущий Кирилл мог видеть над собой звезды, а иногда и луну в морозной дымке; тогда жизнь казалась пронзительной, емкой и полной смысла.

Сезон в «Чайке» заканчивался рано — в апреле. В последнюю пятницу накануне Пасхи Кирилл явился поплавать в последний раз. Добросовестно проплыл триста метров, полежал на спине, глядя в требующий ремонта потолок, прыгнул с трехметровой вышки. С сожалением выбрался из воды — земное притяжение заново навалилось на плечи — и побрел в душ, а потом в раздевалку.

Оделся и ушел, попрощавшись до осени, научный сотрудник. Потом ушел журналист. Кирилл остался один, и недовольная тетушка-гардеробщица заглянула в раздевалку не раз и не два, пока он кое-как высушил слабосильным феном свои слишком длинные, по мнению многих, волосы.

В кармашке сумки имелось два номерка — на куртку и на кроссовки. В «Чайке» царило твердое правило: сдавать обувь на хранение перед входом в раздевалку. Сонная и злая гардеробщица поставила перед ним на стойку пару черных туфель — очень дорогих и модных, как показалось Кириллу.

— Это не мои, — сказал он. — У меня кроссовки.

Гардеробщица поджала губы:

— Номерок-то ваш? Шестьдесят три? Там они и стояли!

— Но это не мои. — Кирилл улыбнулся, пытаясь задобрить строгую тетку. — Посмотрите, пожалуйста, там должны быть кроссовки, синие с белым...

— Смотрите сами. — Гардеробщица распахнула перед Кириллом деревянную дверцу.

Он вошел и сразу понял, что кроссовок нет. Ячейки с номерками пустовали; кое-где остался песок от грязной обуви, а в одном месте — троллейбусный талончик, скомканный и серый, прилипший, видимо, к подошве, а потом в тепле отклеившийся. Но кроссовки отсутствовали. Были щегольские черные туфли, и были резиновые шлепанцы на ногах у Кирилла. Все.

Хрипло распевал приемник на кособокой тумбочке: «Над тобою солнце светит, Родина моя-а...»

— Что же мне делать?

— Не задерживать, — посоветовала гардеробщица. — Бассейн закрыт.

— Но это не мои! А мои пропали!

Гардеробщица ткнула пальцем в написанное от руки объявление: «За сохранность сданных в гардероб вещей администрация ответственности не несет». Но, оценив жалкий вид Кирилла, смягчилась:

— А может, вы сами забыли, в чем пришли? И кроссовки ваши дома?

— Это даже не мой размер, — безнадежно отозвался Кирилл.

— А ну, примерьте...

Кирилл взял со стойки правую туфлю. На вид размер сорок пятый, а он носил сорок третий. Надел, дабы продемонстрировать гардеробщице всю вздорность ее предположения, притопнул ногой — и вдруг понял, что размер подходящий. Более того — обувь сидит как влитая.

— Это не мои! — Он быстро стянул чужую туфлю, будто чего-то испугавшись. — У меня были кроссовки! Я за ними полтора часа в Москве в очереди стоял...

— Эти тоже ничего себе, — сообщила гардеробщица. Она внимательно разглядывала оставшуюся на стойке левую туфлю, сгибала и разгибала подошву, щупала кожу, пыталась прочесть «лейбл». — А знаете что? Пишите заявление, что у вас кроссовки пропали. А эти я себе заберу. Может, кто-то вспомнит да придет за ними.

— Э, нет. — Кирилл, спохватившись, снова натянул правую туфлю и завязал шнурок. — В чем я тогда домой пойду?

Он замолчал, и стало тихо. Во всем здании «банно-прачечного комплекса» в этот час было пустынно и мрачно. Гардеробщица смотрела на него, не выпуская из рук левой «спорной» туфли.

— Заявление на ноги не наденешь, — сказал Кирилл тоном ниже. — Если кто-то за ними придет — я оставлю свой телефон... То есть телефон соседей, они позовут.

Гардеробщица молчала.

— И пусть он отдаст мои кроссовки. Что за безобразие! В шлепанцах мне домой идти, что ли? И на работу — в шлепанцах?!

Насчет работы он слукавил — работа у Кирилла была не та, чтоб в кроссовках ходить.

Гардеробщица наконец выпустила из рук левую туфлю. С легкой брезгливостью отодвинула к краю стойки:

— Который час?! У меня рабочий день давно закончен! Давайте, не задерживайте...

Кирилл обулся (туфли сидели как родные). Нашел в сумке ручку, вырвал листок из блокнота. Написал, привычно попадая цифрами в клеточки, телефон соседей. Приписал внизу: «Позвать Кирилла Стержева из пятьдесят седьмой».

— До свидания.

Гардеробщица не ответила. Возилась зачем-то под стойкой.

* * *

Утром, пока Кирилл заливал в себя горячий чай, мама долго рассматривала его неожиданное приобретение.

— Кроссовок жалко, — сказала наконец. — Но эти вообще-то подороже. Импортные, сразу видать... Может, ты их в школу наденешь?

— Не буду я их носить, — отмахнулся Кирилл, доедая пшенную кашу с маслом. — Тот растяпа, что ушел в моих кроссовках, вернется и отдаст. А я тогда ему верну.

Мама с сомнением покачала головой:

— Странно как-то... Пьяный он был, что ли?

— Не знаю. — Кирилл уже стоял в прихожей, натягивал свои рабочие, с черными круглыми носками, грубоватые башмаки. — Если позвонит — отдашь ему, ладно?

— В обмен на кроссовки, — твердо заявила мама.

— Ага... Ну, я побежал?

На остановке топталось полно народу, но троллейбусы в этот час шли один за другим. Кирилл протиснулся в салон и проехал три остановки, покачиваясь на поручне, как обезьяна на лиане. Выбираться обратно было трудно, Кириллу оттоптали все ноги, и, если бы не мощные круглоносые башмаки, он хромал бы весь день, наверное.

— ...Здравствуйте, Кирилл Владимирович!

— А макулатуру сейчас сдавать?

— А субботник на втором уроке или на третьем?

— А Петренко плюется!

— Тихо! Тихо!..

Он поставил сумку на скрипучий стул. Оглядел ораву красногалстучных, шумных, ни хрена не способных к математике; обвел их взглядом, и они замолчали. Молоденькая физичка Лариска, второй год работающая в школе, страшно завидовала этой его способности. Сама-то надрывалась до хрипоты, грохотала по столу тяжелыми предметами, бывало, и за уши хватала. Ничего не помогало, дети у нее на уроках орали, будто в зверинце.

— Здравствуйте, пятый «А». Кто принес макулатуру, поднимите руки. Мало, мало... Девочки, красные косынки есть у всех? У кого нет? Плохо, плохо... На первый урок вы идете на ботанику. На второй — собираетесь здесь, и я скажу, кому что делать...

Впереди был безумный день, тем более безумный, что Пасха в этом году совпала с Днем Рождения Ильича, и видит бог — переругиваясь с завучем, добывая своим школьницам дополнительные красные косынки, руководя побелкой деревьев на школьном дворе, Кирилл не вспоминал ни о пропавших кроссовках, ни об импортных туфлях, доставшихся ему волей странного, довольно-таки дурацкого случая.

* * *

Через несколько дней (была, кажется, среда) в дверь позвонили, и соседка Марья Павловна позвала Кирилла к телефону.

— Добрый вечер, — сказал незнакомый голос. — Это Кирилл Стержев?

— Да, — подтвердил Кирилл, предчувствуя недоброе.

— Я по поводу туфель... Простите, это моя вина. В бассейне вам выдали мои туфли. Черные, производство — Великобритания. Вы слышите?

— Да... конечно. А кроссовки?

— Какие кроссовки?

— Ну, у вас должны быть... По ошибке... Мои кроссовки, которые пропали... в обмен...

— Увы, — отозвался голос после паузы. — Кроссовок ваших у меня нет, но я готов взамен дать вам деньги. Скажем, сто рублей. Этого достаточно?

Кирилл молчал. В месяц ему платили сто тридцать.

— Я заеду к вам, если вы не против. Назовите адрес.

Кирилл молчал.

— Алло, алло! Вы меня слышите?

— Да, — сказал Кирилл. — Хорошо.

И назвал адрес.

* * *

Туфли стояли на полочке под зеркалом

Мама начистила их бархаткой, и они выглядели во всех отношениях блестяще.

В половине девятого в дверь снова позвонили. Пришедший был человек лет сорока, высокий, светловолосый, с улыбчивым ртом и неподвижными голубыми глазами. Кирилл пригласил его в переднюю. Человек вошел и остановился, с неделикатным любопытством разглядывая убранство самой обыкновенной «учительской» прихожей.

— Неловко получилось. — Кирилл потер ладони. — Но, поверьте, у меня пропали кроссовки, а идти домой в шлепанцах я не мог...

— Ну разумеется. — Обладатель неподвижных глаз улыбнулся, показывая блестящие зубы. — Вот, однако, деньги... Где же мои туфли?

— Мне неловко брать с вас деньги, — сказал мужественный Кирилл. — В конце концов, это ваши туфли. Это просто ошибка. Я не могу пользоваться вашим... э-э-э...

— Где туфли? — мягко повторил визитер.

Кирилл обернулся к полочке под зеркалом. Полочка была пуста.

— Мама... Ты взяла туфли?

Мама выглянула из кухни. Настороженно поздоровалась с визитером, обернулась к Кириллу:

— Какие туфли? Те? Нет, я их поставила вот здесь... — Она

посмотрела на полочку и разинула от удивления рот. — Своими руками поставила вот здесь! Четверть часа назад!

Кирилл долго рылся в шкафчике для обуви. Вытряхнул оттуда все; туфель не было. Сгорая от стыда, обшарил прихожую, оглядел комнату, заглянул во все шкафы.

— Мама! Ну где же...

— Я не брала, — отозвалась мать твердо, и по ее голосу Кирилл понял, что шутки кончились. Мама, проработавшая в школе тридцать лет, слишком серьезно относилась к таким понятиям, как «вранье» и «правда».

— Я, — Кирилл прятал глаза, обращаясь к визитеру, — я ума не приложу, куда они делись... Они стояли вот здесь, мы приготовили их к вашему приходу...

— Не волнуйтесь, — сказал визитер неожиданно мягко. — Не стоит так расстраиваться. Они найдутся. А когда они найдутся, позвоните, пожалуйста, — он вытащил из внутреннего кармана прямоугольник визитной карточки, — вот по этому телефону. Хорошо?

— Обязательно, — пообещал красный как свекла Кирилл. — Непременно... Обещаю!

* * *

Ночью Кирилл проснулся от грохота. Подскочил на скомканной постели, рывком включил лампу-бра над головой. Дверца платяного шкафа была приоткрыта, оттуда наполовину вывалилась старая обувная коробка от маминых сапог. Крышка коробки валялась посреди комнаты, и рядом лежала на боку знакомая черная туфля производства Великобритании.

— Ч-черт, — пробормотал Кирилл.

Вторая туфля обнаружилась в коробке, вместе с ворохом каких-то стелек, полиэтиленовых кульков и оберточных бумажек.

Мама выглянула из своей комнаты — производимый Кириллом шум разбудил и ее тоже.

— Кирюша! В чем дело?

— Ну, мама... — проныл Кирилл трагически-укоризненно, указывая взглядом на туфли.

В следующую секунду, посмотрев на ее лицо, он отбросил всякие подозрения.

Мама не прятала туфли в шкаф.

* * *

— Ну может быть, — сказал Кирилл, сдаваясь.

— Да-да. — Мама закивала. — Иногда так случается. Сам засунешь куда-нибудь и совершенно не помнишь куда. Ты их автоматически спрятал в шкаф.

— Или ты.

— Или я, — согласилась мама просто затем, чтобы не начинать все сначала. — Слава богу, у этого... странного человека есть телефон. Ты позвонишь ему и скажешь, что туфли нашлись.

Туфли стояли посреди комнаты ровно и строго, будто в почетном карауле. Черные блестящие шнурки тянулись к Кириллу, как умоляющие руки игрушечных негритят.

— У меня сегодня уроки, — напомнила мама.

— У меня тоже, — вздохнул Кирилл. — Вот черт, не выспался из-за этой ерунды...

Пока мама умывалась, Кирилл приготовил два бутерброда с вареной колбасой. Снял с веревки два выстиранных и высушенных полиэтиленовых кулька, положил в каждый по бутерброду и по яблоку. Отправился в комнату в поисках своего портфеля; едва переступив порог, споткнулся о черные туфли и чуть не выронил сверток с бутербродом.

Туфли отлетели к стене — правая, а за ней и левая. Кирилл чертыхнулся, открыл портфель, сунул сверток в пространство между книгами, щелкнул замочком — и тогда только сообразил. Все эти несколько минут мама не выходила из ванной. Туфли, он помнил, стояли посреди комнаты, как в почетном карауле...

— Эй!

Он зачем-то заглянул в мамину комнату (кровать аккуратно убрана, зато на письменном столе — беспорядок, стопки тетрадей и три стакана из-под чая и кофе). Потом, поколебавшись, заглянул в шкаф; там не было ничего, кроме пары маминых платьев да рыжего Кириллового пальто, короткого по ушедшей моде. Выглянул в окно — пятый этаж, голуби на карнизе, поток хмурых утренних прохожих на тротуаре...

Резко обернулся.

Туфли снова стояли под дверью — там, где он споткнулся о них полминуты назад.

— Тю-у, — сказал Кирилл. Универсальное междометие Тани Яковенко из пятого «Б» прилипло к нему еще в прошлой четверти. Толстенькая Таня искренне поражалась свойствам дробей и, глядя на доску, не могла сдержать своих чувств.

— Полвосьмого. — Мама вошла в комнату с чашкой кофе в руке. — Что ты... — И, в свою очередь, запнулась о неожиданное препятствие, расплескала кофе на старый выщербленный паркет. — Да кто же ставит туфли вот так под ногами?!

— Они сами. — Кирилл давился от нервного смеха. — Бегают.

— Я заметила, — проворчала мама желчно. — Я опаздываю, ты опаздываешь... Туфли то прячутся, то выпрыгивают ночью из шкафа, то бегают под ногами... Если этот чудак их не заберет,

они в конце концов прыгнут в мусорный бак — с моей помощью. Все, я пошла.

За мамой захлопнулась дверь.

Кирилл осторожно закрыл окно, оставил только форточку. Вздохнул, подошел к туфлям — они теперь снова стояли посреди комнаты, но не уверенно и строго, как прежде, а жалобно, привалившись одна к другой, будто в поисках защиты и поддержки.

— Кроссовок жалко, — процедил Кирилл сквозь зубы.

Правая туфля вдруг опрокинулась подошвой вверх. Кирилл отскочил как ужаленный.

* * *

— Закрыто, — сказал сапожник.

— У вас написано, что вы до пяти...

— А сегодня санитарный день. Закрыто. — И окошко с нарисованным на нем красным сапогом захлопнулось.

Кирилл вполголоса чертыхнулся. Если бы не воспитательный час — а по четвергам у них обязательно воспитательный час... Если бы не завучиха с ее идиотскими придирками (стрижки в его классе, видите ли, не соответствуют стандартам! Волосы касаются воротников, а виной всему классный руководитель, у которого патлы висят, как у Бабы Яги!)... Если бы не вся эта ерунда — с набойками давно было бы покончено, Кирилл позвонил бы странному растяпе с голубыми глазами, отдал туфли и вздохнул бы спокойно...

Странно. Когда Кирилл обувался в бассейне, набойки черных туфель были целы. А теперь они стерты так основательно, будто туфли без хозяина прошагали много километров. Не может же он, Кирилл, возвращать туфли в таком виде! Раздумывая, он дошел до следующего сапожного ларька — на углу. Синее окошко оказалось, по счастью, открыто; Кирилл приободрился.

— Вот...

Сапожник, не выпуская изо рта сигареты, взял туфли. Наметанным глазом глянул на набойки, осмотрел туфли, отогнул стельку, присмотрелся...

Быстро поставил на стойку перед Кириллом.

— Не возьмусь.

— То есть как?

Сапожник вынул сигарету изо рта. Раздавил — недокуренную — в круглой жестянке из-под гвоздей; Кириллу показалось, что рука у него дрожит.

— Не возьмусь, — повторил сапожник. — Они импортные... Дорогие... Испортить можно...

— Да это же набойки! Всего-навсего!

— Ты глухой? — тихо поинтересовался сапожник. — Не возьму я твои туфли! И вообще проваливай...

Кирилл взглядом сказал наглецу все, что о нем думал. Взял туфли с прилавка и снова упаковал в холщовую сумку с ручками. На одной стороне сумки была когда-то нарисована Алла Пугачева, а на другой Михаил Боярский, но с тех пор в сумке переносили столько овощей и молока, консервов и хлеба, что лица их сделались почти неотличимы друг от друга.

...А может, наплевать и отдать туфли хозяину как есть? И пусть думает о Кирилле что хочет?

Уже почти сутки Кирилла мучила тревога. Он проклинал бассейн, тот вечер, когда не отдал туфли гардеробщице, а отправился в чужой обуви домой. Лучше бы вернулся в резиновых шлепанцах. Не умер бы. И черт с ними, с кроссовками...

— Не чертыхайтесь, — резко сказали над ухом.

Он поднял голову. Пожилая женщина, сухая и строгая, больше не смотрела на него — шла по своим делам, покачивая мужским портфелем; Кирилл готов был поклясться, что вслух ничего не говорил. Значит, все-таки вырвалось... Плохо. Надо владеть собой. Не ребенок.

Он посмотрел на часы — большие, круглые, еще отцовские. Без пяти четыре. По идее, до закрытия как минимум час, а сапожных мастерских в городе много.

Следующий сапожник окопался в сыром подвале по соседству с детской комнатой милиции. Мастер чинил полусапожки на каблучках таких тонких, что ими, пожалуй, можно было ковырять в зубах; во всяком случае, так подумалось мрачному, усталому Кириллу. В углу мастерской сидела на клеенчатой банкетке манерная блондинка в чулках — ждала окончания работы.

Кирилл уселся на свободный край банкетки. Им владела угрюмая решимость охотника — затравить зверя во что бы то ни стало, пусть и придется сидеть у норы до утра.

Сапожник был молод — немногим старше самого Кирилла; руки его двигались, как притертые друг к другу части сложного механизма. В углу мастерской бормотало радио, невнятно отчитывалось о прошедшем пленуме. Кирилл поднялся: во-первых, потому, что наблюдать за работой сапожника лучше стоя, а во-вторых, потому, что пахнущая духами блондинка раздражала его.

— Покажите, — тихо попросил сапожник, не отрываясь от работы.

Кирилл сперва не понял, а потом спохватился и выгрузил на низкий прилавок черные туфли с шелковыми шнурками.

Сапожник бросил на них косой взгляд; огонек настольной лампы блеснул на металлической набойке острого женского каблучка.

— Я напишу вам адрес, — сказал сапожник прежним бесцветным голосом. — Вы пойдете по адресу... и там вам все скажут.

Кирилл молчал.

Сапожник в последний раз оглядел набойку. Кивнул блондинке:

— Готово...

И, пока та оценивающе разглядывала полусапожки, вытащил обрывок бумаги из нагрудного кармана потертой клетчатой рубашки. Похлопал руками по рабочему столу в поисках ручки; нашел огрызок карандаша. Написал несколько слов, протянул бумагу Кириллу:

— Удачи...

Кирилл вышел, так ни слова и не сказав. Даже «спасибо».

* * *

По адресу, нацарапанному на листке бумаги под типографской шапкой «Счет-фактура», располагался, к большому Кирилловому облегчению, Дом быта. Не приемная экстрасенса, не психиатрическая клиника — обыкновенный Дом быта с ателье, ремонтными мастерскими, прачечной и химчисткой. И, конечно, с сапожником — пожилым дядькой в рабочем комбинезоне, в толстых квадратных очках.

В мастерской никого не было. Время шло к закрытию; Кирилл, понатаскавшийся по городу в час «пик», выложил туфли на стойку и тяжело опустился на стул.

— Хочешь чаю? — спросил сапожник.

От неожиданности Кирилл кивнул.

Сапожник вытащил кипятильник, две зеленые кружки, жестянку из-под импортного кофе и пачку сахара-рафинада (кусок такого сахара не растворится в кипятке, если его не долбить упорно и не размешивать минут пятнадцать). Налил воды из графина, поставил кипятиться, снова глянул на Кирилла.

— Ты их надевал.

Это был не вопрос, а утверждение.

— Да, — сказал Кирилл. — Я шел в них из бассейна...

И рассказал, сам не зная зачем, свою историю.

Вода в кружке закипела. Не выключая кипятильник из розетки, сапожник ловко перебросил его в другую кружку.

— Значит, хозяин знает, где они.

— Да.

Сапожник сжал губы. Уголки рта опустились вниз, отчего Кириллов собеседник сделался похож на угрюмого сома.

— Плохо.

«О боже, — подумал Кирилл. — И здесь — псих! Проклятые туфли и меня самого сведут с ума!.. Встать немедленно и уйти...»

И остался сидеть.

* * *

— Да ты вообще знаешь, что такое обувь?

Напротив Дома быта располагался гастроном с двумя буфетными стойками в углу. Там варили кофе и разливали водку. Кирилл поделился с сапожником половинкой несъеденного бутерброда.

— Не обязательно смотреть в лицо, ты посмотри, как человек идет... Как ставит ногу... Как у него стесывается каблук... Вот ты проносишь туфли, скажем, год — и в них сидит твоя душа. Запах, ритм... Ты идешь или они тебя водят? Почему Петр Первый сам себе сапоги сшил? Знал...

Водку Кирилл не любил, а кофе в гастрономе отдавал желудями.

— Присмотрись к обуви. К любой. Особенно к той, что проработала хотя бы сезон... Она живая. А некоторые...

Сапожник хотел еще что-то сказать — и вдруг в ужасе уставился Кириллу за плечо. Кирилл поперхнулся кофе:

— Что?!

У прилавка стояла очередь, человека четыре. Высокий светловолосый мужчина в костюме и галстуке мелкого партработника покупал красное вино.

— Показалось, — глухо пробормотал сапожник. — Слушай, парень... Тебе эти туфли достались... правильно, наверное. Есть в тебе что-то... такое. Вот только хозяин...

Сапожник замолчал. Откусил от Кириллового бутерброда, вытер губы указательным пальцем, с болезненным видом уставился в глаза собеседнику.

— Не отдавай их ему. Молчи, слушай... Выкупить предложит — не отдавай. Грозить станет — не отдавай... Они сами к тебе пришли, сами и уйдут, но ни продавать, ни дарить, ни отдавать их — никому! — нельзя. А хозяину — тем паче... они от него бегут, к тебе прыгнули, считай, от отчаяния...

— Как же...

— Как хочешь. Они счастье приносят. А если ты их отдашь — счастья тебе не видать вовек. Сгниешь в тоске, сопьешься.

— Может быть, вы...

— Эх, парень... Если бы ты их не надевал — я бы их у тебя взял... А так — нельзя. Они твои. Надень и носи.

* * *

— Кирюшка, ты что, пил?!

— Я набойки ставил. На туфли...

— Да что за напасть с этими проклятыми туфлями!

Кирилл вздрогнул:

— Мам, ты таких слов... не говори. Мало ли...

Он прошлепал — в носках — в комнату, к телевизору. Пере-

дачу «Что? Где? Когда?», несмотря на все странности и тревоги этого дня, он никак не мог пропустить.

Звонок в дверь.

— Не открывай!

Поздно. Мама даже вопрос «Кто там?» считала невежливым.

— Добрый вечер, — раздался в прихожей знакомый прохладный голос. — Ничего, что я без предупреждения? Дело в том, что ваших соседей нет дома...

«А туфли под зеркалом, — подумал Кирилл тоскливо. — Как я их бросил в сумке, так и лежат...»

— Мои туфли нашлись? — осведомился визитер.

— Извините. — Слышно было по голосу, что мама очень смущена. — Так получилось, что...

— Так получилось, что мы их не нашли, — сказал Кирилл, входя в прихожую.

Мама, кажется, на минуту потеряла дар речи. Кирилл мельком глянул на холщовую сумку, привалившуюся к обувному шкафчику; ткань явственно подрагивала, отчего казалось, что Михаил Боярский на портрете шевелит усами.

Кирилл поднял голову — и встретился взглядом с голубоглазым.

— Мы не нашли их, — тихо повторил Кирилл. — Мне очень жаль. Вы можете пойти в бассейн и написать жалобу на гардеробщицу. Правда, она все равно не несет никакой ответственности...

— Простите, — мягко сказал визитер. — Как я понял, вы не намерены отдавать мне мою вещь? Мои туфли?

— А вдруг это не ваши туфли? — Кирилл поразился собственной наглости. — А вдруг вы просто узнали от гардеробщицы, что у меня пропали кроссовки?.. Короче говоря, я прошу вас больше к нам не приходить.

Мама тяжело дышала за его плечом. Смотреть на нее Кирилл не осмеливался.

— Кирилл Владимирович. — Визитер улыбнулся краешками губ, глаза его оставались холодными. — Вы напрасно верите всяким... людям, которых видите, между прочим, впервые. Которые пьют плохую водку и в алкогольном бреду рассказывают странные сказки... А вы ведь математик. Вам в сказки верить не пристало.

— Откуда вы знаете? Вам-то что за дело?

Визитер улыбнулся шире. Сунул руку во внутренний карман пиджака.

— Вот вам двести пятьдесят рублей, Кирилл Владимирович. За пару поношенных туфель — более чем достаточно.

— У меня нет ваших туфель, — шепотом выдавил Кирилл.

— Триста? Четыреста пятьдесят?

И тогда взорвалась мама. Мама, тридцать лет проработавшая в советской школе, имела твердые представления о том, что дозволено, а что — нет.

— Молодой человек! — заявила мама резким, металлическим голосом, который прорезался у нее всякий раз, когда требовалось выстроить в узеньком коридоре четыре класса по тридцать пять человек. — Что это за торги, я не понимаю? У нас нет товара, чтобы с вами торговать! Мой сын ничего у вас не брал. Если, в самом деле, в гардеробе случилось недоразумение — обращайтесь в гардероб! Пусть Кириллу звонит администратор бассейна! И, кстати, пусть вернут его пропавшие кроссовки!

Показалось Кириллу или нет, но в неподвижных глазах незнакомца что-то изменилось. Чуть-чуть.

— Хорошо, — сказал он по-прежнему мягко, глядя на Кирилла. — Я буду ждать вашего звонка...

И, не прощаясь, вышел.

* * *

Кириллу снилось: статья в вечерней газете о зверском убийстве пожилого сапожника.

Кириллу снилось: он приходит домой и, повернув за угол, на месте окна кухни видит выгоревшую черную дыру. Сажа вверх по стене... Дымящиеся развалины на месте балкона...

Кириллу снилось: он приходит домой, а у подъезда стоит белая машина «Скорой»...

Кириллу снилось: толпа на улице, на переходе кого-то сбили... Он подбегает, заглядывает через чье-то плечо... И видит сначала знакомую сумку — в луже молока...

Кирилл не мог спать. До утра сидел, проверял тетради.

* * *

— Какие у вас туфли, Кирюша, — сказала завучиха Анна Васильевна, едва поздоровавшись. — Импортные?

— Да, — кивнул Кирилл.

И неловко замолчал.

— Все-таки как обувь красит человека, — подала реплику молоденькая физичка Лариска, скромно забившаяся в угол учительской.

— Человека красит не обувь, — завучиха привычно-назидательно вскинула палец. — Человека красят знания... Вы слышите, Лариса Евгеньевна? Знания!

И, не опуская пальца, выплыла из учительской прочь.

Лариска осмелела:

— Где ты достал, Кирюша, такую прелесть?

— Сами пришли, — сказал Кирилл.

Лариска подобострастно захихикала.

* * *

Семиклассник Маленин отвечал у доски, путаясь в иксах и игреках; Кирилл, не отрываясь, смотрел на его кеды. Вообще-то в кедах приходить на любой урок, кроме физкультуры, строжайше запрещалось, но данные кеды — не Кириллова забота; пусть болит голова у Лариски, это ее седьмой «Б» класс.

Кирилл смотрел на босоножки серьезной отличницы Башмет, вызванной на помощь Маленину.

Потом, на перемене, Кирилл смотрел на тупоносые, бульдожьего вида туфли Марьи Алексеевны, учительницы литературы, на хлипкие неустойчивые «лодочки» молоденькой глупой Лариски, на завучихины полуботинки: высоченные толстые каблуки — как античные колонны...

Шагая к троллейбусной остановке, Кирилл не поднимал головы, разглядывал ноги прохожих. Поначалу ему казалось, что он в самом деле что-то понимает, что туфли, как собаки, перенимают характер своих хозяев и демонстрируют его в преувеличенном, гротескном виде; потом он запутался. Туфли говорили кое-что о возрасте, роде занятий, степени достатка и аккуратности владельца — но ничего больше Кирилл не мог узнать по каблукам и пряжкам, сбитым набойкам и развязавшимся шнуркам. Ему надоело; он устал и присел на скамейку.

— Кирилл Владимирович?..

О господи!..

Он сидел на лавочке в незнакомом дворе, перед ним в песочнице возились малыши, а рядом сидела, удивленно глядя, девушка лет восемнадцати, тощая до прозрачности, с темными тенями вокруг карих глаз. Он узнал ее. Она выпустилась в позапрошлом году: Ира Толочко, алгебра — четыре, геометрия — пять.

— Привет, — сказал Кирилл, обрывая неловкость. — Что ты здесь делаешь?

Она неуверенно улыбнулась, кивнула на годовалого малыша, толкающего по дорожке летнюю коляску:

— Выгуливаю...

— Твой?

— Мой.

— А я не знал, что ты замужем, — брякнул Кирилл. И прикусил язык.

— А я и не замужем, — сказала Ира просто.

— А-а. — Кирилл проклял свой глупый язык. — А я... из школы иду. Домой.

— Вы переехали? — зачем-то спросила Ира.

— Нет.

Ира странно на него посмотрела. Ничего не сказала.

Кирилл огляделся. Улица, видневшаяся за неровным строем отдаленных кустов, казалась совершенно незнакомой.

— Какие у вас красивые туфли, — сказала Ира.

— А?

Ира была почему-то красной. Даже темные круги под глазами слились с румянцем. Потупилась, отвела взгляд.

Кирилл смотрел на ее туфли. Простые, без каблуков, открытые туфли с ремешком вокруг щиколотки, с носком, устремленным вперед, как нос взлетающего самолета. На пластмассовой подошве туфель имелся узор, многократно оттиснутый вокруг скамейки на песке. Будто печать, подумал Кирилл.

— А какая это улица? — спросил он, наконец отрывая взгляд от Ириных туфель и их отпечатков.

Идущий малыш оттолкнул коляску, шагнул, шлепнулся — и басовито заревел.

* * *

В десять часов он проводил Иру на троллейбус. Посадил в тусклый салон, помахал рукой.

И она помахала в ответ.

Троллейбус ушел, оставив Кирилла на темной остановке — внутренне пустого и легкого, как надутый гелием шарик. Еще вчера ничего не было. Еще сегодня утром ничего не было! Была всякая ерунда — туфли, набойки... Сапожники...

— Кирилл Владимирович?

Что-то подпрыгнуло в животе, судорожно дернулось; нет, ерунда. Еще горят окна. Еще идут прохожие. И он, Кирилл, не хлюпик и не трус.

Голубоглазый стоял перед ним, загораживая дорогу; Кирилл быстро огляделся. Толпы дружков, которую хозяин туфель мог бы привести, поблизости не наблюдалось

— Поздравляю вас, Кирилл Владимирович. Ваши новые туфли очень быстро отплатили вам добром за добро.

Кирилл молчал.

— Ну да, как же... Вы героически вступились за них — не зная, чем рискуете. То есть на самом деле вы не рискуете ничем. Я не стану преследовать вас, не стану угрожать вашим близким. Вы ведь этого боялись?

Кирилл молчал.

— Я не стану поджигать вашу квартиру, не стану охотиться за дураком-сапожником, который дал вам дурацкий совет. Когда вы отказывали мне, вы ничего этого не знали, принимали решение на свой страх и риск. Много лет назад один человек попросил меня достать для него туфли. Я достал. Но не смог удержать. Тот человек до сих пор ждет...

Кирилл молчал.

— Понимаю, — голубоглазый кивнул. — Что ж... Время у меня есть. А у вас есть мой телефон.

Шагнул в темноту — и растаял. Будто и не было.

* * *

Мама все еще сидела на кухне, перед тремя немытыми чашками из-под чая.

— Ну надо же, — сказала, обращаясь не то к Кириллу, а не то к самой себе. — А ты ничего не замечал?

— Нет. — Он отрезал кусочек торта «Песочный», оправдывавшего название и цветом, и вкусом. — Не замечал. То есть что-то припоминаю...

— Как тебя занесло в тот двор? — тихо спросила мама. — Ты знал?

— Нет.

— Значит, знал. — Мама вздохнула. — Сердце иногда знает такое, о чем разум не подозревает...

Кирилл постарался не морщиться. Мама любила устраивать восьмиклассникам «Вечера поэзии».

— А об отце ребенка она что-то говорила? — снова начала мама.

— Нет.

— Глупые девчонки. Вот дурочки... Как же она это себе представляет — и работать, и учиться на вечернем? И ребенок в яслях?

— «Москва слезам не верит», — мрачно пошутил Кирилл.

— Она хорошая девочка, — продолжала мама, не слушая. — Но ведь ребенок... Сынок, ты от меня точно ничего не скрываешь?

— Ма, да ты что?!

Стало тихо.

Ира Толочко, алгебра — четыре, геометрия — пять... Они никогда не общались вне школы, а после выпускного и вовсе не виделись. Кирилл — не очень распространенное имя. И не очень редкое. Но записать в свидетельстве о рождении сына «Кирилл Кириллович»?!

Удивительное дело, за всеми этими волнениями он и думать забыл о голубоглазом незнакомце. Отвязался — и слава богу.

* * *

В воскресенье утром Кирилл не нашел черных туфель в обувном шкафчике.

Вытряхнул все. Долго рассматривал — вот стоптанные полукеды, вот зимние ботинки, вот мамины босоножки, вот выходные туфли на каблуке, мама надевает их только на выпускной вечер... Все — привычные, смирные, старые друзья, хранящие память ноги, призрак ноги, очертания подобранных пальцев...

А черных туфель нет.

Вздохнуть с облегчением? Позвонить голубоглазому — ушли, дескать, ваши туфельки, в другом месте ищите? Ира ждет его к

десяти... Не в кедах же топать. Придется надевать верные, с круглыми носами «рабочие» башмаки...

Кирилл потянулся за кепкой — и на полочке для головных уборов вдруг нащупал мягкий кожаный задник. Неосторожное движение — и вторая туфля свалилась прямо на голову, больно стукнула по макушке.

Ну не мама же, учительница с тридцатилетним стажем, так оригинально шутит?!

* * *

— Эй, смотри, куда идешь!

Кирилл дернулся и поднял глаза.

Он возвращался от Иры. Малыш устал, капризничал, никак не желал засыпать; наконец Ира попросила прощения, пообещала завтра подойти к школе, и они расстались.

Угораздило же по дороге снова засмотреться на обувь! Сперва — на кирзовые сапоги молоденького солдатика, потом на слоновые, на огромной платформе, сапоги-чулки какой-то модницы, потом на войлочные полусапожки старушки с продуктовой сеткой. Вслед за старушкой он влез в троллейбус, не посмотрев на номер...

И вот — чуть не столкнулся с грузчиком на задах большого гастронома.

Что за магазин? Что за улица? Опять?!

Он обогнул пятиэтажную «хрущевку»: так и есть. Чужой район — новостройки, молодые деревца, канал с горбатым мостиком. Красиво. На мосту стояла женщина в ярко-бирюзовом блестящем плаще. Глаза у нее оказались такими же бирюзовыми и блестящими. Она смотрела на Кирилла, чуть улыбаясь краешками мягких напомаженных губ. Кириллова ровесница, возможно, на несколько лет старше; в руке она держала книгу на английском, и палец с коротко остриженным ногтем служил закладкой.

Имя автора — «J. R. R. Tolkien» — ничего не сказало Кириллу.

Над женщиной висело облако духов. Подобного запаха Кирилл никогда не слышал; ни у мамы, ни у завучихи, ни у единой из знакомых ему женщин такого запаха не было и быть не могло. Ветер относил аромат прочь от моста, но облако возрождалось вновь.

— Добрый день...

— Вы кто? — спросила она, и улыбка ее внезапно пропала. — Как-то вы появились... подозрительно кстати. Вы кто?

* * *

После шестого урока Ира ждала его на школьном дворе. Темные тени вокруг ее глаз сгладились; среди толпы школьников она казалась такой же ученицей, только без формы, сияющей, счастливой ученицей. До самой остановки они не смели взяться за руки — школа! Все смотрят! И только усевшись на заднее сиденье троллейбуса, обнялись.

— Я так соскучилась, — виновато призналась Ира. — Я просыпаюсь и думаю: неужели это случилось? Неужели это со мной и это не сон?

Кирилл держал ее за тонкое запястье. Смотрел в окно; в стекле отражались бирюзовые глаза женщины по имени Алиса.

У Алисы имелся домашний телефон. Скомканная бумажка на дне Кириллового кармана.

* * *

— Хватит! Я сказал, хватит!

Туфли стояли посреди комнаты, сцепившись шнурками, будто держась за руки.

— Хватит! Мне достаточно одной любимой женщины! Две — это много, вы понимаете?!

Мамы не было дома. Кирилл сам себе напоминал персонажа комедии; свои увещевания туфлям он перемежал нервным смехом и питьем «Миргородской» минеральной воды.

— Я больше вас не надену, — заявил он наконец. — Дурак! Мог бы и раньше догадаться... Я вас больше не надену!

И вздохнул с облегчением.

* * *

— Алло, — сказал голос в трубке.

— Добрый день, Алиса. — Он пугливо оглянулся на дверь учительской. — Это Кирилл...

— Я узнала, — серьезно отозвался голос. — Что вы делаете сегодня вечером?

— В основном проверяю тетради...

— Да бросьте вы, доставьте детям радость, проверите потом... Как насчет чашечки кофе?

— Я...

В учительскую заглянула директриса. Кого-то искала. Не Кирилла.

— Одну минуту, — сказал Кирилл в трубку.

— Перемена закончилась, Кирилл Владимирович, — холодно сообщила директриса.

— У меня сейчас окно, нет урока. — Кирилл вежливо поднялся со стула.

— Ах, у вас окно. — Директриса вплыла в учительскую, как медуза в аквариум. — О, какие у вас туфли... Импортные?

Покрываясь потом, Кирилл взглянул на свои ноги. Черные туфли поблескивали, будто натертые бархаткой.

Он отлично помнил, что сегодня утром надевал тупоносые «рабочие» ботинки.

* * *

Ира встречала его у школы. Что такое, ведь сегодня они не договаривались!

Он выбрался через заднее крыльцо. Пролез через дыру в заборе, как мальчишка. Кто-то обязательно доложит завучихе... Ну и черт с ними!

Бедная Ира. Как она огорчится...

«Один раз, — говорил себе Кирилл, убегая в противоположную от остановки сторону. — Один раз, только один раз выпью кофе с Алисой. И все. Алиса сильная... А если я брошу Иру — это грех на душу, тяжелый грех... А двух сразу любить я же не могу?..»

Он остановился, переводя дыхание. «Не могу... Почему не могу? Что за сила запрещает мне любить двух? Пусть я женюсь на Ире. Это справедливо. Я ее люблю. Я усыновлю ее Кирюшку. Пусть будет нормальная семья. Пусть Ира поступает в универ, хоть бы и на вечернее...

Но с Алисой я же не расстанусь? Что мне мешает любить одновременно Алису?..»

Он споткнулся о выступающий из земли кусок строительной арматуры. Чуть не упал. Огляделся — и здесь стройки. Новый стадион, рядом теннисные корты, малышня с ракетками, лет по восемь-девять, не больше... Сделал шаг, другой. Подошел вплотную к железной сетке, отделяющей рыжий корт от недавно заасфальтированной дорожки.

— Замах — удар! Ну-ка, еще раз, слева: замах — удар! Смотрим все на мяч... Вадик, выше ракетку!

Тяжелое предчувствие — счастливое предчувствие — ужасное предчувствие — накрыло Кирилла, будто суповой крышкой. Девушка, одетая в короткую белую юбку, в белой тенниске, с широкой лентой-«резинкой» на черных волосах. Она стояла в нескольких метрах, командуя малышней твердо и вместе с тем подружески, как любил и умел это делать сам Кирилл.

— Справа! Слева! Замах — удар! Потянуться за мячом! И снова в стоечку! Так, хорошо! Теперь разобрали мячи и стали вдоль стеночки, постучали...

Строй детей рассыпался. Кирилл глядел, как во множестве мелькают зеленые подошвы китайских кед.

Потом увидел прямо перед собой — за железной сеткой — белые брезентовые туфли. Белые носки. Белые ноги, мускулистые, с круглыми крепкими коленками. Подол коротенькой теннисной юбочки...

Перехватило дыхание. Кирилл ухватился за железную сетку — как узник или как зверь в зоопарке.

— Вы что-то хотели спросить? — весело поинтересовалась девушка. Тяжелая грудь колыхнулась под белым сатином тенниски.

— Да, — сказал Кирилл обреченно. — Как вас зовут?

* * *

Босоножки безнадежно порвались. На старых туфлях лопнула подошва. Даже кеды просили каши. Вся, буквально вся обувь Кирилла — кроме черных туфель, естественно, — в один день пришла в негодность по разным естественным, хотя и обидным причинам.

...За витриной обувного магазина толпился хвост многообещающей очереди. Кирилл вошел и встал, и не ошибся: давали летние мужские югославские туфли. Он еще успел сбегать домой за деньгами.

На другой день обновка приказала долго жить: обнаружился брак. Мама ходила в магазин, возмущалась, деньги ей вернули, но менять неудачную покупку было уже не на что.

Черные туфли смирно стояли на опустевшей обувной полочке. Как будто они тут ни при чем.

* * *

— Кирюша, — сказала мама. — Ну хоть мне ты можешь объяснить, что случилось? Петровы жалуются, что им слишком часто стали звонить. Они не могут по сто раз в день звать тебя к телефону...

— Я люблю Иру.

— Ну и прекрасно! Тебе двадцать шестой год. Давно пора...

— Я люблю Алису.

— Какую Алису? Глупости! Откуда она взялась?

— Она создана для меня. Она понимает меня с полуслова. Я люблю ее. Она...

— Ну так выбери, кого ты любишь!

— Викторию.

— Кого?!

— Виту, мама. Она студентка института физкультуры...

— Так, — сказала мама, подумав. — У меня с тобой, Кирилка, никогда не было никаких проблем — ни в детстве, ни в институте, ни сейчас. Видать, за все надо платить. Все проблемы явились в куче, и явились, откуда не ждали. У тебя гормональный взрыв.

— Что?!

— Надо к врачу пойти, Кирилка. В школе ты относился к девочкам спокойно и после школы тоже... Не очень они тебя занимали. Выходит, лучше бы ты в шестнадцать лет перебесился.

— Мама. — Кирилл взялся за голову. — Ты посмотри... У каждого человека есть кто-то, с кем можно прожить жизнь счастливо, так?

Мама недоуменно молчала.

— Иногда найти его не получается. Встречаются чужие люди. Что-то их объединяет...

— Кирилл, — обеспокоенно сказала мама. — У тебя голова не болит?

— А у меня сразу встретились все, в кого бы я мог влюбиться... нет, полюбить. Если бы любая из них... одна — я был бы просто счастлив, мама! Но их три. И, если я... если... короче говоря, у нас город немаленький, и их может оказаться больше. Четыре. Или пять. Или десять...

Он вдруг поймал мамин взгляд. Поднялся со стула, пошел в ванную. Сунул голову под струю холодной воды. Тщательно вытер лицо и волосы полотенцем.

Мама не двигалась с места.

— Мама, — сказал Кирилл, снова усаживаясь напротив. — Ты прости. Я... уже все. Считай, что я пошутил... Все по-прежнему, мама.

Она смотрела жалобно. Ей очень хотелось поверить.

* * *

Кирилл плотнее перевязал сверток. Три слоя полиэтилена — не промокнет; в старину так избавлялись от младенцев, чья судьба не определена либо, наоборот, предопределена слишком хорошо. И младенец плыл себе в люльке по водам реки, пока в конце пути его кто-нибудь не подбирал...

Он подошел ближе к берегу и опустил сверток в воду. И долго смотрел, как тот уплывает.

Позади были сто неудачных попыток избавиться от туфель. Кирилл пытался сбагрить их сотрудникам в школе. (Импортные! Дешево! Почти не ношенные!) Пытался продать на толкучке, где едва ускользнул от милицейского патруля. (Скандал! Учитель-спекулянт! Глядишь, и с работы уволили бы...) Пытал-

ся оставить во дворе рядом с мусорным баком, но мама нашла и принесла обратно...

Сверток зацепился за корягу. Освободился. Двинулся вниз по течению — медленно и торжественно, как пароход «Адмирал Нахимов», на котором Кириллу однажды довелось побывать. Кирилл не стал дожидаться, пока плавучий сверток скроется из виду. Вытер пот тыльной стороной ладони — и потрусил к автобусной остановке.

— Где ты так долго? — с беспокойством спросила мама. — И, кажется, промочил туфли?

Кирилл посмотрел на свои ноги.

Хорошо, что в прихожей накануне перегорела лампочка и мама не могла разглядеть как следует его лицо.

* * *

— Здравствуйте, — сказал Кирилл.

— Здрасьте, — отозвался сапожник, не поднимая головы. — Берем заказы на понедельник.

— У меня не заказ.

Сапожник наконец-то оторвался от стоптанной подошвы. Взглянул на посетителя поверх очков, тут же потупился и, как показалось Кириллу, поскучнел.

— Вот. — Кирилл поставил туфли на прилавок. — Я вам их принес. Забирайте.

— У меня не магазин, — отозвался сапожник сварливо. — Обувь на комиссию не принимаем.

— Если вы не возьмете, я хозяину отдам, — пообещал Кирилл.

Сапожник посмотрел на него снова — тяжело и устало.

— Отдавай. Увидишь, что будет. Мне-то что? Отдавай.

* * *

Ночью туфли и босоножки возятся в шкафчике для обуви, шепчутся, подергивают шнурками, и песчинки опадают с их натруженных подошв. Посмотрите, утром на обувной полке полно песка...

Днем невиданные полчища обуви бродят по улицам, вынюхивают чужие следы, решают, повернуть вам направо или налево, успеть на автобус или опоздать, встретить нечаянно друга — или пройти в двух шагах, разминувшись на долю секунды. Стучат каблуки, шлепают подошвы, хлопают слишком свободные голенища.

Чей-то башмак стоит на письменном столе. Как он туда заскочил?..

Кирилл проснулся.

За окном едва серело.

Из приоткрытой форточки приторно пахло черемухой.

* * *

— Чего вы от меня хотите?!

Туфли стояли на столе, на старой газете «Известия». Стояли, бессильно раскинув шнурки — будто разводя руками.

Туфли не могли ему ответить.

Он снова — в который раз — взял их в руки. Внимательно рассмотрел подошву, пощупал швы, потрогал стельку. Господи, да он рехнулся, это всего лишь туфли, обыкновенное изделие обувной промышленности, производство — Великобритания...

Это он, Кирилл, сходит с ума.

* * *

Обрывок бумаги с записанным номером телефона он выбрасывал уже раз пять. А тот все равно находился — в кармане, на дне сумки, в ящике учительского стола .

Гудок. Еще гудок. В телефонной будке сыро и пахнет какой-то дрянью, сквозь мутные стекла видна коротенькая очередь — две нетерпеливые грузные дамы, блондинка и брюнетка, обе заранее раздражены ожиданием, хотя Кирилл еще не начал разговор.

Может быть, ему так никто и не ответит?

— Алло! Кирилл Владимирович?

— Я. .

— Добрый день! Вы что-то хотите мне сказать?

— Я... отдам вам туфли.

— Замечательно. Мне зайти?

— Н-нет, — выдавил Кирилл. — Давайте встретимся... Возле... нет... — почему-то он не додумался выбрать место встречи заранее, — возле... Возле центрального книжного. Знаете где?

— Возле магазина или возле книгообмена? — Собеседник выказал осведомленность.

— Возле книгообмена.

— Хорошо. Когда?

— Через... час. — Кирилл кашлянул, прочищая горло.

— Договорились, Кирилл Владимирович. До встречи!

Гудки.

Пухлая брюнетка постучала согнутым пальцем в мутное стекло телефонной будки:

— Сколько можно?! Люди ждут!

* * *

Кирилл стоял, глядя на книжные полки.

«Граф Монте-Кристо». «Женщина в белом». «Виконт де Бражелон». На самой верхней полке, под номером «один», помещались, помимо приключений неукротимой Анжелики, здоровенный том Стругацких и не менее толстая книга Станислава Лема. Кирилл знал, что у него нет ничего, достойного такого обмена. Все, что он приносил, оценивалось зазнайками-продавщицами как «три» или даже «четыре»; Кириллу не раз снилось, как он открывает стеклянные дверцы и, протянув руку, ощущает мягкую тяжесть книги...

Туфли жали. Стискивали ноги все сильнее. Или кажется?

Зачем он здесь? Что он задумал — предательство?

Бред. Ерунда. Кого он предает — туфли? Смешно! Это вещь, неодушевленный предмет... Производство — Великобритания.

Корешки книг расплывались перед глазами. Как будто там, в шкафу, шел сильный дождь и заливал стеклянные дверцы изнутри. Зачем он здесь? Что его держит? Есть десять минут до назначенного времени, он может просто повернуться и уйти. Не обувь управляет человеком, а...

Что плохого в том, чтобы вернуть чужие туфли хозяину? Это ведь *чужие* туфли, он, Кирилл, в жизни не присваивал чужого...

Уйти! Еще есть время. *Хозяин* не должен их получить!

Кирилл повернулся к выходу. Пройти оказалось неожиданно трудно — в магазине вдруг образовалась толпа, путались под ногами чьи-то дети, не уходили с дороги старушки с авоськами, продавщица выплыла из-за прилавка и двинулась к шкафам, позванивая ключами, — доставать книгу для какого-то счастливца...

— Кир!

Он вздрогнул. Ира, нарядная похорошевшая Ира, стояла у входа.

— Кирюша! Привет!

— Привет. Ты как здесь? — спросил он через силу.

— Секрет. — Ира улыбнулась хитро и невинно.

Кирилл вдруг вспомнил о своем дне рождения, о том, что осталась всего неделя; вспомнил какие-то Ирины слова насчет «потрясного подарка»... Он был готов улыбнуться в ответ, улыбнуться и обнять Иру за плечи, когда сквозь стекло витрины увидел — за спиной нетерпеливого покупателя, перебирающего на прилавке отобранные книги, — увидел Алису, сосредоточенно и быстро шагающую к двери «Букиниста».

Оказывается, он все время этого ждал. Был готов к такому вот мгновению. Ноги приклеились к цементному полу, но разум оставался свободным, в бешеном темпе перебирая десятки возможных сценариев.

Алиса вошла в магазин и увидела Кирилла. Стоящую рядом Иру она поначалу не заметила.

— А кто это здесь?.. — весело начала Алиса.

В этот момент за ее спиной показалась Вита — высокая, молочно-розовая, с пучком молочно-розовой редиски на дне прозрачной кошелки. И тоже первым делом увидела Кирилла.

— Ага! — выкрикнула радостно, на весь магазин. — Кирюшка!

Ира посмотрела озадаченно, сначала на Виту, потом на Кирилла, а еще потом, будто опомнившись, на Алису. Они стояли втроем между Кириллом и выходом, а за их спинами поджидал голубоглазый и улыбался широко и уверенно, как с плаката «Госстраха».

— Я... сейчас, — сказал Кирилл неизвестно кому.

...Узкие двери в подсобку.

Пожилая женщина в кудрявом парике выглянула из крошечного кабинета:

— Эй, молодой человек! Вы куда?

— Пожарная инспекция! — крикнул Кирилл на бегу. — Где второй выход?

— Нету...

— Как — нету?!

И, проскользнув мимо растерявшейся женщины, кинулся к раскрытому окну. Вазон с геранью — вот незадача — полетел на пол...

— Куда? Куда?! Милицию вызову!

Господи, пронеси, подумал Кирилл, холодея.

Спрыгнул на газон. Двора за магазином, по сути, не было — мусорный бак, скамейка, пыльная площадка для автомобилей...

«И пусть меня заберут в милицию, пусть выгонят с работы, пусть исключат из комсомола, — думал Кирилл. — Только бы свернуть за угол. Только бы проскочить на ту сторону улицы...»

И рванул сломя голову через дорогу.

* * *

— Повезло, — бросил хирург. Кирилл не видел, как шевелятся его губы; все лицо хирурга было — зеленая маска с толстыми линзами очков.

— Повезло, — повторил хирург, на этот раз с явным удивлением. — Ну сотрясение, ну ребро... А позвоночник — хоть бы хны. Везучий ты, мужик. Обычно когда босых привозят — считай, все...

— Туфли, — сказал Кирилл. Вернее, попытался сказать; молоденькая медсестра услышала, наклонилась ниже, Кирилл увидел два светло-серых глаза над белой полоской марли.

— Пропали твои туфли... На дороге... Боже, как ты не понял: ты жив!..

* * *

День рождения он праздновал в больнице. Мама, осунувшаяся, но с виду спокойная и даже довольная, накрыла рядом с его кроватью импровизированный стол.

— Есть хорошие новости, — сказала как бы между прочим.

Два соседа по палате жевали каждый по ломтю домашнего «пражского» торта и жадно поглядывали на принадлежащий имениннику бледно-зеленый банан.

Мама помешивала чай в граненом больничном стакане.

— Ученички твои в гости набиваются... Не хотят, видите ли, экзамен Розе Игнатьевне сдавать, хотят тебе...

Дверь в палату медленно, скрипуче приоткрылась.

— Кстати, Кирилка... — продолжала мама, не оборачиваясь; Кирилл увидел женскую фигуру в глубине коридора — неясно, в полумраке. — Звонили из бассейна. Представляешь, твои кроссовки... нашлись!

На плечи женщины был накинут белый халат. Она стояла в тени.

ХАРИЗМА НЮРКИ ГАВРОШ

— Вам не кажется, что «Нюрка Гаврош» — это слишком?

— Ни капельки.

— Но для практикующей ясновидицы или, скажем, народной целительницы требуется более... э-э-э... более звучный псевдоним. Матушка Анна, например? Госпожа Анна?

Нюрка улыбнулась. Она знала, что ее улыбка — озорная, ехидная, по сей день мальчишеская — неотразима. Уже внуки пошли, Антошка, рыжий башибузук, весь в бабку: шпаненок, белокурая бестия, но если растянет рот в ухмылочке — туши свет, сливай воду. Плачьте, девки, гибель ваша растет. Жаль, что видятся большей частью «по фотоаппарату». Дети в прошлом июле перебрались в Германию...

Ведущий ждал ответа.

Прямой эфир, время ограничено.

— Матушки, бабушки... Вы полагаете, титул «ясновидица Анюта» дает стопроцентную гарантию? Даже если Анюта сама придумала себе звания, титулы и орду благодарных клиентов? Я — Нюрка Гаврош, и я не обещаю людям больше, чем могу. Чудеса не по моей части. Поймите, ради бога, народный целитель и знахарь — это один и тот же человек. Но первое предназначено для наивных дураков, которым вывеска важнее результата, а второе — для больных, всерьез желающих излечиться. Гадалка может угадать или предугадать...

— И ошибиться?

— Разумеется. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но

настоящая гадалка никогда не назовет себя вслух ясновидицей. Если, конечно, перед нами не шарлатанка, собравшаяся подороже торгануть котом в мешке. Я не размахиваю перед вами крестом и святыми образами, спекулируя на вере. Я не разглагольствую про оттенки ауры, мороча головы истеричным дамочкам. И не обещаю удачи на веки вечные. Я просто говорю: придите, и попробуем. Глядишь, кое-что и получится.

Ведущий кивал, вставлял дурацкие комментарии и вопросы, но в целом плыл по течению. Нюрку это вполне устраивало. Пробить эфир на «4-м канале» оказалось сложнее, чем она предполагала. Значит, требовалось за полчаса с хвостиком отработать все карты из колоды. Главными козырями здесь были напор, столь удивительный у маленькой пожилой женщины, хорошо подвешенный язык и ироничная агрессивность, привлекающая скептиков. Из скептиков, особенно из больных или неудачливых скептиков, зачастую выходят самые верные, самые преданные клиенты — если знать, как вести себя с этим зверинцем.

Толп у парадного подъезда не ожидалось, но хороший приварок к пенсии не повредит.

Жена клоуна, променявшего манеж сперва на эстраду, а там и на утренники-свадьбы-юбилеи, в прошлом Снегурочка, Коза-Дереза, Маленькая Баба Яга, Отличница Настя, Карлсон и Малыш поочередно («в дубль» с Элкой Потаповой, закадычной врагиней!), Анна Павловна Гаврошенко умела работать с публикой любого возраста. С детьми всегда рядом обретаются суровые мамаши, кого тоже надо развлечь и раскрутить на «хлопаньки»; впрочем, все мы остаемся детьми до седых волос, согласные верить и идти следом.

Стань оригинальной. Сделай недостатки достоинствами. Метр с кепкой? — мал золотник, да дорог. Белые овечьи кудряшки? — седина не так заметна. Не потакай, а увлекай, уноси по течению. Гони пургу, заполняя паузы не беканьем-меканьем и словами-паразитами, а жестами, взглядом, мелкими, сосредоточенными действиями. Приглядывайся тайком: кто чего хочет и на каких условиях?

Три года назад муж стал ездить по области, от Ольшан до Верболозов, не брезгуя даже заброшенными селами вроде Градового, устраивая черноземной «понтяре» лекции «Очевидное — невероятное». С бонусом в виде гаданий, прозрения, излечения фурункулов и снятия «грешной пыльцы». Когда Толик начал регулярно помимо гонорара и добровольных пожертвований привозить домой жирных курочек, мешок-другой гречки или трехлитровую банку меда — Анна Павловна серьезно задумалась. Гастролировать не хотелось, тяжела на подъем сделалась, но по нынешним временам любая копейка к месту.

Так родилась Нюрка Гаврош, гадалка и знахарка.

— Кто обучил вас гаданию на картах?

— Жизнь.

— Э-э... И всё?

— А какого ответа вы ожидали? Ссылок на прямую линию от Кассандры и графа Калиостро?! Ну посудите сами... Спроси я вас: «Молодой человек, кто обучил вас вести передачи в прямом эфире?» — и что вы мне ответите? Небось политех заканчивали или иняз, а вот ведете же, и неплохо ведете...

Ведущий покраснел, теряя лицо. Против любимого Нюркиного приема — любую тему мигом перевести в лоб на собеседника, благожелательно задав пакостный вопросик, — пасовали многие. Главное — спрашивать наверняка. Здесь ведь ясно: никакого специального образования у нынешней телебратии нет. Бей, Нюрка, без промаха. И еще: к уксусу обязательно требуется сахарок. Чуть-чуть похвали, брось сахарную косточку — и мил дружок твой до гроба.

Льстить умеют все.

Бранить-подкалывать тоже дано большинству.

Но чтоб в одном флаконе... Это вам не коробок спичек, тут уметь надо.

— Да, Анна Павловна, я понимаю вас... жизнь — лучший учитель...

Ни черта он не понимает. Выкручивается. И это хорошо. Зрители видят, как он выкручивается, зрители на ее стороне. А кто не видит по причине душевной близорукости, тот слышит, как ведущий с ней соглашается. Тоже недурственно.

— Ага, у нас есть звонок в студию!

Отвечая на интерес басовитого гражданина по поводу наличия у «госпожи Гаврош» соответствующих лицензий, Нюрка позволила себе на минутку расслабиться. Легко и приятно говорить правду отставному бюрократу. Все бумаги были в полном порядке. Комар носу не подточит. Частный предприниматель, единый налог, справка от Минздрава, на всякий случай — из горотдела культуры, от Леньки Жердеца, друга детства... Кабинет она оборудовала на дому по собственному вкусу, отведя для этих целей гостиную. Такой замечательный вопрос следовало бы придумать заранее и уговорить кого-то из знакомых брякнуть в студию.

Учтем на будущее.

— А теперь, Анна Павловна... Нет, обождите, у нас еще один звонок! Ну, это последний, время передачи на исходе... Здравствуйте, вы в эфире!

— Я счастлив по самые гланды.

Ведущий поперхнулся. Нет, положительно сегодня был не его день.

— Представьтесь, пожалуйста.

— У нас мало времени. Зачем расточать эфир зря? Я хочу спросить Анну Гаврошенко. — Голос, искаженный помехами, звучал скучно и надтреснуто, словно заговорил цоколь дома, отведенного под снос. — Нюрка, коза-дереза драная... Ты почему не прописалась в ковене по месту жительства? Думаешь отделом культуры отделаться?

Голос уныло хихикнул, получая удовольствие от сомнительного каламбура.

— Зря ты так думаешь, мадам Гаврошенко. Рекомендую не тянуть во избежание.

Отбой.

Короткие гудки долбят прямой эфир.

Нюрка демонстративно пожала плечами — какой-то остряк-самоучка выкобенивается! — и украдкой подмигнула ведущему. Столбняк, мол, дело хорошее, мальчик мой, но пора заканчивать.

Давай, пускай рекламу прокладок. Ангельских, с крылышками.

Очень хотелось курить.

История с розыгрышем, или как там следовало понимать звонок о «прописке в ковене», продолжилась во вторник днем. Нюрка только что отпустила клиентку, вдову полковника Башмета, однофамильца знаменитого альтиста. Став женщиной сугубо штатской, вдова сперва приобрела запасной надгробный памятник с надписью золотом «Самой себе с любовью», установила сокровище на 30-м кладбище, после чего сильно заинтересовалась будущим, шастая к гадалкам. Предыдущие шесть гадалок вдову не устроили: с ними не складывалось разговора «за жизнь», главным образом о «самой себе с любовью». А с Нюркой сложилось, под чаек со смородиновым вареньем и густой кагорец, до которого вдова была большая охотница.

Короче, проводив ценную клиентку до дверей и вернувшись в кабинет, Анна Павловна обнаружила у рабочего стола некоего мерзавца. Мерзавец крутил в пальцах даму бубен, минутой ранее олицетворявшую вдову, и похабно ухмылялся.

Незваный гость заслуживал отдельного описания. На бритой голове его красовался петушиный гребень, лиловый с прозеленью. В левой ноздре трепыхалось колечко, в хряще уха — матросская серьга; такие серьги при гнилом царизме вешали матросам, впервые пересекшим экватор. Нижняя губа по центру была проколота лабреттой — гвоздиком с плоским замком, снабженным цепочкой. Кожаный куртец, болтавшийся на узких плечах жертвы пирсинга, изрезали бритвой в местах самых неожиданных. На фоне этой одежки-мученицы прорехи в джинсах смотрелись вяло, можно сказать, обывательски.

— Позвать мужа? — осведомилась Нюрка, женщина неробкого десятка.

— Здравствуйте, любезная Анна Павловна. — Гнусный панк-вторженец собрал всю колоду карт воедино и принялся ее тасовать с умелостью необыкновенной. Затем вытряхнул на стол даму треф и ткнул в даму обгрызенным ногтем, словно хотел что-то подчеркнуть. — Нет, мужа звать не надо. Ибо супруг ваш третий день как уехал в очередной вояж, менять очевидное и невероятное на кур и гречку. Хотите знать, что привело меня в сию обитель греха?

— Может, милицию?

— Зачем? Менты приходят, если кто-то кое-где у нас порой. А в нашем случае дело обстоит совсем иначе. — Он с большей силой отчеркнул линию на трефовой даме. — В нашем общем случае. Вы меня понимаете?

«Нет, не вор. Хуже. Псих. Лучше его не раздражать...»

— Вам повестка, дражайшая Аннушка. Извольте, блин, получить.

«Как он попал в комнату? Через окно? Там решетка...»

Машинально Нюрка протянула руку и взяла бумагу, протянутую панком. Желтоватый грубый бланк. В большой палец что-то укололо, больно, до крови, — и панк ловко отнял «повестку» обратно. Оторвал корешок, где расплылось маленькое красное пятнышко, которое, удлиняясь, становилось похожим на подпись с завитушкой в конце.

Хищно дернув окольцованным носом, гость спрятал добычу.

— Вот, — с поклоном он снова предложил «повестку» хозяйке дома. — Так, хорошо. Теперь опять верните ее мне. Сами, сами верните, отбирать на втором круге запретно. И еще раз возьмите. Все. Финита ла мюзикл. Прощайте, скалистые горы...

Обогнув Нюрку, он нога за ногу выбрался в коридор. Щелкнул английский замок.

— Не беспокойся, душенька, я захлопну. Ты, душенька, о другом беспокойся. Эх, взяли душу за душу, быть душе с душком...

Дверь лязгнула, отсекая идиотскую песню.

Именно обыденность происходящего, чудовищная, сногсшибательная обыденность привела Нюрку в ступор. Явился, вручил, убрался вон. Нелепый курьер, мальчишка на побегушках. Полностью уверенный, что «дражайшая Аннушка» в курсе, все понимает, все сделает как надо. А если не сделает, то наверняка в здравом уме и трезвой памяти, осознавая степень ответственности...

Казенные формулировки на вкус отдавали кислой медью.

Женщина опустила взгляд. Медь и вовсе усилилась до оскомины: «Предписывается явиться... для прописки... в ковене по

месту жительства... Грековская, 38... суббота, 18 мая, в 00.00... с собой иметь...» И печать: грифон присел на задние лапы, а над макушкой зверя вьется надпись: «ООО «Харизма LTD.».

Нюрка с наслаждением скрутила дулю и ткнула «нашим ответом Керзону» в окно. Вот я вам, шутникам, поеду на Грековскую в полночь! Вот я вам, заразам, доставлю удовольствие! Не на ту нарвались, сволочи! На мне где сядешь, там и слезешь...

— Это ты, Нюра Палковна, зря, — сказал панк из-за решетки окна. Он встал на цыпочки, чтобы хозяйка увидела его чудесный гребень, и внятно продолжил: — Дуля твоя приметная, слов нет, так что благодарствуем за угощение. А с остальным... Зря, слово чести. Лучше не ерепенься.

— Ах ты!.. Ах ты, дрянь!..

— Дешевле выйдет. Это я тебе как петушок с высокой спицы. Пройди регистрацию — и царствуй, лежа на боку. Усекла?

Гребень качнулся и сгинул.

«Надо было меняться. Когда Раиса предлагала съехать с первого этажа в высотку на Кулиничах, надо было соглашаться. Пусть «распашонка», зато кухня большая и восьмой этаж... Муж к субботе не вернется, нечего и ждать... Боже, о чем я думаю!»

Болонка Плюха, любимица Нюрки, вылезла из-под дивана и потупилась, чуя вину.

— А ты чего не лаяла, дура?

Болонка тявкнула, прося прощения.

До вечера пятницы ничего особенного не происходило, и это мучило Нюрку больше всего. Тишина, покой, благолепие. Повестку она убрала во вьетнамскую шкатулку, любимую, с перламутровыми гребцами на крышке, время от времени заглядывая внутрь: не исчезла ли? Нет, гадкая бумажонка преспокойно лежала на дне. Звонить никто не звонил; то есть, конечно, звонили клиенты, подруги, по международке объявились дети, дали трубку Антошке, тот рассказал бабушке о ниндзях-чебурашках...

Тишина давила, ожидание мотало нервы.

«Нет, не пойду.

Никуда не пойду, пусть подавятся».

В пятницу, срезая дорогу домой через Молодежный парк, Нюрка встретила знакомого панка. Мерзавец шел в компании благообразного, совсем молоденького попа — в рясе, в скуфейке, с крестом на груди. Батюшка удрученно кивал, соглашаясь, а панк выговаривал ему высоким, пронзительным голосом. Слов Нюрка не разобрала, но встреча ее смутила.

Она кивнула панку, и тот ответил небрежным кивком.

— Вы понимаете, инок... — бубнил поп.

— Все я понимаю, отец Власий. Больше, чем вы думаете...

Через час объявился клиент, записанный на полвосьмого.

Плотный, хорошо одетый «бычок» средних лет. Просил «раскинуть» на бизнес. Когда карты уже ложились на стол, «бычок» вдруг спросил о регистрации. Нюрка сунула ему «мандат» отдела культуры, лицензию Минздрава, потом — остальные документы, но клиент расстроился и молча засобирался домой. У самого выхода честная гадалка, плохо понимая, что делает, ткнула «бычку» повестку: вот, дескать, в субботу, все чин-чинарем...

— Ага. — Клиент удовлетворенно почесал бритый затылок. — Тогда запишите меня на следующий понедельник. Да попозже, я много работаю. Если с регистрацией возникнут проблемы, перезвоните мне. Вот визитка. Чтоб даром не ходить...

Ночью Нюрка спала плохо. Суббота прошла как с похмелья: муторно, маетно. А ближе к полуночи Анна Павловна, изумляясь самой себе, заказала такси.

— Ну что, так и будем в молчанку играть?

Вопрос таксиста выдернул Нюрку из оцепенения. Оказывается, она уже минут пять тупо пялилась из окна такси, как баран на новые ворота. Верней, ворота были старые. И стена вокруг ворот была старая, общарпанная. Штукатурка местами обвалилась, обнажив щербатый кирпич кладки. Желтый свет фонаря косо падал на чугун створок, отбрасывая во двор узорчатую тень. Дальше начиналась темнота, и в этой темноте мерещилось тайное шевеление. Кусты ветром колышет? Ветра вроде нет... В глубине двора смутно вырисовывались очертания приземистого дома, где приглашающе светился прямоугольник окна. Единственный во всей округе.

А еще на стене имелась табличка: Грековская, 38. Фонарь освещал табличку нехотя, из барского сострадания, отчего цифра «38» казалась непомерно выпуклой, словно надутой изнутри.

Звук шагов всколыхнул пустынную улицу. Нюрка вздрогнула, но под фонарем объявились двое банальных милиционеров с собакой. Патруль остановился, прикуривая. Черный с подпалинами «немец» уселся на тротуар, строго рыкнул на одинокое такси — и вдруг завыл. Тоскливо и обреченно, чего никак не следовало ожидать от здоровенной служебной псины. Патрульный дернул поводок, и «немец» послушно заткнулся.

У Нюрки немного отлегло от сердца. Раз милиция патрулирует, значит, не совсем глушь. Будет хоть кого на помощь позвать. Да и такси она отпускать не собирается.

— Подождите меня здесь. Скоро обратно поедем.

— Это сколько угодно, — с удовлетворением пробасил таксист, принимая мятый червонец.

Нюрка выбралась из машины, оглушительно хлопнула дверцей и решительно направилась во двор. Мимоходом глянула на часы. Без пяти двенадцать. Это хорошо.

Опаздывать она не любила.

Темнота за воротами была пожиже, чем казалось с улицы. Из-под ног метнулась кошка, чуть не обеспечив поздней гостье инфаркт миокарда. Бледно-желтая дорожка света лежала на трех корявых ступеньках. Нюрка поднялась, толкнула мерзко скрипнувшую дверь. Узкий коридор, тусклая лампочка под проволочным колпаком, пятна копоти от спичек, прилипших к потолку. Стены испещрены похабщиной и лозунгами «Металлист — чемпион!». На удивление, вместо ожидаемой кошачьей мочи, запах здесь царил приятный. Пахло освежителем воздуха «Жасмин с лимоном» и ароматным табаком «Captain Black»: будучи в кураже и при деньгах, Нюрка сама иногда курила эти сигарилло.

За высокой дверью в конце коридора бубнили приглушенные голоса. «Вот сейчас заявлюсь к незнакомым людям посреди ночи, выяснится, что они про ковен ни сном ни духом...»

Нюрка обреченно вздохнула и постучала.

— Входите, не заперто!

На японском столе с резными драконами и собирателями риса, беззаботно болтая ногами, сидел знакомый панк. Шумно отдуваясь, он хлебал кофе из хрустального бокала. Нюрка прямо обрадовалась: по крайней мере, знакомое лицо. Сегодня гребень у панка оказался лиловым с золотистыми прожилками. Пирсинг усилился: витая змейка свисала с подбородка на ворот искромсанной лезвием кожанки. Только сейчас Нюрка приметила, что искромсана кожанка отнюдь не как попало, а, можно сказать, художественно искромсана. Бритвенные порезы складывались в замысловатый узор, который был по-своему изящен.

«Зато джинсы на этот раз целехоньки...»

Кожаные заплаты в виде молний Нюрка решила не считать.

За вторым столом — обычным, двухтумбовым — восседала блондинка размером с гиппопотама в небесно-голубом платье с рюшами. Она сосредоточенно тарахтела по клавишам компьютера, игнорируя посетительницу. Рядом с клавиатурой возлежал гроссбух устрашающей полноты, под стать блондинке, и высилась шаткая стопка папок с бумагами.

— Здравствуй, моя Нюрка, здравствуй, дорогая! — осклабившись, фальшиво затянул панк, распахнув свои грабли якобы для объятий. Кофе при этом едва не выплеснулся на равнодушную блондинку.

На запястье фигляра противно запиликали электронные часы.

— О, полночь! — обрадовался панк. — Вы дьявольски пунктуальны!

— Заходите, присаживайтесь, — отвлеклась на секундочку блондинка. — Кофе хотите? Правильно, после нашего кофе до утра не заснешь... Ай! Инок, сгинь!

Это панк, свесившись со стола-японца, ущипнул блондинку за пышные телеса.

«Инок?!»

— Иннокентий Иннокентьевич! — ответил красавец на немой вопрос. — Можно просто Кеша. Инок — только для Валюхи, по субботам. Правда, Валюха-попрыгуха? Ладно, приступим.

Он стал серьезным, извлек из-за пазухи некую распечатку и принялся сверяться.

— Гаврошенко Анна Павловна?

— Д-да...

— Адрес... ну, у вас я был, адрес правильный... Паспорт?

Нюрка продиктовала по памяти номер и серию, и Валюха отбила на клавиатуре лихую дробь. Проверять блондинка не стала: то ли знала данные Нюркиного паспорта заранее, то ли верила на слово.

— Нуте-с, продолжим экзекуцию...

Вопросов было много. Большей частью стандартные, канцелярские, как при трудоустройстве: образование, предыдущее место работы, номер лицензии Минздрава, номер диплома курсов народных целителей и экстрасенсорики, ИНН (хорошо, что догадалась все бумаги с собой захватить!), семейное положение... Но встречались и уникальные, бьющие по нервам:

— Галлюцинациями не страдаете? Неврастения? Паранойя?

— Нет.

— Мандеп?

— Что?!

— Маниакально-депрессивный психоз?

— Нет!

— Шизофрения? На учете в психдиспансере не состояли?

— Нет!!!

— Как предпочитаете работать: с явлением или без?

Разумно решив, что из двух зол надо выбирать меньшее — «Только явлений мне не хватало!» — Нюрка кратко отрезала:

— Без!

— Толковое решение, — покивал Иннокентий, распушив гребень. — К чему вам лишние хлопоты, верно? Зодиакальный сдвиг при работе учитывать будем?

— Разумеется! — без зазрения совести выпалила Нюрка. Сказались профессиональные навыки.

— Прекрасно. Просто замечательно! Валюха, в базу внесла?

— А ты как думаешь, обормот?

— Вот и все, Анна Павловна. Сейчас мы выпишем вам регистрационный номер — и вы свободны. Езжайте домой, отдыхайте, а с понедельника — труба зовет! Приступайте к работе. Уже, так сказать, официально. Под патронатом.

— А... договор? Расписаться где-то надо? — оторопела Нюрка.

— Кровью?!

Глаза Иннокентия полыхнули адским огнем, верхняя губа, дрожа, поползла вверх, готовясь обнажить клыки. Нюрка охнула, попятилась, но сволочной Инок гнусно заржал самым что ни на есть жеребячьим образом. Валюха тоже прыснула в кулачок.

— Нюра, Нюра, до чего ты дура! — Инок, кривляясь, приставив пальцы к голове на манер рожек. — Я ж тебе не Велиар-беспредельщик, я такой правильный, что самому противно! Езжай домой, на такси разоришься. Вот, держи.

В руках у Нюрки оказался грязноватый прямоугольник бумаги, где корявым «врачебным» почерком значилось: «Гаврошенко Анна Павловна. ООО «Харизма LTD.». Регистрационный номер NSQ127418/3-а». Дата. Витиеватая подпись. Знакомая печать с грифоном.

Все.

— Если возникнут вопросы — предъявите, и вопросов не станет.

— Спасибо, — машинально поблагодарила Нюрка.

— Спокойной ночи. Отдыхайте.

— До свидания.

Нюрка шла к ожидающей ее машине, не замечая, что пританцовывает на ходу. Сейчас она чертовски походила на веселую ведьму, возвращающуюся домой с ночного шабаша. По земле ступала — как по воздуху шла. Но со стороны Нюрка себя не видела, а больше смотреть было некому. Таксист читал газету «Совершенно секретно», бормоча: «Так их, гадов! Так!..», и оторвался от текста, лишь когда Нюрка громко хлопнула дверцей, усаживаясь на заднем сиденье.

— Назад, домой! — скомандовала она.

И сладко потянулась, хрустнув позвонками.

Нюрке было хорошо. Легко и спокойно. Впервые за последнюю неделю.

— Доброе утро. Я заходил к вам в прошлую пятницу. Мы договорились на вечер понедельника. Помните? Ну и ладушки. Как с регистрацией?

Сперва Нюрка под настроение хотела ответить памятному «бычку», что это не его собачье дело. Но вовремя передумала. Сухо, с достоинством сообщила, сверившись с оставленной визиткой:

— Все в порядке, Борислав Олегович.

— И номер у вас теперь есть? — Дотошный бизнесмен вцепился мертвой хваткой.

Если он так дела ведет, то откуда проблемы с бизнесом?

— Есть. Но это, как вы понимаете, не телефонный разговор. — Хорошо получилось, веско. «Бычок» аж засопел с уваже-

нием. — Если желаете, могу предъявить вам номер при личной встрече.

— Что вы, Анна Павловна! Вы у меня на полном доверии! — странным образом сдал назад клиент. — В восемь пятнадцать вас устроит?

Нюрка выдержала солидную паузу, якобы сверяясь с расписанием.

— Устроит.

Она первой повесила трубку.

«Бычок» явился минута в минуту. Выглядел клиент еще более устало, чем в прошлый раз. Туфли забыл почистить, отметила Нюрка. Легкий налет пыли поверх глянца итальянской кожи сразу бросался в глаза. И золотая булавка на галстуке потускнела. Даже пышные усы, цветом похожие на пшеничный батон «Нарезной», уныло обвисли.

— Неудачи в бизнесе, Борислав Олегович? Бывает. Хотите узнать причину?

Разумеется, хочет. Это у него на лбу написано.

— Узнайте. — Тяжкий вздох колыхнул усы. — В долгу не останусь. Только без этих штучек. Алмазный, яхонтовый, позолоти ручку...

— Ручку будете жене золотить, — резко, с раздражением ответила Нюрка и по взгляду «бычка» поняла, что нашла верный тон. — Присаживайтесь. Время — деньги.

Последняя, очень оригинальная сентенция тоже нашла путь к сердцу «бычка».

Из шкафа явилась запечатанная колода карт. Вскрыв обертку, Нюрка плавно поводила над колодой руками, отгоняя флюиды-невидимки. На клиентов это производило нужное впечатление. Затем ловко, одной левой, перетасовала. Здесь главное — не переусердствовать. Иначе получится престидижитатóр Акопян, фокусник, а не гадалка. Она быстро научилась добиваться нужного эффекта. Сосредоточенный взгляд, скупые, без лишней показухи, движения пальцев и кисти. Важная работа, а не дешевый трюк. Правая рука Нюрки покоилась на резном шаре из хрусталя, легонько оглаживая сверкающий бок.

Это она сама придумала.

Шар нравился всем.

— Вы — Король Червей, Борислав Олегович. — Перст судьбы уперся в грудь клиента. — А окружают вас...

Расклад был ясней ясного. Король Пик — враг-недоброжелатель. Пиковая Дама — ничего хорошего, да еще и рядом со своим Королем. Шестерка Крестов — бесполезная дорога. Туз Пик при бубновой десятке — ссора. Второй, внешний круг тоже предвещал сплошные неприятности. Здесь важно дать парус на горизонте, подарить надежду, иначе «бычок» в петлю полезет...

Нюрка Гаврош вгляделась внимательнее. Ярая атеистка, она едва не перекрестилась, когда Дама Червей из второго круга отчетливо подмигнула гадалке, указывая взглядом на Крестового Валета. Анна Павловна самым постыдным образом заслонилась рукой — и увидела стрелочки. Уйму стрелочек — красных, черных, рябеньких, — соединивших карты между собой.

Изумленная, испуганная, она еще не поняла, что говорит, а клиент слушает.

— Берегитесь Короля Пик, Борислав Глебович! Он — ваш партнер по бизнесу. На днях у вас намечена крупная сделка в другом городе. Вы поедете туда напрасно. Не бойтесь ссоры с Пиковым Королем. Пусть рвет и мечет, пусть откажется от контракта — в итоге вы выиграете. А удача идет к вам от Крестового Валета. Постарайтесь не упустить.

— Ах он, стервец! Гадюка вареная! — бормотал клиент, потрясенный глубиной Нюркиного прозрения. — А Валет Крестов — это кто?

— Вы своему вице-президенту доверяете? Николаю Степановичу?

И какой, спрашивается, черт за язык дернул?! Сейчас имя-отчество не совпадет, клиент насторожится, потеряет доверие...

— Кольке-то? Ну... в определенной степени...

— Он вас хоть раз подвел?

— Ну... Валет Крестов? Колька?!

Уходя, «бычок» сиял и цвел махровой гвоздикой. Долго, искренне благодарил, обещал в точности следовать всем советам. Расплатился с лихвой, просил записать его на начало июня.

— Если сбудется, — сказал Борислав Олегович напоследок, — я вам ручку все-таки позолочу. Дверную.

Пошутил, значит.

Совсем другой человек стал.

В четверг заявилась Алевтина Вольдемаровна, дама одних с Нюркой лет, львица местного бомонда. С диагнозом: бессонница, мнительность и внезапные мигрени.

— Ах, Нюрочка, — хрипло ворковала Алевтина, затягиваясь длиннющей сигаретой с ментолом, — у меня хроническое переутомление! Голова просто раскалывается. «Асканели» больше не помогает, пришлось перейти на «Хеннесси»... Если бы не ваши снадобья!.. Нет ли у вас чего-нибудь сильнодействующего?

Как назло, запасы безобидных травок, приобретенных в аптеке на углу, у Нюрки подошли к концу. Как назло, Алевтина увязалась за целительницей. Завидев в дверях Анну Павловну, знакомый провизор Костя не нашел ничего лучшего, как громко осведомиться: «Вам обычный вариант? Сбор номер три?» Про-

давать «секрет» ушлой Алевтине было нельзя ни в коем случае. На Нюрку снизошло вдохновение.

— Нет, Костя. На этот раз так просто не отделаемся. —Она со значением покосилась на «львицу». — Мне нужен элеутерококк, сушеные можжевеловые ягоды, радикс алтей, золотой корень, корень валерьяны, настойка боярышника, экстракт крушины...

Когда-то слышанные, но, казалось, прочно забытые названия сами всплывали в памяти. Список поверг юного провизора в изумление, а Алевтину — в благоговейный трепет, граничащий с экстазом.

Дома Нюрка зашторила окна, зажгла четыре сандаловых свечи по углам и принялась смешивать в центре стола «сильнодействующее средство». Уверенность не покидала ее: правильно, все правильно... Когда светская львица, непривычно тихая и восторженная, удалилась с драгоценным пузырьком в сумочке, Нюрка начала приходить в себя.

Что это на нее нашло?

Уверенность сидела на диване, болтала ногами на манер панка Инока и посмеивалась. Уверенность не просто в гости пришла; она обосновалась всерьез и надолго.

И впрямь, теперь Нюрка точно знала ответы на многие вопросы. Таисии Георгиевне просто жизненно необходимо подарить невестке на день рождения импортные сапоги «Salamander»! Дорого? Выбирайте, милочка, что вам дороже: мир и согласие в семье или сапоги для Даши! Венец безбрачия, говорите? Ну, венец мы вам, голубушка, снимем, это пустяки (тем паче что никакого венца на голубушке и в помине нет!) — но и вам, Оксана, необходимо быть активнее. Вот, возьмите адресок. Очень, очень перспективный клуб, где вы наверняка сможете познакомиться... Помилуйте, Яков Самуилович, разве это проблемы?! Вот у Дениса Аркадьевича — проблемы. Как, вы не знаете Дениса Аркадьевича? Сейчас я вам расскажу, и вы забудете об этих глупостях!.. Порча? Сглаз? А ну, прекратить скулеж! Да-да, это я вам говорю! Грубиянка? Зато честная. Нет на вас ни порчи, ни сглаза. Вы не доверяете мнению специалиста? Тогда убирайтесь вон! Ах, доверяете? И никаких «просто»! Или доверяете — или нет. Вот и чудненько.

А теперь слушайте меня внимательно...

В принципе, Нюрка прекрасно знала цену своим чудесам. Цена оставалась прежняя: пшик с маслом. Но если раньше она действовала по принципу «хуже не будет, а поможет — хорошо», то теперь... О-о, теперь она была убеждена: поможет! обязательно! — и передавала свою убежденность клиенту.

Словно вирус уверенности кипел в Нюрке Гаврош, заражая всех вокруг.

— Бим, побрейся, что ли...

Это была их старая клоунская игра. Жили-были Бим и Бом, два веселых буффа... По идее, муж сейчас должен, скорчив смешную гримасу, ответить глупой репризой вроде «Как прикажете, мэм Бом!» или «Лениво мне, Бомка!». Нет, не ответил. Вяло махнул рукой, словно рассекая духоту, и задремал в кресле. Жирная августовская муха ползала по спинке кресла рядом с мужниной щекой, поросшей неопрятной седой щетиной. Беда, подумала Нюрка. Совсем беда.

В голову лезла полузабытая песенка:

«Бом увел жену у Бима, ненавидит Бома Бим...»

Беда с мужем явилась на свет ровесницей Нюркиных успехов. Погодки, можно сказать, друзья детства. Вечный лидер в семье, что было непросто, учитывая характер Анны Павловны, муж в одночасье скис и опустился. Бодрый, подтянутый, обаятельный, хохмач и душа общества, он вдруг из разряда «настоящих мужчин» перебрался в унылую шеренгу старичья. Казалось, его тяготит востребованность жены. Ездить по деревням он перестал, редкие приглашения на утренники и школьные праздники отвергал. Голубовичи пригласили тамадой на свадьбу младшенькой — сказался больным. Когда к Нюрке приходили клиенты, отсиживался в спальне, бездумно листая газеты. На финансовом положении семьи это не отразилось: Нюрка сейчас зарабатывала за двоих, и курицу можно было легко купить в магазине, а не везти из Волчьих Дундуков от глухой бабки Зины, которой «у грудях полегчало».

— Бим... побрейся, а?..

Еще он стал закладывать за галстук. Сперва тайком, а дальше — открыто. Хуже нет, когда пьет человек с крепкой головой. Такому больше надо, чтобы рухнуть наповал. В минуты притворной трезвости, когда муж старался не подать вида, что последние сто граммов были лишними, Нюрка ловила на себе его взгляд исподтишка. «Ты же шарлатанка, — говорил взгляд. — Ты — рыжий Бом. Почему они верят тебе, а не мне? Почему они вообще верят?!»

«Я — Нюрка Гаврош, — отвечала она таким же молчаливым взглядом. — Я не знаю».

Врать было трудно. Конечно, знала. Ночь, Грековская, 38, «Харизма LTD.»...

Анна Павловна теряла мужа. Теряла живого, еще не очень старого, родного человека. Сколько раз она предлагала своему Биму умыть его через дверную скобу? Отшептать от порчи? Снять сглаз и дать попить травок? Не сосчитать. Муж молчал и смотрел.

Так смотрел, что лучше бы отвернулся.

— Не буду я бриться. Незачем.

В сердце Нюрки закипел чайник. Огромный синебрюхий чайник со свистулькой, давным-давно забытый на огне. Пар ударил в рассудок, ошпаренные мысли кинулись наутек. Свисток оглушил, забил уши ватными пробками. Бешеная, кипящая, маленькая женщина шагнула к креслу:

— Ах ты...

Смысл был сейчас неважен. Муж оторопел, машинально вставая навстречу этому хриплому, бессмысленному, страшному выдоху. Выше Нюрки на голову, широкоплечий, он выглядел в этот момент сутулым и пришибленным недорослем.

— Подойди к окну. И гляди в оба.

Хлопая дверью, сквозняком летя через подъезд, в домашнем халате выскакивая во двор, Нюрка чуяла, что Бим стоит у окна. Спиной чуяла. Позвоночником. И чайник в сердце надрывался парным свистом. Если бы она хоть понятие имела, что собирается делать...

— Нюрочка? Доброе утро...

Соседка Вероника выгуливала древнего пуделя Артемона. Патриарх собачьего рода, Артемон давно пережил свой век, и это знали все. Ходить пес мог плохо, с лестницы его сносили на руках, а по двору водили, прихватив под брюхом специальным полотенцем, поддерживая за поводок и дополнительную опору. Иначе ноги не держали бедную собаку. Клочья белоснежной в прошлом шерсти вылезли, обнажив младенчески розовые проплешины.

Пудель тряс головой, равнодушный ко всему.

— Здравствуйте, Верочка. Привет, Артюша!

Нюрка присела рядом с псом. Легко погладила лысеющую голову, заглянула в печальные собачьи глаза. Безумие, бред психопата, но из влажной глубины на нее смотрел уходящий муж. Шарлатанка, смотрел он. Почему они верят тебе, смотрел он. Да, я здесь, у окна, торчу, как дурак. Ну и что?

Чайник взорвался вместе с сердцем.

— Пойдем гулять, Артюша? — тихо спросила Нюрка Гаврош, чувствуя, как из нее во все стороны летят синие стальные осколки, как освободившийся ухарь-свист пригибает деревья во дворе. — Гулять, а? Верочка, давайте я с ним пройдусь...

Во дворе еще долго вспоминали, как умирающий пудель Артемон, заливисто лая, носился за ведьмой Нюркой от гаражей к песочнице, от забора до подъезда, и, глядя на это небывалое зрелище, психопат-ротвейлер Дик обмочился от страха.

Вернувшись домой, она застала мужа у окна.

— С завтрашнего дня начинаешь помогать мне с клиентами, — задыхаясь, бросила Нюрка в родную спину. — Я одна не справляюсь. Понял, Бим?

— Понял, Бом, — ответила спина.

Муж пересек комнату, мимоходом прижался к Нюрке плечом и отправился в ванную.

— Бом, куда ты дела мою бритву?! — через минуту заорал он. — Вечно у тебя ни арапа не найдешь...

Она шла в магазин за продуктами и улыбалась. Все было хорошо. Муж очухался, сейчас с клиентом работает — любо-дорого посмотреть. Кашпировский с Чумаком в одном флаконе! Погода стояла праздничная, солнце подмигивало с неба, прохожие улыбались обаятельной маленькой женщине. Сейчас купим сыра, пряного «Радамера», муж его любит, майонез возьмем «Европейский», зелень и такие сырные трубочки сварганим — пальчики не оближешь, а с локтем откусишь!

— Какие люди! На ловца и зверь бежит...

Сегодня гребень у Иннокентия был синий в лимонную крапинку.

— Анна Павловна, ты бы в офис заглянула? Разговор есть.

— Опять в полночь?

Хорошее настроение стремительно таяло, как пломбир на сковородке.

— Зачем в полночь? В отличие от посторонних лиц, сотрудников мы принимаем с десяти до семнадцати по будним дням. Обеденный перерыв с часу до двух. Надеюсь, повесткой вызывать не придется? Покеда, бабанька!

Иннокентий подмигнул Нюрке, подражая Шарапову из «Места встречи», и двинулся дальше походкой развинченного киборга.

В глазах потемнело — то ли солнце за тучку зашло, то ли ясность бытия по затылку шарахнула. Дура ты, Нюрка, ох и дура! Простофиля распоследняя. Зарегистрировали, говоришь? В базу внесли? И с тех пор пруха тебе пошла косяком? Верно говоришь, как на исповеди. А думала ли ты, глупая баба, чем за фарт свой, за везение-наитие платить станешь? Что этот ковен, или как его, с тебя имеет? Какие налоги за хлопоты берет, какой валютой?! Пожалуй, неспроста твой благоверный захандрил, расхворался, запил, уж и на тот свет одним глазом косить начал. А ты поперек пошла.

Перебежала дорожку.

Чай, за полтинник перевалило, бабанька. Пора бы и умишком обзавестись. Ведь известно: «Ежели в каком месте чего прибавится, то в другом непременно убавится». Ломоносов, кажется, сказал. Со школы запомнилось.

Выговор влепят? С занесением? Премии лишат?

Ой, вряд ли! Не та контора.

Никогда ни в бога, ни в черта, ни в сглаз-приворот, ни в рога-копыта не верила, а тут аж испарина прошибла. Ноги подко-

сились; хорошо, скамеечка рядом оказалась — рухнула на нее Нюрка, глаза закрыла, сидит, отдышаться пытается. Мысли в голове тараканами бегают, мечутся, выход ищут.

Не отдам.

Мужа не отдам.

Сама вляпалась, сама и расхлебаю.

Брать такси она не стала. На престарелом дребезжащем трамвае добралась до цирка, оттуда долго шла пешком, успокаивая нервы. Казенные пятиэтажки, в народе именуемые «хрущами», в этом районе города мирно соседствовали с частным сектором, где, в свою очередь, роскошный особняк с презрением топырил балконы над косой развалюхой.

День был серый, как тамбовский волк.

Свернув на Грековскую, Нюрка замедлила шаг. Автозаправка. Дом под снос. Какой-то завод, огорожен бетонным забором с «колючкой» поверху, клином уходит вглубь, в невидимые, гулкие пространства. Частный стоматологический кабинет доктора Артемчука. Над входом — зуб в соломенном канотье приплясывает на кривых мощных корнях. Счастливая улыбка зуба доверия не вызывала. Ага, вот и номер 38.

Двор выглядел скучно, дом выглядел скучно. Вишневый запах хорошего табака в коридоре испарился, вместо него пахло пригоревшей манной кашей. Постучавшись и дождавшись ответа, Нюрка вошла в знакомое помещение.

— Здравствуйте, Анна Павловна, — сказал клерк за японским столом, оторвавшись на миг от телефонного разговора с какой-то Гелей Реф. Строгий костюм с маленькими полувоенными лацканами, шелковый галстук, манжеты ослепительно белой рубашки схвачены запонками с агатом. На голове — фетровая шляпа. Хоть сейчас бери клерка на рекламный щит: «Мы приумножим ваши сбережения!»

— Добрый день...

Нюрка обращалась в основном к знакомой бегемотихе Валюхе, на всякий случай игнорируя строгого клерка. Но клерк не стерпел, быстро распрощался с сакраментальной Гелей, бросил трубку на рычаг, сдернул шляпу, хлопнул фетром о столешницу и заорал обиженным козлетоном:

— Нюрок! Подруга дней моих суровых! Ты чего, блин?! Забурела?!

— Инок?!

Знакомый гребень убил все сомнения.

— Для тебя, подруга, Иннокентий Иннокентьевич. В лучшем случае — Кеша. Точно, что встречают по одежке...

— Кончай балабонить, — одернула блондинка шута горохо-

вого. Глядя на Валюху, Анна Павловна вдруг поняла обострившимся чутьем, кто здесь главный на самом деле. Главный, несмотря на жирные телеса, кукольное личико и безвкусное платье с рюшами. Легко встав от компьютера, блондинка буквально пролилась между столами, по пути отвесив подзатыльник бывшему панку, и оказалась перед гостьей.

От Валюхи тянуло такой приветливостью, таким искренним благорасположением, что Нюрка машинально заулыбалась, и каждый ее зуб, включая протезы, также заулыбался отдельной улыбкой, словно на вывеске стоматолога Артемчука.

— Вы ценный работник, Анна Павловна. Мы очень довольны вами. Замутить человека, не расположенного к обволакиванию, особенно члена семьи, — не каждый способен на такое даже после курсов повышения квалификации. Мои поздравления.

— Замутить?!

— О, простите! Профессиональный жаргон. Скоро вы вникнете и станете говорить на сленге ковена похлеще меня А пока мы хотели бы предложить вам работу по совместительству.

— Как мне в свое время! — гордо надулся Инок, став похож на индюка. — Валюндра, кофейку сочинить?

— Поверьте, Анна Павловна, это увлекательное и высокооплачиваемое дело. Учитывая, что ваш труд на сей раз будет финансировать «Харизма» из собственных источников, а не скупердяй-клиент...

Когда кофе был выпит, комплименты окончательно расточились, а суть будущей «работы по совместительству» выяснилась и пришлась Нюрке по сердцу, она решилась.

— Я хотела спросить. Поймите правильно, это очень важно для меня. Скажите... Зачем я вам понадобилась?

Валюха рассмеялась, как мать, в сотый раз отвечающая ребенку-почемучке.

— Вы все это спрашиваете, Анна Павловна. Все, до единого человека. А я, честно говоря, хотела бы узнать другое. Почему вы стремитесь залезть подаренной игрушке в нутро, разломать, испортить и потом счастливо заявить: «Я так и знала!» Даже если при этом выясните, какой доход получил с продажи игрушки магазин, какую прибыль получил завод-производитель...

— Нет, все же... Деньги? Вы не попросили и копейки с моего рубля. Идею розыгрыша я давно отвергла. Что, что такого я принесла в ваш колхоз? У меня ничего нет!.. У меня ничего не было...

— Уверена, Нюша? — необидно хмыкнул Инок. — Или прибедняешься?

— Уверена. Я обычная честная шарлатанка. Ну обаяние. Напор и контактность. Опыт общения с самой разной публикой... жизненный опыт...

При каждом ее слове Инок бросал кусочек рафинада в кружку с горячей водой. Когда Нюрка закончила, он помешал в кружке ложечкой и отхлебнул приторно-сладкой воды.

Блаженно зажмурился, словно нектар пригубил.

— Вслед за жабой в чан живей сыпьте жир болотных змей, — забормотала Валюха безумным шепотом, и Нюрку пробрал озноб, — зев ехидны, клюв совиный, глаз медянки, хвост ужиный, шерсть кожана, зуб собачий вместе с пястью лягушачьей...

Она прервала монолог, громко вздохнула и подытожила с безраздельной скукой:

— Чтоб для адских чар и ков был отвар у нас готов. «Макбет», акт IV, сцена первая. Три ведьмы у котла. Нет, не пугайтесь, Анна Павловна, ведьмы не по нашему профилю. Что, говорите, у вас было? У вас, рядовой сотрудницы «Харизмы LTD.», общества с ограниченной ответственностью и безграничными амбициями? Что вы положили в общий котел? Вместе, значит, с пястью лягушачьей? Думаю, не так уж мало. Вот оно и вернулось сторицей.

— Вы альтруисты? Не верю.

— Правильно. И всей харизмы, которая кипит в нашем общем котле, не хватит, чтобы убедить вас в этом. Но на остальное...

Блондинка наклонилась к собеседнице, и Нюрка еще раз почувствовала, как легко попасть во власть этой бегемотихи, если Валюха того захочет.

— На многое хватит. Вы уж поверьте. На очень многое. И вам, и нам, и кое с кем поделиться останется. Просто помните: обаяние плюс обаяние — это не два обаяния. Обычно куда больше выходит, чем два. Такой уж странный товар. Или, если угодно, средство производства.

— Можно еще кофе? — спросила Нюрка.

* * *

— Моя лечебная практика проходит по тонкой, едва различимой грани между знахарством и официальной медициной. Как народные целители в прошлом, я снимаю порчу и сглаз; как современные профессионалы-медики, ставлю диагноз...

— У нас звонок от слушателей! — Голос ведущей радиоканала «Сегодня» лучился радостью. — Представьтесь, пожалуйста! Вы хотели что-то сказать целителю Парамону?

— А ты азартен, Парамоша...

— Что? — Бас целителя треснул, сорвался в нервный шепот, едва не опрокинув второй микрофон. — Что вы имеете в виду? Почему вы меня преследуете?!

— В ковене пропишись, доктор Менгеле. По месту жительства. И не тяни. Это тебе не радио, у нас всякое лицо на виду.

— У нас кончается время эфира...

— Диагноз ставишь, Парамон? А я клизму ставлю. На два литра, с вазелином и конопляным маслом. Очень способствует при сильных запорах. Ты целитель, ты в курсе. Адью!

Нюрка Гаврош положила телефонную трубку и с удовлетворением откинулась на спинку кресла. Парамон, конечно, дурак и шарлатан. Но обаяния — уйма. Зубодробительное, можно сказать, обаяние. Она минутку подумала, не перебрала ли с финальным «Адью!», и наконец решила, что в самый раз.

Надо было хорошенько отдохнуть.

Предстояла неделя трудной работы с Парамоном.

МОНТЕ-КАРЛОВКА

Тьфу ты, напасть, пристали к пенсионеру! Расскажи, расскажи, диду... Сами говорите, что все уже слыхивали. У товарища Гоголя Николая Васильевича о том достаточно сказано, и в байках-анекдотах тоже. Э-э! То-то и оно! Товарищ Гоголь Николай Васильевич в другие, непохожие времена жил, когда и горилка пилась иначе, и черти рога не прятали. В те дни давние панычам самая сладость была — про чертей послушать. Чертей! Видели бы они черта — настоящего! А вот анекдоты... Ну какой казак без анекдота? В них-то и сила вся.

Ну, слушайте!

Вернулся я тогда из Красной Армии. Вчистую списали, даже в запас не зачислили. Ну, это иная история. Случилась она далеко от наших мест — за большой рекой, за высокими сопками. Повезло — живым в Терновцы наши, в хату родную вернулся. При руках, при ногах, да еще орден на груди. Пришел, а куда казаку податься? После войска только и умеешь, что стрелять, рубиться да на подчиненных орать. Но — повезло. Как раз в те годы стали в наших краях машинно-тракторные станции создавать. Полезное дело, как колхозу без трактора? Я с тракторами, правда, знаком был не слишком, только чем танк «МС-2» трактора хуже? Вот и взяли меня на машинно-тракторную, а через год сделался я начальником политотдела. Нет, нет, не парторг это, не партийный секретарь, выше бери. Почти как на фронте, вроде комиссара в Гражданскую. С правом «маузер» достать — и командира своей рукой порешить.

Всякое на нашей машинно-тракторной случалось. Ничего,

справлялись, только времена менялись слишком быстро. И наконец настали такие денечки, что никому из вас никогда не пожелаю. Но куда деваться, жить все равно надо. Вот и жили.

Как-то после очередного исторического пленума довелось мне писать отчет в областной комитет. Отчет — дело серьезное, ни в одной букве ошибиться не моги. Инициалы важные перепутаешь или там точку не на место всобачишь... Такое начнется! Вот и сижу, буквицы одна к одной ставлю. Нудное занятие, противное, но деваться некуда. Ну дописал, ну перечитал трижды. Потом перекрестился (мысленно, конечно), расписался, а после печаткой по подушечке чернильной поерзал — и хлоп!

Печать и в наши дни — вещь не последняя. А уж тогда! Потому хранил я ее, родную, даже не в сейфе. Что сейф! Стоял у меня такой — немецкий, пулями пострелянный и саблями порубанный, вроде пленного интервента. В маентке разоренном хлопцы его нашли, а слесарь со станции ключ подобрал. Как такому вражине калечному верить? Значит, печать не там я хранил. Где прятал? В столе, понятно, только не в ящике, а под столешницей. Сдвигается она в сторону, а под ней выемка как раз по размеру. Сам и сделал, вспомнил, как еще до армии столярничать приходилось.

Хлопнул я печаткой по бумаге, полюбовался тем, чего вышло, хотел уже печать обратно под столешницу прятать, а тут и телефон зазвонил. Плохо так, громко. Это только кажется, что телефоны всегда одинаково звонят. Если бы!

Нечего делать, беру трубку. На проводе, мол, на посту.

Так и думал, так и знал! В Ольшаны зовут — совещание в райкоме послезавтра с утра. Экстренное — и непростое. И товарищ приезжий будет (не из области, из самого Киева), и резолюцию принимать станем, и кое-кого в первички направлять на предмет рассмотрения вопроса. Какого вопроса — ясно, чуть ли не каждую неделю люди без билетов оставались. Каких именно, тоже ясно — не тех, которые в наш районный театр, чтоб ему сгореть! Сначала без билетов, потом не только без билетов. Было от чего в мысли всякие впасть.

Положил я отчет в конверт, хотел секретарю отдать — да о печатке вспомнил. Прятать? Вроде бы пора, жаль, в тот миг столешница моя хитрая совсем ненадежной показалась. Глупость, конечно, если прикинуть, но после такого звонка об ином думалось. Как вживе увидел: уеду, а ночью влезает в окно шпион японский с соседней молочной фермы да к столу моему — шасть! И помчится печать политотдельская на самый Дальний Восток как раз за те сопки, которые навидаться довелось. Она

помчится — и я за нею. Так ясно представилось, что сунул я печать прямо в карман пиджака. Там и спрятал, а для верности ткань-бостон английской булавкой заколол. Не потеряется, не выпадет. Вот вам, шпионы проклятые!

Тем же вечером я в Ольшаны подался. Пусть и целый день впереди, только в таком деле лишнее время никак не помешает Как на фронте — осмотреться, послушать, выводы нужные сделать. Потому и не в гостинице, а в Доме колхозника устроился, что возле рынка стоял. Там и послушаю, там и подумаю. В гостинице же райкомовской стены больно тонкими казались.

Послушать довелось, а вот подумать — нет. Завернул я в буфет тамошний, чтобы чаю их знаменитого, жженым сахаром закрашенного, взять. Ох, не смейтесь! К тому чаю даже сахар полагался, два куска целых. Зашел — и только головой покрутил Ну дела! Ну гуляют!

А гуляли знатно. Сейчас от гулянок прежних только память и осталась. Пойдешь, бывает, в ресторан, так и развернуться негде. Ну, где душе истинно казацкой там гулять? Столики, словно в колхозной столовой, оркестр в ухо дует, а на скатерти — скука в посуде белой. Только не в ресторане дело. Настоящее веселье не когда стол полон — когда душа за края перехлестывает. Тогда можно и на газетке картошку вареную лупить под спирт голимый. В те же времена бедовые гулялось как-то по-особенному. Видать, и вправду, если рядышком с Чужой Молодицей (цур ей пек!) плясать заставят, самый душевный пляс и начнется.

Вот и гуляли. Столы сдвинули, скатертями застелили, хоть и в пятнах те скатерти. Не беда! Зато на столе... Сглотнул я, тут меня и позвали. Громко так.

— Ба! Да никак ты будешь, товарищ?

Поглядел я — и вдругорядь головой покачал. Надо же, встретились!

— Товарищ Запорожец? Ты ли это, друг боевой?!

Ясное дело — он. Сидит за столом мой старый сослуживец товарищ Запорожец — черноусый, чернобровый, со шрамом знакомым на левой щеке. Не даром ему тот шрам достался! Все такой же, только не в форме командирской, а в темном костюме при вышиванке.

— Садись, красная конница. Вместе гулять станем!

Хотел отказаться, а потом и решил: к чему? От души ведь зовет: плохих людей за свой стол товарищ Запорожец не посадит. Значит, и они — душевные. Так чего еще желать?

Сел, рюмку злодейки белой опрокинул да к знакомцу своему повернулся:

— Ну, друг-товарищ, рассказывай!..

Буфетчик новые скляницы на стол ставит, вот и кастрюля с картошкой, вот и свинина на блюде паром исходит. Товарищ Запорожец мне вторую рюмку наливает, да не просто, по края самые.

И пошло-поехало! А когда гармонь появилась да танцевать пошли!..

То ли от мыслей своих, то ли от шума-гама, но только потерял я, признаюсь, бдительность. Не к тому это, что под стол рухнул или, к примеру, револьвер служебный прошляпил. Не свалить казака третьей скляницей! Но все-таки маху дал, причем изрядного. Мне бы прислушаться, чего товарищ Запорожец рассказывает, на что намекает...

— Отслужил я свое! — хохочет. — Видать, стар стал. Тебя, брат, по контузии комиссовали, а меня так просто, за компанию!

Он смеется, я смеюсь. А мне бы не веселиться — задуматься. С чего бы это, с радостей каких кадрового командира Рабоче-Крестьянской ни за что ни про что в запас услали?

— А теперь на кооперацию поставили, в Житомирскую область, у самой польской границы. Поработал два года без отпуска — погулять отпросился. Вот и гуляю!

Смеется товарищ Запорожец, хохочет, вновь наливает. А мне бы опять прикинуть, отчего он в отпуск подался не в Крымреспублику, не в столицу, наконец, а прямиком в нашу глушь? Или буфет при Доме колхозника Сорочинской ярмарки славнее?

Долго ли, коротко гуляли, выпили сколько да много ли отплясали, сказать не решусь. Кто такое в голове держит? Если все на ус мотать, не гулянка будет — протокол. Вечер отплясали, ночь отгуляли, а когда под утро оглядеться довелось, понял я, что стола уже нет и буфета нет. Сидим мы с товарищем Запорожцем в моей комнате, и разливает он по стаканам-гранчакам, что к графину прилагались, последнюю скляницу горилки.

— Будем, товарищ!

Крепко так сказал, позавидовал я даже, не к месту вовсе о завтрашнем совещании вспомнил. Вот ведь беда!

— Будем, товарищ Запорожец!

Выпили, зажевали чем было, пачку «Казбека» распечатали. Гляжу, а моего друга-товарища словно подменили. Лицо из красного белым сделалось, губы в черту сжались, потемнели глаза.

— Рад, что тебя встретил, товарищ! И что погулял с тобой, тоже рад. Хорошо повеселиться в день последний!

— Чего говоришь, товарищ Запорожец? — не понял я. —Какой день последний? На себя погляди, прямо жених!

Встал он, друг мой фронтовой, пиджак скинул, вышиванку расправил, к зеркалу, что на стене пылилось, шагнул.

— И вправду жених. Невеста моя, Молодица Чужая, уже при пороге. Не соврал я тебе и другим не соврал, но только и всей правды не поведал. Слушай!

Тут мне жарко стало. Понял: не шутит ни про день последний, ни про Чужую Молодицу. Скинул и я пиджак, воды прямо из графина глотнул. А товарищ Запорожец между тем рассказывать принялся. И о том, как из-за навета его из командиров полка выгнали, и как в Житомире на кооперации отсидеться думал.

— Только не отсиделся, брат! — усмехнулся он, шрам старый погладив. — Три раза смерть обходила, четвертый, видать, последний. Узнал я, что вот-вот заберут меня бесы, выправил отпуск, деньги с книжки сберегательной снял — и за Днепр, куда подальше и потише.

— Бесы? — не понял я, от полной растерянности о настоящих чертях подумав.

Захохотал товарищ Запорожец, ворот вышиванки развязал.

— Ух, жарко, словно в пекле! Так бесы и есть, считай, из пекла самого. Пострашней прежних будут... Стреляться не стал. Негоже выйдет, если казак наглую смерть сам себе учинит. Решил погулять — напоследок. Ведь не осудишь, брат?

Что тут ответишь? Развел я руками.

— Как осудить? Сами рядом с твоей невестой ходим. Только не рано ли горевать? Ведь и на бесов этих укорот есть!

Помотал он головой, горилки в стаканы налил.

— Не выйдет! Слыхал я, боятся бесы лишь самого товарища Химерного. Но и ему сила не во всем дана. А мое дело — ясное да простое, как дорога в пекло. Шепнули мне вчера, что уже ордер подписан и машина из Полтавы послана. Бежать бы, да некуда, — и в Миргороде ждут, и в Харькове. Видать, в твоих местах кирпичную стенку спиной греть доведется. А к тебе, товарищ, просьба есть. Не бросай меня до рассвета, не по себе одному в такой час. А как солнце покажется, хлебнем по последней, да и пойду я в кагал их бесовский. Сам пойду, сам сдамся. Пусть стреляет, адово семя, командира-орденоносца! Не оставишь, брат?

Страшно мне стало, словно не его — мой час плясать с Чужой Молодицей пришел. Но как товарища в такую ночь бросить?

Сколько сидели, о чем толковали, не так и важно. Думал я, страх уйдет, пусть недалеко, за дверь, за порог, пусть хоть в угол спрячется! Ведь на войне и не то бывало. Да где там! С каждой минутой не только пить — дышать становилось труднее. Видать, война — одно, а когда Чужая Молодица сквозь рассветную мглу в лицо тебе смотрит... И вот уже чудиться стало, будто не товарищ Запорожец предо мною — мертвяк неупокоенный, после боя забытый. Провалились очи, зубы желтым оскалом заухмылялись, вместо вышиванки — лохмотья черные клочьями... Протер я горилкой глаза — полегчало. Ненадолго.

А под самое утро, в белый сумрак, подошел к окну товарищ Запорожец, на меня посмотрел, подумал. Затем, не говоря ни слова, взял со спинки стула пиджак, шагнул к двери...

И нет его!

А я, как был, в вышиванке и сапогах, на койку и свалился.

Проснулся ясным днем, к полудню ближе. Открыл глаза, вспомнил, чего было, да чуть не заплакал... Эх, пропала душа казацкая, зазря пропала, не вернется назад! И не попрощались даже...

Глотнул я воды из знакомого графина, сухие губы облизал, да и решил, что делать нечего. Спущусь в буфет, чаю их знаменитого хлебну, а там и делами займусь. Жить-то надо! А тут еще совещание, будь оно трижды по семь раз...

Шагнул я к двери, по карманам пиджака для верности похлопал, на месте ли все, проверяя... Да так и обмер. Пиджак-то, пиджак!..

Достал я, чего в карманах лежало. Червонцев пачка худая, профсоюзный билет, удостоверение, еще билет, но уже партийный. Все верно: товарищ Запорожец. И фотография его, и отчество с именем. А чему удивляться? Пиджаки наши, видать, на одной фабрике шили, всюду тогда такие увидишь. Главное же, на одном стуле висели, на одной спинке. Вот и спутал он, товарищ Запорожец. Не до пиджака ему в ту минуту было.

Осознал я, чего сталось, обратно на койку присел... Стреляться — или погодить слегка? Хлопнул по поясу, где револьвер в кобуре своего часа ждал. Есть ли? Есть, не пропал! А билет партийный в нагрудном кармане? Не пиджака — рубашки, всегда опаску иметь надо. И билет есть! Даже деньги остались — не мелочь медная, а настоящие, в пачке при поясе. Повеселел я, дух перевел. Значит, погодит еще Молодица Чужая и бесы без меня перескучают! Вспомнил я вновь о буфете, скользнул ладонью по чужому карману — и снова обмер, только уже по-настоящему, безвозвратно.

Печатка! Печать политотдела, через пять домовин ее с присвистом сквозь матросский узел да в Пресвятую Пятницу!..

Значит, и правда — аминь казаку.

Прикинул то и это, помозговал крепко. Аминь и есть. Ведь не потерял я ее, клятую, не в поле посеял. За такое тоже не погладят, но тут и вовсе беда. Сам! Сам ее врагу народа отдал, можно сказать, из рук в руки передал.

Вскочил я, за чуб себя дернул. Думай, думай, не раскисай! Не тот казак, что победил, — тот, что выкрутился! Ждать, пока придут, пока ордер предъявят, резону нет, и самому сдаваться — резону нет. Не выручит, не спасет! Может, и вправду одно осталось — «наган» достать да точку поставить? Вроде как в окружении, когда патроны считать начинаешь?

Но тут мне стыдно стало. Довел страх казака до самых последних мыслей. Стрельнусь — и что? Будут внуки-правнуки спрашивать: «Отчего это наш дед-прадед такого труса спраздновал? Неужто из-за безделицы подобной?» И ведь не станешь каждый раз из могилы, известкой засыпанной, выбираться и пояснять непонятливым!

Прогнал я искушение бесово, но их самих, чертей окаянных, ждать не стал. Поправил пиджак, водой рот прополоскал — и пошел кума искать.

Кум, хоть и делами был занят, мне обрадовался, за стол потащил, скляницу с этикеткой зеленой выставил. Только не до нее теперь! Тянуть да около ходить не стал — рассказал сразу. Все как есть, на духу словно.

— Дурень ты! — говорит мне кум, дослушав.

Не спорю, не отвечаю. Дурень и есть.

— И не помогал бы я такому раззяве, — продолжает кум, голос повышая. — Хоть и брали мы с тобой вместе Перекоп, хоть и ходили под знаменами товарища Примакова. Не тебя мне жалко — детишек твоих, которых крестил я, долг партийный нарушая. Переступил я тогда совесть свою большевистскую, только про себя решил: ненадежный ты все же товарищ! И вправду! Вчера детей к попу носил, сегодня печать партийную теряешь. Чего завтра будет?

Стою я перед кумом, язык проглотив. И не потому молчу, что нрав его знаю. Не зря кум «маузер» свой даже под одеялом не всегда снимает! Молчу, потому как прав он. Проявил я слабину, расчувствовался, врага народа Запорожца приветив...

— Ладно, — хмурится кум. — Так и быть, помогу. Печатка твоя, сам понимаешь, уже кем надо изъята. И «кто надо» этот большой на тебя зуб растит, живьем сгрызть желает. Потому на службу к нему не суйся, сразу с подвалом здешним познакомишься. Идти тебе к нему надлежит вечером — по адреску, что я тебе после назову. А сейчас меня послушай. Прежде всего: сможешь ли денег достать? Зачем деньги, смекаешь?

К месту нужному я в самое правильное время добрался — через час после заката. Недалеко идти пришлось: за кирпичный завод, что на шляху Миргородском, да за мостик, который через Студну, речку нашу, ведет. Тогда уже мост новый стоял, железный, а прежде деревянный был, и не простой, говорят, с чертом-оберегателем.

Перешел, оглянулся...

Темна ночь наша, тиха. Ни ветерка, ни шороха даже. Покойно все, славно, вербы к воде ветви черные тянут, над дальним лесом месяц серебром поблескивает, вынырнуть желает. В такую ночь надо с дивчиной по берегу гулять, а не туда, куда кум послал, собираться. И от мыслей подобных сразу вся красота и увяла. Словно болотом потянуло, словно коснулись уха моего губы мокрые и холодные. Коснулись, прошептали: «И куда идешь, человече живой?»

Поглядел вперед — так и есть. Хатка малая в три окна за плетнем. Дивная хатка — вроде и беленая, и соломой недавно крытая, а все равно словно брошенная. Черно в окнах, пусто, но вот мелькнул за стеклами огонь. Появился, погас, снова затеплился...

Вошел я, как кум и учил: не с главного входа, а с черного, плетень обойдя. И где же такое видано, чтобы у хатки невеликой две двери оказалось? Да что спрашивать — здесь и видано.

Постучал.

— Чего надо?

Сразу спросили, видать, рядом стояли. А голос-то, голос! Таким только бумажник на большой дороге требовать. Но делать нечего — назвался. Хихикнули за дверью, и протянулась ко мне рука не рука, лапа не лапа...

Фу ты, срамотища!

Однако же теряться не стал, кумову науку вовремя вспомнив. Сунул в лапу все, чего достать сподобился. Немалая вышла пачка, тяжелая! Взвесила лапа червонцы, да и убралась.

— Ну заходи, коли не страшно!

Если даже и страшно? Деваться-то некуда. А как вошел...

Думал, пекло увижу, если не само, так филиал. Все, как попы в церкви обещают: тут тебе сковорода, тут котел, тут колья острые. Понимал я, конечно, что бес теперь современный пошел, ему котлы прадедовские — детская забава. А все-таки вроде как надеялся. Попадутся бесы правильные, стародавние, и крест сотворить можно, если совсем припечет.

Вот как напугали, клятые!

Понятно, котлов со сковородой не обнаружилось, зато ждал меня целый кабинет. Чин-чином все: шторы тяжелые на окнах (потому и света снаружи не видать), стол дуба мореного, стулья со спинками, что твой собор ляшский, портреты нужные на сте-

нах. Устроились! Только не смотрел я на всю эту привычность, нагляделся. На них смотрел, на бесов. Я — на них, они — на меня.

— Ну, чего? — говорит мне главный бес, не бес даже — Бесовище. — Сам пришел, вражина? Раз пришел, дело излагай!

И скалится, скалится! Рядом с ним другой, поменьше и пожиже, вроде как Бесок. Тоже зубы кажет. И ведь что интересно? Лица как лица, знакомые даже. Видел я Бесовище в райкоме нашем, не раз видел! Но почудилось: не лица — рыла свиные под ушами острыми, собачьими. То ли лампы керосиновые тому виной, то ли страх мой, в душу въевшийся...

Третьего, что впустил в хату, разглядеть не успел. Провел он меня — и назад к двери вернулся. Не иначе разводящим в бесовском кагале служит.

— Дело, дело говори! — Бесовище торопит. — У нас и без тебя, шпиона и вредителя, забот хватает. Или помочь?

И на стол кивает. Поглядел я туда... Эхма! Вот она, беглянка моя родимая, печать с ручкой деревянной, полированной. Лежит себе на тарелке с синей каймой, словно к ужину приготовленная. Не одна лежит — рядом с пачкой червонцев, что я только что бесу-разводящему в лапу сунул.

А если подумать, то и вправду к ужину. Только ужинать *мною* собрались.

— Доказательства вещественные налицо, — скалит клыки Бесок, ближе подскакивая. — Сам признание в польском шпионаже и в замысле на террор напишешь — или продиктовать по буквам?

— А может, по хребту поленом? — Бесовище поганое хохочет.

Молчу, хоть и страшно до колик. Пояснил мне кум: обычай у них такой, у бесов. Вначале пугать да грозить, а если на попятную не пойдешь, тогда и о деле начинать. Так и вышло. Отсмеялось Бесовище, губы свои толстые рукавом вытерло.

— Зачем писать-то? Нам в том интересу нет. Что деньги принес, хвалю, только червонцы твои все одно наши. Ты про них рассказывать не станешь, лишний срок наматывать, а мы за здоровье твое хилое выпьем. Но не поможет, ой не поможет!

И вновь скалится, но уже не смеется. Видать, к делу близко.

— Вот чего, вражина дурная, — встревает Бесок. — Денег у нас достаточно — и шпионов хватает, не один ты такой оказался. Нам теперь все подвластны, даже товарища Химерного можно не бояться. Тьфу на него! А потому иной у нас интерес. Повеселиться бы от души, вечер убить. Тебе тоже, шпиону польскому и японскому, спешить в подвал наш не резон. А потому сыграем-ка в рулетку. Настоящей у нас нет, не Монте-Карло...

— ...А Монте-Карловка. — Бесовище подмигивает. — Иные у нас рулетки. Помнишь, как на деникинских фронтах господа

офицеры барабан револьверный у виска крутили, счастье испытывали? А мы еще затейливее устроим. Врага народа Гоголя читал — про то, как один дурень в карты шапку отыгрывал?

Пожал я плечами. Читал я, конечно, нашего Николая Васильевича, только не врага же!

— Врага, врага! — хмыкает Бесок на самое ухо. — Ох и много материала мы на Гоголя собрали! Жаль, помер, достать пока не можем. Ну, дай срок, мы ему тоже... срок обеспечим — в лагере исправительно-трудовом. До Страшного Суда!

Холодно мне стало. Хоть и шутит бес, а верится. Такие и на том свете достанут!

— В карты — это прежде было, — Бесовище гудит. — А мы в веселую рулетку сыграем. Анекдоты любишь?

— Кто же анекдоты не любит? — вновь Бесок встревает, лапу мне на плечо кладет. — Какой анекдот ты на прошлый Первомай начальнику МТС рассказывал, а? Приятно вспомнить! Ну а мы такие анекдоты коллекционируем. Любим это дело!

— Большая у нас коллекция! — соглашается Бесовище. — Второй лагерь наполняем. Знаешь этот анекдот, козаче? А потому такая у нас Монте-Карловка выйдет. Мы друг другу анекдоты рассказывать станем — политические, настоящие. Кто первый засмеется, тот и проиграл. Мы проиграем — печать тебе, дурню, отдаем и на все четыре стороны отпускаем. Гуляй — пока! А проиграешь — уж не обессудь. Здесь же за столом признание напишешь. И анекдоты политические про вождей наших и про партию родную в том признании первым пунктом пойдут. По рукам?

— По рукам!

Выдохнул, не думая даже. Что за казак без анекдота? Помнил я их целый товарный вагон с тележкой в придачу. А вот смеяться мне не с руки. Какой уж смех в пекле?

— Если по рукам... — наклонился вперед Бесовище, зенками своими царапнул. — Смейся тогда... Вызывает товарищ Сталин к себе врага народа Радека, да и говорит: «Ты чего про меня, вождя, политические анекдоты придумываешь?» А тот ему...

Даже не улыбнулся я, дослушав. Такую древность рассказывать! Кивнул — и в ответ:

— Приходит сумасшедший в ресторан и — официанту: «Мне столик на двоих». Тот: почему, мол? А он: «У меня раздвоение личности, я — Каменев и...»

Не дрогнули, не моргнули. Оно и понятно, старый анекдот, прошлогодний.

— По радио сообщают, что в республике Испанской, где война сейчас идет, взят Теруэль, — Бесок вступает. — А наши спрашивают...

И это знаю, не улыбаюсь. Чего смешного? Разумно спрашивают: жену Теруэля тоже взяли? А вот я им сейчас!..

— Троцкий и Гитлер пошли как-то в ресторан...

И — поехало! Они мне про Калинина и балерину, я — про Енукидзе и секретаршу. Они про Ворошилова, я про Тухачевского, они про Молотова, я про Бухарина. Не умолкаем, крутим рулетку дальше. Но — не смеемся, хоть и смешные анекдоты попадаются. Измаялись, повторяться стали, однако не сдаемся, потому как они, бесы поганые, в самый кураж вошли, мне же сдаваться — и вовсе не с руки. И замысел у нас, видать, одинаков — самое смешное под конец припасаем. Сначала три старых анекдота, чтобы враг бдительность потерял, а следом — новенький самый. И точно, чуть не дрогнул я, чуть не рассмеялся, когда услышал, как товарищ Сталин всем спокойной ночи желает. Скрипнул зубами. Ладно!

— Совсем старый анекдот расскажу, — улыбаюсь. — Только переделанный, не смешной вовсе. Привозят человека безвинного к вам в пекло, в кабинете под лампу сажают, а он и просит: «Отпустите!» Вы ему: «Не можем!» А он снова: «Отпустите!» Вы снова: «Не можем!» А он: «А вы попытайтесь! Ведь попытка — не пытка. Не правда ли, товарищ Химерный?»

Переглянулись бесы ошалело, моргнули. А потом как грянут! С бульканьем, с присвистом, с подвыванием. Хохочут, пальцами у виска крутят, языки мерзкие свои кажут. А я сижу, ногу за ногу закинул. Вот вам!

Отсмеялись, серьезные стали.

— Вот чего, — говорит мне Бесовище. — Анекдот твой — не анекдот вовсе, а глупость. Потому и не считается он.

— Или мы Химерного боимся? — Бесок рядом скрипит. — Да мы его самого!..

Ох зря помянул! Ох зря! Ударило в дверь — да так, что по всей хате эхо проскочило. Гром! Слетела с петель дверь вышибленная, ворвался внутрь ветер холодный, ночной. А с ним вошел и сам товарищ Химерный — головой под потолок, плечами стены разламывает, с «маузером» знаменитым на ремне. Вошел, огляделся неторопливо, брови черные нахмурил, бесов увидав, а потом пальцем ткнул:

— Взять их!!!

И налетели хлопцы справные с наручниками — нечисть клятую стреножить.

— Произвол! — вопит Бесовище, в наручниках корчась (не любит нежить верную сталь!). — Беззаконие! Ордер покажите!

— Мы ничего не делали! — пищит Бесок, из ручищ крепких вырываясь. — Ничего плохого, просто с товарищем профилактическую беседу вели...

— Так уж и ничего? — хохочет товарищ Химерный. — Ой уморили, ой потешили! А ну-ка ступай сюда, товарищ агент второго ранга. Сообщай, чего было!

Глядь, появляется бес-разводящий с записной книжицей в руках. «А вот чего было!» — говорит. И читать начинает — все подряд.

Тут-то бесы и скисли.

— Ладно! — скривился Бесовище, когда его к дверям вели. — Твоя взяла, гражданин Химерный. Видать, и вправду на тебя управы нет. Только не одни мы к стенке станем. Этот, — на меня кивает, — не меньше нашего повинен, по одной статье светлым путем пойдем. Мы языки распустили — и он с нами. Всем в нашей Монте-Карловке выигрыш одинаков.

— После трибунала еще сыграем. Напоследок! — Бесок подхватывает, рожу мне корча.

— Дурьи вы головы! — вздыхает товарищ Химерный. — Злобы много, ума мало. Все выиграли, но только разное. Анекдоты, говорите, гость ваш рассказывал?

Берет он у агента второго ранга книжицу, листает.

— Зафиксировано: рассказывал. Только про кого? Про врагов народа лютых — Каменева с Зиновьевым, Тухачевского с Енукидзе и про Гитлера с Муссолини. Высмеивал их, мерзавцев, перед народом срамил. Или не доброе это дело? А вы про кого? Про товарища Сталина и товарища Калинина? Вот за то и ответите, вражины!

А сам на пачку денег моих кивает:

— Это чего? Не взятка ли? Не все ли номера на банкнотах у меня заранее переписаны? Или проверим? А? Молчите, значит? Тогда забирай, товарищ, свои червонцы. Будем считать, что ты их разом с печатью политотдельской из кармана на стол выложил, когда папиросы искал.

И подмигнул мне мой кум, товарищ Химерный. Не просто подмигнул, со значением. Взял я печать, подышал на поверхность резную, где герб с серпом и молотом...

Вот такая у меня Монте-Карловка случилась, рулетка с анекдотами. А на следующее утро совещание грянуло. Все там было: и про врагов, и про бдительность, и про списки из партии исключенных. Досидел я до конца, проголосовал за резолюцию, после же прямо в районную больницу пошел, к врачу знакомому. Нет мочи работать, говорю, совсем контузия, на сопках далеких полученная, сознания лишает. Закрою глаза — чертовщина мерещится, и наяву мерещится. Бесы проклятые обступают, не продохнуть... Выписали мне справку, от службы вчистую ос-

вободили, и устроился я на колхозную пасеку. Там и обретался, пока война с фашистом не началась. Но это уже другая история. Хватит с вас пока!

Настоящие ли бесы были, спрашиваете? Из пекла которые — или просто людишки дрянные? Кто знает? Одно хорошо: такие времена сейчас, что вам, молодым, подробности интересны. Тогда бы!..

А я так скажу: бес — завсегда бес!

ПОЙДЕМ В ПОДВАЛ?

— Пойдем в подвал? — спрашивал Карлсон.

Никакого пропеллера, как в мультике, у Карлсона не было. Если живешь в подвале, пропеллер ни к чему. Там летать негде И штанов на помочах, в смешную клеточку, у Карлсона тоже не было. Он всегда ходил в длинной рубашке до пят, с кружавчиками у ворота. А ворот собирался в гармошку специальным шнурочком, отчего лицо Карлсона сразу делалось из обычно синюшного — темно-лиловым. С пятнами угольного румянца на щечках. Приди Малыш на уроки в такой рубашке и без штанов, его бы, пожалуй, из школы выгнали. Одноклассники засмеяли. А мама неделю бы ругалась. Впрочем, мама ругалась бы год, наверное, а папа взялся за ремень, узнай они, что Малыш ходит играть в подвал с Карлсоном.

Хорошо, что Карлсона никто не видел.

В первый раз Малыш испугался. И ничего стыдного или смешного тут нет: любой испугается, если к нему прямо во дворе подойдет синий толстячок в девчачьей рубашке, заискивающе улыбнется и спросит:

— Пойдем в подвал?

— Не-а, — замотал головой Малыш, когда это случилось впервые. Он тогда еще не знал, что хоть всю голову в клубок смотай, Карлсон все равно не отстанет. Такой приставучий уродился. — Мне нельзя в подвал. Мне мама не разрешает.

— Можно, — ласково погрозил пальцем Карлсон. — Тебе можно.

Он стянул шнурок у ворота, густо налился ежевичным соком и добавил, моргая:

— Тебе очень нужно в подвал. Мы там будем играть. Пошли...

Подвал оказался совсем рядом. Даже идти никуда не надо. Моргнешь раз, другой — и ты в подвале. Нет, сперва ты на лестнице: узкой, каменной, зажатой между облупившейся стеной, сплошь в ржавых потеках, и высоким бортиком из бетона. Ступеньки разного размера. Малыш всегда спотыкался на седь-

мой — щербатой, сколотой, какой-то недоношенной — и чуть не падал вниз, на грязный заплеванный пятачок земли перед дверью. Хорошо, что Карлсон успевал схватить приятеля за плечо. Здесь нельзя было спотыкаться и падать. Просто спотыкаться — еще ладно, наверное, здесь каждый спотыкался, а вот падать — ни за что. Упадешь — и сразу случится что-нибудь плохое. Будешь валяться, как дохлая кошка. Ну, эта, серая в полоску, которая тут вечно валяется.

Спасибо доброму Карлсону: поддерживал.

Правда, на плече оставался синяк, похожий на лапчатый кленовый лист.

Огромный замок на двери хрипел и колыхался, когда в нем ковырялись ключом. У замка было дурное настроение и простуженное горло. «Скажи: «А-а-а!» — шутил Карлсон, подражая ухо-горло-носу, толстому дяденьке доктору из поликлиники, с круглым зеркалом на лбу, лечившему однажды Малыша от ангины. Позже, когда Малыш пообвыкся, Карлсон стал доверять ему самому вставлять ключ-ложечку в глотку замку. «А-а-а! — веселился Малыш, подражая другу, и выходило громко, оглушающе громко, сотрясая все запертое нутро подвала: — А-а-а!..»

Замок сглатывал и открывался.

Дужки выходили из него розово-слизистыми, топырясь двумя рожками.

В подвале отовсюду росли корни дома. Они сосали из стен пахнущую железом кровь — и ветвились, разбухали, выпячивались узлами сгонов, влажно блестели заклепками. По узлам сгонов можно было подсчитать, сколько дому лет. Иногда корень лопался, из черного нутра шибало свистящим паром или струей жидкости. Карлсон часами мог принимать баню, отплясывая возле лопнувшего корня. А Малышу эта игра быстро надоедала, и он шел бегать по потолку с Гнилушкой.

Но это все произошло потом, когда Малыш привык.

В первый же раз они открыли дверь подвала, вошли в сплетение корней, вдохнули сырой, по-особому щекотный воздух, и на этом подвал закончился.

— Малыш! — крикнула из окна мама. — Не сиди на земле! Простудишься!..

Малыш чихнул и выяснил, что действительно сидит на земле возле скамейки. Напротив оглушительно лаяла болонка Чапа, пятясь от него. Морда у собаки была испуганная. Кстати, с этого дня Чапа всегда заходилась лаем, встречая Малыша, и хозяйка Чапы, добрая старушка Вава, очень расстраивалась.

А соседский ротвейлер Дик, бешеная скотина, при виде Малыша начинал скулить.

В следующий раз Карлсон пришел на уроке литературы. Малыш только что дочитал у доски «Лукоморье» и собирался про-

должить, но Марь Лексевна, классная руководительница, его остановила.

— Достаточно, — сказала она, намереваясь ставить в журнал пятерку.

— Что вы, Марь Лексевна! — расстроился Малыш. — Там дальше самое интересное. Там Руслан этого гада за бороду... и вообще. Вы, наверное, просто не читали дальше, вот и не знаете. Хотите, я расскажу?

Марь Лексевна поставила в журнал четверку, за «избыточную декламацию». «Садись!» — велела классная руководительница. Пригорюнившись, Малыш сел. Он размышлял, что руководительница вовсе не классная, а так себе, Баба Яга в жакете, и смотрел, как по проходу между партами к нему идет Карлсон. Толстенький, в рубашке до пят, синий и улыбчивый, Карлсон не привлекал внимания одноклассников. Марь Лексевну он тоже не занимал. Малыш подумал, что случилось бы, увидь руководительница толстяка без штанов, и заулыбался.

— Пойдем в подвал?

— Ага...

Если пройти по подвалу дальше, через пульсирующий коридорчик, где всегда кто-то охал и вздыхал, можно было встретиться с Гнилушкой. Суставчатая, похожая на мокрицу с лицом испорченной девчонки, Гнилушка обожала шутки. Она гордилась своим чувством юмора. Особенно она любила свешиваться с потолка в самый неподходящий момент.

— Бу-у-у! — отрыгивала Гнилушка и хохотала басом.

Если правильно отскочить, быстро-быстро взмахнуть руками и хрипло заорать в ответ — что угодно, лишь бы хрипло, — Гнилушка утаскивала тебя на потолок. Там вы принимались бегать взапуски: ты на четвереньках, потому что иначе падал вниз, а Гнилушка — как угодно. Она не падала, а если хотела спуститься, лезла по стене, шурша ножками, или выпускала из брюшка скользкий шнурочек, вроде того, что стягивал шею Карлсону.

Жаль, что бегать по потолку больше минуты не получалось.

Малыш постепенно научился ловить приближение конца игры. Он теперь не валился с потолка, больно ударяясь о бетон пола, а ловко спрыгивал. Когда хотелось еще побегать вверху, между узловатых корней, пугая трусливых крыс, снующих по корневищам, надо было попросить Гнилушку еще разок подкрасться. «Бу-у-у!» — ты отскакиваешь, быстро-быстро машешь, хрипишь, и так далее. Только Карлсон предупредил, что увлекаться гонками не стоит. Иначе сам сделаешься суставчатым, со шнурком в брюшке, а лицо у тебя станет испорченное. Не обязательно как у девчонки, но испорченное, это точно.

Пока Малыш играл с Гнилушкой, Карлсон ловил падающих крыс и связывал им хвосты бантиком.

— Ермаков, ты заснул? — спросила Марь Лексевна.

— Нет, — ответил Малыш.

— Где ты вечно витаешь?

— В подвале, — тихо шепнул Малыш, стараясь, чтобы его не услышали.

В отдельном углу, под щитком с пробками, кнопками и рычажками, жили Теткодядьки. Они были голые и вечно боролись. Поначалу Малыш их боялся. Любой забоится, если голые и борются не до победы, а просто так. В углу стонало, хлюпало и охало. Там вздымалась манная каша, грозя сбежать из кастрюльки. Карлсон научил Малыша смотреть в этот угол искоса, мельком, делая вид, что Теткодядьки тебя вовсе не интересуют. Если пялиться на них в упор, сказал Карлсон, они решат, что ты свой, что хочешь к ним, но стесняешься, — и утащат тебя в угол. Будешь тоже голый. Будешь бороться. А если не станешь притворяться, что тебе с ними хорошо, Теткодядьки обидятся.

Чем опасна обида Теткодядек, он не рассказал, но Малыш и так поверил.

Смотреть искоса бывало интересно.

В третьем классе на Малыша взъелся конопатый Бутых. Здоровенный верзила со смешными рябушками на носу, Бутых спрятался в раздевалке и выскочил к Малышу исподтишка. Он ко всем так выскакивал, а к Малышу забыл. Вот вспомнил.

— Бу-у! — рявкнул Бутых, состроив жуткую гримасу.

Малыш подумал, что в подвале это смотрелось бы лучше. А в школе, на переменке... Бутых, к сожалению, считал иначе. Так случается, когда люди расходятся во мнениях: один полагает, что сделанное им очень страшно и очень здорово, а второй не боится и не радуется. Удрученный тупостью Малыша, конопатый Бутых принялся вколачивать в него понимание доступными методами.

— Ты чего? — удивился Малыш, потирая горящее ухо. Было больно, но не очень. Разве что сидеть на полу оказалось холодно: из окна тянуло сквозняком. А еще Малышу стало жалко дылду Бутыха, который, оказывается, совсем не умеет играть. Тут Бутых, видимо, решил помочь Малышу встать. Ухватив жертву за лацканы школьного пиджачка, он скорчил очень страшную, на его взгляд, рожу и рванул Малыша на себя. Чтобы снова не упасть, Малыш ухватился за Бутыха. Заглянул снизу вверх в конопатое лицо.

— Пойдем в подвал? Поиграем?

Как-то само вырвалось.

А потом Малыш два раза правильно моргнул, и они вместе ушли на лестницу с разными ступеньками. Малыш впервые попал сюда без Карлсона. «Как же я дверь открою?» — подумал он. Но ключ с радостным воплем выскочил из трещины в бетоне,

кувыркнувшись в руку Малыша. Бутых от неожиданности выпустил добычу, и Малыш мигом оказался возле двери, удачно перепрыгнув через нехорошую седьмую ступеньку. Замок на этот раз не стал кочевряжиться: сказал «А-а!..», словно узнав гостя, и открылся.

Опомнившийся Бутых, видя, что добыча ускользает, сиганул следом. Через все ступеньки сразу. Дылда едва успел выставить руки, чтобы не расквасить нос о стену.

— Догонялки! — обрадовался Малыш и юркнул в гостеприимное нутро подвала. Позади громко топотал Бутых. А за Бутыхом с удовлетворенным чмоканьем захлопнулась дверь. Пульсирующий коридорчик они пролетели быстро. Бутых даже не обратил внимания, где решил побегать. Главное сейчас — догнать нахального мальца. Догнать и отмутузить.

Чтоб знал.

Ныряя под сплетение чугунных, свистящих паром корней, Малыш заметил на потолке притаившуюся Гнилушку. Сейчас она!.. — в восторге подпрыгнуло сердце.

И Гнилушка оправдала ожидания.

— Бу-у-у! — басом прогудела Гнилушка прямо в лицо Бутыху, свесившись с потолка.

Это у суставчатой мокрицы получилось куда лучше, чем у конопатого верзилы в раздевалке. Малыш впервые смотрел со стороны на проделки Гнилушки. Было очень весело. Давно он так не смеялся! И Бутых повел себя наилучшим образом. Упал на четвереньки, скорчил чудесную рожу и, пятясь, заорал:

— Ы-ы-ы-ы!!!

Только не хрипло, а тоненько-тоненько. И руками не махал. Жаль. Иначе Гнилушка утащила бы его на потолок и Бутых смог бы минуту там побегать. А так — не получится. Но это ничего, можно будет еще попробовать.

Малыш буквально по полу катался от смеха, наблюдая, как Бутых пятится прямиком в объятия Ухвата, притаившегося в старом шкафу. Ухват там жил-поживал. Подкрадешься к шкафу, а он дверцы распахнет и схватить норовит. Глазищами крапчатыми сверкает, лапы тянет... Если увернешься — Ухват смешно подпрыгивает и скрежещет. А потом обратно прячется. Но если поймает, начинает щекотаться усами. Усищи у него, как у таракана, только больше в сто раз. И пока трижды ему лапу не пожмешь — не отпустит. А лапы колючие, шипастые...

Бутых пятился задом, и Ухват его, конечно же, схватил. От щекотки глаза Бутыха стали круглые-круглые, как в мультике. Его всего перекосило: наверное, очень щекотки боялся. Надо ему про лапу сказать...

Но сказать Малыш не успел.

— Это что за безобразие?! Прекратите немедленно!

Оказывается, Бутых по-прежнему держал Малыша за лацканы пиджачка и при этом тоненько выл. Из уголка рта у конопатого тянулась ниточка слюны. А над ними обоими грозно возвышалась завуч Анна Васильна, в раздражении стуча по подоконнику указкой.

Бутых отпустил Малыша, упал на четвереньки, как в подвале, и резво ускакал прочь, продолжая выть на ходу.

За драку Малышу влетело. Хоть он был и не виноват. А Бутых еще долго бегал по коридору на карачках, подвывая и больно стукаясь головой в стены. Грозных требований Анны Васильны «Прекратить немедленно!» и «Бутыхов, перестань паясничать!» он вроде как не слышал. Потом из медпункта вызвали докторшу в белом халате, она с трудом подняла Бутыха на ноги и куда-то увела. Бутых не ходил в школу целый месяц. А когда наконец пришел, то стал меньше ростом и дергался невпопад. Теперь дылда все больше молчал и никого не задирал. С Малышом здоровался за руку, но тоже молча, глядя мимо плеча.

Со следующего года Бутыха перевели в другую школу.

Карлсон очень смеялся, когда Малыш рассказал ему эту историю. Прямо квохтал, как курица. И сделался лиловым, хотя шнурка вокруг шеи не затягивал. Очень жалел, что Бутых попался Ухвату, а не Щелкунам или Мокрошлепихе. Или Бледному Кружулику. Те бы его совсем разыграли.

— А это кто такие? — живо заинтересовался Малыш.

— Пошли в подвал? Знакомиться!

— Пошли!

Оказалось, в самой глубине подвала была еще одна дверь. С внешней стороны каменная, а с внутренней — кожаная, лоснящаяся и живая. Когда дверь открывалась, она чавкала. Малыш сказал ей, что чавкать при посторонних неприлично, но дверь зачавкала вдвое громче. Она так смеялась. Врезной замок здесь напоминал рот с острыми зубами. Зубами замок вцеплялся в косяк, когда дверь закрывали. А чтобы дверь открыть, надо было дернуть за торчавшее из стены ухо. Только не сильно, иначе дверь обижалась и могла укусить.

Это Карлсон так сказал, и Малыш ему сразу поверил.

— Замечательная дверь! — добавил Карлсон.

— Ага! — согласился Малыш.

Вообще подвал оказался куда больше, чем думалось поначалу. За следующие три года Малыш открыл для себя великое множество всяких комнат, коридоров, лестниц, тоннелей — прямо настоящий лабиринт. И друзей новых приобрел кучу. Кстати, оказалось, что подвал уходил еще на два-три этажа вниз. Но на самое дно они с Карлсоном спускались редко: там было темно и скучно. Местами воды по колено. Жили там мрач-

ные Топляки-луподыры и скукоженные Дренажеры, похожие на сушеных летучих мышей. Играть они ленились. Если Карлсону удавалось их уговорить, то игры получались какие-то однообразные, большей частью в «съем-не-съешь!», и быстро надоедали.

Зато на верхнем ярусе подвала было куда веселее. Тут имелись комнаты с кроватями-скакунцами (они сами прыгали, как железные лягушки, скрипя пружинами!); попадались углы с захлопом, где так здорово играть в «хлоп-шлеп». Щелкун, похожий на огромного черного кузнечика с дюжиной перепончатых лап, ловко щелкал Малышу орехи кусачками. Кусачки росли у него из ноздрей. Орехи непонятно где добывали Кружулики. Может, воровали. Чтобы они поделились орехами, надо было разрешить им себя закружулить. Малышу нравилось. Он часто кружулился за орехи.

А еще Карлсон показал ему свою домовинку. Там он отдыхал, уморившись от игр.

Однажды Малыш спросил у Карлсона, можно ли привести сюда друзей.

Карлсон задумался. Лицо его от мыслей пошло пятнами.

— А если им не понравится? — спросил он. И вдруг просиял. — Води! Будешь как я. Ну, почти как я. Потому что у тебя нет шнурка и домовинки. Только води по одному. Тут не всем нравится.

Как кому-то может не понравиться в подвале, Малыш не понимал.

Но скоро понял.

С друзьями не заладилось. Сашка Маленин отказался после первого раза, Захар Кононенко вообще не пошел. Только Янка Мааса, смуглая девчонка, которую перевели к ним в девятом классе, трижды ходила и говорила, что нравится. А потом и ей расхотелось. И дружить с Малышом расхотелось. Но Малыш не особенно расстроился. Он уже знал, что большинство людей — странные. Им в подвалах не очень-то хорошо.

Когда по телевизору начали показывать фильмы ужасов, Малыш сразу понял: это комедии про подвал.

Смешные.

Со временем Малыш вырос. Закончил школу, поступил в университет. Получил диплом, пошел на работу. Женился. Хотя и не сразу. Его первой невесте не понравилось в подвале. И второй тоже. Зато с третьей все прошло превосходно! Когда их сыну исполнилось семь лет, мама и папа подготовили ему Большой Именинный Сюрприз: в этот день они впервые взяли его с собой в подвал.

Сын был в восторге.

Иногда Малыш водил в подвал сослуживцев и еще кое-кого,

например глупого пьяницу с ножом, который хотел поиграть с ним на троллейбусной остановке. И жизнь складывалась наилучшим образом.

А потом Малыш совсем вырос и даже состарился.

Однажды к нему пришел Карлсон. Давно не ходил, забыл, наверное, а тут взял и пришел. Малыш тоже давно не ходил. Все больше в постели лежал. Поэтому очень обрадовался.

— Пойдем в подвал? — спросил Карлсон.

Он смущенно дергал шнурок и старался не смотреть на Малыша.

— Ага, — улыбнулся Малыш. Старый, он сейчас помолодел, улыбаясь.

— Ты не боишься? — тихо спросил Карлсон.

— Не-а, — расхохотался Малыш. — Это ведь наш подвал. Чего там бояться?!

Карлсон вздохнул с облегчением.

И они ушли в подвал.

НЕСПОКИЙ

Странное что-то случилось в это утро с красным бойцом Оксаной Бондаренко. То ли солнце светило особенно ярко, то ли воздух, сладкий и по-весеннему пьянящий, разбудил давно не бившееся сердце. Улыбнулась Оксана, огляделась вокруг, словно все впервые увидев: и близкий лес, листвой молодой залитый, и зеленую траву на просевших могилах. Трухлявое дерево старого креста теплым показалось.

Вздохнула красный боец Бондаренко, воздух губами молодыми тронула. И совсем не то сказала, что думала:

— С праздником вас, Андрей Владимирович!

«Христос воскрес» — так и не выговорила. Не смогла.

Поручик Дроздовского полка Андрей Владимирович Разумовский удивленно вскинул светлые брови, подумал, встал с зеленой травы.

— Спасибо, Ксения. Воистину воскрес!

Обычно они ругались. Девушка обращалась к классовому врагу исключительно на «ты», а «вы» поручика звучало хуже всякой брани. Но... Не иначе утро сегодня было такое особенное.

У мертвых порядки строгие, но и послабления бывают. Трижды в год отпуск положен — в Жиловый понедельник, на Троицу и, понятно, в Великдень. Ненадолго, на сутки всего, но и этому будешь рад. Тем более и церковь рядом, и священник, такой же, как ты, отпускник, ждет на службу.

Красный боец Оксана Бондаренко поповских обычаев не

признавала и ни в один отпуск церковный порог не переступила. Жалели ее соседи, тихие покойники из ближайшего села, головами скорбно качали. И без того, мол, грешница великая, без креста и ладана закопана, так еще и церковь стороной обходит, Бога о прощении не просит! Оксана только смеялась, не отвечала даже. Грешницей она себя не считала, предрассудки отбрасывала прочь, а главное, числила себя победительницей. Свою войну она выиграла, пусть и не дожила слегка.

Ее убили весной 1921-го на такой же пасхальной неделе, за день до Великдня. Ударила пулеметная очередь с махновской тачанки, рухнула в свежую траву боец славного отряда товарища Химерного, вдохнула в последний раз острый запах теплой земли. До дня рождения оставался пустяк — месяц всего. Не довелось — так и осталась двадцатилетней. Вырезали друзья звезду из жести, обложили дерном могилу, сказал товарищ Химерный твердую партийную речь...

Поручик Разумовский тоже считал себя победителем. Разрубила его горло красноармейская сабля в лихом бою летом 1919-го. Вкопали товарищи наскоро срубленный крест, дали залп в горячее небо — и ушли дальше, на Москву. Не о чем было жалеть Андрею Разумовскому, и не жалел он. Вот только в церковь тоже не ходил, а почему — молчал. Спросят его, пожмет поручик плечами под золотыми погонами, закусит зубами сорванную былинку...

Дивилась Оксана вместе со всеми. Но — не спрашивала из гордости. А вот сегодня не удержалась. Утро было такое.

— Почему бы вам в церковь не сходить, Андрей Владимирович? — тихо сказала она, стараясь, чтобы прочие не услыхали. — Вы ведь верующий, под крестом лежите. Или на Бога обиделись?

Поглядел на Оксану поручик, хотел ответить резко, как привык, но, видно, передумал. Кивнул, поглядел на утреннее солнце:

— Возможно, вы правы. Только не обиделся, иначе. Во всем порядок должен быть. А так...

Оксана тоже кивнула, вперед — туда, где ворота кладбищенские стояли, — поглядела. Высоко солнце, значит, и служба скоро кончится. Ненадолго мертвых в церковь пускают.

— Вам обещали рай. Или ад. Так ведь? А вместо этого... Вроде как обманули, да?

Не шутила Оксана, не издевалась. И поручик ответил серьезно:

— Наверно... Наверно, я просто растерялся, Ксения. Нам действительно обещали другое. Как и вам. Смерть — часть жизни, и если нас обманули в смерти...

— Вас обманули, не нас! — вскинулась девушка, вражеский

подвох в речи поручика почуяв. — Жизнь у вас была антинародная, и погибли вы антинародно, за империалистов и вашу Антанту. Не верю я в рай поповский, но даже если есть он, нечего таким, как вы, в нем делать. Развела вас с народом кровь, вами пролитая, навечно!..

Хотел возразить Андрей Разумовский, как привык, в полный голос, но почему-то не стал. Поглядел вперед, улыбнулся:

— Дядько Бык идет. Сейчас в церковь погонит!

•

Не всем дано мертвых видеть, потому как это — вечного порядка нарушение. Только всякое случается, иногда и закон трещину дает. Нырнул как-то хлопчик в Студну-речку раков наловить, открыл глаза — и сквозь муть донную увидел голову с черными рогами, взглянул в мертвые белки круглых глаз...

Утонул бык, с обрыва упав. Не стали доставать — и соседей не предупредили. Вынырнул хлопчик, зашелся воем, доплыл до берега, скользнул ладонью по липкой грязи. Откачали, да только с того дня бык утонувший так перед взором и стоял. А еще начали глаза различать мертвецов — и прочее, что живым видеть не положено.

Теперь дядьке Быку седьмой десяток пошел. Седой стал, костлявый, страшный. На кладбище бывал часто, поскольку долгом своим считал порядок среди мертвого народа поддерживать. А какой порядок, если в такой день церковную службу души крещеные пропускают?

— Почему не в церкви? — нахмурился дядько Бык, поближе к девушке и поручику подойдя. — Сколько совестлю вас, сколько уговариваю! И батюшка о вас справлялся, гневался сильно.

Поручик пожал плечами, Оксана же и вовсе отвернулась. Будет ей, члену революционного коммунистического союза молодежи, какой-то поп указывать!

— Вот черти вас вилами воспитают! — пообещал дядько, худым пальцем грозя. — Вот уж...

— Предъявите! — не выдержал Андрей Разумовский, морщась, словно от зубной боли. — Чертей предъявите. потом и о прочем поговорим!

Топнул дядько Бык ногой в гневе и дальше пошел — прочих нарушителей в храм Божий кликать.

— А если предъявит? — усмехнулась девушка, ответом таким довольная, пусть даже ответом вражеским.

— Чертей? — Поручик улыбнулся в ответ, словно перемирие улыбкой заключая. — После трех лет фронта, после всего, что мы с вами, Ксения, пережили... Я этим чертям, честно говоря, не завидую.

Поглядела Оксана на классового противника, залюбовалась лицом его пригожим, да и решила: не будет сегодня она с поручиком ругаться. Не будет — и все тут! Хоть и зря он, Андрей Владимирович, Андрюша, рогатых помянул. Черти не черти, но вот «те» обязательно пожалуют. И скоро.

— А не сходить ли в гости? — предложил Андрей Разумовский, на дальний угол погоста кивая. — Сергей Ксенофонтович наверняка соскучился.

Сергей Ксенофонтович, народный учитель, сорок лет честно прослуживший в сельской школе, был по убеждениям твердый материалист, потому и в церковь не ходил — и при жизни, и после. Умер от «испанки» в тот же год, что Андрей Разумовский, только зимой, в самый лютый мороз. После смерти жалел об одном — разлучили его с верной женой, тоже учительницей, похороненной в далеком Киеве.

На кладбище его сторонились. Только поручик и Оксана иногда приходили потолковать, но не вместе, порознь. А нынче совпало как-то.

— Господин Фроленко сегодня на диво красноречив! — Сергей Ксенофонтович кивнул в недовольную спину дядьки Быка, пробиравшегося между старых, просевших холмиков. — Обещал небесный гром, землетрясение и геенну огненную. Причем последнюю — в двойном экземпляре.

Интеллигент Сергей Ксенофонтович именовал назойливого дядьку исключительно по фамилии.

— Геенна — просто ущелье возле Иерусалима, — усмехнулся поручик, усаживаясь на траву рядом с учителем. — Но если серьезно... Вы — неверующий, я всю жизнь был адептом Русской Православной Церкви. Ксения, вы...

— Убеждений коммунистических! — гордо заявила девушка, рядом с поручиком устраиваясь. — Ад — это то, чего вы со своим Деникиным защищали, а рай — наше светлое бесклассовое будущее!

— Вот-вот, — согласился Андрей Разумовский, ничуть таким словам не обижаясь. — А все оказалось не по Дарвину с Бутлеровым, не по слову официальной Церкви и даже не по Карлу Марксу. Реальность — это система господина Быка: самые архаические народные мифы с мертвецами, воскресающими на Пасху, и набором совершенно диких табу и обычаев. Мертвые ходят в гости, угощаются «крашенками»... Макабр!

Оксана поглядела на разговорившегося поручика не без опаски. О таких словах она и не подозревала. Сергей Ксенофонтович же, ничуть таинственному «макабру» не удивляясь, кивнул:

— Верно, батенька мой. Самая архаическая система представлений. Но уверен: если бы наша, так сказать, реальность была нам больше знакома, удивлялись бы мы еще чаще. Мы и о мире живых мало знаем, а уж об этом... Но так ли все странно? Мы тысячи раз повторяли слова о народной мудрости, но не принимали их всерьез. Опыт сотен поколений — не шутка. Да-с!

— Но если так...

Андрей Разумовский помолчал, потер подбородок, ямочки маленькой коснувшись. Посмотрела Оксана на эту ямочку — и тоже задумалась. Но о другом.

— Если так, — вел поручик далее, о мыслях красного бойца Бондаренко нимало не подозревая, — то можно вспомнить, что в Средние века многие народы верили, будто смертей бывает две. Предварительная — и, если можно так выразиться, настоящая. Мы на первой стадии.

— И совсем неплохо. — Учитель поглядел в теплое весеннее небо, улыбнулся бледными губами. — Неужели вам, молодые люди, больше бы понравилась горячая сковорода с угольками — или просто черное Ничто?

— А рай поповский? — вскинулась Оксана по давней привычке не соглашаться с вредной интеллигенцией. — Наслышалась в детстве: и про золотые галушки, и про арфы с трубами...

— Золотые галушки? — Сергей Ксенофонтович провел языком по редким зубам, развел руками. — Знаете, предпочел бы настоящие. А если серьезно... Факт отсутствия указанного вами рая, равно как и наличия его, пока научно не установлен. Может, он совсем рядом и у нас с вами сейчас, так сказать, испытательный срок?

— А мы в церковь не ходим, — согласился Андрей Разумовский, явно об этом не жалея. — Насчет же музыки... Представляете, какой там репертуар?

Слово «репертуар» было бойцу Бондаренко известно, поэтому хохотала она вместе со всеми. Хохотала — и глядела потихоньку, как смеется классовый враг Разумовский. Красиво смеялся поручик! Вот и не сложилось вовремя напомнить, что наукой существование рая не предусмотрено.

— А как вам последние новости? — поинтересовался учитель, когда вопрос с арфами был решен. — Не пойму я что-то наших правнуков!

Следует заметить, что мертвым о нашей жизни известно совсем не мало. Откуда и как, сложный вопрос, но известно, причем в подробностях.

— Какое-то болото! — скривился поручик, разом теряя хорошее настроение. — Великороссия, Малороссия, прости господи, Эстляндия... Разбежались по берлогам! А всё адвокатишки с прочими демократами!..

— Мало мы их давили, демократов этих! — вскинулась Оксана. — Люди голодают, работы нет, стариков без поддержки бросили, детишки малые без призору, а они!.. Село это, Градовое, — во что село превратили? Четыре хаты осталось, старухи на картофеле гнилом доживают, землю запустили, вместо хлеба мак ядовитый сеять стали! .

— Приятно видеть такое единство мнений, молодые люди, — вздохнул Сергей Ксенофонтович. — Неужели вы считаете, что контрразведка Деникина или ВЧК Дзержинского полезнее для народа? Самая скверная демократия лучше самого распрекрасного террора! Белые, красные... Даже за гробом помириться не можем!

Откуда только голос взялся, откуда слова? Привстал учитель, помолодев словно. Но и поручик вскочил. Блеснул глазами яркими, поднял острый подбородок:

— На чем мириться? Жили мы счастливо в великой стране — в державе от моря Белого до моря Желтого под сенью государева скипетра! И когда пришел час умереть за нее, лучшие из нас шагнули под пули, чтобы не превратили Бланк с Троцким жизнь народную в ад, чтобы не стала Великая Россия поганой Ресефесерией!

— Не тебе оскорблять вождей наших! — крикнула в ответ Оксана, даже о ямочке на подбородке забыв. — Зверье вы, белые, убийцы да насильники. Встал против вас народ трудовой, и захлебнулись вы кровью, которую сами же пролили! Будет вам ад и на этом свете, и на том!

Договорила. Отвернулась. Повисла в воздухе тяжелая тишина. И вдруг холоднее стало, темнее даже.

— А я, знаете, недавно стихотворение услышал, — негромко заметил учитель, словно и не было ничего. — Его лет тридцать назад написали, но печатать не позволили. Запрещено-с! Дикость богоспасаемого отечества, причем очередная. Теперь, кажется, разрешили... Там про нас с вами. Наизусть запомнил не все, отрывок...

Помолчал Сергей Ксенофонтович — и читать принялся. Негромко, только чтоб услыхали.

На этом кладбище простом
покрыты травкой молодой
и погребенный под крестом,
и упокоенный звездой

Лежат, сомкнув бока могил,
и так в веках пребыть должны,
кого раскол разъединил
мировоззрения страны.

Как спорили звезда и крест!
Не согласились до сих пор!
Конечно, нет в России мест,
Где был доспорен этот спор.

Пока была душа жива,
ревели эти голоса.
Теперь вокруг одна трава
Теперь вокруг одни леса.

Умолк голос Сергея Ксенофонтовича, народного учителя.

— Неспокий, — еле слышно сказала красный боец Оксана Бондаренко на родном малороссийском.

— Немирье, — перевел поручик на русский. — Немирье... Сергей Ксенофонтович, а дальше не помните?

— Кажется... — Учитель задумался. — Еще четыре строчки.

А ветер ударяет в жесть
креста, и слышится: Бог есть!
И жесть звезды скрипит в ответ,
что бога не было и нет.

— А ведь скоро придут, — так же тихо проговорила Оксана. — За кем на этот раз?

Не ответили. Да и что отвечать было?

Спокойная жизнь тихого погоста нарушалась редко. Тут давно не хоронили — зато время от времени появлялись «те», неведомые, почти даже невидимые. Скользнет серая тень, закружится воздушный водоворот....

Приходили обычно на Пасху, как раз после службы. Вездесущий дядько Бык был уверен: «те» — гости из самого Пекла; смущало лишь появление таковых именно на Святой Великдень. Ни голоса, ни шороха... Скользили тени от кладбищенских ворот, окружали то одного, то другого — и прощай! Светлела, проникалась прощальным светом нестойкая мертвецкая плоть, вздрагивал воздух, замирал.

Забирали без всякого порядка — и старожилов, и тех, кто только начал обживать погост. Не все боялись. Некоторые, напротив, ждали «их» прихода, надеясь, что там, куда заберут, настанет наконец окончательная ясность. Что настанет, были уверены почти наверняка — никто из ушедших не возвращался.

И вот близился очередной «их» час.

— Я-то думал, страшнее смерти ничего не будет. — Поручик дернул ртом, резко втягивая воздух. — Даже не подерешься! Нет, все-таки попытаюсь, слабы «они» — без боя схарчить русского офицера!

— Мне кажется все же, что «те» — не любимые персонажи господина Фроленко, — негромко заговорил учитель. — Какое-то явление, неразумное, чисто природное. Мы ведь мало знаем законы этого мира.

— Законы тут обычные, вполне научные, — твердо возразила Оксана больше по привычке, нежели по убеждению. — Только что это? Не то ли, о чем ты, Андрюша, говорил: вторая смерть? Настоящая которая?

Моргнул недоуменно поручик Андрей Владимирович Разумовский, подобное обращение от красного бойца услыхав, однако не стал спорить.

— Кто ведает, Ксения? Именно в такие минуты, когда ждешь, за кем на этот раз, вновь хочется молиться, словно в детстве. А если о научных законах... Мы знаем, что уводят не первых попавшихся, не тех, что у ворот, и не по времени пребывания. И не за пропуск церковных служб — нас с тобой пока не трогали...

Тут и Оксана удивилась, величание на «ты» различив. Но и сама противиться не стала.

— ...Тогда кого? Грешников? Праведников? Священника, который у церкви похоронен, больше сотни лет не забирали, он все плакал, просил не оставлять между небом и землей. Но и самоубийцу, что у забора лежит, больше века не трогают.

— Правило Секста Эмпирика: при недостатке данных воздержись от суждения. Да-с! — спокойным голосом констатировал Сергей Ксенофонтович. — А потому, не имея представления о перспективах, не будем заранее расстраиваться. Хотя и радоваться, признаюсь, нет особой причины. Боюсь лишь, что в любом случае приятным отпускам на великие праздники настанет конец.

Не спорили — не о чем было спорить.

Между тем обитатели погоста возвращались — кто из церкви, кто из собственной бывшей хаты. Но угоститься, получить привычную нехитрую снедь, полагавшуюся мертвецам на Великдень, довелось немногим. Запустело село, поросли бурьяном старые пороги, почти все сельчане давно перебрались — кто в близкий город, кто за кладбищенскую ограду.

Дядько Бык тоже был здесь. Собрав нескольких давних знакомцев, он начал обычную беседу на любимейшую из тем: о кознях нечистой силы и о том, как силе оной укорот давать. Ему верили и не верили, но слушали охотно. Не так много развлечений на погосте, здесь и дядьке Быку будешь рад!

Поручик и Оксана подошли, присели поблизости. Сергей

Ксенофонтович остался где был. При жизни ему довелось прочесть немало фольклорных сборников, и простодушные откровения господина Фроленко наводили на него скуку.

— ...И получилось! — вещал дядько Бык, вздымая руки для пущей убедительности — Все как нужно подготовил. На заговенье перед постом Великим выдолбил я из вареника сыр, положил за щеку, переночевал, не вынимая, а утром вынул и в пояс завязал...

Поручик, представив себе все дядькой проделанное, лишь хмыкнул — и внезапно для себя самого коснулся ладонью пальцев красного бойца Бондаренко. Чуть дрогнула ладонь...

— Потом заходил я с сыром этим в церковь ровно двенадцать раз, пока пост длился. А сегодня, когда к заутрене спешил, первая из ведьм мне и встретилась. Как узнал? Так она же сыру и попросила. А за нею — вторая ..

— Да у них целый заповедник! — не выдержал Андрей Разумовский. — Четыре хаты в селе, а ведьм сколько?

— Их тут на субботник со всего уезда собрали, — пояснила девушка чуть громче, чем требовалось. Услыхал дядько Бык, нахмурился.

— Точно говорю! Потом поднялся на колокольню и стал вниз смотреть. Вижу — идет тетка с доенкой на голове, за ней собака — тоже с доенкой. А следом покатило: две кошки, свинья, стог сена, а затем и вовсе — колесо от мотоцикла «Ява». И клубков различных чуть ли не дюжина. Вот они, ведьмы, в обличьях своих истинных! Всем ведомо, что на Великдень силу они, проклятые, теряют, потому и разглядеть их доброму православному можно...

Не выдержала Оксана — смехом зашлась. И сама не заметила, как прижалась лицом к плечу поручика Разумовского. Видать, развеселили ее дядькины байки.

— Насчет стога — правильно, — прошептал Андрей Владимирович, губами ушка ее касаясь, — мы так на фронте гаубицы маскировали.

Не стала перечить девушка: и впрямь удачно. Идет себе стог мимо церкви, не трогает никого, всем «Христос Воскрес» говорит, счастливого Великдня желает...

— А все почему? — еще пуще нахмурился дядька. — А потому, что в церковь отдельные граждане не ходят, главное же — коров липовой хворостиной гоняют. Где такое видано? Липовой хворостиной! Любая ведьма, даже пропащая самая, к корове подобраться сможет. Ясень, ясень требуется, сколько повторять можно?

— Ой! — внезапно послышалось совсем близко. Игнатьич, давний приятель дядьки Быка, умерший от черного запоя три

года назад, тыкал пальцем в сторону въезда. Замерла Оксана, руку поручика Разумовского до боли сжала.

«Те»! Уже в самых воротах!

...Скользили прозрачные тени, кресты и ограды обходя, неслышно, неспешно. Вставали мертвецы, глядели покорно, не отводя глаз. «Не за мной ли?» — без слов спрашивали. Лишь один не выдержал, на колени упал: «Забери! Не хочу больше!» Даже не дрогнула тень, мимо проплыла.

Колыхнулся воздух перед поручиком Дроздовского полка Андреем Владимировичем Разумовским. Не шелохнулся поручик, потемнел лишь взглядом, мундир истертый поправляя. Блеснуло пасхальное солнце на золотых погонах.

— Не его! — твердо сказала боец Рабочей и Крестьянской армии Оксана Бондаренко. — Меня бери!

Не слышит тень, не отвечает, дальше плывет. Вот уже перед девушкой она, рядом совсем. Дохнуло морозом, прожгло до костей. Шагнул вперед поручик, классового врага заслоняя.

— Сначала меня!

Дальше скользит тень, равнодушно, спокойно. За соседний крест, за ржавую ограду.

— Пронесло!

В одно дыхание выдохнули белый поручик и красный боец. Взялись за руки. Но тут же вперед поглядели. Далеко тени, считай, всех миновали, не тронули. Кто же остался?

— Сергей Ксенофонтович!!!

Дернулись. Остановились. Переглянулись.

— Не поможет, Андрюша, ты ведь знаешь! — шепнула девушка. — Не поможет!

— Не поможет, — согласился поручик Дроздовского полка.

Вновь друга на друга поглядели. И бросились вперед — туда, где тени к бывшему учителю подступали.

— Назад! Назад! Дети, назад!

Сергей Ксенофонтович много лет так не кричал. Не повышал в классе голос ученик великого Ушинского, питомцев своих уважая. А вот сейчас — довелось.

— Не надо, дети! Не надо!..

Знали, что не надо. Но только не остановились.

Успели! Перед тенью первой, что уже к учителю подбиралась, плечом к плечу стали.

— Прочь, сволочь красная! — вздернул кулаки по правилам английского бокса поручик.

— Порешу, контра! — замахнулась боец Бондаренко ржавым револьвером, который положили друзья в ее фанерный гроб.

— Уходите, Сергей Ксенофонтович, уходите! Мы прикроем!..

И — ударило. Дальним орудийным громом, подзабытой скороговоркой пулемета «максим». Ударило, затянуло густым туманом предсмертной боли. Последней, такой памятной...

Сжал побелевшие пальцы поручик Разумовский, прямо в конскую морду пулеметным стволом целя. От ленты огрызок остался, окружена со всех сторон тачанка, бородатые морды рядом. «Сдавайся, беляк!» — орут.

— Смело мы в бой пойдем! — оскалился в чужие личины поручик. — За Русь Святую! И за нее прольем...

Не песня вышла, просто хрип. Но сумел все же — разом, одной очередью положил коня и всадника. И обрадоваться успел напоследок. Взлетела к самому небу чужая сабля, хлынула темная кровь из перерубленного горла.

Смело мы в бой пойдем за Русь Святую...

Убит отделенный, и взводный убит. Бьют в упор тачанки махновские. Попал в засаду непобедимый отряд товарища Химерного.

— За мной! — кричит боец Оксана Бондаренко. — Порубаем гадов! Смело мы в бой пойдем за власть Советов!..

Тачанка — что крепость. Огрызается пулеметным свинцом, не подойдешь, не подъедешь. Но все-таки прорвалась боец Бондаренко на своем сером в яблоках красавце-коне, махнула шашкой, голову лихую махновскую в кровавую кашу дробя. И еще успела удивиться, отчего шашка не в руке, отчего окровавленная трава так близко.

Смело мы в бой пойдем за власть Советов...

— Сколько раз можно умирать, Андрюша?

— Сколько раз можно умирать, Ксения?

Догорал пасхальный вечер, уходил прочь со старого погоста. Пусто стало, разбрелся народ мертвый под свои кресты да звезды. Постояли красный боец и белый офицер над опустевшим вечным домом Сергея Ксенофонтовича, бывшего народного учителя...

— Как в детстве, Ксения. Обидят — жаловаться хочется, хоть кому-нибудь. Только я уже тогда знал: нельзя жаловаться.

— Нельзя, Андрюша.

Сгущалась вечерняя тьма, призывая ночь. Отпуск кончался. Жаловаться было некому.

— Почитай стихи, Андрюша! Ты, наверно, много стихов знаешь.

— Знал. Забылось все... Вот помню — про войну.

Вздохнула Оксана, совсем другое услыхать надеявшаяся. Но и сейчас возражать не стала. Про войну так про войну.

— Эти стихи друг мой написал — штабс-капитан Вершинин. В батальоне нашем — Первом Офицерском — его стихи все любили.

Помолчал поручик, отступил зачем-то на шаг.

У красных тысячи штыков,
три сотни нас
Но мы пройдем меж их полков
в последний раз.
И кровь под шашкой горяча,
и свята месть
А кто отплатит палачам —
Бог весть.

Бессильная, в последний раз,
пехота, встань!
Пускай растопчет мертвых нас
та пьянь и рвань
Кто жив еще, вставай сейчас,
пока мы есть..
А кто родится после нас —
Бог весть.

Сломав века своей судьбой,
уйдем в века.
Всех тех, кто вспомнит этот бой,
возьмет *чека.*
Зато мы были — соль земли,
Отчизны честь .
Нас поименно вспомнят ли?
Бог весть!

Но нам плевать, что нам лежать
в грязи, в крови,
Лишь только ты, Россия-мать,
лишь ты живи!
Хоть мертвым нам, но дай ответ,
не в ложь, не в лесть.
жива ты нынче или нет?
Бог весть...

Послушала стихи про войну красный боец Оксана Бондаренко, тоже на шаг отступила.

— Вот о чем ты сказать хотел, Андрей Владимирович? Тогда

ответ выслушай: спасли мы Россию, и народ трудовой спасли — от таких, как ты! И жива она будет — без таких, как ты. И мириться нам с тобой не на чем!

— Не на чем, — кивнул поручик Дроздовского полка, ближе подходя. — Можно я тебя поцелую, Ксения?

— Нет, Андрюша! — вздохнула красный боец Бондаренко. — Не будешь ты, беляк, меня целовать. Я тебя сама поцелую...

— Знаешь, Андрюша, подумала я сейчас... Если мертвые наконец помирятся, может, и живым легче станет? Весь век, год за годом — кровь и кровь, вражда и вражда, страшнее, чем в Пекле!

— Может быть. Только как им... Только как нам помириться?

— Неспокий, — прошептала Оксана.

— Немирье, — перевел Андрей.

Пентакли, где вдавлены в центр ладони,
Незримо таятся в молочном бидоне,
В авоське старушки, в разрушенном доме,
В витрине, умытой дождем

Рогатый чертяка, тряся бородою,
Из тихого сквера поманит бедою,
И чад от машин, как туман над водою...
Мы — взвесим?
Измерим?
Сочтем?[1]

Войди со двора в незнакомый подъезд —
Пентакль не выдаст, пентакль не съест.

СТРАШНАЯ М.

1

В летнем кафе, где каждый столик пригвожден к асфальту ножкой линялого пляжного зонта, сидели два приятеля. Перед загорелым скучала недопитая чашка кофе. Перед бледным и нервным его собеседником возвышалось башенкой мороженое — ломтики фруктов торчали из тающей массы, словно обломки тонущего корабля.

Нервный говорил, то и дело вытирая руки салфеткой. Рядом уже лежала целая горка мятых, изувеченных салфетных трупов.

— Помнишь Светку?

— Как не помнить? — солидно отвечал загорелый. — Твои все были уверены, что...

— Так и я был уверен, — бледный уныло кивнул. — Полгода с ней жили, можно сказать, в гражданском браке, заявление подали...

— Так что же не срослось?

— А хрен его знает! То ли ей гадалка какую-то фигню нагадала, то ли еще что-то... Короче, кинула меня Светка классически. «На пачке «Эл-Эма» нацарапав «прости»...

Его собеседник хлебнул кофе. Доброжелательно покивал:

— Бабы... Понятно.

На самом деле ничего понятно не было. Загорелого звали Костя Шевченко, он только что вернулся из Ялты, где освещал для прессы популярный кинофестиваль (...температура воздуха плюс двадцать восемь, температура воды у побережья — плюс двадцать два). Костя был уверен, что знает о жизни все — по крайней мере, все, что следует знать для успешной карьеры.

Жениться он в ближайшее время не планировал.

— Понятно, — повторил журналист с умеренно траурной миной. — Пора забить на нее, Игорешка. С глаз долой — из сердца вон!

— Не в том дело. — Бледный приятель по имени Игорешка прикончил очередную салфетку. — Думаешь, у меня гордости нет? Забил на нее... сразу же.

В этот момент Игорю Машкину, технику жилищно-эксплуатационной конторы номер двести девять по улице Совхозной, пришлось соврать. Вранье как таковое не было для него большим испытанием — в повседневной жизни периодически случалось и втирать очки, и вешать лапшу на уши. Но Светка, проклятая предательница Светка стоила десяти лет жизни — во всяком случае, сам он так считал. Почему она его бросила? Почему так неожиданно?

Признаваться Косте в том, как на другую ночь после Светкиного демарша он чуть было не сиганул из окна, Игорь не собирался.

Непонятно, что объединяло двух друзей. Социальное неравенство зияло между ними круглой черной дырой, разными были повадки, манеры, взгляды на жизнь. Разнились даже комплекция и цвет волос: журналист был жгучим брюнетом со склонностью к полноте, техник — худющим неврастеником с тонкими светлыми волосами, которые к двадцати пяти годам начали потихоньку редеть. Они болели за разные футбольные команды, никогда не выезжали вместе на рыбалку, почти не говорили о политике. Тем не менее в прошлом году, когда у Кости случилась крупная неприятность и он потерял работу на модном телеканале, именно Игорь оказал ему поддержку, пусть только лишь моральную. Именно другу Костя смог пересказать историю в подробностях, поругать конкурентов и пожаловаться на жизнь. Игорь, в свою очередь, бранил Костиных недругов так искренне и в таких выражениях, что сама Судьба смутилась и быстро загладила оплошность, предоставив журналисту новую,

еще более престижную должность в серьезной, тонущей в дорогой рекламе газете.

Когда мама техника серьезно заболела, журналист не без труда, но устроил ее в хорошую (и почти бесплатную!) больницу.

Когда журналист уезжал в командировки, техник брал к себе домой клетки с его канарейками.

Костя дважды занимал Игорю крупные суммы денег, но даже это их не поссорило.

В последнее время виделись редко — журналист был постоянно занят, но сегодня утром Игорь позвонил и предложил встретиться.

Мороженое в вазочке таяло, как полярные льды ввиду глобального потепления.

— Ты чего не ешь? — поинтересовался Костя.

— Не люблю, — отозвался Игорь, равнодушно глядя на муки зеленого кружочка киви, сползающего все ниже по скользкому белому склону.

— Зачем тогда заказал? — удивился журналист.

Игорь пожал плечами. В последние дни поступки жэковского техника редко бывали логичны. Возможно, в его усталой башке покупка дорогого бесполезного мороженого подсознательно соотнеслась с обильной жертвой неведомым богам — за избавление от напасти.

— Что-то ты мне не нравишься, — серьезно заметил Костя. — При чем тут дура Светка? Той истории в обед сто лет...

— Это еще не все.

Серая полосатая кошка, с озабоченным видом бродившая между столиками, шестым чувством почуяв перспективу, подошла к ногам Игоря и ожесточенно потерлась о старые джинсы. Тот не глядя опустил ложку. Полосатая понюхала сливочное мороженое и аккуратно, как бы нехотя, принялась его лизать.

— Это не все, — с нажимом повторил Игорь. — Юльку ты тоже должен помнить.

Костя задумался — Юлька нравилась ему куда больше Светки. Он и сам был не прочь за ней приударить, но что-то помешало. То ли благородное осознание святости мужской дружбы, то ли скоропостижность событий: всего через пару недель бурных отношений с Игорем девушка внезапно пропала с горизонта.

— То же самое, — скучным голосом проговорил техник. — Все классно... В постели просто... ну, хорошо, в общем. И вдруг — привет, круги по воде. Звоню — она меня, извини, по матери посылает...

— Ну ни фига себе! — озабоченно рассудил журналист.

Кошка хрипло мяукнула. Игорь, по-прежнему не глядя, поставил вазочку с мороженым на пол. Полосатая принялась за де-

ло, презрительно обходя вниманием ломтики апельсинов, бананов и киви.

— Что вы делаете?! — возмутилась официантка. — Это антисанитария!

— Заберите, — безучастно предложил Игорь. — И посчитайте.

Официантка уронила перед ним чек так небрежно и изящно, как ласточка роняет помет. Потом взяла с пола вазочку и унесла в подсобку вместе с ложкой. Кошка побежала за ней.

Игорь вытащил из внутреннего кармана ветровки бумажник.

— Вы ругались, что ли? — осторожно предположил журналист.

Его приятель вскинул брови:

— Нет! В том-то и дело! Ни намека!.. Подали заявление... Вечером о свадьбе, утром бац — облом.

— Может, ей наговорили чего-то? Подружки, знаешь, те еще стервы бывают...

— Не мелькало в моем поле зрения никаких подружек, — устало вздохнул Игорь.

Бумажник у него был новый. Журналист мельком успел увидеть фотографии в прозрачном пластмассовом окошке — у техника ЖЭКа имелось странное, с точки зрения его приятеля, обыкновение носить с собой фото матери. Теперь цветных картинок стало две: Костя заметил, как Игорь задержался на них взглядом, и что-то в этом взгляде на секунду изменилось.

Техник бледно улыбнулся, выудил на свет божий десятку.

— Даже матушка моя, уж на что ревнивая... Я еще в школе думал — бедная будет моя жена, ее невестка... Зря боялся — мать приняла как родную.

— Юльку?

Игорь захлопнул бумажник.

— Всех... Светку тоже. Светка вообще у нас месяцами жила, мать ее чуть не медом мазала. А Юльку на другой день стала звать доченькой... Стрижку ей сделала — модельную...

— Стрижку?

— Ну да. Мать парикмахершей в молодости работала. В «Фее».

Помолчали. Костя давно допил свой кофе. О судьбе несъеденного мороженого оставалось только гадать.

— Меня она никогда не стрижет, — зачем-то сообщил Игорь. — Иди, говорит, в парикмахерскую, у меня времени нет.

— Когда это было? — внезапно поинтересовался журналист.

— В прошлом году.

— Нет, когда мать работала в «Фее»?

— В конце семидесятых, где-то так. А что?

— Ничего. — Журналист задумался, подбирая слова потактичнее. — Юлька... Это... в общем, уже неактуально. По-моему.

Игорь сглотнул слюну.

— Актуально, Костик. Я недавно узнал, что... Короче, Юлька умерла.

— Когда? — ахнул его приятель.

— В прошлом году. Через два месяца после того, как дала мне отлуп. Я случайно узнал. Был на кладбище на поминальные дни и... наткнулся.

— Ну ты подумай! — выдавил Костя. — А что с ней?..

— Не знаю! — Голос Игоря напрягся. — Не у кого спросить. Но и это еще не все!

Техник потянулся за новой салфеткой, но жестяная салфетница оказалась пуста. Игорь перевел дыхание:

— Я... сам не знаю почему, но я стал звонить Светке. И оказалось. .

— Нет, — быстро проговорил Костя.

— Да! Светка утонула через три месяца после того, как послала меня к черту.

Сделалось тихо. На барной стойке работал приемник, настроенный на шумную FM-станцию: некоторое время он бормотал, передавая привет всему пятнадцатому СПТУ, потом залился песней про «Позови меня с собой»; рядом, за неровным строем каштанов, сигналили машины на перекрестке, но над столом приятелей сгустилась такая тишина, что впору затыкать уши.

— Ну вы подумайте, какая связь? — пробормотал Костя себе под нос.

Техник потер лицо, безжалостно сминая его, словно гуттаперчевую маску.

— Вот так, — глухо вздохнул он — Но и это...

— Еще не все?!

Игорь посмотрел в глаза другу и, за неимением салфеток, скомкал краешек клетчатой скатерти.

— Я решил жениться, Костя. У меня... в общем... Мы с Леной вчера подали заявление.

2

Костин отец еще недавно был главным прокурором города. Теперь Николай Григорьевич вышел на заслуженный отдых и почти полностью переселился на так называемую «дачу» в сорока минутах езды от центра.

Костя просигналил. Охранник глянул в окошечко, и чугунные ворота медленно разошлись, освобождая дорогу. Небрежно кивнув, журналист въехал на коротенькую улочку «дачного поселка». Всего четыре дома, а вокруг безлюдные луга, озера, рощи, отрезанные забором от всего остального мира. Всякий раз,

когда Костя попадал сюда, ему чудилось, что он оказался на другой планете — безмятежной, полной пения птиц и тишины, где ни один голос не смеет принудительно звать с собой «сквозь злые ночи».

Перед воротами отцовского дома журналист вытащил из кармана пульт и приказал воротам открыться. Выскочил Бернард — красавец шарпей в шкуре на семь размеров больше необходимого. Костя потрепал пса по мягким складкам на шее.

Отец, сидевший в шезлонге на балконе второго этажа, помахал рукой.

Когда с приветствиями было покончено, сели пить чай. Николай Григорьевич признавал только зеленый, с жасмином либо земляникой.

— Па, — начал Костя, когда отец, удовлетворившись наконец его подробным рассказом о делах — дома, на работе и в личной жизни, — закурил дешевую «Приму» — Что там за история приключилась в конце семидесятых? В парикмахерской «Фея»?

Костя обладал замечательной памятью — отчасти благодаря ей он и учился отлично, и в журналистике преуспел. В конце семидесятых он был школьником и гордился своим отцом, чья работа, таинственная, порой опасная, как будто сошла с незабываемых кадров фильма «Рожденная революцией». Отец подарил наследнику книгу «Занимательная криминология» и время от времени, будучи в добром расположении духа, рассказывал о некоторых особо шумных делах — в самых общих чертах, разумеется. Жадный до впечатлений отпрыск помнил почти все.

О деле, связанном с парикмахерской «Фея», отец рассказал только матери — на кухне, глухой ночью, когда Костя обязан был спать. Но как раз в тот вечер будущий журналист начитался после ужина этой самой «Криминологии». Сон не шел: мерещились кровавые отпечатки ботинок, удавка, брошенная на заднем сиденье автомобиля, мокрая кожаная перчатка на куче желтой листвы, тени, тени, голоса...

Утром он сам не мог точно сказать, состоялся ли ночной разговор отца и матери в реальности — или ему приснилось

Отец неторопливо затянулся, и Косте показалось, что сейчас он скажет: с чего ты взял? Не было никакого дела, и о парикмахерской «Фея» впервые слышу.

— А почему ты спросил? — поинтересовался бывший прокурор, выпуская вертикально вверх столбик дыма, словно паровоз марки «ОВ».

Журналист растерялся.

— Это по работе? — Николай Григорьевич прищурился. —

Ты ж вроде подобной грязью не занимаешься. Культура-шмультура, то-се...

— Нет, — честно признался Костя. — У одного мужика... хорошего... у него там мать работала. Как раз в семидесятые, как я понял.

Бывший прокурор нахмурился.

— Ну, — вздохнул наконец, — то дело так и протухло. Не нашли, понимаешь, состава преступления. Трупы в наличии, пять штук, а состава преступления — нет!

— Трупы?!

Отец утопил окурок в фарфоровой пепельнице с крохотной Эйфелевой башней на краю. У башни не хватало одной ножки.

— Дело так началось, — сказал суховато. — Одна посетительница сделала «химию», вышла за порог и упала замертво. Сердечный приступ. А бабе едва двадцать девять стукнуло...

— Так... — пробормотал Костя.

— Ладно, бывает... Диагноз подтвердился. Но через три дня другая баба тоже сделала «химию». Той было двадцать шесть Переступила порог, и...

— Сердечный приступ?

Николай Григорьевич мрачно кивнул.

— Стали «Фею» трясти. Подумали, может, они технологию химической завивки нарушают или травят людей чем-то. Из двух погибших одна пила чай, другая ничего не пила и не ела. И тут же рядом, в соседних креслах, делали завивки молодым и старым, и ничего, ушли домой довольные. Хотя после второго случая клиентов стало меньше...

По перилам террасы бесстрашно прыгала синица. Белка метнулась по старому дубу, пропала в листве. Дернулись ветки — перескочила на соседнее дерево.

Не обращая на них внимания, дремал в шезлонге шарпей.

— После третьего трупа, — невозмутимо продолжал отец, — директриса уволилась, а в парикмахерской решили сделать ремонт. Дать другое название... Хотя в народе ее уже давно и четко звали — «Ведьма». Так и говорили: «В том обувном, на углу, возле «Ведьмы», выбросили чешские демисезонные сапоги...»

Костя выдавил из себя смешок.

— Отремонтировали. Персонал к тому времени почти полностью сменился — две только парикмахерши остались из прежних. Через три дня после открытия — а переименовали заведение в «Алые паруса» — эти две прежние передрались между собой, да так, что новая директриса вызвала наряд. У обеих легкие телесные, кто виноват, установить не удалось — бытовуха типичная. Но одна, озверев, на сотрудников стала кидаться, которые разнимали. Те разозлились, забрали. И вот она стала давать

показания — будто бы знает, кто убил тех дамочек. Так и говорила: «убил»...

Бывший прокурор замолчал и вновь тяжело вздохнул.

— И что? — синхронно выдохнул Костя.

— Читал я эти, прошу прощения, показания, — отец поморщился. — Якобы коллега за соседним креслом позавидовала Машкиной, что та лучше работает. К ней клиентки идут, а к той парикмахерше — нет. И отомстила — прокляла. Вот так. Одно проклятие — три трупа... Выпустили ее, не заводить же дело! С работы, правда, уволили, но она восстановилась через суд. Директриса в той парикмахерской опять сменилась, кадры — текучка страшная, а эти две держатся, которые дрались. Одна, правда, перешла работать в мужской зал. Время шло, стала та история забываться... Ужинать останешься?

— Да, — Костя кивнул. — И все?

Николай Григорьевич глянул на него — мельком, но очень внимательно.

— Точно не по работе интересуешься? Я бы не хотел, понимаешь...

Журналист подобрался. На языке отца «я бы не хотел» всегда означало «категорически запрещаю и убью в случае ослушания».

— Честное слово, — сказал он, глядя отцу в глаза. — Так что там?

— Через полгода, — медленно проговорил тот, — было еще два трупа. На этот раз безо всякой завивки... Мужики. Клиенты той самой... которая давала бредовые показания.

Ночевать на даче Костя отказался — слишком ценил удобства привычной постели и общество милых вещей, окружавших его в уютной городской квартире.

Он уже сел за руль, когда услышал голос отца:

— Как, ты сказал, фамилия матери твоего знакомого?

— Я не говорил. — Журналист убрал ногу с педали сцепления. — И, честно говоря... не уверен. Наверное, Машкина.

— Машкина Людмила Васильевна, — глухо выговорил бывший прокурор.

— Что?!

Отец наклонился. Заглянул в открытое окошко машины.

— Котька, — сказал строго. — Чтобы ноги твоей не было рядом с этой женщиной. Я бы не хотел!

Костю передернуло. Нога вновь освободила сцепление...

— Погоди! — Отец нахмурился, покачал головой. — Забыл совсем. Не уезжай, жди!

Резко повернувшись, Николай Григорьевич шагнул к двери. Шарпей, также участвовавший в процедуре проводов, остался, словно ненароком переместившись к передним колесам. Жур-

налист поспешил взяться за ручной тормоз. Не выпустит, прокурорская псина, костьми ляжет!

Отца не было долго, и в голове у Кости успела сама собой написаться статья. Так случается, хоть и нечасто, — текст возникает словно ниоткуда, лишь успевай записывать, исправляя запятушки. А тут и запятых лишних не предвиделось, все одно к одному. Рубрика «Тайны вокруг нас», тысяч тридцать знаков. Проклятие, руки с ножницами, несущие смерть, мнение эксперта, фамилию и звание которого еще предстоит выдумать. Правда, такое напечатает разве что «Страшная газета» в спецблоке «666», где Костя по молодости лет получал свои первые гонорары. А что? Можно и сейчас, под псевдонимом, конечно. Парикмахерша-монстр, вольная и невольная убийца. То есть сначала невольная, а вот когда любимому сыну приспичило жениться... Значит, нужен еще один эксперт, лучше всего фрейдист.

— Гр-р-р-р! — вполне в такт размышлениям отозвался шарпей, успевший оставить свой опасный пост и занять новый — возле дверцы.

Да, статья практически готова, не хватало главного — названия. «Руки, несущие смерть» Костя отверг сразу и навсегда, вспомнив давнюю журналистскую шутку: «Смерть идет из простокваши». Проще надо, проще! И многозначительней. «Страшная месть», допустим. Сразу на ассоциации пробьет, контекст-подтекст включится. Или еще проще...

— Твое, срамник!

Как подошел отец, он даже не заметил.

— Твое! — повторил бывший прокурор, протягивая сквозь открытое окно колоду карт. — Такую мерзость в доме не держу!

Костя почувствовал, как краснеют уши. Игральная колода с веселыми девочками ему не принадлежала, но оказалась в отцовском доме не без его участия. Неделю назад, когда Николай Григорьевич ненадолго уехал к дальней родне в Москву, журналист завернул на дачу с тремя коллегами. Так, слегка расслабиться.

Поутру стаканы вымыли, мебель расставили по местам, пустые бутылки взяли с собой. А колоду, видать, забыли.

— Лет двадцать назад такое на статью тянуло, — ностальгически вздохнул отец. — Хорошее было дело в нашем политехническом!.. Еще вот...

«Еще вот» оказалось связкой ключей, а точнее, связкой с массивным круглым брелоком из потемневшей бронзы. Даже не пытаясь понять, чье это добро, журналист опустил «еще вот» в карман.

Шарпей по имени Бернард, всегда отличавшийся понятливостью, поспешил отойти от дверцы.

Уже за воротами Костя понял, что название, которое он почти схватил за хвост, куда-то улетучилось. Он не слишком огорчился: «Страшная газета» — не его уровень.

3

— Гели Реф, — повторил шеф не без суровости. — И чего тебе неясно, Шевченко?

Костя скривился — от задания за три версты несло «джинсой». Никому не ведомая фирма, якобы косметика, якобы салоны красоты. Неведомая — но с деньгами, вот и будущее интервью на первой странице проплатила. Гели Реф, видите ли! Наверняка какая-нибудь Гапка Рябоконь. Рифен... То есть Рефеншталь из Хацапетовки!

— Ты не рычи, не рычи! — понял шеф, умевший порой читать мысли. — Через полгода о ней всюду заговорят. У меня на такое нюх!

С этим можно было не спорить — нюх у начальства определенно имелся. Особенно на «джинсу».

Итак, Гапка Рефеншталь. Журналист решил, что интервью можно не записывать. Все равно потом придется сочинять самому — и своими словами. «Наша хвирма лэпше усех!» А вот цифровой аппарат следовало взять, причем не только по долгу службы. Даже среди пейзаночек порой попадались очень даже ничего.

Игорю он позвонил еще из машины. Поймал — тот как раз собирался по какому-то срочному жэковскому делу. Темнить Костя не стал, впрочем, как и пояснять, что к чему, и сразу перешел к выводам.

— Сам понимаю, сам думал. — Игорешка вздохнул без особой уверенности. — Нельзя Ленке у мамы прическу делать, неладно тут что-то! Только вот...

Чего именно «вот», однако, не сказал — распрощался, сославшись на лопнувший стояк.

Журналист спрятал «трубу» и счел свой долг полностью выполненным. С «только вот» приятель и сам разберется, не маленький.

— За интервью в вашем «Курьере» мы действительно заплатили, — кивнула Гели Реф, невозмутимо затягиваясь ментоловым «Вогом». — И даже переплатили. Поэтому... Я вам дам всю информацию, а вы напишите сами. Мне сказали, что с этим любой новичок справится. Все по схеме: причины быстрого успеха, планы на будущее, какие-нибудь яркие детали... Потом покажете, я подпишу. Дополнительную работу вам компенсируют.

Самое время было возмутиться — особенно по поводу «любого новичка», но...

...Но челюсть никак не хотела возвращаться на свое законное место. Та, что обкуривала Костю ментоловым «Вогом», небрежно устроившись за роскошным, черного дерева столом... Какая Хацапетовка, какая Гапка! Даже силиконовые кинодивы, у которых журналист совсем недавно брал интервью («...ваши творческие планы?»), казались сейчас не очень тщательно отмытыми дешевками. И дело не в пресловутом «вайтлс», не в темных, тщательно выделенных косметикой глазах, не в той небрежной легкости, с которой владелица фирмы стряхивала пепел...

Костя понял, что пропал. Почти — а сейчас пропадет всеконечно.

— Здоровый цинизм как алгоритм производства?

В улыбку он постарался вложить все. Ну вообще — все.

— Предпочитаете нездоровый? — Ответная усмешка отозвалась мурашками на его коже.

— Разумеется! — Костя приподнялся, зачем-то повел плечами. — Читателям будут интересны не только производственные вопросы. Неформальные отношения — вот наш конек! Привычки, увлечения, развлечения... Так сказать, личная... интимная, не побоимся этого слова, жизнь. Тогда и про косметику прочтут — в нагрузку.

— В нагрузку к чему? — Гели Реф тоже встала, неторопливо провела руками по роскошным рыжим волосам.

На такое можно было и не отвечать.

Костя недаром не торопился в сомнительную паутину Гименеевых уз. В отличие от друга Игорешки журналист предпочитал строить личную жизнь легко и без всяких обязательств. Пока удавалось. «Женщина — поверхность с отверстиями для загрузки, самые емкие из которых — уши!» — любил повторять он слышанный где-то афоризм, от себя добавляя: «Главное — не что грузить, а как!» Бархатный голос, интонация, пауза, улыбка, пара веселых часов — и гуд бай, май лав, гуд нахт!

Когда случались приступы совести, Костя характеризовал свое поведение со всей честностью и искренностью, после чего совесть успокаивалась и можно было продолжать дальше. К счастью, случалось такое достаточно редко.

Теперь грузили его самого.

— Моя мама любила повторять: «Люди — сволочи!» — На лице Гели Реф не было и тени улыбки. — Когда я была маленькой, думала, что она просто ругается. Неприятности на работе — или с очередным приятелем поссорилась... А потом поняла. Мама не ругалась, она меня учила. Это и есть главное правило. Алгоритм, как вы говорите, Константин.

На такое следовало ответить чем-то нейтральным вроде «Да?» или «М-м-м?», но журналиста не хватило и на это. Он просто кивнул. Все верно. Люди — сволочи!

Этого ресторана Костя не знал. Ни вывески, ни швейцара, вход со двора, звонить три раза и долго ждать у двери. Но и не квартира — вроде дорогого частного клуба. Или очень изысканного дома свиданий.

...Хорошая тема для статьи!

— С такой установкой трудно жить, если сразу не отбросить все лишнее...

— Лишнее — что? — не удержался Костя. — Принципы, религию, мораль?

Он сидел на диване — безразмерном чудовище красного бархата. Гели Реф удобно расположилась в кресле, столь же гигантском.

Пепел она стряхивала прямо на пол.

— Все! — Яркие губы дернулись. — У психологов есть термин: «комплекс Штирлица». На службе, среди знакомых, везде, человек делает гадости и мерзости, но в глубине души знает — все это ради великой цели, а внутри он белый и пушистый... Вы согласились писать заведомо необъективную статью. Лживую! Я за нее заплатила. Теперь вы хотите, чтобы я с вами переспала. У меня есть жених, он меня любит, но... Но я пойду и на это. А сейчас я скажу вам в глаза, что вы продажный писака и дешевый бабник с неаппетитным брюхом, но вы это проглотите, потому что у вас уже капает слюна. Люди — сволочи, Константин!

Спорить он не стал — слюна и вправду капала, причем по нарастающей. С такой женщиной Косте Шевченко встречаться еще не приходилось.

— Но когда я стану раздеваться и смотреть на ваше брюхо, то буду помнить, что у меня есть цель. Как у Штирлица. А вы... Надеюсь, и вы не такая пустышка, как кажетесь!..

Она встала и затушила сигарету в пепельнице, уютно устроившейся на белом трехногом столике рядом с бутылкой французского шампанского. Костя тоже вскочил, в полной мере чувствуя себя поверхностью с отверстиями для загрузки. Жаль, времени на тренажерный зал не хватает! Ну ничего, брюхо в таких делах не помеха!

Люди — сволочи!

— Мне раздеваться? — Гели Реф, усмехнувшись, протянула руку к плечу, прикоснулась к бретельке. — Или вам нужен приступ страсти? Особо извращенная форма цинизма?

— Особо! — не без удовольствия повторил он, чувствуя, как на лбу выступает пот. Рука нырнула в карман к носовому платку, зацепилась за какой-то металл...

Пот стал холодным.

Ледяным.

Пальцы ощупывали то непонятное, что попалось вместо платка, а холод сполз со лба, заливал шею, тяжелыми каплями тянулся к сердцу...

Перед Костей стояла женщина, которая его ненавидит. Хуже — презирает, считает продажным ничтожеством. Но даже не это плохо, скверно другое, пока непонятное, но страшное, страшное...

— Извините...

На ее лице что-то дрогнуло. Кажется, реплика прозвучала не по сценарию.

— Извините! — Костя повысил голос, сжимая пальцы на потеплевшем металле («Ключи! Те, что отец передал!»). — Было... Было очень интересно с вами побеседовать. А сейчас мне пора. Текст пришлю послезавтра.

В кармане действительно оказались забытые кем-то из приятелей ключи. Колоду карт журналист сунул в «бардачок», а вот их — забыл. Три ключа на стальном колечке и тяжелый, размером с советский пятак, кругляш.

Брелок — немудреная бронзовая цацка.

— А статья будет называться «Страшная М.».

Ладонь Гели Реф отдернулась от бретельки, дрогнула, коснулась горла. Косте вдруг подумалось, что женщине тоже холодно.

Бьет крылом седой петух,
Ночь повсюду наступает...

Странные слова прозвучали тихо, еле различимо. Журналисту показалось, что он ослышался.

...Как звезда, Царица Мух
Над болотом пролетает.
Бьется крылышком отвесным
Остов тела, обнажен,
На груди пентакль чудесный
Весь в лучах изображен.

Нет, не ошибся — стихи. Незнакомые, удивительные.

На груди пентакль печальный
Между двух прозрачных крыл,
Словно знак первоначальный
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох,
Тонок, розов, многоног,
Весь прозрачный, чуть живой,
Презираемый травой...

Гели Реф пошатнулась, ладонь, сжимавшая горло, скользнула к груди. Костя недоуменно моргнул, но быстро сообразил — бросился к ней...

— Нет! — Женщина отстранила его руку, выпрямилась. — Все в порядке. Вы подумали о статье, мне вспомнились стихи... Ничего не случилось, Константин, правда?

— «М.» сразу дает максимум ассоциаций. — Костя взглянул на проносившиеся за окошком машины огни, пытаясь сообразить, как они едут. Родной город, знакомый до последнего канализационного люка, в эту минуту казался чужим и даже жутковатым.

— Как у Гоголя. — Гели Реф не спросила, констатировала.

— Не только! — Журналист оживился, потер лицо (пот! пот! в тренажерный зал!). — С одной стороны — конечно же, «Страшная Месть». Но с другой... Подсознательно «М.» — это и Марена, и Мара, и Мертвецы. А для тех, кто Толкиена читал, — еще и Моргот с Мордором. Считается, что «М» ассоциируется со смертью больше, чем любая другая буква...

«Со смертью — и с Машкиной Людмилой Васильевной», — добавил он, но, конечно, не вслух.

Гели Реф любезно предложила подкинуть его домой на своей белой «Тойоте». Журналист столь же любезно согласился.

О том, что случилось — и чего не случилось, — не вспоминали. Костя то и дело порывался достать из кармана связку ключей для детального изучения, но каждый раз благоразумно от подобной идеи отказывался. В конце концов, все это могло быть совпадением.

...Как и пять трупов в парикмахерской, где честно трудилась Страшная М. Как невпопад вспомнившаяся его спутнице Муха — и не обычная, а Царица. Можно сказать, Повелительница.

— Сюда! — Костя не без труда очнулся, заметив огни знакомого гастронома. — Сейчас, в следующий переулок.

Закрывая дверцу и повторив, что интервью будет готово послезавтра или даже завтра, журналист решился и задержал руку.

— Гели... Не знаю, как вас зовут на самом деле, но это неважно.

Он выждал секунду, другую... Напрасно.

Ладно!

— Сначала я сгоню брюхо. На это уйдет... месяц. Потом потрачу очередной гонорар на букет орхидей и попрошусь к вам на прием. Упаду на колени и буду просить прощения. Не за то, что я сволочь, — таким, видать, и умру. За то, что я был сволочью по отношению к вам.

Костя вновь замолчал, ожидая. Секунды тянулись, глухо и

нетерпеливо урчал мотор. Наконец из темноты салона послышался тихий голос:

— Хорошо. Я буду ждать.

Телефон позвонил ровно в час ночи.

— Костя! Костя!.. — услыхал журналист, не успев сказать «алло!». — Это я, Игорь! Извини, что поздно...

По голосу можно было понять все — или почти все. Еще один абзац ненаписанной статьи: невеста по имени Елена не послушалась, согласилась довериться страшным рукам страшной М...

— Мама! У мамы инсульт! Ее надо в больницу, надо вынести из дому, а в «Скорой» одни женщины...

Одеваясь, Костя машинально сунул руку в карман. Ключи! Вечером он почему-то о них не вспомнил...

Из двух лампочек в прихожей горела лишь одна, пришлось вернуться в комнату, щелкнуть выключателем.

Все верно, три ключа — два маленьких, один большой, с хитрой бороздкой, вроде сейфового. Ничего особенного. И брелок самый обычный — бронзовый, с устаревшей коммунистической символикой. «Пятиконечная звезда и красный галстук рядом...» Галстука, ясное дело, не было, зато имелся круг, в котором пятиконечная и находилась.

Уже в дверях он сообразил, что звезда не совсем коммунистическая. Американская, что ли?

4

Кофе чуть горчил, кондиционер пенсионного возраста исправно капал в подставленную банку, не споря с жарой, потолок вместе со стенами дружно, во весь голос, просили ремонта...

Костя улыбнулся. Приятно! Сразу помолодел лет на восемь. Первая работа, первая газета — самая, самая первая... Особенно приятно после бессонной ночи в больнице.

Страшная М., Машкина Людмила Васильевна, была жива. Пока.

Друзья сделали что могли, две сотни баксов, вовремя извлеченные журналистом из бумажника, — тоже. И врачи постарались, но чудеса случаются редко.

Так и было сказано, когда утром Игорь и Костя добились встречи с заведующим реанимационным отделением.

Игорь остался. Лена, его невеста, обещала подъехать с минуты на минуту, а журналисту пора было на службу.

Он только что звонил другу. Все оставалось по-прежнему. Пока. Все еще.

Последний глоток показался особенно горьким. Костя поставил невесомую чашечку на стол.

— Уже иду, уже пришел!

Максим Андреевич, Зверь из Бездны, он же редактор блока «666» «Страшной газеты», появился в дверях, сжимая в руках огромный черный фолиант. Еще одна книга, маленькая, в бумажной обложке, выглядывала из кармана пиджака.

Костя лишь головой покачал. Его бывший начальник, отставной археолог и великий энтузиаст всего невероятного, непознанного и нереального, славился поистине нечеловеческой скрупулезностью.

— Показывай!

Связка ключей легла на стол. Брелок с непонятной звездой, заранее освобожденный от стального кольца, пристроился рядом.

— Ерунда, просто ключи. Даже не заговоренные. — Ладонь Зверя из Бездны на миг задержалась над столешницей, дрогнула. — А вот пентакль...

— Пен... Что? — не понял журналист. — Звезда эта? На брелоке?

Черный фолиант угрожающе зашуршал страницами.

— Вот. «...Пятиконечная звезда в круге. Может быть сделан из глины, камня, дерева, воска и других материалов. Олицетворяет элемент Земли. На нем держат амулеты, камни, травы и другие освященные предметы. Пентакль — также символ черной магии. Пять концов звезды соответствуют четырем элементам (Земля, Воздух, Огонь, Вода) и пятому элементу — Духу...» Амулет-оберег, Костя, причем очень серьезный. Спросил бы, откуда он у тебя...

— Разберусь — расскажу, — честно пообещал журналист, вспоминая, кто из его «дачных» приятелей балуется подобным. Или... Как же он, дурак, сразу не понял!

— Если это оберег, то против чего?

Ладонь отставного археолога вновь задержалась над столом.

— Так, с налета, не скажу... Но обычно — защита от магических воздействий. Кто-то с данной бронзяшкой изрядно поработал.

Фолиант не без сожаления захлопнулся. Черной книге явно хотелось поделиться распиравшей ее мудростью.

— Ну а твоя Царица Мух... Эта?

Маленькая книжка, оказавшаяся томиком из «Классиков и современников», поспешила раскрыться в нужном месте.

Бьет крылом седой петух,
Ночь повсюду наступает.
Как звезда, Царица Мух
Над болотом пролетает.

Костя кивнул. Она и есть — Царица Мух. Повелительница М.

Тихо-тихо ночь ступает,
Слышен запах тополей.
Меркнет дух мой, замирает
Между сосен и полей.
Спят печальные болота,
Шевелятся корни трав.
На кладбище стонет кто-то,
Телом к холмику припав.

Кто-то стонет, кто-то плачет,
Льются звезды с высоты.
Вот уж мох вдали маячит.
Муха, Муха, где же ты?

— Николай Заболоцкий, сборник «Столбцы». Неужели не узнал?

— Заболоцкий? — поразился журналист, не без труда припоминая школьную программу. — Которого еще в тридцатых посадили?

— Которого. За некромантию и упекли. Это же заклинание! Самый настоящий инкантаментум, причем с использованием множественных стихотворных вставок — гримуаров. Для тех, кто понимает, — непробиваемая вещь! Вот за такие шутки Заболоцкого и отправили в не столь отдаленные.

— Правда?! — поразился журналист, не ожидавший такого от классика литературы.

Максим Андреевич усмехнулся, взял книгу со стола, пододвинул ближе.

— «Известия»! Смотри! На груди мухи — пентакль чудесный, «весь в лучах». Пентакль — не только амулет, но и одна из мастей Малых Арканов Таро. Он способен на инверсию, «оборачивание», и тогда становится эмблемой Дьявола. А чуть выше в тексте: «Если ты, мечтой томим, знаешь слово «Элоим»...» Элохим, имя Божье! Ну и, само собой, «болота», «мох». «Могилы», наконец. Инкантаментум по всем правилам!

— Погоди! — взмолился Костя, чувствуя, как сам превращается в муху. — Инканта... Заклинание, допустим. Но для чего?

— Скорее не для, а от, — чуть подумав, рассудил Максим Андреевич. — Подобное — от подобного.

Журналист отчаянно потер в который раз вспотевший лоб. Верно! Его рука коснулась брелока — пентакля! — и Гели Реф тут же вспомнила Царицу Мух. «На груди пентакль печальный между двух прозрачных крыл, словно знак первоначальный неразгаданных могил...»

— А знаешь, Костя, — внезапно проговорил Зверь из Бездны, — что-то мне эта комбинация крупно не нравится. Печенкой чую!

— Все по-прежнему. — Голос Игорешки в телефонной трубке дышал безнадежностью. — Пустили к ней всего на минуту... Плохо, Костя! Ленка была утром, только что уехала... У нее какая-то важная встреча, она ведь в косметической фирме работает. Я тебе говорил...

— Не говорил! — Журналист выругал себя за то, что не догадался заглянуть в Игорев бумажник, где затаились фотографии — его матушки (его М.!) и...

— У нее, у невесты твоей, какие волосы?

— А-а... — Трубка вздохнула. — В том-то и дело, Костя! Я Лене сказал, чтобы она не вздумала, не соглашалась прическу делать, чтобы в парикмахерскую шла. Но матушка настаивала, а у нее, у Ленки, журналист намечался, она ведь в фирме по внешним связям... Испугался за нее, а вот ведь как вышло! Рыжие у Лены волосы, красивые очень. Кость, а вдруг это просто совпадение?

5

Машина с синим «ветеринарным» крестом скрылась за воротами дачи. Костя неуверенно поглядел на отца.

— Сказали, обойдется. Может, и вправду?

Николай Григорьевич ничего не ответил, нахмурился. Может, и обойдется, конечно.

Костя приехал на дачу одновременно с ветеринарской «неотложкой». Бедняге Бернарду, отцовскому шарпею, внезапно стало плохо. Ни с того ни с сего. Еще утром бегал, гонял вечную врагиню-кошку, бодро порыкивал на соседские машины. Отец взял пса с собой на прогулку, там тоже все было в порядке. Какая-то женщина, в свою очередь облаянная, даже не побоялась погладить красавца по безразмерной шкуре. Бернард, странное дело, не возразил. А через час...

— Пойдем, — вздохнул бывший прокурор. — То, что ты просил, привезли.

Скопированные на ксероксе странички ждали в кабинете. Читать Костя не стал, просмотрел бегло. Все было ясно — почти все.

— Пентакль — откуда он? — поинтересовался он больше для порядка.

— Оттуда! — буркнул отец. — Вещдок. Было дело лет пятнадцать назад, накрыли кубло сатанистов. Они, гады, девочек ре-

зали, на куски кромсали! Но амулет правильный, проверял. Когда я понял, что ты не успокоишься... А ключи — соседа, он мне их на время оставил.

— Странно. — Журналист отложил в сторону странички из давнего уголовного дела, устало прикрыл глаза. — Ты — и в такое веришь.

— Верю?! — возмутился бывший прокурор. — Не верю, а *знаю*! Мы-то все были в курсе, только вам, штафиркам, не говорили. Чтобы спали спокойнее. Про отдел товарища Химерного слыхал? И не услышишь. Это тебе не НЛО ловить! Говоришь, помирает Машкина? И ладно, главное, сам не суйся. Я бы не хотел!..

Привычные слова прозвучали на этот раз совсем иначе. Уже не «категорически запрещаю», а «Котька, Христом Богом молю!».

Журналисту на миг стало не по себе.

— Собаку-то за что? — вздохнул Костя.

Он вновь был в кабинете — знакомом кабинете таинственной Гели Реф, Елены Ивановны Ревы, дочери умершей два года назад бывшей работницы парикмахерской «Фея».

Текст интервью скучал на столе. Никто в него даже не заглянул.

— Это не я, Константин. — Женщина поправила рыжие волосы, поморщилась. — Ковен вас предупредил. Пока только предупредил, на первый раз. Думаете, мы не знаем, зачем вы ходили в «Страшную газету»? Ковен за Максимом Андреевичем давно наблюдает, непростой он человек... А вы забудьте — все забудьте!

— Вас — тоже? — не выдержал журналист.

— Меня? Нет. Про букет орхидей я тоже буду помнить... Знаете, Константин, перед нашей встречей я разложила карты Таро, потом даже по пеплу проверила... Все должно было получиться очень хорошо, такое выпадает раз в жизни. И тут вы — наглый, самоуверенный, циничный... Признаться, озлилась невероятно. Если бы вы не остановились, если бы не то, что лежало у вас в кармане...

— Я бы... умер? — Костя, невольно сглотнув, сжал в ладони бронзовый пентакль.

Гели Реф поглядела на него, словно на неразумного ребенка.

— Нет, не умерли бы. Переспали бы со мной, закончили интервью, может, успели бы рассказать Игорю о своем веселом приключении. А дня через три — залаяли бы, как пес. И лаяли бы до конца дней — на цепи в психбольнице. Не верите?

— Не верю. — Журналист отвернулся. — *Знаю.*

— Не все. — Рыжеволосая встала, подошла ближе. — Но все и не надо знать, Константин. У людей свои законы, у нас —

свои. Я могла бы рассказать вам, что моя мать была не виновата, Машкина сама попыталась наложить на нее проклятие, но не сумела, и смерть прилипла к ней навсегда... Но это — мое дело. Люди — сволочи, Константин, нечего их жалеть. Людмила Машкина скоро умрет, и сын ее тоже...

— Что?! Игорешка? — Журналист вскочил и вновь упал в кресло.

— Так решил ковен, — голос женщины зазвенел металлом. — Приговор подписан! Моя фотография лежит в его бумажнике второй месяц...

«Фотография, конечно! — безнадежно вздохнул Костя. — Две фотки рядом...»

— Игорь начал о чем-то догадываться. Как и вы. Но вас я сумела отстоять. Может, карты и не лгали, увидим... Я буду ждать ваши орхидеи!

Их взгляды встретились. Костя попытался вспомнить женщину, которую увидел всего день назад, — прекрасную, соблазнительную, манящую.

Не получалось. Перед ним стояла Повелительница Мух.

6

— Это ты серьезно, Шевченко? — Шеф, умевший порой читать мысли, оторвал недоуменный взгляд от свежевыкатанной, только из принтера, страницы.

— Более чем! — твердо ответил журналист. — Пока только начало, к вечеру закончу.

На самом верху листа стояло привычное: «Страшная М.».

...Машкина Людмила Васильевна умерла час назад. Ее сын, техник жилищно-эксплуатационной конторы номер двести девять, лежал в областной больнице с непонятной хворью, приводя в немалое замешательство специалистов.

Шеф, закончив сеанс чтения мыслей, глубокомысленно хмыкнул:

— Серьезно, вижу. А знаешь, Шевченко, ваяй! Свежая тема, и материал интересный, теория заговора опять же. Разоблачить думаешь?

— Не знаю. — Журналист дернул плечами. — Может, остановить, задержать... Они ведь боятся света. Эти... мухи.

В час дня, как обычно, Костя вышел на улицу, направившись в знакомое кафе. Не глядя, протянул пятерку, взял чашку «эспрессо», присел за столик.

Тонкий рыжий волос, каким-то образом зацепившийся за

пиджак, когда он брал кофе, журналист не заметил. Как и то, что девушка за стойкой в этот день была незнакомой.

«Эспрессо» пился легко, даже слишком легко. Перед глазами чернели строчки недописанной статьи. Готовые странички Костя спрятал в редакционный сейф, положив рядом бронзовый кругляш пентакля. Сохранней будет!

Оставался один глоток, оставался час работы...

Внезапно Костя почувствовал пустоту — именно почувствовал, ощутил всем телом. Мир исчез, осталось лишь сверкающее белое Ничто, в котором неслышно кружила золотистая Муха, его Страшная М...

Если ты, мечтой томим,
Знаешь слово «Элоим»,
Муху странную бери,
Муху в банку посади,
Муху в банку посади,
За приметами следи.
Если муха чуть шумит —
Под ногою медь лежит.
Если усиком ведет —
К серебру тебя зовет.
Если хлопает крылом —
Под ногами злата ком.

«Сейчас залаю», — успел еще подумать он.

7

Журналист Константин Шевченко не залаял.

Муха ужалила в сердце.

БОГДАНА

К тридцати годам Клаву стали звать Клавдией Васильевной.

Она работала бухгалтером в самом большом ПТУ райцентра Ольшаны и безнадежно влюбилась в Олега Викторовича, директора. Олег Викторович был статен, в свои сорок пять совершенно не лыс, красив и властен. Имелся у него единственный, тщательно скрываемый порок: в дни народных праздников, когда коллектив ПТУ собирался в буфетной за составленными в ряд столами, Олег Викторович сперва просил ему не наливать, потом пригублял по маленькой, потом веселился, как барин в гостях у цыган, и заканчивал вечер где-нибудь в рюмочной, откуда его, тревожно спящего, забирали потом друзья.

Друзей у Олега Викторовича хватало — из-за несомненной щедрости натуры.

В другие дни, непраздничные, Олег Викторович не пил, более того — считал себя строгим трезвенником, спортсменом и поборником здорового образа жизни. Воспитанники ПТУ его любили; когда об этом заходила речь в каком-нибудь разговоре, Олег Викторович обязательно прикладывал руку к груди и добавлял проникновенно и просто: «Как отца!»

У Олега Викторовича была жена, крашеная блондинка, и дочь-школьница. Жена числилась в ПТУ буфетчицей, но никто никогда не видел ее на работе. По мнению Клавы, она занималась неблаговидными и тайными махинациями: во всяком случае, ее замечали то на знаменитом «Рынке-на-Обочине», который по дороге на Житомир, то в городском комиссионном магазине. Мужа-директора блондинка не ценила, иногда кричала на него, а тонкие стены деревянного домика, стоящего позади кирпичного двухэтажного здания ПТУ, не умели хранить тайну. Особенно громко крик блондинки раздавался после отмеченных как обычно народных праздников.

Соседи понимали и извиняли: дело житейское, можно сказать, традиция.

Олег Викторович хранил достоинство и никогда не повышал голос ни на жену, ни на дочь — четырнадцатилетнюю троечницу, которой мать против всяких правил педагогики купила где-то настоящие американские джинсы, неопрятно потертые на коленях. Подобных штанов ни у кого больше не было в Ольшанах.

Клава любила директора со всем нерастраченным пылом стареющей девичьей души. Директор знал, что Клава его любит, но никогда не позволял себе никаких вольностей, разве что в дни праздников, случайно оказавшись рядом, мог ущипнуть за бок или за другую выступающую часть. В такие дни Клава бывала почти счастлива.

Так проходило время; Клава жила вместе с матерью на тихой окраинной улочке, в старом, но еще крепком дощатом домишке с невысоким крыльцом в три скрипучих ступеньки, жила на зарплату в сто двадцать рублей и ни в чем не нуждалась. Она была бы и вовсе довольна, если бы существовала на земле сила, способная соединить ее судьбу с судьбой благородного, сильного, но такого недостижимого Олега Викторовича.

И вот эта сила нашлась, да так, что всем жителям райцентра надолго хватило тем для разговоров и встали дыбом волосы на многих головах. Возвращаясь однажды с толкучки, крашеная блондинка угодила в аварию и в одночасье померла.

Дело было так: ехали на мотоцикле с коляской. Блондинка помещалась в коляске, укутанная платком от ветра и в надвинутой на лоб лимонного цвета каске. А за рулем сидел доверенный друг блондинки, Гриша Дымарский, частью слесарь, частью

фарцовщик. Этому самому Грише от аварии не сделалось ничего, он только палец ушиб на ноге. И, взятый для дачи показаний в милицию, Гриша трясущимися губами клялся, что на пустынном шоссе (а дело шло к вечеру) через дорогу прямо перед мотоциклом метнулась серо-бурая полосатая кошка размером примерно со взрослую немецкую овчарку И от такого знака Гриша вильнул рулем и въехал в кювет. А скорость была — дай боже, и мотоцикл, значит, разбился в лепешку, и спутницу Гриши через день похоронили.

В милиции сказкам о гигантской кошке не поверили. На Гришино счастье, алкоголя в его крови на момент аварии не оказалось, иначе могли бы и посадить; и без того история вышла скверная. Права у Гриши отобрали.

В ПТУ в это время ожидали большую ревизию, и обстановка приближалась к фронтовой: «вылизывая» отчетность, Клава дневала и ночевала на работе. Директор, овдовев, растерялся совершенно; Клава помогала ему, чем только могла, заботилась совершенно обо всем, включая угощение и подарки для ревизоров. Забегая домой, наскоро готовила суп и рыбные котлеты, складывала в эмалированные судочки и несла Олегу Викторовичу, у которого от потрясения ложка валилась из рук.

Дочка Олега Викторовича к безвременной смерти матери отнеслась до неприличия легко — уже на другой день видели ее раскатывающей на велике, в знаменитых американских линялых штанах, под аккомпанемент закрепленного на багажнике кассетного магнитофона — штуки совсем уж невиданной в спокойных Ольшанах. Вслед за Богданой — так звали директорову дочку — длинным хвостом тянулись окрестные пацаны. Неизвестно, что их привлекало больше· велик, магнитофон или обтянутая джинсами Богданина мякоть

Соседи строго осудили Богданино поведение, но, повозмущавшись, смягчились и простили. совсем юная девка, вдобавок трагически осиротела. Олегу же Викторовичу и вовсе было не до того: он искренне горевал о жене, одновременно принимая в своем учебном заведении контрольно-ревизионную группу из пяти суровых человек.

Справили сороковины.

Клавдия Васильевна вела себя осмотрительно: знала, что за ней наблюдают. Ведь ни для кого в округе не была тайной ни ее долгая безответная любовь к директору, ни самоотверженная помощь и поддержка, которую Клава оказывала Олегу Викторовичу после смерти жены. Будучи от природы человеком порядочным, Клавдия Васильевна ничего нескромного себе не позволяла, наоборот, как бы отдалилась от директора — не пила с ним чай в кабинете, не оставалась надолго после работы, даже

снедь в эмалированных судочках носить перестала — пришло, мол, время юной Богданке испытать себя в роли хозяюшки. .

Но Богдана, как докладывали соседи, была из тех, кто «ни за холодную воду не возьмется». Отец давал ей деньги — то ли задабривая, то ли желая скрасить сироте жизнь; девица покупала себе пирожки и мороженое (а злые языки утверждали, что и сигареты покупала) и больше ни в чем не нуждалась. Олег Викторович, шадя дочку, к домашней работе ее особенно не принуждал: сам мыл посуду и сам готовил, сам полол маленький огород и вытряхивал во дворе ветхие голубенькие покрывала. Соседи роптали все громче: вот ведь растет нахлебница, вот когда штаны американские аукнулись!

Директор, горевавший по супруге неожиданно глубоко и искренне, прятался от тяжелых мыслей в работе. Затеял в училище ремонт, выпросил у властей землю под настоящий большой стадион, самолично проводил каждую субботу общее построение учащихся, где ругал нерадивых и награждал отличников. Клава жалела его; глядя, как он идет из училища домой, понурив голову, опустив плечи, она всякий раз себя спрашивала: ну за что, за что такому хорошему человеку такая печальная судьба?

Вопрос этот задавала себе не одна только Клава. Все вокруг гадали: как долго директор продержится холостяком? Дом ведь женской руки требует, и мужчине нужно женское внимание, и дочка, гляди, совсем от рук отбилась, должен же кто-то ее окоротить? Олег Викторович, говорили, мужик не из последних. нет, долго одиноким ему не быть. Вот только — кто?

Внимательно присматривались, пытаясь раньше соседа догадаться: к кому ездит? Кому пишет? Кому звонит со служебного телефона? Что за красавицу привезет из области?

Миновала зима; близились окончание учебного года и практика На Первое мая собрались, как обычно, в буфете за сдвинутыми столами Олег Викторович, против обыкновения, от первой чарочки не отнекивался, зато после третьей — завязал и в рюмочную, как бывало, не пошел Вместо этого на глазах всего коллектива предложил Клаве проводить ее домой.

Клава зарделась, как девочка, и не знала, куда деваться Боязливо, кончиками пальцев оперлась о согнутый локоть директора и засеменила рядом, с трудом примериваясь к его широким шагам.

Шли молча. Прошли две улицы, у калитки Клавиного дома директор остановился и выпустил ее руку.

— Клавдия Васильевна, — сказал резко, отрывисто, но Клава прекрасно понимала, что это от смущения. — Прошу вас быть моей женой.

— Я согласна, — сказала Клава быстро, будто боясь, что прозвенит будильник, обрывая чудесный сон.

Олег Викторович ничего не ответил. Только шумно вздохнул.

* * *

Свадьбу сыграли тихо — все-таки и года не прошло со смерти крашеной блондинки, так что особенных празднеств устраивать не решились. Расписались, выпили в буфетной, сдвинув вместе столы, и проводили молодых на супружеское ложе.

Затянувшееся Клавино девичество счастливо закончилось. Мужа своего она обхаживала как могла: приносила завтрак в постель, обстирывала и обшивала, никогда не говорила ни слова поперек. Олег Викторович такое отношение ценил, новую жену любил и баловал подарками. Правда, Клаве пришлось уйти с работы: начальство намекнуло, что директор и бухгалтер в супружестве — это слишком для одного учреждения. Но, возможно, все к лучшему — Клава получила возможность заниматься исключительно мужем, домом и огородом, продавая овощи на базаре и дополнительно поддерживая семью. Хозяйство, пришедшее было в упадок за время вдовства Олега Викторовича, под рукой Клавдии восстановилось и расцвело: везде в доме порядок, на лампах липучки от мух, в шкафах нафталиновые шарики, на полу — чистые половички.

Единственная проблема, можно сказать, беда, заключалась, конечно же, в Богдане.

Девица, которой к тому времени исполнилось пятнадцать, приняла мачеху в штыки. О том, чтобы называть Клавдию «мама», не было и речи; даже «тетю Клаву» не удавалось выдавить из упрямой девчонки. «Мачеха», — говорила Богдана, глядя Клаве в глаза, вкладывая в это слово все смыслы, издавна на нем наросшие, и даже сверх того.

Клавдия пыталась поначалу воздействовать на девицу лаской, мягкостью и терпением. Богдана бросала колготки на обеденном столе — Клавдия покорно убирала, укладывала в шкафчик, а если надо — и стирала, и сушила; Богдана ходила по дому в грязных туфлях, нарочно вытирая их о свежевымытый пол, — Клавдия перемывала все заново и опять увещевала, уговаривала, держа в уме и долю сиротскую, и переходный возраст. Богдана возвращалась за полночь, влезая к себе в комнату через окно, Богдана прогуливала школу, расшвыривала вещи, включала на всю мощность свой проклятый магнитофон; Богдана, наконец, плевала в кастрюлю с «подходящим» на дрожжах тестом (Клавдия ее однажды застала за этим делом), — ответом на все были увещевания, уговоры и ласковые просьбы.

Тем не менее время шло, а Богдана не становилась лучше.

Наоборот, войдя во вкус безнаказанности, она грубила все наглее, училась все хуже и вела себя все развязнее; за ней вечно таскались табуны парней, и Богдана дразнила их, не понимая, чем такие игры могут кончиться. Клавдии пришлось серьезно поговорить с мужем. Олег Викторович, оказывается, прекрасно чувствовал свою вину — он давно уже не занимался воспитанием дочки, боясь доставить сироте хоть малейшее огорчение. Чем такое попустительство могло закончиться, страшно было представить.

Итак, Олег Викторович вспомнил свои обязанности по отношению к дочери. Велосипед был на время заперт в сарае, магнитофон унесен в училище, в сейф, а джинсы, коротенькие юбки и отвратительные прозрачные майки отправились высоко на антресоли. Богдане оставили в назидание только школьную форму — до тех времен, пока она не опомнится и не возьмется за ум. Клавдия Васильевна искренне надеялась, что это случится самое большее через неделю.

Куда там!

Вместо раскаяния девчонка обозлилась. Скоро Клавдия обнаружила, что на нее косятся соседи; выяснилось, что Богдана, обиженная сирота, направо и налево рассказывает людям «всю правду» о «злобной мачехе».

Богдана жаловалась в школе, жаловалась на улице, жаловалась в магазине; выдумки ее вовсе не были наивны — нет, плела она их тонко, с недетской изощренностью. Школьная форма, которую Богдана теперь не снимала, оказалась знаменем ее обиды: всю одежду продали, говорила Богдана. На вырученные деньги купили мачехе колечко. Когда придет, присмотритесь — оно у нее на пальце (а на пальце у Клавдии действительно появилось скромное колечко, второе кольцо в ее жизни после обручального, крохотная серебряная змейка — подарок мужа). И все вещи матери, говорила Богдана, снесли в комиссионку, даже французский кружевной лифчик, который покойница надевала только по праздникам. А на вырученные деньги поставили мачехе золотую коронку — вон она, присмотритесь (а Клавдии в те дни в самом деле пришлось поставить коронку — передний зуб сломался)...

Соседи, еще недавно называвшие сироту «нахлебницей» и «паршивицей», вдруг прониклись к ней сочувствием. Клавдия, узнав, в чем дело, сперва нервно смеялась, потом доказывала с пеной у рта: ложь! Да врет она, вы ей, сопливой, верите, а мне нет?!

К сожалению, все обстояло именно так. В Богдане проснулось дьявольское искусство лжи: ей верили. Клавдии — нет.

Уже говорили, что она окрутила вдовца ради его дома и денег. Что она все эти годы только и думала, как бы выскочить за

директора; что она и в смерти блондинки повинна (не уточняли, правда, каким образом). И вырастала, крепла, передавалась из уст в уста новая легенда о жестокой мачехе, сживающей со света юную падчерицу...

Однажды, вернувшись с базара, Клавдия села у входа на низкую табуретку, уронила кошелки и разрыдалась, не в силах больше сдерживаться. Ее счастье распадалось прахом. Косые взгляды, злобные шутки, насмешка и ненависть от вчерашних добрых знакомых — да за что же?!

Случилось так, что Олег Викторович вернулся в тот день с работы раньше обычного. Открыв дверь своим ключом, он застал Клавдию рыдающей, кинулся утешать, обнимать, а потом и расспрашивать: кто обидел? Клялся стереть с земли, разобраться как следует: кто посмел?!

Клавдия не смогла скрыть от мужа то, что знал уже весь город и только он, Олег Викторович, не знал. Она-де, Клавдия, выскочила за него из-за денег, а падчерицу заживо хоронит, чтобы не с кем было делить наследство...

Поняв, в чем дело, Олег Викторович побледнел. Крепко обнял Клавдию, побежал на кухню, нашел в аптечке какие-то таблетки, принес жене со стаканом воды. Клавдия проглотила безропотно, умылась и легла в постель. И долго лежала, глубоко дыша, слушая, как восходит в животе, будто солнце, таблетка и распространяет вокруг себя покой и безмолвие.

В тот день Богдана вернулась домой часам к одиннадцати. Отец, ни слова не говоря, крепко взял дочь за руку и повел в ее комнату; там, не обращая внимания ни на крики, ни на слезы, снял ремень и задал дочке ту самую порку, которую она давно заслужила.

* * *

Соседи, разумеется, все узнали. Жалея Богдану (и страшась, конечно, новых чудовищных обвинений), Клавдия уговорила мужа вернуть девчонке велосипед, магнитофон и шмотки. Может быть, умелое сочетание кнута и пряника принесет наконец плоды...

После порки Богдана в самом деле изменилась. Сделалась послушнее и тише, не огрызалась, не грубила, не пропускала школу, не возвращалась за полночь. Радоваться бы — но у Клавдии Васильевны все тревожнее становилось на душе. Она едва удерживалась, чтобы не вздрагивать всякий раз, встречаясь с падчерицей глазами.

Богдана смотрела странно и страшно. Зеленые тени жили на дне ее глаз — там сидела злоба такая глубокая, такая неистовая, что Клавдия невольно ежилась под этим взглядом. Не раз и не два говорила себе: да пусть ее, пусть делает что хочет, пусть про-

падает где вздумается, ей-то, Клавдии, что за дело, зачем взялась воспитывать чужую дочь? Зачем вмешалась, зачем сделалась врагом, ну ее, чур ее, вон как смотрит... Ведьма...

Отводила глаза, с Богданой старалась не встречаться и не разговаривать, но никак не могла отвязаться от мысли, что воздух в доме давит. Что Богданина ненависть висит в нем, как удушливое облако пропан-бутана. Что хочется вырваться и уйти — хотя бы к матери, за три скрипучие ступеньки, избавиться разом и от шепота за спиной, и от ядовитых Богданиных глаз.

А тут еще со здоровьем начались проблемы. Клавдия смолоду была крепкой и даже карточки в поликлинике не держала — а теперь узнала в одночасье, где у нее сердце, и что такое давление, и как ноет спина, и как набухают вены... Даже золотая коронка во рту, кажется, потускнела. Мать качала головой: сглазили тебя. Точно, сглазили. Поехать бы к бабке, снять порчу, а то ведь все хуже и хуже...

Жаловаться мужу не решалась. По-прежнему летала по дому, всюду успевала, но без огонька, без прежнего энтузиазма. Радость погасла совсем.

— А чтоб тебя! — сказала однажды в сердцах, слушая вопли соседского мальчишки, второй час канючившего под окном девчонкиной комнаты: «Богда-ана... Богда-ана!..» — Чертдана, не иначе!

Никто не слышал.

В ту ночь Клавдии приснился страшный сон. Тем более страшный, что сочетался с явью; она то задремывала, то просыпалась. Снилось (или мерещилось), что из темного угла их с мужем комнаты выходит собака, светло-желтая, будто кость. И идет к ней, Клавдии, посверкивая глазами, поцокивая когтями по деревянному полу. Казалось бы, чего страшного — собака приснилась. Но чем ближе она подходила, тем яснее становилось Клавдии, что с собакой что-то не так. Крылось в глазах ее, в движениях, в тени на полу — непростое, не звериное и не человеческое; да и откуда взяться в комнате собаке? Собакам место на дворе...

Клавдия хотела выбраться из сна, ворочалась, трясла головой, поднималась на локте; вот проснулась, в комнате темно и тихо, рядом похрапывает директор, и время облегченно вздохнуть: «Куда ночь, туда и сон»... Глядь — из угла смотрят два горящих глаза, и все начинается сначала: крадется странная собака, тянется за ней изломанная тень, останавливается сердце: проснуться!..

С каждым разом тварь подходила все ближе. Наконец прыгнула на кровать; Клавдия проснулась с криком, принялась толкать мужа локтем в бок, будить на помощь. Муж спал как мерт-

вый; Клавдия попыталась встать, не оглядываясь на темный угол. Хотела добраться до выключателя, включить свет...

Собака была тут как тут.

— Пшла вон, проклятая!

Вскочила все-таки с кровати. Схватила за ножку деревянный табурет (где только силы взялись!) и угостила бестию изо всей силы. По голове, как метила, не попала: тварь увернулась. Но угодила, кажется, по лапе; собака дико взвизгнула, и Клавдия Васильевна очнулась наконец в постели рядом с мужем на рассвете: ночная сорочка прилипла к спине, сердце молотит, захлебывается, и душно, душно... Ночью, оказывается, случайно закрылась форточка, и в комнате такой спертый дух получился, что не только сучка — черт приснится...

Было воскресенье. Падчерица, как выяснилось, поднялась раньше всех, села на велик и укатила куда-то, накорябав отцу небрежную записку.

Вернулась днем, бледная и без велосипеда. Рука в гипсе; каталась, значит, по старой дороге над песчаным карьером, куда и взрослым, и детям ход строго-настрого запрещен. Земля осела, и Богдана свалилась. Шею, по счастью, не свернула, а поломала только руку. Выбралась, на шоссе «проголосовала», довезли ее до больницы. А велосипед там и остался, в карьере: рама лопнула.

Олег Викторович опять повел себя, по мнению Клавы, непедагогично. Вместо того чтобы объяснениями связать в Богданиной голове непослушание и несчастье — побежал сломя голову в карьер, чтобы велик вытащить и раму сварить и вообще все, что нужно, поправить.

Не нашел велика. Засыпало песком; но обещал Богдане, что в понедельник пойдет с лопатой и откопает.

Богдана обещаниям особенно не радовалась. Сидела бледная, смотрела на пальцы, перемазанные гипсом, на слова отца угрюмо кивала, а Клавдии вообще как будто не видела.

* * *

Страх воцарился в жизни Клавдии.

Ночью кошмары. Днем — будто тень за ней ходит. Не сводит ненавидящих Богданиных глаз.

Олег Викторович все видел и все понимал. Разрывался между женой и любимой дочерью; стал приходить домой навеселе, а то и вдрабадан пьяным. Уже не нужно было праздников — упитый приходил и валился на кровать в одежде, и сивушный дух стоял плотно, так что Клавдии приходилось стелить себе на веранде или в кладовой.

Мучился сам от этого. Голубил Богдану, а порой бил; доброты это девочке не прибавляло, и Клавдия, хоть как старалась не

огорчать мужа, а все-таки сказала однажды в сердцах: уйду. Вернусь к матери; не в силах жить в одном доме с эдакой злобой.

Олег Викторович долго сидел на кухне хмурый. Потом пошел к дочке и объявил: «Устрою тебя в экономический техникум в облцентре. Техникум хороший, у меня там знакомые; конкурс аттестатов не пройдешь — так хоть по блату впихнут».

— Выжить из дому хочешь! — крикнула Богдана так пронзительно, что услышала не одна Клавдия Васильевна, но и соседи за тонкой стенкой. — Не пойду! Пусть она убирается!

Олег Викторович надел кепку и, ни слова не говоря, ушел. Вернулся домой вдребезги пьяный, но не упал на кровать, как обычно, а полез с кулаками на Клавдию: ребенка из отчего дома выживаешь, ведьма?!

Клавдия Васильевна, едва вырвавшись, убежала к матери. По улице шла крадучись, прячась за деревьями: не видит ли кто? Время было позднее, но многие окна еще светились.

У матери прикрывала ладонью шеку. Врала что-то; мать вранью не верила, хотела вызвать милицию — «снимать побои»; Клавдия с трудом отговорила ее от постыдной затеи. Ночь провела без сна, на кухне за клеенчатым колченогим столом, и слезы капали в остывший чай.

Утром пришел Олег Викторович. Стоял на коленях, просил прощения; Клавдия его очень по-человечески понимала. Не отречься ведь от дочери. Не выгнать. Не развестись. Какая ни есть, а все своя. Но возвращаться домой — отказалась. «Не могу ее видеть, — сказала просто. — Ты, родной, прости меня, но я с ней под одной крышей жить не стану».

Олег Викторович ушел.

Слухи в городе теперь уже не затихали. Мать приходила с базара вся красная, первые три минуты отказывалась хоть слово повторить из «этого трындежа», потом долго кляла сплетниц, желая, чтобы у них повысыхали языки, а после выкладывала все до копейки: и как Олег Васильевич взъелся на родную дочь в угоду новой жене, и как возил Богдану, едва ли не связанную, в областной центр — «сдавать» в какой-то ужасный техникум для умственно отсталых сирот, и как директор того техникума сказал Олегу Васильевичу: подожди, вот она тебя так же в дом престарелых сдаст! И как Богдана клялась, что повесится или утопится, и друзья ее скорбно говорили своим родителям: довели девку. Жалко ведь. И впрямь вот-вот наложит на себя руки.

Клавдия Васильевна сидела тихо, в город не выходила, даже во двор не показывалась. Ждала, пока устоится немного. Оно, может быть, и не устоялось бы так быстро, но тут случился пожар в единственной на весь город девятиэтажке, и в тени этой новости семейные проблемы Олега Викторовича потеряли для болтунов привлекательность.

Накануне пожара Олег Викторович пришел к Клаве. Ничего не сказал, постоял рядом, опустив голову, и в молчании было все: и что любит, и соскучился, и хозяйство в упадке...

Тоже ни слова не говоря, Клава собрала узелок с пожитками и вернулась обратно, под мужнин кров. Боялась сплетен, но никто ее возвращения не заметил — весь город занят был передачей сводок с места происшествия: где загорелось, как спасали, как один чудак выбросил с девятого этажа любимый фикус в кадке, едва не убив пожарного, и тому подобные важные сведения.

Три дня прошли спокойно, даже мирно; потом Богдана снова дала себя знать, устроив за ужином безобразную сцену. Не желала, видите ли, есть кашу, швырнула миску об пол, билась головой о стену: уморить хотите сироту! Только Клавдия на этот раз не растерялась, и не вспылила, и не огорчилась, а тихо и спокойно сказала Богдане: «Будет с тебя. Поглумилась, и хватит. Теперь я хозяйка. Иди по доброй воле в техникум. Может, жизни научишься».

Богдана бросила на мачеху полный ненависти взгляд — и убежала из дому, на прощанье так хлопнув дверью, что посыпалась с потолка известка.

Всю ночь где-то пропадала.

И наутро не вернулась. Не вернулась и к вечеру, зато прибежали, запыхавшись, два одноклассника — дескать, утонула Богданка. Утопилась. Вот ее сумка. Бросили Клавдии под ноги светло-розовую клеенчатую сумочку, которую Богдана имела обыкновение носить через плечо. И убежали.

Клавдия сама не поверила и мужа успокоила: придуривается девчонка. Издевается. Пугает. Тем не менее Олег Викторович поспешил в милицию, и вскоре Ольшаны разве что на ушах не стояли: искали Богдану.

Мальчишки, приведенные в участок, рассказывали каждый одно и то же: Богдана, доведенная мачехой до отчаяния, прыгнула в омут. Омут в местной реке действительно имелся: на дне били ключи, и в самый жаркий день самый опытный пловец мог быть затянут в воронку или погублен судорогой, уж как повезет. А теперь стоял апрель, лед недавно сошел, и, конечно, оказавшийся в омуте человек имел малые шансы на спасение.

Вызвали водолазов. Обшарили дно, но ничего не нашли, кроме правой Богданиной туфли. Туфля, говорила Клавдия мужу, еще не доказательство: туфлю могла бросить в пруд, а сама — на поезд, деньги-то у нее водились... Кстати, метрика пропала вместе с Богданой. С документами, значит, топиться пошла.

Милиция приходила домой и в школу. Изучали быт семьи, расспрашивали соседей и Богданиных учителей; соседи, может,

и наболтали лишнего, а вот учителя все как один подтвердили: девчонка была тяжелая, своенравная и психованная. Еще родная мать ее избаловала: ну зачем ребенку настоящие американские джинсы?! А Клавдия Васильевна стояла на своем: за приключениями поехала. Веселой жизни искать. Может, еще вернется.

В милиции и дольше бы мурыжили, но прибежал однажды один из мальчишек-«свидетелей» с потрясающей новостью: видел у реки Богдану. Ходит при луне мокрая, волосы распущены, и в волосах водоросли; клянется найти проклятую мачеху и утопить...

После этого дело о самоубийстве было тихонько закрыто. Богдану объявили в розыск как пропавшую без вести.

Олег Викторович не знал, куда себя девать. Бродил по дому как потерянный; Клавдия не отходила от мужа ни на шаг. Утешала, отвлекала мелочами, чуть не кормила с ложечки; вернется, уговаривала, твоя Богданка. Попутешествует, поумнеет и вернется; жизнь научит. Жизнь — она лучший учитель...

А поскольку оставаться в Ольшанах супругам сделалось невозможно, то Клавдия нашла себе работу в Харькове. Хорошую работу, бухгалтером на заводе; год прожили в общежитии, потом получили однокомнатную квартиру. В первое время Олег Викторович тосковал о своем ПТУ, но связи ведь остались, а город строился, расширялся, и опытному человеку дело найти не так трудно...

И зажили супруги спокойно и счастливо, душа в душу.

Только слесарь-пьянчуга, живший в рабочей общаге напротив, клялся последним шкаликом, что не раз видел на подоконнике супружеской квартиры огромную кошку, полосатую, серобурую. Кошка — размером со взрослую немецкую овчарку — вылизывала когтистую лапу и улыбалась, и во рту ее вроде бы светилась золотая искра...

Но что с пьянчуги взять?

СЕРДОЛИКОВАЯ БУСИНА

1

Черепом играть в футбол не так и удобно. Легок слишком, да и кость, особенно старая, — не резина, не каучук. Удар точно не рассчитаешь, улетит — ищи в кустах! К тому же недолговечен череп, в лучшем случае на две-три игры хватит.

Тем не менее играли. Как и полагается — с криком, с лихими ударами по ногам, с отчаянными свистками судьи. Разгорячились, сорвали майки, растерли первую грязь по покрасневшим лицам.

Крепкие ребята, археологи!

Удар, еще удар! Еще! Желтая неровная кость летит в импровизированные ворота. Летит, летит... Неужели гол?!

— Череп-то отдайте!

Зачем Максиму понадобился череп, причем именно перед ужином, он и сам не смог бы объяснить. Ну шумят, ну играют, ну вопят бабуинами. Что с них взять, с футболистов? Первокурсники! Тем более не свои, с истфака университета, а, так сказать, приданные, из братского института физкультуры. Им и положено в футбол играть. Силы к вечеру еще остаются, а мозгов — меньше, чем в найденном черепе.

И связываться, признаться... Кто он для них, Максим? Студент-третьекурсник и начальник раскопа, причем не родного, а соседнего. Драться, может, не полезут, но... Кому такое нужно?

Так и есть! С первого раза не услышали — или сделали вид.

— Отдайте!

— Чего-о-о?!

Пока соображали, пока кучковались и толпой подступали, Максим наконец-то понял. Не нужен ему череп, и никому не нужен, кроме таких лосей, и не первый это футбол с желтой костью вместо мяча. Просто...

— Говорю: череп!

— Так он наш, понял? Иди, не мешай! Катись!..

...Просто Максим не любил подобный народ. Чему именно подобный, он даже затруднялся уточнить. Слово «быдло» не выносил, но не называть же их благородным латинским «плебс»! Однако не любил, причем сильно. Интеллигент в четвертом колене, ничего не попишешь. «Интель», как выражался он сам.

— Ваш?

Вот этого будущие чемпионы и не знали: психологии. А она — наука хитрая, учит всякому. В том числе и паузу держать, и взглядом пустым смотреть в чужие глаза. Ну-ка подождем...

— Максим, мы это... Доиграем только!

Теперь давить! Пока не очухались — давить! «Подобные» отличаются неустойчивым настроением. Азбука!

— Нужен сейчас. Я его описывать буду — для отчета. Кстати, нижняя челюсть где?

Экспедиция копала уже третью неделю. В этом году везло: ни дождей, ни дизентерии, ни запоя у бульдозериста. Большой Курган почти закончили, вскрыли три малых, две одиночные могилы и даже обследовали соседнее поселение, то, что за совхозным садом. Кое-что нашли. Череп, например.

Нижняя челюсть оказалась поблизости, рядом с хозяйственной палаткой.

Максим мог быть вполне доволен. Опыт прикладной психологии удался вполне, шум за пологом палатки утих, а он оказался владельцем индивидуального черепа. Вопрос лишь в том, что с ним, с черепом, делать дальше. Не описывать же, в самом деле! Вообще-то полагалось, но никто этим и не думал заниматься, причем не только в данной, но и во всех известных Максиму экспедициях. Специалисты в Киеве, а брать недоучку из мединститута — себе дороже. Лучше лишнего копача пригласить, хотя бы из того же физкультурного.

Максим взял череп, взвесил на ладони. Бедный Йорик, не знал я тебя! Просто выкопал сегодня как раз перед обедом. Лежал ты, где и полагается лежать черепу в давно порушенном кургане: выше на метр от костяка, в обвалившемся грабительском лазе. Знакомый почерк — дорыться до ямы, оттяпать голову вместе с кистями рук (почти все золото на них), а после вверх, пока землей не придавило. Иногда, впрочем, давило, и очень успешно — как в кургане, раскопанном ровно неделю назад.

Итак, череп. Итак, бедный Йорик. Скифского происхождения, возраста, судя по жалким остаткам инвентаря, тысяч двух лет с половиной, сохранности средней... Что еще? А еще ты не Йорик, а мадам Йорик или даже мадемуазель. Мадам — если исходить из все того же инвентаря (сережка, бронзовый браслет, две бусины), а мадемуазель — судя по (ого!) прекрасно сохранившимся и совершенно не сточенным зубам. Если учесть, что жевали и кусали в те годы не в пример нынешнему, то... Вам и двадцати еще не было, мадемуазель Йорик!

И что прикажете с вами делать?

Сергей Сергеевич, начальник экспедиции, изволил удивиться. Редкий случай, между прочим! Начальники экспедиции не удивляются даже на раскопе. «Так я и знал!» — и весь сказ, пусть лопата вывернет хоть золотую пекторали с грифонами.

— Максим! Откуда это?

— Курган номер три. Сегодняшний. Куда положить?

Начальник позволил себе не просто удивиться — моргнуть. Остальное Максим мог угадать заранее. Сейчас ему объяснят, что краниологическое исследование в этом году невозможно, везти в музей — тоже, фонды и так переполнены... Если коротко: «Избави нас бог от старательных старшекурсников!»

Значит, можно проявить инициативу.

— Я подумал, Сергей Сергеевич... Закопаю его рядом с курганом, а место в дневнике помечу. Лежал со времен Перикла — и еще полежит. Если вдруг понадобится — возьмем. Так сказать, долговременная консервация.

— Правильно! Действуйте!

В начальственном взоре читалось явное одобрение. Но и укор тоже. Мол, ты же не из Дворца пионеров, Максим! Или сам сообразить не мог?

А вот не мог. Идея с «долговременной консервацией» родилась сама собой, посреди разговора. Спонтанно, если совсем по-научному. Как и бессмысленная затея с отменой футбольного матча.

Штыковую лопату он взял в хозяйственной палатке; бутылку портвейна пришлось покупать в сельмаге совхоза имени Химерного, на что ушло ровно полтора часа.

— Череп! А точнее, уважаемая мадемуазель! — проникновенно начал Максим, сидя рядом со свежей ямой и подсвечивая себе фонариком. — Прежде всего, сообщаю, что кости я тоже собрал. Кажется, все, мы их в угол раскопа сложили...

Максим не страдал типичной интеллигентской привычкой разговаривать сам с собой, но в данном случае имел полное право считать, что находится в компании. Кроме того, ночь, пустая степь, разрытая могила, да и бутылка уже не полна... Кто осудит?

— Прежде чем поговорим о дальнейшем, позволю себе представиться. Имя мое вы, вероятно, слыхали. Остается добавить, что я студент третьего курса исторического факультета, копаю с четырнадцати лет, дело это люблю, надеюсь лет через пять стать заместителем начальника экспедиции и... И, между прочим, из-за вас я порезал палец.

Последнее было не совсем справедливо. Максим оказался сам виноват, ибо решил копать без фонарика и почти сразу наткнулся на бутылочное стекло. Пришлось заливать рану портвейном.

— Наконец о том, что я тут вообще делаю. Отвечу так: и самому интересно. Все мои сегодняшние поступки нахожу странными и нелогичными. Будет желание, можете подумать на досуге. Попытаюсь лишь выдвинуть непротиворечивую версию. Скажем, я учел, что вы умерли молодой, после смерти вас ограбили, а затем всякая босота посмела играть вами в футбол. Все данные обстоятельства и вызвали мою неадекватную реакцию.

Максим замолчал, дабы оценить, как это все выглядит со стороны. Да уж! Но раз взялся — доводи до конца.

— Поскольку оба мы с вами не христиане, позволю совершить над вами нечто вроде языческого обряда. Прошу прощения, если вместе с благородным портвейном за рубль тридцать две на ваши кости попадет капля моей крови. Впрочем, так будет еще архаичнее. А на память о вас оставлю себе сердоликовую бусину, которую имел честь только что найти в отвале ва-

шего кургана. Описывать в дневнике и сдавать не буду, чтобы не путать хронологию.

Максим порылся в кармане штормовки, подсветил фонариком. На ладони лежал неровный коричневый шарик. Издалека — камешек и камешек, но вот луч коснулся поверхности, и где-то в глубине засветился ответный огонек...

Захотелось просто встать и уйти. Монолог по типу «Многоуважаемый шкаф!» изрядно затянулся. Поэтому Максим просто плеснул от души портвейна, подумал, сам отхлебнул пару глотков и взялся за лопату. Но в последний миг остановился. Шкаф шкафом, но ведь это, как ни крути, похороны!

От такой мысли и вовсе стало не по себе. Максим отвернулся, словно надеясь что-то увидеть в окружавшей его тьме, затем виновато вздохнул:

— Прости, если что не так. Наверное... Уверен, ты была красивая, храбрая, умела в отличие от меня прекрасно ездить верхом и стрелять из лука. Стихи бы прочесть, но ничего на русском в голову не приходит. Разве что на украинском... Зато почти о нас с тобой. Борис Мозолевский написал, он археолог, как и я. Точнее, это я, как он. Но прочитаю все же на великом и могучем — в свое время честно попытался перевести.

Максим вытер тыльной стороной ладони внезапно вспотевший лоб. Вспоминать собственные поэтические потуги оказалось не так и легко. Но если постараться...

Он не спал. Средь звезд немого гласа
Шел сквозь тьму — и замер, недвижим·
Афродита скифов — Аргимпаса
Озаряла степь огнем своим

Перевод вышел так себе. К тому же Максим ошибся — безлунная ночь была черна, Аргимпаса скрыла свой лик. И так же темен казался сердолик на испачканной землей и кровью ладони.

2

— Вы археолог, — уверенно заявила девушка. — Из экспедиции, которая курганы копает.

— А вы из тех домиков, что возле берега, — не оборачиваясь, констатировал Максим. — Отдыхаете от трудов праведных.

Ему помешали.

Археологи редко копают в одиночестве. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, если рядом село с магазином, и плохо, когда начинается почти неизбежный конфликт с местными «подобными». Отдыхающие в качестве соседей лучше — но не слишком надоедливые.

То, что гостья именно из домиков, он понял после первого же слова. Свои все наперечет, а сельский «суржик» узнаешь сразу.

Вообще-то в округе было людно. Село Терновцы, которое с магазином, рядом еще одно, Градовое, почти пустое, река с фанерными домиками на берегу и лодочной пристанью, за рекой — белый санаторий «Ладушки», прозванный злыми языками «сатанорием». Когда после первой недели работы начинает хотеться одиночества, обилие себе подобных утомляет.

Вечером Максим уходил *«свит за очи»* — на старый курган, варварски раскопанный еще век назад. Садился так, чтобы не видеть ничего, кроме далекого леса.

— Помешала? — Гостья оказалась до странного чуткой. — Наверное, думаете о работе? Извините, сейчас уйду.

То ли девушка и в самом деле смутилась, то ли не хуже третьекурсника изучила мудрую науку психологию. Максим поспешил встать.

— Это вы меня извините. Никому вы не помешали, я ухожу, точнее, уже ушел. Кстати, курган, на котором мы стоим, раннескифский, века седьмого до нашей эры, слева — кладбище, но поновее и... Ушел!

— Оставляете меня одну на кладбище?

Гостья засмеялась, и археологу расхотелось уходить.

— Кладбище? — Максим поглядел вниз, где оно находилось, покачал головой: — Если мы собираемся знакомиться, повод — лучше не придумать. Кладбище начала двадцатого века, заброшенное, разоренное, как и все в этом богоспасаемом крае...

Девушка вновь рассмеялась, протянула ладонь:

— Нина! Запомнить легко — из «Кавказской пленницы». А вас я знаю, вы — главный в той яме, где копают, и зовут вас Максим.

— Как у Стругацких в «Обитаемом острове», — согласился он, тоже протягивая руку.

Странное дело свершилось в этот миг на заброшенном кургане. Коренной, настоящий археолог не стал поправлять невежду, посмевшую назвать раскоп какой-то «ямой». Наверное, девушка и в самом деле хорошо смеялась.

— Я действительно из, как вы говорите, домиков, но отдыхаю не после трудов, а перед. О вас мне рассказали ребята. Они первокурсники, пытались играть со мной в волейбол и очень вас боятся.

— При этом считают занудой и карьеристом, мечтающим об аспирантуре на нашей кафедре, — согласился Максим.

Тут бы девушке его поправить (для того и говорилось), но Нина почему-то смолчала. Лишь поглядела — очень внимательно. Максиму немедленно захотелось вынуть из кармана забытую в палатке расческу, а заодно сбегать в ту же палатку за бритвой.

Археолог в поле — не студент в актовом зале. Во всем остальном расческа с бритвой помочь не могли. Максим был уверен, что внешностью не вышел, равно как и ростом, а если тебя вдобавок сразу же признали занудой...

Он поглядел на часы, чтобы замотивировать отход, но девушка внезапно шагнула ближе.

— Так... Обидела, причем ни за что ни про что. Максим, мне очень нравятся зануды, а мечта об аспирантуре — чудесная мечта. Смотреть на часы не надо, этот прием давно не проходит.

— Вы — психолог, — понял он.

— Четвертый курс. — Девушка вздохнула. — Как психолог, предлагаю немедленно перейти на «ты» и оценить ситуацию. Пришла я сюда, конечно, не случайно, но вот знакомиться ни с кем не хотела, даже с археологами. Напротив, мечтала побыть в одиночестве. Кажется, наши мотивации совпадают?

Максим кивнул, прикидывая, что о привычке быть лидером в умной беседе временно придется забыть. Психолог, значит?

— Не только мотивации, Нина. У нас с тобой одинаковая привычка находить самые мудреные слова для простейших вещей, мы оба о себе слишком высокого мнения, а познакомиться со мной ты все-таки хотела.

На этом можно было и расходиться. Но они остались.

3

Дождь пошел в конце четвертой недели, почти под самую завязку. Великий Закон Вредности, о котором знает любой археолог, сработал без осечки. Что толку в уже сделанном, в извлеченном, упакованном и описанном, если срывается главное, из-за чего затеян сезон? Большой Курган, почти вскрытый, освобожденный от чудовищной многометровой засыпи, почти готовый отдать все, что уцелело от Времени, казалось, передумал. Аккуратный, пять на пять «квадратов», раскоп не так уж и медленно, зато верно превращался в бассейн со склизкими глинистыми стенками.

Древние боги не отдавали своих мертвецов.

Утром, когда закапало, начальник Сергей Сергеевич стал бел. К полудню, как полило, — желт. После двух часов дня ливень стих, и лицо Сергея Сергеевича начало розоветь.

К пяти вечера вновь лило, на этот раз беспощадно, от души.

Смотреть, как начальник зеленеет, Максим не стал. В пять пятнадцать он уже подходил к деревянному домику у реки. Третий слева, синий, с небольшой верандой.

Нина стояла возле открытой двери, зажав в пальцах сигарету.

— Ты куришь, — отметил он очевидное, но прежде невиданное.

— А у вас дождь, наверняка все залило, но ты — не куришь, — согласилась девушка, затягиваясь в последний раз и бросая окурок в ближайшую лужу. — Вывод: мои обстоятельства сложнее.

Он поглядел Нине в глаза и понял, что игры в прикладную психологию кончились. Совсем. На миг Максим пожалел, что пришел. Но раз пришел...

— Помочь могу?

Беспомощный по форме и по содержанию вопрос подразумевал любой ответ. От просьбы ссудить двадцатью рублями до предложения совершить чудо. Причем здесь же, не сходя с мокрой веранды.

— Можешь. Соверши чудо.

Странно, но Максим словно этого и ждал. Влажная ладонь скользнула в карман штормовки.

— Единственная ценная вещь у меня, кроме зачетки. Но зачетка чудес не творит. Это — может.

Сорвавшаяся с жестяного карниза капля умыла сердолик.

— Заходи в дом, я чай заварила. — Нина осторожно взяла в руки бусину, на миг задумалась. — На ней ведь кровь, правда? Твоя?

— Эта девушка из кургана должна тебя полюбить.

— Должна была *бы*, — уточнил въедливый Максим. — А главное — за что?

В жестяных кружках дымился чай, штормовка сохла у горящей электроплитки. За окном шумел ливень, переходящий в потоп.

— Скифы верили в вечную жизнь. Поэтому не «бы», — невесело улыбнулась Нина. — А за что... Ты ведь ей эту вечную жизнь подарил заново, разве не так? Навел порядок в царстве мертвых?

Сердоликовая бусина лежала на столе, рядом с пачкой рафинада.

Максим кивнул:

— Именно. Могу пересказать соответствующую главу из монографии Абаева. И ведь что интересно, Нина? За эти дни мы обсудили с тобой не только все обязательные для интелей...

— Прости? — Кружка в руке девушки дрогнула. — Ах да, опять Стругацкие!

— И опять «именно». Все обязательные для интелей темы, даже перешли на дополнительную программу. Это с одной стороны. С другой же... Я, как предатель на допросе, выложил о себе все, включая сагу о дедушке, Максиме Ивановиче, который умудрился именно в здешних местах сложить свою комсомоль-

скую голову в самый разгар коллективизации. И ты слушала, как будто тебе интересно.

Кружка в ее руках вновь дрогнула. Кипяток плеснул на пачку с сахаром.

— Мне было интересно, Максим. Если не веришь, то... поверь. Могу продолжить. Я о себе ничего не рассказывала, а ты, как истинный... интель, не спрашивал. А теперь тонко намекаешь, что мои неприятности где-то там.

Максим поглядел в залитое белой водой стекло. Темнеет; если будет лить всю ночь, прощай, Большой Курган!

— Разве что очень тонко, Нина.

Девушка поставила кружку на стол, вытерла мокрое запястье носовым платком, закусила губу.

— Тебе нужно было уйти сразу. У тебя и так хватает проблем с твоим курганом.

— То, что я не русская, ты уже понял.

Максим пожал плечами. Сам он, будучи насмерть обруселым украинцем, все-таки не видел в том особой беды. Более того, казацкие гены порою нашептывали ему, что русским быть совсем не обязательно.

Теперь они сидели на кровати — панцирной, с никелированными шариками по углам. Нина — возле пододвинутой к стене подушки, он — на противоположном конце. Между ними громоздился полуразобранный рюкзак.

— Я не только не русская... Остальное домысли себе сам. Извини, не могу.

На сей раз Максим моргнул — не хуже Сергея Сергеевича. Почему-то подумалось о чилийских эмигрантах. Нет, не похожа.

— Домысливать не хочу. Извини — взаимно.

Девушка провела рукой по лицу. Затем в ее ладони оказалась знакомая бусина.

— Хорошо! Домыслю сама. Представь, что я — та самая скифская девушка, которую ты похоронил. Но ты совершил ошибку: кровь нельзя смешивать с вином. Вместо погребального ты провел совсем иной обряд. Так?

О черепе и всем, с ним связанном, Максим рассказал ей сам. И сразу понял — зря. Теперь понял это вторично.

— Вином и кровью ты вызвал ее из небытия, заставил вновь вдохнуть воздух, выпить воды, поговорить с живыми людьми. Но твоей крови хватит ненадолго. Ей... Мне скоро придется уйти — вернуться под землю, в темноту, в Ничто. Новая кровь не поможет, требуется другое чудо. Скажем...

Нина перекатила бусину по ладони, осторожно коснулась пальцем.

— Скажем, сердолик должен засветиться.

— Это будет причиной или следствием?

Максим постарался, чтобы вопрос звучал в меру иронично. Но очень в меру.

— Еще не знаю.

За окном лил дождь, красным огнем горела спираль электроплитки, дымился окурок в пустой банке из-под сайры. Штормовка еще не высохла, и Максим, сам промокший, изрядно продрог. Из открытого рюкзака на него смотрел вязаный свитер, но претендовать на такую роскошь закоренелый интель не решился. Нине же было не до штормовки — и не до свитера тоже.

— Теперь я поняла, кто из нас старше, — внезапно заметила девушка. — Это не упрек, хвалиться тут нечем. Я тоже мечтала бы играть в раскопки курганов. Очень сильно...

В эту минуту Максиму срочно захотелось повзрослеть. Курган для этого не годился. Он поглядел на бусину в ее ладони.

— Ты... Ты выйдешь за меня...

Сердолик исчез. Ладонь Нины дотянулась до его губ. Надавила.

— Дождь, кажется, кончается... Ты очень хороший мальчик, Максим.

4

Мертвый царь увидел солнце через два дня.

Боги устали. Слишком древние, слишком утонувшие в толще памяти, своей и чужой, они сделали, что сумели. Не помогло. Осквернители были молоды, с горячей кровью, острым холодным умом и ненасытной жаждой. Их не ждала вечность, под их кедами чавкала холодная грязь, в которую им всем предстояло очень скоро уйти. Поэтому они спешили насладиться мигом победы, счистить мокрую землю с золотой диадемы, с радостной усмешкой поднять к растерянному солнцу парадный царский меч, поглядеться в умерший лик серебряного эллинского зеркала.

Боги отдали царя. Рычащий бульдозер отъехал в сторону, хмурые бородатые парни — гвардия экспедиции — склонились над чем-то темным, проступающим из-под желтой грязи. Остальных безжалостно отогнали прочь. Миг победы — он для всех, но делится не поровну.

— Как всегда, две главные камеры, — начальник Сергей Сергеевич, гордо попиравший армейскими ботинками бровку кургана, кивнул вниз, на дно раскопа. Там оскверняли царские кости.

— Царь и царица, — согласился образованный мальчик Максим, глядя куда-то в сторону.

В этот жаркий день, день победы, ему стало как-то все равно.

Сейчас заорут, сейчас скатится вниз напряженный фотограф, держа наготове свой «Любитель». Они выиграли. Вечером — футбол.

— Местные копали курган лет сто. — Он поглядел на близкое село, поморщился, как всегда при мысли о «подобных». — И не смогли ничего отыскать. Почему, Сергей Сергеевич? Они же целое метро вырыли! А мы нашли.

По губам начальника промелькнула улыбка, которую Сергей Сергеевич мог позволить себе только в такой день. Когда они приехали, Большой Курган и в самом деле походил на заросшую травой строительную площадку. Каждый в округе знал про казацкий клад, лежавший под желтой глиной, про спрятанного золотого коня с золотой уздечкой. Копали годами, целыми семьями, поколениями.

— Ты же понимаешь, Максим.

Сказать старшекурснику «ты» — непростительный промах, даже для начальника, но в такой момент «ты» было подобно медали.

— Аборигены потеряли квалификацию, — не без удовольствия констатировал будущий заместитель. — Они не знали, где искать главную камеру с погребением. Ну а мы-то знаем, Сергей Сергеевич!

Начальник дернул углом рта, затем вновь улыбнулся, но иначе — холодно и спокойно. Так улыбается брахман, думая о парии. Так наверняка усмехались в своем тартаре души древних грабителей, наблюдая за бесполезной суетой «аборигенов».

Внизу уже что-то нашли, но еще не кричали. Рано! Сначала очистят поверхность, положат картонные цифры, фотограф зарычит, освобождая «кадр»...

— Сергей Сергеевич, — внезапно для самого себя заговорил Максим. — В каждом кургане — грабительские лазы. Они искали золото, это понятно. Но ведь опасно! Охрана, заклинания, обвалы, наконец. Мы нашли троих погибших... Неужели ими двигала только...

— Алчность? — подхватил начальник не без интереса. —Ты прав, подобное ремесло редко себя окупает. Заработать на жизнь можно иначе. Мне кажется, многими двигало то, что и нами. Тоже алчность — но другая.

Уточнять он не стал, как и Максим — переспрашивать. Они были одной касты.

— Нашли! Нашли! Нашли!!!

Царские кости уносить не стали. Собирать тоже — так и оставили разбросанными в грязи.

Нина встретила его возле длинного деревянного стола, за которым обедала экспедиция. Сейчас на гладкой клеенке сиротливо стояли две пустые мытые миски. Праздник начнется ночью.

Максим дымил сигаретой, глядя себе под ноги. Нину он не заметил.

— Ты куришь, — сказала она.

— Здравствуй.

Максим кивнул, поглядел, куда бы выбросить сигарету, но в последний миг раздумал. Всего третья за день, очень хотелось докурить.

— Завтра утром я уезжаю. — Нина подошла совсем близко, помолчала. — Если хочешь... Встретимся через час на том кургане.

— Где кладбище? — уточнил он без особой нужды.

Девушка не ответила и внезапно погладила его по щеке. Максим вздрогнул.

Проходивший мимо первокурсник понимающе отвернулся.

На кургане было сыро. Солнце высушило траву, но земля противилась, не отдавая холодную влагу. Этим ранним вечером все казалось иным, изменившимся. Старое кладбище подступило ближе, к самому подножию, лес, напротив, словно ушел к горизонту.

Максим пришел первым. Сигареты брать не стал — во рту и так скопилась горечь. Девушки еще не было, и он сел на привычное место, бросив поверх травы штормовку. В конце концов, одному тоже неплохо. Можно думать, можно смотреть на старые заброшенные могилы, покрытые такой же высокой травой. Почему-то подумалось о местных «подобных», недостойных даже слова «плебс». Они раскапывали курганы, пытаясь найти золотого коня с золотой уздечкой, — и отворачивались от могил отцов и дедов.

Максим знал, что прав, но на ум пришло совсем иное. Из этих краев его предки, здесь погиб дед, но теперь для него эта земля — чужая. Неприятные люди, непонятная речь...

В школе Максим с трудом смог получить «четверку» по украинскому языку — и то ради среднего балла в аттестате. Английский знал лучше всех в классе, латынь учил с четырнадцати лет.

Он понял, что и это правда, — но ничуть не расстроился...

Нина положила на траву большой пакет, откуда выглядывало что-то синее.

— Взяла одеяло, — пояснила. — Очень сыро.

— Нарушение экспедиционных традиций, — пожал плечами

он, не вставая. — Правило: гуляя с девушкой, не бери одеяло. Слишком ясный намек.

Нина отреагировала на диво спокойно:

— Я не из вашей экспедиции. А сегодня сыро.

На одеяло Максим так и не сел. Из принципа.

— Говори что хочешь, — сказала Нина.

Максим хотел огрызнуться, но вдруг понял, что девушка права. Она — старше.

— Хорошо!

Он поглядел на темнеющий лес, на серую дымку, ползущую к кладбищу от близкой реки, на бледное гаснущее небо.

— Я думал, мы — патологоанатомы истории. Мы, археологи. Профессия на грани цинизма, но без нее — никак. Первокурсники, ахающие при виде битого древнего горшка, еще не понимают. И не поймут. До этого дойдут немногие... Знаешь, настоящего археолога можно узнать, только побывав у него дома. Те, кто ездил в экспедиции, обязательно привозят сувениры — те же битые горшки. Раскладывают по полочкам, любуются, гостям показывают... Комплекс домашнего музея. Так вот, у археолога *нет* домашнего музея. Патологоанатом не носит домой трупы из морга.

— Тебе холодно. — Нина привстала, накинула ему на плечи край одеяла. — Говори, Максим!

Темнело быстро, слишком быстро для середины лета. Не первая странность этих странных дней.

— А сейчас я понял, Нина. Мы — скифы. Они были такими же пришельцами на нашей земле. Приходили, брали что хотели, воевали с аборигенами, уводили их женщин. Для них эта страна была чужой. Как и для нас. Для меня...

— Ты устал. — Девушка осторожно положила ладонь ему на плечо. — Очень устал. А я тебя обидела.

Максим упрямо помотал головой:

— Никто никого не обижал. Подумаешь, поговорили несколько дней на интеллектуальные темы! Я все-таки закончу. Говорят: родная земля. У меня есть родная земля — но не эта. Грязь, покосившиеся хаты, пьяные селяне, заплеванное кладбище... Она что, такая — Родина? Да они даже по-украински говорить не выучились!

— Но ведь ты сейчас почему-то подумал о них? — Девушка села ближе, коснулась лицом его лица. — Подумал, и тебе стало больно... Может, потому, что ты похоронил ту девушку.

— Тебя?

— Меня. Похоронил — и позволил ненадолго вернуться к живым. Но мне пора уходить.

Она достала сердолик, подняла ладонь... Бусина была мертва.

— Погоди, погоди!..

Нина с трудом оторвала губы от его губ, рывком отодвинулась назад, зачем-то поправила волосы.

В темноте ее лицо казалось совсем другим, незнакомым.

— Погоди, Максим! Ты сразу понял, зачем я тебя позвала, но... Послушай!

Он с трудом перевел дыхание, справляясь с затопившим его огнем. Нина была совсем рядом, он уже чувствовал ее плоть, слышал ее сердце.

— Девушка, которую ты воскресил, в твоей власти. Ты — скиф. Но если... Нет, не так! Вообрази, что у этой девушки есть еще право вернуться. Надолго, на целую жизнь — если найдется тот, кому ее жизнь нужна. Это и будет чудо! Но боги заставляют вначале пройти испытание. Испытание и для меня — и для тебя. Я могу позволить тебе все, но тогда уйду навеки. Бусина не засветится, Максим! Я останусь для тебя призраком, тенью из могилы. Если тебе хватит этой ночи и старого одеяла, не стану спорить... Но сначала отдам тебе бусину.

Максим медленно встал, поправил рубашку, отвернулся, впитывая зрачками тьму.

— Нина! Хотя бы сейчас... О чем ты? Какое чудо? Чудес не бывает, Нина! Ты права, ты старше, ты умнее...

— Умнее — не значит безжалостнее. — Девушка тоже поднялась и посмотрела в ночь. — А вот ты не прав, на самом деле ты веришь в чудеса... И напрасно не веришь той, которую поднял из могилы. Представь только, что все так и есть!

Максим помотал головой и не стал отвечать.

— Тогда я выдумаю другую историю. Даже не выдумаю, просто перескажу на ином языке. Я мусульманка, Максим. Такое странно слышать здесь, слышать тебе, ведь ты даже не крещеный. Но у нас все иначе. У нас... У меня есть своя земля, но на ней не курганы, а горы. И есть жених, он офицер, служит на китайской границе. О нашей свадьбе родители договорились много лет назад. Погоди...

Она резко отодвинулась, склонилась над одеялом, нашла пачку сигарет. Громко щелкнула зажигалка.

— Я его не люблю и не пойду за него замуж. Бежать и прятаться не стану, скажу в лицо. Поэтому и уезжаю. Семья не простит, меня не пустят домой, проклянут. Могут даже убить. Но я все равно это сделаю.

— Дичь! — резко выдохнул Максим. — У вас что, Тимур правит?

Рука Нины вновь погладила его по лицу.

— Ты все-таки не скиф. Ты — образованный мальчик из большого красивого города. Для тебя даже эти курганы — непонятная чужая земля... Я сделаю, как решила, а теперь должен ре-

шать ты. Сейчас я связана словом, связана клятвой. Но я в твоей власти, делай что хочешь. Только я не прощу себе — никогда. Что бы ни случилось, как бы ни сложилась жизнь. Даже если мы снова встретимся, будем вместе. Не прощу! Чужая невеста не может лечь на это одеяло. На нем меня не будут любить — меня втопчут в грязь. Моим черепом снова будут играть в футбол...

Максиму вспомнился разрытый сегодня курган. От мертвой царицы не осталось даже скелета. Только желтая глина...

— Возможно, я скоро умру. Возможно, буду свободной. Возможно, у нас с тобой впереди целая жизнь. Не знаю! Никто не знает, даже боги, в которых ты не веришь. Пусть все будет по-твоему, Максим. Сейчас ты не мальчик, ты стал взрослым. Решай! Сердолик у меня в руке.

Максим долго смотрел в тяжелое звездное небо, пытаясь найти нужные слова. На ум пришел собственный неудачный перевод: «Он не спал. Средь звезд немого гласа шел сквозь тьму — и замер, недвижим...» Нет, так не ответишь. Он стал взрослым. Он должен решить.

— Это *твоя* бусина, Нина. Она загорится.

6

— Тебя к телефону, — позвала мама.

— Угу!

Максим не без сожаления отложил в сторону том Моммзена, встал, взглянул в окно. Поредевшая крона старого клена уже не скрывала соседний дом. Зимой он виден весь — старый, начала века. Клен, красный кирпич знакомых стен, нитки телефонных проводов...

Его детство. Его мир. Его жизнь.

— Это Нина, — услыхал Максим. — Но вспоминать меня совсем не обязательно.

— Я не забывал, — ответил он и уточнил: — Не забыл.

Телефонная трубка внезапно стала горячей.

— Сейчас я продиктую телефон. Если хочешь — позвони... Максим, поскольку ты все-таки... интель, скажу сама. Ты мне ничем не обязан, понимаешь? Звонить не обязательно.

— Диктуй, — выдохнул он.

Карандаш был в руке. Номера Максим обычно записывал на полях старой телефонной книги.

— Сейчас... — Нина засмеялась. — Твои стихи вспомнила — про Афродиту Аргимпасу. «Он не спал. Средь звезд немого гласа шел сквозь тьму — и замер, недвижим...» Правильно?

Трубка превратилась в лед. Максим не упоминал при ней Аргимпасу! Он вообще не читал Нине стихи.

— Правильно. — Слово выговорилось на удивление легко. — Диктуй номер!

Или все-таки было? Кажется, они говорили про Мозолевского, про раскопки Гайматовой Могилы. Но ведь он читал по-украински! Или...

7

Девушка отошла от телефона, раскрыла ладонь.

Бусина. Теплый огонь сердолика.

АТТРАКЦИОН

All the world's a stage
And all the men and women are
merely players.

William Shakespear

Когда иду я в балаган,
Я заряжаю свой «наган».

Вилли Токарев

Все было пасмурно и серо.

Так сказал однажды поэт, а мы просто повторили, безо всякого злого умысла.

День выдался никакой. Это гораздо хуже, чем просто скверный или отвратительный. Идешь-бредешь нога за ногу, маешься в поисках определения, и в душе свербит, а почесаться — ну никак, потому что и день точно такой же, и вся жизнь, похоже, с ним заодно. Природа колебалась, большей частью успев отказаться от пафоса золотой осени, но еще не утвердившись в окончательной мизантропии ноября. Идея прогуляться по парку с самого начала выглядела абсурдной — как любой абсурд, эта идея засасывала и поглощала по мере воплощения в жизнь. Двое молодых людей, Он и Она, двигались к цели медлительно и ритмично.

Сизифы в конце рабочего века, согбенные над опостылевшим камнем.

Требовалось волевое усилие, чтобы подавить нарастающее раздражение. Упрямый голем ворочался где-то под ложечкой, норовя вырасти, расправить затекшие члены, явиться в мир — резким словом, недовольной гримасой, ссорой на пустом месте.

— Свернем на Черноглазовскую?

— Там все перекопали... я на каблуках...

— Тогда по Кацарке?

— Там химчистка. От нее воняет.

— Ну ты сама не знаешь, чего хочешь...

До парка они все-таки добрались. С сознанием выполненного долга миновали ворота. Обогнули памятник пролетарскому стихотворцу со значащей фамилией: то ли Бедный, то ли Горький, то ли еще кто-то, сразу и не вспомнишь. Когда над головами сомкнулись ветви старых лип, перечеркнув и частично оживив серость небес, а асфальт запестрел редкими мазками желто-багряных листьев — голем раздражения на время угомонился. Неохотно, с ворчанием присел на корточки, задумался: как быть дальше?

Отошел на заранее подготовленные позиции, выражаясь военным эвфемизмом.

Из ноздрей голема двумя струйками пара сочилась грусть. Туманом окутывала сердце, норовя осесть ледяными каплями уныния. Воскресенье называется! Ему и Ей хотелось праздника, пронзительной синевы над головой, солнечных бликов под ногами, играющих в пятнашки, палитры осенних красок и улыбок нарядно одетых прохожих. Но воскресенье обмануло простачков, обернувшись еще одной страницей будничной рутины. И солнце с небом обманули. И понурые деревья. И зомби-прохожие с отрешенными лицами. И парк обманул. Обнадежил, пригасив раздражение, заманил — и бросил на произвол судьбы, вместо праздника сунув дурно пахнущий кукиш.

Они продолжали бездумно идти по центральной аллее.

За деревьями кричали дети. Вопли отдавались в ушах резкими диссонансами, какофонией суматохи. Рассевшись на ограждении выключенного фонтана, компания парней хлестала пиво. Он и Она переглянулись, с укоризной качнув головами. Юнцы и так навеселе, а сейчас добавят водки, и их потянет на подвиги. Рядом с фонтаном пустовало открытое кафе: можно обосноваться там, на дворе не холодно, взять клюквенный мусс или кофе со сливками — но не рядом же с компанией хулиганья?!

Надсадно скрипели качели. Монотонно крутилась карусель; облупленные фигуры коней, оленей, львов и космических кораблей сливались в мутную толчею. Со стороны «Сюрприза» доносился восторженный визг. Массовик-затейник уговаривал народ прыгать в мешках и ловить зубами монету в миске сметаны. За это обещались плюшевые слоны в ассортименте. Мегафон хрипел, искажая слова, превращал бодрую фальшь массовика в бред похмельного неврастеника.

— Боже, как все осточертело...

— Ага...

В боковой аллейке было тихо. Шум парка отступил, кривляясь издали, почти неслышно. Лишь шаги отдавались гулким эхом в тоннеле: сверху нависли арки облетевших каштанов, по бокам — плотная стена кустов, под ногами — твердая сырость

выщербленного асфальта. Аллейка забирала влево, и Он слегка удивился: вроде бы раньше отсюда по кругу выбирались к Динамовской, к остановке трамвая. Впрочем, Он тут сто лет не гулял, мог и ошибиться.

— И здесь эта пакость...

— Да уж...

Пакостью оказался аттракцион: дешевый, расположенный на отшибе. Угловатая халабуда параноидальной расцветки «à la марсианец» для любителей бодрых космоопер. Формой же аттракцион более всего напоминал купол космической станции, по которому долго и старательно бил молотом очень злой и очень большой пришелец.

Видимо, «марсианец» оскорбил его эстетические чувства.

Поверх охристых разводов, завитков и вмятин купол «украшали» черно-фиолетовые кляксы с прожилками, образуя сюрреалистический узор. Вход представлял собой разверстую пасть чудища. Над пастью кроваво мерцал единственный глаз. Рядом со входом имелась табличка с надписью. Вверху крупно: «Иллюзион «Кромешный ужас». Ниже чуть помельче: «Оптимистам вход воспрещен!» А в самом низу таблички курсивом: «Весь мир — иллюзия. Почувствуй себя реалистом!»

Им навстречу выбежал, мелко семеня, улыбчивый азиат в драном лиловом халате до пят. Он и Она, не сговариваясь, мысленно обозвали азиата сперва «япошкой», а там и просто — «макакой». Неважно, кем он был на самом деле: казахом, бурятом или чистокровным хохлом в гриме. И то, что «макака» облачен не в кимоно, а в халат, не играло никакой роли. Хоть переодень его в тридцать три кимоно с видами Фудзи, макака останется макакой.

— Заходити, заходити! — «Япошка» принялся кланяться на манер болванчика, пыхтя и моргая лживыми заячьими глазками. — Осенно страсная узаса! Осенно! Не пожареете! О! Страсней харакири!

— Зайдем?

Он пожал плечами. Решай, мол, сама.

— Надеемся, там у вас действительно страшно?

— Страсно-страсно! Не сомнивацца! Три гривня, позаруста. Один чиравек — один гривня. Один прюс один — порусяецца всего три гривня! Десиво-десиво!

— Не порусяецца! — возмутился Он, передразнив нахальную «макаку». — Никак не порусяецца! Один плюс один будет два!

А Она подумала, что подлец-зазывала странным образом путает буквы в словах. И акцент у него появляется и исчезает. Точно хохол. В гриме.

Актеришка задрипанного ТЮЗа.

«Япошка» дико обрадовался, словно подслушав Ее мысли:

— Два! Один прюс один — порусяецца всего два! Не три!

Он хохотал басом и для верности тыкал в посетителей пальцем: один, значит, плюс один, и никак три не порусяецца.

— Два! Со скидкой! Васи биреты, позаруста! И нарево, все время нарево. Страсно-страсно, но боящца не нада!

Напутствуемые таким образом, они вошли в оскаленную пасть. «Дешевка, — думал Он. — Зачем я сюда поперся? Ну-ка, где пластмассовые скелеты, тряпичные зомби, манекены-висельники и уроды из папье-маше? Нету? Впрочем, у самого входа их и не должно быть. Чтобы человек успел слегка расслабиться...»

Они поворачивали налево, следуя совету макаки, когда вслед им долетело:

— Наш иррюзий — луччий качества! Как везде!

Двоих рассмешило это последнее: «как везде». Философ, однако. Конфуций драный.

Но смеяться они раздумали.

Верней, голем раздражения опять заворочался и решил, что смеяться — глупо.

Предчувствия их не обманули. За первым же поворотом из стены выскочил черт. Кровавая подсветка должна была добавить инфернальности исчадию ада, но Он и Она лишь страдальчески скривились. Кудлатый мех на морде (небось из старой шапки сделали!), тусклые светодиоды в «глазах», пластмассовые рожки с пузырями краски. Убожество.

— Левый рог обломан. Ничего у нас не умеют.

— А починить лень...

Черт обиженно заскрипел механизмом и, осознав собственную никчемность, убрался в нишу.

После черта долго не было, простите за каламбур, ни черта. Видимо, предполагалось, что ожидание притаившихся кошмаров пощекочет гостям нервы и выбросит в кровь порцию адреналина. Вместо адреналина Им и Ею овладела скука. И тут на них с потолка свалился ангел. Закачался над головами, шелестя крыльями и сияя электронимбом. Колыхались полуощипанные, траченные молью крылья. Сыпался куриный пух. Белоснежные одежды смахивали на балахон, украденный у зазевавшегося куклускклановца. Из стоптанных сандалий сиротливо торчали босые пальцы манекена. Лицо у ангела каменело тупым равнодушием. Мол, давно здесь висим...

— «Ноггог» местного розлива! — презрительно фыркнула Она.

«С каких это пор ангелы числятся по ведомству ужасов?» — подумал Он.

Через несколько шагов они уперлись в обшарпанную дверь.

К двери была косо приколочена эмалированная табличка, явно приватизированная с трансформаторной будки: на ней скалился пробитый молнией череп. Он решительно толкнул дверь, и они оказались... снова в парке. С обратной стороны дурацкого аттракциона.

Все?!

Двое в растерянности переглянулись. В груди закипала детская обида: и тут обманули!

— Ну, знаешь! Это просто надувательство! Надо пойти, потребовать назад деньги. Хотя бы половину.

— Неудобно...

— Тебе всегда неудобно! И прибавки к окладу попросить неудобно, и Таисью Ефимовну осадить, и папочке своему возразить...

— Между прочим, это ты предложила сюда зайти!

— У тебя всегда я виновата! На себя посмотри!..

Они быстро шли прочь из парка, отрывисто переругиваясь по дороге.

Каждый мрачно глядел себе под ноги.

* * *

Он и Она дулись друг на друга еще два дня. Потом помирились; верней, все пошло, как обычно. Жизнь вернулась в накатанную колею, из которой, по большому счету, никуда и не выбиралась. Время от времени они снова ссорились. Скандалы возникали по пустячным поводам, но тлели долго — неделями, а то и месяцами. Оба старательно припоминали былые обиды, ерунда разрасталась до несмываемых оскорблений, сотрясающих основы внутреннего мира оскорбленного.

Впрочем, до рукоприкладства и битья посуды дело не доходило.

Однажды на корпоративной вечеринке Он хватил лишнего и развязно заявил шефу: «Вы не умеете завязывать галстуки, старина! На вас галстук висит, как удавка. Да и этот костюм... костюм надо уметь носить! Это целое искусство. Наняли бы какого-нибудь стилиста, что ли?» Он плохо помнил, что еще наплел шефу. Но на следующий день выяснил, что фирма более в его услугах не нуждается. «Ну и ладно! — думал Он, получая расчет. — Я бы и сам ушел. Работать под началом лоховатого самодура? Увольте-с!»

Вот, значит, и уволили.

Хотя дома Он гордо заявил, что ушел сам.

Естественно, Она устроила Ему скандал. Благо повод имелся роскошный.

— Куда ты теперь пойдешь?! — кричала Она, комкая в руках

посудное полотенце. — Кому ты нужен?! Там у тебя была перспектива, мог стать начальником отдела, а теперь что? Все с нуля?! Что? Лох и самодур? Он — лох? Да ты сам лох последний! Фирма расширяется, от заказов отбоя нет, вот тебе и «лох»! Ты всегда был неудачником! Мямлей и неудачником!

Он не выдержал, взорвался в ответ. Впервые назвал жену шлюхой, хотя вроде бы никаких оснований к тому не было. Просто слово на язык подвернулось.

Весной подали на развод.

Разошлись они на удивление мирно, даже при разделе имущества особых ссор не возникло. На какой-то миг обоим подумалось: а может?.. Нет. Не может и не хочет.

Мосты сожжены.

Новая квартира, полученная в итоге сложного размена, Его раздражала. Тесная, пыльная, с низкими угрюмыми потолками. Паутина трещин по старой штукатурке. Рассохшаяся столярка дышит на ладан, ржавые переплетения труб в сортире — словно кишки чугунного монстра вывалились наружу.

Он еще не знал, что проживет в этой квартире всю оставшуюся жизнь.

Он верил в лучшее.

Получалось скверно. Жизнь методично, год за годом, макала Его мордой в грязную лужу, натекавшую из чугунных кишок. Со временем Он перестал верить. А потом — и хотеть чего-либо. Нашел новую работу: теперь ежедневно приходилось ездить на другой конец города, вминаясь в человеческое месиво, заполнившее дребезжащее нутро троллейбуса. Отсиживать положенное у антикварного компьютера, беззвучно матерясь: памяти не хватало, места на винчестере — тоже, «PhotoShop» то и дело зависал.

В сравнении с нынешним начальством бывший шеф казался изящным и остроумным, человеком редкой души.

Он начал зазывать к себе приятелей и устраивать в постылой квартире холостяцкие попойки. Выпив, на какое-то время становился веселым, шутил, рассказывал байки, азартно резался в карты и думал — еще не все потеряно! Еще выкарабкаемся, встанем на ноги, снова женимся...

Во второй раз Он так и не женился. Приятели заходили все реже, гулянки вместо веселья рождали мутный угар, байки иссякли, а новые не придумывались. Начало пошаливать сердце, за ним почки. Вроде бы в Перми у Него объявилась внебрачная дочь, итог левой командировки, но Он так и не удосужился съездить — проверить, проведать.

Жизнь проплывала мимо — троллейбус, где Ему не нашлось места.

Она после развода перебивалась случайными заработками.

Научилась жестко и зло «отгавкиваться» по любому поводу, из-за чего долго нигде не могла удержаться. В конце концов, продав квартиру, уехала в Крым, к двоюродной сестре. Там скоропалительно вышла замуж, через полтора года развелась. Следующий брак устоял дольше: со стареющим бухгалтером Чижовым удалось прожить десять лет. Без особой любви, но и без скандалов. Затем бухгалтера окрутила молодая смазливая вертихвостка. Снова развод. Через полгода бухгалтер женился на разлучнице. Девица явно рассчитывала поскорее вогнать дряхлого супруга в гроб и получить наследство, но просчиталась.

Бухгалтер намеревался пережить всех своих жен.

Вернувшись в родной город, Ей удалось устроиться на скудно оплачиваемую должность корректора в местной газете. К вечеру глаза слезились от вычитки гранок, а губы сводило от кривых ухмылок при чтении «перлов». Пришлось купить очки в дешевой оправе из пластика — зрение стремительно «садилось». В волосах пробилась седина, в голосе — хрипотца вкупе с визгливыми нотками. Она прекрасно понимала: это конец. Стервозная и несчастная, «старая мымра» ничего не могла и не хотела менять.

Ребенка она так и не родила, несмотря на три замужества.

Не сложилось.

* * *

Он шел медлительно и осторожно, опираясь на палочку.

В последнее время, которого оставалось совсем чуть-чуть, ходить стало трудно, но полезно. Так говорил профессор Коногон Ираклий Валерьевич, а докторов надо слушаться. Если, конечно, хочешь докоптить свой кусочек неба. День выдался никакой, один из многих никаких дней. Ноябрь простуженно сопел над городом, размышляя: чихнуть в платок или сойдет и так? Под ложечкой сидел старый приятель — голем. Ковырял сердце плоским ногтем, отслаивая пласты вязкой, привычной боли. Скоро голему на свободу.

Очень скоро.

Надо больше гулять пешком, чтобы отдалить неизбежность.

А зачем?

Черноглазовскую опять перекопали, ремонтируя дорогу, поэтому Он свернул на Кацарку, мимо химчистки. За два квартала до парка, возле булочной, остановился. Огромный пласт, хрустя, обвалился с сердца, но голем сейчас был ни при чем. При чем были время и место, случай и судьба.

— Здравствуй...

— Здравствуй.

Она усмехнулась, сидя на лавочке у подъезда. Самое время

желать друг другу здоровья. И приступать к обсуждению пережитых инфарктов-инсультов, делиться результатами анализов, гордо демонстрируя фарфор зубных протезов. Вместо этого Она встала, тайно радуясь, что утром не поленилась сделать макияж. Смешно, конечно. В их-то годы...

У ног хозяйки вертелся маленький пекинес. Такие собачки скрашивают одиноким старухам вечера. И гулять опять же полезно, с собачкой.

— Как ты?

— Ничего. А ты как?

— Никак. Давно не виделись...

— Давно.

И, словно растолкав руками удушье ноября:

— Пойдем в парк?

Они шли молча. Говорить было не о чем, да и незачем. Жизнь тащилась позади, фыркая на пекинеса; жизнь готовилась отстать, рванув в погоню за собственной бессмысленностью.

— Замужем?

— Была. А ты? Внуки небось?

— Какие там внуки... Дочка, говорят, есть в Перми. Внебрачная. Врут, должно быть.

— Съезди, посмотри. Познакомься.

— Боюсь. Нужен я ей, чужой... глянуть и плюнуть...

На центральной аллее гулял ветер. Собирал букет из жалких остатков Золотого Века осени. Парни хлестали пиво на ограде иссохшего фонтана. Крутился «Сюрприз», брызжа визгом рискованных клиентов. Львы гонялись за оленями на карусели, игнорируя редкие звездолеты. Массовик предлагал любителям набрасывать кольца на похабного вида штырь. Победителю гарантировалась годовая подписка на журнал «Реальность фантастики».

Они разглядывали суету с нескрываемой завистью.

И, не сговариваясь, свернули вбок. Здесь облетали каштаны и в кустах шуршали призраки. Пекинес вступил в борьбу с невидимками, звонко тявкая. Асфальт пестрел новенькими, аспидно-черными заплатами. Стуча палочкой, Он мучительно думал: о чем заговорить? Судя по складке между Ее бровями, Она думала о том же. И оба вздохнули с облегчением, когда напряженное молчание сменилось внезапной радостью при виде знакомого аттракциона. Яркого, аляповатого, наивного, как фантик от карамельки, чей вкус уже и не вспомнишь. Диабет, зараза, не позволяет есть сладкое.

— Заходити, заходити!

«Япошка», наследник того нахального зазывалы, кланялся гостям, пыхтя и моргая хитрющими глазками Братца Кролика.

— Осенно страсная узаса! Осенно! О! Страсней харакири!

— Три гривни? — вдруг улыбнулся Он, вспомнив. — Один прюс один — порусяецца три?

«Япошка» дико обрадовался:

— Порусяецца! Порусяецца! Заходити даром!

— Зачем даром? Я заплачу...

— Узас-узас! Тада один прюс один — три пиддесят!

— Хорошо... сейчас я найду мелочь...

— А с собакой можно? Или тут его привязать?

— Мозно-мозно! Вот вам два гривня сдачи!

Еле отвязавшись от сумасшедшего билетера, они шагнули в пасть. Там, в уютной полутьме, их ждал прекрасный, смешной, чудесный черт с отличными рогами. Там летал добрый ангел-хранитель, шелестя могучими крыльями. Там на табличке скалился великолепный череп, пробитый замечательной молнией. Двое пугались до икоты, хохотали до слез, Он отмахивался от черта тросточкой, Она удерживала пекинеса, желающего цапнуть ангела за пятку, аттракцион гудел церковным органом, на котором безумец-музыкант свингует хорал Баха в ожидании хрипатого трубача с трубой из чистого золота...

Оба загрустили, когда аттракцион закончился.

— Пойдем в кафе?

— Пойдем!

— Молодые люди, купите букетик!

Сгорбленная старушка протягивала им цветы. Фейерверк гвоздик, сиреневых, белых и бордовых, завернутых в целлофан. Старушка улыбалась, глядя на двух молодых людей, вышедших из «Иллюзиона «Кромешный ужас». Выбравшихся в парк, где их ждал ноябрь, один из многих прекрасных ноябрей, уходящих вдаль, в бесконечную аллею жизни.

Он хотел опереться на тросточку и понял, что забыл трость в лабиринте.

Она запрыгала по асфальту, расчерченному детскими «классиками». Рядом скакал маленький пекинес, оглушительно лая. Наверное, сбежал из дому, потерялся, бедняжка.

Возьмем его с собой, пусть у нас живет...

Двое еще долго гуляли по парку. Вместе с парнями у фонтана пили ледяное пиво, рискуя простудиться, и пели студенческие песни. Катались на «Сюрпризе», а потом ходили по-матросски, вразвалочку, потому что земля танцевала под ногами. Съели клюквенный мусс и выпили кофе со сливками. Поймали монету в миске со сметаной, набросили на штырь дюжину колец и выиграли слона из плюша, с хоботом и ушами. И наконец пошли домой, пугая слоном счастливого пекинеса.

Потому что самый страшный ужас, который страшней харакири, закончился.

Потому что один плюс один никак не два, а целых три, или даже три пятьдесят и две мятых бумажки сдачи.

А если вы не умеете считать, то возьмите калькулятор.

ПАНСКАЯ ОРХИДЕЯ

1

— Жалко, Ганна Петровна?

— Ой, жалко, Владислав Викторович!

Графский флигель ломали второй день. Никто не предполагал такого. Думали, ударят раз, два ударят — и прощай, панское наследство.

Не вышло.

Сначала забарахлил бульдозер, потом никак не могли найти бригадира, срочно укатившего по одному ему известной надобности. А когда наконец стальная «баба» врезалась в старую кладку, выяснилось, что одного удара мало. И даже двух мало, и трех. Крепки панские стены! Стоял флигель-золотопогонник прощальной памятью, словно наглядеться на мир хотел. Только не на что смотреть, ничего не осталось! Ни дома, ни парка, ни склепов мраморных, ни вековых дубов. Сгинуло — навсегда, и теперь жадное Время добирало последние крохи.

С утра начали по новой, на этот раз при куда большем стечении любопытных. Весть о том, что графский флигель не поддается, разнеслась по селу. Посевная еще не началась, поэтому народ собрался быстро. Набежало и детворы, благо на дворе каникулы. А где школьники, там учителя.

— Та я ж писала, Владислав Викторович! И в область, и в самый Киев. И в Москву писать думала. То ж памятник, ему два века целых!

— *Было* два века, Ганна Петровна. Увы!

Оба преподавали в школе, обоим — немногим за двадцать. На этом сходство заканчивалось. Физика Владислава Викторовича, прибывшего в Терновцы по распределению, никто даже в шутку не называл Славой. Парень был высок, сух в кости, носил очки и никогда не выходил на улицу без галстука. В свои двадцать четыре он уже стал завучем.

Ганну Петровну именовали с отчеством только детишки, и то не каждый. Она была «теткой Ганной», но чаще «биологичку» называли по имени. Плотная, розовощекая, кость от кости крепкого казацкого рода, Ганна Петровна носила почти в любую погоду белый платок, резиновые сапоги и плюшевую юбку.

Владислав окончил физический факультет университета. Ганна училась заочно в областном пединституте.

Тем не менее они сдружились. Настолько, что директор, мужчина с опытом, из тех, кто видел в жизни все, даже паленого волка, всерьез рассчитывал прикрепить молодого специалиста к школе до самой пенсии. Потому и завучем сделал.

Теперь оба, физик и учительница биологии, смотрели, как гибнет графский флигель.

— У нас в городе не лучше. — Владислав Викторович поморщился, наблюдая за стальной чушкой, раз за разом бьющей в непокорную кирпичную кладку. — Недавно дом в самом центре разобрали. Позднее барокко, восемнадцатый век. Старше Екатерины! Деятели!..

Над полем послышался дружный вопль. Стены наконец-то начали сдаваться.

— А какой маенток был! — вздохнула девушка. — Парк здешний выше Софиевки славился. Венера стояла знаменитая, ее еще Венерой Миргородской называли. А библиотека, что в панском доме? Книжками потом три года печи топили!

— Холопы сожгли родовое поместье, — тихо, ни к кому не обращаясь, проговорил физик.

Пыль понемногу улеглась. Рабочие в замасленных спецовках копались в груде битого кирпича.

— Молодежи — здравия желаю! — послышалось сзади.

Бравый участковый Остап Остапович, грузно ступая и придерживая портупею, пристроился рядом с учителем.

— Вам тоже, — неохотно кивнул физик. — Пришли пресекать?

— Если потребуется, и пресекать! — Участковый наставительно поднял вверх толстый палец. — А в целом — вести профилактическую работу. Вы бы за детворой смотрели, не ровен час...

— А помните, Остап Остапович, какой тут дом был? —внезапно спросила Ганна.

— Чего ж не помнить? — охотно согласился тот. — Его ж только в начале шестидесятых разобрали, так что застал. Красивый дом! Колонны, стекла цветные, крыльцо мраморное. У крыльца старого графа и расстреляли.

У физика еле заметно дернулось плечо. Участковый, однако, понял.

— Так времена же, Владислав Викторович! Злой народ был, панов наших ненавидел — страх. Их чаклунами считали. Помните «Вия» гоголевского? Говорят, будто все это именно в нашем селе и случилось. Байки, конечно...

— А во флигеле панском человека живьем замуровали! — резко бросила учительница. — И не байки это, а чистая правда. Я в книжке читала! А немец-управляющий на баштане вместо арбузов человечьи головы выращивал!

— Замуровали? В этом самом флигеле? Головы на баштане? — Физик настолько удивился, что даже снял очки, протер, после чего вновь водрузил на нос.

— В этом! — упрямо повторила Ганна. — В книжке было. Дивчину замуровали, кирпичом двери-окна заложили, только окошко оставили, чтобы еду подавать. Она там полвека горевала, бидолашная...

Между тем народ, убедившись в победе стали над камнем, начал понемногу расходиться. Лишь детишки, пользуясь моментом, не только остались, но и подобрались поближе, к самым руинам.

— От шалапуты! — нахмурился участковый. — Руки-ноги сломают, кого винить станут? А ты, Ганна, хлопцу голову ерундой не забивай. Говорю, байки это! Дивчина в камне, клад панский...

— Тут еще и клад был? — хмыкнул недоверчивый физик.

Словно в ответ над пыльными руинами, над широким полем пронеслось дружное: «Клад! Клад панский! Кла-а-а-ад!!!»

— Ага! — удовлетворенно заметил Остап Остапович, шагая вперед. — Вот и пресечем!

2

Сундучок распадался под руками. Вместо дерева и железа — труха и ржавчина.

Недовольно ворчащих рабочих попросили отойти. В качестве компромисса участковый оставил бригадира вместе с молодым небритым хлопцем, первым увидевшим, что скрывала заложенная кирпичами ниша.

Учителя тоже остались — в качестве представителей общественности.

Остап Остапович поудобнее устроился на принесенном ящике, достал из командирской сумки листок бумаги, привычно черкнул слово «Протокол». На большее его не хватило — служители порядка тоже люди.

— Ну, смотрим, что ли, граждане?

Небритый хлопец схватился за крышку. Бригадир сел на корточки, подался вперед, вытянув шею. Ганна хотела последовать его примеру, но поглядела на Владислава Викторовича и не решилась. Физик достал из пачки сигарету, не спеша размял и прикурил, даже не пытаясь подойти ближе.

— Вот! Вот!!! Эх!..

Руки, рывшиеся в недрах сундучка, отдернулись. Над развалинами пронесся тяжкий вздох.

— Мы-то думали, золото! А это вроде как бумаги...

— Покажите! — резко бросил физик, отшвырнув сигарету.

— Нет... Не понять. — Владислав Викторович встал, отряхнул пыль с пальцев. — Могу лишь предположить, что это были письма. Отдельные листы, следы чернил...

— Фиксируем, — бодро откликнулся участковый, водя карандашом по бумаге. — Значит, при визуальном осмотре в вышеизложенном сундуке найдены письма неустановленного содержания неустановленному адресату от неустановленного... Фу ты, плохо выходит!

— А тут еще! — Ганна, осторожно разбиравшая истлевшие листки, подняла руку. — Кажется... Флакон!

Стоявший поблизости бригадир дернулся, готовясь подбежать ближе, но, увидев, что девушка не ошиблась, разочарованно отвернулся.

— Фиксируем, — охотно отозвался Остап Остапович. — А также пустой сосуд, в скобках — флакон...

— Флакон не пустой, — перебил физик.

Ганна Петровна приглашала коллегу в гости не реже раза в неделю. Владислав Викторович не отказывался, и они подолгу пили чай, беседуя о новых методиках в педагогике. Мать Ганны, слышавшая обрывки разговоров, разочарованно вздыхала.

На сей раз до чая так и не дошло. Устроились в оранжерее, среди пахнущих цветов и огромных резных листьев. Что именно тут росло, Владислав Викторович даже не пытался предположить. Ганна охотно бы рассказала, но ее не спрашивали.

На маленьком деревянном столике лежал флакон. Пока закрытый.

— А вы не разобрали, чей там почерк? В письмах этих? — интересовалась Ганна Петровна, вытирая руки вышитым полотенцем.

— В смысле, не девичий ли? — догадался физик. — Послания от замурованной графини? Нет, не понять. Но если учесть, что флакон — от женских духов...

«Пустой сосуд, в скобках — флакон» им отдали. Он оказался не хрустальным — из обыкновенного стекла, да и крышечка не походила на золотую. Зато внутри...

— Думаете, все-таки семена? — Владислав Викторович недоверчиво поглядел на находку, качнул головой. — Похоже, но... Что толку? Им же лет двести!

— То ж и оно! — Ганна взяла флакон, поднесла к свету. — То ж такая находка! Как в Бельгии, в Антверпене-городе. Не слыхали, Владислав Викторович? Там целый ящик нашли — семян старых. Полтора века замурованные лежали. И все-таки выросли!

— Что-то слышал, — кивнул начитанный физик. — И вроде

бы в египетской гробнице тоже обнаружили, и тоже проросло. Вообще-то говоря, уникальный опыт, правда?

— И правда! Посажу, поливать буду, ухаживать!.. — радостно воскликнула биологичка. Настолько радостно, что Владиславу Викторовичу стало несколько неудобно. Ганна это заметила и смутилась.

Чай все-таки выпили.

3

— Ты бы зашел к Ганне Петровне, — внезапно предложил директор. — Чего-то, я тебе скажу, с ней не так.

Владислав Викторович недоуменно моргнул.

— Почему — не так? Мы с ней всего час назад виделись. На большой перемене.

— А все-таки зайди! — Директор, видевший паленого волка, нахмурился. — На чай напросись, что ли. Вы ж друзья!

Он был единственным, кто говорил физику «ты». Не просто говорил, но требовал, чтобы молодой завуч, в свою очередь, «тыкал» ему. Владислав Викторович, подумав, не стал возражать. В каждой касте свои обычаи.

— Зайди! — упрямо повторил директор школы. — Не шучу я.

Владислав Викторович вспомнил, что они с Ганной не пили чай больше месяца. Это была первая странность. Имелась и вторая: Ганна Петровна, прежде никогда ничем не болевшая, три раза брала бюллетень. Физик задумался и самокритично обвинил себя в черствости.

В гости он напросился неожиданно легко.

О методиках преподавания на этот раз не говорили. И ни о чем другом тоже — чай пился молча. Ганна казалась серьезной и очень спокойной.

Девушка действительно изменилась. В шумном школьном коридоре и в тесной учительской такое заметить сложно, но сейчас Владислав Викторович был вынужден признать, что директор прав. Ганна, всегда розовощекая и веселая, казалась бледной и странно повзрослевшей. Изменилось еще что-то, но наблюдательный физик при всем старании не смог понять, что именно.

Тактичный Владислав Викторович не настаивал на беседе, время от времени комментируя местную погоду. Конец мая выдался неожиданно дождливым, и обстоятельный завуч честно проанализировал данный феномен. Когда физик помянул антициклон над морем Лаптевых, девушка неожиданно резко подняла голову:

— Это орхидея!

Физик был готов растеряться и ответить банальным «Простите?», но — профессия обязывает. Владислав Викторович аккуратно поставил чашку на скатерть, усмехнулся:

— Хотите сказать... Неужели семена проросли?

— Орхидея! — строго повторила Ганна Петровна, вставая. — Пойдемте...

Орхидея оказалась обычным зеленым ростком, прилепившимся к куску старого дерева. С точки зрения Владислава Викторовича, конечно.

— Думала, не выживет. — Ганна Петровна осторожно подняла стеклянный колпак, укрывавший то, что выросло из старых семян. — Это же эпифит, а я вначале использовала обычный гумус. К счастью, вовремя сообразила, приготовила аэрируемый субстрат. Четыре компонента: сосновая кора, болотный мох сфагнум, древесный уголь и пенопласт. И коряжка, само собой. Хотела использовать блок, но коряжка надежней.

Физик снял очки и поглядел на коллегу с немалым уважением.

— К сожалению, остальные семена погибли. — Губы девушки резко сжались. — Если бы я знала с самого начала... Представляете, Владислав Викторович, ее — ту, что жила во флигеле, замуровали, и она скрыла в тайнике самое ценное. Письма и семена. Почему?

— Едва ли она сама, — уточнил дотошный учитель. — Сундучок нашли в нише, заложенной кирпичом. Его явно спрятал кто-то другой. Но вопрос «почему» вполне справедлив. Впрочем, насчет «замуровали» все-таки сомневаюсь.

— Орхидея, — вздохнула Ганна, не отводя взгляда от ростка. — Скоро я смогу сказать, какого она вида, из какой страны... Вы знаете, Владислав Викторович, это просто чудо! Орхидеи — самые удивительные цветы в мире. Вы, наверное, в курсе: их несколько тысяч видов...

Про орхидеи говорили больше двух часов.

В вечерних сумерках, докуривая последнюю сигарету возле калитки, физик понял, что еще не так с его коллегой. Речь! Прежде Ганна Петровна говорила точно так же, как и ее земляки, веками щедро смешивавшие родное наречие с хорошо знакомым русским. Теперь же студентка педагогического не только правильно строила фразы, но даже справлялась с непреодолимым для коренного украинца русским «г».

Подумав, он объяснил данный феномен усиленным чтением литературы об орхидеях. Вероятно, и бледность имела сходную причину. Молодая учительница увлеклась серьезным делом.

Гипотеза казалась вполне корректной, и Владислав Викторович успокоился.

4

На выпускной бал прикатили шефы — военные летчики. Как обычно, навезли подарков, поздравили растерянных десятиклассников и, конечно, не забыли оркестр.

Танцы!

Владислав Викторович стоял в сторонке. Он и в клуб на дискотеку не ходил, немало огорчая местных дивчин. А вот Ганна Петровна танцевать любила — и старое, чему мать научила, и новомодное, где положено руками махать. С сердцем плясала казачка!

Танцует школа, выпускники каблуки сбивают, учителя не отстают, даже директор, волка паленого видевший, гопака отбивает.

Но тут заиграли вальс. И не простой — белый танец. Засмущался народ, по углам разошелся. В городе такое привычно, у нас же...

— Вы разрешите?

Ганна Петровна улыбнулась коллеге. Владислав Викторович несколько растерялся, но привычным движением взял девушку за руку. Не перепутать бы! Первая позиция, третья...

Играет оркестр, кружат в вальсе физик и биологичка. Раскрыли рты выпускники, крякнул директор, за ус себя дернув:

— Лихо выводят! Как выправлю пенсию, быть Владиславу Викторовичу на моем месте!

Стихла музыка. Склонила голову Ганна Петровна:

— Спасибо...

Редкий случай: Владислав Викторович не сразу нашелся, что сказать.

— Вы... Ганна Петровна, где вы так научились вальс танцевать?

Девушка удивленно огляделась вокруг, словно впервые все увидев.

— Вальс? Да, конечно, вальс...

5

В следующий раз чай пили уже в сентябре. За окном лил дождь, загорелый на южных пляжах Владислав Викторович угощал коллегу привезенными из города «Ассорти», но главный подарок приберег напоследок.

— Как там наша орхидея? — ненароком осведомился он.

Ганна Петровна медленно кивнула, но ответила не сразу:

— Пойдемте!

Перед тем как отправиться в оранжерею, физик захватил принесенную с собой картонную папку с белыми тесемками.

— Что-то странное, Владислав Викторович. Перечитала я книги, в район ездила, в Москву писала...

Учитель огляделся, глубоко вздохнул. Резные листья, дурманящий запах неведомых цветов, изогнутые корни, рвущиеся из серой земли...

— Никто не знает! Неизвестный вид, есть только одно старое описание, еще позапрошлого века. Очень неточное, разве что форма листьев совпадает. Но не это главное. Смотрите!

Физик поглядел на то, что зеленело под стеклом. Растение и растение. Листья, конечно, красивые, острые.

— Она собирается цвести! Бутон видите?

Действительно, бутон. И немаленький.

— Орхидея готовится к цветению несколько лет. Лет! А тут — сразу!..

Посмотрел Владислав Викторович на коллегу. Она ли это, сельская дивчина с вечным румянцем? Лицо, речь... Даже пальцы другими стали — как листья у орхидеи.

— По цветам я не специалист, уважаемая Ганна Петровна, а вот насчет замурованной графини ясность внести могу. Был я в Киеве, в архив зашел. И представляете...

Развязал он тесемки, раскрыл папку, выложил бумаги на деревянный столик.

— ...Как видите, ничего романтичного. Дальняя родственница хозяина, с детства тяжело болела. Очень серьезные психические отклонения. В лечебницу сдавать не хотели — и поселили во флигеле. Действительно заперли, но что не замуровывали — точно. Вот и вся тайна.

Девушка взглянула на бумаги, задумалась.

— Это не тайна, Владислав Викторович. Всего лишь документ из архива. На самом деле было иначе.

— Романтическая интрига? — усмехнулся физик. — Она полюбила принца...

— Она полюбила того, кого *любить было нельзя*! — резко бросила Ганна. — Понимаете? Нельзя!

Владислав Викторович развел руками. К чему спорить с коллегой?

— Рискну лишь предположить, что от тоски бедняжка и в самом деле разводила орхидеи. А письма ей могли писать родственники — чтобы меньше скучала.

Ганна Петровна покачала головой, не сводя глаз с таинственного цветка:

— Нет, нет... Все иначе. Случилось что-то страшное, темное! А орхидеи... Она понимала, что живой ее не выпустят, письма не передадут, бежать не помогут...

Физик еле сдержал улыбку и тоже поглядел на зеленый росток. Оказывается, и биологи чувствовать умеют!

— Все может быть. А хотите знать, как звали нашу затворницу?

Он достал еще одну бумагу, но не из папки — из внутреннего кармана. Главный, так сказать, сюрприз.

— Анна, — тихо проговорила учительница. — Ее звали Анна.

Рука с бумагой дрогнула.

«...Зигмунд Карлович скоро показал себя верным слугой и рачительным хозяином. Сам ни копейки не крал и других к покраже не допускал... Но особенно Зигмунд Карлович преуспел в обустройстве парка. Выписаны им были цветы из Англии, а туда они попали из Индии; те цветы очень нежные, солнца боятся и тени боятся, холода боятся и жары не переносят. Зигмунд Карлович сосновую кору в котле вываривал, на болото за торфом людей посылал и корни папоротника специальным ножом резал, приносил какие-то щепочки и все это сушил и накладывал в корзины, а корзины ставил на клумбу и накрывал стеклянным колпаком... Дядя Николай Игнатьич не верил, что у немца что-то путное выйдет, но, поскольку потворствовал Зигмунду Карловичу, то и не прекословил.. Иное дело Анна Петровна — та через скуку деревенскую помогала немцу цветы теплой водой поливать и опрыскивать и скоро так к этому делу приспособилась — не хуже немца садовничала... Он, бывало, звал ее в шутку — панна Орхидея...

Зигмунд Карлович, на спокойном месте сидючи, скоро раздобрел, заматерел. Хотел пан жену ему подыскать — а тот уперся, и ни в какую. Добро бы девок портил — а то нет. Не было за ним такого дела...

Деревенские его боялись. Народ у нас темный да дикий — услышат «немец», сразу давай креститься...

А когда из Лондона господа понаехали — тут, помню, много было охов да ахов. Зигмунд-то Карлович новый какой-то цветок вывел, «орхидею». Англичане все по клумбе ползали, листья измеряли, цветы в книжечки перерисовывали. А потом, помню, дядя гостей созвал со всей округи и поведал, что, мол, новый цветок в честь Анны Петровны назвали...

Бедняжка Анна Петровна, как вспомню, душа щемит. Увезли меня тогда в Киев, а потом и в Петербург, но матушка всякий раз, когда из имения письма получала, плакала и свечки ставила за спасение души рабы Божьей Анны...»

Владислав Викторович осторожно сложил листок бумаги. Пожелтевший, в завитушках сизых от времени чернил.

— Что это? — тихо спросила Ганна Петровна.

Владислав Викторович вздохнул.

— В библиотеке нашел, в запасниках... Пылищи! Уговорил

Оксану Васильевну, пустила она меня к тем трем с половиной книгам, что от панской библиотеки остались...

Ганна Петровна подняла глаза:

— Что-то осталось все-таки...

— Да. — Владислав Викторович вздохнул снова. — И там между страниц... остатки семейного архива. Пара листочков, и надо же, как повезло, — о вашей орхидее...

— Повезло, — эхом откликнулась Ганна Петровна.

Владислав Викторович сложил листок в папку вместе с другими. Завязал белые тесемки — аккуратно, на «бантик».

— Ганна Петровна... Вы-то откуда знаете, что затворницу Анной звали?

6

— Беда, Владислав Викторович, — угрюмо сказал директор.

Ганна Петровна вот уже три дня не выходила на работу. Болела.

— Мать у меня только что была... Ее мать, Ганны. Говорит, неладно дело... Сидит, говорит, Ганнуся в оранжерее сиднем... И не говорит ни с кем. Не ест, не пьет... В кровать не ложится... Спрашивала, что делать?

Владислав Викторович ждал несчастья. Хоть себе не признавался, но в душе — ждал. С того самого последнего чаепития.

— Что делать, Владислав Викторович? — Директор смотрел требовательно и как будто обвиняюще. Чуял директор, видевший паленого волка, что случилось между молодыми коллегами неладное — тогда еще. В сентябре.

— Последний урок. — Физик посмотрел на часы. — А там... Не звали меня, правда, но готов идти непрошеным.

В доме биологички пахло валерьяновыми каплями. Непривычный в этих стенах, панский запах. Мать Ганны встретила Владислава Викторовича настороженно: подозревала, вслед за директором, что лихая перемена с дочерью случилась не без участия молодого коллеги.

— Ганнуся! — крикнула с фальшивой веселостью. — Гости к тебе!

Физик содрогнулся, переступив порог оранжереи. Тут царил густой аромат — сладкий, томный, от него мутилось в голове. Владислав Викторович споткнулся о собравшийся в складки половик у двери...

Ганна Петровна сидела перед расцветшей орхидеей. Светло-фиолетовый цветок тянулся к ее лицу раздвоенным язычком. Ганна Петровна смотрела на коллегу с удивлением и страхом.

Лицо ее казалось бледным, как лепестки орхидеи, страдальческим и незнакомым.

— Ганна Петровна, — пробормотал Владислав Викторович. — Ганна... Прошу прощения, что без приглашения... Но все так о вас тревожатся... Анна... Петровна...

И, не понимая до конца, что делает, опустился на одно колено, взял белую тонкую ладонь в свои, загорелые и крепкие, приложился губами к синей жилке на тыльной стороне ладони.

Девушка не пыталась остановить его. Не вырвала руку, не выказала ни малейшей неловкости. Наоборот: странный поступок физика вдруг пробудил в ней доверие. Во всяком случае, теперь она смотрела без страха — на смену ему пришла слабая надежда.

Запекшиеся губы шевельнулись:

— Кто... вы?

— Какой отпуск? — бушевал директор. — Начало учебного года — и отпуск?! Не ждал от Ганны такого... Кто мне сейчас биологичку найдет? Кто программу выполнять будет? А?

— Не может она работать, — в пятый раз говорил Владислав Викторович, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — И на сессию не поедет — академотпуск возьмет...

Директор неожиданно угомонился. Сел за стол, переложил туда-сюда пару отпечатанных на машинке бумаг.

— Ты мне смотри, — сказал, поглядывая на завуча исподлобья. — Не дай бог окажется, что ты в этом деле... В больницу она ездила? В район?

Владислав Викторович, оскорбленный глупым подозрением, не смог сдержать горькой улыбки.

— Что ты лыбишься?! — снова вскипел директор.

— Если бы все было так просто, — искренне признался Владислав Викторович. — Если бы.

7

— Здесь была клумба, — сказала Анна Петровна.

Они стояли посреди поросшего крапивой пустыря. Неподалеку темнели развалины флигеля — хотели там гаражи ставить, но слишком сложно оказалось и дорого, старый фундамент засел в земле, как корень гнилого зуба. Пораскинули смету, копнули два-три раза экскаватором — и оставили до лучших времен.

— Там — каштановая аллея... А здесь дубы. В низинке — пруд. Вербы... Лебеди... Лилии...

На дне ямы и сейчас темнела вода. Владислав Викторович наклонился, пытаясь увидеть свое отражение. На секунду пове-

рилось — там, в нечистом зеркале, могут на секунду проявиться и вербы, и лилии. Отражение того, чего больше нет...

— Анна Петровна. — Он крепче сжал ее руку. — Вам не холодно?

— Благодарю вас. — Тихая улыбка. — Вы... спасибо.

— Я должен признаться. — Он волновался. — Я... обманул вас тогда, когда принес листок якобы из библиотеки... Он из моего семейного архива. Бабка, скитаясь по поселениям, сундучок все-таки сберегла...

Она смотрела непонимающе.

— Пан, которого расстреляли на крыльце этого дома... приходился мне двоюродным дедом. По линии Матюшкевичей, ольшанских театралов... вы, наверное, слышали?..

Она вдруг поднялась на носки. Положила ладони ему на плечи:

— Владислав Викторович! Я знала... я догадалась с самого начала, как только вы вошли... Вы единственный человек, кто мне в этом мире не чужой!

Учитель физики влюбился.

Даже не так: учитель физики заболел.

И днем и ночью его преследовал запах орхидей. Он отвлекался на уроках и забывал, зачем вызвал к доске ученика. Он метался под тонким «солдатским» одеялом, и во всех снах его было одно и то же. Он желал учительницу биологии.

Он являлся к ней каждый день, приносил кулек печенья, сладкую плитку «Пальма», конфеты-батончики, упаковочку чая. Мать накрывала на стол — и втихомолку жаловалась гостю, что Ганнуся, прежде такая работящая, теперь не желает помыть даже чашки. С тех пор как платье себе пошила (извела, между прочим, три метра синего шелка, дорогая материя), так и сидит сложа руки, все смотрит на свою орхидею...

Пили чай.

Потом коллеги уединялись в оранжерее, где топор можно было вешать в густом аромате орхидеи. Этот запах пьянил пуще прежнего, сводил с ума. Анна Петровна в новом шелковом платье усаживалась на складной стульчик, а Владислав Викторович опускался перед ней на одно колено — и целовал ей руку.

От кончиков пальцев. От розовых длинных ногтей. Выше и выше. Каждую складку, каждую линию, каждый едва различимый волосок... Влажную теплую ладонь. Запястье. Сгиб локтя...

Ему казалось, что земля под ним разверзлась и падению нет ни конца ни края. Ни одна женщина никогда на свете, включая и Анну до ее странного перерождения, не вызывала у него ни тени подобных чувств.

И осознание того, что она, может быть, умалишенная, не отвращало его. Наоборот — сильнее кружило голову.

— Анна Петровна... Смешно вспомнить... Бабка рассказывала мне об этом, как его... Зигмунде Карловиче странные вещи. Она была атеистка... убежденная. Но когда о нем говорила, крестилась...

Насмешливая улыбка. Чуть заметная складка между бровей.

— Зигмунд... Он был из породы тех людей, которые, однажды чем-то перенявшись, готовы жизнь положить за свое увлечение... Душу отдать.

— Душу? — механически повторил Владислав Викторович.

Происходящее казалось ему попеременно то игрой, то сумасшествием, то подарком судьбы. Верил ли он, что перед ним — панночка, жившая двести лет назад?

Анна Петровна засмеялась:

— Это фигура речи, вы понимаете... А боялись его потому, что... знаете ли, в народе странное такое представление... Как «немец», так сразу «черт». Дикари...

В темных глазах девушки появилось странное выражение.

— Быдло... Свиньи. Не понимаю, как вы живете среди них? Как учите их детей? Чему их можно научить?

— Анна Петровна... Как же...

Ее лицо было очень близко. Он чувствовал запах — сладкий аромат орхидеи.

— Корни, Владислав Викторович... Корни связаны с цветами, цветы с корнями... Вот так...

Она поднялась на носки. Он понял, что сопротивляться не может и не хочет. Панночка, нежная и жадная панночка обвила руками его шею, и учителю физики в одночасье померещились лебеди в пруду, свечи, оплывающие, плывущие по воде в чашечках лилий...

И дурманящий запах. И сладкое, как мед, вязкое счастье, из которого не хочется выбираться, в котором хочется уснуть навсегда.

Стояла ночь. Он шел по саду. Ветра не было, не дрожали листья, ветки кустов распростерлись над землей совершенно неподвижно. В безветрии плыл сладкий, дурманящий, невозможный запах, хотя он знал: у орхидей сейчас период покоя, они спят, накрытые стеклянными колпаками...

Это вовсе не сад! В садах не глядят из-за каждого куста покосившиеся кресты. Недавно кончились «проводы», кресты увешаны рушниками; казалось, обитатели могил вышли под небо и светят белыми сорочками.

Он остановился возле неровного холма. Крест над могилой возвышался старый, но земля пахла остро, свежо. Вчера он почти добрался до цели...

Он скинул с плеча лопату, спрыгнул в неглубокую яму, скрипнули камушки под лезвием...

Кто он? Зачем он здесь? Чем это пахнет?!.

...Директор, мужчина с опытом, вызвал физика к себе и плотно дверь закрыл. В окошко глянул, не крутится ли кто поблизости.

— Что происходит, дорогой мой? Ганна запанела совсем, в школу носа не кажет... Обидели ее чем? И ты вот... с тела спал, отощал, как скелет. Ходишь как сновида, отчеты вовремя не подаешь... Что там у вас творится, а?

Владислав Викторович молчал, сложив губы в презрительную ниточку уголками книзу.

— Мать ее побаивается, — продолжал директор, не глядя на него. — Говорит, не узнает Ганну. Мать родная не узнает!

Владислав Викторович смотрел мимо...

— Вы, — сказал директор после паузы, легким холодком в голосе подчеркивая это непривычное «вы», — в бумагах-то порядок наведите... Говорил я с Марией Васильевной. Она завучем пятнадцать лет работала и еще согласилась поработать... Биологию сам веду, так и за физику браться? Черт знает что такое!

Владислав Викторович кивнул, равнодушно глядя за окно.

Он шел по узкой аллее и нес что-то в узелке.

Содержимое узелка тихо постукивало в такт шагам. Он плотнее прижимал ношу к бедру.

Руки — в земле и глине. И запах, запах...

Вот и клумба. В небе ни звезд, ни луны, только белеет неясно светлое женское платье...

Однажды на уроке бумажный самолетик клюнул физика в лоб, выведя из задумчивости. Он огляделся: класс занимался посторонними делами, на доску не смотрел, но беда была не в том.

Он вдруг на секунду очнулся.

Последние месяцы слились в одну длинную ночь. Он засыпал все крепче, одурманенный запахом орхидей. Подобно тому как стальная «баба» разрушила старый флигель, любовь к паннночке разрушала его — и снова восстанавливала, но уже в другом качестве.

Ему виделись сны из чужой жизни.

Вечером поклялся себе, что не пойдет сегодня в гости к Анне Петровне.

И все равно — не удержался и пошел.

— Анна Петровна... Простите мою бестактность...

Панночка смотрела печально и беззащитно.

— Я прошу прощения, но... Не могли бы вы все-таки сказать, что случилось... тогда... во флигеле? Из-за чего произошла... трагедия?..

Она подняла ко лбу тонкую, белую, почти прозрачную руку. Коснулась переносицы.

— Холопы оклеветали меня. Холопы... Зигмунд меня любил. Безответно, вы понимаете... платонически... Единственный светлый человек среди всей этой мрази. Провинция, дикие, жестокие нравы... Он любил цветы. Он называл меня своей Орхидеей... Они оклеветали его... и меня.

Зависла пауза.

За стеклами оранжереи носились снежинки. Стекла, обмазанные замазкой сверх меры, подрагивали в рамах. Дремала орхидея под стеклянным колпаком, над ней бессонно горела, возмещая недостаток зимнего солнца, настольная лампа. Физик ежился, но не от холода.

— Вы писали письма? Кому?

— Себе, — устало улыбнулась панночка. — Потомкам... Кому я могла писать? Я знала: живой меня не выпустят, письма не передадут, бежать не помогут...

Владислав Викторович нахмурился, вспоминая, как здесь, в этой оранжерее, совсем другая девушка произнесла те же самые слова...

Будто прочитав его мысли, панночка встала. Шагнула ближе. Положила руки на плечи. Ее взгляд парализовал. От ее запаха сбивалось дыхание.

— Корни, Владислав. Корни во тьме... Для того, чтобы цветок видел солнце. А корни там... где тлен .

Он понял, что не может сопротивляться.

«Существует около ста тысяч видов и сортов орхидей... Среди них есть наземные растения, лианы, эпифиты... Эпифитам не нужен грунт — только специальный субстрат, основными качествами которого являются достаточная влагоемкость, воздухопроницаемость и длительный период разложения... Из естественных компонентов для составления субстрата для орхидей используют мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников, кору хвойных деревьев и древесный уголь. Кора сосны — основной компонент универсального субстрата, ее предварительно необходимо проварить, а затем хорошо высушить и измельчить...»

Он склонился над свежей ямой. Трухлявые доски поддавались тем не менее неохотно.

Это нужно не ему — это нужно корням. Корням, питающим небывалый цветок. Это нужно его Орхидее...

— Чур тебя! Чур тебя! Спаси и помилуй... Вурдалак!

Чужие тени, вырастающие из-за крестов.

— Спаси и помилуй...

— Хлопцы! То немец! Немчура проклятая, попался, рыжий!

— Куда? Куда?! Хватай!

Хлещут ветки по щекам. Плывет над кладбищем приторный запах.

10

— Остап Остапович, — сказал физик, стараясь не встречаться глазами с участковым, — а бумаги... Помните, сундучок, который во флигеле тогда нашли... где он?

— А в каморе, — беспечно отозвался участковый. — Хотели в район отправить. Так хлам ведь, а не бумаги, ничего не разобрать, черт ногу сломит — с таким возиться...

Владислав Викторович невольно поднял руку ко лбу. Опомнившись, сделал вид, что поправляет прилипшую к коже прядь волос.

— Как же в каморе, Остап Остапович? Мыши поедят!

— На здоровьечко. — Участковый пожал плечами. — Владислав Викторович, на вас прямо лица нет! На что вам эти бумаги?

— Для краеведческого музея, Остап Остапович. В школу...

— Ну так и берите. Так и запишем: переданы для хранения в краеведческий музей под личную ответственность...

Физик не слушал. Колотилось сердце, бухало в висках, и в прокуренном пыльном участке возникал и разливался запах орхидей.

От слипшихся бумажных листов веяло тленом. Стол был уставлен банками и кастрюльками, и надо всем этим возвышался баллончик с фреоном — остатки импортного дезодоранта, привезенного еще летом из Киева. С баллончиком ничего не вышло — но Владислав Викторович, не сдаваясь, соорудил самодельный пульверизатор из двух алюминиевых трубок. Разводил белки яиц, растирал крахмал, готовил эмульсию из талька — детской присыпки, разбавлял молоком. Несколько листов от его экспериментов погибло окончательно, но потом Владислав Викторович наловчился все-таки покрывать бумагу защитной пленочкой, способной ненадолго остановить разрушение.

Листы высохли. Владислав Викторович убрал склянки со

стола, раскатал тугой рулон ватмана, поставил сверху настольную лампу.

В клубе нашлись цветные фильтры — листы разноцветной пленки. Клятвенно пообещав завклубом, что вернет «цветомузыку» к ближайшей дискотеке, физик утащил добычу к себе домой и взялся просматривать листы в отфильтрованном свете.

Стали видны отдельные слова. Буквы наползали друг на друга, будто писавший был слеп или жил в темноте. *«...Боже... будет... когда...»* Еще какие-то слова и обрывки слов. Владислав Викторович смотрел и смотрел до боли в глазах. Текст по-прежнему не поддавался прочтению, но Владислава Викторовича беспокоило не это.

Тот, кто писал истлевшие от времени письма, пользовался современной Владиславу Викторовичу грамматикой — без «ятей». И начертания букв выглядели знакомо. Иногда ему казалось, что...

Оставив работу и выключив лампу, он бросился в школу, в учительскую. Вытащил журнал шестого класса, развернул на первой странице — сентябрь, второе, тема урока...

У Владислава Викторовича потемнело в глазах. Он сел на шаткий скрипучий стул и просидел так, наверное, не меньше получаса. Из оцепенения его вывел возбужденный детский голос за приоткрытой дверью:

— Владислав Викторович! Скорее! Там у вас все сгорело!

Баба Мотря, хозяйка, ругалась на чем свет стоит. По ее словам выходило, что Владислав Викторович, уходя, навесил на настольную лампу «какой-то мотлох», вот оно и загорелось. По счастью, сгорело далеко не все. Сгорел старый письменный стол, стул и пиджак на спинке стула. «Цветомузыка» сгорела с особенно вонючим дымом; бумаги, разложенные на столе, сгорели подчистую вместе с остатками чернил, вместе со словами, которые удалось прочитать...

Баба Мотря ругалась и причитала.

А Владислав Викторович отлично помнил, что, уходя, выдернул шнур лампы из розетки.

11

«Корни должны быть во тьме, чтобы цветок видел солнце».

Стоял январь. Земля задубела. Учитель физики бил и бил заступом, непривычные к такому труду ладони скоро взялись красными мозолями.

Здесь ли располагалась клумба? Здесь! Ее показывала панночка в самый первый их вечер.

Выбившись из сил и одновременно немного успокоившись,

он натаскал хвороста и разложил костер — по кругу, кольцом. Прибежали любопытные мальчишки с соседней улицы: физический опыт, да?

Не стал их гнать. Не хватило сил, да и прогонишь ли? Сидели у огня, грели руки, рассказывали, какая елка была в клубе да какие конфеты оказались в подарке — тянучки, ириски, один «Красный мак» и один «Мишка»...

Костер прогорел. Учитель физики раскидал угли, мальчишки помогали. Один спросил несмело:

— Владислав Викторович... Вы клад шукаете?

Было темно и очень холодно. Бульдозер тарахтел мотором и вонял солярой. Белые лучи фар уткнулись в бывшую клумбу — развороченные комья мерзлой земли.

— Фиксируем, — бормотал Остап Остапович без тени обычной бодрости. — При визуальном осмотре обнаружены человеческие черепа... три... четыре... а бис их знает, темно... Кистевые кости рук... Ох, матинко...

— Фашисты, — неуверенно предположил бульдозерист. — От немцев осталось, наверное... В прошлом году фугас вот так же выкопали...

— Нет, — тихо сказал Владислав Викторович, которого била крупная дрожь. — Этим останкам не десятки лет. Почти двести.

— Может, скифский курган? — живо предположил семиклассник, невесть как протолкавшийся в толпу взрослых и до сих пор не изгнанный домой.

Историю в школе преподавала суровая старушка Мария Васильевна. Владислав Викторович покосился на семиклассника — и вздохнул.

Стекла оранжереи подернулись узорами. Панночка в телогрейке поверх синего шелкового платья сидела перед маленькой кирпичной печкой. Жестяная труба тянулась за окно.

— Что делал Зигмунд на кладбище?

Панночка молчала. Отсветы огня странно ложились на ее лицо, тонкое и бледное, как цветок орхидеи.

— Где Ганна? — Владислав Викторович чувствовал, как садится голос. — Где она теперь?

— Вас волнует судьба этой холопки? — тихо спросила панночка. — Вас, потомственного аристократа?

Владислав Владимирович сжал кулаки. Дотянуться бы до тонкой шеи, хрупкой, как стебелек цветка...

Он знал, что не посмеет.

Панночка поднялась (телогрейка упала на пол). Сделав несколько шагов, остановилась перед учителем. Положила руки ему на плечи.

— Вы ничего не сможете сделать, Владислав.

У него кружилась голова, с каждой секундой все сильнее.

— Вы ничего не сможете сделать. Зигмунд многому научил меня. Холопы слабы и несвободны... Вы видели, как кирпичом закладывают двери... видели — изнутри?

Владислав Викторович сделал попытку освободиться — безуспешную. Густой сладкий запах забивал дыхание. Руки висели вдоль тела, как ватные.

— Зигмунд знал все. И все предвидел... Я любила его, Владислав, как никогда не полюбила бы вас. Зигмунд учил меня жизни — и учил меня смерти... Я принадлежала ему и принадлежу теперь. Они... они выследили нас... Это было ужасно, ужасно — когда света становится все меньше!.. Когда кирпич ложится за кирпичом. И вот наступает полная тьма... Но Зигмунд не умер. Он никогда не умирает. Это он привел вас на место бывшего родового поместья. Он сделал так, чтобы орхидея проросла. И вот я вырвалась вслед за ней! Да, на чужих костях... Все в мире растет на чужих костях... Всегда...

Она провела ладонью перед его лицом. Он понял, что сейчас потеряет сознание.

— Холопы повинуются, — тихо продолжала панночка, — когда говоришь с ними на языке приказа. И вы забудете все, что я вам сказала. И вернетесь в свою жалкую школу, и навсегда...

Сквозь муть, опутывавшую разум и тело, учитель физики увидел вдруг классный журнал на столе в учительской. «Сентябрь, второе. Тема урока — семейство крестоцветные... растение сурепка...»

Округлый, мягкий, очень разборчивый почерк. Точно такой же, как на погибших письмах из замурованного флигеля: *«Боже... будет... когда...»*.

И тогда он рванулся. Сбросил с плеч руки панночки. Секунда — и руки оказались у него на горле. Потемнело в глазах...

Зазвенело стекло, полоснуло болью по локтю, привело в сознание. Владислав Викторович оторвал чужие пальцы от горла, кинулся вперед, схватился за «псевдобульбу» — утолщенный стебель орхидеи...

— Не смей! Не смей! Быдло!

Визг, не имеющий ничего общего с человеческим. Холодные пальцы вцепились теперь уже в лицо, в глаза, в щеки...

Он закричал — не то от боли, не то от отвращения — и упал, продолжая сжимать в кулаке влажную мякоть растения.

— Та шо ж це! Та шо ж це! — причитала мать Ганны, ворвав-

шись в оранжерею и кинувшись первым делом к дочери. — Ганнуся! Ганнуся!

Владислав Викторович огляделся, как слепой. Весь пол усеяли осколки стеклянного колпака. По руке бежал, скапывал на пол теплый ручеек. То ли порез оказался глубоким... то ли псевдобульба, носившая на себе фиолетовые цветы, была напитана кровью.

Панночка в синем шелковом платье пошевелилась среди осколков. Подняла голову. Владислав Викторович отшатнулся, готовый обороняться, готовый спасаться бегством, если получится...

— Владислав Викторович, — прошептала девушка. — Там было... так... темно...

Остатки орхидеи лежали на полу. Печка по-прежнему отбрасывала красные отсветы на лица, на рамы, на зимующие растения, укутанные наволочками.

— Ганна... Петровна? — спросил учитель, будто не веря своим глазам.

Девушка смотрела на него не отрываясь.

Сквозь треснувшую форточку в оранжерею врывался морозный воздух, тянул сквозняком через открытую дверь, вымывал навсегда сладкий, томный, удушливый запах орхидеи.

Пентакль на погонах, пятерка в кармане,
Пятак неразменный кассиршу обманет,
А «Pentium» дремлет в двоичном тумане
И видит себя алтарем,

Где боги не рады дарованной манне,
Где люди запутались в пестром романе,
Где время течет не часами — томами...
Мы — скажем?
Не скажем?
Соврем?!

Присядь под часами, свернув с полпути,
Взгляни — на часах уже пять без пяти.

КАЗАЧЬЯ КРОВЬ

1

— Внук ваш приехал, — сообщила соседка. — В жипсах.

Я тогда как раз с партсобрания возвращался. Не один, понятно, в коллективе. Уж очень хотелось нам о закрытом письме ЦК всерьез потолковать. Еврокоммунизм — это вам не шутки, над ним прямо-таки Троцкий ворожит!

Но — не пришлось. Не каждый месяц ко мне внук жалует. А если точно, не жалует Мыкола деда своего, меня то есть, в принципе. Разные у нас мировоззренческие установки! Настолько, что даже мой Ярчак готов ему «жипсы» порвать. А ведь добрейший пес, никого из земляков за всю свою собачью жизнь не тронул. Я и калитку-то перестал закрывать. Дивно выходит: вроде и кровь у нас с Мыколой одна, и крестили одинаково. А все врозь.

Возле калитки я его, Мыколу, и встретил. Как поглядел, так сразу понял: плохо. Стоит, бедолашный, голову опустил, кедом в пыли ковыряет. Меня увидел, вздохнул грустно:

— Салют, дед!

— Гутен таг, внучек, — вздыхаю в ответ, тоже по-иностранному. — И чего на этот раз?

Не спрашивал бы, так знаю — без крайней нужды не приедет. Эх, плохо, что родителей рядом нет! Сидят в своем Норильске на стратегическом комбинате, деньги по почте переводят — и раз в три года в гости заглядывают. Вот и воспитался мой Мыкола, как вьюн у тына. Хотел я его в село забрать, уму-разуму подучить, так где там! Теперь же, когда внучек мой в институт поступил, так и вовсе забросил деда.

Но ведь приехал! Да не в каникулы — октябрь на дворе.

Завел я хлопца в хату, хотел ему борща насыпать, а он отмахнулся, на лавку упал.

— Выручай, диду! Совсем беда. Спрячь меня, что ли...

Пока рассказывал, пока борщ наворачивал, я все понять не мог. Не укладывалось.

— В милицию ходил?

Мыкола только головой помотал.

— Что скажу? Что в запрещенной секте состою? Все отопрутся, я виноват останусь, а Ленку зарежут — после того, как поиздеваются всласть. И меня же засудят. Умеют они это!

Слушал я его и закипал понемногу. Не хуже чайника на примусе.

— Сатанисты, значит? — не выдержал наконец. — Дожили! Дед партийный, отец партийный, ты — в союзе молодежи... Советская власть восьмой десяток лет разменяла, а они нечисти рогатой поклоняться начали! Ну не позор ли? И где ты эту нечисть видел, внучек, а? Вокруг оглянись, посмотри, протри глаза. Может, твой дед-орденоносец — ведьмак?

Покосился Мыкола на меня с тоской. А я не отстаю, позорю:

— Еще скажи, что агроном наш, товарищ Извиров, — черт из самого пекла, к нам командированный. Потому и шляпу не снимает, рога прячет.

Попытался мой внучек вставить что-то про разницу между религией и суеверием, но меня не собьешь.

— Соседка наша, тетка Горпина, пенсионер республиканского значения, само собой, ведьма. Так, что ли? А тракторист Петро — вообще потопельник, в речке живет. Дикость в голове развел, а еще студент! Вам что, в институте научный атеизм не читают?

— Еще нет, диду, — насупился Мыкола. — На четвертом курсе будут... Только при чем здесь твой атеизм? Так получилось. Мы с Ленкой и не думали ни о чем плохом. Кружок у нас в институте организовался, историю религии изучали. Собирались с хлопцами, картинки смотрели, слайды. Интересно было: тай-

ные культы, мистерии всякие. А потом этот главный, он себя Велиаром называет, предложил поставить опыт...

Дал бы я ему по шее, негоднику, так нельзя. Родная кровь все же.

— Ленку хотят через обряд провести. И меня хотели. Обряд — это когда кровью Сатану вызывают...

— Типун тебе! — ударил я кулаком по столу. — Поминаешь еще, комсомолец! Лучше скажи, почему этот Велиар вас выбрал? Или ему Олена твоя понравилась?

Кивнул, к стене отвернулся. Значит, не ошибся я.

— Диду, мы же не верили, что все взаправду! А когда поняли... Я сбежал, Ленка не успела. Ее где-то прячут, грозят, что через два дня... Все понимаю, самому стыдно! Трус я, девушку свою бросил, тебя, старика, подставляю...

Поглядел я на него, подивился. И в кого Мыкола такой вырос? Вроде не в батьку, не в деда-прадеда. И не в прапрадеда тоже.

— Меня? Думаешь, сюда коза нострая пожалует по мою душу? Меньше надо итальянских фильмов смотреть, внучек. А что дивчину свою бросил, то и вправду негоже. Не бывало у нас в роду подобного сраму. Считай, все пращуры твои в домовинах сейчас корчатся.

Опустил он голову, лбом о скатерть ткнулся — да и заплакал. Что с такого взять?

— Ладно, — решил я. — Спрячу тебя, дурня, от греха. В хате посидишь, книжки почитаешь, поумнеешь слегка. Ярчак за тобой присмотрит, не пропадешь. А теперь давай-ка еще раз, с подробностями. Кому это там казачьей крови захотелось?

Вот уж не думал, что после партийного мне еще одно собрание предстоит. Но делать нечего. Повесил я на тын разбитый горшок, трещиной в сторону улицы повернул. Сумерки, конечно, не разглядишь ничего.

Однако, если подумать, так даже лучше. Кто надо — тот увидит.

2

— ...Вот, значит, какая карусель, — подвел я итог. — Что делать станем?

Все у тетки Горпины собрались, не опоздал никто. И агроном товарищ Извиров, и Петро-тракторист, и Галька с фермы, и мельник Павло Захарыч. Хоть и не там мысли мои были, а все ж обрадовался. Порядок в танковых частях! Не зря воспитывал.

— И кто чего скажет?

Молчат, на меня смотрят. На меня — и на товарища Извирова. Встал наш агроном, шляпу снял, почесал между рогами.

— Чужая юрисдикция, дядько Мыкола. Строго сейчас с этим! Сами знаете, шаг влево, шаг вправо... В городе вообще — страх, меня туда святой водой не загонишь! А Велиар... Есть такой, только мне не по зубам.

Сказал, называется!

— А может, я ему просто глотку перекушу? Велиару этому? — вскочила Галька. — Я-то на клыки не жалуюсь!

Молодец, Галька! Огонь-дивчина, никакая осина не возьмет!

— Не поможет, — сморщился товарищ Извиров. — Губы опалишь, а ему разве что на здоровье. Из новых он, нахальных самых. Про обряд я тоже слыхал. Никакой это не обряд, не вызывают там никого. Зато власть свою над хлопцами и девчатами показывают, ужас наводят. И заодно кровью повязывают — намертво. Мы, конечно, пожаловаться можем, но...

— Негоже, ой негоже! — засопел Петро-тракторист, кудри, мокрые от речной воды, ероша. — Своих резать начали. Не по обычаям!

— Делать-то что будем? — напомнил я. — Бумагу писать поздно, не спасем дивчину. Какие предложения, уважаемый ковен?

Переглянулись, вновь на меня посмотрели. И так всегда. Привыкли, что за них старшой думает. А потом говорят, будто я инициативу давлю!

— Город большой, — неторопливо начал мельник Павло Захарыч. — Но притопить все-таки можно. Будет им Венеция!

— Дело! Дело! — зашумели все. — Покажем городским! Нечего обычаи ломать! Притопим!..

Особенно Петро горячился. Неравнодушен он к воде — особенно после того, как вместе с трактором с моста навернулся. А я свое думаю. Крепкий у нас в селе народ, но в таком скользком деле не одна голая сила нужна. Времена сейчас иные, на рожон не полезешь.

— Венецию учудить можно, конечно, — рассудил. — Но только на крайний случай. Не по обычаю, если ковен на ковен войной идет. Мыкола — он забота моя личная, вроде вендетты на Сицилии-острове. Потому иначе сделаем. Сам я в город поеду, а вы слегка подсобите. Вот чего надо будет...

— Спятил, старый? — ахнула тетка Горпина. — Как я тебе такое сварю? Бабка моя, даром что в самом Киеве на Лысой горе ученая, о том не знала, не ведала. И прабабка...

— Сваришь, — говорю. — Причем в лучшем виде. Думаешь, когда в сорок седьмом году за тобой приезжали, легко мне было тебя, неразумную, спасать? Ворожила бы сейчас оленям на Таймыре. И чтоб без ошибок!

Думал у Мыколы жипсы позаимствовать для пущей достоверности, но потом в затылке почесал: не мое. Надел костюм-

бостон, галстук узкий, в Москве двадцать лет назад купленный. В зеркало погляделся: хорош казак!

Калитку закрывать не стал. Лишь Ярчаку, серому кобелю, пояснил, что к чему.

— Справишься? — спросил.

— Не боись, дядьку! — оскалился он в ответ. — И хлопца не выпущу, и чужих не впущу. Не впервой!

3

Прямо с автовокзала я в городскую баню поехал — самую большую, которая банно-прачечный комбинат «Чайка», рядом с ракетным заводом. Снял отдельный номер, кости от души распарил, а затем достал скляницу, что мне тетка Горпина вручила.

Признаться, боязно было слегка. Если совсем честно, то не слегка даже. И старуха промахнуться могла, и здоровье мое уже не прежнее. Но делать нечего. Бой так бой, словно опять под Курском!

Эхма! Одним глотком выпил.

И — рвануло! Вроде как в танке, когда снаряд внутрь прорывается. Песня такая есть, про то, что жить хочется, а вылезать мочи нет. Горит, пылает все вокруг, черным пламенем обволакивает...

Выжил.

К зеркалу не без боязни подходил. Взглянул, снова взглянул...

Эх! Мимо!

То, да не вполне. Подвела соседка, пенсионер республиканский! Справный хлопец получился, не спорю. И лет ему — мне! — как моему Мыколе, и росту его, и в плечах такой же. Даже лицо похоже. Если мельком глянуть, не отличишь.

А все-таки не Мыкола. Не спутаешь. Другой хлопец, сразу видно.

Ругнул я тетку Горпину, Почаевский крест помянул и понял, что план мой главный стратегический дымом развеялся. Значит, на запасной переходить надо.

Застегнул пиджак, поправил галстук.

Ничего!

Шинок я увидел сразу, едва с троллейбуса сошел. Точно как Мыкола описал: парк с деревьями, скамейки железные, народ собак выгуливает. Хитрое место! Посмотришь — вроде все как обычно; только стоит шинок вместе с парком прямиком на костях. Бывшее кладбище, лучше не придумаешь. Знает дело Велиар!

И не шинок это, понятно. Даже не кафе, не бар. Зовется — «Гандэлык». От такого слова и перекреститься можно.

Толкнул я дверь стеклянную, отвел в сторону бамбуковую занавеску — и к стойке. Время вечернее, народу изрядно собралось. Все молодые, в жипсах, так что на мой костюм-бостон поглядели с интересом. И я на них посмотрел. Не просто — со значением.

Отвернулись.

Пристроился в очередь, достоялся, хотел по привычке горилки спросить, но вовремя вспомнил, чего внук объяснял. Иные тут нравы.

— Коктейль «Театральный», — говорю. — И чтобы со льдом.

Получил я свой коктейль вместе с трубочкой пластмассовой, нашел место в углу, присел, отвернулся. «Театральный», да еще со льдом, тут вроде пароля для шпионов. Интересно, долго ли ждать придется?

Недолго вышло. И до половины допить не довелось, как окликнули. Негромко так, растерянно:

— Коля, ты?

Взглянул... Эге!

Дивчина — красивая, в жипсах, понятно, в помаде-косметике. Только не на жипсы я смотрел. Рука левая, левое запястье... Точно! Браслетик из бусин, а бусины-то все черные.

— Коля, ты? — повторила уже с тревогой. — Зачем пришел?

Пригляделась — да и осеклась. Встал я, пиджак одернул.

— Не ошиблась, — говорю. — Николай и есть. Другой только. Коле твоему брат двоюродный.

Изменилась она лицом, ладонью браслетик черный закрыла.

— Не мой он вовсе, Колька. А что ты — не он, мигом поняла. С ним бы я и разговаривать не стала, с мальчишкой!

Кивнул я, соглашаясь. Не стала бы, а заговорила ведь! И не от скуки — с волнением. Предупредить хотела, не иначе.

Вот и славно!

— Коктейль тебе взять? — спрашиваю. — «Театральный» который? Или лучше того, что взрослые пьют?

4

Отхлебнули мы коньяка «Арарат», улыбнулась мне дивчина.

— Марина я. А ты смелый, Николай, раз сюда, в «Гандэлык», пожаловал. Место такое, что через одного пускают, а уж выпускают одного из дюжины. Похоже, видал ты виды! Давай я тебя Ником звать буду, чтобы с Колькой не путать.

И браслетик свой погладила ненароком. Испытывает она меня, что ли?

— Ник — имя славное, — соглашаюсь. — Есть такая страна Шотландия, там Ником кого попало не кличут. Заслужить такое требуется. Правда, не из Шотландии я, поближе слегка.

И глиняную пчелку на стол кладу. Хитро сделана, словно живая. Дунь — улетит! Досталась мне еще от деда, а тому — от прадеда. А уж где ее вылепили, в какой печи обожгли, того и прадед не ведал.

Поглядела дивчина Марина на знак нашего ковена, сжала губы.

Поняла? Кажется, да.

— Вижу, и вправду храбрый ты хлопец, Ник. И обычаи наши знаешь. Колька — не тебе чета, сопляк он и трус. Если помогу, возьмешь к себе? Надоел мне этот город, и Велиар надоел. Неправильно здесь все!

— Олена жива? — перебил я. — Где она?

Кивнула дивчина, в сторону посмотрела, туда, где вход-выход.

— Обряд завтра. Значит, жива. А вот где она, один Велиар знает и еще хлопцы его. Только они не скажут, и никто не скажет. Кольку-то по всему городу ищут, даже в село ехать собираются, где дед его живет.

И я отвернулся, чтобы Марина усмешки моей не приметила. Собираются? Ну, пусть себе, поглядим, чего будет. Соскучился Ярчак мой без дела! И остальным добрая встряска не помешает.

— Отчего же Велиар такую власть забрал? — интересуюсь между тем, коньяк прихлебывая. — Если командированный он, так по обычаям вести себя должен. А тут обряды всякие, безобразия не по чину. Кто он такой, чтобы порядки заведенные нарушать?

Задумалась дивчина, долго молчала. Наконец вздохнула.

— Ладно, расскажу. Но помни: если Велиар узнает, и моя кровь завтра прольется, и меня голой на пентаграмме распнут. Слушай... Появился он три года назад и сразу хлопцев собирать стал. Вначале сказками про древние культы головы морочил, а потом и открылся. Все, сказал, по-новому будет. Раньше за душу золото обещали, а я, мол, чего получше предложу — власть. Над всеми власть. Хочешь — над дивчиной твоей, хочешь — над братом родным, а хочешь — над целым городом. Но за это вы мне до смерти верными быть должны...

Долго рассказывала, пришлось мне еще по стопке «Арарата» брать. Слушал я, на ус мотал, а сам на часы поглядывал. Разговорчивая она, Марина, только не так здесь что-то...

Или, напротив, все как надо движется?

— Дело ясное, — киваю. — Зачем души по одной выманивать, когда можно всех скопом кровавым обрядом связать? И тратиться нет нужды, и без контракта обойтись получится. Выдумщик ваш Велиар!

— Не мой он! — заволновалась дивчина, ближе придвину-

лась. — Не хочу больше! Он ведь, Велиар, не просто души выманивает, он ногами по душам нашим топчется. Лена твоего Кольку любит, по-настоящему любит, вот Велиар и решил над ними власть свою показать. Мол, не отдашь ее — сгублю, на страх прочим... А ты меня, Ник, отсюда забери, понравился ты мне. Пригожусь я тебе, и всем вашим пригожусь!

Сладко говорит! И рукой, которая с браслетом, к моей ладони тянется.

Не отдернул. Жду, чего дальше будет. Тут и занавеска бамбуковая дернулась, что вход-выход прикрывала.

Здоровеньки булы!

Трое. Пиджаки кожаные, взгляды тяжелые. Вошли, оглянулись. Мол, что вы здесь делаете, добрые люди? И — прямо к нам. Встала дивчина Марина, на меня кивнула:

— Двоюродный брат Колькин. Сельский ковен, знак пчелы. Берите, ваш!

И мне улыбается:

— Говорила же, что пригожусь, Ник!

Встал и я. На хлопцев кожаных поглядел, затем на нее, затейницу. Усмехнулся в ответ.

— Это я тебе сейчас пригодился. А после, глядишь, и ты мне понадобишься. Тогда и сочтемся.

Кожаные дивчину в сторону отвели, пошептались. К столику шагнули.

— Ник ты или не Ник, пчела — не пчела... Велиар разберется! Сам пойдешь или под руки повести?

Пригляделся я. Справные они хлопцы, конечно, только и мы кое-что умеем. Сейчас показать — или погодить чуток?

А народишко кругом, даром что молодежь жипсовая, бравая, в дверь — шасть! Лишь бамбук зашуршал китайским голосом, из справочника товарища Мао. Ровно Святая Троица им, атеистам-сатанистам, во славе и мощи явилась — стриженная «под полубокс», с кулачищами пудовыми. Ну и ладно. По свободе и дышится легче.

Вдохнул я полной грудью.

Узел галстука подтянул, чтоб на удавленника больше смахивать.

— Вот что, — говорю. — Под ручку я с девками хожу, когда весной женихаюсь. А ваш девичник самое время по телику показывать. В передаче «Человек и закон». Обождите минутку. «Арарат» допью, и отчалим.

Главный кожан, у которого затылок складками, рот открыл: возразить. Не захотел, значит, чтоб двоюродный Колька свой коньячок, честно купленный, допил.

Ну и зря.

У них в «Гандэлыке» фирменное блюдо подавали: вареники. С мясом, с творогом, с картошкой и грибами. Мы в селе больше вишни любим, под чарку, но сейчас не до жиру: чем богаты, тем и лепим. Так что моргнул я в адрес кухни, слово шепнул правильное. Мой пращур Пацюк-запорожец, мир его буйному праху, самолично из гроба раз десять подымался — внуков-правнуков обучить. Оставит домовину, к хате шасть и топочет ночью.

Дети, мол, в школу собирайтесь, нетопырь пропел давно.

Короче, моргнул я, шепнул, на пол харкнул, а для верности глазом наискось повел. Со значением.

И дал залп из всех орудий.

Вареники славные на кухне уродились. Таким снарядом пасть заткнуть — раз плюнуть, два шкваркой шваркнуть. Особенно если сперва в сметану, даром что кефиром развели, бедолажную. А потом прямой наводкой, как бывало на Курской дуге, южней Обояни.

Первый хорошо пошел, второй еще лучше. Нет, не фельдмаршалом Манштейном кожан оказался — фельдмаршал куда как дольше оборону держал. Скис атаман. Складчатый затылок синевой налился, пальцы-сардели горло дерут. Хрипит хлопец, губами плямкает. Только зась, дедов кляп хрен проглотишь, шиш сблюешь.

— Мало? — пытаю. — Добавки требуется?

Остальные вареники по кожанам шрапнелью: шмяк-шмяк, жуй-плюй. А как рука вражья ко рту потянется, так рукав в рожу дурню хрюкает. Нечего дешевку покупать, из свиной кожи, — у меня над любой хавроньей, живой ли, мертвой, власть имеется.

Ежели надо, колбасу визжать заставлю.

Нашу колбасу, сельскую — в городскую заместо мяса промокашку кладут.

Допил я коньячок, обождал кожанов на скамеечке, снаружи. Достал папироску, пустил дым морковкой.

«Пошли, мол?» — киваю.

Они утерлись, в ответ ухнули сычами, и зашагали мы строем. Через парк, мимо райотдела милиции, мимо булочной «Кренделек», мимо памятника какому-то носатому, с грустными очами... Частники-кооператоры кругом шуршат, дела крутят. «Москвичи» с «жигулятами» по дороге чвиркают. На площади Главчекиста толпень малая собралась, органы вслух позорит. С лотка болгарским табачком промышляют. На гастрономе бумажка вывешена: «Яиц нет!» А позади нас дивчина Марина каблучками по асфальту: цок-цок, цок-цок.

Любопытство, оно до кутузки доведет. Очень дивчине поглядеть охота, каким рожном дело кончится.

Подозвал я ее, кралю с браслетом.

— Чем пахнет? — интересуюсь.

Она носиком повела:

— Ну... Бензином. В парке листья жгли, так дымом пахло. А что?

— Эх, — говорю, — дура девка. Переменами в нос шибает, а тебе позакладывало. У нас в селе больше жизнью-смертью, нас пока раскачаешь... А у вас, в городе, аж в носу от перемен свербит. И еще: властью отовсюду несет. Из каждой подворотни, из любого закоулочка. Мелкой, крупной, с жабрами и хвостом. Власть ищет, власть рыщет, новая лезет, старая упирается. Самое время Велиар подобрал удить рыбку. Хитер, бесово семя!

— Храбрый ты, Ник. Я таких редко встречала.

— Ты таких вообще не встречала. Я не храбрый, я обстоятельный. В смысле толкай не толкай, а я уж как-нибудь обстоюсь. Лишь бы нос по ветру.

Ох, растрепался, старый сыч. От нервов, что ли? Так мои нервы из колючей проволоки, ими спецзавод номерной оцеплять, от шпионов. Или перед кралей хвост распустил, петушок? Или перед дракой хорохоришься?

Была у деда беда-победа: глоток перцовки вперед обеда...

— Пришли.

Это главный кожан. Ну что ж, пришли, значит, пришли. Между двумя многоэтажками во двор свернули, там вход в подвал домовой имелся. Над подвалом табличка, черным по эмали: «Клуб по интересам».

— В самое темечко, — говорю, — название. Сдохни-встань, лучше не сочинишь.

— Топай, не шебурши...

Лесенка узкая, каменная. Словно ябеда-перестарок, которую два парня зажали потискать. Первый хахаль — стенка облупленная, в ржавых потеках. Второй срамник: бортик из бетона. Двинулись мы между стенкой и бортиком гуськом: главный, я, Марина и два хлопца на подхвате. Жаль, подхват ихний запоздал, видать, варениковв переели. Марина-то на седьмой ступеньке сковырнулась, каблучок в щербину угодил.

Пришлось деду трудиться.

Я, конечно, крякнул, но удержал. Давненько мне на спину девки не сыпались. Даже приятно. Бодрит. А нам сейчас бодрость ой как нужна.

Достал главный кожан ключ-самокрут, открыл амбарный замок. Шагнули мы в сырость. Мозжит у них в подвале по интересам, до костей пробирает. Трубы кругом, капает со сгонов. По трубам шуры бегают. Хвосты розовые, гладкие, глазки бусина-

ми: чего явились, дуралеи? Из ямы-колодца дрянью воняет. Канализацию тряпьем засорило. Побелка на стенах сыплется, наружу кирпич светит. Грязный, гнилой, плесенью оброс. А в соседней каморе кто-то в нос хихикает. Весело кому-то.

Умница Велиар.

Самое место шабашить.

6

Умница нас во чреве подвальном дожидался. Шагу навстречу не сделал. Не по закону, да только я раздумал права качать. Сперва приглядеться надо.

Стоим мы, друг к дружке приглядываемся. Прав был агроном товарищ Извиров: из новых этот Велиар, из новых адских. Которые не по Закону, а по понятиям. Чарку поднести брезгует, кукиш сунуть для приветствия тоже не желает. Расфуфырился, аж в глазах рябит. Плащ-реглан шевровый нараспашку, под регланом — пиджак с пуговицами в два ряда. Цвет «геенна огненная». Ворот рубахи расстегнут, оттуда цепь златая сверкает. А на башке кепка-аэродром.

— Чего лыбишься? — спрашивает хозяин.

— Это ты лыбишься, — отвечаю. — А я любуюсь.

— Ну, любуйся напоследок. И запоминай на будущее. Так скоро много кто оденется, которые власть поймут-поймают. Разве что кепка отомрет. Жаль, красивая кепка.

Еще бы не красивая. Такая лосиные рога и те укроет.

— Если напоследок, — интересуюсь, — откуда будущему взяться?

Он руки в боки — и ну потешаться. Дескать, глянулся я ему, даром что селюк задрипанный. Так глянулся, что готов сделку себе в убыток заключить. Даже шутку пошутил:

— Глянулся добрый молодец наземь и обернулся шиворот-навыворот!

А глазищами зыркает, буравит. Серьезные глазища, рябым винтом завитые. Молодец, тетка Горпина, зря я на ведьму республиканского значения грешил матерно. Держится облик, чужой бурав наизнанку закручивает. Стоит молодой Ник перед хозяином здешним, и никак иначе.

Угомонился Велиар. Бросил ветер молоть.

— Брательника вызволять явился, Колян? Невесту братнюю спасать?! Добро, пойду тебе навстречу. Вижу, пацан ты крутой...

— Ходил волк навстречу козе, — говорю. — Какую плату возьмешь?

— Плату? Никакую. Башли — прах, дунь и нету! Давай лучше с тобой трижды в игры игранем. Я хоть раз одолею — быть тебе десять лет в полной моей власти! Сейчас такое десятилетие нач-

нется, что мне крутой пацан дороже золота встанет! Ты ни разочка не сбойнешь — всех твоих отпущу без выкупа. И братана-лопуха, и Ленку-недотрогу. Она у меня в надежном месте парится. Маринка потом укажет, где именно.

Это он опять телегу лещами грузить взялся. Место не место, надежное — ненадежное... Какая разница! Уговор дороже денег, его кукишем не перешибешь. Принюхался я: нет, не врет, красавец.

— Что ж, — отвечаю. — Если честь по чести, без обману... Хвост даешь?

— Хвост даю. Не свернуть мне дулю, если увильну.

Топнул я ногой. Дом в ответ каждой жилочкой содрогнулся. Только не вверх, а вниз, к корням и дальше, где верные жилы. Будьте, значит, в свидетелях. Кто услышал, те и будьте.

А ему и горя мало. То ли в себе уверен, то ли и впрямь честно играть собрался.

Ухмыляется:

— Что, Колян? Для начала в картишки перебросимся?

— В дурня? — уточняю. — В подкидного?

— В дурня так в дурня. Иди за мной!

В той каморе, где хихикали, ни одной живой души не оказалось. За иные души не поручусь, а живой точно не было. Стол там стоял рассохшийся. А на столе — чудо-юдо со стеклянным глазом.

Вроде телевизора «Садко», которые в Новгороде на заводе «Квант» собирают.

— Это, — ржет Велиар, — мой младший браток Хам Путтер. Ударно-нажимного действия. Обыграй сперва, Колян, моего меньшого брата.

Ясное дело, кто у черта в братьях? — немец.

— Ладно, — киваю.

А куда денешься?

Скормил он своему Хаму Путтеру черную галету, тот зажевал. Крякнул, охнул, показал на стеклянном глазу колоду карт. Я обернулся, пальцем дивчину Марину поманил:

— Иди, разъясняй. Ты мне сегодня по-всякому пригодилась, давай годись дальше. Как тасовать-кидать надобно?

С бородавками-кнопками быстро разобрались. В козырях черви легли. Зашел я с валета крестового. Вслух пожалел, что нельзя картой об стол шмякнуть. Клац-клац, мигнул Хам Путтер, рыгнул и оставил меня круглым дураком «с погонами». Отроду такого не бывало, а вот случилось. Немец и есть, вражина. Фашист.

— Он все твои карты знает, Ник, — шепчет Марина.

Шепот жаркий, сладкий. У меня ухо сразу навострилось.

— Знает, — говорю, — и пусть знает.

Наговоров на таких хамов, как этот Путтер, я не слыхал. Зато карты — они всюду карты, даже на глазу стеклянном. Сложил я пальцы в нужную фигуру, прищелкнул. И губу до крови прикусил. Где были кресты, там пики на месте, где черви вьют, там бубны бьют. Хоть ты фашист, хоть чудо-юдо железное, а пока карты наново не перекрестишь, правды тебе не видать.

— Сдавай, гадюка! Хрен тебе в задницу!

— В дисковод, — шепчет Марина.

А, нехай в дисковод! Девке виднее, куда хрен совать...

Вторую сдачу я Хаму Путтеру узлом завязал. С двойными погонами, генеральскими. Он, бедолага, с горя так нагрузился — довелось перезагружать. Велиар козлом скачет, по кнопкам лупит. Красный сделался, куда там пиджаку! А никуда не денешься: немцу железному ни за что карты не перекрестить. Рук у чуды-юды нету. И креста за душой.

Так что и третья сдача за мной осталась.

7

— Лады, — шипит Велиар. — Лады, Колян. Хитер ты, да я хитрее. В «Панаса» сыграем. Я тебя поймаю, будешь моим. Ты меня поймаешь...

— Я тебя, — хмыкаю, — и ловить не стану. Больно нужен ты мне. Эй, кожаны, завяжите охотнику ясны глазки!

Пока завязывали, он мелкой дрожью трясся. От злобы. Перед дивчиной и хлопцами сам себя дурнем выставил. Хаму Путтеру горя мало, а Велиару — позор. Это ему, который властью дарит!.. который прыщ на ровном месте!.. Он трясется, а я думу думаю. Во-первых, мне в чужом подвале от хозяина ни за что не спрятаться. Во-вторых, настой Горпины в брюхе урчать стал. Намекает. Ну и в-третьих, не за тем я в город явился, чтоб выигрывать.

С чертом выигрыш-проигрыш — единый кукиш.

Здесь ловчее требуется.

Раздумал я прятаться. Отошел к стеночке, жду. В брюхе урчит, вот уже и громыхать начало. Кожу на лице стянуло. По хребту мураши стайкой. Молчу, терплю. Кожаны Велиара раскрутили, Марина спела отходную: «Панас, Панас, лови мух, а не нас!» Он их и не стал ловить, сразу ко мне ломанулся. Схватил, расхохотался, да только прикусил язычок.

Слишком легко далась добыча. Нет ли подвоха?

Начал он добычу щупать. Лицо измял, извозюкал, палец в рот сунул.

Не в свой рот, в мой.

— А-а! — рычит. — Обмануть вздумал, Колян! Иди, обманка, лесом, а я за интересом!

Бросил меня и заново рыскать принялся. Умаялся, бедолашный, устал. Весь подвал перерыл. А когда сдался и повязку сдернул...

Настой Горпины-то выдохся. Торчит перед Велиаром старый пень, дед-орденоносец. На лице морщины, во рту зубов недостача. Спина еще крепкая, но сутулая. Голова лысая. Не парубок, никак не парубок Колян, каким я ему запомнился. Вот и решил на ощупь: обманка. Личина поддельная. Правильно, в сущности, решил, да не тем боком.

Стоит ведьмак перед чертом, пойманный-отпущенный.

Кожаны гыгыкают, Марина мелким бесом заливается.

Стыд-позор.

Поднялся Велиар кепкой к потолку. Шире стен плечи расправил. Ледяным пламенем горит. Страшен, грозен.

— Третий раз! Кто кого опрокинет, того и верх! Держись, сволочь деревенская!

Ну, держусь. По ухваткам видно: ему «лысогорка», борьба наша родимая, лысогорицкая, хорошо ведома. Так и я не лыком шит, не вальком валян. Кинулся Велиар, наскочил — я и упал. Хриплю, ногами дрыгаю. Он на грудь уселся, в горло когтищами вцепился:

— Мой верх! Моя власть! И ты мой, ведьмак!

А я хриплю и дрыгаюсь.

— Мой! На десять лет! Моя власть! Над тобой!

Дрыгаюсь. Хриплю. Наше дело маленькое — до срока продержаться, не сдохнуть. Годы мои, годы, лихо мне с вами... Вот уже и в очах ночь. И в сердце заноза.

А он все давит.

— Что ж это ты, Велиарушка, такое говоришь? Ай-яй-яй, какие слова! За такие слова и хвост на стол положить можно...

Ф-фух. Дождался.

Отпустило.

Сижу, смотрю. На полу вроде холодно должно быть, на бетоне, а не холодно. Жарко на полу, как в бане на полке. Разогрелся бетон, шкворчит яичницей-глазуньей. Местами дымиться начал. А все потому, что стоит в проеме первый секретарь обкома товарищ Анчуткин, в шляпе фетровой и при галстуке. Шляпу снял, левый рог наклонил — тот, что обломанный при взятии Перекопа. Лицо серьезное, задумчивое. Под копытами в полу — трещины. И с трубы над ним не каплями — кипятком шибает.

У нас с товарищем Анчуткиным договор.

Бессрочный.

Вот и явилось непосредственное начальство.

Раньше не могло: споры-игры, дела-разборки — это дело

личное, а вот насильственное расторжение договора в одностороннем порядке третьими лицами — дело ведомственное Да еще с публичными заявлениями при работниках нижнего звена.

— Моего ведьмака, заслуженного колхозника-орденоносца, силой брать? Чужой договор ломать? Чужие кадры к себе угрозами переманивать?! Смычку города с деревней рушить?! Не много ли власти забрал, Велиар Баалович?! Безобразие...

Рискнул я кивнуть. Дескать, безобразие и есть. Я к этому новому со всей душой, сто лет назад проданной, а он, злостный рецидивист, на грудь садиться вздумал. Сами видите, товарищ Анчуткин. Это он не мне на грудь сел, это он через вашу голову прыгнул. В лицо, можно сказать, плюнул, стервец. Я же ваш, с потрохами, а он кричит: мой!

Не по чину горло дерет.

— Вижу, — соглашается первый секретарь. — Все вижу. Ты иди, братец, и девушку с собой забери. Сомлела она с перепугу. А кожанчиков оставь, мне потом здоровье поправить сгодятся. Я тут буду кое-кому на вид ставить, с занесением вовнутрь. Нечего тебе на этот цирк смотреть. Будешь нужен, вызову.

Дивчину я, конечно, забрал, как завещал товарищ Анчуткин. Насовсем.

Старый конь борозды не портит, а она сама в село просилась.

8

Через год две свадьбы сыграли. Мыколу с его Оленой, прынцессой спасенной, окрутили. Ну и меня, отставного вдовца, с Мариной Игнатьевной в сельсовете расписали, гражданским браком. Хозяйка справная оказалась, борщ живо освоила, галушки, котлеты, а мне больше и не надо. Из села ни ногой — боится. По вечерам у Горпины лясы точит, науку перенимает. В четыре руки рушник доят, в два рта заговоры кладут.

Ребеночка ждет.

Быть Мыколе с новым дядькой.

А мне ночами Велиар сниться взялся. Скучный, битый. Без пиджака красивого. Сука ты, дед, — ругается. Подставил меня. Ага, соглашаюсь. Подставил. Ты властью дарил, я тебя на власть и купил. В таких делах без подставок никак нельзя. Власть взять — полдела. Удержать — полдела с осьмушкой. А вот так отдать доброй волей, чтоб потом и взять, и удержать, и с барышом остаться, — здесь нам, казачьей крови, никакой сатана в подметки не годится. Слаб, чертяка, в коленках.

Короче, будешь в наших краях, заходи.

Борщом угощу.

1

Жил-был Сенька Бурсак по прозвищу «Джип Чероки».

Жил он под голубым небом двадцать лет без малого, а был телом статен, обличьем хорош и в придачу блондин. В семействе Бурсаков льняные кудри не в новинку, особенно у мужиков, погубителей девичьей скромности. Да только у Сеньки это дело на редкость хорошо вышло — длинно, пышно, с волной. Пожалуй, в сокрушении его молодой биографии кудри сыграли не последнюю роль, но речь о том позже начнется. А сейчас давайте покрутим щурам хвосты для затравки.

Любил младой Сенька отца, Федора Тимофеевича, знатного токаря шестого разряда. Любил и мать, Наталью Прокофьевну, библиотекаршу в 7-й детской библиотеке им. О. Кошевого. Бабушек-дедушек любил, старшего брата Валентина, забритого в погранцы и оставшегося на сверхсрочную, рубежи охранять, младшую сестренку, Катьку-егозу, сопливую ябеду из седьмого «Ж». А пуще всего любил юный Бурсак родного дядьку по отцовской линии, Степана Тимофеевича, лабуха-трубача из оркестра под руководством ударника Зямы Рубинчика, что при местном ДК обретался. Души в нем пацан не чаял, в музыканте. Нарочно на свадьбы-похороны бегал, где дядька со товарищи «Лимончики», «Заветный камень» и трагического Шопена наяривал.

Приобщался к высокому.

От широкоплечего, громогласного Степана Тимофеевича пахло праздником. Сенька визжал, когда трубач бросал его к потолку или к самому небу, если дело было на улице, а потом тесно прижимал к колючему пиджаку. Труба дядюшкина сверкала золотом, дыхание тянулось драгоценной звонкой нитью, здоровье позволяло на втором литре без запинки слабать «Костю с Пересыпи» соло, и даже руководитель оркестра, корифей провинциального джаза Рубинчик, говорил оркестрантам, указывая на бодрого лабуха:

— Ша, шлемазлы! Вам до Степы, как до Киева раком!

А потом трижды плевался через левое плечо — от сглазу.

В восемь лет, сдавшись под напором отрока, родители определили Сеньку в музыкальную школу «Веночек», что на улице III Интернационала. Злые языки, особенно из числа знакомых с преподавательским составом, давно перекрестили сей храм муз в «Виночек», а то и в «Шиночек», но Сеньку это не остановило. От многих учителей пахло праздником, как и от дяди-любимца, — значит, правильное место. Отсюда прямой путь в счастливое будущее, то есть в ЗАГС или на кладбище. Только не клиен-

том, женихом или жмуром, а лихим дударем, сокрушителем сердец.

Приехав на побывку, старший брат Валентин одобрил выбор семьи. Даже напророчил великую судьбу — службу в духовом оркестре ордена Ленина Высшей пограничной школы, лучшем из военных духовых оркестров.

— Терпи, казак, атаманом будешь! — сказал Валентин и тут же поправился: — В смысле дирижером!

А через плечо сплюнуть, как делал мудрый ударник Зяма, забыл.

Ну и сглазил, конечно.

Вместо трубы Сеньке купили виолончель. Подержанную, старую, с залатанной трещиной и облупившимся лаком. Труба стоила неподъемно дорого, даже при содействии дяди Степана Тимофеевича, а у соседей Чмыховых дочка забеременела в пятнадцать лет и бросила музыку со всеми вытекающими. Соседи Чмыховы рады были сдыхаться от мебели со струнами за бесценок, а тут такое счастье, как семья Бурсаков! Поторговались и ударили по рукам.

Чем плюнули Сеньке в самую душу.

Три года, плача и стеная, сидел юный Бурсак на стуле, неприлично раздвинув ноги, и терзал смычком корявую тушу ненавистницы. «Сельский танец» Рамо, «Вокализ» Рахманинова, «Прялка» Поппера. Звук у «вилыча», как прозвал Сенька толстую заразу, выходил не в пример золотому пению трубы — гнусавый, хриплый, низкий, словно у носорога. Малец никогда не слышал, как ревет (ухает? хрюкает? мычит?!) носорог, но искренне полагал, что именно так. И вел свой последний, свой решительный, свой безнадежный бой на всех фронтах. Три года пилил гадских родственников, скандалы учинял, подзуживал бабушек-дедушек. Пять раз начинал голодовку и пять раз бросал на середине — очень кушать хотелось.

И однажды добился своего.

— Вот, Степа! — сказал Зяма Рубинчик ухарю-трубачу, Сенькиному дяде. — Помни мою доброту, чувак!

— Вот! — сказал Степан Тимофеевич родному брату Федору Тимофеевичу, знатному токарю шестого разряда. — С тебя бутылка!

— Вот! — сказал Сеньке веселый, раскрасневшийся папаша, приговорив с братом бутылку, и еще одну бутылку, и еще полбутылки под редиску, чеснок и «бородинский» хлебушек. — Дуди, обормот!

— Вот! — сказал Сенька и показал дулю злой судьбе. — Выкуси!

Так Бурсак перебрался с виолончели на трубу, и жизнь его напомнила праздник.

Даже пахло от жизни знакомым образом.

По окончании музыкалки Сенька в консерваторию идти не захотел. То ли видеть себя «консервом задрипанным», как сказал Зяма Рубинчик в приватной беседе, претило Сенькиной гордости, то ли перспективы показались мизерными для юных амбиций. Пошел Бурсак на Бурсацкий спуск, что катится кубарем вниз до самого Центрального рынка, сдал документы и спустя месяц обнаружил себя на спуске-однофамильце студентом Академии культуры, опять же прозванной злоязыкими доброжелателями Академией культуры и отдыха. Отделение, значит, руководителей самодеятельных духовых оркестров, культурно-просветительный факультет.

Культура Сеньке понравилась до чертиков.

А просвещение — и того больше.

Два года катался как сыр в масле. Дудел в дудку, зевал на лекциях, девок портил или улучшал, смотря с какой стороны на девку смотреть. Зачеты-экзамены сдавал ни шатко ни валко. Наладил нужные знакомства, к людям подходил весело, но с уважением; люди платили озорному, лукавому хлопцу ответной симпатией. Подрабатывал в Зяминой команде, радуя мать-отца финансовой самостоятельностью. Обзавелся прозвищем «Джип Чероки» — матерно ругаться не любил, а посему там, где иной вставил бы «Твою мать!» или чего похлеще, позабористей, вставлял безобидное, но вкусное:

— Ать, джип-чероки, разрули малина!

В сентябре, на третьем курсе, отправили студента Бурсака в окрестности райцентра Ольшаны, в село Терновцы, на сельхозработы. Такой, значит, себе месяц смычки города с деревней.

Там Сенькино счастье под откос и ушло.

2

«Лазик» тормознул на краю села и уныло чихнул.

Трехэтажная, как брань зоотехника, домовина общаги навевала отчаяние. Серый, в морщинах и складках, бетон был похож на шкуру дохлого слона. Крышу венчал косой православный крест телеантенны — насест воронья. Разевая клювы, птицы хором глумились над городскими байстрюками.

Студентов встретили пыль и запустение. В комнатах из всей мебели обнаружилась лишь паутина по углам. Даже вездесущих монстров — панцир-кроватей со скрипучей сеткой — и тех не было. Озадаченный руководитель открыл сезон охоты на коменданта, а молодежь, пользуясь отсутствием начальства, прямо на крыльце откупорила прихваченные в дорогу «огнетушители».

«Агдам» — это хорошо, — думал Сенька, употребляя из горла законную порцию портвейна. — И до самогона местного добе-

ремся, никуда он, джип-чероки, не денется. А вот как тут, интересно, насчет девок?»

Бурсак однозначно намеревался превратить смычку в случку. Воображение рисовало ядреную и податливую деваху, ночь, сеновал, в прорехи крыши хитро подмигивают звезды, шепча на общегалактическом: «Дас ист фантастиш!..» Даешь разнузданную эротику на лоне природы!

А иначе какого рожна было сюда ехать?

Спустя час объявился руководитель, волоча за собой коменданта. Деда словно за шкирку извлекли со съемок какой-нибудь «Поднятой целины»: куцый пиджачишко, широченные галифе времен батьки Махно, сапоги «гармонью» и антикварный картуз набекрень. На лацкане дедова пиджака сиял орден Трудового Красного Знамени. Сенька и не подозревал, что подобные экземпляры еще топчут нашу грешную землю.

— В конце концов, Николай Гаврилович!.. мы не намерены!.. мы настаиваем...

— Угу, настаиваем... на корочках, на облепихе... — невпопад отзывался старый хрыч.

Гремя ключами, комендант открыл кладовку. Напялив очки с дужкой, скрепленной изолентой, начал строго по списку выдавать: кровати (бильца — отдельно, сетки — отдельно), полосатые матрасы, ветхие простыни и наволочки, одеяла, подушки, хромые стулья, тумбочки...

Обустройство быта заняло все время до обеда.

Голодные и веселые, студенты отправились в столовую. Работы сегодня, как разузнал пронырливый Тоха с методического, не предвиделось, и народ живо настроился в до-мажор. Обед «по-селянски» вызвал желудочный экстаз. Наваристый борщ с ломтями говядины, безумных размеров миска, где плавал в жиру гуляш с картошкой, стакан сметаны из чистых сливок, белых, как вишневый цвет, и ягодный компот. В раю, пожалуй, кормят проще.

Набив животы, культуртрегеры со вкусом выкурили по сигаретке.

— Айда? — спросил Тоха, горя любопытством.

Народ согласился.

Из здешних достопримечательностей удалось осмотреть сельмаг «Продукты», где хранился стратегический запас вермишели и коньяка «Десна». Через дорогу от магазина куры и гуси квохтали под запертым на замок амбаром с вывеской «Клуб». Двери амбара украшал декрет местной власти, написанный от руки:

«Танцы у понедилок, середу та п'ятныцю з 20:00. Драцца на вулыци!»

Рыжий кочет наседал на черного, подтверждая ситуацию.

«Здесь и будем девок окучивать, — решил Сенька. — Главное — на улицу поодиночке не выходить, чтоб не драцца. Иначе местные рожу начистят...»

Вернувшись в общагу, Бурсак до ужина продрых без задних ног, копя силы для грядущих подвигов на ниве секса. И снилась Джипу Чероки девушка его мечты. Не девка, не телка, не чувиха или бабец — язык не поворачивался оскорбить мечту противным словцом.

— Пойдешь со мной? — улыбнувшись Сеньке, спросила мечта.

— Да! Да! Пойду! — вострубил Джип Чероки...

И проснулся от дружного хохота.

Оказалось, пока он спал, в комнату заявился комендант.

— Ну шо, хлопцы? Хто из вас по бабской части главный угодник?

Соседи дружно указали на спящего Бурсака.

— Значитца, тебе, белявый, и работать с ихней братией, — решил дед. — Коров пасти пойдешь.

Тут-то Сенька и завопил со страстной истомой: «Да! Да! Пойду!»

3

В пастухи, кроме Сеньки, определили Тоху-проныру и Валерку Длинного. Остальных подрядили рыть котлован под новую школу, так что троице выпал счастливый билет. Жаль, танцы накрывались медным тазом — жить пастухам, как сообщил вредный дед, придется отдельно, на хуторах. Оттуда до скотофермы и пастбищ ближе.

— Не печалься, Джип! У тебя телок будет вайлом! — подначивали остряки. — Ты их кнутом, кнутом — и в кусты...

Отужинав, парни под руководством неутомимого коменданта вышли за околицу.

И побрели в степь.

Шагать вдоль проселка, плохо различимого в сумерках, пришлось далеченько. Лямки рюкзака, собранного впопыхах, быстро натерли плечи. Раздражал дед: фыркая в усы, он без продыху бубнил о люцерне, товарище Троцком, своем внуке Мыколе, названном в честь деда-орденоносца, яблоневом саде, куда коров гонять не след, какой-то бедовой Гальке, которой только попадись на зубок... Наконец Тоху, обессиленного дедовой болтовней, оставили на попечение дородной молодицы, а Длинного вверили заботам пасечника, похожего на столяра Джузеппе Сизый Нос. Бурсак плелся за комендантом, завидуя приятелям. Одного, глядишь, хозяйка пригреет, другого пасечник медовухой как пить дать угостит. А ты топай незнамо куда...

Впереди, зеленый и дохлый, мелькнул свет в окошке. Лишь подойдя вплотную, Сенька разглядел избу-раскоряку, огороженную косым плетнем. Колья украшали горшки и лаковые макитры. Ветер качал в окне прозрачную от ветхости занавеску, выкрашенную в цвет болотной ряски.

— Отчиняй, Никифоровна! Постояльца тебе привел, как обещался...

Дверь отворилась с душераздирающим скрипом.

— Ты б еще в полночь заявился, Мыкола! Добрые люди спят давно...

На пороге возникла дряхлая, но вполне бодрая карга, грозя деду клюкой.

— Не лайся, старая. Хлопцу повечерять надо было? Ото ж...

— Знамо, мужикам бы только жрать! Чай, и сама б накормила... Эй, бурсак, чего топчешься? Заходь в хату...

Карга оказалась шустрой не по годам. По горнице шныряла мышью. Семена мигом стала звать Сенькой, на кудри льняные косилась с одобрением и за десять минут ухитрилась выпытать у ошалелого квартиранта всю биографию. Желая отвязаться от любопытной бабки, Сенька сказался уставшим, закрылся в выделенной ему каморке и, забравшись под перину, задремал.

Однако вскоре позывы «гидробудильника» погнали Бурсака на двор.

Луна зашла за тучу, серебрясь щербатым краешком. Тьма копилась вокруг, едва ли не бросаясь под ноги. «Поди отыщи нужник!» — злобствовал Сенька. Не мудрствуя лукаво, он подошел к плетню и облегченно зажурчал. Когда же повернулся к дому, застегивая ширинку, то первым делом обнаружил два ярко-зеленых глаза.

Глаза изучали парня с нездоровым интересом.

— Брысь! — махнул рукой Джип Чероки.

Для обычной кошки глаза были великоваты. И расстояние между ними удручало, наводя на малоприятные мысли. Сенька осторожно двинулся вдоль плетня. Если тварь останется на месте, есть шанс обойти ее, быстро рвануть в хату и захлопнуть за собой дверь. Невидимая во мраке башка зверя шевельнулась, следя за маневром квартиранта. Луна над хутором робко высунулась из-за тучи, желая принять участие, и у Бурсака вырвался вздох облегчения.

— А, это вы...

Он чуть не добавил «старая дура», но вовремя прикусил язык.

— Напугали меня, джип-чероки...

Бесстыжая старуха, которой так не вовремя вздумалось любоваться естественными отправлениями гостя, кивнула в ответ. Дескать, да, напугала. Вместо извинений она скрутила мослас-

тую дулю размером с добрый горшок и ткнула в Бурсака, каркнув во все горло. Что именно, Сенька не разобрал. Хотел переспросить, но неожиданно для себя издал загадочный трубный звук. Будто любимую трубу в глотку вставили, а потом завили винтом, на манер валторны.

— У-у-у!

Едва пакостный гудок нарушил тишину ночи, скрутило Сеньку в бараний рог. Узлом завязало, наизнанку вывернуло да оземь шваркнуло. Ни жив ни мертв, стоит Бурсак на четвереньках. Моргает, ветры пускает, бурчит расшалившимся брюхом.

Это, значит, Сеньке так представляется.

А ежели из-за плетня глянуть, совсем другая картина выходит.

Воздвигся посреди двора иностранный монстр, чудо-юдо заморское — джип «Grand-Cherockee». Смоляной лак крыльев в лунном свете блестит. Фары мигают, из выхлопной трубы сизый дымок курится. Вместо сердца — пламенный мотор. Бьется ровно, мощно, силушки лошадиные табунами гоняет. Лампочки на приборной панели мерцают, словно огоньки покойницкие на болоте-трясине. Манят-заманивают: прокатись, мол!

Застоялся железный конь без дела.

А карга старая и кочевряжиться не стала. Шасть за руль! — только дверца мягко плямкнула, словно губа драконья. Сенька от наглости хозяйкиной благим матом заорал. С перепугу, а больше от возмущения. Добро б оседлала, ведьма, а то ведь — стыдно сказать! — внутрь тебя лезет! Вытряхнуть бабку из себя наружу не представлялось никакой возможности. Карга же тем временем педаль газа по самые Сенькины гланды утопила.

Видать, сто лет на иномарках по здешним буеракам гоняет.

Наловчилась.

И бросилась трава степная, чабрец-душица, навстречу.

Понесся Сенька Бурсак по бескрайней украинской степи, мыча бугаем-производителем. Рассекли темень лучи галогенных фар. Завизжала от радости старуха-гонщица. Взлетает машина на ухабах-колдобинах, мелкие камни в днище колотят — что ж ты творишь, зараза?! больно! — кренит машину вправо-влево, словно катер на крупной зыби...

Поди разгонись по нашему бездорожью!

Был бы на месте «Grand-Cherockee» какой-нибудь «Мерседес» или «Шкода» — лежать пижону в овраге. А джип-работяга ничего, держится. Впрочем, когда вырулила ведьма на шоссе, вздохнул бедняга с облегчением. По ровному асфальту мчаться не в пример веселей. Если б не старуха в потрохах, вообще б за счастье сошло.

Ага, жди от судьбы кукиша.

Свернула карга на раздолбанный проселок, а там и в лес.

Тут-то и взяла Бурсака злость. Сколько ж можно над человеком измываться?! Прям-таки из себя вышел — эх, думает, бабка, *ты* только из меня выйди, устрою я тебе «Формулу-1»! Намотаю на колеса, пикнуть не успеешь!

Никогда раньше не водилось злых мыслей у веселого трубача.

А нынче осерчал не на шутку.

Глядь — впереди опушка. За опушкой озеро маячит. Туман над водой висит, тени в тумане хоровод водят. Выскочила карга из Сеньки, одежонку скинула, бесстыдница, и к озеру. А ключ зажигания вынуть и забыла! Напрягся Бурсак, взрыл траву колесами. Злобу сердечную в бак перелил, с ручника снялся, искрой пыхнул. Одно и успела подлая ведьма — обернуться. Ох и врезал ей студент бампером, от души! Взлетела бабка в воздух куклой сломанной; трижды, пока летела, перекувыркнулась. Упала у кромки воды, лежит, не шевелится.

Тени разбежались — от страха, должно быть.

Уж больно грозен ты, джип-чероки, Семен Бурсак!

Стоит Сенька на карачках, башкой кудлатой мотает. Нет колес, нет мотора — коленки, сердце, родная печенка, «Агдамом» траченная! Сгинуло наваждение. Плюнул Бурсак с чувством, встал кое-как и хотел было прочь идти. Да задержался. Подошел к воде, на мучительницу глянуть напоследок, — и застыл соляным столпом.

Лежит на земле девушка его мечты.

В чем, значит, мать родила.

4

Двое тунеядцев, ранее судимых, известные павловской братве как Гоп со Смыком, которые ранним утром угнали от «неотложки» джип «Grand-Cherockee», успели вовремя.

Явись угонщики раньше, их спугнула бы толчея возле клевой тачки.

Доктора и медсестры, изумленно галдя, извлекали из салона обнаженную барышню — в обмороке, с подозрением на сотрясение мозга. Как барышня в таком состоянии вела машину и зачем, уже добравшись до больницы, перелезла на заднее сиденье, где и отключилась, — этого врачи понять не могли.

А Гопа со Смыком проблемы психованных девиц не интересовали вовсе.

Куда больше их интересовали башли, какие барыга Сумчанин грозился отвалить за джип. Не забивая себе голову всякими глупостями, они завели мотор и рванули по улице, а потом и по проселку так, что только дымок закурился. Минут через тридцать Сенька Бурсак оказался в хлеву, а Гоп со Смыком, по-быстрому раздавив шкалик, разделились: Смык остался курить на

крылечке, а Гоп поспешил к Сумчанину дать знать, что «товар готовый».

И стоял Сенька, уткнувшись погасшими фарами в щелястую стену, попирая ребристыми колесами обильно унавоженный земляной пол. И думал... Чем джипы думают? Верно, коробкой передач... И не думал даже, а так, грезил. И представлялась ему девушка его мечты — прекрасное виденье, с глазами синими, как василечки во ржи, с лицом белым, залитым кровью. Грозила пальцем, тихая, укоризненная: что же ты, Сеня, мечту-то предал?

Как барыга Сумчанин расплатился с угонщиками и не остались ли Гоп со Смыком внакладе — история умалчивает; Сенька было задремал, стоя на четвереньках, когда дверь хлева распахнулась и явился некто бритый, как девичья ляжка накануне танцев. И обратно в Сеньку полез; Бурсаку вроде не привыкать, а противно — сил нет. Ну, думает, погоди у меня... Выехали с проселка на трассу, набрали сто сорок, потом сто шестьдесят — взял Сеньку кураж. Сто восемьдесят на спидометре, мошки на ветровое стекло намазываются, тополя вдоль дороги, столбы, дома — все сливается. Пламенный мотор из груди рвется — еще, еще, скорей!

На переезде проскочили перед поездом — машиниста чуть инфаркт не хватил. А стрелочник ничего и не заметил — так, мелькнуло что-то, может, джип, а может, в глазах кружение после вчерашнего.

Оглянуться не успели — подъезжают уже к Киеву. Тут бритоголового мочевой пузырь и подвел. Вышел из машины, и добро бы в кусты — так нет, вздумал отлить прямо на колесо. Крутость свою, значит, застолбить по-собачьему.

Ну, Сенька с места взял сто двадцать — дым из-под колес. Остался крутой пацан стоять на дороге — рот открыт, за ширинку держится. Сенька ему напоследок подмигнул стоп-сигналами — и заржал, заревел мотором, заиграл клаксоном «Лимончики». Так расшалился, короче, что едва пост ГАИ не пропустил.

А пост ГАИ — не шуточки. Скатился Сенька с обочины и перекинулся опять человеком. Морду утер от налипших мошек. Сел, пригорюнившись, и думает: чего теперь?

5

Почти целый месяц носило Сеньку по Крыму. Никогда прежде моря не видел — как не глянуть хоть одним глазком? Был в Новом Свете, в Симеизе, в Алупке, в Ялте, в самом Севастополе. Приспособился деньги зарабатывать — станет на набережной и дудит себе «Йестедей» и «Куда уходит детство». Кудри льняные на солнце выгорели, лицо смуглое, глаза ясные, не-

скромные. Девки ему кидали деньги пригоршнями — так что хватало и на бензин, и на пончики, и на портвейн «Массандра», который оказался не хуже «Агдама». Бархатный сезон в том году удался на славу — жара, как летом. Днем в море купайся, ночью по дорогам мотайся, хоть по горам, хоть по степи... Хорошо? А вот не хорошо.

Беда у Сеньки, болит мотор в груди. Вокруг девок — табуны, это тебе не село, это всесоюзная здравница. Тут они все загорелые, в коротеньких юбчонках, в маечках на бретельках, а на пляже так и вовсе в трусах и лифчике. Лафа, казалось бы, Сеньке Бурсаку. Да только не может он на них смотреть, что на худых, что на толстомясых. Одно лицо стоит перед глазами днем, перед фарами ночью. Одна картина — как она летела, бедная, трижды через голову кувыркнулась...

А возвращаться страшно.

Три раза Сенька через горы переваливал и три раза обратно спускался. На четвертый не выдержал; проскочил через Симферополь, как ревущая летучая мышь, выехал на трассу и заложил на спидометре двести.

Вот и Ольшаны.

Вот и Терновцы, село заветное.

Подкрался тихо-тихо. Постоял под окнами общаги, слушая богатырский храп. Наработались, видно, студенты, нагулялись с девками за месяц, завтра обратно в город — на лекциях спать, дудеть и бренчать, нести в массы разумное, доброе, вечное.

Вздохнул Сенька — и покатил по степи проселком. Покатил с погашенными фарами, на малых оборотах. Видит — впереди огонек зеленый, болотный. Стоит изба-раскоряка, над ней утреннее небо светлеет и горит одинокая звездочка. Сенька совсем притаился, железным брюхом к земле припал...

Тут дверь — скрип. И бочком, будто крымский краб, помятый детишками, выходит старуха. На голове платок намотан так, что лишь кончик носа виднеется. Идет — охает, за поясницу держится. Хромает, ногу подволакивает. Нет, не в добром здравии карга.

Пошла старуха в сарай, чем-то там загремела, запричитала невнятно; у Сеньки сердце от страха зашлось. Видит — а у калитки лежит его рюкзак неразобранный. Лежит, будто нарочно дожидается.

Сенька за лямку хвать — и деру. Через всю степь человеком бежал — легкие-то могучие, трубой тренированные, да и здоровьем Господь не обидел. Прибежал к общаге вовремя — студенты толпились перед крыльцом, все румяные, загорелые, оживленные по случаю окончания трудового семестра. И на горизонте нарисовался «лазик» на предмет отвезти культуртрегеров домой.

Завидев Сеньку, хлопцы кинулись его обнимать, хлопать по плечам и по спине, так что внутри зазвенело.

— А, Джип! Гляди, какой щекастый! Отъелся на хуторе? Как твои телки — не разбежались?

Сенька растерялся и не знал, что говорить. Зыркнул на руководителя — тот у себя в блокноте галочку поставил и рукой махнул: залезайте, мол, в автобус. Как будто так и надо, как будто Сенька, вместо того чтобы по Крыму гонять, целый месяц за коровами ходил с кнутом!

Студенты набились в автобус. Глянул Сенька сквозь мутное стекло — а за забором девки стоят, штук семь, и физиономии у девок грустные-прегрустные. Колька-барабанщик на стекле телефончик пишет. Тоха с методического и вовсе в автобус не спешит — шепчет что-то на ушко чернявой, заплаканной, бумажку сует в ладонь...

Отвернулся Сенька. Тоска взяла.

6

Трудовой семестр Сеньке засчитали, как и прочим, и пошла жизнь по-прежнему, только совсем наоборот. Никакой радости не осталось у Бурсака.

Пьет, а выпивка вместо праздника тоску нагоняет. Мать Наталья Прокофьевна тревожилась — боялась, сглазили Сеньку. А он пытался убедить себя, что все приключения ему привиделись. Пытался вспомнить, как жил на хуторе, как пас коров, как пил самогон со знакомым дедом и совещался с ним насчет Троцкого, — так нет же! Действительность — баба суровая, вроде как комиссар из пьесы Корнейчука. Не давала над собой надругаться.

И карта Крыма была здесь. И мать в ответ на осторожный Сенькин вопрос охотно ответила: да, сынаша, ты, когда заезжал за трубой, сказал, что доярки по культуре соскучились очень... А самое главное — сердце ведь не обманешь. И носился Сенька по ночным улицам, переливая страдания в рев мотора. Не раз и не два удирал от гаишников, однажды чуть кошку не задавил — еле вырулил. Фару подбил — потом две недели ходил с фингалом. Просил и молил девушку своей мечты: ну приснись ты мне хотя бы! Приснись!

Не снилась.

Наступила зима и прошла. Сенька исхудал, стал ко всему равнодушен, даже к музыке, и Зяма Рубинчик его из своей команды вежливенько попросил. Не сразу, конечно, а после того, как Сенька два раза опоздал на похороны. Ша, шлемазлы... Кто же такое потерпит?

Дядька Степан Тимофеевич, подвыпив, пытался заводить с

Сенькой откровенные разговоры, но все зря. Бурсак молчал, словно каменный.

Наступил апрель, и аккурат в день рождения великого вождя, когда на город опустились полчища мошек и пионерам в коротких штанах невмоготу было выстоять в почетном карауле у лысого бюста в сквере Ильича, — Сеньке наконец-то приснился давно желанный, вымечтанный сон.

Снилась ему девушка его мечты. Белое лицо — чистое, глазки-васильки — веселые, губы-сердечко — улыбаются.

— Будешь за меня бороться? — спросила мечта, доверчиво глядя на Сеньку. И тот завопил, перепугав сестру Катьку, что спала в той же комнате:

— Буду, буду! Буду, чтоб мне сдохнуть!

Мечта таинственно улыбнулась — и растаяла.

А через неделю, прямо перед майскими, Джипа вызвали с первой пары к ректору. И тот, по-отечески улыбаясь, сообщил Сеньке радостную весть: на него пришла творческая заявка из села Терновцы, что под Ольшанами.

— Как? — только и смог сказать Сенька.

Ректор пояснил: на третьем курсе студентам полагается профессиональная практика. Прочие будут отрабатывать в июле, но раз Сенька так хорошо зарекомендовал себя в трудовом семестре — все зачеты ему выставляются автоматом, насчет экзамена по марксистско-ленинской философии пусть тоже не беспокоится — «четверка» его устроит?

Сенька залопотал, что не устроит. Что обязательно ему надо сдать философию на «отлично», а для этого необходим месяц тщательной подготовки, и что получать зачеты автоматом ему не позволит совесть. В голосе проскакивали панические нотки клаксона, а в животе начинало все сильнее бурчать. Ректор смотрел на Сеньку, удивляясь и хмурясь, а Джип вдруг вспомнил свой сон, на полуслове взвизгнул и замолчал — как будто педаль тормоза вдавили резко и до отказа.

— Не понимаю вас, Бурсак, — сказал ректор. — Вы что же, обманете черновицких колхозников в их лучших ожиданиях?

— Джип-чероки, — только и сказал Сенька, выйдя из ректорского кабинета.

7

На сей раз Сеньку привезли в Терновцы на «Волге», и не к общаге, а прямиком к сельсовету. В кабинете у председателя лежала ковровая дорожка, показавшаяся Сеньке похожей на прямоугольную лужу крови.

— Ну, музыкант, — сказал председатель, обращаясь сразу к

делу. — Есть для тебя работа не так чтобы большая, но ответственная...

— Духовым оркестром руководить? — с надеждой брякнул Сенька.

Председатель нахмурился, как от неудачной шутки:

— Не перебивай. Работа, говорю, нетрудная, за три дня, может, и управишься... А мы тебе практику зачтем по полной программе.

Сенька, пораженный, молчал.

— Значитца, так, — сказал председатель и уперся в стол костяшками пальцев. — Померла у нас ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени заслуженная пасечница Нехристь Лукерка Никифоровна. С осени еще хворала, но померла только сейчас. И перед смертью заповедывала вот что: пусть на ее похоронах сыграет траурный марш Шопена студент Бурсак Семен. Мы тут на парткоме подумали — и решили одобрить. Все-таки заслуженный человек, ветеран Гражданской войны... Не в церкви же ее отпевать?

И председатель засмеялся, и от его смеха будто морозом сыпанули на покрытую мурашками Сенькину шкуру.

Грянул телефон на красной салфеточке с желтой бахромкой. Председатель схватил трубку широким жестом, как в кино. Заорал, выпучив глаза мимо Сеньки:

— Да! Что?! Как — нет навоза?! Что? Где хочешь бери! Чтобы до праздников мне был навоз! Мать-мать-мать! Хоть сам производи, умник!

Сенька плохо слышал и плохо соображал от страха. Померла! Он оглянулся, ища глазами дверь, но за спиной обнаружился почему-то тоже председатель — нарисованный на огромном портрете. Сенька повернулся снова — вокруг своей оси, будто глобус.

— Похороны сегодня! — сказал председатель, бросая трубку на жалобно тренькнувший рычаг. — А завтра, Бурсак, День международной солидарности трудящихся — Первое мая. Демонстрация, стало быть. — Председатель фальшиво пропел «Утро красит нежным цветом». — А послезавтра и вовсе великий праздник: дочка моя единственная замуж выходит, будем гулять всем районом... Три больших дела, и везде музыка нужна. Справишься?

Сенька только губами шлепнул.

8

И в знакомой «Волге» повезли Бурсака на кладбище. Народ уже собрался, правда, немного: дед-комендант, пасечник, похожий на Джузеппе Сизый Нос, молодица какая-то, комсомольцы

по распоряжению председателя — гроб таскать. Вокруг кресты покосившиеся, обелиски со звездами и пара-другая гранитных плит.

И яма готова.

Смотрит обомлевший Бурсак — лежит в гробу Нехристь Лукерка Никифоровна, карга каргой. Иссохла и отощала со дня их последней встречи. На груди орден. А глаза будто приоткрыты. Так и видится Сеньке из-под старческих век внимательное зырканье.

А председатель тут как тут.

— Разрешите, — говорит, — начать траурный митинг...

Закончил председатель и на Сеньку со значением посмотрел. Зажмурился Бурсак, поднес трубу к губам, вдохнул поглубже...

Заиграл печального Шопена.

Поначалу тяжело было, а потом вспомнилось все: как отец впервые трубу принес, как в музыкалке праздником пахло, как Зяма Рубинчик его перед другими хвалил... Потеплело на душе. Играй, труба! Звени, медь! Оплакивай Лукерку Никифоровну, оплакивай Сенькину горькую судьбу.

Одержимый вдохновением, открыл Бурсак глаза. Смотрит — лежит в гробу девушка его мечты. Солнечный луч касается щечки с ямочкой; и, будто проснувшись, поднимает любовь ресницы, смотрит на Сеньку, улыбается...

Тут-то у него кол в груди и встал. Захлебнулся, закашлялся и игру свою вдохновенную завершил неприличным звуком. Глядь...

Нет ни кладбища, ни гроба, ни девушки, а только тарелка с мочеными помидорами, и в ней почему-то окурок. За столом сидит Сенька, и, судя по кружению в башке, весьма поддатый. Вокруг чужие люди пьют за упокой души. Незнакомая молодица соленые огурки трескает. Дед-комендант сало с чесноком наворачивает, Сенькиным пращуром вслух интересуется — почетным чекистом Бурсаком. Дескать, воевали вместе. Хороший человек был, мир его беспокойному праху.

— Отдыхай, музыкант, — говорит председатель. — Завтра демонстрация, дело ответственное, смотри не оплошай!

9

Всю ночь снилась Сеньке девушка его мечты.

— Прости меня, Семен, — говорит. — Зря я жизнь твою молодую погубила. Не выйдет у нас любви — слаб ты, выходит, духом, и счастья своего боишься... А назад теперь ходу нет. Трижды твоя труба петуха пустит — и пропали мы оба, пропали навсегда...

А Сенька во сне не знал, что ответить — в брюхе поминальный ужин революцию устроил. Да и что тут скажешь?

На другой день собрались селяне на демонстрацию по случаю Дня международной солидарности трудящихся. Перед сельсоветом трибуна из досок, вся кумачом обернута, на трибуне председатель, и красный бантик на груди приколот.

— Разрешите, — говорит, — начать праздничный митинг...

Стоит Сенька, медную трубу-подругу в руках сжимает. Вокруг селяне толпятся — принарядились по радостному делу, старики ордена нацепили. Едва узнал Сенька деда-коменданта — такой у него на груди иконостас. Тут же комсомольцы, те самые, что вчера гроб таскали. Держат над головами транспаранты из кумача и бородатые портреты на длинных жердях. Строго глядят портреты, а комсомольцы и того строже: сами-то плюгавые, чернявые да щуплые, Сенька со своими льняными кудрями — как удод среди воробьев.

А девки местные на трубача поглядывают с интересом. Все как на подбор статные, полнотелые, на каждой груди по бантику заманчиво так трепещет, кое-кто в красной косыночке, а щеки и того краснее, и брови черные, как по ниточке.

Ничего не видит Сенька. Смотрит в землю. А в ушах будто шепот: «Трижды твоя труба петуха пустит...»

Наговорившись, председатель взмахнул рукой и глянул на Сеньку. А тот не видит — стоит, трубу к груди прижимает и бормочет что-то.

— Мыкола, — кричит председатель, — скажи музыканту — пусть марш начинает!

Мыкола постарался — так ткнул Сеньку в бок, что тот в минуту все вспомнил, пришел в рабочее состояние и поднял трубу к губам. Заиграл «Утро красит нежным светом».

Заулыбались молодицы, зашушукались девки, кое-где песню подхватили; заворочалась толпа, захлопала на ветру кумачовыми полотнищами. Сеньку вперед пропустили — и пошли.

Закончилось «Утро», началось «Прощание славянки». Закончилось «Прощание», началось «Мы кузнецы». Играет Сенька. труба заливается, идут и идут — пора бы улице завершиться...

Очень длинная в Терновцах улица имени Ленина. Идет и идет демонстрация, транспарантами качает, песни распевает и с каждым шагом будто бы разрастается. Все новые и новые товарищи вливаются в праздничное шествие, из улочек боковых выходят, а то и прямо будто бы ниоткуда, и к запаху перегара и духов «Красная Москва» добавляется запах плесени, тины болотной, землицы сырой...

Огляделся Сенька.

Идут утопленницы длинноволосые, груди на плечи закинули, чтобы под ногами не путались. Идут упыри с кладбища — у

каждого на саване приколот истлевший бантик. Идут рогатые, хвостатые, прихрамывают, копытами месят дорожную пыль...

Потемнело у Сеньки в глазах. Хрюкнула труба, пустила петуха — и замолкла.

10

Ночью Сенька бежать хотел: обернусь, думал, джипом, и только вы меня и видели. Не так все вышло — устерегли его комсомольцы. Ждали, видно, случая поквитаться с городским, а может, председатель своевременные меры принял. Только, когда Сенька ночью выбрался из окна, — поджидали его. Отметелили слегка и обратно водворили. Лица пригожего, надо сказать, не тронули: и губы остались целы, и нос не разбит. Поскольку свадьба предстояла не кого-нибудь, а председателевой дочки, и Сеньке хоть умри, а придется «Лимончики» играть.

Всю ночь провел Бурсак без сна. И девушка его мечты ему не явилась. Уж он просил-молил: появись, мол, хоть перед смертью дай на тебя насмотреться. А в том, что и в третий раз не выстоит, у Сеньки сомнений не было. Совсем плох стал Бурсак: в животе урчит, зубы стучат, и колени слабые. Хотел «Отче наш» читать, близко к тексту, ибо не учат в институте поповские бредни, да не дочитал и до середины: язык отнимается, губы немеют...

Пропал Бурсак. Пропал Сенька, а кудри льняные или что-то другое его погубило — не узнать.

На рассвете задремывать стал. Вдруг свинья завизжала, весь сон перебила. Это в председательском дворе к свадьбе свиней кололи.

Поздним утром напялили на Сеньку черный костюм с белой рубахой, и, ни жив ни мертв, поплелся он за провожатым на председателев широкий двор, как на плаху. А там уже балаганы стоят, в балаганах столы сколочены, рядом печи сложены, десять поварих у печей вертятся, жарят и шкварят, дым, пар, чад — как в преисподней.

Вдруг загудели гудки, раскрылись ворота, встали перед ними три черные «Волги» в ряд, все в ленточках, будто гробы. На капоте у первой машины — кукла в белом платье, голубыми глазами на Сеньку смотрит.

Раскрылись в машине дверцы, и вышла к людям девушка Сенькиной мечты — в свадебном платье, фата на голове, а коса — до пояса. Лицо матовое, чистое, глазки синие, ясные, губы нежные, розовые... Только печальная да бледная. И на людей не смотрит — все вниз да вниз.

И вылезает из второй машины жених — старый черт, одним словом. Сам мелкий, седой, а зубы золотые.

И вылезает из третьей машины председатель — в черном костюме, с красной лентой через плечо.

— Ну, — говорит председатель, — разрешите начать торжественный митинг...

Стоит Сенька, ног под собой не чует. Печи пышут жаром, по лицам поварих красные блики скачут. Из поварих нет-нет, да и подмигнет какая Сеньке, ухмыльнется, белым острым зубом блеснет — и снова за работу.

А посреди двора рушник на землю постелили, вот уже и хлеб-соль несут.

Встали жених и невеста рядом. Поглядел на них Сенька...

Улыбается старый черт. По-хозяйски кладет руку на плечо девушке Сенькиной мечты. И на удивленных глазах Бурсака девушка начинает вдруг стареть, стареть, покрываться морщинами, рот ввалился, коса поседела да клочьями повылезала...

Глядит на Сеньку Нехристь Лукерка Никифоровна. Печально глядит. Будто прощаясь.

— Играй! — велит председатель.

Поднял Сенька трубу.

И в груди у него, прямо за ребрами, что-то случилось.

Сперва сжалось все, будто от страха или от жалости. А потом застучало сердце пламенным мотором. Вспыхнули глаза галогенными фарами. И заиграл Сенька, как в жизни никогда не играл.

Гикнул председатель. Притопнул. Пустился в пляс посреди двора. А за ним гости.

Танцует водяник с утопленницей. Танцует удавленник с ведьмой. Кости поскрипывают, копыта постукивают, и старый черт не удержался — пустился вприсядку вокруг невесты...

А невеста с места не сходит. Как стала на рушнике, так и стоит. На Семена смотрит — лицо матовое, коса до пояса, грудь высокая, глазки синие...

А печи ревут. А поварихи танцуют с жареными поросятами. У председателя челюсть впопыхах отвалилась, так он ее с земли подхватил и на место приставил — хрусь!

Пересохло у Сеньки в горле. Губы растрескались. Легкие огнем горят. Сбился, перепутал мелодии, замолчала труба...

— Попался! Попался!

И тянутся к Сеньке отовсюду сотни рук — какие костлявые, какие волосатые, а какие и с когтями.

Набрал он воздуху — и пошел шпарить все подряд. Мендельсона. Шопена. «Лимончики». «Куда уходит детство». «Семь сорок» с импровизом. Только-только вечер спускается, до утра еще далеко...

Снова сбился Сенька — ну не железный же он!

Или железный?

Снова протянулись к Сеньке руки, вот-вот коснутся живого тела...

Взвыл клаксон, и зазвучала труба. И опять гости в пляс пустились.

Раскалилась медь. Обжигает, а Сеня и не чувствует — онемели губы давно, коркой взялись. Онемели и пальцы — сами бегают, Сенька им не хозяин. И мутится перед глазами: то ли слезой взялись, то ли фары запотели. И сбоит за ребрами сердце — то ли инфаркт подступает, то ли бензин в баке весь вышел. Смотрит на девушку своей мечты — и не видит ее. Впору «дворники» включать...

И выпала труба из ослабевших рук. И навсегда замолчала.

— Ага! — закричал златозубый жених.

— Ага! — завопили радостно гости. — Теперь попался, попался, попался!

11

И в ту самую секунду, как совсем уж было одолела Сеньку нечисть, соскочила невеста с рушника. Фату с себя сорвала, в небо подбросила — обернулась фата петухом и с перепугу закукарекала.

Замерли гости.

Расхохоталась девушка, пальцами щелкнула, жениху своему, старому черту, под самый нос дулю скрутила. И — к Сеньке.

Распахнула дверцу. Вдавила педаль газа по Сенькины гланды. Взревел мотор, и только их обоих и видели.

12

Так обрел свое счастье Сенька Бурсак.

По сей день, говорят, в окрестностях райцентра Ольшаны можно встретить джип «Grand-Cherockee», летящий по буеракам на скорости двести километров в час. Молодежь, правда, в него не верит. А старожилы крестятся, заслышав на болотах шум мотора.

Многие его видели. Говорят, он прекрасен и страшен: смоляной лак блестит, галогенные фары затмевают солнце и луну, а за рулем сидит девушка неописуемой красоты — в чем мать родила.

Так носятся они — и так будут носиться до Страшного Суда.

А как сыграет клаксон «Лимончики» задом наперед — так Суду и быть.

1

Сессия была сдана, солнце светило ярко, над трудягой фонтаном то и дело вспыхивала трепетная радуга, пиво, купленное в ближайшем киоске, оказалось ни ледяным, ни теплым, а в меру холодным...

— Хорошо! — не выдержал Глеб, счастливо щурясь. — Ой, хорошо!

Позитивные эмоции требовали выхода, и он негромко, дабы не распугать публику, запел нечто старинное, недавно слышанное на волне радио «Мелодия»:

> В городском саду играет духовой оркестр,
> На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест.

— Места на скамейке как раз есть, — заметила Оля, не отрываясь от газеты. — А оркестр играет только по воскресеньям.

Девушка любила точность даже в мелочах. «Телегород», который она изучала с карандашом в руках, был весь исчеркан ее пометками — Оля честно исправляла встреченные в тексте ошибки и несообразности. Делала она это не столько из злорадства, сколько по привычке. Филолог все-таки.

Глеб отхлебнул пива, прикинул, что до воскресенья еще два дня — и оба они абсолютно свободны. Ни экзаменов, ни зачетов, ни консультаций. Лепота! Бывает все-таки в жизни счастье!

> . .Прошел чуть не полмира я, такой, как ты не встретил,
> И думать не надеялся, что встречу я тебя!

— «Думать не надеялся» — неправильно, — сразу отреагировала Оля. — Слова там другие и... Что ты тут пометил? Среди объявлений?

— Я?!

Дотошность — родная сестра точности. Приятели искренне сочувствовали Глебу, считая, что большей зануды, чем темноволосая третьекурсница с филфака, не найти не только в университете, но и в области. Глеб все подобные намеки отметал с порога, как провокационные.

— Ты, — подтвердила Оля, внимательно изучив объект. — Ногтем.

Глеб мельком взглянул на указательный палец. Ноготь был чист, но давно не стрижен.

— Случайно, — решил он. — А что в объявлении?

— Гм-м...

Глеб моргнул, после чего поглядел на девушку не без некоторого удивления. Ее «гм-м» дорогого стоило.

— Ты знаешь, что такое ковен?

— Первичная ячейка нечистой силы. А что?

Подобные знания достались студенту философского факультета не случайно. Он специализировался по весьма странной дисциплине, именуемой «Украиноведение (философия)». Диплом, который ему предстояло писать в следующем году, посвящался философским аспектам украинской демонологии.

— Как раз по твоей части, — рассудила девушка, протягивая газету. Потом подумала и добавила: — И по моей тоже. В какой-то мере.

Философ аккуратно поставил недопитую бутылку на асфальт, зачем-то пригладил темные кудри, зашуршал желтоватой бумагой...

— Гм-м...

И в самом деле «гм-м», причем два раза. Маленькое, одетое в тонкую синюю рамку объявление гласило:

Конкурс!

Ковен Фрунзенского района объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:

1. Главного менеджера.
2. Заместителя главного менеджера по информации.

Опыт работы по специальности желателен.

Телефон отсутствовал, к указанному же адресу было добавлено: «Круглосуточно».

— Ковен, — повторила девушка. — Нечистая сила. Круглосуточно. Не может быть.

— Теоретически... — задумался Глеб. — Если очень теоретически...

Минут пять ушло на объяснение, что есть (теоретически!) ковен и почему он (очень теоретически) все-таки может существовать — даже во Фрунзенском районе.

Бутылка пива исчерпалась. Нежданный ветер налетел на фонтан, азартно разбросав брызги по стоящим поблизости скамейкам.

— Сатанисты, — нахмурилась Оля. — Спасибо, не надо. Хотя... Если менеджер по информации — это то, что я думаю... Опыт у меня как раз есть.

Компьютерами девушка увлекалась почти с самого детства — со страшной, мигающей непонятными огоньками «экстишки». С годами увлечение чуть не стало профессией. «Чуть» — потому что компьютерный факультет в университете только собирались открывать, избежать же поступления «хоть куда», учитывая семейные традиции, было практически невозможно. Филфак стал вынужденным компромиссом.

— У сектантов обычно хорошо платят, — заметила Оля, в

очередной раз перечитывая дивное объявление. — Мамина знакомая работает у баптистов третий год. «Ауди» купила.

— Ты серьезно? — поразился Глеб, имея в виду, конечно же, не факт покупки «Ауди».

Студентка филфака резко кивнула:

— Более чем. Если удастся зацепиться... Ты живешь в общежитии. Раз. Подрабатывать тебе не удастся — диплом на носу. Два. Если я переведусь на заочное, родители стерпят. Это три.

Она замолчала, давая возможность своему спутнику додумать остальное. Особых трудов не требовалось: четвертым (последним, но не по важности) следовало их твердое решение расписаться по получении Глебом вожделенного диплома.

— Ну... — несколько растерялся философ. — Можно как-нибудь подойти, узнать...

— Не как-нибудь! — перебила Оля, вставая и пряча газету в пакет с надписью «Заплати налоги, гражданин!». — Время есть, идти — пять минут всего. «Как-нибудь» — и опоздать можно. Они же пишут: конкурс!

2

На пятый этаж их подбросил лифт — старинный, с фигурными черными прутьями вместо дверей. Мудреное устройство скрипело, дрожало, дергалось, запинаясь на каждом метре. Ретро — такое же, как пыльный подъезд, да и как весь дом, построенный еще в начале века в модном тогда стиле «купеческий ампир».

— Здесь, — констатировал Глеб без особой необходимости. — Квартира слева.

Он старался быть невозмутимым — на то и философ, но «быть» не выходило, только «казаться». Сектантов молодой человек побаивался, вспоминая слышанные в детстве рассказы, как помянутые баптисты зарывают провинившихся сотоварищей живьем в сырую землю.

Подъезд вкупе с лифтом его добили. Офис — ладно, а тут прямо-таки замок принца Дракулы-Стокера Носфератского!

— Звоним? — В голосе девушки самым краешком прозвучала неуверенность. Похоже, подъездное ретро подействовало и на нее.

Глеб поглядел на обитую коричневой кожей дверь, на белую кнопку звонка... Вампиры днем спят, а от обычных сектантов и убежать можно. К тому же Оля давно хотела найти приличную работу.

— Звоним!

— Мы по объявлению.

Отвечать на сакраментальное «Кто там?» пришлось, глядя в черную щель, перерезанную толстой стальной цепочкой. Из прохладной глубины белым призраком выступала худая старческая рука с массивным золотым перстнем на пальце.

— По объявлению?!

Костлявые пальцы дрогнули, и Глебу стало не по себе. Такую руку — да не к ночи, до утра сниться будет!

— Тэк-с, тэк-с, молодые люди... А чем домовину упыря посыпать следует?

Вопрос был настолько нелеп, но одновременно так соответствовал обстановке, что философ ответил не задумываясь:

— Маком. Это нам еще на первом курсе читали.

— А какая кость у одмин самая прочная?

— Никакая! — Глеб невольно рассмеялся. — У них все кости мягкие. Видите ли, мы на должность главного менеджера не...

Дверь отворилась. Как и полагалось — с долгим неприятным скрипом.

3

— Прошу, прошу! За стол, я как раз чайник поставил...

Маленький седой старикашка в малиновом халате и мягких тапочках кивнул на отворенную дверь в конце коридора. По сторонам, плохо различимые в полутьме, вырисовывались еще две двери, но закрытые.

Философ и филологичка переглянулись. Слов не требовалось, и так все ясно. Большая квартира — три двери, а комнат, почитай, все пять. И ведь не коммуналка!

Глеб, живший последние годы в университетской общаге, еле удержался от завистливого вздоха. Оля, подобных бед не знавшая, оценила иное — высокие потолки, огромность коридора. Если и комната будет такая...

Комната оказалась именно «такой» — размером со средних размеров спортзал. Но больше ничто о спорте не напоминало. Ветхая темная мебель, линкруст вместо обоев, пожелтевшие фотографии, огромная картина на стене...

«Куинджи! — мысленно восхитился Глеб. — Надо же!»

«Копия Куинджи, но очень хорошая, — мысленно восхитилась Оля. — Надо же!»

Стол оказался застелен скатертью. Не белой — темно-желтой, с хитрыми узорами.

— Тэк-с, тэк-с! — в очередной раз повторил старичок, усаживаясь на стул с высокой «готической» спинкой. — Чайник закипит минут через пять, а пока... Меня зовут Игорь Родионович, да-с.

Молодые люди поспешили представиться, не забыв упомянуть место учебы и будущую специальность. Старичок закивал:

— Очень, очень хорошо! Без высшего образования в нашем деле — никуда. А то, что вы, Глеб, будущий философ, просто великолепно. Менеджер ковена с философским образованием — просто мечта!

Глеб и Оля в очередной раз переглянулись. Самое время объяснить, что никто из них не претендует на столь ответственную должность...

— Только вынужден сразу огорчить. Вы, Глеб, и вы, сударыня, наверняка представляете, как замещается должность... ну, скажем, доцента.

Философ невольно задумался. Ответила девушка, куда лучше разбиравшаяся в практических вопросах:

— Требуется дать объявление в газете, пригласить всех желающих... Но кандидатура давно есть?

Игорь Родионович вздохнул, развел руками. Из глубины квартиры донесся гневный свисток чайника.

— Увы... Конкурс мы объявить, конечно, обязаны, и объявления дать — тоже... Увы! Чайник? Да, конечно...

Шарканье тапочек затихло в глубинах коридора. Оля поглядела на картину, покачала головой:

— Тебе, кажется, не повезло. Боюсь, мне тоже. Сейчас спросим. А интересный дедок! И место интересное.

4

— ...А если упырь двигаться начнет? — наседал старичок. — Ночь, он — на лавке, вы рядом, в доме — никого. Какие слова говорить станете, молодой человек?

— Ничего не стану. — Глеб зачерпнул варенье из фарфоровой вазочки, отхлебнул чая. — Псалтырью по голове — и весь разговор. Между прочим, болтать с упырями крайне опасно!

Чай был хорош и душист, варенье — выше всяких похвал, а тема беседы ничуть не шокировала. Приятно — словно опять на зачете по фольклору!

Девушка пила чай, но в разговор не вступала — разглядывала картину, ожидая, пока Глеб наконец-то объяснится. Но — не получалось, хозяин квартиры только входил во вкус.

— Тэк-с, тэк-с... А вот, к примеру, свадебные обереги. Поступил к вам заказ на обеспечение безопасности данной свадьбы. От оборотничества. Тут уж без слов не обойтись!

Философ представил на миг, как их разговор воспринимался бы со стороны, хмыкнул.

— Есть семь основных свадебных оберегов от оборотничест-

ва. Самый лучший — «чугунный». «Стану я на чавуннее дно, закроюся зализным небом, замкну я по тридевять замкив...»

— «...По тридевять полузамкив та вкину я ключи в океан-море...» — подхватил Игорь Родионович, жмурясь от удовольствия. — Порадовали, порадовали, молодой человек! Эх, если бы наши традиции и вправду соблюдались! Я бы за вас двумя руками голосовал. Увы... Кандидатуру уже одобрили, а возражать против воли начальства... И хорошо еще, если местного пришлют. А то найдут в Полтаве или в Миргороде чьего-то племянника, возись потом с ним! А ведь наш ковен — старинный, еще при полковнике Донце основанный, целых три века тому назад. Попытаться, конечно, можно... Семь оберегов! Мой дед и тот только четыре знал... Скажите, Глеб, а как бы вы отнеслись к, так сказать, компромиссному предложению?..

На мгновение он умолк, торопливо отхлебывая чай, и философ поспешил внести долгожданную ясность:

— Я... Мы, Игорь Родионович, на должность главного менеджера и не претендуем. Вот заместителем по информации...

— Именно, именно! — Чашка с глухим стуком опустилась на блюдце. — Сразу видно умного человека! Не знаю, каков он будет, этот, пардон, кандидат, но ваши знания, уверен, нам оч-чень пригодятся, да-с! Жалованье, конечно, поменьше, но возможна частная практика... Только, Глеб, вам ведь придется заниматься этими... Вельзевул прости, как их? ЭВМ, что ли? Ну, которые все время ломаются.

— Компьютерами, — подсказала молчавшая до сих пор девушка. — Игорь Родионович, поверьте — Глеб очень неплохо в них разбирается.

Между прочим, чистая правда — за время их знакомства Оля изрядно поднатаскала философа в этом мудреном деле. Но Глеб все равно весьма удивился. Он уже открыл рот, чтобы наконец все объяснить, но внезапно почувствовал, как его толкают в бок. Вежливо — но ощутимо.

Философ обернулся. На невозмутимом лице его спутницы неоновыми огнями горело: «Не вздумай спорить!»

— Интернет у вас есть? — продолжила она. — Неужели нет? Ну так...

— Да-да, конечно, — без особого энтузиазма закивал старичок. — У меня там целый список, чего требуется. Но ведь это — не главное. Времена сейчас, сами знаете... Недавно услыхал по радиоприемнику странное слово: «Беспредел». Жуткий неологизм, но по сути верно. До чего дошли! Господин Велиар в Киевском районе бои без правил проводит в Касьянову ночь. Безвинных мертвецов поднимает — и английский бокс устраивать изволит! В Касьянову ночь, когда всякая нежить Люцифера сла-

вит! Ужас, кошмар! А если к нам такого же Велиара направят? Да лучше я стакан святой воды выпью, чем подобное увижу!

Глеб вновь покосился на свою спутницу. На сей раз неоновые огни горели на его лице: «А не пора ли сматываться? И быстро! Или еще быстрее».

К его изумлению, Оля покачала головой — еле заметно, но решительно.

— Игорь Родионович! Знаете, я в ваших делах, конечно, ничего не понимаю... Но где-то слыхала, что для такой ответственной работы требуется... Как это, Глеб? Урожденный ведьмак, правильно?

Философ кивнул — правильно. Он сам рассказывал девушке об этом — еще в начальную пору их встреч. Вот уж не думал, что Оля запомнит такое!

— Конечно! — Старичок мотнул седой головой. — А как же иначе? Да-с! Урожденный, настоящего рода, древнего, чтобы не меньше пяти поколений...

Внезапно он умолк, скользнул взглядом по лицам гостей.

Заморгал.

— Позвольте, позвольте, а разве вы не...

Глеб открыл было рот, чтобы с облегчением признаться: нет, к сожалению, мы не по этой части. Но Оля его опередила.

— Конечно, да! — выпалила она, заставив философа подпрыгнуть на стуле. — Глеб ведет свой род от самого Басаврюка!

И под столом наступила ему на ногу — так сильно, что протестующий возглас застрял у Глеба в глотке.

5

— ...Ну и где ты будешь работать?

Солнце все так же светило, но от очарования дня не осталось и следа. Глеб и Оля сидели на скамейке, Глеб молчал, глядя в пыль под ногами, а Оля вот уже битый час доказывала ему, что ее опрометчивое поведение в гостях у подозрительного старичка являлось вовсе не опрометчивым, а, наоборот, мудрым и дальновидным.

— Ну получишь ты диплом. И где ты будешь работать? Где станешь жить и на какие деньги?

Она была права. Жилищный вопрос оставался для Глеба одним из самых болезненных. Родители Оли, в целом не одобрявшие выбор дочери, давным-давно дали понять, что «приймака» в свою квартиру не возьмут. Человек, задумавший жениться на приличной девушке, должен для начала устроить собственную жизнь — тогда станет ясно, готов ли он к жизни семейной. Так или примерно так говорили Оле родители, и следовало признать за ними неприятную, но правоту.

— Где мы будем жить? — повторила Оля с нажимом. — Даже если я переведусь на заочный...

— Ковен, — с отвращением простонал Глеб — Да они же сумасшедшие!..

— Мы не в том положении, чтобы выбирать, — мягко сказала Оля. — Фирма, конечно, своеобразная. Но деньги у них есть, и работают, видно, не первый год...

Она говорила и говорила, и Глеб понимал, что в конце концов отвертеться ему не удастся. Если Оля что-то задумала — пиши пропало.

— Ты сама говорила: подрабатывать не выйдет, потому что диплом...

— Я буду тебе помогать, — невозмутимо ответила Оля. — Стану брать работу на домашний компьютер. Вряд ли это очень трудно — сидеть и искать по сети истории про русалок и домовых.

— А зачем ты соврала про Басаврюка?

— А иначе бы он тебя не взял.

— А если он проверит?

— Как? — Оля рассмеялась.

Действительно, как?

Перед тем как поступить в универ, Глеб почти год отработал в пекарне, так что трудовая книжка у него имелась. Игорь Родионович запер ее в ящик черного массивного комода, пожал Глебу руку и провел к компьютеру, довольно «свежему» по техническим характеристикам, но в крайне запущенном состоянии. Машина, казалось, переболела всеми возможными вирусами, жесткий диск оказался завален мусором, а модем не работал. Вечером Глеб честно отчитался перед Олей о проделанной работе: что за провайдер, какова скорость соединения, что за софт надо установить согласно пожеланиям старичка.

— Тебе понравилось, — заметила Оля.

Глеб и в самом деле был доволен. То, чем пришлось заниматься в первый рабочий день, вполне соответствовало его представлениям о нормальной человеческой работе.

— Там, конечно, еще и конь не валялся, — озабоченно говорил он Оле. — Не понимаю, кто за этим компом до меня сидел — ламер паршивый, руки бы открутить, даже клаву ухитрился чем-то заляпать!.. Представляешь, между «А» и «В» какой-то салат застрял!

— Салат? — удивилась Оля.

Глеб засмеялся:

— Морская капуста! Похоже на засохшие водоросли.

— Водоросли... — пробормотала Оля и на минуту нахмурилась.

В конце первой рабочей недели Игорь Родионович пригласил Глеба выпить чаю и как бы между прочим спросил:

— А у вас, голубчик, уже есть определенные планы на Ивана Купала?

— Нет, — честно признался Глеб.

— Прекрасно! — Игорь Родионович с хрустом распечатал пачку галетного печенья. — Вот вам, Глеб, и первый случай проявить себя, так сказать, по специальности.

Глеб насторожился. Тонкие пальцы Игоря Родионовича выкладывали печенье на старинном фарфоровом блюде, золотой перстень тускло поблескивал.

— Дело обычное, — небрежно продолжал старик, — простое, можно сказать, дело... Да вы и сами, наверное, догадались... Ах, где же сахар?

И старик отлучился на кухню, тихонько напевая под нос: «На Ивана Купала жаба в борщ упала, хлопцы не поспели — девки жабу съели, на Ивана Купала...»

— Клиент будет в десять вечера на остановке автобуса «Медвежий Яр», — сообщил Игорь Родионович, вернувшись. — Вы уж постарайтесь, Глеб, устройте ему все как полагается... По результатам оформим вам премиальные. — И старик улыбнулся, обнажив острые зубы, отчего и без того растерянному Глебу сделалось совсем кисло.

6

— Надо идти, — серьезно сказала Оля.

— Куда? Что мне делать с этим клиентом?

Филологичка взглянула на него с укоризной:

— Ты что, сам не знаешь, чем люди занимаются в ночь на Ивана Купала? Он хочет найти цветок папоротника и с его помощью откопать клад. Тут специальных знаний не требуется. Это в школе проходят.

— В школе учат искать цветок папоротника?!

— Ну я тебя умоляю! — Оля закатила глаза. — Сперва посмотрим, что за клиент. Если браток какой-нибудь — сделаем вид, что мы не по этой части. А если пацан, или бабка, или девушка — тогда выйдем, поводим по лесу, нагрузим, что, мол, папоротник еще не расцвел, или уже отцвел, или его кто-то первым сорвал... Медвежий Яр — у нас там дача неподалеку, я этот овражек излазила вдоль и поперек.

— Погоди, — сказал Глеб. — Ты что, тоже хочешь идти?

— Ну куда ты без меня? — снисходительно улыбнулась Оля.

Без десяти десять вечера было еще довольно светло. Автобусная остановка — три стены и скамеечка, выкрашенные синей краской и увенчанные жестяными буквами «Медве...ий Яр» —

оставалась пустынной. Последний автобус на сегодня прошел, выпустил на дорогу полдесятка бабок с корзинами и укатил. Бабки разбрелись. Глеб и Оля сидели на пляжной подстилке в тени ближайшего куста, пили из термоса кофе с коньяком и ждали клиента. Небо из медного сделалось абрикосовым, побледнело, на его фоне остановка казалась величественной, как античные развалины, и столь же нежилой.

— Не придет, — выдохнул Глеб с надеждой.

— Ну и ладно. — Оля убила комара на коленке. — Дай мне «Офф», пожалуйста.

Взяв из рук философа баллончик с антикомарином, она принялась тщательно опрыскиваться. Закончив, убрала с носа упавшую прядь и вдруг схватила Глеба за руку:

— Смотри!

Декорации на фоне гаснущего неба обогатились новым персонажем. Рядом с остановкой возник мужчина, невысокий, щуплый и, кажется, молодой.

Глеб и Оля переглянулись.

— Идем, — сказала филологичка. — И смелее, гражданин ведьмак!

7

— Идти долго, — сурово предупредил Глеб. — По дну оврага, вдоль ручья...

— Я впереди, — заявила Оля и незаметно подмигнула философу. Глебу совсем не улыбалась перспектива отпускать девушку одну вперед — но и спорить с ней в присутствии клиента он не решился.

— Меня зовут Миша, — представился клиент.

Ровесник философа, может быть, чуть младше. Тощий, сутулый, в очках. И, судя по всему, он боялся Глеба гораздо сильнее, чем самозваный ведьмак мог бояться его.

Оля освещала путь мощным фонарем. Луч прыгал впереди, выхватывая из темноты кочки, камни, поросшие мхом стволы деревьев-раскоряк, колючие кусты. Над головой проносились летучие мыши. Комары плевать хотели на «Офф» и чуть в рот не лезли. У Глеба фонарик был послабее, философ светил прямо под ноги себе и клиенту — чтобы не поскользнуться и не оступиться.

Шли десять минут, и пятнадцать, и двадцать пять. Клиент сопел над ухом. Звенели комары. «Зачем я здесь? — в который раз спрашивал себя Глеб. — Что за фигня, ей-богу, играемся, как ролевики, но те хотя бы понимают, в чем их кайф...»

— Я жениться хочу, — шепотом сообщил клиент.

Глеб к тому моменту был так раздражен и расстроен, что чуть не сказал вслух: вот и молодец!

— Если бы не это, — в голосе клиента послышалась тоска, — я бы никогда... У меня брат маленький, мать одна... Студент я. Мехмат, второй курс... Бабок нет. Заработать негде. А нам... понимаете, Глеб, нам негде жить. И ее родители против. Нам очень нужны деньги.

Глеб молчал. Выпала роса, трава сделалась мокрой, дорожка выскальзывала из-под кроссовок.

— Я крещеный, — мрачно признался клиент.

Очкастый Миша принимал происходящее всерьез. И философ, как ни странно, понимал его. Так случилось, что оба они оказались в лесу среди ночи по одной и той же причине, решая одну и ту же проблему.

Где-то неподалеку «включился» соловей.

— Я знаю, — Миша говорил еле слышно, слова прятались за далекое кваканье лягушек, за соловьиные излияния, — нечистый клад... не дается в руки... пока не прольешь невинной крови. — Он чуть заметно кивнул вперед, где Оля храбро форсировала упавшее дерево. — Я знаю... Может, попадется чистый клад? Бывает такое?

— Редко, — честно признался Глеб.

Миша замолчал. Глаз клиента не было видно за стеклами очков, в которых отражались лес, отблески фонариков, вереница прыгающих теней. Глебу захотелось сказать: все, хватит, пошли назад, пока нас комары не съели!..

Будто услышав его мысли, Миша споткнулся и остановился.

— Оля! — крикнул Глеб вслед удаляющемуся фонарику и поразился, как глухо, потусторонне звучит голос. — Погоди!

— Оля, — шепотом повторил Миша. — Она красивая.

— Туда или назад? — грубовато осведомился Глеб.

Миша снял очки, протер полой тенниски. Спросил очень тихо:

— Можно я закурю?

— Придем на место — покуришь, — отрезал Глеб. И снова поразился себе: будто кто-то другой сказал, по-хозяйски и жестко.

— Оля, — повторил Миша с тоской. — Что вы ей сказали? Как заманили?

Глеб хотел спросить «Что?», но вовремя прикусил язык. Ничего, на муки совести у Миши осталось совсем немного времени: побродят по лесу еще часок, покроются царапинами от кустов и волдырями от комариных укусов, и он, ведьмак, скажет честно: увели цветок папоротника, увели из-под носа...

— Вы идете? — крикнула из темноты Оля.

Глеб посмотрел на Мишу. Тот собрался с силами, нацепил очки, вытер нос, решительно кивнул.

— Идем! — крикнул Глеб.

И они пошли.

8

— Вот эта, — Глеб осмотрелся, — вот эта кочка. До полуночи осталось, — он подсветил циферблат часов, — три минуты. Мы с Олей отойдем, а ты стой и смотри... Когда увидишь, что цветет папоротник, — хватай первым. И не оборачивайся, что бы там ни было!

Они отошли и стали в нескольких шагах за спиной клиента.

Оля в самом деле знала лесок как свои пять пальцев — даже ночью ухитрилась вывести экспедицию на поляну, будто специально предназначенную для поисков цветущего папоротника. Растение — современник динозавров имелось здесь в изобилии, папоротники стояли сплошным строем и в некоторых местах были клиенту по пояс.

— Что теперь? — спросил Глеб, касаясь губами теплого Олиного уха.

Она улыбнулась и чмокнула его в щеку. Глеб глубоко задышал; комары, соловьи, глупая история с поисками кладов, ночной ветерок, холодящий лопатки, Олины духи — «Диариссимо» — ландыш...

Он обнял филологичку за плечи, и в этот момент клиент тихо вскрикнул.

— Глеб, смотри! — вздрогнула Ольга.

В темной зелени папоротников теплился живой огонек. Мерцал, переливался, исходя дрожащим внутренним светом, манил, притягивая взгляд. Глеб готов был поклясться, что минуту назад никакого огонька здесь не наблюдалось. И вот пожалуйста.

Миша вдруг подобрался, напрягся, даже силуэт его неуловимо изменился. Клиент сделался похож на хищную птицу. Когда он решительно шагнул к светящемуся чудо-цветку, навстречу ударил порыв ледяного ветра. Зловещий шепот наполнил заросли, с похоронным унынием заскрипели деревья. Глеба мороз продрал по коже, а Миша как ни в чем не бывало шел к вожделенной цели, втаптывая в землю резные листья.

«Да ведь он ни капельки не боится! Вот тебе и мямля-очкарик. Господи, он же нас за нос водил! Несчастный, бедный женишок, страдалец-мученик!..»

Сердце ударило трепака. Начиная понимать, кто на самом деле тихоня Михаил и зачем он приволок в Медвежий Яр нового сотрудника ковена, Глеб едва не схватился за голову. Только

самый распоследний олух не догадался бы сразу, что скромного заместителя менеджера по информации, чье дело — компьютер да файлы, никто не стал бы посылать на фактически полевые испытания. Разве что с целью проверки одного-единственного факта биографии нового коллеги — происхождения!

«Тест на вшивость!»

...конкурс продолжался.

— А зачем ты соврала про Басаврюка?

— А иначе бы он тебя не взял.

— А если он проверит?

— Как? — Оля рассмеялась.

Сейчас смех выходил обоим боком.

Вокруг цветка заклубился туман, в котором роились... Нет, это просто игра теней! Мираж, галлюцинация! Увы, глаза упрямо говорили обратное. Оскал бесовских харь, слюнявые пасти, свиные рыла и совсем уж неведомые страхолюдины — слизистые мухоморы со щупальцами, гиганты-сколопендры с кожистыми крыльями, волосатые клубки окружили цветок, загораживая теплый огонь. «Клиент» остановился, словно услышав беззвучный окрик.

Обернулся.

Сунул руку за пазуху.

В молочно-желтом свете месяца Глеб увидел, как лицо Михаила расколола кривая ухмылка.

— Не дается, — развел руками «чей-то племянник», как называл его за глаза умный старичок Игорь Родионович, а иными словами — вступивший в свои права главный менеджер ковена. В правой руке Миши тускло блеснуло широкое, чуть изогнутое лезвие. — Кровь нужна. Я ж говорил...

«Нож! У него — нож! Специально прихватил. Заранее знал, подготовился, гад! Ему нужна кровь. Красной порукой вяжет... Кровь? Чья?! Оля?!!»

— Сдурел? Дай сюда нож!

Голос был хриплый, чужой. Плечом Глеб пытался незаметно оттеснить Ольгу назад, но получалось скверно. Девушку, судя по всему, парализовало страхом. Она лишь отчаянно дышала философу в ухо, не в силах сдвинуться с места.

— Спасибо, что помочь хотите. — В голосе Михаила проступили глумливые нотки.

Или это Глебу только чудится?

— Но я должен сам, понимаете? Сам! Иначе цветок мне не дастся. Глеб, вы же разумный человек! Надеюсь, вы сделаете правильные выводы...

Правильные выводы лежали на поверхности. Ясное дело, потомок знаменитого Басаврюка никак не должен мешать убиению безвинной жертвы. Напротив, обязан оказать всемерное содействие.

Экзамен неотвратимо шел к логическому завершению.

В призрачном тумане, окружавшем цветок, началось суматошное движение. Туман задергался, словно в припадке эпилепсии, стал рваться на части. Ошалело заметалась вспугнутая нечисть. Глебу послышался писклявый козлетон:

— Атас, братва! Менты!

В следующий миг на месте чертячьего кубла, над цветком, изрядно сбавившим яркость свечения, обнаружились две вполне человеческие физиономии. Правда, в милицейских фуражках. И одна собачья, без фуражки. Вспыхнул слепящий свет фонаря. Глеб невольно зажмурился, заслоняя глаза рукой.

— Тэ-эк, граждане... Ночью по лесу шастаем? Бомжуем? Нарушаем?

— А ну-ка, предъявите документики...

— Серега, у него нож!

— Стоять, руки за голову! Бросай нож! Стрелять буду!

Миг-другой короткой возни.

Злобное рычание, треск веток.

И металлический щелчок наручников, сковавших запястья Михаила.

9

— Товарищи потерпевшие, успокойтесь. Ситуация под контролем. Лейтенант Беляк, — представился первый милиционер, с ловкостью опытного дирижера взмахнув перед лицом Глеба гербовой «корочкой».

— Старший сержант Выдра, — вспорхнула рядом вторая «корочка».

— Гав!

Это представилась овчарка.

Фонарь больше не светил в лицо, и Глебу наконец удалось рассмотреть спасителей.

Толстяк-лейтенант с надутыми шеками, сняв фуражку, отирал пот со лба. Под фуражкой у героического патрульного, несмотря на молодость, обнаружилась изрядная лысина в обрамлении редких волос. Чубатый малыш-сержантик в этот момент прикуривал, кривя тонкие губы в брезгливой гримасе. Поводок овчарки сержант намотал на руку. Пес, утратив всякий интерес к «товарищам потерпевшим», глухо ворчал на Михаила, уложенного в траву лицом вниз. Поводок натянулся струной. Когда б

не бдительность сержанта Выдры, лжеклиенту сейчас пришлось бы туго.

Оба блюстителя порядка были в полной экипировке: портупеи, пистолеты, запасные обоймы, баллончики с «черемухой», рации, фонарики, дубинки, наручники...

Месяц услужливо спустился ниже, позволяя рассмотреть амуницию в подробностях.

— Все путем, граждане. Ваша милиция вас бережет. Обождите, никуда не уходите. А мы пока займемся этим криминальным элементом. Серый, переверни козла на спину. Поглядим, что за долбо... — Лейтенант покосился на Ольгу и, видимо, учуял филологическое образование, смутившись. — Что за сомнительный кадр у нас образовался.

Сержант Выдра указание начальства выполнил с энтузиазмом, от души пнув задержанного ботинком под ребра. Охнув, главменеджер ковена, взятый вне конкурса по протекции, резво поменял диспозицию. «Супротив милиции — никаких чудес!» — вспомнил Глеб строчку из Высоцкого. — Нет, иначе: «Супротив милиции он ничего не смог». Это «Кроме мордобития — никаких чудес». Холодное железо в виде наручников, оно против всякого колдовства — первейшее дело. А за мордобитием, похоже, дело не станет...»

Мысли были путаные, какие-то второстепенные.

— Михалыч, гляди: тебе его рожа ничего не напоминает?

— Фоторобот она мне напоминает. Из ориентировки, —отдуваясь, буркнул лейтенант Беляк. — Нож, серийные нападения на влюбленные парочки... Маньяк! Серега, выходи на связь!

Сержант извлек рацию, щелкнул кнопкой. В динамике затрещало.

— Нечипорук? Позови-ка мне Виева. У нас задержание... Товарищ майор? Докладываю: задержали подозреваемого по серии. Басаврюк, он самый, больше некому!.. С поличным. Так точно, товарищ майор. Да, свидетели имеются! Они же потенциальные жертвы... Обошлось, мы вовремя успели... Есть выполнять!

Лейтенант развел пухлыми ручками:

— Порядок, товарищи потерпевшие! У нас на трассе машина — доставим вас в райотдел, снимем показания...

И тут вмешалась Ольга:

10

— Колдуй!

От жаркого шепота Ольги, прозвучавшего для Глеба как землетрясение, сперва рухнули стены рассудка, а там и крыша. Бедный философ едва не схватил девушку за руку, чтобы броситься

прочь: от доблестных ментов, лживого «клиента» Миши, зубастого Рекса, сволочного папоротника...

— Колдуй, говорю!

— Как?

— Как угодно!

Рогатый месяц боднул ветки ближайшего клена, с интересом разглядывая философа в пикантной ситуации. Впрочем, Глеб привык доверять Ольге — в кризисах и стрессах филологичке не было равных. Он сосредоточился. В голову, как назло, лезла всякая ахинея. Например, дурацкая скороговорка про попов, которую Глеб стал на ходу перелицовывать, словно старое пальто, под заговор:

— Шли три мента, три Момента-мента, говорили менты про Момента-мента, про Момента-мента, про Моментовича...

Лейтенант Беляк чихнул. Чих вышел оглушителен.

— Будь! — пожелал начальству сержант Выдра, для острастки ткнув дубинкой охнувшего маньяка Мишу. Но, отдадим должное, ткнул без злобы, скорее для проформы.

Овчарка легла и насмешливо высунула язык.

— Ну! Дальше! — не унималась Ольга.

Глеб в ужасе обнаружил, что правая рука его сама собой залезла в карман джинсов и скрутила увесистый кукиш. Рука жила отдельной замысловатой жизнью. В пальцах плясали искорки, предплечье било током. Философ чуял, что готов выхватить дулю в долю секунды, будто Клинт Иствуд — верный «магнум», и без промаха поразить стражей порядка.

Отчего-то идея показать неприличную фигуру ментам выглядела чертовски привлекательной. Это усиливалось надеждой, яркой, пылающей надеждой, без причин вспыхнувшей во взгляде арестованного Миши.

— Глебушка... я вас умоляю... — простонал лжеклиент. — Не останавливайтесь!

— В городском саду играет духовой оркестр, — вспомнил Глеб ретроволну радио «Мелодия», с которой и началась вся эта катавасия. — На груди у генерала... э-э... золоченый крест! Генерал бдит, генерал глядит! Озирается окрест: в каталажке, где сидим мы... м-гм... нет свободных мест!

Чертов кукиш вырвался-таки на свободу.

— А может, и не тот, — рассудительно сказал сержант Выдра, пробуя маньяка дубинкой в разных местах. Результаты анализа явно выходили неутешительными. — Щуплый какой-то. Недокормыш. Жертва блокады.

В устах крошки-сержанта это прозвучало особенно изящно.

— Наш по оперативке — мужчина видный, косая сажень, а тут — задохлик, чистая водоросль...

Умный Рекс понюхал Мишу, фыркнул и отрицательно заворчал.

— Глебушка, — плакал несчастный, в меру сил простирая наручники к философу. — Глеб Егорыч, отец родной! Спасай!

Ольга отошла на шаг, любуясь суженым. В свете полночного месяца он был невыносимо прекрасен.

— Отведу очи не ко дню, к ночи! Ходят бабы над рекою, девки с молодицами, ни минуты нет покою доблестной милиции! Если кто-то кое-где, да еще порой, это значит — быть беде, коль проспит герой! На море-окияне, на острове буянят, спеши туда, млад-сокол... хм-м... грози дубинкой пьяни! Тьфу-тьфу-тьфу!

Зачем Глеб трижды сплюнул через плечо, прямо на Мишу, он не знал.

Сила переполняла его. Хмельная, пенящаяся сила хлестала через край. Уши горели ярче фонарей, в носу щипало. По спине табунами бегали мурашки. Служебный кобель Рекс уважительно моргал, часто-часто дыша и не сводя глаз с расходившегося ведьмака.

— А чего с холодным оружием? — не сдавался упрямый лейтенант Беляк, сняв фуражку и обеими руками приглаживая редкие кудри. — Эй, потерпевшие! Вы тут чего? В смысле, он тут чего, с ножиком?

— А у нас ролевые игры! — ловко ввернула Ольга, придавая лицу выражение оскорбленной добродетели. — Играем в «Вечер накануне Ивана Купала»! Я, значит, Пидоркин младший брат Ивась, этот, который с дулей, по игре сам Басаврюк, только не из оперативки, а из книжки! А ваш маньяк — он Петро Безродный, жених моей сестры Пидорки! Читали небось? В школе проходят, по литературе...

— Пидорки, значит? — Сержант Выдра попробовал на вкус смутно знакомое слово и скривился. — Не, раз Пидорки, значит, никак не маньяк .. они баб не режут, Пидорки драные... Пошли, а? У этих меньшинств адвокаты — звери!..

— Холодное оружие! — стоял стеной лейтенант Беляк, фырча на манер разъяренного кошака, чем раздражал Рекса. Заговор брал мента плохо, расшибаясь о цитадель служебного рвения. — Холодное! Нарушаем, в смысле! Статья Кодекса!

— И ничего не холодное! — Глеб покрутил большим пальцем, торчащим наружу из кукиша, перед бугристым носом лейтенанта. — Не надо нам дело шить, начальник! Смотри: сталь мягкая, заточка односторонняя, упора нет, ребра жесткости, оно же «кровосток», нет! Зубчатого обушка, в просторечии «кишкодера», тоже нет! Кухонный ножик, предмет обихода, под статью не подпадает! Мы им грибы срезали!

— Умный? — мрачно спросил Беляк, то ли обижаясь, то ли завидуя.

— Умный! — подтвердил Миша, с которого сержант Выдра снимал наручники. — Он умный! Он очень умный! Это мой заместитель по информации! Ценный работник!

— Ценный? — Характеристика с места работы лейтенанту понравилась. Он даже поощрительно хлопнул философа по плечу.

Дубинкой.

— У нас игра... ролевая... мы цветок папоротника ищем, на Купала! Клады отворять!

— Клады в случае чего полагается не отворять, а сдавать государству! — отметили сотрудники органов. — За полагающееся вознаграждение! В курсе, граждане?

— В курсе! — хором выдохнули граждане.

Всю обратную дорогу Глеб выслушивал от Миши панегирики в свою честь. И ощущал благодатные перспективы для карьеры.

11

Осенью, не дожидаясь защиты диплома, сыграли свадьбу. Со стороны жениха свидетелем выступал милейший старичок Игорь Родионович, проникшийся к «молодому человеку» искренней любовью. Свидетелем же со стороны невесты был лейтенант Беляк, двоюродный брат Ольги, неотразимый в штатском костюме-тройке. Оба свидетеля, старый и молодой, со значением переглядывались, подливая друг дружке горилки, Ольга хихикала, а Глеб благоразумно решил не вдаваться в подробности. Было — сплыло. Мало ли у какой невесты дача в Медвежьем Яру, мало ли какие родственники ночуют на этой даче в нужное время, вздумав попатрулировать на досуге в темное время суток... Тем более что Мишу на свадьбу не пригласили, в отличие от старшего сержанта Выдры. По счастливому стечению обстоятельств главный менеджер ковена крайне вовремя уехал на месячные курсы повышения квалификации.

В конце концов, меньше знаешь, крепче спишь, как учит нас философия, царица наук.

— Горько!

Общий любимец, кобель Рекс, валялся под столом и требовал еды. Для порядку, потому что уже не лезло.

КАМЕНЬ ЗАВЕТА

У Сашки Нестрибайлы был нюх, от зависти к которому любая ищейка удавилась бы во щенячестве. На этом неординарном свойстве держались, как мясо на скелете, все прочие черты Нестрибайловой личности — заурядные, к сожалению, черты. В меру умный, в меру честный, в меру добрый Нестрибайло и

фамилию носил самую обыкновенную: в паспорте он значился как Петренко. Зато статьи его и заметки, бастарды великого нюха и среднешкольной грамотности, носили звучное имя отца: за коротенький текстик, подписанный Нестрибайло, местные газеты судились и дрались.

Однажды воскресным утром Нестрибайло съел яичницу, выпил кофе и решил, что пора прогуляться по свежему воздуху. День выдался дождливый и ветреный, обычно в такую погоду Нестрибайло сразу после завтрака ложился спать, однако нюх его уже вибрировал, как дрожит струна в ответ на тончайшее колебание воздуха. Нестрибайло еще сам не знал, куда пойдет и зачем, но путь его был предопределен: он шел к городскому парку.

На центральной площади зонты боролись с порывами ветра: открывались, ловя водяную пыль, гнулись и выворачивались наизнанку, схлопывались и открывались снова. Натянув на голову капюшон, Нестрибайло пересек брусчатку и увидел, что вход в парк перекрыт почему-то милицейской машиной и вдоль ограды тянется цепь мрачных ментов в блестящих от мороси плащах.

Если бы Нюх был большой доброй псиной и шел сейчас рядом с хозяином, потряхивая намокшей от дождя «шубой», Нестрибайло непременно опустился бы на корточки, потрепал дружка по холке и поцеловал в холодный черный нос. «Ай да Сашка!» — сказал Нестрибайло сам себе и потихоньку, вроде бы невзначай, влился в небольшую толпу, скандалившую с милицейским чином у закрытых ворот.

Толпу в основном составляли шахматисты, каждое воскресенье проводившие в обществе коллег под кровом паркового павильона. Были здесь и несколько спортивных бабушек, и пара пацанов со скейтами (струйки воды стекали по козырькам их кепок, надетых задом наперед). Все хором спрашивали и требовали ответа: почему в воскресный день вход в парк, излюбленное место отдыха горожан, прегражден сотрудниками милиции?

Милицейский чин ссылался на приказ, отданный начальством, и рекомендовал обратиться с вопросом к кому-нибудь другому: к районному депутату, например. Или в приемную мэра. Или в небесную канцелярию. Ни шахматистов, ни бабушек такой ответ не устраивал, и только пацаны, пошептавшись, смылись куда-то вместе со скейтами: возможно, пошли в ближайший гастроном испытывать удачу на игровых автоматах.

Толпа то редела, то пополнялась новыми удивленными гражданами. Нестрибайло прошелся взад-вперед, приметил сержанта, печального, как забытый под дождем мяч, подобрался к нему бочком-бочком и предложил закурить.

Увы, сержант ничего не знал. Нестрибайло славился умением вытягивать информацию из любых фигурантов — но сержант

при всем желании не мог ему помочь. Он скорбел о загубленном воскресенье и молча ненавидел начальство: чтобы выяснить это, не стоило заводить разговор. Хватало одного взгляда на лицо под серой фуражкой.

Нестрибайло оставил сержанта и тихонько проскользнул вдоль ограды, все дальше и дальше от входа. Там, где забор достигал высоты двух человеческих ростов, милицейское оцепление редело; Нестрибайло спокойно нырнул в кусты, нашел дыру, хорошо известную ему со школьных лет, и очутился на запретной территории.

Во всем парке более-менее ухоженной была только центральная аллея, а потому Сашка пробирался в зарослях легко и незаметно, как Чингачгук. Шахматный домик пустовал, и клетчатые столы напрасно ждали завсегдатаев. На детской площадке паслись голуби, подбирая вчерашние крошки, кукурузные хлопья и семечки. Полоса внезапного отчуждения казалась живой, обжитой, как дом, из которого только что ушли хозяева, — но тень зловещего будущего, сталкеровской «зоны», уже висела над беседками и аллеями, над крапивой и разбитыми фонарями. Пусть циничный Нестрибайло уверял себя, что все это чушь и фантазии, — по спине под рубашкой то и дело пробирался холодок.

Над прудом, заросшим ряской и тиной, с лодочной станцией и флотилией пустых бутылок, прибившихся к домику смотрителя, молчал вечный враг здравомыслящего человечества — мощный репродуктор. Без его завывания, к которому давно привыкли и младенцы в колясках, и старушки на лавочках, тишина над водой казалась не просто густой — монолитной. И тем не менее люди в парке были, много людей, энергичных, целеустремленных, агрессивных; густой поток матерной брани расползался от места их сосредоточения, легко преодолевал эфемерные барьеры зеленых изгородей и указывал Нестрибайле путь к источнику информации.

Нестрибайло поспешил.

За прудом, в стороне от пересечения аллей, с незапамятных времен лежал огромный камень. Бока его покрывали надписи, от самых простых — «Здесь был К.» — до длинных и вычурных, причем неведомые блюстители нравственности периодически замазывали белой масляной краской самые смелые выражения и слова. Надписи смывались дождями, уносились ветром, и новые поколения влюбленных писали на камне помадой и мелом: счастливцы — признания, неудачники — проклятия. У камня было пять ровных граней, и сверху он выглядел как правильный пятиугольник. Кто-то из коллег Нестрибайлы написал однажды в юбилейной заметке, что камень, мол, представляет собой знак

качества, который сама природа поставила на нашем замечательном парке, гордости горожан...

Теперь камень окружали люди в бронежилетах, касках и с противогазами на боку. Нестрибайло, залегший в кустах, разглядел в руках у военных дозиметры, миноискатели и еще какие-то приборы, назначение которых определить не удалось. Начальство в погонах со звездами разгуливало тут же и не стеснялось в выражениях.

— Мин нет! — докладывали саперы.

— Радиационный фон в норме! — докладывали дозиметристы.

— Да что такое за трах-тарарах! — разразилось начальство, в сердцах грохнуло по камню кулаком, отошло в сторону и вдруг притихло.

Несколько минут ничто не нарушало тишины, кроме треска рации и далеких выкриков: «Пятый, Пятый, отвечай! Отвечай, так-перетак-твою-мать!»

Нестрибайло замер в своем укрытии, застыл, как парковая статуя. Пожилой майор, стоявший в каком-то десятке шагов перед ним, глянул вверх, где из-за туч проглянули лоскуты безмятежного неба, где носились ласточки, пожиная мошек быстрыми черными серпами. И на угрюмом, сто лет не улыбавшемся лице проступило выражение, от которого давно отвыкли майоровы мышцы: он улыбнулся без желчи и насмешки, просто улыбнулся, глядя вверх.

— А погодка-то распогаживается, — благодушно сказал майор обомлевшим подчиненным. — Ну его до биса... Колодяжный, заканчивай замеры, складай рапорт, и все. Отбой.

* * *

Следующую неделю тему закрытого парка терзали все газеты города — терзали остервенело, как собака тряпку. И не зря: в изначально темном деле оказалось столько недомолвок и противоречий, что лишь слепой, глухой и сонный газетчик мог пройти мимо, не поучаствовав в общей свалке. Во-первых, неясно, кто отдал приказ об оцеплении: военные, чиновники, милиция и сам мэр кивали друг на друга, но ответственного так и не нашли. Во вторник в парк пустили всех желающих — но только на полдня, потому что после обеда и мамаши, и старушки, и просто любопытные были согнаны с насиженных мест патрулем в камуфляже. По городу сразу поползли слухи, что изгнание горожан из парка проводилось с невиданной и ничем не оправданной жестокостью.

Жестокости не было — Нестрибайло мог это подтвердить, потому что сам первый явился в парк утром во вторник и провел

несколько часов, ощупывая, осматривая, едва ли не обнюхивая пятиугольный камень. Все прежние надписи оказались на месте, новых не прибавилось. Камень лежал смирно, не давая, казалось бы, никаких поводов для столь пристального интереса. Нестрибайло, как всякий журналист, знал, конечно, штук десять легенд о каменном «знаке качества», но все давние, устоявшиеся и немного наскучившие. Что делать, если в городе мало достопримечательностей?

В конце концов Нестрибайло забрался на плоскую «крышу» камня, уселся там на выступ, отполированный штанами предшественников, и безмятежно подумал: а не махнуть ли в отпуск на пару недель? Тут-то в поле его зрения и появились ребята в камуфляже, числом два, очень вежливо попросив очистить территорию парка. Нестрибайло мог бы проявить неповиновение, возмутиться произволом властей, показать журналистскую «корочку» и вообще заварить кашу. Он не стал этого делать по одной причине — вдруг пожалел ребят. Они были оба очень молодые, огорченные и гонимые приказом.

А материала для серии репортажей хватало и без новых приключений. В стае акул пера, освещающих странные события вокруг городского парка, Нестрибайло оказался, конечно, самой крупной и заметной рыбиной. Он просачивался во всевозможные кабинеты, умело сочетал официальные интервью со шпионскими репортажами и возглавил наконец группу независимых журналистов, явившихся на прием к мэру и спросивших не прямо, но с вывертом: если основания для закрытия городского парка в самом деле так серьезны, не представляют ли они угрозы для города и горожан?

Мэр, конечно, ответил, что нет. Как такое вообще можно предположить?! Полнейшая информация о ситуации с парком будет дана горожанам уже завтра. И не надо, пожалуйста, придавать случившемуся такое большое значение — все уладится... Сегодня... Послезавтра...

В пятницу стало ясно, что приказ о закрытии парка исходит не от местных властей, а из столицы.

В субботу вокруг зоны отчуждения взялись строить новую изгородь — сплошную, бетонную, высотой метров шесть, с колючей проволокой по верхнему краю. Горожане, успев за неделю обменяться по кругу двумя сотнями сплетен («бомба», «радиация», «ртуть», «ядохимикаты», «инопланетяне», «какая-то сволочь богатая приватизировала»), пришли в новое возмущение. Перед мэрией случился пикет — уже не только старушки и шахматисты, но вся активная городская общественность. В толпе сновал Нестрибайло с диктофоном наперевес.

Воскресное утро выдалось теплым и солнечным. Сашка съел

яичницу, выпил кофе и подумал, что следует сесть и хорошенько поработать — но перед этим купить сигарет.

В квартале от дома Нестрибайлу догнала черная машина.

— Гражданин Петренко Александр Васильевич?

Мелькнуло перед носом удостоверение. Спорить было бессмысленно, к тому же Сашка вырос не в сталинские времена и ментов в штатском не особенно боялся.

— Можно вас на пять минут? — вежливо осведомился человек из машины, пожилой, с залысинами на лбу, с рыжими кустиками бровей над бледно-голубыми глазами.

— Разве что на пять минут, — нахально заявил Нестрибайло. — Я, знаете ли, работаю. Волка ноги кормят.

— Садитесь.

Сашка секунду помедлил, но робости не выказал и сел в машину, которая сразу тронулась.

— Свободная пресса? — ласково спросил человек с залысинами. — А ведь скажут заткнуться — замолчите как миленький...

У Нестрибайлы от такой наглости даже перестала подрагивать жилка под коленом.

— Запугивать? — возмутился он. — Воротилы без стыда и совести скупают землю, приватизируют народную собственность...

Под взглядом голубых глаз Сашка осекся. Времена, конечно, не те, но человек с рыжими кустистыми бровями смотрел уж очень скверно. Нестрибайло задним числом подумал, что так и не разглядел толком удостоверение — ни имени, ни организации. Быстро огляделся — куда это его везут?..

— Не пугайтесь. — Голос человека в штатском излучал усталую брезгливость. — Вернут вас на место, целого и невредимого. Только подумайте про вот какую вещь...

Он замолчал. Машина как раз проезжала мимо парка: работы были в полном разгаре. Ни одна бетонная изгородь в городе не возводилась в столь короткие сроки.

— Камень, — сказал человек в штатском.

— Что?

— Камень. Вы слышали, что про него говорят?

— Какой камень? — на всякий случай спросил Сашка, чудесно понимая: речь идет о пятиугольнике из парка.

— Вы слышали, конечно. Рядом с камнем человек становится добрее. Уходят тяжелые мысли, снимается стресс. Умиротворяется душа. Может утихнуть даже зубная боль... Поэтому рядом с камнем, хоть он и лежит в стороне от удобных аллей, всегда полно народу. Трава вокруг вытоптана. Надписи эти... Добрая примета: напиши на камне желание — и оно сбудется.

Нестрибайло кивнул:

— Да. Я сам делал интервью с десятиклассницей, которая не-

порочно забеременела от этого камня... Просто посидела на нем — и... Я вправду делал такое интервью! — воскликнул Сашка с нескрываемым страхом, потому что человек в штатском решил, по-видимому, что пройдоха-журналист над ним издевается.

— Поверили? — после паузы спросил собеседник.

— Я? — Нестрибайло нервно хохотнул. — Но многие поверили. Кроме ее родителей, к сожалению...

Человек в штатском смотрел на журналиста с сомнением. Как будто и сам не рад был, что связался с Нестрибайлой и пачкает его джинсами велюровое сиденье дорогой машины.

Обогнули парк. Миновали здание мэрии.

— Его нельзя переместить, — пробормотал человек в штатском. — Он ориентирован по сторонам света... Строго ориентирован. К тому же он весит двадцать тонн...

— А зачем перемещать? — немедленно поинтересовался Нестрибайло.

— Я объясню. Камень в самом деле аккумулирует отрицательные эмоции. Вы сами много раз в этом убеждались...

Сашка притих. Собеседник был прав.

— Беда в том, что емкость камня ограничена, — сухо сообщил рыжебровый. — Много веков он собирает дрянь, что копится в людях. А когда переполнится — отдаст ее всю, без остатка.

Он повернул голову и посмотрел Нестрибайле в глаза.

— Без остатка. Одномоментно.

Сашка понял. По роду деятельности он умел верить в невероятное.

— Когда?

Рыжебровый зловеще молчал.

— А... — Сашка запнулся. — Чего вы хотите от меня?

Не спеша отвечать, человек в штатском принялся изучающе рассматривать журналиста. «Будто покупку в магазине», — пришло на ум Сашке. Сравнение ему резко не понравилось.

— Что такое громоотвод, в курсе? — поинтересовался наконец человек в штатском.

— В курсе.

Сашка очень постарался, чтоб ответ прозвучал как можно более язвительно. Но на собеседника это не произвело никакого впечатления.

— А *обратный* громоотвод представить в состоянии?

— Молния из земли в небо?

Фразу эту Сашка вычитал в какой-то книжке, на которую писал разгромную рецензию. Сейчас фраза выскочила сама собой, будто только и дожидалась подходящего момента.

— Очень точно. И даже образно, — в голосе рыжебрового впервые проступили нотки одобрения. — Теперь вы представ-

ляете, что нам требуется. Если мы хотим разрядить камень с минимальными последствиями.

Сашка отметил это подозрительное «мы».

— Шарахнем из каменюки в небо?

— Кое-кто не отказался бы — в Небо, — мрачно кивнул голубоглазый чему-то своему. — К счастью, руки коротки. Нет, Александр Васильевич, не в небо. Скорее — в атмосферу. Или в ноосферу, если вам так больше нравится. Чтобы вся дрянь распределилась более или менее равномерно, рассосалась в пространстве... А не шарахнула эдаким молотом Тора по нам, грешным.

Нестрибайло сообразил, что за всеми этими, безусловно, очень интересными рассуждениями человек в штатском снова ушел от его, Сашкиного, вопроса.

— Все это очень бла-ародно, — не удержался журналист от очередной цитаты, — но как насчет меня? Я-то вам на кой сдался? Громоотвод держать?

Собеседник шутки не принял.

— Не держать, Александр Васильевич. Отнюдь не держать. Вы и есть громоотвод.

* * *

— Будем кратки, Александр Васильевич. Хотите спасти родной город? А возможно, и не только город. Не стану пугать вас Апокалипсисом, однако локальное пекло здесь будет обеспечено. Можете не сомневаться. Думаете, что случилось однажды с Содомом и Гоморрой? А с мифическим Китеж-градом? Который поначалу считался отнюдь не мифическим...

Сашка был ошарашен, но не настолько, чтобы сразу во все поверить и на все согласиться, преданно заглядывая в рот рыжебровому. В журналистской практике случалось разное. Да и привычка, невзирая на лица, вытягивать из собеседника максимум информации тоже сыграла свою роль.

— Разумеется, я патриот. И горой за Родину и прогрессивное человечество. Но тем не менее...

— Менее, более — какая разница? Методика разряжения подобных объектов нам известна. В древности для подобных целей использовали наиболее рьяных местных — подчеркиваю, местных! — кликуш. Тех, кто разносил по дворам дурные вести, слухи, пророчества... Чернуху, так сказать. Кривитесь? Не нравится сравнение? А вы на себя примерьте. О чем пишете год за годом? Может, о постройке нового Дома культуры? О благоустройстве города? О Рождественских праздниках? О премьере в ТЮЗе?! Ничего подобного. Скандалы, взятки, растраты, коррупция, грабители, убийцы, маньяки, катастрофы. Вы давным-давно

выполняете описанную мной функцию. Прогоняете разную дрянь через себя и выплескиваете на бумагу. А в конечном счете — в ту же ноосферу, на головы читателей. Внутри вас негатив не задерживается: нарыли, накропали, сдали статью, через день забыли о ней и побежали искать новые «жареные» факты. Вы — громоотвод, любезнейший. Только отводите молнию отнюдь не в безопасное местечко.

— А если... если я откажусь?

Человек в штатском усмехнулся, и от его усмешки Сашке стало куда хуже, чем от всего предыдущего разговора.

— Знаете армейскую мудрость: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим»? Куда вы денетесь, Александр Васильевич? Сбежать вам не дадут. Окажете сопротивление — скрутят и доставят к камню силой. Вздумаете сдуру сигануть с девятого этажа — подымем. Живого, мертвого... Уж поверьте, есть для этого и люди, и методы. Рекомендую вызваться добровольцем. Шансов больше.

— Шансов на что?!

— На удачный исход дела. В том числе и для вас лично. В случае принудиловки я ничего не могу гарантировать. А если вы взойдете на камень мертвым... Не скажу, что испытываю к вам особую симпатию, но зла я вам не желаю. Если это потешит ваше самолюбие, можете считать себя... нет, Спасителем не надо, не тот фасон. Скажем, Избранным. Как любят выражаться в нынешних фильмах и фантастике.

«Влип! — явственно осознал Сашка. — По самую макушку».

— Если обряд пройдет благополучно, в том числе и для вас, Александр Васильевич, — за нами, как говорится, не заржавеет. Можете рассчитывать на существенную благодарность. Вот моя визитка.

«И. Я. Химерный», — прочел Нестрибайло на черном прямоугольничке из глянцевого полукартона. Надпись была выпуклая, рельефная. Серебром по черни. Стильно. Еще на визитке имелся номер телефона.

— Премного благодарствуем, — откуда-то взялись силы для ерничанья. — Но неувязочка у вас получается. Если я такой весь из себя Избранный и деваться мне некуда — зачем тогда устраивать цирк вокруг камня? Военные, менты, саперы, дозиметристы... И Великая Китайская стена. Темните, господин Химерный!

Химерный посмотрел на Сашку с некоторой толикой уважения.

— В другой ситуации я не стал бы вам отвечать, Александр Васильевич. Но, учитывая вашу роль в нашем общем деле... Знаете, что такое начальство? Вижу, знаете. Так вот, у меня оно, к сожалению, тоже имеется. Со всеми вытекающими в виде ту-

пости и самодурства. Велено принять меры. Обследовать, выявить степень опасности, закрыть доступ. Я выявил и закрыл. Зная, что предписанные меры ничего не дадут, — но приказы не обсуждаются. Увы, до возведения стены радиус зоны поглощения камня составлял около пяти метров. Теперь он скачкообразно вырос. Камень тянется к людям, камень нуждается в дрянии наших сердец. Мы надеялись, что еще есть время...

— Ошиблись?

— Ошиблись, — тяжело вздохнул Химерный. — Заряд на грани критического. Обряд назначен на сегодня. В полночь.

— Я понял, — мертвым голосом произнес Сашка. — Что будем делать?

— Для начала держите пропуск на объект. А теперь слушайте и запоминайте...

* * *

Его высадили на том же самом месте. Как обещали. Правда, не через пять минут, а через полтора часа с того момента, как Нестрибайло сел в черную машину незнакомой марки. Сашка проводил автомобиль взглядом, нащупал в кармане визитку, «корочку» пропуска и побрел куда глаза глядят. Он не ощущал отчаяния, смятения, надежды — ничего.

Пустота.

Где творилось тайное зачатие страха.

В ближайшем гастрономе ноги сами понесли Сашку к ликеро-водочному отделу. Отдел оказался в придачу еще и коньячным, а к напитку, пахнущему изысканным клоповником, Нестрибайло питал давнюю слабость. Углядев чекушку пятизвездочного «Арарата», журналист приобрел ее, но задумался и в итоге обзавелся дополнительно бутылкой «Асканели». На задней калеретке-медали был такой дружелюбный грузин с усами...

Закуски брать не стал. От нее «градус слабеет», как говаривал один друг детства.

Начал в скверике за универмагом. На скамейке. В гордом одиночестве. Проходившие мимо женщины с малолетними чадами косились без одобрения, а Сашка в ответ лишь заговорщицки подмигивал. Из окна серой «Тойоты», остановившейся напротив, за журналистом наблюдали двое. Нестрибайло приветственно поднял бутылку: ваше здоровье, мол! В окошке уважительно качнулась ладонь соглядатая: все в порядке, дорогой товарищ. Мы тоже люди, все понимаем. Расслабляйтесь под нашим надзором.

Потом он пил с какими-то работягами, присевшими рядом на скамейку. Работяги оказались милейшими, интеллигентными людьми: один — сантехник, другой — тоже сантехник. Схо-

дили в магазин за добавкой. Предстоящий обряд сделался отстраненным, чужим. Надо — значит, надо.

Пойдем и громыхнем.

* * *

— Здорово, братва! Солдат стоит, служба идет?

Двое ментов, скучавших около свежевозведенного редута — верней, около единственного прохода в ограде с «колючкой», — без особого дружелюбия посмотрели на гостя. В «датом» состоянии Нестрибайло становился весел, азартен и остроумен, удивляясь, почему окружающие не разделяют его восторга от самого себя. Протрезвев, он соображал почему и даже давал неисполнимые зароки, но в очередной бутылке умницы-соображения растворялись напрочь.

— Эй, серые волки, Иван-царевич пришел! Отворяй ворота!

Куражась, Сашка полез в карман за волшебным пропуском господина Химерного. Страх сидел в том же кармане, колючий, ядовитый ужас, и эта зараза не преминула впиться в ладонь всеми иглами. Собственно, к камню Нестрибайло шел из страха, и куражился из страха, и откровенно не знал, что он будет там делать, кроме как бояться три-четыре часа подряд, пока его пинками не загонят на чертову каменюку: служить громоотводом.

Втайне терзала надежда: приди он к камню, и страх уберется из кармана вон.

А там хоть трава не расти.

— Здравия желаю, Александр Васильевич!

Пропуск не понадобился. От трамвайной остановки, неприметный и юркий, как майский уж, вывернулся гражданин в штатском. У гражданина все было в порядке, кроме одного: он никаким боком не попадал в знаменитую классификацию населения, изобретенную Сашкиным приятелем, епархиальным адвокатом Гнатом Семаком. Гнат искренне полагал, что люди без остатка делятся на бандитов, деловых, ментов, лохов и богему. Причем у каждой популяции отличий от соседствующей больше, чем у тритонов от воробьев. Иногда, усугубив логику коньяком с пивом, адвокат выделял юристов в отдельную группу, но лично Сашка считал это излишеством, растворяя юристов между деловыми, ментами — и порой бандитами — в примерно равных количествах.

Видимо, часовые на посту также почуяли особенность юркого гражданина. Они учуяли вдобавок что-то еще, упущенное Сашкой, и ментам генерал-невидимка сразу вогнал в хребты по стальному штырю, а в глазницы — по оловянной пуговице.

Окаменели с дружелюбием во взоре.

— А вы проходите, Александр Васильевич, скатертью дорожка! Мандат ваш спрячьте, ни к чему им размахивать...

Гражданин явно видел сквозь карман. И пропуск, и колючий Сашкин ужас.

Двигаясь меж вытянувшихся во фрунт ментов, Нестрибайло услышал:

— Тяжело, говорят, в ученье, легко в бою... Легкого вам боя, голубчик!..

Мысль, высказанная однажды совсем другим Александром Васильевичем, щуплым, но вполне героическим, повисла у Нестрибайлы на плечах мокрым, свинцовым плащом.

Идти воскресным вечером по пустому парку оказалось неприятно. Так смотрят на труп приятеля, встав над гробом: еще вчера мертвые губы смеялись, мертвые глаза лучились, на мертвых щеках играл румянец, а ты втайне прикидывал: удастся ли одолжить червончик у хорошего человека? Сейчас же щеки раскрасил гример из морга, губы срослись белым шрамом, нос заострился, а червончик потерял всякое значение, если только он не был завещан тебе в письменной форме и заверен нотариусом. Остаются лишь слова, сухие и казенные, как тюремная пайка хлеба.

Центральная аллея.

Шахматный домик.

Пруд.

Камень.

Впрочем, до камня Сашка не дошел, потому что там уже находились два человека. Двое, которым никак не полагалось здесь обретаться, если верить рыжебровому господину Химерному. Охрана прошляпила? Или у них тоже есть чудо-мандаты?!

Один из странной парочки, по семаковской классификации — конкретный и отчетливый лох, приник к заветному камню, о чем-то беседуя с молчаливой глыбой. На расстоянии чувствовалось, что у лоха горе. Упав на колени, он забыл поддернуть штаны, смешно наклонился вперед, да так и замер, раскачиваясь и бормоча. Очень похожим образом молился старый раввин Исаак Бергштейн, когда Нестрибайло явился в синагогу делать статью о корнях антисемитизма и надел для этого кипу, а сверху — шляпу, чтоб не ругались.

— Э-э... добрейший вечерок! — сказал Сашка, непоправимо трезвея и понимая, что несет чушь.

Лох не ответил. Он беседовал с камнем.

Зато отозвался второй — высокий, солидный, несмотря на жару, одетый поверх строгого костюма в летнее пальто из кашемира. Чувствовалось, что он привык к местам тропическим или каким другим, но куда более жарким, чем этот парк, и здесь отчаянно мерзнет.

— И вам всего наилучшего, Александр Васильевич! Не стесняйтесь, будьте как дома.

Сегодня рушились основы. Высокий в пальто также никаким боком не попадал в классификацию Семака, подобно гражданину с остановки. Только гражданин не содержал в себе черточек, позволяющих отнести его к определенной группе народонаселения, — а высокий содержал сразу все. Слегка бандит в профиль, чуть-чуть деловой анфас, богема в одежде, нарочитая лоховатость в жестах — дескать, вот какой я простофиля! — ну и капелька мента в прищуре внимательных глаз. Словно человечество перемешали и отлили в новой, а может, старой, давно утерянной форме.

— Э-э... — Журналист, акула пера, обладатель гениального нюха и острейшего языка, сейчас Нестрибайло стыдился однообразия собственных «вступлений в диалог». Позор, чистое позорище. — А это кто такой?

Он пальцем ткнул в коленопреклоненного лоха. Старый трюк: спросить у незнакомого собеседника о ком-то другом, как если бы между собой вы были чудесно знакомы. Иногда помогает.

Помогло и сейчас.

Высокий мельком глянул на спутника. Дернулся угол рта:

— А, этот... Жил человек в земле Уц, и был он поц...

Что значит «поц», Сашка знал, спасибо раввину Бергштейну. Увы, с «землей Уц» дело обстояло сложнее. Нестрибайло едва не брякнул очередное «э-э.. », но высокий пришел на помощь:

— Не напрягайтесь, Александр Васильевич. Во многом знании много печали! Давайте проще. у этого... этого...

Высокий осекся, будто имя лоха ему не далось, и продолжил:

— У него горе. Большое горе. Понимаете, очень трудно существовать, подобно блохе, быть винтиком, имя которым — легион, и чувствовать себя счастливейшим из смертных. До поры, до часа, когда на тебя обратят внимание и захотят проверить, как говорят у вас, на вшивость. Человека бросила жена. Любимая жена. Оставила двоих детей и сбежала с капитаном-пограничником. Младшая дочка теперь в психбольнице: сразу после маминого побега она замолчала и по сей день не произнесла ни слова. Только смеется невпопад. Старший сын возненавидел отца. Связался с подонками, валандается по подвалам, нюхает клей... В квартире случился пожар, сгорело почти все имущество. Ну и последнее: вы будете смеяться, но наш герой пошел сдавать кровь за деньги и стакан красного вина, где его заразили, не про нас будь сказано...

Высокий со значением подмигнул Сашке.

Нестрибайло машинально подмигнул в ответ и почувствовал, как ледяная пятерня лезет за шиворот. Это страх выбрался из

кармана и взялся своевольничать. В присутствии высокого страх вконец обнаглел.

— Ну а мы с вами, любезный Александр Васильевич, будем сейчас, как Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин. В ожидании вашего замечательного вербовщика с рыжими бровями, которого для красного словца назовем Софаром Наамитянином. Так нам будет легче сообразить на троих одно дельце...

Утонув в чужом словоблудии, напрочь растеряв хватку и гонор, Сашка перевел взгляд на лоха. И ледяная пятерня за шиворотом сжалась в кулак, ухватив Нестрибайлу за шкирку, будто нашкодившего котенка.

Внимая невнятной мольбе — сетованиям? жалобам? — лоха, камень еле заметно пульсировал. Так бьется сердце на пороге инфаркта. Так вздрагивает горизонт в предчувствии грозы. Так бегут цифры на дисплее бомбы.

Морская звезда, выброшенная на берег чудовищным прибоем, — камень содрогался.

Роженица, он исходил беззвучным криком.

— Именно! — расхохотался высокий. — Вы все правильно поняли, Александр Васильевич. Сейчас чаша переполнится, и Господь ответит нашему дражайшему бедолаге из бури. Вы хотите услышать глас Господень? Не рекомендую, право слово. Если поторопитесь, успеете уйти. До забора, до угла, до вокзала, до канадской границы — как повезет. Вы везучий человек, Нестрибайло? Во всяком случае, работать громоотводом вам уже не понадобится...

— Но...

Их взгляды встретились, и короткое слово застряло у Сашки в горле.

— Нет времени. — Высокий не без сожаления взглянул в сторону пульсирующего камня. — Сотрудничать с такими, как вы, всегда приятно — заранее знаешь результат. Но скучно. Остается лишь наблюдать за конвульсиями — это тоже забавно. Однако сейчас...

Земля под ногами неслышно дрогнула. Негромкий стон — человек у камня вцепился руками в острую грань, начал сползать на землю.

— Скоро! — не без удовлетворения кивнул высокий, отвечая на незаданный Сашкин вопрос. — Наш Софар Наамитянин имеет все шансы опоздать. А с вами, любезный Александр Васильевич, придется поторопиться, увы... Поэтому сразу! Вообразили себя Спасителем? Запястья чешутся в предвкушении гвоздей? Закройте глаза, быстро!

Сашка моргнул, затем послушно зажмурился.

Пару секунд он просто не понимал, еще секунду — не верил.

— Открывайте, хватит с вас...

Он застонал, помотал головой.

— Ничего особенного. — Усмешка высокого в этот миг показалась особенно страшной. — Картинка из страны Завтра — ваш труп в городском морге. Вы ведь там бывали по долгу службы, так что места знакомые. Ну как, перейдем к гвоздям?

Сашка открыл глаза, поглядел бессмысленным взглядом на знакомую поляну. Лох замер, уткнувшись лицом в камень. Его, журналиста Нестрибайлу, тоже ткнули лицом. Только не в камень — в промерзший цинк, подсвеченный синим огнем холодной лампы.

Не хочу!!!

— Уходите, Александр Васильевич! — Голос высокого в кашемировом пальто прозвучал неожиданно мягко, обволакивающе.

Сашка послушно кивнул, но внезапно вскинул голову:

— Только сначала... Софар Наамитянин. Кто он?

— Профессиональный интерес? — Теперь в голосе высокого слышалось нечто вроде одобрения. — Книгу Иова почитайте, был там один диспут. Маленький такой спорчик... Этот Софар определенно лез не в свое дело, мешая нормальному ходу событий. Молол всякие благоглупости...

— «Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет...»

Сашка вздрогнул, поднял взгляд.

Страшный господин Химерный стоял возле камня.

— «Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя?» Как вы мне надоели, Велиар!

* * *

Вначале стало страшно. Затем стыдно.

Потом Сашка поглядел на дрожащую поверхность камня.

Снова страшно.

— Прекратите! — Химерный дернул рыжими бровями, покосился на пятиугольную глыбу, рядом с которой замер окаменевший лох, он же поц из земли Уц. — Быстро!

— А не по понятиям, начальник! — Тот, кого назвали Велиаром, неторопливо шагнул к гостю. — Главное же — не по Закону. Первая поправка — свобода воли. Человеческая личность в своем праве! Да и трогать его вам сейчас... Э-э... Долбанет-с!

Кажется, вполне издевательское «э-э» предназначалось исключительно журналисту Нестрибайле. Дабы место свое помнил. Завтрашнее — на холодном цинке.

Сашка помнил. Очень хотелось проснуться.

— *Мне* его лучше не трогать, — согласился Химерный. — Последуем совету все того же господина Софара из Наамы, града колена Иудина. «Поднимешь незапятнанное лице твое и будешь

тверд и не будешь бояться. Тогда забудешь горе: как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь, как утро...»

— Папа! Папа! Не умирай, папа!..

Резкий мальчишеский голос прозвучал, словно выстрел. Сашка успел заметить, как дрогнули и застыли бандитские скулы Велиара, как дернулись плечи под дорогим кашемиром.

— Папа!..

Мальчик лет двенадцати подбежал к громаде камня, упал на колени рядом с внешне безучастным лохом.

На лице Химерного мелькнула усмешка — короткая, как показалось Сашке, очень недобрая.

— Папа! Что они придумали? Не надо! Мне сказали...

— А тебе что до того?

Голос человека из неведомой Сашке земли Уц прозвучал глухо и холодно. И сразу что-то изменилось. Лишь спустя миг журналист понял: камень перестал содрогаться.

Умолк. Словно выжидая.

Мальчишка недоверчиво мотнул головой, коснулся ладонью острого ребра.

— Вроде мины, да? Ты что, в камикадзе записался? Ладно, со мной все ясно, с тобой тоже, но ты о Таньке вспомни. Она два часа назад в себя пришла, заговорила, тебя зовет. Мы с твоим бывшим шефом тебя повсюду ищем, тебе, между прочим, ссуду выписали под гарантию фирмы... Ну, помирай, если так хочется, пойду сестру порадую...

Голос мальчишки звучал резко и зло, но Сашка, навидавшийся людей и их же наслушавшийся, понял — иначе нельзя. Не достучался бы!

Лох медленно встал, не спеша поправил брюки, неторопливо поднял голову.

— Дело не во мне, Игорь. Да, это мина, но со мной, как ни странно, ничего бы не случилось. Я — не проводник. Ты еще помнишь, что такое проводник, Игорек?

— А ты еще помнишь Танькин голос? — резко бросил мальчишка.

Лох, по-прежнему не спеша, отряхнул колени, поправил мятую рубашку, взглянул на мрачно молчавшего Велиара.

— Хорошо! Встретимся в больнице. Мне еще надо... разобраться.

В этот миг лох не казался Сашке лохом. А вот он сам, журналист Нестрибайло, решивший под коньячок спасти родной город...

Мальчишка по имени Игорь недоверчиво посмотрел на отца, затем — на Химерного. Тот еле заметно кивнул.

Мальчишка кивнул в ответ.

Исчез.

— Отменно! — Голос Велиара прозвучал тихо и устало. —Отменно, Иван Яковлевич!..

«И. Я. Химерный», — вспомнил Нестрибайло.

— До взрыва — несколько минут, а вы решили разбираться. Ну-ну!

И все поглядели на камень.

* * *

— ...Планируете устроить чернобыльский дождик из ноосферы? Вы что, Иван Яковлевич, в мое ведомство перевестись желаете?

— А вы, Велиар Баалович? Захотели получить весь запас некроэнергии города за несколько веков? Как сейчас говорят: «безвозмездно — то есть даром?» И куда пристроить думаете?

Журналист Нестрибайло не слушал. Почти.

Он смотрел на камень не отрываясь.

Привычное ухо фиксировало вполне знакомое и заурядное — ссору двух начальников. Точнее, *начальничков*, пусть из таких ведомств (догадаться Сашке было нетрудно), которые и средь бела дня поминать не след. Не поделили интерес, выясняют.

Даже на «вы» перешли. С отчествами!

— И, значит, заодно решили пожертвовать гражданином Петренко? Помнится, некий Совет однажды постановлял: пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ? А я вас еще с Софаром Наамитянином сравнивал, господин Каифа!

— Так волнуетесь за этого сопляка?

— Даже говнюка, Иван Яковлевич. Люди вообще дерьмо. Наше ведомство повторяет это около трех миллионов лет Неужели наконец дошло?

Странное дело, Сашка не обиделся — ни за себя, ни за любимое им прогрессивное человечество. Некогда — он смотрел на каменный пятигранник. Молчит, *пока* молчит. И будто бы...

Нет, не будто бы. Тоже смотрит. На него, на говнюка из рода говнюков.

— Хотите напомню, что случилось с вашим дедом, господин Химерный?

— А с вашим предшественником, Велиар Баалович?

Камень чуть заметно дрогнул, и Сашка на миг прикрыл внезапно заболевшие веки. Бред, бред, бред! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем аккурат у четвертого энергоблока. Перед глазами в который раз мелькнул синеватый цинк. В конце концов... Ведь если сейчас рванет, этот самый конец концов и настанет!

Нестрибайло нерешительно оглянулся.

Шагнул.

— Не вздумайте, Александр Васильевич! — Резкий голос Велиара ударил по барабанным перепонкам. — «За други своя» не получится. Неужели еще не поняли? Сами умрете, а эта дрянь благодаря вам распылится над миллионами. Некровыброс!

Сашка замер. Сейчас бы господину Химерному возразить, самое время!

Нет, молчит!

Он молчит, а камень...

— Значит, вы — проводник?

Голос лоха из земли Уц, неожиданно серьезный и спокойный, прозвучал совсем рядом. Ничему уже не удивляясь, журналист кивнул.

— Выброс энергии канализируется, но только до определенной высоты. Простая схема, даже не громоотвод — фабричная труба.

— Это будет действительно... Чернобыль? — не выдержал Сашка. — Вы что, этим занимались?

Камень услышал. Дрогнула под ногами земля.

— Не этим. — Кажется, лох усмехнулся. — Но вот насчет электричества и Чернобыля... Значит, вы — проводник. Я... Я был дополнительным источником энергии, критической массой. Сейчас... Сейчас я, пожалуй, никакой. Пустышка, абсолютное сопротивление... Чернобыль же, увы, вполне реален. Некрочернобыль, как я понял. А господин Велиар попросту желает положить этот Некрочернобыль в карман. Ясно... Вас зовут Александр?

Сашка вновь кивнул.

— Подойдите к камню! Быстро! Но не дотрагивайтесь!..

— Есть! — неожиданно для себя ответил Нестрибайло, шагая к ближайшей грани.

— Стойте!

Голоса Велиара и Химерного слились в один. Журналист молча покачал головой, лох же, в свою очередь подойдя ближе, аккуратно прикоснулся рукой к камню.

Задумался.

— Стойте! — Рыжебровый господин Химерный дернулся, но остался на месте. — Вдвоем нельзя, энергия не получит нужное направление. Назад! Назад!..

— Нарушится форма пентакля, — подхватил кашемировый Велиар. — От всех нас даже молекул не останется!

Странное дело, но Сашка почему-то не испугался. Лох усмехнулся (на этот раз уже точно — усмехнулся!), поднял с истоптанной земли что-то маленькое, острое.

«Осколок стекла!» — успел сообразить Нестрибайло.

— Форма пентакля, — негромко повторил лох. — Защитка, значит... Давайте-ка поглядим, Александр, насколько мы с вами сопляки и говнюки.

Он опустился на колени. Рука уверенно прочертила по земле ровную линию — точно параллельно грани.

— Раз!

Камень дрогнул, но никто не обратил на это внимания.

— Два!

Вторая линия прошла параллельно следующей грани.

— Стойте! — повторил Химерный без прежней уверенности, но на него тоже не отреагировали.

— Три!

Сашка понял — вокруг каменного пятиугольника возникал новый, прочерченный прямо на земле. Он, журналист Нестрибайло, был внутри, остальные...

— Четыре!

— Не дурите! — Голос кашемирового стал совсем другим, непохожим. — Еще не поздно, я заберу всю эту дрянь, никто не пострадает. Только уйдите, не мешайте!

— Не пытайтесь, Велиар! — выдохнул рыжебровый. — Буду стрелять!

Внезапно и совсем не к месту журналисту Нестрибайле стало весело. Конец света, значит? Армагеддон, значит? А Иван Иванович с Иваном Никифоровичем гусака поделить не могут! Вершители судеб, блин!

— Пять!

— Есть! — усмехнувшись, повторил Сашка.

Действительно есть — пентакль в пентакле. Камень за пятиугольной чертой — и он, сопляк и говнюк, возле камня.

Лох, поц из земли Уц, стоял прямо на черте, рядом с ним, с Нестрибайлой.

— Кажется, сейчас...

Да, сейчас — камень дрожал, дрожала земля.

Сашка быстро оглянулся. А эти где, Иван Яковлевич с Велиаром Бааловичем? Пусто! Ни кашемира, ни рыжих бровей. Видать, уже на канадской границе!

Он засмеялся.

— Ну, если мы не ошиблись... — Лох улыбнулся в ответ. — Вы — проводник, я и мой пятиугольник — изоляция. Энергия просто уйдет в землю. Мы такие задачки решали на раз. Как только эти не догадались? Ну...

— Ну... — повторил Сашка.

Наверно, следовало подумать о чем-то высоком. Вспомнить. Даже помолиться.

Ладонь легла на истертый камень.

Все...

Он вновь оглянулся, еще не веря. Молния, гром, пропасть под ногами?

Где?!

Ничего, просто — *все*. Тихий камень, тихая земля...

— Пойду, — устало проговорил лох. — Мне к дочке в больницу...

— Стойте! — возопил Сашка — Мы... Мы с вами даже не познакомились!

* * *

Александр Васильевич Петренко аккуратно сложил газету, хмыкнул. Гордыня, конечно, но журналист Нестрибайло написал бы лучше.

Ей-богу!

Статья и в самом деле вышла путаной. Фактов — декохт, зато подробный, прямо-таки занудный рассказ о необходимости держать в состоянии полной готовности ..

Ну и фразочка! «Необходимость держать в состоянии полной готовности...» И нацарапали же такое! И ручонки шкодливые не отсохли!

«Да, состояние этой самой полной готовности потребовало проведения комплексных учений структур управления по чрезвычайным ситуациям и прочих «соответствующих министерств и ведомств», о чем авторитетно заявил нашему-вашему корреспонденту Иван Яковлевич Химерный, интервью с которым...»

Александр Васильевич хотел отправить газету прямиком в мусорное ведро, но раздумал. Пригодится — для архива. В конце концов, бывшие коллеги сотворили почти чудо. Город не без труда, но поверил — и в комплексные учения, и во всю прочую белибердень. Правда, в том же тексте хитрый журналюга не мог не съязвить. Мол, город подумал — ученья идут...

А может, и не язвил. Просто оговорочка по Фрейду.

Черная машина ждала у подъезда.

— На объект, — негромко проговорил Александр Васильевич, устраиваясь на заднем сиденье. Странно, но к такому очень быстро привыкаешь — к служебному автомобилю, шоферу, даже к охране. Правда, шеф, бывший поц из земли Уц, предпочитает ходить на работу пешком. А вот ему, бывшему Нестрибайле, в охотку и на «бумере» прокатиться.

Иных разногласий между Хранителем Камня и его заместителем пока не обнаруживалось.

1

Выпитое вчера пиво услужливо напоминало о себе.

Топая в санузел и размышляя — бриться или ну его? — Сэнсэй решил утренней разминкой пренебречь. Лучше займемся бегом: от подъезда в булочную за кирпичиком «бородинского». Бежать станем медленно-медленно, можно сказать, сходим трусцой. И еще купим пакет ряженки в крошечном «гипермаркете» возле метро.

Вполне достаточно для утреннего моциона старого усталого человека.

Чувствовать себя старым было отчасти приятно. Как в песне Никитиных «Хорошо быть стариком!». Сэнсэй подумал, что настоящие старики избегают этого слова. Из суеверия, что ли? Елозя бритвой по щекам, он размышлял сперва о суевериях, а потом — о ненависти. Претендентами на чемпионство в его личной табели о рангах были дурная погода во время занятий в лесу, боли в пояснице, легенды о патриархах, мудрых и боеспособных даже на смертном одре (вернее, на одре — особенно!), и сочинители «мясных боевиков».

По здравому размышлению, сочинители выходили на первое место.

«Он ускорился, переходя в режим сверхспособностей. Размытой тенью скользнув к замешкавшейся банде киллеров и антикиллеров, он в прыжке с разворотом провел тоби-гери-дольё-чаги-уц из Кынг'куйена «Боевой гопак», созданного мастером Фынь Крученик-младшим. Эффект превзошел все ожидания...»

Натянув спортивный костюм, Сэнсэй полез в шкаф за сумкой и опять расстроился. В среду забыл вынуть из сумки кимоно. Придется вечером выйти к группе в мятом. М-да...

Меланхолично щелкнул дверной замок.

— Здравствуйте, Светлана Петровна!

Соседка, женщина с принципами, в ответ поджала губы. Мужчин без галстука она не одобряла. Спаниэльша Дуся залилась вслед пронзительным лаем. Обе дамы успели выяснить, что возраст беспощаден, а принцы и принципы — вещи несовместные. Это добавляло лаю визгливости, а взгляду Светланы Петровны — горечи.

Временами соседка была готова предать идеал, согласившись на ряд недостатков и без галстука. Но умело скрывала предательскую слабость.

«Пойду дворами, так ближе к метро. Перейдя в состояние самадхи, освоенное в капище волхва Кудреяра, последнего храни-

теля знаний древних ариев, он ринулся в зазор между мирами. Время остановилось, открыв блистающую изнанку...»

В этой подворотне всегда была лужа. Даже в засуху. Обойдя заразу по краю, Сэнсэй взбежал по склону к гаражам и помойке, клубу местных бомжей. С утра здесь царила тишина, завсегдатаи мирно почивали в уютных подвалах. Над центральным баком ветер трепал замызганный лист картона, исписанный от руки:

«Уважаемые жильцы и гости мусорных контейнеров! КУПЛЮ старые очки за разумные деньги. Искренне Ваш, дворник».

Радуясь культуре общения и развитию частного предпринимательства, Сэнсэй миновал два абрикосовых дерева, детскую площадку с песочницей и свернул к арке, выводящей к метро.

Арки на месте не оказалось.

Тупик.

Словно рана в теле дома затянулась, срослась кривым рубцом. Без скальпеля не вскрыть. С минуту Сэнсэй тупо смотрел на стену, преградившую ему путь. Зачем-то ткнул пальцем в корявый бетон, надеясь, что галлюцинация рассосется.

И побрел обратно, недоумевая.

Песочница, абрикосы, мусорка, где скупают очки, склон, лужа...

Ладно, невелик крюк. Обойдем квартал с улицы.

2

Джульетта терпеть не могла вставать рано.

Жизнь в искусстве, как сказал некий Алексеев, прославленный под совсем другой фамилией, подразумевала «совиный» режим. Но с недавних пор Джульетту мучила бессонница, липкая и тягучая, как растаявшая ириска «Золотой ключик». Едва забывшись к пяти утра, она вскакивала в пол-восьмого, таращила слипающиеся глаза в сумрак и думала о разном. Мысли перескакивали с одного на другое, сбоили, застревали между ржавыми шестеренками, обещая головную боль и убитый день.

Афоризм: из убитых дней складываются вырванные годы.

«Валяй, красавица, проснись! Открой сомкнуты негой взоры...»

Кое-как умывшись, Джульетта приободрилась. Увы, брошенный в зеркало взгляд разом смел всю бодрость, как веник единым взмахом сметает мусор в совок. Согласившись, что рубенсовские красавицы и гоголевские Солохи нынче, увы, не в моде, она послала внутренний голос к арапам и отправилась на кухню. Где утешила себя двумя десятками пельменей «Сударушка» с майонезом. Пропадать, так с музыкой. Хорошо, что дочка на лето перебралась к бабушке на дачу. Иначе не миновать упре-

ков. Молодежь жестока, в особенности к близким родственникам.

Кофе придал действительности стеклянную хрупкость.

Машинально принявшись убирать на кухне, она размышляла о грязной посуде. Ничего нельзя оставлять на завтра. Ничего. Посуду — в особенности. Иначе засохшие остатки пищи и горка тарелок в раковине способны убить последние ростки добра в вашей душе. Отскребая терочкой вчерашнее оливье, сама не заметишь, как станешь Джекой Потрошительницей. Возьмешь в левую руку терочку, в правую — столовый ножик, пойдешь ночью искать по белу свету, где оскорбленному есть чувству уголок...

Дурацкие мысли. Это от недосыпа.

Начать принимать снотворное она боялась.

Решив выпить еще чашечку «Tchibo», Джульетта с детской обидой выяснила: кофе в доме закончился. И растворимый, и молотый. Как назло, призрак дымка над ароматным густо-коричневым бальзамом щекотал ноздри. Браня себя за излишнюю впечатлительность, она навела первичный марафет, быстренько оделась, сунула портмоне в карман летнего кардигана и вышла на улицу.

— Доброе утро, Лев Макарович!

— Здоровеньки булы...

Лев Макарович, всенародно избранный комендант двора по прозвищу Царь Зверей, без особой приязни кивнул «гулящей цяце». Он вообще не мог понять, отчего тунеядцев, каковыми он считал всех, кроме шоферов, военных и работников жилищно-коммунального хозяйства, в последние годы не привлекают по статье. Будь его воля...

Позавчера, вспомнила Джульетта, Царь Зверей сцепился с бродячим проповедником из секты-новодела «Евреи за Иисуса». Проповедник был пойман на месте преступления — он как раз вешал свои листовки на дверях подъезда — и убит наповал беспощадным аргументом.

— Хлопец! — рыкнул Лев, ознакомившись с содержанием прокламации. — Я всю войну за баранкой проездил, а ты мне, старому партийцу, будешь говорить, что наш Христос — еврей? А ну кыш отсюда!

И бежал еретик, посрамленный...

Джульетта рассмеялась, вспомнив грозное лицо коменданта, но осеклась. К этому времени она не спеша дошла до угла улицы, а дальше идти было некуда. Вместо пересечения с Бассейной, где она собиралась свернуть направо, к продуктовому магазину, улица заканчивалась тупиком.

Дорогу перегораживал пятиэтажный дом.

На всех балконах сушилось белье, и это добило Джульетту.

Словно тупик капитулировал перед судьбой, вывесив белые флаги.

Запах кофе таял в утреннем воздухе, пока не исчез совсем.

3

— Ангидрид твою перекись марганца!

Замок опять заело. Аптекарь долго бренчал ключами, пытаясь запереть квартиру, и ругался химическими формулами. С шестой попытки железный мерзавец наконец сдался. Давно надо его поменять или хотя бы перебрать-смазать. Да все руки не доходят.

Спускаясь по лестнице, Аптекарь взглянул на часы.

Ч-черт, опоздал! Планерка в ЖЭКе наверняка успела закончиться. Сантехника теперь придется ловить в подвале 6-го дома. Данилыч сказал: он там вечно с утра околачивается. Ссылаясь, блин, на «плановую проверку коммуникаций». А на самом деле дрыхнет, сукин кот, либо похмеляется после вчерашнего. Ничего, разбудим. И на опохмелку дадим, потому как с неисправным бачком надо что-то делать.

Для того и на работе отгул взял.

При мысли о работе у Аптекаря, который был никаким не аптекарем, а научным сотрудником Фармакадемии, окончательно испортилось настроение. Оно и раньше было не ахти, а сейчас вообще упало ниже нуля по Кельвину. Пусть физики и утверждают, что такое невозможно. Физикам хорошо, им Фармакадемия — звук пустой.

Синтез третью неделю не ладился. Выход активного вещества для нового препарата застрял на заговоренных 13% и подниматься не желал хоть убей. Любые ухищрения шли прахом. Завлаб метал громы и молнии, срывая досаду на мелкой сошке. Больше всех доставалось, естественно, Аптекарю, как основному разработчику синтеза. Согласно теории, выход предполагался не менее 40%, в пень ее, эту теорию!

До знакомого подвала он добрался за пять минут.

Спустился по обвалившимся ступенькам, по старой суеверной привычке перешагнув через седьмую, «подлую». В детстве, когда местная пацанва играла здесь в партизан, эта ступенька пользовалась дурной славой. А за лазанье в подвал родители, если узнавали, давали ремнем по заднице. Тогда, кстати, его и прозвали Аптекарем — из-за пристрастия к самодеятельным опытам. Помнится, когда он впервые ухитрился сварить слезогонку...

Дверь оказалась не заперта. Аптекарь нашарил слева, на стене, выключатель. Под потолком вспыхнула пыльная лампочка в «клетке» из проволоки.

«Чтоб не убежала!» — шутил в школьные годы одноклассник Сашка Петренко.

Дальше начинался коридор с боковыми каморами. В тех, что побольше, горели знакомые лампы-узницы. Не обнаружив там искомого сантехника, Аптекарь сунулся проверять темные закутки, ругая себя, что не прихватил фонарик. Никого. В дебри дальних лабиринтов он лезть раздумал. «Там и ноги переломать запросто...» — убеждал он себя, стесняясь признать, что в сердце проснулись старые детские страхи.

«Значит, этот гад еще в ЖЭКе!»

Аптекарь решительно зашагал к дальнему выходу из подвала. Оттуда дверь вела на соседнюю улицу, где располагался ЖЭК. Надо срочно отловить бездельника! Иначе жена насмерть запилит.

Однако двери он не обнаружил. Лампочка освещала щербатый кафель стен, груды мусора на полу — и никакой двери.

Тупик.

4

Иногда Эскулап полагал, что прекрасно обошелся бы без тесного знакомства с папашей Фрейдом и всеми присными его, не к ночи будь помянуты. Ибо от многого знания — многие печали и томление души.

К счастью, ночь прошла и наступило утро.

Идя по улице до следующего двора, где в гараже ждал хозяина верный Росинант на колесах, он раскланивался со знакомыми. Вот холерик Рахович со своим кобелем Диком. Обоих стоило удушить в колыбели, на благо прогрессивному человечеству. Вот Нюрка Гаврошенко, патентованная ведьма с лицензией. Никакого интереса для современной психиатрии: деловитая шарлатанка, отлично знающая, что деньги не пахнут. Максим, студент-историк, вернувшийся из последней экспедиции законченным невротиком. Шумные отроки с пивом: слышь, пацаны, эта телка мне, типа, и говорит...

Иногда мир казался Эскулапу гигантским дурдомом.

— Денис, поздоровайся с дядей!

— Здрасте...

Выведя машину из гаража, он сел за руль и некоторое время просто сидел, думая о пустяках. Глубоко-глубоко, под бесстрастной и приветливой маской, занозой сидела скука. Вернуться домой, запереться и дня три никуда не выходить. Бездумно смотреть в потолок, пить красный «Мускат», ждущий в баре с весны, не отвечать на телефонные звонки. Остаться наедине с собой. Белка хочет выбраться из вертящегося колеса, белка хочет взять в лапы орешек и забыть о вращении, сводящем с ума.

«Вы хотите об этом поговорить, господин Эскулап?»

Нет. Не хочу.

Он выехал со двора и медленно тронулся вдоль улицы, к повороту на Тебелинку. В кармане уныло брякнул мобильник. Левой рукой Эскулап достал аппарат и посмотрел на экран. Сообщение. «Доводим до вашего сведения, что срок действия услуги «Семья-копейка» истекает такого-то числа...»

Судьба-индейка.

Семья-копейка.

Он еле-еле успел затормозить. Там, где был проезд, сегодня все оказалось совсем иначе. Витрина с горами обуви — туфли, кроссовки, женские босоножки, ботинки с высокой шнуровкой. Внутри магазина скучали две продавщицы: хрупкая блондинка и знойная шатенка. Обе — крашеные.

Витрина поперек дороги.

Витрина магазина на первом этаже дома, которого тут сроду не стояло.

Эскулап минуту-другую тупо смотрел на тупик, потом отогнал машину к тротуару, выключил мотор и задумался.

5

Кашель не желал униматься.

Привычный, как мозоль от ручки на среднем пальце, утренний кашель завзятого курильщика. Сигарета под чашку крепчайшего кофе помогла лишь отчасти. Поэтому, выйдя из подъезда, Доцент закурил еще одну, с ментолом. Ментол недурственно «осаждал» кашель, но вот беда: в последнее время из-за этой пакости начало пошаливать сердце.

Первой пары сегодня не было, но встал он, как обычно, ни свет ни заря. Без всякого будильника. Слово «без» этим утром, пожалуй, ключевое: без будильника встал, без энтузиазма умылся, без аппетита позавтракал, без настроения оделся...

«Безовщина».

Времени до звонка на вторую пару оставалось навалом, и Доцент нога за ногу двинулся по улице в сторону университета. Занятие для камикадзе: читать физтеху историю родной страны. Нет, он все понимает, для физиков история — мягко говоря, как для историков физика. Но в каком даун-тауне набирают таких лоботрясов?! Спросишь на зачете: «В каком *месяце* приняли Сентябрьскую Унию?» — молчат и смотрят на тебя, как баран на новые ворота.

Третья пара — свои, истфак. Четвертый курс, Французская революция. Можно будет отдохнуть душой, даже рассказать кое-что сверх программы: этим периодом он занимался специально. Робеспьер, Марат, Дантон... Зато после — заседание ка-

федры. Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых... Увы, муж идет, попробуй не пойти. И, конечно, почтенный завкаф опять вопьется клещом: где методические планы? Почему за отчетный период вышло две статьи? Где третья для международного сборника? А до сдачи сборника, между прочим, еще три месяца...

Доцент свернул в проходной подъезд, чтобы срезать путь.

На подъезде жильцы установили кодовый замок — чисто из вредности, желая преградить путь веренице пилигримов! — но Доцент давно выяснил код у дворника за бутылку.

Завешенный простынями двор. Посредине, в окружении серых пятиэтажек, ютится двухэтажный флигель. Булькают голуби, собирая крошки. Серый котище греется на солнышке, мурлычет от кайфа. А за «бельевыми заграждениями» — стена.

Старая, из красного кирпича, с оспинами от пуль.

Видать, еще с Отечественной.

Доцент изумленно воззрился на это кирпичное недоразумение. На всякий случай даже снял и протер очки. Нет, не помогло: тупик себе и тупик.

Глухо.

6

Песочница, абрикосы...

Больше всего Сэнсэю хотелось вернуться. Вопреки логике, здравому смыслу, нехватке времени. Вернуться и просто поглядеть на нежданное безобразие. Стены за одну ночь сами не вырастают, пространство не затягивается бетоном по собственному желанию, а если таковое все-таки случается, то согласно уже упомянутой логике...

На лбу выстрелил пот (пиво! пиво!). Сэнсэй наконец-то осознал, что стряслось.

Какого черта?!

Он обернулся — резко, как на подозрительный шорох в темной подворотне.

Проклятый бетон никуда не делся — стена была по-прежнему рядом, всего в двух шагах. Сзади, то есть теперь снова спереди. Сэнсэй резко дернулся, с трудом сдерживая желание броситься со всех ног обратно, не разбирая дороги. Тайный прием карате номер один: далеко убежать и хорошо спрятаться. Порассуждать о причинах, по которым стены не просто возникают там, где не положено, но и начинают преследование, можно будет и потом. В километре отсюда, а еще лучше — на другом конце города.

Сэнсэй не без самокритичного злорадства прикинул, что герой очередного «мясного» романа о рукомашестве и ногодрыже-

стве не преминул бы врезать по проклятой стене, само собой, в прыжке и с разворотом. С криком «Кийя!» от удара ноги...

Он ощутил боль в правой лодыжке. Дурные мысли иногда бывают материальны — как старый корявый бетон.

Ладно, потом! Сейчас — быстрым шагом к объекту «Мусорные баки», затем вниз по склону, мимо лужи, а после подворотни можно будет и остановиться.

Сэнсэй поглядел вперед. Мусорка, где скупают очки, склон, лужа...

Где?!

Стена никуда не делась. Вернее, как раз делась — переместилась вперед, заботливо загородив дорогу. Не только вперед — слева и справа тоже была она, родимая, бетонная.

Он вытер пот со лба, оглянулся уже без всякой надежды, поглядел вверх, в далекое недоступное небо.

Бетонный колодец о четырех стенах, битый кирпич под ногами, легкое невесомое облачко над головой.

Ничего себе, сходил за хлебушком!

— ...Метил его пропаном через бутадион в медный купорос!

И, кажется, не он один.

7

— ...Нет, товарищи, так не бывает!

— А как бывает?

— Погодите! Да погодите же! Я шла по улице, хотела перейти Бассейную...

— Оч-чень мило! Какая Бассейная? Я двором шел. То есть вначале через подъезд...

— Н-да, конечно. А я — через подвал. С тем же результатом. Этот двор кто-нибудь вообще видел? Хоть когда-нибудь?

— А я машину не запер. Стоянка, между прочим, там запрещена.

— Где это «там»? Смотрим вокруг: улицы нет, прохода нет, подъезда нет. Чего еще? Подвала нет. Тоже.

— Угу. Патронов у них нет. Студентозавры тупые меня в аудитории ждут, а я здесь. Приятно, хе-хе! Перекурим такое дело?

— А с удовольствием! Послушайте, мы с вами... Универ, химический факультет?

— Истфак. Мы были в... ага, Терновцы, колхоз перед пятым курсом...

— Слушайте, дымите в сторону!

— Пардон, пардон... Точно! Терновцы!.. Только я после первого. В сельмаге «Агдам» продавали. Ну, привет! Где бы еще встретились?

— Постойте! Реакция у нас у всех слегка неадекватная, но да-

вайте разберемся. Каждый из нас куда-то шел... или ехал. Так? Пока правильно. Каждый встретил, скажем так, препятствие. Верно? Мы попытались повернуть назад, так? Спокойно подумаем...

— ...Спокойно залезем в смирительную рубашку...

— Впятером с ума не сходят, поверьте моему опыту. Значит, либо у меня галлюцинация как результат переутомления, что весьма логично... либо мы все пятеро каким-то образом...

— Да не образом, батюшка, не образом!

— ...Оказались в этом... гм-м... подобии двора, почему-то без входа и, соответственно, выхода...

— А дверь?

— ...Что совершенно не логично, зато похоже на правду.

— Ч-ч-черт!!!

— Либо эта дверь, хе-хе, продукт коллективной галлюцинации как результата переутомления, что весьма логично, либо за ней действительно все та же стена, что совершенно не логично, зато...

— Так чего делать будем?

— Ну... Для начала — познакомимся.

8

Сэнсэй мельком взглянул на часы. Безобразие продолжалось минут двадцать. Точнее сказать он не мог — засечь время не пришло в голову. Да и к чему? В подобной ситуации временной фактор усугублял, но не вносил ясности.

Сэнсэй в очередной раз поглядел по сторонам, втайне надеясь, что неоднократно помянутая галлюцинация все-таки сгинет, но все оставалось по-прежнему. Маленький глухой дворик, стены, уходящие к самому небу, белые облачка вместо крыши. И дверь — столь же нелепая, как и все остальное. Единственное отличие состояло в том, что вместо бетона за дверью оказался кирпич. В общем, кругом тупик. Точнее, не кругом — квадратом. А еще точнее — Тупик. Имя собственное.

Он подошел ближе, зачем-то ткнул в твердую кирпичину пальцем. Интересно, в один ряд — или в два? Эх, сюда бы мастера Фынь Крученика-младшего! С криком «Кийя!»... Правая лодыжка вновь заныла.

Странное дело, пленники Тупика успели успокоиться. Аптекарь и Доцент курили уже по второй, отойдя подальше, чтобы не раздражать недовольно морщившуюся Джульетту. Та, в свою очередь, что-то негромко рассказывала Эскулапу. Знаток Фрейда слушал с внимательной миной, время от времени солидно кивая.

Дверь-обманщица оставалась распахнутой.

«Не бойцы! — рассудил наконец Сэнсэй. — И я не боец. Тут почти конец света, а мы... То есть почему — почти? Он и есть, пусть локальный. В одном отдельно взятом Тупике».

Странно, звать на помощь никто даже не попытался. Сэнсэй представил, как такое будет восприниматься со стороны: многоголосый вой, глухим эхом доносящийся из-за бетонных стен. Он снова, в бессчетный раз, поглядел вверх. Нет ни одного окошка, глухо!

— Объявляю мозговой штурм! — внезапно для самого себя бросил он.

— Это как? — отозвался Аптекарь, затаптывая окурок. —Лобешником? В стену?

Провокационную реплику Сэнсэй проигнорировал.

— Итак?

На миг воцарилось молчание. Издалека, из недоступного пространства, послышался сердитый автомобильный гудок.

— Кажется, мой, — встревоженно проговорил Эскулап; прислушался. — Нет, слава богу! А что — штурм? Про галлюцинацию я уже говорил. Бывает такой эффект — нечто вроде психической эпидемии. Одному почудится...

Он вдруг вспомнил, что забыл мобильник в машине, и очень расстроился.

— А другие что — заразятся? — Аптекарь недовольно повел носом. — Нет, тут какая-то подлость. Вопрос — чья? Эх, дал бы прямиком в... хрюкальце!

— Квартальный водит. — Джульетта попыталась улыбнуться. — Квартальный — это... Есть леший, есть домовой, а в городе...

— Подъездный и подворотный, — кивнул Доцент. И без тени усмешки добавил: — Хе-хе! Принцип Оккама: не будем умножать сущности. По-моему, типичный сбой в системе. В городе — два миллиона жителей, тысячи домов, сотни улиц. Сколько проходных и подъездов, не рискну даже предположить. Каждый день люди передвигаются, благополучно попадая из пункта А в пункт Б. Но в определенном случае общее правило может не сработать.

— В пяти определенных случаях, — поморщился Эскулап. — И кто бы говорил про принцип Оккама? Даже если это... гм-м... сбой в системе, то что нам делать?

Доцент повертел в пальцах окурок, закашлялся.

— А ни... чего! С квартальным еще в переговоры вступить можно, а мы вроде как в канализационный люк свалились. Буль — и все!

— Приятного аппетита! — невозмутимо заключил Аптекарь. — А у меня в кладовке такая приблуда скучает! Была бы тут дыра два на два метра. Только вот спрятаться негде, разнесет в мелкое какаду...

— Подождем, — предложила Джульетта. — Если это галлюцинация или... сбой, все может просто закончиться. Оглянемся — и снова все в порядке. А если нет, то... с нами вступят в переговоры.

— Да? — Доцент вынул из кармана пачку «Отамана». — Вообще-то можно, сигареты пока есть. А студенты... Хе-хе! Поскучают!

Все посмотрели на Сэнсэя, и тому внезапно стало не по себе. Раз предложил, ему, значит, и решать. Правда, выбирать не из чего. Разве что поорать от души, надеясь, что кто-то за стеной кликнет патрульных? Не хочется.

— Подождем еще... минут двадцать, — начал он. — В конце концов...

— Погодите! — внезапно перебил Эскулап, указывая на ближайшую стену. — Вы уверены... Вы уверены, что она на прежнем месте?

9

То, что проклятый бетон движется, стало ясно минут через десять. На полметра — именно на такое расстояние (плюс-минус спичечный коробок из кармана Аптекаря) Тупик сократился в длину. С «шириной» — за нее приняли сторону, где дверь, — тоже что-то происходило, но этим решили пренебречь. Быть раздавленными с двух боков или сразу с четырех — какая, собственно, разница?

За эти минуты Сэнсэй сумел сделать как минимум два наблюдения.

Первое — пиво внезапно перестало напоминать о себе, вероятно, осознав сложность момента. Что не могло не радовать.

Второе... Второе — паники пока не было. Как ни странно. Все пятеро, включая самого Сэнсэя, особо веселыми не казались — но не больше. Данное обстоятельство должно бы вселять оптимизм, но Сэнсэю представилось, *что* начнется в этом бетонном колодце, когда Паника все-таки вспомнит о них... Нет, лучше не представлять.

Третье наблюдение осталось на совести Джульетты и Доцента, по очереди прикладывавших ухо к холодному кирпичу, загородившему дверь. Увы, глухо.

Как в танке, зачем-то уточнил Аптекарь, а Доцент не без сварливости возразил, что современному танку полагается радиостанция. А также пушка, из которой в случае крайней нужды можно и выпалить вместо сигнала «SOS».

Сэнсэй не выдержал и принялся массировать ноющую лодыжку. Интересно, что бы посоветовали мудрые и боеспособные на смертном одре патриархи? Представить себя бетоном и

слиться со стеной в дзэн-экстазе? Или вообще не тратить силы зря, ибо эта история все равно как-нибудь кончится. Вернее, не как-нибудь, а согласно дао каждого из присутствующих. Ну а спорить с дао...

От таких мыслей стало совсем кисло, и Сэнсэй поспешил объявить Мозговой Штурм Номер Два.

— «Колодец и маятник», — откликнулся Доцент. — Сочинение алкоголика Эдгара Аллана По. Или подъездные спешат вступить с нами в контакт — или система просто схлопывается. Исправляет сбой.

— Схлопывается — вместе с нами? — вновь без особой нужды поспешил уточнить Аптекарь. — Карбонат натрия его гидролизом!..

Быстрый взгляд, брошенный в сторону Джульетты, наглядно свидетельствовал о том, что только присутствие дамы мешает ему перейти с химической терминологии на общеупотребительную.

— Может, поговорим с ним... с ними? — раздумчиво вымолвил Эскулап. — Если впасть в паранойю и допустить, что нас слышат...

— Но как поговорить? — начала было Джульетта, но тут Доцент отступил на шаг, запрокинул голову:

— Ну вы, козлы-ы-ы! Козлы драные-е-е! Какого хрена-а-а? Вам чего, яйца оторвать, мудозвоны, петухи проткнутые?!

Эхо мягкими прыжками обежало тупик, нехотя успокоилось.

Стихло.

— Ты так и лекции читаешь? — осведомился Аптекарь, доставая очередную сигарету. Доцент лишь невесело усмехнулся, Сэнсэй же без особого оптимизма сообразил, что Рубикон пройден: начали орать.

Совсем худо!

— Давайте еще раз, — предложил он, невольно морщась. — Чего у нас нет, ясно. А что у нас есть? Смотрим... Двор где-то семь на семь...

— Меньше! — буркнул Аптекарь. — Снова сдвинулось.

— ...Четыре бетонные стены, дверь с кирпичной кладкой. Что еще?

— Нэбо! — сообщил Доцент отчего-то с кавказским акцентом.

— И мы сами. — Джульетта обвела взглядом присутствующих. — Пятеро.

— Может, в этом и дело? — предположил Аптекарь, затягиваясь сигаретой. — В нас самих?

— В смысле за грехи? — подхватил Доцент не без странного удовольствия. — Озверелая банда подъездных — или все-таки сложная система мегаполиса, она же Вторая Природа, одушев-

ленная согласно принципу гилозоизма, подкараулила пятерых отпетых грешников...

— Хотите поговорить об этом? — еще более странным тоном осведомился Эскулап, и Доцент, сглотнув, закашлялся.

— А если — правда? — негромко бросила Джульетта.

Странное дело — никто не возразил.

10

То, что со стенами творится неладное, первым заметил Эскулап. В очередной раз промерив шагами Тупик, он коснулся рукой бетонной поверхности, неуверенно оглянулся, словно подозревая пришествие очередной галлюцинации.

— Она уже не ровная! Стена!

После чего ощупыванием бетона занялись впятером. И не без результата. Стены заметно потеплели, а главное, начали очень медленно, но очень верно изгибаться, превращая квадрат Тупика в неровный овал. Это открытие, само по себе никак не ухудшавшее и без того пиковую ситуацию, почему-то расстроило всех окончательно. Кто-то застонал — негромко, но выразительно.

Сэнсэй, закусив губу, поглядел в заметно уменьшившийся квадрат синего неба с беззаботными тучками, вздохнул. Квадрат исчез, превратившись в сдавленный с боков обод.

— И что делать будем? — вновь зайдясь в кашле, осведомился Доцент. — Это становится неинтересно.

— Думать! — отрубил Сэнсэй, чувствуя, что беспощадная богиня Паника смотрит с небес. — Что мы еще не заметили? Быстро! Стены, дверь дурацкая, нас пятеро...

— Пятеро! — внезапно проговорила Джульетта. — Нас почему-то именно пятеро.

Эскулап поглядел сначала на нее, затем на каждого из присутствующих. Не иначе, решил пересчитать.

— Пятеро, — наконец согласился он.

— Займемся нумерологией? — Доцент, на время справившись с кашлем, прикуривал от зажигалки. — Эсхатологический смысл числа пять...

— Слова такие, — неодобрительно заметил Аптекарь, — не говори, а? Не надо!

— Надо! — Джульетта быстро взглянула в неровный синий обод неба, дернула подбородком. — Пятеро! Может, случайность. Но, может...

И она уставилась на свою ладонь с растопыренными пальцами.

— Раз-два-три-четыре-пять, — пробормотал Аптекарь, —вышел зайчик погулять...

— Пятак. — Эскулап вытащил из кармана монетку. — Пятнашки. Пятка. Пятачок...

— И Винни-Пух, — отрешенно заметил Сэнсэй. — Еще есть идеи?

— Пентакль. — Доцент смачно затянулся.

— Чего?

— Пентакль. Пятиугольник. Магическая фигура, представляющая Бога или человека, четыре первоэлемента природы, пять чувств, пять ран, нанесенных Христу на кресте, а также пять точек человеческого тела с разбросанными в разные стороны конечностями. — Доцент, как мог, тут же проиллюстрировал этот тезис, разведя руки в стороны и широко раздвинув ноги. — Вот так. В моем исполнении недействителен, потому что связывается, как правило, с женским началом, с женской энергией... — И он выразительно посмотрел на Джульетту.

— Что? — спросила она без радости.

— Верховная жрица сама может принять позу пентакля, символизируя такой позой рождение и возрождение...

— Верховная жрица? — мрачно переспросила Джульетта.

— Ну, — Доцент слегка поклонился, — за неимением другой...

— Это неприлично, — заметила Джульетта ровным невыразительным голосом, за которым, как за ссохшимся фиговым листочком, не могла скрыться подступающая истерика. — Я отдохну... Сяду и посижу, пока все закончится.

— Закончится?! — рявкнули в один голос Аптекарь и Эскулап.

— Ну да. — Джульетта обвела всех прояснившимся взглядом. — Вы мне снитесь, это ясно! Вот что бывает, если засыпать в полпятого утра. Лучше бы я попробовала полтаблетки сонована...

Она отошла в сторону и села, прислонившись к бетонной стене. Вернее, попробовала сесть, потому что в следующую секунду стена скакнула вперед, толкнула Джульетту в спину, и она упала на четвереньки.

Кусочек неба над головой сделался почти круглым. Двор-колодец теперь полностью соответствовал своему поэтическому названию.

— Ничего. — Эскулап быстренько помог Джульетте подняться и отряхнуть пыль с кардигана. На лице его был написан лихорадочный мыслительный процесс. Казалось, он вот-вот ткнет пальцем в небо, пытаясь купировать истерический припадок видом пролетающей птички. Но птичка не пролетела. И припадка, к счастью, тоже не случилось: поврежденные на коленях колготки заняли внимание пациентки полнее, чем целая стая какаду.

— Значит, пентакль, — Сэнсэй обращался сейчас к Доценту, и только к нему одному. — Верховная жрица тут ни при чем...

Как и женское начало... Нас пятеро. И здесь есть дверь. Надо полагать...

Аптекарь осторожно пробовал на прочность кирпичную кладку. В отличие от очага папы Карло, нарисованного на куске старого холста, это были вполне реальные кирпичи, намертво сцепленные раствором.

— Надо полагать...

— Станем в кружок — составим пентакль, — предложил Эскулап.

— Да, — подхватил Доцент. — Можем для верности завести хоровод, похлопать и позвать Деда Мороза...

— Никого не надо звать, — слабым голосом сказала Джульетта. — Это тупик...

— Пять тупиков, — ухмыльнулся Аптекарь.

— Не знаю, как вы, — Джульетта снова обвела их лихорадочно-влажными глазами, — но я давно понимаю, что моя жизнь...

И она замолчала, безнадежно махнув рукой.

11

Стало тихо. В этой тишине стенки сделали еще один микроскопический шаг вперед, изогнулись сильнее. Упала щепотка бетонной пыли.

Доцент подумал, что кашель — ерунда. Гораздо хуже усталость, наваливающаяся на плечи в первую минуту после подъема. А утро наступает с каждым днем все быстрее, но не приносит ни отдыха, ни радости, ни предвкушения чего-то хоть сколько-нибудь значительного.

Эскулап подумал о красном «Мускате», который ждет в баре с весны и уже, наверное, не дождется. Ну и что? «Мускатом» не вылечить застарелую скуку и не остановить беличье колесо, в котором от скорости сливаются ступеньки-перекладины, сливаются и пропадают из виду, и потому легко поддаться иллюзии, что ты свободен.

Аптекарь подумал о Фармакадемии, о синтезе, и о завлабе, и о совсем другой жизни, которая рисовалась перед ним, когда он был мальчишкой и впервые варил слезогонку. И о том, что выход активного вещества не зря застопорился на цифре тринадцать — это ведьмино число...

О чем подумал Сэнсэй, так никто и не узнал. Известно только, что, проведя две минуты в глубокой сосредоточенности, он напружинился, будто готовясь пробивать бетон собственным телом, схватил за плечи Доцента и закричал:

— Выход! Все быстренько ищем выход! Что там еще про пентакли?!

— Талисман, символизирующий радость жизни, — похорон-

ным голосом признался Доцент. — Магический знак Соломона, помогает найти в жизни смысл. Избавляет от депрессии и страха перед неизвестностью...

— То, что надо, — заметил Аптекарь, оглядев смыкающиеся стены.

— Важнейший символ для привлечения добра и света. Дает защиту от колдовства, заклинаний и нападения темных сил... — проговорил Доцент. И вдруг, безо всякого перехода, запел: — Темные силы мяту-утся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов!

— Тогда чего мы ждем? — просто спросила Джульетта. — Давайте... привлекать добро и свет!

Они стали в круг, почти упираясь спинами в бетонные стены, и взялись за руки. Эскулап оказался между Джульеттой и Доцентом, а Сэнсэй — между Аптекарем и Джульеттой. Сжимая ладони соседей, они подняли руки вперед и в стороны, как парашютисты, складывающие «звездочку» в свободном падении.

— Парашютистам хорошо, — дрожащим голосом сказала Джульетта. — Им только за кольцо дернуть — и уже не падаешь...

— В большинстве процентов случаев, — покладисто подтвердил Доцент.

— Думаем о хорошем! — энергично предложил Сэнсэй. — Вместе! Поехали!

Снова стало тихо. Неприятно теплые стенки уперлись в спины. Сэнсэй оказался в створке двери, лопатками чувствуя кирпичную кладку.

— Не помогает ваш пентакль, — заметил Аптекарь.

— Расслабьтесь! — приказал Эскулап. — Закройте глаза! Представьте себе поле, рассвет, капельки росы на стебельках травы...

Показалось — или бетонные стены в самом деле чуть-чуть отступили?

— Давайте! — завопил Эскулап воодушевленно. — Представьте море... Теплые волны... Теплый песок...

— Медузы... — простонала Джульетта, и стены сдвинулись плотнее.

Сэнсэй прямо-таки увидел внутренним взором, как мастер Фынь Крученик-младший лезет вверх по колодцу, упираясь в стенки наподобие человека-паука. Не оглядываясь, лягнул кирпичную кладку. Ничего не изменилось, только боль в лодыжке усилилась.

— О хорошем! — надрывался Эскулап. — О счастливом! Привлекайте на нашу сторону добро и свет! Небо, солнце, золотистые закатные лучи...

— Куча денег, — пробормотала Джульетта. — Не подумать ли нам, каждому, о десятке-другом тысяч долларов?

— Не подумать! — рявкнул Эскулап. — О возвышенном, о духовном!

— О давно ушедшей молодости, — ухмыльнулся Доцент.

— Вы не стараетесь, — упрекнул его Эскулап. — Пентакль, между прочим, ваша идея!

— Белый Бим Черное Ухо, — отозвался Доцент, глядя через плечо Сэнсэя на замурованную дверь. — Есть двери, которые не открываются.

— Давайте помолимся, — предложила Джульетта.

— Что? — спросил Эскулап и вдруг побледнел до синевы. Он и прежде не был румян — но теперь и вовсе перешел в черно-белое изображение, будто картинка на гаснущем экране монитора.

— Помолимся, — робко предложила Джульетта. — Я имела в виду, что...

— Нет! — Эскулап смотрел, не отрываясь, на Доцента. — Бим... Я же собаку утром не выводил!

Он вытянул вперед руки, сжимая ладонь Джульетты так, что дамочка пискнула, и руку Доцента, который молча попытался высвободиться, но не смог. По цепи из пяти звеньев пробежала ощутимая дрожь.

— Собаку?! — выкрикнула Джульетта. — У меня дочь вечером приедет от бабушки — без ключей!

Дрожь в цепи сделалась сильнее.

— Иудеи и христиане, — пробормотал Доцент себе под нос, — считали пентакль первой из Семи Печатей, которые представляли собой тайное имя Бога...

Пять замков из крепко сжатых ладоней дрожали и почти соприкасались.

— Путеводи меня в правде своей, — сказал Аптекарь неожиданно для себя.

— Что?!

Аптекарь не ответил. Он смотрел на Джульетту. Она вдруг оказалась очень высокой — на полголовы выше мужчин.

Эскулап, Доцент и Сэнсэй разом глянули сперва вниз и почти сразу — вверх. Ноги Джульетты в открытых туфлях не касались битого кирпича. Джульетта медленно, как величавый дирижабль, поднималась к небу, увлекая за собой Эскулапа и Доцента.

Сэнсэй подпрыгнул и завис в воздухе. Аптекарь опередил его на долю секунды. Держась за руки, они поднимались все выше, скользили мимо серые стенки колодца, и где-то на темном дне осталась замурованная дверь — из тех, что не открываются.

12

Пятеро плыли над городом, взявшись за руки. Внизу сменяли друг друга светло-зеленые и темно-зеленые кроны, черепичные скаты, и темные от времени шпили, и скучные плоские крыши, покрытые битумом, и веселые кошки на карнизах, и белье на веревках, и старушки на скамейках, и лаковые потоки машин, и матовые лужицы городских прудов, покрытых ряской.

— Как парашютисты, — сказала Джульетта.

— Как эстонские парашютисты, — уточнил Доцент. — Очень медленно падаем.

— Я не понимаю, куда мы летим? — обеспокоился Эскулап.

— Хотите об этом поговорить? — весело предположил Аптекарь.

А Сэнсэй ничего не сказал. Он смотрел вниз и думал, что даже Фынь Крученик-старший, не говоря уже о его сопливом наследнике, никогда не совершал подобных полетов.

13

...Радуясь культуре общения и развитию частного предпринимательства, Сэнсэй миновал два абрикосовых дерева, детскую площадку с песочницей и свернул к арке, выводящей к метро. Заскочил сначала в булочную; в «гипермаркете», страдающем, судя по названию, манией величия, купил ряженки. Выйдя на улицу, столкнулся с незнакомой дамочкой, бледной от недосыпа, чье миловидное в общем-то лицо было подпорчено брезгливой и усталой миной. Дамочка нарядилась в летний кардиган, призванный скрывать полноту.

— Прошу прощения. — Он уступил дорогу в полной уверенности, что дамочка брякнет нечто вроде «Смотреть надо, куда идете!».

Дамочка и хотела что-то подобное сказать, но удержалась. Кивнула с достоинством. На чуть тронутых помадой губах появилась тень улыбки; прижимая к груди пачку кофе «Tchibo», дамочка пошла дальше по своим делам, и Сэнсэй, задержавшись на минутку, глянул ей вслед.

Тем временем открылась дверь подвала, наполовину утопленная в асфальте, и оттуда, как из подземного узилища, появились пленник и конвоир. Пленник, в котором с полувзгляда угадывался матерый сантехник, шел впереди, невнятно бормоча про плановую проверку коммуникаций и «этого куркуля Данилыча». Конвоир, очень довольный, шагал следом, воинственно выставив перед собой небольшую бороду.

...Аптекарь отыскал сантехника, как и предполагалось, в катакомбах под шестым домом и вцепился в добычу хваткой буль-

дога. Как обрадуется жена, когда вечером обнаружит, что бачок, неделю страдавший недержанием, снова корректен и сдержан!

Мимо прокатила машина к повороту на Тебелинку. Сидящий за рулем Эскулап только что принял решение круто поменять жизнь и для начала просто уехать на дачу, пожить там месяц в тишине и покое и, может быть, начать писать мемуары...

...Третья пара — свои, истфак. Четвертый курс, Французская революция. Можно будет отдохнуть душой, даже рассказать кое-что сверх программы. Робеспьер, Марат, Дантон... Доцент шагал, никуда не торопясь, и на секунду остановился перед девочкой, рисующей мелом прямо посреди тротуара.

— Смотри, толкнет кто-нибудь, — предупредил по-отечески. — Бывает, люди торопятся, под ноги не глядят, вот и толкаются...

Девочка посмотрела на него снизу вверх. На светло-сером тротуаре она рисовала небо — солнце, луну, облака и много-много звездочек.

Пятиконечных.

14

С разных концов улицы за девочкой, стесняясь собственного интереса, внимательно следили четверо мальчишек.

Один вдруг засмеялся, и смех расплескался от угла до угла.

РУБЕЖ. *Роман* 5
Книга первая. ЗИМОЮ СИРОТЫ В ЦЕНЕ 7
ПРОЛОГ НА НЕБЕСАХ 7
Часть первая. ГЕРОЙ И ЧУМАК 10
Часть вторая. ДЕВИЦА И КОНСУЛ 91
Часть третья. ИСЧЕЗНИК И КОЛДУНЬЯ 191
СРЕДИСЛОВИЕ, или СЕРЕДИНКА НА ПОЛОВИНКУ 288
ТЕЗАУРУС, или же Толковник слов 289
Книга вторая. ВРЕМЯ НАРУШАТЬ ЗАПРЕТЫ 292
ПРОЛОГ НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ 292
Часть первая. ЧУМАК И ГЕРОЙ 296
Часть вторая. КОНСУЛ И ДЕВИЦА 379
Часть третья. КОЛДУНЬЯ И ИСЧЕЗНИК 521

ПЕНТАКЛЬ. *Роман* 637
I. ПЕНТАКЛЬ УПРЯМЦЕВ 642
БАШТАН 642
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ 659
ЧЕРТОВА ЭКЗИСТЕНЦИЯ 676
КАРТОШКА 688
ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ 706
II. ПЕНТАКЛЬ СТРАСТЕЙ 717
БУРСАК 717
САТАНОРИЙ 731
СОСЕД 741
ВЕНЕРА МИРГОРОДСКАЯ 747
ДЕНЬ МЕРТВЫХ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 758

III. ПЕНТАКЛЬ ВЫБОРА 779
ПРОДАННАЯ ДУША 779
БАЗАР 793
СПАСАТЕЛИ 806
КОЛОБРОД 815
КВАРТЕРОНКА 829
IV. ПЕНТАКЛЬ БУДНЕЙ 846
ТУФЛИ 846
ХАРИЗМА НЮРКИ ГАВРОШ 871
МОНТЕ-КАРЛОВКА 890
ПОЙДЕМ В ПОДВАЛ? 902
НЕСПОКИЙ 909
V. ПЕНТАКЛЬ ВСТРЕЧ 922
СТРАШНАЯ М 922
БОГДАНА 942
СЕРДОЛИКОВАЯ БУСИНА 953
АТТРАКЦИОН 968
ПАНСКАЯ ОРХИДЕЯ 977
VI. ПЕНТАКЛЬ ПЯТИ 997
КАЗАЧЬЯ КРОВЬ 997
ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 1012
КОНКУРС 1030
КАМЕНЬ ЗАВЕТА 1047
УЛИЦА ПЯТИ ТУПИКОВ 1067

Они встретились:
«философский
боевик» Г. Л. Олди,
тонкая лирика
М. и С. Дяченко,
криптоистория
А. Валентинова –
звездный состав
авторов.
Раз в пять лет они
встречаются все
вместе, чтобы
создавать
шедевры: «Рубеж»
и «Пентакль».
В дорогу, читатель!

